РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАР

СЕМЬЯ ТИБО

ТОМ 2

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1972

И (Фр)
М 29

Иллюстрации
Б. Заборова

7-3-4
Подп. изд.

ЛЕТО 1914 ГОДА

I

Изнемогая от усталости, Жак напрягал шейные мускулы, чтобы не нарушить позы, не смел пошевелиться и только мигал глазами. Он окинул своего палача сердитым взглядом.

Патерсон двумя прыжками отскочил к стене. Держа в руке палитру, подняв кисть, он наклонял голову то вправо, то влево и прилежно разглядывал полотно, натянутое на подрамнике в трех метрах от него. Жак подумал: «Какое счастье, что у него есть искусство!» Он посмотрел на свои ручные часы. «Мне нужно еще до вечера закончить статью. А ему, скотине, на это плевать!»

Жара стояла удушающая. Из широких окон падал безжалостный свет. Хотя эта бывшая кухня находилась на самом верхнем этаже большого дома, по соседству с собором, высоко над городом, отсюда не было видно ни озера, ни Альп. Одно лишь ослепительно-синее июньское небо.

В глубине комнаты, под скошенным потолком, прямо на каменном полу, лежали рядом два соломенных матраса. Какое-то тряпье висело на гвоздях. На заржавленной плите, на вытяжном колпаке, на раковине были разбросаны вперемежку самые разнообразные предметы: эмалированный тазик, пара башмаков, коробка из-под сигар, наполненная пустыми тюбиками от красок, бритвенная кисточка, затвердевшая от высохшей пены, кое-какая посуда, две увядшие розы в стакане, трубка. На полу, прислоненные лицом к стене, стояли полотна.

Англичанин был обнажен до пояса. Он стискивал зубы и дышал через нос, очень шумно, как будто только что пробежал большое расстояние.

— Нелегко...— пробормотал он, не поворачивая головы. Его белый торс — торс северянина блестел от пота. Мускулы ходили под тонкой кожей. На тощем животе, под ложечкой лежала

треугольная тень. Под изношенной тканью старых брюк сухожилия на ногах вздрагивали от судорожного напряжения.— И хоть бы крошка табаку,— вздохнув, проговорил он вполголоса.

Три папиросы, которые Жак, придя, вынул из кармана, художник выкурил одну за другой глубокими затяжками, как только начался сеанс. Желудок, пустой еще со вчерашнего дня, давал о себе знать, но ему было не привыкать стать. «Как светится этот лоб! — подумал он.— Хватит ли у меня белил?» И взглянул на тюбик, валявшийся на полу, плоский, как металлическая лента. Он уже задолжал сотню франков Герену, торговцу красками; к счастью, Герен, бывший анархист, недавно приобщенный к социалистическому учению, был хорошим товарищем...

Не отрывая глаз от портрета, Патерсон строил гримасы, словно был наедине с собой. Его кисть начертила в воздухе арабеску. Внезапно его синие глаза обратились к Жаку: он уставился на лоб своего друга взглядом, жадным, как у сороки-воровки, почти нечеловеческим по напряженности.

«Он глядит на меня, точно на яблоко в вазе,— подумал Жак, развеселившись.— Если бы только мне не надо было кончать эту статью...»

Когда Патерсон робко предложил ему написать с него портрет, Жак не решился отказать. Уже много месяцев художник, слишком бедный, чтобы платить натурщикам, и в то же время неспособный прожить сутки, не взявшись за кисть, расходовал свой талант на не требовавшие затрат натюрморты. Патерсон сказал Жаку: «Четыре-пять сеансов, самое большее...» Но сегодня, в воскресенье был назначен уже девятый, и Жак, изнывая от досады, вынужден был регулярно около полудня тащиться в верхнюю часть старого города ради этих сеансов,— каждый из них занимал не меньше двух часов!

Патерсон начал лихорадочно водить кистью по палитре. Еще с секунду, присев на полусогнутых ногах, как пловец, испытывающий эластичность трамплина, он неподвижно смотрел на Жака. И, вдруг, вытянув вперед руку, словно фехтовальщик, он ринулся к полотну, чтобы положить в определенной точке один-единственный световой блик: после этого он снова отступил к стене, прищурив глаза, покачивая головой и фыркая, как рассерженный кот. Затем он обернулся к своей жертве и наконец улыбнулся:

— Столько силы, мой дорогой, в этих бровях, в виске, в волосах, спадающих на лоб! Да, нелегко...

Он положил палитру и кисти на кухонный стол и, повернувшись на каблуках, бросился плашмя на один из матрасов и растянулся во весь рост.

— На сегодня хватит!

Отпущенный на свободу, Жак облегченно вздохнул.

— Можно взглянуть?.. Ого! Ты сегодня здорово подвинулся вперед!

Жак был изображен сидящим, в три четверти оборота. Портрет заканчивался на уровне колен. Левое плечо уходило назад, в перспективу; правое плечо, правая рука и локоть мощно выдвигались на передний план. Мускулистая ладонь, лежавшая на бедре, создавала внизу полотна живое светлое пятно. Голова, хотя и приподнятая навстречу свету, слегка склонялась к левому плечу, словно увлекаемая тяжестью волос и лба. Свет падал слева. Половина лица оставалась в тени; но из-за наклона головы весь лоб оказывался освещенным. Темная прядь с рыжим отливом, пересекавшая его слева направо, по контрасту еще усиливала свечение кожи. Патерсон особенно хорошо передал волосы, набегающие на лоб, жесткие и густые, словно трава. Мощный подбородок упирался в полурасстегнутый белый воротник. Горькая складка, придававшая лицу твердость и суровость, облагораживала большой рот с нечетко обрисованными губами. Художнику удалось схватить открытый, волевой взгляд Жака, но выражение глаз, спрятанных в полутени под извилистой линией бровей, было слишком смелым, дерзким, непохожим. Патерсон только что заметил это. В целом он хорошо выразил большую силу, излучавшуюся от плеч, лба и подбородка; но он отчаивался в возможности передать все оттенки умственной сосредоточенности, грусти и дерзновения, которые все время сменялись, не смешиваясь, в этом подвижном взгляде.

— Ты ведь завтра придешь опять, правда?

— Если надо,— сказал Жак без восторга.

Патерсон приподнялся и пошарил в карманах макинтоша, висевшего над постелью. Он разразился звонким смехом:

— Митгерг мне не доверяет: он никогда больше не оставляет в своих карманах табака.

Когда Патерсон смеялся, он сразу же становился тем лукавым *boy* [1], каким он, должно быть, был пять-шесть лет назад, когда порвал со своей пуританской семьей, бежал из Оксфорда и поселился в Швейцарии.

— Жаль,— пробормотал он с шутливой досадой,— за потерянное тобой воскресенье я охотно угостил бы тебя папиросой, друг!..

Он легче обходился без пищи, чем без табака, и без табака легче, чем без красок. Впрочем, ему никогда не приходилось долго отказывать себе ни в красках, ни в табаке, ни даже в пище.

В Женеве образовалась большая группа молодых революционеров, без средств, более или менее тесно связанных с существую-

---

[1] Мальчиком *(англ.)*

щими организациями. На что они жили? Так или иначе — они жили. Некоторые из них, привилегированные интеллигенты вроде Жака, сотрудничали в газетах и журналах. Другие, квалифицированные рабочие, собравшиеся со всех концов света,— наборщики, чертежники, часовщики,— кое-как сводили концы с концами и при случае делились куском хлеба с безработными товарищами. Но большая часть не имела постоянного занятия. Они нанимались на случайную работу, неверную и плохо оплачиваемую, и оставляли ее, как только у них заводилось немного денег. Среди них было много студентов, ходивших в изношенном белье, перебивавшихся уроками, библиотечными изысканиями, мелкой лабораторной работой. К счастью, они никогда не терпели нужды все одновременно. Достаточно было чьего-либо кошелька, чтобы обеспечить немного хлеба и колбасы, горячий кофе и папиросы для тех, у кого в данный момент карманы были пусты. Взаимопомощь налаживалась сама собой. Можно привыкнуть питаться чем угодно и только раз в день, когда люди молоды, живут в тесном содружестве и у всех у них одни и те же стремления, убеждения, социальные страсти и надежды. Некоторые, как, например, Патерсон, в шутку утверждали, что раздражение совершенно пустого желудка сообщает мозгу необходимое для работы опьянение. И это была не просто шутка. Умеренность их питания способствовала постоянному умственному перевозбуждению, которое проявлялось в бесконечных дискуссиях, возникавших в любое время в скверах, в кафе, в меблированных комнатах, особенно в «Локале», где они собирались, чтобы поделиться между собою новостями, услышанными от революционеров-иностранцев, чтобы обменяться опытом и высказать свои взгляды, чтобы работать всем вместе, дружно и пылко над построением будущего общества.

Жак, стоя перед зеркальцем для бритья, приводил в порядок свой воротничок и галстук.

— Зачем тебе торопиться, друг?.. Куда ты так спешишь? — пробормотал Патерсон.

Он лежал поперек матраса, полуобнаженный, с раскинутыми руками. У него были худощавые, почти девические запястья и мужские руки; ноги огромные, как у настоящего англичанина, хотя и тонкие в лодыжках. Голова была небольшая; пепельные, слипшиеся от пота волосы в свете, проникавшем через цветные оконные стекла, отливали медью, как старинная позолота. В его глазах, слишком блестящих, чтобы быть выразительными, казалось, постоянно отражалась борьба между доверием к жизни и отчаянием.

— Мне столько надо было тебе сказать,— небрежно заметил он.— Ведь вчера вечером ты так рано ушел из «Локаля»...

— Я устал... Все вертятся по кругу, повторяют одно и то же...

— Да... Впрочем, дискуссия в конце концов стала по-настоящему интересной, друг... Я жалел, что тебя не было. *Пилот* все-таки нашел, что ответить Буассони. О, всего лишь несколько слов; но такие слова, от которых — как это у вас говорится? — прямо в дрожь бросает!

Его тон выдавал глухую антипатию. Жак не раз замечал своеобразное восхищение, смешанное с ненавистью, которое англичанин проявлял по отношению к Мейнестрелю — Пилоту, как его называли. Он никогда не говорил об этом с художником. Сам Жак был глубоко привязан к Мейнестрелю; не только любил его как друга, но и почитал как учителя.

Жак порывисто обернулся:

— Какие слова? Что он сказал?

Патерсон ответил не сразу. Он разглядывал потолок и странно улыбался.

— Это было в конце спора, неожиданно... Многие, как и ты, уже ушли... Он предоставил Буассони говорить, а сам, знаешь, делал вид, что не слушает... Вдруг он наклонился к Альфреде, которая, как всегда, сидела у его ног, и сказал очень быстро, ни на кого не глядя... Постой, сейчас вспомню... Он сказал примерно так: *«Ницше упразднил понятие Бога. На его место он поставил понятие Человека. Но этого еще мало, это лишь первый этап. Атеизм должен теперь пойти значительно дальше: он должен упразднить также и понятие Человека».*

— Ну и что же? — сказал Жак, слегка пожимая плечами.

— Постой... Тогда Буассони спросил: *«Чтобы заменить его — чем?»* Пилот улыбнулся, знаешь, по-своему, страшной улыбкой... и объявил очень громко: *«Ничем!»*

Жак, в свою очередь, улыбнулся, чтобы уклониться от ответа. Ему было жарко, он устал позировать, он спешил вернуться к своей работе; а главное — у него не было никакого желания вступать в метафизические прения с этим добряком Патерсоном. Перестав улыбаться, он сказал только:

— У него благородная душа, Пат, это неоспоримо!

Англичанин приподнялся на локте и посмотрел Жаку в лицо.

— *«Ничем!»* Да, ведь это... *absolutely monstrous!.. Don't you think so?* [1]

И так как Жак молчал, он снова опустился на матрас.

— Друг, какая жизнь была у Пилота? Я постоянно задаю себе этот вопрос. Чтобы дойти до такого... такого опустошения, какими ужасными дорогами надо было ему пройти, каким отрав-

---

[1] Совершенно чудовищно!.. Ты не находишь? *(англ.)*

ленным воздухом дышать?.. Скажи мне, Тибо,— продолжал он почти тотчас же, не меняя тона, но вновь повернувшись лицом к Жаку,— я давно хотел спросить у тебя кое-что; ведь ты хорошо знаешь их обоих. Как ты думаешь, счастлива Альфреда со своим Пилотом?

Жак обнаружил, что никогда не задавался таким вопросом. Но, пожалуй, его нельзя было счесть таким уж неосновательным. Однако это был слишком деликатный вопрос, чтобы отвечать на него с ходу, и смутная интуиция подсказывала Жаку, что в разговоре с англичанином лучше не затрагивать эту тему. Он кончил завязывать галстук и сделал осторожно-уклончивое движение плечами.

Впрочем, Патерсон, по-видимому, не обиделся его молчанием. Он снова растянулся на постели и спросил:

— Будешь сегодня вечером на докладе Жанота?

Жак воспользовался случаем переменить тему:

— Не уверен... Мне надо сначала закончить работу для «Маяка»... Если успею, приду в «Локаль» часам к шести.— Он надел шляпу.— Итак, быть может, до вечера, Пат!

— Ты мне не ответил насчет Альфреды,— сказал Патерсон, приподнимаясь на своем ложе.

Жак уже открыл дверь. Он обернулся.

— Не знаю,— уронил он после неуловимого колебания.— А почему бы ей не быть счастливой?

II

Было уже больше половины второго. Женева приступала к позднему воскресному завтраку. Солнце освещало площадь Бурдю-Фур прямыми лучами, и тени сузились до лиловатой каймы у подножий домов.

Жак наискось пересек пустынную площадь. Одно лишь журчание фонтана нарушало тишину. Жак шел быстро, опустив голову, солнце жгло ему затылок, а сверкающий асфальт слепил глаза. Хотя он и не слишком опасался жары женевского лета — этой белой и голубой жары, неумолимой и здоровой, которая никогда не бывала мягкой, но редко бывала засушливой,— он был приятно удивлен, найдя немного тени около магазинов, расположенных вдоль узкой улицы Фонтана.

Он думал о своей статье — рецензии в несколько страниц на последнюю книгу Фритча для рубрики «Книжное обозрение» в «Швейцарском маяке». Две трети были уже написаны, но начало надо было полностью переделать. Быть может, ему следовало бы

начать статью цитатой из Ламартина, которую он накануне списал в библиотеке: «Есть два рода патриотизма. Один слагается из всяческой ненависти, из всяческих предрассудков, из всех грубых антипатий, питаемых друг к другу народами, одичавшими под властью правительств, которые стремятся их разъединить... Существует и другой патриотизм, он слагается, напротив, из всех истин и прав, равно общих для всех народов...»

Мысль, безусловно, правильная смелая, но форма... «Что же,— подумал он, улыбаясь,— пожалуй, это лексикон сорок восьмого года... Но, в общем-то, разве это и не наш язык?.. За редким исключением,— спохватился он тотчас же.— Например, это совсем не похоже на словарь Пилота». Воспоминание о Мейнестреле заставило его подумать о вопросе Пата. Была ли счастлива Альфреда? Он не решился бы ответить ни да, ни нет. Женщины... Можно ли в чем-либо быть уверенным с женщинами?.. Воспоминание о его собственном опыте с Софией Каммерцинн промелькнуло у него в голове. Он совершенно не думал о ней с тех пор, как покинул Лозанну и пансион папаши Каммерцинна. Вначале она несколько раз приезжала к нему в Женеву. Потом прекратила эти посещения. Между тем он всегда встречал ее с радостью. Поняла ли она в конце концов, что он не чувствовал к ней никакой привязанности? Смутное сожаление шевельнулось в нем... Странное создание... Он никем не заменил ее.

Жак пошел быстрее. Ему надо было спуститься к набережной Роны. Он жил на другом берегу, на площади Греню, в бедном квартале, состоящем из переулков и лачуг. В углу на площади, центр которой был занят общественной уборной, тщетно пыталось укрыть свой облупленный фасад трехэтажное здание гостиницы «Глобус». Над низким подъездом светился по вечерам стеклянный глобус вместо вывески. В отличие от других отелей квартала, сюда не пускали проституток. Гостиница содержалась двумя холостяками, братьями Верчеллини, в течение многих лет состоявшими в социалистической партии. Все или почти все комнаты были заняты партийными активистами, которые платили мало и только когда могли; но братья Верчеллини ни разу не выгнали ни одного жильца за невзнос платы; зато им приходилось иногда изгонять подозрительных лиц, ибо эта мятежная среда наравне с лучшими привлекала к себе и худших.

Комната Жака, бедная, но чистая, находилась на верхнем этаже. К сожалению, единственное окно выходило на площадку лестницы; шумы и запахи втягивались лестничной клеткой и назойливо врывались в комнату. Чтобы спокойно работать, надо было закрывать окно и зажигать лампочку под потолком. Мебели было достаточно: узкая кровать, платяной шкаф, стол и стул: у стены —

умывальник. Стол маленький и всегда загроможденный. Для того чтобы писать, Жак обычно усаживался на кровати, держа на коленях атлас вместо пюпитра.

Он работал уже с полчаса, когда раздался троекратный раздельный стук в дверь.

— Входите! — крикнул он.

В приоткрытой двери показалась взъерошенная голова. Это был маленький Ванхеде, альбинос. Он, так же как и Жак, в прошлом году переехал из Лозанны в Женеву и поселился в «Глобусе».

— Простите... Я помешал вам, Боти? — Он был из тех, кто продолжал называть Жака его прежним литературным псевдонимом, несмотря на то, что Жак после смерти отца подписывал статьи своей настоящей фамилией.— Я видел Монье в кафе «Ландольт». Пилот дал ему два поручения к вам. Первое: Пилоту необходимо вас видеть, и он будет ждать вас у себя до пяти часов. Второе: ваша статья не пойдет в «Маяке» на этой неделе, и, значит, вам не нужно сдавать ее сегодня вечером.

Жак прижал обеими ладонями разбросанные перед ним листки и прислонился головой к стене.

— Недурно! — сказал он с облегчением. Но тотчас же подумал: «...Значит, на этой неделе я не получу свои двадцать пять франков...» С деньгами у него было туго.

Ванхеде, улыбаясь, подошел к кровати.

— Плохо подвигалось дело? А о чем ваша статья?

— О книге Фритча «Интернационализм».

— Ну и как же?

— В сущности, видишь ли, я не очень-то уяснил себе, что следует думать...

— О книге?

— О книге... да и об интернационализме тоже.

Брови Ванхеде, едва заметные, чуть сдвинулись.

— Фритч — сектант,— сказал Жак.— А кроме того, мне кажется, он смешивает совершенно различные понятия: идею нации, идею государства и идею отечества. Поэтому у меня создается впечатление, что его мысль на ложном пути, даже когда он говорит вещи, по-видимому, правильные.

Ванхеде слушал, прищурив глаза. Бесцветные ресницы скрывали его взгляд; уголки губ кривились в гримасе. Он отошел к столу и сел на него, немного сдвинув в сторону папки с бумагами, предметы туалета и книги.

Жак продолжал неуверенным тоном:

— Для Фритча и ему подобных идеал интернационализма требует прежде всего отказа от идеи отечества. Но необходимо ли это? Разве это неизбежно?.. Я совсем в этом не уверен!

Ванхеде поднял свою кукольную ручку.

— Во всяком случае, необходимо подавление патриотического чувства! Как можно представить себе революцию в узких рамках одной страны? Революция — подлинная, наша революция — это дело интернациональное! И оно должно быть выполнено рабочими всего мира одновременно и повсюду, где они составляют большинство населения!

— Да. Но, видишь ли, ты сам проводишь различие между патриотизмом и идеей отечества.

Ванхеде упрямо покачивал своей маленькой головой, покрытой шапкой курчавых, почти белых волос.

— Это одно и то же, Боти. Посмотрите, что наделал девятнадцатый век. Возбуждая повсюду патриотизм, чувство любви к отечеству, он укрепил принцип национальных государств, посеял вражду между народами и подготовил почву для новых войн!

— Согласен. Однако не патриоты, а националисты девятнадцатого века извратили в каждой стране понятие отечества. Привязанность, идущую от сердца, вполне законную и безобидную, они подменили неким культом, агрессивным фанатизмом. Такой национализм, безусловно, достоин всяческого осуждения! Но разве надо, как делает Фритч, отбрасывать в то же время и чувство родины? Ведь это же реальность, такая очевидная для человека, можно сказать, реальность физическая, плотская!

— Да! Чтобы стать подлинным революционером, надо прежде всего порвать все привязанности, вырвать из себя...

— Берегись,— прервал его Жак.— Ты имеешь в виду революционера, тип революционера, каким ты хочешь быть, и теряешь из виду человека, человека вообще, каким его создает природа, действительность, жизнь...

А кроме того, разве можно в самом деле уничтожить тот патриотизм сердца, о котором я говорю? Я в этом не уверен. Как бы человек ни старался, он не может вырваться из национального климата, в котором живет. У него свой врожденный темперамент. И своя этническая конституция. Он привязан к обычаям, к особым формам той цивилизации, которая его обработала. Где бы он ни находился, он сохраняет свой язык. Подожди! Это очень важно: проблема отечества,— в сущности, быть может, не что иное, как проблема языка. Где бы человек ни находился, куда бы ни отправился, он продолжает облекать свою мысль в родные слова и родной строй речи... Оглянись вокруг! Посмотри на наших женевских друзей, на всех этих добровольных изгнанников, которые верят, что отреклись от родной земли и образовали подлинную интернациональную колонию! Посмотри, как они инстинктивно тянутся друг к другу и объединяются в маленькие землячества — итальянские, австрий-

ские, русские. Туземные братские *патриотические* землячества. Да ты и сам, Ванхеде, со своими бельгийцами!..

Альбинос вздрогнул. Круглые, как у ночной птицы, глаза его, в которых засветился упрек, остановились на Жаке, затем вновь исчезли под завесой ресниц. Его скромность только подчеркивалась некрасивой наружностью. Но молчание служило ему прежде всего для защиты его веры, более твердой, чем его мысль; внешняя робость каким-то удивительным образом сочеталась у него с убежденностью в своей правоте. Никто, даже Жак, даже Пилот, не имел подлинного влияния на Ванхеде.

— Нет, нет,— продолжал Жак.— Человек может отказаться от родины, но он не может *искоренить* ее в себе. И в такого рода патриотизме нет, в сущности, ничего несовместимого с нашим идеалом революционеров-интернационалистов!.. И потому я спрашиваю себя — не будет ли неосторожно поступать, как Фритч, объявлять войну тем факторам, которые свойственны человеческой природе и являются ее силой? Я готов даже задать вопрос, не повредим ли мы человеку завтрашнего дня, лишив его этой силы? Он помолчал несколько секунд, потом заговорил другим, нерешительным тоном, словно охваченный сомнениями: — Я думаю об этом, но все-таки не решаюсь это написать. Тем более в рецензии на несколько страниц. Чтобы избежать недоразумений, нужна была бы целая книга.— Он снова замолчал и вдруг добавил: — Впрочем, я и книги такой не напишу... Ибо, в конце концов, я ни в чем твердо не уверен! Что мы знаем? Пожалуй, можно представить себе человека *без родины*. Человек ведь привыкает ко всему. Быть может, он в конце концов приспособится и к такому неполноценному существованию...

Ванхеде отошел от стола и безотчетно шагнул к Жаку. На его словно бы безглазом лице светилась ангельская радость:

— Он сторицей будет вознагражден за это!

Жак улыбнулся. Вот за такие порывы он и любил маленького Ванхеде.

— А теперь я вас оставлю,— сказал альбинос.

Жак все еще улыбался. Он смотрел на Ванхеде, пока тот шел к двери, подпрыгивая на каждом шагу, и закрыл ее за собою, помахав рукой на прощание.

Хотя ничто более не заставляло его закончить статью,— а может быть, именно поэтому,— Жак с увлечением принялся за работу.

Он все еще писал, когда услышал, как часы в вестибюле пробили четыре. Мейнестрель ждал его. Он вскочил с кровати. И сразу же почувствовал, что голоден. Но ему некогда было задерживаться

по дороге. В ящике стола у него еще хранились два пакета шоколада в порошке, который можно было быстро развести в горячей воде. Да и спиртовку он как раз вчера заправил. Пока Жак умывал лицо и руки, в маленькой кастрюльке уже закипела вода. Он выпил, обжигаясь, чашку шоколада и торопливо вышел.

III

Мейнестрель жил довольно далеко от площади Грепю, в квартале Каруж, излюбленном многими революционерами, преимущественно русскими эмигрантами. Это был ничем не примечательный квартал на берегу Арвы, по ту сторону площади Плеппале. Предприниматели, нуждавшиеся в свободном пространстве,— торговцы дровами и углем, плавильщики, каретники, паркетчики, орнаментщики,— расположили там свои склады и мастерские; эти строения вдоль широких, насквозь продувавшихся улиц чередовались с островками старых домов, запущенных садов и незастроенных участков.

Дом, в котором жил Пилот, возвышался на углу набережной Шарль-Паж и улицы Каруж, близ Нового моста,— длинное трехэтажное здание, без балконов, с плоскими желтоватыми стенами, принимавшими, однако, под летним солнцем приятный теплый тон итальянской штукатурки. Стаи чаек пролетали под окнами и носились над высоким берегом Арвы, хотя и неглубокой, но быстрой; она текла стремительно, как горный поток, и покрывала пеной прибрежные скалы.

Мейнестрель и Альфреда занимали в глубине коридора помещение из двух комнат, разделенных узкой прихожей. Одна комната, поменьше, служила кухней, вторая — спальней и кабинетом.

Возле залитого солнцем окна с закрытыми решетчатыми ставнями Мейнестрель, склонившись над раскладным столиком, работал в ожидании прихода Жака. Мелким, лихорадочно-нервным почерком, часто сокращая слова, он набрасывал на бумаге какие-то заметки, которые Альфреда тут же расшифровывала, а затем переписывала на старой пишущей машинке.

В эту минуту Пилот был в комнате один. Альфреда только что встала со стула, на котором она всегда сидела, низенького стула, придвинутого вплотную к стулу Мейнестреля. Пользуясь передышкой в работе своего повелителя, она пошла на кухню, открыла кран и наполнила графин холодной водой. Кисловатый запах компота из персиков, варившегося на легком огне газовой плитки, плавал в теплом воздухе: они питались почти исключительно молочными продуктами и вареными фруктами и овощами.

— Фреда!

Она кончила полоскать кофейное ситечко, которое держала в руках, повесила его сушиться и поскорее вытерла руки.

— Фреда!

— Да...

Она поспешила к нему и быстро села на свой низенький стул.

— Где ты была, девочка? — пробормотал Мейнестрель, проводя рукой по ее склоненной шее, под темными волосами. Ответа на этот вопрос не требовалось. Он задал его мечтательным голосом, не прерывая работы.

Подняв голову, она улыбалась. Взгляд у нее был теплый, преданный и спокойный. Глаза с расширенными зрачками выражали готовность все увидеть, все понять, все полюбить; но в них никогда не бывало ни малейшего проблеска настойчивости или любопытства. Казалось, она создана для того, чтобы созерцать и ждать. Как только Мейнестрель начинал в ее присутствии думать вслух (что он делал постоянно), она поворачивалась к нему и, казалось, слушала его глазами. Иногда, если мысль была меткой, она высказывала одобрение легким движением ресниц. Ее присутствие — близкое, молчаливое и внимательное — вот и все, что ощущал Мейнестрель; но теперь оно было ему не менее необходимо, чем воздух.

Ей было всего двадцать два года; она была на пятнадцать лет моложе его. Никто не мог бы точно сказать, каким образом они нашли друг друга и какого рода союз кроется под внешней формой их совместной жизни. В прошлом году они вместе приехали в Женеву. Мейнестрель был швейцарцем. О ней было известно, что она южноамериканского происхождения, хотя сама она никогда не говорила ни о своей семье, ни о своем детстве.

Мейнестрель продолжал писать. Его лицо, выглядевшее еще более худым из-за черной бородки, остроконечной и коротко подстриженной, наклонялось вперед. Узкий и словно сдавленный в висках лоб на свету казался выпуклым. Левая рука Мейнестреля лежала на шее Альфреды. Согнувшись, сидя неподвижно, молодая женщина трепетно отдавалась этой ласке, будто сонная кошечка.

Не меняя положения руки, Мейнестрель перестал писать, посмотрел куда-то вдаль и отрицательно покачал головой.

— Дантон говорил: «Мы хотим поднять наверх все, что находится внизу, и спустить вниз все, что наверху». Это, девочка, слова политикана. Это не слова революционера-социалиста. Луи Блан, Прудон, Фурье, Маркс никогда не сказали бы так.

Она взглянула на него. Но он на нее не смотрел. Его лицо, устремленное теперь к верхнему краю окна, где ставни пропускали

полоску солнечного света, оставалось бесстрастным. Черты были правильны, но странно безжизненны. Цвет лица, хотя и не болезненный, казался сероватым, словно под кожей текла бесцветная кровь; и губы под коротко подстриженными черными усами были точно такого же цвета, как кожа. Вся жизненная сила сосредоточивалась в глазах, маленьких, расположенных странно близко один к другому; зрачки, черные-черные, занимали все свободное место в разрезе век, и белок был едва виден; блеск этих глаз был почти невыносим, а между тем они не излучали ни малейшей теплоты. Этот взгляд без оттенков — только блестящий и, казалось, до предела напряженный и внимательный, был не вполне человеческим; он подавлял и возбуждал; он вызывал в памяти проницательный, дикий и таинственный взгляд некоторых животных, некоторых обезьян.

— Силлогизмы индивидуалистической идеологии...— пробормотал он разом, словно заканчивая какую-то мысль.

Голос его звучал глухо и монотонно. Он почти всегда говорил короткими фразами, словно изрекал пророчества, выталкивая их из себя слабым, хотя и неистощимым дыханием. Его умение проговаривать единым духом целую серию трудных слов, как, например, «силлогизмы индивидуалистической идеологии»,— впрочем, четко выделяя каждый слог,— напоминало искусство скрипача-виртуоза, рассыпающего одним движением смычка целый каскад звуков.

— Классовый социализм не есть социализм,— продолжал он.— Поставить на место одного класса другой — это значит лишь заменить одно зло другим, одно принуждение другим принуждением. В современном обществе страдают все классы. Строй, основанный на наживе, тирания конкуренции, ожесточенный индивидуализм порабощают также и господствующий класс. Он лишь не отдает себе в этом отчета.— Мейнестрель дважды потер грудь, покашливая, и очень быстро произнес: — Растворить в бесклассовом обществе путем новой организации труда все без различия здоровые элементы — вот что необходимо, девочка...

Затем он снова принялся писать.

Имя Мейнестреля было связано с первыми шагами авиации. Будучи одновременно летчиком и инженером-механиком, он принадлежал к тем людям, которых пригласила ШАК[1], строя завод в Цюрихе; и некоторые машины, до сих пор находившиеся в употреблении, носили его имя. В то время его упорные попытки

[1] Швейцарская авиационная компания.

перелететь через Альпы привлекли к нему внимание широкой публики. Однако, раненный в ногу при аварии, не давшей ему завершить перелет Цюрих — Турин (и чуть не стоившей ему жизни), он оставил профессию летчика. Затем, вследствие стачек на заводе ШАК, во время которых он смело покинул свое конструкторское бюро, чтобы принять участие в рабочем движении, он внезапно уехал из Швейцарии. Что стало с ним? Не в Восточной ли Европе провел он эти годы своего безвестного отсутствия? Он был полностью в курсе русских вопросов и несколько раз имел случай показать, что неплохо разбирается в славянских языках; но он знал также и дела Малой Азии и Испании. Он, несомненно, имел личные отношения с большинством влиятельных лиц революционного мира Европы; со многими из них он даже находился в постоянной переписке; но при каких обстоятельствах, с какой целью он сблизился с ними? Он говорил о них с обескураживающей точностью и вместе с тем неопределенностью, всегда в связи с посторонними вещами, как бы дополняя этой информацией споры на общие темы; и когда он приводил какое-нибудь характерное выражение, по-видимому, слышанное им, или рассказывал о событии, свидетелем которого, по-видимому, был, он никогда не давал себе труда разъяснить степень своего участия в данном деле. Его намеки были всегда неожиданны; когда речь шла о фактах, доктринах, личностях, он говорил обоснованно, серьезным тоном, но становился уклончив и даже явно насмешлив, как только дело касалось его самого.

Тем не менее создавалось впечатление, что он всегда присутствовал там, где происходили какие-либо события, или, по крайней мере, лучше, чем кто-либо, знал какое именно событие произошло тогда-то и там-то, и имел на это свою особую точку зрения, которая позволяла ему делать неожиданные и неопровержимые выводы.

Зачем он приехал в Женеву? «Чтобы найти покой»,— сказал он однажды. В течение первых месяцев он жил, чуждаясь всех, избегая эмигрантов, равно как и членов Швейцарской социалистической партии, проводя все дни вместе с Альфредой в библиотеках за чтением и изучением трудов теоретиков революции, не имея, по-видимому, другой цели, кроме повышения своей политической культуры.

Затем однажды Ричардли, молодому женевскому социалисту, удалось привести его в «Локаль», где каждый вечер собиралась довольно пестрая группа революционеров — швейцарских и иностранных. Понравилась ли ему эта среда? Он там ни разу не раскрыл рта; но на следующий день снова пришел туда уже без приглашения. И очень скоро его сильная индивидуальность была там признана. В этом сборище теоретиков, осужденных в данный мо-

мент на бездействие и бесплодные споры, мощь его критического ума, никогда не изменявшая ему эрудиция, которая казалась не столько плодом чтения и компиляций, сколько жизненного опыта, безотчетное стремление придавать конкретность любому вопросу, а следовательно, указывать революционной мысли практические цели, дар вскрывать самое существенное в наиболее сложных социальных проблемах и резюмировать эту суть в нескольких запоминающихся формулах,— все это обеспечило ему исключительное влияние на товарищей по кружку. За несколько месяцев он стал его центром и душой, кое-кто сказал бы — главой. Он появлялся там ежедневно, но тайна, окружавшая его, не разъяснялась,— тайна человека, который намеренно отступает в тень, бережет себя, «готовится» к чему-то.

— Иди сюда,— сказала Альфреда, пропуская Жака в кухню.— Он работает.

Жак вытирал лоб.

— Не хочешь ли? — предложила она, показывая на графин, в который текла струя воды из крана.

— Еще бы!

Стакан, который она наполнила, тотчас запотел. Она стояла перед Жаком, держа в руке графин, в обычной для нее скромной и услужливой позе. Ее матовое лицо, чуть-чуть припудренное, вздернутый носик, детский рот, набухавший, как спелая земляника, когда она складывала губы, чуть-чуть раскосые глаза, наконец черная бахрома жестких лоснящихся волос, закрывавшая ей лоб до самых бровей, делали ее похожей на японскую куклу, сфабрикованную в Европе. «А может быть, это еще из-за ее синего кимоно»,— подумал Жак. Пока он пил, ему пришел на память вопрос Пата: «Как ты полагаешь, счастлива ли Альфреда со своим Пилотом?» Он вынужден был признаться себе, что совсем ее не знает, хотя она всегда присутствовала при его разговорах с Мейнестрелем. Он привык смотреть на нее не как на живое существо, а скорее как на какую-то необходимую домашнюю принадлежность, точнее говоря — как на частицу Мейнестреля. Сегодня, оказавшись наедине с Альфредой, он впервые обнаружил в себе легкое смущение.

— Еще стакан?

— Пожалуйста.

Его томила жажда после выпитого шоколада. Он подумал, что не завтракал и что вообще питается он нелепо. Внезапно ему пришла в голову странная мысль: «Да потушил ли я спиртовку?» Он напряг память. Но точно вспомнить не смог.

Из-за перегородки раздался голос Пилота:

— Фреда!

— Да...— Она улыбнулась и весело подмигнула Жаку с видом сообщницы, словно хотела сказать: «Какой у меня тут большой капризный ребенок!» — Иди сюда,— сказала она.

Мейнестрель поднялся. Он приоткрыл ставни и встал перед окном в полосе света. Луч солнца, проникший в комнату, освещал широкую низкую кровать, голые стены и стол, на котором лежали только автоматическая ручка и тоненькая стопка листков.

В серой шерстяной пижаме Мейнестрель казался высоким. Тело его с довольно узкой грудью было стройное, но спина уже начинала сутулиться. Его острый взгляд остановился на Жаке, которому он протянул руку.

— Я побеспокоил тебя, но здесь нам будет удобнее, чем в «Говорильне»... Вот, девочка, тебе работа,— добавил он, вручая Альфреде книгу с вложенной в нее закладкой.

Она послушно взяла машинку, устроилась на полу, спиной к кровати, и начала стучать по клавишам.

Мейнестрель и Жак уселись за стол. Лицо Пилота приняло озабоченное выражение, он откинулся на спинку стула и вытянул вперед ногу. (После того несчастного случая у него стало плохо сгибаться правое колено; из-за этого он иногда слегка прихрамывал.)

— Досадная история,— сказал он вместо вступления.— *Один человек* пишет мне, что есть двое, которым мы как будто не должны доверять. Во-первых — Гиттберг.

— Гиттберг? — воскликнул Жак.

— Во-вторых — Тоблер.

Жак молчал.

— Это тебя поразило?

— Гиттберг? — повторил Жак.

— Вот письмо,— продолжал Мейнестрель, доставая конверт из кармана пижамы.— Читай.

— Да,— прошептал Жак, медленно прочитав письмо, содержавшее длинный и холодный обвинительный акт без подписи автора.

— Ты знаешь, какую роль играли Гиттберг и Тоблер в хорватском движении. Они приедут в Вену на съезд. Необходимо, значит, выяснить, насколько можно им доверять. Дело серьезное. Я не хочу поднимать шум, прежде чем сам не буду убежден.

— Да,— повторил Жак. Он едва удержался, чтобы не добавить: «Как же вы намерены поступить?» Но он не сказал этого. Хотя на его отношениях с Мейнестрелем лежал отпечаток некоторой товарищеской близости, он все же инстинктивно соблюдал известную дистанцию, разделявшую их.

Словно предвидя этот вопрос, Мейнестрель заговорил сам:

— Во-первых... (Забота о ясности и точности доходила у него почти до мании, и он нередко начинал фразу с резкого «во-первых», за которым, однако, не всегда следовало «во-вторых».) Во-первых, есть только одно средство, чтобы убедиться окончательно: расследование на месте. В Вене. Расследование, произведенное без лишнего шума. Кем-нибудь, кто не привлекает к себе внимания. Предпочтительно кем-нибудь, кто не состоит ни в какой партии... Однако,— продолжал он, настойчиво глядя на Жака,— кем-нибудь надежным. Я хочу сказать — таким, на суд которого можно было бы положиться.

— Да,— сказал Жак, удивленный и втайне польщенный. И тотчас же подумал не без удовольствия: «Кончено с позированием... Тем хуже для Пата». Затем снова, уже во второй раз, ему на ум пришла мысль о спиртовке.

Несколько секунд длилось молчание и слышно было лишь постукивание машинки да отдаленное журчание льющейся из крана воды.

— Ты согласен? — спросил Мейнестрель.

Жак утвердительно кивнул.

— Отправиться надо дня через два,— продолжал Мейнестрель.— Как только соберешь вещи. И в Вене надо пробыть столько, сколько потребуется. Две недели, если необходимо.

Альфреда на мгновение подняла свой взор на Жака, который, не отвечая, снова кивнул; потом она опять принялась за работу.

Мейнестрель продолжал:

— В Вене у нас есть Хозмер, он тебе поможет...

Он остановился: стучали во входную дверь.

— Пойди открой, девочка... Если Тоблер действительно получил деньги,— сказал он, обернувшись лицом к Жаку,— Хозмер должен об этом знать.

Хозмер был другом Мейнестреля. Он был австриец и жил в Вене. Жак познакомился с ним год назад в Лозанне, куда Хозмер приезжал на несколько дней. Эта встреча произвела на Жака глубокое впечатление. Впервые он столкнулся тогда с одним из тех революционеров, цинично применяющихся к обстоятельствам, для которых все средства хороши, ибо для них и правда важна только конечная цель, и потому они не стыдятся в случае надобности временно принимать то или другое обличье, лишь бы их компромиссы послужили — хоть в самой малой степени — делу революции.

Альфреда вернулась и объявила:

— Это Митгерг.

Мейнестрель повернулся к Жаку и пробурчал:

— Побеседуем еще в «Говорильне»... Входи, Митгерг,— сказал он, повысив голос.

Митгерг носил под полукружьями бровей большие круглые очки, что придавало его лицу выражение постоянной тревоги. Лицо у него было мясистое, черты — мягкие, несколько расплывшиеся, словно у невыспавшегося ночного гуляки.

Мейнестрель встал.

— В чем дело, Митгерг?

Взгляд Митгерга обошел комнату, затем остановился на Пилоте, на Жаке, и, наконец, на Альфреде.

— Дело в том, что Жанот только что пришел в «Локаль»,— объяснил он.

«Нет,— сказал себе Жак,— я далеко не уверен, что погасил спиртовку. Очень возможно, что я налил себе чашку и опять поставил кастрюльку на огонь, не потушив его... Потом я выпил шоколад и ушел... А фитиль, может быть, остался гореть...»

Он молчал и глядел в одну точку.

— Жанот очень хотел видеть вас до своего доклада, еще до вечера,— продолжал Митгерг.— Но он так измучился в дороге... Он плохо переносит жару...

— Слишком длинная грива...— пробормотала Альфреда.

— Поэтому он пошел поспать... Но он хотел, чтобы я передал вам его самый горячий привет.

— Прекрасно, прекрасно,— сказал Мейнестрель совершенно неожиданным для него фальцетом.— Митгерг, милый, нам в высшей степени наплевать на Жанота... Правда, девочка? — Говоря, он положил руку на полное плечо Альфреды и, лаская, перебирал волосы молодой женщины.

— Ты его знаешь? — спросила Альфреда, лукаво взглянув на Жака.

Жак не слушал. Он тщетно искал в памяти какую-нибудь подробность, которая могла бы его успокоить. Кажется, он поставил кастрюльку на пол. Затем, он, конечно, должен был потушить огонь и закрыть спиртовку колпачком. И, однако...

— У него шевелюра, как у старого облезлого льва,— продолжала Альфреда, смеясь.— Этот чемпион антиклерикализма устроил себе прическу на манер соборного органиста!

— Тс-с, девочка,— ласково проворчал Мейнестрель.

Обескураженный Митгерг кисло улыбался. Взъерошенные волосы придавали ему вид человека, готового прийти в ярость. Впрочем, он и в самом деле легко выходил из себя.

Митгерг был уроженец Австрии. Пять лет назад, чтобы избежать военной службы, он покинул Зальцбург, где начал было учиться на фармацевта. Переехав в Швейцарию,— сначала в Лозанну, потом в Женеву,— он закончил там свое профессиональное образование и теперь регулярно, четыре дня в неделю, работал в

лаборатории. Но он больше был занят социологией, чем химией. Одаренный изумительной памятью, он все читал, все запоминал, все словно раскладывал по полочкам в своей квадратной голове. К нему можно было обращаться как к справочнику. Товарищи, и в первую очередь Мейнестрель, делали это очень часто. Он был теоретиком революционного насилия. И в то же время человеком чувствительным, сентиментальным, робким и несчастным.

— Жанот уже разъезжал со своим докладом, можно сказать, везде,— продолжал он с важностью.— Он отлично осведомлен в европейских делах. Он приехал из Милана. В Австрии он провел два дня с Троцким. Рассказывает любопытные вещи. У нас есть план — после доклада свести его в кафе «Ландольт» и заставить разговориться. Вы придете, не правда ли? — сказал он, взглянув на Мейнестреля, потом на Альфреду. И, повернувшись к Жаку, добавил: — А ты?

— В «Ландольт», может быть, да,— ответил Жак,— но на доклад — нет! — Навязчивая мысль привела его в нервное состояние; кроме того, хотя он уже давно был свободен от всяких религиозных пережитков, антиклерикализм в других людях почти всегда раздражал его.— Уже в самом названии доклада есть что-то ребячески вызывающее: «Доказательства несуществования бога».— Он вынул из кармана зеленую бумажку, напоминавшую проспект.— А его декларация-программа! — воскликнул он, пожимая плечами. Он прочел высокопарным тоном: — «Я предлагаю вам принять такую систему Мира, которая делает совершенно бесполезным всякое обращение к гипотезе о Духовном Начале...»

— Легко издеваться над стилем,— прервал его Митгерг, вращая круглыми глазами. (Когда он воодушевлялся, его слюнные железы начинали усиленно работать, и слова сопровождались булькающим звуком.) Я согласен, что все это могло быть изложено наилучшим образом на языке рациональной философии. И все же не считаю бесполезным повторять все это снова и снова. Ведь именно благодаря предрассудкам церковники господствовали над людьми в течение веков. Без религии люди не мирились бы так долго с нищетой. Они давно уже восстали бы. И были бы свободны!

— Возможно,— согласился Жак, смяв программу и швырнув ее с мальчишеским задором в щель между ставнями.— Возможно, что такая проповедь вызовет сегодня гром аплодисментов, как в Вене, как в Милане... И я готов согласиться, что есть нечто трогательное в этой потребности все понять и тем самым освободиться от предрассудков,— потребности, в силу которой несколько сот мужчин и женщин, несмотря на жару, собираются в душной накуренной комнате, хотя куда лучше было бы сидеть на берегу озера и любоваться ночью и звездами. Но мне самому

посвятить целый вечер выслушиванию подобных вещей — нет, это свыше моих сил!

На последних словах его голос внезапно задрожал. Он вдруг представил себе, как пламя скручивает бумаги, разбросанные на столе, как загорается оконная занавеска,— увидел с такой ясностью, что у него перехватило дыхание. Мейнестрель, Альфреда и даже Митгерг, который не отличался наблюдательностью, взглянули на него с удивлением.

— А теперь до свидания,— сказал он отрывисто.

— Ты не пойдешь с нами в «Локаль»? — спросил Мейнестрель.

Жак уже взялся за дверную ручку.

— Мне нужно сначала зайти домой,— бросил он им.

Дойдя до улицы Каруж, он пустился бегом. На площади Пленпале он увидел отходящий трамвай и вскочил на площадку. Но на остановке у набережной, охваченный нетерпением, выпрыгнул из вагона и побежал через мост.

И только когда он выбрался из улицы Этюв и увидел знакомые дома на площади Грену, общественную уборную и мирный фасад «Глобуса», весь его панический страх испарился, словно по волшебству.

«Ну и дурак же я!» — подумал он.

Теперь он вспомнил, что закрыл фитиль медным колпачком и даже что обжег себе при этом кончики пальцев. Он чувствовал еще боль в мякоти большого пальца и осмотрел его, чтобы найти следы ожога. Воспоминание на этот раз было настолько определенным и бесспорным, что он даже не потрудился подняться на четвертый этаж, чтобы проверить точность своей памяти. Повернув обратно, он снова спустился к Роне.

С моста он увидел на голубом фоне Альп весь старинный, расположенный уступами город — от зеленых, купающихся в воде склонов до башен собора св. Петра. Жак все твердил про себя: «Вот глупость!..» Несоответствие между незначительностью происшествия и пережитым волнением оставалось для него загадкой. Он припоминал другие случаи такого же рода. Уже не впервые он становился игрушкой своего воображения. «Почему я в такие минуты способен полностью терять контроль над собой? — спросил он себя.— Какая странная и болезненная склонность побуждает меня уступать беспокойству? И не только беспокойству — *подозрению...*»

Запыхавшись и обливаясь потом, он вскарабкался в гору, не замечая привычных для него переулков, сумрачных и дышавших

свежестью, пересеченных площадками и подъездами, которые поднимались между старинных домов с деревянными балконами, словно для того, чтобы взять приступом город.

Незаметно для себя Жак оказался на улице Кальвина. Она шла прямо вверх; торжественная и печальная, она вполне соответствовала своему имени. Отсутствие магазинов, ровная линия фасадов из серого камня, суровых и исполненных достоинства, строгая жизнь, которая невольно представлялась воображению за этими высокими окнами,— все вызывало мысль о крепком, зажиточном пуританстве. В конце этой мрачной улицы вставала радостным видением залитая солнцем площадь Святого Петра с фронтоном собора, его колоннадой и старыми липами и встречала путника, как награда.

IV

«Воскресенье,— подумал Жак, увидев женщин и детей на паперти собора.— Воскресенье, и уже двадцать восьмое июня... Мое расследование в Австрии продлится, по крайней мере, десять — пятнадцать дней... А сколько еще нужно успеть сделать до конгресса!»

Этим летом 1914 года он, как и все его товарищи, многого ждал от постановлений по основным проблемам Интернационала, которые должен был принять социалистический конгресс в Вене, назначенный на 23 августа.

Не без удовольствия думал он о миссии, возложенной на него Пилотом. Он любил деятельность: для него она была средством возвыситься в собственном мнении, избегнув при этом угрызений совести. А кроме того, он был рад уехать на несколько дней, чтобы избегнуть бесконечных собраний и споров в тесной комнате.

Живя в Женеве, он почти никогда не мог удержаться от желания закончить день в «Локале». Иногда он только заходил туда на минуту, пожимал руки двум-трем приятелям и тотчас же уходил прочь. В иные вечера, побродив между столиками, он потом уединялся вместе с Мейнестрелем в отдельной комнате; это были его лучшие дни. (Драгоценные минуты дружеской близости, создававшие ему столько завистников: ибо те, у кого за плечами были годы борьбы, те, кто принимал участие в «революционном действии», не могли понять, как может Пилот предпочесть им общество Жака.) Чаще всего он допоздна засиживался в «Локале» в кругу товарищей. Обычно он держался немного отчужденно, молчал и не принимал участия в спорах. Когда же вмешивался в беседу, то обнаруживал широкий кругозор, стремление все понять

и примирить — качество ума, которое тотчас же придавало разговору необычайный поворот.

В этом космополитическом кружке, как и во всех подобных группировках, он снова встретился с двумя типами революционеров — *апостолами* и *практиками*.

Природная склонность влекла его к «апостолам» — будь они социалисты, коммунисты или анархисты. Сам того не сознавая, он чувствовал себя непринужденно в обществе этих великодушных мистиков, революционность которых исходила из того же источника, что и у него: из врожденной ненависти ко всякой несправедливости. Все они мечтали, подобно ему, о том, чтобы на развалинах существующего мира построить новое, справедливое общество. Их представление о будущем могло различаться в деталях, но чаяния их были одни и те же: новый социальный порядок, мир и братство. Подобно Жаку,— и именно в этом он чувствовал свою близость с ними,— они ревниво охраняли свое внутреннее благородство; тайный инстинкт, ощущение величия общего дела заставляли их подниматься над самими собой, превосходить самих себя. В сущности, их привязанность к революционному идеалу проистекала оттого, что они находили в нем мощный стимул, возбуждающий волю к жизни. В этом отношении «апостолы» невольно оставались индивидуалистами: хотя они и отдали свое существование борьбе за победу общего дела, но бессознательно чувствовали, что в хмельной атмосфере боев и надежд их личные силы и возможности словно удесятерялись; их темперамент обретал свободу, потому что они посвятили себя великой цели, которая превосходила их.

Но предпочтение, которое Жак оказывал идеалистам, не мешало ему признавать, что, постоянно поглощенные своей единой страстью, они действуют впустую. Истинным ферментом, бродилом революционного теста были «практики». Именно они выставляли четкие требования и готовили конкретное их осуществление. Их революционные познания были обширны и питались все новыми данными. Их фанатизм ставил себе ограниченные цели, распределенные по степени важности и отнюдь не химерические. В атмосфере идейной взвинченности, которую поддерживали «апостолы», «практики» были воплощением деятельной веры.

Самого себя Жак не относил с определенностью ни к одной из этих категорий. Очевидно, он меньше отличался от «апостолов», но ясность ума, или, по крайней мере, тяга к точным определениям, желание видеть перед собою конкретную цель, умение понимать ситуацию, людей и связывающие их отношения — все это могло бы, приложи он к тому некоторые усилия, сделать его недурным «практиком». И кто знает, может быть, при удачном сте-

чении обстоятельств, он сделался бы даже одним из *вождей?* Не было ли отличительной чертой *вождей* — соединение политических достоинств «практиков» с мистическим пылом «апостолов»? Некоторые революционные вожди, с которыми Жак сблизился, обладали этим двойным преимуществом: знанием дела (точнее — чувством действительности, настолько всеобъемлющим и вместе с тем глубоким, что они при любых обстоятельствах были способны тотчас же указать, что следует предпринять в связи с данными событиями и как изменить их ход) и авторитетом (притягательной силой, которая сразу же обеспечивала им непосредственное влияние и на людей, и, по-видимому, даже на факты и явления.) А ведь Жак не был лишен ни проницательности, ни авторитета, он обладал также довольно редко встречающейся способностью внушать к себе симпатию и увлекать за собой людей; и если он никогда не стремился развить в себе эти черты, то лишь потому, что, за редким случаем, испытывал инстинктивное отвращение к мысли о том, чтобы влиять на развитие и характер деятельности себе подобных.

Жак часто размышлял о своем странном положении в этом женевском мирке. Оно представало перед ним в различном свете в зависимости от того, рассматривал ли он его по отношению к коллективу или к отдельным личностям.

По отношению ко всей группе он держался, в общем, пассивно. Значило ли это, что он не проявлял никакой активности? Конечно, нет. И это больше всего удивляло его самого. Оказалось, что он в силу обстоятельств взял на себя известную роль, и притом роль довольно неблагодарную: объяснять и оправдывать некоторые духовные ценности, некоторые достижения гуманизма, формы искусства и жизни, которые все вокруг него называли «буржуазными» и которые всеми огульно осуждались. Он же сам,— хотя, так же как и его товарищи, был убежден, что в области цивилизации буржуазия уже свершила свою историческую миссию,— сам он не доходил до признания необходимости систематического и радикального уничтожения той буржуазной культуры, которая, как он чувствовал, все еще пропитывала его насквозь. И он выступал защитником того лучшего и вечного, что было ею создано, проявляя при этом известный интеллектуальный аристократизм, в высшей степени французский,— что глубоко раздражало его противников, но иногда вынуждало их если не пересматривать свои суждения, то, во всяком случае, смягчать безапелляционную форму своих приговоров. Быть может, поэтому они испытывали более или менее сознательное тайное удовлетворение оттого, что в их рядах находился этот перебежчик, который, как они знали, был глубоко предан тому же общественному идеалу, что и они, и присутствие

которого среди них как бы освещало идею неизбежной и необходимой революции благословением из того мира, разрушению которого они отдавали себя.

По отношению к отдельным людям — с глазу на глаз — его личная активность принимала совершенно иной размах. Возбудив вначале некоторое недоверие к себе, он приобрел затем громадное влияние,— разумеется, на лучших. Под его сдержанностью, изысканностью чувств и манер они находили человеческое тепло, которое растопляло их скованность и подогревало доверие. Они обращались с Жаком совсем не так, как обходились друг с другом, с товарищами по коллективу. В свои отношения с ним они вносили оттенок интимности и сердечности. Они делились с ним своими сомнениями, колебаниями. В иные вечера дело доходило до того, что они поверяли ему самое затаенное — свой эгоизм, свои человеческие недостатки и слабости. Возле него они яснее осознавали самих себя и черпали в этом новые силы. Они спрашивали у него совета, как если бы он владел в области внутренней жизни той истиной, которую на самом деле он везде и всегда искал для себя, и, таким образом, сами о том не подозревая, они жестоко смущали его; придавая его личности, его словам большее значение, нежели он хотел, они обязывали его все время держать себя в руках, молчать, не показывать другим своих ошибок, сомнений, разочарований; они возлагали на него ответственность, которая создавала вокруг него изолирующую зону и безжалостно обрекала его на одиночество. Порою это доводило Жака до отчаяния. «Откуда у меня этот незаслуженный престиж?» — спрашивал он себя. И в таких случаях вспоминал об излюбленной фразе Антуана: «Мы — Тибо... В нас есть нечто такое, что вызывает уважение...» Однако он легко избегал этих ловушек гордости, слишком ясно, увы, сознавая свою слабость, чтобы допустить, что какая-то таинственная сила может излучаться от него.

V

Кафе «Локаль», которое близкие к Мейнестрелю люди называли обычно «Говорильней», укрылось в самом центре верхней части города, на старинной улице Заставы, против собора.

Снаружи здание казалось непривлекательным. То была одна из старых, обветшалых построек, какие еще уцелели кое-где в этом чинном квартале. Четырехэтажный фасад был покрыт розоватой штукатуркой, потрескавшейся и изъеденной селитрой, и прорезан окнами без ставен, с подъемными рамами и такими пыльными стеклами, что строение выглядело нежилым. От улицы дом был отделен узким двором, окруженным стенами и заваленным кучами му-

сора и железного лома, среди которых рос большой куст бузины. Входных ворот более не существовало. Оставшиеся от них каменные столбы были соединены между собой куском цинка, образующим вывеску, где еще можно было прочесть: *«Медеплавильня»*. Плавильня давно уже выехала, но сохранила за собой дом в качестве товарного склада.

За этим-то необитаемым помещением и скрывался «Локаль». Кафе занимало двухэтажный флигель во втором дворе, невидимый с улицы; туда можно было пройти по сводчатому коридору, пересекавшему из одного конца в другой бывшую плавильню. В нижнем этаже флигеля помещался в свое время каретный сарай. Там жил Монье, мастер на все руки. Верхний этаж состоял из четырех комнат, расположенных анфиладой, вдоль которой шел темный коридор. Самая дальняя из них представляла собой тесный кабинет, ставший благодаря Альфреде чем-то вроде личной приемной Пилота. Остальные три комнаты, довольно обширные, служили местом для собраний. В каждой из них стояло по дюжине стульев, несколько скамеек и столов, на которых были разложены газеты и журналы: в «Локале» можно было найти не только социалистическую печать всей Европы, но и значительную часть нерегулярных революционных изданий — иногда выходили один за другим несколько номеров, посвященных пропаганде, а затем издание приостанавливалось на срок от полугода до двух лет, потому что касса была пуста или редакторы оказывались в тюрьме.

Как только Жак миновал сводчатый коридор и достиг заднего двора, гул оживленных споров, долетавший из открытых окон верхнего этажа, возвестил ему о том, что сегодня «Говорильня» полна народа.

Внизу на лестнице три собеседника с воодушевлением разговаривали не то по-испански не то по-итальянски. Это были три убежденных эсперантиста. Один из них, Шарпантье, педагог, нарочно приехавший из Лозанны, чтобы послушать доклад Жанота, редактировал довольно распространенный в революционных кругах журнал: «Леманский эсперантист». Он пользовался любым случаем, чтобы заявлять, что одной из первых потребностей основанного на интернационализме мира будет универсальный язык, что введение эсперанто как вспомогательного средства общения для всех национальностей облегчит людям духовный и материальный взаимообмен; при этом он любил ссылаться на священный авторитет Декарта, который в одном частном письме совершенно определенно выразил пожелание, чтобы был изобретен «универсальный язык», крайне легкий для изучения, произношения и письма и — что самое главное — способствующий ясности суждений...»

Жак подал руку всем троим и поднялся наверх.

На площадке лестницы, стоя на четвереньках, Монье приводил в порядок комплект «Форвертс». По профессии он был официантом. Сказать по правде, он редко занимался своим ремеслом, хотя в любое время года и в любой час носил жилет с глубоким вырезом и целлулоидную манишку; он довольствовался тем, что каждый месяц одну неделю сверхурочно работал в пивной, что обеспечивало ему досуг на остальное время, которое он посвящал исключительно «служению революции». Всем обязанностям он отдавался с одинаковым пылом: занимался по хозяйству, был курьером, размножал листовки, разбирал периодические издания.

В первой комнате, из которой была широко открыта дверь на лестницу, Альфреда и Патерсон разговаривали между собой, стоя одни у окна. В обществе англичанина — Жак еще раньше заметил это — молодая женщина охотно отказывалась от своей обычной роли молчаливой помощницы; казалось, что при нем она находила себя, свое лицо, которое в других случаях скрывала,— быть может, из робости. Альфреда держала под мышкой портфель Мейнестреля, а в руке — брошюру, из которой она что-то вполголоса читала Патерсону, слушавшему рассеянно, с трубкой в зубах. Он разглядывал склоненное над книжкой лицо, черную бахрому волос, тень, которую ресницы отбрасывали на ее щеки, удивительную матовую кожу и, наверное, думал: «Вот бы написать эту живую плоть...» Ни тот, ни другая не заметили, что Жак прошел мимо.

Во второй комнате собралось многочисленное общество. Возле двери сидел папаша Буассони со свисавшим на ляжки животом. Вокруг него стояли Митгерг, Герен и букинист Харьковский.

Буассони пожал руку Жака, не прерывая своей речи:

— Однако... однако... Что же это доказывает? Все то же самое: недостаточность революционного динамизма... Почему? Слабость мышления! — Он откинулся назад, положив руки на колени, и улыбнулся.

Каждый день он приходил одним из первых. Он обожал споры. Это был француз, бывший профессор естественно-научного факультета в Бордо; занятия антропологией привели его к антропосоциологии, а смелость его лекций в конце концов сделала его подозрительным в глазах университетского начальства, и он нашел себе пристанище в Женеве. В его наружности была странная особенность: огромная голова и совсем маленькое личико. Широкий лоб, переходящий в лысину, отвислые щеки и несколько подбородков один над другим окаймляли его физиономию рамой лишнего мяса, а в центре, на маленьком пространстве, были сосредоточены все черты лица: глаза, сверкавшие хитростью и добротой, короткий нос с жадными широкими ноздрями, словно чующими добычу, толстые губы, постоянно готовые улыбнуться. Казалось, вся жизнь

толстяка сконцентрирована в этой миниатюрной живой маске, затерянной, словно оазис, в пустыне бледного жира.

— Я уже сто раз говорил,— продолжал он, как лакомка, облизывая губы,— борьбу надо вести прежде всего на философском фронте!

Митгерг неодобрительно сверкнул глазами из-за очков. Он покачал взъерошенной головой:

— Действие и мысль должны быть едины!

— Вспомните, что произошло в Германии в девятнадцатом веке...— начал Харьковский.

Папаша Буассони хлопнул себя по ляжкам.

— Вот, вот именно! — сказал он, смеясь, уже предвкушая победу в споре. Пример немцев...

Жак знал заранее все, что скажет каждый из них: менялся только порядок возражений и аргументов, как расположение пешек на шахматной доске.

В центре комнаты стояли Желявский, Перинэ, Сафрио и Скада, образуя оживленный квартет. Жак подошел к ним.

— В капиталистической системе все тесно переплетено, все так прочно держится! — заявил Желявский, русский с длинными усами цвета пеньки.

— Вот *почему* надо только подождать, дорогой Сергей Павлович,— прошептал еврей Скада, с упрямой мягкостью выговаривая слова.— Крушение буржуазного мира совершится само собой...

Скада был израэлит из Малой Азии, человек лет пятидесяти. Крайне близорукий, он носил на крючковатом оливковом носу очки с толстыми, как линзы телескопа, стеклами. Он был очень некрасив: курчавые короткие волосы, словно приклеенные к яйцевидному черепу, огромные уши, но при этом теплый, задумчивый взгляд, полный неистощимой нежности. Он вел аскетический образ жизни. Мейнестрель называл Скаду — «мечтательный азиат».

— Как дела? — произнес глубокий бас, и в то же мгновение тяжелая рука опустилась Жаку на плечо.— Жарковато, а?

Это появился Кийёф. Он обошел собравшихся, расточая рукопожатия и возгласы: «Как дела?» Он никогда не дожидался традиционного: «А у тебя как?» И сам отвечал зимой и летом: «Жарковато, а?» (Только сугробы снега на улицах заставили бы его изменить эту формулу.)

— Крушение, быть может, еще далеко, но оно не-из-беж-но,— повторил Скада.— Время работает на нас. И это позволит нам умереть без сожаления...— Его дряблые веки опустились, и улыбка, ни к кому не обращенная, просто выражавшая его уверенность, медленно проползла по длинным, зашевелившимся, как змеи, губам.

Жан Перинэ выражал ему одобрение короткими и решительными кивками головы:

— Да, время работает!.. Везде! Даже во Франции.

Он говорил быстро и громко, ясным голосом; простодушно высказывал все, что приходило на ум. Его парижское произношение вносило забавную черточку в это космополитическое собрание. Ему можно было дать лет двадцать восемь — тридцать. Тип молодого рабочего из провинции Иль-де-Франс: оживленный взгляд, пробивающиеся усики, выразительный нос, вид опрятный и здоровый. Он был сыном мебельного фабриканта из Сент-Антуанского предместья. Совсем молодым он из-за какой-то романической истории ушел из семьи, узнал нищету, посещал анархистские кружки, сидел в тюрьме. Преследуемый после стычки с лионской полицией, бежал за границу. Жак очень любил его. Иностранцы держались от Перинэ на известном расстоянии: их смущала его смешливость, его выходки; в особенности оскорбительной казалась его неприятная привычка называть их в разговоре «макаронщик», «колбасник»... Он же не видел в этом ничего обидного: разве не называл он самого себя «парижской штучкой»?

Перинэ повернулся к Жаку, словно призывая его в свидетели:

— Во Франции, даже в среде фабрикантов и заводчиков, новое поколение уже чует, куда дует ветер. Оно чувствует, что, в сущности, все уже кончено, что масленица не может продолжаться вечно, что скоро земля, рудники, заводы, акционерные общества, средства транспорта — все неизбежно отойдет к массам, к обществу трудящихся... Молодые знают это. Не правда ли, Тибо?

Желявский и Скада быстро повернулись к Жаку и бросили на него испытующий взгляд, словно вопрос надо было выяснить срочно и они ожидали его мнения, чтобы принять решение исключительной важности. Жак улыбнулся. Конечно, он не меньше, чем они, придавал значение этим признакам социальных перемен; но меньше, чем они, верил в полезность подобных разговоров.

— Это верно,— согласился он.— Я думаю, что у многих молодых французских буржуа вера в будущее капитализма втайне пошатнулась. Они еще пользуются благами, которые дает им эта система, они даже надеются, что ее хватит на их век, однако уже не могут жить со «спокойной совестью»... Но и только. Не будем слишком спешить с выводом, что они готовы разоружиться. Я думаю, наоборот, что они будут отчаянно защищать свои привилегии. Они еще дьявольски сильны! К тому же они располагают еще одним печальным преимуществом: молчаливой покорностью большинства тех несчастных, которых они эксплуатируют!

— А кроме того,— сказал Перинэ,— они еще держат в своих лапах все командные посты.

— Они не только фактически их держат,— продолжал Жак,— но в настоящий момент почти что имеют некоторое право их занимать... Ведь, в конце концов, где найдешь...

— «Воспоминания пролетария»! — заревел внезапно Кийёф. Он остановился в глубине комнаты перед столом, где букинист Харьковский, исполнявший обязанности библиотекаря, каждый вечер раскладывал поступавшие с почты газеты, журналы, книги. Видны были только его склоненная голова и массивные плечи, трясущиеся от смеха.

Жак закончил фразу:

— ...где найдешь за короткий срок достаточное количество образованных людей, специалистов, способных занять их места? Почему ты улыбаешься, Сергей?

Желявский с минуту смотрел на Жака смеющимся и сердечным взглядом.

— В каждом французе,— сказал он, покачивая головой,— сидит скептик и спит только вполглаза...

Кийёф повернулся на каблуках. Он окинул взглядом различные группы собравшихся и направился прямо к Жаку, потрясая новенькой брошюрой.

— «Эмиль Пушар. Детские воспоминания пролетария»... Что это такое, скажите на милость, а?

Он смеялся, таращил глаза, выставляя вперед свою жизнерадостную физиономию и заглядывал всем по очереди в лицо с комическим негодованием, которое он шутки ради немного преувеличивал.

— Еще один незадачливый товарищ, а?.. Олух, решающий «проблемы»! Писака, который приспосабливает свою книжонку к уровню пролетариата!

Кийёфа называли то «Трибуном», то «Сапожником».

Он был родом из Прованса. После многих лет плавания в торговом флоте, перепробовав двадцать профессий во всех средиземноморских портах, он осел в Женеве. В его сапожной мастерской вечно толпились безработные активисты, находившие там в часы, когда «Локаль» был закрыт, зимой — жарко натопленную печь, летом — прохладительные напитки и во всякое время года — табак и оживленные споры.

Его певучий голос южанина обладал способностью увлекать людей, и он, не отдавая себе в том отчета, пользовался этим на редкость успешно. Нередко на массовых собраниях он молча просиживал два часа, скорчившись на скамейке, но вдруг под конец вскакивал на трибуну и, не высказывая ничего нового, одной лишь магией своего красноречия делал убедительными чужие идеи, воодушевлял всех несколькими фразами и заставлял принимать

решения, для которых не могли собрать большинство голосов самые искусные ораторы. В таких случаях трудно бывало остановить это щедрое словоизвержение, потому что его безудержный порыв, звучность голоса, чувство, будто в нем возникает некий ток и от него распространяется по залу,— все это доставляло ему физическое наслаждение, такое острое, что он никак не мог им насытиться.

Он перелистывал книжку, пробегая глазами названия глав и водя толстым указательным пальцем по строкам, как ребенок, читающий по складам:

— «Семейные радости»... «Теплота домашнего очага»... Вот, шкура! — Он закрыл книгу и вдруг, раскачав ее в руке и согнув колени, точным движением игрока в кегли, швырнул ее на стол.— Слушай,— сказал он, снова обращаясь к Жаку,— я тоже хочу написать свои воспоминания. Почему бы нет? Ведь и у меня были свои семейные радости! И воспоминания детства у меня есть! И даже столько, что хватит одолжить тем, у кого их нет!

Другие группы, привлеченные раскатами его голоса, уже приближались к нему; выходки Трибуна имели свойство время от времени разряжать атмосферу этих дискуссий в тесном кругу.

Он оглядел свою аудиторию, прищурив глаза, и начал очень искусно, приглушенным голосом, конфиденциальным тоном:

— Квартал Эстак в Марселе все знают, верно? Ну, так вот, мы жили вшестером в конце переулка на Эстаке. Две комнаты, да такие, что обе уместились бы в половине этой. А одна была без окон... Отец поднимался при свечах, на холодном рассвете, и вытаскивал меня из груды тряпок, в которых я спал вместе с братьями, потому что он не любил, чтобы храпели, когда он уже встал. Вечером, очень поздно, он возвращался полупьяный, измученный, бедняга, катаньем бочек по портовой набережной. Мать, постоянно больная, тряслась над каждым грошом. Она боялась отца не меньше, чем мы. Ее тоже целый день не было дома,— не знаю точно, кажется, она работала поденно по хозяйству в городе... Я был сфабрикован первым по счету,— такая мне выпала честь! — потому нес ответственность за троих малышей. И давал же я им тумаков, любо было посмотреть, когда они меня выводили из себя своим хныканьем, сопливыми носами, своими ссорами... И ни ложки горячего супа за весь день! Ломоть хлеба, луковица, дюжина оливок, иногда кусочек сала. Ни вкусной еды, ни доброго слова, ни развлечений — ничего. С утра до вечера шляйся по улице, дерись друг с другом из-за каждого гнилого апельсина, найденного в канаве... Мы вылизывали раковины от устриц, брошенные бездельниками, которые смаковали их, запивая стаканчиком белого вина, на тротуаре... В тринадцать лет мы уже путались с девчонками за заборами на пустырях... Вот шкура! Мои семейные радости!.. Холод, голод, не-

справедливость, зависть, возмущение... Меня отдали в ученики к кузнецу, который платил мне пинками в зад. Пальцы постоянно обожжены раскаленным железом, в голове жар от углей, а руки разламываются от кузнечных мехов!..

Он повысил тон, его голос стал вызывающим и дрожал от удовольствия. Быстрым взглядом окинул он своих слушателей, как бы говоря: «Мне тоже есть что порассказать из воспоминаний детства!»

Жак поймал смеющийся взгляд Желявского. Русский сдержанным движением руки остановил Кийёфа и спросил:

— Как ты пришел в партию?

— Это было давно,— сказал Кийёф.— Службу я проходил во флоте. Мне посчастливилось попасть в одну каюту с двумя парнями, которые *знали,* они занимались пропагандой. Я начал читать, учиться. Другие тоже. Мы давали друг другу книжки, спорили... Грызлись порядком... А через полгода у нас составилась целая группа... Когда я расстался с ними, я уже понял: я стал человеком...

Он замолчал, потом, глядя прямо перед собою в пространство, продолжал:

— Мы составляли целую группу... Целый отряд «твердокаменных». Что с ними сталось? Они-то не пишут воспоминаний, эти ребята! Как поживаете, красавицы? — закричал он, галантно повернувшись к двум подошедшим молодым женщинам.— Жарковато, а?

Круг расширился, чтобы дать место вновь пришедшим — швейцаркам Анаис Жюлиан и Эмилии Картье. Одна была учительницей, другая — сестрой милосердия от Красного Креста. Они жили в одной квартире и обычно вместе приходили на собрания. Анаис, учительница, говорила на нескольких языках и печатала в газетах переводы иностранных революционных статей.

Они были совершенно не похожи друг на друга. Младшая, Эмилия, была маленькая, полная брюнетка; ее лицо, обрамленное голубой вуалью, которая так ей шла, что она никогда с ней не расставалось, было молочно-розовым — как у английского бэби. Всегда веселая, слегка кокетливая; оживленные движения, язычок бойкий, но не злой. Больные обожали ее. Кийёф тоже. Он преследовал ее полуотеческими поддразниваниями. С неподражаемой серьезностью он объяснял: «Она не то чтобы красива, но, черт возьми, *умеет себя подать!*»

Другая, Анаис, была тоже брюнетка, с грубоватым лошадиным лицом, скуластая и румяная. Но и та и другая производили впечатление какого-то равновесия, какой-то словно излучавшейся от них внутренней силы — того благородства, которое свойственно

людям, не знающим разлада между тем, что они думают, что представляют собой и что делают.

Разговор возобновился.

Мечтательный Скада говорил о справедливости.

— Вносить как можно больше справедливости во все свои отношения с другими людьми,— проповедовал он со свойственной ему вкрадчивой мягкостью.— Это и есть то самое, что необходимо для умиротворения человечества.

— Как же! — вмешался Кийёф.— Твоя справедливость — я, не задумываясь, голосую за нее! Но не в этом дело!.. Чтобы установить мир во всем мире, слишком рассчитывать на нее не приходится: нет на свете бо́льших кляузников и ябедников, чем какой-нибудь вредный тип, помешанный на справедливости!

— Ничего нет прочного без любви,— прошептал маленький Ванхеде, остановившийся возле Жака.—Мир — это дело веры... веры и милосердия...— Несколько секунд он стоял неподвижно, потом удалился с загадочной улыбкой на губах.

Жак заметил Патерсона и Альфреду, которые шли через комнату, продолжая вполголоса беседовать между собой. Они неторопливо направлялись в другой зал, где должен был находиться Мейнестрель. Молодая женщина казалась рядом с англичанином совсем миниатюрной. Длинный и гибкий, с трубкой в зубах, он наклонялся к ней на ходу. Тонкие черты гладко выбритого лица, светлая кожа, всегда хороший покрой костюма, как бы ни был он изношен, делали внешность Патерсона более изысканной, чем у товарищей. Альфреда, проходя мимо группы Жака, обратила к ним свой глубокий взгляд, в котором иногда, как и в эту минуту, неожиданно вспыхивали искры, как будто от тайного огня, говорившего о том, что ей уготована какая-то героическая судьба.

Патерсон улыбнулся Жаку. У него был воодушевленный и счастливый вид, что еще более молодило его.

— Ричардли мне отдал все это,— воскликнул он с мальчишеской живостью, протягивая Жаку початую пачку табака.— Сделай себе папиросу, Тибо!.. Не хочешь?.. Напрасно...— Он вдохнул в себя дым и с наслаждением выпустил его через ноздри.— Уверяю тебя, друг, табак — вещь поистине восхитительная!..

Жак с улыбкой проводил их взглядом. Затем, в свою очередь, машинально направился к двери, за которой они только что скрылись, но остановился на пороге и оперся о косяк.

Из-за двери доносился голос Мейнестреля, сухой и резкий, с саркастической интонацией на концах фраз.

— Конечно, я не собираюсь принципиально отказываться от «реформ»! Борьба за реформы может в некоторых странах стать боевой программой. Благосостояние, достигнутое пролетариатом,

может, поднимая его уровень, в известной мере содействовать его революционному воспитанию. Но ваши «реформисты» воображают, что реформы есть *основное* средство достижения цели. Между тем это *лишь одно* из средств среди множества других! Ваши реформисты воображают, что социальное законодательство и экономические завоевания, повышая уровень жизни пролетариата, одновременно и неуклонно повышают его общественную активность... Но это еще вопрос! Они воображают, что одних реформ достаточно, чтобы приблизить час, когда пролетариату стоит лишь захотеть, и политическая власть сама свалится ему в руки. Но это еще вопрос!.. Никакие роды не обходятся без великих мук!

— Не бывает революции без бурного кризиса, без *Wirbelsturm!* [1] — сказал чей-то голос. (Жак узнал немецкий выговор Митгерга.)

— Ваши реформисты жестоко ошибаются,— продолжал Мейнестрель— Ошибаются вдвойне: *во-первых,* потому, что переоценивают силы пролетариата, *во-вторых,* потому, что переоценивают возможности капитала. Пролетариат еще очень далек от той степени зрелости, которую они ему приписывают. У него нет ни достаточной спайки, ни достаточно зрелого классового сознания, ни... так далее — для того, чтобы перейти в наступление и завоевать власть! Что же касается капитала — ваши реформисты воображают, что если он идет на уступки, значит, он даст себя проглотить по кускам, от реформы к реформе. Это абсурд! Его контрреволюционность, решимость, сопротивляемость не ослабели. Его макиавеллизм непрестанно готовит контрнаступление. Неужели вы думаете, будто он не знает, что делает, соглашаясь на реформы, которые подсказывают ему официальные партийные вожди,— ведь это расслаивает трудящихся и тем самым разрушает единство рабочего класса! И так далее... Конечно, я знаю, что капитал глубоко расколот изнутри; я знаю, что, несмотря на некоторые внешние признаки обратного, капиталистические противоречия все возрастают! Но тем больше оснований полагать, что, прежде чем дать себя сбросить, капитал пустит в ход все имеющиеся в его распоряжении козыри. *Все!* И один из тех, на которые он, правильно или нет, рассчитывает больше всего,— это война! Война, которая разом должна вернуть ему позиции, отнятые социальными завоеваниями! Война, которая должна ему позволить разъединить и парализовать пролетариат!.. *Во-первых,* разъединить — потому что нельзя сказать, будто пролетариату в целом недоступны патриотические чувства; война противопоставит значительные массы националистически настроенного пролетариата массам, сохра-

[1] Циклона *(нем.).*

нившим верность Интернационалу... *Во-вторых,* парализовать,— потому что с обеих сторон фронта наиболее сознательная часть трудящихся будет уничтожена на полях сражений; а оставшиеся будут либо деморализованы — в побежденной стране, либо их легко будет парализовать и усыпить — в стране победившей...

VI

— Уж этот Кийёф! — послышался совсем рядом голос Сергея Желявского.

Заметив, что Жак отошел от собравшихся, он последовал за ним.

— Смешно видеть, как глубоко сидит в нас все, что заложено с детства... Не правда ли? — Он казался еще более отрешенным, чем обычно.— А ты, Тибо,— спросил он,— как ты стал (он поколебался назвать Жака революционером)... как ты пришел к нам?

— О, я!..— произнес Жак, чуть улыбнулся и подался назад, как будто уклоняясь от ответа.

— А я,— подхватил Желявский с радостной решимостью робкого человека, который уступил наконец искушению поговорить о самом себе,— я хорошо помню, как все это шло одно за другим, с самого моего бегства из гимназии. Однако мне кажется, что я уже тогда был хорошо подготовлен... Первый толчок я получил гораздо раньше... В раннем детстве...

Говоря, он сжимал и разжимал кулаки, и, наклонив голову, рассматривал свои руки, белые, немного пухлые руки с короткими, квадратными на концах пальцами. Вблизи заметно было, что кожа на его висках и вокруг глаз испещрена мелкими морщинками. У него был длинный, торчащий вперед нос с плоскими ноздрями, похожий на долото, который еще больше выделялся из-за косой линии бровей и убегающего назад лба. Огромные светлые усы, каких никто не носил, казались сделанными из какого-то неизвестного невесомого вещества; они развевались по ветру, легкие, как вуаль, зыбились, как та облакоподобная борода, какую можно наблюдать у некоторых дальневосточных рыб.

Он легонько подтолкнул Жака в уголок, за газетным столом, где они оказались одни.

— Отец у меня,— продолжал он, не глядя на Жака,— управлял большим заводом, который сам же он и построил в родовом поместье, в шести верстах от Городни. Я все прекрасно помню... Но, знаешь, я об этом никогда не думаю,— сказал он, поднимая голову и уставив на Жака ласковый взгляд.— Почему же сегодня?..

Жак умел слушать внимательно, серьезно и сдержанно, и товарищи постоянно изливали ему свою душу. Желявский улыбнулся еще шире.

— Забавно все это, не правда ли? Я вспоминаю наш большой дом, и садовника Фому, и маленький поселок на опушке, где жили рабочие... Прекрасно помню себя совсем еще ребенком, я вместе с матерью присутствовал на церемонии, которая повторялась каждый год,— кажется, в именины отца. Это было на заводском дворе; отец стоял один за столом, на котором было блюдо с кучей серебряных рублей. И все рабочие проходили мимо него, один за другим, молчаливые, с согнутой спиной. И каждому отец давал монету. А они один за другим брали его руку и целовали... Да, в те времена так водилось у нас в России; и я уверен, что в некоторых губерниях так делается и теперь, в тысяча девятьсот четырнадцатом году... Мой отец был очень высок ростом и широк в плечах, всегда держался прямо; я его боялся. Может быть, и рабочие тоже... Вспоминаю, что после завтрака, в десять часов, когда отец надевал в передней шубу и шапку, чтобы идти на завод, я видел, как он каждый раз вынимал из ящика пистолет и разом, вот так, засовывал его в карман! Он никогда не выходил без палки, большой свинцовой палки, очень тяжелой, которую мне трудно было поднять, а он, посвистывая, вертел ее между двумя пальцами...— Почувствовав, что увлекся воспоминаниями об этих подробностях, Желявский улыбнулся.— Мой отец был очень сильный человек,— продолжал он после краткой паузы.— Из-за этого он и внушал мне страх, но я и любил его за это. И со всеми рабочими было, как со мной. Они боялись его, потому что он был тверд, деспотичен, а если надо было, даже жесток. Но и любили его за силу. А кроме того, он был справедлив; безжалостен, но очень справедлив!

Он снова остановился, как будто охваченный запоздалым сожалением; но, успокоенный вниманием Жака, возобновил свой рассказ:

— Затем однажды все в доме расстроилось. Входили и выходили какие-то люди в форме... Отец не пришел к обеду. Мать не хотела садиться за стол. Хлопали двери. Слуги бегали по коридорам. Мать не отходила от окна... Я слышал слова: «стачка», «бунт», «полицейский наряд»... И вдруг внизу закричали. Тогда я просунул голову сквозь лестничные перила и увидел длинные носилки, покрытые грязью и снегом, и на них — что я увидел? — отца, в разодранной шубе, с обнаженной головой... отца, ставшего вдруг совсем маленьким,— он лежал какой-то скрюченный, и рука у него свисала... Я заревел. Но мне накинули на голову салфетку и вытолкали на другую половину дома к горничным, которые читали перед иконами молитвы и болтали, как сороки... В конце концов

я тоже понял... Это было дело рабочих, тех, которых я видел, когда они, сгибая спины, проходили перед отцом и целовали ему руку; это были рабочие, те самые, и в этот день они больше не захотели целовать руку и получать рубли... И они сломали машины и сами стали сильнее всех! Да, рабочие! Сильнее отца!

Больше он не улыбался. Он крутил кончики своих длинных усов и свысока, с торжественным видом смотрел на Жака.

— В этот день, дорогой мой, все для меня переменилось: я перестал быть сторонником отца, я стал на сторону рабочих... Да, в тот самый день... Впервые я понял, как это огромно, как прекрасно — масса приниженных людей, которые вдруг выпрямляют спину!

— Они убили твоего отца? — спросил Жак.

Желявский разразился смехом, как мальчишка.

— Нет, нет... Только синяки от побоев, так, пустяки, почти ничего... Только после этого отец уже не был больше управляющим. Он так и не вернулся на завод. Жил с нами, пил водку и беспрестанно мучил мою мать, слуг, крестьян... Меня отдали в гимназию, в город. И я уже не возвращался домой... А два или три года спустя мать написала мне однажды, что надо молиться и горевать, потому что отец умер.

Он стал снова серьезен. И очень быстро, словно для себя самого, добавил:

— Однако я уже больше не молился... И вскоре за тем я бежал...

Несколько минут оба молчали.

Жак опустил глаза и вдруг подумал о своем собственном детстве. Он вновь увидел дом на Университетской улице; он ощущал затхлый запах ковров и обоев, специфический теплый запах отцовского кабинета, как тогда, когда он вечером возвращался из школы... Снова видел старую мадемуазель де Вез, семенящую по коридору, и Жиз, шалунью Жиз, с круглым лицом и прекрасными, дышащими верностью глазами... Видел класс, уроки, перемены... Вспоминал дружбу с Даниэлем, подозрения учителей, безрассудный побег в Марсель, и возвращение домой вместе с Антуаном, и отца, который ожидал их тогда, стоя в передней под люстрой в своем сюртуке... А потом — проклятое заточение в исправительной колонии, камера, ежедневные прогулки под надзором сторожа... Невольная дрожь пробежала у него по спине. Он поднял веки, глубоко вздохнул и огляделся вокруг.

— Смотри-ка,— сказал он, выходя из угла, где они находились, и отряхиваясь, словно собака, вылезшая из воды,— смотри вот Прецель!

Людвиг Прецель и его сестра Цецилия только что вошли. Они пытались ориентироваться среди различных групп, как вновь прибывшие, еще плохо знакомые с обстановкой. Заметив Жака, оба разом подняли руки и спокойно направились к нему.

Они были одинакового роста, темноволосые и до странности похожие друг на друга. И у брата и у сестры на круглой, несколько массивной шее красовалась античная голова с неподвижными, но отчетливо вылепленными чертами, стилизованная голова, казалось, не столько созданная природой, сколько изваянная по классическому канону: прямой нос продолжал вертикальную линию лба без малейшего изгиба на переносице.

Взгляд почти не оживлял эту скульптурную маску; разве что глаза Людвига светились чуть живее, чем глаза его сестры, в которых вообще не отражалось никакое человеческое чувство.

— Мы вернулись вчера,— объяснила Цецилия.

— Из Мюнхена? — спросил Жак, пожимая протянутые ему руки.

— Из Мюнхена, Гамбурга и Берлина.

— А прошлый месяц мы провели в Италии, в Милане,—добавил Прецель.

Маленький брюнет с неровными плечами, проходивший в эту минуту мимо них, остановился, и лицо его просияло.

— В Милане? — произнес он с широкой улыбкой, обнажившей прекрасные лошадиные зубы.— Ты видел товарищей из *«Avanti»?*

— Ну конечно...

Цецилия повернула голову:

— Ты оттуда?

Итальянец сделал утвердительный жест и повторил его несколько раз, смеясь.

Жак представил его:

— Товарищ Сафрио.

Сафрио было, по крайней мере, лет сорок. Он был невысокий, коренастый, с довольно неправильными чертами. Прекрасные глаза — черные, бархатные, сверкающие — освещали его лицо.

— Я знал твою итальянскую партию до тысяча девятьсот десятого года,— заявил Прецель.— Она была, правду сказать, одна из самых жалких. А теперь мы видели стачки Красной недели! Невероятный прогресс!

— Да! Какая мощь! Какое мужество! — вскричал Сафрио.

— Италия,— продолжал Прецель поучительным тоном,— конечно, много извлекла из примера организационных методов германской социал-демократии. Поэтому итальянский рабочий класс теперь сплочен и даже хорошо дисциплинирован, он действитель-

но готов идти во главе! В особенности сельский пролетариат там сильнее, чем в любой другой стране.

Сафрио смеялся от удовольствия.

— Пятьдесят девять наших депутатов в палате! А наша печать! Наша «Аванти»! Тираж — более сорока пяти тысяч для каждого номера! Когда же ты был у нас?

— В апреле и мае. На Анконском конгрессе.

— Ты их знаешь — Серрати, Веллу?

— Серрати, Веллу, Баччи, Москаллегро, Малатесту...

— А нашего великого Турати?

— Да ведь он же реформист!

— А Муссолини? Он-то не реформист, нет! Настоящий! Его ты знаешь?

— Да,— отвечал лаконически Прецель с неуловимой гримасой, которой Сафрио не заметил.

Итальянец продолжал:

— Мы жили вместе в Лозанне — Бенито и я. Он ждал амнистии, чтобы получить возможность вернуться к нам... И каждый раз, когда он приезжает в Швейцарию, он навещает меня. Вот и зимой...

— *Ein Abenteurer* [1],— прошептала Цецилия.

— Он из Романьи, как и я,— продолжал Сафрио, обводя всех смеющимся взглядом, в котором мерцала искра гордости.— Романец, друг и брат по детским забавам... Его отец содержал таверну в шести километрах от нашего дома... Я хорошо знал его... Один из первых романских интернационалистов! Надо было его послушать, когда он в своей таверне произносил речи против попов, против «патриотов»! А как он гордился сыном! Он говорил: «Если когда-нибудь мы с Бенито захотим, все правительственные гадины будут раздавлены!» И глаза у него сверкали, точь-в-точь как у Бенито... Какая сила у него в глазах, у Бенито! Правда?

— *Ja, aber er gibt ein wenig an* [2],— прошептала Цецилия, повернувшись к Жаку, который улыбнулся.

Лицо Сафрио помрачнело:

— Что это она говорит о Бенито?

— Она сказала: *«Er gibt an...»* [3] Любит пускать пыль в глаза,— объяснил Жак.

— Муссолини? — воскликнул Сафрио. Он кинул в сторону девушки гневный взгляд.— Нет! Муссолини — настоящий, чистый! Всегда был антироялист, антипатриот, антиклерикал. И даже ве-

---

[1] Авантюрист *(нем.)*.

[2] Да, но он немного переигрывает *(нем.)*.

[3] Переигрывает *(нем.)*.

ликий *condottiere!..*[1] Настоящий революционный вожак!.. И при этом всегда трезвый реалист... Сначала действие, а теория — потом!.. В Форли во время стачек он как дьявол носился по улицам, по митингам, везде! И уж он-то умеет говорить! Никаких пустых рассуждений! «Делайте это, делайте то!» А как он был доволен, когда развинтили рельсы, чтобы остановить поезд! Все действительно энергичные выступления против триполитанского похода — все было сделано благодаря его газете, благодаря ему! Он в Италии — душа нашей борьбы! А на страницах «Авантй» он каждый день вдохновляет массы революционной *furia!*[2] У королевского правительства нет врага сильнее, чем он! Если социализм вдруг приобрел у нас такую мощь, то это может быть *principalemente*[3] заслуга Бенито! Да! Его всюду и везде видели в этот месяц! Красная неделя! Как он взялся за дело! Ах, *per Bacco*[4], если бы только прислушались к его газете! Еще несколько дней — и вся Италия запылала бы! Если бы Конфедерация труда не испугалась и не прервала стачку,— это было бы началом гражданской войны, крушением монархии! Это была бы итальянская революция!.. У нас, Тибо, в Романье, товарищи однажды вечером провозгласили республику! *Si, si!*[5] — Он намеренно повернулся спиной к Цецилии и Прецелю и обращался только к Жаку. Потом опять улыбнулся и придал своему голосу оттенок ласковой суровости: — Берегись, Тибо, не верь всему, что слышишь!

Затем он слегка пожал плечами и удалился, не поклонившись обоим немцам.

Наступило короткое молчание.

Альфреда и Патерсон оставили открытой дверь комнаты, где находился Мейнестрель. Его не было видно, но временами доносился его голос, хотя он и не повышал тона.

— А у вас,— спросил Желявский у Прецеля,— дела идут хорошо?

— В Германии? Все лучше и лучше!

— У нас,— заявила Цецилия,— двадцать пять лет назад был всего один миллион социалистов. Десять лет назад их было два миллиона. А сегодня — четыре миллиона!

Она говорила не спеша, почти не шевеля губами, но вызывающим тоном, и ее тяжелый взгляд переходил попеременно с Жака на русского и обратно. Глядя на нее, Жак вспоминал всегда о гомеровской Юноне, о *волоокой* Гере.

---

[1] Предводитель, вожак *(итал.)*.
[2] Яростью *(итал.)*.
[3] Главным образом *(итал.)*.
[4] Клянусь Бахусом (итальянское ругательство).
[5] Да, да! *(итал.)*

— Несомненно,— сказал он примирительным тоном.— За двадцать лет социал-демократия накопила огромный созидательный опыт. Организационный талант, который проявили ее вожди, прямо удивителен... Быть может, остается только задать вопрос, не стал ли революционный дух — как бы это сказать? — мало-помалу слабеть в немецкой партии... Как раз из-за этих усилий, направленных единственно лишь на организационную сторону дела...

Прецель взял слово:

— Революционный дух?.. Нет, нет, на этот счет будь спокоен! Надо сначала организоваться, чтобы стать силой!.. У нас не только идеология, но и реализм. И это лучше всего!.. Если все последние годы,— я имею в виду особенно тысяча девятьсот одиннадцатый и двенадцатый годы,— в Европе был сохранен мир, то благодаря кому? И если сегодня можно надеяться, что мы надолго избежали опасности великой европейской войны, то благодаря кому? Тому же немецкому пролетариату! Весь мир знает об этом. Ты говоришь: созидательный опыт социал-демократии. Это еще больше, чем ты думаешь. Это — монументальное сооружение. Оно стало поистине государством в государстве. Каким же образом? В значительной мере благодаря могуществу нашей парламентской фракции. Наше влияние в рейхстаге непрерывно растет. Если завтра пангерманцы позволят себе вылазку вроде Агадира, то будут протестовать уже не только двести тысяч манифестантов в Трептов-парке, но и все социалистические депутаты рейхстага! А с ними — все левые элементы нашей страны!

Сергей Желявский внимательно слушал.

— Однако, когда проходил новый закон о вооружениях, ваши депутаты голосовали *за!*

— Простите,— сказала Цецилия, поднимая кверху указательный палец.

Брат прервал ее:

— Ах! Надо же понимать тактику, Желявский,— сказал он, высокомерно улыбаясь.— Тут две вещи, совершенно различные: есть *die Militärvorlage,* закон о вооружениях, и есть *die Wehrsteuer,* закон, отпускающий кредиты, чтобы реализовать этот закон. Социал-демократы сначала голосовали *против* первого закона, а затем, когда этот закон был, несмотря ни на что, принят рейхстагом, они голосовали *за* закон о кредитах. И это была хорошая тактика... Почему?.. Потому, что в этом законе было новое для нашего рейха, нечто чрезвычайно для нас нужное: прямой общеимперский налог на крупные состояния! Нельзя было упустить такой случай! Потому, что в этом действительно заключалась новая социальная победа пролетариата!.. Теперь понимаешь? А доказательством того, что наши депутаты остаются непреклонны по

отношению к *Militarismus* [1], служит то, что каждый раз, когда они имеют возможность голосовать против внешней политики канцлера, они ее единодушно отвергают!

— Это верно,— согласился Жак.— Однако...

Он замялся.

— Однако? — спросил с интересом Желявский.

— Однако? — повторила Цецилия.

— Ну... как вам сказать? В Берлине я имел возможность познакомиться с вашими социалистическими депутатами рейхстага, и у меня создалось впечатление, что их борьба против милитаризма остается в общем довольно платонической... Я говорю не о Либкнехте, конечно, а о других. Бóльшая часть из них явно не стремится к тому, чтобы вырвать корень зла, чтобы открыто подорвать дух подчинения немецких масс военщине... У меня создалось впечатление,— как бы это сказать? — что, несмотря ни на что, они все до ужаса *немцы*... Убежденные в исторической миссии пролетариата, само собой разумеется, но убежденные прежде всего в исторической миссии *немецкого* пролетариата. И они не заходят так далеко в своем интернационализме и антимилитаризме, как мы, во Франции.

— Конечно,— сказала Цецилия, и веки ее на мгновение опустились, скрывая взгляд.

— Конечно,— повторил Прецель тоном вызывающего превосходства.

Желявский поспешил вмешаться.

— Ваши буржуазные демократии,— заметил он, лукаво улыбаясь,— терпят социалистов в своих парламентах именно потому, что они прекрасно знают, что социалист в правительстве никогда не бывает по-настоящему опасным социалистом...

Митгерг, Харьковский и папаша Буассони на другом конце комнаты встали и подошли к говорившим.

Прецель и Цецилия пожали им руки.

Желявский тихо покачивал головой, по-прежнему улыбаясь.

— Знаешь ли, что я думаю? — сказал он, повернувшись на этот раз к Жаку.— Я думаю, что для порабощения масс ваши демократические режимы — ну, все ваши республики и парламентские монархии — это орудия, быть может, столь же ужасные и еще более коварные, чем наш постыдный царизм...

— Поэтому,— резко заявил Митгерг, который все слышал,— прав был Пилот, когда однажды вечером сказал: «Борьба против демократии всеми средствами, вплоть до кровопролития — вот первостепенная задача революционного действия!»

---

[1] Милитаризму *(нем.)*.

— Простите,— возразил Жак.— Прежде всего Пилот имел в виду только Россию, русскую революцию; и говорил он, что русская революция должна была не начинать с буржуазной демократии, а сразу стать пролетарской... А потом, не будем преувеличивать: можно все-таки с пользой работать и в рамках демократического строя... Например, Жорес... Все, что социалисты уже завоевали во Франции и еще более в Германии...

— Нет,— сказал Митгерг,— революция или эмансипация в рамках демократического строя — это две разные вещи! Во Франции вожди стали наполовину буржуа. Они утратили чистоту революционного духа!

— Послушаем немножко, что говорят рядом,— прервал Буассони, лукаво подмигивая в сторону открытой двери.

— Мейнестрель там? — спросил Прецель.

— Разве ты не слышишь его? — сказал Митгерг.

Они замолчали и прислушались. Голос Мейнестреля звучал однообразно и четко.

Желявский взял Жака под руку.

— Пойдем, послушаем и мы тоже...

VII

Жак выбрал себе место рядом с Ванхеде, который, скрестив руки и полузакрыв глаза, стоял, прислонившись к пыльной полке, куда Монье складывал старые брошюры.

— А я,— говорил Траутенбах, немецкий еврей, светло-рыжий и курчавый, живший обычно в Берлине, но часто наезжавший в Женеву,— я не верю, что можно добиться толку легальными средствами! Это робкие методы, интеллигентские!

Он повернулся к Мейнестрелю, ожидая от него знака одобрения. Но Пилот, сидевший в центре группы рядом с Альфредой, раскачивался на стуле, устремив взгляд в пространство.

— Уточним! — сказал Ричардли, высокий человек с черными волосами, подстриженными ежиком. (Три года назад этот космополитический кружок объединился вокруг него, и до появления Мейнестреля он был душой группы. Впрочем, он сам стушевался перед авторитетом Пилота и теперь тактично и преданно играл при нем роль второй скрипки.) — Сколько стран, столько и решений вопроса... Можно допустить, чтобы в некоторых демократических странах, как, например, во Франции и в Англии, революционное движение пользовалось легальными методами... До поры до времени! — Говоря, он выдвигал вперед подбородок — острый и волевой. Его бритое лицо с белым лбом, обрамленным черными

волосами, казалось на первый взгляд довольно приятным, однако его агатовым глазам недоставало мягкости, от уголков тонких губ тянулись черточки, как будто они были надсечены, а в голосе чувствовалась неприятная сухость.

— Трудность заключается в том,— заговорил Харьковский,— чтобы угадать, в какой момент следует перейти от легальных средств к насилию и восстанию.

Скада поднял свой горбатый нос.

— Когда давление пара слишком сильно, крышка сама собой слетает с самовара!

Раздался смех — жестокий смех, то, что Ванхеде называл «их каннибальским смехом».

— Браво, азиат! — закричал Кийёф.

— До тех пор, пока капиталистическая экономика располагает государственной властью,— заметил Буассони, проводя своим маленьким язычком по розовым губам,— борьба народа за демократические свободы не может содействовать развитию подлинной револю...

— Разумеется! — бросил Мейнестрель, даже не взглянув на старого педагога.

Наступило молчание.

Буассони хотел продолжить:

— История учит... Посмотрите, что произошло из-за...

На этот раз его прервал Ричардли:

— Ну да, история! Позволяет ли нам история думать, что можно *предвидеть,* что можно заранее назначить срок начала революции? Нет! В один прекрасный день самовар взрывается... Движение народных сил не поддается прогнозам.

— Это еще вопрос! — заявил Мейнестрель не допускающим возражений тоном.

Он замолчал, но все, кто был знаком с его привычками, поняли, что он собирается говорить.

На собраниях он обычно молча продумывал свою мысль, долго не вмешиваясь в спор. Только время от времени прерывал споривших короткими восклицаниями вроде загадочного: «Это еще вопрос!» — или уклончивого и обезоруживающего: «Разумеется!» В других устах это производило бы комическое впечатление. Но острота его взгляда, твердость голоса, напряженная воля и мысль, которые угадывались в нем, вовсе не располагали к улыбке и привлекали внимание даже тех, кого отталкивала резкость его манер.

— Не следует смешивать понятия...— отчеканил он внезапно.— «Предвидеть»! Можно ли предвидеть революцию? Что это значит?

Все слушали. Он вытянул вперед больную ногу и откашлялся. Рука его, напоминавшая клещи, с полусогнутыми пальцами, как будто он постоянно держал в ладони невидимый мяч,— поднялась, погладила бороду и прижалась к груди.

— Не следует смешивать *революцию* с *восстанием*. Не следует смешивать *революцию* и *революционную ситуацию*... Не обязательно всякая революционная ситуация порождает революцию. Даже если она порождает *восстание*... Пример — тысяча девятьсот пятый год в России: вначале революционная ситуация, затем восстание, но не революция.— Несколько секунд он собирался с мыслями.— Ричардли говорит: «прогнозы». Что это значит? Точно предсказать момент, когда ситуация станет *революционной*, трудно. Тем не менее движение пролетариата, опираясь на *пред*революционную ситуацию, может благоприятствовать, может ускорить развитие революционной ситуации. Но развязывает революцию почти всегда внешнее событие, неожиданное и более или менее непредвиденное; я хочу сказать — такое, срок которого не может быть заранее точно установлен.

Он положил локоть на спинку стула, где сидела Альфреда, и подпер кулаком подбородок. Несколько мгновений его ясновидческий взгляд был сосредоточен на какой-то отдаленной точке.

— Дело в том, что нужно принимать вещи такими, как они есть. В действительности, на практике. (У него была особенная манера произносить это слово — «практика»: пронзительно, как звон литавр.) Пример — Россия... Надо всегда обращаться к примерам, к фактам! Только так мы можем чему-либо научиться. Мы имеем дело не с математикой. В деле революции — как в медицине: есть теория и затем есть практика. И есть даже нечто другое: искусство... Но оставим это... (Прежде чем продолжать, он взглянул на Альфреду с беглой улыбкой, словно лишь ее считал способной оценить его отступление.) В тысяча девятьсот четвертом году в России, перед войной в Маньчжурии, сложилась предреволюционная ситуация. Предреволюционная ситуация, которая могла и должна была привести к ситуации революционной. Но как? Можно ли было предвидеть, каким образом это произойдет? Нет. Могли вскрыться многие нарывы... Был аграрный вопрос. Был еврейский вопрос. Были проблемы Финляндии, Польши. Был русско-японский антагонизм на Востоке. Невозможно было предугадать, какое именно неожиданное обстоятельство превратит предреволюционную ситуацию в революционную... И внезапно это произошло. Клике авантюристов и спекулянтов удалось приобрести достаточное влияние на царя, чтобы втянуть его в войну на Дальнем

Востоке без ведома и вопреки политике его министра иностранных дел. Кто мог бы это предвидеть?

— Можно было предвидеть, что русско-японское соперничество в Маньчжурии неминуемо вызовет конфликт,— тихо заметил Желявский.

— Но кто мог бы сказать, что этот конфликт разразится именно в тысяча девятьсот пятом году? И что он разразится не по поводу Маньчжурии, а по поводу Кореи?.. Вот пример того *нового фактора,* который превращает предреволюционную ситуацию в революционную... В России понадобилась эта война, эти поражения... И только тогда увидели, что ситуация становится *революционной* и развивается в *вооруженное восстание*... Восстание, но не *революция!* Еще не пролетарская революция! Почему? Потому что переход от революционной ситуации к восстанию — это одно, а переход от восстания к революции — другое... Не правда ли, девочка? — добавил Мейнестрель вполголоса.

Говоря, он несколько раз быстрым движением наклонял голову, чтобы видеть выражение лица Альфреды. Он замолчал, не глядя ни на кого. Казалось, что он не столько думал о том, что только что сказал, сколько созерцал абсолютную истину тех доктрин, в кругу которых он любил вращаться, никогда не теряя из виду соотношения между теорией и практикой, между революционным идеалом и той или иной данной ситуацией. Его глаза напряженно смотрели куда-то. В такие мгновения казалось, что вся его жизненная сила сосредоточена в сумрачном пламени его взгляда; и этот взгляд, где было так мало человеческого, вызывал мысль о скрытом огне, постоянно бушевавшем у него внутри, огне, который пожирал его плоть и питался его духом.

Папашу Буассони революционные теории интересовали больше, чем революция; он нарушил молчание:

— Да! Верно! Согласен! Трудно предвидеть переход предреволюционной ситуации в революционную... Однако, однако... Когда эта революционная ситуация уже сложилась, разве невозможно предвидеть наступление революции?

— Предвидеть! — перебил раздраженно Мейнестрель.— Предвидеть... Главное не в том, чтобы предвидеть... Главное в том, чтобы подготовить и ускорить переход революционной ситуации в революцию! Тут все зависит от *субъективных* факторов: от степени готовности вождей и революционного класса к революционному действию. И эту готовность надлежит нам всем, авангарду, развивать максимально, всеми средствами. Когда готовность станет достаточна, тогда можно ускорить переход к революции! Тогда можно управлять событиями! Тогда, если вам угодно, да, можно *предвидеть!*

Последние фразы он произнес одним духом, понизив голос и с такой быстротой, что многим слушателям-иностранцам трудно было его понять. Он замолчал, слегка откинул голову, коротко улыбнулся и закрыл глаза.

Жак, все время стоявший, заметил возле окна свободный стул и занял его. (Принимать участие в коллективной жизни для него было лучше всего вот так, когда он мог, не порывая контакта, избегнуть тесного соприкосновения с другими и, держась в стороне, вернуть себе самообладание,— тогда он испытывал не только чувство солидарности с товарищами, но и чувство братства. Удобно устроившись на стуле, скрестив руки и прислонившись головой к стене, он на мгновение окинул взглядом кружок: после минутной передышки все лица снова обратились к Мейнестрелю. Позы были различные, но свидетельствовали о напряженном внимании... Как он любил их, этих людей, отдавших себя целиком служению революционному идеалу, людей, чью жизнь, бурную и изломанную, он знал в подробностях! Он мог в идейном плане выступать против некоторых из них, мог страдать от взаимного непонимания, от некоторых грубостей, но он любил их всех, потому что все они были «чистые». И был горд их любовью к себе, ибо они любили его, несмотря на все, чем он от них отличался, потому что они чувствовали, что он тоже «чистый»... Внезапное волнение затуманило его взгляд. Он перестал видеть их, различать одного от другого; и на один миг этот круг людей, стоявших вне закона, собравшихся сюда со всех концов Европы, сделался в его глазах образом угнетенного человечества, которое осознало свое порабощение и, наконец восстав, собирало все свои силы, чтобы перестроить мир.

В тишине раздался голос Пилота:

— Возвратимся к русскому примеру, к этому великому опыту. Следует всегда к нему обращаться... Можно ли было предвидеть в тысяча девятьсот четвертом году, что предреволюционная ситуация станет революционной уже на следующий год после поражений на Востоке? Нет!.. А разве в тысяча девятьсот пятом году, когда эта революционная ситуация была создана обстоятельствами, можно было знать, совершится ли революция, пролетарская революция? Нет! И еще меньше можно было знать, победит ли она... Объективные факторы были превосходные, ярко выраженные. Но субъективные факторы были недостаточны... Припомните факты. Объективные условия — великолепные! Военный разгром, политический кризис. Экономический кризис: кризис снабжения, голод... И так далее... И температура стремительно поднимается: всеобщая забастовка, крестьянские волнения, бунты, «Потемкин», декабрьское восстание в Москве... Почему же все-таки

революционная ситуация не смогла разгореться в *революцию?* Из-за недостаточности *субъективных* факторов, Буассони! Потому, что ничего не было готово! Ни подлинной революционной воли! Ни точных директив в уме вождей! Ни согласия между ними! Ни иерархии, ни дисциплины! Ни достаточной связи между вождями и массами! А в особенности — не было союза между массами рабочими и крестьянскими, никакой серьезной революционной подготовки у крестьян!

— Однако мужики...— отважился заметить Желявский.

— Мужики? Они действительно немного поволновались в своих деревнях, занимали поместья, кое-где пожгли *барские* усадьбы. Верно! Но кто же согласился выступить против рабочих? Мужики! Из кого вербовались полки, которые на московских улицах зверски расстреливали революционный пролетариат? Из мужиков, только из мужиков... Отсутствие субъективных факторов! — сурово повторил Мейнестрель.— Когда знаешь, что происходило в декабре тысяча девятьсот пятого года; когда подумаешь, сколько времени зря потеряла социал-демократия на теоретические дискуссии; когда убеждаешься, что вожди даже не договорились между собой о целях борьбы, даже не пришли к соглашению о тактике совместных действий, вплоть до того, что забастовка в Петербурге самым глупым образом прекратилась как раз тогда, когда начинался подъем в Москве, вплоть до того, что забастовка связистов и железнодорожников закончилась в декабре, как раз в тот момент, когда прекращение работы транспорта могло парализовать правительство и помешать ему бросить на Москву полки, которые раздавили восстание,— тогда понимаешь, почему в тысяча девятьсот пятом году в России революция...— Он на какую-то долю секунды остановился, наклонил голову к Альфреде и очень быстро прошептал: — ...революция была заранее *об-ре-чена!*

Ричардли, который сидел, опершись локтями о колени и наклонившись вперед, играл пальцами, поднял изумленные глаза.

— Заранее обречена?

— Разумеется! — ответил Мейнестрель.

Наступило молчание.

Жак осмелился заговорить с места:

— Но в таком случае, вместо того чтобы доводить дело до такого конца, не лучше ли было бы...

Мейнестрель смотрел на Альфреду; он улыбнулся, не обращая взгляда к Жаку. Скада, Буассони, Траутенбах, Желявский, Прецель молчаливо выражали одобрение.

Жак продолжал:

— Поскольку царь даровал конституцию, не лучше ли было бы...

— ...достигнуть предварительного соглашения с буржуазными партиями,— докончил Буассони.

— ...воспользоваться конституцией, чтобы методически лучше организовать русскую социал-демократию,— добавил Прецель

— Нет, я не думаю так,— тихо заметил Желявский.— Россия — это не Германия. И я думаю, что Ленин был прав.

— Вовсе нет! — воскликнул Жак.— Это Плеханов был прав! После октябрьской конституции не надо было *браться за оружие*... Надо было остановить движение! Закрепить достигнутое!

— Они обескуражили массы,— сказал Скада.— Люди гибли неизвестно ради чего.

— Это правда,— горячо продолжал Жак.— Они могли бы избавить людей от многих страданий... Сколько крови было пролито напрасно!..

— Это еще вопрос! — резко заявил Мейнестрель.

Он уже не улыбался.

Все смолкли и стали прислушиваться.

— Выступление было заранее обречено? — продолжал он после краткой паузы.— Да! И с октября!.. Но кровь лилась напрасно? Конечно, нет!..

Он встал, чего не делал еще почти ни разу с тех пор, как начал говорить. Пошел к окну, рассеянно поглядел в него и быстро возвратился к Альфреде.

— Декабрьское восстание не могло привести к завоеванию власти. Допустим! Было ли это доводом, чтобы не действовать так, *как если бы* это завоевание было возможно? Конечно, нет! Прежде всего потому, что мощь революционных сил познается только при их испытании, в ходе революции. Плеханов не прав. После октября надо было *браться за оружие*. Надо было, чтобы пролилась кровь!.. Тысяча девятьсот пятый год — этап. Этап необходимый, исторически необходимый. После Коммуны — это вторая, и на более высокой ступени, попытка превратить империалистическую войну в социальную революцию. Кровь пролилась не напрасно! До тысяча девятьсот пятого года русский народ — народ и даже пролетариат — верил в царя. Его имя произносили, осеняя себя крестом. Но с тех пор как царь велел стрелять в народ, пролетариат и даже многие мужики начали понимать, что от царя нечего больше ждать, так же как и от правящих классов. В стране, столь мистически настроенной, такой отсталой, необходимо было кровопролитие, чтобы развить классовое сознание... И это еще не все.

Это был опыт исключительной важности и с другой точки зрения, с точки зрения революционной практики, вожди могли пройти здесь школу, не имевшую прецедента. Быть может, завтра все убедятся в этом!

Он по-прежнему стоял, блестя глазами, подчеркивая жестами каждую фразу. Кисти его рук обладали женственной гибкостью; он плавно, змеиным движением шевелил пальцами, и его жестикуляция наводила на мысль о Востоке, о танцовщицах Камбоджи, об индийских укротителях змей.

Он погладил Альфреду по плечу и сел.

— Быть может, завтра все убедятся в этом,— повторил он.— Сегодняшняя Европа, как и Россия в тысяча девятьсот пятом году, находится как раз в предреволюционной ситуации. Противоречия капиталистического мира раздирают Европу. Процветание — лишь иллюзия... Но когда и как возникнет новый фактор? И каков будет он? Экономический кризис? Кризис политический? Война? Революция в каком-либо государстве? Когда и как создастся революционная ситуация?.. Вряд ли кто-нибудь может это *предвидеть*. Да к тому же это и не так важно. Новый фактор возникнет. Важно уже сегодня *быть готовыми!* В России тысяча девятьсот пятого года пролетариат не был готов! Потому-то все и рухнуло. Готов ли европейский пролетариат? Готовы ли его вожди?.. Нет!.. Крепка ли солидарность между фракциями Интернационала? Нет! Достаточно ли прочен союз вождей пролетариата, чтобы быть действенным? Нет!.. Разве можно думать, что торжество революции будет когда-либо возможно без тесного объединения революционных сил всех стран?.. Правда, они создали Международное социалистическое бюро. Но что это такое? Не более как информационный орган. Это даже не зародыш того *единого пролетарского центра,* без которого никакое одновременное и решительное выступление никогда не будет возможно!.. Интернационал? Свидетельство духовного единства пролетариата. Это не пустяк... Но свою реальную организацию пролетариат еще должен создать. Еще все дело впереди! В чем выражается активность пролетариата? В конгрессах!.. Я не хочу плохо говорить о конгрессах, я сам буду в Вене двадцать третьего августа... Но, в сущности, от конгрессов ждать нечего!.. Пример — Базель, тысяча девятьсот двенадцатый год. Грандиозная манифестация против Балканской войны — разумеется. Посмотрим, однако, на результат. Они с энтузиазмом приняли замечательные резолюции. В особенности замечательна ловкость, с которой они обошли молчанием проблему, вплоть до слов «всеобщая забастовка» в их резолюциях! Припомните прения: изучали ли когда-нибудь проблему забастовки *по существу*, как проблему *практическую,* которая ставится различно в зависимости от ситуации, от страны? Какова должна быть позиция того или иного пролетариата в случае той или иной войны?.. Война? Это одна субстанция. Пролетариат? Это другая субстанция. И на тему об этих субстанциях наши лидеры разводят ораторские вариации, как

проповедник с церковной кафедры на тему о добре и зле. Вот каково положение! Интернационал предается размышлениям на досуге. Слияние теории, с одной стороны, и сознательности, силы, революционного порыва масс, с другой стороны,— еще даже не начиналось!

Несколько мгновений он молчал.

— Все дело еще впереди! — произнес он тихо и задумчиво.— Все. Подготовка пролетариата предполагает громадные и координированные усилия, а они еще едва лишь наметились. Я буду говорить об этом в Вене. Все дело еще впереди,— повторил он еще раз очень тихо.— Правда, девочка? — Он бегло улыбнулся, затем его взгляд пробежал по кругу слушателей, и на лбу его появились складки.— Пример: почему у Интернационала до сих пор нет своего ежемесячного журнала и даже еженедельного? Какого-нибудь «Европейского бюллетеня», который издавался бы на всех языках, общего органа всех рабочих организаций всех стран? Я буду говорить об этом на конгрессе. Это лучший способ для вождей давать одновременно единый ответ миллионам пролетариев, которые во всех странах задают себе примерно одни и те же вопросы. Это лучший способ дать возможность всем трудящимся, состоящим в партии или нет, быть полностью в курсе мирового политического и экономического положения. Это в современных условиях один из лучших способов еще больше развить у рабочего интернациональные рефлексы: следует добиться, чтобы металлист Мо́талы или ливерпульский докер ощущали как событие своей собственной жизни любую стачку, где бы она ни вспыхнула,— в Гамбурге, в Сан-Франциско, в Тифлисе! Надо, чтобы каждый рабочий, каждый крестьянин, возвращаясь в субботу вечером после работы к себе домой, находил на своем столе журнал и брал его в руки, зная, что в тот же миг он находится в руках пролетариев всего мира; надо, чтобы он мог прочесть новости, статистические данные, указания, очередные инструкции, которые, как он знал бы, читаются в тот же миг во всем мире всеми теми, кто, подобно ему, сознает права масс,— уже одно это обладало бы ис-клю-чи-тель-ной воспитательной силой! Не говоря уже о том, что на правительства это произвело бы впечатление...

Последние фразы следовали одна за другою с такой быстротой, что их трудно было разобрать. Он прервал свою речь, заметив Жанота, докладчика, который входил в комнату, окруженный несколькими друзьями.

И все завсегдатаи «Локаля» поняли, что Пилот в этот вечер больше ничего не скажет.

VIII

Жак не знал Жанота. Он оказался именно таким, как его описывала Альфреда. Коренастый, немного натянутый, в старомодном черном костюме, он на цыпочках прошел через комнату, и его смиренные движения и жесты церковного служки плохо согласовывались с торжественным выражением его лица, увенчанного копною волос какой-то баснословной белизны, волос, подобных гриве геральдического зверя.

Жак встал. Воспользовавшись сутолокой представлений и приветствий, чтобы незаметно исчезнуть, он прокрался в самую дальнюю комнатку и стал дожидаться Мейнестреля.

Тот и в самом деле не замедлил появиться. Как всегда — в сопровождении Альфреды.

Беседа была краткой. Мейнестрель в несколько минут извлек из папки дела «Гиттберг — Тоблер» пять-шесть документов, на которых основывалось обвинение. Он передал их Жаку и прибавил записку к Хозмеру. Затем он дал несколько общих советов относительно фактической стороны расследования.

После этого он поднялся.

— А теперь, девочка, обедать!

Альфреда быстро собрала разбросанные бумаги и уложила в портфель.

Мейнестрель подошел к Жаку. Он разглядывал его секунду-другую. Дружеским тоном, совершенно не похожим на тот, в котором только что вел с ним разговор, он вполголоса спросил:

— Что у тебя сегодня не ладится?

Жак, немного смутясь, удивленно улыбнулся:

— Да все в порядке!

— Тебе не хочется ехать в Вену?

— Наоборот. Откуда вы взяли?..

— Только что мне показалось, будто ты озабочен.

— Да нет...

— Какой-то... бесприютный...

Жак еще шире улыбнулся.

— Бесприютный,— повторил он. По его плечам пробежала легкая дрожь усталости, и улыбка погасла.— Бывают дни, когда неизвестно почему чувствуешь себя больше чем когда-либо... бесприютным... Вы, должно быть, тоже это знаете, Пилот?

Мейнестрель, не отвечая, сделал два шага, отделявшие его от двери, и обернулся, чтобы убедиться, что Альфреда уже готова. Он открыл дверь и пропустил Альфреду вперед.

— Разумеется,— сказал он затем очень быстро, бегло улыбнувшись Жаку.— Это нам знакомо... Это нам знакомо.

«Локаль» опустел. Монье расставлял стулья и наводил некоторый порядок. (По субботам и воскресеньям собрания обычно затягивались до поздней ночи. Но в этот вечер большинство завсегдатаев условилось о встрече после обеда в зале Феррер, на докладе Жанота.)

Мейнестрель дал Альфреде немного опередить их. Он взял Жака под руку и спускался по лестнице, слегка волоча больную ногу.

— Мы одиноки, дружок... Надо смириться с этим раз навсегда.— Он говорил быстро и тихо; он сделал паузу, его взгляд скользнул вслед Альфреде, и он повторил еще тише: — Всегда одиноки.— Это было сказано тоном самого объективного признания факта, без малейшего оттенка грусти или сожаления. Однако у Жака появилась уверенность, что Пилот в этот вечер думал о чем-то личном.

— Да, я знаю это,— вздохнул Жак, замедляя шаг и наконец совсем остановившись, словно он влачил за собой целый груз смутных мыслей, мешавший его движениям.— Это проклятие Вавилона! Люди одних лет, одного образа жизни, одних убеждений могут проводить целый день в разговорах, в самой свободной и искренней беседе, ни минуты не понимая друг друга и даже *не соприкасаясь* ни на секунду!.. Мы рядом, один возле другого — и непроницаемы... Как камешки на берегу озера... И я спрашиваю себя: разве наши слова, которые дают нам иллюзию соединения, не разделяют нас больше, чем сближают?

Он поднял глаза, Мейнестрель тоже остановился внизу лестницы и молча слушал этот печальный голос, разносившийся под каменным сводом.

— Ах, если бы вы знали, как мне порою противны слова! — продолжал Жак с внезапным пылом.— Как мне надоели наши словопрения! Как мне надоела вся эта... идеология!

При последнем слове Мейнестрель порывисто махнул рукой.

— Ясно. Слова тоже должны быть каким-то действием... Но поскольку действовать невозможно, говорить — это уже значит делать кое-что...— Он бросил взгляд во двор, где Патерсон и Митгерг, вероятно, продолжая начатую наверху «дискуссию», жестикулируя, прогуливались взад и вперед. Затем он устремил острый взгляд на Жака.— Терпение!.. Идеологическая фаза... это всего лишь фаза... фаза подготовительная, необходимая! Непреложность учения укрепляется контроверзами. Без революционной теории нет революционного движения. Без революционной теории нет авангарда. Нет вождей... Наша «идеология» раздражает тебя... Да, она, несомненно, покажется нашим наследникам смехотворным расточе-

нием сил... Но наша ли это вина? — Он очень быстро прошептал: — Время для действия еще не настало.

Жак своим внимательным видом, казалось, требовал: «Объяснитесь».

Мейнестрель продолжал:

— Капиталистическая экономика еще крепка. Машина проявляет признаки изношенности, но — плохо ли, хорошо ли — еще работает. Пролетариат страдает и волнуется, но, в общем, еще не подыхает с голоду. В этом мире, хромающем и задыхающемся, живущем накопленным жиром,— что ты хочешь, чтобы делали все эти предтечи, ожидающие своего часа? Они говорят! Они опьяняются идеологией! Их активность не может найти другого поля приложения, кроме области идей. У нас еще нет власти над ходом вещей...

— Ах! — сказал Жак.— Власть над ходом вещей!

— Терпение, малыш. Всему свой срок! Противоречия строя проявляются все ярче и ярче. Соперничество между нациями все растет. Конкуренция и борьба за рынки все обостряются. Вопрос жизни и смерти: вся их система рассчитана на беспрестанное расширение рынков! Как будто рынки могут расширяться до бесконечности!.. И они полетят с обрыва и сломают себе шею. Мир идет прямо к кризису, к неминуемой катастрофе. И это будет всеобщая катастрофа... Подожди только! Подожди, пока в мировой экономике все хорошенько разладится... Пока машины еще больше сократят число рабочих рук... Участятся крахи и банкротства, широко распространится безработица, капиталистическая экономика окажется в положении страхового общества, все клиенты которого потерпели бедствие в один и тот же день... И тогда...

— Тогда?..

— Тогда мы выйдем за пределы идеологии! Тогда кончится время словопрений! И мы засучим рукава, потому что настанет час действия, потому что мы обретем наконец *власть над ходом вещей!* — Какой-то свет озарил на мгновение его лицо и померк. Он повторил: — Терпение... терпение! — Затем повернул голову, чтобы найти взглядом Альфреду. И машинально, хотя она была слишком далеко, чтобы его услышать, он пробормотал: — Правда, девочка?..

Альфреда подошла к Патерсону и Митгергу.

— Идемте с нами в «Погребок» чего-нибудь поесть,— предложила она Митгергу, не глядя на Патерсона.— Не правда ли, Пилот? — весело крикнула она Мейнестрелю (что должно было для Патерсона и Митгерга означать: «Пилот заплатит за всех»).

Мейнестрель в знак согласия опустил веки. Она добавила:

— А потом все пойдем в зал Феррер.

— Только не я,— сказал Жак,— не я!

«Погребок» был маленький вегетарианский ресторан, помещавшийся в подвале на улице Сент-Урс, позади бульвара Бастионов, в центре Университетского квартала, и посещавшийся преимущественно студентами-социалистами. Пилот и Альфреда часто ходили туда обедать — в те вечера, когда они не возвращались для работы на улицу Каруж.

Мейнестрель и Жак пошли вперед. Альфреда с обоими молодыми людьми следовала за ними на расстоянии нескольких метров.

Пилот снова заговорил со свойственной ему порывистостью:

— Нам еще, знаешь, сильно повезло, что мы переживаем эту идеологическую фазу... что родились на пороге чего-то нового, что только начинается... Ты слишком строг к товарищам! А я прощаю им все, даже их болтовню, ради их жизнеспособности... ради их молодости!

Тень меланхолии, ускользнувшая от его спутника, пробежала по лицу Мейнестреля. Он оглянулся, чтобы убедиться, идет ли Альфреда за ними.

Жак, не соглашаясь, упрямо покачивал головой. В часы отчаяния ему, действительно, случалось сурово осуждать молодых людей, которые его окружали. Ему казалось, что большинство из них мыслит слишком суммарно, узко, слишком легко поддается нетерпимости и ненависти; что они систематически упражняют свой ум в укреплении своих взглядов, а не в их расширении и обновлении; что большинство из них скорее бунтари, чем революционеры, и что они любят свое бунтарство больше, чем человечество.

Однако он воздерживался от критики своих товарищей в присутствии Пилота. Он сказал только:

— Их молодости? Но я как раз ставлю им в вину, что они недостаточно... молоды!

— Недостаточно?

— Нет! Их ненависть, в частности,— это старческая реакция. Маленький Ванхеде прав: подлинная молодость — не в ненависти, а в любви.

— Мечтатель! — серьезно произнес Митгерг, догнавший их. Он бросил сквозь очки косой взгляд на Мейнестреля.— Чтобы действительно хотеть, надо ненавидеть,— заявил он после паузы, глядя теперь куда-то вдаль перед собой. И почти тотчас же доба-

вил вызывающим тоном: — Так же, как всегда было необходимо убивать, чтобы победить. Ничего не поделаешь!

— Нет,— сказал Жак твердо.— Не надо ненависти, не надо насилия. Нет! В этом я никогда не буду вместе с вами!

Митгерг окинул его взглядом, лишенным и тени снисхождения.

Жак слегка наклонился в сторону Мейнестреля и подождал секунду, прежде чем продолжать. Но так как Мейнестрель не вмешивался в спор, он решился и заговорил почти грубо:

— Надо ненавидеть? Надо убивать? Надо, надо!.. Что ты знаешь об этом, Митгерг? Стоит одному какому-нибудь великому революционеру достигнуть победы без убийств, одной силой ума — и все ваши концепции насильственной революции изменятся.

Австриец тяжело шагал немного в стороне. Лицо его было сурово. Он не отвечал.

— Если на протяжении истории все революции пролили слишком много крови,— продолжал Жак, бросив новый взгляд в сторону Мейнестерля,— то это, должно быть, потому, что те, кто их совершал, недостаточно их подготовляли и продумывали. Все революции происходили более или менее неожиданно, от случая к случаю, в обстановке паники, осуществлялись руками сектантов вроде нас, возводивших насилие в догму. Они верили, что делают революцию, а довольствовались гражданской войной... Я охотно допускаю, что в непредвиденных обстоятельствах она может стать необходимостью; но я не вижу ничего абсурдного в том, чтобы допустить, в условиях нашей цивилизации, возможность революции другого типа, революции медленной, терпеливо направляемой умами вроде Жореса,— людьми, сформировавшимися в школе гуманизма, имевшими достаточно времени, чтобы дать созреть своему учению, чтобы установить план последовательных действий; оппортунистами в хорошем смысле слова, которые подготовили бы захват власти путем целого ряда методических маневров, играли бы на всех досках сразу — парламент, муниципалитеты, профсоюзы, рабочее движение, стачки; революционерами, которые в то же время были бы государственными деятелями и осуществляли бы свой план с размахом, авторитетом и спокойной энергией, возникающими из ясной мысли, из понимания своего времени,— словом, в определенном порядке! И никогда не выпускали бы из своих рук управления событиями!

— «Управление событиями»! — рявкнул Митгерг, замахав руками.— *Dummkopf!* [1] Установление нового строя мыслимо только

[1] Дурак *(нем.)*.

под давлением катастрофы, в момент спазматической коллективной *Krampf*[1], когда все страсти накалены... (Он довольно бегло говорил по-французски, но с подчеркнутым и грубоватым немецким акцентом.) Ничто подлинно новое не может совершиться без того порыва, который порождается ненавистью. И для того, чтобы строить, необходимо сначала, чтобы циклон, *Wirbelsturm*, все разрушил, все сровнял с землей, вплоть до последних обломков! — Эти слова он произнес, опустив голову, с выражением какой-то отрешенности, которая делала их страшными. Он поднял голову: — *Tabula rasa! Tabula rasa!*[2] — Резким движением руки он, казалось, сметал с пути препятствия, создавал перед собой пустоту.

Жак, прежде чем ответить, сделал несколько шагов.

— Да,— вздохнул он, силясь сохранить спокойствие.— Ты живешь, да и все мы живем аксиомой, что идея революции несовместима с идеей порядка. Мы все отравлены этим романтизмом — героическим, кровавым... Однако знаешь, что я скажу тебе, Митгерг? Бывают дни, когда я сам себе задаю вопрос, когда я спрашиваю себя: на чем в самом деле зиждется эта всеобщая склонность к теории насилия... Единственно ли на том, что насилие необходимо нам, чтобы действовать с успехом? Нет... *Также* и на том, что эти теории потворствуют нашим самым низменным инстинктам, самым древним, глубже всего скрытым в человеке!.. Посмотримся в зеркало... С какими кровожадными глазами, с какими дикарскими гримасами, с какой жестокой, варварской радостью мы притворяемся, будто принимаем это насилие как необходимость! Истина в том, что мы придерживаемся этой теории по мотивам значительно более личным, мотивам, в которых не так легко признаться: у всех у нас в глубине души таится мысль о том, чтобы взять реванш, отплатить за обиду... А для того чтобы без угрызений совести смаковать эту страсть к реваншу, что может быть лучше, чем оправдываться подчинением роковому закону?

Задетый за живое, Митгерг резко повернул голову.

— Я,— запротестовал он,— я...

Но Жак не дал прервать себя.

— Подожди... я никого не обвиняю... Я говорю «мы». Я констатирую. Потребность в разрушении еще более могущественна, чем надежда на созидание... Разве для многих из нас революция, прежде всего, не дело социального преобразования, а всего лишь возможность утолить жажду мести, которая получила бы опьяняющее удовлетворение в сутолоке мятежа, в гражданской войне, в насильственном захвате власти? Как будем мы упиваться репрес-

---

[1] Судороги *(нем.)*.

[2] Здесь: все дочиста *(лат.)*.

сиями в тот день, когда после кровопролитной победы сможем, в свою очередь, утвердить тиранию — тиранию *нашего* правосудия!.. *Пособник смуты*, Митгерг,— вот кто гнездится сверх всего прочего в душе у каждого революционера. Не отрицай... Кто из нас осмелится утверждать, что он полностью избежал этой хмельной заразы разрушения? Иногда я вижу, как в лучших из нас, самых великодушных и наиболее способных к самотречению, беснуется этот фанатик...

— Разумеется! — прервал его Мейнестрель.— Но разве вопрос заключается в этом?

Жак быстро обернулся, чтобы встретить его взгляд. Но напрасно. Ему показалось, что Мейнестрель улыбнулся, однако он не был в этом уверен. Он тоже улыбнулся, но по другому, личному поводу: он только что вспомнил, как несколько минут назад сказал: «Наскучили мне все эти словопрения!»

Брови Митгерга были высоко подняты над очками, и он, казалось, не хотел больше говорить.

Они достигли площади Бур-дю-Фур и молча перешли через нее. Багрянец заката окрашивал черепицы старинных крыш. Узкая улица Сен-Леже открылась подобно сумрачному коридору. Патерсон и Альфреда, шедшие позади, громко разговаривали. Был слышен их смех, но слов нельзя было разобрать. Мейнестрель несколько раз оглянулся на них через плечо.

Жак, не объясняя хода своих мыслей, прошептал:

— ...как будто личность не могла бы объединиться с другими, участвовать в группе, в жизни коллектива, не отрекаясь прежде всего от своей ценности...

— Какой ценности? — спросил австриец, по лицу которого было ясно, что он действительно не находил никакой связи между этими словами Жака и предшествовавшими.

Жак помедлил.

— Ценности человеческой личности,— сказал он наконец тихо и уклончиво, словно опасался, чтобы спор не разгорелся на этой новой почве.

Наступило минутное молчание. И внезапно зазвучал пронзительный голос Мейнестреля:

— Ценность человеческой личности?

Почти веселый тон этого вопроса был загадочен, и Жаку почудился в нем след скрытого волнения. Уже несколько раз ему казалось, что в сухости Мейнестреля есть оттенок, позволявший думать, что сухость эта — напускная и что за ней скрывается тоска чувствительного сердца, которому нечего больше открывать в человеческой природе, и оно втайне неутешно тоскует об утраченных иллюзиях.

Митгерг не заметил ничего, кроме веселости Пилота; он засмеялся и постучал ногтем большого пальца по зубам.

— У тебя, Тибо, ни настолько нет политического чутья! — объявил он, словно для того, чтобы закончить спор. Жак не удержался и сказал сердито:

— Если обладать политическим чутьем означает...

На этот раз его прервал Мейнестрель:

— Обладать политическим чутьем — а что это значит, Митгерг?.. Соглашаться на применение в общественной борьбе таких методов, которые в частной жизни внушают отвращение каждому из нас, как низость или преступление? Так?

Он начал фразу как насмешливый выпад, а закончил ее серьезным тоном, сдержанно, но с силой. И теперь он смеялся про себя, с закрытым ртом, часто дыша носом.

Жак был готов возразить Мейнестрелю. Но Пилот всегда подавлял его. И он обратился к Митгергу:

— Подлинная революция...

— Доподлинно подлинная революция,— проворчал Митгерг,— революция ради освобождения народов, как бы жестока она ни была, не нуждается в оправданиях!

— Да? Средства не имеют значения?

— Именно так,— подтвердил Митгерг, не дав ему закончить.— Революционная борьба идет другим путем, чем теории твоего воображения. Борьба, *Camm'rad* [1], берет человека за горло. Да, в борьбе дело сводится только к одному — восторжествовать!.. По мне, что бы ты ни думал, цель заключается вовсе не в реванше! Нет, цель — это освобождение человека. Вопреки его воле, если это необходимо! Ружейными залпами, гильотиной, если необходимо! Когда ты хочешь спасти утопающего в реке, ты начинаешь с того, что крепко бьешь его по голове, чтобы не мешал тебе его спасать... В тот день, когда игра начнется по-настоящему, для меня не будет никакой другой цели, кроме как сбросить, смести капиталистическую тиранию. Чтобы опрокинуть Голиафа подобных размеров, который сам считал, что все средства хороши, когда стремился подчинить себе народы, я не буду наивно останавливаться перед выбором средств. Чтобы подавить глупость и зло, все годится, что может их подавить, даже глупость и зло. Если понадобится несправедливость, если понадобится жестокость,— ну что ж, я буду несправедлив, я буду жесток. Любое оружие пригодно, если оно сделает меня сильнее, чтобы добиться победы. В этой борьбе, говорю я, все позволено! Все, абсолютно все,— кроме поражения!

---

[1] Товарищ *(нем.)*.

— Нет! — сказал Жак пылко.— Нет!

Он стремился встретить взгляд Мейнестреля. Но Пилот, заложив руки за спину и опустив плечи, шел немного в стороне, вдоль домов, не глядя вокруг себя.

— Нет,— повторил Жак. (Он едва удержался, чтобы не сказать: «Такая революция меня не устраивает. Человек, способный на подобную кровавую жестокость, которую он прикрывает именем правосудия, такой человек, если он достигает победы, никогда не обретет ни чистоты, ни достоинства, ни уважения к человечеству, к равенству людей, к свободе мысли. Я стремлюсь к революции не для того, чтобы поднять к власти такого безумца...») Но он сказал только: — Нет! Я слишком хорошо чувствую, что насилие, которое ты проповедуешь, угрожает также области духа.

— Тем хуже для тебя! Мы не должны парализовать свою волю из-за интеллигентских шатаний. Если то, что ты называешь областью духа, должно быть уничтожено, если духовная жизнь должна быть задушена на полвека — тем хуже для нее! Я жалею об этом так же, как и ты. Но я говорю: тем хуже! И если мне, для того чтобы действовать, надо ослепнуть, ну что ж, я скажу: выколи мне глаза!

У Жака вырвался жест возмущения.

— Ну нет! «Тем хуже» — так не пойдет... Пойми меня, Митгерг... (Он обращался к австрийцу, но стремился уточнить свою мысль для Мейнестреля.) Дело не в том, что я меньше, чем ты, сознаю важность конечной цели. Если я восстаю, то именно в интересах этой цели! Революция, свершенная посредством несправедливости, жестокости и лжи, будет для человечества лишь ложной удачей. Такая революция будет нести в себе зародыш своего разложения. То, чего она достигнет подобными средствами, не будет прочно. Раньше или позже она тоже окажется обречена... Насилие — это оружие угнетателей! Никогда оно не принесет народам подлинного освобождения. Оно лишь приведет к торжеству нового угнетения... Дай мне сказать! — закричал он с внезапным раздражением, заметив, что Митгерг хочет его перебить.— Сила, которую вы все черпаете в этом теоретическом цинизме, мне понятна; и возможно, что я мог бы поступиться моим личным отвращением к нему и даже разделить с вами этот цинизм, если бы только я верил в его плодотворность. Но именно в это я и не верю! Я уверен, что никакой истинный прогресс не может осуществляться грязными средствами. Разжигать насилие и ненависть, чтобы построить царство справедливости и братства,— это бессмыслица; это значит с самого начала предать справедливость и братство, которые мы хотим установить в мире... Нет! Думай что хочешь, но, по-моему, подлинная революция, та революция, которая стоит того, чтобы

отдать ей все наши силы, не свершится никогда, если отказаться от моральных ценностей!

Митгерг хотел возразить.

— Неисправимый маленький Жак! — произнес Мейнестрель тем фальцетом, который появлялся у него иногда и который всех обескураживал.

Он присутствовал при этом споре, как зритель. Его всегда интересовало столкновение двух темпераментов. Эти ученические дискуссии о различии между духовным и материальным, между насилием и ненасилием как таковыми казались ему нелепыми и тщетными — типичной псевдопроблемой, образцом неверной постановки вопроса. Но к чему говорить об этом?

Жак и Митгерг смущенно замолчали.

Австриец повернулся к Пилоту и несколько секунд испытующе смотрел в его непроницаемое лицо; сообщническая улыбка, которую Митгерг приготовил, застыла у него на губах; лицо его помрачнело. Он был недоволен оборотом, который получил спор благодаря Жаку, и досадовал на Жака, на Пилота, на самого себя.

После нескольких минут молчания он намеренно замедлил шаг, отдалился от двух мужчин и присоединился к Патерсону и Альфреде.

Мейнестрель воспользовался отсутствием Митгерга и приблизился к Жаку.

— Тебе хотелось бы,— сказал он,— очистить революцию заранее, прежде чем она свершится. Слишком рано! Это значило бы помешать ей родиться.— Он сделал паузу и, словно угадав, насколько его слова задевают Жака, быстро добавил, бросив на него проницательный взгляд: — Однако... я очень хорошо понимаю тебя.

Они продолжали молча идти по улице.

Жак пытался как следует разобраться в себе. Он думал о полученном воспитании. «Классическое образование... Буржуазная закваска... Это придает мышлению неизгладимые черты... Мне долго казалось, что я рожден, чтобы стать романистом, и только совсем недавно я перестал думать об этом. Я всегда был гораздо больше склонен созерцать, чем судить и принимать решения... А в революционере это, несомненно, слабость!» — подумал он не без тревоги. Он не хитрил с самим собою, по крайней мере, сознательно. Он не чувствовал себя ни ниже, ни выше товарищей: просто он ощущал себя другим и, если уж на то пошло — менее пригодным «орудием революции», чем они. Сможет ли он когда-нибудь, как его товарищи, отречься от своей личности, растворить свою мысль и волю в абстрактном учении, в коллективном деле партии?

Внезапно он сказал вполголоса:

— Сохранить и защищать независимость своего ума — значит ли это неизбежно быть непригодным для коллективной борьбы? А что же в таком случае делаете вы, Пилот?

Мейнестрель, казалось, не слышал его. Однако немного погодя он тихо произнес:

— Индивидуалистические ценности... Ценность человеческой личности... Ты думаешь, что за этими терминами скрыто одно и то же?

Жак продолжал смотреть на него; его вопросительное молчание, казалось, побуждало Пилота к дальнейшим объяснениям.

Он заговорил опять, словно нехотя:

— Человечество, поднимающееся вместе с нами, начинает чудесное превращение, которое изменит на века не только отношения между людьми, но и человека как такового, вплоть до того, что он считает своими инстинктами, хотя мы еще не знаем, каким путем это произойдет!

Затем он снова замолчал и, казалось, погрузился в размышления.

IX

В нескольких метрах позади, рядом с Патерсоном и Альфредой, шел Митгерг, не принимая участия в их разговоре.

Альфреда семенила рядом с англичанином, и пока его длинные ноги делали шаг, она успевала сделать два. Она оживленно болтала и держалась так близко к спутнику, что локоть Патерсона ежеминутно касался ее плеча.

— В первый раз я увидела его,— говорила она,— во время стачки. Я пришла на митинг по приглашению моих цюрихских друзей. Он взял слово. Мы были в первых рядах. Я смотрела на него. На его глаза, руки... В конце митинга произошла драка. Я бросила друзей и побежала к нему на помощь... (Она, казалось, сама удивлялась этим воспоминаниям.) И с тех пор я с ним не расставалась. Ни на один день; как будто даже ни на один час.

Патерсон взглянул на Митгерга, помедлил и вполголоса, странным тоном произнес:

— Ты — его амулет...

Она засмеялась:

— Пилот гораздо любезнее, чем ты, Пат... Он не называет меня «амулетом». Он говорит: «ангел-хранитель».

Митгерг слушал рассеянно. Он мысленно вновь переживал свой спор с Жаком. Он был уверен, что правда на его стороне.

Жака он ценил как *Camm'rad'a* и пытался даже приобрести себе в нем друга, но сурово осуждал его политические идеи. Сейчас он испытывал к Жаку глухую неприязнь: «Я должен был бросить ему в лицо всю правду раз навсегда!.. И именно в присутствии Пилота!» Митгерг был из числа тех, кому особенно не по душе была близость Жака с Мейнестрелем. Не потому, что он был мелочно ревнив; он страдал от этого скорее как от какой-то несправедливости. Он ясно ощущал только что безмолвное сочувствие Пилота. И двусмысленное молчание Мейнестреля вызвало у него острую досаду. Он хотел найти повод, для того чтобы все это выяснить, и к этому желанию примешивались раздражение и жажда доказать свое.

Мейнестрель и Жак, опередившие остальных, остановились у входа на бульвар Бастионов. (Напрямик через сад можно было выйти к улице Сент-Урс.)

Солнце садилось. За решеткой сада, над лужайками еще плавала золотистая дымка. Этот летний воскресный вечер привлек много гуляющих на бульвар, который служил своего рода Люксембургским садом для Женевского университета. Все скамейки были заняты, и оживленные группы студентов прогуливались по ровным аллеям, где тенистые деревья давали некоторую прохладу.

Оставив позади себя Альфреду и англичанина, Митгерг ускорил шаг и нагнал двух мужчин.

— ...все же несколько грубая концепция жизни,— говорил Жак.— Фетишизм материального процветания!

Митгерг пренебрежительно смерил его взглядом и, не зная, о чем идет речь, развязно вмешался в разговор.

— Ну, что еще? Я уверен, что он поносит «материальные аппетиты» революционных деятелей,— проворчал он с легкой усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего.

Удивленный Жак тепло взглянул на него. Приступы дурного настроения у австрийца всегда встречали со стороны Жака полнейшее снисхождение. Он считал Митгерга испытанным товарищем, несколько несдержанным, но исключительно честным в дружбе. Жак понимал, что его резкость ведет свое начало от одиночества, от несчастного детства и болезненного самолюбия, за которым у Митгерга скрывалась, несомненно, какая-то внутренняя борьба или слабость. (Жак не ошибался. Этот сентиментальный немец таил в себе безнадежную тоску: зная, что некрасив, он болезненно преувеличивал свое безобразие, вплоть до того, что иногда отчаивался во всем.)

Жак с готовностью объяснил:

— Я говорил Пилоту, что еще у многих из нас сохранился такой способ мыслить, чувствовать, стремиться к счастью, который остается совершенно буржуазным... Ты не согласен с этим? Что означает — быть революционером, как не пересмотреть прежде всего свою личную, внутреннюю позицию? Произвести в первую очередь революцию в самом себе, очистить свой дух от привычек, унаследованных от старого порядка?

Мейнестрель кинул на Жака быстрый взгляд. «Очистить! — подумал он весело.— Забавный этот маленький Жак... Он основательно обезбуржуазился, это верно... Очистить свой дух от *привычек*... Да! За исключением одной, самой буржуазной из всех — ставить превыше всего «дух»!»

Жак продолжал:

— Меня часто поражало, что большинство придает такое значение и, само того не сознавая, воздает такое уважение материальным благам...

Митгерг, упорствуя, прервал его:

— Вот уж, право, нетрудно упрекать в материализме бедняков, которые подыхают от голода и восстают прежде всего потому, что хотят есть!

— Разумеется,— отрезал Мейнестрель.

Жак тотчас же пошел на уступки:

— Нет ничего более законного, чем такое восстание, Митгерг... Однако многие из нас, по-видимому, думают, что революция будет завершена в тот день, когда капитализм подвергнется экспроприации и пролетариат займет его место... Поставить других хозяев на место изгнанных — это еще не значит разрушить капитализм, это значит лишь переменить правящий класс. А революция должна быть чем-то другим, а не просто торжеством класса, хотя бы самого многочисленного, самого обездоленного. Я хочу торжества всеобщего... широко человеческого, когда бы все, без различия...

— Разумеется,— вставил Мейнестрель.

Митгерг проворчал:

— Зло заключается в личной выгоде... Сейчас это единственный двигатель человеческой деятельности! Пока мы не вырвем его с корнем!..

— Вот к этому-то я и веду,— продолжал Жак.— Вырвать с корнем... Ты думаешь, что это будет легко? Если ясно, что даже мы не можем искоренить это зло в себе самих! Даже мы, революционеры!..

Митгерг, несомненно, думал то же самое. Тем не менее у него недоставало искренности, чтобы признаться в этом; он не мог боль-

ше сопротивляться искушению оскорбить своего друга. И он отвел вопрос Жака насмешкой:

— *«Мы, революционеры»*? Но ведь ты-то никогда не был революционером!

Жак, ошеломленный этим выпадом, безотчетно повернулся к Мейнестрелю. Но Пилот ограничился улыбкой, и эта улыбка не заключала в себе той поддержки, которой искал Жак.

— Какая муха тебя укусила? — пролепетал он.

— Революционер,— заговорил Митгерг с едкостью, которую он более не трудился скрывать,— это верующий! Вот что! А ты из тех, кто размышляет сегодня — так, а завтра — иначе... Ты из тех, у кого есть мнения, но не из тех, у кого есть вера!.. Вера — это благодать! И она не для тебя, *Camm'rad!* У тебя нет ее и никогда не будет... Нет, нет! Я тебя знаю прекрасно! Ведь тебе нравится качаться из стороны в сторону... как буржуа, который, развалясь на диване с трубкой, спокойно играет *за* и *против!* И он очень доволен своей проницательностью и раскачивается на своем диване! Ты в точности как он, *Camm'rad!* Ты ищешь, сомневаешься, рассуждаешь, вертишь носом то вправо, то влево, размышляя о противоречиях, которые фабрикуешь с утра до вечера! И ты доволен своей проницательностью!.. А веры у тебя нет никакой!..— кричал Митгерг. Он приблизился к Мейнестрелю: — Разве это не правда, Пилот? А если так, он не имеет права говорить: *«Мы, революционеры!»*

Мейнестрель снова улыбнулся — беглой и непроницаемой улыбкой.

— Что? В чем ты меня упрекаешь, Митгерг? — рискнул возразить Жак, все более и более недоумевая.— В том, что я не сектант? Нет.— (Его замешательство понемногу переходило в гнев, и этот переход доставлял ему самому известное удовольствие.) Он добавил сухо: — Мне очень жаль. Я как раз только что объяснялся на эту тему с Пилотом. Признаюсь, у меня нет никакого желания начинать все сначала.

— Ты дилетант, вот кто ты такой, *Camm'rad!* — продолжал Митгерг яростно. (Как всегда, когда он увлекался, усиленное выделение слюны некстати заставляло его заикаться.) — Дилетант-рационалист! Я хочу сказать — протестант! Настоящий протестант! Свободный дух исследования, свобода совести и так далее... Ты с нами из симпатии к нам, да; но ты не устремлен вместе с нами к единой цели! И я считаю: партия слишком отравлена такими, как ты! Робкими, которые всё колеблются и хотят быть судьями нашей теории! Вам предоставляют возможность идти вместе с нами. Быть может, это ошибка! Ваша мания — рационалисти-

ческие рассуждения обо всем на свете, она пристает, как болезнь. И скоро все начнут сомневаться и качаться вправо и влево, вместо того чтобы идти прямым путем к революции!.. Вы способны, может быть, однажды совершить личный героический поступок. Но что такое этот личный поступок? Ничто! Настоящий революционер должен согласиться с тем, что он не какой-нибудь особенный герой. Он должен согласиться быть одним из многих, затерянных в общей массе. Он должен согласиться быть ничем! Он должен терпеливо ждать сигнала, который будет подан всем; и лишь тогда он встанет, чтобы идти вместе со всеми... *Ах*, ты, философ, может быть, считаешь это послушание достойным презрения для такого ума, как твой. Но я говорю тебе: для такого послушания надо обладать душой более цельной, да, да, более верной, более высокой, чем для того, чтобы быть дилетантом-рационалистом! А эту силу дает только вера! И подлинный революционер силен потому, что он верит, потому что он весь полностью — вера, чуждая рассуждений! Да, *Camm'rad!* И ты можешь смотреть на Пилота сколько хочешь, он не говорит ничего, но я знаю, что он думает так же, как и я...

В этот миг Патерсон стрелою пролетел между Митгергом и Жаком:

— Слушайте! Что это такое кричат?

— В чем дело? — спросил Мейнестрель, обернувшись к Альфреде.

Они уже пересекли бульвар и входили в улицу Кандоль. Навстречу им, переходя с одного тротуара на другой, бежали трое газетчиков и выкрикивали во все горло:

— Экстренный выпуск! «Политическое убийство в Австрии!»

Митгерг встрепенулся:

— В Австрии?

Патерсон опрометчиво бросился по направлению к ближайшему из крикунов. Но лишь описал полукруг и возвратился, держа с небрежным видом руку в кармане.

— У меня *не хватает* денег...— жалобно сказал он, сам улыбаясь своему эвфемизму.

Митгерг тем временем уже купил газету и пробегал ее глазами. Все окружили его.

— *Unglaublich!* [1] — бормотал он, пораженный.

Он протянул газетный лист Пилоту.

Мейнестрель взял его и быстро, спокойным голосом, не выдававшим никакого волнения, прочел сперва напечатанную крупным шрифтом шапку:

---

[1] Невероятно! *(нем.)*

«Сегодня утром в Сараеве, главном городе Боснии, провинции, недавно аннексированной Австрией, эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник австро-венгерского престола, и эрцгерцогиня, его жена, во время официальной церемонии были убиты револьверными выстрелами. Стрелял молодой боснийский революционер...»

— *Unglaublich!..* — повторил Митгерг.

X

Две недели спустя Жак, в сопровождении австрийца по имени Бем, возвращался из Вены дневным скорым поездом.

Важные и тревожные известия, доверительно сообщенные ему накануне Хозмером, заставили Жака прервать расследование и поспешно возвратиться в Швейцарию, чтобы уведомить обо всем Мейнестреля.

В этот воскресный день, 12 июля, Митгерг, которого послал Жак, опасавшийся нескромных расспросов товарищей, около шести часов вечера входил в «Локаль». Он быстро поднялся по лестнице, ответил торопливой улыбкой на приветствия друзей и, пробираясь между людьми, толпившимися в первых двух комнатах, прошел прямо в третью, в которой, как он знал, находился Пилот.

В самом деле, сидя на своем привычном месте, рядом с Альфредой, Мейнестрель говорил перед десятком внимательных слушателей. Казалось, что его речь главным образом обращена к Прецелю, стоящему в первом ряду.

— Антиклерикализм? — говорил Мейнестрель.— Жалкая тактика! Возьмите, хотя бы вашего Бисмарка с его пресловутой «культуркампф». Его преследования послужили только к укреплению немецкого клерикализма...

Митгерг с озабоченным лицом упорно следил за взглядом Альфреды. Наконец он смог подать ей знак и, отделясь от группы, отошел к окну.

Прецель сделал Пилоту какое-то возражение, которого Митгерг не расслышал. Посыпались различные реплики. Споры по частным вопросам вызвали перемещения в группе слушателей. Альфреда воспользовалась этим, чтобы встать и подойти к австрийцу.

Сухой голос Мейнестреля зазвучал снова:

— Я думаю, что не этот идиотский антиклерикализм, столь дорогой буржуазным вольнодумцам девятнадцатого века, избавит массы от ига религии. Проблема и здесь остается социальной. Ре-

лигиозные учреждения — социальны. Во все времена религия черпала свою основную силу в страданиях порабощенного человека. Религия всегда играла на нищете. В тот день, когда у нее исчезнет эта точка опоры, религия потеряет жизнеспособность. Когда человечество станет счастливее, современные религии будут над ним не властны...

— В чем дело, Митгерг? — прошептала Альфреда.

— Тибо вернулся... Он хочет видеть Пилота.

— Почему он не пришел сюда?

— Похоже, что там творятся нехорошие дела,— сказал Митгерг вместо ответа.

— Нехорошие дела?

Она пытливо вглядывалась в лицо австрийца, думая о миссии Жака в Вене.

Митгерг развел руками, чтобы показать, что он ничего точно не знает; и в течение нескольких секунд он раскачивался, как молодой медведь, приподняв брови и выкатив глаза за стеклами очков.

— Тибо приехал с Бемом, моим соотечественником, который завтра отправляется в Париж. Совершенно необходимо, чтоб Пилот принял их сегодня же.

— Сегодня?..— Альфреда размышляла.— Ну что ж, приходите к нам, это лучше всего.

— Хорошо... Вызови Ричардли.

— И Пата тоже,— торопливо сказала она.

Митгерг, не любивший англичанина, уже готов был возразить: «Почему Пата?». Тем не менее он выразил согласие, на секунду прикрыв веки.

— В девять часов?

— В девять.

Молодая женщина бесшумно возвратилась на свое место.

Мейнестрель только что оборвал Прецеля своим безапелляционным «разумеется!» и добавил:

— Преобразование совершится не в один день. И даже не на протяжении одного поколения. Религиозные потребности нового человека найдут себе выход — социальный выход. Религиозная мистика будет заменена мистикой социальной. Это проблема социального порядка.

Снова переглянувшись с Альфредой, Митгерг исчез.

Три часа спустя Жак в сопровождении Бема и Митгерга сошел с трамвая на улице Каруж и входил в дом Мейнестреля.

Почти смеркалось, на маленькой лестнице было темно.

Альфреда впустила гостей.

Силуэт Мейнестреля китайской тенью вырисовывался в дверях освещенной комнаты. Он быстро подошел к Жаку и спросил вполголоса:

— Есть новости?

— Да.

— Обвинения были обоснованы?

— Серьезно обоснованы,— прошептал Жак.— В особенности в отношении Тоблера... Я объясню вам все это... Но сейчас речь идет совсем о другом... Мы накануне больших событий...— Он обернулся к австрийцу, которого привел с собой, и представил его: — Товарищ Бем.

Мейнестрель протянул ему руку.

— Итак, товарищ,— сказал Мейнестрель со скептической ноткой в голосе,— правда ли, что ты нам привез новости?

Бем с важностью посмотрел на него:

— Да.

Это был тиролец, низкорослый горец с энергичным лицом. Лет тридцати. На голове у него была фуражка, и, несмотря на жару, старый желтый макинтош покрывал его крепкие плечи.

— Входите,— сказал Мейнестрель, пропуская вновь прибывших в комнату, в глубине которой ждали Патерсон и Ричардли.

Мейнестрель представил обоих мужчин Бему. Тот заметил, что остался в фуражке, и, смутившись на секунду, снял ее. Он был обут в подбитые гвоздями башмаки, которые скользили на натертом паркете.

Альфреда отправилась вместе с Патом на кухню за стульями. Она расставила их вокруг кровати, на которую уселась сама, чинно держа на коленях блокнот и карандаш.

Патерсон устроился рядом с нею. Полулежа, облокотившись на изголовье, он наклонился к молодой женщине:

— Ты знаешь, о чем будет речь?

Альфреда сделала уклончивый жест. Она на основании опыта чуждалась конспиративных замашек, которые у этих людей действия, осужденных на бездеятельность, выдавали прежде всего их страстное, сотни раз обманутое желание наконец проявить себя, испытать свои силы.

— Подвинься немножко,— фамильярно сказал Ричардли, садясь рядом с Альфредой. Его взгляд постоянно светился радостным, почти воинственным светом; но в самоуверенности его было что-то искусственное, какое-то преднамеренное желание казаться сильным и довольным, несмотря ни на что, ради принципа, гигиены ради.

Жак вынул из кармана два запечатанных конверта, большой и маленький, и передал их Мейнестрелю.

— Здесь копии документов. А это письмо от Хозмера.

Пилот подошел к единственной лампе, стоявшей на столе и скудно освещавшей комнату. Он распечатал письмо, прочел его и стал бессознательно искать глазами Альфреду; затем, метнув острый вопросительный взгляд на Жака, положил оба конверта на стол и, чтобы показать пример другим, сел.

Когда все семеро устроились на своих местах, Мейнестрель обратился к Жаку:

— Итак?

Жак посмотрел на Бема, резким движением откинул волосы со лба и заговорил, отвечая Пилоту:

— Вы прочитали письмо Хозмера... Сараево, убийство эрцгерцога... Это было как раз две недели назад... Ну вот, за эти две недели в Европе, особенно в Австрии, произошло втайне много событий... Событий такой важности, что Хозмер счел необходимым поднять тревогу во всех европейских социалистических странах. Он срочно направил товарищей в Петербург, в Рим... Бульман поехал в Берлин... Морелли отправился на свидание с Плехановым... а также с Лениным...

— Ленин — диссидент,— проворчал Ричардли.

— Бем завтра будет в Париже. В среду он будет в Брюсселе, в пятницу — в Лондоне. А я уполномочен ввести вас в курс событий.... Потому что, как видно, события развиваются очень быстро... Хозмер на прощание сказал мне буквально так: «Объясни им как следует, что если предоставить событиям идти своим ходом, то в два-три месяца Европа может быть охвачена всеобщей войной...»

— Из-за убийства какого-то эрцгерцога? — заметил опять Ричардли.

— Эрцгерцога, *убитого сербами...* то есть *славянами,*— возразил Жак, обернувшись к нему.— Я, так же как и ты, был далек от таких предположений... Но там я понял... по крайней мере, оценил важность проблемы... Все это адски сложно...

Он замолчал, обвел всех взглядом, остановился на Мейнестреле и после некоторого колебания спросил его:

— Должен ли я изложить все с самого начала так, как мне рассказал Хозмер?

— Разумеется.

И Жак тотчас же начал:

— Вы знаете о попытках Австрии создать новую Балканскую лигу?... Что? — сказал он, заметив, что Бем заерзал на стуле.

— Мне кажется,— отчеканил Бем,— для того чтобы объяснить причины явлений, лучший метод — начать с более ранних событий...

При слове «метод» Жак улыбнулся. Он взглянул на Пилота, как бы спрашивая у него совета.

— В нашем распоряжении целая ночь,— заявил Мейнестрель. Он бегло улыбнулся и вытянул свою больную ногу.

— В таком случае,— заговорил Жак, обращаясь к Бему,— валяй... Этот исторический обзор ты сделаешь, конечно, лучше, чем я.

— Да,— сказал серьезно Бем (что вызвало лукавый огонек в глазах Альфреды).

Он снял макинтош, заботливо уложил его на полу рядом с фуражкой и присел на кончик стула, держась очень прямо и сдвинув ноги. Его коротко остриженная голова казалась совсем круглой.

— Простите,— сказал он.— Для начала я должен изложить точку зрения империалистической идеологии. Это для того, чтобы объяснить, что скрывается за нашей, австрийской политикой... Во-первых,— продолжал он, подумав несколько секунд,— надо знать, чего хотят южные славяне...

— Южные славяне,— прервал Митгерг,— это значит: Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина. А также венгерские славяне.

Мейнестрель, слушавший с величайшим вниманием, сделал утвердительный жест.

Бем продолжал:

— Южные славяне уже в течение полувека хотят объединиться против нас. Основное их ядро — сербы. Они хотят сгруппироваться вокруг Сербии и создать самостоятельное государство — Югославию. В этом им помогает Россия. С тысяча восемьсот семьдесят восьмого года, с Берлинского конгресса, начался спор, борьба не на жизнь, а на смерть между русским панславизмом и Австро-Венгрией. А в русском правительстве панслависты — всесильны. Что же касается тайных русских намерений и ответственности России за осложнения, которые скоро наступят, то об этом я недостаточно осведомлен и не смею говорить. Я могу судить только о моей стране. Будет правильно сказать, что для Австрии — тут я становлюсь на правительственную, империалистическую точку зрения — коалиция южных славян — это действительно большая жизненная проблема. Если бы югославское государство расположилось возле нашей границы, Австрия утратила бы господство над многочисленными славянами, являющимися сейчас подданными империи.

— Разумеется,— машинально пробормотал Мейнестрель. Но, по-видимому, тут же пожалел об этом невольном вмешательстве и закашлялся.

— До тысяча девятьсот третьего года,— продолжал Бем,— Сербия фактически находилась под властью Австрии. Но в тысяча девятьсот третьем году в Сербии произошла национальная революция; на трон сели Карагеоргиевичи, и Сербия стала независимой. Австрия воспользовалась тем, что Япония разбила Россию, и мы беззастенчиво захватили Боснию и Герцеговину — провинции, управление которыми было доверено нам. Германия и Италия отнеслись к этому сочувственно. Сербия была в ярости. Но Европа не захотела осложнений. Австрия выиграла благодаря своей наглости...

Она захотела снова проявить эту наглость во время Первой балканской войны, в тысяча девятьсот двенадцатом году. И выиграла еще раз по той же причине. Она помешала Сербии получить порт на Адриатике. Создала между Сербией и морем независимое государство Албанию. И вследствие этого Сербия разъярилась еще больше... Затем началась Вторая балканская война. В прошлом году. Помните? Сербия завоевала новую территорию — в Македонии. Австрия хотела сказать «нет». Дважды она выигрывала дело с помощью наглости. Но на сей раз Италия и Германия не одобрили ее действий, и Сербия смогла устоять и удержала все, что захватила... Однако Австрия затаила обиду. Она ждет повода для реванша. Национальная гордость у нас очень развита. Наш генеральный штаб подготовляет этот реванш. И наша дипломатия тоже... Тибо говорил о новой Балканской лиге. Это у нас в Австрии большой политический план на нынешний год. Вот в чем дело: предполагается союз между Австрией, Болгарией и Румынией, чтобы основать новую Балканскую лигу, которая будет направлена *против славян*. Не только против южных славян,— против всех славян. Понимаете? Это значит — также против России!

Несколько секунд он собирался с мыслями, проверяя, не упустил ли что-нибудь существенное. Затем с вопрошающим видом наклонился в сторону Жака.

Альфреда, прислонившись к плечу Патерсона, нагнулась, чтобы скрыть зевок. Она находила австрийца очень добросовестным, а его исторический обзор — крайне скучным.

— Конечно,— добавил Жак,— всякий раз, когда думаешь об Австрии, следует не терять из виду австро-германский блок... Германию и ее «будущее на морях», которое противопоставлено Англии... Германию, которая подвергнута торговой блокаде и ищет

---

[1] «Натиском на восток» *(нем.)*.

путей для новой экспансии... Германию с ее *«Drang nach Osten»* [1], Германию и ее виды на Турцию... Отрезать России путь к проливам... Железнодорожная линия к Багдаду, к Персидскому заливу, к английской нефти, путь в Индию и так далее... Все это связано между собой... А на заднем плане не надо забывать доминирующих над всем этим двух мощных группировок капиталистических держав, ищущих столкновения!

— Разумеется,— сказал Мейнестрель.

Бем кивнул в знак согласия.

Воцарилось молчание.

Австриец повернулся к Пилоту и спросил серьезным тоном:

— Правильно?

— Необычайно ясно! — решительно заявил Мейнестрель.

Пилот редко хвалил кого-либо, и все, за исключением Бема, были удивлены. Альфреда внезапно изменила свое мнение и стала присматриваться к австрийцу с бóльшим вниманием.

— А теперь,— сказал Мейнестрель, глядя на Жака и немного откинувшись назад,— послушаем, что говорит Хозмер и каковы новые факты.

— Новые факты? — начал Жак.— Сказать правду, их нет... Пока еще нет... Лишь предвестия...

Он выпрямился быстрым движением, так что лоб его скрылся в тени; желтый свет лампы озарял нижнюю часть лица, выступающий вперед подбородок и большой рот с горькой складкой.

— Предвестия очень серьезные, которые позволяют предусмотреть,— может быть, в скором времени,— новые события... Я подвожу итог: со стороны Сербии — глубокое народное возмущение в результате непрекращающихся выпадов против ее национальных стремлений... со стороны России — явная тенденция к поддержке славянских притязаний; настолько очевидная, что после убийства эрцгерцога русское правительство, полностью подчиняясь влиянию генерального штаба и националистических кругов, заявило через своих послов, что оно решительно выступит на защиту Сербии. Хозмер получил эти сведения из Лондона... Со стороны Австрии — ярость правящих кругов, униженных последним поражением, и серьезное беспокойство за будущее. Как говорит Хозмер, с этим взрывчатым грузом взаимной ненависти, обид и домогательств мы летим теперь в неизвестность... Неизвестность началась с внезапного удара двадцать восьмого июня — с сараевского убийства... Сараево, боснийский город... Сараево, где после шести лет австрийской аннексии население сохранило верность Сербии... Хозмер склонен полагать, что некоторые сербские официальные деятели более или менее непосредственно помогали подготовить это преступление. Но доказать это трудно... Для австрийского пра-

вительства это убийство, вызвавшее негодование европейского общественного мнения, создает неожиданный шанс. Шанс поймать Сербию на месте преступления! Свести с нею счеты раз навсегда! Поднять престиж Австрии и тут же без промедлений создать эту новую *Балканскую лигу*, которая должна обеспечить австрийскую гегемонию в Центральной Европе! Следует признать, что для государственных деятелей это довольно соблазнительно. Поэтому венские правители не колеблются. В настоящее время они вырабатывают план действий.

Первый пункт заключается в том, чтобы установить соучастие Сербии в преступлении. Вена приказывает немедленно произвести официальное расследование в Белграде и во всем сербском королевстве. Нужно во что бы то ни стало получить доказательства. Между тем пока что этот первый пункт программы, по-видимому, провалился. Удалось установить всего-навсего несколько имен сербских офицеров, замешанных в антиавстрийском движении в Боснии. Несмотря на строгие указания, расследователи не смогли прийти к заключению о виновности сербского правительства. Естественно, что их доклад был положен под сукно. Его тщательно скрыли от журналистов. Но Хозмеру удалось раздобыть эти материалы. Они здесь,— добавил он, положив руку на толстый пакет на столе, с красными печатями, выделявшимися в свете лампы.

Задумчивый взгляд Мейнестреля на мгновение остановился на пакете и снова устремился на Жака; тот продолжал:

— Что же сделало австрийское правительство? Оно оставило все это без внимания. И здесь мы имеем явное доказательство того, что оно преследовало тайную цель. При его попустительстве стали писать, что соучастие Сербии — установленный факт. Официальная печать не перестает обрабатывать общественное мнение. К тому же нетрудно было сыграть на убийстве. Митгерг и Бем могут подтвердить, что личность наследника престола священна там в глазах народа. В настоящее время нет ни одного австрийца или венгра, который не был бы убежден, что сараевское убийство есть результат заговора, поощряемого сербским правительством, а может быть, и русским, и имеющего целью выразить протест против аннексии Боснии; ни одного, кто не считал бы себя оскорбленным и не стремился к мести. Именно этого и хотели в высоких сферах. На следующий же день после убийства было сделано все, чтобы раскалить национальное самолюбие!

— *Кем* сделано? — спросил Мейнестрель.

— Людьми, стоящими у власти. Главным образом министром иностранных дел Берхтольдом.

Тут вмешался Бем.

— Берхтольд! — сказал он с многозначительной гримасой.—

Чтобы все понять до конца, надо знать этого честолюбивого господина так, как знаем мы! Подумайте: раздавив Сербию, он мог бы стать австрийским Бисмарком! Уже дважды ему казалось, что это удастся. И оба раза возможность ускользала у него из рук. На этот раз он чувствует, что у него есть шансы. И не хочет их упустить.

— Однако Берхтольд все же еще не вся Австрия,— заметил Ричардли.

Он повернул свой острый нос прямо к Бему и улыбался. В малейших его интонациях чувствовалась полная внутренняя уверенность, свойственная молодым людям, овладевшим стройной доктриной, в истинности которой они не сомневаются.

— *Ах!* — возразил Бем.— Вся Австрия у него в руках. Во-первых, генеральный штаб, а потом и сам император...

Ричардли покачал головой:

— Франц-Иосиф? С трудом верится... Сколько ему лет?

— Восемьдесят четыре года,— сказал Бем.

— Восьмидесятилетний старик! У которого за плечами две неудачные войны! Чтобы он с легким сердцем согласился закончить свое царствование такой...

— Однако,— воскликнул Митгерг,— он прекрасно чувствует, что монархия находится под смертельной угрозой! Несмотря на свои годы, император далеко не уверен, что удержит на голове корону до минуты, когда ему придется лечь в гроб!

Жак встал.

— Австрия, Ричардли, еле-еле справляется с невероятными внутренними затруднениями... Вот чего не надо забывать... Это — государство, состоящее из восьми или девяти национальностей, враждующих между собою. Авторитет центральной власти падает с каждым днем. Распад страны почти неизбежен. Все эти противостоящие друг другу народности — сербы, румыны, итальянцы, насильно включенные в состав империи,— все они кипят и ждут лишь благоприятного часа, чтобы сбросить иго!.. Я только что оттуда. В политических кругах, и в правых и в левых, кругом говорят, что есть только одно средство избежать расчленения государства — война! Это мнение Берхтольда и его клики. Конечно, таково же и мнение генералов!

— Вот уже восемь лет,— сказал Бем,— как начальник генерального штаба у нас Конрад фон Гетцендорф... Злой гений армии... Самый ярый враг славян... В течение восьми лет он открыто ведет дело к войне!

Ричардли, казалось, не был убежден. Скрестив руки и сверкая — слишком ярко сверкая — глазами, он смотрел по очереди на всех говоривших с тем же проницательным и самодовольно-недоверчивым видом.

Жак перестал обращаться к нему и, повернувшись к Мейнестрелю, сел.

— Итак,— продолжал Жак,— по мнению тамошних правителей, лишь превентивная война могла бы спасти империю. Конец розни между партиями! Конец недовольству враждующих между собой национальностей! Война возвратит Австрии экономическое процветание, обеспечит стране весь балканский рынок, которым стремятся завладеть славяне... А поскольку эти господа считают себя достаточно сильными, чтобы за две-три недели войны принудить Сербию к капитуляции, то чем они рискуют?

— Это еще вопрос! — отчеканил Мейнестрель.

Все посмотрели на него. С рассеянной торжественностью он устремил свой взгляд туда, где сидела Альфреда.

— Погодите! — сказал Жак.

— Ведь существует Россия! — прервал Ричардли.— А затем есть Германия. Предположим на минуту, что Австрия нападает на Сербию; и предположим,— это маловероятно, но все-таки возможно,— что вмешается Россия. Русская мобилизация повлечет за собой мобилизацию в Германии, за которой автоматически последует мобилизация во Франции. Вся прелестная система их союзов заработает сама по себе... А это значит, что австро-сербская война способна вызвать всеобщий конфликт.— Он посмотрел на Жака и улыбнулся.— Однако, старина, Германия знает это лучше, чем мы с тобой. По-твоему, предоставляя австрийскому правительству свободу действий, Германия согласится рисковать европейской войной? Нет! Подумайте хорошенько... Риск таков, что Германия должна помешать Австрии действовать.

Мускулы на лице Жака напряглись.

— Постойте,— повторил он.— Это как раз то самое, из-за чего Хозмер поднял тревогу. Есть, оказывается, все основания думать, что Германия *уже* оказала поддержку Австрии.

Мейнестрель вздрогнул. Он не спускал глаз с Жака.

— Вот каким образом,— продолжал Жак,— происходили события,— если верить Хозмеру... По-видимому, вначале, на первых заседаниях после убийства, Берхтольд натолкнулся в Вене на сопротивление с двух сторон: со стороны венгерского министра Тиссы, человека осторожного, врага насильственных методов, и со стороны императора. Да, Франц-Иосиф как будто не решался дать согласие; он хотел прежде всего узнать, что думает Вильгельм Второй. Между тем кайзер собирался отправиться в плавание. Нельзя было терять ни минуты. И потому представляется вероятным, что между четвертым и седьмым июля Берхтольд нашел возможность посоветоваться с кайзером и его канцлером и *добился согласия Германии...*

— Все это лишь предположения...— произнес Ричардли.

— Конечно,— ответил Жак.— Но этим предположениям придает вероятность то, что произошло в Вене за последние пять дней. Подумайте хорошенько. За последнюю неделю даже в ближайшем окружении Берхтольда еще не было, кажется, принято определенных решений; не скрывали, что император и даже Берхтольд опасаются прямого противодействия со стороны Германии. И вдруг седьмого июля все изменилось. В этот день (в прошлый вторник) срочно созвали большой государственный совет, настоящий военный совет. Как будто вдруг руки у них оказались развязанными... Что говорилось в совете — об этом двое суток хранилось молчание. Но позавчера просочились первые слухи: слишком много людей оказалось посвящено в тайну в результате различных распоряжений, отданных после совета. К тому же у Хозмера в Вене превосходная агентура; Хозмер всегда узнает все!.. На заседании совета Берхтольд занял новую позицию: он вел себя в точности так, как если бы уже имел в кармане формальное обязательство Германии поддержать всеми средствами карательную экспедицию против Сербии. И он хладнокровно предложил своим коллегам настоящий *план войны,* который оспаривал только Тисса. Что план Берхтольда есть действительно план войны, доказывает то, что Тисса призывал своих коллег удовлетвориться лишь унижением Сербии; он считал вполне достаточным одержать блестящую дипломатическую победу. Однако весь совет восстал против него, и в конце концов он уступил: присоединился к общему мнению... Еще того чище: Хозмер уверяет, что в то самое утро министры цинически рассуждали, не следует ли немедленно объявить мобилизацию. И если они этого не сделали, то лишь потому, что нашли более удобным перед лицом других держав сбросить маску лишь в последний момент... Но несомненно одно: план Берхтольда и генерального штаба был принят... Каковы детали этого плана? Конечно, это узнать непросто... Но все-таки кое-что уже известно: например, что был отдан приказ начать все военные приготовления, какие можно осуществить, не привлекая особого внимания; что на австро-сербской границе войска прикрытия стоят наготове и в течение нескольких часов могут под любым предлогом оккупировать Белград! — Он быстро провел рукой по волосам.— А чтобы закончить, вот вам слова, которые якобы произнес один из сотрудников начальника генерального штаба, пресловутого Гетцендорфа; возможно, что это всего лишь хвастовство старого солдафона, но проливающее свет на настроения австрийских правителей. Он будто бы заявил в узком кругу: «Европа в один из ближайших дней станет пред свершившимся фактом».

XI

Жак замолчал, и тотчас же все взоры устремились на Пилота. Он застыл, скрестив руки; его неподвижные зрачки блестели.

Долгая минута прошла в молчании. Одни и те же опасения, а главное, растерянность искажали лица присутствующих.

Наконец Митгерг резко нарушил тишину:

— *Unglaublich...*

Наступила новая пауза.

Затем Ричардли пробормотал:

— Если действительно за всем этим стоит Германия!..

Пилот обратил на него свой острый взгляд, но тот, казалось, не заметил этого. Губы Пилота разжались и издали невнятный звук. Лишь Альфреда, не переставшая следить за ним, поняла: «Преждевременно!»

Она вздрогнула и инстинктивно прижалась к плечу Патерсона.

Англичанин окинул молодую женщину быстрым взглядом. Но она опустила голову, видимо, уклоняясь от всяких вопросов.

Впрочем, она была бы в большом затруднении, если бы Пат попросил ее объяснить свое состояние. В самом деле, в этот вечер война впервые перестала быть для нее абстракцией и представилась ее воображению с полной отчетливостью во всей своей кровавой реальности. Но не разоблачения Жака вызвали дрожь у Альфреды, а произнесенное Мейнестрелем слово «преждевременно». Почему? Эта мысль не могла захватить ее врасплох. Она знала убеждение Пилота: «Революция может возникнуть лишь в результате бурного кризиса; война при современном положении Европы есть наиболее вероятный повод для кризиса; но если это произойдет, то пролетариат, недостаточно подготовленный, не будет способен превратить империалистическую войну в революцию». Потрясла ли Альфреду именно та мысль, что если социализм и в самом деле не подготовлен, то война окажется всего лишь бесплодной бойней? Или самый тон, каким было произнесено слово — «преждевременно». Но что нового могло быть для нее в этом тоне? Разве она с давних пор не привыкла к бесстрастию своего Пилота? (Однажды она с невольным удивлением сказала ему: «Ты относишься к войне, как христиане к смерти: у них мысль настолько устремлена к тому, что будет *потом,* что они забывают обо всех ужасах агонии...» Он ответил, смеясь: «Для врача, девочка, муки родов — в порядке вещей».) Она даже восхищалась — хоть иногда и страдала от нее — этой сознательной отрешенностью, достигнутой путем постоянных тяжких усилий человеком, чьи человеческие слабости она знала лучше, чем кто-либо иной, это было как бы лишним доказательством его превосходства. И ее всегда волновала

мысль, что за этим чудовищным «обесчеловечением», в сущности, скрывались в высшей степени человеческие мотивы: стремление лучше служить человечеству, лучше работать над разрушением современного общества ради будущего прекрасного мира... Почему же она вздрогнула? Она не могла этого объяснить... Она подняла свои длинные ресницы, и ее взгляд, скользнув поверх Патерсона, упал на Мейнестреля с выражением доверия. «Терпение,— подумала она.— Он еще ничего не сказал. Он скажет. И снова все станет ясно, все будет справедливо и хорошо!»

— Что австрийский и германский *Militarismus* хотят войны, в это я верю,— продолжал Митгерг, покачивая взъерошенной головой.— И что с милитаристами заодно многие германские правители, и тяжелая индустрия, и Крупп, и все сторонники *«Drang nach Osten»* — да, в это я тоже могу поверить. Но правящие классы в целом — нет! Они испугаются. У них большое влияние. Они не допустят. Они скажут правительствам: «Остановитесь! Это безумие! Если вы подожжете этот динамит, то сами тоже взлетите на воздух!»

— Однако, Митгерг,— сказал Жак,— если действительно существует общность взглядов между правителями и военными партиями, то что может сделать оппозиция со стороны твоих правящих классов? А эта общность взглядов, по сведениям Хозмера...

— Никто не берет под сомнение эти сведения,— прервал Ричардли.— Но единственное, что можно сейчас утверждать,— это то, что существует *угроза* войны. Не больше... А что в действительности скрывается за этой угрозой? Бесповоротное стремление к войне? Или какие-нибудь новые комбинации германских министерских канцелярий?

— Я не верю в возможность войны,— флегматично заявил Патерсон.— Вы забыли о моей старой Англии! Никогда она не согласится допустить, чтобы Тройственный союз одержал верх в Европе...— Он улыбнулся.— Она сохраняет спокойствие, моя старая Англия. Вот о ней и забывают! Но она смотрит, она слушает и наблюдает; и если дело пойдет не так, как ей нужно, она внезапно встанет во весь рост!.. У нее еще крепкие мускулы, вы знаете! Она их упражняет каждое утро, эта милая старушка...

Жак заговорил нетерпеливо и взволнованно:

— Факт налицо! Что бы там ни было — стремление к войне или желание запугать,— Европа уже завтра встанет перед грозной опасностью! Ну, а мы, что должны делать мы? Я думаю так же, как и Хозмер. Перед этой угрозой мы должны занять определенную позицию. Мы должны как можно скорее подготовить контрнаступление!

— Да, да, правильно! — воскликнул Митгерг.

Жак обернулся к Мейнестрелю, но не мог поймать его взгляда. Он вопросительно взглянул на Ричардли, тот сделал утвердительный знак:

— Согласен!

Ричардли отказывался верить в опасность войны. Тем не менее он не отрицал, что Европа глубоко потрясена этой внезапной угрозой; и он тотчас же определил, какие выгоды может извлечь из этого потрясения Интернационал, чтобы объединить все оппозиционные силы и внедрить в сознание масс революционные идеи.

Жак продолжал:

— Я повторяю слова Хозмера: угроза европейского конфликта ставит перед нами новую и вполне определенную задачу. Наша обязанность — возобновить и усилить программу, выдвинутую два года назад в связи с Балканской войной... Прежде всего надо выяснить, нет ли возможности ускорить созыв конгресса в Вене... Затем надо немедленно и всюду одновременно начать открытую официальную кампанию самого широкого размаха!.. Запросы в рейхстаге, в палате депутатов, в думе!.. Одновременный нажим на все министерства иностранных дел!.. Выступление в печати!.. Призыв к народам!.. Массовые демонстрации!..

— И чтобы перед глазами всех правительств встал призрак всеобщей забастовки! — сказал Ричардли.

— С саботажем на военных заводах! — прохрипел Митгерг.— И взрывать паровозы и отвинчивать гайки на рельсах, как в Италии!

Все обменивались лихорадочными взглядами. Не настал ли наконец час *действия?*

Жак снова обернулся к Пилоту. Беглая улыбка, светлая и холодная, которую Жак принял за знак одобрения, скользнула по лицу Мейнестреля и погасла, как луч прожектора. Внезапно осмелев, Жак снова с жаром заговорил:

— Да, забастовка! *Всеобщая и одновременная!* Наше лучшее оружие!.. Хозмер опасается, что на Венском конгрессе вопрос опять останется в плане теории. Надо его поставить по-новому во всех планах. Выйти за пределы теории! Уточнить для каждой страны позицию, которую следует занять в том или ином случае! Не повторять базельских ошибок! Прийти, наконец, к конкретным практическим решениям. Не правда ли, Пилот?.. Хозмер даже хотел уговорить вождей организовать перед конгрессом подготовительные собрания. Чтобы расчистить почву. И чтобы доказать правительствам, что весь пролетариат на этот раз твердо решился выступить против их агрессивной политики!

Митгерг насмешливо возразил:

— *Ах!* Твои вожди! Чего ты ждешь от твоих вождей? Сколько лет они говорят о забастовке! И ты веришь, что на этот раз в Вене за несколько дней решатся на что-нибудь определенное?

— Новый фактор! — сказал Жак.— Опасность европейского пожара!

— Нет, только не твои вожди! Не дискуссии! Действие масс, да. Выступление масс, *Camm'rad!*

— Ну конечно, выступление масс! — воскликнул Жак.— Однако разве не самое важное для подготовки этого выступления, чтобы вожди прежде всего высказались ясно и категорически? Подумай, Митгерг, как бы это ободрило массы!.. Ах, Пилот, если бы у нас была уже единая интернациональная газета!

— *Träumerei!* [1] — закричал Митгерг.— А я говорю, оставь в покое вождей и займись массами! Ты думаешь, что, например, немецкие вожди согласятся на забастовку? Нет! Они скажут то же самое, что в Базеле: «Невозможно из-за России».

— Это было бы печально,— заметил Ричардли.— Очень печально... В сущности, все дело в Германии упирается в социал-демократию...

— Во всяком случае,— сказал Жак,— они ясно показали два года назад, что умеют, когда нужно, выступать против войны! Без их вмешательства балканская история зажгла бы всю Европу!

— Нет, не «без их вмешательства»,— проворчал Митгерг,— а «без вмешательства масс»! Что сделали они? Только следовали за массами!

— А кто же организовал массовые выступления? Вожди! — возразил Жак.

Бем покачал головой.

— Пока в России на миллионы и миллионы мужиков нет даже двух миллионов рабочих, русский пролетариат не располагает достаточными силами для борьбы против своего правительства; царский *Militarismus* — это реальная опасность для Германии, и социал-демократия не может гарантировать забастовку!.. И Митгерг прав: на Венском конгрессе она лишь теоретически даст согласие, так же, как это было в Базеле!

— *Ах,* оставьте в покое ваши конгрессы! — раздраженно закричал Митгерг.— Говорю вам: и на этот раз все решит выступление масс! А вожди последуют за ними... Надо везде — в Австрии, в Германии, во Франции — побуждать рабочих к восстанию, не дожидаясь, пока вожди отдадут приказ! Надо объединить надежных людей в каждом уголке, чтобы везде срывать работу — на же-

[1] Мечты! *(нем.)*

лезных дорогах, на оружейных заводах, в арсеналах! Везде! И нажимать на вождей, на профсоюзы! А в то же время снова воспламенить все революционные организации Европы! Я уверен, что Пилот думает так же, как и я!.. Внести расстройство всюду! В Австрии это легче всего! *Nicht wahr, Böhm?* [1] Решительно разбудить все подпольные национальные группировки — мадьяров, поляков, чехов! И венгров! И румын!.. И так везде!.. Можно разжечь итальянские забастовки! Можно и русские... И если массы будут везде готовы к восстанию, тогда и вожди пойдут за ними! — Он повернулся к Мейнестрелю: — Не правда ли, Пилот?

Мейнестрель в ответ поднял голову. Его острый взгляд остановился сначала на Митгерге, потом на Жаке и затем затерялся в направлении кровати, на которой между Ричардли и Патерсоном сидела Альфреда.

— Ах, Пилот,— воскликнул Жак,— если мы победим на этот раз, как неслыханно возрастет мощь Интернационала!

— Разумеется,— сказал Мейнестрель.

Беглая ироническая улыбка, не укрывшаяся от опытных глаз Альфреды, скользнула по его губам.

Слушая рассказ о разоблачениях Хозмера, о тех основательных предпосылках, которые позволяли предполагать, что Германия поддерживает намерения Австрии, он тотчас же подумал: «Вот она, *их* война! Семьдесят шансов из ста... А мы не готовы... Невозможно надеяться на захват власти ни в одной европейской стране. Значит?..» И у него тут же созрело решение: «В отношении тактики нет ни малейших сомнений: играть вовсю на народном пацифизме. Это теперь лучшее средство влияния на массы. Война войне! Если она вспыхнет, то необходимо, чтобы возможно большее количество солдат отправилось на войну с твердым убеждением, что война спущена с цепи капиталом против воли и против интересов пролетариата; что они вопреки их желанию ввергнуты в братоубийственную борьбу ради преступных целей. Такой посев не пропадет, что бы из него ни выросло... Превосходный прием, чтобы ввести в недра империализма зародыш его гибели! Превосходный случай и для того, чтобы держать на виду наших официальных вождей, заставить их вконец запутаться и полностью скомпрометировать их перед властями... Итак, валяйте, миленькие! Дуйте в пацифистскую дудку!.. Впрочем, вы только этого и хотите. Стоит дать вам волю...» Он усмехнулся про себя: заранее представил себе великодушные объятия пацифистов и социал-патриотов всех мастей; казалось, до него уже доносились теноровые раскаты с официальных трибун... «Что же касается нас...— подумал он,—

[1] Не правда ли, Бем? *(нем.)*

что касается меня...» Мейнестрель не докончил мысли. Он оставлял за собою возможность вернуться к ней позже.

Вполголоса он пробормотал:

— Там будет видно.

И тут он уловил настойчивый взгляд Альфреды и заметил, что все молчат, повернувшись к нему и ожидая, когда он наконец заговорит. Машинально он повторил несколько громче:

— Там будет видно.— Нервным движением он убрал свою больную ногу под стул и откашлялся.— Мне нечего прибавить к сказанному... Я думаю так же, как Хозмер... Я думаю так же, как Тибо, как Митгерг, как вы все...

Мейнестрель провел рукой по влажному лбу и неожиданно для всех встал.

В этой низенькой комнатке, заставленной стульями, он казался еще выше ростом. Он сделал наугад несколько шагов, кружа в узком свободном пространстве между столом, кроватью и ногами гостей. Взгляд, которым он скользнул по каждому из присутствующих, казалось, не был направлен ни на кого из них в отдельности.

Походив с минуту и помолчав, он остановился. Казалось, что его мысль возвращалась откуда-то издалека. Все были убеждены, что он сядет и начнет развивать план действий, что он пустится в те свои страстные, стремительные и несколько пророческие импровизации, к которым всех приучил. Но он ограничился тем, что опять пробормотал:

— Там будет видно...— И, опустив глаза, он улыбнулся и очень быстро добавил: — Впрочем, все это приближает нас к *цели*.

Затем он протиснулся позади стола к окну и внезапно распахнул ставни, за которыми открылась ночная мгла. Потом слегка наклонил голову и, переменив тон, бросил через плечо:

— Не дашь ли нам, девочка, выпить чего-нибудь холодного?

Альфреда послушно скрылась в кухне.

Несколько мгновений все чувствовали себя неловко.

Патерсон и Ричардли, продолжавшие сидеть на кровати, разговаривали вполголоса.

Посреди комнаты, под лампой, оба австрийца стоя спорили на своем родном языке. Бем вытащил из кармана половину сигары и зажег ее; выпяченная вперед нижняя губа, яркая и влажная, придавала его плоскому лицу выражение доброты, но также и несколько вульгарной чувственности, что резко отличало его от остальных.

Мейнестрель, стоя и опершись руками на стол, перечитывал письмо Хозмера, лежавшее перед ним около лампы; падавший из-под абажура свет резко освещал его: коротко остриженная борода

казалась еще чернее, а лицо еще бледнее; лоб был наморщен, и веки почти совсем прикрывали зрачки.

Жак тронул его за локоть:

— Вот наконец, Пилот, может быть, раньше, чем вы думали, вот она — *власть над ходом вещей?*

Мейнестрель покачал головой. Не глядя на Жака, все такой же бесстрастный, он подтвердил тусклым, лишенным всякого выражения голосом:

— Разумеется.

Потом замолчал и продолжал читать.

Тягостная мысль мелькнула в голове Жака: ему показалось, что в этот вечер что-то изменилось не только в интонации Пилота, но и в его отношении к Жаку.

Бем, которому надо было рано утром успеть на поезд, первый подал сигнал к уходу.

Все последовали за ним, чувствуя смутное облегчение.

Мейнестрель спустился вместе с ними, чтобы открыть дверь на улицу.

XII

Альфреда, склонившись над перилами лестницы, ждала, пока внизу затихнут голоса. Затем она возвратилась к себе и хотела немного прибрать комнату. Но на сердце у нее было тяжело... Она ушла на кухню, где было темно, облокотилась на подоконник и замерла, устремив широко раскрытые глаза в ночной мрак.

— Мечтаешь, девочка?

Рука Мейнестреля, горячая и жесткая, погладила ее плечо. Она вздрогнула и как-то по-детски выпалила:

— А ты правда думаешь, что это война?

Он засмеялся. Она почувствовала, что ее надежды пошатнулись.

— Ведь мы...

— Мы? Мы не готовы!

— Не готовы? — Она неправильно поняла его слова, потому что весь вечер думала только о том, что надо бороться против войны.— И ты, ты правда думаешь, что нет способа помешать...

Он прервал:

— Нет! Разумеется! — Мысль, что современный пролетариат мог бы стать препятствием для сил, развязывающих войну, казалась Мейнестрелю нелепой.

Она угадала во тьме его улыбку, блеск его глаз и снова содрогнулась. Несколько секунд оба молчали, прижавшись друг к другу.

— Однако,— сказала она,— Пат, быть может, прав? Если мы не в состоянии ничего сделать, то Англия...

— Все, что она может, ваша Англия, это отдалить начало, и то едва ли! — Почувствовал ли в ней Пилот непривычное сопротивление? Его голос стал еще жестче: — Впрочем, дело не в этом! Не в том суть, чтобы помешать войне!

Она приподнялась.

— Но почему же ты им об этом не сказал?

— Потому что сейчас это никого не касается, девочка! И потому, что сегодня практически нужно действовать так, *как если бы!..*

Она замолчала. Она чувствовала себя весь вечер оскорбленной, как никогда, обиженной им до глубины души; и внутренне восставала против него, сама не зная почему. Она вспомнила, как однажды, в самом начале их связи, он заявил скороговоркой, пожимая плечами: «Любовь? Для нас это совсем не важно!»

«Что же для него важно? — спрашивала она себя.— Ничего! Ничего, кроме Революции! — И впервые она подумала: — Революция — это его *навязчивая идея*... Все остальное он ни в грош не ставит!.. И меня! Мою женскую жизнь!.. Ничто для него не важно, даже то, что он сам собою представляет, то, что он не человек, а *что-то другое!..*» В первый раз вместо *«выше и лучше,* чем просто человек», она подумала — «не человек, а *что-то другое*».

Мейнестрель продолжал саркастическим тоном:

— Война — войне, девочка! Предоставь им действовать! Демонстрации, волнения, стачки — все, что им угодно. Вперед, фанфары! Вперед, трубачи! И пусть они сокрушают, если могут, стены Иерихона!

Он внезапно отодвинулся от Альфреды, повернулся на каблуках и процедил сквозь зубы:

— Однако эти стены, девочка, полетят к черту не от их труб, а от наших бомб!

И когда он, слегка прихрамывая, пошел в комнату, Альфреда услыхала придушенный смешок, который всегда леденил ей душу.

Она еще долго сидела неподвижно, облокотившись на подоконник, блуждая взглядом в ночи.

Вдоль пустынной набережной Арва со слабым журчанием несла свои воды среди камней. Один за другим гасли последние огни в прибрежных домах.

Альфреда не шевелилась. О чем она думала? Ни о чем,— так ответила бы она сама. Две слезинки вытекли из-под век и повисли у нее на ресницах.

XIII

Шофер переехал через площадь Инвалидов и свернул на Университетскую улицу. Автомобиль несся бесшумно. Но в этот знойный воскресный полдень улица была такой пустынной, выглядела такой сонной, что шелковистое шуршанье шин по сухому асфальту и робкий гудок на перекрестке казались чем-то нескромным, прямо неприличным.

Как только машина миновала улицу Бак, Анна де Батенкур прижала к себе рыжую китайскую собачонку, которая, свернувшись клубочком, спала рядом с ней. Наклонясь вперед, Анна коснулась зонтиком спины мулата в белом пыльнике, невозмутимо сидевшего за рулем.

— Остановите, Джо... Я пройдусь пешком.

Автомобиль подкатил к тротуару, и Джо открыл дверцу. Из-под козырька сверкнули его зрачки, блестевшие сильнее, чем лакированная кожа, и бегавшие то вправо, то влево, как глаза заводной куклы.

Анна была в нерешительности. Могла ли она рассчитывать на то, чтобы сразу найти такси в этом глухом квартале? Как глупо было со стороны Антуана не послушаться ее совета и не перебраться после смерти отца поближе к Булонскому лесу!.. Она взяла собачонку на руки и легко спрыгнула на землю. Желание не быть связанной победило.

— Вы мне больше не будете нужны сегодня, Джо... Можете ехать домой.

Даже в тени раскаленный тротуар жег подошвы. Ни малейшего движения в воздухе. Над крышами домов неподвижно стояла легкая дымка, застилавшая солнце. Сощурив глаза против света, Анна шла вдоль домов, молчаливых, как тюремные ворота. Феллоу лениво плелся за хозяйкой. На улице — ни души; не было даже ни одной из тех тонконогих маленьких девочек с косичками, которые обычно по воскресеньям в хорошую погоду одиноко резвятся на тротуаре перед своим мрачным жилищем,— они иногда внушали Анне внезапное желание удочерить их недельки на три, увезти в Довиль, напоить свежим воздухом и напичкать всякими лакомствами. Никого. Даже привратники, как сторожевые псы, дремавшие в своих конурах, дожидались сумерек, чтобы подышать немножко прохладой, усевшись верхом на стул перед дверью. Казалось, что в этот воскресный день 19 июля все население Парижа, утомленное неделей народного празднества, толпой покинуло столицу.

Особняк Тибо был виден издали. Над его крышей все еще возвышались леса. Старый фасад, обезображенный цементными швами, ожидал только краски, чтобы вновь помолодеть. Дощатый за-

бор с расклеенными на нем афишами закрывал нижний этаж и делал тротуар в этом месте более узким.

Приподняв юбку и поддерживая оборки фулярового платья, Анна — а вслед за ней и собачка — проскользнули между мешками, досками, кучами строительного мусора, загромождавшими вход. В подъезде пахло сыростью от свежевыбеленной штукатурки, и в затылке возникло неприятное ощущение, точно от прикосновения холодной мокрой губки. Феллоу задрал свою курносую черную мордочку и остановился, принюхиваясь к незнакомым запахам. Анна улыбнулась, одной рукой подняла с земли этот теплый шелковистый клубочек и прижала его к груди.

Стоило переступить через порог застекленной двери, как становилось ясно, что внутренний ремонт почти закончен. Красная ковровая дорожка, которой в прошлые посещения Анны здесь еще не было, вела прямо к лифту.

На площадке третьего этажа Анна остановилась и по привычке, хотя отлично знала, что Антуана нет дома, достала пуховку и провела ею по лицу, прежде чем позвонить.

Дверь отворилась как бы нехотя: Леон не решался показаться в будничной одежде, в полосатом жилете. Его длинное, безбородое лицо, с желтоватым, как у цыпленка, пушком надо лбом, сохраняло то безличное выражение, одновременно простоватое и лукавое (поднятые брови, отвисшая губа, приоткрытые веки и опущенный нос), которое стало для него привычным рефлексом самозащиты. Он искоса окинул Анну быстрым взглядом, точно сетью опутывая и ее самое, и отделанную цветами шляпу, и розовато-лиловое платье; затем посторонился, чтобы впустить ее.

— Доктора нет дома...

— Я знаю,— сказала Анна, опуская собачку на пол.

— Он, должно быть, еще внизу, с этими господами...

Анна прикусила губу. Провожая ее на вокзал во вторник, когда она уезжала в Берк, Антуан объявил ей, что уедет в воскресенье на весь день за город, на консультацию. За время их связи, длившейся полгода, ей уже не раз приходилось убеждаться в том, что Антуан утаивает от нее кое-какие мелочи, и эта скрытность создавала вокруг него непроницаемую броню.

— Не беспокойтесь,— сказала Анна, подавая Леону зонтик.— Я зашла только написать записку,— прошу вас, передайте доктору.

И, пройдя мимо слуги, она устремилась вперед по однотонной бежевой ковровой дорожке, которой теперь был устлан пол в бывшей квартире г-на Тибо. Китайская собачка безошибочно остановилась перед кабинетом Антуана. Анна вошла туда, впустила собаку и закрыла за собой дверь.

Шторы были спущены; окна закрыты. Пахло новым ковром, свежим лаком с примесью старого и стойкого запаха краски. Анна быстрыми шагами подошла к письменному столу, взялась руками за спинку кресла и, выпрямившись, с жестким выражением лица, раздувая ноздри и как-то сразу подурнев, стала осматривать комнату жадным и подозрительным взглядом, готовая уловить малейший намек, способный пролить некоторый свет на ту незнакомую ей жизнь, которую Антуан вел вдали от нее.

Но трудно было представить себе что-нибудь более безличное, чем эта огромная комната, роскошная и неуютная. Антуан никогда здесь не работал: он пользовался ею только в приемные дни. Стены до половины высоты заставлены были книжными шкафами, стеклянные дверцы которых, затянутые китайским шелком, скрывали за собой пустые полки. В центре комнаты помещался парадный письменный стол, негостеприимно прикрытый толстым стеклом, а на нем был разложен сафьяновый гарнитур: портфель для бумаг, папка, подкладываемая при письме, и бювар с промокательной бумагой, украшенные монограммами. Ни одной деловой бумаги, ни одного письма, ни одной книги, кроме телефонного справочника. И только эбонитовый стетоскоп, водруженный, как безделушка, около хрустальной чернильницы без чернил, свидетельствовал о профессии хозяина; впрочем, создавалось такое впечатление, что и этот предмет был поставлен сюда не самим Антуаном для медицинских целей, а помещен рукой неведомого декоратора, заботившегося о внешнем эффекте.

Феллоу разлегся на животе у самой двери, раскинув лапки; его шелковистая светлая шерсть сливалась с ковром. Анна рассеянно взглянула на него; затем уселась, как амазонка, на ручку вращающегося кресла, в котором Антуан три раза в неделю изрекал приговоры. Она на минуту представила себя на его месте и испытала при этом мимолетное удовольствие; это был как бы реванш за то, что он отводил ей слишком ограниченное место в своей жизни.

Она вытащила из портфеля блокнот с именным штампом на каждой странице, которым Антуан пользовался, выписывая рецепты, и, вынув из сумочки вечное перо, стала писать:

«Тони, любимый! Я могла выдержать без тебя только пять дней. Сегодня утром вскочила в первый попавшийся поезд. Сейчас четыре часа. Отправляюсь в наше гнездышко и буду ждать, пока кончится твой трудовой день. Приходи ко мне, Тони, приходи скорей!

А.

Я захвачу по дороге все, что нам нужно для ужина, чтобы уж больше не выходить».

Анна достала конверт и позвонила.

Появился Леон. Он уже успел облачиться в свою ливрею. Приласкав собачку, он подошел к Анне.

Примостившись на ручке кресла, она болтала ногой, смачивая языком клей на конверте. У нее была красивая форма рта, массивный, но подвижной язык. В комнате пахло духами, которыми была пропитана ее одежда. Анна уловила огонек, вспыхнувший во взгляде слуги, и безмолвно улыбнулась.

— На,— сказала она, резким движением бросая письмо на стол, при этом браслеты на ее руке зазвенели.— Пожалуйста, передай ему это, как только он поднимется наверх. Хорошо?

Она иногда говорила слуге «ты» в отсутствие Антуана, это у нее выходило так естественно, что Леон нисколько не удивлялся. Их связывало тайное и молчаливое соглашение. Когда Анна заезжала за Антуаном, чтобы увезти его обедать, а он заставлял себя ждать, она охотно болтала с Леоном; в его присутствии она словно дышала родным воздухом. Впрочем, он не злоупотреблял этой фамильярностью, разве что иногда позволял себе вольность во время этих разговоров с глазу на глаз не называть ее в третьем лице «сударыня»; а когда она давала ему на чай, он был доволен, что может поблагодарить ее, только подмигнув ей и не тая в сердце ни малейшей классовой ненависти.

Анна вытянула ногу, подняла край юбки, чтоб поправить шелковый чулок, и соскочила с кресла.

— Я удираю, Леон. Куда вы дели мой зонтик?

Чтобы найти такси, проще всего было пройти по улице Святых Отцов до бульвара. На улице почти никого не было. Навстречу Анне попался какой-то молодой человек. Они обменялись равнодушным взглядом, не подозревая того, что им уже пришлось однажды встретиться в довольно знаменательный день. Но разве могли они узнать друг друга? Жак за последние четыре года сильно изменился; этот коренастый мужчина с озабоченным лицом ни внешностью, ни походкой не напоминал прежнего юнца, который в свое время ездил в Турень, чтобы присутствовать на свадьбе Анны с Симоном де Батенкур. И несмотря на то, что во время этого странного обряда он с любопытством наблюдал за новобрачной, Жак, в свою очередь, не мог бы узнать в этой накрашенной парижанке,— чье лицо, кроме того, было наполовину скрыто от него зонтиком,— задорную вдовушку, выходившую когда-то замуж за его приятеля Симона.

— Ваграмская улица,— сказала Анна шоферу.

На Ваграмской улице находилось их «гнездышко» — обставленная на холостую ногу квартира в нижнем этаже, которую Антуан снял в самом начале их связи на углу этой улицы и глухого

переулка, куда выходило отдельное парадное, что позволяло избежать пересудов консьержки.

Антуан не соглашался на просьбы Анны встречаться в небольшом особняке, который она занимала недалеко от Булонского леса, на улице Спонтини. А между тем она уже несколько месяцев жила там совершенно одиноко и независимо. (Когда, по совету Антуана, на Гюгету пришлось надеть гипсовый корсет и увезти ее на берег моря, Анна сняла домик в Берке, и было решено, что она поселится там вместе с мужем до полного выздоровления девочки. Героическое решение, которому Анна не смогла долго следовать. В действительности один только Симон, никогда не любивший Парижа, окончательно обосновался там со своей падчерицей и ее гувернанткой-англичанкой. Он много занимался фотографией, немного живописью и музыкой, а долгими вечерами, вспомнив о своих занятиях богословием, читал книги о протестантизме. Анна всегда находила благовидный предлог, чтобы остаться в Париже: ее пребывание в Берке ограничивалось пяти-шестидневным визитом раз в месяц. Материнское чувство никогда не было у нее сильно развито. В последнее время постоянное присутствие в доме этой тринадцатилетней девочки-подростка раздражало ее, как вечная помеха. Теперь же к этой глухой враждебности стало примешиваться чувство унижения при виде калеки, которую мисс Мэри возила в коляске по залитым солнцем пескам прибрежных дюн. Анна мечтала иногда удочерить чужих малокровных девочек, но находила вполне естественным пренебрегать своим собственным ребенком. По крайней мере, в Париже она совершенно забывала Гюгету,— а также и Симона.)

Автомобиль несся уже по Ваграмской улице, когда Анна подумала об ужине. Магазины были закрыты. Вспомнив, что в квартале Терн есть гастрономический магазин, открытый по воскресеньям, она велела отвезти себя туда, а затем отпустила такси.

Было так занятно делать покупки! Держа под мышкой свою китайскую собачку, Анна ходила взад и вперед по магазину, любуясь аппетитно разложенным товаром. Сначала она выбрала то, что любил Антуан: ржаной хлебец, соленое масло, копченую гусиную грудку, корзиночку земляники. Для Феллоу — как и для Антуана — она прибавила банку сгущенных сливок.

— А еще кусочек вот этого! — сказала она, лакомо облизываясь и указывая затянутым в перчатку пальцем на мисочку обыкновенного паштета из гусиной печенки. «Вот это» предназначалось для нее самой; паштет был ее слабостью; но ей, конечно, приходилось его есть разве только случайно, во время путешествия, где-нибудь в железнодорожном буфете или в деревенской гостинице.

Порция паштета на несколько су — розоватого и жирного, окруженного топленым салом, остро приправленного гвоздикой и мускатным орехом и намазанного на ломоть свежеиспеченного хлеба,— в этом было все ее прошлое, прошлое бедной парижской девушки, которое вдруг она ощутила на языке... Завтраки всухомятку на скамейке Тюильрийского сада, в полном одиночестве, среди голубей и воробьев, в те годы, когда она служила продавщицей на улице Оперы. Никаких напитков; но, чтобы утолить жажду, возбужденную пряным паштетом,— пригоршня испанских вишен, купленная у разносчика на краю тротуара. И в завершение, когда наступало время возвращения на работу,— чашечка черного кофе, сладкого и горячего, пахнущего жестью и гуталином, которую она выпивала опять-таки в одиночестве у стойки кафе-бара на улице Святого Роха.

Анна рассеянно смотрела, как приказчик завертывает покупки и пишет счет...

В одиночестве... Уже в то время верный инстинкт подсказывал ей, что если у нее и были кое-какие шансы преуспеть, то лишь при условии отчужденного от всех и замкнутого существования, без увлечений, без привязанностей, в полной готовности к любому превращению. Ах, если бы гадалка, бродившая по Тюильрийскому саду со своей заплечной корзинкой и трещоткой и торговавшая трубочками и лимонадом, предсказала бы ей в то время, что она станет г-жой Гупийо, женой самого патрона!.. А между тем так оно и случилось. И теперь, оглядываясь назад, она находила это почти естественным...

— Получите, сударыня! — Приказчик подал ей завязанный пакет.

Анна почувствовала, как взгляд продавца скользнул по ее груди. Ей все больше и больше нравилось возбуждать мимолетное желание мужчин. Этот был еще совсем мальчишка, с легким пушком на щеках, с растрескавшимися губами, с большим, некрасивым здоровым ртом. Анна поддела пальцем веревочку, подняла голову, слегка откинув ее назад, и в знак благодарности окинула юношу обольстительным взглядом своих больших серых глаз.

Пакет был легкий. Времени впереди оставалось еще много; было всего пять часов. Она спустила собачку на землю и пошла пешком по Ваграмской улице.

— Ну-ка, Феллоу, бодрей!..

Анна шла широким шагом, слегка покачиваясь, с некоторым самодовольством подняв голову. Ибо она не могла подавить в себе чувство невольной гордости всякий раз, как вспоминала о своем прошлом: она ясно сознавала, что ее воля всегда оказывала влия-

ние на судьбу и что достигнутый успех был делом ее собственных рук.

На расстоянии,— не переставая удивляться, как будто речь шла о ком-то другом,— Анна любовалась той настойчивостью, которую она проявляла с самого детства, чтобы выбраться из низов; это был своего рода инстинкт, подобный инстинкту утопающего, который непроизвольными движениями старается выплыть на поверхность. Живя вместе со старшим братом и овдовевшим отцом, она все долгие годы отрочества бережно хранила свою чистоту, для того чтобы со временем легче было подняться наверх. По воскресеньям, пока отец, рабочий-водопроводчик, играл в кегли у старых фортов, Анна вместе с братом и друзьями отправлялась бродить по Венсенскому лесу. Как-то вечером, при возвращении с прогулки, товарищ брата, молодой монтер, попытался ее поцеловать. Анне было уже семнадцать лет, и он ей нравился. Но она дала ему пощечину и одна убежала домой; после этого случая она никогда больше не ходила с братом гулять. По воскресным дням она оставалась дома и занималась шитьем. Она любила тряпки, наряды, у нее был вкус. Хозяйка ближайшего галантерейного магазина, знавшая ее мать, взяла к себе Анну продавщицей, но как уныло было в этой лавчонке, клиентура которой состояла из бедных жителей квартала... К счастью, Анне удалось получить место продавщицы в отделении «Универсального магазина XX века», которое открылось в Венсене, на Церковной площади. Перебирать куски шелка и бархата; соприкасаться с непрерывно движущейся толпой покупателей; жить в атмосфере похотливых желаний продавцов, заведующих отделами, не отвечая им ничем, кроме товарищеской улыбки, и чинно возвращаться вечером домой, чтобы приготовить семейный ужин,— такова была жизнь Анны в течение двух лет, и в общем она сохранила о ней хорошие воспоминания. Но как только умер отец, Анна бежала из пригорода и устроилась на отличное место, в самом центре Парижа, на улице Оперы, в главном магазине, управление которым все еще было в руках самого старика Гупийо. И вот тут-то пришлось вести тонкую игру — до самого замужества... «Тонкая игра!» Это могло бы стать ее девизом... Еще и теперь... Разве не сама она при первой встрече с Антуаном остановила на нем свой выбор, преодолела его сопротивление и постепенно одержала над ним победу? А он этого и не подозревал; потому что она была достаточно опытна и хитра, чтобы щадить самолюбие самца и оставлять ему приятную иллюзию собственной инициативы. К тому же она была слишком хорошим игроком, чтобы отдать предпочтение тщеславному удовольствию афишировать свою власть перед действительно царственной радостью удовлетворять свои желания втайне, во всеоружии кажущейся слабости...

Предаваясь размышлениям, Анна незаметно добралась до их квартирки. Она разогрелась от ходьбы. Тишина и прохлада, царившие в квартире, где шторы были спущены, привели ее в восхищение. Стоя посреди комнаты, она сбросила с себя все, что на ней было надето, и побежала в ванную комнату, чтобы приготовить себе ванну.

Ей было приятно чувствовать себя обнаженной среди всех этих зеркал, под матовыми стеклами, в холодном свете лампочек, придававшем особый блеск ее коже. Наклонясь над кранами, из которых с шумом вырывалась вода, Анна рассеянно проводила ладонью по своим смуглым, все еще стройным бедрам, по своей несколько отяжелевшей груди. Затем, не дожидаясь, пока ванна наполнится доверху, занесла ногу через край. Вода была чуть теплой. Анна погрузилась в нее с приятной дрожью в теле.

Взглянув на белый с синими полосами купальный халат, висевший на стене перед нею, она невольно улыбнулась: в прошлый раз Антуан забавно закутался в него и ужинал в таком виде. Внезапно ей вспомнилась небольшая сцена, разыгравшаяся между ними именно в тот вечер: на какой-то вопрос, который она задала ему по поводу его прежней жизни, его связи с Рашелью, он сказал ей ни с того ни с сего: «Я-то тебе рассказываю все, я-то ничего от тебя не скрываю!»

Действительно, она очень мало говорила ему о себе. В самом начале их связи как-то вечером Антуан, пристально посмотрев ей в глаза, сказал: «У тебя взгляд роковой женщины...» Этим он доставил ей огромное удовольствие. Она запомнила это навсегда. Чтобы сохранить престиж, она постаралась окружить тайной свою прошлую жизнь. Может быть, это с ее стороны было ошибкой? Кто знает, может быть, Антуану было бы приятно под маской роковой женщины найти гризетку? Она решила это хорошенько взвесить. Исправить ошибку было нетрудно: ее прежняя жизнь была достаточно богата событиями, чтобы, ничего не выдумывая и не искажая фактов, извлечь из них необходимое, а именно — воспоминания сентиментальной маленькой продавщицы, какой она была в дни своей юности...

Антуан... Как только она начинала думать о нем, в ней пробуждалось желание. Она любила его таким, каким он был, за его решительность, за его силу — и даже за то, что он был слишком уверен в своей силе... Она любила его за любовный пыл, проявлявшийся у него несколько грубо, почти без нежности... Самое большее через час он должен быть уже здесь...

Анна вытянула ноги, запрокинула голову и закрыла глаза. Вода смыла с нее усталость, как пыль. Блаженная животная истома охватила ее. Над ее головой большой пустынный дом безмолв-

ствовал. Тишину нарушало лишь похрапывание собачки, распластавшейся на прохладном кафельном полу, отдаленное шуршание детских роликов по асфальту соседнего двора да плеск капель, с кристаллическим звуком время от времени падавших из крана.

XIV

Жак, остановившись на углу Университетской улицы, разглядывал свой родной дом. Покрытый лесами, он был неузнаваем. «Ведь верно! — подумал он.— Антуан предполагал произвести основательный ремонт...»

После смерти отца он уже дважды побывал в Париже, но ни разу не заходил на свою прежнюю квартиру и даже не извещал брата о своем приезде. Антуан в течение зимы несколько раз присылал ему сердечные письма. Жак, со своей стороны, ограничивался лаконическими приветственными открытками. Он не сделал исключения, даже когда отвечал на длинное деловое письмо, касавшееся его прав как наследника: в пяти строках он изложил категорический отказ вступить во владение своей частью отцовского наследства, почти не мотивировав свой поступок и попросив брата никогда больше не затрагивать «этих вопросов».

Жак находился во Франции с прошлого вторника. (На следующий день после встречи с Бемом Мейнестрель сказал ему: «Отправляйся-ка в Париж. Возможно, что твое присутствие там будет мне необходимо в ближайшие дни. Пока я больше ничего не могу тебе сообщить. Воспользуйся этой поездкой, чтобы разведать, откуда ветер дует, и посмотреть вблизи, что там делается, как реагируют левые круги во Франции; в особенности группа Жореса — эта компания из «Юманите»... Если в воскресенье или в понедельник ты не получишь от меня никаких вестей, можешь вернуться. Разве только ты сочтешь, что можешь быть полезен там».) В течение нескольких дней своего пребывания в Париже Жак не имел времени — или мужества — навестить Антуана. Но события, как ему казалось, приобретали день ото дня все более угрожающий характер, так что он решил не уезжать, не повидавшись с братом.

Устремив свой взгляд на третий этаж дома, где во всех окнах виднелись новые шторы, он пытался отыскать *свое* окно — окно своей детской комнаты... Еще не поздно было отступить. Он колебался... Наконец пересек улицу и вошел в подъезд.

Здесь все было по-новому: на лестнице отделанные под мрамор стены, железные перила, широкие зеркальные стекла заменили прежние обои с геральдическими лилиями, деревянные перила,

точеные балясины и средневековые витражи с разноцветными стеклышками. Только лифт остался без перемен. Тот же короткий щелчок, потом шуршание цепей и масляное урчание, предшествующее движению кабины,— звуки, от которых у Жака и теперь еще мучительно сжималось сердце, потому что они воскрешали воспоминание об одной из самых тяжелых минут его полного унижений детства — о его возвращении в отчий дом после побега... Только здесь, именно здесь, в тесной кабинке, куда втолкнул его Антуан, беглец тогда почувствовал себя действительно пойманным, схваченным, бессильным... Отец, исправительная колония... А теперь Женева, Интернационал... Может быть, война...

— Здравствуйте, Леон. Сколько у вас тут перемен!.. Брат дома?

Вместо ответа Леон с изумлением рассматривал это привидение. Наконец он промолвил, часто моргая глазами:

— Доктор? Нет... То есть да... Для господина Жака, конечно!.. Но он внизу, в приемной... Не потрудится ли господин Жак спуститься этажом ниже... Дверь открыта, можно войти.

На площадке второго этажа Жак прочел на медной дощечке: «Лаборатория А. Оскар-Тибо».

«Значит, весь дом?..— подумал Жак.— И он присвоил себе даже имя — «Оскар»!»

Дверь открывалась снаружи при помощи никелированной рукоятки. Жак очутился в передней, куда выходили три одинаковых двери. За одной из них он услышал голоса. Неужели Антуан принимал больных в воскресный день? Озадаченный Жак сделал несколько шагов.

— ...биометрические показания... анкеты в школах по округам...

Это говорил не Антуан. Но вслед за тем Жак узнал голос брата:

— Первый пункт: накоплять данные испытаний... классифицировать их... По истечении нескольких месяцев любой невропатолог, любой специалист по детской патологии, даже любой педагог должен иметь возможность найти здесь, у нас, в наших статистических данных...

Да, без сомнения, это говорил Антуан; это была его обычная манера выражаться: резко, безапелляционно, насмешливо растягивая концы фраз... «Со временем у него будет голос, точь-в-точь как у *его* отца»,— подумал Жак.

С минуту он стоял неподвижно, не прислушиваясь к разговору, опустив глаза на новый линолеум, которым был покрыт

пол. Он снова почувствовал желание незаметно уйти... Но Леон видел его... Впрочем, раз уж он зашел сюда... Он выпрямился и, как взрослый, готовый, не задумываясь, спугнуть играющих детей, подошел к двери и отрывисто постучал в нее.

Антуан, прерванный на полуслове, встал и с недовольным лицом приоткрыл дверь.

— В чем дело?.. Как! Это ты? — воскликнул он, сразу просияв.

Жак тоже улыбался, внезапно охваченный приливом братской любви,— как бывало всякий раз, когда он видел перед собой Антуана во плоти и крови, его энергичное лицо, квадратный лоб, характерный рот...

— Входи же! — сказал Антуан. Он не спускал глаз с брата. Это был Жак! Жак стоял здесь, перед ним, со своей темно-рыжей непослушной прядью на лбу, со своим живым взглядом, с полуулыбкой на губах, напоминающей его детскую рожицу...

Трое мужчин, в расстегнутых белых халатах, с разгоряченными лицами, без воротничков, сидели за большим столом, где стаканы, лимоны, ведерко со льдом прекрасно уживались с разложенными бумагами и графиками.

— Это мой брат,— объявил Аатуан, сияя от радости. И, указывая Жаку на троих мужчин, поднявшихся с места, он представил: — Исаак Штудлер... Рене Жуслен... Манюэль Руа...

— Я, кажется, вам помешал? — пробормотал Жак.

— Конечно,— ответил Антуан, весело поглядывая на своих сотрудников.— Не правда ли? Невозможно отрицать, что он нам помешал, чудовище... Но тем лучше! Вмешательство непреодолимой силы... Садись!..

Жак, не отвечая, рассматривал просторную комнату, всю заставленную стеллажами, на которых были размещены ряды занумерованных совершенно новых папок.

— Ты недоумеваешь — куда это ты попал? — сказал Антуан, забавляясь недоумением брата.— Ты всего-навсего в *архиве*... Хочешь выпить чего-нибудь холодненького? Виски? Нет?.. Руа приготовит тебе сейчас лимонад,— провозгласил он, обращаясь к младшему из мужчин; у того было умное лицо парижского студента, озаренное вдумчивым взглядом — взглядом прилежного ученика.

Пока Руа выжимал лимон на толченый лед, Антуан обратился к Штудлеру:

— Мы к этому вернемся в будущее воскресенье, дружище...

Штудлер был значительно страше остальных и казался даже старше Антуана. Имя Исаак как нельзя лучше подходило к его профилю, к его бороде арабского шейха, к его лихорадочным

глазам восточного мага. Жаку почудилось, будто он встречался с ним уже раньше, в те времена, когда братья жили вместе.

— Жуслен соберет все нужные бумаги...— продолжал Антуан.— Так или иначе, нам не удастся систематически заняться делом раньше первого августа, то есть раньше, чем я получу отпуск в больнице.

Жак слушал. Август... Время отпуска... По-видимому, какое-то недоумение промелькнуло на его лице, потому что Антуан, смотревший на него, счел нужным пояснить:

— Видишь ли, мы все четверо условились в этом году не брать отпуска... Ввиду сложившихся обстоятельств...

— Понимаю,— одобрил Жак серьезным тоном.

— Подумай только, ведь прошло всего каких-нибудь три недели с тех пор, как закончен ремонт в доме: еще ни одно из наших новых учреждений не начало работать. Впрочем, при занятости в больнице и при моей клиентуре мне все равно не удалось бы ничего устроить раньше. Но теперь, имея впереди два свободных месяца до начала занятий...

Жак с удивлением смотрел на него. Человек, который мог так говорить, по-видимому, не улавливал в мировых событиях ничего, что могло бы нарушить спокойное течение его работы, его уверенность в завтрашнем дне.

— Это тебя удивляет? — продолжал Антуан.— Дело в том, что ты не имеешь никакого понятия о наших планах... Замыслы у нас... великолепные! Не правда ли, Штудлер? Я тебе все это расскажу... Ты ведь пообедаешь со мной, конечно?.. Пей спокойно лимонад. А после этого я покажу тебе весь дом. Ты увидишь все наши нововведения... А потом мы поднимемся наверх и поболтаем...

«Он все такой же,— думал Жак.— Ему вечно нужно что-то организовывать или чем-то руководить...» Он послушно выпил лимонад и встал. Антуан уже ждал его.

— Сначала давай спустимся в лабораторию,— сказал он.

При жизни г-на Тибо Антуан вел обычное существование молодого врача, подающего большие надежды. Он одно за другим прошел все конкурсные испытания, был принят на учет в Центральном бюро и в ожидании штатной должности в управлении больницами продолжал заниматься частной практикой.

Внезапно полученное от отца наследство облекло его неожиданной властью — капиталом. А он был не из тех, кто не сумел бы воспользоваться такой исключительной удачей.

У него не было никаких обязательств, никаких расточительных наклонностей. Одна-единственная страсть — работа. Одно-

единственное честолюбивое желание — стать крупным специалистом. Больница, частная практика были в его глазах лишь подготовительными ступенями. Действительную цену он придавал только своей исследовательской работе в области детских болезней. Поэтому с того дня, когда он почувствовал себя богатым, его жизненная энергия, и без того достаточно большая, сразу удесятерилась. Отныне у него была только одна мысль: употребить состояние на то, чтобы поскорее добиться профессионального успеха.

План его действий созрел быстро. Сначала обеспечить себе материальные возможности, усовершенствовав организацию дела: оборудовать лабораторию, создать библиотеку, надлежащим образом подобрать ассистентов. При наличии денег все становилось возможным, доступным. Можно было даже купить знания и самоотверженное отношение к работе нескольких молодых врачей, не имеющих средств, которым он обеспечил бы зажиточное существование, используя их способности для того, чтобы двинуть вперед свои собственные исследования и предпринять новые. Он тут же вспомнил о приятеле доктора Эке, своем старом товарище Штудлере, по прозванию «Халиф», чья методичность, научная добросовестность и работоспособность были ему известны с давних пор. Затем выбор его пал на двух молодых людей: Манюэля Руа, студента-медика, уже несколько лет работавшего в больнице под его руководством, и Рене Жуслена, химика, успевшего обратить на себя внимание своими замечательными работами о действии сывороток.

В течение нескольких месяцев под руководством предприимчивого архитектора отцовский дом оказался совершенно преображенным. Прежний нижний этаж, соединенный теперь со вторым этажом внутренней лестницей, был превращен в лабораторию, оборудованную всеми новейшими достижениями техники. Ничто не было упущено. Как только возникали затруднения, Антуан инстинктивно дотрагивался до своего кармана, где он носил чековую книжку, и говорил: «Представьте мне смету». Расходы его не пугали. Он очень мало дорожил деньгами, но зато очень дорожил успешным осуществлением своих замыслов. Его нотариус и биржевой маклер приходили в ужас от того ныла, с каким от тратил свой капитал, который столь медленно накопляли и столь осмотрительно расходовали два поколения крупных буржуа. Но это его ничуть не смущало; он давал распоряжение продавать целые пачки ценных бумаг и потешался над робкими предостережениями своих поверенных. Впрочем, у него был и свой собственный финансовый план. Все, что останется от его капитала, после того как в нем будет пробита значительная брешь, он решил, по совету Рюмеля, своего приятеля-дипломата, вложить в иностранные бума-

ги, а именно — в акции русских золотых приисков. Таким образом, даже при основательно растраченном капитале он предполагал получать доходы, по его расчетам не меньшие, чем те, какие извлекались в свое время г-ном Тибо из нетронутого состояния, хранившегося им в «надежных», но малодоходных бумагах.

Подробный осмотр нижнего этажа длился около получаса. Антуан не щадил своего гостя... Он потащил его даже в прежние подвалы, которые образовали теперь обширный полуподвальный этаж с выбеленными стенами: Жуслен в последние дни устроил здесь своего рода зверинец, довольно-таки пахучий, где находились крысы, мыши и морские свинки в соседстве с аквариумом для лягушек. Антуан был в восторге. Он громко смеялся молодым, раскатистым смехом, который он так долго привык сдерживать и который Рашель навсегда выпустила на волю. «Мальчишка из богатой семьи, хвастающийся своими игрушками»,— подумал Жак.

Во втором этаже помещался небольшой операционный зал, кабинеты всех трех сотрудников, большая комната, предназначенная для архива, и библиотека.

— Теперь когда все устроено, можно приступить к работе — пояснил Антуан серьезным и довольным тоном, в то время как они с братом поднимались на третий этаж.— Тридцать три года... Пора серьезно приниматься за дело, если есть желание оставить после себя что-нибудь на память потомству!.. Ты знаешь,— продолжал он, останавливаясь и обращаясь к Жаку с той несколько нарочитой резкостью, которую он любил выставлять напоказ, в особенности перед младшим братом,— всегда можно сделать гораздо больше, чем предполагаешь! Когда чего-нибудь *хочешь*,— я подразумеваю что-нибудь осуществимое, конечно,— впрочем, лично я хочу всегда только осуществимого...— ну так вот, когда действительно чего-нибудь *хочешь!*..— Он не докончил фразы, снисходительно улыбнулся и пошел дальше.

— Какие конкурсные испытания тебе еще осталось пройти? — спросил Жак, чтобы что-нибудь сказать.

— Я прошел ординатуру этой зимой. Остается защита диссертации, потому что ведь необходимо иметь возможность стать со временем профессором!.. Только видишь ли,— продолжал он,— быть хорошим педиатром, как Филип,— это прекрасно, но меня это уже не может удовлетворить: тут я не смогу как следует показать себя... Современная медицина должна сказать свое последнее слово в области психики... Так вот я хочу принять в этом участие, понимаешь? Я не хочу, чтобы это последнее слово было сказано без меня! И не случайно при подготовке к конкурсным испытаниям я занимался *отсталостью речи*. Психология детского возраста, с моей точки зрения, только начинает развиваться. Это самый удоб-

ный момент... Поэтому мне хотелось бы в будущем году пополнить свои материалы о зависимости между режимом дыхания у детей и их мозговой деятельностью...— Он обернулся. На лице его внезапно появилось выражение, как у великого человека, отделенного своим знанием от толпы непосвященных. Прежде чем вставить ключ в замочную скважину, Антуан устремил на брата задумчивый взгляд.— Сколько еще придется сделать в этом направлении...— произнес он медленно.— Сколько еще в этом придется разбираться...

Жак молчал. Никогда еще жизненная хватка Антуана не приводила его в такое отчаяние. Перед своим тридцатилетним братом, слишком хорошо оснащенным к плаванью, не сомневающимся, что он найдет выход в открытое море, Жак чувствовал с невольной тревогой всю неустойчивость собственного равновесия и больше того — угрозу надвигающегося на мир шторма.

При таком враждебном настроении осмотр помещения был для Жака особенно тягостным, Антуан разгуливал среди роскошной обстановки, напыжившись, как петух на птичьем дворе. Он заставил убрать несколько перегородок и совершенно изменил назначение комнат. Расположение, хоть и лишенное простоты, получилось довольно удачное. Высокие лакированные ширмы разделяли обе приемные на небольшие кабины, где пациенты оказывались совершенно изолированными: это архитектурное нововведение, которым Антуан очень гордился, создавало впечатление декорации. Антуан, впрочем, утверждал, что он лично не придает особенного значения этой внешней роскоши.

— Но,— пояснил он,— это дает возможность производить отбор клиентуры,— понимаешь? Сократить ее и этим выгадать время для работы.

Гардеробная представляла собой чудо изобретательности и комфорта. Антуан, снимая халат, в то же время любезно отворял и затворял полированные створки шкафов.

— Здесь все под рукой, по крайней мере, не теряешь зря времени,— повторял он.

Он надел домашнюю куртку, Жак обратил внимание на то, что брат одевался значительно изысканнее, чем раньше. Ничто не бросалось в глаза, но черный жилет был шелковый, ненакрахмаленная рубашка — из тонкого батиста. Эта скромная элегантность была ему очень к лицу. Он казался помолодевшим, более гибким, не потеряв, однако, своей крепости.

«Как он, по-видимому, хорошо чувствует себя среди всей этой роскоши,— подумал Жак.— Отцовское тщеславие... Аристократическое тщеславие буржуа!.. Ну и порода!.. Честное слово, можно подумать, что они считают признаком превосходства не только свой

капитал, но и привычку хорошо жить, любовь к комфорту, к «доброкачественности». Это становится для них личной заслугой! Заслугой, которая дает им общественные права. И они находят вполне законным то «уважение», которым они пользуются! Законной — свою власть, порабощение других! Да, они находят вполне естественным «владеть»! И считают также вполне естественным, чтобы то, чем они владеют, было неприкосновенным и защищалось законом от посягательства со стороны тех, кто не владеет ничем! Они щедры — о да, несомненно! До тех пор, пока эта щедрость остается дополнительной роскошью; щедрость, составляющая часть излишних расходов...» И Жак вызывал в своей памяти полное превратностей существование своих швейцарских друзей, которые, будучи лишены избытков, делили между собой потребное для жизни и для которых помощь друг другу грозила опасностью остаться без самого необходимого.

Тем не менее, глядя на ванну, просторную, как небольшой бассейн, и сверкающую, он не мог подавить в себе легкого чувства зависти: у него было так мало удобств в его трехфранковой комнатушке... В такую жару чудесно было бы принять ванну.

— Вот здесь мой кабинет,— сказал Антуан, открывая одну из дверей.

Жак вошел в комнату и приблизился к окну.

— Но ведь это прежняя гостиная? Правда?

Действительно, старую гостиную, где целых тридцать пять лет в торжественном полумраке г-н Тибо восседал в семейном кругу, среди гардин с ламбрекенами и тяжелых портьер, архитектору удалось превратить в современную комнату, светлую и просторную, строгую без чопорности и теперь залитую светом, падающим из трех окон, освобожденных от готических цветных стекол.

Антуан не ответил. На письменном столе он заметил письмо Анны и в недоумении,— так как думал, что Анна в Берке,— поспешил его вскрыть. Как только он пробежал записку, брови его нахмурились. Он увидел Анну в ее белом шелковом пеньюаре, приоткрытом на груди, в обычной обстановке квартирки, где происходили их свидания... Непроизвольно взглянув на часы, он сунул письмо в карман. Это было совсем некстати... Тем хуже! Как раз тогда, когда ему хотелось спокойно провести вечер с братом...

— Что? — переспросил он, недослышав.— Я никогда здесь не работаю... Эта комната служит только для приема больных... Я обычно сижу в своей прежней комнате... Пойдем туда.

В конце коридора появился Леон, шедший к ним навстречу.

— Нашли письмо, сударь?

— Да... Принесите нам что-нибудь выпить, пожалуйста. В мой кабинет.

Этот кабинет был единственным местом во всей квартире, где чувствовалось немного жизни. По правде говоря, здесь отражалось скорее возбуждение многообразной и беспорядочной деятельности, чем серьезная работа, но этот беспорядок показался Жаку привлекательным. Стол был завален целым ворохом бумаг, регистрационных карточек, блокнотов, вырезок из газет, так что на нем едва оставалось место для писания; стеллажи были заставлены старыми книгами, журналами с вложенными закладками; здесь же валялись в беспорядке фотографические карточки, пузырьки и фармацевтические препараты.

— Ну, теперь давай сядем,— сказал Антуан, подталкивая Жака к удобному кожаному креслу. Сам Антуан растянулся на диване среди подушек. (Он всегда любил разговаривать лежа. «Стоя или лежа,— заявлял он.— Сидячее положение годится для чиновников».) Он заметил, что взгляд Жака, обведя комнату, на минуту задержался на статуэтке будды, украшавшей камин.

— Прекрасная вещь, не правда ли? Это произведение одиннадцатого века, из коллекции Ремси.

Он окинул брата ласковым взглядом, внезапно принявшим испытующее выражение.

— Теперь поговорим о тебе. Хочешь папиросу? Что привело тебя во Францию? Бьюсь об заклад, что репортаж о деле Кайо!

Жак не ответил. Он упорно смотрел на будду, лицо которого сияло безмятежным спокойствием в глубине большого золотого листка лотоса, изогнутого в виде раковины. Затем перевел на брата пристальный взгляд, в котором был какой-то испуг. Черты лица Жака приняли столь серьезное выражение, что Антуан почувствовал себя неловко: он тотчас же решил, что какая-то новая трагедия разрушила жизнь младшего брата.

Вошел Леон с подносом и поставил его на столике около дивана.

— Ты мне не ответил,— продолжал Антуан.— Почему ты в Париже? Надолго ли?.. Что тебе налить? Я по-прежнему сторонник холодного чая...

Нетерпеливым жестом Жак отказался.

— Послушай, Антуан,— пробормотал он после минутного молчания,— неужели вы здесь не имеете никакого представления о том, что готовится?

Антуан, прислонившись головою к валику дивана, держал в обеих руках стакан чаю, который он только что налил, и, прежде чем пригубить, жадно вдыхал запах ароматного напитка, слегка отдающего лимоном и ромом. Жаку была видна лишь верхняя часть лица брата, его рассеянный, равнодушный взгляд. (Антуан

думал об Анне, которая его ждала; во всяком случае, надо было сейчас же предупредить ее по телефону....)

У Жака явилось желание встать и уйти без всяких объяснений.

— А что же именно готовится? — обратился к нему Антуан, не меняя позы. Затем, как будто нехотя, взглянул на брата.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

— Война! — произнес Жак глухим голосом.

Издали, из передней раздался телефонный звонок.

— Неужели? — заметил Антуан, сощурившись от папиросного дыма, евшего ему глаза.— Все эти проклятые Балканы?

Каждое утро он просматривал газету и знал, довольно смутно, что в данный момент существует какая-то непонятная «натянутость дипломатических отношений», которая периодически занимает правительственные канцелярии держав Центральной Европы.

Он улыбнулся.

— Следовало бы установить санитарный кордон вокруг этих балканских государств и предоставить им возможность перегрызться между собой раз и навсегда до полного истребления!

Леон приоткрыл дверь.

— Вас *просят* к телефону,— объявил он таинственным тоном.

«*Просят* — это значит: звонит Анна»,— подумал Антуан. И хотя телефонный аппарат находился под рукой в этой же комнате, он встал и направился в свою официальную приемную.

С минуту Жак пристально смотрел на дверь, в которую вышел его брат. Затем решительно, будто вынося безапелляционный приговор, он произнес:

— Между ним и мною — непреодолимая пропасть! (Бывали минуты, когда он испытывал бешеное удовлетворение от сознания, что пропасть действительно «непреодолима».)

В кабинете Антуан поспешно снял трубку.

— Алло, это вы? — услышал он горячее и нежное контральто. Беспокойство в голосе еще усиливалось резонансом микрофона.

Антуан улыбнулся в пространство.

— Вы очень кстати позвонили, дорогая... Я как раз собирался вам телефонировать... Я очень огорчен. Только что приехал Жак, мой брат... Приехал из Женевы... Ну да, совершенно неожиданно... Сегодня вечером, только что... Поэтому, конечно... Откуда вы звоните?

Голос продолжал, ластясь:

— Из нашего гнездышка, Тони... Я тебя жду...

— Ничего не поделаешь, дорогая... Вы меня понимаете, не правда ли?.. Мне придется остаться с ним...

Так как голос больше не отвечал, Антуан позвал:

— Анна!

Голос продолжал молчать.

— Анна! — повторил Антуан.

Стоя перед великолепным письменным столом, склонив голову над трубкой, он переводил рассеянный и беспокойный взгляд со светло-коричневого ковра на нижние полки книжных шкафов, на ножки кресел.

— Да,— прошептал наконец голос. Последовала новая пауза.— А что... а что — он долго у тебя останется?

Голос был такой несчастный, что у Антуана в душе все перевернулось.

— Не думаю,— ответил он.— А что?

— Но, Тони, неужели ты думаешь, что у меня хватит сил вернуться домой, не побыв с тобой... хоть немножко?.. Если бы ты видел, как я тебя жду! Все готово... Даже закуска.

Он засмеялся. Она тоже принужденно рассмеялась.

— Ты видишь? К ужину накрыто. Маленький столик придвинут к окну... Большая зеленая ваза полна лесной земляники... твоей любимой...— Помолчав немного, она продолжала быстро, с гортанными нотками в голосе: — Послушай, мой Тони, неужели это правда? Неужели ты не мог бы прийти сейчас, сию минуту, всего на какой-нибудь часок?

— Нет, милая, нет... Раньше одиннадцати или двенадцати ночи невозможно... Будь благоразумна...

— Только на одну минуточку!

— Неужели ты не понимаешь?..

— Нет, я прекрасно понимаю,— прервала она поспешно грустным тоном.— Ничего не поделаешь... Какая досада!..— Опять молчание и затем легкое покашливание.— Ну так знаешь что? Я буду ждать,— продолжала она с невольным вздохом, в котором Антуан почувствовал всю горечь согласия.

— До вечера, милая!

— Да... послушай!

— Ну что?

— Нет, ничего...

— До скорого свидания!

— До скорого свидания, Тони!

Антуан прислушивался еще в течение нескольких секунд. По ту сторону телефона Анна тоже напрягала слух, не решаясь повесить трубку. Тогда, быстро оглянувшись вокруг, Антуан прижал губы к аппарату, подражая звуку поцелуя. Затем, улыбаясь, повесил трубку.

XV

Когда Антуан вернулся в комнату, Жак, не покидавший своего кресла, с удивлением заметил в лице брата новое выражение — следы переживаний, сокровенный, любовный характер которых он смутно угадывал. Антуан положительно преобразился.

— Прости, пожалуйста... С этим телефоном нет ни минуты покоя...

Антуан подошел к низенькому столику, на котором оставил свой стакан, отпил из него несколько глотков, затем снова растянулся на диване.

— О чем это мы говорили? А, да! Ты говоришь: война...

У Антуана никогда не было времени интересоваться политикой; да не было и желания. Дисциплина научной работы заставила его свыкнуться с мыслью, что в общественной жизни, как и в жизни организма, все является проблемой, и проблемой нелегкой, что во всех областях познание истины требует усидчивости, трудолюбия и знаний. Политику он рассматривал как поле действия, чуждое его интересам. К этой вполне рассудочной сдержанности присоединялось естественное отвращение. Слишком много было скандальных разоблачений на всем протяжении мировой истории; и это утвердило в нем мнение, что известная доля безнравственности присуща всякому проявлению власти, или по меньшей мере — что та сугубая порядочность, которой он как врач придавал первостепенное значение, не считалась обязательной в области политики, а быть может, и не была там столь уж необходима. Поэтому Антуан следил за ходом политических событий довольно равнодушно, вкладывая в это равнодушие долю недоверия; эти вопросы волновали его не больше, чем, скажем, вопрос правильной работы почтового ведомства или ведомства путей сообщения. И если во время чисто мужских разговоров, например в кабинете его приятеля Рюмеля, Антуану, как всякому другому, случалось высказать свое мнение по поводу образа действий какого-нибудь стоявшего у власти министра, он это делал всегда с определенной, умышленно ограниченной, утилитарной точки зрения — как пассажир в автобусе выражает одобрение или порицание шоферу, в зависимости только от того, как тот действует рулем.

Но поскольку Жак, видимо, к этому стремился, Антуан ничего не имел против того, чтобы начать разговор с общих фраз по поводу политического положения в Европе. И, желая нарушить упорное молчание Жака, он совершенно искренне продолжал:

— Ты действительно считаешь, что на Балканах назревает новая война?

Жак пристально посмотрел на брата.

— Неужели же вы здесь, в Париже, не имеете ни малейшего представления о том, что творится в последние три недели? Не видите надвигающихся туч?.. Речь идет не о малой войне на Балканах — на сей раз вся Европа будет втянута в войну. А вы продолжаете жить как ни в чем не бывало!

— Ну, уж ты скажешь!..— скептически возразил Антуан.

Почему он вдруг вспомнил жандарма, который приходил к нему как-то зимним утром, как раз когда Антуан собирался идти к себе в больницу, приходил, чтобы изменить мобилизационное предписание в его военном билете? Антуан вспомнил теперь, что даже не полюбопытствовал посмотреть, каково его новое место назначения. После ухода жандарма он бросил билет в первый попавшийся ящик,— даже хорошенько не помнил куда...

— Ты как будто все еще не понимаешь, Антуан... Мы подошли к такому моменту, когда катастрофа может оказаться неизбежной, если все будут вести себя, как ты, предоставив событиям идти своим ходом. Уже сейчас достаточно малейшего пустяка, какого-нибудь нелепого выстрела на австро-сербской границе, чтобы вызвать войну...

Антуан молчал. Он был слегка ошеломлен. Кровь бросилась ему в лицо. Слова Жака как будто нечаянно попали в какое-то скрытое больное место, которое до сих пор не давало определенно о себе знать и потому он не мог его нащупать. Как и многие в это памятное лето 1914 года, Антуан смутно ощущал себя во власти некой лихорадки, всеобщей, заразительной,— может быть, космического характера? — которая носилась в воздухе. И на несколько секунд он поддался власти тяжелого предчувствия, не в силах противиться ему. Однако он тут же преодолел эту нелепую слабость и, как обычно, бросившись в другую крайность, почувствовал потребность возразить брату, хотя и в несколько примирительном тоне.

— Конечно, я в этих делах гораздо менее осведомлен, чем ты,— сказал он.— Однако ты не можешь не признать вместе со мной, что в цивилизованных странах, подобных странам Западной Европы, возможность всеобщего конфликта почти невероятна! Во всяком случае, прежде чем дело дойдет до этого, потребуется очень резкий поворот общественного мнения!.. А на это нужно время... месяцы, может быть, годы... а там возникнут новые проблемы, которые отнимут у сегодняшних проблем всю остроту...— Антуан улыбнулся, успокоенный своими собственными рассуждениями.— Знаешь ли, ведь эти угрозы совсем не так уж новы. Помню, еще в Руане, двенадцать лет назад, когда я отбывал воинскую повинность... Никогда не было недостатка в предсказателях всяческих

несчастий, как только речь заходила о войне или о революции... И самое интересное, что симптомы, на которых эти пессимисты основывают свои прорицания, обычно бывают вполне достоверны и, следовательно, вызывают тревогу. Только вот в чем дело: по причинам, которые либо вовсе не принимаются во внимание, либо просто недооцениваются, обстоятельства складываются иначе, чем это предусматривалось,— и все устраивается само собой... А жизнь течет себе помаленьку... И всеобщий мир не нарушается!..

Жак, упрямо нагнув голову с упавшей на лоб прядью волос, слушал брата с явным нетерпением.

— На этот раз, Антуан, дело крайне серьезно...

— Что именно? Эта перебранка между Австрией и Сербией?

— Эта перебранка — лишь повод, необходимый, может быть, спровоцированный инцидент... Но следует иметь в виду все те обстоятельства, которые уже в течение многих лет вызывают глухое брожение в умах за кулисами вооруженной до зубов Европы. Капиталистическое общество, которое, как ты, по-видимому, считаешь, столь прочно бросило якорь у мирных берегов, на самом деле плывет по течению, раздираемое когтями жестокого, тайного антагонизма...

— А разве не всегда так было?

— Нет! Или, впрочем, да... может быть... но...

— Я прекрасно знаю,— прервал его Антуан,— что существует этот проклятый прусский милитаризм, побуждающий всю Европу вооружаться с ног до головы...

— Не только прусский! — воскликнул Жак.— Каждая нация имеет свой собственный милитаризм, оправданием которого служит ссылка на затронутые интересы...

Антуан покачал головой.

— Интересы,— да, конечно,— сказал он.— Но борьба интересов, какой бы напряженной она ни была, может продолжаться до бесконечности, не приводя к войне! Я не сомневаюсь в возможности сохранения мира, но вместе с тем считаю, что борьба является необходимым условием жизни. К счастью, у народов существуют теперь иные формы борьбы, чем вооруженное взаимоистребление! Такие приемы годны для балканских государств!.. Все правительства,— я подразумеваю правительства великих держав,— даже в странах, имеющих наибольший военный бюджет, явно сходятся на том, что война — наихудший выход из положения. Я только повторяю то, что говорят в своих речах ответственные государственные деятели.

— Само собой разумеется! На словах, перед своим народом, все они проповедуют мир! Но большинство из них все еще твердо убеждено в том, что война является политической необходимостью,

время от времени неизбежной, и что, если она случится, из нее следует извлечь наибольшую пользу, наибольшую *выгоду*. Потому что всегда и везде в основе всех бед кроется одна и та же причина — выгода!

Антуан задумался. Он только было собрался пустить в ход новые возражения, как брат уже продолжал:

— Видишь ли, в данный момент Европой верховодят с полдюжины зловещих «великих патриотов», которые под пагубным влиянием военных кругов наперебой толкают свои государства к войне. Вот этого-то и не следует забывать!.. Одни из них — наиболее циничные — прекрасно видят, к чему это поведет; они хотят войны и подготовляют ее, как обычно подготовляются преступления, потому что эти господа уверены в том, что в известный момент обстоятельства сложатся в их пользу. Ярко выраженным представителем этого типа людей является, скажем, Берхтольд в Австрии. А также Извольский или, скажем, Сазонов в Петербурге... Другие не то чтобы хотят войны,— почти все ее опасаются,— но безропотно принимают войну, потому что верят в ее неизбежность. А такая уверенность — самая опасная, какая только может укорениться в мозгу государственного деятеля! Эти люди, вместо того чтобы всеми силами стараться избежать войны, думают лишь об одном: на всякий случай как можно скорее увеличить свои шансы на победу. И всю деятельность, которую они могли бы посвятить укреплению мира, они направляют, как и первые, на подготовление войны. Таковы, по всей вероятности, кайзер и его министры. Возможно, что примером может служить также и английское правительство... А во Франции это, несомненно,— Пуанкаре!

Антуан вдруг пожал плечами.

— Ты говоришь — Берхтольд, Сазонов... Я ничего не могу тебе возразить, их имена мне почти незнакомы... Но Пуанкаре? Ты с ума сошел! Кто во Франции, за исключением нескольких полоумных вроде Деруледа, станет теперь мечтать о военной славе или о реванше? Франция по всей своей сущности во всех социальных прослойках является глубоко пацифистской. И если бы, паче чаяния, мы оказались вовлечены в общеевропейскую передрягу, одно можно сказать с уверенностью: никто не посмеет предъявить Франции обвинение в том, что она к этому стремилась, или приписать ей хотя бы малейшую долю ответственности за случившееся.

Жак вскочил как ужаленный.

— Возможно ли? И ты до этого дошел?.. Просто невероятно!..

Антуан окинул брата тем уверенным цепким взглядом, каким он обычно смотрел на своих больных (и который всегда внушал им

полное доверие — как будто острота взгляда является признаком безошибочного диагноза).

Жак, стоя перед Антуаном, пристально смотрел на него.

— Твоя наивность просто приводит меня в недоумение! Тебе следовало бы просмотреть заново всю историю Французской республики!.. Ты считаешь, что можно серьезно утверждать, будто политика Франции за последние сорок лет — это политика миролюбивого государства? И что она действительно имеет право протестовать против злоупотреблений со стороны других стран? Ты считаешь, что наша ненасытность в колониальных вопросах, в частности наши виды на Африку, не содействуют в значительной мере развитию аппетита у других? Не дают другим постыдного примера аннексий?..

— Не горячись! — остановил его Антуан.— Наше проникновение в Марокко, насколько мне известно, не носило противозаконного характера. Я прекрасно помню конференцию в Алхесирасе. Европейские державы мандатом по всей форме уполномочили нас — нас совместно с Испанией — предпринять усмирение Марокко.

— Этот мандат был вырван силой. И державы, преподнесшие его нам, надеялись, в свою очередь, воспользоваться этим прецедентом. Как ты думаешь, например: рискнула бы Италия наброситься на Триполитанию или Австрия на Боснию, не будь нашей марокканской экспедиции?..

Антуан скорчил недоверчивую гримасу; он не был настолько осведомлен в этом вопросе, чтобы возражать брату.

Впрочем, последний и не ждал возражений.

— А наши союзы? — продолжал он напористо.— Неужели ты думаешь, что Франция заключила военный договор с Россией, чтобы доказать свои миролюбивые намерения? Вполне ясно, что если царская Россия пошла на союз с республиканской Францией, то сделала это лишь в надежде, что в нужный момент она сможет вовлечь нас в свою игру против Австрии, против Германии! Как ты полагаешь: неужели же Делькассе, агент английской дипломатии, способствовал укреплению мира, добиваясь окружения Германии? В результате — брожение умов, быстрое развитие и усиление мощи пресловутого прусского милитаризма, о котором ты говоришь. В результате — во всей Европе рост военных приготовлений, возведение укреплений, военное кораблестроение, строительство стратегических железных дорог и так далее... Во Франции за последние четыре года десять миллиардов военных кредитов в Германии — восемь миллиардов франков. В России — шестисотмиллионный заем у Франции на создание железных дорог, ко-

торые позволят ей перебросить свою армию к восточной границе Германии.

— «Позволят»! — пробурчал Антуан.— Когда-нибудь, может быть... В далеком будущем...

Жак не дал ему продолжать.

— Весь континент охвачен лихорадочной гонкой вооружений; происходит разорение стран, вынужденных тратить на военный бюджет те миллиарды, которые должны были бы идти на улучшение условий жизни общества... Бешеная скачка, прыжок прямо в пропасть! И за нее мы, французы, должны нести свою долю ответственности. А мы пошли еще дальше! Неужели же Франция, чтобы убедить мир в своем миролюбии, не нашла ничего лучшего, как ввести в Елисейский дворец патриотически настроенного лотарингца, которого Баламуты-националисты поспешили сделать символом военщины и избрание которого подняло дух фанатиков реванша, оживило в Англии надежды промышленников, радующихся возможности сломить немецкую конкуренцию, а в России позволило разыграться аппетитам империалистов, все еще мечтающих о захвате Константинополя?

Жак был, казалось, до такой степени бессилен совладать с охватившим его волнением, что Антуан расхохотался. Он твердо решил не поддаваться и сохранить бодрое настроение. Он не желал, чтобы этот разговор стал чем-то большим, чем просто умозрительные рассуждения, некая шахматная игра, где пешками являются политические гипотезы.

С иронической усмешкой он указал Жаку на кресло, с которого тот в волнении вскочил:

— Сядь на место...

Жак бросил на него недобрый взгляд. Но все же засунул кулаки в карманы и опустился в кресло.

— Из Женевы,— продолжал он после минутного молчания,— я хочу сказать — из той интернациональной среды, в которой я вращаюсь, мы видим на расстоянии лишь общие линии европейской политики: оттенки сглаживаются. Так вот, издали сразу видно, что Франция катится в объятия войны! И на этом пути, что там ни говори, избрание Пуанкаре президентом республики — знаменательное событие.

Антуан продолжал улыбаться.

— Опять Пуанкаре! — заметил он иронически.— Конечно, я знаю его лишь понаслышке... В палате депутатов, где люди очень требовательны, он пользуется всеобщим уважением... В министерстве иностранных дел — тоже: Рюмель, который служил в его канцелярии, отзывается о нем как о благородном человеке, добросовестном, рачительном министре, честном политике, считает его

сторонником порядка, противником всяких авантюр. Мне положительно кажется нелепостью предполагать, что такой человек...

— Постой! Постой! — прервал его Жак. Он вытащил руку из кармана и лихорадочным движением несколько раз отвел прядь волос, падавшую ему на лоб. Он явно с трудом сдерживался. Несколько секунд он сидел потупившись, затем вновь поднял глаза.— Мне на многое хотелось бы возразить тебе, и я просто не знаю, с чего начать,— признался он.— Пуанкаре... Надо же делать различие между человеком и его политикой. Но для того чтобы понять его политику, нужно прежде раскусить человека... Всего человека в целом!.. Не забывая даже и того, что за этим воинственно настроенным крикуном кроется приземистый офицер их стрелкового полка, толстозадый и нервный, который всегда чувствовал пристрастие к военному делу... «Сторонник порядка»... «Благородный человек»... Пусть так. Лояльность. Верность. Верность упрямца. Говорят даже, что он добр. Возможно. В большинстве своих писем он подписывался «Преданный вам...» — и это не только условность: он действительно любит оказывать услуги, он всегда готов выступить против несправедливости и взять на себя защиту обиженных.

— Ну что ж, все это крайне симпатично! — заявил Антуан.

— Постой же! — прервал его Жак с нетерпением.— Я имел возможность довольно близко ознакомиться с личностью Пуанкаре в связи с одной статьей, появившейся в «Фаниль». Прежде всего он гордец, который ни перед чем не склоняется, ни в чем не уступает... Умен? Безусловно!.. Ум трезвый, логичный, без полета, без гениальности... Невероятное упорство!.. Соображает быстро, но недальновиден; память исключительная, но главным образом на мелочи... Все это характеризует образцового адвоката, каким он, в сущности, и остался: он ловче владеет словами, чем управляет мыслями...

Антуан возразил:

— Если он не представляет собой ничего особенного, то чем же объясняются его политические успехи?

— Его трудоспособностью, которая действительно исключительна. Кроме того, компетентностью в области финансов, что редко встречается в парламенте.

— А также, вероятно, его безукоризненной честностью. В правительственных кругах это всегда удивляет и импонирует...

— Что касается его успехов,— продолжает Жак,— то можно предполагать, что они оказались совершенно неожиданными для него самого и что они мало-помалу возбудили до крайности его честолюбие. Ибо он стал честолюбив. И по многим признакам чувствуется, что он не отказался бы сыграть в данный момент историческую роль. Вернее — он не отказался бы стать тем, кто заставит

Францию сыграть историческую роль; не отказался бы придать Франции новый престиж, который был бы тесно связан с его именем... Но самое опасное — это его концепция национальной чести — тот религиозный смысл, который он влагает в понятие патриотизма. Впрочем, это вполне объясняется его лотарингским происхождением,— тем, что он провел всю молодость на территории, совсем недавно отторгнутой от нас... Он вышел из той местности и принадлежит к тому поколению, которое в течение уже многих лет живет надеждой на реванш, мечтая о возвращении потерянных провинций...

— С этим я вполне согласен,— сказал Антуан.— Но можно ли отсюда делать заключение, что он стремится к власти для того, чтобы начать войну?..

— Имей терпение,— возразил Жак.— Дай мне кончить. Несомненно, если бы два с половиной года тому назад, когда он принял портфель председателя совета министров, или, скажем, полтора года тому назад, когда он был избран президентом республики, кто-нибудь явился к нему и сказал: «Вы хотите вовлечь Францию в войну»,— он возмутился бы до глубины души, причем совершенно искренне. А между тем вспомни-ка, при каких условиях в январе тысяча девятьсот двенадцатого года он стал главой правительства! Кого он сменил? Кайо... Кайо, который только что перед тем помог Франции избегнуть войны с Германией и даже поставил первые вехи прочного франко-германского сближения. Именно за эту политику мира он и был свергнут националистами. И если Пуанкаре удалось стать на его место, то я не скажу — потому, что он хотел начать войну, но все же потому, что от него можно было ожидать, что по отношению к Германии он будет проводить *национальную* политику, то есть политику, диаметрально противоположную слишком примирительной политике Кайо. Доказательством этого служит тот факт, что Пуанкаре немедленно воскресил из мертвых старика Делькассе, сторонника «окружения» Германии, с тем чтобы назначить его послом в Россию!.. И когда через год он сделался президентом республики, какому большинству он был обязан своим избранием — финансовой буржуазии, которая, как некогда Жозеф де Местр, считает, что война является естественной биологической потребностью, прискорбной, но периодически необходимой... Эти люди, без сомнения, не шевельнули бы пальцем, чтобы спровоцировать реванш, и все же гипотеза войны их подзадоривает; при случае они согласились бы пойти и на этот риск. Мы с тобой в свое время имели возможность достаточно близко присмотреться к этим ископаемым представителям реакционной буржуазии на званых обедах у отца!.. Не говоря о том, что у всех этих старых французских партий правого на-

правления, более или менее примирившихся с республикой, существует затаенная мысль, что успешная война дала бы победоносному правительству диктаторские полномочия, благодаря которым удалось бы в корне пресечь подъем социалистического движения и даже очистить страну от республиканской демагогии. Они лелеют мечту о милитаризованной, дисциплинированной Франции, о Франции торжествующей, сверхвооруженной, опирающейся на обширные колониальные владения, о Франции, перед мощью которой присмиреет весь мир... Прекрасная мечта для патриотов!

— Однако, с тех пор как Пуанкаре находится у власти,— рискнул вставить слово Антуан,— он не перестает заявлять о своих миролюбивых намерениях.

— Ах! Я готов, пожалуй, признать, что он вполне искренен,— ответил Жак,— хотя известные цели, на которые направлена мирная экспансия, быстро становятся военными целями, если не удается достичь их дипломатическим путем. Но не следует забывать одно обстоятельство, которое может иметь неисчислимые последствия: всем известно, что уже в течение многих лет Пуанкаре ослеплен своей уверенностью в двух вещах. Во-первых, что конфликт между Англией и Германией неизбежен...

— Но ты сам как будто только что утверждал то же самое...

— Нет. Я не говорил: неизбежен. Я сказал: угрожает... Во-вторых, что Германия, в особенности после Агадира, имеет намерение напасть на Францию и неустанно к этому готовится. Вот две его навязчивые идеи, и он от них не отступится. А так как, с другой стороны, он убежден в том, что только сила, внушающая страх, может обеспечить мир, то ты представляешь себе, какие выводы он из этого делает: если Франция имеет еще кое-какие шансы предотвратить нападение Германии, то только при условии, что она будет внушать ей все больший страх. Следовательно, необходимо вооружаться до крайности. Следовательно, необходимо стать несговорчивым, агрессивным... Как только это поймешь — все становится ясно; вся деятельность Пуанкаре начиная с тысяча девятьсот двенадцатого года — как внутри страны, так и за ее пределами — оказывается совершенно логичной!

Антуан, растянувшись на подушках, мирно покуривал свою папиросу. Он удивлялся волнению брата, но слушал его очень внимательно. Впрочем, голос Жака постепенно успокаивался, как бурный поток, возвращающийся в свое русло. В этой области, в которой он хорошо разбирался, Жак как бы получил временное превосходство над братом и чувствовал себя вполне уверенно.

— Да, что я, точно лекцию тебе читаю! Смешно! — сказал он вдруг, пытаясь улыбнуться.

Антуан дружелюбно взглянул на него.

— Да нет же, продолжай...

— Так вот, я говорил тебе: как внутри страны, так и за пределами ее. Начнем, пожалуй, с внешней политики. Она провокационно-агрессивна — и в этом есть преднамеренность! Пример: наши отношения с Россией. Германия морщится по поводу франко-русских соглашений? Ну и пусть себе! В той войне, которой опасается Пуанкаре, помощь России необходима нам, чтобы оказать отпор германскому нашествию; поэтому, не щадя чувств Германии, мы открыто укрепляем франко-русский союз! Таким образом, мы подвергаемся страшному риску, потому что играем на руку панславизму, воинственные намерения которого в отношении Австрии и Германии ни для кого не являются тайной. А Пуанкаре и в ус не дует! Он, пожалуй, предпочитает подвергнуться риску быть втянутым в авантюру, чем опасности постепенного ослабления уз, связывающих Францию с ее единственной союзницей. И для проведения этой политики он нашел услужливых помощников: Сазонова, русского министра иностранных дел, и Извольского, царского посла в Париже. Послом в Петербург он отправил своего приятеля Делькассе, который с давних пор держится одних с ним взглядов. Директивы: постоянно подогревать воинственные замыслы России и тесно сблизиться с нею для проведения политики силы. Ничто не было упущено из виду. В Женеве у нас есть вполне надежный источник сведений. Со времени своей первой поездки в Петербург, два года назад, в качестве председателя совета министров, Пуанкаре не переставал поддерживать завоевательные планы России. А недавняя его поездка — поездка, которой надвигающиеся события могут придать колоссальное значение,— послужила ему, вероятно, для того, чтобы убедиться на месте, в контакте с главными зачинщиками, насколько все подготовлено и можно ли рассчитывать, что соглашение вступит в действие по первому сигналу!

Антуан приподнялся на локте.

— Все это лишь предположения, а не факты! Ведь так?

— Нет, ты не прав; у нас слишком хорошо проверенные сведения... Будет ли Пуанкаре одурачен русскими, или он заодно с ними — это несущественно. Факт тот, что русская политика Пуанкаре может смутить кого угодно. А между тем она вполне логична! Это политика человека, который твердо убежден в возможности войны в Лотарингии и которому необходимо, чтобы русские войска заняли Восточную Пруссию... Ведь надо понимать роль, которую играет в Париже какой-нибудь Извольский,— если не с одобрения, если без поддержки, то, во всяком случае, с согласия Пуанкаре! Имеешь ли ты понятие, какие суммы из секретного русского фонда предоставляются нашей прессе для военной пропаганды во Франции? Имеешь ли ты понятие о том, что эти миллионы руб-

лей, служащие для подкупа французского общественного мнения, расходуются не только с циничного согласия французского правительства, но при его фактическом ежедневном участии?

— Неужели? — скептически заметил Антуан.

— Слушай дальше: известно ли тебе, кем распределяются русские субсидии между крупнейшими французскими газетами? Нашим собственным министерством финансов!.. Мы, живущие в Женеве, имеем тому веские доказательства. Кстати сказать, такой человек, как Хозмер,— австриец, хорошо осведомленный в европейских делах,— твердит, что со времени последних балканских войн почти вся пресса в западноевропейских странах содержится за счет держав, заинтересованных в войне! Вот почему общественное мнение в этих странах пребывает в полном неведении преступного антагонизма, который за последние два года раздирает страны Центральной Европы и балканские государства и делает войну неизбежной в глазах тех, кто умеет видеть!.. Но оставим в покое прессу... Это еще не все... Посмотрим дальше... Тема «Пуанкаре» неисчерпаема! Я не могу тебе объяснить все сразу, с пятого на десятое... Перейдем к внутренней политике. Она идет параллельно внешней. Это вполне логично. Прежде всего — усиленное вооружение, к великой выгоде металлургических концернов, закулисное могущество которых огромно... Трехлетний срок военной службы... Следил ты за прениями в палате? За выступлениями Жореса?.. Затем — воздействие на умы. Ты говоришь: «Никто во Франции теперь уже не мечтает о военной славе...» Разве ты не замечаешь того патриотического, воинственного возбуждения, которое за последние месяцы охватило все французское общество и главным образом молодежь? Здесь опять-таки я ничего не преувеличиваю... И это также дело рук Пуанкаре! У него свой план: он знает, что в день всеобщей мобилизации правительству нужно будет опереться на раскаленное добела общественное мнение, которое не только одобрит его действия и пойдет за ним, но еще будет превозносить его и толкать вперед... Франция тысяча девятисотого года, Франция после дела Дрейфуса была слишком миролюбиво настроена. Армия была дискредитирована, ею никто не интересовался. Безопасность вошла в привычку. Необходимо было пробудить национальную тревогу. Молодежь, в частности буржуазная молодежь, представляла собой необычайно благодатную почву для шовинистской пропаганды. Результаты не заставили себя ждать!

— Молодые националисты действительно существуют, этого я не отрицаю,— прервал его Антуан, который имел ввиду своего сотрудника, Манюэля Руа.— Но ведь их незначительное меньшинство.

— Это меньшинство увеличивается с каждым днем! Очень беспокойное меньшинство, которое только и мечтает о том, как бы

поступить в армию, носить знаки различия, потрясать знаменами, участвовать в военных парадах! Сейчас по малейшему поводу устраиваются манифестации перед статуей Жанны д'Арк или перед статуей Страсбурга! А ведь это так заразительно! Человек толпы — мелкий чиновник, торговец — не может до бесконечности оставаться безразличным к этим зрелищам, к этому фанатическому исступлению... Тем более что пресса, руководимая правительством, обрабатывает умы в том же направлении. Французскому народу исподволь внушается, что он находится под угрозой, что его безопасность зависит от силы его кулаков, что он должен уметь показать свою мощь, примириться с напряженной военной подготовкой. В стране умышленно создается то, что вы, медики, называете «психозом»: психоз войны... А когда в народе разбужено это всеобщее беспокойство, это лихорадочное возбуждение и страх, его без всяких усилий можно толкнуть на любое безумие!..

Вот тебе полный отчет. Я не говорю, что в один из ближайших дней Пуанкаре объявит войну Германии. Нет, Пуанкаре не Берхтольд. Но чтобы сохранить мир, нужно считать его возможным... А Пуанкаре,— исходя из той точки зрения, что конфликт неизбежен,— задумал и осуществил политику, которая не только не устраняет шансы войны, а увеличивает их! Наше вооружение, происходящее наряду с русскими приготовлениями, как и следовало ожидать, устрашило Берлин. Немецкие военные круги поспешили воспользоваться случаем, чтобы ускорить и свои приготовления. Укрепление франко-русского союза вызвало в Германии безотчетный страх перед «окружением» — настолько сильный, что немецкие генералы поспешили открыто заявить, будто из создавшегося положения есть только один выход — война; некоторые утверждают даже, что ее необходимо начать как превентивную!.. Все это в значительной мере дело рук Пуанкаре! В результате дьявольской политики Извольского — Пуанкаре Германия действительно стала такой, какой Пуанкаре ее себе представлял: агрессивной, хищной нацией... Мы вертимся в заколдованном кругу. И если через три месяца Франция окажется вовлеченной в европейскую войну — войну, которую Россия терпеливо вынашивала, которую Германия, может быть, легкомысленно «допускала», чтобы воспользоваться благоприятными обстоятельствами,— то Пуанкаре останется с торжеством воскликнуть: «Вот видите, под какой угрозой мы находились! Видите, как я был прав, стремясь иметь возможно более мощную армию и возможно более надежных союзников!» — не подозревая того, что благодаря своим психологическим ошибкам, своим русским симпатиям и своей политике пессимистически настроенного пророка он является, вопреки всякой вероятности, одним из виновников этой войны!

Антуан решил дать брату выговориться; но в глубине души он находил его выпады довольно-таки непоследовательными. Он улавливал в них некоторые противоречия. Его логический и трезвый ум восставал против аргументации, которая в своей совокупности казалась ему слабой и бессистемной. Антуан был близок к тому, чтобы усомниться в осведомленности своего младшего брата, взгляды которого казались ему, как всегда, поверхностными, иногда даже ребяческими. Великодушие, и неосведомленность, и некомпетентность... Если действительно в настоящее время над горизонтом нависла смутная угроза, то Пуанкаре, преобладающей чертой которого, даже на президентском посту, оставалась активность, прекрасно сумеет вовремя рассеять надвигающиеся тучи. Ему вполне можно было довериться: он уже проявил задатки крупного политического деятеля. Рюмель преклонялся перед ним. Было бы нелепостью предполагать, что здравомыслящий человек, подобный Пуанкаре, может желать реванша; и еще большей нелепостью было бы думать, что, не желая войны, он старался сделать ее неизбежной только потому, что считал ее возможной или вероятной. Детские фантазии! Достаточно самого элементарного здравого смысла, чтобы уяснить себе, что Пуанкаре, а вместе с ним и все государственные деятели Франции должны, напротив, всеми силами стремиться к тому, чтобы не дать втянуть страну в ненужную ей авантюру. По целому ряду причин. И прежде всего потому, что Пуанкаре лучше, чем кто-либо, знает, что ни Россия, ни Франция на сегодняшний день еще не готовы к тому, чтобы с успехом сыграть свою партию. Рюмель говорил об этом еще совсем недавно. Впрочем, Жак ведь сам молчаливо признал неудовлетворительным состояние транспорта и стратегических путей сообщения в России, поскольку для устранения этого недостатка Россия сделала шестисотмиллионный заем. Что касается Франции, то закон о трехлетней военной службе, признанный необходимым, чтобы довести численность армии до уровня германской, был только что принят и не дал еще результатов... Однако Антуан не располагал достаточно точными данными, чтобы окончательно опровергнуть все утверждения брата, как ему того хотелось бы. Поэтому он счел за лучшее не возражать. Сами события рано или поздно докажут Жаку всю его неправоту — ему и всем его швейцарским друзьям, этим лжепророкам, под влиянием которых он находится.

Жак сидел молча. Он как будто вдруг страшно устал. Вынув носовой платок, он обтер себе лицо, шею, затылок.

Жак чувствовал, что его пламенная импровизация нисколько не убедила брата. И ему было понятно почему. Он отдавал себе

ясный отчет в том, что беспорядочно, без всякой последовательности, глупо пускал в ход аргументы совершенно различного порядка — политические, пацифистские, революционные,— представлявшие собой в большинстве случаев смутные отголоски словопрений «Говорильни». В эту минуту он мучительно ощущал недостаточную осведомленность, которую Антуан молча ставил ему в вину.

Всю неделю, проведенную в Париже, он потратил главным образом на то, чтобы собрать сведения о настроениях французских социалистов, и больше интересовался тем, как они реагируют на угрозу войны, чем проблемой ответственности европейских держав.

Его беспокойный взгляд блуждал по комнате, перебегал с предмета на предмет, ни на чем не задерживаясь. Наконец Жак остановил его на лице брата, который, закинув руки за голову и глядя в потолок, лежал совершенно неподвижно.

— По правде говоря,— продолжал Жак срывающимся голосом,— я сам не знаю, почему я... Конечно, многое можно было бы сказать на эту тему — и сказать лучше, чем могу это сделать я... Допустим даже, что я несправедлив к Пуанкаре... что я преувеличиваю долю ответственности Франции... Это все несущественно! А важно то, что война надвигается! И необходимо во что бы то ни стало предотвратить опасность!

Антуан недоверчиво улыбнулся, что привело Жака в бешенство.

— Вы, все вы... преступно беспечны в своем спокойствии!..— воскликнул Жак.— Когда класс буржуазии решится наконец открыть глаза и увидеть все обстоятельства в настоящем свете, то, вероятно, будет уже поздно... События назревают. Возьми газету «Матэн» за сегодня, девятнадцатое июля. В ней пишут о процессе Кайо. В ней пишут о летних каникулах, о морских купаниях, о рыночных ценах. Но на первой полосе есть статья, не случайно помещенная здесь, которая начинается словами, заряженными динамитом: *«Если вспыхнет война...»* Вот до чего мы дошли!.. Запад — точно пороховой погреб. Стоит где-нибудь вспыхнуть искре!.. А люди, подобные тебе, говорят: «Война?..» — таким тоном, каким ты только что это сказал... Можно подумать, что в ваших умах это слово звучит так же просто, как и на ваших устах... Вы говорите «война», и никто из вас не думает, что это значит — «неслыханная бойня», «миллионы невинных жертв»... Ах, если бы только ваш ум на миг вышел из оцепенения, вы все, как один, поднялись бы,— и ты первый! — чтобы что-то предпринять, чтобы бороться, пока еще есть время!

— Нет! — твердо ответил Антуан. В течение нескольких минут он хранил молчание.— Нет! — еще раз повторил он, не поворачивая головы.— Я — никогда!

Как ни был он, помимо своей воли, смущен вопросами, затронутыми братом, Антуан ни за что не хотел позволить беспокойству овладеть его душой, разрушить упроченное существование, которое он себе создал и на котором было основано его жизненное равновесие.

Он слегка выпрямился и скрестил руки.

— Нет, нет и нет! — твердил он с упрямой улыбкой.— Я не из тех, кто поднимется, чтобы вмешаться в мировые события... У меня есть свое собственное, вполне определенное дело. Я тот человек, который завтра в восемь часов утра должен быть на месте, у себя в больнице, и должен помнить, что у номера четвертого — флегмона, а у номера девятого — перитонит... Ежедневно мне приходится иметь дело с десятками несчастных малышей, которых необходимо спасти... Так вот, я и говорю «нет!» всему остальному!.. Человек, у которого есть профессия, не должен отвлекаться от нее и соваться без толку в такие дела, в которых он ровно ничего не смыслит... У меня есть профессия. Мне приходится решать точные, вполне определенные задачи в хорошо знакомой мне области, и от них часто зависит человеческая жизнь, иногда судьба целой семьи... Теперь ты понимаешь? У меня есть дела поважнее, чем щупать пульс Европы!

В глубине души Антуан считал, что те, кому вверяется управление государством, должны, в силу самого их призвания, быть знатоками своего дела, специалистами во всех сложных вопросах международной политики, и люди несведущие, вроде него самого, могут на них спокойно положиться. Слепое доверие, которое он питал к французскому правительству, распространялось и на правителей других стран. Антуану было присуще врожденное чувство уважения к специалистам.

Жак присматривался к брату с каким-то новым чувством. Ему вдруг пришло в голову, что вся пресловутая уравновешенность Антуана, которой он некогда восхищался как великим достижением разума, как победой рассудка над противоречиями мира сего и которая всегда внушала ему смешанное чувство раздражения и зависти,— была просто-напросто самозащитой деятельного ленивца, одного из тех, что суетятся, можно сказать, из спортивного интереса, ради самоутверждения. Или, вернее,— не была ли уравновешенность Антуана счастливым результатом того, что он избрал для себя ограниченное, в сущности, довольно узкое поле деятельности?

— Ты говоришь: «военный *психоз*»,— продолжал Антуан.— Ерунда! Я не придаю, как ты, столь важное значение этим психологическим факторам... Политика, по существу, имеет дело с вполне конкретными явлениями, и благородные порывы чувстви-

тельных душ заслуживают тут еще меньшего внимания, чем где бы то ни было. Таким образом, даже если те опасности, которые ты предрекаешь, окажутся вполне реальными, мы не в силах ничего изменить. Абсолютно ничего. Ни ты, ни я, ни кто бы то ни было!

Жак стремительно вскочил.

— Это неправда! — воскликнул он в порыве возмущения, который ему на этот раз не удалось обуздать.— Как? Перед лицом такой угрозы склонить голову и продолжать копаться в делишках в ожидании катастрофы? Это просто чудовищно! К счастью для народа, к счастью для всех вас, есть люди, которые не дремлют, люди, которые не задумаются завтра же отдать свою жизнь, если это понадобится, чтобы предохранить Европу от...

Антуан наклонился вперед.

— Люди? — спросил он заинтересованный.— Какие люди? Ты?..

Жак подошел к дивану. Возбуждение его несколько улеглось. Он смотрел на брата сверху. Глаза его сияли гордостью и доверием.

— Известно ли тебе, что на свете существует двенадцать миллионов *организованных* рабочих? — произнес он медленно, с расстановкой, лоб его покрылся каплями пота.— Известно ли тебе, что международное социалистическое движение имеет за собой пятнадцать лет борьбы, совместных усилий, солидарности, непрерывных успехов? Что в данное время имеются значительные социалистические фракции во всех европейских парламентах? Что эти двенадцать миллионов приверженцев социализма распределяются примерно на двадцать различных стран? Что более двадцати социалистических партий образуют с одного конца света до другого непрерывную цепь, объединенную братскими чувствами? И что основной идеей, связывающей их, главным пунктом их соглашения является ненависть к милитаризму, непреложное решение бороться против войны, какова бы она ни была, откуда бы она ни возникла, потому что война — это всегда ухищрение капиталистов, за которое народ...

— Кушать подано,— объявил Леон, появляясь в дверях.

Жак, прерванный на полуслове, вытер пот со лба и снова сел в кресло. Как только слуга исчез, он пробормотал как бы в заключение:

— Теперь, Антуан, тебе, может быть, стало понятно, зачем я приехал во Францию...

В течение нескольких секунд Антуан молча смотрел на брата. Изогнутые брови над глубоко посаженными глазами сошлись, образовав напряженную складку, выдававшую сосредоточенность его мысли.

— Вполне понятно,— произнес он каким-то загадочным тоном.

Наступило молчание. Антуан спустил ноги с дивана и сидел, подперев голову ладонями, уставившись взглядом в пол. Затем слегка пожал плечами и встал.

— Пойдем-ка обедать,— сказал он, улыбаясь.

Жак, ни слова не говоря, последовал за братом.

Он был весь в поту. Посредине коридора ему вспомнилось, что рядом ванная комната. Соблазн был слишком велик и победил его колебания.

— Послушай! — внезапно сказал он, покраснев, как мальчишка.— Может быть, это глупо, но мне безумно захотелось принять ванну... Сейчас же... до обеда... Можно?

— Черт возьми! — воскликнул Антуан, развеселившись. (Как ни нелепо это было, но у него возникло ощущение, что он берет какой-то маленький реванш.) — Ванну, душ — все, что тебе угодно!.. Пойдем.

Пока Жак плескался в ванне, Антуан вернулся в кабинет и вытащил из кармана записочку Анны. Он перечел ее и тут же разорвал: он никогда не хранил женских писем. Внутренне он улыбался, но улыбка была почти неуловима на его лице. Усевшись на диван, Антуан зажег папиросу и снова растянулся на подушках.

Он размышлял. Не о войне, не о Жаке, даже не об Анне,— о самом себе.

«Я раб своей профессии — вот в чем беда,— думал он.— У меня недостает времени на размышления... Размышлять — это не значит думать о своих больных и даже вообще о медицине; размышлять — это значит задумываться над окружающим миром... На это у меня нет свободного времени... Мне казалось бы, что я отнимаю время от своей работы... Вполне ли я прав? Верно ли, что мое профессиональное существование — это и есть жизнь? И в этом ли вся *моя* жизнь? Не уверен... Я чувствую, что под оболочкой доктора Тибо скрывается еще кто-то, а именно — *я сам*... И этот «кто-то» задавлен... с давних пор... быть может, с той самой минуты, как я выдержал свой первый экзамен.... В тот день — трах! — мышеловка захлопнулась. Человек, которым я был, человек, существовавший во мне до того, как я стал врачом, человек, который и сейчас еще живет во мне,— это как бы зародыш, уже давно переставший развиваться... Да, пожалуй, со времени первого экзамена... И все мои собратья живут так же, как я... Может быть, и все занятые люди? Как раз лучшие из людей... Потому что именно лучшие всегда жертвуют собой, уходят с головой в профессиональную работу, поглощающую все силы... Мы напоминаем свободных людей, которые вдруг продались бы в рабство...»

Его рука вертела в глубине кармана небольшую записную книжечку, с которой он никогда не расставался. Машинально он вытащил ее и рассеянным взглядом пробежал страничку записей на завтрашний день, 20 июля, всю испещренную именами и пометками.

«Без глупостей! — резко оборвал он себя.— Завтра я обещал Теривье навестить его дочурку в Со. А в два часа начинается мой прием...»

Антуан раздавил в пепельнице окурок и потянулся.

«Доктор Тибо опять появляется на свет божий,— подумал он, улыбаясь.— Ну что же? В конце концов, жить — это значит действовать! А не разводить философию... Размышлять над жизнью? К чему? Давно известно, что такое жизнь: нелепая смесь чуднейших мгновений и жесточайшей скуки! Приговор произнесен раз и навсегда... Жить — это вовсе не значит снова и снова ставить все под вопрос...»

Энергичным движением Антуан поднялся с дивана, вскочил на ноги и быстро подошел к окну.

— Жить — это значит действовать! — повторил он, рассеянно оглядывая пустынную улицу, мертвые фасады домов, покатые поверхности крыш, на которые полосами ложились тени от труб. Антуан продолжал машинально вертеть в руке записную книжечку, спрятанную на дне кармана. «Завтра — понедельник: пожертвуем морской свинкой для малыша номер тринадцать... Много шансов за то, что прививка даст положительную реакцию. Скверная история. Потерять почку в пятнадцать лет... А потом эта несчастная дочурка Теривье. Мне не везет в этом году со *стрептококковыми* плевритами. Подождем дня два, и если не будет улучшения — придется делать резекцию ребра. Да что там! — резко оборвал он ход своих мыслей, спуская приподнятую было штору на окне.— Честно исполнять свою работу — разве это уж так мало?.. А жизнь пусть себе бежит своим чередом!..»

Антуан вернулся на середину комнаты и закурил новую папиросу. Забавляясь созвучием слов, он стал мурлыкать, точно повторяя припев песенки:

— Пусть жизнь себе бежит... А Жак пусть рассуждает... Пусть жизнь себе бежит...

XVI

Обед начался чашкой холодного бульона, который оба брата выпили молча, в то время как Леон в белой официантской куртке сосредоточенно разрезал дыню на мраморной доске закусочного столика.

— У нас будет рыба, немного холодного мяса и салат,— объявил Антуан.— Это тебя устраивает?

Вокруг них заново отделанная столовая со своими гладкими, обшитыми деревянной панелью стенами, с зеркальными окнами и длинным закусочным столиком, занимавшим противоположную окнам стену, казалась пустынной, мрачной и величественной.

Антуан, по-видимому, совершенно освоился с этой торжественной обстановкой. В данную минуту лицо его выражало самую сердечную доброжелательность. Искренне радуясь свиданию с братом, он терпеливо ждал возобновления разговора.

Но Жак молчал, стесненный неуютностью этой комнаты, тем, что два их прибора были нелепо разделены всей длиной стола, за которым с успехом могло бы разместиться человек двенадцать гостей. Присутствие слуги еще усугубляло ощущение неловкости: каждый раз, когда Леон менял тарелку, ему приходилось, чтобы дойти от стола к буфету и обратно, дважды пересекать половину огромной комнаты; и Жак невольно следил искоса за плавными движениями этого белого призрака, скользившего по ковру. Он надеялся, что Леон, подав дыню, наконец удалится. Но слуга задержался, наполняя стаканы. «Новые замашки»,— подумал Жак. (В прежнее время брат его едва ли согласился бы пользоваться чьими-либо услугами и наливал бы себе сам, по своему вкусу.)

— Это «Мёрсо» тысяча девятьсот четвертого года,— пояснил Антуан, подняв свою рюмку, чтобы убедиться в прозрачности янтарного вина.— Оно прекрасно идет к рыбе... Я нашел с полсотни бутылок в погребе. Но это были последние отцовские запасы.

Украдкой он теперь внимательнее присматривался к брату. Он чуть было не задал ему один вопрос, но удержался.

Жак рассеянно глядел на улицу. Окна были открыты. Поверх домов небо было розоватое, с перламутровым отливом. Сколько раз в детстве в такие вечера он любовался этими фасадами и крышами, этими окнами с решетчатыми ставнями, с потемневшими от пыли шторами, этими зелеными растениями в горшках, выставленными на балконах!

— Скажи мне, Жак,— неожиданно обратился к нему Антуан.— Как твои дела? Хороши? Ты доволен?

Жак вздрогнул и удивленно посмотрел на брата.

— Что же,— продолжал Антуан ласково,— счастлив ты, *по крайней мере?*

Принужденная улыбка промелькнула на губах Жака.

— Ну, знаешь ли...— пробормотал он,— счастье — это не приз, который удается при случае сорвать... По-моему, это прежде всего природное предрасположение. Возможно, что у меня его нет...

Он встретился глазами с братом: тот смотрел на него, как врач на пациента. Жак уставился в тарелку и умолк.

Ему не хотелось возобновлять прерванный спор, а между тем мысль его продолжала работать в этом направлении.

Отцовское серебро — овальное блюдо, на котором Леон подавал ему рыбу, соусник с изогнутой ручкой, напоминавший старинный светильник,— привело ему на память прежние семейные обеды.

— А что Жиз? — внезапно спросил он, как будто вдруг вспомнив о ней после нескольких месяцев полного забвения.

Антуан подхватил мяч на лету:

— Жиз? Она все там же... Как будто счастлива. Изредка пишет мне. Она даже приезжала сюда на пасху, провела здесь три дня... Средства, которые ей оставил отец, позволяют ей теперь вести более или менее независимый образ жизни.

Этим намеком на завещательное распоряжение г-на Тибо Антуан смутно надеялся вызвать разговор на тему об отцовском наследстве. Он никогда не принимал всерьез отказ брата. При участии нотариуса он произвел раздел всего состояния на две равные доли; затем поручил своему биржевому маклеру вести дела Жака, пока тот не изменит своего нелепого решения.

Но Жак думал совсем о другом.

— Она все еще в монастыре? — спросил он.

— Нет. Она даже уехала из Лондона. Она живет теперь в его пригороде, в Кингсбери, в монастырской школе; если я верно понял, это своего рода пансион, где много молодых девушек, таких же, как она.

Жак уже начинал раскаиваться, что так неосмотрительно затронул этот вопрос. Воспоминание о Жиз больно отозвалось в его сердце. У него было слишком много оснований считать, что он один в ответе за добровольное изгнание девушки, за ее бегство прочь от всего, что могло ей напомнить о прошлом и о ее обманутых надеждах.

Антуан продолжал, снисходительно посмеиваясь:

— Ты ведь ее знаешь... Такая жизнь подходит ей как нельзя лучше... Это своего рода община без строгого устава, где время делится между благочестием и спортом... Он повторил с еле заметной неуверенностью: — Она как будто счастлива.

Жак поспешил отвлечь брата от этой темы:

— А Мадемуазель?

(В одном из своих писем прошлой зимой Антуан сообщил ему об отъезде старой мадемуазель де Вез в богадельню.)

— Сказать по правде, о Мадемуазель я имею лишь косвенные сведения — через Адриенну и Клотильду.

— А они все еще здесь?

— Да... Я их оставил у себя, потому что они хорошо уживаются с Леоном... Они аккуратно навещают Мадемуазель в первое воскресенье каждого месяца.

— Где же это?

— В Пуэн-дю-Жур. Помнишь, Убежище для престарелых, куда Шаль поместил свою старую тиранку-мать, совершенно при этом разорившись? Нет? Ты не знаешь этой истории? Одна из самых замечательных об этом неподражаемом господине Шале...

— Ну, а сам он, что с ним сталось? — спросил Жак, невольно рассмеявшись.

— Шаль? Жив и здоров! Содержит на улице Пирамид магазин технических новинок. Уверяет, что у него было с малых лет призвание к этому делу. Впрочем, кажется, он весьма преуспевает... Если будешь проходить мимо,— по-моему, стоит зайти. У него презабавный компаньон. Вместе они составляют пару, достойную пера Диккенса!

Оба дружно расхохотались. На миг как бы восстановилась их нерасторжимая братская близость.

— Что касается Мадемуазель...— продолжал Антуан после минутного молчания, он вдруг, казалось, смутился и хотел непременно объяснить Жаку все обстоятельства дела.— Понимаешь ли,— сказал он добродушным тоном, который непривычно звучал в ушах Жака,— мне никогда не приходило в голову, что Мадемуазель может провести остаток своей жизни вне нашего дома... Знаете что, Леон,— поставьте салатник на стол, мы сами возьмем себе... Это кресс-салат,— пояснил он Жаку, в ожидании ухода слуги,— будешь его есть с холодным мясом или после?

— После.

— Я буду с тобой вполне откровенен,— продолжал Антуан, как только убедился, что они остались одни.— Я никогда не шевельнул бы пальцем для того, чтобы расстаться с нашей бедной старушкой. Но признаюсь, что своим упорным желанием уехать она оказала мне огромную услугу. Ее присутствие в доме значительно осложнило бы новый уклад моей жизни... Мадемуазель вбила себе в голову, что должна переехать в Убежище для престарелых, когда окончательно убедилась в том, что Жиз намерена остаться в Англии. Жиз предлагала тетке увезти ее с собой и поместить где-нибудь поблизости от себя... Так нет же, она заладила одно: Убежище... Ежедневно к концу завтрака она скрещивала на столе свои худые, как у скелета, руки и начинала разводить рацеи, тряся своей маленькой головой: «Я уже не раз говорила тебе, Антуан... В моем теперешнем состоянии... Я никому не хочу быть в тягость... В шестьдесят восемь лет, при моем состоянии...» Ты ее

себе представляешь? Сидит, согнувшись в три погибели, подбородок на скатерти, сметает сморщенными ладонями крошки со стола... и повторяет дрожащим голосом: «В моем теперешнем состоянии...» Я отвечал: «Хорошо, хорошо, там видно будет. Потом поговорим...» Видишь ли,— что греха таить? — это так упрощало многие вопросы... В конце концов я согласился... как ты считаешь, может, я был неправ?.. Впрочем, я принял меры к тому, чтобы все обошлось как можно лучше... Прежде всего уплатил самую высокую цену, чтобы она могла устроиться с полным комфортом. Сам выбрал для нее две смежные комнаты, велел их заново отремонтировать и перевезти туда всю обстановку ее прежней комнаты, чтобы она не чувствовала себя выбитой из колеи. При таких условиях ведь не похоже, что, поместив в Убежище, я вышвырнул ее за порог, как ненужную вещь? Тебе не кажется? Она устроилась совсем как старушка, пользующаяся собственными доходами и живущая в семейном пансионе...

Антуан настойчивым взглядом смотрел на брата. По-видимому, он почувствовал облегчение, уловив одобрительное выражение в глазах Жака, ибо тотчас же улыбнулся.

— Вот и все! — уже весело добавил он.— Не следует обманывать самого себя... Не скрою, что в тот день, когда Мадемуазель уехала, у меня точно гора с плеч свалилась!

Антуан умолк и снова взялся за вилку. В последние минуты, увлеченный своим повествованием, он забыл о еде.

Теперь, низко нагнувшись, он ловко разнимал утиную ножку. Он казался погруженным в это занятие, но было ясно, что мысли его заняты не тем, что делают пальцы.

XVII

— Я думаю о тех двенадцати миллионах рабочих, о которых ты только что говорил,— неожиданно произнес Антуан.— Что же, значит, ты записался в социалистическую партию?

Он сидел, склонясь над тарелкой, и не поднял головы даже тогда, когда вскинул глаза, чтобы взглянуть на брата.

Жак увильнул от этого прямого вопроса, сделав неопределенное движение головой, которое могло быть принято за утвердительный ответ. (В действительности, он всего лишь несколько дней тому назад получил свой партийный билет. Только перед угрозой назревающих в Европе событий он отрешился от своей независимости и почувствовал необходимость примкнуть к социалистическому Интернационалу — единственной достаточно активной, достаточно многочисленной организации, способной вести успешную борьбу против войны.)

Антуан передал ему салат и спросил небрежным тоном:

— Вполне ли ты уверен, дружок, что твоя теперешняя жизнь в этом... политическом окружении... действительно соответствует... твоим запросам, твоим литературным вкусам, наконец, твоему настоящему характеру?

Жак резким движением поставил салатник обратно на стол.

«Несчастный,— подумал он.— Все больше и больше впадает в отцовский самодовольный тон».

Антуан явно стремился говорить непринужденно, беспристрастно. Он немного помолчал, а затем уточнил свою мысль:

— Признайся: ты действительно веришь в то, что рожден быть революционером?

Жак посмотрел на брата. Он горько усмехался и медлил с ответом. Лицо его постепенно принимало все более мрачное выражение.

— Если ты хочешь знать, что сделало из меня революционера,— сказал он наконец, и губы его дрогнули,— так это то, что я родился здесь, в этом самом доме... Что я вырос в буржуазной семье... Что с самых юных лет я ежедневно имел перед глазами картину тех несправедливостей, которыми живет это привилегированное общество... Что с раннего детства я испытывал как бы чувство виновности... соучастия! Да, острое сознание того, что, ненавидя этот порядок вещей, я все же пользуюсь им! — Он жестом остановил готового возразить Антуана.— Задолго до того, как я узнал, что такое капитализм, когда я еще не знал даже самого этого слова,— в двенадцать, тринадцать лет, помнишь? — я уже восставал против того мира, в котором я жил, мира моих товарищей, моих преподавателей... наконец, нашего отца и его благотворительных учреждений!

Антуан в задумчивости перемешивал салат.

— Боже мой! Это общество имеет свои органические пороки, я первый готов это признать,— согласился он, снисходительно усмехнувшись.— Но вместе с тем это общество в силу привычки продолжает, несмотря ни на что, вращаться вокруг своей изначальной оси... Нельзя же быть таким строгим... Это общество имеет свои хорошие стороны, свои обязанности, свое величие... И свои удобства...— добавил он с тем добродушным видом, который больше, чем его слова, был неприятен брату.

— Нет, нет! — возразил Жак взволнованным голосом.— Капиталистическое общество *не имеет* оправданий! Оно установило между людьми нелепые, возмутительные отношения!.. Это общество, где все понятия извращены, где нет уважения к личности, где единственное движущее начало — выгода и мечта каждого — обогащение! Общество, где денежные тузы обладают чудовищной

силой, обманывают общественное мнение подкупленной ими прессой и порабощают даже самый государственный аппарат! Общество, в котором индивидуум, трудящийся, сводится к нулю! Общество...

— Так, значит,— прервал его Антуан, в котором также начинал закипать гнев,— по твоему мнению, трудящийся не пользуется ничем из продукции современного общества?

— Но в какой жалкой пропорции он ею пользуется! Нет, единственно, кто ею пользуется по-настоящему, это хозяева предприятий и их акционеры, эти крупные банкиры, крупные промышленники...

— ...которых ты, конечно, представляешь себе в виде бездельников и жуиров, разжиревших на крови и поте народных масс и лакающих шампанское в обществе публичных женщин?

В ответ Жак даже не удостоил пожать плечами.

— Нет, я представляю их себе такими, какие они есть, Антуан... По крайней мере, такими, какими бывают лучшие из них. Отнюдь не бездельниками,— напротив! Но жуирами — да, конечно! Ведущими жизнь, одновременно и деятельную и роскошную — приятно деятельную и нагло роскошную! Жизнь, полную до краев, потому что она соединяет в себе все доступные наслаждения: все радости, все развлечения, которые достигаются умственным трудом, спортивной борьбой с конкурентами, а также темными делишками, и азартной игрой, и просто удачей; все удовольствия, связанные с успехом, с общественным положением, с господством над людьми и вещами!.. Словом — жизнь привилегированного класса! Разве ты станешь все это отрицать?

Антуан молчал. «Краснобайство! — проворчал он про себя.— Болтает, глупец, прочищает себе глотку общими фразами!..» Тем не менее он прекрасно чувствовал, что раздражение мешает ему быть вполне справедливым и что проблемы, затронутые в разглагольствованиях брата, не могут быть оставлены без внимания. «Проблемы,— думал он,— гораздо более трудные, чем Жак или ему подобные любители упрощений могут себе представить... Невероятно сложные проблемы, для решения которых нужны не гуманно настроенные утописты, а крупные ученые, великие хладнокровные умы, вполне овладевшие научными методами...»

Жак закончил, метнув в сторону брата свирепый взгляд:

— Капитализм? Конечно, он в свое время был орудием прогресса... Но в наши дни, в силу неизбежного хода истории, он стал вызовом здравому смыслу, вызовом справедливости, вызовом человеческому достоинству!

— Да неужели? — воскликнул Антуан.— И это все?

Наступило молчание. Вошел Леон и переменил тарелки.

— Подайте сыр и фрукты,— сказал Антуан,— мы сами себе положим... Швейцарского или голландского? — обратился он с вопросом к брату. Он говорил легким, непринужденным тоном.

— Ни того, ни другого; благодарю.

— Может быть, персик?

— Да, персик.

— Постой, я тебе сейчас выберу...

Он умышленно подчеркивал в своем обращении сердечную ноту.

— Теперь поговорим серьезно,— продолжал он после небольшой паузы, примирительным тоном стараясь смягчить обидный смысл своих слов.— Что такое — капитализм? Должен тебе сказать, я отношусь несколько подозрительно к ходким выражениям. И, в частности, к словам, оканчивающимся на «изм»...

Он думал смутить брата. Но Жак спокойно поднял голову. Раздражение его мало-помалу улеглось, по губам скользнула даже тень улыбки. Одно мгновение он смотрел в сторону открытого окна. День постепенно угасал: над серыми фасадами домов небо с каждой минутой становилось все темнее.

— Что касается меня,— пояснил он,— когда я говорю: «капитализм» — я имею в виду совершенно определенное явление: способ распределения мировых богатств и способ их использования.

Антуан немного подумал, затем одобрительно кивнул головой. Братья с одинаковым облегчением почувствовали, что их беседа становится менее натянутой.

— Персик у тебя спелый? Может, хочешь сахару? — спросил Антуан.

— Знаешь,— продолжал Жак, не отвечая на вопрос,— знаешь, что больше всего возмущает меня в капитализме? То, что он отнял у рабочего все, что делало его человеком. Концентрация оторвала рабочего от родных мест, от семьи, от всего, что придавало его жизни человеческий характер. У него вырвали почву из-под ног. Его лишили всех естественных радостей, которые труд давал ремесленнику. Его превратили в безличное животное-производителя в этом муравейнике, который называется заводом! Представляешь ли ты себе организацию труда в этом аду? Поистине бесчеловечное разделение между ручным, механическим и — как бы это сказать? — умственным трудом! Представляешь ли ты себе, чем стал повседневный труд для заводского рабочего? До какого рабского отупения он доведен?.. В прежнее время тот же человек был бы искусным ремесленником, любящим свою маленькую мастерскую, заинтересованным в своей работе. Нынче он осужден не представлять собою ровно ничего. Ничего — кроме механизма, кроме одной из тысячи мелких частей той таинственной машины, тайну кото-

рой он даже не обязан знать для выполнения своей работы! Тайну, которая является достоянием меньшинства, все того же пресловутого меньшинства: хозяина, инженера...

— Потому что образованные и компетентные люди всегда представляют собой меньшинство, черт возьми!

— Человек совершенно обезличен, Антуан! Вот в чем преступление капитализма! Он сделал из рабочего машину! Меньше того — слугу машины!

— Полегче, полегче,— прервал его Антуан.— Прежде всего это вовсе не капитализм — это машинизм; не смешивай эти понятия... А затем позволь тебе сказать, что, по моему мнению, ты както странно драматизируешь действительность! По правде говоря, я не думаю, чтобы рабочих и инженеров разделяли столь непроницаемые перегородки. Большею частью между ними существует даже известная связь, согласованность действий, сотрудничество. Очень редко можно встретить рабочего, для которого его машина представляла бы «тайну». Он не мог бы ни изобрести ее, ни, может быть, смонтировать, но он прекрасно понимает, как она действует, и часто сам вносит в ее работу технические усовершенствования. Во всяком случае, он ее любит, гордится ею, он ухаживает за ней и заинтересован в том, чтобы она хорошо работала... Штудлер, побывавший в Америке, очень интересно рассказывает о «промышленном энтузиазме», который охватил там рабочий класс... Мне также приходит на ум больница... Если хорошенько присмотреться, то не так уж она отличается от завода... Здесь тоже имеются хозяева и работники, «умственный» и «ручной» труд. Я вот своего рода хозяин. Но уверяю тебя, что ни одно лицо, находящееся у меня в подчинении, будь то последний из санитаров, нисколько не напоминает «слугу» в том смысле, в каком ты употребил это слово. Мы дружно работаем все вместе, ради одной и той же цели: ради выздоровления больных. Каждый по мере своих сил и возможностей. Посмотрел бы ты, как они все радуются, когда наши совместные усилия приводят к удачным результатам!

«Он всегда должен быть прав»,— раздраженно подумал Жак.

Между тем он сознавал, что крайне глупо положил начало спору, как будто бы основывая свою критику капитализма главным образом на организации и распределении труда.

Стремясь сохранять спокойствие, он снова заговорил:

— При капиталистическом строе возмутительны не столько характер работы, сколько *условия,* создаваемые для работы. И, конечно, я возмущаюсь не машинизмом как таковым, но тем способом, каким привилегированный класс эксплуатирует машины единственно для своей собственной выгоды. Упрощенно можно представить себе социальный механизм так: с одной стороны — небольшая

кучка богатых людей, цвет буржуазного общества, одни — трудолюбивые и культурные, другие — бездельники и паразиты, обладающие всем, располагающие всеми возможностями, занимающие все руководящие посты и забирающие себе все прибыли, ничего не оставляя для масс; а с другой стороны — эти самые массы, истинные производители, эксплуатируемая сила: огромное стадо рабов...

Антуан весело пожал плечами:

— Рабов?

— Да.

— Нет. Не рабов,— заметил Антуан добродушно,— граждан... Граждан, имеющих перед законом совершенно те же права, что и хозяин предприятия или инженер; граждан, которые имеют одинаковые с ними избирательные права, которых никто ни к чему не может принудить, и они могут работать или не работать, в зависимости от своего аппетита, и сами выбирать свое ремесло, свой завод, менять их по собственному желанию... Если они связаны договорами, то эти договоры были ими свободно приняты после совместного обсуждения. Разве таких людей можно назвать рабами? Чьими рабами или рабами чего?

— Рабами своей нищеты! Ты говоришь, как настоящий демагог, старина... Все упомянутые тобой свободы — только кажущиеся. В действительности современный рабочий не пользуется никакой независимостью, потому что нужда за ним гонится по пятам! У него есть только заработная плата, которая не дает ему умереть с голоду. И вот, связанный по рукам и ногам, он вынужден предлагать себя буржуазному меньшинству, которое держит в своих руках работу и устанавливает заработную плату!.. Ты говоришь: образованные люди, техники всегда в меньшинстве... Я это прекрасно знаю. Я совсем не имел в виду специалистов... Но взгляни, как все получается: хозяин, если ему вздумается, предоставляет работу рабочему, который хочет есть; и за эту работу он платит рабочему жалованье. Однако заработная плата обычно является лишь ничтожной частью прибыли, выручаемой от труда рабочего. Хозяин предприятия и его акционеры захватывают все остальное...

— С полным на то правом! Этот остаток представляет собой ту часть, которая принадлежит им как соучастникам в работе.

— Да. Теоретически — действительно, остаток должен представлять собой ту часть, которая принадлежит хозяину за руководство делом или акционеру за то, что он одолжил свои деньги. Мы к этому еще вернемся!.. А сначала сопоставим цифры. Сравним заработную плату с прибылью!.. В действительности этот «остаток» нредставляет собой львиную долю, явно несоразмерную участию, нринимаемому в производстве! И этот остаток служит хозяину для укрепления и увеличения его власти! Из той части доходов, кото-

рую он не использует на свое благосостояние, на роскошь, он составляет *капитал*, вкладывает его в другие предприятия, и он разрастается, как снежный ком. Именно из этого богатства, капитализованного за счет рабочего, и возросло за многие поколения всемогущество буржуазного класса. Всемогущество, опирающееся на жестокую несправедливость... Ибо,— возвращаюсь к сказанному раньше, несоразмерность между тем, что капиталист получает как вознаграждение за свой вклад, и заработком человека, отдающего свой труд,— это еще не самая большая несправедливость. Самая явная несправедливость кроется в другом: *деньги работают* на того, кто ими владеет! Они работают *сами по себе,* так что владельцу их не приходится и пальцем пошевелить!.. Деньги непрерывно порождают новые деньги!.. Задумывался ли ты когда-нибудь над этим, Антуан? Общество эксплуататоров благодаря дьявольскому измышлению, называемому банком, нашло прекрасный выход из положения, чтобы покупать рабов и заставлять их в поте лица трудиться на себя — рабов вполне надежных, безымянных и столь далеких, столь безвестных, что, если хочешь жить в согласии со своей совестью, можно притвориться, будто ничего не знаешь об их мученической жизни... Вот она, вопиющая несправедливость: этот налог, взимаемый с пота и крови самым лицемерным, самым безнравственным образом!

Антуан отодвинулся от стола, зажег папиросу и скрестил руки на груди. Сумерки наступили так быстро, что Жак уже не мог ясно различить выражение лица брата.

— Ну, что же дальше? — спросил Антуан.— Ваша революция должна все это сразу изменить, как по волшебству?

Тон был насмешливый. Жак отодвинул от себя тарелку, удобно оперся локтем на стол и в полумраке дерзко взглянул на брата.

— Да. Потому, что сейчас, пока рабочий одинок и во власти нужды, он беззащитен. Но первое социальное следствие революции будет заключаться в том, что он наконец получит политическую власть. Тогда он изменит базис общества. Тогда он сможет создать новые порядки, новый свод законов... Видишь ли, единственное зло — это эксплуатация человека человеком. Надо построить мир, где такая эксплуатация будет невозможна. Мир, где все богатства, которые сейчас незаконно захвачены паразитическими учреждениями, вроде ваших крупных промышленных предприятий и ваших огромных банков, будут пущены в обращение для того, чтобы пользоваться ими могло все человечество. В данное время бедняк, работающий на производстве, с таким трудом добывает свой прожиточный минимум, что у него не остается ни времени, ни сил, ни даже желания научиться мыслить, развить свои человеческие способности. Когда мы говорим, что революция упразднит пролета-

риат, то мы имеем в виду именно это. В представлении настоящих революционеров революция не только должна обеспечить производителю более свободное, более обеспеченное и более счастливое существование — она должна прежде всего изменить положение человека в отношении труда; она должна очеловечить самый труд, чтобы он перестал быть отупляющим игом. Рабочий должен пользоваться досугом. Не быть с утра и до вечера только орудием производства. Он должен иметь время, чтобы задуматься над самим собой, иметь возможность развить до максимума — в зависимости от своих способностей — свое человеческое достоинство; стать, в той мере, в какой это для него возможно,— а эта мера не столь мала, как обычно считается,— настоящей человеческой личностью...

Он произнес: «А эта мера не столь мала, как обычно считается»,— с убедительностью глубоко уверенного в своих словах человека, но глухим тоном, в котором более опытный наблюдатель, чем его брат, уловил бы, вероятно, нотку сомнения.

Антуан этого не заметил. Он размышлял.

— В конце концов, я согласен с тобой...— уступил он.— Если предположить, что все это осуществимо... Но каким образом?

— Не иначе, как путем революции.

— Это означает диктатуру пролетариата?

— Диктатура... да... Придется начать с этого,— произнес Жак задумчиво.— Лучше сказать — диктатура производителей. Слово «пролетариат» так избито... Даже в революционных кругах теперь стараются освободиться от старой гуманитарной и либеральной терминологии сорок восьмого года...

«Это неправда,— мысленно перебил он себя, вспомнив свою собственную манеру выражаться и словопрения «Говорильни».— Но мы к этому, несомненно, придем».

Антуан сидел молча. Он недослышал последних фраз, произнесенных братом. «Диктатура...» — размышлял он. *A priori*[1] диктатура пролетариата не казалась ему неприемлемой сама по себе. Он даже без особого труда представлял себе, что она может возникнуть в некоторых странах, например, в Германии. Но она казалась ему совершенно неосуществимой во Франции. «Подобная диктатура,— рассуждал он,— не могла бы установиться просто механически; ей понадобилось бы время, чтобы вполне увериться в своей победе, чтобы утвердиться, чтобы добиться экономических результатов, чтобы действительно пустить корни в новых поколениях. На это потребовалось бы не менее восьми или десяти, может быть, пятнадцати лет тиранического режима постоянной борьбы, репрессий, грабежа, нищеты. Франция — страна граждан, склонных

[1] Заранее *(лат.)*.

критиковать правительство, индивидуалистов, дорожащих своими свободами, страна мелких рантье, где рядовой революционер еще сохраняет, незаметно для себя самого, образ жизни и вкусы мелкого собственника,— в состоянии ли Франция вынести в течение десяти лет такую железную дисциплину? Было бы безумием на это рассчитывать».

Между тем Жак, словно закусив удила, продолжал свою обвинительную речь:

— Порабощение, эксплуатация всякой человеческой деятельности капиталистической системой прекратится лишь вместе с ее существованием. Собственнические аппетиты эксплуататоров никогда не будут знать пределов. Расцвет промышленности за последнее пятидесятилетие лишь усилил их власть. Все богатства мира являются предметом их вожделения! Потребность в завоеваниях и экспансии у них настолько велика, что отдельные фракции мирового капитализма, вместо того чтобы подумать об объединении в целях установления международного господства, дошли, вопреки вполне очевидной своей выгоде, до междоусобных раздоров, напоминая собой наследников из знатного рода, оспаривающих друг у друга родовое поместье!.. Вот истинная, самая глубокая причина угрожающей нам войны... (Он все возвращался к своей навязчивой идее о войне.) Но как бы им на сей раз не пришлось встретить отпор со стороны таких сил, о которых они даже и не подозревают! Пролетариат, слава богу, далеко не так пассивен, как прежде! Он не допустит, чтобы имущие классы своей ненасытностью и своими распрями вовлекли его в катастрофу, расплачиваться за которую придется опять же ему... Революция в данный момент отходит на второй план. В первую очередь следует во что бы то ни стало помешать войне! Затем...

— А затем?

— А затем не будет недостатка в конкретных задачах. Самое неотложное, что нужно будет сделать,— это воспользоваться победой народных партий и негодованием общественного мнения против империалистов, нанести решительный удар и захватить в свои руки власть... Тогда явится возможность ввести во всем мире рациональную организацию производства... Во всем мире,— ты понимаешь?..

Антуан внимательно слушал. Он сделал знак, что все прекрасно понимает. Но его неопределенная улыбка указывала на то, что он пока воздерживается от одобрения.

— Я прекрасно знаю, что все это не делается само собой,— продолжал Жак.— Чтобы добиться успеха, придется прибегнуть к революционному насилию: поднять *вооруженное восстание,*— добавил он, пользуясь выражениями Мейнестреля и даже подражая

его резкому голосу.— Борьба будет жестокая. Но час ее уже близок. Иначе трудящееся человечество будет обречено ждать своего освобождения, может быть, еще несколько десятков лет...

Наступило молчание.

— А... имеются ли у вас нужные люди для осуществления этой прекрасной программы? — спросил Антуан.

Он всячески старался не дать разгореться спору, ограничить его пределами чисто теоретических рассуждений. Он наивно рассчитывал дать младшему брату доказательства своих добрых намерений, своего либерализма, своего беспристрастия. Но Жак этого совершенно не оценил. Напротив: слишком безучастный тон Антуана раздражал его. Он не был введен в заблуждение. Некоторые иронические оттенки в голосе, некоторая самоуверенность тона, от которых Антуан никогда не мог отрешиться в своих спорах с младшим братом, постоянно напоминали Жаку, что Антуан относится к нему как старший к младшему, как бы снисходя до него с высоты своего жизненного опыта и своей прозорливости.

— Люди? Да, они у нас есть,— ответил Жак с гордостью.— Но часто выдающимися людьми дела, гениальными вождями оказываются совсем не те, на кого рассчитывали. События выдвигают новых...

Умолкнув, он несколько мгновений думал про себя. Затем медленно продолжал:

— Это не химеры, Антуан... Сдвиг в сторону социализма является общепризнанным фактом. Это бросается в глаза. Окончательная победа будет нелегкой и — увы! — не обойдется, вероятно, без кровопролития. Но отныне для тех, кто хочет видеть, она неизбежна. В конечном итоге можно ожидать, что во всем мире установится единый строй...

— *Бесклассовое общество?* — иронически заметил Антуан, покачивая головой.

Жак продолжал, будто не слыхал его замечания:

— ...Совершенно новая система, которая, в свою очередь, поставит, вероятно, бесконечное множество проблем, недоступных сейчас нашему предвидению, но, по крайней мере, разрешит те, что до сих пор гнетут несчастное человечество, а именно — экономические проблемы... Это не химеры,— еще раз повторил он.— Перед такой перспективой дозволены все чаяния...

Горячность Жака, непоколебимая вера, звучавшая в его голосе, особенно волнующем в полумраке наступившего вечера, вызывала у Антуана желание противоречить и усугубляла скептицизм.

«Вооруженное восстание,— размышлял он.— Покорно благодарю!.. Этого только недоставало! Благородные порывы в целях создания более гармоничной жизни, по правде говоря, обходятся

довольно-таки дорого... И никогда не приводят к улучшениям, которые оказались бы прочными! А люди подготовляют события, спешат все разрушить, все заменить, на деле же оказывается, что новый строй создает новые злоупотребления,— и в конечном счете... Получается, как в медицине: всегда слишком спешат применить новые методы лечения...»

Если он менее строго, чем его брат, относился к современному обществу, если он, в сущности, неплохо приспособлялся к нему — отчасти благодаря врожденному умению использовать обстоятельства, отчасти благодаря своему равнодушию (а также потому, что был склонен оказывать доверие специалистам, возглавляющим это общество),— он все же был далек от того, чтобы считать его совершенным.

«Согласен... согласен,— повторял он про себя.— Все может и все должно быть усовершенствовано. Таков закон цивилизации, закон самой жизни... Но только это делается постепенно!»

— Так ты считаешь,— сказал он вслух,— что для достижения этой цели революция необходима?

— Теперь — да!.. теперь я это считаю,— заявил Жак тоном признания.— Я знаю, что ты думаешь. Я сам долго думал так же, как ты. Я долго старался уверить себя, что достаточно было бы некоторых реформ, реформ в рамках существующего строя... Теперь я в это больше не верю.

— Но твой социализм — разве не претворяется он в жизнь постепенно, сам собой, из года в год? Повсеместно! Даже в автократических государствах, как Германия?

— Нет. Именно те опыты, на которые ты намекаешь, очень показательны. Реформы могут лишь ослабить некоторые *следствия* общего зла, но не могут искоренить его *причины.* И это вполне естественно: реформисты, какие бы добрые намерения им ни приписывались, по существу, солидарны как раз с той политикой, с той экономикой, которую следует опрокинуть и заменить. Нельзя же требовать от капитализма, чтобы он сам себя уничтожил, подкопавшись под собственные основы! Когда он чувствует себя загнанным в тупик вследствие им же созданных неурядиц, он спешит позаимствовать у социализма идею некоторых реформ, ставших необходимыми. Но это и все!

Антуан стоял на своем:

— Мудрость состоит в том, чтобы принимать любое относительное улучшение! Частичные реформы все же приближают нас к тому общественному идеалу, который ты защищаешь.

— Иллюзорный успех; незначительные уступки, на которые капитализму приходится нехотя соглашаться и которые, в сущности, ничего не изменяют. Какие важные изменения были вне-

сены реформами в тех странах, о которых ты говоришь? Денежные магнаты ничуть не потеряли своей власти: они продолжают распоряжаться трудом и держать массы в своих когтях; продолжают руководить прессой, подкупать или запугивать представителей государственной власти. Ибо, для того чтобы изменить суть дела, надо выкорчевать самые основы строя и целиком осуществить социалистическую программу! Ведь когда надо уничтожить трущобы, градостроители сносят все до основания и строят заново... Да,— добавил он со вздохом,— сейчас я глубоко убежден в том, что только революция, всеобщий переворот, исходящий из глубин, полный пересмотр всего общественного устройства могут очистить мир от капиталистической заразы... Гете считал, что следует делать выбор между несправедливостью и беспорядком: он предпочитал несправедливость. Я иного мнения! Я считаю, что без справедливости не может быть настоящего порядка. Я считаю так: лучше все, что угодно, чем несправедливость... Все!.. Даже...— закончил он, внезапно понижая голос,— даже жестокий беспорядок революции...

«Если бы Митгерг меня слышал,— подумал Жак,— он остался бы мной доволен...»

Некоторое время он сидел в задумчивости.

— Во мне только теплится одна надежда: что, может быть, не будет необходимости в кровавой революции повсеместно, во всех странах. Ведь не понадобилось же в девяносто третьем году воздвигать гильотину во всех европейских столицах для того, чтобы республиканские принципы восемьдесят девятого года проникли повсюду и все изменили: Франция пробила брешь, через которую удалось пройти всем народам... Вероятно, будет вполне достаточно, если одна страна — ну, скажем, Германия — заплатит своей кровью за установление нового порядка, а весь остальной мир, увлеченный этим примером, сможет измениться путем медленной эволюции...

— Ничего не имею против переворота, если он произойдет в Германии! — насмешливо заявил Антуан.— Но,— продолжал он серьезно,— я хотел бы посмотреть на вас всех, когда дело коснется созидания вашего нового мира. Ибо, как бы вы там ни старались, вам придется перестраивать его на старых основах. А главная основа не изменится: это человеческая природа!

Жак внезапно побледнел. Он отвернулся, чтобы скрыть свое смущение.

Антуан нечаянно коснулся безжалостной рукой самой глубокой раны в душе Жака — раны сокровенной, неизлечимой... Вера в человека грядущего дня, в которой было оправдание революции и стимул всякого революционного порыва,— эта вера, увы, появлялась у Жака лишь периодически, вспышками, под влиянием минуты; он никогда не смог проникнуться ею по-настоящему. Его

жалость к людям была безгранична; он всем сердцем любил человечество; но, как ни старался переубедить себя, повторяя с пылкой убежденностью заученные формулы, он не мог не относиться скептически к нравственным возможностям человека. И в глубинах своей души таил трагическое сомнение: он не верил, не мог по-настоящему верить в непреложность догмата о духовном прогрессе человечества. Исправить, перестроить, улучшить положение человека путем радикального изменения существующих общественных установлений, путем построения новой системы — это возможно! Но надеяться на то, что новый социальный строй обновит также и *самого человека,* автоматически создав более совершенный образец человеческой личности,— этого он никак не мог. И каждый раз, когда он осознавал глубоко укоренившееся в нем тяжкое сомнение в основном вопросе, он испытывал острое чувство угрызений совести, стыда и отчаяния.

— Я не строю себе особых иллюзий насчет способности человеческой природы к совершенствованию,— признался он слегка изменившимся голосом.— Но я утверждаю, что современный человек представляет собой изуродованное, униженное господствующим социальным строем существо. Угнетая трудящегося, господствующий строй духовно обедняет его, унижает, отдает его во власть самых низких инстинктов, душит естественное стремление возвыситься. Я не отрицаю, что и дурные инстинкты заложены в человеке со дня рождения. Но я думаю,— мне хочется думать,— что эти инстинкты не единственные. Я думаю, что экономический строй нашей цивилизации не дает развиваться хорошим инстинктам настолько, чтобы они заглушили собой дурные, и что мы имеем право надеяться на то, что человек станет иным, когда все, что в нем заложено лучшего, будет иметь возможность свободно расцветать...

Леон приоткрыл дверь. Он подождал, пока Жак кончит свою фразу, и объявил равнодушным тоном:

— Кофе подан в кабинет.

Антуан обернулся.

— Нет, принесите его сюда... И будьте добры зажечь свет... Только верхний...

Электричество вспыхнуло. Белизны потолка оказалось вполне достаточно для того, чтобы по комнате разлился мягкий, приятный для глаз свет.

«Ну вот,— подумал Антуан, далекий от мысли, что на этой почве они с братом могли бы почти что сговориться,— здесь мы касаемся центрального пункта... Для этих наивных людей несовершенство человеческой природы — лишь результат недостатков общества: потому естественно, что они все свои безумные надежды

строят на революции. Если бы только они видели вещи такими, каковы они есть... если бы только они захотели понять раз и навсегда, что человек — грязное животное и что тут уж ничего не поделаешь... Всякий социальный строй неизбежно отражает все самое худшее, что только есть в природе человека... В таком случае — зачем же подвергаться риску всеобщего переворота?»

— Невероятная путаница, существующая в современном обществе, не только материального порядка...— начал было Жак глухо.

Появление Леона с подносом, на котором помещался кофейный прибор, прервало Жака на полуслове.

— Два куска сахара? — спросил Антуан.

— Только один. Благодарю.

Наступило минутное молчание.

— Все это... Все это...— пробурчал Антуан, улыбаясь,— скажу тебе откровенно, мой милый, все это — у-то-пии!..

Жак смерил его взглядом. «Он только что сказал «мой милый», совсем как отец»,— подумал он. Чувствуя, что в нем закипает гнев, он дал ему выход, потому что это избавляло его от тягостного напряжения.

— Утопии? — вскричал он.— Ты как будто не желаешь считаться с тем, что существуют тысячи серьезнейших умов, для которых эти «утопии» служат программой действий, умело продуманной, точно разработанной, и они только ждут удобного случая, чтобы применить ее на деле!.. (Он вспоминал Женеву, Мейнестреля, русских социалистов, Жореса.) Быть может, мы с тобой еще оба проживем достаточно долго, чтобы увидеть в одном из уголков земного шара непреложное осуществление этих утопий! И присутствовать при зарождении нового общества!

— Человек всегда останется человеком,— проворчал Антуан.— Всегда будут сильные и слабые... Только это будут другие люди, вот и все. Сильные в основу своей власти положат иные учреждения, иной кодекс, чем наш... Они создадут новый класс сильных, новый тип эксплуататоров... Таков закон... А тем временем что станется со всем тем, что еще есть хорошего в нашей цивилизации?

— Да...— заметил Жак, как бы разговаривая сам с собой, с оттенком глубокой грусти, поразившей его брата.— Таким людям, как вы, можно ответить только огромным, чудесным экспериментом... До тех пор ваша позиция крайне удобна! Это позиция всех, кто чувствует себя прекрасно устроенным в современном обществе и кто хочет во что бы то ни стало сохранить существующий порядок вещей!

Антуан резким движением поставил свою чашку на стол.

— Но ведь я вполне готов признать другой порядок вещей! — воскликнул он с живостью, которую Жак не мог не отметить с удовольствием.

«Это уже кое-что,— подумал он,— если убеждения остаются независимыми от образа жизни...»

— Ты не представляешь себе,— продолжал Антуан,— насколько я чувствую себя независимым, будучи вне каких-либо социальных условностей! Я едва ли настоящий гражданин!.. У меня есть мое ремесло: это единственное, чем я дорожу. Что касается всего остального — пожалуйста, организуйте мир, как вам угодно, вокруг моей приемной! Если вы находите возможным устроить общество, где не будет ни нищеты, ни расточительства, ни глупости, ни низких инстинктов, общество без несправедливостей, без продажности, без привилегированного класса, где основным правилом не будет закон джунглей — всеобщее взаимопожирание,— тогда смелей, вперед!.. И поторопитесь!.. Я ничуть не отстаиваю капитализм! Он существует; я застал его при моем появлении на свет, я живу при нем вот уж тридцать лет; я привык к нему и принимаю его как должное и даже, когда могу, стараюсь использовать его... Однако я вполне могу обойтись и без него! И если вы действительно нашли что-нибудь лучше,— слава тебе господи!.. Я лично не требую ничего, кроме возможности делать то, к чему я призван. Я готов принять все, что угодно, лишь бы вы не заставляли меня отказываться от задачи моей жизни... Тем не менее,— добавил он весело,— как бы ни был совершенен ваш новый строй, даже если вам удастся сделать всеобщим законом идею братства, сильно сомневаюсь, чтобы вам удалось сделать то же самое в отношении здоровья: всегда останутся больные, а следовательно, и врачи; значит, ничего, по существу, не изменится в характере моих отношений с людьми... Лишь бы,— добавил он, подмигнув,— ты оставил в своем социалистическом обществе некоторую...

В передней раздался резкий звонок.

Антуан в недоумении прислушался.

Затем продолжал:

— ...некоторую свободу... Да, да! Условие *sine que non:*[1] некоторую профессиональную свободу... Я подразумеваю: свободу мыслей и свободу действий,— со всем риском, конечно, и со всей ответственностью, которую это за собой влечет...

Он умолк и снова прислушался.

Слышно было, как Леон отворил дверь на лестницу; потом донесся женский голос.

---

[1] Необходимое *(лат.)*.

Антуан, опершись рукой о стол, готовый встать при первой надобности, уже принял профессиональную осанку.

Леон появился в дверях.

Он не успел еще и слова сказать, как в комнату быстро вошла молодая женщина.

Жак вздрогнул. Лицо его внезапно покрылось мертвенной бледностью: он узнал Женни де Фонтанен.

XVIII

Женни не узнала Жака. Вероятно, она даже не взглянула на него, не заметила. Она направилась прямо к Антуану; в лице ее была какая-то судорожная напряженность.

— Пойдемте скорей!.. Папа ранен...

— Ранен? — переспросил Антуан.— Опасно? Куда?

Женни подняла руку к виску.

Ее растерянный вид, ее жест, некоторые подробности из жизни Жерома де Фонтанена, известные Антуану, заставили его сразу же предположить драму. Попытка к убийству? К самоубийству?

— Где он?

— В гостинице... У меня есть адрес... Мама там, она вас ждет... Пойдемте!..

— Леон! — крикнул Антуан.— Велите Виктору... Скорей машину!..— Он обернулся к молодой девушке: — Вы говорите — в гостинице! Но почему же?.. Когда он был ранен?

Женни не отвечала. Она только что обратила внимание на присутствие третьего лица... Жак!

Он потупил глаза. Он почувствовал взгляд Женни, как ожог на своем лице.

Они не встречались со времени памятного лета в Мезон-Лаффите,— целых четыре года!

— Сейчас! Я только захвачу инструменты! — крикнул Антуан на ходу, исчезая за дверью.

Как только Женни оказалась одна лицом к лицу с Жаком, она стала дрожать мелкой дрожью. Она упорно смотрела на ковер. Уголки ее губ незаметно подергивались. Жак затаил дыхание, весь во власти такого волнения, какого он даже и представить себе не мог за минуту до того. Оба одновременно подняли глаза. Их взгляды встретились: в них отражалось одинаковое недоумение, одинаковая тревога. В глазах Женни мелькнуло выражение ужаса, и она поспешила опустить веки.

Машинально Жак подошел ближе.

— Сядьте, по крайней мере...— пробормотал он, подставляя ей стул.

Женни не двинулась с места. Она стояла выпрямившись в лучах света, падавшего с потолка. Тень от ресниц дрожала на ее щеках. На ней был строгий английский костюм, плотно облегавший ее фигуру и делавший ее выше и тоньше.

Быстро вошел Антуан. Он был в визитке и в шляпе. За ним Леон нес две сумки с инструментами, которые Антуан раскрыл на столе, сдвинув приборы.

— Объясните же, в чем дело... Автомобиль сейчас подадут... Как так ранен? Чем? Леон, живо, принесите мне коробку с компрессами...

Разговаривая таким образом, он вынул из одной сумки пинцет и две склянки и переложил их в другую. Он торопился, но все движения его были точны и рассчитаны.

— Мы ничего не знаем...— пролепетала Женни, бросившаяся к Антуану, как только он вернулся.— Пуля из револьвера.

— Вот оно что!..— заметил Антуан, не поворачивая головы.

— Мы даже не знали, что он в Париже... Мама думала, что он все еще в Вене...— Голос у нее был глухой, взволнованный, но твердый. В своем смятении она все же была полна энергии и мужества.— Нам дали знать из гостиницы, где он находится... Полчаса тому назад... Мы взяли первую попавшуюся машину... Мама высадила меня здесь, проезжая мимо; она не хотела ждать, боялась, что...

Женни не докончила фразы. Вошел Леон с никелированной коробкой в руках.

— Так,— сказал Антуан.— А теперь пошли! Где эта гостиница?

— Фридландская улица, двадцать семь-бис.

— Ты поедешь с нами! — произнес Антуан, обращаясь к Жаку. Тон был скорее повелительный, чем вопросительный. Антуан добавил: — Ты можешь нам быть полезен.

Жак, ничего не отвечая, смотрел на Женни. Она глазом не моргнула, но ему почудилось, что она не возражает против его присутствия.

— Проходите вперед,— сказал Антуан.

Автомобиль еще не был выведен из гаража. Фары бросали во двор ослепительные лучи света. Пока Виктор поспешно закрывал капот, Антуан помог Женни усесться в машину.

— Я сяду впереди,— заявил Жак, забираясь на переднее место.

До площади Согласия доехали очень быстро. Но на Елисейских полях оживленное движение заставило шофера уменьшить скорость.

Антуан, сидевший в глубине рядом с Женни, уважая молчание девушки, не нарушал его. Он без ложного стыда смаковал настоящую минуту — хорошо знакомую ему минуту ожидания, напряжения всей энергии перед тем, что будет после, когда придется проявлять инициативу, нести ответственность. Рассеянным взглядом он смотрел в окно.

Женни отодвинулась в самый дальний угол, избегая малейшего прикосновения к соседу, и тщетно пыталась удержать бившую ее дрожь: она вся с ног до головы трепетала, как задетая струна.

С того момента, как незнакомый лакей из гостиницы, впущенный в дом не без некоторых опасений, объявил зычным голосом, что «господин из девятого номера пустил себе пулю в лоб», до самого приезда на Университетскую улицу, по дороге, в такси, где они с матерью, без слов, без единой слезинки, сидели, судорожно схватившись за руки, все мысли Женни были поглощены раненым. Но, внезапно увидев Жака,— а ее это словно громом поразило,— она забыла думать об отце... Прямо перед ней была эта сильная, широкая спина, на которую она старалась не смотреть,— но все равно он был здесь, и его неоспоримое присутствие словно парализовало все ее силы!.. Стиснув зубы, она прижимала к себе левый локоть, чтобы заглушить биение сердца, и упрямо смотрела под ноги. В эту минуту она была совершенно неспособна разобраться в своих чувствах. Но она отдавалась им, снова в одно мгновение с бешеной силой захваченная драмой всей своей жизни, драмой, от которой она чуть не умерла и от которой считала себя навсегда избавленной.

Резкое торможение заставило ее поднять голову. Автомобиль внезапно остановился на площади, чтобы пропустить военизированную манифестацию.

— Как раз когда спешишь...— проворчал Антуан, обращаясь к Женни.

Батальон молодых людей сомкнутыми рядами, размахивая лампионами, двигался размеренным шагом вслед за оркестром и распевал во всю глотку воинственный марш. Справа и слева, сдерживаемая блюстителями порядка, густая толпа приветствовала горланов и снимала шапки при проходе знамени.

Шофер, убедившись в том, что Жак не снял шляпы, также не дотронулся до своего кепи.

— Конечно,— рискнул он заметить,— в этих кварталах только им и разгуливать.— И, ободренный пренебрежительным жестом

Жака, добавил: — У нас, в Бельвиле, им пришлось отказаться от этого балагана!.. Каждый раз кончалось побоищем...

К счастью, шествие, направлявшееся к площади Согласия, повернуло налево, освободив проезд по улице Д'Антен.

Несколько минут спустя автомобиль уже мчался вверх по склонам предместья и въезжал на Фридландскую улицу.

Антуан заранее открыл дверцу. Не успела машина остановиться, как он выскочил. Женни с трудом оторвалась от сиденья: избегая поданной ей Антуаном руки, она сама сошла на тротуар. Какую-то секунду, ослепленная яркой полосой света, падавшего из дверей гостиницы на мостовую, Женни чувствовала, что не в силах двинуться с места; у нее так кружилась голова, что она едва не упала.

— Идите за мной,— сказал Антуан, слегка дотронувшись до ее плеча.— Я пройду вперед.

Она выпрямилась и бросилась за ним. «Где он?» — думала она, не рискуя обернуться. (Даже здесь, даже в эту минуту она думала не об отце.)

Отель «Вестминстер» был пансионом для иностранцев, каких много в районе площади Звезды. Небольшой холл был ярко освещен. В глубине, за стеклянной перегородкой на галерее была устроена гостиная, где группы людей, усевшись за столиками, играли в карты и курили под звуки рояля, спрятанного среди зеленых растений.

При первых словах Антуана портье сделал знак дородной особе, затянутой в черное атласное платье, которая тотчас же вышла из-за кассы и, ни слова не говоря, с крайне нелюбезным видом проводила их до лифта. Дверца захлопнулась. Тут только Женни с огромным облегчением заметила, что Жак не поднимается с ними.

Не успев опомниться, она очутилась на площадке одного из этажей, прямо перед своей матерью.

Лицо г-жи де Фонтанен было искажено и в то же время словно застыло. Женни прежде всего заметила, что шляпа у нее совсем съехала набок; этот необычный беспорядок туалета взволновал ее больше, чем скорбный взгляд матери.

Госпожа де Фонтанен держала в руках распечатанный конверт. Она схватила Антуана под руку.

— Он здесь... Идемте...— проговорила она, быстро увлекая его по коридору.— Полиция только что ушла... Он жив... Надо его спасти... Здешний врач говорит, что его нельзя двигать с места.— Г-жа де Фонтанен обернулась к Женни; ей хотелось избавить

дочь от мучительного свидания с раненым отцом.— Подожди нас здесь, милая.

И протянула ей конверт, который держала в руке. Это было письмо, найденное на полу, около револьвера: указанный на нем адрес дал возможность сейчас же броситься на улицу Обсерватории.

Женни, оставшись одна на площадке лестницы, пыталась при слабом свете лампочки под потолком разобрать нацарапанную отцом записку. Ее имя — «Женни»,— бросилось ей в глаза в последних строках:

. . . . . .

«Пусть простит меня моя Женни. Я никогда не умел выказать ей всю мою нежность».

. . . . . .

Руки ее дрожали. Чтобы справиться с нервным ознобом, сотрясавшим ее тело до кончиков пальцев, Женни тщетно пыталась напрячь все мускулы; и силилась как могла прочитать все, с начала до конца.

. . . . . .

«Тереза! Не судите меня слишком строго. Если бы Вы знали, как я страдал, прежде чем дошел до этого! Как мне Вас жаль! Друг мой, сколько я причинил Вам горя! Вам — такой благородной, такой доброй! Мне стыдно, за добро я всегда платил Вам только злом. А между тем я любил Вас, друг мой. Если бы Вы знали! Я люблю Вас, я всегда любил только Вас...»

. . . . . .

Слова прыгали перед глазами Женни, но глаза оставались сухими, пылающими, и она ежеминутно отрывала их от письма, чтобы метнуть беспокойный взгляд в сторону лифта,— она не могла думать ни о чем, кроме того, что Жак находится поблизости. Страх перед его появлением был так велик, что она не могла сосредоточиться на трагических строках записки, нацарапанных карандашом поперек страницы, в которых ее отец в роковую минуту, прежде чем сделать решительное движение, оставил след своей последней мысли о ней: «Пусть простит меня моя Женни...»

Она искала взглядом какой-нибудь уголок, где можно было бы спрятаться, какое-нибудь убежище. Ничего нет... Там, в углу, диванчик... Шатаясь, она добралась до него и села. Она не пыталась понять, что она чувствует. Она была слишком утомлена. Ей хотелось умереть здесь, сию минуту, чтобы разом покончить со всем, избавиться от самой себя.

Но она не владела своими мыслями. Прошлое воскресало

в памяти, и яркие картины проходили перед ее глазами, как фильм, прокручиваемый со сказочной быстротой... Непонятное начиналось для нее с конца того лета 1910 года, проведенного в Мезон-Лаффите. В то время, когда Жак, по всей видимости, с каждым днем все больше влюблялся, все более настойчиво стремился покорить ее; в то время, когда она сама с каждым днем все больше пугалась своего возрастающего смятения и своего желания уступить ему,— внезапно, без всякого предупреждения, ни строчки не написав ей, ничем не объяснив оскорбления, наносимого ей такой переменой, Жак перестал бывать у них... А потом однажды вечером Антуан вызвал Даниэля к телефону: Жак исчез!.. С этой минуты начались ее терзания. Что послужило причиной бегства или, может быть, хуже того — самоубийства? Какую тайну этот необузданный юноша унес с собой?.. Изо дня в день в течение всего октября этого памятного 1910 года, полная тревоги, она следила за бесплодными поисками Антуана и Даниэля, пытавшихся напасть на след беглеца, и никто вокруг нее, даже мать, не подозревал о ее страданиях... Так продолжалось многие месяцы... В полном молчании и душевном смятении, не имея даже поддержки в настоящем религиозном чувстве, она билась одна в этой тяжелой атмосфере неразгаданной загадки. Упорно скрывала она не только свое отчаяние, но и физическое недомогание, вызванное потрясением всего организма после такого удара... Наконец после года с лишним молчаливой борьбы, после того как силы то восстанавливались, то снова падали, наступило душевное успокоение. Теперь оставалось только позаботиться о теле. Доктора отправили ее на целое лето в горы, а с наступлением первых холодов — на юг... Именно в Провансе прошлой осенью она узнала из письма Даниэля к матери, что Жак отыскался, что он живет в Швейцарии, что он приезжал в Париж на похороны г-на Тибо. В течение нескольких недель после этого она находилась в глубоком смятении, но потом оно само собой улеглось, и, вопреки всему, так быстро, что она действительно поверила в свое выздоровление: между нею и Жаком все кончено, не осталось ничего... Так она думала. А сегодня вечером, в самый драматический час ее жизни, он вдруг снова предстал перед ней со своими бегающими зрачками, со своим недобрым лицом!

Она продолжала сидеть, нагнувшись вперед, не спуская испуганного взгляда с пролета лестницы. Мысли ее неслись галопом. Что ждет ее впереди? Случайная встреча, внезапное столкновение скрестившихся взглядов — достаточно ли этого, чтобы всколыхнуть весь осадок прошлого, чтобы в один миг уничтожить физическое и моральное равновесие, с таким трудом достигнутое ею в течение нескольких лет?

По знаку Антуана Жак остался внизу, в холле.

Особа в черном атласном платье снова заняла свое место за кассой и время от времени бросала на Жака недружелюбные взгляды поверх своего пенсне. Скрытый в глубине оркестр, состоявший из рояля и визгливой скрипки, старательно наигрывал танго для одной-единственной пары танцующих, мелькавшей за стеклянной перегородкой. В столовой кончала обедать запоздалая публика. Из буфетной доносился звон посуды. Лакеи сновали взад и вперед с подносами в руках. Проходя мимо кассирши, они объявляли негромким голосом: «Одну бутылку «Эвиана» в третий номер», «Счет десятому номеру», «Два кофе в двадцать седьмой».

Горничная сбежала с лестницы. Кончиком своего пера особа в черном платье указала ей на Жака.

Горничная подала ему записку от Антуана:

«Телефонируй доктору Эке, пусть срочно приезжает в Пасси. 09—13».

Жак попросил провести его к телефонной будке. В трубку он услышал голос Николь, но не назвал себя.

Эке был дома. Он подошел к телефону.

— Выезжаю. Через десять минут буду на месте.

Кассирша ждала около дверцы телефонной будки. Все, что имело отношение к «этому дураку из девятого номера», казалось ей подозрительным: даже больной обычно является нежелательным постояльцем в гостинице, а что же говорить о самоубийце?

— Понимаете, подобные дела в таком почтенном заведении, как наше... Мы не можем... категорически не можем... Необходимо немедленно...

В эту минуту на лестнице появился Антуан. Он был один и без шляпы. Жак бросился к нему.

— Ну что?

— Он без сознания... Ты звонил по телефону?

— Эке сейчас приедет.

Особа в черном платье решительно набросилась на них:

— Вы, может быть, домашний врач этой семьи?

— Да.

— Мы ни в коем случае не можем держать его здесь, понимаете?.. В такой гостинице, как наша... Необходимо перевезти его в больницу...

Антуан, не обращая больше на кассиршу никакого внимания, увлек брата в другой конец холла.

— Что случилось? — расспрашивал Жак.— Почему он решил покончить с собой?

— Понятия не имею.

— Он жил здесь один?

— Кажется.

— Ты сейчас поднимешься обратно?

— Нет. Подожду Эке, чтобы переговорить с ним... Давай сядем.— Но, едва усевшись, Антуан снова вскочил.— Где телефон? — Он внезапно вспомнил об Анне.— Следи за входной дверью. Я сейчас вернусь.

Анна лежала на диване в темноте, с открытыми окнами и спущенными шторами. Услышав телефонный звонок, она инстинктивно почувствовала, что Антуан не придет. Она слушала его объяснения, но они как-то не доходили до ее сознания.

— Вы меня поняли? — спросил он, удивленный ее молчанием.

Она не в состоянии была ответить. Спазма сжимала ей горло, душила ее. Сделав над собой усилие, она прошептала:

— Не может быть, Тони!

Голос был такой глухой, такой изменившийся, что Антуан невольно сдержался на минуту, прежде чем дать волю раздражению.

— Что не может быть? Раз я вам говорю... Он без сознания! Я жду хирурга!

Пальцы Анны судорожно сжимали телефонную трубку, и она боялась вымолвить слово, чтобы не разрыдаться.

Антуан терпеливо ждал.

— Где ты находишься? — наконец спросила она.

— В гостинице... Недалеко от площади Звезды.

Она повторила, как слабое эхо:

— Площадь Звезды?..— После бесконечно долгих колебаний она наконец вымолвила: — Но ведь это совсем рядом... Ты совсем близко от меня, Тони!..

Он усмехнулся:

— Да, недалеко...

Она уловила улыбку в тоне его голоса, и надежды ее сразу ожили.

— Я знаю, о чем ты думаешь,— сказал Антуан, продолжая улыбаться.— Но повторяю, мне придется провести здесь всю ночь... Лучше бы тебе спокойно вернуться домой.

— Нет,— крикнула она быстро и глухо.— Нет, я не тронусь с места! — И после минутного колебания прошептала: — Я буду ждать тебя...

Она откинулась назад, отстранила трубку от лица и глубоко вздохнула. Издали аппарат прохрипел ей в ответ:

— ...если мне удастся вырваться... но не слишком на это рассчитывай... До свиданья, милая...

Она живо приблизила телефон к уху. Но Антуан уже повесил трубку.

Тогда она снова растянулась на диване и лежала так, неподвижно, вся напряженная, вытянув ноги, уставившись в одну точку и все еще прижимая к щеке телефонную трубку.

— Госпожа де Фонтанен действительно замечательная женщина,— сказал Антуан задумчиво, усаживаясь рядом с Жаком после телефонного разговора. Он помолчал, затем заговорил снова: — Ты не виделся с Женни... с тех пор? — Он живо вспомнил исчезновение брата, появление «Сестренки» и все, что в свое время удалось разузнать из этой смутной истории.

Жак, нахмурившись, отрицательно покачал головой.

В эту минуту у подъезда гостиницы остановился автомобиль. На нижних ступеньках лестницы показалась фигура Эке. За ним шла его жена. Николь так никогда и не могла простить дяде Жерому: она считала его виновником дурного поведения своей матери, и теперешняя скандальная история казалась ей справедливой божьей карой. Но в этот час тяжкого испытания она не хотела покидать свою тетку Терезу и Женни.

Эке на минуту задержался на пороге. Острым взглядом из-за пенсне он быстро оглядел вестибюль. Увидел Антуана, шедшего к нему навстречу. Но не узнал Жака, который умышленно оставался в тени.

Антуан не встречался с Николь с того самого вечера, накануне смерти ее дочурки. (Он знал, что вскоре после этого Николь родила мертвого ребенка, что роды были очень тяжелые и навсегда искалечили ее тело и душу.) Она похудела; юношеское, доверчивое выражение лица совершенно исчезло. Она протянула Антуану руку. Взгляды их встретились, и черты Николь слегка передернулись: образ Антуана был для нее неразрывно связан с самыми мучительными воспоминаниями, и вот сейчас ей опять пришлось встретиться с ним в трагической атмосфере новой драмы...

Антуан, что-то нашептывая хирургу на ухо, проводил его с женой до лифта. Прежде чем все они исчезли в застекленной кабинке, Жак издали увидел, как его брат прижал палец к виску, у самых корней волос.

Особа в черном платье выскочила из-за своей конторки.

— Это родственник?

— Нет, хирург.

— Надеюсь, они не вздумают оперировать его здесь!

Жак повернулся к ней спиной.

Музыка кончилась. В столовой потушили свет. Автобус привез с вокзала молодую молчаливую парочку: это были, по-видимому, англичане; их прекрасные чемоданы сверкали новизной.

Прошло не более десяти минут, как вдруг снова появилась горничная и передала Жаку вторую записку от Антуана:

«Телефонируй в клинику Бодран, Нейи, 54—03, от имени Эке. Пусть немедленно пришлют карету скорой помощи для лежачего больного и готовят операционную».

Жак сейчас же позвонил.

Выходя из телефонной будки, он наткнулся на кассиршу, стоявшую за дверью. С видимым облегчением она любезно улыбнулась ему.

Жак заметил Антуана и Эке, шедших к выходу через холл. Хирург направился к автомобилю и уехал один.

Антуан вернулся к Жаку.

— Эке хочет попытаться извлечь пулю еще до утра. Это единственный шанс...

Жак вопросительно взглянул на брата. Антуан поморщился.

— Черепная коробка глубоко продавлена. Будет чудо, если он выкарабкается из этой истории... Теперь вот что,— продолжал Антуан, направляясь к письменному столу у входа в галерею.— Госпожа де Фонтанен просит известить Даниэля, он в Люневиле. Тебе нужно будет отнести депешу в какое-нибудь почтовое отделение, открытое ночью, например, возле Биржи.

— Дадут ли ему отпуск? — усомнился Жак.

«При создавшемся положении,— думал он,— да еще из пограничного гарнизона!»

— Конечно... А почему бы нет? — возразил Антуан, не понимая.

Он уже сел за стол и начал составлять текст телеграммы. Но передумал и скомкал исписанный лист.

— Нет... Лучше обратиться прямо к полковнику. Это будет вернее.— Он взял другой лист и начал писать, бормоча: «Прошу вас... настоятельно... срочно разрешить... отпуск... сержанту Фонтанену... отец которого...» Кончив, он встал.

Жак послушно взял от него телеграмму.

— Встретимся в клинике? Где она находится?

— Если хочешь... бульвар Бино, четырнадцать... Но стоит ли? — добавил он, подумав.— Не лучше ли тебе ехать домой, старина, и хорошенько выспаться... (Он чуть было не прибавил: «Где ты остановился? Не хочешь ли перебраться ко мне на Университетскую улицу?» — но воздержался.) Позвони мне по телефону

завтра утром до восьми часов; я сообщу тебе обо всем, что случилось за ночь.

Жак уже направился к выходу, когда Антуан снова окликнул его:

— Тебе следовало бы дать телеграмму и самому Даниэлю тоже и указать ему адрес клиники.

XIX

Когда Жак вышел из почтового отделения у Биржи, время близилось к полуночи.

Мысли его были заняты Даниэлем; он представлял себе своего друга распечатывающим телеграмму, которую он только что отправил, подписав: «Доктор Тибо». Жак в нерешительности остановился посреди тротуара, устремив невидящий взгляд на ярко освещенную пустую площадь. Все тело его слегка поламывало, как перед началом болезни; у него кружилась голова. «Что это со мной?» — подумал он.

Он заставил себя подтянуться, выпрямился и перешел улицу. Воздух уже не был так неподвижен, но ночь оставалась теплой. Жак побрел вперед без определенной цели. «Что со мной? — вторично задал он себе вопрос.— Женни?» Образ девушки, бледной и тоненькой в своем строгом синем костюме — такой, какой он внезапно увидел ее после стольких лет разлуки,— вновь предстал перед ним. Всего лишь на одно мгновение. Он тотчас же без особого усилия отогнал его прочь.

По улице Вивьен Жак дошел до бульвара Пуассоньер и тут остановился. Бульвары, в этот воскресный летний вечер остававшиеся почти пустынными, начинали теперь понемногу оживляться, но всего лишь на какой-нибудь час: публика покидала театральные залы и заполняла террасы кафе. Открытые такси вихрем неслись к Опере. Поток толпы двигался по тротуарам в сторону западных районов. Девицы легкого поведения, кокетливо-задорные под своими большими шляпами с цветами, направлялись против течения к воротам Сен-Мартен, откровенно заглядывая в лицо одиноким мужчинам.

Прислонившись к ларьку на углу улицы, Жак наблюдал, как мимо него вереницей проходили все эти ослепленные люди. Заблуждение, в котором находился Антуан, несомненно, было всеобщим. Был ли среди этих радостно настроенных прохожих хоть один человек, догадывавшийся, что Европа уже попалась в ловушку? Никогда еще Жак не постигал с такой остротой, что судьба миллионов беспечных людей находится в руках нескольких чело-

век, выбранных, можно сказать, случайно, людей, которым народы по глупости вверяют заботу о своей безопасности.

Газетчик, шлепая старыми башмаками, кричал не слишком уверенно:

— Второй выпуск... «Либерте»... «Пресса»...

Жак купил газеты, просмотрел их при свете фонаря: «Процесс Кайо... Поездка г-на Пуанкаре... По Сене вплавь через весь Париж... Соединенные Штаты и Мексика... Драма на почве ревности... Велосипедные гонки вокруг Франции... Игра в мяч на Большой приз в Тюильри... Финансовый бюллетень...» Больше ничего.

Снова возникла мысль о Женни. И внезапно Жак решил ускорить свой отъезд на два дня. «Завтра же уеду в Женеву». Решив это, он неожиданно почувствовал, что ему стало легче.

«А что, если зайти в «Юма»? — подумал он и почти весело направился на улицу Круассан.

В квартале, где в этот поздний час изготовлялось большинство утренних газет, кипела жизнь. Жак проник в этот муравейник. Ярко освещенные бары и кафе были переполнены. Царивший в них шум через открытые окна и двери доносился на улицу.

Перед редакцией «Юманите» небольшое сборище людей загораживало вход. Жак обменялся рукопожатиями. Здесь уже комментировалось сообщение, которое Ларге только что передал патрону: по слухам, во Французский банк был на днях сделан чрезвычайный вклад в четыре миллиарда золотом (это называлось «военным резервом»).

Вскоре группа разбрелась в разные стороны. Кто-то предложил закончить вечер в кафе «Прогресс», находившемся всего в нескольких шагах на улице Сантье; там социалисты, жаждущие новостей, всегда могли рассчитывать на встречу с редакторами газет. (Те, кто не посещал «Прогресс», отправились в «Круассан» на улицу Монмартр или в «Кружку пива» на улицу Фейдо).

Жака пригласили выпить пива в кафе «Прогресс». Он уже бывал в этих местах, где обычно собирались, и всегда встречал там друзей. Было известно, что он приехал из Швейцарии с поручением. К нему относились с почтительным вниманием; старались осведомлять его обо всем, чтобы облегчить ему задачу; однако, несмотря на доверие и товарищеское отношение к нему, многие из этих активных работников партии, вышедшие из рабочего класса, считали Жака «интеллигентом» и «сочувствующим», который, по существу, не был «своим».

В «Прогрессе» они расположились на антресолях в довольно обширном зале с низким потолком, куда управляющий кафе, член партии, пускал только постоянных посетителей. В этот вечер здесь

собралось человек двадцать различного возраста; они сидели за неопрятными мраморными столиками в атмосфере, насыщенной табачным дымом и кисловатым запахом пива. Обсуждалась статья Жореса, появившаяся утром, о роли Интернационала в случае войны.

Здесь присутствовали Кадье, Марк Левуар, Стефани, Берте и Рабб. Они окружали бородатого великана, белокурого и краснощекого немца — социалиста Тацлера, которого Жак встречал в Берлине. Тацлер утверждал, что эта статья будет перепечатана и прокомментирована всей германской прессой. По его мнению, речь, произнесенная недавно Жоресом в палате, чтобы оправдать отказ французских социалистов голосовать за кредиты на поездку президента в Россию, речь, в которой Жорес заявил, что Франция не позволит «вовлечь себя в авантюру», получила широкую огласку по ту сторону Рейна.

— Во Франции тоже,— сказал Рабб, бывший типографский рабочий, бородатый, с причудливо-шишковатым черепом.— Именно эта речь побудила Сенскую федерацию голосовать за предложение о всеобщей забастовке в случае угрозы войны.

— А как ваши немецкие рабочие? — спросил Кадье.— Будут ли они готовы, достаточно ли они дисциплинированны, чтобы провести забастовку без рассуждений, если ваша социал-демократическая партия в принципе на нее согласится... и отдаст распоряжение осуществить ее при угрозе мобилизации?

— Могу задать тебе тот же самый вопрос,— возразил Тацлер, смеясь своим искренним, простодушным смехом.— Будет ли рабочий класс у вас, во Франции, достаточно дисциплинирован, чтобы в день мобилизации...

— Я думаю, что это будет в значительной мере зависеть от поведения немецкого пролетариата,— заметил Жак.

— А я отвечу: да! Без малейшего сомнения,— оборвал его Кадье.

— Неизвестно! — сказал Рабб.— Я склонен скорее сказать: нет!

Кадье пожал плечами.

(Это был длинный, худой, нескладный малый. Его можно было встретить повсюду — в секциях, в комитетах, на Бирже труда, во Всеобщей конфедерации труда, в редакциях, в приемных министерств,— всегда на бегу, всегда спешащий, неуловимый. Обычно с ним сталкивались где-нибудь в дверях, и, когда его начинали искать, он уже исчезал; он был из тех людей, которых узнают в лицо всегда слишком поздно, когда они уже прошли мимо.

— Да, нет...— заметил Тацлер, смеясь во весь рот.— Вот так же и у нас — *gerade so!*[1] А знаете что? — внезапно заявил он, делая страшные глаза.— В Германии очень обеспокоены тем, что ваш Пуанкаре посетил царя.

— Черт возьми! — буркнул Рабб.— Это был действительно не совсем удачный момент. Мы как будто хотели показать всему миру, что официально поощряем панславизм!

Жак заметил:

— Это в особенности бросается в глаза, когда читаешь наши газеты: вызывающий тон, каким во французской прессе комментируется эта поездка, поистине невыносим!

— А знаете что? — продолжал Тацлер.— Ведь именно присутствие Вивиани, министра иностранных дел, заставляет думать, что в Петербурге происходит дипломатический сговор против *германизма*... У нас прекрасно известно, что Россия заставила Францию издать закон о трехлетнем сроке военной службы. С какой целью? Панславизм все больше и больше угрожает Германии и Австрии!

— А между тем дела в России обстоят неважно,— сказал Миланов, который только что вошел и сел рядом с Жаком.— Здешние газеты почти ничего об этом не пишут. А вот Праздновский, только что приехавший оттуда, привез интересные сведения. На Путиловском заводе началась забастовка и оттуда быстро распространяется по стране. Третьего дня, в пятницу, было уже около шестидесяти пяти тысяч забастовщиков в одном только Петербурге! Шли уличные бои! Полиция стреляла, и было много убитых. Даже женщин и девушек!

Фигурка Женни в синем костюме мелькнула перед мысленным взором Жака и снова исчезла. Чтобы сказать что-нибудь и отогнать волнующий образ, он спросил у русского:

— Разве Праздновский здесь?

— Ну да, он приехал сегодня утром. Уже целый час сидит, запершись с патроном... Я его жду... Хочешь подождать со мной?

— Нет,— ответил Жак. И снова его охватил приступ болезненной, лихорадочной тревоги. Сидеть здесь неподвижно, в этой насквозь прокуренной комнате, пережевывая все одни и те же вопросы, стало ему вдруг невыносимо.— Уже поздно. Мне пора уходить.

Но на улице ночной мрак и одиночество показались ему еще более тяжкими, чем общество товарищей. Ускоряя шаг, он направился к своей гостинице. Он жил на углу улицы Бернардинцев и набережной Турнель, по ту сторону Сены, около площади Мобер, в меблированных комнатах, которые содержал социалист-бельгиец,

---

[1] Совершенно то же самое! *(нем.)*

старый приятель Ванхеде. Не обращая ни на что внимания, Жак пробрался сквозь ночную сутолоку Центрального рынка, затем перешел через площадь Ратуши, огромную и безмолвную. Часы на башне показывали без четверти два. Это был тот подозрительный час, когда перекрещиваются пути запоздавших мужчин и женщин, которые принюхиваются друг к другу в ночи, словно кобели и суки...

Жаку было жарко и хотелось пить. Все бары были закрыты. Понурив голову и волоча отяжелевшие ноги, он шел по набережной, стремясь скорее добраться до постели и найти забвение в сне. Где-то там Женни, должно быть, дежурила у изголовья отца. Жак старался об этом не думать.

— Завтра,— прошептал он,— в это время я уже буду далеко!

Он ощупью поднялся по лестнице, кое-как отыскал в темноте свою комнату, выпил глоток тепловатой воды из кувшина, разделся, не зажигая свечи, и, бросившись на постель, почти мгновенно заснул.

XX

Операция, сделанная в присутствии Антуана, не могла быть вполне закончена. Эке надрезал края раны, приподнял раздробленные кости, осколки которых глубоко вонзились в мозговую ткань, и даже собирался произвести трепанацию черепа. Но так как состояние больного не позволяло продолжить поиски, оба врача были вынуждены отказаться от мысли найти пулю.

Они решили предупредить об этом г-жу де Фонтанен. Однако из сострадания к ней утверждали,— что, впрочем, было не так уж далеко от истины,— что операция дала больному некоторые шансы на сохранение жизни; если положение улучшится, явится возможность вновь предпринять поиски пули и извлечь ее. (Они не признались лишь в том, насколько сомнительным казался им успех.)

Было два часа ночи, когда Эке с женой решились покинуть клинику. Г-жа де Фонтанен настояла на том, чтобы Николь вернулась домой вместе с мужем.

Жерома перенесли в палату на третьем этаже; при нем была сиделка.

Чтобы не покидать обеих женщин в одиночестве, Антуан предложил остаться с ними на ночь в больнице. Все трое расположились в маленькой приемной, смежной с палатой, где лежал Жером. Двери и окна были распахнуты настежь. Вокруг царила тревожная ночная тишина, обычная для больниц: за каждой стеной угадывалось присутствие измученного тела, которое мечется, вздыхает, отсчитывая час за часом и не получая облегчения.

Женни уселась в стороне, на диване, помещавшемся в глубине комнаты. Скрестив на коленях руки, выпрямившись и опираясь затылком на спинку дивана, она закрыла глаза и казалась спящей.

Госпожа де Фонтанен пододвинула свое кресло поближе к Антуану. Она не виделась с ним больше года. Тем не менее первой ее мыслью при известии о самоубийстве Жерома было обратиться к доктору Тибо. И он откликнулся. По первому зову он пришел сюда, верный себе, энергичный и преданный.

— Я еще не видела вас со времени печального события в вашей семье,— заговорила внезапно г-жа де Фонтанен.— Вам пришлось пережить тяжелые минуты, я знаю... Я много думала о вас. Молилась за вашего отца...— Она умолкла: ей вспомнилась ее единственная встреча с г-ном Тибо во время побега обоих мальчиков. Каким он выказал себя тогда жестоким, несправедливым!... Она прошептала: — Мир праху его!..

Антуан ничего не ответил. Наступило молчание.

Люстра, вокруг которой носились мухи, заливала безжалостно ярким светом фальшивую роскошь окружающей обстановки: золоченые завитушки стульев, зеленое растение, чахлое и разукрашенное лентами, водруженное посередине стола в голубой фаянсовой вазе, скрывавшей глиняный горшок. Изредка приглушенный звонок слабо дребезжал в конце коридора. Тогда по кафельному полу раздавались шаркающие шаги сиделки и где-то тихо отворялась и затворялась дверь; иногда издали слышался чей-то стон, звяканье фарфоровой посуды, а затем вновь наступала тишина.

Госпожа де Фонтанен, наклонившись к Антуану, прикрывала своей маленькой пухлой рукой усталые глаза, которые раздражал яркий свет.

Она принялась шепотом рассказывать Антуану о Жероме, пытаясь разъяснить, довольно бессвязно, то, что ей было известно о запутанных делах мужа. Ей не пришлось делать над собой никаких усилий, чтобы предаваться такому размышлению вслух: она всегда относилась к Антуану с полным доверием.

Антуан, также наклонившись к ней, внимательно слушал. Время от времени он поднимал голову. Тогда они обменивались понимающим, серьезным взглядом. «Как она хорошо держится»,— говорил он себе. Он отдавал должное тому спокойствию, тому достоинству, с каким она переносила свое горе, а также ее природному обаянию, которое она сохраняла наряду с мужественными чертами характера. «Наш отец был только буржуа,— размышлял Антуан,— а она настоящая патрицианка».

Он не пропустил ни одного слова из ее рассказа. И постепенно он восстановил в уме все этапы бурного жизненного пути Фонтанена, приведшего его к смерти.

Жером уже около полутора лет состоял на службе в какой-то английской компании, главное управление которой находилось в Лондоне и которая занималась эксплуатацией лесов в Венгрии. Фирма была солидная, и г-жа де Фонтанен в течение нескольких месяцев могла думать, что муж ее наконец прочно устроился. По правде говоря, она так и не могла вполне уяснить себе, каковы были обязанности Жерома. Бо́льшую часть своего времени он проводил в спальных вагонах между Веной и Лондоном, с короткими остановками в Париже. В таких случаях он заходил провести вечер на улице Обсерватории, таща за собой портфель, набитый какими-то бумагами, преисполненный важности, но вместе с тем обходительный, веселый, кокетливый, и осыпал домашних знаками внимания, оставляя всех совершенно очарованными. (Но бедная женщина не сказала, что по некоторым признакам она убедилась в том, что муж ее содержал двух дорого стоивших ему любовниц — одну в Австрии, другую в Англии.) Во всяком случае, создавалось впечатление, что он хорошо зарабатывает. Он даже намекал на то, что его положение должно еще улучшиться и что в скором времени он будет иметь возможность оказывать жене и дочери щедрую материальную поддержку. Ведь в последние годы г-жа де Фонтанен и Женни жили полностью на средства Даниэля. (Признаваясь в этом, г-жа де Фонтанен явно испытывала стыд за беспечность мужа и вместе с тем гордость за самоотверженность сына.)

Даниэль, по счастью, получал очень приличный гонорар за сотрудничество в художественном журнале Людвигсона. Обстоятельства чуть было не ухудшились, когда Даниэлю пришлось уехать в полк. Но великодушный и предусмотрительный Людвигсон, чтобы обеспечить себе возвращение сотрудника после освобождения от военной службы, обязался выплачивать за время его отсутствия уменьшенное, но регулярное месячное жалованье. Таким образом, г-жа де Фонтанен и Женни, несмотря ни на что, имели все самое необходимое. Жером все это прекрасно знал. Он даже немало говорил на эту тему. С обычной беззаботностью он принимал как должное тот факт, что содержание дома целиком падает на сына, но требовал с непринужденностью вельможи, чтобы ему отчитывались в том, сколько именно денег получено от Даниэля; и не упускал случая высказать сыну свою благодарность. Впрочем, он делал вид, что считает эту денежную помощь лишь временной ссудой, выдаваемой ему сыном, которую он возместит при первой возможности. Для окончательного расчета он — по его словам — предпочитал подождать, чтобы эта сумма «округлилась», и добросовестно подводил итог своего долга, время от времени вручая Терезе и Даниэлю отпечатанную на машинке выписку в двух экземплярах, где щедро были начислены сложные проценты... По тому

наивному и разочарованному тону, каким г-жа де Фонтанен сообщала эти подробности, было невозможно угадать, отдает ли она себе отчет в недобросовестности Жерома или нет.

В эту минуту, подняв глаза, Антуан встретил устремленный на него взгляд Женни. Взгляд этот выдавал такую напряженную внутреннюю жизнь, такое сосредоточенное и молчаливое одиночество, что Антуан, натолкнувшись на него, всегда испытывал некоторую неловкость. Он не мог забыть того далекого дня, когда он пришел к малютке Женни, чтобы расспросить ее о побеге брата, и впервые встретил этот взгляд.

Внезапно девушка вскочила с места.

— Мне душно,— сказала она матери и отерла лоб маленьким носовым платочком, скомканным у нее в руке.— Пойду в сад подышать воздухом...

Госпожа де Фонтанен одобрительно кивнула и взглядом проводила дочь до дверей. Потом снова обернулась к Антуану. Она не возражала, чтобы Женни оставила их вдвоем. Все, что до сих пор было ею сказано, никак не оправдывало внезапного покушения Жерома на самоубийство. Теперь ей надо было приступить к самой трудной и мучительной части объяснений.

Прошлой зимой Жером, завязавший некоторые деловые знакомства в Вене, «неосторожно» позволил использовать свое имя и титул,— ибо в Австрии он называл себя графом Жеромом де Фонтанен,— став председателем административного совета одного австрийского предприятия — обойной фабрики, которая просуществовала всего несколько месяцев и недавно объявила довольно неблаговидное банкротство. Шла ликвидация имущества, и австрийское правосудие искало виновных.

Кроме того, дело осложнялось иском, предъявленным администрацией выставки в Триесте, где весной этого года обойная фабрика устроила крикливый павильон, а за аренду так и не уплатила. Выяснилось, что Жером лично занимался устройством этого павильона и в июне получил даже месячный отпуск от английской компании, в которой служил, и провел его очень весело в Триесте. Обойная фирма отпускала ему в различные сроки довольно крупные суммы, а он как будто не мог представить оправдательных документов об их использовании; и следователь обвинил графа де Фонтанен в том, что он вел веселую жизнь в Триесте за счет фирмы, не уплатив за аренду павильона. Так или иначе, Жером привлекался к ответственности как председатель административного совета обанкротившегося предприятия. Его считали держателем довольно большого пакета акций, которые ему будто бы «любезно» были преподнесены в обмен на согласие занять председательское место.

Каким образом удалось г-же де Фонтанен узнать все эти подробности? До последнего месяца она ничего не подозревала. Затем она получила письмо от Жерома — запутанное и взволнованное письмо, где он умолял ее снова заложить дачу в Мезоне, которой она владела единолично (и которую она ради него уже вынуждена была частично заложить). Когда она посоветовалась со своим нотариусом, тот быстро навел справки в Австрии, и таким путем г-жа де Фонтанен узнала о судебных исках, предъявленных ее мужу.

Что могло случиться за последние дни? Какие новые события заставили Жерома решиться на этот отчаянный поступок? Г-жа де Фонтанен терялась в догадках. Ей было известно, что некоторые триестские кредиторы ежедневно обливали грязью ее мужа в местной газете. Но были ли их разоблачения на чем-нибудь основаны? Жером не мог не сознавать, что будущее его безвозвратно скомпрометировано. Даже если бы ему удалось избежать суда в Австрии, он не мог надеяться после такого скандала сохранить свое положение в английской компании... Находясь в безвыходном положении, преследуемый со всех сторон, он, видимо, не нашел другого выхода, как покончить с собой.

Госпожа де Фонтанен умолкла. Недоуменный взгляд, который она устремила в пространство, казалось, задавал безмолвный вопрос: «Все ли я сделала для него, что нужно было сделать? Решился ли бы он на этот шаг, если бы я была около него, как прежде?..» Мучительный, неразрешимый вопрос...

Она сделала над собой усилие, чтобы вернуться к действительности.

— Где Женни? — спросила она.— Боюсь, как бы она не простудилась... как бы не заснула на воздухе.

Антуан встал.

— Не беспокойтесь. Я сейчас посмотрю.

XXI

У Женни не хватило мужества сойти в сад. Ей только хотелось ускользнуть из приемной, чтобы избежать присутствия Антуана.

Держась рукой за стену, облицованную плитками, Женни сделала несколько шагов по коридору без определенной цели. Несмотря на то, что все окна были открыты настежь, атмосфера оставалась удушливой. Из операционной, помещавшейся этажом ниже, по лестнице поднимался тошнотворный запах эфира, примешиваясь к горячему потоку воздуха, струившемуся по всему дому.

Дверь в палату отца была приоткрыта. В темноте разливался слабый свет ночника, спрятанного за ширмой. Сиделка вязала чу-

лок у изголовья больного. Под простыней вырисовывались неясные очертания неподвижного тела. Руки были вытянуты на кровати. Голова низко лежала на подушке. Повязка закрывала лоб. Полуоткрытый рот казался черной дырой, откуда вырывалось глухое и прерывистое дыхание.

Женни в приотворенную дверь глядела на этот рот, слушала этот хрип, но мысли ее оставались ясными, спокойствие граничило с равнодушием и приводило в ужас ее самое. Отец умирал. Она твердо это знала, она повторяла это себе, но ей не удавалось осознать факт, выделив его из хаоса своих смутных мыслей, и рассматривать его как реальное, действительное событие, близко ее касающееся. Она чувствовала себя скованной, очерствевшей. А между тем она обожала отца, несмотря на его недостатки. Ей вспомнился другой период ее юности, когда ей пришлось дежурить у изголовья тяжелобольного отца и когда при виде его бледного, искаженного страданием лица сердце ее мучительно сжималось. Почему же сейчас она оставалась бесчувственной?.. Она принуждала себя стоять здесь, опустив руки, не в силах оторвать взгляд от кровати, безвольная и виноватая, стыдясь своей сухости, борясь с желанием отвести глаза, забыть об этом несчастье... Точно эта неуместная агония именно сегодня лишала ее последней возможности быть счастливой...

Наконец в поисках свежего воздуха Женни оторвалась от притолоки двери и подошла к окну в коридоре. Здесь стоял стул. Она села на него, скрестила руки на подоконнике и тяжело уронила на них голову.

Она ненавидит Жака! Это низкий, неверный человек. Может быть, даже безответственный в своих поступках... Сумасшедший...

Под окном, внизу, в жарком мраке дремал безмолвный сад. Женни различала темные купы ветвей, извилистую бледную линию аллей вокруг лужайки. Японское лаковое дерево отравляло воздух стойким тяжелым запахом восточного снадобья. Из-за деревьев сверкали огоньки редких фонарей на улице, по которой медленно двигались тележки зеленщиков. Бесконечная их вереница тарахтела по мостовой, как будто трещала кофейная мельница. Время от времени гудки автомобиля заглушали стук тележек и огненный метеор вихрем проносился мимо сада, а потом исчезал во мраке.

— Смотрите не засните здесь,— шепнул Антуан над ухом Женни.

Она вздрогнула и едва сдержала крик, как будто Антуан дотронулся до нее.

— Хотите, я принесу вам кресло?

Она отрицательно покачала головой, нехотя встала и пошла вслед за ним в маленькую приемную.

— Положение не ухудшается,— объяснил Антуан вполголоса на ходу.— Пульс как будто даже стал лучше. Судя по некоторым признакам коматозное состояние сейчас менее глубоко.

В приемной, ожидая их, стояла г-жа де Фонтанен. Она двинулась им навстречу.

— Мне только сейчас пришло в голову,— сказала она с живостью, обращаясь к Антуану,— надо было бы известить Джеймса... Пастора Грегори, нашего друга...

Продолжая говорить, она с рассеянной нежностью обняла Женни за плечи и привлекла дочь к себе. Их лица, охваченные несхожей печалью, касались друг друга.

Антуан кивком головы подтвердил, что прекрасно помнит пастора. У него появилось внезапное желание воспользоваться этим неожиданным предлогом, чтобы улизнуть!.. Покинуть клинику хотя бы на один час... Может быть, даже заглянуть на Ваграмскую улицу?.. Образ Анны предстал перед ним — Анны, заснувшей на кушетке в белом пеньюаре...

— Нет ничего проще! — предложил он, и его сдавленный голос невольно выдавал внезапное волнение.— Дайте мне адрес... Я съезжу!

Госпожа де Фонтанен запротестовала.

— Это слишком далеко... Около Аустерлицкого вокзала!..

— Но ведь у меня здесь автомобиль! Ночью — это одна минута... Кстати,— добавил он самым естественным тоном,— я воспользуюсь случаем и загляну домой узнать, не звонил ли ко мне вечером кто-нибудь из больных... Через час вернусь обратно.

Он был уже на полпути к дверям и едва дослушивал указания г-жи де Фонтанен и выражения ее признательности.

— Как он нам предан! Какое счастье иметь такого друга,— не в силах сдержать свои чувства, сказала г-жа де Фонтанен, как только Антуан вышел из комнаты.

— Я его терпеть не могу! — прошептала Женни после минутного молчания.

Госпожа де Фонтанен без особого удивления посмотрела на нее и ничего не ответила.

Оставив Женни в маленькой приемной, она отправилась в палату, где лежал Жером.

Хрип прекратился. Дыхание, час от часу слабевшее, бесшумно вылетало из полуоткрытых губ.

Госпожа де Фонтанен сделала знак сиделке не вставать с места и молча села в ногах кровати.

У нее не было ни малейшей надежды. Она не отрывала глаз от этой бедной забинтованной головы. Слезы текли по ее щекам, но она их не чувствовала.

«Как он красив!» — думала она, не отводя взгляда.

Под чалмой из ваты и бинтов, которая скрывала серебрившиеся пряди волос и подчеркивала восточную красоту профиля, неподвижные черты лица Жерома, мужественные, но тонкие, напоминали слепок с лица какого-нибудь юного фараона. Ибо легкая отечность тканей уничтожала все морщины и складки, и в полумраке комнаты лицо казалось чудесным образом помолодевшим. Гладкие щеки закруглялись под выступавшими скулами, незаметно переходя в твердую округлость подбородка. Повязка слегка натягивала кожу на лбу и удлиняла к вискам линии опущенных век. Губы, слегка запекшиеся от наркоза, казались чувственно припухлыми. Жером был красив, как в дни их молодости, когда рано утром, проснувшись первой, она склонялась над ним и смотрела на него спящего...

Не в силах утолить свое отчаяние и нежность, она созерцала сквозь слезы то, что еще оставалось от Жерома, что оставалось от великой, единственной любви всей ее жизни.

Жером в тридцать лет... Он стоял перед ней во всей прелести своей по-кошачьи гибкой и стройной фигуры, своей матово-бронзовой кожи, со своей обаятельной улыбкой и нежным взглядом... «Мой индийский принц»,— говорила она тогда, гордая его любовью... Ей слышался его смех, эти три раздельные нотки — «ха-ха-ха», которые он рассыпал, откинув назад голову... Его веселость, всегда хорошее настроение... Его лживая веселость! Потому что ложь была его естественной стихией — легкомысленная, беспечная, неисправимая ложь...

Жером... Все, что она познала в любви как женщина, находилось здесь, на этой постели... Она, так давно сказавшая себе, что жизнь страстей для нее уже прошла! И вот сейчас она вдруг поняла, что никогда не переставала надеяться... Только теперь, только сегодня ночью все действительно кончится навсегда.

Она закрывает лицо руками, она взывает к Духу. Тщетно. Сердце ее переполнено чисто земным волнением. Она чувствует себя покинутой богом, предоставленной нечистым сожалениям... Побежденная мысль ее стыдливо воскрешает в памяти последнее любовное свидание... в Мезоне... В той самой вилле Мезон-Лаффит, куда она привезла Жерома из Амстердама после смерти Ноэми... Однажды ночью он смиренно прокрался к ней в комнату. Он молил о прощении. Он жаждал ласки, сострадания. Он ластился к ней в темноте. И она обняла его, прижала к себе, как ребенка. Летней ночью, такой, как сейчас... Окно в сад было открыто... И потом до

самого утра, охраняя его покой и не в силах уснуть, она прижимала его к себе, баюкала, как ребенка, как своего ребенка... Летней ночью, такой же душной и теплой, как сейчас...

Резким движением г-жа де Фонтанен подняла голову. Во взгляде ее была какая-то растерянность... Дикое и безумное желание мелькнуло в уме: прогнать сиделку, улечься здесь рядом с ним, в последний раз крепко прижать его к себе, согреть собственным теплом; и если он должен уснуть навсегда,— убаюкать его в самый последний раз... Как ребенка... как своего ребенка...

Перед ней на простыне покоилась, как изваяние, нервная, такая прекрасная по очертаниям рука, и на ней темным пятном выделялся перстень с большим сардониксом. Правая рука, та рука, которая дерзнула... которая подняла оружие... «Почему меня не было около тебя?» — говорила себе Тереза в отчаянии. Может быть, он мысленно звал ее, прежде чем поднести руку к виску? Никогда бы он не сделал этого движения, если бы в ту минуту душевной слабости она была рядом с ним — на том месте, которое было предназначено ей богом на всю земную жизнь, и никакое чувство обиды не давало ей права покинуть его...

Она закрыла глаза. Прошло несколько минут. Незаметно восстановилось ее душевное равновесие. Угрызения совести отогнали прочь воспоминания и вернули ей благочестивое спокойствие. Она почувствовала, что снова вступает в общение со всемогущей силой, которое сделалось для нее постоянным, необходимым утешением. Она уже начинала иначе смотреть на это испытание, ниспосланное ей богом. В несчастье, которое обрушилось на нее и держало ее согбенной под тяжестью удара, она теперь стремилась увидеть высшую и таинственную необходимость, закон божественного провидения; и она почувствовала, что приближается наконец к земле обетованной... к блаженному Покою, даруемому отречением и покорностью судьбе,— этому пределу всякого страдания для избранников господних.

«Да будет воля твоя!» — прошептала Тереза, молитвенно сложив руки.

XXII

Автомобиль с опущенными стеклами мчался по обезлюдевшим гулким улицам города, где краткая летняя ночь уже уступала напору нового дня.

Антуан, развалился на заднем сиденье, широко расставив ноги, раскинув руки, и размышлял, с папиросой в зубах. Как с ним всегда бывало, усталость от бессонницы не угнетала его, а, напротив, привела в лихорадочно-радостное возбуждение.

— Половина четвертого,— прошептал он, взглянув на башенные часы площади Перейр.— В четыре я разбужу моего бесноватого пастора, отправлю его в клинику и буду свободен... *Тот,* конечно, может окочуриться за мое отсутствие... Но много шансов, что это протянется еще сутки...

Совесть у него была спокойна. «Мы испробовали все возможное»,— сказал он себе, возобновляя в памяти различные моменты операции. Затем, увлеченный этим воспоминанием, он представил себе приход Женни, вечер, проведенный вместе с Жаком. Но после нескольких часов врачебной работы споры с братом показались ему еще более нелепыми.

«Я же врач, у меня есть свое дело, и я его делаю. Что *им* еще нужно?»

«Они» — это был Жак, который не делал ничего, никакого дела, не считая того, что возбуждался и говорил в пустоту; это была стоявшая за спиной Жака орда революционных агитаторов, чьи мятежные призывы, казалось, уже послышались Антуану вчера.

— Неравенство, несправедливость?.. Разумеется! Почему им кажется, что они изобрели нечто новое?.. Что тут можно поделать?.. Современная цивилизация — это ведь реальность, черт возьми! *Реальность!* Значит, отсюда и надо исходить. Зачем же замахиваться на все основы?.. *Их* революция! — продолжал он вполголоса.— Хорошенькую они нам готовят переделку! Все опрокинуть к черту, чтобы все начать сначала, как дети, играющие в кубики! Идиоты! Делайте свое дело, вот и все!.. Вместо того чтобы сетовать на несовершенство общества и отказываться с ним сотрудничать, вы бы гораздо лучше сделали, если бы, наоборот, уцепились за то, что уже существует,— за свою среду, за свое время, какие ни на есть,— и работали бы честно, как мы! И чем конспирировать, подготавливая переворот, благодетельность которого остается проблематичной, употребили бы лучше короткую человеческую жизнь на то, чтобы с большей или меньшей пользой и наилучшим образом исполнять свою работу в своей скромной области! — Он был удовлетворен этой тирадой и прибавил в заключение, как финальный аккорд: — Так-то, господа!

— Это вроде того вопроса о наследстве,— продолжал он во внезапном приступе ярости.— Теперь иметь состояние значит «строить свою жизнь на эксплуатации других»!.. Дурак!.. Я не защищаю принципа наследственной передачи состояний... Нет, конечно, я его не защищаю... И не хуже, чем ты, знаю все, что можно об этом сказать... Но, черт побери, раз на сегодняшний день дело обстоит так! Раз таковы условия жизни, которые для нас созданы! Что же тут можно поделать?

«Против чего, собственно, я ломаю копья? — подумал он, улыбаясь над самим собой.— Кажется, я почти что восстаю против того, что хочу защитить...»

Но он тотчас же воспрянул, будто ему предстояло убедить какого-то собеседника:

«Впрочем, я считаю, что результаты наследования нередко бывают превосходные... Сотни раз я видел, что именно наследственное состояние обеспечивает — девять раз из десяти — жизнь прекрасного человека... я хочу сказать — человека полезного, ценного для общества...»

— Разве не быть бедным теперь будет считаться преступлением? — сказал он, резким движением скрестив руки.

У него возникло смутное впечатление, что он немного плутует. Вопрос, который его совесть задавала сейчас самой себе, звучал скорее так: «Разве преступление — быть богатым, не приобретя состояние своим трудом?..» Но он не стал задерживаться на таких оттенках и, пожав плечами, стряхнул с себя эту коварную мысль.

«Когда он писал мне зимой: «Я не хочу извлекать пользу из этого наследства...» Дурак! Пользу! А теперь меня упрекнут, что я им «пользовался»? Но кто же в конечном счете «извлечет пользу» из реорганизации моей профессиональной жизни, наших работ? Неужели я?.. Да, я,— честно признался он.— Однако я хочу сказать: только ли я один буду этим «пользоваться»?.. И, кроме того, если принять во внимание все обстоятельства, разве в моем положении служить *также* и своим личным интересам не значит в то же время работать как нельзя лучше ради общих интересов?»

Машина пересекала Сену. Река, набережная, перспектива мостов расплывались в розоватой дымке. Он выбросил окурок в окно и зажег новую папиросу.

«Ты больше схож со мною, чем думаешь, негодный,— продолжал он с довольным смешком.— Ты родился буржуа, мой мальчик, так же как ты родился рыжим! Твои вихры потемнели, но у них остался рыжеватый отлив, и тут ты ничего не можешь поделать... Твои революционные чувства? Я верю в них лишь наполовину... Твоя наследственность, воспитание и даже твои сокровенные вкусы — все это тянет тебя назад... Подожди немного: в сорок лет ты, может быть, будешь больше буржуа, чем я!..»

Автомобиль замедлял ход. Виктор нагибался, пытаясь разобрать номера домов. Наконец машина остановилась у калитки.

«И, несмотря ни на что, я его очень люблю,— такого, как есть»,— подумал Антуан, открывая дверцу.

Теперь он упрекал себя в том, что своим приемом недостаточно ясно показал, какое удовольствие доставило ему посещение брата.

XXIII

Пастор Грегори уже год, как жил в жалком пансионе в центре квартала Жанны д'Арк, населенного почти исключительно армянскими чернорабочими, которых он просвещал евангельским учением.

Антуану стоило немало труда разбудить ночного сторожа, грязного левантинца, спавшего одетым на скамейке в вестибюле...

— Да, мусси... Пастор Грегори, да. Пойдем со мной, мусси...

Мансарда, которую занимал святой человек, находилась на пятом этаже. Июльская жара наполняла перенаселенную лачугу запахом гниющей помойки и пота, напоминавшим терпкие испарения арабских улиц.

Сторож робко постучал в дверь, и Грегори тут же соскочил с кровати.

«Сон прямо-таки духовной легкости»,— подумал про себя Антуан.

Дверная щеколда отодвинулась, и пастор появился на пороге с коптящим ночником в руке.

Зрелище было неожиданное. Грегори на ночь надевал благопристойную длинную рубаху, ниспадавшую до пят; а так как он мог спать, лишь забинтовав себе печень, живот у него был туго стянут куском коричневой фланели, отчего низ рубашки вздувался наподобие юбки. Босой, бледный, как привидение, тощий, с растрепанными волосами и нечеловеческим выражением глаз, он был похож на волшебника из «Тысячи и одной ночи».

С первых же слов Антуана, которого он сначала не узнал, Грегори понял все. Не отвечая, не теряя ни минуты, пока Антуан, стоя на пороге, заканчивал свой рассказ, он привязал конец своего пояса к перекладине кровати и, чтобы размотать эти четыре метра фланели, начал вращаться вокруг своей оси, как волчок, все более быстро.

Антуан, силясь сохранить серьезность, объяснял подробности хирургического вмешательства и затруднения, связанные с извлечением пули.

— О!.. О!..— возразил, задыхаясь, вращающийся дервиш.— Забудьте о пистолете!.. Оставьте, оставьте пулю... Волю к жизни... вот что надо... возродить в нем!

Он жестикулировал и бросал вокруг недовольные взгляды. Наконец, разбинтовавшись, он приблизил к лицу Антуана свое угловатое асимметричное лицо, на котором брови беспрестанно подергивались нервным тиком. Затем разразился беззвучным внутренним смехом.

— Бедный милый, когда-то бородатый доктор! — воскликнул он тоном нежного сострадания.— Ты думаешь, что излечиваешь, а это вы, богохульники, и создаете болезнь, потому что проповедуете, что болезнь существует!.. *No!..*[1] Говорю вам: *дайте войти Свету!* Христос — единственный врач! Кто исцелил Лазаря? Можешь ли ты исцелить Лазаря, ты, бедный врач, блуждающий в потемках?

Антуану было смешно, но внешне он оставался бесстрастным. Несомненно, однако, что пастор заметил невольный лукавый блеск в глазах врача, потому что насупил брови и резко повернулся к нему спиной. С обнаженным торсом, спустив рубашку, закрутившуюся вокруг бедер, он метался по мансарде из угла в угол в поисках своего белья и платья.

Антуан ждал его, стоя в молчании.

— Человек божествен! — проворчал Грегори, прислонившись к стене и согнувшись, чтобы натянуть носки.— Христос знал в сердце своем, что он божествен! И я тоже! И все мы тоже! Человек божествен! — Он сунул ноги в большие черные башмаки, которые так и оставались зашнурованными.— Но тот, кто сказал: *«Закон убивает»,*— тот сам был убит законом! Христос убит законом. Человек сохранил в уме лишь букву закона. Нет ни одной церкви, действительно построенной на истинных заветах Христа. Все церкви построены лишь на притчах Христовых!

Не прерывая монолога, он извивался во все стороны с излишней быстротой и неловкостью, свойственной очень нервным людям.

— Бог — Всё и во Всём!.. Бог! Высший Источник Света и Тепла! — Победным жестом он снял висевшие на крючке брюки. Каждое его движение обладало стремительностью электрического разряда.— Бог — Всё! — повторил он, возвысив голос, потому что он повернулся лицом к стене, чтобы застегнуть брюки.

Покончив с этим, он повернулся на каблуках и бросил на Антуана мрачный, вызывающий взгляд.

— Бог — Всё, и несть зла от бога,— сказал он сурово.— И я говорю, *poor dear Doctor*[2], ни единого атома зла или лукавства нет во вселенском Всём.

Он натянул свой сюртук из черного альпака́, надел комичную маленькую фетровую шляпу с закругленными полями и неожиданным тоном, почти игриво, точно радуясь тому, что он наконец одет, провозгласил, вежливо дотронувшись до своей шляпы:

— *Glory to God!*[3] — Затем, остановив на Антуане отсутствующий взгляд, внезапно прошептал: — Несчастная, несчастная милая

---

[1] Нет!.. *(англ.)*
[2] Бедный милый доктор *(англ.)*.
[3] Хвала господу! *(англ.)*

госпожа Тереза!..— Слезы заблистали у него на глазах. Казалось, он только сейчас осознал семейную драму, которая привела к нему Антуана.— Несчастный милый Жером! — вздохнул он.— Бедное ленивое сердце, значит, ты побеждено?.. Значит, ты сдалось? Ты не могло отстранить от себя Лукавого?.. О Христос, дай ему силы отринуть оковы мрака и препоясаться мечом света!.. Я иду к тебе, грешник! Я иду к тебе!.. Идемте,— сказал он, подойдя к Антуану,— ведите меня к нему!

Прежде чем погасить лампу, он зажег от нее витую свечу, которую вытащил из-под полы своего сюртука. Затем отворил дверь на лестницу.

— Проходи!

Антуан повиновался. Чтобы осветить ступеньки, Грегори высоко держал свечу в простертой руке.

— Христос сказал: «Ставьте высоко светильник, чтобы он светил всем!» Это Христос возжигает светильник в сердцах наших!.. Бедный светильник, как часто горит он слабо, и пламя его колеблется и дает едкий дым!.. Ничтожная, ничтожная материя! Несчастные мы!.. Будем молить Христа, чтобы наше пламя было стойким и ясным, чтобы оно изгнало материю во тьму теней!

И все время, пока Антуан, держась за перила, спускался по узкой лестнице, пастор продолжал бормотать все менее и менее внятно фразы, похожие на заклинания, беспрестанно повторяя ворчливым и раздраженным тоном слова «материя» и «тьма».

— Я приехал на машине,— объяснил ему Антуан, когда они наконец вышли во двор,— она же и отвезет вас в клинику... А я,— добавил он,— приеду тоже туда... через час...

Грегори ничего не возразил. Но прежде чем сесть в автомобиль, он вперил в своего спутника взгляд — такой острый и, казалось, такой проницательный, что Антуан почувствовал, как лицо его краснеет.

«Не может же он все-таки знать, куда я направляюсь!» — подумал он.

С невыразимым облегчением Антуан проводил взглядом машину, удалявшуюся в предрассветных сумерках.

На перекрестке дул легкий ветерок; наверное, где-нибудь прошел дождь. Веселый, как школьник, выпущенный из карцера, Антуан почти бегом домчался до площади Валюбер и вскочил в первое попавшееся такси.

— Ваграмская улица!

В машине он вдруг заметил, что устал,— однако той напрягающей нервы усталостью, которая подхлестывает желание.

Он велел шоферу остановиться метров за пятьдесят от дома, быстро выпрыгнул из машины, добрался до переулка и бесшумно открыл дверь.

Уже на пороге его лицо прояснилось: запах Анны... Возбуждающий, скорее смолистый, чем цветочный запах, стойкий и густой, от которого захватывает дух; больше, чем просто запах,— какая-то ароматическая волна, которую он так любил.

«Мне суждено опьяняться запахами»,— подумал он, и у него внезапно сжалось сердце при мысли об ожерелье из серой амбры, которое носила Рашель.

Осторожно, как вор, он проник в ванную, озаренную молочным светом зарождающегося дня. Там он поспешно разделся и, стоя в ванне, облился прохладной водой, выжимая себе на затылок большую губку. Вода испарялась с его разгоряченного тела, словно с раскаленного металла. Восхитительное ощущение, что с него стекает вся усталость. Он наклонился и стал пить ледяную струю прямо из-под крана. Потом неслышно прошел в спальню.

Мелодичный, очень тихий зевок, звук которого шел откуда-то с пола, напомнил ему о присутствии Феллоу. Он почувствовал, как в ноги ему ласково ткнулась влажная мордочка, ощутил прикосновение шелковистого ушка.

Полог был задернут. Лампа у изголовья заливала комнату сиянием зари, тем самым туманно-розовым светом, которым восхищался Антуан час назад, переезжая через мосты. На широкой кровати спала Анна, повернувшись лицом к стене, положив голову на обнаженную руку. На ковре валялись модные журналы. Пепельница на ночном столике была полна наполовину недокуренными папиросами.

Стоя неподвижно у кровати, Антуан смотрел на густые волосы Анны, на шею, плечо и стройную линию ног под простыней. «На этот раз она беззащитна»,— подумал он. Редко случалось, чтобы Анна пробуждала в нем такое нежное и жалостливое волнение; чаще всего он лишь принимал, словно отдаваясь спортивному увлечению, ту бурную, никогда не утихавшую страсть, которую Анна питала к нему. С минуту он длил это сладострастное ожидание, отдаляя наслаждение, которое ждало его здесь, так близко, и которое теперь ни Жак, ни Жером, ни Грегори — никто на свете не мог у него отнять. А затем стремление погрузить свое лицо в ее волосы, прижать к своей груди эту упругую теплую спину, слиться своим телом с другим телом стало таким властным, что улыбка застыла на его лице. Задерживая дыхание, он осторожно

приподнял край простыни и, плавным, но сильным движением скользнув в кровать, медленно улегся рядом с Анной. Она подавила короткий глухой крик и, повернувшись на другой бок, очнулась от сна в объятиях Антуана.

XXIV

Проснувшись рано утром, Жак, казалось, снова обрел бодрость.

«Если я поеду сегодня с пятичасовым вечерним поездом, то нельзя терять времени»,— подумал он, спрыгнув с кровати. Но едва он встал, как почувствовал, что на душе у него неспокойно,— вчерашние события преследовали его.

Он быстро оделся и сошел вниз, чтобы позвонить по телефону Антуану.

Фонтанен был еще жив; коматозное состояние могло продлиться еще сутки, а может быть, и больше. Никаких оснований для надежды не было.

Жак предупредил брата, что не сможет увидеться с ним, потому что уезжает в Швейцарию в этот же день. Затем возвратился к себе, расплатился за комнату и отправился сдать свой чемодан в камеру хранения на Восточном вокзале.

Целый день он торопился, чтобы успеть выполнить все дела, которые оставалось сделать до отъезда: с полдюжины визитов к разным «типам», адреса которых дал ему Ричардли.

Во всех левых кругах назревало широкое движение, имевшее целью преградить путь угрозе войны. Союз между различными партиями казался делом решенным. Новости в этом отношении были более чем утешительными.

А между тем тревога не покидала Жака и незаметно овладевала им, как только он оставался один. Он ощущал какой-то необъяснимый упадок духа. Весь в поту, он лихорадочно носился по Парижу, беспрестанно меняя свои планы и маршруты, обрывая разговоры при встречах, отказываясь в последнюю минуту от какого-либо визита, ради которого он проделал получасовой путь. Улицы, дома, прохожие, даже его товарищи — все казалось ему безобразным и враждебным. Ему чудилось, что он всюду наталкивается на решетку, словно животное в клетке. И даже несколько раз его вдруг охватывало чувство физического недомогания: в течение нескольких секунд, оглушенный, с влажными от пота руками и стеснением в груди, которую сжимало, как тисками, вынужден он был бороться против внезапного и необъяснимого чувства страха, перебивавшего ему дыхание...

«Что со мной?» — думал он.

Тем не менее к четырем часам самое необходимое было сделано; он мог уехать. Ему не терпелось поскорее попасть в Женеву, и в то же время он испытывал странную боязнь расстаться с Парижем.

«Если я подожду до ночного поезда,— подумал он вдруг,— у меня будет время побывать в «Юманите», в кафе «Круассан» и «Прогресс», сходить на улицу Клиши и собрать кое-какие сведения об этой истории с арсеналами...

(Действительно, в шесть часов в баре на улице Клиши должно было состояться собрание, организованное федерацией профсоюза моряков, и Жак рассчитывал встретить там агитаторов, которые на следующий день должны были отправиться в некоторые западные порты, где подготовлялись стачки. Жаку небесполезно было бы получить кое-какие сведения по этому вопросу.)

Еще одна мысль мучила его с утра: приезд Даниэля. Конечно, Жак мог уехать, не повидавшись с ним. Но Даниэль, несомненно, узнает, что Жак был в Париже. «Если бы только я мог встретиться с ним не в клинике!..» И внезапно он решился: «Останусь до ночного экспресса. Приду в Нейи после обеда и увижу Даниэля, а в это время мало вероятно встретить там *ее*...»

Верный своему плану, в половине девятого он вышел из «Прогресса». Он зашел туда на всякий случай после собрания на улице Клиши, и ему посчастливилось застать в кафе Бюро́, редактора, который собирал для «Юманите» все сведения, касавшиеся западных арсеналов.

Теперь оставалось посетить Нейи. «Завтра я буду в Женеве»,— подумал он, чтобы придать себе твердости.

Когда он спускался по маленькой винтовой лестнице, соединявшей антресоли с залом кафе, чья-то рука вдруг опустилась ему на плечо:

— Так ты в Париже, малыш?

Даже в полумраке по басу и по произношению жителя парижского предместья нетрудно было узнать Мурлана. Это был смуглый старик, похожий на Христа, со слишком длинными волосами, одетый зимой и летом в одну и ту же блузу типографского рабочего.

В героические дни дела Дрейфуса Мурлан основал боевой листок, который еженедельно печатался на гектографе и усиленно ходил по рукам. В дальнейшем «Знамя» превратилось в небольшой революционный печатный орган, который Мурлан продолжал выпускать с помощью нескольких добровольных сотрудников,

Жак время от времени посылал ему то какой-нибудь отчет, то перевод иностранной статьи. Дух этой газеты отличался твердой принципиальностью, которая привлекала Жака. Во имя подлинного социалистического учения Мурлан критиковал официальных деятелей партии, в частности, группу Жореса — «социал-оппортунистов», как он их называл.

К Жаку он относился дружески. Он любил молодых, «малышей», за их пыл и твердость. Не обладавший широкой образованностью, но одаренный парадоксальным умом и многоречивым юмором, который он умело подчеркивал интонациями старого парижского рабочего, он в течение многих лет боролся — в одиночку или почти в одиночку — за существование своей газеты. Его побаивались: прочно окопавшись на своих ортодоксальных позициях, он был силен тем, что вел безупречную жизнь бедняка-социалиста, до конца преданного революционному делу, и безжалостно нападал на партийных политиканов, разоблачая их малейшие ошибки, выводя на чистую воду их компромиссы, причем его стрелы всегда попадали в цель. Те, кого он «чистил», мстили ему, распространяя на его счет самые злостные слухи. Он когда-то содержал книжную лавочку с социалистической литературой в Сент-Антуанском предместье, и враги обвиняли его в том, что он продавал там по преимуществу порнографические книжонки. Вполне могло быть и так. Его частная жизнь была сомнительной. В маленькой квартирке на улице Рокет, где помещалась редакция незапятнанного «Знамени», постоянно толклись девицы легкого поведения, приходившие туда, по-видимому, из соседних притонов на улице Лапп. Они приносили ему сладости, на которые он был очень падок. Они громко разговаривали, ссорились между собой, иногда дело доходило до драки. Тогда Христос вставал, клал свою трубку, хватал каждую фурию за руку и выкидывал их на лестницу, после чего продолжал беседу с того места, на котором она была прервана.

Сегодня он казался озабоченным. Он проводил Жака на улицу.

— Ни одного су в кассе,— сказал он, выворачивая разом оба кармана своей черной блузы.— Если до четверга я не достану нескольких бумажек, которые мне необходимы, то следующий номер так и останется лежать в столе.

— Однако,— сказал Жак,— я видел, что тираж у вас увеличился.

— Подписчики все прибывают, малыш! Дело только в том, что они не платят... Прекратить им высылку газеты? Я не поколебался бы, если бы управлял коммерческим предприятием. Но какие цели я преследую? Пропаганду. Итак, что же делать?

Сократить расходы? Я все делаю сам! Вначале я выделил себе из кассы сто франков в месяц. Я никогда не осмеливался брать больше, чем мои сто монет... Я питаюсь коркой хлеба, словно какой-нибудь цыган. Я весь в долгах. И это тянется вот уже восемнадцать лет... Но поговорим серьезно,— сказал он.— Что думают в Швейцарии обо всех этих скверных слухах?.. Я-то старый волк, меня не удивишь... Я уже всякого навидался... Это мне напоминает восемьдесят третий год... Мне было только двадцать лет, но я уже ходил каждый вечер в редакцию «Восстания»,— той первой газеты, которая выходила в Швейцарии... Ты ведь не знал эту газету?.. Ты, может быть, даже не знаешь, что в восемьдесят третьем году Англия, Германия, Австрия и Румыния, эти четыре ражие шлюхи, хотели разжечь европейскую войну против России?.. И комар носа не подточил бы... С тех пор ничего не изменилось!.. Опять те же штучки!.. Тогда тоже говорили: «отечество», «честь нации»... А что за этим скрывалось? Промышленное соперничество, борьба за рынки, комбинации крупных финансистов... Ничего не изменилось с тех пор, кроме одного: у нас нет больше Кропоткина... В восемьдесят третьем году Кропоткин неистовствовал, как черт... Он призвал к ответу большие военные заводы — Анзена, Круппа, Армстронга и всю клику,— которые подкупили европейскую печать, чтобы добиться своего... Как он их пробирал!.. Я разыскал его статьи... Ничего не изменилось! Три из них я напечатаю в следующем номере... Кропоткин!.. Ты прочтешь это, малыш; вы все извлечете оттуда пользу!..

Глаза у него блестели, видна была хватка старого борца. Он уже забыл, что для того, чтобы напечатать подготовленный номер, ему нужны триста восемьдесят франков, а у него нет ни единого сантима. Жак наконец расстался с ним.

«Следовало бы включить «Знамя» в план общего выступления против войны»,— подумал он. Он решил поговорить об этом в Женеве и, если окажется возможным, послать Мурлану кое-какую субсидию.

Жак еще не обедал. Прежде чем сесть у Биржи в метро и направиться в сторону Шамперре, он зашел проглотить бутерброд в кафе «Круассан». Многие редакционные работники «Юманите», следуя примеру своего патрона, стали постоянными посетителями этого кафе-ресторана на углу улицы Монмартр.

В своем любимом углу возле окна вместе с тремя друзьями обедал Жорес. Проходя мимо, Жак поздоровался с ним. Однако патрон, склонившись над тарелкой, ничего не видел; мрачный, вобрав шею до самой бороды в крутые плечи, он предоставил

вести разговор своим соседям и с рассеянной жадностью поглощал порцию баранины с фасолью. Его портфель, толстый портфель, набитый бумагами, который он всюду таскал за собой, возвышался возле него на краю стола; а сверху были нагромождены газеты, брошюры и книги. Жак знал, что Жорес неутомимый читатель. Он вспомнил о случае, рассказанном накануне Стефани, который слышал это от Мариуса Муте. Муте не так давно был в поездке вместе с Жоресом и удивился, застав его погруженным в чтение... русской грамматики! А Жорес сказал ему как нечто само собой разумеющееся: «Ну да. Надо торопиться изучить русский язык. Быть может, завтра России суждено сыграть выдающуюся роль в жизни Европы!»

Жак, сидевший против света, издали наблюдал за Жоресом. «Слушает ли он когда-нибудь то, что говорят другие?» — подумал он. Этот вопрос Жак несколько раз задавал себе при виде Жореса. Когда патрон случайно замолкал и молча пережевывал пищу, он, казалось, внимал только аккордам какой-то внутренней музыки. Внезапно Жак увидел, как Жорес поднял голову, выпятил грудь, быстро провел салфеткой по губам и заговорил. Его глубоко посаженные глаза то вспыхивали, то угасали с необычайной быстротой. Окаймленный бородою широко раскрытый рот, с опущенными углами, напоминал раструб громкоговорителя или черную дыру на античных трагических масках. Казалось, он не обращался ни к кому из сидевших за столом, а думал вслух и направлял свою речь против кого-то отсутствующего, как человек, для которого мысль и борьба мнений тесно связаны между собой и ум которого находит себе пищу только в споре. Нельзя было различить отдельных слов, ибо Жорес говорил тихо,— по крайней мере, настолько тихо, насколько позволял ему его голос оратора, звучный, как барабан; но Жак прекрасно различал среди гула, стоявшего в зале, особенный тембр этого голоса: своего рода жужжание, приглушенную вибрацию, подобную звукам, доносящимся к зрителям из оркестра,— она сопровождала в качестве аккомпанемента певучее парение фраз. Эти знакомые звуки вызывали у Жака тысячи воспоминаний о митинговой лихорадке, о словесных сражениях, овациях обезумевшей от восторга толпы... Увлеченный своей импровизацией, Жорес отставил наполовину еще полную тарелку и наклонился вперед, словно буйвол, готовый к нападению. Отмечая ритмическое движение фраз, его руки, сжатые в кулаки, поднимались и вновь опускались на край стола без усилия, но с размеренным звуком молота, забивающего сваю. И когда Жак, заторопившись ввиду позднего часа, вышел из зала, Жорес все еще говорил, отбивая такт кулаками по мрамору столика.

Образ Жореса, представший перед глазами Жака, вернул ему бодрость духа, и он все еще ощущал это благотворное влияние, когда подходил к воротам клиники на бульваре Бино.

«Клиника Бертрана». Это здесь...

Было уже совсем темно. Жак прошел через сад, не замедляя шага, но не смея взглянуть на фасад здания.

Старая привратница сообщила ему дрожащим голосом, что бедный больной еще жив и что сын его приехал в середине дня. Жак попросил старушку вызвать к нему Даниэля. Но она не могла отлучиться из привратницкой, где в этот поздний час никого больше не было.

— Дежурная сиделка сообщит ему о вашем приходе,— сказала привратница.— Можете подняться прямо на третий этаж.

После короткого размышления Жаку пришлось решиться на этот шаг.

На площадке второго этажа — ни души; длинный белый коридор, слабо освещенный, безмолвный. На третьем этаже — опять тишина, такой же коридор, полный неясных отблесков, бесконечный и пустынный. Нужно было отыскать сиделку. Жак подождал несколько минут, а затем двинулся по коридору. Он уже больше не испытывал тревоги, напротив — скорее некоторое любопытство, которое толкало его на риск.

Он не заметил сидящей фигурки, скрытой в оконной нише. Когда он подошел ближе, она обернулась и быстро встала. Это была Женни.

Ожидал ли он этой встречи? «Начинается...— подумал он, не испытывая удивления. И тотчас же мысленно добавил: — Она сегодня без шляпы... Совсем как прежде...»

Инстинктивным движением девушка подняла руку, чтобы поправить волосы, зная, что они в беспорядке. Ее доверчиво открытый лоб создавал впечатление душевной чистоты и даже кротости.

Несколько мгновений они оба с бьющимся сердцем стояли друг против друга. Наконец Жак произнес грубым от волнения голосом:

— Прошу меня извинить... Привратница мне сказала...

Он был поражен ее бледностью, видом побелевших губ и заострившегося носа. Она устремила на него напряженный, ничего не выражающий взгляд, где можно было прочесть одно лишь желание — не ослабеть, не отвести глаз.

— Я пришел справиться о здоровье...— Женни выразительным жестом дала понять, что не оставалось больше никакой надежды.—...и повидать Даниэля,— добавил Жак.

Она сделала над собой усилие, точно пытаясь проглотить лекарство, пробормотала несколько невнятных слов и быстро напра-

вилась к маленькой приемной. Жак пошел за ней, но сделал всего несколько шагов, а затем остановился посреди коридора. Женни открыла дверь. Жак думал, что она вызовет Даниэля. Но она держала дверь широко открытой и, стоя вполоборота к нему, с опущенными глазами и суровым выражением лица, не двигалась с места.

— Мне бы не хотелось... беспокоить...— пробормотал Жак, сделав шаг вперед.

Женни ничего не ответила, не подняла глаз. Она как будто ждала, сдерживая раздражение, чтобы он вошел в комнату. И как только он переступил порог, она захлопнула за ним дверь.

На диване в глубине комнаты сидела г-жа де Фонтанен рядом с молодым человеком в военной форме. На полу лежала каска, портупея, сабля.

— Это ты!

Даниэль вскочил с места. Радостное удивление засветилось в его глазах. Застыв на месте, он рассматривал, плохо узнавая, этого коренастого Жака с выдающимся подбородком, который лишь отдаленно напоминал товарища его детских лет. И Жак тоже на миг остановился, глядя на высокого унтер-офицера с загорелым лицом и коротко остриженной головой, который наконец решился подойти к нему, как-то неловко, неожиданно звякнув шпорами и стуча сапогами.

Даниэль схватил друга за руку и потащил к матери. Не выказав ни малейшего удивления или неудовольствия, г-жа де Фонтанен вскинула на Жака утомленный взгляд и протянула ему руку; спокойным голосом, таким же равнодушным, как и ее взгляд, она произнесла, как будто рассталась с ним лишь накануне:

— Здравствуйте, Жак.

С непринужденным и вместе с тем учтивым изяществом, которое Даниэль унаследовал от отца, он склонился к г-же де Фонтанен.

— Прости, мама... Мне хотелось бы на минуту спуститься вниз с Жаком... Ты не возражаешь?

Жак вздрогнул. Теперь он узнавал Даниэля — всего целиком — по его голосу, по смущенной полуулыбке, приподнимавшей левый уголок рта, по его прежней манере ласково, почтительно произносить слово «ма-ма», растягивая слоги...

Госпожа де Фонтанен приветливо взглянула на обоих юношей и слегка кивнула головой:

— Ну конечно, мой мальчик, иди... Мне сейчас ничего не нужно.

— Пойдем в сад,— предложил Даниэль, положив руку на плечо Жака.

Невольно он повторил этот жест, привычный ему в детстве,— сейчас, как и прежде, он оправдывался разницей их роста; ведь Даниэль всегда был выше Жака, а из-за военной формы казался особенно высоким. Его гибкий торс, затянутый в темный мундир с белым воротничком, составлял контраст с нижней частью тела, утонувшей в складках широких красных штанов, и ногами, которые казались толстыми из-за кожаных краг. Подбитые гвоздями подошвы скользили по кафельным плиткам коридора. Эти солдатские шаги непочтительно нарушали тишину уснувшего уже здания. Даниэль почувствовал это и смущенно молчал, опираясь на друга, чтобы не поскользнуться.

«А где Женни?» — спрашивал себя Жак. Снова он почувствовал сжатие в груди, как будто ощущение страха. Он шел, напрягая шею, опустив глаза. Когда они дошли до лестницы, Жак невольно оглянулся, стараясь проникнуть взглядом в глубь пустынного коридора, и разочарование, смешанное с досадой, тайно овладело им.

Даниэль остановился у верхней ступеньки:

— Так, значит, ты в Париже?

Радостный тон подчеркивал грустное выражение его лица.

«Женни ничего не сказала ему обо мне»,— подумал Жак.

— Я уже должен был уехать,— ответил он с живостью.— Сейчас отправляюсь на вокзал.— Разочарование Даниэля было настолько явным, что Жак поспешил добавить: — Я отложил свой отъезд, только чтобы повидаться с тобой... Мне нужно завтра быть в Женеве.

Даниэль пристально смотрел ему в лицо задумчивым и робким взглядом, полным недоумения. В Женеве? Жизнь Жака оставалась для него тревожной загадкой. Он еще не решался задавать вопросы. Сдержанность друга смущала его. Не желая быть навязчивым, он убрал руку с его плеча, взялся за перила и начал спускаться вниз. Вся его радость внезапно улетучилась. К чему эта неожиданная встреча, которая пробудила в нем такую огромную жажду общения, если Жак так скоро уедет, если приходится опять расставаться с ним?

Сад, только что политый и освещенный кое-где между деревьев шарами электрических фонарей, был пуст и дышал свежестью.

— Ты куришь? — спросил Даниэль.

Он вытащил из кармана папиросу и нетерпеливо зажег ее. Пламя спички на минуту осветило его лицо. Особенно сильно его изменило то, что на свежем воздухе, в Вогезах, он утратил тот бледный, матовый цвет кожи, который некогда создавал такой

странный контраст с черным цветом глаз, волос и тонкой полоской усов над верхней губой.

Держась рядом, они молча углубились в боковую аллею, в конце которой были расставлены полукруглые белые садовые стулья.

— Сядем здесь, хочешь? — предложил Даниэль и, не дожидаясь ответа, тяжело опустился на стул.— Я весь разбит. Жуткая поездка...— На несколько секунд он погрузился в воспоминания о тяжелом дне, проведенном в душном, тряском вагоне, где он сидел, не вставая с места, закуривая одну папиросу за другой, не отрывая глаз от движущегося за окном пейзажа, перебирая в уме ряд возможных и одинаково мучительных предположений, в то время как непредвиденные события развертывались вдали. Он повторил: «Жуткая...» Затем, указывая кончиком зажженной папиросы на окно палаты, где лежал в агонии его отец, он мрачно добавил: — Рано или поздно этим должно было кончиться!..

От мокрого чернозема с политых клумб поднимались в темноте крепкие испарения, а время от времени к сидящим в аллее юношам долетало легкое, как вздох, дуновение ветерка, принося с собой горьковатый, обманчиво-сладкий лекарственный запах. Но он исходил не из больничных лабораторий,— это пахло небольшое лаковое деревцо, притаившееся где-то среди чащи.

Жак, обуреваемый мыслями о войне и еще острее сознавая ее возможность в присутствии военного, спросил:

— Ты легко получил отпуск?

— Очень легко. А что? — Так как Жак молчал, Даниэль добавил со спокойной уверенностью: — Мне дали четыре дня и обещали продлить срок. Но это не понадобится... Твой брат был здесь, когда я приехал, он откровенно сказал мне, что не осталось ни малейшей надежды.— Он умолк, затем резко продолжал: — Пожалуй, так оно и лучше.— Он снова вытянул руку в направлении больницы.— Это ужасно, но при создавшемся положении вещей никто не может пожелать, чтобы он остался в живых. Я знаю, что смерть его ничего не исправит,— продолжал он жестко.— Но, по крайней мере, она положит конец одной истории... последствия которой были бы ужасны... для мамы... для него самого... для всех нас...— Он слегка повернулся лицом к Жаку.— Моего отца должны были со дня на день арестовать,— произнес он каким-то сухим, сдавленным голосом, похожим на рыдание. Закрыв глаза, он немного откинулся назад. Падавший сквозь листву свет плафона на минуту осветил его прекрасный лоб, верхняя линия которого образовала две правильные четверти круга, разделенные посредине мысом волос.

Жаку хотелось что-нибудь сказать ему, но замкнутая жизнь и товарищеские отношения с политическими деятелями давно отучили его от сердечных излияний. Он придвинулся к Даниэлю и тронул его за плечо. Под ладонью он ощутил шершавое сукно мундира. Своеобразный запах шерсти, нагретой и промасленной кожи, табака и конюшни исходил от Даниэля и при малейшем его движении примешивался к ночным ароматам уснувшего сада.

Жак не видел друга целых четыре года. Несмотря на письма, которыми они обменялись после смерти г-на Тибо, несмотря на многократные приглашения Даниэля, Жак никак не мог решиться на поездку в Люневиль. Он опасался личной встречи. Сердечная, но очень редкая переписка казалась ему единственным подходящим способом общения при теперешнем состоянии их дружбы. Эта глубоко укоренившаяся дружба вовсе не умерла: Даниэль и Антуан оставались, в сущности, единственными привязанностями Жака. Но это был кусочек прошлого, того прошлого, от которого Жак добровольно оторвался и всякое возвращение к которому было ему тягостно.

— В Люневиле не говорят о войне? — спросил Жак, желая нарушить молчание.

Даниэль не выказал особого удивления.

— Говорят, конечно! Офицеры каждый день говорят о войне... В этом весь смысл существования этих господ... В особенности на востоке! — Он улыбнулся.— А я только и знаю, что отсчитываю дни. Семьдесят три... семьдесят два... уже завтра семьдесят один... До остального мне дела нет. В конце сентября я буду свободен.

Новый луч света скользнул в эту минуту по его лицу. Нет, Даниэль не так уж сильно изменился. На этом правильном овальном лице, которому чистота линий придавала известный оттенок торжественности (в особенности когда его омрачали усталость и горе, как в этот вечер), улыбка сохранила все свое прежнее очарование: медленная, подступающая откуда-то издалека улыбка, которая приподнимала вкось верхнюю губу, постепенно обнажая блестящий ряд зубов... Улыбка застенчивая — и вместе с тем вызывающая... В прежние годы, еще в детстве, Жак влюбленным взглядом ловил на губах своего друга эту волнующую и неотразимую улыбку; и даже сейчас он почувствовал, как его заливает нежная теплота.

— Представляю себе, как ты должен страдать от этой жизни в казармах! — сказал Жак осторожно.

— Нет... не слишком...

Скупые фразы, которыми они обменивались, падали в окружающую тишину, как те канаты, которые моряки бросают с од-

ного судна на другое и которые десять раз падают в воду, прежде чем удается схватить их на лету...

После довольно длительной паузы Даниэль повторил:

— Не слишком... Вначале — да: меня изводили наряды на уборку навоза, на чистку отхожих мест и плевательниц... Теперь я унтер-офицер, и жизнь стала сноснее... У меня там даже есть приятели: лошади, товарищи... И в конечном счете я доволен, что прошел эту школу.

Жак уставился на него таким отчужденным, таким презрительным взглядом, что Даниэль едва сдержался, чтобы не дать волю раздражению. Неподатливость Жака, его скрытность, даже его вопросы словно подчеркивали какое-то превосходство, и это глубоко оскорбляло Даниэля. Тем не менее привязанность взяла верх. Он чувствовал, что его отдаляет от Жака не поверхностное разногласие, которое можно было объяснить длительным перерывом дружбы, а все то, чего он не знал о Жаке... Все то, что оставалось для него непонятным... в прошлом беглеца... Вернуть его доверие... Даниэль внезапно нагнулся и изменившимся голосом — нежным, вкрадчивым голосом, который как будто взывал к их былой привязанности, прошептал:

— Жак...

Конечно, он ждал ответа, порыва, сердечного слова, хоть какого-нибудь поощряющего жеста... Но Жак инстинктивно откинулся назад, как бы отстраняясь от него.

Даниэль решил поставить на карту все:

— Объясни же мне наконец! Что произошло четыре года назад?

— Ты сам прекрасно знаешь.

— Нет! Я никогда не мог хорошенько понять! Почему ты уехал! Почему ты меня не предупредил? Хотя бы на условии сохранить тайну... Почему ты долгие годы не давал мне о себе знать, как ты мог это сделать?

Жак втянул голову в плечи. Он с упрямым видом смотрел на Даниэля. Сделав неопределенный усталый жест, он сказал:

— Стоит ли возвращаться ко всему этому?

Даниэль взял его за руку.

— Жак!

— Нет.

— Что? Неужели же действительно *нет?* Неужели я так и не узнаю, что заставило тебя... так поступить?

— Ах, оставь,— сказал Жак, высвобождая руку.

Даниэль умолк и медленно выпрямился.

— Когда-нибудь, со временем...— пробормотал Жак с непреодолимым, казалось, безразличием, и тут же, внезапно повысив

голос, в бешенстве закричал: — «Так поступить»!.. Честное слово, можно подумать, что я совершил преступление!.. — И одним духом выпалил: — Да нужно ли объяснять? Неужели ты действительно не способен понять, как это человек в один прекрасный день может решиться порвать со всем, что его окружает? Уехать, никого не поставив в известность?.. Ты что ж, этого не понимаешь? Не понимаешь, что человек может не захотеть, чтобы его держали в цепях и калечили? Что он может осмелиться хоть раз в жизни быть самим собой, заглянуть к себе в душу, увидеть там все, что до сих пор люди считали самым ничтожным, самым презренным, и сказать наконец: «Вот это и есть я!» Осмелиться крикнуть всем окружающим: «Обойдусь и без вас!..» Как, ты действительно не способен это понять?

— Да нет, я понимаю...— пробормотал Даниэль.

Сначала, слыша этот несдержанный, настойчивый, тревожный голос, который так напоминал о прежнем Жаке, Даниэль не мог подавить невольной, хотя и едва уловимой радости. Но вскоре он безошибочно различил в решительном тоне друга что-то деланное: вспышка Жака была, в сущности, уверткой... Тогда он понял, что Жак ни за что не пойдет на откровенный разговор, который был бы избавлением для них обоих. От выяснения причин бегства Жака приходилось отказаться. А значит, придется отказаться и от их дружбы, той неповторимой дружбы, которой они когда-то так гордились. Даниэль ясно почувствовал это, и сердце его сжалось. Но сегодня у него и без того было достаточно горя.

Несколько минут они просидели молча, неподвижно, даже не глядя друг на друга. Наконец Даниэль подобрал под себя вытянутые ноги и провел рукой по лбу.

— Мне надо все-таки вернуться наверх,— пробормотал он. Голос его был совершенно беззвучен.

— Да,— согласился Жак, тотчас же встав.— Мне тоже пора идти.

Даниэль, в свою очередь, поднялся.

— Спасибо, что пришел.

— Извинись за меня перед матерью за то, что я так задержал тебя...

Каждый ждал, что другой сделает первый шаг.

— Когда ты едешь?

— В двадцать три пятьдесят.

— П. Л. С.? [1]

— Да.

— А машину найдешь?

---

[1] Экспресс «Париж — Лион — Средиземное море».

— Зачем?.. Поеду трамваем...

Оба замолчали, стыдясь, что им приходится так разговаривать.

— Я провожу тебя до ворот,— сказал Даниэль, углубляясь в аллею.

Они прошли через сад, не обменявшись больше ни словом.

Когда они выходили на бульвар, у ворот остановилась машина. Из нее выпрыгнула молодая женщина без шляпки, за ней — пожилой мужчина. У них были взволнованные лица. Они торопливо прошли мимо юношей, которые с минуту смотрели им вслед,— скорее из желания отвлечься, чем из любопытства.

Стремясь ускорить прощание, Жак протянул руку; Даниэль молча пожал ее. На секунду, пока их руки оставались сплетенными, они взглянули друг на друга. Даниэль даже робко улыбнулся, и у Жака едва достало сил ответить ему улыбкой. Он решительно шагнул за ворота и пересек широкий, залитый электричеством тротуар. Но прежде чем сойти на мостовую, он обернулся. Даниэль стоял на прежнем месте. Жак увидел, как он поднял руку, повернулся на каблуках и исчез в темноте под деревьями.

Вдали, за листвой, виднелись освещенные окна больницы... Женни...

Не дожидаясь трамвая, Жак двинулся к центру Парижа,— к поезду, к Женеве,— почти бегом, словно дело шло о спасении его жизни.

XXV

В большой гостиной с лакированными ширмами (Антуан раз навсегда запретил Леону впускать кого бы то ни было в его маленький кабинет) сидела и скучала г-жа де Батенкур.

Окна были открыты. День склонялся к вечеру, в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения. Анна повела плечами, и ее легкое вечернее манто упало на спинку кресла.

— Придется подождать, бедненький мой Феллоу,— сказала она вполголоса.

Уши болонки, лениво раскинувшейся на ковре, слегка задрожали. Анна купила этот клубок светлого шелка на выставке тысяча девятисотого года и упорно таскала повсюду свою одряхлевшую диковинку с испорченными зубами и сварливым характером.

Внезапно Феллоу поднял голову, и Анна выпрямилась: оба они узнали быстрые шаги Антуана, его манеру резко открывать и закрывать двери.

Действительно, это был он. Лицо его выражало привычную профессиональную озабоченность.

Легким поцелуем он коснулся волос Анны, затем ее затылка. Она вздрогнула. Подняла руку и медленно провела пальцами по его красивому квадратному лбу, властным выпуклостям надбровий, вискам, щеке. Затем на мгновение задержала в своей ладони его челюсть, крепкую челюсть Тибо, которая ей нравилась и одновременно внушала страх. Наконец подняла голову, встала и улыбнулась:

— Да взгляните же на меня, Тони... Не так, ваши глаза повернуты ко мне, но взгляд где-то блуждает... Ненавижу, когда вы напускаете на себя вид великого человека!

Он взял ее за плечи и держал перед собой, сжимая руками выступы лопаток. Затем слегка отодвинулся, не отнимая рук, и оглядел ее сверху донизу взглядом собственника. Сильнее всего привязывало его к Анне не то, что она до сих пор сохранила свою красоту, но то, что она, казалось, была создана природой нарочно для любви.

Она отдавалась его пытливому взору, обратив на него глаза, полные жизни и радости.

— Я только переоденусь и затем поступаю в полное ваше распоряжение,— промолвил он, тихонько отстраняясь и снова усаживая Анну в кресло.

Теперь он по вечерам так часто облачался в смокинг, что ему пришлось потратить не более пяти минут на то, чтобы принять душ, побриться, надеть крахмальную рубашку, белый жилет — все заранее приготовленные вещи, которые Леон протягивал ему одну за другой неловкими движениями церковного служки.

— Соломенную шляпу и автомобильные перчатки,— сказал он вполголоса.

Перед тем как выйти из комнаты, он беглым взглядом осмотрел себя в зеркале с головы до ног и поправил манжеты. С недавних пор он научился не пренебрегать тем дополнительным чувством удобства и приятным расположением духа, которые доставляют человеку тонкое белье, хорошо прилаженный воротничок, отлично скроенный костюм. Ему казалось теперь вполне законным, даже необходимым по соображениям гигиены, разрешать себе после трудового дня провести вечер в безделье и дорогостоящих развлечениях; и он радовался, что может разделить свой досуг с Анной, хотя был вполне способен, как это порою и случалось, эгоистически наслаждаться им в одиночестве.

— Где мы будем обедать, Тони? — спросила она, когда Антуан помогал ей надеть манто, мимоходом целуя ее в голую шею.— Только не в Париже... Сегодня так жарко... А не отпра-

виться ли нам в Марли, к Пра? Или, лучше, поедем в «Петух». Там будет веселее.

— Это далеко...

— Ну так что ж? Ведь за Версалем дорогу только что отремонтировали.

У нее была особая манера произносить фразы, вроде: «А не сделать ли нам то-то?», «А не поехать ли туда-то?» — каким-то безмятежным тоном, нежным и немного усталым; поглядывая на него с невинным видом, она придумывала самые невероятные затеи, не считаясь с расстоянием, временем, усталостью или вкусами Антуана, не считаясь и с тратами, которых требовали ее прихоти.

— Ну что ж, пусть будет «Петух»,— весело сказал Антуан.— Феллоу, вставай! — Он нагнулся, взял собачонку под мышку, открыл дверь и пропустил Анну вперед.

Она остановилась. От синего манто, кремовых тонов платья, черного лака ширм ее матовая кожа брюнетки светилась особенным приглушенным блеском. Повернувшись к Антуану, она без малейшего стеснения оглядела его. Потом прошептала: «Мой Тони...» — так тихо, что, казалось, слова эти не предназначались для него.

— Ну, идем,— сказал он.

— Идем...— вздохнула она с таким видом, словно, выбрав этот ресторан, находившийся в сорока пяти километрах от Парижа, сделала еще одну уступку капризам деспота. И, шумя оборками платья из тафты, она с высоко поднятой головой, упругим шагом весело переступила через порог.

— Когда ты идешь,— шепнул ей на ухо Антуан,— ты похожа на красивый фрегат, выходящий в открытое море.

Хотя машина была мощная и ее интересно было вести, Антуану уже не доставляло удовольствия управлять самому; но он знал, что Анна ничего так не любила, как эти прогулки с ним вдвоем, без шофера.

Солнце уже село, но было все еще жарко. Проезжая через лес, Антуан выбирал боковые дороги, которыми мало пользовались, держался прямо под высокими деревьями. В опущенные окна автомобиля врывался теплый, пахнущий листвой воздух.

Анна болтала. В связи со своей недавней поездкой в Берк она заговорила о муже, что делала довольно редко.

— Представь себе, он не хотел меня отпускать! Просил, угрожал, был просто отвратителен. Все же он проводил меня на вокзал, но не преминул напустить на себя вид мученика. И на перроне, когда поезд отходил, у него хватило наглости сказать: «Значит, вы никогда не переменитесь?» Тогда с площадки вагона я

бросила ему такое «нет»! «Нет», означавшее самые ужасные вещи!... И это правда, я не переменюсь: я его не выношу, тут уж ничего не поделаешь!

Антуан улыбался. Он не прочь был видеть ее разгневанной. Иногда он говорил ей: «Люблю, когда ты смотришь злодейским взглядом». Он вспомнил Симона де Батенкура, приятеля Даниэля и Жака, его козлиную мордочку, бесцветные, как мочало, волосы, кроткий, немного унылый вид; в общем, Симон был довольно антипатичен.

— Подумать только, что он мне нравился, этот болван,— продолжала Анна.— И, может быть, как раз из-за этого...

— Из-за чего?

— Из-за его глупости... Из-за того, что у него было в жизни так мало любовных приключений... Меня это словно освежало,— все-таки перемена. И как будто подходящий случай начать жить заново... Да, порою бываешь такой идиоткой!

Она вспомнила о своем решении чаще говорить о себе, о своем прошлом; сейчас представился удобный случай, сейчас — или никогда. Она устроилась поудобнее, положила голову на плечо Антуана и, устремив взгляд на дорогу, предалась воспоминаниям:

— Иногда я встречалась с ним в Турени на охоте. Я заметила, что он поглядывает на меня, но заговорить он не решался. Однажды вечером, возвращаясь с прогулки, я встретила его в лесу. Он шел пешком, почему — не знаю. Я была одна. Я велела остановить машину и предложила подвезти его в Тур. Он покраснел как рак. Сел в машину. Все — не говоря ни слова. Наступала ночь. И внезапно, уже в черте города...

Антуан слушал рассеянно, его внимание было поглощено дорогой, стуком мотора.

Анна... После него она будет любить других, верная своей судьбе. Он не строил себе иллюзий насчет продолжительности их связи. «Любопытно,— думал он,— как это меня всегда влекло к таким эмансипированным, темпераментным женщинам...» Часто он задавал себе вопрос, не является ли это смешение товарищеского чувства и влюбленности, которым он удовлетворялся в своих отношениях с любовницами, неполноценной формой любви. Недостаточной, может быть, даже довольно убогой. «Ты смешиваешь любовь с вожделением»,— сказал ему как-то Штудлер. Полная или неполная, но эта форма ему подходила и вполне удовлетворяла его. Она оставляла нетронутой его силу хорошего работника, которому нужна свобода, чтобы он мог целиком посвятить себя своему призванию. И ему снова пришел на ум недавний разговор с Штудлером. Халиф процитировал ему слова одного своего

знакомого, молодого писателя, некоего Пеги: «Любить — значит признавать правоту любимого человека, когда он не прав». Эта формула сильнейшим образом шокировала Антуана. В такой все попирающей, самозабвенной, одуряющей форме любовь всегда вызывала у него недоумение, ужас и даже нечто вроде отвращения...

Автомобиль проехал по мосту, пересек Сену и начал лихо взбираться на Сюренский холм.

— Здесь есть маленькая харчевня, где можно поесть жареной рыбы,— внезапно промолвила Анна, вытянув руку. (В свое время именно сюда возил ее Делорм, бывший студент-медик, ставший аптекарем в Булони, который в течение нескольких лет до самой этой зимы, до тех пор, пока Анна не отучилась наконец от наркотика, оплачивал благосклонность этой неожиданно дарованной ему любовницы, поставляя ей морфий.)

Опасаясь, как бы Антуан не задал неудобного вопроса, она принужденно засмеялась.

— Туда стоит зайти ради хозяйки! Толстая тетка в бигуди и с постоянно спущенными чулками... Я бы предпочла ходить босой, чем носить чулки штопором. А ты?

— Поедем как-нибудь в воскресенье,— предложил Антуан.

— Только не в воскресенье. Ты же отлично знаешь, что я терпеть не могу воскресений. На улицах без конца толпятся люди под предлогом, что они отдыхают!

— Да, это, в общем, очень удобно, что шесть дней из семи другие работают,— насмешливо заметил Антуан.

Она не почувствовала упрека и рассмеялась:

— Бигуди. Обожаю это слово. Его произносишь — и во рту словно раздается звук кастаньет. Когда у меня будет другая собака, я назову ее Бигуди... Но у меня никогда не будет другой собаки,— прибавила она решительно.— Когда Феллоу состарится, я отравлю его. И никем не заменю.

Молодой человек улыбнулся, не поворачивая головы.

— У вас хватило бы мужества отравить Феллоу?

— Да,— сказала она.— Но только тогда, когда он станет совсем старым и больным.

Он окинул ее беглым взглядом. Ему припомнились странные слухи, которые распространились после смерти старика Гупийо. Иногда он думал об этом. Чаще всего — чтобы посмеяться. Но порою Анна его пугала. «Она способна на все,— думал он.— На все, даже на то, чтобы отравить мужа, *ставшего совсем старым и больным...*»

Он спросил:

— Можно узнать — чем? Стрихнином? Цианистым кали?

— Нет... Каким-нибудь производным барбитуровой кислоты... Лучше всего дидиаллил. Но он включен в таблицу Б, для него нужен рецепт... Мы удовольствуемся простым диаллилом! Не правда ли, Феллоу?

Антуан засмеялся несколько неестественно:

— Не так-то легко найти правильную дозу!.. На один-два грамма больше или меньше — и неудача...

— Один-два грамма? Для собачонки, которая не весит и трех кило? Вы в этом ничего не смыслите, доктор!..— Она произвела краткий подсчет в уме и спокойно заявила: — Нет, для Феллоу будет вполне достаточно двадцати пяти сантиграммов диаллила, самое большее — двадцати восьми...

Она замолчала. Он тоже. Может быть, они думали об одном и том же? Нет, так как она прошептала:

— Я никогда никем не заменю Феллоу... Никогда... Тебя это удивляет? — Она снова прижалась к нему.— Я ведь могу быть верной, Тони, знаешь... Очень верной...

Машина замедлила ход, повернула и переехала через железнодорожное полотно.

Анна, глядя на дорогу, рассеянно улыбалась.

— В сущности, Тони, я родилась для того, чтобы посвятить себя великой единственной любви... Не моя вина, что мне пришлось жить, как я жила... Но, во всяком случае,— произнесла она с силой,— могу сказать одно: я никогда не опускалась... (Она говорила искренне, совсем забыв о Делорме.) И я ни о чем не жалею.

С минуту она молчала, прижавшись виском к плечу Антуана и смотря на потемневший подлесок, на тучи пляшущей мошкары, которые на ходу разрезала машина.

— Странно,— продолжала она.— Чем я счастливее, тем чувствую себя добрее... Бывают дни, когда мне так хочется принести себя в жертву чему-нибудь, кому-нибудь!

Он был поражен тоской, звучавшей в ее голосе. Он знал, что она говорит искренне, что роскошь, которая окружала ее, положение в свете — все, достигнутое в результате пятнадцати лет расчетов и ловкого маневрирования,— не дали ей ни успокоения, ни счастья.

Она вздохнула:

— Ты знаешь, с будущей зимы я решила начать новую жизнь... серьезную... полезную... Надо мне помочь, Тони. Обещаешь?

Это был план, о котором она очень часто заговаривала. Впрочем, Антуан считал ее вполне способной изменить свою жизнь. Наряду с пороками, она обладала большими достоинствами, была

наделена довольно живым практическим умом, стойкостью, способной выдержать любые испытания. Но для того, чтобы она преуспела и не сбивалась с пути, нужно было, чтобы при ней постоянно находился кто-нибудь, кто мог бы руководить ею и обезвреживать ее недостатки; кто-нибудь вроде него. Этой зимой он имел возможность познать меру своего влияния на нее, когда решил во что бы то ни стало заставить ее отказаться от морфия: он добился того, что она согласилась проделать в течение восьми недель курс очень тягостного лечения в одной сен-жерменской клинике, откуда вернулась совершенно разбитой, но радикально излеченной, и с тех пор уже не делала себе уколов. Нет сомнения, что он смог бы, если бы захотел, направить на какое-нибудь серьезное дело эту неиспользованную энергию. Стоит ему пальцем шевельнуть — и все будущее Анны может измениться... И, однако, он твердо решил не шевелить пальцем. Он слишком хорошо представлял себе, какие новые всепоглощающие заботы навалило бы на него подобное «спасение». Всякий жест обязывает, особенно — благородный жест... А ему надо было вести свою собственную жизнь, оберегать свою свободу. На этот счет он был непоколебим. Но всякий раз, размышляя об этом, он проникался волнением и грустью: ему казалось, что он как будто отворачивает голову, чтобы не видеть, как тянется к нему из воды рука утопающей...

В виде исключения «Серебряный петух» был в тот вечер наполовину пуст.

Когда машина остановилась, метрдотель, официанты и буфетчики бросились навстречу этим запоздавшим клиентам и торжественно повели их от боскета к боскету. Небольшой струнный оркестр, скрытый в зелени, начал приглушенно играть. Все, казалось, были участниками какой-то хорошо слаженной театральной постановки; и сам Антуан, идя вслед за Анной, двигался с уверенностью и естественностью актера, выходящего на сцену в выигрышной и хорошо заученной роли.

Столики были совсем отделены друг от друга кустами бирючины и жардиньерками с цветами. В конце концов после долгих колебаний Анна выбрала место и позаботилась прежде всего о том, чтобы устроить свою собачонку на подушке, которую управляющий любезно положил прямо на землю (подушке из розового кретона, потому, что в «Петухе» все было розовым — от грядок, усаженных мелкими бегониями, до скатертей, зонтиков и фонариков, висящих на деревьях).

Анна стоя методически изучала меню. Ей нравилось изображать гурманку. Метрдотель, окруженный официантами, молчал,

полный внимания, приложив к губам карандаш. Антуан ждал, пока она сядет. Анна повернулась к нему и рукой, с которой уже успела снять перчатку, указала на карточке меню выбранные ею блюда. Она воображала,— впрочем, так оно отчасти и было,— что он ревниво относится к своим прерогативам и будет недоволен, если она обратится непосредственно к услужающим.

Антуан передал им заказ тоном решительным и фамильярным, к которому он всегда прибегал в подобных случаях. Метрдотель записывал, всячески выражая знаками свое почтительное одобрение. Антуан смотрел, как он пишет. Ему приятна была угодливость персонала. Он был недалек от наивной веры — ведь это казалось ему так естественно! — в то, что эти люди и вправду чувствуют к нему расположение.

— О, какой очаровательный *pussy* [1],— воскликнула Анна, протягивая руку к маленькому черному бесенку, который только что вскочил на столик для посуды и которого негодующие официанты уже старались прогнать салфетками. Это был шестинедельный котенок, совсем черный, невероятной худобы, с раздутым брюшком и странными зелеными глазами, сидящими в его огромной голове, как в оправе.

Анна взяла его обеими руками и, смеясь, прижалась к нему щекой.

Антуан улыбался, хотя и был несколько раздражен.

— Да оставьте вы это блошиное гнездо, Анна... Он вас оцарапает.

— Нет, ты не блошиное гнездо... Ты милый прелестный *pussy,*— возражала Анна, прижимая к груди грязного зверька и поглаживая ему темечко кончиком подбородка.— А живот-то! Просто комод в стиле Людовика Пятнадцатого! А голова! Он похож на прорастающую луковицу... Вы замечали, Тони, какой забавный вид у прорастающих луковиц?

Антуан почел за благо рассмеяться — немного искусственным смехом. С ним это редко случалось; он с удивлением прислушался к самому себе; и внезапно ощутил всю особенность этого смеха. «Ну вот,— подумал он, и сердце его как-то странно сжалось,— я только что смеялся точь-в-точь как Отец...» Никогда в жизни не обращал Антуан внимания на то, как смеялся г-н Тибо, и вот, ни с того ни с сего, он сегодня вечером услышал этот смех, да еще из своих собственных уст.

Анна во что бы то ни стало хотела заставить противного зверька лежать у нее на коленях, как ни страдала от этого ее кремовая тафта.

---

[1] Котенок *(англ.).*

— Ах, паскудник! — говорила она в полном восторге.— Ну, помурлычьте, господин Вельзевул... Вот так... Он все понимает... Я уверена, что у него есть душа,— сказала она совершенно серьезно.— Купите мне его, Тони... Это будет наш амулет! Я чувствую, пока он будет у нас, с нами ничего худого не случится!

— Попались! — насмешливо сказал Антуан.— Посмейте-ка теперь утверждать, что вы не суеверны.

Он уже не раз дразнил ее по этому поводу. Она призналась ему, что зачастую вечером, когда ее одолевали дурные предчувствия, она в полном одиночестве бродила по комнате, будучи не в состоянии уснуть, и под конец вынимала из ящика, где хранились реликвии ее прошлого, старое руководство для гадания на картах и гадала себе до тех пор, пока не засыпала.

— Вы правы,— внезапно сказала она.— Я совершенная идиотка.

Она отпустила котенка, который сделал несколько неуверенных прыжков и исчез в кустах. Затем, убедившись, что они совсем одни, устремила свой взор прямо в глаза Антуана и прошептала:

— Ругай меня, я это обожаю... Увидишь, я буду тебя слушаться... Я исправлюсь... Я стану такой, как ты хочешь...

У него мелькнула мысль, что, может быть, она любит его больше, чем он того желал бы. Он улыбнулся и знаком велел ей есть суп, что она и сделала, опустив глаза, как маленькая девочка.

Потом она перевела разговор совсем на другое: на каникулы, которые она решила провести в Париже, чтобы не расставаться с Антуаном; потом на судебный процесс — убийство, наполовину политическое, наполовину из-за страсти, подробностями которого уже в течение многих дней заполнялись столбцы газет.

— Вот молодчина! Как бы я хотела совершить что-либо подобное! Ради тебя. Убить кого-нибудь, кто желал бы тебе зла!

В отдалении обе скрипки, виолончель и альт заиграли какой-то менуэт. Несколько мгновений она словно мечтала о чем-то, затем произнесла ласково и серьезно: — Убить из-за любви...

— У вас такая наружность, словно вы на это способны,— улыбнувшись, заметил Антуан.

Она уже собиралась ответить, но в это время метрдотель, перед тем как разрезать голубей, протянул ей, словно кадильницу, серебряный соусник, от которого поднимался аромат рагу из дичи.

Антуан заметил, что на ресницах ее блестят слезинки. Он вопросительно взглянул на нее. Уж не обидел ли он ее, сам того не желая?

— Быть может, вы более правы, чем сами думаете,— вздохнула она, не глядя на него, и это было так странно, что он не мог не подумать еще раз о Гупийо.

— В чем же прав? — спросил он с любопытством.

Пораженная его интонацией, она подняла глаза и уловила во взгляде Антуана смущение, которого сперва не сумела себе объяснить. Внезапно ей вспомнился их разговор насчет ядов, расспросы Антуана. Ей известны были все обвинения, которые предъявлялись ей в досужих сплетнях после смерти мужа; одна газета департамента Уазы позволила себе даже довольно прозрачные намеки, которые окончательно утвердили в тех местах легенду о старом архимиллионере, запертом у себя в замке молодой авантюристкой, на которой он женился уже в преклонном возрасте, и однажды ночью скончавшемся при обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными.

Антуан снова спросил, уже более твердым голосом:

— В чем же я прав?

— В том, что у меня наружность героини мелодрамы,— холодно ответила она, не желая дать ему заметить, что угадала его мысли. Вынув из сумочки зеркальце, она рассеянно смотрелась в него.— Взгляните... Разве я похожа на женщину, которая глупейшим образом умрет в своей постели? Нет. Я кончу жизнь как-нибудь трагически. Увидите! Однажды утром меня найдут распростертой посреди комнаты с кинжалом в груди... На ковре, обнаженную... и заколотую кинжалом... Кстати, я заметила: в книгах все героини, которых зовут Анна, всегда кончают жизнь от удара кинжалом... Знаете,— продолжала она, не отводя глаз от зеркальца,— я мучительно боюсь стать безобразной, когда умру... Бледные губы мертвецов — это так ужасно... Я непременно хочу, чтобы меня нарумянили. Я даже упомянула об этом в моем завещании.

Она говорила быстро, гораздо быстрее, чем обычно, слегка шепелявя при этом, как тогда, когда бывала чем-либо смущена. Кончиком носового платка она стряхнула слезинки, еще оставшиеся у нее между ресницами, затем провела по лицу пуховкой и снова спрятала платок и пуховку в сумочку, звонко щелкнув замком.

— В глубине души,— продолжала она (во время этого признания в ее красивом контральто внезапно зазвучали вульгарные нотки),— я ничего не имею против того, чтобы выглядеть героиней мелодрамы...

Она повернула наконец к нему лицо и заметила, что он продолжает внимательно наблюдать за нею. Тогда она медленно улыбнулась и, казалось, приняла решение.

— Моя наружность уже не раз подводила меня,— вздохнула она.— Вы знаете, что меня считали отравительницей?

Какую-то долю секунды Антуан колебался. Его веки дрогнули. Он откровенно заявил:

— Знаю.

Она положила локти на стол и, смотря любовнику прямо в глаза, произнесла как-то особенно протяжно:

— Ты считаешь, что я на это способна?

Тон ее был вызывающий, но взгляд она отвела, и теперь он был снова устремлен куда-то вдаль.

— Почему бы и нет? — сказал он полушутя-полусерьезно.

Несколько мгновений она молча глядела на скатерть. У нее мелькнула мысль, что это сомнение, может быть, придает известную остроту тому чувству, которое испытывает к ней Антуан, и на секунду у нее явилось искушение оставить его в неизвестности. Но когда она снова перевела на него взгляд, искушение прошло.

— Нет,— резко сказала она.— Действительность не столь... романтична: вышло так, что я была вдвоем с Гупийо в ночь, когда он умер; это правда. Но умер он, потому что час его пробил, и моей вины тут нет.

В молчании Антуана, в том, как он слушал, можно было усмотреть, что он ожидает более подробного рассказа. Она отодвинула тарелку, даже не притронувшись к ней, и достала из сумочки папиросу; Антуан, не шевелясь, смотрел, как она ее зажигает. Она часто курила эти папироски из табака, смешанного с чаем, которые она получала из Нью-Йорка и которые распространяли запах жженой травы, стойкий и едкий. Она несколько раз затянулась, медленно выпуская дым, и затем утомленно прошептала:

— Вас интересуют все эти старые истории?

— Да,— ответил он несколько более поспешно, чем сам того желал.

Она улыбнулась и пожала плечами, словно с его стороны это был каприз, не имеющий особого значения.

Мысли Антуана блуждали и путались. Разве Анна не сказала ему однажды: «Защищая себя в жизни, я привыкла лгать, и если ты заметишь, что я тебе лгу, ты мне скажи сразу и не ставь мне этого в вину». Он не знал, как поступить. Внезапно ему вспомнилась странная фамильярность, замеченная им в отношениях между Анной и мисс Мэри, гувернанткой маленькой Гюгеты. Он был совершенно уверен в том, что не ошибается насчет истинного смысла этой интимности. Однако, когда впоследствии он, улыбаясь, задал своей любовнице несколько прямых

вопросов на этот счет, Анна не только уклонилась от каких бы то ни было признаний, но даже запротестовала против подобных подозрений с негодованием и кажущейся искренностью, которые его совершенно сбили с толку.

— Да нет же! Никаких костей! Вы хотите, чтобы он подавился?

Официант только что поставил мисочку с похлебкой перед подушкой Феллоу и, стараясь изо всех сил угодить, намеревался положить туда еще голубинные косточки.

Немедленно подбежал метрдотель.

— Что прикажете, сударыня?..

— Ничего, ничего,— недовольно сказал Антуан.

Собачонка встала и принялась обнюхивать миску. Она вздрогнула, пошевелила ушами, несколько раз втянула в себя воздух и как бы с мольбой о помощи повернула к хозяйке свой плоский, похожий на трюфелину носик.

— Ну, что, в чем дело, мой маленький Феллоу? — спросила Анна.

— В чем дело, маленький *филер?* — эхом повторил метрдотель.

— Покажите-ка, что вы принесли,— обратилась она к официанту и тыльной стороной ладони дотронулась до миски.— Ну конечно, похлебка совсем простыла! Я же вам сказала: теплую... И совсем без жира,— добавила она строго, указывая пальцем на кусочек сала.— Рису, морковки и немного мелко нарезанного мяса. Право, это нехитрое дело!

— Унесите! — сказал метрдотель.

Официант взял миску, одно мгновение смотрел на похлебку, затем послушно отправился на кухню. Но прежде чем уйти, он на секунду поднял глаза, и взгляд Антуана встретился с его ускользающим взглядом.

Когда они остались одни, Антуан сказал ей с упреком:

— Дорогая, не находите ли вы, что господин Феллоу, пожалуй, слишком уж разборчив?..

— Этот официант просто идиот! — прервала его разгневанная Анна.— Вы видели? Он точно остолбенел перед миской.

Антуан тихо сказал:

— Он, может быть, думал, что в эту самую минуту где-нибудь в предместье, в каком-нибудь убогом чулане, его жена и ребятишки сидят за столом перед...

Горячая и трепетная рука Анны прикоснулась к его руке.

— Милый Тони, вы правы; это ужасно — то, что вы говорите... Но ведь вы же не хотите, чтобы Феллоу заболел? — Казалось, она действительно растерялась.— Ну вот, теперь вам

смешно! Слушайте, Тони, этому бедному малому надо дать на чай... Ему особо... И побольше... От Феллоу...

Несколько секунд она сидела в задумчивости, затем вдруг сказала:

— Представьте себе, мой брат тоже начал с того, что был официантом в ресторане... Да, официантом в одной венсенской закусочной.

— Я не знал, что у вас есть брат,— заметил Антуан. (Интонация и мимика его, казалось, говорили: «Впрочем, я вообще о вас так мало знаю...»)

— О, он далеко... Если еще жив... Он поступил в колониальные войска и уехал в Индокитай... Надо полагать, он там устроился. Я ни разу не получила от него известий...— Постепенно она снижала тон. На минорных нотах голос ее всегда был особенно волнующим. Она добавила еще: — Как глупо! Ведь я же отлично могла ему помочь.— И затем умолкла.

— Так что же? — снова начал Антуан после нескольких секунд молчания.— Он умер, когда вас не было рядом?

— Кто? — спросила она, и ее ресницы дрогнули. Эта настойчивость удивляла ее. И все же она испытывала удовлетворение оттого, что внимание Антуна было так поглощено ею. И вдруг, совершенно неожиданно, она принялась смеяться каким-то легким и искренним смехом.— Представь себе, глупее всего то, что меня обвиняли в поступках, которых я не совершала и которые у меня, может быть, никогда не хватило бы мужества совершить, и никто не узнал того, в чем я действительно виновата. Тебе я скажу все: я опасалась завещания, которое мог составить Гупийо; и вот в течение тех двух лет, когда он был в состоянии совершенной расслабленности, я, пользуясь доверенностью, которую мне удалось от него выманить с помощью одного нотариуса из Бовэ, самым спокойным образом присвоила себе значительную часть его состояния. Впрочем, зря, потому что завещание было составлено целиком в мою пользу. Гюгета получила только свою законную часть... Но я полагала, что после семи лет сплошного ада я имею право сама взять все, что захочу.— Перестав смеяться, она добавила с нежностью в голосе: — И ты, мой Тони, первый, кому я это рассказываю.

Внезапно она вздрогнула.

— Ты озябла? — спросил Антуан, ища глазами ее манто.

Ночь становилась прохладной, было уже поздно.

— Нет, пить хочется,— сказала она, протягивая свой бокал к ведерку с шампанским. Она жадно выпила вино, которое он ей налил, снова зажгла одну из своих едких папиросок и встала,

чтобы накинуть на плечи манто. Усаживаясь на место, она подвинула кресло так, чтобы быть совсем близко к Антуану.

— Слышишь? — сказала она.

Ночные бабочки порхали вокруг фонариков и ударялись о полотно тента. Оркестр замолк... В закрытом помещении ресторана большая часть окон погасла.

— Здесь хорошо, но я знаю одно место, где было бы еще лучше...— снова заговорила она, и взгляд ее был полон обещаний.

Он не отвечал, и она схватила его руку, положила ее на скатерть ладонью вверх. Он подумал, что она хочет ему гадать.

— Не надо,— сказал он, стараясь высвободить руку. (Ничто так не раздражало его, как предсказания: самые замечательные казались ему такими жалкими по сравнению с тем, что он предназначал себе в будущем!)

— Ну и глупый же ты! — бросила она ему, смеясь и не выпуская его руки.— Вот чего я хочу...

Она внезапно приникла к его ладони, впилась в нее губами и на минуту замерла без движения.

Он свободной рукой ласкал ее склоненный затылок, мысленно сравнивая ее слепую страсть к нему с тем спокойным и размеренным чувством, которое сам он питал к ней.

И тут, словно угадав, о чем он думает, Анна слегка приподняла голову:

— Я не прошу, чтобы ты любил меня, как я тебя люблю, я только прошу, чтобы ты позволил мне любить тебя...

XXVI

Собираясь выйти из дому, Ванхеде, как всегда по утрам, готовил себе на керосинке кофе, когда Жак, даже не зайдя к себе в комнату, чтобы оставить там вещи, постучался у его двери.

— Что нового в Женеве? — весело спросил он, бросая на пол свой саквояж.

Из глубины комнаты альбинос щурил глаза навстречу гостю, которого узнал по голосу.

— Боти! Уже вернулись? — И он подошел к Жаку, протягивая ему свои детские ручки.— Выглядите хорошо,— сказал он, пристально разглядывая путешественника.

— Да,— признал Жак.— Все в порядке!

Это была правда. Против всякого ожидания, ночь в дороге он провел более чем хорошо, она даровала ему подлинное избавление. Он был один в купе, смог улечься и почти тотчас же

уснул; проснулся он только в Кюлозе, отдохнувший, полный сил, даже в каком-то блаженном состоянии, словно от чего-то освобожденный. Стоя у окна и вдыхая полной грудью утренний воздух, он смотрел, как первые лучи солнца рассеивают в глубине долин последние клочья ваты, оставленные ночью, и размышлял о себе, стараясь понять, откуда взялась внутренняя радость, которая преисполняла его в это утро. «Конечно,— сказал он самому себе,— довольно путаться в хаосе идей и доктрин. Наконец-то открывается ясная цель: активная борьба против войны!» Да, пробил час испытаний, и именно теперь все должно было решиться. Но когда Жак подводил итог своим парижским впечатлениям, твердая позиция, занятая французскими социалистами, согласие между вождями, достигнутое благодаря влиянию Жореса и поддерживаемое его боевым оптимизмом, единство, намечавшееся в действиях профессиональных союзов и партий,— все это укрепляло его веру в непобедимую мощь Интернационала.

— Садитесь сюда,— сказал Ванхеде, оправляя простыни на неприбранной постели. (Он так и не мог решиться говорить Жаку «ты».)

— Разделим по-братски мой кофе... Ну что, все сошло хорошо? Рассказывайте. Что там обо всем этом говорят?

— В Париже? Как тебе сказать... Публика вообще ничего не знает, никто ни о чем не беспокоится. Просто поразительно: газеты занимаются только процессом Кайо, триумфальным путешествием господина Пуанкаре — и каникулами!.. Впрочем, говорят, французской прессе было рекомендовано не привлекать внимания к балканским делам, чтобы не затруднять работы дипломатов... Но в партии волнение ужасное! И, ей-богу же, работают здорово! Идея всеобщей забастовки вновь отчетливо выдвигается на первый план. Это будет французская платформа на Венском конгрессе. Конечно, весь вопрос в том, какую позицию займут социал-демократы: в принципе они согласны на новое обсуждение вопроса. Но...

— Новости из Австрии есть? — спросил Ванхеде, ставя на стол, заваленный книгами, стаканчик для зубной щетки, полный кофе.

— Да, в общем, неплохие новости, если они верные. Вчера вечером в «Юма» были уверены, что австрийская нота Сербии не будет иметь агрессивного характера.

— Боти,— внезапно сказал Ванхеде,— я очень рад, мне приятно вас видеть! — Он улыбнулся, как бы извиняясь, что перебил Жака, но тотчас же продолжал: — Сюда приезжал Бюльман. Он рассказал одну историю, которая исходит из кабинета имперского канцлера в Вене; судя по ней, у Австрии, наоборот, самые дья-

вольские намерения, и притом заранее обдуманные... Сплошное разложение! — мрачно заключил он.

— Да объясни же в чем дело, милый мой Ванхеде! — воскликнул Жак.

Его тон свидетельствовал не столько о любопытстве, сколько о хорошем настроении и дружеских чувствах. Ванхеде, видимо, почувствовал это, так как, улыбаясь, подсел к Жаку на кровать.

— А дело в том, что этой зимой, приглашенные к Францу-Иосифу врачи нашли у него болезнь дыхательных путей... Неизлечимую... И настолько опасную, что император не проживет и года.

— Ну что ж... царство ему небесное! — пробормотал Жак, который в настоящий момент не был склонен серьезно смотреть на вещи. Он обернул стакан носовым платком, чтобы не обжечь пальцы, и пил мелкими глотками мутную бурду, приготовленную Ванхеде. Поверх стакана он недоверчиво, но дружески поглядывал на приятеля, бледного, с всклокоченными волосами.

— Подождите,— продолжал Ванхеде,— сейчас будет самое интересное... Результаты осмотра будто бы немедленно были сообщены канцлеру... Тогда Берхтольд собрал у себя в имении разных государственных деятелей на секретное совещание — нечто вроде коронного совета.

— Ого,— сказал Жак, который стал находить рассказ забавным.

— Там эти господа, среди которых были Тисса, Форгач и начальник генерального штаба Гетцендорф, будто бы рассудили таким образом: смерть императора, принимая во внимание создавшееся положение, вызовет в Австрии серьезные внутриполитические осложнения. Даже если режим двуединой монархии устоит, Австрия окажется надолго ослабленной; Австрии придется надолго отказаться от мысли разгромить Сербию; а для будущего империи Сербию разгромить необходимо. Что же делать?

— Поторопиться с экспедицией против Сербии, прежде чем старик умрет? — сказал Жак, который теперь слушал внимательно.

— Да... Но некоторые идут еще дальше...

Жак наблюдал за Ванхеде, пока тот говорил, и, разглядывая его личико слепого ангела, снова и снова удивлялся контрасту между этой хрупкой телесной оболочкой и упрямой силой, которая таилась под ней и ощущалась порою как твердое ядро внутри бесцветной и рыхлой массы. «Крошка Ванхеде»,— подумал он с улыбкой. И он вспомнил, что по воскресеньям в деревенских гостиницах на берегу озера ему часто приходилось видеть, как альбинос внезапно выходил из-за стола, за которым велась

страстная политическая дискуссия: «Всюду низость, всюду разложение!» — и уходил в полном одиночестве, чтобы, как мальчишка, покачаться на качелях.

— ...Некоторые идут еще дальше,— продолжал Ванхеде писклявым голоском.— Они говорят, что сараевское убийство было организовано агентами Берхтольда, чтобы создать долгожданный повод! И что таким образом Берхтольд одним выстрелом убил двух зайцев: во-первых, избавился от ненадежного, слишком миролюбиво настроенного наследника и в то же время сделал возможной войну с сербами еще до смерти императора.

Жак смеялся.

— Ну и сказку же ты мне рассказываешь!...

— Вы не верите, Боти?

— О, я думаю, что от честолюбивого и испорченного жизнью политикана можно ожидать абсолютно всего,— серьезным тоном заметил Жак,— с той минуты, когда он почувствовал, что в его лапах сосредоточена вся полнота власти! История человечества —сплошная к этому иллюстрация... Но, милый мой Ванхеде, я верю и в то, что самые макиавеллиевские замыслы живо разобьются о всеобщую волю к миру!

— Полагаете вы, что Пилот тоже так думает? — спросил Ванхеде, тряхнув головой.

Жак вопросительно посмотрел на него.

— Я хочу сказать...— продолжал бельгиец словно нехотя,— Пилот не говорит «нет»... Но у него всегда такой вид, будто он не слишком верит в сопротивление народов, в их волю...

Лицо Жака помрачнело. Он хорошо знал, чем именно позиция Мейнестреля отличалась от его позиции. Но эта мысль была ему неприятна; он ее инстинктивно отстранил.

— Милый мой Ванхеде, эта воля существует! — сказал он с силой.— Я только что вернулся из Парижа и полон надежд. Можно смело сказать, что в настоящее время не только во Франции, но и повсюду в Европе среди людей, подлежащих мобилизации, нет даже десяти, даже пяти из ста, которые примирились бы с мыслью о войне!

— Но остальные девяносто пять — это пассивные люди, Боти, готовые всему покориться.

— Знаю. Но предположим, что из этих девяноста пяти найдется хотя бы дюжина, даже полдюжины, которые понимают опасность и готовы восстать; перед лицом правительства окажется целая армия непокорных!.. Вот к этой-то полдюжине на сто и надо обращаться, ее-то и нужно объединить для сопротивления. В этом нет ничего неосуществимого. И над этим-то и работают сейчас все революционеры Европы!

Он поднялся с места.

— Который час? — пробормотал он, взглянув на ручные часы.— Мне надо зайти к Мейнестрелю.

— Сейчас не выйдет,— заметил Ванхеде.— Пилот с Ричардли отправились в автомобиле в Лозанну.

— Вот как... Ты уверен?

— В девять часов у него назначена там одна встреча по делам съезда. Они не вернутся раньше двенадцати.

Жак, казалось, был недоволен.

— Ну ладно! Подожду до двенадцати... А ты что намерен делать сегодня утром?

— Собирался идти в библиотеку, но...

— Пойдем со мной к Сафрио; по дороге поболтаем. У меня есть для него письмо. В Париже я виделся с Негретто...— Жак поднял свой саквояж и направился к двери.— Обожди десять минут, я только побреюсь... И зайди за мной, когда спустишься вниз.

Сафрио один занимал небольшой трехэтажный домик на улице Пелиссье, недалеко от собора, в нижнем этаже помещалась его лавочка.

О прошлом Сафрио было известно немного. Его любили за добродушие, услужливость, о которой ходили легенды. Еще до приезда в Швейцарию он был членом Итальянской социалистической партии, а теперь уже семь лет жил в Женеве, держал аптекарский магазин. Он покинул Италию из-за каких-то неудач в супружеской жизни, о которых упоминал часто, но неопределенно; поговаривали, что они чуть не довели его до убийства.

Когда Жак и Ванхеде зашли в магазин, он был пуст. На звон колокольчика в дверях задней комнаты появился Сафрио. Его красивые черные глаза засветились каким-то теплым светом.

— *Buon giorno!* [1]

Он улыбался, кивая головой, округляя свои неровные плечи, разводя руками с заискивающей грацией итальянского трактирщика.

— У меня тут два земляка,— шепнул он на ухо Жаку.— Пойдемте.

Он всегда готов был приютить у себя итальянцев, объявленных вне закона у них на родине и подлежащих высылке из Швейцарии. (Женевская полиция, обычно весьма покладистая, периодически проникалась «очистительным» рвением, преходящим, но весьма неудобным, и изгоняла со своей территории не-

[1] Добрый день! *(итал.)*

которое количество иностранных революционеров, у которых не установилось с нею нормальных отношений. Чистка продолжалась с неделю, в течение которой непокорные обычно ограничивались тем, что покидали свои меблированные комнаты и переселялись в конуру к какому-нибудь приятелю. Затем снова наступало спокойствие. Сафрио был специалистом по оказанию подобного гостеприимства.)

Жак и Ванхеде последовали за ним.

За лавкой открывалось помещение, ранее служившее погребом и отделенное от магазина узенькой кухней. Эта комната очень напоминала тюремную камеру: потолок был сводчатый, решетчатое оконце, выходящее на пустынный двор, давало слабый верхний свет, но местоположение делало эту комнату надежным убежищем, там могло поместиться довольно много народу, и Мейнестрель иногда пользовался ею для небольших приватных собраний. Одну стену сплошь занимали полки, уставленные старой аптекарской утварью, флаконами, пустыми банками, непригодными к делу ступками. На верхней полке красовалась литография с изображением Карла Маркса под надтреснутым стеклом, серым от пыли.

Действительно, тут находились двое итальянцев. Один из них, оборванный, как бродяга, сидел за столом перед тарелкой холодных макарон под томатным соусом, которые он выковыривал кончиком ножа и распластывал на краюхе хлеба. Он окинул посетителей кротким взглядом раненого зверя и снова принялся за еду.

Другой, постарше и лучше одетый, стоял с какими-то бумагами в руках. Он пошел навстречу вновь прибывшим. Это был Ремо Тутти, которого Жак знал по Берлину как корреспондента итальянских газет. Он был мал ростом, несколько слабого сложения, с живыми глазами и умным взглядом.

Сафрио пальцем указал на Тутти.

— Ремо приехал вчера из Ливорно.

— Я только что вернулся из Парижа,— сказал Жак, обращаясь к Сафрио и вынимая из бумажника письмо.— Там я встретил одного человека,— угадай кого,— который просил меня передать тебе это письмо.

— Негретто! — воскликнул итальянец, радостно хватая конверт.

Жак сел и повернулся к Тутти.

— Негретто сказал мне, что в Италии уже две недели тому назад под предлогом летних маневров собрали и вооружили восемьдесят тысяч резервистов. Это правда?

— Во всяком случае,— тысяч пятьдесят пять или шестьдесят...

Si...[1] Но Негретто, может быть, не знает, что в армии происходят серьезные волнения. Особенно в северных гарнизонах. Очень много случаев неповиновения. Командиры ничего не могут поделать. Они почти отказались от применения взысканий.

В тишине раздался певучий голос Ванхеде:

— Вот так. Неподчинением! Без насильственных мер! И на земле больше не будет убийств...

Все улыбнулись. Не улыбался только Ванхеде. Он покраснел, скрестил свои ручки и замолк.

— Так что же,— сказал Жак,— у вас в случае мобилизации дело гладко не сойдет?

— Можешь быть спокоен! — решительно сказал Тутти.

Сафрио поднял нос от своего письма.

— Когда у нас пытаются насаждать милитаризм, весь народ — социалисты и несоциалисты — все против!

— Мы имеем перед всеми вами одно преимущество: опыт,— объяснил Тутти, очень хорошо говоривший по-французски.— Для нас триполитанская экспедиция — вчерашний день. Теперь народ научен горьким опытом: он знает, что получается, когда власть передают военным!.. Я говорю не только о страданиях тех несчастных, которые сражаются, но ведь зараза тотчас же охватывает всю страну: фальсификация новостей, националистическая пропаганда, отмена гражданских свобод, вздорожание жизни, жадность *profittori...*[2] Италия только что проделала этот путь. Она ничего не забыла. При угрозе мобилизации у нас партии легко было бы организовать новую Красную неделю.

Сафрио между тем заботливо складывал письмо. Он спрятал конверт у себя на груди под рубашкой и, подмигнув, склонил над Жаком свое красивое смуглое лицо.

— *Grazie!*[3]

Юноша, сидевший в глубине просторной комнаты, поднялся с места. Схватив со стола бутыль из пористой глины, где вода сохранялась очень холодной, он приподнял ее обеими руками и некоторое время пил из нее, делая большие глотки.

— *Basta!*[4] — сказал, смеясь, Сафрио. Он подошел к молодому человеку и дружески схватил его за шиворот.— Теперь пойдем наверх. Там ты поспишь, товарищ...

Итальянец послушно последовал за ним на кухню. Проходя мимо остальных, он попрощался с ними изящным кивком головы.

---

[1] Да *(итал.)*.
[2] Наживающихся на войне *(итал.)*.
[3] Благодарю! *(итал.)*
[4] Довольно! *(итал.)*

Прежде чем выйти, Сафрио повернулся к Жаку.

— Можешь быть уверен, что предупреждения нашего Муссолини в «Аванти» дошли по адресу! Король и правительство теперь отлично поняли, что народ никогда не поддержит никакой агрессивной политики!

Слышно было, как они поднимались по лесенке, ведшей на второй этаж.

Жак размышлял. Он отбросил упавшую на лоб прядь волос и взглянул на Тутти.

— Надо заставить это понять,— я не скажу — правителей, которым все известно лучше даже, чем нам,— но некоторые националистические круги Германии и Австрии, которые еще рассчитывают на Тройственный союз и толкают свои правительства на авантюры... Ты все еще работаешь в Берлине? — спросил он.

— Нет,— лаконически отрезал Тутти. Его тон, загадочная улыбка, мелькнувшая во взгляде, ясно говорили: «Не расспрашивай... Секретная работа...»

Вошел Сафрио. Он качал головой и посмеивался.

— Эти ребята — ну и ну! — обратился он к Ванхеде.— До того доверчивы! Еще один попался на удочку провокатору... На его счастье, у него ноги профессионального бегуна... И к тому же адрес папаши Сафрио.— Он весело повернулся к Жаку.— Ну что, Тибо, ты вернулся из Парижа, и у тебя осталось от поездки хорошее впечатление?

Жак улыбнулся.

— Более чем хорошее! — произнес он с жаром.

Ванхеде пересел на другой стул, рядом с Жаком и спиной к окну. Когда свет бил ему в лицо, он страдал, как ночная птица.

— Я встречал не только французов,— продолжал Жак,— я виделся и с бельгийцами, немцами, русскими... Революционеры всюду начеку. Все поняли, что грозит серьезная опасность. Всюду объединяются, ищут какой-то общей программы. Сопротивление организуется, начинает облекаться плотью. Движение единодушное, распространилось быстро — меньше чем в неделю; это отличный признак! Видно, какие силы может поднять Интернационал, когда хочет. А ведь то, что было сделано за последние несколько дней по всем столицам,— все эти разрозненные, несогласованные действия,— еще ничто по сравнению с тем, что предполагается! На будущей неделе в Брюсселе будет созвано Международное социалистическое бюро...

— *Si, si...*— одновременно подтвердили Тутти и Сафрио, не сводя своих пылких взоров с оживленного лица Жака.

Альбинос тоже, щуря глаза, повернулся, чтобы лучше видеть Жака, сидевшего рядом с ним. Он протянул руку через спинку его

стула и положил ее на плечо друга,— впрочем, так легко, что тот даже не почувствовал этого.

— Жорес и его группа придают этому совещанию огромное значение. Делегаты от двадцати двух стран. И ведь эти делегаты представляют не только двенадцать миллионов рабочих — членов партии, но фактически также миллионы других, всех сочувствующих, всех колеблющихся и даже тех из наших противников, кто перед лицом военной опасности отлично понимает, что один лишь Интернационал может воплотить в себе волю масс к миру и заставить ей подчиниться... В Брюсселе мы переживем неделю, которая войдет в историю. В первый раз в истории человечества можно будет услышать голос народа, голос подлинного большинства. И народ добьется, чтобы ему подчинились.

Сафрио беспокойно ерзал на стуле.

— Браво! Браво!

— Надо заглядывать и дальше,— продолжал Жак; он уступил желанию укрепить свою собственную веру, выражая ее в словах.— Если мы победим — будет не только выиграна великая битва против войны. Нет, гораздо больше. Это будет победа, благодаря которой Интернационал...— В этот момент Жак заметил, что Ванхеде опирается на его плечо, так как маленькая рука приятеля начала дрожать. Он повернулся к альбиносу и хлопнул его по колену.— Да, малыш Ванхеде! Может быть, мы подготовляем без ненужного насилия не более не менее, как торжество социализма во всем мире!.. А теперь,— добавил он, резко поднявшись со стула,— пойдем посмотрим, не возвратился ли Пилот!

Было еще слишком рано, вряд ли Мейнестрель мог быть уже дома.

— Пойдем посидим немножко в «Виноградной беседке»,— предложил Жак, беря альбиноса под руку, но Ванхеде покачал головой. Довольно бездельничать.

С тех пор как он поселился в Женеве, чтобы не расставаться с Жаком, он отказался от переписки на машинке и специализировался на исторических изысканиях. Эта работа хуже оплачивалась, но зато он был сам себе хозяином. И вот уже два месяца окончательно портил себе зрение, подбирая тексты для издания «Документов о протестантизме», предпринятого одним лейпцигским издателем.

Жак проводил его до библиотеки. А потом, проходя мимо кафе «Ландольт» (как и «Грютли», оно было облюбовано социалистической молодежью), решил зайти туда.

С удивлением он обнаружил там Патерсона. Англичанин, оде-

тый в теннисные брюки, развешивал картины для выставки, которую хозяин кафе разрешил ему устроить в своем заведении.

Патерсон был, видимо, в ударе. Только что он отверг одно великолепное предложение. Некий овдовевший американец, мистер Секстон У. Клегг, восхищенный его натюрмортами, предложил ему пятьдесят долларов за портрет миссис Секстон У. Клегг, погибшей при извержении Мон-Пеле. Портрет во весь рост, в натуральную величину надо было писать с выцветшей фотографии размером в визитную карточку. Безутешный вдовец оказался особенно требовательным в одном пункте: туалет миссис Секстон У. Клегг должен был быть видоизменен согласно самым последним требованиям парижской моды. Патерсон всячески острил на эту тему.

«Пату— единственному из нас — свойственна настоящая веселость, непосредственная, внутренняя»,— думал Жак, глядя, как молодой англичанин покатывается со смеху.

— Я тебя немного провожу, друг,— сказал Патерсон, узнав, что Жак направляется к Мейнестрелю.— На этих днях я получил из Англии довольно интересные письма. В Лондоне говорят, что Холден потихоньку собирает хороший экспедиционный корпус. Он хочет быть готовым ко всему... И флот тоже мобилизован... Кстати, о флоте,— ты читал газеты? — смотр в Спитхеде! Все морские и военные атташе Европы были торжественно приглашены смотреть, как в течение шести часов у них под носом проходят военные корабли — под британским флагом один за другим, как можно ближе друг к другу,— знаешь совсем как вереницы гусениц весной... Поистине *attractive exibition* [1] не правда ли?.. *Boast! Boast!* [2] — закончил он, пожимая плечами. В его сарказмах, несмотря ни на что, сквозила гордость. Жака это позабавило, но он не показал вида: «Англичанин, даже социалист, не может оставаться равнодушным, когда речь идет о хорошо поставленном морском спектакле».

— А наш портрет? — спросил Патерсон, прощаясь с Жаком.— Над этим портретом, друг, словно тяготеет какой-то злой рок. Еще каких-нибудь два утра. Не больше. Честное слово! Два утра... Но когда?

Жаку хорошо было известно упорство англичанина. Лучше уступить и покончить с этим как можно скорее.

— Хочешь — завтра? Завтра в одиннадцать?

— *All right!* [3] Ты, Джек, действительно добрый друг!

---

[1] Хорошенькая выставка *(англ.)*.
[2] Блеф, блеф *(англ.)*.
[3] Ладно *(англ.)*.

Альфреда была одна. Ее кимоно в крупных цветах, ее гладкая черная, словно лакированная челка и ресницы делали ее слишком похожей на японскую куклу, чтобы можно было поверить в непреднамеренность этого. Вокруг нее в полосах солнечного света, проникавшего сквозь щели ставен, роем кружились мухи. Квартиру наполнял неприятный запах цветной капусты, которая шумно кипела на кухне.

Она, видимо, была очень рада видеть Жака.

— Да, Пилот вернулся. Но он только что передал мне через Монье, что получены новости и что они с Ричардли заперлись в «Локале», и мне надо идти к нему со своей машинкой... Позавтракай со мною,— предложила она, и ее лицо внезапно приняло серьезное выражение.— А потом отправимся вместе.

Она смотрела на него красивыми диковатыми глазами, и у него возникло впечатление,— правда, очень смутное,— что она решилась сделать ему это предложение не просто из любезности. Намеревалась ли она расспрашивать его? Или хотела что-то рассказать?.. Его совсем не устраивало сидеть здесь вдвоем с этой молодой женщиной, и к тому же он хотел поскорее увидеть Мейнестреля.

Он отказался.

Пилот работал с Ричардли в своем маленьком кабинете в «Говорильне».

Они были одни. Мейнестрель стоял за спиной Ричардли, сидевшего у стола; оба склонились над лежавшими перед ними документами.

Когда Мейнестрель увидел Жака, глаза его засветились дружелюбным удивлением. Затем его острый взгляд стал неподвижным: какая-то мысль возникла у него в голове. Он наклонился к Ричардли, словно спрашивая о чем-то, и движением подбородка указал ему на Жака:

— Кстати, раз он возвратился, почему бы не его?

— Конечно,— одобрил Ричардли.

— Садись,— сказал Мейнестрель.— Сейчас мы кончим.— Он опять обратился к Ричардли.— Пиши... Это к швейцарской партии.— И сухим, бесцветным голосом стал диктовать: — «Вопрос поставлен неправильно. Проблема заключается не в этом. Маркс и Энгельс в свое время могли становиться на сторону той или иной нации. Мы не можем. В тысяча девятьсот четырнадцатом году мы, социалисты, не имеем права делать какое бы то ни было различие между европейскими державами. Война, которая угрожает разразиться,— это война империалистическая. У нее нет иных целей,

кроме тех, к которым стремится финансовый капитал. В этом смысле все нации находятся в одинаковом положении. Единственной целью пролетариата должно быть поражение всех империалистических правительств без различия. Мое мнение таково: *абсолютный нейтралитет...»* Подчеркни... «В этой войне обе группировки капиталистических держав будут пожирать друг друга. Наша тактика — предоставить им заниматься самоуничтожением. Помочь им пожирать друг друга». Нет, зачеркни эту фразу. «...Использовать обстоятельства. Динамика общественного развития направлена влево. Революционное меньшинство всех стран должно работать над увеличением этих динамических сил в критический период, чтобы в подходящий момент пробить брешь, через которую ворвется революция».

Он замолк. Прошло несколько секунд.

— Почему Фреда не идет? — произнес он скороговоркой. Он взял со стола блокнот и принялся делать краткие заметки на клочках бумаги, передавая их Ричардли.

— Это — для комитета... Это — в Берн и Базель... Это — в Цюрих.

Наконец он встал и подошел к Жаку.

— Так ты, значит, вернулся?

— Вы мне сказали: «Если в воскресенье или понедельник ты от меня ничего не получишь...»

— Правильно. След, который я имел в виду, никуда нас не привел. Но я как раз собирался написать тебе, чтобы ты оставался в Париже.

Париж... Жака охватило неожиданное волнение, проанализировать которое у него не было времени. В припадке немного малодушной слабости, словно отказываясь от какой-то борьбы, словно перекладывая на кого-то другого тяжесть некоей ответственности, он внезапно подумал: «Они сами этого захотели».

Мейнестрель продолжал:

— В настоящий момент нам удобно будет иметь там человека. Заметки, которые ты посылаешь, небесполезны. Они характеризуют температуру среды, которая мне плохо известна. Наблюдай за тем, что происходит в «Юма» еще внимательнее, чем за тем, что делается в ВКТ[1]. Насчет ВКТ у нас есть и другие источники информации... Следи, например, за сношениями Жореса с соцдемами, с англичанами. За его демаршами на Кэ-д'Орсе по линии отношений между Францией и Россией... Да я тебе уже все это говорил... Ты приехал сегодня утром? Не устал?

— Нет.

---

[1] Всеобщая конфедерация труда.

— Можешь ты опять ехать?

— Сейчас?

— Сегодня вечером.

— Если необходимо, поеду. В Париж?

Мейнестрель улыбнулся.

— Нет. Придется сделать небольшой крюк: Брюссель, Антверпен... Ричардли тебе растолкует...— Вполголоса он дабавил: — Ведь она должна была прийти сейчас же после завтрака!

Ричардли закрыл железнодорожный указатель, который он просматривал, и поднял к Жаку свою острую мордочку:

— Есть подходящий поезд сегодня вечером в девятнадцать пятнадцать; в Базеле ты будешь в два часа утра, а в Брюсселе — завтра около полудня. Оттуда отправишься в Антверпен. Тебе надо там быть завтра, в среду, не позже трех часов дня... Эта миссия требует кое-каких предосторжностей, потому что дело во встрече с Княбровским, а за ним наблюдают... Ты его знаешь?

— Княбровского? Да, отлично знаю.

Жак слышал о нем во всех революционных кругах еще до того, как встретился с ним. Владимир Княбровский отбывал тогда последние месяцы заключения в русской тюрьме. Как только его освободили, он возобновил агитационную работу. Этой зимой Жак встретился с ним в Женеве, и с помощью Желявского он даже перевел для швейцарских газет отрывки из книги, которую Княбровский написал во время заключения.

— Смотри, будь осторожен,— сказал Ричардли.— Он теперь обрит наголо, и, говорят, стал совсем на себя непохож.

Он стоял, слегка склонившись вбок, сложив тонкие губы в неизменную улыбку, и смотрел на Жака своим умным, самоуверенным взглядом.

Мейнестрель, заложив руки за спину, с озабоченным видом прохаживался взад и вперед по узкой комнате, чтобы восстановить кровообращение в больной ноге. Внезапно он повернулся к Жаку:

— В Париже все были безрассудно уверены в том, что Австрия проявит умеренность, не правда ли?

— Да. Вчера в «Юма» говорили, что австрийская нота даже не требует ответа к определенному сроку...

Мейнестрель подошел к окну, поглядел во двор и, снова приблизившись к Жаку, сказал:

— Ну, это еще вопрос!...

— Вот как?..— пробормотал Жак. Легкая дрожь пробежала по всему телу, и на лбу выступило несколько капелек пота.

Ричардли холодно отметил:

— Хозмер был совершенно прав. События развиваются очень быстро.

На минуту наступило молчание. Пилот снова принялся ходить взад и вперед. Он явно нервничал... «Из-за Австрии? — думал Жак.— Или из-за отсутствия Альфреды?»

— Вайян и Жорес правы,— сказал он.— Надо, чтобы правительства оставили всякую надежду на то, что массы примирятся с их милитаристской политикой. Надо заставить их согласиться на посредничество! Угрозой всеобщей забастовки! Вы сами видели — неделю назад эта резолюция была принята на съезде французской партии огромным большинством голосов. Впрочем, насчет самого принципа разногласий вообще нет. Но в Париже ищут способа убедить немцев и добиться, чтобы они высказались так же категорично, как мы.

Ричардли покачал головой.

— Они никогда не согласятся... Их довод — старый довод Плеханова и Либкнехта — довольно веский: когда речь идет о двух странах, из которых в одной социалистическое движение сильнее, чем в другой, первая в случае забастовки будет с головою выдана второй. Это очевидно.

— Немцы находятся под гипнозом русской опасности...

— Понятно! Другое дело, когда Россия разовьется внутриполитически настолько, что забастовка станет возможной одновременно в обеих странах!..

Жак не уступал:

— Во-первых, сейчас нельзя говорить с уверенностью, что в России забастовка невозможна,— во всяком случае, частичные забастовки, как, например, те, что были на Путиловском заводе; распространившись на другие центры, они могли бы очень помешать махинациям военной партии... Но оставим Россию. Есть совершенно ясный аргумент, который можно противопоставить национальным антипатиям немецких социал-демократов. Им надо сказать: «Приказ о всеобщей забастовке, отданный чисто механически в день мобилизации, явился бы для Германии гибельным. Пусть так. Но превентивная забастовка? Которую социалисты могли бы объявить в период, когда отношения между державами только натянуты, в период дипломатического призиса, задолго до того, как речь зайдет о мобилизации? Так вот, одна угроза подобного потрясения в жизни страны, если бы такая угроза была серьезна, могла бы заставить ваше правительство согласиться на посредничество...» Перед этим аргументом возражения немцев были бы бессильны. А насколько мне известно, такова именно платформа, которую французская партия будет защищать на совещании Бюро в Брюсселе.

Мейнестрель стоял у стола, склонив голову над бумагами, и, казалось, ни на мгновение не заинтересовался спором. Он вы-

прямился, подошел к Жаку и Ричарди и встал между ними. На его губах играла лукавая усмешка.

— А теперь, ребята, выкатывайтесь. Мне надо поработать. Побеседуем потом. Возвращайтесь оба в четыре часа.— Он бросил почти тревожный взгляд на окна.— Не понимаю, почему Фреда...— Затем обратился к Ричардли: — Во-первых, дай Жаку самые точные указания, как ему встретиться с Княбровским. Во-вторых, урегулируй с ним денежный вопрос: ведь он будет в отсутствии недели две или три...

Говоря это, он подталкивал их к двери и захлопнул ее, когда они вышли.

XXVII

Антверпен жарился под убийственными лучами послеполуденного солнца, словно какой-нибудь город в Испании.

Прежде чем выйти на панель, Жак, зажмурив глаза от ослепительного света, посмотрел на вокзальные часы: десять минут четвертого. Амстердамский поезд должен был прийти в три часа двадцать три минуты; самое лучшее — поменьше маячить у всех на глазах в здании вокзала.

Переходя через улицу, он быстро оглядывал людей, сидевших за столиками на террасе пивной напротив. Видимо, успокоенный этим осмотром, он занял свободный столик в стороне от прочих и заказал пива. Несмотря на то что была середина дня, привокзальная площадь казалась почти пустой. Придерживаясь затененного тротуара, все пешеходы делали один и тот же крюк, словно муравьи. Трамваи, которые подъезжали сюда со всех концов города, таща под собой свою черную тень, встречались на перекрестке, и их раскаленные солнцем колеса визжали на повороте.

Три двадцать. Жак поднялся и взял влево, чтобы зайти в здание вокзала с бокового фасада. В зале для ожидающих народу было немного. Старый, неряшливо одетый бельгиец в форменной фуражке поливал из лейки пол, чертя восьмерки на запыленных плитах.

Наверху, на эстакаде, поезд приближался к платформе.

Когда пассажиры стали спускаться вниз, Жак, продолжая читать газету, подошел к подножию большой лестницы и, не разглядывая никого в упор, стал рассеянно смотреть на проходящую публику. Мимо него прошел человек лет пятидесяти; на нем был серый полотняный костюм, под мышкой — пачка газет. Поток пассажиров быстро иссяк. Вскоре не осталось никого, кроме за-

поздавших: нескольких старух, которые с трудом спускались по ступеням.

Тогда, как будто тот, кого он поджидал, не приехал, Жак повернулся и неторопливым шагом вышел из вокзала. Только очень ловкий и опытный полицейский агент заметил бы взгляд, который он кинул через плечо, прежде чем сойти с тротуара.

Он снова направился по улице Кайзера до улицы Франции, поколебался немного, словно турист, размышляющий, куда бы ему двинуться, повернул направо, прошел мимо Оперного театра, на мгновение задержавшись там, чтобы пробежать глазами афишу, и без излишней торопливости зашел в один из скверików перед Дворцом правосудия. Там, заметив пустую скамью, он почти упал на нее и вытер платком лоб.

В аллее, не обращая внимания на жару, играла в мяч гурьба мальчишек. Жак вынул из кармана несколько сложенных вместе газет и положил их рядом с собой на скамейку. Затем закурил папиросу. И так как мячик подкатился к его ногам, он, смеясь, схватил его. Дети с криком окружили Жака. Он бросил им мяч и принял участие в игре.

Через несколько минут на край скамейки присел другой прохожий. В руке у него было несколько небрежно сложенных газет. С уверенностью можно было сказать, что это иностранец, и почти наверняка славянин. Низко надвинутая на лоб кепка скрывала верхнюю половину лица. Солнце бросало два светлых пятна на плоские скулы. Лицо было бритое — лицо уже пожилого человека, изборожденное морщинами, энергичное. Загорелая кожа цвета хлебной корки своеобразно гармонировала с глазами; под кепкой настоящий цвет их разобрать было трудно, но они были светлые, голубые или серые, и странно лучистые.

Человек вынул из кармана небольшую сигару и, повернувшись к Жаку, вежливо дотронулся до козырька своей кепки. Чтобы зажечь сигару о папиросу Жака, ему пришлось наклониться, опираясь о скамейку рукой, державшей газеты. Их взоры скрестились. Человек выпрямился и снова положил газеты к себе на колени. Он очень ловко взял газеты соседа, оставив свои на скамейке рядом с Жаком, который тотчас же небрежным движением положил на них руку.

Глядя куда-то вдаль, не шевеля губами, голосом едва различимым — деревянным голосом чревовещателя, которым научаются говорить в тюрьмах,— человек прошептал:

— Конверт в газетах... Там же последние номера «Правды»...

Жак даже глазом не моргнул. Он продолжал самым естественным образом забавляться с детьми. Он далеко бросал мяч; дети устремлялись за ним; завязывалась схватка, веселая борь-

ба; поймавший мяч с торжеством приносил его обратно, и игра возобновлялась.

Человек смеялся, и казалось, все это его тоже забавляло. Вскоре дети стали передавать мяч ему, потому что он бросал его дальше, чем Жак. И как только оба они оставались вдвоем, Княбровский пользовался этим и говорил, не разжимая зубов, короткими обрывистыми фразами, глухо, торопливо, но горячо.

— В Петербурге... В понедельник сто сорок тысяч забастовщиков... Сто сорок тысяч... Во многих кварталах — осадное положение... Телефонное сообщение прервано, трамваи стоят... Кавалергарды... Вызвали четыре полка с пулеметами... Казацкие полки, части...

Дети вихрем налетели на них, и конец его фразы превратился в кашель.

— Но полиция, генералы ничего не могут поделать...— продолжал он, забросив мяч на середину лужайки.— Волнения идут одно за другим. Правительство роздало к приезду Пуанкаре французские флаги,— женщины сделали из них красные знамена. Конные атаки, расстрелы... Я видел бой на Выборгской стороне... Ужасно!.. Потом у Варшавского вокзала... Потом в Старой Деревне. Потом ночью, в...

Он опять замолчал из-за детей. И внезапно с какой-то жадной нежностью схватил самого маленького, бледного, белокурого мальчугана лет четырех-пяти, смеясь, покачал его у себя на коленях и крепко поцеловал прямо в губы; потом опустил ошеломленного малыша на землю, взял мяч и бросил его.

— Забастовщики безоружны... Булыжники, бутылки, бидоны с керосином... Чтобы задержать полицию, они поджигают дома... Я видел, как горел Сампсониевский мост... Всю ночь повсюду пожары... Сотни убитых... Сотни и сотни арестованных... Все под подозрением... Наши газеты запрещены уже с воскресенья... Редакторы в тюрьме... Это революция... Да и пора: иначе была бы война... Твой Пуанкаре подгадил нам, здорово подгадил...

Обратив лицо в сторону лужайки, где суетилась детвора, он старался делать вид, что смеется, но ему удавалось только сложить губы в какую-то угрюмую усмешку.

— Теперь я пойду,— мрачно произнес он.— Прощай!

— Да,— сказал Жак. Это слово вырвалось вместе со вздохом. Хотя кругом никого не было, затягивать свидание не имело смысла. Подавленный, он прошептал: — Ты возвращаешься... туда?

Княбровский ответил не сразу. Наклонив туловище, упираясь локтями в колени, устало опустив плечи, он созерцал песок дорожки у своих ног. Казалось, его поникшее тело поддалось внезапной слабости. Жак заметил по обеим сторонам его рта глубокие

складки, проведенные самой жизнью и говорившие о покорности судьбе — или, вернее, о неистощимом терпении.

— Да, туда,— сказал он, поднимая голову. Взгляд его окинул пространство, сад, дальние фасады домов, синее небо и нигде не задержался; в нем было отрешенное и вместе с тем полное решимости выражение человека, готового на любые безумства.— Морем... из Гамбурга... Я знаю способ перейти границу... Но там, знаешь ли, нам становится трудно...— Не торопясь, он встал со скамейки.— Очень трудно.

И, наконец-то переведя свой взгляд на Жака, он вежливо дотронулся до козырька своей кепки, как случайный сосед, которому пора уходить. Глаза их встретились,— это было тревожное братское прощание.

— В добрый час! [1]— шепнул он перед уходом.

Ребятишки провожали его смехом и криками, пока он не вышел за ограду. Жак следил за ним глазами. Когда русский скрылся из виду, он сунул в карман пачку газет, оставшуюся на скамейке, и, поднявшись, в свою очередь, мирно продолжал прогулку.

В тот же вечер, зашив в подкладку своего пиджака конверт, полученный от Княбровского, он сел в Брюсселе на парижской поезд. А на следующий день, в четверг, рано утром секретные документы были переданы Шенавону, который вечером должен был быть в Женеве.

XXVIII

В этот же четверг, 23-го, Жак с утра направился в кафе «Прогресс» почитать газеты; он расположился в нижнем зале, чтобы ему не помешала «говорильня» на антресолях.

Отчет о процессе г-жи Кайо целиком заполнял первую страницу почти всех газет.

На второй и третьей странице некоторые газеты решились дать краткое сообщение о том, что в Петербурге забастовало несколько заводов, но что рабочие волнения были тотчас же прекращены благодаря энергичному вмешательству полиции. Зато целые страницы были посвящены описанию празднеств, данных царем в честь г-на Пуанкаре.

Что же касается австро-сербских «разногласий», то на этот счет пресса высказывалась как-то неопределенно. Одна заметка,

[1] В подлиннике по-русски.— *Ред.*

видимо официозная, потому что она была всюду перепечатана, указывала, будто в русских правительственных кругах полагают, что в ближайшее время будет достигнуто дипломатическим путем некоторое ослабление напряженности. Большая часть газет высказывала в весьма любезной форме полное доверие к Германии, которая во время балканского кризиса всегда умела внушить умеренность своему австрийскому союзнику.

Лишь «Аксьон франсез» открыто выражала беспокойство. Для нее это был прекрасный случай более резко чем когда-либо выставить напоказ всю специфическую слабость республиканского правительства в вопросах внешней политики и заклеймить «антипатриотизм» левых партий. Особенно доставалось социалистам. Не довольствуясь своими каждодневными — на протяжении ряда лет — утверждениями, что Жорес предатель, продавшийся Германии, Шарль Моррас, выведенный из себя громкими призывами к интернациональной солидарности и миру, непрерывно исходившими от «Юманите», теперь, казалось, почти открыто взывал к какой-нибудь новой Шарлотте Корде, чей кинжал должен был бы освободить Францию от Жореса. «Мы никого не хотим призывать к политическому убийству,— писал он осторожно и вместе с тем дерзновенно,— но пусть г-н Жорес трепещет! Его статья способна внушить какому-нибудь безумцу желание разрешить посредством эксперимента вопрос, не изменится ли кое-что в неизбежном порядке вещей, если г-н Жан Жорес разделит судьбу г-на Кальмета». Кадье, спускавшийся вниз, быстро прошел мимо.

— Ты не поднимешься? Там идет жаркая дискуссия... Очень интересно: приехал из Вены один австриец, товарищ Бем, посланный сюда по партийному делу... Он говорит, что австрийская нота будет направлена в Белград сегодня вечером... Как только Пуанкаре покинет Петербург.

— Бем — в Париже? — спросил Жак, тотчас же вскакивая с места. Он обрадовался при мысли, что может снова увидеться с этим австрийцем.

Он поднялся по маленькой винтовой лестнице, толкнул дверь и действительно увидел товарища Бема, который спокойно сидел перед кружкой пива, положив себе на колени сложенный желтый макинтош. Его окружили, забрасывая вопросами, человек пятнадцать партийных активистов; он методически отвечал, жуя, как всегда, кончик сигары.

Жака он встретил дружеским подмигиванием, словно расстался с ним только вчера.

Привезенные им вести о воинственной позе Вены и о том, как возбуждено австро-венгерское общественное мнение, казалось, вы-

зывали всеобщее негодование и беспокойство. Возможность предъявления Австрией агрессивного ультиматума Сербии при создавшемся положении могла привести к серьезным осложнениям, тем более что председатель сербского совета министров Пашич обратился ко всем европейским правительствам с превентивной нотой, в которой говорилось, что державы не должны рассчитывать на совершенную пассивность Сербии и что Сербия полна решимости отвергнуть любое требование, несовместимое с ее достоинством.

Ничуть не желая оправдывать авантюристическую политику своего правительства, Бем тем не менее пытался объяснить раздражение Австрии против Сербии (и России) постоянными оскорблениями, которые этот маленький беспокойный сосед, поддерживаемый и подстрекаемый русским колоссом, наносил национальному самолюбию австрийцев.

— Хозмер,— сказал он,— прочел мне конфиденциальную дипломатическую ноту, которую уже несколько лет тому назад, министр иностранных дел Сазонов направил из Петербурга русскому послу в Сербии. Сазонов особо отмечает, что некоторая часть австрийской территории была обещана Россией сербам. Это документ огромной важности,— добавил он,— ибо доказывает, что Сербия,— а за ее спиной Россия,— действительно являются постоянной угрозой для безопасности *Oestrereich!* [1]

— Опять гнусности капиталистической политики,— закричал с другого конца стола какой-то старый рабочий в синей блузе.— Все европейские правительства, демократические или недемократические, со своей тайной дипломатией, не знающей народного контроля, являются орудием в руках международного финансового капиталла... И если Европа в течение сорока лет избегала всеобщей войны, то лишь потому, что финансовые заправилы предпочитают вооруженный мир, при котором государства все больше и больше влезают в долги... Но в тот день, когда банковские воротилы найдут для себя выгодным разжечь войну,— увидите!...

Все выразили шумное одобрение. Что за беда, если это вмешательство имело лишь самое отдаленное отношение к конкретным вопросам, которые затрагивал Бем.

Какой-то юноша туберкулезного вида, знакомый Жаку в лицо и привлекавший его внимание своим пристальным лихорадочным взглядом, внезапно заговорил, процитировав глухим голосом одно из высказываний Жореса насчет опасности тайной дипломатии.

Воспользовавшись поднявшимся вслед за тем беспорядочным шумом Жак подошел к Бему и условился встретиться с ним, чтобы

---

[1] Австрийской империи *(нем.)*.

вместе позавтракать. После чего ускользнул, предоставив австрийцу продолжать прерванный доклад с тем же терпеливым упорством, с каким тот жевал свою сигару.

Завтрак в обществе Бема, разговоры в редакции «Юманите». несколько срочных дел, которые Ричардли просил его сделать немедленно по прибытии в Париж, затем, вечером, собрание, устроенное социалистами в Левалуа в честь Бема, где ему представилась возможность взять слово, чтобы рассказать все, что знал о волнениях в Петербурге,— все это настолько заняло мысли Жака в течение этого первого дня, что у него не осталось времени вспомнить о Фонтаненах. Все же раза два-три у него мелькнула мысль позвонить в клинику на бульваре Бино и спросить, жив ли еще Жером. Но ведь для того, чтобы получить какие-либо сведения, ему пришлось бы сперва назвать себя. Лучше было воздержаться. Он предпочитал не извещать никого о том, что находится в Париже. И тем не менее вечером, когда он вернулся в свою комнатку на набережной Турнель, ему пришлось признать, прежде чем он заснул, что неизвестность, на которую он сам себя осудил, вовсе не освободила его от неотвязных мыслей, а, наоборот,— угнетала его больше, чем какие-либо точные известия.

В пятницу утром, проснувшись, он почувствовал искушение позвонить Антуану. «К чему? Какое мне дело? — сказал он себе, взглянув на часы.— Двадцать минут восьмого... Если я хочу застать его до ухода в больницу, надо позвонить сейчас же». И, не размышляя больше, он вскочил с постели.

Антуан очень удивился, услышав голос брата. Он сообщил ему, что г-н де Фонтанен после трех суток агонии наконец-то этой ночью соблаговолил умереть, не приходя в сознание.

— Похороны завтра, в субботу. Ты еще будешь в Париже?.. Даниэль,— добавил он,— не выходит из клиники; ты можешь застать его в любой момент...— Антуан, видимо, не сомневался ни минуты, в том, что его брату хочется повидаться с Даниэлем.— Может быть, позавтракаешь со мною? — предложил он.

Жак с досадливым жестом отстранился от телефона и повесил трубку.

Двадцать четвертого газеты в нескольких словах сообщили о передаче Сербии австрийской «ноты». Большая часть из них,— видимо, по приказу свыше,— воздержалась от каких-либо комментариев.

Жорес посвятил свою очередную статью забастовкам в России. Тон ее был исключительно серьезный.

«Какое предупреждение всем европейским державам! — писал он.— Всюду вот-вот вспыхнет революция. Царь поступил бы очень неосторожно, если бы вызвал европейскую войну или допустил, чтобы она началась! Столь же неосторожной оказалась бы Австро-Венгерская монархия, если бы, уступая слепой ярости своей клерикальной и военной партии, она допустила что-либо непоправимое в своих отношениях с Сербией!.. Коллекция сувениров, которые г-н Пуанкаре привез из своего путешествия, пополнилась волнующей страницей, отмеченной кровью русских рабочих,— трагическим предупреждением».

В редакции «Юманите» ни у кого не оставалось сомнений насчет тона австрийской ноты: она действительно имела характер ультиматума, и следовало ожидать самого худшего. С некоторой нервозностью ожидали возвращения Жореса: сегодня утром патрон внезапно решил лично сделать запрос на Кэ-д'Орсе обратившись к Бьенвеню-Мартену, заместителю Вивиани на время его отсутствия.

Среди редакторов газеты наблюдалась некоторая растерянность. Все с беспокойством задавали себе вопрос, как будет реагировать общественное мнениеЕвропы. Галло, как всегда пессимистически настроенный, утверждал, будто вести, полученные из Германии и Италии, заставляют опасаться, что в этих двух странах и общественное мнение, и пресса, и даже некоторые фракции левых партий скорее сочувствуют австрийскому жесту. Стефани, вместе с Жоресом, полагал, что в Берлине негодование социал-демократов проявится в каких-либо энергичных действиях, которые будут иметь сильнейший отклик не только в Германии, но и за ее пределами.

В полдень помещение редакции опустело. Стефани остался дежурить,— была его очередь,— и Жак предложил посидеть с ним за компанию, чтобы просмотреть хотя бы одним глазом бумаги, касающиеся созыва Международного бюро, которое должно было собраться на следующей неделе в Брюсселе. Все возлагали очень большие надежды на это внеочередное совещание. Стефани знал, что Вайян, Кейр-Харди и многие другие вожди партии намереваются поставить в порядок дня вопрос о применении всеобщей забастовки в случае войны. Какую позицию займут иностранные социалисты, в особенности английские и немецкие, в этом основном вопросе?

В час пополудни Жореса еще не было. Жак вышел, чтобы перекусить в кафе «Круассан». Может быть, патрон тоже там завтракает?

Его там не оказалось.

Пока Жак искал свободный уголок, его окликнул молодой немец, Кирхенблат, с которым он познакомился в Берлине и несколько раз встречался в Женеве. Кирхенблат завтракал с одним товарищем и настоял, чтобы Жак подсел к их столику. Товарищ был тоже немец, по фамилии Вакс. Жак его не знал.

Два эти человека любопытным образом отличались друг от друга. «Они довольно хорошо символизируют два характерных для Восточной Германии типа,— подумал Жак,— тип *вождя* и... *противоположный!*»

Вакс был когда-то рабочим-металлистом. Ему было лет сорок; у него были крупные, грубоватые черты лица, в которых проступало что-то славянское; широкие скулы, честный рот, светлые глаза, выражавшие настойчивость и некоторую торжественность. Его огромные ладони были раскрыты, словно инструменты, готовые для работы. Он слушал, одобрял кивком головы, но говорил мало. Все в нем, казалось, свидетельствовало о душе, не знакомой с сомнением, о спокойном мужестве, о выносливости, о любви к дисциплине, об инстинкте верности.

Кирхенблат был значительно моложе. Его маленькая, круглая голова на тонкой шее по форме напоминала череп какой-то птицы. Скулы у него были не широкие, как у Вакса, а острые, выступающие бугорком под глазами. Лицо, обычно серьезное, по временам оживлялось улыбкой, внушавшей какое-то тревожное чувство: эта улыбка внезапно раздвигала углы его рта, растягивала веки, собирала складки на висках и обнажала зубы; чувственный, немного жестокий огонек загорался тогда в его взгляде. Так иногда обнажают, играя, клыки прирученные волки. Он был уроженец Восточной Пруссии, сын учителя; один из тех культурных немцев, ницшеанцев, каких Жаку нередко приходилось встречать в передовых политических кругах Германии. Законов для них не существовало. Особое понимание чувства чести, известный рыцарский романтизм, вкус к свободной и полной опасностей жизни объединяли их в своего рода касту, преисполненную сознанием своей аристократичности. Восстав против социального строя, в недрах которого, однако же, сформировался его интеллект, Кирхенблат существовал как бы около международных революционных партий, будучи слишком анархичным по темпераменту, чтобы безоговорочно примкнуть к социализму, и инстинктивно отвергая эгалитарные и демократические теории, так же как и феодальные привилегии, еще существовавшие в императорской Германии.

Беседа — на немецком языке, ибо Вакс с трудом понимал по-французски,— сразу же завязалась вокруг вопроса о позиции Берлина по отношению к австрийской политике.

Кирхенблат был, видимо, хорошо осведомлен о настроениях, господствовавших среди высших должностных лиц империи. Он только что узнал, что брат кайзера, принц Генрих, послан с особой срочной миссией в Лондон к английскому королю, это был официальный шаг, который в данный момент свидетельствовал, казалось, о личном стремлении Вильгельма II навязать Георгу V свою точку зрения на австро-сербский конфликт.

— Какую точку зрения? — спросил Жак.— В этом весь вопрос... В какой степени поведение имперского правительства носит характер шантажа? Траутенбах, с которым я виделся в Женеве, утверждает, что ему известно из верного источника, будто кайзер лично отказывается признавать неминуемость войны. И, однако, невероятным представляется, чтобы Вена могла действовать с такой дерзостью, не будучи уверенной в поддержке со стороны Германии.

— Да,— сказал Кирхенблат.— По-моему, весьма вероятно, что кайзер принял и одобрил в основном австрийские требования. И даже что он заставляет Вену действовать как можно быстрее, чтобы Европа как можно скорее очутилась перед совершившимся фактом... В сущности, это ведь подлинно пацифистская позиция...— Он лукаво улыбнулся.— Ну да! Ведь это лучший способ избежать русского вмешательства! Ускорить австро-сербскую войну для спасения европейского мира...— Внезапно он снова стал серьезным.— Но так же очевидно, что кайзер, имея таких советников, как те, кто его окружает, взвесил весь возможный риск: риск русского вето, риск всеобщей войны. Дело только в том, что он, видимо, расценивает этот риск как пустячный. Прав ли он, вот в чем вопрос.— Лицо его опять исказилось мефистофельской улыбкой.— В настоящий момент я представляю себе кайзера как игрока с прекрасными картами в руках и робкими партнерами перед собою. Конечно, ему приходит в голову, что он может проиграть, если ему вдруг не повезет. Всегда рискуешь проиграть... Но, черт возьми, карты отличные! И как можно настолько опасаться невезения, чтобы отказаться от крупной игры?

Какая-то особая резкость в голосе Кирхенблата, его дерзкая улыбка рождали ощущение, что ему по собственному опыту известно, что значит иметь в руках хорошие карты и смело идти на риск.

XXIX

Тело Жерома де Фонтанена положили в гроб рано утром, как это было принято в клинике: и тотчас же вслед за этим гроб был перенесен в глубь сада, в павильон, где администрация разрешала

умершим больным дожидаться похорон,— как можно дальше от живых больных.

Госпожа де Фонтанен, почти не покидавшая комнаты мужа все то время, пока длилась его агония, обосновалась теперь в узком полуподвальном помещении, куда перенесли тело. Она была одна. Женни только что вышла: мать поручила ей сходить на улицу Обсерватории за траурной одеждой, которая понадобится им обеим для завтрашней церемонии; и Даниэль, проводивший сестру до калитки, задержался в саду, чтобы выкурить папиросу.

Сидя в тени на соломенном стуле под окошечком, освещавшим подвал, г-жа де Фонтанен готовилась провести здесь последний день. Глаза ее были устремлены на гроб, ничем пока не украшенный и установленный на черных козлах посреди комнаты. О личности покойного говорил теперь лишь один внешний признак — медная дощечка с выгравированной на ней надписью:

ЖЕРОМ-ЭЛИ ДЕ ФОНТАНЕН
11 МАЯ 1857 г.— 23 ИЮЛЯ 1914 г.

Она чувствовала себя очень уверенной и спокойной: она была под покровом божиим. Кризис того, первого вечера, момент слабости, вполне извинительный,— ведь драма разразилась так внезапно,— теперь прошел; теперь в ее горе не было ни безрассудства, ни остроты. Она привыкла жить в доверчивом контакте с той Силой, которая регулирует Жизнь вселенной, с тем Всё, в котором каждому из нас предстоит когда-нибудь растворить свою эфемерную оболочку; и смерть не внушала ей никакого страха. Даже будучи молодой девушкой, она не испытала ужаса перед трупом своего отца; она ни на мгновение не усомнилась, что этот руководитель, которого она так чтила, останется духовно с нею даже после распада его физического облика; и действительно, она никогда не лишалась его поддержки, никогда,— на этой неделе она получила лишнее тому доказательство: этот пастырь не переставал принимать участие в ее интимной жизни, в ее борьбе, помогать ей при разрешении трудных вопросов, вдохновлять все решения, которые она принимала...

Точно так же и теперь она не могла воспринимать смерть Жерома как конец. Ничто не умирает: все видоизменяется, сменяются времена года. Перед этим гробом, навеки закрытым над бренной плотью, она ощущала мистическую экзальтацию, аналогичную тому чувству, которое овладевало ею каждую осень, когда она наблюдала в своем саду в Мезоне, как листья, распустившиеся у нее на глазах весной, теперь опадают один за другим в свой положенный час, и это опадание никак не отражается на стволе, живущем своими тайными силами, на стволе, где таятся жизненные

соки, где неизменно пребывает жизненная Субстанция. Смерть ставалась в ее глазах проявлением жизни, и созерцать без всякого ужаса это неизбежное возвращение в лоно матери-земли значило для нее смиренно приобщаться к всемогуществу божию.

В помещении было прохладно, как в недрах гробницы, здесь носился нежный, немного приторный запах роз, которые Женни положила на крышку гроба. Г-жа де Фонтанен машинально терла ногти на пальцах правой руки о левую ладонь. (Она привыкла каждое утро, закончив свой туалет, присаживаться на несколько минут к окну и, полируя себе ногти, предаваться на пороге нового дня краткому размышлению, которое она называла своей утренней молитвой; эта привычка создала у нее рефлекс — полировка ногтей и обращение к Духу божьему находились в некоей неразрывной связи.)

Пока Жером был жив, хотя он и находился далеко от нее, она втайне хранила надежду, что ее великая, испытанная любовь к нему обретет когда-нибудь свою земную награду, что когда-нибудь Жером вернется к ней остепенившийся и полный раскаяния и что, может быть, им обоим будет дано закончить свои дни друг подле друга, в забвении прошлого. Несбыточность этой надежды она осознала лишь в тот час, когда ей пришлось навсегда отказаться от нее. Все же память о перенесенных страданиях была еще слишком жива, и она ощущала некоторое облегчение при мысли, что теперь навсегда избавлена от подобных испытаний. Благодаря этой смерти иссяк единственный источник горечи, который в течение стольких лет отравлял ей существование. Она как бы невольно распрямила спину после долгого рабства. И, сама о том не подозревая, она наслаждалась этим чувством, таким человеческим и законным. Она была бы очень смущена, если бы это дошло до ее сознания. Но ослепление веры мешало ей бросить в глубины своей совести подлинно проницательный взгляд. Она приписывала духовной благодати то, что было следствием одного лишь инстинктивного эгоизма; она благодарила бога за то, что он даровал ей покорность судьбе и умиротворенность сердца, и без угрызений отдавалась этому приятному облегчению.

Сегодня она отдавалась этому чувству с особенной полнотой, потому, что день бдения над телом мужа был для нее только передышкой перед целым рядом дней, которые будут полны утомительных хлопот и борьбы: завтра, в субботу,— похороны, возвращение домой, отъезд Даниэля. Затем, с воскресенья, начнется для нее тягостное, но неотложное занятие: надо спасать от бесчестия имя ее детей, надо поехать в Триест, в Вену и там, на месте, выяснить все дела мужа. Она еще не предупредила об этом ни Женни,

ни Даниэля. Предвидя возражения со стороны сына, она предпочитала отсрочить бесполезный спор, ибо решение было ею принято. План действий был внушен ей Высшей силой. В этом не могло быть сомнений: ведь при мысли о своем смелом плане она ощущала в себе какое-то душевное возбуждение, которое было ей так хорошо знакомо, какой-то сверхъестественный властный порыв, свидетельствующий о том, что тут замешана божественная воля... В воскресенье, если представится возможность, самое позднее — в понедельник она отправится в Австрию, останется там две, если нужно будет, три недели; потребует свидания с судебным следователем, лично переговорит с руководителями обанкротившегося предприятия... Она не сомневалась в успехе: только бы поехать туда, действовать лично, оказывать на все прямое влияние. (В этом ее инстинкт не обманывался: уже не раз при трудных обстоятельствах она могла убедиться в своей силе. Но, разумеется, ей и в голову не приходило приписать эту силу своему личному обаянию: она видела в ней лишь чудесное вмешательство божества, через нее излучался божественный промысел.)

В Вене ей предстояло также предпринять один щекотливый шаг: ей хотелось познакомиться с этой Вильгельминой, чьи наивные и нежные письма показавшиеся ей трогательными, она нашла в чемоданах Жерома...

Только закрыв Жерому глаза, она решилась разобрать его багаж. Она решилась на это прошлой ночью, выбрав час, когда наверняка сможет остаться одна, чтобы до конца охранить от детей тайны их отца.

Больше всего времени ушло на то, чтобы собрать бумаги: они были беспорядочно рассованы среди вещей. В течение целого часа она прикасалась своими руками к интимным вещам, роскошным и жалким, которые Жером оставил после себя, словно обломки крушения: к поношенному шелковому белью, костюмам от хороших портных, тоже истертым до нитки, но еще издававшим приятный, чуть-чуть кисловатый запах — лаванды, индийского нарда и лимона,— которому Жером оставался верен вот уже тридцать лет и который волновал ее, как ощущение его ласки... Неоплаченные счета валялись даже в ящике для обуви, даже в туалетном несессере: старые описи сумм, подлежащих уплате банкам, кондитерским, обувным и цветочным магазинам, ювелирам, врачам, счета на непредвиденные расходы — от китайца-педикюрщика с Нью-Бондстрит, от сафьянщика с улицы Мира за несессер с позолотой, за который так и не было заплачено. Квитанция триестского ломбарда на заложенные за смехотворно ничтожную сумму жемчужную булавку для галстука и пальто на меху с воротником из выдры. В бумажнике с графской короной фотографии г-жи де Фонта-

нен, Даниэля и Женни мирно соседствовали с фотографическими карточками, подписанными какой-то венской певичкой. Наконец, среди немецких книжонок с эротическими иллюстрациями г-жа де Фонтанен с удивлением обнаружила карманную Библию на тонкой бумаге, сильно потрепанную... Она хотела помнить только об этой маленькой Библии... Сколько раз во время душераздирающих «объяснений» Жером, стараясь всячески оправдать свое безобразное поведение, восклицал: «Вы слишком строго судите меня, друг мой... Я не так уж плох, как вы думаете!» Это была правда! Один лишь бог ведает тайну человеческой души, только ему известно, какими извилистыми путями и ради каких необходимых целей создания божьи движутся к совершенству...

Глаза г-жи де Фонтанен заволокло слезами, но она не спускала их с гроба, на котором уже увядали розы.

«Нет,— говорила она в глубине своего сердца,— нет, ты не был до конца погружен во зло...»

Размышления ее прервало появление Николь Эке, сопровождаемой Даниэлем.

Николь была ослепительна; траурное платье подчеркивало цвет ее кожи. Блестящие глаза, высокие брови и какая-то устремленность всей фигуры вперед придавали ей такой вид, будто она спешила сюда, торопилась принести в дар свою юность. Она наклонилась и поцеловала тетку, и г-жа де Фонтанен была благодарна ей за то, что она не нарушила тишины какими-нибудь условными словами сочувствия. Затем Николь подошла к гробу. Несколько минут она стояла совсем прямо, опустив руки вдоль туловища, сцепив пальцы. Г-жа де Фонтанен наблюдала за ней. Молилась ли она? Припоминала ли прошлое, прошлое застенчивой девочки, в котором дядя Жером занимал столько места?.. Наконец после нескольких секунд загадочной неподвижности молодая женщина вернулась к тетке, снова поцеловала ее в лоб и вышла из комнаты; Даниэль, все это время стоявший за стулом матери, последовал за ней.

Когда они были в коридоре, Николь остановилась и спросила:

— В котором часу завтра?

— Отсюда отправимся в одиннадцать. Процессия двинется прямо на кладбище.

Они были одни у входа в павильон, под сводами вестибюля. Перед ними расстилался залитый солнцем сад, полный выздоравливающих,— облаченные в светлые халаты, они лежали в шезлонгах у самых газонов. День был жаркий, чудесный; воздух неподвижен; казалось, лето будет длиться вечно.

Даниэль объяснил:

— Пастор Грегори прочтет краткую молитву над могилой. Мама не хочет заупокойной службы.

Николь задумчиво слушала.

— Как прекрасно держится тетя Тереза,— прошептала она,— так мужественно, так спокойно... Она, как всегда, совершенство...

Он поблагодарил ее дружеской улыбкой. Глаза ее были уже не детские, но в их синеве была все та же необычайная прозрачность и то же выражение ленивой нежности, которое некогда его так волновало.

— Как давно я тебя не видел! — сказал он.— Ну что ж, ты счастлива, Нико?

Взгляд молодой женщины, устремленный куда-то вдаль, к зелени деревьев, проделал целое путешествие, прежде чем вернуться к Даниэлю; лицо ее приняло страдальческое выражение; ему почудилось, что она вот-вот разрыдается.

— Я знаю,— пробормотал он.— Ты тоже, бедная моя Нико, испытала свою долю горя...

Только тогда он заметил, насколько она изменилась. Нижняя часть лица несколько погрубела. Под легким налетом грима, под искусственным румянцем проступала уже немного потерявшая девическую свежесть, немного усталая маска.

— Но все же, Нико, ты молода, перед тобой вся жизнь! Ты должна быть счастливой!

— Счастливой? — повторила она, как-то нерешительно поведя плечами.

Он с удивлением смотрел на нее.

— Ну да, счастливой. Почему же нет?

Взгляд молодой женщины снова потерялся где-то в залитом солнцем саду. После непродолжительного молчания она, не глядя на него, промолвила:

— Странная штука — жизнь... Ты не находишь? В двадцать пять лет я чувствую себя такой старой... (Она запнулась.) Такой одинокой...

— Одинокой?..

— Да,— ответила она, продолжая глядеть вдаль.— Мать, прошлое, молодость— все это далеко, далеко... Детей у меня нет... И это дело безнадежное — никогда, никогда я не смогу иметь детей...

Она говорила тихим и спокойным голосом, без всякого отчаяния.

— У тебя есть муж...— нерешительно произнес Даниэль.

— Муж, да... У нас глубокая, прочная привязанность друг к другу... Он умный, добрый... Он делает все, что может, только бы мне было хорошо.

Даниэль молчал.

Она сделала один шаг по направлению к стене, прислонилась к ней и продолжала, не повышая голоса и слегка подняв голову, словно решилась наконец сказать все, не боясь слов:

— Но видишь ли, несмотря на все это, у нас с Феликсом очень мало общего... Он на тринадцать лет старше меня и никогда не обращался со мной как с равной... Впрочем, он ко всем женщинам относится как-то по-отечески, немного снисходительно, как к своим больным...

Внезапно в воображении Даниэля возникла фигура Эке с его седеющими висками, испещренными мелкими морщинками, с его близорукими глазами, с его скромностью, собранностью и точностью движений. Почему он женился на Николь? Сделал это бездумно? Как срывают на ходу соблазнительный плод? Или, скорее, хотел внести в свою трудовую жизнь немного молодости и естественной грации, которой ему, вероятно, всегда не хватало?

— К тому же,— продолжала Николь,— у него своя жизнь, жизнь хирурга. Ты сам знаешь, что это такое. Он принадлежит другим с утра до вечера... Большей частью он даже ест совсем не в те часы, когда я... Впрочем, это даже лучше: когда мы вместе, нам почти не о чем говорить друг с другом, нечем делиться, и вкусы у нас во всем различные, и ни одного общего воспоминания — ничего... О, мы никогда не ссоримся, у нас никогда не бывает разногласий...— Она засмеялась.— Ведь стоит ему высказать малейшее желание, какое бы оно ни было, я говорю: да... Я заранее хочу того, чего хочет он.— Она больше не смеялась и странно медленно произнесла: — Мне все до такой степени безразлично!

Она тихо отделилась от стены и стала с рассеянным видом спускаться по ступенькам невысокого крыльца. Даниэль следовал за ней, не говоря ни слова. Внезапно она повернулась к нему и промолвила с улыбкой:

— Вот тебе пример! Этой зимой он заказал новые книжные шкафы для маленькой гостиной и решил продать секретер красного дерева, который теперь некуда было поставить. Эта вещь — память моей матери. Но мне было все равно: у меня ничего нет, и я ничем не дорожу. Пришлось вынуть из этого секретера все, что в нем находилось. Он был полон бумаг, которых я никогда не разбирала,— там лежала переписка моих родителей, старые счетные книги, бабушкины письма, разные извещения о семейных событиях, письма от друзей... Все наше прошлое, Реннская улица, Руайя, Биарриц... Целая груда всякого старья, старые позабытые истории, старые, уже умершие люди... Я все перечитала от первой до последней страницы, прежде чем бросить в огонь... И целые две недели плакала над всем этим.— Она опять засмеялась.— Чудесные две недели!.. Феликс даже не подозревал ни о чем. Он бы

и не понял. Он ничего не знает обо мне, о моем детстве, о моих воспоминаниях...

Неторопливо шли они через сад. Проходя мимо больных, она понизила голос:

— Теперь еще ничего... Но будущее — вот чего я иногда боюсь... Понимаешь, сейчас каждый из нас занимается своим: у него есть больница, деловые встречи, пациенты; у меня — хождение по магазинам, в гости; кроме того, я снова взялась за скрипку и немного занимаюсь музыкой с приятельницами; несколько раз в неделю мы у кого-нибудь обедаем; при том положении, которое занимает Феликс, приходится вести довольно широкую жизнь... Но что будет потом, когда он бросит практику, когда мы перестанем выезжать?.. Вот чего я боюсь... Что с нами будет, когда мы постареем и придется долгими вечерами сидеть друг против друга у горящего камина?

— То, что ты говоришь, ужасно, бедненькая моя Нико,— прошептал Даниэль.

Она вдруг громко расхохоталась, и это прозвучало как неожиданное пробуждение ее молодости.

— Глупый ты! — сказала она.— Я ведь не жалуюсь. Такова жизнь — вот и все. Другим тоже не лучше. Наоборот. Я еще одна из самых счастливых... Но плохо, что в детстве воображаешь себе бог знает что... какую-то сказочную жизнь.

Они подошли к воротам.

— Я рада, что повидалась с тобой,— сказала она.— В форме ты просто великолепен!.. Когда ты кончаешь службу?

— В октябре.

— Уже?

Он засмеялся.

— Для тебя-то время пролетело быстро.

Она остановилась. Солнечные блики трепетали на ее коже, блестели на зубах и местами придавали ее волосам прозрачные оттенки светлого черепахового гребня.

— До свиданья,— сказала она, братски протянув ему руку.— Передай Женни — я очень жалею, что нам так и не удалось с ней повидаться... А когда зимою я опять переселюсь в Париж, ты время от времени приходи ко мне в гости... Хотя бы из простого великодушия... Будем болтать, изображать двух старых друзей, перебирать воспоминания... Смешно, как это я с возрастом привязываюсь к прошлому... Так придешь? Обещаешь?

На мгновение он погрузил свой взор в прекрасные глаза, немножко слишком большие, немножко слишком круглые, но полные такой прозрачной чистоты.

— Обещаю,— сказал он почти торжественно.

XXX

В этот день, впервые с воскресенья, Женни смогла выбраться из клиники; за это время ей лишь изредка удавалось пройтись вместе с Даниэлем по саду. В столь новом для нее соседстве со смертью она прожила эти четыре бесконечных дня, как тень среди живых: все, что происходило вокруг нее, казалось ей непонятным, чуждым. И потому, как только брат посадил ее в машину, как только она оказалась одна на залитом солнцем бульваре, ее охватило невольное чувство облегчения. Но оно продолжалось лишь краткий миг. Не успел автомобиль доехать до ворот Шамперре, как она почувствовала, что к ней опять возвращается то глубокое и неопределенное смятение духа, которое мучило ее уже четыре дня. И ей даже показалось, что это смятение, не сдерживаемое более присутствием посторонних людей, угрожающе возросло теперь, когда она осталась одна.

В час пополудни такси остановилось у дверей ее дома, и она вышла.

Постаравшись, насколько было возможно, сократить соболезнующие излияния и расспросы консьержки, она быстро поднялась в квартиру.

Там царил полнейший беспорядок. Все двери были широко раскрыты, точно жильцы спасались бегством. В комнате г-жи де Фонтанен одежда, валявшаяся на постели, ботинки, разбросанные на полу, открытые ящики наводили на мысль о краже со взломом. На маленьком круглом столике, за которым обе женщины, уже в течение двух лет не имевшие прислуги, совершали обычно свою недолгую трапезу, виднелись остатки прерванного обеда. Все это надо было убрать, чтобы завтра, по возвращении с кладбища, матери не пришли слишком ярко на память при виде этого мрачного хаоса те ужасные минуты, которые она пережила в воскресенье вечером.

Подавленная, не зная, с чего ей начинать, Женни прошла к себе в комнату. По-видимому, она забыла затворить перед уходом окно: ливень, прошедший накануне, залил паркет; от порыва ветра разлетелись во все стороны письма на ее маленьком бюро, опрокинулась ваза, осыпались цветы.

Медленно снимая перчатки, она созерцала этот беспорядок. Она старалась собраться с мыслями. Мать дала ей самые подробные инструкции. Надо было взять ключ в секретере, открыть чулан, порыться в гардеробе, в ящиках, в чемоданах, разыскать зеленую картонку, в которой находились две траурных накидки и креповые вуали. Машинально сняла она с вешалки блузу, в которой по утрам убирала комнаты, и облачилась в это рабочее платье.

Но силы изменили ей, и она вынуждена была присесть на край кровати. Тишина, наполнявшая квартиру, тяжело давила ей на плечи.

«Почему я так устала?» — задавала она себе лицемерный вопрос.

На прошлой неделе она ходила взад и вперед по этим самым комнатам, и ее легко несло течение жизни. Неужели же достаточно было недели,— даже меньше, четырех дней,— чтобы нарушить равновесие, достигнутое столь дорогой ценой?

Она продолжала сидеть, вся сжавшись, и какая-то тяжесть налегла ей на затылок. Слезы облегчили бы ее, но судьба всегда отказывала ей в этом утешении слабых людей. Даже девочкой она переживала свои горести без слез, замкнуто, жестко... Сухой взгляд ее скользнул по разбросанным бумажкам, по мебели, по безделушкам на камине и остановился на зеркале, привлеченный и словно поглощенный ослепительным отражением яркого, солнечного дня, царившего на дворе. И внезапно в этом мерцающем блеске на мгновение возник образ Жака. Она быстро встала, закрыла наружные ставни, окно, подобрала письма, цветы и вышла из комнаты.

В чулане было невыносимо душно. От жары в нем сгущался и усиливался запах шерсти, пыли, камфары, старых, пожелтевших от солнца газет. Она с усилием вскарабкалась на табуретку и открыла окно. Вместе со свежим воздухом в чулан ворвался ослепляющий свет, подчеркивая печальную уродливость нагроможденных тут вещей: пустых чемоданов, ненужных тюфяков и матрасов, керосиновых ламп, старых школьных учебников, картонок, покрытых серыми комками пыли и дохлыми мухами. Чтобы очистить угол, где один на другом громоздились чемоданы, ей пришлось переставить, прижав к себе обеими руками, набитый манекен, на котором вместо шляпы красовался старый абажур: покрытые блестками оборки его были там и тут схвачены букетиками искусственных фиалок; и одно мгновение она с нежностью глядела на это претенциозное сооружение, которое в ее детские годы неизменно царило на рояле в гостиной. Затем она мужественно принялась за работу, открывая чемоданы, роясь в шкафах, заботливо кладя на место мешочки с нафталином, острый запах которого обжигал ей ноздри и вызывал легкую тошноту. Обессиленная, вся в поту и все же борясь с этой унизительной расслабленностью, она упорно продолжала работу, которая, по крайней мере, мешала ей думать.

Но вот неожиданно, словно длинный луч света, прорезавшийся сквозь туман, одна мысль, совершенно четкая, хотя и неопределенно выраженная, коснулась самого чувствительного места ее души, и она сразу остановилась: «Ничто никогда не бывает потеряно... *Все всегда возможно...*» Да, несмотря ни на что, она молода,

перед ней целая жизнь,— жизнь, неисчерпаемый кладезь *возможностей!..*

То, что открывалось ей за этими банальными словами, было столь ново, столь опасно, что у нее закружилась голова. Она внезапно поняла: после того как Жак ее покинул, ей удалось излечиться и овладеть собой лишь потому, что она сумела тогда отказаться даже от самой слабой надежды.

«Неужели же я снова начинаю *надеяться?*»

Ответ был столь явно утвердительным, что ее охватил трепет, и ей пришлось опереться о косяк гардероба. Несколько минут она стояла неподвижно, опустив веки, в состоянии какого-то летаргического оцепенения, которое делало ее почти бесчувственной. В мозгу ее проносились, одно за другим какие-то видения, словно обрывки снов. Жак в Мезоне, после игры в теннис сидящий рядом с нею на скамейке,— и она отчетливо видела мелкие капли пота на его висках... Жак с нею вдвоем на лесной дороге, у гаража, где они только что видели, как задавило старого пса, и сейчас ей словно слышался тревожный голос Жака: «Вы часто думаете о смерти?..» Жак у садовой калитки, когда он поцеловал тень Женни на залитой лунным светом стене; и она опять слышала, как в сумраке ночи шуршали в траве его удаляющиеся шаги...

Она продолжала стоять, прислонившись к гардеробу и дрожа, несмотря на жару. Внутри нее воцарилась какая-то необычайная тишина. Шум города доносился сквозь высокое окно, словно из потустороннего мира. Как затушить теперь эту безрассудную жажду счастья, которую встреча с Жаком снова зажгла в ней четыре дня тому назад? Начинался новый приступ болезни, и он будет длиться, длиться, она это отлично понимала... На этот раз ей не удастся выздороветь: ведь *она и не хочет выздоровления...*

Тяжелее всего быть одной, всегда одной. Даниэль? Он, разумеется, был к ней очень внимателен в течение этих дней совместной жизни в Нейи. Не далее как сегодня утром, в клинике, за табльдотом, пораженный, может быть, отсутствующим видом Женни, он взял ее руку и вполголоса, без улыбки промолвил: «Что с тобой, сестричка?» Она неопределенно покачала головой и отняла руку... Ах, для нее всегда было такой мукой любить этого большого брата и никогда, никогда не находить подходящих слов, ничего, что раз навсегда разрушило бы перегородки, которые воздвигали между ними жизнь, их характеры, даже, пожалуй, их отношения брата и сестры! Нет. Не с кем было ей быть откровенной. Никто никогда не выслушал ее и не понял. Никто никогда и не мог бы понять... Никто? *Он,* может быть... Когда-нибудь?.. Где-то в глубине ее души нежный и тайный голос прошептал: «Мой Жак...» Краска бросилась ей в лицо.

Она чувствовала себя совершенно обессиленной, разбитой. Надо выпить холодной воды...

Осторожно, как слепая, держась одной рукой за стену, прошла она на кухню. Вода из-под крана показалась ей ледяной. Она смочила руки, лоб, глаза. Силы возвращались к ней. Еще немного терпения... Она открыла окно и оперлась локтями о подоконник. Лучистая дымка, словно сотканная вибрациями молекул, колыхалась над крышами. На Люксембургском вокзале отчаянно загудел паровоз. Сколько раз в последние недели, вот в такие же послеполуденные часы, в ожидании, пока закипит вода для чая, опиралась она об этот же подоконник, почти веселая, мурлыча себе что-то под нос... И она затосковала по той Женни, какою была еще этой весной, по той полусестре, умиротворенной, выздоравливающей. «Откуда взять силы, чтобы прожить завтра, послезавтра, все дальнейшие дни?» — спрашивала она себя вполголоса. Но эти слова, приходившие ей на ум, выражали только некую условную мысль, не раскрывая тайной правды ее сердца. Она принимала страдание, с тех пор как к ней вернулась надежда. И вдруг она, никогда не улыбавшаяся, ощутила, увидела так ясно, словно сидела перед зеркалом, на своих губах еще несмелую улыбку.

XXXI

Несколько раз в течение утра и даже во время завтрака с обоими немцами Жак задавал себе вопрос: «Пойти мне повидаться с Даниэлем?» И каждый раз отвечал: «Да нет, зачем мне идти?»

Тем не менее около трех часов, выйдя с Кирхенблатом из ресторана и пересекая площадь Биржи, он внезапно подумал, когда проходил мимо метрополитена: «Совещание в Вожираре будет только в пять... Если бы я захотел поехать в Нейи, сейчас было бы самое время...— Он в раздумье остановился.— По крайней мере, тогда я не стану больше думать об этом». И, уже не колеблясь, он покинул немца и ступил на подземную лестницу.

На бульваре Бино, у ворот клиники, он заметил Виктора, шофера своего брата, который курил папиросу, сидя на краю тротуара перед автомобилем. «Так даже лучше»,— сказал он про себя при мысли, что Антуан будет присутствовать при его беседе с Даниэлем.

Но, входя в сад, он увидел брата, шедшего навстречу ему.

— Если бы ты приехал раньше, я бы подвез тебя в Париж. Но теперь мне надо торопиться... Пообедаешь со мной сегодня вечером? Нет? А когда?

Жак ускользнул от расспросов:

— Как мне сделать, чтобы повидать Даниэля? Повидать... с глазу на глаз?

— Нет ничего проще... Госпожа де Фонтанен не выходит из мертвецкой, а Женни здесь нет.

— Нет?

— Видишь серую крышу там, за деревьями? Это павильон, куда переносят покойников. Даниэль там. Сторож его вызовет.

— Женни в клинике нет?

— Нет, мать послала ее за какими-то вещами на улицу Обсерватории... Ты надолго в Париже?.. Так ты мне позвонишь?..

Он вышел за ограду и скрылся в машине.

Жак продолжал свой путь к павильону. Внезапно он замедлил шаг. Безумный план возник в его мозгу... Он резко повернул назад, возвратился к калитке и подозвал такси.

— Живо! — сказал он хриплым голосом.— Улица Обсерватории!

Он упорно разглядывал деревья, прохожих, экипажи, с которыми встречалась его машина. Он не хотел думать... Ему было ясно, что, разреши он себе хоть минутку поразмыслить, и он никогда не совершил бы этого сумасбродного поступка, к которому его понуждала какая-то тайная сила — сейчас же, немедленно. Что он будет там делать? Он и сам не знал. Оправдаться! Перестать быть тем, кто один во всем виноват! С этим надо было покончить, покончить раз навсегда, объясниться.

Он велел остановить машину у решетки Люксембургского сада и дальше пошел пешком, почти бегом, заставляя себя не поднимать глаза к балкону, к окнам, на которые в былое время столько раз смотрел издалека. Быстро вошел он в дом и как стрела пронесся мимо швейцарской, боясь, что его могут задержать, если Женни дала распоряжение не впускать к ней никого.

Ничто здесь не изменилось. Лестница, по которой он так часто подымался, болтая с Даниэлем... С Даниэлем в коротких штанах и с книжками под мышкой... Площадка, на которой он в первый раз увидел г-жу де Фонтанен в тот вечер, когда они вернулись из Марселя, и она склонилась сверху к беглецам с грустной улыбкой вместо упрека... Ничто, ничто не изменилось, даже звонок в квартире был тот же: его звук глубоко отдавался у него в памяти... Сейчас она появится. Что он ей скажет?

Сжимая рукою перила, наклонившись вперед, он прислушался... За дверью не было слышно ни звука, не доносилось ничьих шагов... Что же она там делала?

Он подождал несколько минут и опять позвонил, уже более робко.

Снова молчание.

Тогда он осторожно спустился в швейцарскую.

— Скажите, ведь мадемуазель Женни у себя?

— Нет... Вы ведь знаете, бедный господин де Фонтанен...

— Да. И я знаю также, что мадемуазель там, наверху. У меня к ней срочное дело...

— Барышня действительно приезжала после завтрака, но она опять уехала. Уже по меньшей мере с четверть часа назад.

— А...— сказал он,— опять уехала?

Ошеломленный, он пристально смотрел на старуху. Ему трудно было сказать, что именно он ощущал: огромное облегчение или жестокое разочарование?..

Совещание в Вожираре будет только в пять. Но пойдет ли он туда? Теперь ему уже совсем этого не хотелось. В первый раз что-то — сугубо личное — неясно вырастало между ним и его жизнью борца.

Внезапно он решился. Он вернется в Нейи. Женни, наверно, будет заезжать в магазины по каким-нибудь делам, он приедет раньше, чем она, подождет ее у ограды и... Абсурдный, рискованный план... Но все лучше, чем эта неудача!

Случай спутал его расчеты. Когда он выходил из трамвая у клиники, колеблясь, что ему предпринять, кто-то за его спиной воскликнул:

— Жак! — Даниэль, дожидавшийся трамвая на другом тротуаре, заметил его и теперь, полный изумления, переходил улицу: — Ты! Так ты еще в Париже?

— Вчера только вернулся,— пробормотал Жак.— Антуан сообщил мне новость...

— Он умер, не приходя в сознание,— коротко сказал Даниэль.

Казалось, он был смущен еще больше, чем Жак, даже как будто раздосадован.

— У меня назначено одно свидание, которое никак нельзя отложить,— пробормотал он.— Я предложил Людвигсону продать ему несколько картин, так как нам нужны деньги; и сегодня он должен прийти ко мне в мастерскую... Ах, если бы я знал, что ты придешь проведать меня. Как же нам быть? Не поедешь ли со мной? У меня в мастерской мы сможем спокойно поговорить, пока не придет Людвигсон...

— Как хочешь,— сказал Жак, сразу же отказываясь от всех своих планов.

Даниэль благодарно улыбнулся.

— Мы можем немного пройтись пешком. А у фортов возьмем такси.

Перед ними открывалась широкая, залитая солнцем перспектива бульвара. Теневая сторона располагала к прогулке. Даниэль был великолепен и смешон в своей блестящей каске с развевающейся гривой; сабля била его по ногам, задевала за шпоры, ритмически сопровождала каждый его шаг воинственным позвякиванием. Жак, преследуемый мыслью о войне, рассеянно выслушивал объяснения друга. Следовало перебить его, схватить за руку, крикнуть: «Несчастный! Разве ты не видишь, что тебе готовят?..» Ужасная мысль промелькнула в его мозгу и буквально пригвоздила его к месту; если паче чаяния сопротивление Интернационала не поможет сохранить мир, этот красавец драгун, чей полк стоит на самой лотарингской границе, будет убит в первый же день... Сердце его сжалось, и слова, которые он хотел произнести, застряли у него в горле.

Даниэль продолжал:

— Людвигсон сказал: «К пяти часам». Но мне придется отобрать картины до его прихода... Ты понимаешь, я должен как-нибудь выпутываться: отец оставил нам только долги.

Он как-то странно засмеялся. Этот смех, это многословие, дрожащий и резкий голос — все свидетельствовало о нервном возбуждении, непривычном для него и вызывавшемся на этот раз целым рядом причин: тут были и удивление при виде Жака, и горькое воспоминание об их первой встрече, и стремление снова найти прежний тон их бесед, завоевать своей откровенностью доверие молчаливого спутника; было также и удовольствие находиться тут, на вольном воздухе, опьянение этим чудесным днем, этой прогулкой вдвоем после четырех дней затворничества в ожидании смерти.

Жак настолько не сознавал, что где-то на его имя положен какой-то капитал, так и лежащий без всякого употребления, что ни на одну секунду в голову ему не пришла мысль о возможности оказать другу денежную помощь. Впрочем, и тот не подумал об этом, иначе он не заикнулся бы о своих затруднениях.

— Долги... И опороченное имя,— мрачно продолжал Даниэль.— Он и тут сумел отравить нам жизнь... Сегодня утром я вскрыл адресованное ему письмо из Англии — письмо от женщины, которой он обещал денег... Он все время болтался между Лондоном и Веной и содержал по семье на обоих концах линии, как проводник спального вагона... О,— быстро прибавил он,— на эти его шалости мне наплевать. Отвратительно все остальное.

Жак неопределенно покачал головой.

— Тебя удивляет, что я так говорю? — продолжал Даниэль.— Я очень сердит на отца. Но вовсе не из-за этих историй с бабами.

Нет! Я сказал бы — наоборот... Странно, не правда ли? Никогда за всю жизнь между нами не было никакой близости, ни одной задушевной беседы. Но если бы такие близкие отношения и могли завязаться, то лишь на одной этой почве: женщины, любовь... Может быть, потому, что я так на него похож,— продолжал он глухим голосом,— совсем такой же: не способен противостоять увлечениям, не способен даже раскаиваться в них.— Поколебавшись, он добавил: — Ну, а ты не такой?

За последние четыре года Жак тоже более или менее поддавался «увлечениям», но всегда потом сожалел об этом. Против воли Жака где-то, может быть, в плохо проветренном закоулке его совести, оставалось нечто от детского разграничения «чистого» и «нечистого», разграничения, которое он прежде столь часто проводил в своих спорах с Даниэлем.

— Нет,— сказал он,— у меня никогда не хватало на это смелости... Смелости принимать себя таким, каков я есть.

— Разве это смелость? Скорее, может быть, слабость... Или самомнение... Или все, что угодно... Я думаю, что для некоторых натур, как, например, моя, погоня за желаниями — это нормальный, необходимый режим, свойственный им жизненный ритм. Никогда не отказываться от того, что манит,— сформулировал он пылко, как будто повторял какую-то внутреннюю клятву.

«Ему повезло: он красавец,— подумал Жак, лаская взглядом мужественный, властный профиль, резко очерченный под козырьком каски.— Чтобы говорить о желании с такой уверенностью, надо быть «неотразимым», надо привыкнуть к тому, что ты сам вызываешь желание... А может быть, надо иметь и несколько иной опыт, чем тот, какой был у меня...» И он подумал о том, что первые уроки любви получил в объятиях белокурой Лизбет, маленькой сентиментальной эльзаски, племянницы мамаши Фрюлинг. Даниэль же в гораздо более юном возрасте познал впервые наслаждение в постели той опытной девицы, которая приютила его на ночь в Марселе. Быть может, эти столь различные посвящения в тайну любви навсегда наложили на каждого из них особый отпечаток? «Действительно ли «ориентирует» человека его первое любовное приключение? — размышлял он.— Или же, наоборот, это первое приключение зависит от тех тайных законов, которым подчиняешься всю жизнь?»

Словно угадав, какой оборот приняли мысли Жака, Даниэль воскликнул:

— Есть у нас пагубная тенденция усложнять эти проблемы. Любовь? Вопрос здоровья, мой дорогой: физического и морального здоровья. Что касается меня, то я безоговорочно принимаю определение Яго, помнишь? *«It is merely a lust of the blood and a per-*

mission of the will...[1]» Да, любовь — только это, и не следует делать из нее что-либо, кроме этого кипения жизненных соков... Яго очень хорошо сказал: «Жар в крови и послабление воли».

— У тебя все та же мания цитировать английские тексты,— с улыбкой заметил Жак. Ему вовсе не хотелось начинать дискуссию на тему о любви... Он взглянул на часы. Сообщения телеграфных агентств доставлялись в «Юманите» не раньше половины пятого или пяти...

Даниэль заметил его жест.

— О, время еще есть,— сказал он,— но мы гораздо лучше поговорим у меня.

И он подозвал такси.

В машине, чтобы поддержать разговор, Даниэль продолжал болтать о себе, о своих победах в Люневиле, в Нанси и воспевать прелести мимолетных любовных связей. Внезапно он, смутившись, сказал:

— Что ты на меня смотришь?.. Я все болтаю и болтаю... О чем ты думаешь?

Жак вздрогнул. Еще раз охватило его искушение заговорить с Даниэлем о том, что не давало ему покоя. Все же и на этот раз он ответил уклончиво:

— О чем я думаю?.. Да... обо всем этом.

И в наступившем затем молчании каждый из них с тяжелым сердцем задал себе вопрос, соответствует ли хоть сколько-нибудь истине тот образ друга, который он себе создал.

— Поезжайте по улице Сены,— крикнул Даниэль шоферу. Затем обернулся к Жаку.— Да, кстати: ты уже видел, как я устроился?

Мастерская, которую Даниэль снял за год до своего призыва в армию (и за которую любезно платил Людвигсон под тем предлогом, что Даниэль хранит там архив их журнала, посвященного проблемам искусства), помещалась на самом верхнем этаже старого дома с высокими окнами, в глубине мощеного двора.

Каменная лестница была темная, старая, местами осела, и на ней плохо пахло; но зато она была широкая и украшена узорчатыми железными перилами. Дверь мастерской, в которой имелся глазок, словно в двери тюремной камеры, открывалась тяжелым ключом, Даниэль взял его у консьержки.

Жак вошел вслед за приятелем в просторную комнату-мансарду; свет проникал в нее сквозь запыленные стекла огромного окна, выходившего прямо в небо. Пока Даниэль хлопотал, Жак с любо-

[1] «Это только жар в крови и послабление воли...» (Шекспир, «Отелло»).

пытством рассматривал мастерскую. Скошенные стены были тусклые, серовато-желтые, без малейшего намека на колорит; в глубине помещения имелось два чулана, скрытых полузадернутыми занавесями: один, выбеленный, служил умывальной комнаткой, другой, оклеенный красными обоями цвета помпейских фресок и целиком занятый большой низкой кроватью, представлял собой альков. В одном углу на козлах лежала большая чертежная доска заваленная грудами книг, альбомов, журналов; над нею висел большой зеленый рефлектор. Под чехлами, которые торопливо срывал Даниэль, находилось несколько мольбертов на колесиках и разрозненных стульев и кресел. У стены на широких некрашеных полках с перегородками теснились подрамники и папки с рисунками; видны были только ряды корешков.

Даниэль подкатил к Жаку кресло, обитое потертой кожей.

— Садись. Я только вымою руки.

Жак с размаху опустился на заскрипевшие пружины. Подняв глаза к окну, он стал рассматривать панораму крыш, залитых горячим солнечным светом. Он узнал купол Французского института, стрельчатые башни церкви Сен-Жермен-де-Пре, башни церкви св. Сульпиция.

Потом он повернулся, взглянул в сторону умывальной и сквозь полузадернутые занавеси увидел Даниэля. Молодой человек снял китель и облачился в голубую пижамную куртку. Он сидел перед зеркалом и с внимательной улыбкой приглаживал ладонями волосы. Жак поразился, словно открыл некую тайну. Даниэль был красив, но он, казалось, так мало сознавал это; в его точеном профиле было столько мужественной простоты, что Жак и представить себе не мог приятеля самодовольно созерцающим свое отражение в зеркале. И внезапно, когда Даниэль снова подошел к нему, он с необычайным волнением подумал о Женни. Брат и сестра не были похожи; тем не менее оба они унаследовали от отца тонкость сложения, стройную гибкость, которая придавала нечто несомненно родственное их походке.

Он поспешно встал и направился к стеллажам, где находились подрамники.

— Нет,— сказал, приблизившись, Даниэль.— Здесь все старье... тысяча девятьсот одиннадцатого... Все, что я написал в тот год,— подражание. Ты помнишь, наверное, жестокое словцо Уистлера, кажется, о Берн-Джонсе: «Это похоже на что-то, должно быть, очень хорошее...» Лучше посмотри вот это,— сказал он, потянув к себе несколько полотен, изображавших одно и то же,— не считая нескольких деталей,— обнаженное тело.

— Это я писал как раз накануне призыва... Один из тех этюдов, которые больше всего помогли мне понять...

Жаку показалось, что Даниэль не закончил фразы.

— Понять что?

— Да вот это самое... Эту спину, эти плечи... Я считаю очень важным наметить нечто прочное, например, такое вот плечо, спину — и работать над ними, пока не начнешь видеть подлинную правду... простую правду, которая исходит от прочных, вечных вещей... Мне кажется, что если сделать известное усилие, быть внимательным, углубиться в предмет, то в конце концов это откроет тайну... даст решение всего... некий ключ к познанию мира... И вот это плечо, эта спина...

«Плечо, спина...» А Жак думал о Европе, о войне.

— Все, чему я научился,— продолжал Даниэль,— я почерпнул в упорной работе над одной и той же моделью... Зачем менять? Можно добиться от себя гораздо большего, если настойчиво возвращаться все к одной и той же отправной точке; если нужно — начинать всякий раз сначала и двигаться дальше все в том же направлении. Мне кажется, если бы я был романистом, то, вместо того чтобы менять персонажей с каждой новой книгой, я бы постоянно изображал одних и тех же, все углубляя и углубляя...

Жак неодобрительно молчал. Какими искусственными, бесполезными, неактуальными представлялись ему эти эстетические проблемы!.. Он уже не мог понять смысла такой жизни, какую вел Даниэль. Он спрашивал себя: «Что подумали бы о нем в Женеве?» И ему стало стыдно за друга.

Даниэль приподнимал свои полотна одно за другим, поворачивая их к свету, прищурившись, окидывая быстрым взглядом, затем ставил на место. Время от времени он отставлял одно из них в сторону, под ближайший мольберт: для Людвигсона.

Он пожал плечами и процедил сквозь зубы:

— В сущности, дарование — это почти ничто, хотя оно необходимо!.. Важен труд. Без труда талант — это фейерверк: на мгновение ослепляет, но потом ничего не остается.

Как бы нехотя он отобрал один за другим три подрамника и вздохнул.

— Хорошо было бы никогда ничего не продавать им. И всю жизнь работать, работать.

Жак, продолжавший наблюдать за ним, промолвил:

— Ты все так же глубоко любишь свое искусство?

В его тоне слышалось несколько пренебрежительное удивление, и Даниэль это заметил.

— Чего ты хочешь? — сказал он примирительным тоном.— Не все же обладают способностью к действию.

Из осторожности он скрывал свою настоящую мысль. Он полагал, что на свете вполне достаточно людей действия для совер-

шения всех благодеяний, которыми они награждают человечество; и что даже в интересах коллектива люди, которые, как он или Жак, могут развить свои дарования и стать художниками, должны предоставлять область действия тем, у кого нет ничего другого. На его взгляд, Жак, бесспорно, изменил естественному своему назначению. И в скрытности, в озлобленности своего друга детства он склонен был усматривать подтверждение этого взгляда: свидетельство некоей тайной неудовлетворенности; сожаление, испытываемое теми, кто смутно сознает, что изменил своей судьбе, и горделиво прячет за вызывающей и презрительной позой невысказанное сознание своего отступничества.

Лицо Жака приняло жесткое выражение.

— Видишь ли, Даниэль,— заговорил он, опустив голову, что приглушало его голос,— ты живешь, замкнувшись в своем творчестве, как будто ничего не знаешь о людях...

Даниэль положил этюд, который держал в руках.

— О людях?

— Люди — это несчастные животные,— продолжал Жак,— животные, которых мучают... Пока отвращаешь взгляд от их страданий, может быть, и можно жить, как ты живешь. Но если хоть раз соприкоснешься с человеческим горем, невозможно вести жизнь художника... Понимаешь?

— Да,— медленно произнес Даниэль. И, подойдя к окну, он несколько мгновений созерцал расстилающееся перед ним море крыш.

«Да,— размышлял он,— разумеется, Жак прав... Горе... Но что с ним поделаешь? Все на свете безнадежно... Все — за исключением именно искусства! — И более чем когда-либо чувствовал он себя привязанным к этому чудесному убежищу, где ему удалось устроить свою жизнь.— Зачем мне взваливать себе на шею грехи и несчастья мира? Это только парализует мои творческие силы, задушит мое дарование безо всякой пользы для кого-либо. Я не родился апостолом... И, кроме того, допустим даже, что это чудовищно,— но я всегда твердо желал быть счастливым!»

Это была правда. С детства старался он защищать свое счастье от всего и от всех с наивным, быть может, но вполне сознательным чувством, что в этом состоит его первая обязанность по отношению к самому себе. Обязанность, впрочем, нелегкая, требовавшая неусыпного внимания: стоит человеку чуть-чуть уступить обстоятельствам, и он уже готовит себе беду... Первым условием счастливого существования была для него независимость, а он хорошо знал, что нельзя отдаться какому-либо общему делу, не пожертвовав предварительно своей свободой... Но Жаку он не мог сделать подобного признания. Ему пришлось молчать и принять презрительное осуждение, прочитанное в глазах друга.

Он повернулся и, подойдя к Жаку, несколько секунд смотрел на него внимательно и как бы вопрошая о чем-то.

— Хоть ты и говоришь, что счастлив,— сказал он под конец (Жак ничего подобного не говорил),— какой у тебя все же... печальный... измученный вид!..

Жак встрепенулся и выпрямился. На сей раз он будет говорить! Казалось, он внезапно принял долго откладывавшееся решение, и взгляд его стал таким серьезным, что Даниэль взглянул на него с недоумением.

В этот момент раздался резкий звонок, и они вздрогнули от неожиданности.

— Людвигсон,— шепнул Даниэль.

«Тем лучше,— подумал Жак.— К чему?..»

— Подожди, это не надолго,— прошептал Даниэль.— Потом я тебя провожу...

Жак отрицательно покачал головой.

Даниэль продолжал умоляюще:

— Неужели ты уйдешь?

— Да.

Лицо его как-то одеревенело.

Одну секунду Даниэль смотрел на него в полном отчаянье. Затем, чувствуя, что все настояния будут тщетны, он, безнадежно махнул рукой и побежал открывать дверь.

Людвигсон предстал перед ними в отлично сидевшем на нем летнем костюме из легкой шелковой ткани кремового цвета, на котором бросалась в глаза розетка Почетного легиона. Его массивная голова, словно вылепленная из какого-то бледного студня, сидела на жирной шее, которую свободно облегал мягкий воротничок. Череп был заострен; глаза немного раскосые; скулы плоские. Широкий толстогубый рот наводил на мысль о западне.

Он явно рассчитывал, что торговаться они будут с глазу на глаз, и присутствие третьего лица вызвало в нем легкое удивление. Тем не менее он любезно подошел к Жаку, которого сразу же узнал, хотя встречался с ним всего один раз.

— Очень приятно...— сказал он, раскатывая «р».— Я, кажется, имел удовольствие беседовать с вами четыре года тому назад в антракте на русском балете, не так ли? Вы готовились к экзаменам в Эколь Нормаль?

— Правильно,— сказал Жак,— у вас замечательная память.

— Да, это так,— сказал Людвигсон. Он опустил свои жабьи веки и, словно радуясь тому, что может тотчас же подкрепить похвалу Жака, обернулся к Даниэлю.— Ваш друг господин Тибо рассказал мне, что в Древней Греции — если не ошибаюсь, в Фивах,— те, кто желал добиться государственных должностей, должны были

по меньшей мере в течение десяти лет не вести никакой торговли... Странно, не правда ли? Я твердо это запомнил... В тот же вечер вы мне рассказали,— прибавил он, оборачиваясь теперь к Жаку,— что у пас во Франции при старом режиме, для того чтобы иметь право носить титул, необходимо было не менее двадцати лет обладать этими — как они? — дворянскими грамотами, ведь так?..— И с изящным поклоном он заключил: — Я чрезвычайно люблю разговаривать с образованными людьми...

Жак улыбнулся. Затем, торопясь уйти, он попрощался с Людвигсоном.

— Что ж,— бормотал Даниэль, провожая его до двери,— ты, значит, не подождешь?

— Невозможно. Я и так опоздал...

Он избегал смотреть на друга. Ужасное видение снова предстало перед ним, и сердце его сжалось: Даниэль на передовых позициях...

Стесняясь Людвигсона, они только машинально пожали друг другу руки.

Жак сам открыл тяжелую дверь, пробормотал: «До свиданья»,— и бросился вниз по темной лестнице.

На тротуаре он остановился, глубоко вздохнул и посмотрел на часы. Вожирарское совещание уже давно кончилось.

Ему хотелось есть. Он зашел в булочную, купил два рогалика, плитку шоколада и пешком двинулся по направлению к Бирже.

XXXII

В тот вечер, в пятницу 24 июля, в «Юманите» в кабинетах Галло и Стефани велись довольно пессимистические разговоры. Все, кто беседовал с патроном, проявляли беспокойство. На бирже из-за внезапной паники французские трехпроцентные бумаги упали до восьмидесяти и даже — был такой момент — до семидесяти восьми франков. Никогда с 1872 года рента не котировалась так низко. Телеграммы из Германии сообщали о такой же панике на берлинской бирже.

Днем Жорес опять ездил на Кэ-д'Орсе и вернулся оттуда очень озабоченный. Он работал, запершись в своем кабинете, и никого не принимал. Его передовица для завтрашнего номера была готова; знали, впрочем, только ее заглавие, но оно было весьма многозначительно: «Последний шанс сохранить мир». Он сказал Стефани: «Австрийская нота страшно резкая. Можно подумать,

что Вена решила забежать вперед со своими наскоками и сделать невозможным какое бы то ни было превентивное вмешательство держав...»

И действительно, во всем, казалось, проявлялись дьявольские хитросплетения, имеющие целью вызвать в Европе полнейший развал. Ответственные руководители французского правительства до 31 июля были в отсутствии; новость они, видимо, узнали в море, где-нибудь между Россией и Швецией, и им трудно было сговориться с прочими французскими министрами и с правительствами союзных стран. (Берхтольд постарался устроить так, чтобы царь узнал содержание ноты лишь после отъезда президента: он, видимо, опасался, что советы Пуанкаре будут не слишком миролюбивыми.) Кайзер тоже находился в море и вследствие этого не мог, даже если бы захотел, дать Францу-Иосифу совет проявить умеренность. С другой стороны, забастовки в России, которые были тогда в самом разгаре, парализовали свободу действия руководителей русской политики, так же как гражданская война в Ирландии связывала по рукам и ногам англичан. Наконец, сербское правительство было именно в эти дни по горло занято выборами: большинство министров разъезжало по провинции в связи с выборной кампанией; даже премьер-министра Пашича не было на месте, когда в Белграде получена была австрийская нота.

Вскоре стали поступать подробные сведения об этой ноте. Текст, накануне предъявленный сербскому правительству, сегодня был сообщен державам. Несмотря на примирительные заявления, неоднократно делавшиеся Австрией (Берхтольд заверил русского и французского послов, что требования будут выставлены самые *приемлемые),* нота носила явный характер ультиматума, поскольку венское правительство настаивало на полном подчинении всем выставленным условиям и назначало определенный срок для ответа — срок немыслимо короткий: сорок восемь часов,— с целью, вероятно, воспрепятствовать вмешательству держав в пользу Сербии. Секретное сообщение, полученное из австрийского министерства иностранных дел и доставленное неким венским социалистом, посланцем Хозмера, Жоресу давало все основания для беспокойства: барон фон Гизль, австрийский посланник в Сербии вместе с приказанием вручить ноту получил также инструкции о разрыве дипломатических отношений и о немедленном отъезде из Белграда в случае,— весьма вероятном,— если назавтра, в субботу, к шести часам вечера сербское правительство не примет без всяких возражений австрийские требования. Эти инструкции наводили на мысль, что ультиматум был нарочно составлен в оскорбительной, неприемлемой форме, чтобы дать Вене возможность ускорить объявление войны. Эти пессимистические гипотезы подтверждались и

другой информацией. Начальник генерального штаба Гетцендорф, проводивший каникулы в Тироле, был вызван телеграммой, прервал свой отдых и поспешил вернуться в столицу Австрии. Германский посол во Франции фон Шен, находившийся в отпуске в Берхтесгадене, внезапно возвратился в Париж. Граф Берхтольд после совещания с императором в Ишле сделал на обратном пути крюк и заехал в Зальцбург, чтобы встретиться там с германским канцлером Бетман-Гольвегом.

Таким образом, все создавало впечатление широко и искусно задуманной махинации. Какую роль сыграла в ней Германия? Германофилы обвиняли во всем Россию и объясняли поведение немцев тем, что Германия, мол, внезапно обнаружила опасные замыслы панславизма и всю серьезность военных приготовлений, уже начатых Россией. В Берлине в правительственных сферах делали вид, будто до последнего дня руководители Германской империи не имели ни малейшего представления об австрийских требованиях и узнали о них только из сообщения, сделанного всем прочим державам. Ягов, государственный секретарь с Вильгельмштрассе будто бы уверял в этом английского посла. Но, с другой стороны, было известно, что текст этих требований передан Берлину, по крайней мере, за два дня до их вручения Сербии.

Следовало ли из этого заключить, что Германия официально поддерживает Австрию и хочет войны? Траутенбах, который только что прибыл из Берлина и которого Жак в этот вечер встретил в кабинете Стефани, протестовал против столь упрощенных умозаключений. Поведение Германии, по его словам, объяснялось тем, что берлинские военные круги все еще верили в неподготовленность России. Если их расчет был правилен и риск всеобщего вооруженного конфликта сводился к нулю, вследствие вынужденной пассивности русских, обе германские империи могли позволить себе все, что угодно: они играли наверняка. Главное — действовать быстро и энергично. Надо, чтобы австрийские войска оказались в Белграде до того, как державы Тройственного согласия смогут вмешаться или хотя бы договориться между собой о совместных действиях. Тогда выступит на сцену Германия; свободная от подозрений в сообщничестве или какой-либо преднамеренности, она предложит свое посредничество для локализации конфликта и ликвидации его путем переговоров, инициативу которых она возьмет на себя. Ради того чтобы спасти мир, Европа поспешит принять германский арбитраж и без особых споров принесет в жертву интересы Сербии. Таким образом, благодаря Германии все придет в норму, а в выигрыше останутся центральные державы: двуединая монархия на долгое время укрепится, и Тройственный союз одержит беспрецедентную дипломатическую победу. Эти предположения по

поводу тайных планов Германии подтверждались и некоторыми конфиденциальными сведениями, почерпнутыми в кругах, близких к итальянскому посольству в Берлине.

Стефани вызвали к патрону, и Жак увел Траутенбаха в «Прогресс».

Весь маленький зал кафе был в волнении. Сообщения вечерних газет, новости, принесенные редакторами «Юманите», вызвали противоречивые и страстные комментарии.

Около девяти часов в воздухе вдруг повеяло оптимизмом. Пажес несколько минут беседовал с патроном. И нашел его менее встревоженным. Жорес сказал: «Не было бы счастья, да несчастье помогло... Австрийский жест заставит народы Европы стряхнуть с себя спячку». С другой стороны, последние телеграммы приносят многочисленные доказательства активности Интернационала. Социалистические партии Бельгии, Италии, Германии, Австрии, Англии, России поддерживают постоянную связь с Французской социалистической партией, ведут широкую подготовку ко всеобщей демонстрации. Только что получены весьма точные и обнадеживающие сведения от Германской социал-демократической партии, которая выступает в некотором смысле гарантом мирных намерений своего правительства: ни Бетман, ни Ягов, ни еще менее кайзер — как уверяют социал-демократы — не допустят, чтобы их втянули в войну; следовательно можно рассчитывать на энергичное и действенное вмешательство Германии в пользу мира.

Из России тоже поступали успокоительные сведения. После получения австрийской ноты было созвано срочное заседание совета министров под председательством самого царя, которое решило немедленно обратиться к австрийскому правительству с настойчивым предложением продлить срок ультиматума, поставленного Сербии. Это ловкое предложение, которое не касалось существа дела и ставило лишь второстепенный вопрос об отсрочке, Вена вряд ли смогла бы отвергнуть. А отсрочка хотя бы на два-три дня обеспечивала дипломатическим канцеляриям Европы возможность договориться насчет какой-либо общей линии поведения. Впрочем, русское министерство иностранных дел, не теряя времени, уже начало с некоторыми из послов, аккредитованных при петербургском дворе, энергичные переговоры, которые не могли не принести определенных результатов. Почти тотчас же телеграмма из Лондона дала новые основания для этих надежд.

Министр иностранных дел сэр Эдуард Грей по своей инициативе взялся поддержать всем своим авторитетом русское предложение об отсрочке. Кроме того, он срочно разрабатывал план посредничества, к которому хотел привлечь Германию, Италию, Францию и Англию — четыре великие державы, непосредственно не

замешанные в конфликте. План осторожный, без риска потерпеть крах, поскольку за столом собрания арбитров предполагалось равное соотношение сил: с одной стороны — Германия и Италия для защиты интересов Австрии, с другой — Франция и Англия, как представительницы интересов сербских и общеславянских.

Но около одиннадцати часов горизонт снова омрачили дурные предзнаменования. Сперва распространился слух, что Германия хоть и приняла проект Грея, но в весьма уклончивых выражениях, свидетельствовавших о том, что она не очень охотно примет участие в посредничестве. Затем не без волнения узпали от Марка Левуара, вернувшегося с Кэ-д'Орсе, что Австрия, вопреки всем ожиданиям, наотрез отказала России в отсрочке ультиматума; этим она как бы неожиданно призналась в своих агрессивных намерениях.

Около часа ночи, когда большинство собравшихся в кафе партийных деятелей разошлось, Жак возвратился в редакцию «Юманите».

В приемной ему встретился Галло, провожавший двух депутатов-социалистов, которые только что вышли из кабинета Жореса. Они принесли конфиденциальное и весьма тревожное сообщение: как раз сегодня, в то время когда все дипломатические канцелярии рассчитывали на умиротворяющее вмешательство Берлина, германский посол г-н фон Шен, только что вернувшийся в Париж, явился на Кэ-д'Орсе и прочел г-ну Бьенвеню-Мартену, заместителю министра иностранных дел, декларацию своего правительства. Этот неожиданный документ был составлен в очень сухих выражениях,— как предупреждение, если не угроза. Германия цинично заявляла, что «одобряет и *форму* и *содержание* австрийской ноты»; она давала понять, что европейской дипломатии совершенно незачем заниматься этим делом; она заявляла, что конфликт должен быть локализован между Австрией и Сербией и что *«никакая третья держава»* не должна вмешиваться в него; в противном случае следует опасаться *«самых серьезных последствий»*. Все это означало следующее: «Мы твердо решили поддержать Австрию; если Россия вмешается в пользу Сербии, мы будем вынуждены объявить мобилизацию, а поскольку система военных союзов автоматически придет в движение, Франция и Россия очутятся перед неизбежностью войны с Тройственным союзом». Этот демарш Шена, казалось, внезапно обнаружил пристрастную, агрессивную позицию германского империализма и стремление запугать, не предвещавшее ничего хорошего. Как будет реагировать Франция на эту полупровокацию?

Галло и Жак остались в приемной, и Жак уже собирался уходить, когда внезапно распахнулась дверь. Появился Жорес; лоб

его блестел от пота, круглая соломенная шляпа была сдвинута на затылок, плечи горбились, глаза прятались где-то глубоко под нависшими бровями. Короткой рукой он прижимал к боку набитый бумагами портфель. Он окинул обоих мужчин отсутствующим взглядом, машинально ответил на их поклон, тяжелым шагом прошел через комнату и исчез.

XXXIII

Госпожа де Фонтанен и Даниэль провели ночь у гроба, сидя на двух стульях друг подле друга. Женни по настоянию брата ушла, чтобы хоть несколько часов поспать.

Когда около семи утра Женни вернулась, Даниэль подошел к матери и тихонько коснулся ее плеча:

— Пойдем, мама... Женни посидит тут, пока мы попьем чаю...

Он говорил ласково, но твердо. Г-жа де Фонтанен повернула к Даниэлю свое утомленное лицо. Она почувствовала, что сопротивление бесполезно. «Воспользуюсь этим,— подумала она,— чтобы поговорить с ним о моей поездке в Австрию». Она бросила последний взгляд на гроб, поднялась и послушно пошла за сыном.

Утренний завтрак подали им в той самой комнате пристройки, где спала Женни. Окно было широко распахнуто в сад. При виде блестящего чайника, масла и меда в стеклянной посуде лицо г-жи де Фонтанен озарилось невольной, какой-то детской улыбкой. Утренний завтрак в начале дня вместе с детьми всегда был для нее благословенным часом мира и радости, который заново заряжал ее привычным оптимизмом.

— Правда, я хочу есть,— призналась она, подходя к столу.— А ты, мой мальчик?

Она села и стала машинально делать бутерброды. Даниэль смотрел на это, улыбаясь, растроганный тем, что снова видит в ярком дневном свете, как эти маленькие пухлые ручки деликатно совершают те самые движения, которые он с детства запомнил как некий обряд, творящийся каждое утро.

Перед уставленным едою подносом г-жа де Фонтанен под влиянием смутной ассоциации прошептала:

— Я так часто думала о тебе, мой мальчик, пока шли маневры. Вас досыта кормили?.. По вечерам я все думала, что ты, может быть, лежишь сейчас на соломе, промокший под дождем, и мне стыдно становилось, что я в постели; я не могла уснуть.

Он нагнулся и сжал руку матери.

— Что за мысль, мама! Наоборот, после стольких месяцев, проведенных в казарме, играть в войну для нас просто

развлечение...— Склонившись к ней и продолжая говорить, он перебирал золотую цепочку браслета, который она носила на руке.— А кроме того, знаешь,— добавил он,— унтер-офицер на маневрах всегда может найти у местных жителей, где переспать!

Это вырвалось у него немного необдуманно. Ему вспомнились случайные любовные победы, одержанные на постоях, и он на мгновение смутился; г-жа де Фонтанен с присущей ей чуткостью хоть и неясно, но уловила это. Она старалась не смотреть на сына.

Последовало короткое молчание; потом она робко спросила:

— В котором часу ты должен выехать?

— В восемь вечера... Мой отпуск кончается в двенадцать ночи, но все будет в порядке, если я поспею к утренней перекличке.

Она подумала, что похороны не кончатся раньше половины второго, что домой они вернутся не раньше двух, что этот последний день с Даниэлем пролетит так быстро...

Словно подумав о том же самом, он сказал:

— Сегодня среди дня мне придется уйти: есть одно важное дело...

По тону его она почувствовала, что он что-то скрывает. Но была введена в заблуждение насчет самого секрета. Ибо это был тот самый неопределенный, немного слишком непринужденный тон, который он принимал в былые дни, когда, проведя с ней вечером у камина какой-нибудь час, он вдруг вставал и говорил: «А теперь, мама, прости, я побегу, у меня назначена встреча с *товарищами*».

Он смутно ощутил ее подозрение и решил его тотчас же рассеять:

— Надо получить один чек... От Людвигсона.

Это была правда. Он не хотел покидать Париж, не оставив матери этих денег.

Она, казалось, не слышала. Как всегда, она пила чай мелкими, тихими глотками, обжигая себе рот и не выпуская из рук чашки; глаза ее были слегка затуманены. Она думала об отъезде Даниэля, и на сердце ее лежала тяжесть. На мгновение это заставило ее забыть о предстоящей церемонии. А ведь она не имела права жаловаться: разлука с сыном, от которой она так страдала в течение многих месяцев, подходила к концу. В октябре он вернется домой. В октябре возобновится их жизнь втроем. При этой мысли ей рисовалось все их мирное будущее. Она не признавалась себе в этом, но со смертью Жерома горизонт как-то прояснился. Отныне она будет свободна, будет одна со своими детьми...

Даниэль смотрел на нее с выражением заботливым и несколько тревожным.

— Что вы обе будете делать в Париже в летние месяцы? — спросил он.

(Госпожа де Фонтанен, которой нужны были деньги, сдала на весь сезон свою дачу в Мезон-Лаффите.)

«Сейчас как раз время поговорить с ним о моей поездке»,— подумала она.

— Не беспокойся, мальчик. Во-первых, я буду очень занята ликвидацией всех этих дел...

Он перебил ее:

— Я беспокоюсь о Женни, мама...

Хотя он давно уже привык к угрюмой замкнутости своей сестры, в эти последние дни его все же поразило измученное выражение лица Женни, ее лихорадочный взгляд.

— У нее совсем больной вид,— заявил он.— Ей надо бы на свежий воздух.

Госпожа де Фонтанен, не отвечая, поставила чашку на поднос. Она тоже заметила в лице дочери что-то необычное: какое-то отрешенное выражение, словно ее околдовали, выражение, которое не могло объясниться только смертью отца. Но у нее был иной, чем у Даниэля, взгляд на Женни.

— У нее несчастный характер,— вздохнула она, добавив с какой-то трогательной наивностью: — она не умеет доверять...— И затем немного торжественным, благоговейным тоном, каким привыкла говорить о некоторых вещах, она произнесла: — Видишь ли, всякий человек обречен нести бремя внутренних переживаний, внутренней борьбы...

— Да,— согласился Даниэль, не давая ей продолжать.— Но все же, если бы Женни могла нынче летом хоть недолго пожить в горах либо у моря...

— Ни горы, ни море ей не помогут,— сказала г-жа де Фонтанен, покачав головой, упрямая, как все кроткие люди, одержимые непоколебимой уверенностью в чем-либо.— Дело у Женни не в здоровье. Поверь мне, никто ей ничем не может помочь... Каждый человек неизбежно одинок в своей внутренней борьбе, как одиноким будет он и в тот час, когда ему придется принять свою смерть...— Она подумала об одиночестве Жерома в момент его кончины. Глаза ее наполнились слезами. Она сделала короткую паузу и тихо прибавила, словно для себя самой: — Наедине с собой и с Духом.

— С этими твоими принципами!..— начал Даниэль. Голос его дрожал от легкого раздражения. Он вынул из портсигара папиросу и замолчал.

— С этими моими принципами?...— удивленно переспросила г-жа де Фонтанен.

Она смотрела, как он резким движением захлопнул портсигар и постучал мундштуком папиросы о тыльную часть руки, прежде чем взять ее в рот. «Совсем отцовские жесты,— подумала она.— Совсем те же руки...» Сходство было особенно отчетливым благодаря тому, что теперь у Даниэля на указательном пальце виднелся перстень, который г-жа де Фонтанен сама сняла с руки Жерома, прежде чем навеки скрестила его руки; и эта большая камея вызывала в ней мучительное видение тонких и мужественных рук, которые жили теперь только в ее памяти. При малейшем воспоминании о физическом облике Жерома — она ничего не могла с собой поделать — сердце ее билось, словно ей было двадцать лет... Но черты сходства между отцом и сыном всегда вызывали в ней и сладостное ощущение, и вместе с тем ужасный страх.

— С этими моими принципами?..— повторила она.

— Я только хотел сказать...— начал он. Он колебался, хмуря брови, ища слов.— Именно с этими твоими принципами ты всегда предоставляла... *другим*... идти в одиночестве и совершенно свободно путями их судьбы, даже когда эти пути были очевидно дурными, даже когда эта судьба не могла внести ни в их жизнь, ни в твою ничего, кроме горя!

Она вздрогнула, словно от удара. Но все же отказывалась понимать и деланно улыбнулась.

— Теперь ты упрекаешь меня за то, что я давала тебе слишком много свободы?

Даниэль, в свою очередь, улыбнулся и, наклонившись, положил свою руку на руку матери.

— Я не упрекаю тебя и никогда ни в чем не стану упрекать, ты это прекрасно знаешь, мама,— сказал он, ласково глядя на нее. И затем, не в силах сладить с собой, настойчиво добавил: — И ты так же хорошо знаешь, что я говорил не о себе.

— О мой мальчик,— воскликнула она с внезапным негодованием,— это нехорошо!..— Она была задета за живое.— Ты всегда выискивал причины, чтобы обвинить отца!

В это утро, за несколько часов до похорон, подобный спор был особенно неуместен. Даниэль это чувствовал. Он уже жалел, что у него вырвались эти слова. Но само недовольство тем, что они были произнесены, глупейшим образом толкало его на то, чтобы усугубить этот промах.

— А ты, бедная мама, только и думаешь, как бы его оправдать, и забываешь все, даже то безвыходное положение, в котором мы теперь очутились!

Конечно, у нее были все основания думать так же, как Даниэль. Но она заботилась только об одном: как бы охранить память отца от суровости сына.

— Ах, Даниэль, как ты несправедлив! — воскликнула она, и в голосе ее послышалось рыдание.— Ты никогда не понимал своего отца по-настоящему! — И с пылким упрямством, с каким обычно защищают безнадежные дела, она продолжала: — Твоего отца нельзя упрекнуть ни в чем серьезном! Ни в чем!.. Он был слишком рыцарственной, благородной и доверчивой натурой, чтобы преуспеть в делах! Вот в чем его вина. Он стал жертвой низких людей, которых не сумел выставить за дверь! Вот его вина, его единственная вина! И я это докажу! Он был неосторожен, он, может быть, проявил «прискорбное легкомыслие», как сказал мне мистер Стеллинг. Вот и все! Прискорбное легкомыслие!

Даниэль не глядел на мать, губы его дрожали, плечо подергивалось; но он сдержался и не ответил. Значит, несмотря на их взаимную нежность, несмотря на их желание говорить друг с другом чистосердечно, это было неосуществимо, едва соприкоснувшись, их тайные мысли приходили в столкновение друг с другом, а издавна жившие в их душах обиды отравляли даже молчание, когда они были вдвоем. Он опустил голову и сидел неподвижно, уставив глаза в землю.

Госпожа де Фонтанен замолчала. Зачем продолжать разговор, всю фальшь которого она почувствовала с самого начала? Она намеревалась сообщить сыну о судебном преследовании, которое было возбуждено против ее мужа и которое могло скомпрометировать его имя, чтобы Даниэль понял, насколько необходимо ей поехать в Вену. Но, столкнувшись с раздражающей ее жесткостью Даниэля, она стала стремиться лишь к одному: оправдать Жерома, а это ослабляло, разумеется, силу аргументов, которые она могла представить сыну, доказывая ему необходимость своего отъезда. «Тем хуже,— подумала она.— Ну что ж, я ему напишу».

Несколько минут длилось тягостное молчание.

Повернувшись к окну, Даниэль созерцал утреннее небо, макушки деревьев и курил с деланной беспечностью, которая обманывала мать не больше, чем его самого.

— Уже восемь,— прошептала г-жа де Фонтанен, когда из клиники до нее донесся бой часов. Она подобрала крошки хлеба, упавшие ей на платье, рассыпала их на подоконнике птицам и спокойно сказала: — Я пойду туда.

Даниэль встал. Он стыдился самого себя и терзался угрызениями совести. Каждый раз, когда он сталкивался с нежностью и слепотой матери, его негодование на отца только возрастало. Некое чувство, которое он не смог бы определить, всегда заставляло его нарочно оскорблять эту всепрощающую любовь... Он бросил папиросу и, смущенно улыбаясь, подошел к матери. Молча склонился он, как часто это делал, чтобы поцеловать ее в лоб у самых

корней преждевременно поседевших волос. Его губы находили это место, ноздри узнавали теплый запах кожи. Она слегка откинула голову и ладонями сжала его лицо. Она ничего не сказала, но улыбалась ему и смотрела на него глубоким взглядом, и этот взгляд, эта улыбка, в которых не было даже затаенного упрека, казалось, говорили: «Все забыто. Прости, что я понервничала. И не печалься, что огорчил меня». Он так хорошо понял этот немой язык, что дважды опустил веки в знак согласия. И когда она выпрямилась, помог ей встать.

Не говоря ни слова, она взяла его под руку, и они спустились в подвальный этаж.

Он открыл перед ней дверь, и она вошла, но одна.

В лицо ей пахнуло прохладой погреба, смешанной с запахом роз, увядавших на гробе.

Женни сидела неподвижно, сложив на коленях руки.

Госпожа де Фонтанен снова заняла свое место рядом с дочерью. Из сумки, висевшей на спинке стула, она достала маленькую Библию и открыла ее наугад. (Во всяком случае, она называла это «наугад»; на самом же деле эта старая книга с потертым корешком всегда открывалась на тех листах, которые г-жа де Фонтанен особенно усердно читала.

Вот что она прочла на этот раз:

«...Кто родится чистым от нечистого? Ни один.

Если дни ему определены, и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него: пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник, дня своего».

Она снова подняла голову, на несколько мгновений задумалась, затем положила книгу между складками своей юбки. Осторожность, с которой она касалась Библии, открывала ее и закрывала, сама по себе уже являлась актом благочестия и благодарности.

Она полностью обрела свое прежнее спокойствие.

XXXIV

Накануне вечером, проводив взглядом Жореса, который сел в такси и исчез во мраке, Жак присоединился к группе полуночников — партийных активистов, которые часто засиживались до рассвета в «Кружке пива». В отдельный зал, который это кафе на улице Фейдо предоставило социалистам, вел особый ход со

двора, что позволяло держать помещение открытым даже после того, как торговля прекращалась. Споры велись с таким жаром и так затянулись, что Жак вышел оттуда лишь в три часа утра. Ему было до того лень в столь поздний час отправляться на площадь Мобер, что он подыскал себе приют в третьеразрядной гостинице в районе Биржи и, едва очутившись в постели, погрузился в глубокий сон, которого не смогли потревожить даже утренние шумы этого густонаселенного квартала.

Когда он проснулся, уже ярко светило солнце.

Совершив свой несложный туалет, он вышел на улицу, купил газеты и побежал читать их на террасе одного из кафе на Бульварах.

На этот раз пресса решилась забить тревогу. Процесс г-жи Кайо оказался оттесненным на вторую страницу, и все газеты жирным шрифтом извещали о серьезности положения, называли австрийскую ноту «ультиматумом», а мероприятия Австрии «наглой провокацией». Даже «Фигаро», которая вот уже целую неделю заполняла каждый номер стенографическим отчетом о процессе г-жи Кайо, сегодня на первой же странице крупными буквами возвещала:

«АВСТРИЙСКАЯ УГРОЗА»

И целый лист был занят сообщениями о напряженных дипломатических отношениях под тревожным заголовком:

«БУДЕТ ЛИ ВОЙНА?»

Полуофициозная «Матэн» взяла воинственный тон: «Австро-сербский конфликт обсуждался во время поездки президента республики в Россию. Двойственный союз не будет застигнут врасплох...» Клемансо писал в «Ом либр»: «Никогда с 1870 года Европа не была так близка к военному столкновению, масштабы которого невозможно измерить». «Эко де Пари» сообщала о визите фон Шена на Кэ-д'Орсе: «За австрийскими требованиями последовали германские угрозы...» — и рубрику «В последнюю минуту» завершала таким предупреждением: «Если Сербия не уступит, война может быть объявлена уже сегодня вечером». Речь шла, разумеется, только об австро-сербской войне. Но кто мог поручиться, что удастся локализовать пожар?.. Жорес в своей передовице не скрывал, что «последним шансом сохранить мир» было бы унижение Сербии и постыдное согласие на все австрийские требования. Судя по выдержкам, приводимым в прессе, иностранные газеты проявляли не меньший пессимизм. Утром 25 июля, за каких-нибудь двенадцать часов до истечения срока ультиматума, предъявленного Сербии, вся Европа (как и предсказывал австрийский ге-

перал, о чем Жак узнал за две недели до того в Вене) проснулась в совершенной панике.

Отодвинув ворох газет, которыми завален был столик, Жак выпил простывший кофе. Из этого чтения он не вынес ничего, что ему не было бы известно; но единодушность тревоги придавала событиям некий новый, драматический оттенок. Он сидел неподвижно, взгляд его блуждал по толпе рабочих, служащих, которые выходили из автобусов и бежали, как всегда, по своим делам; но лица их были серьезнее, чем обычно, и каждый держал в руках развернутую газету. На мгновение Жак ощутил упадок духа. Одиночество невыносимо тяготило его. У него промелькнула мысль о Женни, о Даниэле, о похоронах, которые должны были состояться сегодня утром.

Он поспешно встал и двинулся по направлению к Монмартру. Ему пришло в голову подняться к площади Данкур и зайти в редакцию «Либертэр». Ему не терпелось очутиться в знакомой атмосфере политической борьбы.

На улице Орсель уже человек десять ждали новостей. Левые газеты переходили из рук в руки. «Боннэ руж» посвящала первую страницу забастовкам в России. Для большинства революционеров размах рабочего движения в Петербурге являлся одной из вернейших гарантий русского нейтралитета и, следовательно, локализации конфликта на Балканах. И все в «Либертэр» единодушно критиковали мягкотелость Интернационала и обвиняли вождей в компромиссе с буржуазными правительствами. Разве не наступил подходящий момент для решительных действий — момент, когда надо было любыми средствами вызвать забастовки в других странах и парализовать все европейские правительства одновременно. Исключительно благоприятный случай для массового выступления, которое могло не только ликвидировать нынешнюю опасность, но и на несколько десятилетий приблизить революцию!

Жак прислушивался к спорам, но не решался высказать определенное мнение. С его точки зрения, забастовки в России были обоюдоострым оружием: конечно, они могли парализовать воинственный пыл генерального штаба, но могли также натолкнуть правительство, находящееся в трудном положении, на мысль применить силу — объявить осадное положение под предлогом военной угрозы и беспощадными мерами подавить народное возмущение.

Когда Жак вернулся на площадь Пигаль, часы показывали ровно одиннадцать. «Что мне надо было сделать сегодня утром в одиннадцать?» — подумал он. Он забыл. В субботу, в одиннад-

цать... Охваченный внезапной тревогой, он старался припомнить. Похороны Фонтанена. Но он вовсе не собирался на них присутствовать... Он шагал, опустив голову, в полном замешательстве. «Не могу же я явиться в таком виде... Небритый... Правда, затерявшись в толпе... Я сейчас так близко от Монмартрского кладбища... Если я решусь, парикмахер в какие-нибудь пять минут... Зайду пожать руку Даниэлю; это будет простой любезностью... Любезность, которая ни к чему не обязывает...»

И глаза его уже искали вывеску парикмахерской.

Когда он явился на кладбище, сторож сказал ему, что процессия уже прошла, и указал ему направление.

Вскоре между могилами он увидел группу людей, собравшихся перед часовенкой с надписью:

СЕМЬЯ ДЕ ФОНТАНЕН

Со спины он узнал Даниэля и Грегори. В тишине раздавался только хриплый голос пастора:

— Господь сказал Моисею: «Я пребуду с тобой!» Итак, грешник, даже когда ты шествуешь долиною теней, не бойся, ибо господь с тобой!»

Жак обошел часовню, чтобы видеть присутствующих в лицо. Над всеми в ярком свете дня выделялась голова Даниэля, стоявшего без каски. Рядом с ним находились три женщины, закутанные в черные вуали. Первая была г-жа де Фонтанен. Но которая из двух Женни?

Волосы у пастора были всклокочены, взгляд исступленный; стоя с угрожающе поднятой рукой, взывал он к желтому деревянному гробу, покоившемуся под жарким солнцем на пороге склепа:

— Бедный, бедный грешник! Солнце твое закатилось еще до конца дня! Но мы не оплакиваем тебя так, как те, у кого нет надежды! Ты скрылся из нашего поля зрения, но то, что исчезло для нашего плотского взора, было лишь иллюзорной формой ненавистной плоти! Ныне ты сияешь во славе, призванный ко Христу для несения великой и торжественной Службы! Ты прежде нас явился к радостному Пришествию!.. А вы все, братья, здесь присутствующие, укрепите сердца свои терпением! Ибо пришествие Христа столь же близко для каждого из нас!.. Отче наш, в руки твои предаю души наши! Аминь.

Но вот несколько человек подняли гроб, повернули его и стали осторожно спускать на веревках в могилу. Г-жа де Фонтанен, поддерживаемая Даниэлем, склонилась над зияющей ямой. За ней — это, верно, Женни? А дальше — Николь Эке?.. Затем три женщины, которых провожал служащий похоронного бюро, не-

заметно уселись в траурную карету, и она тотчас же медленно отъехала.

Даниэль стоял один в конце маленькой аллеи, держа в согнутой руке свою блестящую каску. У него был какой-то почти парадный вид. Стройный, изящный, он непринужденно, хотя и несколько торжественно, принимал соболезнования присутствующих, которые медленным потоком проходили мимо него.

Жак наблюдал за ним; и уже от одного того, что он смотрел на Даниэля вот так, издалека, он ощущал, как в былые времена, некую сладостную и всепроникающую теплоту.

Даниэль узнал его и, продолжая пожимать протянутые руки, время от времени обращал на него взгляд, полный дружеского удивления.

— Спасибо, что пришел,— сказал он. И нерешительно добавил: — Я уезжаю сегодня вечером... Мне бы так хотелось повидаться с тобой еще раз!

Глядя на друга, Жак думал о войне, о передовых частях, о первых жертвах...

— Ты читал газеты? — спросил он.

Даниэль взглянул на него, не вполне понимая, что он хочет сказать.

— Газеты? Нет, а в чем дело? — Затем, сдерживая настойчивые нотки в голосе, прибавил: — Ты придешь попрощаться со мной вечером на Восточный вокзал?

— В котором часу?

Лицо Даниэля засветилось.

— Поезд отходит в девять тридцать... Хочешь, я буду ждать тебя в девять часов в буфете?

— Ладно, приду.

Прежде чем распрощаться, они еще раз посмотрели друг на друга.

— Спасибо,— прошептал Даниэль.

Жак ушел, не оборачиваясь.

XXXV

Несколько раз в течение этого утра Жак спрашивал себя, как относится Антуан к ухудшению политической обстановки. Сам не отдавая себе в этом отчета, он надеялся встретить брата на похоронах.

Он решил наскоро позавтракать и отправиться на Университетскую улицу.

— Господин Антуан еще кушают,— сказал Леон, ведя Жака в столовую.— Но я уже подал фрукты.

Жак с досадой увидел, что вместе с его братом за столом сидят Исаак Штудлер, Жуслен и молодой Руа. Он не знал, что они завтракают тут каждый день. (Так захотел Антуан: для него это был верный способ общаться со своими сотрудниками ежедневно между утренними часами в больнице и послеполуденными, когда он бывал занят с пациентами. И все трое были холостяками — это сберегало и время и деньги.)

— Будешь завтракать? — спросил Антуан.

— Благодарю, я уже поел.

Он обошел кругом большой стол, пожал протянутые руки и сказал, ни к кому прямо не обращаясь:

— Газеты читали?

Антуан, прежде чем ответить, несколько мгновений смотрел на брата, и взгляд его, казалось, признавал: «Может быть, ты был прав».

— Да,— задумчиво уронил он.— Мы все читали газеты.

— С тех пор как мы сели за стол, ни о чем другом и разговора не было,— признался Штудлер, поглаживая свою черную бороду.

Антуан следил, чтобы его тревога не слишком прорывалась наружу. Все утро он был в состоянии какого-то глухого раздражения. Он нуждался в прилично организованном обществе, как нуждался в хорошо содержащемся доме, где все вопросы материального комфорта разрешали бы помимо него добросовестные слуги. Он готов был терпеть некоторые пороки существующего строя, закрывать глаза на те или иные парламентские скандалы, так же, как закрывал глаза на мотовство Леона и мелкие кражи Клотильды. Но ни в коем случае судьбы Франции не должны были заботить его больше, чем дела в людской или на кухне. И ему была невыносима мысль, что какие-то политические потрясения могут нарушить течение его жизни, угрожать его планам и его работе.

— Я не думаю,— сказал он,— что следует слишком сильно беспокоиться. Еще и не то бывало... Но тем не менее ясно, что сегодня утром вся пресса забряцала оружием, довольно неожиданно и довольно неприятно...

При этих словах Манюэль Руа поднял к Антуану черные глаза, горевшие на его юном лице.

— Это бряцание, патрон, услышат по ту сторону границы. И, наверно, оно собьет спесь с некоторых наших соседей, у которых слишком разыгрался аппетит!

Жуслен, склонившийся над тарелкой, поднял голову и поглядел на Руа. Затем снова занялся своим делом: тщательно, кончиками ножа и вилки, он чистил персик.

— Вот уж это неизвестно,— сказал Штудлер.

— Все же возможно,— заметил Антуан.— И, может быть, такой тон даже необходим.

— Не знаю,— сказал Штудлер.— Политика устрашения всегда губительна. Она выводит противника из себя гораздо чаще, чем парализует. Я считаю особенно серьезной ошибкой правительства то, что оно позволяет так далеко разноситься нашему... бряцанию оружием!

— Очень трудно ставить себя на место людей, ответственных за судьбы страны,— заявил Антуан благоразумным тоном.

— От этих ответственных людей прежде всего требуется, чтобы они были людьми осторожными,— возразил Штудлер.— Принимать агрессивный тон — это первая неосторожность. Внушать всем, что этот тон необходим,— вторая. Самая большая опасность для мира — это допустить, чтобы общественное мнение прочно поверило в угрозу войны... Или хотя бы в возможность войны!

Жак молчал.

— Я лично,— снова заговорил Антуан, не глядя на брата,— прекрасно понимаю министра, который, осуждая войну с чисто человеческой точки зрения, в то же время вынужден принять некоторые агрессивные меры. Вынужден хотя бы потому, что находится у власти. Человек, стоящий во главе страны и обязанный следить за ее безопасностью, если он обладает чувством реальности, если угрожающая политика соседних государств для него очевидна...

— Не говоря уже о том,— прервал его Руа,— что не может быть такого государственного человека, который решился бы из-за своей личной чувствительности любой ценой избежать войны! Если ты стоишь во главе страны, имеющей определенный международный вес, страны, обладающей немалой территорией и колониальными владениями, это обязывает тебя реально смотреть на вещи. Самый пацифистски настроенный председатель совета министров, раз он находится у власти, должен сразу же понять, что государство не может сохранять свои богатства и защищать свое достояние от посягательств со стороны соседей, если оно не обладает мощной армией, с которой надо считаться и которая должна время от времени бряцать оружием хотя бы для того, чтобы весь остальной мир знал о ее существовании!

«Охранять свои богатства! — думал Жак.— Вот оно! Охранять то, чем владеешь, и присваивать при случае то, чем владеет сосед! В этом вся политика капитализма, идет ли речь о частных лицах или о целых нациях... Частные лица ведут борьбу за прибыли, нации — за выходы к морю, территории, порты! Как будто единственный закон человеческой деятельности — конкуренция...»

— К сожалению,— сказал Штудлер,— какой бы оборот ни приняли события завтра, ваше бряцание оружием может иметь самые печальные последствия для французской политики, как внешней, так и внутренней...

Говоря это, он сделал движение в сторону Жака, словно спрашивая его мнения. В зрачках его был какой-то томный, волнующий блеск, который почти вынуждал собеседника отводить глаза.

Жуслен снова поднял голову и взглянул на Штудлера; затем взгляд его скользнул по лицам всех прочих. У него было характерное лицо блондина, с тонкой и нежной кожей: нос с горбинкой, довольно длинный и какой-то унылый; большой рот с тонкими губами, легко расплывающимися в улыбку; глаза тоже большие, странные, нежно-серого оттенка.

— Послушайте,— рассеянно пробормотал он,— вы все как-то забываете, что никто ведь не хочет войны! Никто!

— Вы в этом уверены? — спросил Штудлер.

— Разве что несколько стариков,— согласился Антуан.

— Да, несколько опасных стариков, упивающихся красивыми героическими фразами,— продолжал Штудлер,— и отлично знающих, что в случае войны они, сидя в тылу, смогут упиваться ими без малейшего риска...

— Опасность,— вставил Жак с осторожностью, которую хорошо заметил Антуан,— заключается в том, что почти всюду в Европе командные посты заняты такими вот стариками...

Руа со смехом взглянул на Штудлера:

— Вы, Халиф,— ведь вы, не боитесь новых идей,— могли бы подать этакую профилактическую идейку: в случае мобилизации призывается в первую очередь самый старший возраст. Всех стариков — на передовую!

— Что ж, это было бы не так глупо! — пробормотал Штудлер.

Наступило молчание и длилось, пока Леон подавал кофе.

— А ведь есть одно средство, единственное, почти верное средство избежать каких-бы то ни было войн,— мрачно заявил Штудлер.— Средство радикальное и вполне осуществимое в Европе.

— Какое же?

— Требовать народного референдума!

Один лишь Жак кивком головы одобрил это предложение.

Штудлер, ободренный, продолжал:

— Разве это не нелепо, разве это не бессмысленно,— что у нас, при демократическом строе и всеобщем избирательном праве, право объявления войны принадлежит правительствам?.. Жуслен сказал: «Никто не хочет войны». Так вот, ни одно правительство

ни в одной стране не должно было бы иметь право решать вопрос о войне или даже о том, чтобы принять навязываемую ему войну, если на то нет ясно выраженной воли большинства граждан! Когда идет речь о жизни и смерти народов, обращаться к народному волеизъявлению по меньшей мере законно. А должно бы быть даже обязательно.

Когда он начинал говорить с воодушевлением, ноздри его крючковатого носа раздувались, скулы покрывались пятнами, а белки больших, как у лошади, глаз слегка наливались кровью.

— В этом нет ничего неосуществимого,— продолжал он.— Достаточно было бы каждому народу заставить своих правителей прибавить три строчки в конституции: *«Приказ о мобилизации может быть издан, война может быть объявлена лишь после плебисцита и при условии, если за это выскажется семьдесят пять процентов населения»*. Поразмыслите над этим. Это единственное и почти безошибочное средство законодательным путем помешать возникновению новых войн... В мирное время,— мы это наблюдаем во Франции,— иногда еще можно сколотить большинство, которое выберет в правительство какого-нибудь задиристого политика, всегда находятся любители играть с огнем. Но накануне мобилизаци такому человеку,— если бы он вынужден был запрашивать волю тех, кто поставил его у власти,— пришлось бы убедиться, что никто не согласен предоставить ему право объявлять войну.

Руа ничего не говорил и только посмеивался.

Антуан встал и дотронулся до его плеча:

— Дайте-ка мне спичку, милый Манюэль... Ну, а вы что на этот счет скажете? И что сказала бы ваша газета?

Руа поднял на Антуана свой уверенный взгляд примерного ученика; он продолжал посмеиваться с вызывающим видом.

— Манюэль,— объяснил Антуан, повернувшись к брату,— прилежный читатель «Аксьон франсез».

— Я тоже читаю ее каждый день,— заявил Жак, внимательно оглядывая молодого врача, который, со своей стороны, в упор смотрел на него.— Там сотрудничает целая бригада неплохих диалектиков, которые довольно часто строят просто непогрешимые рассуждения. К сожалению, по крайней мере, на мой взгляд,— они почти всегда строят их на неверных посылках.

— Вы полагаете? — протянул Руа.

Он не переставал улыбаться самоуверенно и заносчиво. Казалось, он не намерен был снисходить до обсуждения с профанами тех вещей, которые были дороги ему. Он походил на ребенка, желающего сохранить свой секрет. Тем не менее в глазах его порою пробегал какой-то дерзкий огонек. И, словно суждение Жака

заставило его против воли покончить со своей сдержанностью, он сделал шаг по направлению к Антуану и резко бросил:

— Ну, а я, патрон, должен вам признаться, что мне надоела франко-германская проблема! Вот уже сорок лет, как мы тащим за собой это ядро,— и наши отцы, и мы сами. Довольно! Если для того, чтобы с этим разделаться, нужно воевать,— что ж, будем воевать! Раз уж все равно иначе нельзя — зачем ждать? Зачем оттягивать неизбежное?

— Все-таки лучше будем оттягивать,— улыбаясь, сказал Антуан.— Война, которая бесконечно оттягивается, очень похожа на мир!

— А я предпочел бы покончить с этим раз и навсегда. Ибо, во всяком случае, одно можно сказать с уверенностью: после войны — победим ли мы, что весьма вероятно, или даже в случае нашего поражения — вопрос будет окончательно разрешен в ту или иную сторону. И не останется больше никакой франко-германской проблемы!.. Не говоря уже о том,— прибавил он, и лицо его приняло серьезное выражение,— какую пользу принесет нам кровопускание при нынешнем положении вещей. Сорок лет мирного прозябания в гнилом болоте не могут поднять моральное состояние страны! Если духовное оздоровление Франции можно купить лишь ценою войны, то среди нас, слава богу, найдутся такие, кто, не торгуясь, пожертвует своей шкурой!

В тоне, которым он произнес эти слова, не было и следа бахвальства. Искренность Руа была очевидна. Это почувствовали все присутствующие. Перед ними был человек убежденный, готовый отдать жизнь за то, что казалось ему истиной.

Антуан слушал его стоя, с папиросой в зубах и сощурив глаза. Не отвечая, он окинул юношу серьезным и сердечным, немного меланхоличным взглядом: смелость ему всегда нравилась. Затем уставился на горящий кончик своей папиросы.

Жуслен подошел к Штудлеру. Указательным пальцем с желтым, изъеденным кислотами ногтем он несколько раз ткнул Халифа в грудь.

— Вот видите всегда приходится возвращаться к классификации Минковского: *синтоны* и *шизоиды*,— те, которые принимают жизнь, как она есть, и те, которые ее отвергают...

Руа весело расхохотался:

— Так, значит, я *синтон?*

— Да, а Халиф — *шизоид*. Вы никогда не изменитесь — ни тот, ни другой.

Антуан повернулся к Жаку и с улыбкой посмотрел на часы:

— Ты не торопишься, *шизоид?*.. Зайдем-ка на минутку в мою лачугу...

— Я очень люблю маленького Руа,— сказал он, открывая дверь своего кабинета и пропуская брата вперед.— Это здоровая и благородная натура... Он такой прямодушный... Хотя, правду сказать, ограниченный,— прибавил он, заметив, что Жак неодобрительно молчит.— Ну, садись. Хочешь напиросу?.. Я уверен, он тебя немного рассердил? Надо его знать и понимать. У него темперамент спортсмена. Он любит утверждать. Он всегда радостно и даже как-то лихо принимает реальность, факты. Он не позволяет себе предаваться разрушительному анализу, хотя весьма способен критически мыслить,— по крайней мере, когда дело касается работы. Но он инстинктивно отвергает парализующее сомнение. Может быть, он и прав... С его точки зрения, жизнь не должна сводиться к интеллектуальным дискуссиям. Он никогда не говорит: «Что надо думать?» Он говорит: «Что надо делать? Как надо действовать?» Я отлично вижу его недостатки, но это по большей части ошибки молодости. Это пройдет. Ты заметил, какой у него голос? Иногда он ломается, точно у подростка; тогда он нарочно понижает его, чтобы говорить басом, как взрослые...

Жак сел. Он слушал, не высказывая одобрения.

— Мне больше нравятся двое других,— признался он.— Твой Жуслен особенно мне симпатичен.

— Ах,— смеясь, сказал Антуан,— этот тип вечно живет какими-то сказками. У него темперамент изобретателя.Он провел всю жизнь в мечтаниях о том, что лежит на грани возможного и невозможного, в полуреальном мире, где с таким умом, как у него, иногда удается делать открытия. И он их делал, чудак этакий. Даже иногда значительные. Я расскажу тебе подробно, когда у нас будет время... Руа очень забавно говорит о нем: «Жуслен только и видит, что трехногих телят. В тот день, когда он согласится посмотреть на нормального теленка, ему покажется, что перед ним чудо, и он станет всюду кричать: «Знаете, а ведь, оказывается, существуют и четырехногие телята!» — Антуан во весь рост вытянулся на диване и скрестил руки на затылке.— Как видишь, я подобрал себе довольно удачную бригаду... Все трое очень разные, но замечательно дополняют друг друга... Ты был уже раньше знаком с Халифом? Он оказывает мне огромные услуги. Это человек совершенно исключительной трудоспособности. И притом необычайно одарен, скотина. Я сказал бы даже, что одаренность — его самая характерная черта. В этом и сила его, и вместе с тем ограниченность. Он схватывает все без каких-либо усилий. И каждое новое приобретение тотчас же занимает свое место у него в мозгу, место на заранее приготовленной полочке, так что в его башке никогда не бывает беспорядка. Но я всегда ощущал в нем что-то чуждое, что-то неопределимое... Вероятно, это идет

от его расовой принадлежности... Не знаю, как это назвать.. Его идеи словно не целиком исходят от него, словно не составляют с ним одного целого. Это крайне любопытно. Он пользуется своим мозгом не как принадлежащим ему органом, а скорее как инструментом... взятым откуда-то извне или от кого-то полученным...

Продолжая говорить, он посмотрел на часы и лениво спустил ноги с дивана.

«А ведь он читал газеты,— думал про себя Жак.— Неужели ему непонятна вся серьезность положения? Или он говорит все это, чтобы избежать откровенного разговора?»

— Ты сейчас куда? — спросил Антуан, вставая.— Хочешь, я тебя подвезу на машине?.. Мне-то нужно в министерство... на Кэ-д'Орсе.

— Вот как? — сказал заинтересовавшийся Жак, даже не скрывая удивления.

— Мне надо повидаться с Рюмелем,— с готовностью объяснил Антуан.— О, не для разговора о политике... Каждые два дня я делаю ему впрыскивание. Обычно он приезжает сюда, но сегодня от него позвонили, что он перегружен работой и не сможет уйти из своего кабинета.

— А что он думает о событиях? — прямо спросил Жак.

— Не знаю. Я как раз собираюсь порасспросить его... Заходи сегодня вечером, я тебе расскажу... Или, может быть, поедешь со мной? Это продлится не более десяти минут. Ты подождешь в машине.

Соблазненный этим предложением, Жак секунду подумал и утвердительно кивнул головой.

Тем временем Антуан перед уходом запирал ящики письменного стола.

— Знаешь,— пробормотал он,— чем я занимался только что, когда пришел домой? Искал свой воинский билет, чтобы посмотреть, куда являться по мобилизации...— Он уже не улыбался и спокойным тоном добавил:— Компьень... И в *первые* сутки!..

Братья молча обменялись взглядами. После минутного колебания Жак серьезно сказал:

— Я уверен, что сегодня утром тысячи людей по всей Европе сделали то же самое...

— Бедняга Рюмель,— продолжал Антуан, когда они спускались по лестнице.— Он очень переутомился за зиму и должен был на днях ехать в отпуск. А теперь — по-видимому, из-за всех этих историй,— Бертело попросил его отказаться от каникул. Тогда он явился ко мне, чтобы я помог ему выдержать эту нагрузку. Я начал лечение. Надеюсь, что удастся.

Жак не слушал. Только что он убедился, что сегодня, сам не зная почему, снова ощутил к Антуану братскую любовь, горячую, но в то же время требовательную и неудовлетворенную.

— Ах, Антуан,— вырвалось у него,— если бы ты лучше знал людей, массы, трудовой народ, насколько ты был бы... другим! (И в тоне его слышалось: «Насколько ты был бы лучше... И ближе ко мне!.. Как хорошо было бы любить тебя по-настоящему...»)

Антуан, шагавший впереди него обернулся с обиженным видом:

— А ты думаешь, я их не знаю? После пятнадцатилетней работы в больнице? Ты забываешь, что вот уже пятнадцать лет каждое утро я только и делаю, что общаюсь с людьми... Людьми из всех слоев общества — заводскими рабочими, населением предместий... И я, врач, вижу людей, каковы они есть: людей с которых страдание сбросило все маски! Неужели ты думаешь, что мой опыт не стоит твоего!

«Нет,— подумал Жак с упрямым раздражением.— Нет, это не одно и то же».

Минут через двадцать Антуан, выйдя из министерства с озабоченным лицом, вернулся к автомобилю, в котором его дожидался Жак.

— Там у них точно пожар,— пробурчал он.— Люди как ошалелые мечутся из отдела в отдел... Из всех посольств поступают телеграммы... Они с беспокойством ждут ответа на ультиматум; Сербия должна передать его сегодня вечером...— И, не отвечая на немой вопрос брата, Антуан спросил его: — Тебе куда надо?

Жак едва не сказал: «В Юма». Но ограничился ответом:

— В район Биржи.

— Туда я не смогу тебя довезти: опоздаю. Но если хочешь, доедем вместе до площади Оперы.

Усевшись в машине, Антуан сейчас же заговорил:

— У Рюмеля очень озабоченный вид... Судя по утренним разговорам в кабинете министра, большое значение придается официальной ноте германского посольства, в которой заявлено, что австрийская нота не ультиматум, а только «требование ответа в кратчайший срок». Говорят, на дипломатическом жаргоне это означает очень многое: с одной стороны, что Германия стремится немного смягчить серьезность предпринятых Австрией шагов, с другой — что Австрия не отказывается от переговоров с Сербией...

— Значит, уже до этого дошло? — сказал Жак.— До того, что люди цепляются за подобные словесные тонкости?

— Вообще-то говоря, поскольку казалось, что Сербия готова капитулировать почти без оговорок, еще сегодня утром там все надеялись на лучшее.

— Но?..— нетерпеливо спросил Жак.

— Но только что пришло известие, что Сербия мобилизует триста тысяч человек и что сербское правительство, боясь оставаться в Белграде, слишком близко от границы, сегодня вечером намеревается покинуть столицу и переехать в центральный район страны. Из чего можно заключить, что сербский ответ вовсе не будет капитуляцией, как на это надеялись, и что Сербия имеет основания предвидеть вооруженное нападение...

— А Франция? Собирается она действовать, что-нибудь предпринять?

— Рюмель, естественно, всего сказать не может. Но насколько я его понял, в настоящий момент большинство членов правительства считает, что следует проявить твердость и в случае необходимости открыто проводить подготовку к войне.

— Опять политика устрашения!

— Рюмель говорит,— и ясно, что именно таковы указания, данные на сегодня: «При создавшемся положении вещей Франция и Россия могут удержать центральные державы от выступления лишь в том случае, если покажут, что готовы на все». Он говорит: «Если хоть один из нас отступит — война неизбежна».

— И у всех у них, разумеется, есть при этом задняя мысль: «Если, несмотря на нашу угрожающую позицию, война все же разразится, наши приготовления дадут нам преимущество!»

— Конечно. И, по-моему, это вполне правильно.

— Но центральные державы, должно быть, рассуждают точно так же! — воскликнул Жак.— Куда же мы в таком случае идем?.. Штудлер прав: опаснее всего эта агрессивная политика!

— Надо полагаться на специалистов этого дела,— нервно отрезал Антуан.— Они, наверное, лучше нас знают, как поступать.

Жак пожал плечами и замолчал.

Автомобиль приближался к Опере.

— Когда мы с тобой увидимся? — спросил Антуан.— Ты остаешься в Париже?

Жак сделал неопределенный жест.

— Не знаю еще...

Он уже отворил дверцу. Антуан тронул его за рукав.

— Послушай...— Он колебался, ища слов.— Ты знаешь или, может быть, не знаешь, что теперь каждые две недели в воскресенье днем я принимаю у себя друзей... Завтра в три часа

приедет Рюмель, чтобы сделать укол, и он обещал мне хоть ненадолго задержаться. Если тебе интересно повидаться с ним, приходи. Принимая во внимание обстоятельства, с ним, пожалуй, имеет смысл побеседовать.

— Завтра в три? — неопределенно протянул Жак.— Может быть... Постараюсь... Спасибо.

XXXVI

В «Юманите» было известно не более того, что Жак узнал от Антуана и Рюмеля.

Жорес уехал на сутки в департамент Роны, чтобы поддержать предвыборную агитацию своего друга Мариуса Муте. Хотя из-за отсутствия патрона в столь серьезное время редакторы были несколько растерянны, среди них господствовало скорее оптимистическое настроение. Ответа на ультиматум ждали без особого беспокойства. Говорили с уверенностью, что Сербия под давлением великих держав проявит достаточную сговорчивость, чтобы у Австрии не оставалось предлога изображать себя оскорбленной. Особенно большую цену придавали тем заверениям, которые германская социал-демократическая партия неоднократно давала французским социалистам: казалось, согласие пред лицом общей опасности было действительно полным. К тому же, все время поступали самые успокоительные сведения о повсеместном росте международного антивоенного движения. Выступления против угрозы войны повсюду становились все более и более серьезными. Различные социалистические партии Европы усиленно обменивались мнениями насчет согласованных и энергичных действий; идея превентивной всеобщей забастовки вырисовывалась все отчетливей.

Выходя из кабинета Стефани, Жак столкнулся с Мурланом, который пришел узнать, какие есть новости. Поговорив немного о политических событиях, старый революционер увлек Жака в уголок.

— Где ты живешь, мальчуган? Знаешь, в настоящий момент полиция усиленно обыскивает меблированные комнаты... У Жерве уже были неприятности. И у Краболя тоже.

Жаку было известно, что его хозяин на набережной Турнель находился под подозрением; и хотя документы у него были в порядке, ему вовсе не улыбалось иметь дело с полицией.

— Поверь мне,— посоветовал Мурлан,— не откладывай! Переезжай сегодня же вечером.

— Сегодня вечером?

Что ж, это было возможно. Только что пробило половина вось-

мого, а свидание с Даниэлем назначено было на девять. Но куда переехать?

Мурлана осенило. Один товарищ из «Этандар», коммивояжер, собирался на неделю уехать. Его комната, снятая на год, находилась на верхнем этаже дома на улице Жур, в районе Центрального рынка, против портала церкви св. Евстахия. Дом был старый, тихий, вряд ли он мог быть включен в списки подозрительных.

— Пойдем туда,— сказал Мурлан.— Это в двух шагах.

Товарищ был дома. Вопрос решили тотчас же. И менее чем через час Жак переправил в новое помещение свой нехитрый багаж.

Часы показывали девять с минутами, когда он прибыл к Восточному вокзалу.

Даниэль ждал его на улице, перед входом в буфет. Завидев Жака, он подошел к нему с немного смущенным видом.

— Со мной Женни,— сразу же сказал он.

Жак покраснел. Его губы шевельнулись, он едва слышно произнес: «А...» В одну секунду на ум ему пришло сразу несколько противоречивых планов. И он отвернулся, чтобы скрыть свое смятение.

Даниэль решил, что глаза Жака ищут девушку.

— Она на платформе,— объяснил он. Затем, словно извиняясь, прибавил: — Она захотела проводить меня на поезд... Неудобно было сообщать ей, что мы сговорились встретиться; она не решилась бы поехать. Я предупредил ее только сейчас.

Жак справился со своим волнением.

— Я не буду вам мешать,— быстро сказал он.— Я ведь хотел только пожать тебе руку...— Он улыбнулся.— Это сделано. Я ухожу.

— Ну нет! — воскликнул Даниэль.— Мне нужно столько сказать тебе...— И тотчас же прибавил: — Я прочел газеты.

Жак поднял глаза, но ничего не ответил.

— А ты,— спросил Даниэль,— если будет война, как ты поступишь?

— Я? — (Жак покачал головой, словно хотел сказать: «Это было бы слишком долго объяснять».) Несколько секунд он молчал.— Войны не будет,— заявил он, вкладывая в эти слова всю силу своей надежды.

Даниэль внимательно смотрел ему в лицо.

— Я не могу посвятить тебя во все, что подготовляется,— продолжал Жак.— Но поверь мне, я знаю, что говорю. Все народные массы Европы так возбуждены, силы социализма так прочно объединились, что ни одно правительство не может быть настолько уверено в своей власти, чтобы заставить свой народ воевать.

— Да? — прошептал Даниэль с явным недоверием.

Жак на секунду опустил глаза. Мысленным взором окинул он положение, и перед ним предстали с какой-то схематической четкостью оба течения, на которые во всех странах разделялись социалисты: левое, непримиримое в своей вражде к буржуазным правительствам, все более и более старающееся воздействовать на массы в целях подготовки восстания; и правое, реформистское, верящее в бюрократическую машину и старающееся сотрудничать с правительствами... Внезапно он испугался: его коснулось сомнение. Но в тот же миг он поднял глаза и с уверенностью, которая, несмотря ни на что, поколебала Даниэля, повторил:

— Да... Ты, кажется, и понятия не имеешь о том, насколько силен в настоящее время рабочий Интернационал. Все предусмотрено. Все подготовлено для упорного сопротивления. Повсюду — во Франции, в Германии, в Бельгии, в Италии... Малейшая попытка развязать войну будет сигналом к всеобщему восстанию!

— Может быть, это будет еще ужаснее войны,— робко заметил Даниэль.

Лицо Жака помрачнело.

— Я никогда не был сторонником насилия,— признался он после некоторой паузы.— Но все же как можно колебаться в выборе между европейской войной и восстанием против нее?.. Если бы потребовалась смерть нескольких тысяч человек на баррикадах ради того, чтобы воспрепятствовать бессмысленному избиению миллионов, в Европе нашлось бы достаточно социалистов, которые ни минуты не колебались бы, как и я...

«Что делает Женни? — думал он про себя.— Если ее брат задержится, она придет сюда...»

— Жак! — внезапно воскликнул Даниэль.— Обещай мне...— Он замолчал, не решаясь сформулировать свою мысль.— Я боюсь за тебя,— пролепетал он.

«Его положение во сто раз опаснее моего, а он ни секунды не думает о себе»,— подумал Жак, растроганный до глубины души. И он попытался улыбнуться:

— Повторяю тебе: войны не будет!.. Но на этот раз положение действительно тревожное, и я надеюсь, что народы поймут сделанное им предостережение... Ну, как-нибудь мы еще поговорим об этом... А теперь я ухожу... До свидания.

— Нет! Не уходи так скоро. В чем дело?

— Да... тебя же *ждут*,— с усилием пробормотал Жак, и движением руки он указал на внутреннее помещение вокзала.

— Ну, проводи меня хотя бы до вагона,— грустно сказал Даниэль.— Поздороваешься с Женни.

Жак вздрогнул. Захваченный врасплох, он бессмысленно смотрел на приятеля.

— Да идем же,— промолвил Даниэль, дружески беря его под руку. Из-за обшлага он вынул билетик.— Я взял для тебя перронный...

«Напрасно я иду на платформу,— думал Жак.— Какое идиотство!.. Надо отказаться, убежать...» И все же некий темный инстинкт заставлял его идти вслед за другом.

Зал для ожидающих был полон солдат, пассажиров, тележек с багажом. Был субботний вечер и для многих — начало каникул. Радостная шумная толпа теснилась у касс. Даниэль и Жак подошли к решетке перрона. Под огромной стеклянной крышей воздух, более темный, дымился и гудел. Люди торопливо сновали туда и сюда среди оглушительного шума.

— При Женни — ни слова о войне! — крикнул Даниэль прямо в ухо Жаку.

Девушка увидела обоих издали и поспешно отвернулась, делая вид, что не замечает их. С пересохшим горлом, напрягая мускулы шеи, ждала она их приближения. Наконец брат дотронулся до ее плеча. У нее хватило сил резко повернуться на каблуках и изобразить удивление. Даниэля поразила ее бледность. Усталость, волнение от предстоящей разлуки? А может быть, она только показалась ему бледной по контрасту с траурной одеждой?..

Не глядя на Жака, она небрежно кивнула ему. Но в присутствии брата не решилась не протянуть руки. И дрожащим голосом сказала:

— Я вас оставлю вдвоем.

— Нет, ни в коем случае! — быстро произнес Жак.— Это я... Впрочем, мне больше и нельзя задерживаться... Мне нужно быть к десяти часам... далеко... на левом берегу Сены...

Рядом с ними из-под вагона с резким свистом вырвалась струя пара, оглушив их и окутав влажным облаком.

— Ну, ладно, до свидания, старина,— сказал Жак, тронув Даниэля за рукав.

Даниэль пошевельнул губами. Ответил ли он? Полуулыбка, полугримаса искривила уголок его рта; глаза под каской ярко блестели; во взгляде было отчаяние. Он сжимал руку Жака в своих ладонях. Затем, внезапно наклонившись, неловко обнял друга и поцеловал его. Это было в первый раз за всю их жизнь.

— До свидания,— повторил Жак. Плохо отдавая себе отчет в своих действиях, он высвободился из объятий Даниэля, окинул Женни прощальным взглядом, склонил голову, грустно улыбнулся Даниэлю и исчез.

Но когда он вышел из вокзала, какая-то тайная сила удержала его на краю тротуара.

В сумеречном полусвете простиралась перед ним площадь, усеянная электрическими фонарями, полная автомобилей и экипажей: демаркационная зона между двумя мирами. По ту сторону была его жизнь борца, готовая снова завладеть им, было также его одиночество. Пока он был на этой стороне, у вокзала, оставались иные возможности,— чего? Он не знал, не хотел уточнять. Ему казалось только, что перейти через эту площадь — почти равнозначно тому, чтобы отвергнуть некий дар судьбы, навсегда отказаться от некоего чудесного случая.

Ноги его отказывались двигаться; он стоял на месте, трусливо стараясь отдалить решение. Вдоль стены выстроено было несколько пустых багажных тележек. Он выбрал одну из них и сел. Чтобы обдумать положение? Нет. На это он — слишком апатичный и вместе с тем встревоженный — был неспособен. Согнув спину, свесив руки между коленями, сдвинув шляпу на затылок, он тяжело дышал и ни о чем не думал.

Вероятно, не вмешайся пустячная случайность, он пришел бы в себя и, снова подчинившись лихорадочному ритму своей жизни, помчался бы в «Юманите», чтобы узнать содержание сербского ответа. Тогда целый мир возможностей навсегда закрылся бы перед ним... Но вмешался случай: одному из грузчиков понадобилась тележка. Жак встал, посмотрел на пришельца, потом на часы и как-то странно улыбнулся.

Почти нехотя, словно повинуясь внезапному импульсу, он не торопясь вошел в здание вокзала, взял перронный билет, прошел через зал для пассажиров и снова очутился перед платформой.

XXXVII

Страсбургский экспресс еще не отошел. В хвосте его неподвижно горели три фонаря багажного вагона. Затерянных в толпе Даниэля и Женни нигде не было видно.

Девять двадцать восемь. Девять тридцать. Муравейник на платформе заволновался. Захлопали дверцы вагонов. Засвистел паровоз. В тусклом свете дуговых фонарей к стеклянной крыше поднимались клубы дыма. Вся цепь освещенных вагонов дрогнула. Послышался лязг, глухие толчки. Жак, стоя на месте, пристально смотрел на багажный вагон, который еще не шевелился; наконец двинулся и он. Три красных огня, удаляясь, обнажили рельсы, и поезд, увозивший Даниэля, скрылся во мраке.

«Ну что же теперь?» — сказал себе Жак, искренне полагая, что еще колеблется.

Он дошел до начала платформы. Смотрел на приближающийся людской поток, который после отхода поезда хлынул к выходу. Проплывая под электрическими фонарями, лица на мгновение оживали, затем снова терялись в полумраке.

Женни...

Когда он узнал ее издали, его первым движением было убежать, спрятаться. Но ему удалось подавить стыд, и он, наоборот, шагнул вперед, чтобы очутиться у нее на дороге.

Она шла прямо на него. На ее лице еще написана была горечь расставания. Она шагала быстро, ни на что не глядя.

Внезапно в каких-нибудь двух метрах от себя она заметила Жака. Он увидел, как неожиданное волнение исказило ее черты и в расширившихся зрачках блеснул испуг, совсем как в тот вечер, у Антуана.

Сперва ей не пришло в голову, что у него хватило смелости дожидаться: она подумала, что он задержался здесь случайно. Единственной мыслью ее было отвернуться, избежать встречи. Но, уносимая общим течением, она вынуждена была пройти мимо него. Она почувствовала на себе его пристальный взгляд и поняла, что он стал в этом месте нарочно, чтобы ее увидеть. Когда она подошла совсем близко, он машинально приподнял шляпу. Она не ответила на поклон и, опустив голову, немного спотыкаясь, скользя между теми, кто шел впереди, устремилась прямо к выходу. Она едва удерживалась, чтобы не побежать. У нее была только одна цель: очутиться как можно скорее вне пределов досягаемости, раствориться в толпе, добежать до метро, спрятаться под землей.

Жак обернулся и следил за ней глазами, но продолжал стоять, словно прикованный к месту. «Ну что же теперь?» — снова сказал он себе. Надо было что-нибудь предпринять. Наступила решительная минута... «Прежде всего — не терять ее из виду!»

И он бросился по ее следу.

Пассажиры, носильщики, тележки загораживали ему путь. Он должен был обойти целое семейство, расположившееся на своем багаже, споткнулся о велосипедное колесо. Когда он стал искать глазами Женни, она уже исчезла. Он бежал, делая зигзаги. Поднимался на цыпочки и исступленным взглядом шарил по этой сутолоке движущихся спин. Наконец каким-то чудом среди людского стада, теснившегося к выходу, он узнал черную вуаль, узкие плечи... Только бы опять не потерять ее... удерживать взглядом, как на конце гарпуна!

Но она все более удалялась. Он топтался на месте, застряв в толпе, и видел, как она вышла за решетку, прошла через зал

для пассажиров и повернула направо, в сторону метро. Вне себя от нетерпения, он пустил в ход локти, растолкал каких-то людей, достиг решетки и стал быстро спускаться по лестнице подземки. Где же она? Внезапно он увидел ее почти в самом низу. Прыгая через ступени, он сразу же покрыл расстояние, отделявшее его от Женни.

«Ну что же теперь?» — еще раз задал он себе все тот же вопрос.

Он был совсем близко от нее. Подойти? Еще один шаг, и он очутился как раз за ее спиной. И тогда прерывающимся голосом произнес ее имя:

— Женни...

Она уже считала себя спасенной. Этот призыв она ощутила как удар в спину и пошатнулась.

Он повторил:

— Женни!..

Она сделала вид, что не слышит, и помчалась как стрела. Страх пришпоривал ее. Но сердце так отяжелело, что, казалось ей, уподобилось тем невыносимым тяжестям, которые наваливаются на тебя во сне и не дают бежать...

В конце галереи перед нею открылась почти пустая лестница вниз. Она бросилась к ней, не заботясь о направлении. Внизу лестница наполовину суживалась. Наконец она увидела дверцу, выходившую на платформу, и служащего, который пробивал билеты. Она стала лихорадочно рыться в сумочке. Жак уловил этот жест. У нее были талоны, у него — нет! Без билета его не пропустят через турникет; если она добежит до дверцы, ему уже ее не догнать! Не колеблясь, он рванулся вперед, настиг ее, обогнал и, повернувшись, резко загородил ей путь.

Она поняла, что попалась. Ноги у нее подкосились. Но она смело подняла голову и взглянула ему прямо в лицо.

Он стоял, преграждая ей путь и не снимая шляпы, лицо у него было красное и опухшее, взгляд дерзкий и пристальный: он походил на преступника или сумасшедшего...

— Мне надо с вами поговорить!

— Нет!

— Да!

Она смотрела на него, ничем не выдавая своего страха; в ее мутных, расширенных зрачках были только ярость и презрение.

— Убирайтесь! — задыхаясь, крикнула она низким, хриплым голосом.

Несколько секунд они стояли неподвижно лицом к лицу, опьяненные неистовством своих чувств, скрещивая полные ненависти взгляды.

Но он загораживал узкий проход: торопящиеся пассажиры, ворча, протискивались между ними, а потом, заинтригованные, оборачивались. Женни заметила это. И тотчас же она потеряла всякую способность к сопротивлению. Лучше уступить, чем продолжать этот скандал... Жак оказался сильнее; она не станет избегать объяснения. Но только не здесь, на глазах у любопытных!

Она резко повернулась и пошла обратно, быстро поднимаясь вверх по ступенькам.

Он следовал за нею.

Вдруг они очутились вне вокзала.

«Если она остановит такси или прыгнет в трамвай, я вскочу вслед за нею»,— сказал себе Жак.

Площадь была ярко освещена. Женни стала смело пробираться между автомобилями. Он тоже. Он едва не угодил под автобус и услышал ругань шофера. Пренебрегая опасностью, он не отрывал глаз от ускользающего силуэта девушки. Никогда еще не ощущал он такой уверенности в себе.

Наконец она достигла тротуара и обернулась. Он был тут же, в нескольких метрах от нее. Теперь уже ей не убежать; она с этим примирилась. Она даже радовалась возможности высказать ему все свое презрение, чтобы покончить с этим раз навсегда. Но где? Не в этой же сутолоке...

Она плохо знала этот квартал. Направо тянулся бульвар, кишевший людьми. Тем не менее она наудачу пошла по бульвару.

«Куда она идет?..— думал Жак.— Какая нелепость...»

Чувства его изменились, недоброе возбуждение, только что владевшее им, уступило место смущению и жалости.

Внезапно она заколебалась. Слева открывалась узкая пустынная улица, затемненная массивом какого-то большого здания. Она решительно бросилась туда.

Что он теперь сделает? Она почувствовала его приближение. Сейчас он заговорит... Слух ее обострился, нервы напряглись до крайности, она была готова ко всему: при первом же его слове она повернется и изольет наконец весь свой гнев...

— Женни... Простите меня...

Единственные слова, которых она не ждала!.. Этот взволнованный и смиренный голос... Она едва не потеряла сознание.

Она остановилась, опираясь рукой о стену. И стояла так долгую минуту с закрытыми глазами, едва дыша.

Он не приближался к ней. Стоял с непокрытой головой.

— Если вы потребуете, я уйду. Сейчас же уйду, без единого слова. Обещаю вам...

Смысл его слов доходил до нее не сразу, лишь через несколько секунд после того, как он их произносил.

— Хотите, чтобы я ушел? — продолжал он вполголоса.

Она подумала: «Нет!» — и вдруг сама себе удивилась.

Не ожидая ее ответа, он несколько раз тихонько повторил: «Женни...» И в его интонации слышалось столько кротости, сочувствия, робости, что это было равноценно самому нежному признанию.

Она это прекрасно поняла. Сквозь полумрак она украдкой бросила взгляд на его взволнованное и властное лицо. У нее перехватило дух от счастья.

Он снова спросил:

— Хотите, чтобы я ушел?

Но интонация была уже другая: теперь в ней сквозила уверенность, что она не прогонит его, не выслушав.

Она слегка пожала плечами, и черты ее инстинктивно приняли выражение презрительной холодности: это была единственная маска, способная еще хоть несколько минут охранять ее гордость.

— Женни, позвольте мне поговорить с вами... Это необходимо... Я вас прошу... Потом я уйду... Пойдемте в тот сквер перед церковью... Там, по крайней мере, вы сможете сесть... Хорошо?

Она почувствовала, как скользнул по ней его настойчивый взгляд, взволновавший ее еще больше, чем его голос. Казалось, Жак во что бы то ни стало решил проникнуть в ее тайны!

У нее не хватило сил для ответа. Но каким-то скованным движением, словно все еще уступая только насилию, она отделилась от стены и, выпрямившись, устремив взгляд прямо перед собой, снова зашагала походкой лунатика.

Он молча и чуть-чуть поодаль шел рядом с нею. По временам от нее исходил свежий, едва уловимый аромат духов, который он вдыхал вместе с теплым ночным воздухом. От волнения и угрызений совести на глазах его выступили слезы.

Только сегодня вечером решился он признаться самому себе, какое смиренное раскаяние, какая потребность любви и прощения тайно мучают его с тех пор, как он снова увидел Женни. Сказать ей об этом? Она ведь не поверит. Он сумел показать ей только неистовство и грубость... Ничем и никогда не загладить оскорбления, которое он ей нанес этим непристойным преследованием!

XXXVIII

Поднявшись по бульвару, они вошли в маленький, расположенный уступами сквер перед церковью св. Венсан де Поля. Внизу, на площади Лафайет, в этот поздний час лишь изредка проезжали экипажи. Место было совсем безлюдное, но озаренное ровным

светом фонарей, и это делало его непохожим на место тайных свиданий.

Жак направился к скамейке, которая была освещена лучше всего. Женни послушно подошла, с решительным видом уселась на скамейку; непринужденность эта была напускная, девушка ног под собою не чувствовала. Несмотря на то, что до них все время доносился шум города, она ощущала вокруг себя тягостную предгрозовую тишину: казалось, в воздухе носится что-то угрожающее, страшное, что-то не зависящее ни от нее, ни даже, может быть, от него, но что должно вот-вот разразиться...

— Женни...

Этот человеческий голос показался ей избавлением. Он был спокойный, этот голос: кроткий, почти ободряющий.

Жак бросил шляпу на скамейку; а сам стоял на некотором расстоянии. И говорил. Что он говорил?

— ...Я никогда не мог вас забыть!

Женни чуть не произнесла: «Ложь!» Но сдержалась и сидела, потупив взгляд.

Он с силою повторил:

— Никогда.— Затем после паузы, которая показалась ей очень длинной, прибавил, понизив голос: — И вы тоже!

На этот раз она не смогла удержаться от протестующего жеста.

Он с грустью продолжал:

— Нет!.. Вы ненавидели меня, это возможно. Да я и сам себя ненавижу за то, что сделал... Но мы не *забыли,* нет; втайне мы не переставали защищаться друг от друга.

Она не издала ни звука. Но, чтобы он не истолковал ее молчание неправильно, она со всей оставшейся у нее энергией отрицательно затрясла головой.

Внезапно он подошел ближе.

— Вероятно, вы мне никогда не простите. Я на это и не надеюсь. Я только прошу вас, чтобы вы меня поняли. Чтобы вы мне поверили, если я скажу вам, глядя в глаза: когда четыре года назад я уехал, *так было нужно!* Это был мой долг перед самим собой, я не мог поступить иначе.

Против воли он вложил в эти слова весь трепет избавления, всю свою жажду свободы.

Она не двигалась, вперив жесткий взгляд в гравий дорожки под ногами.

— Что со мной произошло за эти годы...— начал он, сделав какое-то неопределенное движение.— О, не подумайте, что я стараюсь скрыть от вас что-либо. Нет. Наоборот. Больше всего на свете мне хотелось бы рассказать вам все.

— Я вас ни о чем не спрашиваю! — вскричала она, обретя вместе с вернувшимся даром речи тот резкий тон, который делал ее недоступной.

Молчание.

— Как вы далеки от меня сейчас,— вздохнул он. И после новой паузы признался с обезоруживающей простотой: — А в себе я ощущаю такую близость к вам...

Голос его снова обрел ту же теплую, неотразимую интонацию... Внезапно Женни опять охватил страх. Она здесь одна с Жаком, кругом ночь, никого нет... Она сделала легкое движение, чтобы встать, обратиться в бегство.

— Нет,— сказал он, властно протянув руку.— Нет, выслушайте меня. Никогда не осмелился бы я прийти к вам после всего, что сделал. Но вот вы здесь. Рядом со мной. Вот уже неделя, как случай снова столкнул нас лицом к лицу... Ах, если бы вы могли сегодня вечером читать в моей душе! Сейчас для меня так мало значит все это — и мой отъезд, и эти четыре года, и даже...— как ни чудовищно то, что я скажу,— даже вся та боль, которую я мог вам причинить! Да, все это так мало значит по сравнению с тем, что я сейчас чувствую... Все это для меня ничто, Женни, ничто, раз вы тут и я наконец с вами говорю! Вы даже не догадываетесь, что происходило в моей душе тогда, у брата, когда я снова увидел вас...

«А в моей!» — подумала она невольно. Но в этот миг она вспомнила о смятении, охватившем ее в последние дни, лишь для того, чтобы осудить свою слабость и отречься от нее.

— Слушайте,— сказал он.— Я не хочу вам лгать, я говорю с вами, как с самим собой: еще неделю тому назад я не решился бы даже себе самому признаться, что все эти четыре года не переставал думать о вас. Может быть, я и сам этого не знал, но теперь знаю. Теперь я понял, какая боль жила во мне всегда и всюду,— какая-то глубокая тоска, какая-то саднящая рана... Это было... разлука с вами, сожаление об утраченном. Я сам себя искалечил, и рана никак не могла зажить. Но теперь мне внезапно блеснул свет, я сразу ясно увидел, что вы снова заняли прежнее место в моей жизни!

Она плохо слушала. Она была ошеломлена. Биение крови в артериях отдавалось в ее голове оглушительным шумом. Все вокруг нее стало зыбким, все качалось — деревья, фасады домов. Но когда она на секунду поднимала голову, когда глаза ее встречались с глазами Жака, ей удавалось, не слабея, выдерживать его взгляд. И ее молчание, выражение лица, самый поворот головы, казалось, говорили: «Когда же вы перестанете мучить меня?»

А он продолжал свою речь в этой звонкой тишине:

— Вы молчите. Я не могу угадать ваших мыслей. Но мне это безразлично. Да, правда: мне почти безразлично, что вы обо мне думаете! Настолько я уверен, что смогу убедить вас, если вы меня выслушаете! Можно ли отрицать очевидность? Рано или поздно, рано или поздно вы поймете. Я чувствую, что у меня хватит силы и терпения завоевать вас вновь... На протяжении всего моего детства вы были для меня центром вселенной: я не мог представить себе свое будущее иначе, как в сочетании с вашим,— хотя бы даже против вашей воли. Против вашей воли, как сегодня вечером. Ведь вы всегда были немного... суровы со мною, Женни! Мой характер, мое воспитание, мои резкие манеры — все во мне вам не нравилось. В течение стольких лет вы противопоставляли всем моим попыткам к сближению какую-то антипатию, которая делала меня еще более угловатым, еще более антипатичным. Ведь правда?

«Правда»,— подумала она.

— Но уже тогда ваша антипатия была мне почти что безразлична. Как нынче вечером... Разве могло это что-либо значить по сравнению с тем, что чувствовал я? По сравнению с моим чувством, таким сильным, упорным... и таким естественным, таким главным, что я очень долгое время не умел, не смел назвать его настоящим именем.— Голос его дрожал, прерывался.— Вспомните... В то прекрасное лето... Наше последнее лето в Мезоне!.. Разве вы не поняли в то лето, что мы под властью некоего рока? И что нам от него не уйти?

Каждое пробужденное воспоминание вызывало к жизни другие и повергало ее в такое глубокое смятение, что у нее опять возникло желание убежать, не слышать больше его слов. И все же она продолжала слушать, не упуская ни единого звука. Она задыхалась, как и он, и собирала всю свою волю, чтобы дышать как можно ровнее, чтобы не выдать себя.

— Когда между двумя людьми было то, что было между нами, Женни,— это влечение друг к другу, это ожидание, эта безграничная надежда,— тогда пускай пройдут четыре года, десять лет — какое это имеет значение? Такие вещи не стираются... Нет, не стираются,— вдруг повторил он. И добавил тише, будто поверяя ей тайну: — Они только растут, укореняются в нас, а мы этого даже не замечаем!

Она почувствовала, что в ней задето самое сокровенное, словно он дотронулся до больного места, до скрытой раны, о существовании которой она сама едва ли подозревала. Она немного откинула голову и оперлась вытянутой рукой о скамейку, чтобы держаться прямо.

— И вы остались той самой Женни, Женни того лета. Я это чувствую, и я не ошибаюсь. Та же самая! Одинокая, как тогда.—

Он запнулся.— Несчастливая... как тогда... И я тоже такой, каким был. Одинокий; столь же одинокий, как и прежде... Ах, Женни, два одиноких существования! И вот уже четыре года каждое безнадежно погружается во мрак! Но вот они внезапно обрели друг друга! И теперь они могли бы так хорошо...— На секунду он остановился. Затем с силой продолжал: — Вспомните тот последний день сентября, когда я собрал все свое мужество, чтобы сказать вам, как нынче вечером: «Мне нужно с вами поговорить!» Вы припомнили? Это было поздним утром, мы стояли на берегу Сены, в траве перед нами лежали наши велосипеды... Говорил я, как сейчас. И, как сейчас, вы ничего не отвечали... Но вы все-таки пришли. И слушали меня, как нынче вечером... Я угадывал, что вы готовы согласиться... Глаза у нас были полны слез... И когда я замолчал, мы тут же расстались, не в силах даже взглянуть друг на друга... О, как значительно было это молчание! Как печально! Но то была светлая грусть,— озаренная надеждой!

На этот раз она сделала резкое движение и выпрямилась.

— Да...— вскричала она,— а через три недели...

Подавленное рыдание заглушило конец фразы. Но бессознательно она пользовалась своим гневом, чтобы хоть как-нибудь скрыть от себя самой охватывающее ее упоение.

Все остатки страха и неуверенности, которые еще оставались у Жака, были сразу сметены этим возгласом упрека, в котором он услышал признание! Могучее чувство радости овладело им.

— Да, Женни,— продолжал он дрожащим голосом,— мне надо объяснить вам и это — мой внезапный отъезд... О, я не хочу выискивать для себя оправданий. Я просто впал в безумие. Но я был так несчастен! Ученье, жизнь в семье, отец... И еще другое...

Он думал о Жиз. Можно ли было уже сегодня... Ему казалось, что он ощупью движется по краю пропасти.

И он тихо повторил:

— И еще другое... Я вам все объясню. Я хочу быть с вами искренним. Совершенно искренним. Это так трудно! Когда говоришь о себе, сколько ни старайся, а всей правды никак не скажешь... Эта постоянная тяга к бегству, эта потребность освободиться, все ломая вокруг себя,— это страшная вещь, это как болезнь... А ведь я всю жизнь только и мечтал о ясности духа, о покое! Мне всегда представляется, будто я становлюсь добычей других людей; и что, если бы я вырвался, если бы мог начать в другом месте, далеко от них, совсем новую жизнь, я бы наконец достиг этой ясности духа! Но выслушайте меня, Женни: теперь я уверен, что если на свете есть кто-нибудь, способный меня излечить, дать мне какую-то прочную основу в жизни... то это — вы!

Во второй раз она повернулась к нему все с той же бурной стремительностью:

— А разве четыре года назад я сумела вас удержать?

У него возникло такое чувство, словно он наткнулся на что-то жесткое, что было в ней, что в ней все еще оставалось. И прежде, даже в те редкие часы, когда между их такими различными натурами начинало, казалось, устанавливаться взаимное понимание, он постоянно натыкался на эту скрытую жесткость.

— Это правда... Но...— Он колебался.— Разрешите мне высказать все, что я думаю: разве тогда вы что-нибудь сделали, чтобы меня удержать?

«Да, уж наверно,— мелькнуло у нее в голове,— я бы постаралась что-нибудь сделать, если бы знала, что он хочет уйти!»

— Поймите, я вовсе не пытаюсь смягчить свою вину! Нет. Я только хочу... (Его полуулыбка, робкий голос как бы заранее просили прощения за то, что он намеревался сказать.) Чего я от вас добился? Столь малого!.. Время от времени какой-нибудь менее суровый взгляд, менее отчужденное, менее сдержанное обращение, иногда какое-нибудь слово, в котором сквозила тень доверия. Вот и все... Зато сколько недомолвок, столкновений, отказов! Ведь правда? Разве я хоть когда-нибудь видел от вас поощрение, способное пересилить те болезненные порывы, которые толкали меня к неизведанному?

Она была слишком честна, чтобы не признать справедливость этого упрека. Настолько, что в данную минуту возможность обвинить самое себя доставила бы ей облегчение. Но он уселся рядом с нею, и она снова приняла замкнутый вид.

— Я вам не сказал еще всей правды...

Он прошептал эти последние слова совсем другим голосом, взволнованно, так серьезно и в то же время так решительно, что она вся затрепетала.

— Как объяснить вам еще одну вещь?.. И все же я не хочу, чтобы сегодня хоть что-нибудь, хоть что-нибудь оставалось скрытым от вас... Тогда в моей жизни был еще и другой человек. Существо нежное, пленительное... Жиз...

Она почувствовала, как острое лезвие вошло в ее сердце. И все же непосредственность этого признания,— *которого он мог бы не делать,*— так растрогала ее, что она почти забыла свою боль. Он ничего не скрывал от нее, она могла доверять ему вполне. Ею овладела странная радость. Она инстинктивно почувствовала, что избавление близко, что наконец-то она сможет отказаться от этой противоестественной борьбы с самой собою, которая убивала ее.

А он, когда губы его произнесли имя Жиз, должен был подавить в себе какой-то странный порыв, волну смутной нежности,

которая, как он полагал, давно уже улеглась в нем. Это длилось не более секунды: последняя вспышка огня, тлеющего под пеплом, огня, который, быть может, дожидался именно этого вечера, чтобы окончательно погаснуть.

Он продолжал:

— Как объяснить мое чувство к Жиз? Слова все искажают... Влечение, влечение бессознательное, поверхностное, основанное главным образом на воспоминаниях детства... Нет, это еще не все, я не хочу ни от чего отрекаться, я не должен быть несправедливым к тому, что было... Ее присутствие — вот единственное, что радовало меня в нашем доме. Она — натура пленительная, вы сами знаете... Горячее сердечко, готовое любить... Она должна была мне быть как бы сестрой. Но,— продолжал он, и голос его прерывался на каждой новой фразе,— я должен сказать вам правду, Женни: в моем чувстве к ней не было ничего... братского. Ничего... *чистого.*— Он помолчал, потом совсем тихо добавил: — Это вас я любил братской любовью, *чистой* любовью. Это вас я любил, как сестру... Как сестру!

В этот вечер подобные воспоминания были до того мучительны, что нервы его не выдержали. К горлу поднялось рыдание, которого он не мог ни предвидеть, ни подавить. Он опустил голову и закрыл лицо руками.

Женни внезапно встала с места и отступила на шаг. Это неожиданное проявление слабости неприятно поразило ее, но в то же время взволновало. И в первый раз задала она себе вопрос — не ошибалась ли она, обвиняя Жака.

Он не видел, что она встала. Когда же заметил, что ее уже нет на скамейке, то подумал, что она ускользает от него, что она хочет уйти. И все же он не сделал ни единого движения,— согнувшись, он продолжал плакать. Быть может, в этот момент он словно раздвоился и полубессознательно, полуковарно пытался извлечь всю возможную выгоду из этих слез?

Она не уходила. Растерянная, стояла она на месте. Скованная своей гордой стыдливостью и в то же время трепеща от нежности и сострадания, она отчаянно боролась сама с собою. Один шаг отделял ее от Жака, и наконец ей удалось сделать этот шаг. Она различала почти у своих колен его склоненную, сжатую руками голову. И тогда она неловким движением протянула руку, и пальцы ее слегка коснулись его плеча, которое внезапно дрогнуло. Прежде чем она успела отшатнуться, он схватил ее руку и удержал девушку перед собой. Он тихонько прижался лбом к ее платью. Это прикосновение обожгло ее. Некий внутренний голос, еле различимый, предупреждал ее в последний раз, что она погружается в опасную пучину, что напрасно она полюбила, напрасно полюбила

именно этого человека... Она вся судорожно сжалась, вся напряглась, но не отступила. Со страхом и восторгом приняла она неизбежное, приняла свою судьбу. Теперь ее уже ничто не освободит.

Он потянулся к Женни, словно хотел обнять ее, но удовольствовался тем, что схватил ее руки в черных перчатках. И за эти руки, которые она наконец согласилась отдать ему, он притянул ее к скамейке и заставил сесть.

— Только вы... Только вы способны дать мне то внутреннее умпротворение, которого я никогда не знал и нахожу сегодня подле вас...

«Я тоже,— подумала она,— я тоже...»

— Может быть, кто-нибудь уже говорил вам, что любит вас,— продолжал он глухим голосом, который, однако же (так показалось Женни), был достаточно звучным для того, чтобы дойти до нее, проникнуть в нее и повергнуть ее в неясное и сладостное смятение.— Но я уверен, что никто не сможет принести вам чувство, подобное моему, такое глубокое, такое давнее, такое живучее, несмотря ни на что!

Она не ответила. Волнение обессилило ее. С каждой секундой она ощущала, что он все больше овладевает ею, но зато и принадлежит ей все больше и тем безраздельнее, чем полнее уступает она его любви.

Он повторил:

— Может быть, вы любили кого-нибудь другого? Я ведь ничего не знаю о вашей жизни.

Тогда она подняла на него светлые глаза, удивленные и такие прозрачные, что в эту минуту он готов был все на свете отдать, только бы стереть даже воспоминание о своем вопросе.

Просто, уверенным и простодушным тоном, каким говорят об очевидном явлении природы, он заявил:

— Никогда еще никого так не любили, как я люблю вас...— И, помолчав немного: — Я чувствую, что вся моя прошлая жизнь была лишь ожиданием этого вечера!

Она ответила не сразу. Наконец прерывающимся голосом, грудным голосом, какого он никогда у нее не слыхал, пробормотала:

— Я тоже, Жак.

Она прислонилась к спинке скамьи и не двигалась, слегка откинув голову, устремив широко открытые глаза в ночной мрак. За один час она изменилась больше, чем за десять лет: уверенность в том, что ее любят, создала ей новую душу.

Каждый из них ощущал плечом, рукой живое тепло другого. Странно подавленные, с трепещущими ресницами, со смятением в сердце сидели они молча, испуганные своим одиночеством,

тишиною, мраком, испуганные своим счастьем, словно счастье это было не победой, а капитуляцией перед какими-то таинственными силами.

Время словно остановилось; но вот внезапно все пространство вокруг них наполнилось мерным, настойчивым боем часов на церковной колокольне.

Женни сделала усилие, чтобы встать.

— Одиннадцать часов!

— Вы же не покинете меня, Женни!

— Мама, верно, уже беспокоится,— промолвила она в отчаянье.

Он не пытался удержать ее. Он ощутил даже какое-то странное, дотоле не испытанное удовольствие, отказываясь ради нее от того, чего больше всего желал,— иметь ее подле себя.

Идя рядом, но не обменявшись ни словом, спустились они по ступенькам к площади Лафайет. Когда они достигли тротуара, перед ними остановилось свободное такси.

— Но, может быть,— сказал он,— вы позволите мне хотя бы проводить вас?

— Нет...

Это было сказано грустно, нежным и в то же время твердым тоном. И внезапно, словно извиняясь, она улыбнулась ему. В первый раз за столько времени он видел ее улыбку.

— Мне нужно побыть хоть немножко одной, прежде чем я увижусь с мамой...

Он подумал: «Ну, не важно»,— и сам удивился, что эта разлука оказалась для них не такой уж тяжелой.

Она перестала улыбаться. В тонких ее чертах можно было даже прочесть выражение тревоги, словно коготь былого страдания все еще был вонзен в это слишком недавнее счастье.

Она робко предложила:

— Завтра?

— Где?

Она без колебаний ответила.

— У нас дома. Я никуда не выйду. Буду вас ждать.

Он все же немного удивился. И сейчас же с чувством гордости подумал, что им незачем таиться.

— Да, у вас... Завтра...

Она тихонько высвободила свои пальцы, которые он слишком сильно сжимал. Наклонила голову и скрылась в машине, которая тотчас же отъехала.

Вдруг он подумал: «Война...»

Весь мир сразу переменил освещение, температуру. Стоя с опущенными руками, устремив взгляд на автомобиль, уже исчезав-

ший из виду, он одно мгновение боролся против охватившего его смертельного страха. Казалось, вся тревога, нависшая в этот вечер над Европой, ждала только минуты, чтобы завладеть им, когда он будет опять один, с опустевшей душой.

— Нет, не война! — прошептал он, сжимая кулаки.— А революция!

Ради любви, которая должна заполнить теперь всю его жизнь, ему более чем когда-либо необходим новый мир, где царили бы справедливость и чистота.

XXXIX

Жак проснулся внезапно. Жалкая комната... Ошалелый, он моргал глазами в ярком свете дня, ожидая, пока к нему вернется память.

Женни... Сквер перед церковью... Тюильри... Маленькая гостиница для проезжающих за Орсейским вокзалом, где он остановился на рассвете...

Он зевнул и взглянул на часы: «Уже девять!..» Он все еще чувствовал утомление. Однако соскочил с кровати, выпил стакан воды, посмотрел в зеркало на свое усталое лицо, свои блестящие глаза и улыбнулся.

Ночь он провел на открытом воздухе. Около полуночи, сам не зная как, очутился возле «Юманите». Он даже зашел внутрь, поднялся на несколько ступенек. Но с первой же площадки повернул обратно. Он был в курсе всех новостей последнего часа, ибо после того, как уехала Женни, пробежал глазами под уличным фонарем телеграммы в вечерних газетах. У него не хватило духа выслушивать политические комментарии товарищей. Прервать отпуск, который он сам себе дал, допустить, чтобы трагизм надвигающихся событий разрушил ту радостную уверенность, которая в этот вечер делала его жизнь столь прекрасной?.. Нет!.. И вот он пошел куда глаза глядят, в этой теплой ночи, и в голове у него был шум, а в душе ликование. Мысль о том, что во всем огромном ночном Париже никто, кроме Женни, не знает тайны его счастья, приводила его в восторженное исступление. Быть может, сегодня он впервые почувствовал, как с плеч его свалился тяжкий груз одиночества, который он всю жизнь повсюду таскал за собой. Он шел и шел прямо вперед, скорым, легким, танцующим шагом, словно лишь в этом ритмическом, быстром движении могла излиться его радость. Мысль о Женни не покидала его. Он повторял про себя ее слова, и все его существо вибрировало, внимая их отзвуку; он еще слышал малейшие модуляции ее голоса. Мало было сказать,

что ощущение присутствия Женни не покидало его: оно жило в нем; он был поглощен им настолько, что как бы утратил власть над собой; настолько, что от этого преобразился, словно одухотворился весь видимый мир, вся его сущность... Много времени спустя Жак добрался до павильона Марсан, в той части Тюильри, которая остается открытой и ночью. Сад, совершенно безлюдный в этот час, манил к себе, как убежище. Он вытянулся на скамейке. От клумб, от бассейнов поднимался свежий запах, по временам веяло ароматным дыханием петуний и герани. Он боялся заснуть, он не хотел ни на миг перестать упиваться своей радостью. И он оставался там долго, до первых лучей зари, и лежал, ни о чем определенном не думая, глядя широко открытыми глазами в небо, где мало-помалу бледнели звезды, проникнутый ощущением величия и покоя, столь чистым, столь огромным, что, казалось ему, он никогда еще не ощущал ничего подобного.

Едва выйдя из гостиницы, он стал искать газетный киоск. В это воскресенье, 26 июля, вся пресса помещала под возмущенными заголовками телеграмму агентства Гавас об ответе Сербии и с единодушием, явно инспирированным правительством, протестовала против угрожающего демарша, предпринятого на Кэ-д'Орсе фон Шеном.

Один вид этих шапок, запах свежей типографской краски от влажных еще газетных листов пробудил в нем боевой дух. Он вскочил в автобус, чтобы скорее добраться до «Юманите».

Несмотря на ранний час, в редакции царило необычное оживление. Галло, Пажес, Стефани уже находились на местах. Только что получены были совершенно обескураживающие подробности о положении на Балканах. Накануне в час, указанный для ответа на ультиматум, председатель совета министров Пашич привез ответ Сербии барону Гизлю, австрийскому послу в Белграде. Ответ был не просто примирительный: это была капитуляция. Сербия соглашалась на все: на публичное осуждение сербской пропаганды против Австро-Венгерской монархии и на опубликование этого осуждения в своей «Официальной газете»; она обещала распустить националистический союз «Народна обрана» и даже уволить из рядов армии офицеров, заподозренных в антиавстрийской деятельности. Она просила только дополнительной информации насчет формулировок в том тексте, который будет помещен в «Официальной газете», и насчет состава трибунала, коему поручено будет установить, какие именно офицеры являются подозрительными. Ничтожнейшие возражения, которые не могли дать ни малейших оснований для неудовольствия. И, однако же,— словно австрий-

ское посольство получило приказ во что бы то ни стало прервать дипломатические отношения и тем самым сделать неизбежным применение военных санкций,— не успел Пашич вернуться в свое министерство, как уже получил от Гизля ошеломляющее извещение, что «сербский ответ признан неудовлетворительным» и что австрийское посольство в полном составе в тот же вечер покидает сербскую территорию. Тотчас же сербское правительство, еще днем из осторожности принявшее подготовительные меры для мобилизации, поспешило эвакуировать Белград и переехало в Крагуевац.

Серьезность всех этих фактов была очевидна. Не оставалось никаких сомнений: Австрия желает войны.

Надвигающаяся опасность не только не поколебала уверенности социалистов, собравшихся в редакции «Юманите», она даже, казалось, укрепила их веру в конечную победу мира. Впрочем, подробные сведения об активности Интернационала, которые собирал Галло, вполне оправдывали эти надежды. Сопротивление пролетариата продолжало нарастать. Даже анархисты включились в борьбу: через неделю в Лондоне должен был состояться их съезд, и обсуждение европейских событий стояло первым вопросом на повестке дня. В Париже Всеобщая конфедерация труда предполагала провести в ближайшие дни массовый митинг в зале на Вагрaмской улице. Ее официальный орган «Батай сэндикалист» напечатал крупным шрифтом решение департаментских конференций о позиции, которую займет рабочий класс в случае войны: *«На всякое объявление войны трудящиеся должны немедленно ответить революционной всеобщей забастовкой»*. Наконец, европейские вожди Интернационала, срочно съехавшиеся на этой неделе в брюссельском Народном доме, непрестанно обмениваясь мнениями, деятельно подготовляли совещание своего бюро; ближайшая цель совещания заключалась в объединении антивоенных сил во всех государствах Европы и в коллективном принятии действенных мер к тому, чтобы народы могли немедленно противопоставить свое решительное вето пагубной политике правительств.

Все это казалось добрым предзнаменованием.

Особенно знаменательным было антивоенное сопротивление в германских странах. Последние номера австрийских и немецких оппозиционных газет, доставленных сегодня утром, переходили из рук в руки, и Галло переводил их с утешительными комментариями. Венская «Арбейтерцейтунг» приводила текст торжественного манифеста, выпущенного австрийской социал-демократической партией, в котором безоговорочно осуждался ультиматум и от имени всех трудящихся выставлялось требование вести переговоры в примирительном духе. «Мир буквально висит на волоске...

Мы не можем принять ответственность за эту войну, которую отвергаем самым решительным образом...»

В Германии левые партии тоже протестовали. Резкие статьи в «Лейпцигер фолькцейтунг» и «Форвертс» требовали от правительства открытого дезавуирования действий Австрии. В Берлине социал-демократическая партия назначила на вторник 28-го большой митинг протеста. В воззвании ко всем гражданам, составленном в весьма твердых выражениях, она прямо заявляла, что если даже на Балканах разразится катастрофа, Германия должна соблюдать строгий нейтралитет. Галло придавал очень большое значение манифесту, выпущенному накануне центральным комитетом. Он переводил вслух целые отрывки: «Военная горячка, раздутая австрийским империализмом, грозит посеять смерть и разрушение во всей Европе. Если мы осуждаем происки пансербских националистов, то, с другой стороны, провокационная политика австро-венгерского правительства вызывает самые решительные протесты. Столь грубых требований никогда еще не предъявляли независимому государству. Они не могли быть составлены иначе, как с прямым расчетом спровоцировать войну. Во имя человечности и цивилизации сознательный пролетариат Германии выражает свой пламенный протест против преступных замыслов поджигателей войны. Он настоятельно требует от правительства, чтобы оно оказало влияние на Австрию в целях поддержания мира». Группа слушающих восторженно приветствовала эти слова.

Жак не разделял безмерного энтузиазма своих друзей. Даже этот манифест казался ему слишком умеренным. Он сожалел, что немецкие социалисты не решились откровенно намекнуть на сообщничество обоих германских правительств. Он полагал, что, открыто высказывая подозрение о сговоре между канцлером Бертольдом и Бетман-Гольвегом, социал-демократия восстановила бы против правительства все общественные классы Германии. Он убежденно защищал свою точку зрения и подверг довольно резкой критике слишком, по его мнению, осторожную позицию немецких социалистов. (Не говоря этого прямо, он через немецких социалистов метил также и во французских, и особенно в парламентскую фракцию, в социалистов из «Юманите», позиция которых в течение последних дней часто казалась ему слишком умеренной, слишком близкой к правительственной точке зрения, слишком дипломатичной и национальной.) Галло противопоставил мнению Жака мнение Жореса, который не сомневался в твердости социал-демократов и действенности их сопротивления. Однако, отвечая на один вопрос, заданный ему Жаком, он вынужден был признать, что, судя по полученным из Берлина сведениям, большинство официальных вождей социал-демократии, считая, что военное втор-

жение Австрии в Сербию стало почти неизбежным, видимо, склонны поддержать точку зрения Вильгельмштрассе: о необходимости *локализовать* войну на австро-сербской границе.

— Принимая во внимание нынешнюю позицию Австрии,— сказал он,— то обстоятельство, что она уже, в сущности, начала действовать — а ведь с этим все-таки приходится считаться,— тезис *локализации* рационален и реалистичен: отдать огню то, чего уже не спасешь, воспрепятствовать распространению конфликта.

Жак не разделял этой точки зрения:

— Требовать локализации конфликта — это значит признать, что примиряешься — чтобы не сказать больше — с фактом австро-сербской войны. И — будем последовательны — это означает также более или менее молчаливый отказ от участия в посредничестве держав. Одно это уже достаточно серьезно. Но это далеко не все. Война, даже локализованная, ставит Россию перед альтернативой: или спустить флаг, согласившись на разгром Сербии, или же воевать за нее с Австрией. Так вот, есть много шансов на то, что русский империализм ухватится за этот долгожданный случай утвердить свой престиж и сочтет себя вправе объявить мобилизацию. Вы представляете себе, куда это нас ведет: начнут автоматически действовать военные союзы, и мобилизация в России вызовет всеобщую войну... Итак, сознательно или нет, но, упорствуя в своей идее локализовать конфликт, Германия толкает Россию к войне! Мне кажется, что единственная возможность сохранить мир,— это, наоборот, стать на точку зрения Англии и *не локализовать конфликт,* а превратить его во *всеевропейскую* дипломатическую проблему, в которой были бы прямо заинтересованы все державы и разрешить которую старались бы все министерства иностранных дел...

Его выслушали, не перебивая, но, как только он замолчал, посыпались возражения. Каждый утверждал не допускающим возражения тоном: «Германия хочет...», «Россия твердо решила...» — словно члены тайных советов при особе монарха поверяли им все свои решения.

Спор становился все более хаотичным, когда вдруг появился Кадье. Он вернулся из департамента Роны; он сопровождал Жореса и Муте в Вез и только что прибыл с вокзала.

Галло встал.

— Патрон возвратился?

— Нет. Он вернется сегодня днем. Он остановился в Лионе, где должен был встретиться с одним *шелковиком*...— Кадье улыбнулся.— О, не думаю, что я выдаю секрет... Этот *шелковик* — фабрикант, но в то же время социалист (такие тоже бывают) и пацифист... Говорят, колоссально богатый тип... И он предлагает

немедленно перевести часть своего состояния на текущий счет Международного бюро на нужды пропаганды. Об этом стоит подумать...

— Если бы все социалисты с капитальцем поступали так же!..— проворчал Жюмлен.

Жак вздрогнул. Его взгляд, устремленный на Жюмлена, застыл.

Стоя посредине комнаты, Кадье продолжал говорить. Он пустился в захватывающее повествование о своей поездке, о событиях вчерашнего дня. «Патрон превзошел самого себя!» — уверял он. Он рассказал, что за полчаса до собрания Жорес получил одно за другим известия о сербской капитуляции, об отказе Австрии, затем о разрыве дипломатических отношений и мобилизации обеих армий. Он поднялся на трибуну совершенно расстроенный. «Это была единственная пессимистическая речь за всю его жизнь»,— говорил Кадье. Жорес, озаренный внезапным вдохновением, нарисовал экспромтом волнующую картину хода современной истории. Голосом, полным гнева и угрозы, заклеймил он по очереди все европейские правительства, ответственные за конфликт. Австрия была в ответе, ибо ее дерзкое поведение уже не раз рисковало вызвать общеевропейский пожар; ибо в данном случае очевидно было, что она действует умышленно и что, ища ссоры с Сербией, она преследует только одну цель — укрепить посредством военной авантюры свою колеблющуюся империю. Германия была в ответе, ибо в течение последних недель она, видимо, поддерживала воинственную амбицию Австрии, вместо того чтобы умерять ее и сдерживать. Россия была в ответе, ибо она упорно продолжала свою экспансию на юг и уже много лет жаждала войны на Балканах, в которую она, под предлогом поддержки своего престижа, могла бы вмешаться без особого риска, дорваться до Константинополя и захватить наконец проливы. В ответе, наконец, была и Франция, которая благодаря своей колониальной политике, и в особенности захвату Марокко, оказалась в таком положении, что не могла протестовать против аннексионистской политики других держав и с полным авторитетом защищать дело мира. В ответе были все государственные деятели Европы, все министерские канцелярии, ибо они уже в течение тридцати лет втайне трудились над составлением всех этих секретных договоров, от которых зависело существование народов, над заключением губительных союзов, которые нужны были державам лишь для того, чтобы продолжать войны и империалистические захваты! «Против нас, против мира столько грозных шансов!..— воскликнул он.— И остается лишь один шанс за мир: если пролетариат соберет все свои силы... Я говорю все это просто с отчаянием...»

Жак слушал не слишком внимательно, и как только Кадье кончил говорить, он встал.

В комнату только что вошел какой-то человек болезненного вида, худой и высокий, с седыми волосами и бородой, в галстуке, завязанным широким бантом, и в широкополой фетровой шляпе. Это был Жюль Гед.

Разговоры прекратились. Присутствие Геда, недоверчивое и даже несколько озлобленное выражение его аскетического лица всегда вселяли в присутствующих некоторое смущение.

Жак еще несколько минут постоял, прислонясь к стене; внезапно, словно приняв решение, он посмотрел на часы, кивком попрощался с Галло и направился к выходу.

По лестнице небольшими группами поднимались и спускались партийные активисты, занятые своими делами, продолжая шумно спорить на ходу. Внизу стоял какой-то старый рабочий в синей спецовке; прислонясь к наличнику входной двери и засунув руки в карманы, он задумчивым взором следил за уличным движением и глухим голосом напевал песню анархистов (ту самую, которую Равашоль пел у подножия эшафота).

Счастья не будет тебе,
Покуда в последней борьбе
Хозяев своих не повесишь...

Жак, проходя мимо, беглым взглядом окинул неподвижного человека. Это загорелое, изборожденное морщинами лицо, высокий лоб, переходящий в лысину, смесь благородства и неотесанности в повадках, энергия и в то же время изнуренность были ему чем-то знакомы. Вспомнил он уже только на улице: он видел его как-то вечером прошлой зимой на улице Рокет, в редакции «Этандар», и Мурлан сказал ему, что этот старик только что вышел из тюрьмы, где отбывал свой срок за распространение у входа в казармы антимилитаристских листовок.

Одиннадцать часов. Солнце, окруженное легкой дымкой, давило на город предгрозовым зноем. Образ Женни, мысль о которой, неотступная, как тень, преследовала Жака с момента пробуждения, стал как-то еще отчетливее: стройный силуэт, хрупкие покатые плечи, светлые завитки на затылке под складками вуали... Губы его дрогнули в счастливой улыбке. Разумеется, она одобрит решение, которое он только что принял...

На площади Биржи мимо него промчалась веселая молодая компания велосипедистов, нагруженных разнообразной провизией, которые, должно быть, отправлялись завтракать на вольном воздухе куда-нибудь в лес. Одно мгновение он смотрел им вслед, затем двинулся по направлению к Сене. Он не торопился. Он хотел

повидаться с Антуаном, но знал, что брат не возвращается домой раньше полудня. Улицы были тихи и пустынны. Пахло только что политым асфальтом. Он шел, опустив голову, и машинально напевал:

Счастья не будет тебе,
Покуда в последней борьбе...

— Доктор еще не возвращался,— сказала ему консьержка, когда он добрался до Университетской улицы.

Жак решил ждать на улице, прогуливаясь перед домом. Издали он узнал машину. Антуан сидел у руля; он был один и казался озабоченным. Прежде чем остановить автомобиль, он взглянул на брата и несколько раз качнул головой.

— Ну, что ты скажешь насчет утренних новостей? — спросил он, как только Жак подошел ближе. И указал на подушки сиденья, где лежало штук шесть газет.

Вместо ответа Жак состроил гримасу.

— Пойдем позавтракаем? — предложил Антуан.

— Нет. Мне нужно только сказать тебе два слова.

— Тут, на тротуаре?

— Да.

— Так войди хотя бы в машину.

Жак уселся рядом с братом.

— Я хочу поговорить о деньгах,— заявил он тотчас же немного сдавленным голосом.

— О деньгах? — Одно мгновение Антуан казался удивленным. Но затем тотчас же воскликнул: — Ну, разумеется! Сколько хочешь.

Жак остановил его гневным жестом:

— Не о том речь!.. Я хотел бы поговорить с тобой о письме, ну, знаешь, которое после смерти Отца... Насчет...

— Наследства?

— Да.

Его охватило наивное чувство облегчения оттого, что ему не пришлось произнести это слово.

— Ты... Ты изменил свою точку зрения? — осторожно спросил Антуан.

— Может быть.

— Хорошо!

Антуан улыбался. У него появилось выражение, всегда раздражавшее Жака: выражение провидца, читающего в мыслях других людей.

— Не подумай, что я хочу упрекнуть тебя в чем-либо,— начал он,— но то, что ты мне тогда ответил...

Жак прервал его:

— Я просто хочу знать...

— Что сталось с твоей частью?

— Да.

— Она тебя ждет.

— Если бы я захотел... получить ее, это было бы сложно? Долго?

— Нет ничего проще. Пройдешь в контору к нотариусу Бейно, и он даст тебе полный отчет. Затем к нашему биржевому маклеру Жонкуа, которому поручены ценные бумаги, и сообщишь ему свои инструкции.

— И это можно сделать... завтра?

— Если хочешь... Тебе нужно спешно?

— Да.

— Что ж,— заметил Антуан, не рискнув расспрашивать подробнее,— нужно будет только предупредить нотариуса о твоем приходе... Ты не зайдешь ко мне нынче днем повидаться с Рюмелем?

— Может быть... Да, пожалуй...

— Ну вот и отлично; я передам тебе письмо, а ты завтра сам снесешь его к Бейно.

— Ладно,— сказал Жак, открывая дверцу автомобиля.— Я спешу. Спасибо. Скоро вернусь за письмом.

Антуан, снимая перчатки, глядел ему вслед. «Ну и чудак! Он даже не спросил меня, сколько составляет эта его часть!»

Он забрал газеты и, оставив машину подле тротуара, задумчиво направился в дом.

— Вам *звонили,*— сообщил ему Леон, не поднимая глаз.— Такова была уклончивая формула, которую он принял раз навсегда, чтобы не произносить имени г-жи де Батенкур; и Антуан никогда не решался сделать ему на этот счет какое-нибудь замечание.— И очень просили позвонить *к ним,* когда вернетесь.

Антуан нахмурился. У Анны просто какая-то мания надоедать ему по телефону!... Тем не менее он направился прямо в свой кабинет и подошел к аппарату. Несколько секунд он стоял перед трубкой, все еще в соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, и с застывшей в воздухе рукой. Отсутствующим взором глядел он на газеты, которые только что бросил на стол. И внезапно резким движением повернулся на каблуках.

— К черту! — сказал он вполголоса.

Право же, сегодня ему действительно не до того.

Жак, умиротворенный беседой с Антуаном, думал теперь только о том, чтобы увидеться с Женни. Но из-за г-жи де Фонтанен он не решался явиться на улицу Обсерватории раньше половины второго или двух.

«Что она сказала матери? — думал он.— Какой прием меня ожидает?»

Он зашел в студенческий ресторанчик возле Одеона и не торопясь позавтракал. Затем, чтобы убить время, направился в Люксембургский сад.

Тяжелые облака наползали с запада, по временам закрывая солнце.

«Прежде всего Англия не стала бы ввязываться,— говорил он себе, думая о воинственной статье, которую прочитал в «Аксьон франсез»,— Англия сохранила бы нейтралитет и стала бы наблюдать за дракой, ожидая часа, когда сможет выступить арбитром... России понадобились бы месяца два, чтобы развернуть военные действия... Франция очень скоро была бы разбита... Следовательно, даже с точки зрения националиста, единственный разумный выход — сохранять мир... Печатать такие статьи — преступление. Что бы там ни говорил Стефани, а воздействия их на психику читателя отрицать нельзя... К счастью, массы обладают достаточно сильным инстинктом самосохранения и, несмотря ни на что, удивительным чувством реальности...»

Огромный сад был полон света и тени, зелени, цветов, играющих ребятишек. Пустая скамейка у чащи деревьев манила его к себе. Он опустился на нее. Мучимый нетерпением, неспособный на чем-либо сосредоточиться, он думал о тысяче вещей сразу — о Европе, о Женни, о Мейнестреле, об Антуане, об отцовских деньгах. Он услышал, как часы Люксембургского дворца пробили четверть, затем половину. Он принудил себя выждать еще десять минут. Наконец, не в силах терпеть дольше, поднялся и пошел быстрым шагом.

Женни не оказалось дома.

Это было единственное, чего он не предвидел. Разве она не сказала: «Я целый день буду дома»?

Совершенно растерявшись, он заставил несколько раз повторить данные ему объяснения: «Госпожа де Фонтанен на несколько дней уехала... Мадемуазель отправилась провожать ее на вокзал и не сказала, в котором часу вернется».

Наконец он решился уйти из швейцарской и, ошеломленный, снова очутился на улице. Он был в таком смятении, что одно мгновение думал, нет ли какой-либо связи между внезапным отъездом г-жи де Фонтанен и признаниями, которые Женни, наверное, сделала матери накануне вечером, когда вернулась домой. Абсурдное предположение... Нет, надо отказаться от попыток разобраться во всем этом, не повидавшись сначала с Женни. Он припомнил слова консьержки: «Госпожа де Фонтанен на несколько дней уехала». Значит, в течение нескольких дней Женни будет одна в Па-

риже? Эта благоприятная перспектива несколько смягчила его разочарование.

Но что ему предпринять в данный момент? В его распоряжении был весь день до четверти девятого, когда Стефани должен был свести его с двумя особенно активными партийными работниками секции Гласьер. До тех пор он был свободен.

Ему вспомнилось приглашение Антуана. Он решил отправиться к брату и у него подождать, пока не настанет время возвратиться к Женни.

XL

В большой гостиной Антуана собралось уже человек шесть. Войдя, Жак стал искать брата глазами. К нему подошел Манюэль Руа: Антуан сейчас вернется — он у себя в кабинете с доктором Филипом.

Жак пожал руку Штудлеру, Рене Жуслену и доктору Теривье, бородатому и веселому человечку, которого он в свое время встречал у постели больного г-на Тибо.

Какой-то человек высокого роста, еще молодой, с энергичными чертами лица, напоминавшими юного Бонапарта, громко разглагольствовал, стоя перед камином.

— Ну да,— говорил он,— все правительства заявляют с одинаковой твердостью и одинаковой видимостью искренности, что не хотят войны. Почему бы им этого не доказать, проявляя меньше непримиримости? Они только и говорят что о национальной чести, престиже, незыблемых правах, законных чаяниях... Все они как будто хотят сказать: «Да, я желаю мира, но мира, для меня выгодного». И это никого не возмущает! Столько людей походят на свои правительства: прежде всего заботятся о том, чтобы устроить выгодное дельце!.. А это все усложняет: ведь для всех выгоды быть не может; сохранить мир можно лишь при условии взаимных уступок...

— Кто это? — спросил Жак у Руа.

— Финацци, окулист... Корсиканец... Хотите, я вас познакомлю?

— Нет, нет...— поспешно ответил Жак.

Руа улыбнулся и, отведя Жака в сторону, любезно уселся подле него.

Он знал Швейцарию и, в частности, Женеву, так как несколько лет подряд в летние месяцы принимал там участие в гонках парусных судов. Жак на вопрос, чем он занимается, заговорил о своей личной работе — о журналистике. Он решил проявлять сдержанность и в этой среде не афишировать без надобности своих

убеждений. Поэтому он торопился перевести разговор на войну: после того, что он слышал в прошлый раз, его заинтересовали воззрения молодого врача.

— Я,— сказал Руа, расчесывая кончиками ногтей свои тонкие черные усики,— думаю о войне с осени тысяча девятьсот пятого года! А ведь тогда мне было всего шестнадцать лет: я только что сдал первый экзамен на степень бакалавра, кончал лицей Станислава... Несмотря на это, я очень хорошо понял в ту осень, что нашему поколению придется иметь дело с германской угрозой. И многие из моих товарищей почувствовали то же самое. Мы не хотим войны; но с того времени мы готовимся к ней, как к чему-то естественному, неизбежному.

Жак поднял брови:

— Естественному?

— Ну да: надо же свести счеты. Рано или поздно придется на это решиться, если мы хотим, чтобы Франция продолжала существовать!

Жак с неудовольствием заметил, что Штудлер быстро обернулся и направился к ним. Он предпочел бы с глазу на глаз продолжать свое маленькое интервью. По отношению к Руа он испытывал некоторую враждебность, но никакой антипатии.

— Если мы хотим, чтобы Франция продолжала существовать? — повторил Штудлер недружелюбным тоном.— Вот уж что меня ужасно злит,— заметил он, обращаясь на этот раз к Жаку,— так это мания националистов присваивать себе монопольное право на патриотизм! Вечно они стараются прикрыть свои воинственные поползновения маской патриотических чувств. Как будто влечение к войне — это в конечном счете некое удостоверение в любви к отечеству!

— Я просто восхищаюсь вами, Халиф,— с иронией заметил Руа.— Люди моего поколения не так трусливы, как вы: они более щекотливы. Нам в конце концов надоело терпеть немецкие провокации.

— Но ведь пока что речь идет только об австрийских провокациях... и к тому же направленных не против нас! — заметил Жак.

— Так что же? Вы, значит, согласились бы, в ожидании, пока придет наша очередь, наблюдать в качестве зрителя, как Сербия становится жертвой германизма?

Жак ничего не ответил.

Штудлер саркастически усмехнулся:

— Защита слабых?.. А когда англичане цинично наложили руку на южноафриканские золотые прииски, почему Франция не бросилась на помощь бурам, маленькому народу, еще более сла-

бому и вызывающему еще большее сочувствие, чем сербы? А почему теперь мы не стремимся помочь бедной Ирландии?.. Вы полагаете, что честь совершения такого благородного жеста стоит риска столкнуть между собой все европейские армии?

Руа ограничился улыбкой. Он непринужденно обернулся к Жаку:

— Халиф принадлежит к тем славным людям, которые из-за преувеличенной чувствительности воображают о войне всякие глупости... и совершенно не считаются с тем, что она представляет собою в действительности.

— В действительности? — резко перебил Штудлер.— Что же именно?

— Да очень многое... Во-первых, закон природы, глубоко сидящий в человеке инстинкт, который нельзя выкорчевать, не искалечив самым унизительным образом человеческую натуру. Здоровый человек должен жить своей силой — таков его закон... Во-вторых, возможность для человека развивать в себе целый ряд качеств, очень редких, прекрасных... и очень укрепляющих душу!..

— Каких же? — спросил Жак, стараясь сохранять чисто вопросительную интонацию.

— Ну,— сказал Руа, вскинув свою маленькую круглую голову,— как раз те, которые я больше всего ценю: мужественную энергию, любовь к риску, сознание долга и даже больше — самопожертвование, когда ваша частная воля отдается на служение некоему коллективному действию, широкому, героическому... Вы не считаете разве, что человека молодого и сильного духом должно непреодолимо влечь к героизму?

— Да,— лаконически признал Жак.

— Прекрасная это вещь — доблесть! — продолжал Руа с победоносной улыбкой, причем глаза его заблестели.— Война для людей нашего возраста — великолепный спорт: самый *благородный* спорт.

— Спорт,— возмущенно проворчал Штудлер,— за который расплачиваются человеческими жизнями!

— Ну и что же? — бросил ему Руа,— Ведь человечество размножается достаточно быстро: разве оно не может позволить себе время от времени такую роскошь, раз ему это необходимо?

— Необходимо?

— Гигиена народов периодически требует хорошего кровопускания. Если мирные периоды слишком затягиваются, на земле вырабатывается уйма токсинов, которые отравляют ее и от которых ей надо очиститься, как человеку, ведущему слишком сидячий образ жизни. Мне кажется, что в данный момент хоро-

шее кровопускание особенно необходимо французской душе. И даже европейской. Необходимо, если мы не хотим, чтобы наша западная цивилизация погрязла в низости, пришла в упадок.

— По-моему, низость именно в том, чтобы уступать жестокости и ненависти! — заметил Штудлер.

— А кто говорит о жестокости? Кто говорит о ненависти? — возразил Руа, пожимая плечами.— Вечно одни и те же общие места, один и тот же нелепый трафарет! Уверяю вас, для людей моего поколения война вовсе не означает призыва к жестокости и еще меньше — к ненависти! Война — это не ссора двух человек, она выше индивидуумов: это смелое предприятие, в котором участвуют две нации... Великолепное предприятие! *Спортивный матч* в чистом виде! На поле битвы, совсем как на стадионе, сражающиеся люди — это игроки двух соперничающих команд: они не враги, они противники!

У Штудлера вырвался странный смех, похожий на ржание. Застыв на месте, созерцал он юного гладиатора темными, мало выразительными глазами, расширенные зрачки которых резко выделялись на светлом, молочном фоне белка.

— У меня есть брат в Марокко, капитан,— миролюбивым тоном продолжал Руа.— Вы ничего не знаете об армии, Халиф! Вы и не подозреваете, какой дух царит среди молодых офицеров, вы не представляете себе их жизни, полной самоотречения, их морального благородства! Они — живой пример того, что́ может сделать бескорыстное мужество на службе великой идеи... Вашим социалистам полезно было бы пройти такую школу! Они увидели бы, что́ такое дисциплинированное общество, члены которого действительно посвящают всю свою жизнь коллективу и ведут почти аскетическое существование, в котором нет места никакому низменному тщеславию!

Руа склонился к Жаку, словно призывая его в свидетели. Он устремил на него открытый и честный взгляд, и Жак почувствовал, что молчать дольше было бы недостойно.

— Я думаю, что все это так,— начал он, взвешивая слова.— По крайней мере, среди молодых кадров колониальной армии... И нет более волнующего зрелища, чем люди, стоически отдающие жизнь за свой идеал, каков бы он ни был. Но я думаю также, что эта мужественная молодежь — жертва чудовищной ошибки: она совершенно искренне считает, что посвятила себя служению благородному делу, а на самом деле она просто служит Капиталу... Вы говорите о колонизации Марокко... Так вот...

— Завоевание Марокко,— отрезал Штудлер,— это не что иное, как «деловое предприятие», «комбинация» широкого размаха!.. И те, кто идет туда умирать, просто обмануты! Им ни на

мгновение не приходит в голову, что они жертвуют своей шкурой ради разбоя!

Руа бросил в сторону Штудлера взгляд, мечущий молнии. Он был бледен.

— В нашу гнилую эпоху,— воскликнул он,— армия остается священным прибежищем, прибежищем величия и...

— А вот и ваш брат,— сказал Штудлер, коснувшись руки Жака.

В комнату только что вошел доктор Филип, а за ним Антуан.

Жак не знал Филипа. Но он столько наслышался о нем от брата, что с любопытством оглядел старого врача с козлиной бородкой, который приближался своей подпрыгивающей походкой, в альпаковом пиджачке, слишком широком и висевшем на его худых плечах, словно тряпье на чучеле. Его маленькие блестящие глазки, скрытые, как у пуделя, под чащей густых бровей, рыскали направо и налево, ни на ком не задерживаясь.

Разговоры прекратились. Все по очереди подходили, чтобы поздороваться с учителем, равнодушно протягивавшим для пожатия свою мягкую руку.

Антуан представил ему брата. Жак почувствовал на себе пристальный испытующий взгляд, дерзкий, но, быть может, скрывающий за этой дерзостью величайшую застенчивость.

— А, ваш брат... Ладно... Ладно...— прогнусавил Филип, пожевывая нижнюю губу и с интересом глядя на Жака, словно он был отлично знаком с малейшими деталями его характера и жизни. И тотчас же, не спуская глаз с молодого человека, добавил: — Мне говорили, что вы часто бывали в Германии. Я тоже. Это интересно.

Разговаривая, он все время подвигался вперед и подталкивал Жака, так что вскоре они очутились одни у окна.

— Германия,— продолжал он,— всегда была для меня загадкой... Ведь правда? Страна крайностей... непредвиденного... Есть ли в Европе человеческий тип, более миролюбивый по-своему, чем немец? Нет... А с другой стороны, милитаризм у них в крови...

— Однако немецкие интернационалисты одни из самых активных в Европе,— осмелился вставить Жак.

— Вы полагаете? Да... Все это очень интересно... Тем не менее, вопреки всему, что я до сих пор думал, кажется, судя по событиям последних дней... Говорят, на Кэ-д'Орсе вообразили, будто можно рассчитывать на примирительную инициативу Германии. Просто удивительно... Вы говорите: немецкие интернационалисты...

— Ну да... В Германии, если не считать военных кругов, вы сразу замечаете почти всеобщую нелюбовь к армии и национализ-

му... Ассоциация защиты международного мира — исключительно деятельная организация; членами ее состоят виднейшие представители германской буржуазии, и она куда более влиятельна, чем наши французские пацифистские лиги... Нельзя забывать, что именно в Германии такой ярый социалист, как Либкнехт, после того как его бросили в тюрьму за брошюру об антимилитаризме, мог быть избран в прусский ландтаг, а затем и в рейхстаг. Вы думаете, у нас какой-нибудь известный антимилитарист мог бы попасть в палату и заставить себя слушать?

Филип посапывал, внимательно прислушиваясь к тому, что говорил Жак.

— Ладно... Хорошо... Все это очень интересно...— И без всякого перехода: — Я долгое время считал, что интернационализм капиталов, кредита, крупных предприятий,— поскольку он принуждает все страны участвовать в малейших локальных конфликтах,— станет новым и решающим фактором всеобщего мира...— Он улыбнулся и погладил бороду.— Это все умозрительные выкладки,— заключил он загадочно.

— Жорес тоже так думал; он и теперь так думает.

Филип сделал гримасу.

— Жорес... Жорес рассчитывает и на то, что влияние масс может предотвратить войну... Умозрительные выкладки... Легко можно представить себе воинственное, боевое народное движение... Но народное движение, построенное на рассудительности, воле, чувстве меры, необходимых для поддержания мира...— За тем, помолчав, он добавил: — Может быть, те, кто, как я, испытывает отвращение к войне, повинуются, в сущности, своим личным побуждениям, так сказать, органически им свойственным... их внутренней конституции противна идея войны... Может быть, с научной точки зрения было бы правильно рассматривать инстинкт разрушения как естественный. Это, по-видимому, находит подтверждение у биологов... Видите ли,— продолжал он, еще раз переменив тему,— комичнее всего то, что среди настоящих и подлинно важных европейских проблем, которые надо внимательно изучать, для того чтобы их разрешить, я не вижу ни одной буквально ни одной... которую можно было бы разрубить одним ударом, как гордиев узел, покончить с ней путем войны... Что же получается?

Он улыбнулся. Его слова, казалось, никогда не были связаны с тем, что он только что сам сказал или услышал. Его глаза под густыми бровями сверкали лукаво, у него все время был такой вид, точно он сам себе рассказывает какую-то забавную историю и с него вполне достаточно, если он один наслаждается ее солью.

— Мой отец был офицер,— продолжал он.— Он проделал все кампании Второй империи. Меня вечно пичкали военной историей. И вот могу сказать, что стоит только разобраться в происхождении конфликта, его истинных причинах — всегда поражаешься, насколько он лишен элемента *необходимости*. Это очень интересно. Если взглянуть из некоторого отдаления, то в новое время не найдешь, кажется, ни одной войны, которой нельзя было бы очень легко избегнуть — стоило лишь двум-трем государственным деятелям проявить простой здравый смысл или волю к миру. И это еще не все. Чаще всего оказывается, что обе воюющие стороны поддались ничем не оправданному чувству недоверия и страха, потому что не знали истинных намерений противника... В девяти случаях из десяти народы бросаются друг на друга только из страха.— Он словно закашлялся коротким и тотчас оборвавшимся смехом.— Совсем как пугливые прохожие, которые, встречаясь ночью, не решаются поравняться друг с другом и в конце концов бросаются друг на друга... потому, что каждый считает, что другой намеревается на него напасть... потому, что каждый предпочитает бросок, даже таящий в себе опасность, колебаниям и неуверенности... Это уж совсем смешно... Взгляните-ка сейчас на Европу: она во власти каких-то призраков. Все державы боятся. Австрия боится славян и боится потерять свой престиж. Россия боится германцев и боится, чтобы ее пассивность не сочли признаком слабости. Германия боится нашествия казаков и боится оказаться в окружении. Франция боится германских вооружений, а Германия вооружается превентивно, и тоже из страха... И все отказываются проявить малейшую уступчивость в интересах мира, потому что им страшно, как бы не подумали, что они боятся.

— А к тому же,— сказал Жак,— империалистические правительства отлично видят, что страх работает на них, и старательно поддерживают его! Политику Пуанкаре, французскую внутреннюю политику последних месяцев, можно определить так: методическое использование страха всей нации...

Филип, не слушая его, продолжал:

— А самое отвратительное... (Он засмеялся коротким смехом.) ...нет, самое комичное — это то, что все государственные деятели изо всех сил стараются скрыть этот свой страх, выставляя напоказ всевозможные благородные чувства, смелость...

Он прервал свою речь, заметив, что к ним приближается Антуан в сопровождении какого-то человека лет сорока, которого Леон только что ввел в гостиную.

Оказалось, что это Рюмель.

У него был такой представительный вид, как будто его нарочно создали для официальных церемоний. Массивная голова была

откинута назад, словно под тяжестью пышной гривы, светлой и уже слегка седеющей. Густые короткие усы с сильно приподнятыми кончиками придавали некоторую рельефность его плоскому жирному лицу. Глаза были довольно маленькие, заплывшие, но подвижные зрачки какой-то фаянсовой голубизны озаряли двумя живыми искрами эту по-римски торжественную маску. Все вместе придавало ему довольно характерный облик, и можно было представить себе, как использует его в свое время какой-нибудь фабрикант бюстов для субпрефектур.

Антуан представил Рюмеля Филипу, а Жака — Рюмелю. Дипломат склонился перед старым врачом как перед современной знаменитостью; затем с вежливой предупредительностью пожал руку Жака. Казалось, он раз навсегда сказал себе: «Для человека, находящегося на виду, простота манер — это лишний козырь».

— Бесполезно рассказывать вам, дорогой мой, о чем мы беседовали,— начал атаку Антуан, положив ладонь на рукав Рюмеля, который улыбался любезно и снисходительно.

— Вы, сударь, располагаете, разумеется, такими сведениями, которых у нас нет,— произнес Филип. Он внимательно осматривал Рюмеля своими хитрыми глазками.— Что касается нас, профанов, то, надо признаться, чтение газет...

Дипломат сделал неопределенный жест:

— Не думайте, господин профессор, что я осведомлен много лучше вашего...— Он убедился, что его шутка вызвала улыбку, и продолжал: — А вообще я не думаю, что следует представлять себе вещи в особенно мрачном свете: мы вправе — даже обязаны — утверждать, что сейчас имеется гораздо больше оснований для спокойной уверенности, чем для того, чтобы отчаиваться.

— И слава богу,— заметил Антуан.

Он устроил так, что Филип и Рюмель приблизились к другим гостям и уселись посредине комнаты.

— Основания для спокойной уверенности? — с сомнением произнес Халиф.

Рюмель обвел своими голубыми глазами присутствующих, которые окружили его кольцом, и задержал их на Штудлере.

— Положение серьезное, но преувеличивать не следует,— заявил он, немного откинув голову. И тоном государственного мужа, который обязан подбадривать общественное мнение, он с силой произнес: — Запомните, что элементы, благоприятствующие сохранению мира, все же преобладают!

— Например? — продолжал спрашивать Штудлер.

Рюмель слегка нахмурился. Настойчивость этого еврея раздражала его; он ощутил в ней глухое недоброжелательство.

— Например? — повторил он, словно ему оставалось только выбирать.— Ну, во-первых — англичане. Центральные державы с самого начала встретили в *Foreign office* [1] энергичное сопротивление...

— Англия? — прервал Штудлер.— Уличные столкновения в Белфасте! Кровавые мятежи в Дублине! Печальный провал ирландской конференции в Бекингеме! В Ирландии начинается форменная гражданская война... Англия парализована ударом ножа в спину!

— Ну, это не более как заноза в пятке, уверяю вас!

— Господина Антуана *просят* к телефону,— сказал Леон, появляясь в дверях.

— Скажите, что я занят,— сердито крикнул Антуан.

— Англия еще и не то видала! — продолжал Рюмель.— Ах, если бы вы знали, как я, хладнокровие сэра Эдуарда Грея... Это замечательный тип дипломата,— продолжал он, избегая глядеть на Штудлера и обращаясь в сторону Филипа и Антуана.— Старый сельский аристократ, у которого совершенно особое представление о том, каковы должны быть международные отношения. Он разговаривает со своими европейскими коллегами не как официальное лицо, а как джентльмен с людьми своего круга. Я знаю, что он лично был шокирован тоном ультиматума. Вы могли убедиться, что он тотчас же начал действовать с большой твердостью, одновременно увещевая Австрию и рекомендуя умеренность Сербии. Судьбы Европы отчасти находятся в его руках, а эта самые лучшие, самые честные руки.

— Германия все время отвечала ему отказом...— опять прервал Штудлер.

Рюмель не дал ему договорить:

— Осторожная и вполне понятная позиция нейтралитета, которую заняла Германия, сначала могла служить препятствием для английского посредничества. Но сэр Эдуард Грей не признает себя побежденным и,— я могу говорить, раз это завтра, а может быть, и сегодня вечером появится в прессе,— *Foreign office* подготовляет совместно с Кэ-д'Орсе новый проект, который может оказаться решающим для мирной ликвидации конфликта. Сэр Эдуард Грей предполагает немедленно устроить в Лондоне совещание германского, итальянского и французского послов для обсуждения всех спорных вопросов.

— А пока будут продолжаться благородные хождения окольными путями,— сказал Штудлер,— австрийские войска займут Белград!

---

[1] Министерство иностранных дел *(англ.)*.

Рюмель дернулся, словно его укололи булавкой.

— Но, сударь, я полагаю, что и в данном случае вы плохо осведомлены! Несмотря на видимость военных демонстраций, ничто не доказывает, что между Австрией и Сербией происходит что-либо более серьезное, чем простые маневры... Не знаю, придаете ли вы цену капитальнейшему факту: до настоящего времени ни одному европейскому правительству не было передано дипломатическим путем официальное объявление войны! Более того: сегодня в полдень сербский посол в Австрии все еще находился в Вене! Почему? Потому что он служит посредником в активном обмене мнениями между обоими правительствами. Это очень хороший признак. Раз переговоры продолжаются!.. Впрочем, даже если бы действительно последовал разрыв дипломатических отношений и даже если бы Австрия решилась объявить войну, я имею основания считать, что Сербия, уступая разумным влияниям, отказалась бы от неравной борьбы трехсот тысяч человек против миллиона пятисот тысяч и что ее армия начала бы отступать, не принимая боя... Не забывайте,— добавил он с улыбкой,— пока не заговорили пушки, слово принадлежит дипломатам...

Взгляды Антуана и Жака встретились, и Антуан заметил в глазах брата весьма непочтительный огонек: очевидно было, что Жак не слишком высокого мнения о Рюмеле.

— Вам, наверное, было бы труднее,— вставил с улыбкой Финацци,— найти основания для оптимизма в поведении Германии?

— Почему же? — возразил Рюмель, окинув окулиста быстрым, пронизывающим взглядом.— В Германии влияние воинственно настроенных элементов, которое отрицать не приходится, уравновешивается другими влияниями, имеющими большое значение. Поспешное возвращение кайзера,— он сегодня ночью будет в Киле,— по-видимому, изменит политическую ориентацию последних дней. Известно, что кайзер будет до конца возражать против риска, связанного с европейской войной. Все его личные советники — убежденные сторонники мира. А одним из тех его друзей, к мнению которых он особенно охотно прислушивается, является князь Лихновский, германский посол в Лондоне, я имел в свое время честь познакомиться с ним в Берлине: это человек рассудительный, осторожный и пользующийся в настоящее время большим влиянием при германском дворе... Имейте в виду: вступая в войну, Германия рискует очень многим! Если границы ее окажутся блокированными, империя в буквальном смысле слова подохнет с голоду. Раз Германия не сможет получать из России зерно и скот, то не сталью же, не углем, не машинами прокормит она свои четыре миллиона мобилизованных и шестьдесят три миллиона прочего населения!

— А что им помешает покупать в другом месте? — возразил Штудлер.

— То, что им придется платить золотом, ибо немецкие бумажные деньги очень скоро перестали бы приниматься за границей. Ну так вот, расчет сделать очень легко: германский золотой запас всем хорошо известен. Уже через *несколько недель* Германия не сможет продолжать вывоз золота, который придется производить ежедневно; и тогда наступит голод!

Доктор Филип засмеялся коротким гнусавым смехом.

— Вы с этим не согласны, господин профессор? — спросил Рюмель тоном вежливого удивления.

— Согласен... Согласен...— пробормотал Филип добродушным тоном.— Но я боюсь, не есть ли это... чисто умозрительная выкладка?

Антуан не мог удержаться от улыбки. Он давно уже знал это выражение патрона: «Чисто умозрительная выкладка» в его устах означало: «идиотство».

— Все, что я здесь высказал,— уверенным тоном продолжал Рюмель,— подтверждается всеми экспертами. Даже немецкие экономисты признают, что сырьевая проблема в военное время для их страны неразрешима.

Руа с живостью вмешался в разговор:

— Поэтому германский генеральный штаб и полагает, что единственный шанс Германии — это молниеносная и полная победа: если победа запоздает хоть на несколько недель, Германия — это всем известно — вынуждена будет капитулировать.

— Если бы еще она была уверена в своих союзниках! — прокартавил, лукаво усмехаясь в бороду, доктор Теривье.— Но Италия!..

— По-видимому, Италия действительно приняла твердое решение сохранять нейтралитет,— подтвердил Рюмель.

— А что касается австрийской армии...— добавил Руа с презрительной гримасой, сделав иронический жест рукой, словно перебрасывая что-то через плечо.

— Нет, нет, господа,— продолжал Рюмель, довольный, что нашел поддержку.— Повторяю вам; не следует преувеличивать опасность... Послушайте: не раскрывая государственной тайны, я могу вам сообщить следующее. Как раз в настоящий момент в Петербурге происходит свидание министра иностранных дел его высокопревосходительства господина Сазонова с австрийским послом, и от этого свидания ожидают многого. Так вот, разве один тот факт, что на такой разговор без всяких посредников согласились обе стороны, не указывает на обоюдное желание избежать каких бы то ни было военных демонстраций?.. С другой стороны, нам

известно, что предстоят новые попытки посредничества... Со стороны Соединенных Штатов... Со стороны папы...

— Папы? — переспросил Филип с самым серьезным видом.

— Ну да, папы,— подтвердил юный Руа; сидя верхом на стуле и скрестив руки под подбородком, он старался не упустить ни единого слова из того, что говорил Рюмель.

Филип не решался улыбнуться, но его зоркие глазки так и светились насмешкой.

— Вмешательство папы? — повторил он. И затем с кротким видом добавил: — Боюсь, что это тоже умозрительная выкладка.

— Вы ошибаетесь, господин профессор. Вопрос этот стоит в порядке дня. Категорического вето святого отца было бы достаточно, чтобы решительным образом остановить старого императора Франца-Иосифа и вернуть австрийские войска в пределы Австрии. Все министерства иностранных дел это отлично знают. И в настоящее время в Ватикане происходит отчаяннейшая борьба различных влияний. Кто одолеет? Добьются ли немногие сторонники войны, чтобы папа воздержался от каких бы то ни было увещеваний? Сумеют ли многочисленные друзья мира побудить его к вмешательству?

Штудлер саркастически хихикнул:

— Жаль, что у нас нет посла в Ватикане! Он бы посоветовал его святейшеству раскрыть Евангелие...

На этот раз Филип улыбнулся.

— Господин профессор скептически относится к папскому влиянию,— констатировал Рюмель с оттенком неудовольствия и иронии.

— Патрон всегда скептик,— пошутил Антуан, бросив своему учителю взгляд сообщника, полный уважения и симпатии.

Филип обернулся к нему и лукаво сощурил глаза.

— Друг мой,— сказал он,— признаюсь, и это, наверное, тяжелый симптом старческого слабоумия,— что мне становится все труднее и труднее составить себе какое-то определенное мнение... Кажется, еще никто никогда не доказывал мне чего-либо так, чтобы кто-нибудь другой не мог доказать совершенно обратного с тою же силой и очевидностью. Вероятно, это вы и называете моим скептицизмом? Впрочем, в данном случае вы совершенно ошибаетесь. Я склоняюсь перед компетентностью господина Рюмеля и так же, как любой другой, чувствую всю силу его аргументации...

— Однако...— со смехом начал Антуан.

Филип улыбнулся.

— Однако,— подхватил он, с силою потирая руки,— в моем возрасте трудно рассчитывать на торжество разума... Если мир

не зависит больше от здравого смысла людей, значит, он очень болен!.. Впрочем,— тотчас же добавил он,— это вовсе не основание для того, чтобы сидеть сложа руки. Я целиком одобряю усилия дипломатов, которые из кожи вон лезут. Всегда нужно из кожи вон лезть, как будто действительно можно что-то сделать. Таков наш принцип в медицине, не правда ли, Тибо?

Манюэль Руа с досадой разглаживал пальцами свои усики. Ничто так не раздражало его, как обветшалые парадоксы старого учителя.

Рюмель, которому тоже не нравился этот академический скептицизм, упорно глядел в сторону Антуана; и как только их взгляды встретились, сделал ему знак, напоминая об истинной цели своего визита: о впрыскивании.

Но в этот момент Манюэль Руа, обратившись к Рюмелю, заявил без всяких обиняков:

— Плохо то, что, если дело обернется худо, Франция окажется неподготовленной. Ах, если бы мы располагали сейчас могучей военной силой... подавляющей...

— Неподготовленной? А кто вам это сказал? — возразил дипломат, выпрямляясь с решительным видом.

— Ну, мне кажется, что разоблачения Юмбера в сенате недели три тому назад довольно четко обрисовали положение.

— Ах, оставьте! — воскликнул Рюмель, чуть-чуть пожав плечами.— Факты, которые «разоблачил», как вы выразились, сенатор Юмбер, ни для кого не были тайной и вовсе не имеют того значения, которое пыталась им придать известного рода пресса... Наивно было бы думать, что французский *пиупиу* обречен идти на войну босоногим, как солдат Второго года Республики...

— Но я имею в виду не только сапоги... Тяжелая артиллерия, например...

— А знаете ли вы, что многие специалисты, притом из наиболее авторитетных, совершенно отрицают полезность этих дальнобойных орудий, которыми увлекаются в германской армии? Так же обстоит и с пулеметами, которыми у них отягощена пехота...

— А как они устроены, пулеметы? — прервал Антуан.

Рюмель рассмеялся.

— Это нечто среднее между ружьем и адской машиной, которую устроил Фиески, помните, тот самый, что совершил неудачное покушение на Луи-Филиппа... В теории, когда речь идет об учениях на полигоне,— это ужасные орудия. Но на практике! Говорят, они портятся от малейшей песчинки...

Затем он продолжал более серьезным тоном, обернувшись к Руа:

— По мнению специалистов, самое важное — это полевая артиллерия. Так вот, наша значительно превосходит немецкую. У нас больше семидесятипятимиллиметровых орудий, чем у немцев семидесятисемимиллиметровых, и к тому же их семьдесят семь миллиметров не выдерживают сравнения с нашими семьюдесятью пятью... Не тревожьтесь, молодой человек... Факт тот, что за последние три года Франция сделала значительные успехи. Все проблемы концентрации войск, использования железных дорог, снабжения армии сейчас разрешены. Если бы пришлось воевать, поверьте, Франция была бы в отличном положении. И нашим союзникам это хорошо известно!

— Вот это и опасно! — пробормотал Штудлер.

Рюмель надменно поднял брови, словно мысль Халифа представлялась ему совершенно непонятной. Но Жак поддержал Штудлера:

— Это правда. Для нас, может быть, было бы лучше, если бы Россия в данный момент не могла слишком уж рассчитывать на французскую армию!

Верный принятому решению, он до сего времени слушал молча, но буквально грыз удила. Вопрос, с его точки зрения, самый важный,— сопротивление масс,— не был даже затронут. Он мысленно проверил себя, убедился, что достаточно владеет собой для того, чтобы, в свою очередь, взять тот небрежный и чисто отвлеченный тон, который здесь, видимо, был принят, и затем обратился к дипломату.

— Вы перечислили сейчас все основания для того, чтобы верить в мирный исход конфликта,— начал он размеренным голосом.— Не кажется ли вам, что среди главных шансов на мир надо учитывать сопротивление пацифистски настроенных партий? — Взгляд его скользнул по лицу Антуана, заметил на нем легкое выражение беспокойства и снова остановился на Рюмеле.— Все-таки сейчас в Европе имеется десять или двенадцать миллионов убежденных интернационалистов, твердо решивших в случае усиления военной угрозы воспрепятствовать своим правительствам ввязаться в войну...

Рюмель выслушал, не сделав ни единого жеста. Он внимательно смотрел на Жака.

— Я, может быть, придаю этим манифестациям черни не меньшее значение, чем вы,— произнес он наконец со спокойствием, которое лишь наполовину скрывало иронию.— Впрочем, заметьте, что проявления патриотического энтузиазма во всех европейских столицах гораздо многочисленнее и внушительней, чем протесты немногих смутьянов... Вчера вечером в Берлине миллионная манифестация прошла по городу, демонстрировала перед

русским посольством, пела «Стражу на Рейне» под окнами королевского дворца и осыпала цветами статую Бисмарка... Я, конечно, не отрицаю, что имеются и оппозиционные проявления, но их действие — чисто негативное.

— Негативное? — вскричал Штудлер.— Никогда еще идея войны не была столь непопулярной в массах!

— Что вы подразумеваете под словом «негативное»? — спокойно спросил Жак.

— Бог ты мой,— ответил Рюмель, делая вид, что ищет подходящее выражение,— я подразумеваю, что эти партии, о которых вы говорите, враждебные всяким помышлениям о войне ни достаточно многочисленны, ни достаточно дисциплинированны, ни достаточно объединены в международном плане, чтобы представлять в Европе силу, с которой пришлось бы считаться...

— Двенадцать миллионов! — повторил Жак.

— Возможно, что их двенадцать миллионов, но ведь большинство — только *сочувствующие*, люди просто «платящие членские взносы». Не обманывайтесь на этот счет! Сколько имеется подлинных, активных борцов? Да к тому же многие из этих борцов подвержены патриотическим настроениям... В некоторых странах эти революционные партии, может быть, и способны оказать кое-какое противодействие власти своих правительств, но противодействие чисто теоретическое и, во всяком случае, временное: ибо подобная оппозиция может существовать лишь до тех пор, пока власти ее терпят. Если бы обстоятельства ухудшились, каждому правительству пришлось бы только немножко туже завинтить гайку либерализма, даже не прибегая к объявлению осадного положения, и оно сразу же избавилось бы от смутьянов... Нет... Нигде еще Интернационал не представляет собою силы, способной эффективно противостоять действиям правительства. И не могут же крайние элементы во время серьезного кризиса образовать партию, способную оказать решительное сопротивление...— Он улыбнулся: — Слишком поздно... На сей раз...

— Если только,— возразил Жак,— эти силы сопротивления, дремлющие в спокойное время, не поднимутся ввиду надвигающейся опасности и не окажутся внезапно неодолимыми!.. Разве, по-вашему, могучее забастовочное движение в России не парализует сейчас царское правительство?

— Вы ошибаетесь,— холодно сказал Рюмель.— Позвольте мне заявить вам, что вы запаздываете по меньшей мере на сутки... Последние сообщения, к счастью, совершенно недвусмысленны: революционные волнения в Петербурге подавлены. Жестоко, но о-кон-чатель-но.

Он еще раз улыбнулся, словно извиняясь за то, что правда, бесспорно, на его стороне. Затем, переведя взгляд на Антуана, выразительно посмотрел на ручные часы:

— Друг мой... К сожалению, мне некогда...

— Я к вашим услугам,— сказал Антуан, поднимаясь. Он опасался реакции Жака и рад был поскорее прервать этот спор.

Пока Рюмель с безукоризненной любезностью прощался с присутствующими, Антуан вынул из кармана конверт и подошел к брату:

— Вот письмо к нотариусу. Спрячь его... Ну, как ты находишь Рюмеля? — рассеянно добавил он.

Жак только улыбнулся и заметил:

— До какой степени наружность у него соответствует внутреннему содержанию!..

Антуан, казалось, думал о чем-то другом, чего не решался высказать. Он быстро огляделся по сторонам, удостоверился, что никто его не слышит, и, понизив голос, произнес вдруг деланно безразличным тоном:

— Кстати... А как ты, случись война?.. Тебе ведь дали отсрочку, правда? Но... если будет мобилизация?

Жак, прежде чем ответить, мгновение смотрел ему прямо в лицо. («Женни наверняка задаст мне тот же вопрос»,— подумал он.)

— Я не допущу, чтобы меня мобилизовали,— решительно заявил он.

Антуан, чтобы не выдать себя, глядел в сторону Рюмеля и не показал даже вида, что расслышал.

Братья разошлись в разные стороны, не добавив ни слова.

XLI

— Уколы ваши действуют замечательно,— заявил Рюмель, как только они оказались вдвоем.— Я чувствую себя уже значительно лучше. Встаю без особых усилий, аппетит улучшился...

— По вечерам не лихорадит? Головокружений нет?

— Нет.

— Можно будет увеличить дозу.

Комната рядом с врачебным кабинетом, в которую они зашли, была облицована белым фаянсом. Посредине стоял операционный стол. Рюмель разделся и покорно растянулся на нем.

Антуан, повернувшись к нему спиной и стоя перед автоклавом, приготовлял раствор.

— То, что вы сказали, утешительно,— задумчиво проговорил он.

Рюмель взглянул на него, недоумевая,— говорит ли он о его здоровье или о политике.

— Но тогда,— продолжал Антуан,— почему же допускают, чтобы пресса так тенденциозно подчеркивала двуличие Германии и ее провокационные замыслы?

— Не «допускают», а даже поощряют! Надо же подготовить общественное мнение к любой случайности...

Он говорил очень серьезным тоном. Антуан резко повернулся. Лицо Рюмеля утратило выражение хвастливой уверенности. Он покачивал головой, вперив в пространство неподвижный, задумчивый взгляд.

— Подготовить общественное мнение? — переспросил Антуан.— Оно никогда не допустит, чтобы из-за интересов Сербии мы были втянуты в серьезные осложнения!

— Общественное мнение? — сказал Рюмель с гримасой человека, всему знающего цену.— Друг мой, проявив некоторую твердость и хорошо профильтровав информацию, мы в три дня повернем общественное мнение *в любую сторону!*.. К тому же большинству французов всегда льстил франко-русский союз. Нетрудно будет лишний раз сыграть на этой струнке.

— Ну, это как сказать! — возразил Антуан, подходя ближе. Пропитанной эфиром ваткой он протер место укола и быстрым движением запустил иглу глубоко в мышцу. Молча наблюдал он за шприцем, где быстро понижался уровень жидкости, затем вынул иглу.

— Французы,— продолжал он,— восторженно приняли франко-русский союз. Но сейчас им впервые приходится подумать, к чему он их обязывает... Полежите минутку... О чем, собственно, гласит наш договор с Россией? Никому это не известно.

Он не задал прямого вопроса, но Рюмель охотно дал ответ.

— В тайны богов я не посвящен,— сказал он, приподнимаясь на локте.— Я знаю... то, что знают за министерскими кулисами. Заключено было два предварительных соглашения, в тысяча восемьсот девяносто первом и в тысяча восемьсот девяносто втором году, затем настоящий союзный договор, подписанный Казимир-Перье в тысяча восемьсот девяносто четвертом году. Весь текст мне не известен, но — это ведь не государственная тайна — Франция и Россия обязались оказать друг другу военную помощь в случае, если одной из них станет угрожать Германия... С тех пор был у нас господин Делькассе. Был господин Пуанкаре, ездивший в Россию. Все это, ясное дело, уточнило и углубило наши обязательства.

— Значит,— заметил Антуан,— если сейчас Россия вмешается, противодействуя германской политике, то это она станет угрожать Германии! И тогда, по условиям договора, мы не обязаны будем...

На губах у Рюмеля появилась и быстро исчезла полуулыбка-полугримаса.

— Все это, друг мой, гораздо сложнее... Предположим, что Россия, неизменная покровительница южных славян, порвет завтра с Австрией и объявит мобилизацию, чтобы защитить Сербию. Германия, согласно договору с Австрией от тысяча восемьсот семьдесят девятого года, должна будет мобилизоваться против России... Ну, а эта мобилизация вынудила бы Францию выполнить обязательства, данные России, и немедленно мобилизоваться против Германии, угрожающей нашему союзнику... Это произошло бы автоматически...

Антуан не смог подавить раздражения:

— Значит, эта дорогостоящая франко-русская дружба, которая, как хвастались наши дипломаты, нас якобы обезопасила, теперь, оказывается, приводит к прямо противоположным результатам! Она не гарантия мира, а угроза войны!

— Дипломаты найдут, что вам ответить... Подумайте, каково было положение Франции в Европе в тысяча восемьсот девяностом году. Разве нашим дипломатам можно поставить в вину, что они предпочли снабдить родину обоюдоострым оружием, чем оставить ее вовсе безоружной?

Аргумент этот показался Антуану сомнительным, но он не нашелся, что возразить. Он плохо знал современную историю. Впрочем, все это непосредственного значения не имело.

— Как бы там ни было,— продолжал он,— но, если я вас правильно понимаю, сейчас наша судьба зависит только от России? Или, точнее,— добавил он, секунду подумав,— все зависит от нашей верности франко-русскому договору?

Рюмель опять криво усмехнулся.

— Нет, дорогой мой, не рассчитывайте на то, что мы сможем отказаться от своих обязательств. В настоящий момент нашей внешней политикой руководит господин Бертело. Пока он остается на этом посту и пока за ним стоит господин Пуанкаре, не сомневайтесь, что верность наша союзному договору не будет поставлена под вопрос.— Он поколебался.— Говорят, это было ясно видно на заседании совета министров, которое последовало за неслыханным предложением Шена...

— Тогда,— вскричал с раздражением Антуан,— раз нет никакой возможности избавиться от русской опеки, надо заставить Россию соблюдать нейтралитет!

— А как это сделать? — Рюмель смотрел на Антуана в упор своими голубыми глазками.— Может быть, теперь уже и поздно...— прошептал он.

Затем, после минутного молчания, заговорил снова:

— Военная партия в России очень сильна. Поражение в русско-японской войне оставило у русского генерального штаба горький осадок и стремление взять реванш; к тому же они до сих пор не примирились с камуфлетом, который им устроила Австрия, аннексировав Боснию и Герцеговину. Такие люди, как господин Извольский,— между прочим, он сегодня должен прибыть в Париж,— и не скрывают, что хотят европейской войны, чтобы расширить границы России до Константинополя. Они предпочли бы отсрочить войну до кончины Франца-Иосифа, а если возможно, то до тысяча девятьсот семнадцатого года, но что же делать, если случай представился раньше...— Он говорил быстро, задыхаясь, даже вид у него стал вдруг подавленный. Морщинка озабоченности пролегла между бровями. Казалось, с лица его спала маска.— Да, дорогой мой, по совести говоря, я начинаю отчаиваться... Сейчас, перед вашими друзьями, мне, конечно, пришлось хорохориться. Но на самом-то деле все идет из рук вон плохо. Так плохо, что министр иностранных дел не стал сопровождать президента в Данию и уговорил его вернуться во Францию кратчайшим путем... В полдень вести были дурные. Германия, вместо того чтобы с готовностью согласиться на предложение сэра Эдуарда Грея, виляет, придирается ко всяким мелочам и, видимо, старается сделать все, чтобы провалить совещание по арбитражу. Но действительно ли она стремится обострить положение? Или же отвергает мысль о совещании четырех, ибо заранее знает, принимая во внимание натянутость австро-итальянских отношений, что на этом судилище Австрия будет неизбежно осуждена тремя голосами против одного?.. Это еще наиболее выгодное для нее предположение... и, пожалуй, наиболее вероятное. Но тем временем события развиваются... Повсюду принимаются меры военного характера...

— Военного?

— Ничего не поделаешь: все государства, естественно, думают о возможной мобилизации и на *всякий случай* готовятся к этому... В Бельгии уже сегодня состоялось под председательством де Броквиля чрезвычайное совещание, очень похожее на превентивный военный совет: предполагается перевести из запаса на действительную службу резервистов трех возрастов, чтобы иметь под ружьем на сто тысяч человек больше... У нас то же самое: сегодня утром на Кэ-д'Орсе было заседание кабинета министров, где пришлось *из осторожности,* обсудить вопрос о подготовке к войне. В Тулоне, в Бресте корабли сосредоточиваются в портах. В Марокко

послано телеграфное распоряжение незамедлительно погрузить на суда пятьдесят батальонов чернокожих войск для отправки во Францию. И так далее... Все правительства одновременно вступают на этот путь, и, таким образом, мало-помалу положение ухудшается само собой. Ибо в генеральном штабе нет ни одного специалиста, который не знал бы, что раз уж приведен в действие дьявольский механизм, именующийся всеобщей мобилизацией, то просто физически невозможно замедлить подготовку и выжидать. И вот, даже самое миролюбивое правительство оказывается перед этой дилеммой: развязывать войну только потому, что к ней готовишься. Или же...

— Или же отменить прежние приказы, дать задний ход, остановить подготовку!

— Вот именно. Но тогда надо иметь полную уверенность в том, что *в течение долгих месяцев мобилизация не понадобится*...

— Почему?

— Потому что — и это тоже аксиома, бесспорная для специалистов,— внезапная остановка разрушает все составные части этого сложного механизма и на долгое время выводит его из строя. Ну, а какое же правительство в настоящий момент может быть уверенным в том, что ему не придется в ближайшее же время снова объявить мобилизацию?

Антуан молчал. Он с волнением смотрел на Рюмеля. Наконец он прошептал:

— Это чудовищно...

— Самое чудовищное, друг мой, то, что за всем этим, может быть, нет ничего, кроме игры! Все происходящее сейчас в Европе, есть, может быть, всего-навсего гигантская партия в покер, в которой каждый стремится выиграть, взяв противника на испуг... Пока Австрия втихую душит коварную Сербию, ее партнер, Германия, строит угрожающую мину, может быть, лишь с целью парализовать действия России и попытки держав добиться примирения. Как в покере: выиграют те, кто сможет лучше всего и дольше всего *блефовать*... Но дело в том, что, как и в покере, никто не знает карт соседа. Никому не ведомо, какова доля хитрости и какова доля подлинной агрессивности в поведении той же Германии или в поведении России. До последнего времени русские всегда пасовали перед дерзкими выпадами Германии. Поэтому понятно, что Германия и Австрия считают себя вправе рассуждать так: «Если мы станем удачно *блефовать,* если сделаем, вид, будто на все готовы, Россия снова капитулирует». Но возможно также и другое: именно потому, что Россия всегда бывала вынуждена уступать, она на этот раз и вправду бросит на стол свой меч.

— Чудовищно!..— повторил Антуан.

Безнадежным жестом опустил он на поднос автоклава шприц, который все время держал в руках, и сделал несколько шагов по направлению к окну. Слушая, как Рюмель описывает ему европейскую политику, он испытывал мучительную тревогу как пассажир на судне, внезапно в разгар шторма обнаруживший, что весь командный состав экипажа сошел с ума.

Наступило молчание.

Рюмель поднялся. Он пристегивал подтяжки. Машинально оглядевшись по сторонам, словно для того, чтобы убедиться, что его не слышат, он подошел к Антуану.

— Послушайте, Тибо,— сказал он, понизив голос.— Мне бы не следовало разглашать такие вещи, но ведь вы, как врач, умеете хранить тайну? — Он посмотрел Антуану в лицо. Тот молча наклонил голову.— Так вот... В России происходят невероятные вещи! Его высокопревосходительство господин Сазонов в некотором роде заранее поставил нас в известность, что его правительство отвергнет всякие примирительные шаги!.. И действительно, мы только что получили из Петербурга в высшей степени тревожные известия. Намерения России, по-видимому, недвусмысленны: там уже вовсю идет мобилизация! Ежегодные маневры прерваны, воинские части спешно возвращаются по местам. Четыре главных русских военных округа — Московский, Киевский, Казанский и Одесский — мобилизуются!.. Вчера, двадцать пятого, или даже, возможно, позавчера во время военного совета генеральный штаб добился от царя письменного приказа как можно скорее подготовить «в качестве меры предосторожности» демонстрацию силы, направленную против Австрии... Германии это, без сомнения, известно, и этого вполне достаточно, чтобы объяснить ее поведение. Она тоже втайне начала мобилизацию; и, увы, она имеет все основания торопиться... Впрочем, не далее как сегодня она предприняла весьма важный шаг: открыто предупредила Петербург, что если русские военные приготовления не прекратятся и, тем более, если они усилятся, она вынуждена будет объявить всеобщую мобилизацию; а это, уточняет она, означало бы европейскую войну... Что ответит Россия? Если она не уступит, ее ответственность, и без того тяжелая, окажется ужасающей... А между тем... маловероятно, чтобы она уступила.

— Ну, а мы-то как во всем этом?

— Мы, дорогой друг?.. Мы?.. Что делать? Отречься от России? И тем самым деморализовать общественное мнение нашей страны накануне, быть может, того дня, когда нам понадобятся все наши силы, когда необходим будет единый национальный порыв? Отречься от России? Чтобы оказаться в полнейшей изоляции? Чтобы поссориться с единственным нашим союзником? Чтобы общественное

мнение Англии пришло в негодование, отвернулось от Франции и России и принудило свое правительство стать на сторону германских держав?

Его прервал осторожный стук в дверь. И из коридора донесся голос Леона:

— Господина Антуана опять *просят* к телефону.

— Скажите, что я... Нет! — закричал он.— Иду! — И, обратившись к Рюмелю, спросил: — Вы позволите?

— Ну, разумеется, дорогой мой. К тому же ужасно поздно, я бегу... До свиданья...

Антуан быстро прошел в свой маленький кабинет и взял трубку:

— В чем дело?

На противоположном конце провода Анна вздрогнула, пораженная сухостью его тона.

— Да, правда,— кротко произнесла она,— сегодня воскресенье!.. У вас, может быть, собрались друзья...

— В чем дело? — повторил он.

— Я только хотела... Но, если я тебе помешала...

Антуан не ответил.

— Я...

Она угадывала его раздражение и не знала теперь, что сказать, какую ложь придумать. И совсем робко, не найдя ничего лучшего, прошептала:

— А как... вечером?

— Невозможно,— отрезал он. Но тотчас же продолжал более мягким тоном: — Сегодня вечером, дорогая, невозможно...

Ему вдруг стало жаль ее. Анна почувствовала это и ощутила какую-то мучительную сладость.

— Будь же умницей,— сказал он. (Она услышала его вздох.) — Прежде всего сегодня я занят... Да если бы и был свободен, идти куда-нибудь развлекаться в такой момент...

— Какой момент?

— Послушайте, Анна, вы что, газет не читаете? Вы же знаете, что происходит?

Ее так и передернуло. Газеты? Политика? Из-за такой чепухи он отдалял ее от себя? «Наверное, лжет»,— подумала она.

— А ночью... в нашей комнатке?.. Нет?

— Нет... Я, наверно, приду поздно, усталый... Уверяю тебя, дорогая... Не настаивай...— И нехотя добавил: — Может быть, завтра. Позвоню завтра, если смогу... До свиданья, дорогая.

И, не дожидаясь ответа, повесил трубку.

XLII

Жак ушел, не дожидаясь возвращения брата. Он даже пожалел, что задержался у Антуана, когда на улице Обсерватории консьержка сказала ему, что мадемуазель Женни возвратилась уже больше часа тому назад.

Перепрыгивая через две ступеньки, он взбежал по лестнице и позвонил. С бьющимся сердцем старался он уловить мгновение, когда за дверью послышатся шаги Женни; но до него дошел ее голос:

— Кто там?

— Жак!

Он услыхал щелканье задвижки, лязг цепочки; наконец дверь открылась.

— Мамы нет дома,— сказала Женни, объясняя, почему она так тщательно заперлась.— Я только что проводила ее на поезд.

Она все еще стояла в дверях, словно в последний момент, перед тем как впустить его, испытывала какую-то неловкость. Но он смотрел ей прямо в лицо таким открытым и радостным взглядом, что смущение ее тотчас же рассеялось. Он был тут! Вчерашний сон продолжался!..

Порывисто и нежно протянул он ей обе руки. Таким же доверчивым и решительным движением отдала она ему свои руки; потом, не отнимая их, отступила на два шага и заставила его переступить через порог.

«Где мне его принять?» — думала она, когда дожидалась его прихода. В гостиной мебель стояла в чехлах. У себя в комнате? Это было ее убежище, место, принадлежавшее исключительно ей, и какое-то чувство, похожее на стыдливость, мешало ей впускать туда кого бы то ни было. Даже Даниэль заходил туда очень редко. Оставалась комната Даниэля и комната г-жи де Фонтанен, где обычно проводили время они обе. В конце концов Женни предпочла комнату брата.

— Пойдемте к Даниэлю,— сказала она.— Это единственная в квартире прохладная комната.

Легкого черного платья у нее еще не было, и дома она надевала старое летнее платье из белого полотна с открытым воротом, придававшее ей какой-то весенний и спортивный вид. Ни узкие бедра, ни длинные ноги не придавали ей особой гибкости, так как она инстинктивно следила за своими движениями и сознательно старалась иметь твердую походку. Но, несмотря на эту сдержанность, в стройных ногах и нежных руках ее чувствовалась юная упругость.

Жак шел за нею, весь во власти нахлынувших на него воспоминаний: он не мог не смотреть с волнением по сторонам. Он узнавал все: переднюю с голландским шкафом и дельфтскими блюдами над дверьми; серые стены коридора, на которых г-жа де Фонтанен когда-то развешивала первые наброски своего сына; застекленный красным чулан, в котором дети устроили фотолабораторию; и, наконец, комнату Даниэля с книжной полкой, старинными алебастровыми часами и двумя маленькими креслами, обитыми темно-красным бархатом, где столько раз, сидя против своего друга...

— Мама уехала,— объяснила Женни; чтобы скрыть свое смущение, она стала поднимать штору.— Уехала в Вену.

— Куда?

— В Вену, в Австрию... Садитесь,— сказала она, оборачиваясь к Жаку и совершенно не замечая его изумления.

(Накануне вечером, вопреки ожиданию, ей не пришлось отвечать на расспросы по поводу позднего возвращения домой. Г-жа де Фонтанен, поглощенная приготовлениями к завтрашнему отъезду,— в присутствии Даниэля она не могла этим заниматься,— даже не посмотрела на часы, пока дочери не было дома. Не Женни пришлось давать объяснения, а ее матери,— та, немного стыдясь своей скрытности, поспешила объявить, что уезжает дней на десять: «устроить все дела» там, на месте.)

— В Вену? — повторил Жак, не садясь.— И вы ее отпустили?

Женни вкратце сообщила ему, как все произошло и как, при первых же возражениях, мать решительно прервала ее, утверждая, что только ее личное присутствие в Вене может положить конец всем их затруднениям.

Пока она говорила, Жак нежно смотрел на нее. Она сидела на стуле перед письменным столом Даниэля, подтянувшись, выпрямившись, с серьезным выражением лица. Линия рта, немного сжатые губы,— «слишком привыкшие к молчанию», подумал он,— все свидетельствовало о натуре вдумчивой, энергичной. Поза была несколько принужденная: взгляд наблюдал за собеседником, ничего не выдавая. Недоверчивость? Гордость? Застенчивость? Нет: Жак достаточно знал ее, чтобы понимать, насколько естественна эта жесткость, которая выражала лишь определенный оттенок характера, нарочитую сдержанность, некую моральную установку.

Он не решался высказать все, что думал о несвоевременности пребывания г-жи де Фонтанен в Австрии в данный момент. И потому из осторожности спросил:

— А ваш брат знает об этой поездке?

— Нет.

— Ах, вот как,— сказал он, уже не колеблясь.— Даниэль, я уверен, решительно воспротивился бы этому. Разве госпожа де Фонтанен не знает, что в Австрии идет мобилизация? Что ее границы охраняются войсками? Что уже завтра в Вене может быть объявлено осадное положение?

Тут уже для Женни пришла очередь изумиться. В течение целой недели она не имела возможности прочитать газету. В нескольких словах Жак изложил ей главнейшие события.

Он говорил осмотрительно, стараясь быть правдивым и в то же время не слишком взволновать ее. Вопросы, которые она ему задавала и в которых сквозила легкая недоверчивость, ясно показывали, что в жизни Женни вопросы политики не играли никакой роли. Возможность войны — одной из тех войн, о которых пишется в учебниках истории,— не пугала ее. Ей даже не пришло в голову, что в случае конфликта Даниэль сразу же окажется под угрозой. Она думала только о материальных затруднениях, которые могли возникнуть для ее матери.

— Очень возможно,— поспешил добавить Жак,— что еще в дороге госпожа де Фонтанен откажется от своего намерения. Ожидайте ее скорого возвращения.

— Вы так думаете? — живо спросила она. И тут же покраснела.

Она призналась ему, что отъезд матери, несмотря на все, даже обрадовал ее, ибо неизбежное объяснение тем самым отодвигалось. Не то чтобы можно было опасаться неудовольствия матери, поспешно добавила она. Но неприятнее всего была для нее необходимость говорить о себе, обнажать свои чувства.

— Вы уж не забывайте об этом, Жак,— добавила она, серьезно глядя на него.— Мне нужно, чтобы меня угадывали...

— Мне тоже,— сказал он и засмеялся.

Беседа принимала все более непринужденный характер. Он расспрашивал Женни о ней самой, заставляя ее многое уточнять, помогая ей разобраться в себе. Она уступала, не слишком себя принуждая. Его вопросы не вызывали в ней никакого протеста; мало-помалу она начала даже испытывать к нему нечто вроде благодарности за то, что он их задавал, и первая удивлялась тому, что ей даже приятно отказываться ради него от привычной сдержанности. Но ведь еще никогда никто не влекся к ней так страстно, не глядел на нее таким горячим, овладевающим взглядом; никто никогда не говорил с нею так заботливо, стараясь ничем ее не задеть, так явно желая понять ее до конца. Не изведанная дотоле теплота словно окутывала ее. Ей казалось, что раньше она жила как бы в заточении, но вот стены тюрьмы внезапно раздви-

нулись перед ней, и открылся простор, о котором она и не подозревала.

Жак беспрестанно и беспричинно улыбался. Улыбался не столько самой Женни, сколько своему счастью. Оно вскружило ему голову. Он забыл о Европе; ничто не существовало, кроме них двоих. Что бы она ни говорила, даже самое незначительное, представлялось ему бесконечно содержательным, доверительным, интимным и вызывало у него исступленные порывы благодарности. Новое убеждение возникло в нем, преисполняя его гордостью: их любовь не только нечто редкое, драгоценное — она событие совершенно исключительное, ни на что не похожее. Уста их все время произносили слово «душа», и каждый раз это неясное, таинственное понятие звучало для них по-особому, как слово магическое, полное тайн, ведомых только им одним.

— Знаете, что меня удивляет? — вскричал он вдруг.— Что я так мало удивлен! Я чувствую, что в глубине души никогда не сомневался в том, что нас ожидает.

— Я тоже!

И она и он ошибались. Но чем больше они думали об этом, тем очевиднее представлялось им, что ни на один день не утрачивали они надежды.

— И мне кажется вполне естественным, что я нахожусь здесь...— продолжал он.— Подле вас я наконец ощущаю себя в родной обстановке.

— Я тоже!

(И он и она ежесекундно уступали сладостному искушению чувствовать себя едиными, заявлять о своем полном тождестве.)

Она перешла на другое место и теперь сидела прямо против него в позе почти небрежной. Казалось, любовь вызвала в ней даже физическую перемену, проявлялась в каждом ее движении, придавала ей необычное изящество, гибкость. Жак восхищенно наблюдал за этим преображением. Любовным взглядом следил он за игрой теней на поднимающейся и опускающейся груди, за переливом мышц под тканью платья, за ритмом ее дыхания. Он не мог насытиться созерцанием ее легких рук, которые искали друг друга, соприкасались, и расходились, и снова встречались, словно влюбленные голубки... У нее были маленькие ноготки, круглые, выпуклые, белые, «похожие на половинки лесного орешка»,— подумалось ему.

Внезапно он наклонился к ней поближе.

— Знаете, я открываю столько чудесных вещей...

— Каких?

Чтобы внимательно слушать его, она оперлась локтем на ручку кресла и положила подбородок на ладонь: пальцы ее

охватывали щеку, и только указательный мягко скользил по губам или на мгновение протягивался к виску.

Он сказал, приблизив к ней лицо и глядя на нее в упор:

— На ярком солнце ваши глаза и вправду сверкают, как два синих камешка, как два светлых сапфира...

Она смущенно улыбнулась и, словно делая свой ход в игре, тоже внимательно оглядела его:

— А я нахожу, что вы, Жак, со вчерашнего дня переменились.

— Переменился?

— Да, и даже очень.

Она приняла загадочный вид. Он забросал ее вопросами. Наконец из всех ее неопределенных выражений, намеков, уточнений он все же понял то, чего она не решалась высказать прямо. Как только Жак вошел, у нее возникло ощущение, что им владеет какая-то тайная забота, не имеющая отношения к их любви.

Резким движением руки откинул он прядь, свисавшую ему на лоб.

— Ну так вот,— начал он без всяких предисловий,— вот что я пережил со вчерашнего дня.

И он обстоятельно рассказал ей о ночи, проведенной в садах Тюильри, об утре в редакции «Юманите», о посещении Антуана. Он пускался во всевозможные подробности, расписывал, словно романист, обстановку, людей, передавал речи Стефани, Галло, Филипа, Рюмеля, давал им свою оценку, признавался в том, что его тревожило, на что он надеялся, стараясь создать у нее представление о борьбе, которую он вел против угрозы войны.

Она слушала, не упуская ни единого слова, растерянная, едва дыша. Она оказалась внезапно и резко втянутой не только в самый центр того, чем жил Жак, но и в водоворот европейского кризиса, оказалась лицом к лицу с грозными проблемами, которые прежде были ей совершенно неведомы. Все здание общественного бытия внезапно заколебалось. Она испытывала панический страх, совсем как те, кто во время землетрясения видит, как вокруг рушатся стены, крыши, все, что обеспечивало защиту, безопасность и представлялось незыблемым.

Что касается деятельности Жака в этом мире, о котором она еще вчера ничего не знала, то об этом у нее не создалось вполне ясного представления. Но для того чтобы оправдать свою любовь к Жаку, ей необходимо было возвести его на пьедестал. Она не сомневалась, что цели у него благородные, что люди, которых он ей назвал,— этот Мейнестрель, этот Стефани, этот Жорес,— достойны исключительного уважения. Их надежды должны

были быть вполне законны, раз их разделял Жак. А Жак уже закусил удила. Внимание Женни поддерживало, пьянило его.

— ...мы, революционеры...— произнес он.

Она подняла глаза, и он прочел в них удивление. Впервые услышала она, как дорогой ей голос произносит с благоговением слово «революционер», вызывавшее в ее уме образы подозрительных личностей, способных поджигать и грабить богатые кварталы для удовлетворения своих низменных страстей, босяков, которые прячут под курткой бомбы и от которых общество может защищаться только ссылкой на каторгу.

Тогда он заговорил о социализме, о своем вступлении в партию рабочего Интернационала.

— Не думайте, что в партию революции меня бросил ребяческий порыв великодушия. Я пришел к ней после долгих сомнений, в великом душевном смятении, в полном моральном одиночестве. Когда вы меня знали раньше, я хотел верить в братство человечества, в торжество правды, справедливости, но я полагал, что оно может наступить легко, что оно уже близко. Я скоро понял, что это самообман, и все во мне померкло. Именно тогда и настали для меня самые тяжелые в моей жизни минуты. Я пал духом... Я опустился на дно отчаянья, на самое дно... Так вот, меня спас революционный идеал,— продолжал он, с волнением и благодарностью думая о Мейнестреле.— Революционный идеал внезапно расширил, озарил мой горизонт, указал непокорному и бесполезному существу, каким я был с детских лет, что в жизни есть смысл... Я понял, что нелепо верить, будто торжество справедливости может наступить легко и быстро, но что еще более нелепо и преступно приходить в отчаяние! А прежде всего я понял, что есть активный способ верить в наступление этого торжества! И что мой инстинктивный бунт может превратиться в действие, если я вместе с другими, такими же бунтарями, отдам свои силы прогрессивному общественному движению!

Она слушала, не перебивая. Впрочем, традиционный протестантизм ее семьи достаточно подготовил ее к принятию той мысли, что общество вовсе не обязательно должно существовать на какой-то совершенно незыблемой основе и что долг человека — утверждать свою личность и последовательно доводить до самого конца действие, продиктованное ему совестью. Жак чувствовал, что она его понимает. В молчании Женни он ощущал пробуждение чуткого ума, уравновешенного и здравого, плохо, разумеется, подготовленного для теоретических рассуждений, но способного обрести свободу и стать выше предрассудков, а за этой никогда не покидавшей ее сдержанностью он ощущал трепет чувствитель-

ной души, готовой служить любому великому делу, достойному того, чтобы ему всем пожертвовали.

Все же она не смогла удержаться от недоверчивой и почти неодобрительной гримаски, когда Жак принялся доказывать, что капиталистическое общество, в котором она жила, ничего не подозревая, узаконивает возмутительную несправедливость. Она мало размышляла об имущественном неравенстве людей, но принимала его как неизбежное следствие неравенства человеческих натур.

— Ах,— вскричал он,— мир обездоленных, Женни! Вы,— я уверен,— не представляете себе, что это такое в действительности! Иначе вы бы не качали головой, как сейчас... Вы не знаете, что тут, рядом с вами, существует необозримое множество несчастных, для которых вся жизнь сводится к тому, чтобы тяжко трудиться день за днем, гнуть спину на работе, без сколько-нибудь приличного вознаграждения, без уверенности в завтрашнем дне, без возможности на что-либо надеяться! Вам известно, что добывают уголь, строят фабрики. Но думаете ли вы хоть изредка о миллионах тех людей, которые всю свою жизнь задыхаются во мраке шахт, о миллионах других, у которых нервы изнашиваются раньше времени в механическом грохоте заводов, или хотя бы о находящихся в чуть лучшем положении тружениках полей, чья доля — ежедневно ковыряться в земле по десять, двенадцать, четырнадцать часов в сутки, в зависимости от времени года, чтобы продавать обкрадывающим их посредникам добытое в поте лица? Вот она, людская страда! Преувеличиваю? Нисколько. Я говорю о том, чему сам был свидетелем... Чтобы не подохнуть с голоду, в Гамбурге я должен был наняться на поденную работу вместе с сотней других несчастных парней, понуждаемых той же необходимостью, что и я,— раздобыть себе кусок хлеба. В течение трех недель я с утра до вечера подчинялся начальникам рабочих бригад, похожим на надсмотрщиков над галерными рабами, и слушал их команду: «Подымай балки! Таскай мешки! Кати тачки с песком!» По вечерам мы уходили из порта, унося свой жалкий заработок, и набрасывались на еду, на водку, изнуренные, облепленные грязью, с выпотрошенным телом и опустошенным мозгом, измочаленные до того, что уже даже не возмущались! Может быть, вот что самое ужасное: большинство этих несчастных даже не представляют себе, что являются жертвами социальной несправедливости! Просто понять нельзя, откуда у них берутся силы выносить как нечто вполне естественное это страшное, каторжное существование! Я-то смог убежать из этого ада, потому что, на свое счастье, знаю несколько языков, потому что умею накропать газетную статейку... Но другие? Они продолжают работать, как

каторжники! Вправе ли мы, Женни, мириться с тем, что все это существует, что оно продолжается, что оно представляет собою обычную долю человека на земле?

Ну, а заводы? Одно время я работал в Фиуме на пуговичной фабрике заправщиком. Я стал рабом машины, которую надо было заправлять без перерыва каждые десять секунд! Невозможно было хоть на минуту дать отдых мысли или руке... Одно движение, всегда одно и то же, и его приходилось повторять в течение многих часов. Да, согласен,— это не была настоящая усталость. Но, клянусь вам, я уходил оттуда более отупевший от этой бессмысленной работы, чем в Гамбурге, после того как целых два часа перетаскивал мешки с цементом, пыль от которого разъедала мне глаза и сушила глотку!.. На одном мыловаренном заводе в Италии я видел женщин, чья работа состояла в том, что они каждые десять минут поднимали и переносили ящики с мыльным порошком весом в сорок килограммов каждый. А остальное время они должны были стоя поворачивать рычаг, такой тугой рычаг, что для того, чтобы привести его в движение, им приходилось упираться ногами в стену. И в течение восьми часов в день они делали эту работу... Я ничего не выдумываю. В Пруссии в одной скорняжной мастерской я видел семнадцатилетних девушек, которые с утра до вечера чистили щеткой меха, и этим бедняжкам приходилось глотать столько шерсти, что они не могли продолжать работу, если не выходили по нескольку раз в день извергать всю проглоченную шерсть рвотой... И за какую ничтожную плату! Ведь повсюду принято, чтобы женщина за ту же работу, которую делает мужчина, получала меньше, чем он...

— Почему? — спросила Женни.

— Потому что предполагается, что у нее есть отец или муж, которые ей помогают...

— Часто это ведь так и есть,— сказала она.

— Вовсе нет. Если этим несчастным приходится работать, то не потому ли, что в нашем обществе мужчина недостаточно зарабатывает, чтобы прилично содержать тех, кто находится у него на иждивении? Я привел вам в пример иностранных рабочих. Но пойдите как-нибудь утром в Иври, в Пюто, в Бийянкур... Около семи утра вы можете видеть целую вереницу женщин, которые только что отнесли своих детей в ясли, чтобы иметь возможность надрываться над работой в цехах. Хозяева, организовавшие эти ясли (за счет завода), воображают,— и, вероятно, вполне искренне,— что они благодетели своих рабочих... Можете себе представить, какую жизнь ведет мать семейства, которая прежде чем отработать свои восемь часов физического труда, встала в пять утра, чтобы сварить кофе, помыть и одеть ребяти-

шек, хоть немного прибрать комнату и к семи часам явиться на фабрику? Ну, разве не чудовищно? И все же это так. И за счет этих загубленных жизней процветает капиталистическое общество... Ну, скажите, Женни, можем ли мы это терпеть? Можем ли мы дольше терпеть, чтобы капиталистическое общество процветало за счет этих жизней, принесенных ему в жертву? Нет!.. Но для того, чтобы это и все остальное изменилось, нужно, чтобы власть перешла в другие руки: нужно, чтобы пролетариат завоевал политическое господство. Теперь вам понятно? Вот смысл этого слова, которое, видимо, вас так пугает,— *«Революция»*... Нужна новая и совершенно иная организация общества которая позволит человеку не прозябать, а жить! Нужно возвратить ему не только причитающуюся ему часть материальной прибыли, но и ту часть свободы, досуга, благополучия, без которых он не может развиваться сообразно своему человеческому достоинству.

— «Своему человеческому достоинству...» — задумчиво повторила Женни.

Внезапно она осознала,— и смутилась от этого,— что достигла двадцатилетнего возраста, ничего не зная о труде и нищете, царящих в мире. Между массой трудящихся и ею, буржуазной барышней 1914 года, существовали классовые перегородки, столь же непроницаемые, как те, что стояли между различными кастами античной цивилизации... «Однако знакомые мне богатые люди — совсем не чудовища»,— наивно говорила она себе. Она думала о протестантских благотворительных организациях, в которых принимала участие ее мать и которые «оказывали помощь» нуждающимся семьям... Она почувствовала, что краснеет от стыда. Благотворительность! Теперь она поняла, что бедняки, просившие милостыню, не имеют ничего общего с эксплуатируемыми трудящимися, которые борются за право жить, за независимость, за «свое человеческое достоинство». Те бедняки вовсе не представляли собою народ, как она глупейшим образом считала: они были только паразитами буржуазного общества, почти столь же чуждыми миру трудящихся, о котором говорил Жак, как и те дамы-патронессы, которые их посещали. Жак открыл ей, что существует *пролетариат*.

— Человеческое достоинство,— повторила она еще раз. И ее интонация свидетельствовала о том, что она придает этим словам их истинный смысл.

— О,— заметил он,— первые результаты неизбежно будут ничтожны... Трудящийся, которого освободит революция, бросится прежде всего удовлетворять свои самые эгоистические потребности, даже, пожалуй, самые низменные... С этим придется примириться: желания низшего порядка должны быть удовлетворены

в первую очередь, для того чтобы стал возможным истинный прогресс... внутренний...— Он поколебался, прежде чем добавить: — Развитие духовной культуры.— Голос его зазвучал глуше. Знакомая тревога сжала ему горло. Все же он продолжал: — Увы, мы вынуждены примириться с необходимостью: революция в области общественных установлений намного предшествует революции в области нравов. Но нельзя... нет, мы просто не имеем права сомневаться в человеке... Я хорошо вижу все его недостатки! Но я верю, я *хочу* верить, что они являются в значительной мере следствием существующего общественного строя... Надо бороться с искушением впасть в пессимизм, нужно воспитать в себе веру в человека!.. В человеке есть, должно быть, тайное неистребимое стремление к величию... И надо терпеливо раздувать этот уголек, тлеющий под пеплом, чтобы он разгорался... чтобы он, может быть, в один прекрасный день вспыхнул ярким пламенем!

Она решительно кивнула в знак одобрения. Выражение ее лица было энергичнее, чем когда-либо, взгляд серьезен.

Он улыбнулся от радости.

— Но перемены в общественном строе — это дело будущего... Сперва — самое неотложное: сейчас надо помешать войне!

Внезапно он подумал о свидании со Стефани и бегло взглянул на алебастровые часы. Но они стояли. Он взглянул на свои карманные и сразу же вскочил.

— Уже восемь часов? — воскликнул он, словно проснувшись.— А через четверть часа я должен быть у Биржи!

Тут он сразу осознал, какой неожиданный и суровый оборот приняла их беседа. Он испугался, что Женни разочарована, и стал извиняться.

— Нет, нет,— тотчас же прервала его она.— Я хочу знать, что́ вы думаете обо всем решительно... Хочу узнать вашу жизнь... Понять...— И страстность, звучавшая в ее голосе, казалось, говорила: «Доверяясь мне, показывая себя таким, каков вы есть, вы даете мне лучшее доказательство своей нежности, то доказательство, которое мне всего дороже!»

— Завтра,— продолжал он, идя к двери,— я приду пораньше, можно? Сразу же после завтрака.

Она улыбнулась, и все лицо ее озарилось до самой глубины зрачков. Она хотела бы ответить: «Да, приходите, бывайте со мной как можно больше... Только когда вы здесь, я чувствую, что живу!» — но покраснела и молча пошла за ним через всю квартиру.

Перед полуотворенной дверью в гостиную он остановился.

— Можно? У меня связано столько воспоминаний...

Ставни были закрыты. Она вошла первая и распахнула окно.

У нее была своя особенная походка, своя манера проходить по комнате, сразу приниматься за то, что она намеревалась сделать, без всякой резкости, но с тихой и непреклонной твердостью.

От сложенных занавесей, свернутых ковров, натертого паркета поднимался запах залежавшейся материи и мастики. Жак, улыбаясь, обозревал все. Он вспоминал свой первый визит в сопровождении Антуана... Женни тогда с надутым видом стояла на балконе, облокотившись на перила. А он оставался тут, в углу, глупо застыл перед этой стеклянной горкой... Ему не нужно было приподнимать чехол, который скрывал ее сейчас, чтобы мысленно увидеть бонбоньерки, веера, миниатюры, все безделушки, которые он рассматривал для виду в тот день и которые находил все на том же самом месте в течение ряда лет. Отличные друг от друга облики Женни, какой она была в эти годы, проходили перед его взором, словно кальки, наложенные на подлинный рисунок. Он вспоминал ее позы и движения, когда она была девочкой, потом юной девушкой, ее резкие перемены настроения, ее неосуществленные порывы, ее манеру внезапно краснеть, ее полупризнания...

Он с улыбкой обернулся к ней. Угадывала ли она его мысли? Быть может. Она не говорила ни слова. Несколько мгновений он молчаливо глядел на нее. Сегодня он вновь обрел ее тут, в этой самой гостиной; как тогда, она в совершенстве владела собой, сдержанная, но без всякой робости, с тем же честным, немного суровым взглядом, с чистым и полным тайны лицом...

— Женни, я бы хотел, чтобы вы мне показали комнату вашей мамы, можно?

— Пойдемте,— сказала она, не выказав удивления.

Он знал до малейших деталей также и эту комнату, со стенами, увешанными фотографическими карточками, с большой кроватью, застланной зеленым шелковым покрывалом и покрытой гипюром. Даниэль вводил его в эту комнату, предварительно постучав в дверь. Чаще всего г-жа де Фонтанен сидела в одном из двух больших кресел перед камином, под розовым отсветом абажура, читая какой-нибудь трактат по вопросам морали или же английский роман. Она клала открытую книгу на колени и встречала молодых людей сияющей улыбкой, как будто ничто не могло обрадовать ее больше, чем их посещение. Она усаживала Жака против себя и, ободряюще глядя на него, расспрашивала о его жизни, об учении. И если Даниэль пытался поправить падающие головешки, мать быстрым движением, словно играя, отбирала у него щипцы. «Нет, нет,— смеясь, говорила она,— оставь, ты не знаешь *нрава огня!*»

Ему пришлось сделать усилие, чтобы оторваться от этих воспоминаний.

— Пойдемте,— сказал он, направляясь к выходу.

Женни проводила его в переднюю.

Он вдруг поглядел на нее с таким серьезным видом, что ее охватил какой-то беспричинный страх, и она опустила голову.

— Были вы когда-нибудь счастливы здесь? По-настоящему счастливы?

Прежде чем ответить, она стала добросовестно рыться в своем прошлом, вновь пережила в течение нескольких секунд все ушедшие годы, когда она была ребенком, впечатлительным и скрытным, многое понимающим, сосредоточенным и молчаливым. В сером однообразии этих лет были, правда, просветы: нежность матери, любовь Даниэля... И все же — нет... Счастливой, *по-настоящему* счастливой? Нет, никогда.

Она подняла глаза и отрицательно покачала головой.

Она увидела, как он глубоко вздохнул, решительным жестом откинул со лба свою прядь и вдруг улыбнулся.

Он ничего не сказал; он не смел обещать ей счастье, но, не переставая улыбаться и смотреть ей в глаза, в самую их глубину, взял обе ее руки, как сделал это, когда пришел, и прижал их к своим губам. Она же не спускала с него глаз. Она чувствовала, как сердце ее бьется, бьется...

Лишь гораздо позже поняла она, с какой отчетливостью образ Жака — такого, каким он стоял здесь, склонившись к ней,— запечатлелся именно в этот момент в ее памяти; с какой резкостью, словно в галлюцинации, будут в течение всей ее жизни возникать перед ней этот лоб, эта темная прядь, этот пронизывающий взгляд, непокорный и смелый, эта доверчивая улыбка, сияющая обещанием счастья...

XLIII

Словно в далекой провинции, оглушительный перезвон колоколов церкви св. Евстахия наполнил своим гулом двор большого дома и рано разбудил Жака. Первая его мысль была о Женни. Накануне вечером, до того момента, когда им овладел сон, Жак раз двадцать вспоминал свое посещение квартиры на улице Обсерватории, вызывая в памяти все новые и новые подробности. Несколько минут он лежал, вытянувшись на кровати, и равнодушно обозревал обстановку своего нового жилища. На стенах проступали пятна сырости, потолок облупился, на крючках висела чья-то ветхая одежда; на шкафу были нагромождены связки брошюр и листовок; над цинковым умывальным тазом поблескивало дешевое зеркальце, покрытое следами брызг. Какую жизнь вел товарищ, которому принадлежала эта комната?

Окно всю ночь оставалось открытым; несмотря на ранний час, со двора поднималась зловонная духота.

«Понедельник, двадцать седьмого,— сказал он про себя, заглянув в свою записную книжку, лежавшую на ночном столике.— В десять утра ребята из ВКТ. ...Затем нужно будет заняться вопросом об этих деньгах, повидаться с нотариусом, с биржевым маклером... Но в час я буду у нее, буду с нею!.. Потом в половине пятого собрание в Вожираре в честь Книппердинка... В шесть пойду в «Либертэр»... Вечером — манифестация... Вчера в воздухе так и пахло уличными схватками. Сегодня может завариться каша... Не вечно на бульварах хозяйничать этим юным патриотам! Подготовка к вечерней манифестации идет хорошо. Всюду расклеены афиши... Федерация строительных рабочих выпустила воззвание к профессиональным союзам... Важно, чтобы это профессиональное движение было прочно связано с деятельностью партии...»

Он выбежал в коридор, налил в кувшин воды из-под крана и, обнажившись до пояса, облился прохладной водой.

Внезапно ему припомнился Манюэль Руа, и он мысленно продолжал свой спор с молодым врачом. «По сути дела, вы обвиняете в антипатриотизме тех, кто восстает против вашего капитализма! Достаточно выступить против вашего строя, чтобы прослыть плохим французом! Вы говорите: «родина»,— ворчал он, обливая голову,— а думаете: «общество», «класс»! Защита родины у вас не что иное, как замаскированная защита вашей социальной системы. Зажав в руках концы полотенца, он крепко растер себе спину, мечтая о грядущем мире, где различные страны будут существовать в качестве автономных местных федераций, объединенных под эгидой одной пролетарской системы.

Затем мысль его снова вернулась к профессиональному движению: «Чтобы делать настоящее дело, надо работать внутри профессиональных союзов...» Тут он снова нахмурился. Зачем он здесь, во Франции? Да, информация,— и он старается справиться с этим делом как можно лучше: еще вчера он отослал в Женеву несколько кратких «донесений», которые Мейнестрель, наверно, сумеет использовать; но он нисколько не переоценивал свою роль наблюдателя и осведомителя. «Приносить пользу, настоящую пользу... Действовать...» Он приехал в Париж с этой надеждой, и его злило, что он играет роль простого зрителя, только регистрирует разговоры, новости и ничего не делает,— просто не может ничего сделать! Никакое действие невозможно сейчас в области интернациональных революционных связей, которою он вынужден был ограничиться. Не может быть никакого реального действия для тех, кто не член настоящего боевого отряда, кто не входит — и уже давно — в какую-нибудь конкретную, вполне оформленную организацию. «Это и есть проблема одиночки перед лицом революции,— подумал он с внезапным чувством уныния.— Я порвал с буржуазией из инстинктивного

стремления бежать... Это было возмущение одиночки, а не классовый протест... Я все время занимался самим собою, искал в самом себе... *«Никогда ты не станешь настоящим революционером, камрад!»* Ему вспомнились упреки Митгерга. И, подумав об австрийце, о Мейнестреле, обо всех тех смелых и реально мыслящих политиках, кто раз и навсегда примирился с необходимостью революционного кровопролития, он почувствовал, как его снова хватает за горло мучительный вопрос о насилии... «Ах, если бы мне суметь когда-нибудь освободиться... Отдаться целиком... Освободиться, отдавшись без остатка...»

Он кончил одеваться в том состоянии смятения и подавленности, которое часто на него находило, но, к счастью, продолжалось недолго, быстро рассеиваясь при столкновении с кипучей внешней жизнью.

«Ну, пойдем за новостями»,— встряхнувшись, сказал он самому себе.

Этой мысли было достаточно, чтобы поднять его настроение. Жак повернул ключ в замке и быстро вышел на улицу.

Из газет он узнал не слишком много. Правые листки подняли шум вокруг демонстраций, устроенных Лигой патриотов перед статуей Страсбурга. В большинстве же тех органов, которые помещали информацию, официальные сообщения щедро обволакивались многословными и противоречивыми комментариями. Казалось, газеты получили директиву осторожно перемежать нотки беспокойства и надежды на благополучный исход. Левая пресса призывала всех сторонников мира принять вечером участие в демонстрации на площади Республики. «Батай сэндикалист» на первой странице напечатала лозунг: «Сегодня вечером— все на бульвары!»

Прежде чем отправиться на улицу Бонди, где встреча у него была назначена лишь на десять часов, Жак забежал в «Юманите».

У кабинета Галло к нему пристала старая партийная активистка, с которой он был знаком, так как встречался с ней на совещаниях в «Прогрессе». Она уже пятнадцать лет была членом партии и в настоящее время работала редактором в «Фам либр». Ее называли «матушка Юри». Она пользовалась всеобщей симпатией, хотя все старательно избегали попадаться ей на глаза, спасаясь от ее невероятной болтливости. Бесконечно услужливая, готовая, не щадя себя, целиком отдаться любому благородному делу, она ужасно любила рекомендовать людей друг другу и проявляла совершенную неутомимость, несмотря на свой возраст и болезнь (у нее было расширение вен), когда речь шла о том, чтобы найти занятие для безработного или вообще выручить товарища. Она

мужественно укрывала у себя Перинэ, когда у того были неприятности с полицией. Это было странное создание. Седые растрепанные пряди волос придавали ей на митингах вид «керосинщицы». Лицо до сих пор оставалось красивым. «Фасад-то у нее сохранился,— говорил Перинэ на своем жаргоне жителя предместий,— но витрину малость дождичком подмочило».

Она была убежденная вегетарианка и основала кооператив, ставивший себе целью устроить в каждом парижском квартале социалистическую вегетарианскую столовую. Несмотря на все политические события, она не упускала ни одной возможности завербовать новых сторонников и теперь, вцепившись в руку Жака, начала читать ему проповедь:

— Спроси у знающих людей, мой мальчик! Посоветуйся с гигиенистами... Твой организм не может гармонично функционировать, твой мозг не в состоянии работать с максимальным напряжением, пока ты упорно кормишь свое тело тухлятиной, питаешься падалью, как стервятник...

Жаку с большим трудом удалось избавиться от нее и проникнуть в кабинет Галло.

Галло был не один. Пажес, его секретарь, подавал ему списки каких-то фамилий, которые тот просматривал, делая пометки красным карандашом. Он поднял свою острую мордочку над папками, нагроможденными на столе, и, не прерывая работы, указал Жаку на стул.

Он сидел к нему в профиль, и этот профиль грызуна почти не походил на человеческий. В сущности, все лицо Пажеса составляла одна косая, убегающая к затылку линия лба и носа; наверху эта линия терялась во всклоченной щетине седоватых волос а внизу — в бороде, которая торчала, как вытиралка для перьев, и в ней прятались глубоко запавший рот и срезанный подбородок. Жак всегда с удивлением и любопытством рассматривал Галло, как рассматривают ежа, когда выпадает исключительный случай застать его, пока он еще не свернулся в шар.

Внезапно дверь распахнулась, точно от сильного ветра, и появился Стефани без пиджака; рукава его были засучены до локтя и обнажали узловатые руки; на носу, похожем на птичий клюв, прочно сидели очки. Он принес резолюцию, принятую накануне в Брюсселе съездом профессиональных организаций.

Галло встал, не забыв взять составленный Пажесом список и сунуть его в одну из папок. Втроем они некоторое время обсуждали резолюцию бельгийского съезда, не обращая внимания на Жака. Затем стали обмениваться впечатлениями о последних новостях.

Сегодня утром, бесспорно, политическая атмосфера казалась менее напряженной. Вести из Центральной Европы давали основа-

ние питать кое-какие надежды. Австрийские войска все еще не перешли Дунай. Эта передышка, после того как Австрия так торопилась порвать с Сербией, была, с точки зрения Жореса, показательной. В сербском ответе было проявлено столько самой очевидной доброй воли и негодование держав было столь единодушно, что Вена явно не решалась еще начинать военные действия. С другой стороны, угрозе мобилизации, исходившей накануне от Германии и России и столь взволновавшей все министерства иностранных дел, в конечном счете можно было, казалось, придать более благоприятный смысл: многие полагали, что эта акция есть проявление благоразумной энергии и что она продиктована искренним желанием сохранить мир. И действительно, непосредственные результаты оказались довольно благоприятными: Россия добилась от Сербии обещания в случае наступления австрийцев отступить, не принимая боя. Это дало бы возможность выиграть время и найти компромиссный выход.

Жак получил разнообразные и довольно утешительные сведения, касающиеся международного отпора войне. В Италии депутаты-социалисты должны были съехаться в Милан, чтобы обсудить положение и подчеркнуть пацифистскую позицию, занятую итальянской социалистической партией. В Германии никакие энергичные меры правительства не смогли заткнуть рот оппозиционным силам: назавтра в Берлине была назначена большая антивоенная демонстрация. По всей Франции социалистические и профсоюзные организации были начеку и обсуждали планы забастовок в отдельных районах.

Вскоре Стефани доложили, что его ожидает Жюль Гед. Жак, торопившийся на свое свидание, вышел из комнаты вместе с ним и проводил его до кабинета.

— План для отдельных районов? — спросил он.— Чтобы в случае войны принять участие во *всеобщей* забастовке?

— Разумеется, во всеобщей,— ответил Стефани. Но Жаку показалось, что в тоне его не было достаточной уверенности.

Кафе «Риальто» находилось на улице Бонди. Благодаря тому, что по соседству помещалась Всеобщая конфедерация труда, оно стало постоянным местом сбора для особо активных работников профессиональных союзов. Жак должен был встретиться там с двумя деятелями ВКТ; войти с ними в сношения просил его Ричардли. Один был прежде учителем, другой — мастером с металлургического завода.

Беседа длилась уже почти целый час. Жак, очень заинтересованный новыми для него данными о разрабатывавшихся в на-

стоящий момент методах сотрудничества между ВКТ и социалистическими партиями в деле их общего сопротивления войне, не собирался прерывать беседу, но неожиданно в дверях задней комнаты, предназначенной для подобных совещаний, появилась хозяйка кафе и громко крикнула:

— Тибо просят к телефону.

Жак колебался — идти ему или нет. Вряд ли кому-либо могло прийти в голову искать его здесь. Наверное, в зале был еще какой-нибудь Тибо?.. Но так как никто не пошевелился, он решил пойти и выяснить, в чем дело.

Это был Пажес. Жак вспомнил, что действительно, выйдя из кабинета Галло, он упомянул о предстоящей встрече на улице Бонди.

— Хорошо, что я тебя поймал! — сказал Пажес.— У меня только что был один швейцарец, которому надо с тобой поговорить... Он со вчерашнего вечера тебя повсюду ищет.

— Что за швейцарец?

— Да такой смешной человечек, карлик с белыми волосами, альбинос.

— А, знаю... Он не швейцарец, а бельгиец. Так он в Париже?

— Я не хотел говорить ему, где тебя искать. И посоветовал на всякий случай пойти к часу в кафе «Круассан».

«А когда же к Женни?» — подумал Жак.

— Нет,— быстро сказал он.— У меня в час назначено свидание, которое я никак не могу...

— Ладно, твое дело,— отрезал Пажес.— Но, кажется, это срочно. Он хочет тебе что-то передать от Мейнестреля... Словом, я тебя предупредил. До свидания.

— Благодарю.

«Мейнестрель? Срочное поручение?»

Жак вышел из «Риальто» озабоченный. Он не мог решиться отложить визит на улицу Обсерватории. Все же рассудок пересилил. И прежде чем направиться к нотариусу, он, до крайности раздраженный, зашел в почтовое отделение и нацарапал пневматичку Женни, предупреждая, что не может быть у нее раньше трех.

Нотариальная контора Бейно занимала второй этаж роскошного доходного дома на улице Тронше.

При всех иных обстоятельствах важный и толстый Бейно, весь вид помещения, обстановка, клерки, унылая и насыщенная пылью атмосфера этого бумажного некрополя показались бы Жаку комичными. Его приняли с некоторым почетом. Он был сын и на-

следник блаженной памяти г-на Тибо и, без сомнения, будущий клиент. Все, от мальчика-рассыльного до самого патрона, питали благоговейное уважение к благоприобретенному состоянию. Его заставили подписать какие-то бумаги. И так как он с явным нетерпением ждал передачи в его распоряжение этого значительного капитала, были сделаны осторожные попытки разузнать, что он намеревается с ним делать.

— Конечно,— произнес мэтр Бейно, вцепившись пальцами в львиные головы, которыми оканчивались ручки его кресла,— на Бирже в такой кризисный момент могут предоставиться случаи совершенно непредвиденные... для того, кто хорошо знает состояние рынка... Но с другой стороны, риск...

Жак прервал его излияния и распрощался.

В конторе биржевого маклера служащие за решетками своих клеток буквально тряслись в какой-то необычной лихорадке. Телефоны трещали. Выкрикивались приказы. Приближался час открытия Биржи, и серьезность общеполитического положения заставляла опасаться, что день будет бурный. Когда Жак попросил, чтобы его принял сам г-н Жонкуа, возникли всякие затруднения. Ему пришлось удовольствоваться разговором с доверенным хозяина. И как только он высказал намерение продать все свои ценные бумаги, ему возразили, что момент неподходящий и что он понесет при этом в общей сложности весьма значительные потери.

— Это не важно,— сказал он.

Вид у него был столь решительный, что биржевик почувствовал к нему уважение. Раз этот странный клиент, замышляя такое безумие, остается совершенно хладнокровным, значит, он располагает секретной информацией и комбинирует какой-нибудь мастерский трюк. Все же нужно было не менее двух дней, чтобы реализовать все ценности. Жак встал, заявив, что в среду придет опять и хотел бы тогда же получить в кассе конторы все свое состояние наличными.

Доверенный проводил его до лестничной площадки.

Ванхеде сидел нахохлившись, как на насесте, на скамейке у самой двери; положив локти на стол и зажав подбородок в ладонях, он щурил глаза и разглядывал входящих. На нем был странный колониальный костюм из полотна защитного цвета, такой же вылинявший, как его волосы; и хотя в «Круассане» привыкли ко всяким одеяниям, он и тут не остался незамеченным.

Завидев Жака, он выпрямился, и его бледное лицо внезапно залилось краской. Несколько мгновений он не мог произнести ни слова.

— Наконец-то! — вздохнул он.

— Так, значит, и ты тоже в Париже, мой маленький Ванхеде?

— Наконец-то! — повторил альбинос дрожащим голосом.— Знаете, Боти, я уже начинал страшно беспокоиться.

— Почему? Что случилось?

Приложив ко лбу руку козырьком, Ванхеде осторожно взглянул на соседние столики.

Жак, заинтригованный, сел рядом с ним и приготовился слушать.

— Вы очень нужны,— прошептал альбинос.

Образ Женни мелькнул перед глазами Жака. Он нервным движением откинул свою прядь и нетвердым голосом спросил:

— В Женеве?

Ванхеде отрицательно покачал растрепанной головой. Он рылся у себя в карманах. Из бумажника он вынул запечатанное письмо без адреса. Пока Жак лихорадочно распечатывал его, Ванхеде шепнул:

— У меня есть для вас еще кое-что. Документы, удостоверяющие личность на имя Эберле.

В конверте находился двойной листок почтовой бумаги; на лицевой стороне первого было несколько строк, написанных рукой Ричардли. Второй листок казался совсем чистым.

Жак прочитал.

«Пилот на тебя рассчитывает. Подробности письмом. В среду мы все встретимся в Брюсселе.

Привет
Р.»

«Подробности письмом...» Жак отлично понимал эту формулу. Чистая страница содержала инструкции написанные симпатическими чернилами.

— Мне нужно вернуться домой, чтобы расшифровать все это...— Он нетерпеливо вертел письмо между пальцами.— А если бы ты меня не разыскал? — спросил он.

Ванхеде улыбнулся какой-то ангельской улыбкой.

— Со мной Митгерг. В таком случае он сам распечатал бы письмо и выполнил бы все вместо вас... В среду мы должны встретиться со всеми остальными в Брюсселе... Так вы, значит, уже не живете у Льебаэра, на улице Бернардинцев?

— А где же Митгерг?

— Он тоже разыскивает вас. Я должен встретиться с ним в три часа на бульваре Барбеса, у его соотечественника Эрдинга, где мы остановились.

— Слушай,— сказал Жак, сунув письмо в карман,— я предпочитаю не приводить тебя в мою комнату: незачем привлекать внимание консьержки... Но приходи вместе с Митергом в четверть пятого к трамвайному киоску у Монпарнасского вокзала, знаешь? Я поведу вас на очень интересное собрание на улицу Волонтеров... А вечером, после обеда, мы отправимся все вместе на площадь Республики и примем участие в демонстрации.

Через полчаса, запершись в своей комнате, Жак расшифровал текст сообщения.

«Будь в Берлине во вторник 28-го.

Войди в восемнадцать часов в ресторан Ашингера на Потсдамерплац. Там ты найдешь Тр., который даст тебе точные указания.

Как только вещь будет у тебя в руках, удирай с первым же поездом в Брюссель.

Прими максимальные меры предосторожности. Не бери с собой никаких бумаг, кроме тех, какие тебе передаст В.

Если, паче чаяния, тебя схватят и предъявят обвинение в шпионаже, выбери адвокатом Макса Керфена из Берлина.

Дело подготовлено Тр. и его друзьями. Тр. особенно настаивал на совместной работе с тобой».

— Ну вот,— произнес Жак вполголоса. И тотчас же подумал: «Принести пользу... Действовать!»

Умывальный таз распространял щелочной запах проявителя. Он вытер пальцы и сел на кровать.

«Подумаем,— сказал он про себя, стараясь сохранять спокойствие.— Берлин... завтра вечером... Если я поеду утренним поездом, то не успею к шести часам быть в назначенном месте. Я должен отправиться сегодня в двадцать часов... Во всяком случае, я успею повидаться с Женни... Хорошо... Но демонстрацию придется пропустить...»

Он размышлял, учащенно дыша. В открытом чемодане, лежавшем на полу, находился железнодорожный справочник. Он взял его и подошел к окну. Жара показалась ему удушающей.

«Почему, на худой конец, не отправиться товаро-пассажирским в ноль пятнадцать? Ехать придется дольше, но зато я смогу вечером побывать на бульварах...»

Из соседней квартиры доносился женский голос, звонкий и дрожащий; женщина, видимо, гладила, по временам ее пение прерывалось стуком утюга, который ставили на керосинку.

«Тр.— это Траутенбах... сомнения нет... Что он такое задумал? И почему он захотел, чтобы это был я?»

Он отер пот с лица. Его одновременно обуревали и восторг при мысли о настоящем деле, о таинственном характере данного ему поручения, об опасностях, которым придется подвергнуться, и отчаянье, оттого что надо будет расстаться с Женни.

«Раз они назначают мне свидание в среду в Брюсселе,— подумал он,— ничего не помешает мне, если все пройдет благополучно, в четверг вернуться в Париж...»

Эта мысль успокоила его. В конце концов, ведь речь идет лишь о трехдневной отлучке.

«Надо сейчас же предупредить Женни... У меня только-только хватит времени, если в четверть пятого я хочу быть у Монпарнасского вокзала...»

Не будучи уверен в том, что ему удастся вернуться к себе до отъезда, он вынул все из бумажника, сложил свои личные документы и письма в пакет и на всякий случай написал на нем адрес Мейнестреля. При нем остались только документы Эберле, привезенные Ванхеде.

Затем он отправился на улицу Обсерватории.

XLIV

Женни так быстро открыла на его звонок, словно она со вчерашнего дня ждала его на том месте, где он с нею простился.

— Плохие новости,— пробормотал он, даже не поздоровавшись.— Сегодня вечером я должен уехать за границу.

Она пролепетала:

— Уехать?

Она сильно побледнела и смотрела на него в упор. Он казался таким несчастным, оттого что вынужден был причинить ей это огорчение, что ей хотелось скрыть от него свое собственное отчаяние. Но потерять Жака во второй раз — такое испытание было для нее непосильно...

— Я вернусь в четверг, самое позднее — в пятницу,— поспешно добавил он.

Она стояла, опустив голову. При этих словах она глубоко вздохнула. На щеках опять появился легкий румянец.

— Три дня! — продолжал он, заставляя себя улыбнуться.— Это недолго, три дня... ведь мы будем счастливы всю жизнь!

Она подняла на него боязливый, вопрошающий взгляд.

— Не расспрашивайте меня,— сказал он.— Мне поручено одно дело. Я должен ехать.

При слове «дело» на лице Женни появилось выражение такой тревоги, что Жак, хотя он не знал даже, для чего его посылают в Германию, решил ее успокоить:

— Мне придется только повидаться с некоторыми иностранными политическими деятелями... И так как я бегло говорю на их языке...

Она внимательно смотрела на него. Он оборвал на полуслове и указал на развернутые газеты, лежавшие на столе в передней.

— Вы видите, что происходит?

— Да,— лаконически ответила она тоном, который достаточно ясно показывал, что теперь она так же хорошо, как и он, сознает всю серьезность происходящих событий.

Он подошел к ней, схватил обе ее руки, сложил их вместе и поцеловал.

— Пойдемте *к нам*,— предложил он, указывая пальцем в сторону комнаты Даниэля.— У меня в распоряжении всего несколько минут. Не надо их портить.

Она наконец улыбнулась и пошла впереди него по коридору.

— От вашей матери нет никаких известий?

— Нет,— ответила она, не оборачиваясь.— Мама должна была прибыть в Вену сегодня после двенадцати. Я не рассчитываю получить телеграмму раньше завтрашнего дня.

В комнате все было приготовлено для его встречи. Благодаря опущенной шторе освещение казалось особенно уютным. Комната была прибрана, на окне висели свежевыглаженные занавески, часы были заведены. В одном углу письменного стола стоял букет душистого горошка.

Женни остановилась посреди комнаты и смотрела на Жака внимательным, слегка обеспокоенным взором. Он улыбнулся, но ему не удалось вызвать ответную улыбку.

— Что же,— произнесла она нетвердым голосом,— значит, правда? Только несколько минут?

Он устремил на нее нежный, ласковый, немного слишком пристальный взгляд: это не был отсутствующий взгляд — скорее даже настойчивый и внимательный, но тем не менее Женни почувствовала легкую тревогу. У нее было ощущение, что с того момента, как он пришел, этот задумчивый взгляд еще ни разу не проник по-настоящему в глубь ее глаз.

Он увидел, что у Женни дрожат губы. Он взял ее за руки и прошептал:

— Не отнимайте у меня мужества...

Она выпрямилась и улыбнулась ему.

— Ну, вот и хорошо,— сказал он, усаживая ее в кресло. Затем, не объясняя хода своих мыслей, сказал вполголоса: — Надо

верить в себя. Даже больше — надо верить только в себя... Твердую основу в своей внутренней жизни находит только тот, кто ясно осознал, в чем его судьба, и всем пожертвовал этому.

— Да,— прошептала она.

— Осознать свои силы! — продолжал он, словно говоря с самим собою.— И подчиниться им. И тем хуже, если другие считают их злыми силами...

— Да,— повторила она, снова опустив голову.

Уже не раз за последние дни она думала, как сейчас: «Вот что он говорит, и надо все это запомнить... поразмыслить над этим... чтобы лучше понять...» С минуту она оставалась совершенно неподвижной, опустив ресницы. И в ее склоненном лице было столько сосредоточенной мысли, что Жак смутился и на мгновение замолчал.

Затем сдержанно, но с дрожью в голосе он прибавил:

— Один из самых решающих дней в моей жизни был тот, когда я понял: то, что другие во мне осуждали, считали опасным,— это как раз и есть самая лучшая, самая подлинная часть моего существа!

Она слушала, она понимала, но голова у нее кружилась. За последние два дня один за другим ослабевали, распадались все устои ее внутреннего мира: вокруг возникала пустота, и ее еще не могли заполнить те новые ценности, на которых, казалось, зиждились все суждения Жака.

Внезапно она увидела, что лицо Жака просветлело. Он опять улыбался, но по-другому. У него возникла одна идея, и он уже вопросительно смотрел на девушку.

— Слушайте, Женни... Раз вы сегодня вечером одни... Почему бы вам... не пообедать где-нибудь вместе со мной?

Она смотрела на него, озадаченная этим столь простым, но столь необычным для нее предложением.

— Я освобожусь не раньше половины восьмого,— объяснил он.— А в девять мне надо быть на площади Республики. Но хотите, эти полтора часа мы проведем вместе?

— Да.

«У нее какая-то совершенно особая манера непреклонно и в то же время кротко произносить *да* или *нет*...» — подумал Жак.

— Благодарю вас! — радостно воскликнул он.— У меня не будет времени зайти за вами. Но если бы вы смогли в половине восьмого быть около Биржи?..

Она утвердительно кивнула головой.

Он встал.

— А теперь я бегу. До скорого свидания...

Она не пыталась удержать его и молча проводила до лестницы.

Когда он уже начал спускаться и обернулся, чтобы попрощаться с нею последней нежной улыбкой, она перегнулась через перила и, внезапно осмелев, прошептала:

— Я люблю представлять себе вас среди ваших товарищей... В Женеве, например... Наверно, только там вы становитесь по-настоящему самим собою.

— Почему вы так говорите?

— Потому что,— тут она замялась и стала подыскивать слова,— всюду, где я вас до этого времени видела, вы словно — как бы это сказать? — чувствуете себя немного... в чужой стране...

Он остановился на ступеньках и, подняв голову, серьезно смотрел на нее.

— Вы ошибаетесь,— с живостью возразил он,— там я тоже чувствую себя... в чужой стране! Я всюду в чужой стране! Я всегда был в чужой стране! Я и родился таким! — Он улыбнулся и добавил: — Только подле вас, Женни, это ощущение отчужденности покидает меня... до некоторой степени...

Улыбка исчезла с его лица. Он, казалось, хотел что-то прибавить, но не решался. Он сделал рукой загадочный жест и удалился.

«Она совершенство,— думал он.— Совершенство, но ее не разгадать до конца!» Это не был упрек: разве влечение, которое он всегда испытывал к Женни, не вызывалось до известной степени этой таинственностью?

Вернувшись к себе, Женни несколько минут стояла у закрытой двери, прислушиваясь к звуку удаляющихся шагов. «Ах, какой он сложный человек!..» — внезапно сказала она про себя. Сказала без всякого сожаления: она достаточно сильно любила его всего целиком, и ей было дорого даже это неясное ощущение страха, которое он оставлял позади себя, как рябь на воде, как отпечаток ног.

XLV

Вожирарское собрание происходило в отдельном кабинете кафе «Гарибальди» на улице Волонтеров.

Ванхеде и Митгерг, представленные Жаком, были приняты как делегаты Швейцарской социалистической партии и усажены в передних рядах.

Председатель Жибуэн предоставил слово Книппердинку. Труды старого теоретика были написаны по-шведски, но их влияние давно уже перешло за рубежи северных стран. Самые известные его книги были переведены, и многие из присутствующих их читали. Он хорошо говорил по-французски. Высокая фигура, корона

белоснежных волос, лучистый взгляд апостола еще больше поддерживали престиж его идей. Он был гражданином миролюбивой и по самой своей сути нейтральной страны, где искусственно раздуваемый национализм великих держав континента давно уже вызывал беспокойство и неодобрение. Он с суровой ясностью судил о положении в Европе. Его речь, горячая и уснащенная фактами, постоянно прерывалась овациями.

Жак был рассеян и слушал плохо. Он думал о Женни. Он думал о Берлине. Как только Книппердинк кончил патетическим призывом к сопротивлению, он встал, не дожидаясь других выступлений, и, отказавшись от мысли повести Ванхеде и Митгерга в «Либертэр», договорился с ними о встрече перед вечерней демонстрацией.

На площади Французского Театра, взглянув на часы, он несколько изменил свои планы. Монмартр был далеко. Лучше было не идти в «Либертэр», а вернуться в «Юманите» и узнать, какова сейчас политическая температура.

Дойдя до улицы Круассан, он встретил на тротуаре старика Мурлана в рабочей блузе печатника, который вышел из редакции вместе с Милановым. Он прошел с ними несколько шагов.

Жак знал, что Миланов поддерживает отношения с анархистскими кругами, и спросил у него, собирается ли он принять участие в Лондонском съезде в конце этой недели.

— Никакой пользы от этого съезда не будет,— лаконически ответил русский.

— К тому же,— добавил Мурлан,— неизвестно, соберется ли он. Никому не хочется быть сцапанным в такой момент. Все прячутся в нору. В префектуре, в министерстве внутренних дел уже расставляют сети: говорят, там уже спешно просматривается и дополняется «список Б».

— Какой список? — спросил Миланов.

— Список всех подозрительных. На случай, если дело примет плохой оборот, им надо подготовить мышеловки.

— А что говорят там? — спросил Жак, указывая на окна «Юманите».

Мурлан пожал плечами. Последние телеграммы совершенно обескураживали.

Из Петербурга, благодаря нескромности одного специального корреспондента «Таймс», обычно хорошо осведомленной газеты, были получены сведения, что царь разрешил мобилизовать четырнадцать армейских корпусов, стоящих на австрийской границе,— это был ответ на германское предупреждение. Россия не только не

дала себя запугать, как можно было одно время надеяться, но становилась открыто агрессивной,— русское правительство угрожало немедленным объявлением *всеобщей* мобилизации, если только Германия позволит себе начать мобилизацию, хотя бы частичную. А берлинские телеграммы сообщали, что правительство кайзера, отбросив всякие предосторожности, деятельно готовится к мобилизации. Начальник генерального штаба фон Мольтке спешно вызван из отпуска. Официальная пресса внушает немцам, что война неминуема. В «Берлинер локальанцейгер» появилась большая статья в защиту австрийского ультиматума, призывающая к уничтожению Сербии. В Берлине с раннего утра охваченные паникой держатели штурмуют банковские кассы.

Во Франции тоже целые толпы осаждали кредитные учреждения. В Лионе, в Бордо, в Лилле банки переживали величайшие затруднения ввиду изъятия вкладов. На парижской Бирже сегодня днем произошел настоящий бунт. Одного биржевого зайца, австрийского подданного, обвиняли в том, что он будто бы искусственно вызвал понижение процентных бумаг, и толпа набросилась на него с криком: «Смерть шпионам!» Полиция едва успела вмешаться. Префект велел очистить перистиль, и полицейским с трудом удалось помешать толпе растерзать австрийца. Весь инцидент был нелеп, но свидетельствовал о распространении военной горячки.

— А как обстоят дела на Балканах? — спросил Жак.— Австрийские войска все еще не перешли сербскую границу?

— Говорят, еще нет.

Но, судя по последним телеграммам, наступление, которое все время откладывалось, должно было начаться сегодня ночью. Галло уверял даже, основываясь на сведениях из надежного источника, что всеобщая мобилизация в Австрии фактически решена, что завтра она будет объявлена и проведена в течение трех дней.

— У нас,— сказал Мурлан,— офицеры и солдаты, находящиеся в отпуске, железнодорожники и почтовые служащие-отпускники вызваны по телеграфу к месту службы... А сам Пуанкаре подает пример: он возвращается, не заходя в порты, и в среду будет в Дюнкерке.

— Кстати, о вашем Пуанкаре...— сказал Миланов. И он повторил многозначительный анекдот, передававшийся из уст в уста в Вене: 21 июля на приеме дипломатического корпуса в Зимнем дворце президент республики будто бы бросил своим резким голосом австрийскому послу фразу, вызвавшую сенсацию: «Сербия имеет пламенных друзей в лице русского народа, господин посол. А у России есть союзница — Франция!»

— Все та же политика устрашения! — пробормотал Жак, подумав о Штудлере.

Миланов предложил отправиться в «Прогресс» и подождать там начала демонстрации. Но Мурлан отказался.

— Довольно болтовни на сегодня,— буркнул он хмурым тоном.

— У меня есть к вам просьба,— сказал ему Жак, когда Миланов попрощался с ними.— Я оставил у себя в комнате, на улице Жур, перевязанный бечевкой пакет с моими личными бумагами. Если на этих днях со мной что-нибудь случится, не возьметесь ли вы переправить его Мейнестрелю в Женеву?

Он улыбнулся, не давая никаких дальнейших объяснений. Мурлан несколько секунд пристально смотрел на него. Но он не задал ни одного вопроса и только кивнул головой в знак согласия. Когда они расставались, он на миг задержал руку Жака в своей.

— Желаю успеха...— сказал он. (И на этот раз не прибавил: «мальчуган»).

Жак вернулся в редакцию. До свидания, которое он назначил Женни, оставалось только полчаса.

Из кабинета Жореса выходила группа социалистов, среди которых он узнал Кадье, Компер-Мореля, Вайяна, Самба. Потом он увидел, как они зашли к Галло. Он повернулся и постучал в дверь Стефани; тот был один и стоял, склонясь над столом, заваленным иностранными газетами.

Стефани был высокий и худой, со впалой грудью и острыми плечами. Его длинное лицо, обрамленное черными волосами, все время дергалось, что делало его похожим на бесноватого. Этот человек отличался всепожирающей активностью южанина (он был родом из Авиньона). Окончив университет со званием преподавателя истории, он несколько лет был учителем в провинции, прежде чем посвятил себя политической борьбе; те, кто у него учился, не забыли о нем. Жюль Гед устроил его в «Юманите». Жорес, человек могучего здоровья, сторонился болезненных людей; он ценил Стефани, не питая к нему особой симпатии. Все же он предоставил ему руководящий пост в газете и поручал трудные дела.

В этот день для связи с социалистической фракцией парламента и административной комиссией партии он выбрал именно его. Жорес старался добиться официального протеста со стороны социалистов — членов парламента против какого бы то ни было вооруженного вмешательства России; он все настойчивее требовал на Кэ-д'Орсе, чтобы Париж отказался от совместного с Петербургом выступления и сохранил полную свободу действий, что позволило бы ему сыграть в Европе роль арбитра-миротворца.

Только что Стефани имел длинную беседу с патроном. Он не скрыл от Жака, что тот находился в крайне нервном состоянии. Жорес решил, что завтра «Юманите» выйдет со следующим угрожающим заголовком: *«Сегодня утром начнется война».*

Он составил совместно со Стефани проект воззвания, в котором социалистическая партия от имени трудящихся Франции заявляла всей Европе о своей воле к миру. Стефани запомнил из него целые фразы и цитировал их своим певучим голосом, прохаживаясь большими шагами по комнате. Его птичьи глазки за стеклами очков шныряли во все стороны, а костлявый и горбатый нос выдавался вперед, точно клюв.

— *«Социалисты призывают всю страну протестовать против политики насилия...»* — декламировал он, подняв руку. Сегодня он чувствовал потребность закалить свою веру, повторяя, словно церковную литанию, бодрящие призывы декларации,— это было заметно и производило трогательное впечатление.

Днем в редакции был получен аналогичный текст от германских социалистов. Жорес сам перевел его с помощью Стефани:

«На нас надвигается война! Мы не хотим войны! Да здравствует примирение народов! Сознательный пролетариат Германии во имя человечества и цивилизации выражает свой самый пламенный протест!.. Он властно предписывает германскому правительству использовать свое влияние на Австрию в интересах мира. Если же ужасная война не может быть предотвращена, он требует, чтобы Германия ни под каким видом не вмешивалась в конфликт!»

Жорес желал, чтобы оба манифеста были развешаны друг подле друга в виде двух одинаковых плакатов по всему Парижу, по всем большим городам — и как можно скорее. Все принадлежащие социалистам типографии в ту же ночь должны были перейти исключительно на эту работу.

— В Италии тоже работают неплохо,— сказал Стефани.— Группа депутатов-социалистов, съехавшихся в Милане, приняла резолюцию, требующую немедленного и чрезвычайного созыва итальянской палаты депутатов, которая должна заставить правительство публично заявить, что Италия не последует за своими союзниками.

Быстрым движением он схватил один из лежавших на столе листков:

— Вот вам перевод одного социалистического манифеста, опубликованного в газете Муссолини «Аванти»: *«Италия может*

занять только одну позицию: нейтралитет! Потерпит ли итальянский пролетариат, чтобы его снова погнали на бойню? Пусть раздастся единодушный крик: «Долой войну! Ни одного человека! Ни одного гроша!»

Этот перевод должен был появиться на первой странице завтрашнего номера «Юманите».

— В среду,— продолжал Стефани,— в Брюсселе состоится пленум Международного бюро, а вечером большой митинг протеста под председательством Жореса, Вандервельде от Бельгии, Гаазе и Молькенбура от Германии, Кейр-Харди от Англии, Рубановича от России... Это будет грандиозно... Всех свободных в данный момент активистов во всех странах призывают принять участие в поездке, чтобы этот митинг превратился в мощную всеевропейскую демонстрацию. Надо показать, что пролетариат всего мира восстает против политики правительств!

Он ходил взад и вперед, морща нос, кривя губы, терзаясь собственным бессилием, но держался стойко и не желал поддаваться унынию.

Дверь открылась, чтобы впустить Марка Левуара. Он был весь красный от волнения. Едва войдя в комнату, он упал на стул:

— Кажется, они все хотят ее!

— Войны?

Он только что вернулся с Кэ-д'Орсе и принес необыкновенную новость: г-н фон Шен будто бы явился в министерство с заявлением, что Германия, желая дать России благовидный предлог для отказа от ее непримиримой позиции, обещает добиться от Австрии формального обязательства не нарушать целостность сербской территории. И посол предложил французскому правительству сделать официальное заявление в печати о том, что Франция и Германия, «*полностью солидаризуясь* в пламенном желании сохранить мир», действуют совместно и настоятельно советуют Петербургу проявить умеренность. И вот будто бы французское правительство под влиянием Бертело отвергло это предложение и решительно отказалось афишировать хотя бы малейшую *солидарность* с Германией из опасения оскорбить чувства своей союзницы — России.

— Как только Германия делает какое бы то ни было предложение,— заключил Левуар,— на Кэ-д'Орсе кричат: «Это западня!» И так продолжается уже сорок лет!

Маленькие глазки Стефани уставились на Левуара с выражением сильнейшей тревоги. Его длинное лицо как будто еще больше вытянулось; как будто его студенистые щеки оттягивала опущенная челюсть.

— Страшнее всего подумать,— прошептал он,— что в Европе их всего семь-восемь, ну, может быть, десять, человек, которые и делают историю... Вспоминаешь «Короля Лира»: *«Да будет проклято время, когда стадом слепцов предводительствует кучка безумцев!..»* Пойдем,— внезапно прервал он себя, кладя руку на плечо Левуара.— Надо предупредить патрона.

Оставшись один, Жак встал. Пора было идти к Женни. «А завтра вечером я буду в Берлине...» Он думал о порученном ему деле только урывками, но всякий раз с трепетом радости. Впрочем, к радости примешивалась некоторая тревога: страх, что он не сможет выполнить наилучшим образом то, чего от него ожидали.

XLVI

Хотя часы на здании Биржи не показывали еще половины восьмого, Женни была уже тут. Жак увидел ее издали и остановился. Стройный, неподвижный силуэт вырисовывался на фоне запертой решетки в толчее, которую учиняли газетчики и кондукторы автобусов. В течение целой минуты он стоял на краю тротуара и любовался ею. Застав ее тут, в одиночестве, он вновь переживал одно давнее ощущение. Когда-то, в Мезон-Лаффите, он часто бродил вокруг сада Фонтаненов, чтобы хоть мельком взглянуть на нее. И сейчас ему вспомнилось: однажды на склоне дня он увидел, как она в белом платье выходит из-под тенистых елей и пересекает полосу солнечного света, окруженная загоревшимся на миг лучистым нимбом, словно какое-то видение...

Сегодня вечером она не надела траурной вуали. На ней был черный костюм, в котором она казалась еще стройней. В манере одеваться, как и вообще во всем своем поведении, она никогда не руководствовалась желанием нравиться. Ей было важно только свое собственное одобрение (она была слишком горда, чтобы заботиться о мнении других людей, и к тому же слишком скромна, чтобы думать, будто кому-нибудь придет в голову выражать о ней какое-либо мнение). Она любила одежду строгого покроя, отвечающую чисто практическим целям. Правда, она выглядела элегантной, но элегантность ее была немного сухой и суровой, заключалась главным образом в простоте и врожденной изысканности.

Когда он подошел к ней, она вздрогнула и с улыбкой приблизилась к нему. Теперь она улыбалась без особых усилий, или, говоря точнее, уголки ее рта начинали как-то неуверенно дрожать, а в глубине светлых глаз зажигался слабый огонек — и Жак ловил его на лету, что каждый раз наполняло его сердце блаженством.

Он начал с того, что поддразнил ее:

— Когда вы улыбаетесь, у вас такой вид, будто вы подаете милостыню.

— Разве?

Она не смогла не почувствовать себя слегка уязвленной и тотчас же сказала себе, что он прав, даже начала было преувеличивать: «Это верно, у меня какое-то застывшее, жесткое лицо...» Но ей всегда было неприятно говорить о себе.

— Положение все ухудшается,— промолвил он вдруг со вздохом.— Каждое правительство упорствует и угрожает... Все точно стараются проявить как можно больше нетерпимости.

Как только Жак подошел, она сразу же заметила его усталый, озабоченный вид. Она вопросительно взглянула на него, ожидая дальнейших объяснений. Но он упрямо тряхнул головой:

— Нет, нет... Не надо об этом говорить... К чему? Довольно... Лучше помогите мне забыть обо всем на время этого часового антракта... Давайте пообедаем где-нибудь поблизости, чтобы не терять времени... Я не завтракал, и мне ужасно хочется есть... Пойдемте,— сказал он, увлекая ее за собой.

Она последовала за ним. «Если бы мама, если бы Даниэль нас видели!» — подумала она.

Эта совместная затея давала их близости, о которой никто еще не знал, некое материальное подтверждение, и оно смущало ее, как провинившуюся девочку.

— Почему бы не здесь? — сказал он, показав ей на углу двух улиц довольно убогого вида ресторанчик; через его широко раскрытые двери с тротуара видны были несколько столиков, накрытых белыми скатертями.— Тут нам ничто не помешает. Как вы думаете?

Они перешли улицу и вошли в небольшой зал, чистенький и совершенно пустой. В глубине через застекленную дверь кухни виднелись спины двух женщин, сидящих за столом под зажженной висячей лампой. Ни одна из них не обернулась.

Жак усталым движением бросил шляпу на диванчик и прошел в глубь помещения, чтобы привлечь внимание содержательниц ресторана. С минуту он стоя терпеливо ждал. Женни подняла на него глаза; и внезапно это лицо, словно постаревшее, с чертами, странно искаженными отсветами кухни, показалось ей лицом чужого человека. В ней возникло ощущение кошмара, ужас маленькой девочки, приведенной похитителем детей в какое-то зловещее место... Эта галлюцинация длилась не более секунды: Жак уже возвращался к ней, и изменившаяся игра теней вернула ему его подлинные черты.

— Устраивайтесь поудобнее,— сказал он, помогая ей усесться на диванчик.— Нет, садитесь тут, солнце не будет бить вам в глаза.

Для нее было внове чувствовать себя окруженной мужским вниманием, и она блаженно отдавалась этому ощущению.

В кухне тем временем женщина, что была помоложе, толстая, рыхлая девица в розовом корсаже, с низким коровьим лбом, наконец-то поднялась с места и направилась к ним со злобным видом потревоженного во время кормления животного.

— Можно нам пообедать, мадемуазель? — спросил Жак приветливо.

Официантка оглядела его с головы до ног.

— Смотря чем.

Глаза Жака весело перебегали от нее к Женни и обратно.

— У вас найдутся яйца? Да? Может быть, немного холодного мяса?

Официантка вынула из-за корсажа какую-то бумажку.

— Вот что у нас есть,— буркнула она с таким видом, словно хотела сказать: «Хочешь — бери, хочешь — нет».

Но у Жака имелся, казалось, неисчерпаемый запас хорошего настроения.

— Великолепно! — объявил он, прочитав вслух меню и взглядом посоветовавшись с Женни.

Официантка, не говоря ни слова, повернулась и пошла прочь.

— Прелестное создание! — тихо произнес Жак. И, смеясь, уселся напротив Женни, но тотчас же снова вскочил, чтобы помочь ей снять жакетку.

«Что, если и шляпу тоже снять? — подумала она.— Нет, я слишком растрепана...» И сразу же она устыдилась своего кокетства и твердым движением сняла шляпу, даже не позволив себе провести рукой по волосам.

Официантка со сварливым выражением лица появилась вновь, неся в руках дымящийся супник.

— Браво, мадемуазель! — воскликнул Жак, принимая от нее миску.— Вы нам ничего не говорили о супе... Как чудесно пахнет! — И, обратившись к Женни, он спросил: — Можно вам налить?

Веселость его была несколько наигранной. Этим первым обедом с глазу на глаз он был смущен почти так же, как Женни. И, кроме того, ему не удавалось избавиться от мыслей о событиях дня.

Зеленоватое зеркало за спиной у Женни повторяло каждое ее движение и давало Жаку возможность видеть за живою фигуркой, которая была перед ним, изящное отражение плеч и затылка.

Она почувствовала, что он разглядывает ее, и внезапно сказала:

— Жак... Я вот все время думаю... а хорошо ли вы меня знаете? Я очень боюсь... Уж не строите ли вы себе... разных иллюзий насчет меня?

За улыбкой она старалась скрыть подлинный страх, овладевавший ею каждый раз, когда она задавала себе вопрос: «Удастся ли мне когда-нибудь стать такой, какой он желал бы меня видеть? Не придется ли ему разочароваться во мне?»

Он, в свою очередь, улыбнулся:

— А если я тоже спросил бы вас: «Хорошо ли вы меня знаете?» — что бы вы мне ответили?

Одно мгновение она колебалась.

— Вероятно, ответила бы: «Нет».

— Но в то же время подумали бы: «Это не имеет значения...» И были бы правы,— все еще с улыбкой продолжал он.

В знак согласия она опустила голову.

«Да,— думала она,— это значения не имеет... Это придет само собой... Только у родителей могут возникать такие мысли, как та, что пришла мне в голову!»

— Мы должны верить в себя,— с силой произнес Жак.

Она не ответила. Он наблюдал за нею с некоторым беспокойством. Но выражение счастья, которое совершенно преобразило ее в этот миг, было самым успокоительным ответом.

По залу распространился запах кипящего масла.

— А вот и наш дикобраз,— шепнул Жак.

Официантка в розовом корсаже принесла яичницу.

— С салом? — вскричал Жак.— Замечательно!.. Вы сами готовите, мадемуазель?

— Ясное дело!

— Поздравляю вас!

Официантка соизволила улыбнуться и напустила на себя скромный вид.

— О, знаете, здесь обеды простые... Приходить надо с утра. К двенадцати не найдешь ни одного свободного столика... А вечером тихо... Кроме парочек...

Жак весело переглянулся с Женни. Он, видимо, испытывал истинное облегчение оттого, что ему удалось развеселить эту мрачную особу.

— Да,— сказал он, выразительно прищелкнув языком,— вот это яичница!

Официантка, польщенная, на этот раз рассмеялась.

— Я,— прошептала она, наклонившись к нему и словно

поверяя какую-то тайну,— работаю, ни с кем не советуясь. Пускай знатоки скажут свое слово.

Она засунула кулаки в карманы своего фартука и удалилась, шевеля бедрами.

— Означает ли это приветствие, выраженное в деликатной форме? — смеясь, спросил Жак.

Женни, рассеянно слушая, размышляла. Эта маленькая сценка была сущим пустяком, и все же в ней открылись для Женни удивительные вещи. Жак, видимо, обладал даром распространять вокруг себя атмосферу какой-то теплоты; создавать одним словом, улыбкой, интересом, проявленным к людям, такую температуру, в которой легко распускались доверие и симпатия. Женни знала это лучше, чем кто-нибудь другой: подле него самые неподатливые, самые скрытные натуры в конце концов освобождались от наложенного на них заклятия, расправлялись, расцветали. Ничто не могло удивить ее больше, чем подобный дар! В противоположность Жаку, в противоположность Даниэлю, она почти совсем не испытывала любопытства к другим людям. Она жила в своем личном, замкнутом мирке. Заботясь прежде всего о том, чтобы сохранить в неприкосновенности окружающую ее атмосферу, она даже нарочно старалась соблюдать некоторое расстояние между собою и ближними, чтобы с остальным миром соприкасалась только сглаженная поверхность, которую ничто не могло бы задеть или уязвить. «Но может быть,— сказала себе она, думая о брате,— это любопытство, влекущее Жака к любому живому существу, имеет и обратную сторону — некоторое неуменье точно определить свой выбор!»

— А способны вы кого-нибудь предпочесть? — вдруг спросила она.— Способны вы привязаться к кому-нибудь больше, чем ко всем другим? И навсегда?

Тотчас же она заметила, насколько ее фраза оказалась неловкой, неясной. И покраснела.

Он смотрел на нее с недоумением, пытаясь уловить ход ее мыслей. И повторял про себя заданный ему вопрос, стараясь прежде всего честно ответить на него. Ведь ими обоими владело почти суеверное чувство, что обмануть друг друга хоть в чем-то было бы кощунством по отношению к их любви.

«Способен ли привязаться к кому-нибудь? — чуть не произнес он вслух.— А моя дружба с Даниэлем?» Но пример был выбран неправильно, ибо эта привязанность не выдержала испытания временем.

— До сих пор, может быть, и не был способен,— признался он с некоторой сухостью.— Но что из того? Разве это основание, чтобы сомневаться.

— Я и не сомневаюсь,— торопливо пролепетала она.

Он был поражен ее взволнованным видом. Слишком поздно понял он, какая осторожность требовалась в обращении с такой чувствительной натурой. Он хотел сказать еще что-то, поколебался и, так как официантка принесла следующее блюдо, удовольствовался тем, что ласково улыбнулся Женни, прося прощения за свою грубость.

Она наблюдала за ним. Быстрота, с которой Жак переходил от одной крайности к другой, пугала ее, словно какая-нибудь опасность, но в то же время приводила в восторг, почему — она сама не знала; может быть, ей виделся в этом знак его силы, его превосходства? «Мой варвар»,— думала она с гордой нежностью. Тень, омрачавшая ее лицо, рассеялась, и снова она почувствовала, что вся проникнута той внутренней уверенностью в счастье, которая вот уже целых два дня повергала в смятение и обновляла все ее существо.

Когда официантка вышла из зала, Жак заметил:

— Как еще непрочно ваше доверие...

В голосе его не было ни малейшего упрека: только сожаление,— и еще раскаяние, ибо он не забывал, что его поведение в прошлом могло дать Женни все основания для недоверия.

Она тотчас же угадала, что его мучит совесть, и, желая изгнать горькие воспоминания, быстро сказала:

— Видите ли, я так плохо подготовлена к тому, чтобы доверять... Я не помню, чтобы когда-либо знала... (Она стала искать слово. И уста ее сами произнесли слова, слышанные от Жака.) ...душевный покой. Даже ребенком... Такая уж я есть...— Она улыбнулась.— Или, во всяком случае, такой я была...— Затем вполголоса она прибавила, опустив глаза: — Я еще никому в этом никогда не признавалась! — И, бросив беглый взгляд в сторону кухонной двери, она непроизвольно протянула Жаку через стол обе руки — свои тонкие, теплые, дрожащие ручки. Она чувствовала, что полностью принадлежит ему. И ей хотелось отдаться еще полнее, исчезнуть, раствориться в нем без остатка.

Он прошептал:

— Я был, как вы... одинок, всегда одинок! И никогда не знал покоя!

— Это мне знакомо,— сказала она, ласково отнимая свои руки.

— То мне казалось, что я выше других,— и гордость опьяняла меня; то чувствовал себя глупым, невежественным, уродом,— и меня грызло чувство унижения...

— Совсем как я.

— ...от всего отчужденный...

— Как я.

— ...словно замурованный в своих странностях...

— Я тоже. И без всякой надежды выйти из этого круга, стать похожей на других.

— А если я в определенные минуты не отчаивался до конца в самом себе,— продолжал он во внезапном порыве благодарности,— знаете, кому я этим обязан?

Одну секунду она испытывала безумную надежду, что он скажет: «Вам!» Но он сказал:

— Даниэлю!.. Наша дружба была прежде всего обменом признаниями. Меня спасли привязанность и доверие Даниэля.

— Как меня,— прошептала она,— совсем как меня! У меня не было друзей, кроме Даниэля.

Им не надоедало объяснять себя друг другу и друг через друга и смотреть друг другу в глаза жадным и радостным взором. Каждый из них ждал, как признания, как последнего доказательства их взаимного понимания, чтобы на его улыбку ответила улыбка другого. Какое это было удивительное и сладостное чудо — ощущать, как другой так легко проникает в тебя своей интуицией, и обнаруживать между ним и собою такое сходство! Им казалось, что этот обмен признаниями неисчерпаем и что в данный момент на свете нет ничего важнее этого взаимного изучения.

— Да, это Даниэлю я обязан тем, что не погиб... А также Антуану...— добавил он, немного подумав.

Лицо девушки невольно приняло немного холодное выражение, и он тотчас же это заметил.

В некотором замешательстве он вопросительно взглянул на нее.

— А вы хорошо знаете моего брата? — спросил он наконец, готовый с полной убежденностью произнести Антуану целый панегирик.

Она чуть не призналась: «Я его терпеть не могу»,— но сказала только:

— Мне не нравятся его глаза.

— Глаза?

Как выразить свою мысль, не обидев Жака? И все же она не хотела скрывать ничего, даже того, что могло быть ему неприятно.

Он, заинтригованный, стал настаивать:

— Почему вам не нравятся его глаза?

Она немного подумала:

— У меня такое впечатление... что они не умеют, что они разучились видеть, что хорошо, а что нехорошо...

Странное суждение, поставившее Жака в тупик. И тут он вспомнил то, что ему как-то сказал об Антуане Даниэль: «Знаешь, что меня привязывает к твоему брату? Его способность свободно судить обо всем». Даниэля восхищало умение Антуана самым естественным образом рассматривать любой вопрос как таковой, будто он исследовал анатомический препарат, вне каких-либо моральных соображений. Такая направленность ума была весьма привлекательна для потомка гугенотов.

Взгляд Жака, казалось, требовал разъяснений. Но Женни противопоставляла этому взгляду такую спокойную, замкнутую маску, что он не осмелился расспрашивать подробнее.

«Непроницаема»,— подумал он.

Официантка в розовом корсаже пришла убрать со стола. Она предложила:

— Сыр? Фрукты? По чашечке кофе?

— Мне больше ничего,— сказала Женни.

— Тогда чашку кофе, только одну.

Они подождали, пока подадут кофе, и лишь после этого возобновили прерванный разговор. Жак украдкой разглядывал Женни и снова заметил, насколько выражение ее глаз несхоже с выражением лица, насколько глаза «старше», чем прочие черты, такие юные и словно незавершенные.

Он непринужденно наклонился к ней.

— Можно мне посмотреть вам в глаза? — сказал он, улыбаясь, чтобы как-то извинить это разглядывание.— Я хотел бы *узнать* их... Они такого чистого цвета... честно-голубого цвета, холодно-голубого... А зрачок! Он все время меняет форму... Не двигайтесь, это так увлекательно!

Она тоже смотрела на него, но без улыбки, немного устало.

— Ну вот,— продолжал он,— когда вы делаете усилие, чтобы быть внимательной, переливчатая голубизна суживается... А зрачок становится все меньше и меньше, пока не превращается в маленькую точку, круглую и четкую, как дырочка, пробитая шилом... Как много воли в ваших глазах!

Тут ему пришла в голову мысль, что из Женни вышел бы замечательный товарищ в борьбе. И сразу же на него опять нахлынули все текущие заботы. Он машинально повернул голову, чтобы взглянуть на стенные часы.

Внезапно обеспокоенная тем, что он так помрачнел, Женни прошептала:

— Жак, о чем вы думаете?

Он резким жестом откинул со лба прядь.

— Ах,— сказал он, невольно сжимая кулаки,— я думаю о том, что в Европе есть сейчас несколько сот человек, которые ясно

разбираются во всем и надрываются ради спасения всех прочих, но не могут добиться, чтобы те, кого они хотят спасти, выслушали их! Это трагично и нелепо! Удастся ли нам преодолеть инертность масс? Смогут ли они вовремя...

Он продолжал говорить, и Женни делала вид, что слушает, но она не слышала его слов. Поймав взгляд Жака, устремленный па стенные часы, она уже не могла сосредоточиться и не в силах была справиться со своим сердцебиением. Три дня без него!.. Она боролась с тревогой, которой ни за что не хотела обнаружить, и испытывала мучительную радость оттого, что еще несколько минут он побудет подле нее, живой и близкий, следила за выражением его лица, за тем, как сжимались его челюсти, за тем, как хмурились брови, как блестели его подвижные глаза,— не стараясь вникнуть в то, что он говорит, и теряясь в сумятице слов и мыслей, словно среди разлетающихся снопами искр.

Он вдруг умолк.

— Вы меня не слушаете!..

Ее ресницы затрепетали, и она покраснела:

— Нет...

Затем ласковым движением протянула к нему руку, прося прощения. Он взял ее руку, повернул ладонью вверх и прижался к ней губами. Он тотчас же ощутил, как дрогнули все ее мускулы до самого плеча, и с легким смятением,— новым для него смятением,— заметил, что эта маленькая ручка не пассивно отдавалась ему, но страстно прижималась к его губам.

Однако время истекало, а ему нужно было сделать ей еще одно признание.

— Женни, сегодня я непременно должен сказать вам еще одну вещь... В прошлом году, когда умер мой отец, я отказался слушать разговоры... о деньгах... Я не хотел брать ни гроша... Вчера я изменил свое решение...

Он сделал паузу. Она опять выпрямилась, в полном недоумении и стараясь не встречаться с ним взглядом, потрясенная против воли смутными и противоречивыми мыслями, проносившимися в ее мозгу.

— Я намерен взять все эти деньги и передать их Интернационалу, чтобы они немедленно же были употреблены на борьбу против войны.

Она глубоко вздохнула. Кровь снова прилила к ее щекам. «Зачем он мне все это говорит?» — подумала она.

— Вы согласны со мной, не правда ли?

Женни инстинктивно опустила голову. С какой задней мыслью подчеркивал он так настойчиво слово «согласны»? Казалось, он предоставлял ей право контроля над его поступками...

Она неопределенно кивнула головой и робко подняла глаза. Теперь на лице ее был немой, но вполне осознанный вопрос.

— До сих пор,— продолжал он,— благодаря своим статьям я всегда мог зарабатывать себе на жизнь... на самое необходимое... Не важно, я живу среди людей, не имеющих средств; я такой, как они, и это отлично.— Он глубоко вздохнул и снова заговорил очень быстро, тоном, который от некоторого смущения казался почти ворчливым: — Если такая жизнь... скромная.... вас не пугает, Женни... то я за нас не боюсь.

Это был первый намек на их будущее, на совместное существование.

Она опять опустила голову. От волнения и надежды у нее перехватило дыхание.

Он подождал, пока она снова выпрямится и, увидев ее растерянное от счастья лицо, сказал просто:

— Спасибо.

Официантка принесла счет. Он заплатил и еще раз взглянул на часы.

— Почти без двадцати. Я даже не успею проводить вас до дому.

Женни, не ожидая его приглашения, встала.

«Он уедет,— мрачно твердила она про себя.— Где он будет завтра?.. Три дня... Три убийственных дня».

Пока он помогал ей надеть жакетку, она внезапно обернулась и пристально посмотрела на него:

— Жак... А это — не опасно? — Голос ее дрожал.

— Что именно? — спросил он, чтобы выиграть время.

Записка Ричардли всплыла в его памяти. Он не хотел ни лгать, ни волновать ее. Он сделал над собою усилие и улыбнулся.

— Опасно?.. Не думаю.

Выражение ужаса промелькнуло в глазах девушки. Но она поспешно опустила веки и почти тотчас же, в свою очередь, храбро улыбнулась.

«Она — совершенство»,— подумал он.

Без слов, прижавшись друг к другу, дошли они до станции метро.

У лестницы Жак остановился. Женни, уже спустившись с первой ступеньки, повернулась к нему. Час разлуки пробил... Он положил обе руки на плечи девушке:

— В четверг... Самое позднее — в пятницу...

Он смотрел на нее как-то странно. Он готов был сказать ей: «Ты моя... Не будем же расставаться, пойдем со мной!» Но, подумав о толпе, о возможных беспорядках, он промолвил быстро и очень тихо:

— Ступайте же... Прощайте...

Его губы дрогнули: это была уже не просто улыбка и еще не вполне поцелуй. Затем он внезапно вырвал пальцы из ее рук, бросил на нее последний долгий взгляд и убежал.

XLVII

Было еще почти светло; в теплом воздухе чувствовалось приближение грозы.

Бульвары имели совершенно необычный вид: лавочники спустили железные шторы; бо́льшая часть кафе была закрыта; оставшиеся открытыми должны были, по распоряжению полиции, все убрать с террас, чтобы стулья и столы не могли послужить материалом для баррикад и чтобы оставалось больше свободного места на случай, если бы муниципальной гвардии пришлось стрелять. Собирались толпы любопытных. Автомобили попадались все реже и реже; циркулировало лишь несколько автобусов, непрерывно дававших гудки.

На бульваре Сен-Мартен, на бульваре Маджента и в районе ВКТ наблюдалось особенное скопление народа. Огромные толпы мужчин и женщин спускались с высот Бельвиля. Рабочие в спецовках, старые и молодые, явившиеся со всех концов Парижа и предместий, собирались все более и более тесными группами. В тех местах, где фасады зданий отступали от тротуаров, у недостроенных домов, на углах улиц отряды полицейских черными роями облепляли автобусы префектуры, готовые по первому требованию везти их, куда понадобится.

Ванхеде и Митгерг ожидали Жака в одном из погребков предместья Тампль.

На площади Республики, где всякое уличное движение было прервано, стояли, не имея возможности двинуться дальше, огромные волнующиеся массы народа. Жак и его друзья попытались, работая локтями, проложить себе путь через это море людей, чтобы добраться до редакторов «Юманите», которые — Жак это знал — находились у подножия памятника, посредине площади. Но было уже невозможно выйти на свободное место, где выстраивались для участия в шествии ряды демонстрантов.

Внезапно головы заколыхались, как трава под ветром, и полсотни знамен, которых до тех пор не было видно, вознеслось над толпой. Без криков, без песен, тяжело ползя по земле, словно расправляющая свои кольца змея, процессия дрогнула и двинулась по направлению к воротам Сен-Мартен. За нею хлынула толпа, подобно потоку лавы, в несколько минут заполнила широкое

русло бульвара и, все время разбухая от притоков с боковых улиц, медленно потекла по направлению к западу.

Сжатые со всех сторон, задыхаясь от жары, Жак, Ванхеде и Митгерг шли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы их не разлучили. Волна несла их вперед, покрывала с головою своим глухим ропотом, на мгновение останавливала, чтобы затем, снова подхватив, бросить вправо или влево, к темным фасадам домов, окна которых были усеяны любопытными. Наступила темнота; электрические шары разливали над этим движущимся хаосом тусклый и какой-то трагический свет.

«Ах! — подумал Жак, опьяненный радостью и гордостью,— какое предупреждение! Целый народ поднимается против войны! Массы поняли... Массы ответили на призыв!.. Если бы Рюмель мог это видеть!»

Остановка, более длительная, чем предыдущие, пригвоздила их к перистилю театра Жимназ. Впереди раздавались какие-то крики. Казалось, там, у бульвара Пуассоньер, колонна ударилась головой о какое-то препятствие.

Прошло пять, десять минут. Жак начал терять терпение.

— Пойдем,— сказал он, взяв за руку маленького Ванхеде.

Вместе с ворчащим Митгергом они скользили в толпе, то врезаясь в отдельные группы людей, то обходя слишком неподатливые скопления, все время делая зигзаги и все-таки подвигаясь вперед.

— Контрманифестация! — сказал кто-то.— Лига патриотов заняла перекресток и преграждает нам путь!

Жак, выпустив руку альбиноса, умудрился взобраться на выступающий карниз какой-то лавки, чтобы посмотреть, в чем дело.

Знамена остановились на углу Предместья Пуассоньер, подле красного дома редакции «Матэн». Первые ряды обеих групп уже столкнулись, крича и осыпая друг друга ругательствами. Стычка происходила на небольшом пространстве, но зато была яростная: кругом виднелись только угрожающие лица и протянутые кулаки. Полиция, вкрапленная в толпу небольшими отрядами, суетилась на месте, но, казалось, склонна была предоставить все своему естественному течению. Кто-то помахал белым флагом, словно давая сигнал: патриоты запели «Марсельезу». Тогда в один голос, который все крепнул и вскоре покрыл все прочие звуки своим мощным ритмом, социалисты ответили «Интернационалом». Вдруг словно мертвая зыбь подняла и всколыхнула этот муравейник. Неожиданно появляясь справа и слева из боковых улиц, отряды блюстителей порядка под командой полицейских чинов яростно врезались в толпу, чтобы очистить перекресток. Свалка тотчас же усилилась. Пение прекратилось, затем возобновилось опять, прерываемое воплями:

«На Берлин!», «Да здравствует Франция!», «Долой войну!». Полиция, проникнув в самую гущу свалки, атаковала сторонников мира, которые стали обороняться. Раздались свистки. Поднимались руки, палки. «Сволочь!.. Дерьмо!» Жак увидел, как два полицейских набросились на демонстранта; он старался вырваться, но полицейские в конце концов бросили его, почти полумертвого, в одну из машин, стоявших по углам улиц.

Жак был в ярости оттого, что находится так далеко. Может быть, пробираясь вдоль домов, ему удалось бы добраться до перекрестка? Но он вовремя вспомнил, что ему дано поручение, что надо поспеть на поезд... Сегодня он себе не принадлежал, он не имел права поддаваться минутным порывам!

Впереди, на бульварах, раздался какой-то глухой шум. Вдали заблестели каски. Отряд конной муниципальной гвардии рысью приближался к демонстрантам.

— Они поскачут на нас!

— Спасайся, кто может!

Перепуганная толпа вокруг Жака пыталась повернуть назад. Но она была зажата, как в тисках, между приближающимся конным отрядом и гигантским хвостом процессии, который толкал ее в противоположную сторону, закрывая путь к отступлению. Примостившись на своем выступе, как на скале, омываемой волнами бурного моря, Жак уцепился за железный ставень, чтобы его не сбросила вниз эта кипящая у его ног людская волна. Он стал искать глазами своих спутников, но их не было видно. «Они знают, где я,— сказал он себе.— Если им удастся пробраться ко мне, они это сделают...— И тут же с ужасом подумал: — Какое счастье, что я не взял с собой Женни...»

У перекрестка фыркали лошади. На земле лежали сбитые с ног пешеходы. Яростные, обезумевшие лица, исцарапанные лбы появлялись и исчезали в этом водовороте.

Что же, собственно, происходит? Понять было невозможно... Теперь центр перекрестка был очищен от народа. Сторонники мира вынуждены были отступить перед двойным натиском конной и пешей полиции. Посреди улицы, усеянной палками, шляпами, всевозможными обломками, прохаживались полицейские чины с серебряными нашивками и несколько человек в штатском, видимо, из начальства. Кордон полицейских вокруг них продолжал продвигаться вперед, расширяя очищенное пространство, и вскоре полицейский заслон занял всю ширину бульвара.

Тогда, словно стадо, которое кусают за ноги собаки и оно, несколько минут беспорядочно потоптавшись на месте, бросается назад, демонстранты круто повернули и ринулись, как смерч, к Севастопольскому и Страсбургскому бульварам.

— Сбор на перекрестке Друо!

«Неосторожно будет задерживаться здесь надолго»,— подумал Жак. (Он вспомнил, что в случае ареста при нем окажется только удостоверение личности на имя Жана-Себастьена Эберле, женевского студента.)

Ему удалось выбраться по улице Отвиль. Он остановился в раздумье. Куда девались Ванхеде и Митгерг? Что ему делать? Снова вмешаться в свалку? А если он будет арестован? Или хотя бы только захвачен водоворотом, зажат между двумя заслонами, вынужден пропустить поезд?.. Который теперь час? Без пяти одиннадцать... Разум повелевал во что бы то ни стало распрощаться с демонстрацией и идти к Северному вокзалу.

Вскоре он очутился на площади Лафайет, перед церковью св. Венсан де Поля. Скверик! Женни... Ему захотелось совершить паломничество к их скамейке... Но отряд блюстителей порядка занимал лестницы.

Жак умирал от жажды. Вдруг ему вспомнилось, что совсем близко отсюда, на улице Предместья Сен-Дени, есть бар, где собираются социалисты дюнкеркской секции. У него еще было время, чтобы провести там полчаса до поезда.

Заднее помещение, где обычно собирались товарищи, пустовало. Но у стойки, вокруг официанта, разливавшего кофе,— старого члена партии,— толпилось с полдюжины посетителей; они обсуждали последние события в этом квартале, где имели место несколько серьезных столкновений. В районе Восточного вокзала полиция грубо разогнала антивоенную демонстрацию. Но она снова собралась перед зданием ВКТ, и тут начался настоящий бунт, так что полиции пришлось атаковать демонстрантов; говорят, что есть много раненых. Ближайшие полицейские участки битком набиты арестованными. Ходят слухи, что начальник городской полиции, руководивший восстановлением порядка на бульварах, получил удар ножом. Один из посетителей ресторана, пришедший из Пасси, рассказывал, будто он своими глазами видел на площади Согласия статую города Страсбурга, разукрашенную трехцветными флагами и окруженную группой членов патриотического союза молодежи, которые жгут там бенгальские огни под охраной блюстителей порядка. Другой, старый рабочий с седыми усами, которому хозяйка зашивала куртку, пострадавшую в свалке, уверял, будто группы, отколовшиеся от демонстрации на бульварах, снова соединились у Биржи и, развернув красное знамя, двинулись к Бурбонскому дворцу с криками: «Долой войну!»

— «Долой войну!» — пробурчал официант, разливавший кофе. Он видел 70-й год, был участником Парижской коммуны. Теперь

он сердито замотал головой.— Поздно уже кричать: «Долой войну!» Это то же самое, что орать: «Долой дождь!» — когда гроза уже разразилась...

Старик, который курил, щуря глаза, рассердился:

— Никогда не бывает поздно, Шарль! Видал бы ты, что творилось на площади Республики между восемью и девятью!.. Люди давились, как сельди в бочке!

— Я там был,— сказал Жак, подходя к ним.

— Ну, если ты там был, паренек, можешь подтвердить мои слова: никогда ничего подобного не бывало. А ведь я на своем веку навидался демонстраций! Я выходил на улицу, когда мы протестовали против казни Феррера: нас было сто тысяч... выходил, когда мы подняли шум из-за порядков на военной каторге и требовали освобождения Руссе; тогда тоже было не меньше ста тысяч... И уж наверное больше ста тысяч на Пре-Сен-Жерве, против закона о трехгодичной службе... Но сегодня вечером!.. Триста тысяч? Пятьсот тысяч? Миллион? Кто может знать? От Бельвиля до церкви святой Магдалины — один сплошной поток, один общий крик: «Да здравствует мир!..» Нет, ребята, такой демонстрации я еще никогда не видел, а я в этом кое-что смыслю! К счастью, полицейские были безоружны, не то при сегодняшних настроениях кровь потекла бы ручьями... Прямо скажу вам: будь мы все посмелее, сегодня весь их строй полетел бы к черту! Эх, упустили случай... Когда на площади Республики все двинулись со знаменами вперед, ей-богу, Шарль, был бы у нас во главе настоящий человек,— знаешь, куда бы все, как один, пошли за ним? В Елисейский дворец — делать революцию!

Жак смеялся от радости.

— Ну, это пока откладывается! Откладывается до завтра, дедушка!

Сияющий, отправился он на вокзал, где без труда получил билет третьего класса до Берлина.

На перроне его ожидал сюрприз: там находились Ванхеде и Митгерг. Зная, в котором часу он едет, они пришли пожать ему руку на прощанье. Ванхеде потерял шляпу; лицо у него было бледное, печальное и словно помятое. Митгерг, наоборот, красный и взбешенный, сжимал в карманах кулаки. Его арестовали, осыпали ударами, повели к полицейским машинам, и лишь в последний момент, благодаря сумятице, ему удалось скрыться. Он рассказывал о своем приключении наполовину по-французски, наполовину по-немецки, отчаянно брызгая слюной и тараща возмущенные глаза за стеклами очков.

— Не оставайтесь тут,— сказал им Жак,— незачем нам тоже привлекать к себе внимание.

Ванхеде зажал руку Жака между своими ладонями. На его словно бы безглазом лице нервно мигали бесцветные ресницы. Он прошептал ласковым и просительным тоном:

— Будьте осторожны, Боти...

Жак рассмеялся, чтобы скрыть волнение:

— В среду в Брюсселе!

В этот же самый час на улице Спонтини в своей маленькой гостиной на втором этаже стояла Анна, совсем одетая, готовая к выходу; напряженно глядя перед собой, она прижимала к щеке телефонную трубку.

Антуан уже потушил свет и собирался заснуть, прочитав предварительно все газеты. Заглушенный звонок телефона, который Леон каждый вечер ставил ему на ночной столик, заставил его подскочить.

— Ты, Тони? — прошептал издалека нежный голос.

— Ну? Что случилось?

— Ничего...

— Да нет же! Говори! — с беспокойством настаивал он.

— Ничего, уверяю тебя... Решительно ничего... Я только хотела услышать твой голос... Ты уже лег?

— Да!

— Ты спал, дорогой?

— Да... Нет, еще не спал... Почти... Правда, ничего серьезного?

Она засмеялась:

— Да нет же, Тони... Как мило, что ты так забеспокоился!.. Говорю тебе, мне хотелось услышать твой голос... Ты разве не понимаешь, что внезапно может так страшно, страшно захотеться услышать чей-то голос?..

Опершись на локоть, болезненно щурясь от света, он терпеливо ждал, всклокоченный и раздраженный.

— Тони...

— Ну?

— Ничего, ничего... Я люблю тебя, мой Тони. Мне так хотелось бы, чтобы сегодня вечером, сейчас, ты был подле меня...

На несколько секунд, показавшихся ей бесконечными, воцарилось молчание.

— Помилуй, Анна, я же тебе объяснил...

Она тотчас же прервала его:

— Да, да, я знаю, не обращай внимания... Доброй ночи, любимый!

— Доброй ночи.

Он первый повесил трубку. Этот звук отозвался во всем ее

теле. Она закрыла глаза и еще в течение целой минуты прижимала ухо к трубке, надеясь на чудо.

— Я просто идиотка,— произнесла она наконец почти вслух.

Вопреки всякому здравому смыслу, она надеялась — она была даже уверена,— что он скажет: «Иди скорее к нам... Я сейчас буду тоже».

— Идиотка!.. Идиотка!.. Идиотка!..— повторяла она, швыряя на столик сумочку, шляпу, перчатки. И внезапно простая, тайная и ужасная правда встала перед нею: она мучительно нуждалась в нем, а ему она нисколько не была нужна!

XLVIII

Около восьми часов утра Жак, всю ночь не сомкнувший глаз, вышел из вагона на вокзале в Гамме, чтобы купить немецкие газеты.

Пресса единодушно осуждала Австрию за то, что она официально объявила себя «в состоянии войны» с Сербией. Даже правые газеты, пангерманская «Пост» или «Рейнише цейтунг», орган Круппа, выражали «сожаление» по поводу резко агрессивного характера австрийской политики. Набранные жирным шрифтом заголовки возвещали о срочном возвращении кайзера и кронпринца. Как ни парадоксально, большая часть газет,— отметив, что император, едва вернувшись в Потсдам, имел длительное и важное совещание с канцлером и начальниками генеральных штабов армии и флота,— возлагала большие надежды на то, что его влияние будет содействовать сохранению мира.

Когда Жак возвратился в купе, его спутники, запасшиеся, как и он, утренними газетами, обсуждали последние новости. Их было трое: молодой пастор, чей задумчивый взгляд чаще устремлялся к открытому окну, чем к газете, лежавшей у него на коленях, седобородый старик, по всей видимости еврей, и мужчина лет пятидесяти, полный и жизнерадостный, с начисто выбритыми головой и лицом. Он улыбнулся Жаку и, приподняв развернутый номер «Берлинер тагеблатт», который держал в руках, спросил по-немецки:

— А вы тоже интересуетесь политикой? Вы, верно, иностранец?

— Швейцарец.

— Из французской Швейцарии?

— Из Женевы.

— Вы оттуда лучше видите французов, чем мы. Каждый из них в отдельности очарователен, не правда ли? Почему же как народ они так невыносимы?

Жак уклончиво улыбнулся.

Разговорчивый немец поймал на лету взгляд пастора, затем взгляд еврея и продолжал:

— Я очень часто ездил во Францию по торговым делам. У меня там много друзей. Я долго верил, что миролюбие Германии преодолеет сопротивление французов и мы в конце концов поймем друг друга. Но с этими горячими головами ничего не поделаешь: в глубине души они думают только о реванше. И это объясняет всю их теперешнюю политику.

— Если Германия так жаждет мира,— осторожно заметил Жак,— почему она не докажет это более убедительно именно сейчас и не утихомирит свою союзницу Австрию?

— Да она это и делает... Читайте газеты... Но если бы Франция, со своей стороны, не стремилась к войне, разве стала бы она поддерживать в настоящий момент русскую политику? В этом отношении весьма показательны речи Пуанкаре в Петербурге. Мир и война находятся сейчас в руках Франции. Если бы завтра Россия перестала рассчитывать на французскую армию, ей, хочешь не хочешь, пришлось бы вести переговоры в миролюбивом духе; а тогда сразу отпала бы всякая угроза войны!

Пастор согласился с этим. Старик тоже. Он в течение нескольких лет был профессором права в Страсбурге и терпеть не мог эльзасцев.

Жак любезным жестом отказался от предложенной ему сигары и, решив из осторожности не принимать участия в споре, сделал вид, будто целиком углубился в чтение своих газет.

Слово взял профессор. У него оказался весьма поверхностный и пристрастный взгляд на бисмарковскую политику после 70-го года. Он не знал,— или делал вид, что не знает,— о стремлении старого канцлера окончательно доконать Францию, нанеся ей новое военное поражение, и, казалось, желал помнить только о попытках Империи сблизиться с Республикой. Он перевел разговор в плоскость истории. Все трое были в полном согласии друг с другом. Впрочем, мысли, которые они высказывали, разделялись подавляющим большинством немцев.

Было очевидно, что, с их точки зрения, Германия вплоть до самого последнего времени только тем и занималась, что делала французскому народу самые великодушные уступки. Даже и Бисмарк дал доказательство своих миролюбивых намерений, допустив — что было несколько рискованно — быстрое возвышение побежденной нации, которому он мог так легко помешать,— стоило лишь погасить лихорадку колониальных завоеваний, охватившую французов на другой же день после устроенного им разгрома. Тройственный союз? Он никому не угрожал. Сначала это был вовсе

не военный союз, а только охранительный договор солидарности, заключенный тремя монархами, которых в равной степени беспокоило назревавшее в Европе революционное брожение. Между 1894 и 1909 годами пятнадцать лет подряд, и даже после заключения франко-русского союза, Германия искала сотрудничества с Францией для разрешения политических вопросов, в особенности — вопросов, связанных с Африкой. В 1904 и 1905 годах правительство Вильгельма II неоднократно и в духе полнейшей искренности делало конкретные предложения, которые могли бы привести к согласию. Но Франция всегда отталкивает протянутую кайзером руку! Она отвечала на самые выгодные предложения только недоверчивым и оскорбительным отказом или угрозами! Если Тройственный союз изменил свой характер, виновата в этом Франция, которая своим непонятным военным союзом с царизмом и поведением своих министров — прежде всего Делькассе — ясно показала, что ее внешняя политика направлена против Германии, что целью себе она ставит окружение центральных держав. Тройственный союз вынужден был сделаться оборонительным оружием в борьбе против успехов Тройственного согласия, ибо Тройственное согласие на глазах у всего мира превратилось в заговор завоевателей. Да, завоевателей! Это вовсе не слишком сильное выражение, его оправдывают факты: благодаря Тройственному согласию Франция смогла захватить огромную марокканскую территорию; благодаря Тройственному согласию Россия смогла организовать Лигу балканских держав, которая в один прекрасный день даст ей возможность без особого риска дойти до ворот Константинополя; благодаря Тройственному согласию Англия смогла сделать несокрушимым свое всемогущество на морях земного шара! Единственным препятствием этой политике бесстыдного империализма служит германский блок. Чтобы окончательно утвердить свою гегемонию, Тройственному согласию остается только расколоть этот блок. И вот представился удобный случай. Франция и Россия тотчас же ухватились за него. Используя возбуждение на Балканах и неосторожную политику Вены, они стремятся теперь к тому, чтобы Германия осудила Австрию, в надежде поссорить Берлин с его единственным союзником и наконец-то довести до вожделенного конца свои десятилетние старания изолировать Германию, окружив ее враждебными европейскими державами.

По крайней мере, таково было мнение пастора и еврея-профессора. Что касается толстого немца, то он полагал, что цели Тройственного согласия были еще более агрессивны: Петербург стремится уничтожить Германию, Петербург хочет войны.

— Всякий сколько-нибудь мыслящий немец,— говорил он,— поневоле мало-помалу теряет всякую надежду на мир. Мы были

свидетелями того, как Россия строила Польше стратегические железные дороги, как Франция увеличивала численность и вооружение армии, как Англия подготовляла морское соглашение с Россией. Какой иной смысл могут иметь все эти приготовления, кроме того, что Тройственное согласие хочет укрепить свое могущество военной победой над Тройственным союзом?.. Нам не избежать войны, к которой они стремятся... Если не теперь, так в тысяча девятьсот шестнадцатом, самое позднее — в тысяча девятьсот семнадцатом году...— Он улыбнулся.— Но Тройственное согласие строит себе опасные иллюзии! Германская армия готова ко всему!.. Нельзя безнаказанно затрагивать военную мощь Германии!

Старый профессор тоже улыбался. Пастор одобрительно кивнул с серьезным видом. По этому последнему пункту они находились в полнейшем горделивом согласии между собой.

В Берлине Жак бывал неоднократно.

«Выйду на станции Зоо,— подумал он.— В западной части я меньше всего рискую встретиться со старыми знакомыми».

До таинственного свидания на Потсдамерплац оставалось около двух часов, и он решил искать убежища у Карла Фонлаута, жившего как раз на Уландштрассе. Этот друг Либкнехта, надежный товарищ, на которого можно было вполне положиться, был зубным врачом, и Жак имел все шансы в этот час застать его дома.

Его провели в гостиную, где ожидали два пациента: старая дама и молодой студент. Когда Фонлаут открыл дверь, чтобы пригласить даму, он окинул Жака быстрым взглядом, ничем себя не выдав.

Прошло двадцать минут. Снова появился Фонлаут и ввел в кабинет студента. Затем он тотчас же появился опять, один.

— Ты?

Хотя он был еще молод, седая, почти совсем белая прядь прорезала его каштановые волосы. Все тот же знакомый Жаку огонь мерцал в его глубоко сидящих глазах с золотыми искорками.

— Поручение,— пробормотал Жак.— Я только что с поезда. Мне нужно ждать не менее часа. Никто не должен меня видеть.

— Я предупрежу Марту,— сказал Фонлаут, не проявляя удивления.— Пойдем.

Он провел Жака в комнату, где у окна, против света, сидела и шила женщина лет тридцати. Комната была только что прибрана. В ней находились две одинаковые кровати, стол, заваленный книгами, корзинка на полу, в которой спали сиамский кот и кош-

ка. Жаку внезапно представилась подобная же комната, дышащая миром и сосредоточенной внутренней жизнью, где бы он сам и Женни...

Не торопясь г-жа Фонлаут воткнула иголку в шитье и встала. Ощущение какой-то особенной энергии и спокойствия исходило от ее плоского лица, увенчанного белокурыми косами. Жак часто встречал ее на собраниях социалистов Берлина, куда она всегда сопровождала своего мужа.

— Оставайся, сколько пожелаешь,— сказал Фонлаут.— Я пойду работать.

— Не выпьете ли чашку кофе? — предложила молодая женщина.

Она принесла поднос и поставила его перед Жаком.

— Наливайте себе без церемоний... Вы из Женевы?

— Из Парижа.

— А! — сказала она, заинтересованная.— Либкнехт считает, что сейчас многое зависит от Франции. Он говорит, что у вас большинство пролетариата решительно против войны. И что, на ваше счастье, у вас в правительстве имеется один социалист.

— Вивиани? Это *бывший* социалист.

— Если бы Франция захотела, какой великий пример она могла бы показать всей Европе!

Жак описал ей демонстрацию на бульварах. Он без всяких усилий понимал все, что она ему говорила, но объяснялся по-немецки немного медленно.

— У нас тоже вчера дрались на улицах,— сказала она.— Около сотни раненых, шестьсот или семьсот арестованных. И нынче вечером опять начнется... Во всех кварталах. А в девять часов все соберутся у Бранденбургских ворот.

— Во Франции,— сказал Жак,— нам приходится бороться с невероятной апатией средних классов...

В комнату вошел Фонлаут. Он улыбнулся.

— В Германии тоже... Всюду апатия... Поверишь ли, что, несмотря на неминуемую опасность, никто в рейхстаге еще не потребовал созыва комиссии по иностранным делам?.. Националисты чувствуют, что их поддерживает правительство, и начали в своей прессе неслыханно яростную кампанию! Каждый день они требуют ввести осадное положение в Берлине, арестовать всех вождей оппозиции, запретить пацифистские митинги!.. Пусть себе стараются! Сила не на их стороне... Повсюду, во всех городах Германии пролетариат волнуется, протестует, угрожает... Это просто великолепно... Мы вновь переживаем октябрьские дни тысяча девятьсот двенадцатого года, когда вместе с Леденбуром и другими мы поднимали рабочие массы возгласом: «Война войне!..» Тогда прави-

тельство поняло, что война между капиталистическими державами немедленно вызовет революционное движение по всей Европе. Оно испугалось, затормозило свою политику. Мы и на этот раз одержим победу!

Жак поднялся с места.

— Ты уже собираешься уходить?

Жак ответил утвердительным кивком и попрощался с молодой женщиной.

— Война войне! — сказала она, и глаза ее заблестели.

— И на этот раз мы добьемся сохранения мира,— заявил Фонлаут, провожая Жака до передней.— Но надолго ли? Я тоже начинаю думать, что всеобщая война неизбежна и что революция не совершится, пока мы не пройдем через это...

Жак не хотел расставаться с Фонлаутом, не спросив его мнения по одному из наиболее занимавших его вопросов.

Он прервал Фонлаута:

— А есть ли у вас какие-нибудь точные данные относительно сговора между Веной и Берлином? Какую комедию разыгрывают они перед всей Европой? Что произошло за кулисами? Как по-твоему — было тут сообщничество или нет?

Фонлаут лукаво улыбнулся.

— Ах ты, француз!

— Почему француз?

— Потому что ты говоришь: «Да или нет...» То или это... У вас какая-то мания все сводить к ясным формулам! Как будто ясно выраженная мысль *заведомо* правильная!..

Жак, смущенный, в свою очередь, улыбнулся.

«В какой мере обоснована эта критика? — задавал он себе вопрос.— И в какой мере может она относиться ко мне?»

Фонлаут снова принял серьезный вид.

— Сообщничество? Как сказать... Сообщничество открытое, циничное — в этом нельзя быть уверенным. Я бы сказал: *и* да *и* нет... Конечно, в том удивлении, которое выказали наши правители в день ультиматума, была доля притворства. Но только известная доля. Говорят, что австрийский канцлер провел нашего. Так же как он провел все правительства Европы, и что наш Бетман-Гольвег просто-напросто действовал с непростительным легкомыслием. Говорят, что Берхтольд сообщил нашей Вильгельмштрассе только выхолощенное резюме ультиматума и, чтобы заблаговременно добиться от Германии поддержки австрийской политики перед правительствами других держав, обещал, что текст будет умеренным. Бетман ему поверил. Германия втянулась в эту историю крайне доверчиво и крайне неосторожно... Когда Бетман, Ягов и кайзер узнали наконец точное содержание ультиматума,—

я слышал из самых достоверных источников,— они были совершенно сражены.

— А какого числа они это узнали?

— Двадцать второго или двадцать третьего.

— В этом-то все и дело! Если двадцать второго, как меня уверяли в Париже, то Вильгельмштрассе еще успела бы оказать давление на Вену до вручения ультиматума. А она этого не сделала!

— Нет, правда, Тибо,— сказал Фонлаут,— я думаю, что Берлин был захвачен врасплох. Даже двадцать второго вечером было уже слишком поздно; слишком поздно для того, чтобы добиться от Вены изменения текста; слишком поздно для того, чтобы дезавуировать Австрию перед другими правительствами. И вот у Германии, скомпрометированной против ее воли, оставалось лишь одно средство спасти свой престиж: принять непримиримую позу, чтобы устрашить Европу и выиграть путем запугивания рискованную дипломатическую игру, в которую она, вольно или невольно, была втянута... По крайней мере, так говорят... И уверяют даже,— это тоже из очень осведомленного источника,— будто до вчерашнего дня кайзер думал, что мастерски разыграл партию, ибо был уверен, что обеспечил нейтралитет России.

— Ну нет! Уже наверное Берлин был отлично осведомлен о воинственных замыслах Петербурга!

— Как утверждают, правительство только вчера поняло, что зашло в опасный тупик... Поэтому,— добавил он, как-то молодо улыбаясь,— демонстрации, которые произойдут сегодня, имеют исключительное значение: народное предупреждение может оказать решающее влияние на правительство, которое колеблется!.. Ты придешь на Унтер-ден-Линден?

Жак отрицательно покачал головой и расстался с Фонлаутом без всяких дальнейших объяснений.

«Французская мания?..— размышлял он, спускаясь по лестнице.— Ясная мысль — верная мысль?.. Нет, не думаю, чтобы в отношении меня это было справедливо... Нет... Для меня идеи — ясные или неясные — это, увы, всегда лишь временные точки опоры... Как раз в этом моя основная слабость...»

XLIX

Ровно в шесть часов Жак входил в «Ашингер» на Потсдамерплац; это была одна из главных дешевых столовых для бедного населения, которые имеют свои филиалы в каждом квартале Берлина.

Он заметил Траутенбаха, сидящего в одиночестве за столом, на котором стояла миска с супом из овощей. Немец был, казалось, погружен в чтение газеты, сложенной вчетверо и в таком виде приставленной к графину. Но его светлые глаза внимательно следили за дверью. Он не выказал ни малейшего удивления. Молодые люди небрежно пожали друг другу руки, словно они расстались только вчера. Затем Жак уселся и заказал порцию супа.

Траутенбах был белокурый еврей, почти рыжий, атлетического сложения; слегка вьющиеся, коротко подстриженные волосы не скрывали лба, похожего на лоб барашка. Кожа у него была белая, усеянная веснушками, толстые выпуклые губы — лишь немного розовее лица.

— Я боялся, чтобы мне не прислали кого-нибудь другого,— прошептал он по-немецки.— Для такой работы швейцарцы, по-моему, мало пригодны... Ты явился как раз вовремя. Завтра было бы уже слишком поздно.— Он улыбнулся с деланной небрежностью, играя горчичницей, словно говорил о каких-то безразличных вещах.— Это операция деликатная, по крайней мере, для нас,— добавил он загадочно.— Тебе ничего не придется делать.

— Ничего? — Жак почувствовал себя задетым.

— Только то, что я тебе скажу.

И тем же приглушенным тоном, с той же легкой улыбкой, прерывая от времени до времени свою речь деланным смешком, чтобы ввести в заблуждение тех, кто, может быть, за ними следил, Траутенбах кратко объяснил ему суть предстоящего дела.

По личной склонности он специализировался в качестве тайного руководителя своего рода международной революционной разведывательной службы. И вот несколько дней тому назад он узнал, что в Берлин прибыл австрийский офицер, полковник Штольбах, которому, как предполагали, дано было тайное поручение к военному министру; имелись все основания считать, что целью этого приезда было в данный момент уточнение условий сотрудничества между генеральными штабами Австрии и Германии. У Траутенбаха возник смелый план выкрасть у полковника его бумаги, и, для того чтобы выполнить это, он обеспечил себе помощь двух соучастников-специалистов: *«Знатоки дела,*— сказал он с многозначительной улыбкой,— я за них отвечаю, как за себя самого». Последняя деталь нимало не удивила Жака. Он знал, что Траутенбах долго жил среди берлинских социальных подонков и сохранил в этой подозрительной среде связи, которые уже не раз использовал в интересах дела.

Сегодня вечером Штольбах должен был в последний раз встретиться с министром. В отеле, где он остановился, он объявил, что сегодня ночью возвращается в Вену. Следовательно, нельзя было

терять времени: бумаги надо было захватить в промежуток между моментом, когда Штольбах выйдет из министерства, и моментом, когда он сядет в поезд.

Разумеется, Жак не должен был принимать никакого участия в этой краже. (И он вынужден был признаться себе, что его это даже обрадовало.) Его роль сводилась к тому, чтобы получить бумаги, немедленно вывезти их из Германии и передать Мейнестрелю, с которым Траутенбах уже в течение нескольких лет поддерживал личную связь. Пилот же либо передаст эти документы руководителям Интернационала, которые соберутся завтра в Брюсселе, либо нет,— в зависимости от их важности. Поэтому Жак должен был заранее запастись билетом в Бельгию и находиться вечером, начиная с десяти часов, на вокзале Фридрихштрассе, в зале для пассажиров третьего класса; ему следовало улечься там на скамейку и сделать вид, что он крепко спит. Пакет, завернутый в газету, будет незаметно положен у его изголовья пассажиром, который тотчас же исчезнет, не сказав ему ни слова. Эти последние указания были повторены дважды.

— Выпьем еще по стакану пива,— сказал затем Траутенбах,— и разойдемся.

Жак слушал молча. Он испытывал некоторое смущение. Это похищение документов — как бы оно ни было полезно — ему совсем не нравилось. Принимая поручение, он не думал, что будет замешан в такого рода предприятие. Сперва он было обрадовался тому, что от него требуется такая несущественная помощь. Но в то же время он ощутил некоторое разочарование и даже обиду оттого, что вся его деятельность сведется к пассивной роли укрывателя и передатчика...

Прежде чем расстаться с Траутенбахом, он задал ему тот же вопрос, что и Фонлауту: имеет ли место, по его мнению, сговор между австрийским и германским правительствами?

— Соглашение между Берхтольдом и Бетманом? Не знаю, право... Но что вполне возможно, так это сговор между австрийским генеральным штабом и нашим. Возможно даже, что нашего канцлера обвели вокруг пальца и австрийский министр, и наш генеральный штаб одновременно.

— Эх,— сказал Жак,— если бы получить доказательства, что немецкая военная партия с самого начала стакнулась с австрийским генеральным штабом!.. Если бы можно было с полным правом утверждать, что германская политика приняла свое теперешнее направление благодаря тайным происка ваших генералов, что благодаря им Германия старается уклониться от английских предложений об арбитраже!.. (Чтобы оправдать в собственных глазах свое участие в похищении бумаг, он бессознательно стремился

убедить себя в том, что эти документы могут оказать общему делу какую-то исключительную помощь.)

— Я тоже думаю, что это может иметь серьезнейшие последствия... Даже самый патриотически настроенный из наших социалистических вождей без колебаний восстал бы против правительства. Вот почему нам важно сунуть свой нос в бумажонки полковника!.. Сиди,— добавил Траутенбах, вставая.— Я ухожу первый. В половине одиннадцатого — на вокзале. А пока будь осторожен, избегай участия в сборищах. Улицы кишат полицейскими...

Угроза демонстраций, предполагавшихся в этот вечер, не помешала военному министру довести до конца последнюю длинную и решающую беседу, которую он пожелал иметь с официальным посланцем австрийского генерального штаба полковником графом Штольбах фон Блюменфельд.

Аудиенция, протекавшая в исключительно сердечной атмосфере, окончилась около четверти десятого. Его высокопревосходительство был даже настолько любезен, что проводил посетителя до площадки парадной лестницы. Там в присутствии служителей, стоящих на своих постах, и дежурного адъютанта министр протянул руку полковнику, который с низким поклоном пожал ее. Оба были в штатском. У них были усталые, озабоченные лица. Они обменялись взглядом, полным невысказанных намеков. Затем, зажав под мышкой тяжелый желтый портфель, полковник, предшествуемый адъютантом, начал спускаться по широким ступеням, покрытым красным ковром. Дойдя до последней ступеньки, он обернулся. Его высокопревосходительство простер свою любезность до того, что проводил его взглядом и дружески кивнул ему на прощание.

Во дворе его ожидала министерская машина. Покуда Штольбах закуривал сигару и устраивался в глубине автомобиля, адъютант, наклонившись к шоферу, объяснял ему, как надо ехать, чтобы избежать встреч с демонстрациями и без всяких инцидентов довезти полковника до отеля на Курфюрстендамм, в котором он остановился.

Ночь была теплая. Прошел дождь, но после короткого и сильного ливня атмосфера не освежилась, на улицах было парно, как в бане. В предвидении возможных беспорядков свет в магазинах погасили; и хотя еще не было десяти часов, Берлин уже имел тот торжественный, мрачный вид, который он обычно принимал лишь поздно ночью. Взгляд полковника рассеянно блуждал вдоль широких проспектов столицы. Он с удовлетворением думал о практических результатах своей поездки и о докладе, который сделает завтра в Вене генералу фон Гетцендорфу. Садясь в автомобиль, он

машинально положил портфель на сиденье подле себя. Теперь же, спохватившись, он взял его в руки и переложил к себе на колени. Это был отличный новый портфель рыжеватой кожи с никелированной застежкой, портфель обычного типа, но высокого качества и вполне достойный переступить вместе с ним порог министерского кабинета; прибыв в Берлин, он купил его в магазине кожевенных товаров на Курфюрстендамм, имея в виду взятую на себя миссию.

Когда машина остановилась перед отелем, швейцар выбежал навстречу полковнику и с поклонами провел его к дверям в холл. Штольбах остановился у конторки и велел принести в свой номер легкий ужин, а также приготовить счет, так как он намеревался выехать из Берлина ночным скорым. Затем быстрым, несмотря на свою плотную фигуру, шагом он прошел к лифту и велел поднять себя на второй этаж.

В огромном коридоре, ярко освещенном и пустынном, на скамейке у двери в людскую сидел какой-то служитель. Штольбах его раньше не видел,— вероятно, он заменял коридорного. Человек тотчас же встал и, опередив полковника, открыл перед ним дверь в его апартаменты, повернул выключатель и опустил деревянную штору. Номер представлял собой комнату в два окна, с высоким потолком, оклеенную черными с золотом обоями; она сообщалась с туалетной комнатой, выложенной голубыми изразцами.

— Господину полковнику что-нибудь понадобится?

— Нет. Чемодан уже уложен. Я хотел бы только принять ванну.

— Господин полковник уезжает сегодня ночью?

— Да.

Равнодушный взгляд лакея скользнул по портфелю, который полковник, войдя в комнату, положил на стул у двери. Затем, покуда Штольбах, бросив шляпу на кровать, вытирал носовым платком пот со своего гладкого затылка, слуга прошел в ванную и открыл краны. Когда он возвратился в комнату, чрезвычайный уполномоченный австрийского генерального штаба стоял в сиреневых шелковых кальсонах и в носках. Лакей поднял с ковра запыленные ботинки.

— Сию минуту я принесу их обратно,— сказал он, выходя из комнаты.

Ванную комнату отделяла от людской только тонкая перегородка. Лакей приложил ухо к стене и прислушался, протирая ботинки шерстяной тряпкой. Он улыбнулся, услышав, как грузное тело полковника с громким плеском погрузилось в ванну. Затем вынул из стенного шкафчика прекрасный новый портфель рыжей кожи с никелированной застежкой, набитый старыми бумагами;

завернул его в газету, сунул под мышку и, взяв в одну руку ботинки, подошел к дверям номера и постучал.

— Войдите! — крикнул Штольбах.

«Сорвалось»,— тотчас же сказал себе слуга. Действительно, полковник оставил дверь ванной комнаты широко открытой, и из номера была хорошо видна часть ванны, из которой торчал розовый лысый череп.

Не пытаясь ничего предпринять, слуга поставил ботинки на пол и вышел со своим пакетом из номера.

Полковник, погруженный до подбородка в теплую воду, с наслаждением плескался в ванне, как вдруг потух свет. И комната и ванная одновременно погрузились во мрак. Несколько минут Штольбах терпеливо ждал. Видя, что тока не дают, он стал ощупывать стену, нашел звонок и яростно надавил кнопку.

Во мраке комнаты раздался голос лакея:

— Господин полковник изволили звонить?

— Что там произошло? В отеле испортилось электричество?

— Нет. Людская освещена... Наверно, в номере перегорела пробка. Сейчас поправлю... Сию минутку будет свет.

Прошло некоторое время.

— Ну?

— Прошу прощения у господина полковника... Я ищу предохранитель. Я думал, он тут, подле двери...

Полковник высунул голову из воды и таращил глаза в сторону погруженной во мрак комнаты, откуда до него доносилась возня слуги.

— Не нахожу,— снова раздался голос из темноты.— Прошу прощения у господина полковника... Я посмотрю снаружи. Предохранитель, наверно, в коридоре...

Слуга быстро вышел из комнаты, побежал в людскую, спрятал в укромном месте портфель полковника и поспешно дал ток.

Через три четверти часа, когда полковник граф Штольбах фон Блюменфельд был уже старательно вытерт мохнатым полотенцем, надушен, одет, когда он уже выпил чай, съел ветчину, фрукты и зажег сигару, он взглянул на часы, и хотя было еще рано,— полковник не любил торопиться,— позвонил в контору, чтобы прислали за его чемоданом.

— Нет, это я возьму сам,— сказал он человеку, пришедшему за багажом, когда тот хотел было взять желтый портфель, лежавший на стуле у дверей.

Он взял портфель из рук слуги, проверил беглым взглядом, заперта ли застежка, с важностью сунул его под мышку и вышел из номера, убедившись предварительно, что ничего не забыл,— он всегда любил порядок.

Прежде чем спуститься вниз, он стал искать коридорного, чтобы дать ему на чай. Коридор был пуст. Он толкнул дверь в людскую. Никого нет, слуги нигде не видно.

— Тем хуже для этого дурака,— пробурчал полковник. И отправился на вокзал, чтобы сесть в венский экспресс.

Почти в тот же самый час женевский студент Эберле (Жан-Себастьен) садился на вокзале Фридрихштрассе в поезд, отходящий в Брюссель. С ним не было никакого багажа — только пакет, похожий на завернутую в бумагу толстую книгу. У Траутенбаха хватило времени взломать замочек, завернуть документы в газету, перевязать их бечевкой и уничтожить красивый портфель рыжеватой кожи, который мог послужить уликой.

«Если бы меня захватили на германской территории с этим пакетом под мышкой...» — говорил себе Жак. Но он находил смехотворным, что в этом состоял весь риск его «миссии», и потешался над собой, закрывая глаза на опасность. «Стоило из-за таких пустяков волновать Женни!» — с возмущением думал он.

Все же в дороге он прошел в уборную, вскрыл пакет и рассовал бумаги, как мог, по карманам и за подкладку, чтобы избежать расспросов со стороны таможенных чиновников. В порядке дополнительной предосторожности он вышел на одной из последних немецких станций и купил ящик с сигарами, чтобы у него нашлось что предъявить на границе.

Несмотря на это, во время таможенного осмотра он пережил несколько неприятных минут. И только получив полную уверенность в том, что поезд наконец-то мчится по бельгийским рельсам, он заметил, что весь покрыт потом. Он забился в свой угол, скрестил руки на тщательно застегнутом пиджаке и с наслаждением погрузился в сон.

L

Весь шестиэтажный Народный дом в Брюсселе гудел сверху донизу, как гнездо шершней. С утра Международное бюро Социалистического Интернационала собралось на чрезвычайное заседание. Эта настойчивая попытка дать отпор империалистической политике правительств собрала в бельгийской столице не только всех вождей социалистических партий Европы, но и значительное количество активистов, съехавшихся отовсюду и решивших придать международное значение митингу протеста, который должен был состояться сегодня, в среду вечером, в цирке.

На деньги, которые Мейнестрель смог предоставить в распоряжение группы (никто никогда не узнал, из каких источников Пилот и Ричардли пополняли секретные фонды «Локаля»), около десятка ее членов прибыло в Брюссель. Местом своих собраний они избрали «Таверну Льва», ресторанчик на улице Рынка, близ бульвара Ансбах.

Там Жак и встретился со своими друзьями и передал Мейнестрелю пакет с документами Штольбаха. (Пилот тотчас же ушел в гостиницу и заперся у себя в номере для предварительного осмотра добычи. Жак должен был зайти к нему немного позже.)

Появление Жака встречено было радостными восклицаниями. Кийёф, первым заметивший его, тотчас же возвысил голос:

— Тибо! Какая приятная встреча!.. Ну, как дела? Становится жарковато?

Здесь были все завсегдатаи «Локаля»: Мейнестрель с Альфредой, Ричардли, Патерсон, Митгерг, Ванхеде, Перинэ, аптекарь Сафрио, и Сергей Павлович Желявский, и пузатенький папаша Буассони, и «азиатский философ» Скада, даже молоденькая Эмилия Картье, розовая и белокурая, в косынке сестры милосердия; Кийёф всю дорогу в Брюссель пытался заставить ее снять косынку «из-за жары».

Жак улыбался, пожимал протянутые руки, счастливый,— счастливее, чем мог подумать сам,— что внезапно вновь обрел в этом бельгийском ресторанчике дружественную атмосферу женевских сборищ.

— Ну что? — сказал Кийёф, полагавший, что Жак приехал из Франции.— Вчера они все-таки оправдали твою госпожу Кайо... Что будешь пить? Ты тоже любитель их пива? (Что касается его самого, то он презирал это «пойло для северян» и оставался верен сухому вермуту.)

Шумная веселость Кийёфа служила прекрасным выражением того более или менее общего всем оптимизма, который еще царил в течение последних дней в Женеве; дискуссии в «Говорильне», где Мейнестрель стал теперь появляться реже, не выходили за рамки отвлеченных умствований на темы интернационализма. И различные проявления пацифизма по всей Европе отмечались там с энтузиазмом, которого не могли поколебать даже самые неутешительные новости. Приезд группы в Брюссель, первые встречи с другими европейскими делегациями, присутствие официальных вождей — весь торжественный характер этого единения против войны являлся для большинства из них доказательством международной солидарности, активной и уверенной в победе. Правда, утренние телеграммы известили об объявлении Австрией войны Сербии и даже об обстреле Белграда, начатом минувшей ночью.

Но они легко дали себя убедить, основываясь на австрийской ноте, что несколько снарядов попало лишь в белградскую крепость и что этот обстрел не имеет существенного значения: это только предупреждение, скорее символическая демонстрация, чем прелюдия к настоящим военным действиям.

Перинэ усадил Жака рядом с собою. Он провел все утро в баре «Атлантик», где собиралась французская делегация, и принес оттуда отголоски последних парижских новостей. Он рассказывал, что накануне социалистическая фракция палаты, во главе с Жоресом и Жюлем Гедом, имела на Кэ-д'Орсе длительную беседу с заместителем министра. В результате этого визита депутаты-социалисты опубликовали декларацию, в которой они совершенно твердо заявляли, что *«только Франция может распоряжаться судьбами Франции»* и что ни при каких обстоятельствах страна не может быть *«ввергнута в чудовищный конфликт по причине тайных договоров, которые всегда истолковываются более или менее произвольно»;* потому они требовали *«в кратчайший срок созыва палаты, несмотря на парламентские каникулы»*. Итак, французские социалисты намеревались вести борьбу на парламентской почве. На Перинэ произвели самое благоприятное впечатление воодушевление, спокойствие и непоколебимая надежда, которыми полны были члены делегации. Жорес даже больше, чем другие, проявлял упорную веру в благополучный исход. С гордостью цитировали его последние словечки. Многие слышали, как он говорил Вандервельде: «Увидите, это будет как во времена Агадира. То лучше, то хуже, но *нет ни малейшего сомнения, что все уладится»*. Передавали также, как пикантное доказательство его оптимизма, что патрон, у которого после завтрака выдался свободный часок, спокойно отправился смотреть в музее картины Ван-Эйков.

— Я его видел,— говорил Перинэ,— и уверяю вас, что он совсем не похож на отчаявшегося человека! Он прошел мимо меня совсем близко со своим тяжелым портфелем, который оттягивал ему плечо, в своей круглой соломенной шляпе, в своем черном пиджаке... Он шел под руку с каким-то незнакомым мне типом. Потом я узнал, что это немец Гаазе... Так вот, слушайте... Как раз в тот момент, когда они проходили мимо моего столика, немец остановился, и я услышал, как он с сильным акцентом сказал по-французски: «Кайзер не хочет войны. Не хочет. Он слишком страшится возможных последствий!» Тогда Жорес повернул голову и, сверкая глазами, с улыбкой ответил: «Ну что ж, сделайте так, чтобы кайзер оказал энергичное давление на австрийцев. А уж мы, во Франции, *сумеем заставить наше правительство воздействовать на русских!»* Совсем рядом с моим столиком... Я слышал их обоих так, как вы слышите меня.

— Воздействовать на русских... Это было бы как раз вовремя! — пробормотал Ричардли.

Жак встретился с ним взглядом, и у него появилось ощущение, что Ричардли,— который в данном случае отражал, наверное, образ мыслей Мейнестреля,— весьма далек от того, чтобы разделять общий оптимизм. Это впечатление было тотчас же подкреплено самим Ричардли, ибо, наклонившись в сторону Жака, он тихо добавил вопросительным тоном:

— Невольно задаешь себе вопрос: а вдруг Франция, а вдруг те, кто управляет Францией, согласившись на то, чтобы Россия объявила мобилизацию, и на то, чтобы Россия ответила на австрийскую провокацию провокацией и на германский ультиматум пренебрежительным молчанием, тем самым уже *дали согласие на войну!*

— Да ведь мобилизация в России только *частичная*,— заметил Жак не слишком уверенным тоном.

— *Частичная?* А какая разница между такой мобилизацией и *всеобщей,* но только временно маскируемой?

Внезапно раздался резкий голос Митгерга, сидевшего на скамейке в глубине комнаты рядом с Харьковским и Ричардли:

— Россия? Она проводит настоящую мобилизацию, будьте уверены! Россия в полной власти царистского *Militarismus*! И все правительства Европы точно так же находятся сейчас в плену реакционных сил! В плену такого режима, такой системы, которая по природе своей нуждается в войнах. Вот как, *Camm'rad!* Освобождение славян? Предлог! Царизм только и делал, что угнетал славян. В Польше он их раздавил! В Болгарии он сделал вид, что помогает им освободиться, для того чтобы легче было держать их в угнетении! А правда заключается в том, что здесь возобновляется старая борьба между русским *Militarismus* и *Militarismus* Австро-Венгрии!

За соседним столиком Буассони, Кийёф, Патерсон и Сафрио завели бесконечный спор о намерениях Берлина, которые становятся все более и более неясными. Почему кайзер, по-прежнему твердя о своем миролюбии, упорно отказывается выступить в качестве посредника, тогда как более или менее твердого совета с его стороны было бы достаточно, чтобы Франц-Иосиф удовольствовался дипломатическим успехом, и без того уже блестящим? Германия вовсе не заинтересована в том, чтобы австрийские войска захватили Сербию. Зачем же подвергать Германию и всю Европу такому риску, если, как утверждают социал-демократы, Берлин не желает войны?.. Патерсон заметил, что в поведении Великобритании тоже не так-то легко разобраться.

— Теперь все внимание Европы обратится на Англию,— сентенциозно произнес Буассони.— Объявление войны Австрией де-

лает невозможными двусторонние переговоры между Петербургом и Веной, их сношения смогут поддерживаться лишь через Лондон. Роль англичан как посредников приобретает, таким образом, особую важность.

Патерсон, который уже успел повидаться в Брюсселе со своими соотечественниками-социалистами, утверждал, что среди английской делегации вызвал большое беспокойство слух, исходящий из министерства иностранных дел: будто бы влиятельные лица из окружения Грея, опасаясь, что постоянные заявления о нейтралитете могут косвенным образом содействовать воинственным планам центральных держав, убеждают министра принять наконец определенное решение; или хотя бы предупредить Германию, что если английский нейтралитет в случае *австро-русского* конфликта сам собою подразумевается, то в случае *франко-германской* войны дело будет обстоять иначе. Английские социалисты, верные идее нейтралитета, опасались, как бы Грей не уступил этому нажиму, тем более что в настоящий момент подобная декларация не вызвала бы в английском общественном мнении такого отрицательного отношения, как на прошлой неделе. Действительно, неслыханная суровость ультиматума и упорство Австрии в стремлении напасть на Сербию возбудили по ту сторону Ла-Манша всеобщее негодование против Вены.

Жак, усталый после поездки, довольно рассеянно слушал все эти споры. Удовольствие, которое он испытывал, увидев снова дружеские лица, рассеивалось скорее, чем он того желал.

Он встал и подошел к столику, где маленький Ванхеде, Желявский и Скада вполголоса разговаривали между собой.

— В настоящее время,— пищал альбинос своим тонким, как флейта, голоском,— люди живут друг подле друга, но каждый для себя, без всякого сочувствия к живущему рядом... Вот это-то и нужно изменить, Сергей... И раньше всего — в человеческих сердцах... Братство — это такая вещь, которую не установишь извне, по закону...— На мгновенье он улыбнулся каким-то незримым ангелам, затем продолжал: — Без этого ты, пожалуй, сможешь осуществить какую-то *социалистическую систему*. Но осуществить *социализм* — никогда; ты даже не положишь ему начала!

Он не видел, что к ним подошел Жак. Внезапно заметив его, он покраснел и замолчал.

Скада положил подле своей кружки с пивом несколько растрепанных томиков. (Его карманы всегда бывали набиты журналами и книгами.) Жак рассеянно пробежал глазами заглавия: Эпиктет... Сочинения Бакунина, т. IV... Элизе́ Реклю: «Анархия и церковь»...

Скада наклонился к Желявскому. За стеклами его очков тол-

щиной в полсантиметра его ненормально увеличенные, похожие на шарики глаза выпирали, как два крутых яйца.

— А я вот не чувствую никакого нетерпения,— объяснил он, приятно улыбаясь и расчесывая пальцами с методичностью маньяка свои густые курчавые волосы.— Мне революция нужна не для себя. Через двадцать лет, через тридцать, может быть, через пятьдесят, но *она будет!* Я это знаю! И этого мне довольно, чтобы жить, чтобы действовать...

В глубине зала снова заговорил Ричардли. Жак навострил ухо. В пророческих высказываниях Ричардли он старался распознать мысли Пилота.

— Война заставит государства покрывать пассив своего баланса девальвацией. Она ускорит их банкротство. И тем самым разорит мелких держателей. Она очень скоро вызовет всеобщую нищету. Она восстановит против капиталистического строя целую кучу новых жертв, и они придут к нам. Она вытеснит ав-то-ма-ти-че-ски...

Митерг перебил его. Буассони, Кийёф, Перинэ — все заговорили разом.

Жак перестал слушать. «Я ли изменился,— спросил он себя,— или они?..— Он плохо разбирался в причинах своего смущения.— Угроза войны застала нашу группу врасплох... разбила ее на части... Каждый реагирует по-своему, сообразно своему темпераменту... Стремление к действию? Да, всеобщее, яростное стремление, но никому из нас не удается его удовлетворить... Наша группа оказалась изолированной, удаленной от центра, без опоры в окружении, без дисциплины... Кто в этом виноват? Может быть, Мейнестрель... Мейнестрель меня ждет»,— сказал он себе, взглянув на часы.

Он подошел к Альфреде, сидевшей рядом с Патерсоном.

— На каком трамвае я могу доехать до твоей гостиницы?

— Пойдем,— сказал, вставая, Патерсон.— Мы с Фредой тебя немного проводим.

У него как раз было назначено свидание с одним английским социалистом, другом Кейр-Харди. Он взял Жака под руку — Альфреда пошла за ними — и увлек его за двери «Таверны». Он казался сильно возбужденным. Друг Кейр-Харди, лондонский журналист, говорил с ним о материале, который нужно будет собрать в Ирландии для одной партийной газеты. Если дело будет решено, Пату завтра же предстоит отправиться в Англию. Эта перспектива чрезвычайно его волновала: он жил уже пять лет на континенте и за это время ни разу не переезжал через *Channel* [1].

---

[1] Точнее: Englich channel (Английский канал) — английское название Ла-Манша.

Солнце невыносимо пекло. Мостовая была раскалена. Ни малейшее дуновение ветерка не облегчало знойного оцепенения, навалившегося на город. Без пиджака, с неизменной трубкой в зубах, с фуражкой на голове, в рубахе с расстегнутым воротом, в старых фланелевых брюках на длинных ногах, Патерсон более чем когда-либо походил на путешествующего оксфордского студента.

Альфреда шагала рядом. Ее полинявшее платье из голубой бумажной материи обрело нежный оттенок цветущего льна. Черная челка, сморщенный носик, большие кукольные глаза, скромное выражение лица, как у примерной девочки, болтающиеся на ходу руки придавали ей вид подростка. Она слушала, как обычно, не говоря ни слова. Но под конец все же спросила с легкой дрожью в голосе:

— А если поедешь, когда ты вернешься в Женеву?

Лицо англичанина омрачилось:

— Не знаю.

Она слегка поколебалась, подняла на него глаза и, тотчас же опустив веки быстрым движением, от которого на щеках ее дрогнула тень ресниц, прошептала:

— А ты вернешься, Пат?

— Да,— с живостью ответил он. Выпустив руку Жака, он подошел к молодой женщине и дружески положил ей на плечо свою большую руку.— Да, дорогая. Не со-мне-вай-ся!

Некоторое время они шли молча.

Патерсон вынул изо рта трубку и, не замедляя шага, немного откинув голову, стал рассматривать Жака пристально, как рассматривают какую-нибудь вещь:

— Я думаю о твоем портрете, Тибо... Еще два сеанса... два крошечных сеанса, и я бы его закончил... Чертовски не везет этому полотну, друг! — Он залился своим юношеским смехом. Потом,— в это время они как раз проходили через перекресток,— обернулся к Жаку и мальчишеским жестом указал ему низенький домик на углу переулка.— Смотри внимательно: вон там живет юный Уильям Стенли Патерсон. У меня большая *bedroom*[1]. Если хочешь, друг, за пачку табаку я тебе уступлю половину.

Жак еще не снял комнату. Он улыбнулся:

— Согласен.

— Второй этаж, открытое окно... Комната номер два. Запомнишь?

Альфреда, подняв глаза и не двигаясь, смотрела на окно Патерсона.

---

[1] Спальня *(англ.)*.

— Теперь нам надо расстаться,— сказал англичанин Жаку.— Видишь вокзал? Улица, где живет Пилот, сейчас же за ним.

— Ты ведь меня проводишь? — спросил Жак у молодой женщины, полагая, что она отправится к себе домой вместе с ним.

Она вздрогнула и посмотрела на него. Ее зрачки расширились, полные какой-то взволнованной нерешительности.

На секунду воцарилось молчание.

— Нет. Теперь ты пойдешь один,— небрежно произнес англичанин.— Прощай, друг.

LI

В течение двух последних недель Мейнестрель повторял «война войне» с тем же пылом, что и другие его товарищи по «Локалю». Но ничто не могло поколебать его уверенности в том, что никакие мероприятия Интернационала против войны не смогут ее предотвратить.

— Война нужна для того, чтобы возникла наконец настоящая революционная ситуация,— говорил он Альфреде.— Никто, разумеется, не может сказать, произойдет ли революция в результате этой ситуации, или же в результате следующей войны, или из-за какого-либо иного кризиса. Это зависит от самых разнообразных обстоятельств... В большой мере зависит и от «первых побед». Кто вначале будет иметь преимущество? Германцы или франко-русские войска? Предугадать невозможно... Для нас вопрос заключается не в этом. В данный момент для нас тактика состоит в том, чтобы действовать так, *как если бы* мы были уверены, что вскоре сможем превратить империалистическую войну в пролетарскую революцию... Всеми средствами обострять нынешнюю предреволюционную обстановку, то есть: объединить усилия всех пацифистски настроенных элементов, откуда бы они ни исходили, и всячески развивать агитационную работу! Вызвать как можно больше волнений! В максимальной степени мешать правительствам проводить их планы.— А про себя он думал: «При условии все же, чтобы не бить дальше цели; чтобы избежать слишком успешных действий, которые рисковали бы отсрочить войну...»

Приехав в Брюссель, Мейнестрель нарочно остановился подальше от «Таверны». Он поселился за Южным вокзалом в маленьком домике, скрытом в глубине двора.

Проведя два часа у себя в комнате перед документами Штольбаха, он уже не сомневался в сговоре между генеральными штабами обеих германских держав: доказательства, неопровержи-

мые доказательства находились тут, в его руках!.. Добыча, привезенная Жаком, состояла почти целиком из заметок, которые Штольбах делал день за днем в Берлине, во время своих бесед с руководителями генерального штаба и военного министерства; эти заметки, по-видимому, служили ему материалом для тех донесений, которые он посылал в Вену после каждой беседы. Заметки Штольбаха не только проливали яркий свет на состояние переговоров между обоими генеральными штабами в настоящий момент, но, благодаря многочисленным намекам на обстоятельства недавнего прошлого, уточняли всю историю переговоров между Веной и Берлином на протяжении последних недель. Эти ретроспективные разоблачения представляли значительный интерес: они подтверждали подозрения, возникшие у венского социалиста Хозмера, о которых, по его поручению, Бем и Жак сообщили Мейнестрелю в Женеве 12 июля. Они позволяли также восстановить все факты в их последовательности.

Не прошло и нескольких дней после сараевского убийства, как Брехтольд с Гетцендорфом стали направлять все усилия на то, чтобы убедить старого императора воспользоваться обстоятельствами, немедленно объявить мобилизацию и раздавить Сербию силой оружия. Но Франц-Иосиф оказался несговорчивым: он возражал, что военное выступление Австрии натолкнулось бы на вето со стороны кайзера. («Ага,— сказал себе Мейнестрель,— это доказывает, между прочим, что он уже тогда очень ясно представлял себе возможность русского вмешательства и угрозу всеобщей войны!..») Чтобы преодолеть сопротивление своего государя, Берхтольд возымел смелую мысль отправить в Берлин начальника своей собственной канцелярии, Александра Гойоша, с поручением добиться согласия Германии. Как и следовало ожидать, Гойош сперва натолкнулся на отказ кайзера и канцлера, которые действительно опасались реакции со стороны России и вовсе не желали, чтобы Австрия вовлекла их в европейскую войну. Тогдато на сцену и выступила прусская военная партия. В ней Гойош обрел вполне готового к действию, очень могущественного союзника. Германский генеральный штаб уже с февраля 1913 года отдавал себе полный отчет в опасности со стороны славянских государств и в махинациях, которые Россия и Сербия затевали против Австрии, а следовательно, и против Германии. Он подозревал даже, что Петербург в сообщничестве с Белградом принял более или менее косвенное участие в сараевском убийстве. Но германские генералы считали аксиомой, что Россия ни в коем случае не согласится на немедленную войну и что она не даст вовлечь себя в какую-нибудь авантюру раньше чем через два года, то есть пока она не завершит программу вооружений. Подстрекаемые Гойошем,

руководители германской армии в конце концов убедили Вильгельма II и Бетмана, что при нынешнем положении в Европе непримиримость России вряд ли может вызвать всеобщий конфликт и что тут представляется совершенно неожиданная и блистательная возможность укрепить германский престиж. И вот Гойош добился того, что у Австрии оказались развязаны руки, и привез в Вену обещание со стороны Германии решительно поддержать свою союзницу во всех ее требованиях. Это наконец объяснило загадочную политику Австрии в последние недели. А кроме того, это доказывало, что с данного момента кайзер и его окружение внутренне более или менее согласились если не с неизбежностью, то, во всяком случае, с возможностью всеобщей войны.

«Счастье, что я один сунул сюда свой нос,— тотчас же сказал себе Мейнестрель— Подумать только, что я чуть было не позвал на помощь Жака или Ричардли!»

Он стоял, склонившись над кроватью, на которой, за неимением другого места, разложил документы — мелкими, наспех подобранными пачками. Он взял заметки, отложенные направо и относившиеся в основном к событиям начала июля, сунул в конверт и запечатал его, предварительно пометив: «№ 1».

Потом пододвинул стул и уселся.

«А теперь просмотрим-ка еще раз вот это,— решил он, потянув к себе заметки, сложенные слева.— Это все миссия нашего друга Штольбаха... В этом пакете австрийские военные планы: стратегия, технические детали. Не моя область. Положим в конверт номер два... Так... Но меня интересует остальное... Заметки датированы. Таким образом, легко восстановить последовательность, в которой велись собеседования... Цель его миссии? В общем: ускорить германскую *мобилизацию*... Вот первые листки... Приезд в Берлин, встреча с Мольтке... И так далее... Полковник настаивает, чтобы германский генеральный штаб ускорил подготовку к войне... Но ему отвечают: «Невозможно, канцлер против, а его поддерживает кайзер!» Вот как! Что же означает эта оппозиция со стороны Бетмана?.. Он заявляет: «Слишком рано!» Каковы же его доводы? Во-первых, причины внутриполитического порядка: он мечет громы и молнии против народных демонстраций, нападок со стороны «Форвертс» и так далее... Ага! В сущности, он очень встревожен энергичным противодействием социал-демократии!.. Во-вторых, причины внешнеполитические: прежде всего надо обеспечить Германии одобрение нейтральных стран, в первую голову — Англии... Затем подождать, пока угроза со стороны России усилится: ибо в тот день, когда пред лицом имперского правительства будет стоять «откровенно агрессивная Рос-

сия», оно сможет убедить и германских социалистов, и Европу, что для Германии речь идет о «законной защите», что она против воли вынуждена объявить мобилизацию из «простой предосторожности»... Ну конечно! Неумолимая логика!.. Какую же тактику применяют Штольбах и германские генералы, чтобы принудить милейшего Бетмана согласиться?.. Из всех этих заметок ясно становится, как зародилась их комбинация... Надо, значит, без промедления вынудить Россию к какой-нибудь акции, которую можно было бы рассматривать как *враждебную*. «Например, заставить ее объявить мобилизацию»,— подсказывает Штольбах 25-го вечером. На что ему отвечают: «Правильно. Но для этого есть лишь одно хорошее средство, единственное, и оно зависит от Австрии: *австрийская мобилизация...*» Они не такие дураки, какими кажутся, эти генералы! Они очень хорошо поняли, что если бы Франц-Иосиф объявил мобилизацию всей своей армии (а это, отмечает Штольбах, «явилось бы угрозой не только по адресу маленькой Сербии, но и по адресу великой России»), царь неизбежно вынужден был бы ответить *всеобщей мобилизацией*. А перед лицом такого факта, как *всеобщая* русская мобилизация, кайзер уже не смог бы уклониться от приказа о мобилизации и со своей стороны. И канцлеру нечего было бы возразить, ибо германская мобилизация, как прямое следствие угрозы русского нашествия, может быть оправдана перед всеми — и за рубежом и внутри страны, перед европейским общественным мнением и перед общественным мнением Германии, уже и без того сильно возбужденным против России; она может быть оправдана даже перед социал-демократами... И это очень верно. Зюдекум с присными на всех съездах уши нам прожужжали своей «русской опасностью»! И даже Бебель! Уже в девятисотом он заявлял, что перед лицом угрозы со стороны России он сам возьмется за ружье... В данном случае социалисты оказались бы пойманными на слове. Пойманными в ловушку! Ловушку, ими же самими себе расставленную! Для них будет невозможно — невозможно *как для социал-демократов* — отказаться от сотрудничества со своим правительством, когда оно намеревается защищать германский пролетариат от казацкого империализма... Прекрасно разыграно! Значит, вскоре надо ожидать всеобщей мобилизации в Австрии... Так вот почему уже через день после своего приезда в Берлин наш друг Штольбах шлет оттуда одну за другой депеши Гетцендорфу, настаивая, чтобы Австрия взяла решительный курс на *всеобщую* мобилизацию... Браво! Макиавеллевская западня, которую Берлин расставляет России через посредство Австрии! А в это время кайзер и его канцлер безмятежно курят сигары, даже не подозревая о том, какую с ними сыграли штуку!»

Привычным жестом Мейнестрель сжал большим и указательным пальцами виски, затем пальцы его быстро скользнули вдоль щек до заостренного кончика бороды.

«Отлично, отлично!.. Прямо туда и катятся! Да на всех парах!»

Он поспешно собрал разбросанные по одеялу заметки, спрятал их в третий конверт и повторил вполголоса:

— Какое счастье, что только я один сунул сюда свой нос!

Он откинулся на спинку стула, скрестил руки и несколько мгновений сидел неподвижно.

Очевидно было, что документы эти представляют собой «новый факт» неизмеримой важности. Германские социал-демократы, за очень немногими исключениями, даже не подозревали о сговоре между Веной и Берлином. Самые отчаянные хулители кайзеровского режима отвергали мысль, что он настолько глуп, чтобы рисковать европейским миром и судьбами Империи ради защиты австрийского престижа; поэтому они принимали на веру официальные утверждения: они верили, что Вильгельмштрассе была захвачена врасплох австрийским ультиматумом, что ей не были заранее известны ни его точное содержание, ни даже его агрессивный характер и что Германия самым искренним образом пытается сыграть роль посредника между Австрией и ее противниками. Наиболее проницательные, правда, чуяли возможность сговора между генеральными штабами Вены и Берлина. (Гаазе, германский делегат на Брюссельской конференции, с которым Мейнестрель виделся утром, рассказал ему, что в воскресенье он сделал демарш перед правительством и торжественно напомнил от имени партии, что германо-австрийский союз — это союз строго *оборонительный;* он не скрывал, что у него вызвал некоторое беспокойство услышанный им ответ: «А что, если Россия первая допустит *враждебное выступление* против нашей союзницы?» И все-таки даже Гаазе был далек от предположения, что всеобщей мобилизации в Австрии суждено стать хорошо насаженной приманкой, которую германская военная партия намеревалась бросить России!) Неопровержимое доказательство сообщничества, которое представили заметки Штольбаха, могло бы стать, если бы оно попало в руки вождей социал-демократии, страшным оружием в их борьбе против войны. И тогда все яростные нападки, которые до того времени направлялись по адресу венского правительства, обрушатся на голову правительства их собственной страны.

«Это снаряд такой взрывчатой силы,— говорил себе Мейнестрель,— что, черт возьми, если его хорошо использовать, эффект может превзойти все ожидания... Да, можно предположить все, что угодно,— даже, в конце концов, срыв войны!»

В течение нескольких секунд он представлял себе кайзера и канцлера перед лицом угрозы, что это доказательство будет представлено всему свету,— или же под огнем поднятой в прессе кампании, которая могла бы восстановить против германского правительства не только немецкий народ, но и общественное мнение всего мира,— он вообразил их себе стоящими перед дилеммой: либо отдать приказ об аресте всех социалистических вождей и тем самым открыто объявить войну всему германскому пролетариату, всему европейскому Интернационалу (преположение почти невероятное), либо капитулировать перед угрозой со стороны социалистов и поспешно дать задний ход, отказав Австрии в поддержке, обещанной Гойошу. Что же произошло бы тогда? А то, что, лишенная возможности опереться на Германию, Австрия скорее всего не посмела бы упорствовать в своих воинственных планах и ей пришлось бы удовлетвориться дипломатическим торгом... Таким образом, все расчеты капиталистов на большую войну оказались бы опрокинутыми.

— Это надо хорошенько обдумать! — прошептал он.

Он встал, прошелся по комнате, выпил стакан воды и снова уселся перед разложенными на кровати бумагами.

«А сейчас, Пилот, смотри, берегись сделать тактическую ошибку!.. Два выхода: дать бомбе взорваться или спрятать, сохранив для более позднего времени... Гипотеза первая: я передаю эти бумажки кому-нибудь — Либкнехту, например; разражается скандал. Тогда имеются две возможности: скандал не предотвращает войны или же предотвращает ее. Предположим, что он ее не предотвратит,— а это весьма возможно,— что мы выиграем? Разумеется, пролетариат пойдет воевать в полной уверенности, что он обманут... Хорошая пропаганда гражданской войны... Да, но ведь ветер дует в обратную сторону: всюду уже господствует «военный дух». Даже здесь, в Брюсселе, это просто поражает... Вопрос еще, захотят ли соцдемовские вожаки, чтобы бомба взорвалась? Не уверен... Все же допустим, что они опубликуют документы в «Форвертс»... Газета будет конфискована; правительство станет все нагло отрицать; общественное мнение в Германии настроено сейчас таким образом, что правительственные опровержения будут иметь в его глазах больше веса, чем наши обвинения... Предположим теперь, что, вопреки всякому вероятию, Либкнехт, играя на народном негодовании и возмущении всего мира, заставит кайзера отступить и тем самым сумеет предотвратить войну. Разумеется, мощь Интернационала и революционное сознание масс усилятся... Да, но... Но предотвратить войну?.. Упустить наш лучший козырь!..»

Несколько секунд он с застывшим лицом размышлял о тяжелой ответственности, которую готов был взять на себя.

— Только не это! — сказал он вполголоса.— Только не это!.. Пусть будет хоть один шанс из ста за предотвращение войны — нельзя идти на такой риск!

Он упорно размышлял еще несколько секунд: «Нет, нет... Какой стороной ни повернуть вопрос... Сейчас выход может быть лишь один: бомбу надо припрятать...»

Он нагнулся и решительным движением вытащил из-под кровати чемоданчик.

«Запрем-ка все это... Никому не скажем ни слова... Дождемся удобного момента!»

Он предвидел момент, когда с неизбежностью рока в мобилизованные массы начнет проникать деморализация, и тогда, чтобы ускорить эту деморализацию, чтобы усилить ее, неплохо будет нанести решающий удар, обнародовав это бесспорное доказательство махинаций буржуазных правительств.

По губам его скользнула мимолетная усмешка — усмешка одержимого: «На чем все держится? Война, революция, может быть, до некоторой степени зависят от этих трех конвертов!» Он взял их и начал машинально взвешивать в своей руке.

Кто-то постучал в дверь.

— Это ты, Фреда?

— Нет, Тибо.

— А!

Пилот быстро спрятал конверты в чемоданчик и запер его на ключ, прежде чем открыть дверь.

Войдя в комнату, Жак прежде всего окинул взглядом весь царивший в ней беспорядок в поисках документов.

— Фреда с тобой не вернулась? — спросил Мейнестрель, поддаваясь внезапному чувству недовольства, почти тревоги, которое он, впрочем, тотчас же подавил.— Я не предлагаю тебе сесть,— продолжал он шутливым тоном, указывая на беспорядочную кучу женских платьев и белья, загромождавшую оба имевшихся в комнате стула.— Впрочем, я как раз собирался выйти. Надо бы поглядеть, что *они* там делают в Народном доме.

— А... бумаги? — спросил Жак.

Разговаривая, Пилот засунул чемоданчик под кровать.

— Мне кажется, что Траутенбах даром потратил время,— спокойно сказал он.— И ты тоже...

— Да?

Жак был больше поражен, чем огорчен. Мысль, что эти бумаги могут не представлять никакого интереса, даже в голову ему

не приходила. Он колебался — расспрашивать подробнее или нет, но под конец все же решился.

— А что вы с ними сделали?

Мейнестрель движением ноги указал на чемоданчик.

— Я думал, что вы намеревались сегодня вечером сообщить обо всем этом на Бюро... Вандервельде, Жоресу?..

Пилот улыбнулся какой-то медленной холодной улыбкой, больше глазами, чем губами, и в этом улыбчивом взгляде, озарившем его мертвенно-бледное лицо, было столько ясности и вместе с тем так мало человечности, что Жак опустил глаза.

— Жоресу? Вандервельде? — произнес своим фальцетом Мейнестрель.— Да они не найдут там материала даже для одной лишней речи! — Заметив разочарованный вид Жака, он отбросил саркастический тон и добавил: — В Женеве я, разумеется, внимательнее разберусь во всех этих заметках. Но на первый взгляд ничего существенного нет: стратегические детали, данные о количестве вооруженных сил. Ничего такого, что в настоящий момент могло бы пригодиться.— Он надел пиджак и взял шляпу.— Пойдем вместе? Мы будем идти потихоньку и разговаривать... Какая жара! Никогда не забуду, каков Брюссель в июле... Куда девалась Альфреда? Она сказала, что зайдет за мной... Проходи вперед, я иду за тобой.

Пока они шли, он расспрашивал Жака о Париже и ни разу не упомянул о документах.

Он волочил ногу больше обычного и грубовато извинился за это перед Жаком. Летом, особенно при сильном утомлении, мускулы ноги болели у него иногда не меньше, чем на другой день после той воздушной аварии.

— Я вроде «инвалида войны»,— заметил он с коротким смешком.— В свое время такая штука окажется почетной...

У дверей Народного дома, когда Жак собрался уходить, он внезапно дотронулся до его рукава:

— А ты? Что это с тобой, мой мальчик?

— Что со мной?

— Ты как-то изменился. Уж не знаю, как сказать... Но очень изменился.

Он пристально смотрел на него жестким, темным, проницательным взглядом.

На несколько секунд перед глазами Жака возник образ Женни. Он покраснел. Ему противно было лгать, но и объяснять не хотелось. Он загадочно улыбнулся и отвернул голову.

— До скорого свидания,— сказал Пилот, не настаивая.— Перед митингом я пойду с Фредой пообедать в «Таверну». Мы займем тебе место подле нас.

LII

Уже с восьми часов заняты были не только пять тысяч сидячих мест Королевского цирка, но даже пролеты и галерея заполнились демонстрантами, а снаружи, на узких улицах вокруг цирка, кишела огромная толпа народа, по подсчетам восторженных активистов не менее пяти-шести тысяч человек.

Жаку и его друзьям с большим трудом удалось расчистить себе проход и проникнуть в зал.

«Официальные» лица, задержавшиеся в Народном доме, где продолжало заседать Бюро Интернационала, еще не прибыли. Передавали, что обсуждение проходит довольно бурно и, вероятно, затянется надолго. Кейр-Харди и Вайян изо всех сил старались добиться от собравшихся делегатов принципиального согласия на превентивную всеобщую стачку и твердого обещания от имени представляемых ими партий, что они будут активно работать у себя на родине над подготовкой к этой стачке, чтобы в случае войны Интернационал мог воспрепятствовать воинственным планам правительств. Жорес энергично поддержал это предложение, и ожесточенная дискуссия по этому поводу велась с самого утра. Сталкивались две противоположные точки зрения — все те же самые. Одни соглашались в принципе на всеобщую забастовку в случае агрессивной войны, но в случае войны оборонительной — говорили они — страна, парализованная стачкой, неизбежно подверглась бы нашествию агрессора; а народ, на который напали, имеет право и даже обязан защищаться с оружием в руках. Большая часть немцев, очень многие бельгийцы и французы думали именно так и лишь искали ясного и не вызывающего сомнений определения, при каких условиях та или иная держава должна считаться нападающей. Другие, опираясь на историю и извлекая убедительные аргументы из статей, появившихся за последние дни во французской, немецкой и русской печати, тенденциозно извращавших факты, утверждали, что война в целях законной самозащиты — это миф. «Правительство, решившее вовлечь свой народ в войну, всегда находит какой-нибудь способ либо подвергнуться нападению, либо выдать себя за жертву нападения,— утверждали они.— И чтобы не допустить такого маневра, необходимо, чтобы принцип превентивной забастовки был провозглашен заранее с тем, чтобы она явилась автоматическим ответом на любую угрозу войны, необходимо, чтобы этот принцип был немедленно принят социалистическими вождями всех стран, принят единогласно и так, чтобы уклониться от его проведения в жизнь было невозможно. Тогда сопротивление войне путем

прекращения всякой работы — единственное эффективное сопротивление — может быть в роковой час организовано *повсюду* и *одновременно*». Результаты этих прений, решавших, быть может, грядущую судьбу Европы, были еще неизвестны.

Жак почувствовал, что кто-то толкает его локтем. То был Сафрио, который заметил его и пробрался к нему.

— Я хотел рассказать тебе о замечательном письме, которое Палаццоло получил от Муссолини,— сказал он, вытаскивая несколько сложенных листков, которые были заботливо спрятаны у него на груди под рубашкой.— Самое лучшее я списал... А Ричардли перевел это очень хорошим стилем для «Фанала». Вот увидишь...

Кругом царил такой шум, что Жаку пришлось нагнуться к самым губам Сафрио.

— Слушай... Сперва вот это: «Фактом войны буржуазия ставит пролетариат перед трагическим выбором: либо восстать, либо принять участие в бойне. Восстание было бы живо потоплено в крови; а бойня маскируется благородными словами, такими, как «долг», «Родина»...» Ты слушаешь?.. Бенито пишет также: «Война между нациями — это самая кровавая форма сотрудничества между эксплуататорскими классами. Буржуазия довольна, когда она может заклать пролетариат на алтаре Отечества!..» И дальше: «Интернационал — вот к чему неотвратимо приведут грядущие события...» Да,— произнес он звонким голосом.— Бенито хорошо сказал: «Интернационал — вот наша цель!» И ты сам видишь: Интернационал уже достаточно силен, чтобы спасти народы! Ты видишь это здесь, сегодня вечером! Единство пролетариата — залог мира во всем мире!

Он выпрямился. Глаза его блестели. Он продолжал говорить, но все усиливавшийся шум не давал Жаку разобрать его слова.

Толпа, сгрудившаяся в этой удушливой атмосфере, начинала проявлять нетерпение. Чтобы занять ее чем-нибудь, бельгийским активистам пришла в голову мысль запеть свой гимн «Пролетарии, объединяйтесь», который вскоре подхватили все. Каждый голос, сперва неуверенный, находя поддержку в соседе, становился тверже; и не только каждый голос — каждое сердце. Эта песня создавала некую связь, становилась полнозвучным, конкретным символом солидарности.

Когда наконец долгожданные делегаты появились в глубине цирка, весь зал поднялся как один человек, и раздался приветственный крик — радостный, дружеский, полный доверия. И внезапно, без всякой подготовки, без всякого сигнала «Интернационал», вырвавшись из груди всех собравшихся, покрыл собою шум приветственных криков и рукоплесканий. Затем по знаку

Вандервельде, который председательствовал, пение словно нехотя прекратилось. И пока понемногу устанавливалась тишина, все головы поворачивались к фаланге вождей. Их силуэты знакомы были толпе по фотографиям в партийных органах. Одни указывали на них пальцами другим. Шепотом назывались их имена. Все страны присутствовали на перекличке. В этот роковой час жизни европейского континента вся рабочая Европа была здесь, была представлена на этой маленькой эстраде, к которой устремлялись десять тысяч взглядов, исполненных одной и той же упорной и торжественной надежды.

Эта коллективная уверенность, которой каждый заражался от другого, еще усилилась, когда из уст Вандервельде собравшиеся узнали, что Бюро постановило собрать в Париже не позднее 9 августа тот пресловутый конгресс Социалистического Интернационала, который сперва намечался на 23-е в Вене. От имени Социалистической партии Франции Жорес и Гед взяли на себя всю ответственность за его организацию и, призывая на помощь всех прочих, намеревались превратить этот съезд, посвященный вопросу: «Пролетариат и война»,— в грандиозную манифестацию.

— *В момент, когда два великих народа могут быть брошены друг против друга,*— воскликнул Вандервельде,— *мы являемся свидетелями необычайного зрелища; представители профессиональных союзов и рабочих объединений одной из этих стран, избранные более чем четырьмя миллионами голосов, отправляются на территорию якобы враждебной нации, чтобы побрататься с нею и заявить о своей воле сохранить мир между народами!*

Тут, среди рукоплесканий поднялся Гаазе, социалистический депутат рейхстага. Его мужественная речь, казалось, не оставляла ни малейшего сомнения в искреннем стремлении к сотрудничеству со стороны социал-демократов:

— *Австрийский ультиматум явился настоящей провокацией... Австрия желала войны... Она, видимо, рассчитывает на поддержку со стороны Германии. Но германские социалисты не считают, что пролетариат связан секретными договорами... Германский пролетариат заявляет, что Германия не должна вмешиваться, даже если в конфликт вступит Россия!*

Каждая его фраза прерывалась восторженными криками. Ясность и четкость этих заявлений у всех вызвали облегчение.

— *Пусть противники наши остерегаются!* — вскричал он в конце своей речи.— *Может случиться, что народы, уставшие от нищеты и угнетения, проснутся наконец и объединятся, чтобы установить социалистическое общество!*

Итальянец Моргари, англичанин Кейр-Харди, русский Рубанович брали слово один за другим. Пролетарская Европа в один

голос клеймила преступный империализм своих правительств и требовала взаимных уступок, необходимых для сохранения мира.

Когда выступил вперед, чтобы взять слово, Жорес, овации усилились.

Его поступь казалась еще более тяжелой, чем обычно. Этот день утомил его. Он втягивал голову в плечи, растрепавшиеся волосы слиплись от пота на его низком лбу. Когда он медленно взошел по ступенькам и вся его плотная фигура, прочно упиравшаяся ногами в пол, неподвижно стала лицом к публике, он показался каким-то приземистым великаном, который согнул спину, готовый принять удар, вошел корнями в землю, чтобы преградить путь лавинам надвигающихся катастроф.

Он возгласил:

— Граждане!

Голос его каким-то чудом, повторявшимся всякий раз, как он всходил на трибуну, сразу же покрыл эти тысячи разнообразных звуков. Наступила благоговейная тишина, тишина леса перед грозой.

Казалось, он на мгновенье ушел в себя, сжал кулак и резким движением снова положил на грудь свои короткие руки. («Ну точь-в-точь тюлень, произносящий проповедь»,— непочтительно говорил Патерсон.) Не торопясь, вначале как будто и не напрягая голоса, не стараясь создать впечатление силы, начал он свою речь; но с первых же слов бас его загудел, как бронзовый колокол, который только начинает раскачиваться, заполнил все пространство, и зал внезапно обрел гулкость звонницы.

Жак, наклонившись вперед, положив подбородок на сжатый кулак, устремив взгляд на это поднятое кверху лицо,— казалось, оно всегда смотрит куда-то вдаль, за какие-то пределы,— слушал, не пропуская ни звука.

Жорес не сообщал ничего нового. Он, как всегда, разоблачал всю опасность политики захватов и национального престижа, слабость дипломатии, патриотическое безумие шовинистов, бесплодные ужасы войны. Мысль его была проста, словарь довольно ограничен, эффекты речи часто основывались на самых обычных ораторских приемах. И все же эти благородные банальности пронизывали толпу, к которой в этот вечер принадлежал Жак, током высокого напряжения, который бросал ее по воле оратора из стороны в сторону, и она трепетала от братских чувств или от гнева, от возмущения или надежды, трепетала, как струны эоловой арфы. Откуда проистекало это колдовское обаяние Жореса? От его настойчивого голоса, который словно набухал и проходил широкими волнами по этим тысячам напряженно внимающих лиц? От его столь очевидной любви к людям? От его веры? От пренсполняв-

шего его лиризма? От его симфонической души, где каким-то чудом сливалось в единое гармоническое созвучие все: склонность к словесному теоретизированию и четкое понимание, как и когда надо действовать, ясновидение историка и мечтательность поэта, любовь к порядку и революционная воля? В этот вечер, больше чем когда-либо, упрямая уверенность, пронизывающая каждого слушателя до мозга костей, исходила от его слов, от его голоса, от всей его неподвижной фигуры: уверенность в близкой победе, уверенность, что отказ в повиновении со стороны народов уже сейчас заставляет правительства колебаться и что гнусные силы войны не смогут сломить силы мира.

Когда после пламенных заключительных слов он наконец сошел с трибуны, с искаженным лицом, весь в поту, содрогаясь от священного исступления, зал стоя приветствовал его. Рукоплескания и топот сливались в оглушительный шум, который перекатывался из конца в конец цирка, словно раскаты грома в горном ущелье. Люди неистово махали шляпами, носовыми платками, газетами, палками. Будто грозовой ветер пробегал по колосящемуся полю. В моменты подобного пароксизма Жоресу достаточно было бы крикнуть, сделать одно лишь движение рукою — и вся эта толпа, выставив лбы, фанатично бросилась бы вслед за ним на штурм любой Бастилии.

Шум понемногу упорядочился, подчиняясь некоему ритму. Чтобы разрешить волнение, тисками сжимавшее грудь, стоявшее комом в горле, люди снова запели:

Вставай, проклятьем заклейменный...

И снаружи тысячи демонстрантов, которые не смогли проникнуть в зал и, несмотря на полицейские заслоны, заполнили все прилегающие улицы, подхватили припев «Интернационала»:

Вставай, проклятьем заклейменный!..
. . . . . .
Это есть наш последний
И решительный бой!..

LIII

Зал понемногу пустел. Жак, которого людской поток приподнимал и раскачивал из стороны в сторону, защищал, как мог, маленького Ванхеде,— тот цеплялся за него, словно утопающий,— и старался не терять из виду группу в нескольких метрах от себя, состоявшую из Мейнестреля, Митгерга, Ричардли, Сафрио, Желявского, Патерсона и Альфреды. Но как до них добраться? Толкая перед собою альбиноса и пользуясь малейшим движением

толпы, которое могло приблизить его к друзьям, Жак мало-помалу сумел преодолеть небольшое пространство, отделявшее его от них. Только тогда перестал он противиться течению, и оно увлекло его к выходу вместе с другими.

К пению «Интернационала», которое звучало то громко, как фанфара, то приглушенно, примешивались пронзительные крики: «Долой войну!», «Да здравствует социальная революция!», «Да здравствует мир!».

— Пойдем, девочка, ты затеряешься в толпе,— сказал Мейнестрель.

Но Альфреда не слышала его. Она уцепилась за руку Патерсона и во что бы то ни стало хотела видеть, что происходит впереди.

— Подожди, дорогая,— шепнул англичанин. Он прочно переплел пальцы и, нагнувшись, предложил молодой женщине ступить в это своего рода стремя, куда она и вложила свою ногу.

— Гоп!

Он выпрямился одним резким движением и поднял ее над головами окружающих. Она смеялась. Чтобы сохранить равновесие, она всем телом прижималась к груди Патерсона. Ее большие кукольные глаза, широко раскрытые, горели в этот вечер каким-то диким огнем.

— Я ничего не вижу,— произнесла она расслабленным, словно пьяным голосом.— Ничего... только целый лес знамен!

Она не торопилась спрыгнуть обратно. Англичанин, которому край ее юбки закрывал глаза, спотыкаясь, продолжал идти вперед.

Сами не зная как, они наконец выбрались наружу.

На улице давка была еще больше, чем в зале, и стоял такой сильный и непрерывный шум голосов, что он уже почти не замечался. После нескольких минут топтания на месте эта человеческая масса, казалось, нашла себе определенное направление, дрогнула и, переливаясь через полицейские кордоны, вбирая в себя на ходу любопытных, сбившихся на тротуарах, медленно потекла во мраке ночи.

— Куда они нас ведут? — спросил Жак.

— *Zusammen marschieren, Camm'rad!* [1],— крикнул Митгерг; его рыхлое лицо распухло и покраснело, будто он только что вылез из кипятка.

— Я думаю, демонстрация движется к министерствам,— объяснил Ричардли.

— *Keinen Krieg! Friede! Friede!* [2] — вопил Митгерг.

---

[1] Идти всем вместе, товарищ! *(нем.)*

[2] Долой войну! Мир! Мир! *(нем.)*

А Желявский взывал певучим гортанным голосом:

— Долой войну!.. Мир! Мир! [1]

— Где же Фреда? — пробормотал Мейнестрель.

Жак повернулся и стал глазами искать молодую женщину. За ним шел Ричардли, высоко подняв голову, со своей неизменной улыбкой на губах, слишком дерзкой улыбкой. Затем Ванхеде между Митгергом и Желявским: альбинос взял товарищей под руки, и они, казалось, несли его. Он не кричал, не пел: полузакрыв глаза, он поднял к небу свое прозрачное лицо с выражением страдальческим и восторженным. Еще дальше шли Альфреда и Патерсон. Жак различал только их лица, но они были так близко друг от друга, что тела их казались слитыми.

— Где же она? — повторил Пилот с тревогой в голосе. Он был как слепой, потерявший собаку-поводыря.

Стояла теплая летняя ночь, глубокая и темная. Свет в витринах магазинов был потушен. Из всех окон, многие из которых были освещены, склонились вниз темные силуэты. На скрещениях магистралей выстроились на рельсах целые вереницы трамваев, пустых и неосвещенных. Сонмы пешеходов прибывали из боковых улиц и непрестанно увеличивали движущийся людской поток. Демонстранты состояли по большей части из рабочих городов и предместий. И отовсюду — из Антверпена, Гента, Льежа, Намюра, из всех шахтерских центров — прибыли активисты, чтобы присоединиться к брюссельским социалистам и иностранным делегациям,— в этот вечер Брюссель, казалось, стал всеевропейской столицей борцов за мир.

«Значит, дело сделано! — сказал себе Жак.— Мир спасен! Никакая сила на земле не способна прорвать такую плотину! Если эта толпа захочет — войне не бывать!»

Не в силах будучи справиться с положением, полиция удовольствовалась тем, что в четыре ряда оцепила королевский дворец, парк и здания министерств, и мимо этого кордона, не останавливаясь, прошли головные ряды демонстрантов, чтобы достичь Королевской площади и спуститься к центру города.

Перед немыми и величавыми дворцами тысячи ртов в едином порыве проскандировали на ходу: «Да здравствует социальная революция!», «Долой войну!».

Впереди в сосредоточенном молчании гордо шествовали группы демонстрантов, окружая свои знамена. Остальные шли без всякого порядка, подобные тягучей и шумной толпе народных праздников, и женщины цеплялись за руки мужей, а ребятишки, взгромоздившись на плечи отцов, широко раскрывали восхищенные

[1] Во французском подлиннике по-русски.— *Ред.*

глаза. У всех было сознание, что они представляют собой часть великой армии пролетариата. С напряженными лицами и неподвижным взглядом шли они вперед, почти не переговариваясь друг с другом, когда приходилось задерживаться, продолжали маршировать на месте, размеренно отбивая такт ногами. Обнаженные лбы блестели при свете электрических фонарей. На всех лицах, опьяненных верой и словно окаменевших в порыве единой воли, можно было прочесть уверенность, что сегодня вечером трудная партия, которую играли против буржуазных правительств, выиграна. А над всем этим бушующим приливом катилась могучая мелодия «Интернационала», который неумолчно, во весь голос, пела толпа, и казалось, его чеканный ритм вторил биенью всех этих сердец.

Несколько раз у Жака возникало впечатление, что Мейнестрель пытается приблизиться к нему, словно хочет что-то сказать. Но каждый раз этому мешала толкотня или внезапно возросший шум.

— Вот оно наконец, *массовое действие!* — крикнул ему Жак.

Он силился улыбнуться, пытаясь сохранить остатки хладнокровия, но его взгляд сверкал тем же лихорадочным восторгом, что и глаза окружающих его людей.

Пилот не отвечал. В зрачках его была жесткость, а у рта образовалась горькая складка, которой Жак никак не мог себе объяснить.

Толпа перед ними внезапно дрогнула, и вся процессия качнулась в другую сторону. Головные ряды колонны, видимо, натолкнулись на какое-то препятствие. Когда Жак встал на цыпочки, чтобы уяснить себе причину беспорядка, он услышал над своим ухом голос Пилота: всего несколько слов, брошенных очень быстро, все тем же фальцетом, который всегда вызывал недоумение:

— Послушай, мальчик, мне кажется, что сегодня ночью Фреда не...

Конец фразы наполовину затерялся в шуме толпы. Жак, пораженный, обернулся, ему послышалось: «... не вернется в гостиницу».

Их взгляды встретились. Лицо Пилота было в тени. Его черные, пустые, как у кошки, зрачки горели фосфорическим, животным огнем.

В этот момент волна докатилась до них, толпа колыхнулась и приподняла их над землей.

На перекрестке у Южного бульвара маленькая группа националистов поспешно собравшаяся вокруг знамени, сделала дерзкую попытку преградить дорогу колонне. Короткая стычка не помешала демонстрантам продолжать свой путь. Но этой остановки,

этой встряски оказалось достаточно, чтобы разлучить Жака с Мейнестрелем и остальными друзьями.

Его отбросило вправо, прижало к домам, а в это время в центре шествия под нажимом задних рядов образовалось сильное течение, которое вынесло всю группу Мейнестреля далеко вперед. И внезапно с того места, где он на мгновение задержался, Жак всего в нескольких метрах от себя заметил лицо Патерсона. Англичанин все еще был с Альфредой. Они прошли, не взглянув на него. Но у него-то хватило времени разглядеть их. Они были на себя не похожи... В полумраке, подчеркивающем выступы черепных костей, лицо Патерсона казалось странно новым. Его глаза, обычно подвижные и смеющиеся, блестели каким-то застывшим блеском, а в глубине словно горел огонек жестокого безумия. Лицо Альфреды изменилось не меньше: выражение пылкости, решимости, дерзкой чувственности искажало ее черты и придавало им вульгарность: это было лицо девки, лицо пьяной девки. Виском она прижималась к плечу Пата, рот был открыт: она пела «Интернационал» хриплым, срывающимся голосом, у нее был такой вид, будто она празднует свое собственное торжество, свое освобождение, победу своих инстинктов... Жаку пришли на ум слова Мейнестреля: «Мне кажется, что сегодня ночью Фреда не вернется...»

Он испугался; сам не зная, что он им скажет, попытался проникнуть в толпу, чтобы добраться до них. Он крикнул: «Пат!» Но Жак был пленником этой стискивающей его людской массы. После ряда тщетных усилий ему пришлось уступить. Некоторое время он еще следил за ними взглядом, затем совершенно потерял их из виду и пассивно отдался потоку, который уносил его вперед.

И теперь, оставшись один, он поддался этому наваждению, этой коллективной заразе. Исчезло всякое ощущение пространства и времени: личное сознание стерлось. Это было какое-то темное состояние летаргии и словно возвращение в некую первозданную среду. Погруженный в эту движущуюся братскую толпу, растворившийся в ней, он чувствовал, что освободился от самого себя. Где-то в глубине его существа таилось, как подпочвенный горячий источник, смутное сознание, что он составляет часть какого-то целого — целого, которое есть множество, истина, сила, но он об этом не думал. И он все шел вперед, с пустой головой, во власти легкого опьянения, успокоительного, как сон.

Это блаженное состояние продолжалось час, может быть, два. Ударившись ногой о край тротуара, он внезапно очнулся от наваждения. И сразу же понял, насколько устал.

Колонна, зажатая между темными фасадами домов, продолжала двигаться вперед медленно, неумолимо. Сзади пение почти совсем смолкло. По временам суровый клич облегчал чью-то стес-

ненную грудь: «Да здравствует мир!», «Да здравствует Интернационал!». И этот клич, как утренний зов петуха, вызывал там и сям ответные возгласы. Затем снова все успокаивалось. И в течение нескольких минут не было слышно ничего, кроме тяжелого дыхания людей и топота, подобного топоту стада.

Жак стал пробиваться к краю, поближе к домам. Он предоставил людскому потоку нести его вдоль запертых магазинов, ища случая выйти из рядов. Внезапно открылся переулок. Он был полон жителей квартала, собравшихся тут, чтобы взглянуть на демонстрацию. Жаку удалось нырнуть в эту улочку, добраться до свободного пространства у вделанной в стену водоразборной колонки. Струя воды, свежей и чистой, текла с каким-то приветливым плеском. Он напился, смочил себе лоб, руки и несколько минут переводил дух. Над ним сверкало звездами летнее небо. Он вспомнил позавчерашние стычки в Париже, вчерашние — в Берлине. Во всех городах Европы народы с одинаковой яростью восставали против бесполезного жертвоприношения. Всюду — в Вене на Рингштрассе, в Лондоне на Трафальгар-сквер, в Петербурге — на Невском проспекте, где казаки с шашками наголо бросались на демонстрантов,— всюду раздавался один и тот же возглас: «Friede!» [1], «Peace!» [2], «Мир!» [3]. Через границы государств руки всех трудящихся тянулись к одному и тому же братскому идеалу. И вся Европа издавала один и тот же крик. Можно ли сомневаться в будущем? Завтра человечество, освобожденное от страшной тревоги, сможет снова работать, выковывая себе лучшую долю...

Будущее!.. Женни...

Образ девушки вновь завладел им, завладел внезапно, все оттесняя назад, подменяя яростное возбуждение этого вечера беззаветной жаждой ласки и нежности.

Он поднялся и снова принялся шагать в вечерней темноте.

Спать!.. Теперь это было единственное, чего он хотел. Все равно где — хоть на первой попавшейся скамейке... Он пытался осмотреться в этой части города, которую плохо знал. И вдруг очутился на пустынной площади, через которую уже проходил сегодня днем в сопровождении Патерсона и Альфреды... Ну же! Еще одно усилие! Гостиница, в которой англичанин снял комнату, должна быть неподалеку...

И действительно, Жак, разыскал ее без особого труда.

Он только успел снять ботинки, пиджак, воротничок и полуодетый бросился на кровать.

---

[1] Мир! *(нем.)*
[2] Мир! *(англ.)*
[3] В подлиннике русское слово.— *Ред.*

LIV

Когда Жак открыл глаза, комната была ярко освещена. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться к действительности. Он увидел спину какого-то мужчины, стоявшего на коленях в глубине комнаты: Патерсон... Англичанин наскоро укладывал кое-какую одежду в раскрытый на полу чемодан. Он уже уезжал? Который час?

— Это ты, Пат?

Патерсон, не отвечая, запер чемодан, поставил его возле двери и подошел к кровати. Он был бледен и глядел вызывающе.

— Я ее увожу! — бросил он.

Какая-то угроза дрожала в его голосе.

Жак ошеломленно смотрел на него припухшими, усталыми глазами.

— Тс! Молчи! — заикаясь, вымолвил Патерсон, хотя Жак даже не пошевелил губами.— Я знаю!.. Но это так! И тут уж ничего не поделаешь!..

Внезапно Жак его понял. Он во все глаза смотрел на англичанина, как ребенок, которому приснился страшный сон.

— Она внизу, в такси. Она на все решилась. Я тоже. Она ему ничего не сказала, она его жалеет, не хочет ничего ему говорить и даже не захотела взять свои вещи. Мы уезжаем, она с ним не увидится. С первым же поездом на Остенде. Завтра вечером будем в Лондоне... И все кончится само собой. Тут уж ничего не поделаешь!

Жак выпрямился. Он опирался головой о деревянную спинку кровати и не говорил ни слова. «У него лицо убийцы»,— подумал он.

— У меня это уже долгие месяцы! — продолжал Патерсон, неподвижно стоя под лампой.— Но я не осмеливался... Только сегодня вечером я узнал, что она тоже... Бедная *darling!* Ты не знаешь, какую жизнь она вела с этим человеком... Он меньше чем мужчина: *ничто!* О, он играет самую благородную роль! Он ее предупредил. Она на все согласилась! Она думала, что сможет. Она не знала... Но с тех пор, как она полюбила меня,— нет, самопожертвование стало невозможным... Не осуждай ее! — воскликнул он внезапно, словно прочел на ошарашенном лице Жака суровый приговор.— Ты ведь не знаешь, каков он на самом деле, этот человек! Он на все способен. Из отчаяния, что он ни во что не верит, не может во что-либо верить — даже в самого себя, потому что он — *ничто!*

Жак вытянул руки на постели, слегка запрокинул голову и, ощущая в глазах боль от яркого света, лежал без движения. Окно

было открыто. Комары, которых он и не пытался прогнать, жужжали ему прямо в уши. Он ощущал тошнотную слабость, будто человек, потерявший много крови.

— Каждый имеет право жить! — с какой-то свирепостью продолжал англичанин.— Можно требовать от кого-нибудь, чтобы он бросился в воду спасать человека, но нельзя требовать, чтобы он все время держал голову утопающего над водой, пока сам не погибнет!.. Она хочет жить. Ну, так вот я здесь, и я ее увожу!.. Тс!..

— Я вас не упрекаю,— прошептал Жак, не пошевелив головой.— Но я думаю о *нем*...

— *You don't know him! He is capable of anything!.. That man is a monstre... a perfect monstre!* [1]:

— Может быть, он умрет от этого, Пат.

Губы Патерсона полуоткрылись, и его мертвенно-бледные черты свело судорогой, словно он получил удар в лицо. Жак не мог вынести вида этого лица, которое вдруг показалось ему омерзительным. «Убийца»,— снова подумал он. Жак на секунду отвел глаза, затем продолжал глухим голосом:

— Я думаю о партии. Партии сейчас нужны ее вожди. Больше, чем когда-либо... Это предательство, Пат. Двойное предательство, предательство во всех смыслах.

Англичанин отступил к самой двери. Надетая набок фуражка, мертвенная бледность лица, взгляд загнанного зверя, гримаса, искривившая рот,— все это внезапно придало ему вид бродяги-хулигана. Он быстро нагнулся и схватил чемодан. Теперь он был похож не на убийцу, а на взломщика.

— *Good night!* [2] — сказал он. Веки его были опущены. Не поднимая их, он убежал.

Как только дверь за ним закрылась, мысль о Женни с нестерпимой остротой завладела Жаком. Почему о Женни?.. Он услышал, как внизу, на безмолвной улице, от дома отъехала машина. Долгое время лежал он без движения, упираясь головой в деревянную спинку кровати, уставив глаза на закрытую дверь. Перед ним вставало то красивое лицо Пата, его ясный взгляд, его улыбка белокурого мальчика, то эта мрачная маска выгнанного слуги, вора, пойманного с поличным, постыдная, наглая маска... Отвратительно искаженная страстью... Не таков ли был его облик там, в переходах метро, когда он бежал за Женни? И разве в тот день он не был тоже способен на гнусности, на предательство?

---

[1] Ты его не знаешь! Он способен на что угодно!.. Этот человек — чудовище... настоящее чудовище! *(англ.)*

[2] Доброй ночи *(англ.)*.

В половине седьмого Жак, который так и не смог заснуть, побежал к Мейнестрелю.

В пансионе все еще спали. Только старуха уборщица мыла вымощенный плитками пол вестибюля. Жак с минуту колебался: возвратиться или подняться наверх? Если он хотел попасть на восьмичасовой поезд, нельзя было откладывать это посещение. А после происшедшей ночью сцены он не мог решиться уехать из Брюсселя, не повидавшись с другом.

Он осторожно стукнул в дверь комнаты Пилота. Ответа не последовало. Не ошибся ли он? Нет. Вчера он приходил именно сюда, в номер девятнадцать. Может быть, Мейнестрель, напрасно прождав целую ночь, заснул?.. Жак собирался постучать еще раз, но тут ему показалось, что за дверью он слышит быстрый шорох босых ног, что чьи-то пальцы коснулись замка. Безумная, страшная мысль пронзила его. Инстинктивно схватился он за ручку и нажал на нее. Дверь открылась, задев Мейнестреля как раз в тот момент, когда он намеревался повернуть ключ в замке.

Они оглядели друг друга с ног до головы. На ледяном лице Пилота не было никакого определенного выражения: может быть, след досады... В течение секунды он, казалось, колебался. Оттолкнет ли он гостя, запрет ли перед ним дверь? У Жака возникло такое подозрение. Повинуясь той же интуиции, которая заставила его нажать на ручку, он плечом толкнул дверь и вошел.

С первого же взгляда он заметил, что комната изменилась, словно увеличилась. Стол, стулья были придвинуты к стенам, посредине, перед зеркальным шкафом, оставалось свободное пространство. Кровать была в беспорядке, но застлана одеялом. Прибранная комната казалась для чего-то подготовленной. Сам Мейнестрель тоже: на нем была голубоватая пижама, на которой еще виднелась сделанная утюгом складка. На вешалке ничего не висело. На умывальнике не было никаких принадлежностей туалета. Казалось, все уже было уложено для отъезда в два закрытых чемоданчика, стоявших у окна. Но ведь не мог же Пилот выйти на улицу прямо в пижаме и босой.

Взгляд Жака снова обратился к Мейнестрелю. Тот не двигался с места, он смотрел на Жака. Он не шевелился, но, казалось, не слишком твердо стоял на ногах. Он был похож на больного, который только что подвергся операции и проснулся после наркоза, на мертвеца, исторгнутого из небытия.

— Что вы *собирались* делать? — пробормотал Жак.

— Я? — переспросил Мейнестрель. Его веки невольно опустились. Шатаясь, он отступил к стене и прошептал, словно плохо расслышал заданный ему вопрос: — Что я *собираюсь* делать?

Затем, сев за стол, он молча сжал голову руками. Даже на столе царил какой-то странный порядок. Два запечатанных письма лежали друг подле друга адресами вниз, а на сложенной газете — разные личные вещи: вечное перо, бумажник, часы, связка ключей, бельгийские деньги.

Жак несколько мгновений стоял в полной растерянности, не решаясь шевельнуться. Затем подошел к Мейнестрелю, который сейчас же поднял голову и прошептал:

— Тс-с...

Он с усилием поднялся, сделал, прихрамывая, несколько шагов, снова новернулся к Жаку и повторил еще раз, но уже другим тоном:

— Что я собираюсь делать?.. Да ничего, мой мальчик. Я оденусь... а потом уйду отсюда вместе с тобой.

Не глядя на Жака, он раскрыл один из чемоданчиков, извлек оттуда носильные вещи, разложил их на кровати, развернул газету, вынул из нее запыленные ботинки и начал одеваться, словно находился один в комнате. Одевшись, он подошел к столу и, все так же не замечая Жака, который молча сел в стороне, взял оба письма, разорвал на мелкие клочки и бросил их в камин.

В этот момент Жак, не спускавший с него глаз, увидел, что камин полон золы от только что сожженной бумаги. «Неужели у него было столько личных бумаг? — подумал он. И внезапно его обожгла мысль: — Документы Штольбаха!» Он бросил растерянный взгляд на раскрытый чемоданчик: в нем находилось мало вещей, и среди них не было видно пакета с бумагами. «Наверное, он переложил их в другой чемоданчик»,— сказал себе Жак, не желая задерживаться на абсурдном подозрении, мелькнувшем у него в уме.

Мейнестрель возвратился к столу. Он собрал деньги, бумажник, ключи и аккуратно разложил все это по карманам.

И только тогда он, казалось, вспомнил о присутствии Жака. Он посмотрел на него, подошел к нему.

— Ты хорошо сделал, что пришел, мой мальчик... Кто знает, может быть, ты оказал мне услугу...— Лицо его было спокойно. Он как-то странно улыбался.— Видишь ли, ничто не заслуживает того... Ничего на свете не стоит желать, но также и бояться ничего на свете не стоит... Ничего... Ничего...

Неожиданным жестом он протянул Жаку обе руки. И когда Жак с волнением схватил их, Мейнестрель прошептал, не переставая улыбаться:

— *So nimm denn meine Hände und führe mich...*[1] Пойдем! — добавил он, высвобождаясь.

---

[1] Итак, возьми меня за руки и веди!.. *(нем.)*

Он подошел к чемоданчикам и взял один из них. Жак тотчас же нагнулся, чтобы взять другой.

— Нет, этот не мой... Я его оставлю здесь.

И в его затуманенном взгляде мелькнула улыбка, полная душераздирающей грусти и нежности.

«Он уничтожил документы»,— подумал потрясенный Жак. Но не посмел задать ни одного вопроса. Вместе они вышли из комнаты. Мейнестрель волочил ногу немного больше обычного.

Внизу он прошел мимо дверей конторы, не заходя внутрь. Жак подумал: «Он позаботился даже о том, чтобы заранее расплатиться!»

— Женевский экспресс... Семь часов пятьдесят минут,— пробормотал Мейнестрель, взглянув на расписание поездов, висевшее на стене вестибюля.— А ты? Едешь восьмичасовым парижским? У тебя как раз хватит времени усадить меня в вагон. Видишь, как все хорошо устроилось!..

LV

Короткий теплый ливень только что омыл Париж, и полуденное солнце сверкало еще более жгучим блеском, когда Жак сошел с бельгийского поезда.

Он был мрачен. Дурных предзнаменований становилось все больше и больше. Симптомы, с которыми он сталкивался во время поездки, все, как один, вызывали тревогу. Поезд был переполнен. Сильное возбуждение царило среди жителей прифронтовых областей. Солдаты и офицеры, находившиеся в отпуске в департаменте Нор, получили телеграфное распоряжение вернуться в свои полки. Не попав в один вагон с французскими социалистами, выехавшими из Брюсселя тем же поездом, что и он, Жак сел в купе, набитое северянами. Не будучи знакомы, они все-таки разговаривали, передавали друг другу газеты, делились новостями, обсуждая события с беспокойством, в котором удивление, любопытство, даже недоверие занимали, пожалуй, еще большее место, нежели страх: видимо, большинство из них уже свыклось с мыслью о возможной войне. Меры предосторожности, которые, судя по сообщениям этих людей, принимало французское правительство, говорили о многом. Железнодорожные пути, мосты, акведуки, заводы, имеющие отношение к военной промышленности, уже повсюду охранялись воинскими частями. Батальон кадровой армии занял мельницы в Корбейле: «Аксьон франсез» обвинила их управляющего в том, что он офицер запаса германской армии. В Париже водопроводы, водохранилища находились под охраной войск. Какой-то господин

с орденом рассказывал с доскональными подробностями, как знающий инженер, о работах, спешно предпринятых на Эйфелевой башне для усовершенствования оборудования станции беспроволочного телеграфа. Один парижанин, конструктор автомобилей, жаловался на то, что несколько сот машин, случайно собранных вместе для пробега, были если не реквизированы, то, во всяком случае, задержаны на месте впредь до нового распоряжения.

Из «Юманите», которую Жаку удалось раздобыть на вокзале в Сен-Кантене, он с изумлением и гневом узнал, что накануне, в среду, 29-го числа, правительство имело наглость в последнюю минуту запретить митинг, организованный Всеобщей конфедерацией труда в зале Ваграм, куда были созваны для выражения массового протеста все рабочие организации Парижа и предместий. Те из манифестантов, которые все же пришли в квартал Тери, были отброшены неожиданным натиском полиции. Стачки не прекратились даже с наступлением ночи; еще немного, и колонны демонстрантов дошли бы до министерства внутренних дел и до Елисейского дворца. Этот акт националистически настроенного правительства приписывался возвращению Пуанкаре и, по-видимому, говорил о том, что власти намерены остановить проявление все нарастающего недовольства рабочих, не считаясь с правом собраний и попирая самые старинные республиканские свободы.

Поезд опоздал на полчаса. Выходя из буфета,— Жак зашел туда съесть бутерброд,— он столкнулся со старым журналистом, которого несколько раз встречал в кафе «Прогресс», с неким Лувелем, сотрудником «Гэр сосьяль». Он жил в Крейле и ежедневно приезжал в редакцию, где проводил все вечера. Они вместе вышли из вокзала. Привокзальный двор, дома на площади были еще украшены флагами: возвращение президента республики, состоявшееся накануне, вызвало в Париже взрыв патриотических чувств; Лувель сам был его свидетелем и сейчас рассказывал о нем с неожиданным волнением.

— Знаю,— оборвал его Жак.— Этим полны все газеты. Омерзительно! Полагаю, что вы им не подпеваете в «Гэр сосьяль»?

— В «Гэр сосьяль»? Ты, значит, не читал статей патрона за последние дни?

— Нет. Я только что из Брюсселя.

— Ты отстал, приятель.

— Как! Значит, и Гюстав Эрве?..

— Эрве не слабоумный мечтатель... Он видит вещи, как они есть... Вот уже несколько дней, как он понял, что война неизбежна

и что было бы безумно, даже преступно продолжать противодействие... Достань его статью от вторника, и ты увидишь, что...

— Эрве — социал-патриот?

— Если хочешь, социал-патриот... Попросту реалист! Он честно признает, что нельзя обвинять правительство ни в одном подстрекательском действии. И заключает отсюда, что если Франции придется драться за свою землю, то ничто во французской политике этих последних недель не оправдает отступничества пролетариата.

— Эрве сказал такую вещь?

— Он даже написал, и написал без всяких увертюк, что это было бы изменой! Ибо, в конце концов, земля, которую придется защищать,— это родина Великой революции.

Жак остановился. Он молча смотрел на Лувеля. Однако, немного подумав, перестал особенно удивляться: он вспомнил, что Эрве резко выступил против идеи всеобщей забастовки, которая была вновь поставлена на обсуждение Вайяном и Жоресом две недели тому назад на Конгрессе французских социалистов.

Лувель продолжал:

— Ты отстал, приятель, ты отстал... Иди послушай, что говорят в других местах... Хотя бы в «Птит репюблик»... или в «Сантр дю парти репюбликен», куда я заходил вчера вечером... Всюду одна и та же песня... У всех открылись глаза... Понял не один Эрве... Братство народов — это звучит красиво. Но события пришли, надо смотреть им в лицо. Что ты думаешь делать?

— Все, что угодно, только не...

— Гражданская война, чтобы избежать другой? Утопия!.. Сейчас на это не пошел бы никто... Всякая попытка восстания провалилась бы перед угрозой иностранного вторжения. Даже в промышленных центрах, даже в кругах Интернационала большинство вместе со всей массой населения собирается защищать свою территорию... Всеобщее братство? Да, в принципе — да! Но в эту минуту оно отошло на задний план. Сегодня, приятель, все чувствуют более узкое братство — *братство французов*... И потом, черт побери, эти пруссаки надоедают нам уже не первый день! Если им вздумается прийти к нам драться,— что ж...

Площадь оглашалась криками газетчиков, которые мчались, пронзительно визжа:

— «Пари-Миди»!

Лувель перешел улицу, чтобы купить газеты. Жак собирался последовать за ним, как вдруг заметил проезжавшее мимо свободное такси. Он вскочил в него. Прежде всего — к Женни.

«Эрве...— думал он с отвращением.— Если уж эти поколебались, то как могут устоять остальные, маленькие люди, масса...

те, кто каждое утро читает во всех газетах, что есть войны справедливые и есть войны несправедливые и что война против прусского империализма, война, имеющая целью раз навсегда покончить с пангерманцами, была бы войной справедливой, войной священной, крестовым походом в защиту демократических свобод!..»

Приехав на улицу Обсерватории, он поднял глаза к балкону Фонтаненов. Все окна были открыты.

«Может быть, ее мать вернулась?» — подумал он.

Нет, Женни была одна. Он сразу понял это, увидев, как, бледная, потрясенная радостью, она отворила дверь и отступила в полумрак передней. Она подняла на него взгляд, полный тревоги, но такой нежный, что он подошел к ней и внезапно протянул руки. Она вздрогнула, закрыла глаза и упала ему на грудь. Их первое объятие... Ни он, ни она не ожидали его, оно длилось всего несколько секунд. Как вдруг, словно возвращаясь к неумолимой действительности, Женни высвободилась и, показав рукой на стол, где лежала развернутая газета, спросила:

— Это правда?

— Что?

— Мо... мобилизация!

Он схватил листок. Это был тот самый номер «Пари-Миди», о котором кричали на вокзальной площади, который вот уже целый час в тысячах экземпляров продавался во всех кварталах Парижа. Перепуганная консьержка только что принесла его Женни.

У Жака кровь прилила к лицу.

«Сегодня ночью в Елисейском дворце состоялось заседание военного совета... III армейский корпус спешно выступает к границе. Части VIII корпуса получили походное снаряжение, боевые припасы, продовольствие и ждут приказа о выступлении».

Она смотрела на него; на ее лице застыло выражение мучительной тревоги. Наконец, преодолев колебание, она прошептала:

— Если будет война, Жак... вы пойдете?

Уже пять дней он ждал этого вопроса. Он поднял глаза и решительно покачал головой: нет.

Она подумала: «Я это знала,— и, борясь со смущавшим ее предательским сомнением, сейчас же сказала себе: — нужно большое мужество, чтобы отказаться идти!»

Она первая нарушила молчание:

— Пойдемте.

Взяв его за руку, она увлекла его за собой. Дверь в ее комнату оставалась открытой. Она с секунду поколебалась, затем ввела его туда. Он рассеянно последовал за ней.

— Возможно, это неправда,— вздохнул он,— но может стать правдой завтра. Война теснит нас со всех сторон. Круг суживается. Россия упорствует, Германия тоже... В каждой стране правительство упрямо делает те же смехотворные предложения, проявляет ту же непримиримость, так же отказывается прийти к соглашению.

«Нет,— думала она,— это не страх. Он мужествен. Он последователен. Он не должен поступать, как другие, не должен поддаваться, не должен идти на войну».

Не сказав ни слова, она подошла к нему и приникла к его груди.

«Он останется мне!» — внезапно подумала она, и сердце ее забилось сильнее.

Жак обнял ее и стоя, наклонившись к ней, целовал ее лоб, наполовину скрытый волосами. Она изнемогала от нежности, чувствуя силу обнимавших ее рук. Она старалась сделаться маленькой и легкой, чтобы он мог... она сама не знала, что... поднять ее, унести... Она горела желанием расспросить его о поездке, но не решалась. Мягким прикосновением лица он заставил ее приподнять голову, и его губы, коснувшись щеки, овальной гладкой щеки, дошли до рта, который оставался закрытым, сжатым, но не отворачивался. Она немного задохнулась под этим настойчивым поцелуем и, чтобы перевести дух, отстранилась, просунув руку между его лицом и своим. Ее лицо было поразительно спокойно, серьезно. Никогда еще она не казалась такой рассудительной, исполненной такого сознания ответственности за свои поступки, такой решительной. Осторожным движением он снова страстно привлек ее к себе. Она покорилась без робости, без сопротивления. Она не желала сейчас ничего на свете, кроме вот этого ощущения его объятий. Целомудренно обнявшись, щека к щеке, они уселись на низкой кровати у окна, напоминавшей узкий диван. Несколько минут они сидели неподвижно, молча.

— И все еще нет письма от мамы,— сказала она вполголоса.

— Да, правда... Ваша матушка...

На секунду она рассердилась на него за то, что он так мало разделял снедавшую ее тревогу.

— Никаких известий?

— Открытка из Вены, написанная на вокзале в понедельник: «Доехала благополучно». И все.

Женни получила эту открытку накануне, в среду утром.

И с тех пор в смертельном беспокойстве тщетно поджидала почту: ни писем, ни телеграмм. Она терялась в догадках.

Он рассеянным взглядом окидывал эту незнакомую ему комнату, вид которой так сильно взволновал бы его несколькими днями раньше. Это была маленькая комнатушка, светлая и аккуратно прибранная, оклеенная обоями в белую и голубую полоску. Камин служил туалетом; щеточки слоновой кости, подушечка для булавок, несколько фотографий, воткнутых за рамку зеркала. На столе закрытый бювар из белой кожи. Все было на своем месте, если не считать нескольких наспех сложенных газет.

Еле слышно он шепнул ей на ухо:

— Ваша комната...— Затем, видя, что она не отвечает, он неопределенно заметил: — Я, право, не думал, что ваша матушка задержится за границей.

— Вы ее не знаете! Мама никогда не отказывается от того, что решила. И теперь, очутившись там, она захочет выполнить все, что задумала... Но удастся ли ей? Как вы думаете? Не опасно ли сейчас находиться в Австрии? Как по-вашему, что может случиться? И, по крайней мере, разрешат ли ей вернуться, в случае если она задержится?

— Не знаю,— признался Жак.

— Что можно сделать? У меня нет даже ее адреса... Чем объяснить это молчание? Я думаю, что если бы она выехала обратно, то дала бы мне телеграмму... Значит, она осталась в Вене и, разумеется, пишет мне; очевидно, письма пропадают в пути...— Она с тревогой указала на лежавшие на столе газеты: — Когда читаешь о том, что происходит, поневоле дрожишь от страха...

За этими газетами Женни побежала спозаранку, торопясь вернуться домой, чтобы не пропустить возвращения Жака. И все утро она читала и перечитывала их, одержимая мыслью об опасности, нависшей над всеми дорогими ей существами: Жаком, матерью, Даниэлем.

— Даниэль тоже написал мне,— сказала она, поднимаясь.

Она вынула из бювара конверт и протянула его Жаку. Затем сама, словно преданный зверек, села на прежнее место и снова прижалась к нему.

Даниэль не скрывал беспокойства, которое доставляла ему поездка г-жи де Фонтанен. Он сожалел об участи Женни, одинокой в Париже среди всех этих волнений. Он советовал ей повидаться с Антуаном, с семьей Эке. Он умолял ее не тревожиться: все может еще уладиться. Но в постскриптуме он сообщал, что его часть наготове, что он предполагает выехать из Люневиля этой ночью и что, может быть, ему будет трудно присылать ей известия о себе в ближайшие дни.

Прислонив голову к груди Жака, подняв глаза, она смотрела, как он читает. Он сложил письмо, отдал ей его. И увидел, что она ждет хоть слова надежды.

— Даниэль прав: все может еще уладиться... Если б только народы поняли... Если бы они решились действовать... Вот над чем надо работать до последней, до самой последней минуты.

Увлеченный одной неотступной мыслью, он кратко рассказал о манифестациях в Париже, в Берлине, в Брюсселе, о восторге, охватившем его при виде единодушного порыва масс, которые вопреки и наперекор всему кричали во всей Европе о своем стремлении к миру. И внезапно он устыдился, что находится здесь. Он подумал о работе своих товарищей, о собраниях, организованных в этот самый день в различных социалистических секциях, обо всем том, что предстояло проделать ему самому,— об этих деньгах, которые он должен был получить и как можно скорее передать в распоряжение партии... Он поднял голову и, продолжая гладить волосы девушки, сказал грустно и в то же время сурово:

— Я не могу оставаться с вами, Женни... Слишком многое призывает меня...

Она не шевельнулась, но он почувствовал, что она вся сжалась, и увидел полный отчаяния взгляд, который она бросила на него. Он сильнее прижал ее к груди, покрыл поцелуями побледневшее, расстроенное лицо. Ему было жаль ее, и вся тяжесть событий внезапно стала для него еще мучительней от этой немой скорби, помочь которой он был не в силах.

— Не могу же я взять вас с собой...— прошептал он, словно думая вслух.

Она вздрогнула и решилась произнести:

— А почему бы нет?

Не успел он понять, что Женни собирается делать, как она выскользнула из его объятий, открыла шкаф, вынула шляпу, перчатки.

— Женни! Я сказал так, но... Послушайте, это невозможно... Мне надо столько сделать, повидать стольких людей... Я должен зайти в «Юма»... в «Либертэр»... в другие места... вечером в Монруж... Куда вы денетесь, пока я буду там?

— Я останусь внизу, на улице,— ответила она умоляющим тоном, который удивил их обоих. Она отбросила всю свою гордость. Эти три дня разлуки преобразили ее.— Я буду ждать вас столько, сколько понадобится... Я ни в чем не стесню вас... Позвольте пойти с вами, Жак, позвольте мне разделить вашу жизнь... Нет, об этом я вас не прошу, я знаю, что это невозможно... Но не оставляйте меня... здесь... с этими газетами!

Никогда еще он не чувствовал ее такой близкой: это была новая Женни — боевой товарищ!

— Я беру вас с собой! — весело вскричал он.— И познакомлю с моими друзьями... Вы увидите... А вечером мы вместе пойдем на митинг в Монруж... Идемте!

— Прежде всего надо покончить с этим делом о наследстве,— решительно заявил он, как только они очутились на улице.— А затем надо будет узнать, насколько верны известия «Пари-Миди».

Голос его звучал весело. Присутствие молодой девушки вернуло ему былое оживление — оживление его лучших дней. Он взял Женни под руку и увлек ее за собой, направляясь быстрыми шагами к Люксембургскому саду.

В конторе маклера (так же как в филиалах банков, в почтовых отделениях, в сберегательных кассах) толпа осаждала окошечки, обменивая бумажные деньги на звонкую монету. На Бирже уже два дня была паника. Биржевые маклеры и крупные биржевые волки ходатайствовали перед правительством о моратории, который на всякий случай позволил бы перенести июльские платежи на конец августа.

— Надо сказать, что вы недурно осведомлены, сударь,— признался уполномоченный, подмигнув ему с почтительным видом.— Через сорок восемь часов мы уже не могли бы исполнить ваше распоряжение.

— Знаю,— невозмутимо ответил Жак.

Несколькими часами позже половина внушительного состояния, оставленного г-ном Тибо, за вычетом двухсот пятидесяти тысяч франков в южноамериканских процентных бумагах,— реализовать их в столь короткий срок оказалось невозможно,— была стараниями Стефани передана в осторожные и умелые руки, которые взялись менее чем через сутки предоставить этот анонимный дар в распоряжение Международного бюро.

LVI

Приблизительно в этот же час Антуан поднимался по лестнице министерства иностранных дел, чтобы сделать Рюмелю его обычное впрыскивание. В последнее время, особенно после возвращения министра, дипломат, не знавший отдыха ни днем, ни ночью, вынужден был отказаться от визитов на Университетскую улицу, а так как его переутомленный организм более чем когда-

либо нуждался в этом ежедневном подстегивании, то было условлено, что доктор будет регулярно приходить в министерство. Антуан охотно пошел на это нарушение своего расписания: двадцать минут, проведенных в кабинете Рюмеля, ежедневно вводили его в курс дипломатических дел, и он считал, что благодаря этой счастливой случайности принадлежит к узкому кругу лиц, наиболее осведомленных во всем Париже.

Несколько человек ожидали приема в зале и в соседней маленькой гостиной. Но привратник знал доктора и провел его служебным ходом.

— Итак,— сказал Антуан, вынимая из кармана номер «Пари-Миди»,— события разворачиваются?

— Тс-с!..— произнес Рюмель, поднимаясь с места и нахмурив брови.— Уничтожьте это, и поскорее... Мы немедленно дали опровержение! Правительство намерено возбудить судебное преследование за эту наглую утку. А пока что полиция уже наложила арест на все, что осталось от тиража.

— Так, значит, это ложь? — спросил Антуан, сразу успокоившись.

— Н... нет.

Антуан, ставивший в это время свой ящик с инструментами на угол письменного стола, поднял голову и молча посмотрел на Рюмеля, который с измученным видом медленно раздевался.

— Сегодня ночью у нас действительно было жарко...— Тембр его голоса, приглушенного усталостью, показался Антуану изменившимся.— В четыре часа утра все мы были еще на ногах, и нам было не слишком весело... Военный министр вместе с морским были срочно вызваны в Елисейский дворец, где уже находился премьер-министр. Там в течение двух часов действительно рассматривались... крайние меры.

— И... они не были приняты?

— Окончательно — нет. Пока еще нет... Утром даже получена инструкция объявить, что атмосфера немного разрядилась. Германия взяла на себя труд официально нас предупредить, что она не проводит мобилизации: напротив, она ведет «переговоры». С Веной и с Петербургом. Поэтому в данный момент нам трудно взять на себя инициативу, которая повлекла бы за собой риск...

— Но ведь этот германский жест — хороший знак!

Рюмель остановил его взглядом:

— Хитрость, мой друг! Не более как хитрость! Показная сдержанность, чтобы попытаться, если возможно, привлечь Италию на сторону Центральных держав. Жест, который фактически не может иметь никаких последствий: Германия знает не хуже нас, что Австрия больше не может, а Россия не хочет отступать.

— То, что вы говорите просто ошеломляет...

— Ни Австрия, ни Россия... *ни остальные,* впрочем... Да, дорогой мой, это-то и делает положение дьявольски трудным: почти везде, в каждом правительстве, есть еще стремление к миру, но в то же время сейчас уже повсюду есть стремление к войне... Нет больше ни одного правительства, которое, оказавшись силою обстоятельств поставленным перед этой грозной гипотезой, не сказало бы себе: «В конце концов, это игра... и, быть может, удобный случай,— надо им воспользоваться!» Да, да! Вы отлично знаете, что каждая европейская нация всегда имеет про запас какую-то тайную цель, всегда стремится извлечь какую-то выгоду из той войны, в которую ее могут втянуть...

— Даже мы?

— Самые миролюбивые из наших правителей уже говорят себе: «В конце концов, вот, пожалуй, удобный случай покончить с Германией... и снова завладеть Эльзас-Лотарингией». Германия надеется прорвать окружение, Англия — уничтожить германский флот и отхватить у немцев их торговлю и колонии. Каждый за катастрофой, которой он еще хотел бы избежать, уже видит те барыши, которые, может быть, ему удастся получить, если... если эта катастрофа разразится.

Рюмель говорил тихим и монотонным голосом. Видимо, он до изнеможения устал говорить и в то же время был не в силах замолчать.

— Так что же? — спросил Антуан. Он испытывал чисто физическое отвращение к неуверенности, к ожиданию и в эту минуту почти предпочел бы узнать, что война объявлена и остается только идти воевать.

— А кроме того...— начал Рюмель, не отвечая ему. Он замолчал, медленно запустил пальцы в свою длинную волнистую шевелюру и стиснул руками лоб.

В течение двух недель подряд, с утра и до вечера обсуждая все эти вопросы, слушая все эти споры, он, кажется, перестал уже полностью отдавать себе отчет в важности событий, о которых сообщал. Стоя, опустив глаза, сжимая руками виски, он улыбался. Полы его рубашки колыхались вокруг ляжек, жирных, белых и покрытых светлым пушком. Его улыбка относилась не к Антуану. Это была неопределенная, кривая, почти бессмысленная улыбка, в которой, уж конечно, не было ничего «львиного». Следы самого явного изнурения читались на его одутловатом лице, на морщинистом, землистом лбу с прилипшими к нему от пота седыми завитками. Последние две ночи он провел в министерстве. Он был больше чем измучен: потрясения этой исполненной дра-

матизма недели подорвали, разрушили, исчерпали его силы, и он был словно попавшая на крючок рыба, которую долго водили зигзагами под водой. Благодаря впрыскиваниям (и таблеткам колы, которые он, несмотря на запрещение Антуана, глотал каждые два часа) ему еще удавалось выполнять обычную повседневную работу, но в состоянии, близком к сомнамбулизму. Заведенный механизм еще действовал, но у владельца его было такое ощущение, будто испортилась какая-то существенно важная деталь: машина перестала повиноваться.

Он внушал жалость. Однако Антуан хотел знать наверное; он повторил:

— А кроме того?

Рюмель вздрогнул. Не отнимая рук от лба, он поднял голову. Она казалась ему жужжащей и хрупкой, готовой треснуть от малейшего толчка. Нет, так не могло продолжаться: в конце концов, что-то должно было лопнуть там, внутри... В эту минуту он отдал бы все на свете, пожертвовал бы своей карьерой, честолюбием ради двенадцати часов одиночества, полного покоя,— все равно где, пусть даже в тюремной камере.

Тем не менее он продолжал, еще больше понизив голос:

— И кроме того, нам *доподлинно* известно следующее: Берлин предупредил Петербург, что при малейшем усилении русской мобилизации Германия тоже немедленно объявит мобилизацию... Своего рода ультиматум!

— Но что же мешает России приостановить мобилизацию? — вскричал Антуан.— Ведь только вчера было сообщение о том, что царь предлагает третейский суд Гаагского трибунала!

— Совершенно верно, дорогой мой, но факты таковы: в России *одновременно* с разговорами о третейском суде упорно продолжают проводить мобилизацию! — произнес Рюмель с каким-то безразличием.— Мобилизацию, которую начали, не только нас не предупредив, но даже тайком от нас... И начали когда? По словам некоторых, двадцать четвертого! За четыре дня до объявления войны Австрией! За пять дней до австрийской мобилизации! Вчера вечером его превосходительство господин Сазонов определенно заявил нам, что Россия усиливает свои военные приготовления. Господин Вивиани, который, по-моему, искренне, чем многие другие, желает во что бы то ни стало избежать войны, буквально сражен. Если указ о мобилизации — *о всеобщей* мобилизации — был бы наконец сегодня вечером официально опубликован в Петербурге, это бы никого из нас не удивило!.. Вот что вызвало созыв военного совета сегодня ночью. И действительно, это неизмеримо важнее платонического предложения о третейском суде в Гааге! Или даже братских писем, которыми чуть ли не ежечасно

обмениваются кайзер и царь, его кузен!.. Чем объясняется это вызывающее упорство России? Может быть, тем, что господин Пуанкаре всегда осторожно повторял, будто французская военная поддержка будет оказана России лишь в случае военного выступления Германии? Вот вопрос, который задают себе все... Можно подумать, что Петербург хочет заставить Берлин сделать агрессивный жест, который принудил бы Францию выполнить свои союзные обязательства.

Он замолчал. Внимательно разглядывая свои колени, он ощупывал ноги. Может быть, он колебался, говорить ли ему дальше? Вряд ли: у Антуана создалось впечатление, что сегодня дипломат был уже не в состоянии взвешивать, о чем можно говорить и о чем ему следовало бы умолчать.

— Господин Пуанкаре поступил очень ловко,— продолжал Рюмель, не поднимая головы.— Очень ловко... Подумайте: наш посол в Петербурге сегодня ночью получил телеграфный приказ *категорически* заявить от имени своего правительства, что оно *не одобряет* русской мобилизации.

— В добрый час! — наивно произнес Антуан.— Я никогда не принадлежал к числу людей, считающих, что Пуанкаре соглашается на войну.

Рюмель ответил не сразу.

— Господин Пуанкаре больше всего заботится о том, чтобы на нас не возложили ответственность,— прошептал он с неожиданным смешком.— Теперь, видите ли, эта телеграмма — запоздала она или нет — находится там, что бы *ни случилось потом;* она останется в архивах, она засвидетельствует наше желание сохранить мир. Честь Франции спасена... И вовремя... Это очень ловко.

Глухо прозвучал звонок, и Рюмель снял телефонную трубку.

— Невозможно... Скажите ему, что я не могу принять ни одного журналиста... Нет, даже его!

Антуан размышлял вслух:

— Но если бы Франция захотела еще и сейчас решительным образом прекратить русскую мобилизацию, разве у нее не нашлось бы более действенного средства, чем официальный протест? Судя по тому, что вы мне рассказывали на днях, наши договоры не обязывают нас оказывать поддержку русским, если Россия объявит мобилизацию *раньше* Германии. Так вот, разве недостаточно было бы в соответствующем тоне напомнить об этом вашему Сазонову, чтобы заставить его приостановить свои приготовления?

Рюмель снисходительно пожал плечами, словно слушая болтовню мальчишки.

— Дорогой мой, что же осталось от старых франко-русских договоров? История скажет, прав я или нет, но мне кажется,

что за последние два года, и особенно за последние недели, благодаря тонкой, извечно двойной игре славян, а быть может, также из-за великодушной неосторожности наших правителей наш союз с Россией был возобновлен *без всяких условий*... и что Франция заранее обязалась поддержать любое военное выступление своей союзницы... И что это сделано помимо нашего министерства иностранных дел, — добавил он вполголоса.

— Но ведь Вивиани и Пуанкаре сходятся во взглядах...

— Гм! — произнес Рюмель.— Разумеется, сходятся... С той разницей, что господин Вивиани всегда противостоял влиянию военных кругов... Вы знаете, что до того, как Вивиани стал премьер-министром, он принадлежал к числу лиц, голосовавших против трехгодичной военной службы... Еще вчера, сразу после приезда, он, по-видимому, твердо верил, что все должно, что все может уладиться... Интересно, что он думает об этом сейчас? Сегодня ночью, после военного совета, он был неузнаваем, на него жалко было смотреть... В случае, если у нас объявят мобилизацию, я не удивлюсь, узнав, что он подал в отставку...— Не переставая говорить, он, волоча ноги, подошел к кушетке и лег на бок, уткнувшись носом в подушки.— Кажется, дорогой мой, сегодня у нас правая ляжка? — продолжал он тем же поучительным тоном.

Антуан подошел к нему, чтобы сделать укол.

Наступило длительное молчание.

— Вначале,— невнятно заговорил Рюмель заглушенным подушкой голосом,— систематически саботировала все усилия, предпринимавшиеся для сохранения мира, по-видимому, Австрия. Теперь это, бесспорно, Россия...— Он встал и начал одеваться.— Таким образом, это она своей непримиримостью подавила новую попытку английского посредничества. Вчера в Лондоне серьезно поработали и кое-что придумали: Англия предложила временно принять оккупацию Белграда как совершившийся факт, просто как залог, взятый Австрией, но потребовать взамен, чтобы Австрия открыто заявила о своих намерениях. Это могло бы все же послужить исходной точкой для начала переговоров. Но для этого требовалось единодушное согласие держав. И вот Россия наотрез отказала в своем: она поставила непременным условием официальное прекращение военных действий в Сербии и вывод из Белграда австрийских войск, что при настоящем положении вещей значило потребовать от Австрии совершенно неприемлемого отступления! И снова все разрушено. Нет, нет, дорогой мой, нечего обольщаться. Россия повинуется твердому решению, которое, очевидно, было принято ею не вчера. Она ничего больше не хочет слышать: она не намерена отказываться от этой войны, надеется

извлечь из нее выгоду, и всех нас втянет в эту игру... Нам ее не избежать!

Он надел пиджак и машинально направился к камину, чтобы проверить в зеркале, хорошо ли завязан галстук, но на полдороге обернулся:

— А думаете, хоть кто-нибудь из нас действительно знает правду? Ложных известий гораздо больше, чем истинных... Как в них разобраться? Подумайте, дорогой мой, ведь вот уже две недели, как повсюду, во всех кабинетах министров иностранных дел и начальников генеральных штабов без умолку звонит телефон, требуя немедленных ответов, не оставляя времени измученным носителям власти ни на размышление, ни на изучение вопроса! Подумайте о том, что во всех странах на столах канцлеров, министров, глав государств ежечасно скапливаются груды шифрованных телеграмм, разоблачающих тайные намерения соседних наций! Это неистовый перезвон новостей, противоречивых утверждений, из которых каждое важнее и неотложнее другого! Как разобраться в этом адском сумбуре? Какое-нибудь ультраконфиденциальное сообщение, полученное нами через наши секретные органы, раскрывает неожиданную, непосредственную опасность, которая может еще быть предотвращена быстрым ответным ударом. Проверить это невозможно. Если мы решимся на удар, а известие окажется ложным, наша инициатива осложнит положение, быть может, вызовет решительный шаг противника, подвергнет опасности идущие к концу переговоры. Если же не решимся, а опасность вдруг окажется реальной? Завтра действовать будет уже поздно... Европа буквально шатается, словно пьяная, под этой лавиной известий, наполовину истинных, наполовину ложных...

Он ходил взад и вперед по комнате, неловко поправляя воротничок, почти шатаясь,— как и Европа,— от сумятицы своих мыслей.

— Бедные министры! — пробурчал он.— Всякий бросает в них камнем... А между тем только они имели возможность спасти дело мира. И, быть может, это удалось бы им, если бы они могли посвятить всю свою энергию существу спора. Но главные их силы расходуются на то, чтобы оберегать самолюбие отдельных людей и наций! Это очень печально, друг мой...

Он остановился возле Антуана, который молча закрывал ящик с инструментами.

— И кроме того,— продолжал Рюмель, как бы невольно думая вслух,— дипломаты, члены правительства сейчас уже не единственные, кто решает... Здесь, на Кэ-д'Орсе, у всех нас создалось за последние дни впечатление, что время политики и дипло-

матии прошло... Теперь в каждой стране есть люди, которые одержали верх,— это военные... Сила у них: они кричат о защите национальной безопасности, и все гражданские власти капитулируют перед ними... Да, даже в наименее воинственных странах реальная власть находится уже в руках генеральных штабов... А раз дело дошло до этого, мой милый, раз дело дошло до этого...— Он сделал неопределенный жест. Кривая и бессмысленная улыбка опять появилась у него на губах.

Зазвонил телефон.

В течение нескольких секунд Рюмель пристально смотрел на аппарат.

— Дьявольский механизм,— прошептал он, не поднимая глаз.— Механизм, который как бы действует сам собой... Мы катимся в пропасть, словно поезд с неисправными тормозами. Увлеченный собственной тяжестью, он мчится теперь под уклон с быстротой, возрастающей с минуты на минуту... с головокружительной быстротой. Кажется, что события *выскользнули из рук*... что они движутся, движутся сами собой... и никто ими не управляет, никто их не хочет... Никто... Ни министры, ни короли. Нет ни одного имени, которое бы можно было назвать... У всех нас такое ощущение, словно мы захвачены, обобраны, обезоружены, обмануты — неизвестно кем, неизвестно как. Каждый делает то, что он отказывался делать, то, чего никоим образом не хотел делать еще накануне. Словно все ответственные лица стали игрушками... игрушками каких-то таинственных сил, которые управляют событиями откуда-то сверху, издалека...

Он положил руку на телефон, продолжал смотреть на него рассеянным взглядом. Наконец он выпрямился. И, прежде чем взять трубку, дружески кивнул Антуану.

— До завтра, мой друг... Извините, я вас не провожаю.

LVII

Антуан вышел из министерства до того усталый, возбужденный, потрясенный, что решил, хотя день у него был очень загружен, сначала отдохнуть минутку дома, а потом уже продолжать визиты. Он повторял про себя, не вполне еще веря в то, что это возможно: «Может быть, через месяц... меня мобилизуют... Полная неизвестность...»

Войдя в подъезд, он заметил молодого человека, который выходил из вестибюля. Увидев его, тот остановился.

Это был Симон де Батенкур.

«Муж!» — подумал Антуан, сразу насторожившись.

Он узнал его не сразу, хотя прежде неоднократно встречался с ним — и не далее, как в прошлом году, когда пришлось положить в гипс девочку Анны.

Симон начал оправдываться:

— Я думал, что сегодня ваш приемный день, доктор... На всякий случай я записался на завтра, но мне так хотелось бы сегодня же вечером уехать обратно в Берк... Если это не очень вас затруднит...

«Какого черта ему от меня надо?» — подозрительно спросил себя Антуан. Он решил играть честно и не уклоняться от разговора.

— Десять минут...— произнес он не слишком приветливо.— Прошу извинить, но сегодня я буду занят визитами весь день. Поднимитесь вместе со мной.

Бок о бок с этим человеком в узкой кабинке лифта, где смешивалось их дыхание, Антуан, скованный враждебным чувством, которое еще усугублялось каким-то необъяснимым отвращением, повторял про себя: «Муж Анны... Муж...»

— Как вы думаете, удастся избежать войны? — внезапно спросил Батенкур. Неопределенная, по-детски кроткая улыбка блуждала на его губах.

— Я начинаю в этом сомневаться,— мрачно пробормотал Антуан.

Лицо молодого человека исказилось.

— Послушайте, это невозможно... Не может быть, чтобы дошло до этого...

Антуан молча играл связкой ключей. Он толкнул дверь.

— Входите.

— Я приехал посоветоваться с вами относительно моей маленькой Гюгеты...— начал Симон.

Он с трогательным волнением произносил имя этой девочки, которая была для него чужой, но которую он полюбил как дочь; судя по всему, он целиком отдал себя заботам о ее выздоровлении. Рассказывая подробности жизни маленькой больной, он был неиссякаем. Она с ангельским терпением переносит эту длительную неподвижность в гипсе, уверял он. Проводит на воздухе по девять-десять часов в день. Он купил ей маленькую белую ослицу, чтобы возить «гроб» по улицам Берка до самых дюн. Вечером он читает ей вслух, немного занимается с ней французским, историей, географией.

Провожая Батенкура в свой кабинет, Антуан молча слушал его и, вновь обретя профессиональное внимание, пытался следить за нитью этой болтовни, связать воедино признаки, которые могли бы осветить перед ним физиологическое состояние больной. Он совер-

шенно забыл об Анне. И, лишь увидев, как Батенкур садится в то самое кресло, в которое он так часто усаживал свою любовницу, сказал себе со странной настойчивостью: «Человек, который сидит здесь, говорит со мной и улыбается мне, который только что доверил мне свои сокровенные думы,— этого человека я обманываю, обкрадываю, и он об этом не знает...»

Вначале он испытал при этой мысли лишь какое-то неопределенное неприятное ощущение чисто физического порядка, похожее на то, какое вызывает нежелательное или даже слегка противное прикосновение. Но так как Симон внезапно замолчал и казался несколько смущенным, в уме Антуана мелькнуло подозрение: «Знает?»

— Однако я приехал сюда не для того, чтобы рассказывать вам, как я ухаживаю за больной,— сказал Батенкур.

Взгляд Антуана, испытующий помимо его воли, побуждал собеседника продолжать.

— Дело в том, что передо мной встают сейчас кое-какие трудные вопросы... В письмах рискуешь быть непонятым... Я предпочел повидаться с вами, чтобы привести все это в ясность...

«А в конце концов, почему бы ему не знать?» — внезапно подумал Антуан.

Несколько секунд оба молчали, причем Антуан находился во власти самых нелепых предположений.

— Вот что,— выговорил наконец Симон.— Я не уверен в том, что пребывание в Берке во всех отношениях полезно для Гюгеты.— И он пустился в климатологические рассуждения.

По его мнению, начиная с пасхи улучшение резко замедлилось. Беркский врач, хотя и заинтересованный в том, чтобы превозносить свой край, тем не менее допускает мысль, что близость моря оказывает на здоровье ребенка неблагоприятное действие. Быть может, нужна горная местность? Мисс Мэри, гувернантка Гюгеты, как раз получила через своих знакомых англичан сведения об одном необыкновенном молодом враче в департаменте Восточных Пиренеев, который специализировался на подобного рода заболеваниях и достигает поразительных результатов.

Не двигаясь с места, Антуан изучал это тонкое лицо, нос с горбинкой, как у козла, бледную кожу блондина, которую не сумел покрыть загаром даже морской воздух. Казалось, он внимательно слушает, тщательно взвешивает все доводы Батенкура. В действительности же он почти не слушал его. Он думал о том, какое мнение о своем муже в одну из редких минут откровенности высказала ему Анна: человек ничтожный и лицемерный, эгоистичный, тщеславный, скрытный и злой. До сих пор он без всякого недоверия относился к этому портрету, потому что она говорила о

Симоне с презрительным равнодушием, которое казалось залогом правдивости, но теперь, когда оригинал был перед ним, множество неясных мыслей зашевелилось в его мозгу.

— Не перевезти ли мне Гюгету в Фон-Роме? — спросил Батенкур.

— Пожалуй, хорошая мысль... Да...— пробормотал Антуан.

— Разумеется, я поселюсь подле нее. Расстояние, одиночество — все это не играет для меня никакой роли, если только девочке будет там хорошо. Что касается моей жены...— Выражение страдания, быстро подавленное, скользнуло по лицу Симона, когда он упомянул об Анне.— Она не часто приезжает к нам в Берк,— признался он с улыбкой, которая пыталась быть снисходительной.— Париж так близко, вы понимаете... Она постоянно принимает приглашения друзей, невольно отдается светской жизни. Но если бы она навсегда поселилась в Фон-Роме вместе с нами, то, может быть, скоро забыла бы свой Париж...

Мечта о возобновлении близости промелькнула в его взгляде, мечта, в которую он не верил и сам,— это было видно. Без сомнения, он любил эту женщину, любил до боли, как в первый день.

— Быть может, все бы переменилось...— загадочно прошептал он.

Антуан ясно видел, какими внешними чертами могло быть оправдано мнение Анны о Симоне. Тем не менее,— и эта уверенность все больше и больше укреплялась в нем,— тем не менее человек, сидевший здесь, напротив него, в этом кресле, был совершенно не похож на портрет, нарисованный Анной. Двоедушие, эгоизм, злость — все это были обвинения, которые и пяти минут не устояли бы перед испытующим взором, перед той интуитивной проницательностью, которая пробуждает у наблюдателя, мало-мальски одаренного чутьем, присутствие самого человека, непосредственное соприкосновение с ним. Напротив: прямота, природная скромность, доброта Батенкура проявлялись в каждом его слове, даже в неловкости его манер. «Человек слабовольный? Возможно! — думал Антуан.— Нерешительный, неуравновешенный? Без сомнения. Глупый? Быть может... Но чудовище лицемерия — разумеется, нет!»

Симон спокойно продолжал монолог. Глядя на него добрыми глазами, полными признательности и доверия, он пояснил, что, разумеется, никогда и не думал принять столь важное решение, не посоветовавшись с Антуаном. Он всецело полагается на него. Ему известны его познания, его преданность делу. Он даже надеялся, что, может быть, Антуан захочет, решая вопрос, вооружиться всеми необходимыми данными и приедет на несколько часов в Берк, чтобы еще раз посмотреть больную девочку. Хотя, разумеется, при настоящем положении вещей...

Теперь Антуан слушал его внимательно: он внезапно принял решение навсегда порвать свою связь с Анной.

Действительно ли это было решено сейчас, в эти несколько минут? Или это бесповоротное решение было давно уже принято где-то в сокровенных глубинах его воли? Да и можно ли было назвать решением это немедленное и беспрекословное подчинение необходимости, сделавшейся вдруг неотложной, властной, непреоборимой?.. Будь у него время разобраться в самом себе, он, конечно, понял бы, что упорство, с каким он последнее время избегал телефонных звонков Анны, уклонялся от свиданий, которые она без конца назначала ему через Леона, уже выдавало тайное, еще не осознанное желание разрыва. Он даже вынужден был бы признаться самому себе, что, хотя политика как будто не играла тут никакой роли, все же трагические события, волновавшие Европу, отчасти способствовали этому отчуждению — словно его связь с этой женщиной была ниже уровня каких-то новых чувств, не подходила к масштабу событий, потрясавших мир.

Как бы то ни было, но ускорило разрыв, сделало его, почти без ведома Антуана, чем-то окончательным, как бы совершившимся фактом, именно присутствие Симона в его кабинете. Ему было нестерпимо находиться здесь, у себя дома, лицом к лицу с этим обманутым человеком, принимать с видом лицемерного прямодушия его уважение, его доверие и видеть, как этот человек, ничего не знающий о той роли, на которую его обрекли, обращается к нему, словно к надежному другу. Он смутно думал про себя: «Так нельзя... Этого не должно быть... Жизнь не должна быть такой... Прежде всего я,— да, это верно,— мои удовольствия, мои развлечения... Но рядом есть люди, связанные со мной, есть судьбы, легкомысленно жертвовать которыми просто чудовищно... Вот из-за таких людей, как я, из-за людей, живущих, как я, из-за таких поступков, как этот,— распущенность, и ложь, и несправедливость, и душевные страдания воцарились в этом мире».

Странная вещь: начиная с момента, когда он не допускающим возражения тоном заявил себе: «Анна и я — это кон-че-но»,— все, словно по волшебству, показалось ему отодвинувшимся во мрак. Да, в самом деле, как будто бы никогда ничего и не было. Он мог теперь без малейшей неловкости смотреть Батенкуру в глаза, улыбаться ему, говорить слова утешения, давать советы. Когда Симон застенчиво, как школьник, пробормотал, поднимаясь с места: «Я, кажется, просидел дольше десяти минут»,— Антуан, засмеявшись, ласково коснулся его плеча. Он проводил его, болтая, до лестницы. Он даже обещал на следующей неделе приехать в Берк. (На минуту он забыл обо всем, даже о войне... Внезапно он вспомнил о ней. И подумал, что неизбежность катастрофы, угрожав-

шей ниспровергнуть все существующие ценности, несомненно, помогла ему со спокойным сердцем воспринять всю необычность этого свидания с глазу на глаз. «Быть может, через месяц мы оба будем убиты,— подумал он.— Какое значение в сравнении с этим имеет все остальное?..»)

— Поезд, который отходит в восемь тридцать, доставит вас в Ранг в одиннадцать часов, а к завтраку вы будете в Берке,— уже сообщал подробности Симон, очень обрадованный.

— Если не помешает что-либо непредвиденное...— внес поправку Антуан.

Лицо его собеседника побледнело и передернулось. На миг он прижал кулак к губам. Горестное смятение отразилось в его широко раскрытых глазах. Антуан с ясностью увидел, что в эту минуту сын старого гугенота, полковника графа де Батенкур, трепетал при мысли о своем солдатском долге.

— Что будет с Гюгетой, если меня мобилизуют? — сказал Симон, не глядя на Антуана.— У нее останется ее мисс...

В эту секунду оба одновременно и почти одинаково подумали об Анне.

Батенкур молча подошел к двери. На площадке лестницы он обернулся.

— Когда вы должны явиться по мобилизации?

— В первый день... Я врач пехотного батальона... Пятьдесят четвертый полк в Компьене... А вы?

— В третий... Я сержант. В Вердене, четвертый гусарский.

Они братски пожали друг другу руки. Затем, в последний раз дружески кивнув Симону, Антуан тихо затворил дверь.

С минуту он не двигался с места; глаза его были устремлены на ковер. Перед ним стояло отчетливое видение: Симон де Батенкур в форме гусарского сержанта скачет под огнем во главе своего взвода по равнине Эльзаса.

Резкий телефонный звонок привел его в себя.

«Может быть, это она?» — подумал он. На его лице появилась жестокая улыбка. Ему захотелось броситься к аппарату и покончить с этим сейчас же.

В конце коридора Леон уже снял трубку.

— Да... В пятницу, седьмого августа? Хорошо... В три часа... От профессора Жанте? Хорошо, сударь, я запишу...

Перелистывая свою записную книжку, Антуан спускался по лестнице, как вдруг звук знакомых голосов остановил его на площадке второго этажа. Он отворил дверь и направился к комнате, предназначенной для архива.

Штудлер и Руа спорили, сидя там. На них не было белых халатов. Кругом — на столах, на стульях — валялись сегодняшние газеты.

— Так-то вы работаете, друзья мои?

Штудлер с мрачным видом пожал плечами.

Руа встал, улыбнулся и вопросительно посмотрел на Антуана.

— Видели вы Рюмеля, патрон?

— Да. Известия «Пари-Миди» ложны. Правительство послало опровержение. Но дела идут все хуже и хуже...— После паузы он лаконически добавил: — Мы танцуем на краю пропасти...

— А Германия готовится! — проворчал Штудлер.

— К счастью, и мы тоже,— возразил Руа.

Наступило молчание.

— Последние шансы сохранить мир находятся в руках рабочего класса,— во вздохом сказал Штудлер.— Но он осознает это только тогда, когда будет слишком поздно... В народе существует по отношению к войне какой-то чудовищный фатализм... Впрочем, это понятно: детям еще в школе калечат мозги всем тем, что им рассказывают о прежних войнах, о славе, о знамени, об отечестве... тем значением, которое придается военным смотрам, парадам... и, наконец, воинской повинностью... Сегодня мы дорого платим за эти нелепости!

Руа слушал его, насмешливо улыбаясь.

Антуан снова вынул записную книжку и внимательно ее изучал.

— До свидания,— внезапно сказал он, надевая шляпу.— Этак я никогда не кончу своих визитов... До вечера!

Штудлер и Руа остались одни. Руа встал перед Халифом.

— Поскольку все равно не сегодня-завтра придется «идти», согласитесь, по крайней мере, что начало обещает быть недурным.

— Ах, замолчите, дружище!

— Да нет... Хоть раз подумайте об этом без предвзятого мнения... Если взвесить все, мы находимся в неплохом положении... Франция сильнейшим образом заинтересована в том, чтобы война вспыхнула сперва между Россией и Германией: это обеспечивает нам содействие русских и предоставляет роль помощницы, а она всегда бывает наиболее выгодной. С другой стороны, у нас — хочу на это надеяться — было время потихоньку подготовить нашу мобилизацию, не подвергаясь риску пресловутого внезапного нападения, которого так боялся наш генеральный штаб. Все это увеличивает наши шансы...

Штудлер молча смотрел на него.

— Так вот,— продолжал Руа,— если вы человек добросовестный, то вынуждены будете признать: момент неплохо выбран, что-

бы решить старую распрю и восстановить наконец национальную честь.

— Национальную честь! — вне себя прогремел Штудлер.

Дверь отворилась, и вошел Жуслен.

— Все еще спорите? — заметил он с усталым видом.

(Этот был в халате. Он питал отнюдь не больше иллюзий, чем остальные. Он знал, что через двадцать один день его наверняка уже не будет здесь, чтобы установить результат посева микробов, которому он отдал сегодня все утро, но считал своим долгом работать так, словно ничего не произошло. «Прежде всего это помогает не думать»,— сказал он как-то Антуану с грустной улыбкой, спрятанной в глубине его серых глаз.)

— Повсюду один и тот же дурацкий припев! — крикнул ему Штудлер, пожимая плечами.— Здесь — честь Франции! Там — самолюбие Австрии! В России — защита славянского престижа на Балканах!.. Как будто обеспечить мир народов,— даже если признать, что мы зашли слишком далеко,— не в тысячу раз *почетнее,* нежели вызвать всеобщую бойню!

Он приходил в ярость, видя, что националисты всегда присваивают себе монополию на благородство, бескорыстие, героические доблести, ибо хоть и не принадлежал ни к одной партии, отлично знал, что активным борцам — революционерам, которые во всех столицах ведут ожесточенную борьбу с силами войны, более чем кому бы то ни было свойственны величие и самоотречение, готовность превзойти себя ради трудно достижимого идеала, пылкость и сила духа, создающие героев.

Он не смотрел ни на Жуслена, ни на Руа; его неподвижный пророческий взгляд горел каким-то сосредоточенным блеском.

— «Национальная честь»! — проворчал он еще раз.— Все высокие слова уже мобилизованы, чтобы усыпить сознание людей!.. Кому-то надо во что бы то ни стало прикрыть нелепость всего происходящего, помешать всякому проявлению здравого смысла! *Честь! Отечество! Цивилизация!* А что кроется за этими приманками? Промышленные интересы, конкуренция рынков, мелкие комбинации политиканов и дельцов, ненасытная алчность правящих классов всех стран! Нелепость! Защита цивилизации? С помощью актов величайшего варварства! С помощью разнуздывания самых низменных инстинктов!.. Защита Права и Справедливости? С помощью анонимного убийства! Стреляя по беднягам, которые не хотят нам никакого зла и которых заставят идти против нас с помощью тех же шарлатанских средств! Нелепость! Нелепость!

— Браво, Халиф! — презрительно бросил Руа.

— Ну, ну! — мягко произнес Жуслен, кладя руку ему на плечо.

К юному Манюэлю Руа, их общему любимцу, он питал те же чувства, что и Антуан. Он любил его, сам хорошенько не зная, за что. За его спокойное мужество, за великодушную наивность. В этом воителе, исполненном нетерпения и бесхитростной готовности пожертвовать собой, он видел ту красоту, к какой именно он, Жуслен, человек науки и философских рассуждений, не мог оставаться безразличным. Он уважал в Руа тот идеал чистоты, ту наивную веру в возрождение через войну, за которую юноше, без сомнения, предстояло заплатить кровью.

— Честь...— проговорил он негромко.— По-моему, большая ошибка допускать проникновение моральных критериев в такую сферу, где они не имеют смысла: в экономическую борьбу, разъединяющую государства. Это все извращает, все отравляет. Парализует всякую реальную возможность соглашения. Придает вид сентиментальных идеологических конфликтов, *религиозных войн* тому, что, может быть, и действительно является только одним: конкуренцией между коммерческими фирмами!

— Кайо в тысяча девятьсот одиннадцатом году хорошо это понял,— с горячностью вставил Халиф.— Если бы не он...

Руа запальчиво перебил его.

— Вы, конечно, предпочли бы видеть своего Кайо в министерстве иностранных дел, а не на скамье подсудимых?

— Разумеется. И вы можете мне поверить, дорогой мой, что, если бы он остался у власти, мы не пришли бы к тому, к чему пришли!.. Если бы не он, всеобщая война — это радостное событие, приближение которого, по-видимому, преисполняет восторгом вас и ваших друзей — произошла бы, на счастье народов, тремя годами раньше!.. Он не говорил о национальной чести, он говорил о делах; он один, вопреки всему и всем, упорно стоял за программу, построенную на реальных фактах, на непосредственной выгоде!.. И благодаря этому ему удалось избежать самого худшего!

Жуслен заметил недобрый огонек, загоревшийся в глазах Руа. Он поспешил вмешаться.

— Я тоже считаю, что эта программа, если бы только упорно за нее держались, не вызвала бы таких противоречий, которые нельзя было бы разрешить путем дипломатических сделок, взаимных уступок. Деловые интересы легче примирить, чем чувства!.. Да, я тоже считаю, что такой человек, как Кайо... И если война разразится, то весьма возможно, что историки, сумевшие найти связь между судьбами народов и носом Клеопатры, сумеют также, освещая сложные причины настоящего конфликта, придать долж-

ное значение роковому выстрелу из револьвера в редакции «Фигаро».

Руа самоуверенно рассмеялся.

— Я предпочитаю не отвечать вам,— сказал он весело,— и предоставить эту заботу будущему!

LVIII

— Давайте пойдем с ними,— предложил Жак Женни.

Их было человек десять,— все они собрались в кафе «Круассан», чтобы вместе идти в Монруж, где должен был выступать Макс Бастьен.

(В этот вечер во всех округах Парижа — в Гренеле, в Вожираре, в Батиньоле, в Лавилет — социалистические секции устраивали небольшие митинги. В Бельвиле собирался выступить Вайян; ждали столкновений. В Латинском квартале студенты организовали собрание в зале Бюлье.)

Они доехали автобусом до Шатле, трамваем — до Орлеанских ворот; затем другим трамваем до площади Эглиз. Здесь пришлось слезть и по многолюдным улицам дойти пешком до использованного не по назначению театра, где происходило собрание.

Вечер был удушливый, воздух предместий — зловонный. После обеда все жители вышли из своих домов и слонялись, охваченные тревогой. Улицы оглашались криками газетчиков, продававших в пригородных районах вечерние газеты.

Женни неуверенно ступала по мостовым этих старых улиц. Она устала. От тяжести креповой вуали, которая в такую жару сильно пахла краской, у нее началась мигрень. В своем траурном костюме она чувствовала себя среди этих людей чужой,— большинство из них было в рабочей одежде; она инстинктивно сняла перчатки.

Жак, шагавший с ней рядом, ясно видел, что она с трудом поспевает за ним, но не решался взять ее под руку; в присутствии друзей он обращался с ней как с товарищем. Время от времени он бросал ей ободряющий взгляд, не прерывая разговора со Стефани о последних новостях, полученных в «Юманите».

Свой оптимизм Стефани основывал на брожении среди рабочих, которое, по его словам, все усиливалось. Число заявлений, выражающих массовый протест, возрастало. Появился манифест Социалистической партии, манифест социалистической фракции парламента, манифест Всеобщей конфедерации труда, манифест Федерации Сены, манифест межфедерального бюро свободомыслящих.

— Повсюду лихорадочная деятельность, повсюду грозные предупреждения,— утверждал он, и его агатовые глаза сверкали надеждой.

Один ирландский социалист, приехавший сейчас из Вестфалии, рассказал ему, обедая в кафе «Круассан», что сегодня вечером в Эссене, в самом центре немецкой металлургии, в сердце крупповских военных заводов, должна состояться внушительная антивоенная манифестация. Ирландец уверял даже, что на закрытых собраниях многие рабочие, чтобы помешать имперскому правительству в осуществлении его упорных воинственных замыслов, проповедовали саботаж.

Однако после полудня все встревожились по-настоящему. В залах редакции распространился пугающий слух, исходивший из Германии. Говорили, что кайзер в ультимативном тоне запросил у Сазонова объяснений по поводу русской мобилизации и, получив ответ, что эта мобилизация, хотя и частичная, *уже не может быть приостановлена*, велел подготовить приказ о мобилизации в Германии. В течение двух часов казалось, что все окончательно потеряно. Наконец германское посольство выступило с опровержением, и притом в самых категорических выражениях, которые убедили всех, что известие о германской мобилизации действительно было ложным. Стало известно, что его поместил в Берлине «Локальанцейгер»: ответ по ту сторону границы на инцидент с «Пари-Миди». Эта непрерывная смена горячих и холодных душей держала общественное мнение в опасном возбуждении. Жорес опасался вредных последствий этой паники больше всего остального. Он не переставал повторять, что долг каждой группы, каждого центра — бороться с неопределенными страхами, которые отдавали умы во власть неотвязных мыслей о законной самозащите и были на руку врагам мира.

— Ты видел его после того, как он вернулся? — спросил Жак.

— Да, я только что проработал с ним два часа.

Немедленно по приéзде из Бельгии, даже не успев сделать сообщение в парламентской социалистической фракции о результатах Брюссельской конференции, патрон собрал своих сотрудников, чтобы совместно с ними приступить к подготовке международного конгресса, который предполагалось созвать в Париже 9 августа. Чтобы обеспечить успех этой важной встречи европейских социалистов, у французской партии было в распоряжении всего десять дней,— нельзя было терять ни одного часа.

Присутствие Жореса в «Юманите» всех воодушевило. Он приехал, сильно ободренный твердой позицией немецких социалистов, полный веры в полученные от них обещания и готовый с новым увлечением отдаться борьбе. Возмущенный поведением прави-

тельства в истории с залом Ваграм, он тотчас же принял решение дать властям отпор и предложил защитникам мира блестящий реванш, назначив на следующее воскресенье, 2 августа, широкий митинг протеста.

— Ну, вот мы и пришли,— сказал Жак, ободряюще коснувшись руки Женни.— Это здесь.

Она увидела взвод полицейских, стоявших наготове под одним из портиков. Молодежь продавала «Батай сендикалист», «Либертэр».

Они вошли в тупичок, где люди стояли группами и, вместо того чтобы войти в театр, болтали между собой. Тем временем собрание началось. Зал был полон.

— Ты пришел послушать Бастьена? — спросил у Жака один из выходивших, какой-то партийный активист.— Кажется, его задержали в Федерации, и он не приедет.

Разочарованный, Жак чуть было не повернул назад, но Женни была не в силах сейчас же двинуться в обратный путь. Не обращая внимания на друзей, Жак повел молодую девушку в первые ряды, где он заметил два свободных места.

Секретарь секции, некто Лефор, председательствовал, сидя на сцене за садовым столом.

Муниципальный советник, избранник квартала Монруж, ораторствовал, стоя перед рампой. Он несколько раз повторил, что война — это «ахронизм».

Люди сидевшие рядом, болтали друг с другом, по-видимому, не слушая его.

— Тише! — время от времени выкрикивал председатель, стуча ладонью по цинковому столу.

— Присмотритесь к лицам,— сказал Жак шепотом.— Революционеров можно, кажется, различить по выражению лица. У одних революция в подбородке, у других — в глазах...

«А у него?» — подумала Женни. Вместо того чтобы смотреть на лица соседей, она рассматривала лицо Жака, его выдающийся, волевой подбородок, живой, немного жесткий взгляд, решительный и блестящий.

— Будете вы говорить? — робко прошептала она. Этот вопрос она задавала себе всю дорогу. Ей хотелось, чтобы он выступил, хотелось восхищаться им еще больше, но в то же время она и боялась этого, словно стесняясь чего-то.

— Не думаю,— ответил он, беря девушку под руку.— Я плохой оратор. В тех немногих случаях, когда мне приходилось выступать, меня все время угнетало чувство, что слова увлекают меня, искажают оттенки, извращают мою настоящую мысль...

Она больше всего любила, когда он вот так анализировал себя для нее, и вместе с тем ей всегда почти казалось, что все, что он говорит о себе, уже давно ей известно. Пока он говорил, она ощущала через материю теплоту руки, поддерживавшей ее локоть, и это так ее волновало, что она могла теперь думать только об одном — об этом сладостном, жгучем прикосновении, пронизывавшем ее тело.

— Понимаете,— продолжал он,— у меня всегда бывает такое ощущение, словно я немного лгу, утверждаю больше того, во что верю сам... Невыносимое ощущение...

Это было верно. Но так же верно было и то, что, начиная говорить, он испытывал головокружительное опьянение и что почти всегда ему удавалось создать между собой и слушателями какую-то живую связь, какое-то единодушие.

На трибуне другой оратор, толстяк с апоплексическим затылком, сменил муниципального советника. Его бас с первых же слов завоевал всеобщее внимание. Он бросал слушателям ряд безапелляционных утверждений, но проследить за нитью его мыслей было невозможно.

— Власть попала в руки эксплуататоров народа!.. Всеобщее избирательное право — это пагубный вздор!.. Рабочий — раб промышленного феодализма!.. Политика капиталистических торговцев оружием нагромоздила под полом Европы бочки с порохом, которые готовы взорваться!.. Народ, неужели ты позволишь продырявить себе шкуру, чтобы обеспечить прибыли заводчикам Крезо?..

Щедрые аплодисменты автоматически отмечали каждое из коротких заявлений, которые он отбарабанивал, задыхаясь, словно наносил удары дубинкой. Он привык к овациям; в конце каждой фразы он умолкал, ожидая их, и с минуту стоял с открытым ртом, словно в глотку к нему залетел майский жук.

Жак наклонился к девушке:

— Глупо... Им надо говорить вовсе не это... Надо убедить их, что их много, что они сила! Они смутно догадываются об этом, но они этого не *чувствуют!* Надо, чтобы они убедились на опыте, непосредственном, решительном. Вот для чего — да, и для этого тоже — так важно, чтобы на этот раз пролетариат выиграл игру! В тот день, когда он увидит на деле, что может собственными силами поставить непреодолимую преграду политике агрессии и заставить правительства отступить, он познает свою истинную силу, поймет, что он может все! И тогда...

Между тем публике начали надоедать бессвязные возгласы оратора. В одном углу театра разгорелся частный спор, который перешел в целый диспут.

— Тише! — вопил секретарь Лефор.— Инструкция Центрального комитета... Партийная дисциплина... Спокойствие, граждане!

Он питал явный ужас перед любым беспорядком, могущим повлечь за собой вмешательство полиции, и теперь заботился только о том, чтобы собрание закончилось без шума.

Появление перед рампой третьего оратора, последнего из записавшихся в этот вечер, на короткое время восстановило тишину. Это был Леви Мас, преподаватель истории в лицее Лаканаль, известный своими статьями о социализме и своими неладами с университетом. Его темой была история франко-германских отношений начиная с 70-го года. Он с большой эрудицией приступил к освещению вопроса и через двадцать пять минут после начала своей лекции только-только дошел до сараевского убийства. Горловым голосом, от которого дрожало пенсне на его длинном остром носу, он рассказал о «мужественной маленькой Сербии». Затем он увлекся, проводя параллели между группировками союзников, между австро-германскими и франко-русскими договорами.

Изнемогающая аудитория начала волноваться.

— Хватит! К делу!

— Программу действий!

— Что делать? Как помешать войне?

— Тише! — повторял Лефор с возрастающим беспокойством.

— Возмутительно! — шепнул Жак на ухо Женни.— Все эти люди пришли сюда, чтобы получить лозунг, простой, ясный, практический, а уйдут они с головой, набитой историей дипломатических отношений, с таким ощущением, что все это для них слишком сложно... что ничего нельзя сделать и надо ждать неизбежного...

Оратора прерывали возгласы:

— Что происходит? Куда нас ведут?

— Мы хотим знать правду!

— Да! Правду!

— Правду, граждане? — вскричал Леви Мас, смело встречая бурю.— Правда в том, что Франция — миролюбивая нация и что в течение последних двух недель она это великолепно доказывает, приводя в смущение все империалистические государства! Наше правительство, которое можно критиковать за его внутреннюю политику, стоит сейчас перед трудной задачей! Долг социалистической партии — не усложнять этой задачи! Разумеется, мы не согласимся принять весь тот националистический вздор, который буржуазия внесла в свою программу! Но,— и это надо сказать во весь голос, надо крикнуть об этом всему миру,— ни один француз не откажется защищать свою территорию в случае вторжения иностранцев!

Жак выходил из себя.

— Слышите? — сказал он, снова наклоняясь к Женни.— Ничто не может лучше подготовить народ к войне!.. Стоит только внушить ему уверенность в неизбежности германского нападения, и завтра он согласится на все что угодно.

Она подняла на него свои голубые глаза:

— Выступите! Вы!

Не отвечая, он смотрел на оратора. Он чувствовал вокруг себя растущее недовольство. И главное, в нерешительности этой толпы он ощущал тайное всеобщее возбуждение, благоприятное для революционного взрыва,— возбуждение, не воспользоваться которым было бы преступно.

— Хорошо! — сказал он вдруг.

И внезапно поднял руку, требуя слова.

Председатель одно мгновение внимательно разглядывал его, потом решительно отвел глаза.

Жак нацарапал на клочке бумаги свою фамилию, но не было никого, кто мог бы передать его Лефору.

Среди возрастающего шума Леви Мас заканчивал свою речь:

— Разумеется, граждане, положение затруднительное! Но оно не безвыходно, пока правительство имеет поддержку народа, чтобы уверенно защищать находящийся под угрозой мир! Перечитайте статьи нашего великого Жореса! Те, кто дерзко ищет ссоры с нами по ту сторону границы, должны почувствовать, что за нашими государственными деятелями и дипломатами стоит социалистическая Франция, единодушная в деле мирной защиты Права!

Он поправил пенсне, обменялся взглядом с председателем и поспешил подобру-поздорову убраться за кулисы. Раздалось несколько хлопков личных друзей оратора, прерванных неясными криками протеста, робкими свистками.

Лефор встал. Он размахивал руками, пытаясь водворить спокойствие. Публика решила, что он хочет говорить, и на минуту затихла. Он воспользовался этим, чтобы крикнуть:

— Граждане, собрание закрыто!

— Нет! — гневно выкрикнул Жак со своего места.

Но собравшиеся, повернувшись спиной к сцене, уже бросились к трем дверям, выходившим в тупик. Стук откидных сидений, крики, споры создавали оглушительный шум, который невозможно было перекричать.

Жак был вне себя. Никоим образом нельзя было допустить, чтобы эти люди, преисполненные лучших намерений, ищущие точных указаний, покинули зал в полной растерянности, так и не узнав, чего ждет от них Интернационал!

С трудом проталкиваясь сквозь толпу, он добрался до ниши оркестра. Сцена, отделенная от зала этой темной дырой, была недосягаема. С пеной у рта он кричал:

— Прошу слова!

Он прошел вдоль помещения оркестра до литерной ложи бенуара, разбежался, прыгнул в ложу, выбежал в коридор, нашел дверь, которая вела за кулисы, растолкал каких-то людей и ворвался наконец на уже опустевшие подмостки. Он продолжал кричать:

— Прошу слова!

Но его голос терялся в шуме. Перед ним зияла пыльная, уже на три четверти опустевшая пропасть театра. Он бросился к цинковому столу и начал яростно колотить по нему кулаками, словно бил в гонг.

— Товарищи! Прошу слова!

Немногие еще остававшиеся в зале — человек около пятидесяти — обернулись к сцене.

Раздались голоса:

— Слушайте!.. Тише!.. Слушайте!..

Жак продолжал стучать по столу, словно бил в набат. Он был бледен, растерзан. Его взгляд окидывал все концы зала. Он яростно кричал:

— Война! Война!

Воцарилось нечто похожее на тишину.

— Война! Она нависла над нами! Через двадцать четыре часа она может обрушиться на Европу!.. Вы требуете правды? Вот она! Возможно, что меньше, чем через месяц, все вы, находящиеся сейчас здесь, будете уничтожены!..

Резким движением он откинул прядь волос, падавшую ему на глаза.

— Война! Вы не хотите ее? Зато *они* ее хотят, они! И они навяжут ее вам! Вы будете жертвами! Но вы будете также и виновниками! Потому что только от вас зависит помешать этой войне... Вы смотрите на меня. Все вы спрашиваете себя: «Что делать?» Для этого-то вы и пришли сюда сегодня... Хорошо, я скажу вам это! Потому что есть нечто такое, что можно сделать. Есть еще возможность спасения. Единственная! Это — единодушный отпор! Отказ!

Более спокойно, поразительно владея собой, усилив голос и отчеканивая слова, чтобы его слышали все, он продолжал после короткой паузы:

— Вам говорят: «Капитализм, соперничество наций, могущество денег, торговцы оружием — вот что делает возможными войны». И все это верно. Но подумайте. Что такое война? Разве это лишь столкновение интересов? К несчастью, нет! Война — это люди

и кровь! Война — это мобилизованные народы, которые дерутся друг с другом! Все министры, все банкиры, все хозяева трестов, все в мире торговцы оружием были бы бессильны начать войну, если бы народы отказались подчиниться мобилизации, если бы народы отказались драться друг с другом! Пушки и ружья не стреляют сами собой! Чтобы воевать, нужны солдаты! И эти солдаты, на которых рассчитывает капитализм для своего дела наживы и смерти,— это мы! Ни одна законная власть, ни один приказ о мобилизации не может что-либо сделать без нас, без нашего согласия, без нашего слепого повиновения! Итак, наша участь зависит от нас самих! Мы сами хозяева своей судьбы, потому что нас много, потому что мы — сила!

И вдруг все зашаталось. Внезапное головокружение... Словно вспышка молнии осветила вдруг перед ним ответственность, которую он на себя взял. Имел ли он право выступить? Уверен ли в том, что знает истину?.. С минуту, снедаемый сомнениями, он был не в силах бороться с полнейшим упадком духа.

В этот момент в глубине театра произошло какое-то движение. Задержавшиеся отказались от мысли об уходе и медленно подвигались ближе к сцене, словно железные опилки, притягиваемые магнитом. В мгновение ока смятенье Жака исчезло, испарилось, не оставив никакого следа. И снова все, о чем он думал, что хотел рассказать этим людям, которые словно бросали ему оттуда, из глубины зала, свой немой вопрос, показалось ему ясным, неоспоримым.

Он шагнул вперед и, наклонившись над рампой, крикнул:

— Не верьте газетам! Пресса лжет!

— Браво! — произнес чей-то голос.

— Пресса продалась националистам! Чтобы замаскировать свои аппетиты, правительства всех стран нуждаются в лживой прессе, которая убеждает их народы в том, что, уничтожая друг друга, каждый из них героически жертвует собой ради святого дела, ради торжества Права, Справедливости, Свободы, Цивилизации!.. Как будто существуют *справедливые* войны! Как будто можно быть справедливым, обрекая миллионы невинных людей на муки, на смерть!

— Браво! Браво!

В трех дверях, выходивших в тупик, толпились любопытные. Незаметно подталкиваемые теми, кто был сзади, они в конце концов вошли в зал и заняли места в креслах.

— Тише! Дайте слушать! — шикали кругом.

— Неужели вы допустите, чтобы кучка преступников под напором событий, впрочем, ими же самими подготовленных, бросила на поля сражения миллионы мирных жителей Европы?.. Стремле-

ние к войнам никогда не исходит от народов! Оно исходит исключительно от правительств! У народов нет других врагов, кроме тех, кто их эксплуатирует! Народы не враждуют друг с другом! Вы не найдете ни одного германского рабочего, который хотел бы покинуть жену, детей, работу, чтобы взять винтовку и пойти стрелять во французских рабочих.

Гул одобрения пробежал по аудитории.

Женни оглянулась. Теперь тут было человек двести или триста, может быть, даже больше, и все они слушали с напряженным вниманием.

Жак наклонился к этой живой, безмолвной массе, которая в то же время глухо гудела, словно гнездо ос. От всех этих лиц, из которых он ни одного не различал отчетливо, исходил волнующий призыв, сообщавший Жаку незаслуженную значительность, но в то же время удесятерявший силу его убежденности и его надежд. Он успел подумать: «Женни слушает». И, переведя дух, начал с новым подъемом:

— Станем ли мы сложа руки бессмысленно ждать, чтобы нас принесли в жертву? Поверим ли миролюбивым заверениям правительств? Кто вверг Европу в безвыходный хаос, в котором она бьется сейчас? Неужели мы будем настолько безумны, что поверим, будто те самые государственные деятели, канцлеры, монархи, которые своими тайными комбинациями подвели нас к самому краю пропасти, смогут еще на своих дипломатических конференциях спасти мир, поставленный ими под угрозу с таким цинизмом? Нет! Сегодня мир уже не может быть спасен правительствами! Сегодня мир находится в руках народов! В наших, в собственных наших руках!

Аплодисменты снова прервали его. Он вытер лоб и секунд десять прерывисто дышал, словно запыхавшийся бегун. Он сознавал свою мощь, чувствовал, как каждая его фраза с силой проникает в умы и, подобно бикфордову шнуру, взрывающему пороховые погреба, каждым словом будоражит целый арсенал мятежных мыслей, которые только и ждали этого толчка, чтобы взорваться.

Нетерпеливым жестом он потребовал тишины.

— Что делать? — спросите вы.— Не поддаваться!..

— Браво!

— В одиночку каждый из нас бессилен. Но все вместе, крепко спаянные, мы всемогущи!.. Поймите же: жизнь страны, равновесие на котором зиждется устойчивость государства, целиком зависит от трудящихся. Народ располагает всесильным оружием! Не-по-беди-мым! И это оружие — забастовка. *Всеобщая забастовка!*

Чей-то громкий голос крикнул из глубины зала:

— Чтобы пруссаки воспользовались ею и напали на нас!

Жак резко откинул голову и нашел глазами прервавшего его человека.

— Напротив! Германский рабочий пойдет с нами! Я это знаю! Я только что из Берлина! Я сам видел! Видел манифестации на Унтер-ден-Линден. Слышал, как требовали мира под окнами кайзера! Германский рабочий так же готов начать всеобщую забастовку, как и вы! Единственное, что еще удерживает его, это страх перед Россией. А кто в этом виноват? Мы, наши правители, наш нелепый союз с царизмом, увеличивший для Германии русскую опасность. Но подумайте: кто мог бы вернее всего обеспечить безопасность германского народа, другими словами — остановить Россию на пути к войне? Вы! Мы, французы, нашим отказом сражаться! Решаясь на забастовку, мы, французы, наносим двойной удар: парализуем царизм в его военных устремлениях и уничтожаем все препятствия к братскому союзу германского рабочего с французским! К братскому союзу на почве всеобщей забастовки, которая разразится одновременно в обеих странах и будет направлена против обоих наших правительств!

Возбужденный зал хотел было аплодировать, но Жак уже продолжал:

— Ибо забастовка — это единственное, что еще может спасти всех нас! Подумайте об этом! По первому сигналу наших вождей, по сигналу, выброшенному в один и тот же день, в один и тот же час, повсюду одновременно, жизнь страны может внезапно остановиться, замереть. Приказ о забастовке — и вот в одно мгновение все заводы, все магазины, все учреждения опустели. На дорогах пикеты забастовщиков препятствуют снабжению городов продовольствием! Хлеб, мясо, молоко — все распределяется стачечным комитетом! Нет воды, нет газа, нет электричества! Нет поездов, нет автобусов, нет такси! Нет писем, нет газет! Нет телефона, нет телеграфа! Внезапная остановка всех колес социальной машины! На улицах толпы людей, охваченных тревогой! Ни столкновений, ни беспорядка: тишина и страх!.. Что могло бы противопоставить этому правительство? Как могло бы оно выдержать такой натиск со своей полицией и с несколькими тысячами добровольцев? Откуда достало бы средства? Как распределило бы продовольствие среди населения? Не в состоянии прокормить даже своих жандармов и свои полки, подгоняемое паническим ужасом даже тех, кто поддерживал его националистическую политику,— к чему могло бы оно прибегнуть, кроме капитуляции? Сколько дней,— нет, не дней,— сколько часов могло бы оно бороться с этой блокадой, с этой остановкой всякой общественной жизни? И кто из государственных деятелей осмелился бы еще говорить о возможности вой-

ны, столкнувшись с подобным проявлением воли масс? Какое правительство рискнуло бы раздать винтовки и патроны восставшему против него народу?

Неистовые аплодисменты гремели теперь после каждой фразы Жака. Он собрал все свои силы, чтобы преодолеть шум. Женни увидела, как лицо его побагровело, подбородок задрожал, мускулы и жилы на шее вздулись от напряжения.

— Момент серьезный, но пока все зависит от нас! Оружие, которым мы располагаем, настолько грозно, что, я думаю, нам даже не пришлось бы к нему прибегнуть. Одной только угрозы забастовки,— если правительство будет уверено в том, что вся масса трудящихся действительно готова единодушно принять в ней участие,— оказалось бы достаточно, чтобы немедленно изменить ориентацию политики, ведущей нас в пропасть!.. Наш долг, друзья мои? Он прост, он ясен! Одна цель — мир! Единение превыше всех наших партийных разногласий! Единение в противодействии. Единение в отказе! Сплотимся вокруг вождей Интернационала! Потребуем от них, чтобы они сделали все для организации забастовки и подготовки этого могучего натиска сил пролетариата, от которого зависит судьба нашей страны и судьба Европы!

Он умолк. Внезапно он почувствовал себя совершенно опустошенным.

Женни пожирала его глазами. Она увидела, как он опустил глаза, открыл рот, чтобы что-то сказать, запнулся, поднял руку, потом махнул рукой. Усталая улыбка кривила его губы. Словно пьяный, он неловко повернулся и исчез между декорациями.

Толпа ревела:

— Браво!.. Он прав!.. Долой войну!.. Забастовка!.. Да здравствует мир!..

Овация продолжалась несколько минут. Слушатели стояли, хлопая, крича, вызывая оратора.

Наконец, так как оратор не появлялся, они беспорядочно устремились к выходам.

А оратор бросился в полумрак кулис. Рухнув на ящик за грудой старых декораций, потный, возбужденный, совершенно разбитый, он так и сидел там с растрепанными волосами, опершись локтями о колени, прижав кулаки к глазам, испытывая лишь одно желание после этой бури — как можно дольше оставаться в одиночестве, затеряться, укрыться от всех.

Здесь наконец и нашла его Женни после нескольких минут поисков; ее привел Стефани.

Жак поднял голову и, внезапно просветлев, улыбнулся де-

вушке. Остановившись перед ним, она пристально смотрела на него, не произнося ни слова.

— Теперь надо как-нибудь выбраться отсюда,— проворчал Стефани, стоявший сзади.

Жак встал.

Опустевший зал был погружен во мрак, двери заперты снаружи. Но лампочка-ночник, горевшая в дальнем углу сцены, указала им направление, и они вышли в коридор, который вывел их к служебному выходу в задней стене театра. Они прошли через наполненный углем подвал и выбрались на маленький дворик, заваленный досками и частями старых декораций. Он выходил в переулок, казавшийся совершенно безлюдным.

Однако не успели они сделать нескольких шагов, как из мрака выступили двое мужчин.

— Полиция! — произнес один из них, жестом фокусника вытащив из кармана карточку и сунув ее под нос Стефани.— Предъявите, пожалуйста, ваши документы!

Стефани протянул инспектору корреспондентское удостоверение.

— Журналист!

Полицейский рассеянно взглянул на удостоверение. Его интересовал оратор.

К счастью, во время дневных странствований с Женни, Жак зашел к Мурлану и забрал свой бумажник. Зато он имел неосторожность оставить в кармане брюк документы женевского студента, пригодившиеся ему при переходе через германскую границу. «Если они обыщут меня...» — подумал он.

Рвение агента не простерлось так далеко. Он удовольствовался тем, что исследовал при свете фонаря паспорт Жака и взглядом профессионала проверил его сходство с фотографической карточкой. Затем, несколько раз послюнявив карандаш, он что-то нацарапал в своей записной книжке.

— Ваше местожительство?

— Женева.

— Где проживаете в Париже?

Жак на секунду замялся. От Мурлана он узнал, что комната на улице Жур, где он останавливался до своей поездки и где был в полной безопасности, уже занята. Он еще не принимался за поиски нового жилья и думал переночевать сегодня в меблированных комнатах на улице Бернардинцев, на углу набережной Турнель. Этот адрес он и дал полицейскому, а тот записал его в своей книжке.

Затем полицейский повернулся к Женни, стоявшей рядом с Жаком. У нее были при себе только визитные карточки и случай-

но оказался в сумочке конверт от письма Даниэля. Полицейский не стал придираться и даже не записал фамилии девушки.

— Благодарю вас,— вежливо сказал он.

Он прикоснулся к шляпе и отошел в сопровождении своего помощника.

— Общество обороняется,— насмешливо констатировал Стефани.

Жак улыбнулся.

— Вот я и на заметке.

Женни уцепилась за его руку. Ее лицо исказилось.

— Что они с вами сделают? — спросила она глухим голосом.

— Разумеется, ничего!

Стефани рассмеялся.

— Что они могут с нами сделать? У нас все в полном порядке.

— Единственно, что меня немного смущает,— признался Жак,— это то, что я дал свой адрес, назвал отель Льебара.

— Ты завтра же переедешь оттуда — и все тут.

Вечер был теплый. В переулке пахло чем-то затхлым. Женни прижималась к Жаку. Ее силы иссякли от пережитого волнения. На неровных камнях мостовой она оступилась, у нее подвернулась нога, и она бы упала, если б он не держал ее под руку. На минуту она остановилась и прислонилась плечом к стене какого-то сарая. Нога у нее болела.

— Ах, Жак,— прошептала она,— я так устала.

— Опирайтесь на меня.

Слабая, утомленная, она вызывала в нем еще большую нежность.

Переулок примыкал к бульвару, где последние шумные группы постепенно расходились.

— Садитесь оба на эту скамью,— распорядился Стефани.— Я побегу вперед, чтобы не опоздать на последний трамвай. Около Ратуши есть стоянка такси. Я пришлю вам машину.

Когда три минуты спустя машина остановилась у тротуара, Женни стало стыдно за свою слабость.

— Это глупо. Я отлично смогла бы дойти до трамвая...

Она сердилась на себя за то, что служит помехой в жизни Жака; ведь для нее всегда было вопросом чести обходиться без всяких услуг.

Но, очутившись в автомобиле, она сейчас же сняла шляпу и вуаль, чтобы теснее прижаться к нему. Она чувствовала, как вздымается у ее щеки эта горячая мужская грудь, где гулко билось сердце. Не поворачивая головы, она подняла руку и ощупью нашла лицо Жака. Он улыбнулся, и она заметила это, коснувшись его рта. Тогда, словно ей только и нужно было убедиться, что он

действительно тут, она убрала руку и снова уютно устроилась в его объятьях.

Машина замедлила ход. «Уже?» — подумала она с сожалением. Но она ошиблась — они еще не доехали: она узнала Орлеанские ворота, таможню.

Она прошептала:

— Где вы будете ночевать?

— Да у Льебара. А что?

Она хотела что-то сказать, но промолчала. Он нагнулся к ней. Она закрыла глаза. Губы Жака надолго задержались на ее опущенных веках. В ее ушах звенели невнятные слова: «Моя дорогая... Моя любимая... Любимая...» Она почувствовала, как теплый рот скользнул вдоль ее щеки, слегка коснулся носа, дошел до ее губ, которые инстинктивно сжались. Он не решился настаивать, поднял голову и, еще крепче обняв ее, страстно привлек к себе. Теперь она сама протянула ему губы, но он этого не заметил: он уже выпрямился. Он отстранился и открыл дверцу. Тогда она заметила, что машина остановилась. Давно уже? Она увидела фасад, подъезд своего дома.

Он вышел первый и помог ей. Пока он расплачивался с шофером, она, как лунатик, сделала три шага, отделявшие ее от звонка. На секунду ее охватило безумное искушение. Но что, если вернулась мать?.. При мысли о г-же де Фонтанен она испытала резкое потрясение, и все ее беспокойство снова вернулось к ней. Дрожащей рукой она нажала кнопку звонка.

Когда Жак подошел к ней, дверь уже полуоткрылась, и перед швейцарской зажегся свет.

— Завтра? — поспешно спросил он.

Она утвердительно кивнула головой. Она не могла выговорить ни слова. Он взял ее руку и сжал в своих.

— Не утром...— продолжал он прерывающимся голосом.— В два часа, хорошо? Я приду?

Она снова кивнула головой в знак согласия, затем отняла у него руку и толкнула створку двери.

Он увидел, как она напряженной походкой прошла освещенную полосу и скрылась во мраке, не обернувшись. Тогда он отпустил дверь.

LIX

У Льебара Жак почти совсем не спал.

Переворачиваясь с боку на бок на своей узкой железной кровати, он двадцать раз спрашивал себя, не возвещает ли белесое стекло приближения утренней зари, пока не погрузился на

два часа в тяжелый сон, после которого очнулся разбитый и мрачный.

На улице наконец рассвело.

Он оделся, уложил в саквояж то немногое, что у него было, увязал в пачку бумаги, затем придвинул к окну стул и долго сидел, облокотясь на подоконник, не в состоянии думать о чем-либо определенном. Образ Женни вновь и вновь проходил перед его глазами. Ему бы хотелось, чтобы она была здесь, рядом, молчаливая, неподвижная, хотелось ощущать прикосновение ее плеча, щеки, как вчера в автомобиле... Как только он оказывался вдали от нее, у него находилось столько всего, о чем надо было ей рассказать... Он смотрел на улицу, на набережную, которые постепенно начинали свою утреннюю жизнь — жизнь подметальщиков и разносчиков молока. Мусорные ящики еще стояли, выстроившись в ряд, вдоль сточных канав. В угловом доме напротив ставни были закрыты везде, кроме нижнего этажа, который занимал торговец фаянсом; сквозь стекла виднелись груды не имеющих названия безделушек, наполовину закрытых соломой, разрозненные сервизы, китайские расписные вазы, бонбоньерки, статуэтки вакханок, бюсты великих людей. Внизу, на ярко-красных ставнях мясника-еврея, висела позолоченная вывеска с еврейской надписью, надолго приковавшая взгляд Жака.

Ровно в семь часов, решив, что можно уже расплатиться за ночлег, он вышел, купил газеты и, пройдя с ними на набережную, сел на скамейку.

Было почти холодно. Бледный туман плавал вдали, над собором Парижской богоматери.

С отвращением и ненасытной жадностью Жак читал и перечитывал телеграммы и комментарии, которые без конца повторялись в разных газетах, словно отражаясь в бесчисленных зеркалах, поставленных друг против друга.

Вся пресса на этот раз единодушно била тревогу. Статья Клемансо в «Ом либр» была озаглавлена: «На краю пропасти», «Матэн» жирным шрифтом признавалась на первой странице: «Момент критический».

Большая часть республиканских газет, подпевала правым, порицала французскую социалистическую партию за то, что «при настоящем положении вещей» она согласилась на организацию в Париже Международного конгресса в защиту мира.

Жак не решался расстаться со своей скамейкой, начать этот новый день — пятницу 31 июля... Однако газеты постепенно вывели его из оцепенения, помогли возобновить связь с окружающим миром. С минуту он боролся со смутным желанием бежать сейчас же, утром, на улицу Обсерватории. Но вдруг понял, что это иску-

шение было вызвано скорее малодушным страхом перед жизнью, чем чувством к Женни. Он устыдился. Война не была неизбежной, игра не была еще проиграна, еще можно было кое-что сделать... Во всех кварталах Парижа люди вставали сейчас, чтобы бороться... К тому же он предупредил Женни, что придет к ней не раньше двух часов.

Было еще слишком рано, чтобы идти в «Юманите», но можно было пойти в «Этандар». Он не знал, где бы оставить саквояж. Не отнести ли его к Мурлану?

Мысль о посещении старика типографа подняла его с места. Он дойдет пешком до площади Бастилии по набережным. Прогулка окончательно вернет ему равновесие.

Двери «Этандар» были заперты.

«Зайду попозже»,— подумал Жак. И, чтобы убить время, решил заглянуть к Видалю, книготорговцу в предместье Сент-Антуан; задняя комната в его лавке служила местом сборищ для группы анархиствующих интеллигентов, издававших «Элан Руж». Жаку случалось помещать там рецензии о немецких и швейцарских книгах.

Видаль был один. Он сидел без пиджака за столом, возле окна, и перевязывал бечевкой брошюры.

— Никого еще нет?

— Видишь сам.

Неприязненный тон Видаля удивил его.

— Почему? Рано?

Видаль пожал плечами:

— Вчера тоже было не слишком много народа. Само собой, никому не хочется, чтобы его сцапали... Читал ты это? — спросил он, указывая на книгу, несколько экземпляров которой лежали на столе.

— Да.

Это был «Дух возмущения» Кропоткина.

— Замечательно! — сказал Видаль.

— Разве уже были обыски? — спросил Жак.

— Кажется... Здесь — нет. Во всяком случае, пока еще нет. Но все уже чисто, пускай приходят... Садись.

— Не буду тебе мешать. Я еще зайду.

На улице, когда он собирался перейти дорогу, к нему вежливо подошел полицейский:

— Документы при вас?

Метрах в двадцати трое мужчин, судя по внешности полицейские в штатском, стояли на тротуаре и смотрели. Полицейский молча перелистал паспорт и вернул его с поклоном.

Жак закурил папиросу и отошел, но ему было не по себе. «Два

раза за двенадцать часов,— подумал он.— Словно у нас уже осадное положение». Он сделал несколько шагов по улице Ледрю-Роллена, чтобы проверить, не следят ли за ним. «Они не удостоили меня этой чести...»

Тут ему пришла мысль, раз уж он оказался в этих краях, заглянуть в «Модерн бар» — кафе на улице Траверсьер, центр социалистической секции Третьего округа, особенно активной. Казначей ее, Бонфис, был другом детства Перинэ.

— Бонфис? Вот уже два дня, как он и носа сюда не показывал,— сказал содержатель кафе.— Впрочем, я никого еще не видел сегодня утром.

В эту минуту человек лет тридцати, с пилой, висевшей на ремне у него за плечами, вошел в бар, ведя велосипед.

— Здравствуйте, Эрнест... Бонфис здесь?

— Нет.

— А кто-нибудь из наших?

— Никого.

— Гм... И никаких новостей?

— Никаких.

— Все еще ждут инструкций Центрального комитета?

— Да.

Краснодеревец молча бросал вокруг вопросительные взгляды и, как рыба, шевелил ртом, передвигая прилипший к губам окурок.

— Досадно,— сказал он наконец.— Надо бы все-таки знать... Я, например, призываюсь в первый день. Если это случится, я не знаю, что делать... Как думаешь ты, Эрнест? Надо идти или нет?

— Нет! — крикнул Жак.

— Ничего не могу сказать тебе,— угрюмо произнес Эрнест.— Это твое дело, приятель.

— Согласиться идти — значит стать сообщником тех, кто хотел войны! — сказал Жак.

— Само собой, это мое дело,— подтвердил столяр, обращаясь к содержателю кафе, словно он и не слышал слов Жака. Тон у него был развязный, но он не мог скрыть растерянности. Он бросил на Жака недовольный взгляд. Казалось, он думал: «Я не спрашиваю ничьего мнения. Я хочу знать решение Центрального комитета».

Он выпрямился, повернул свой велосипед, сказал: «Привет»,— и неторопливо пошел, раскачиваясь на ходу.

— В общем, мне это надоело: все они задают один и тот же вопрос,— проворчал содержатель кафе.— Что я могу тут сделать? Говорят, что в Комитете никак не могут прийти к соглашению, выработать директиву. А ведь партии надо бы дать директиву, верно?

Прежде чем вернуться в «Этандар», Жак в раздумье бродил некоторое время по этому кварталу, который с каждой минутой становился все оживленнее. Вереницы заваленных овощами и фруктами тележек, вытянувшихся вдоль канавы, крики уличных торговцев, множество рабочих, хозяек, которые, чтобы укрыться от солнца, толкались на одном остававшемся в тени тротуаре,— все это превращало узкие улицы в рынок под открытым небом.

Жак заметил, что в витринах трикотажных магазинов были выставлены почти исключительно принадлежности мужской одежды, и притом довольно неподходящие для сезона: вязаные жилеты, фланелевые фуфайки, толстые бумазейные рубашки, шерстяные носки. Обувные лавки соорудили из картонных или коленкоровых полотнищ импровизированные вывески, бросавшиеся в глаза. Наиболее робкие объявляли: «Охотничьи башмаки» или «Башмаки для пешеходов». Те, что посмелее, провозглашали: «Солдатские башмаки» и даже «Форменные ботинки». Многие мужчины останавливались, заинтересованные, но ничего не покупали. Женщины, повесив на руку сетку для провизии, на всякий случай принюхивались к шерстяным изделиям, ощупывали их, взвешивали на руке подбитую гвоздями обувь. Публика еще не покупала, но ее внимание с достаточной ясностью говорило о том, что эти недавно выставленные товары соответствуют общему беспокойству.

Все возрастающий недостаток разменной монеты начинал серьезно затруднять торговлю. Разносчики, превратившись в менял, прохаживались с ящиками на животе. Они спекулировали — давали девяносто пять франков звонкой монетой за стофранковый билет. Полиция, видимо, закрывала на это глаза.

Французский банк выпустил накануне множество купюр по пять и по двадцать франков, и люди с любопытством их рассматривали.

— Значит, все это было готово у них заранее,— говорили в толпе с видом недоверия, неприязни, но и некоторого восхищения.

Жак уселся наконец за столиком одного из кафе на площади Бастилии. Он ничего не ел со вчерашнего дня и испытывал жажду и голод.

Поток пригородных жителей разливался широкими волнами, хлынувшими из Лионского вокзала, из трамваев, из метро. Они на минуту останавливались на залитой солнцем площади с газетами в руках и бросали озабоченные, любопытные взгляды на все кругом, словно желая убедиться, перед тем как приступить к работе, что угроза войны не изменила Париж за эту ночь.

В кафе непрестанно менялись люди; озабоченные, встревоженные, они громко разговаривали друг с другом.

Один из посетителей рассказал, что послал жену в мэрию навести точные справки относительно срока его мобилизационного предписания, и с видимой гордостью сообщил, что ввиду большого притока публики число служащих в справочных бюро при военных канцеляриях увеличили втрое.

Шофер такси со смехом показывал номер иллюстрированного журнала: на одной и той же странице, совсем рядом, там были изображены возвращение в Берлин кайзера и возвращение Пуанкаре в Париж — два симметричных символических рисунка, где главы двух государств, ступив на подножку автомобилей, одним и тем же воинственным жестом отвечали на приветственные клики своих исполненных доверия народов.

Муж и жена средних лет вошли и приблизились к оцинкованной стойке. Жена испуганно смотрела на посетителей, ища дружеского взгляда. Они сейчас же заговорили.

Муж сказал:

— Мы из Фонтенебло. Там уже началось.

И он замолчал.

Жена, более словоохотливая, пояснила:

— Вчера вечером к офицеру седьмого драгунского,— он живет на той же площадке, что и мы,— пришли сказать, чтобы он живо собирался. А потом среди ночи нас разбудил конский топот. Кавалерия получила приказ выступать.

— Куда? — спросила кассирша.

— Не знаю. Мы вышли на балкон. Весь город был у окон. Не слышно было ни одного крика, ни одного слова. Они убегали, как воры... без музыки, в походной форме... Потом потянулись полковые обозы, повозки с снаряжением... Они шли и шли. До самого утра.

— В мэрии,— подхватил муж,— вывесили приказ о реквизиции лошадей, мулов, повозок, даже фуража!

— Все это скверно пахнет,— заявила кассирша с заинтересованным и почти довольным видом.

— Запас третьей очереди уже призван,— сказал кто-то.

— Старики! Да что вы!

— Да, да! — подтвердил официант, остановившись с каким-то блюдом.— Видно, им надо было собрать людей заранее, чтобы охранять мосты, узловые станции, словом — все, чему грозит опасность... Я хорошо это знаю: у меня родного брата,— а ему уже сорок три, и живет он около Шалона,— вдруг вызвали на вокзал. Там ему надели на башку старую фуражку, нацепили на куртку подсумки, дали в руки винтовку и — марш! Не угодно ли вам стать

часовым у виадука? А тут, знаете ли, шутки плохи: чтобы подойти к мосту, нужен пропуск. Если его нет, приказано стрелять! Видно, кругом уже бродят шпионы.

— Я иду на второй день,— заявил, хотя никто его не спрашивал, маляр в белой холщовой блузе. Он сказал это, ни на кого не глядя, опустив глаза на рюмку, которую вертел в руке.

— Я тоже,— произнес чей-то голос.

— А я — на третий! — вскричал толстый добродушный водопроводчик.— Но мне в Ангулем! И вы понимаете, что прежде чем пруссаки появятся у берегов Шаранты...

Он лихо подтянул мешок с инструментами, болтавшийся у него за спиной, и, усмехаясь, пошел к двери.

— Впрочем, мне наплевать. Там будет видно... Надо же что-нибудь делать!

— Чему быть, того не миновать,— поучительно произнесла в заключение кассирша.

Жак сжимал кулаки. Молчаливый, напряженный, он с изумлением всматривался в лица: он думал найти на них бурный протест, следы возмущения. Напрасно. Все эти люди были, по-видимому, захвачены событиями так неожиданно, что они ощущали себя выбитыми из колеи, ошеломленными, а быть может, под маской молодечества, и напуганными, но покорившимися или готовыми покориться.

Он встал, взял свой саквояж и поспешно вышел. Он испытывал сейчас особенное желание, даже потребность, повидаться с Мурланом.

Засунув руки в карманы черной блузы, старик типограф расхаживал по трем комнатам своей квартирки в нижнем этаже, где были распахнуты все двери. Он был один. Не останавливаясь, он крикнул: «Войдите!» — и обернулся лишь тогда, когда гость закрыл за собой дверь.

— Это ты, мальчуган?

— Здравствуйте. Нельзя ли мне оставить у вас это? — сказал Жак, поднимая свой саквояж.— Немного белья без меток. Никаких документов, никаких имен.

Мурлан утвердительно кивнул головой. Его взгляд оставался гневным и жестким.

— Чего ради ты еще торчишь здесь? — спросил он резко.

Жак посмотрел на него, озадаченный.

— Чего ты ждешь, почему не убираешься восвояси? Разве вы не чувствуете, что на этот раз все кончено, дурачье?

— И это говорите вы? Вы, Мурлан?

— Да, я,— ответил он своим замогильным голосом.

Он стряхнул хлебные крошки, застрявшие у него в бороде, снова засунул руки в карманы и опять зашагал взад и вперед.

Жак никогда еще не видел у него такого расстроенного лица, таких потухших глаз. Надо было подождать, пока вспышка пройдет. Он без приглашения взял стул и сел.

Мурлан два или три раза обежал все комнаты, словно зверь в клетке, потом остановился перед Жаком.

— На что ты рассчитываешь сейчас? — крикнул он.— На твои пресловутые «рабочие массы»? На всеобщую забастовку?

— Да! — твердо произнес Жак.

Старый типограф, так похожий на Христа, судорожно пожал плечами.

— Всеобщая забастовка? Как бы не так! Кто говорит о ней сегодня? Кто еще смеет о ней думать?

— Я!

— Ты? Так ты не видишь, что это жалкое стадо, которое хотелось бы спасти даже против его воли, в подавляющем большинстве состоит из забияк, задир, головорезов, всегда готовых принять вызов?.. Из людей, которые первыми схватятся за винтовки, как только их уверят в том, что хоть один немец перешел границу?.. Если взять каждого в отдельности — это обычно славный малый, который говорит, что никому не хочет зла, и сам в это верит. Но в нем есть еще целые залежи хищных разрушительных инстинктов — инстинктов, которых он стыдится и которые скрывает, но которые, несмотря ни на что, кипят в нем, и он всегда рад их удовлетворить, как только ему предоставляют для этого удобный случай... Человек есть человек, ничего с этим не поделаешь!.. Итак, если нельзя рассчитывать на отдельные личности, на кого же ты рассчитываешь? На вождей? На каких вождей? На вождей европейского пролетариата? Или на наших? На наших милых избранников, на социалистических депутатов? Ты, значит, не видишь, что они делают? Они снова и снова кричат о своем доверии к Пуанкаре! Еще немного — и они заранее подпишутся под объявлением войны, которое будет исходить от него!

Он круто повернулся и еще раз обошел всю комнату.

— Нет,— проговорил Жак.— У нас есть Жоресы... У других — Вандервельде, Гаазе...

— Ах, так ты рассчитываешь на великих вождей? — продолжал Мурлан, подойдя к Жаку вплотную.— Но ведь ты их видел в Брюсселе, и видел близко! Неужели же ты думаешь, что если бы эти ничтожества были людьми — людьми, которые по-настоящему решились защищать мир революционным действием, им не удалось бы договориться между собой и дать европейскому социализму единый лозунг? Нет! Они добились популярности, предали ана-

феме правительства! А потом? А потом они побежали в почтовые отделения и стали отправлять умоляющие телеграммы кайзеру, царю, Пуанкаре, президенту Соединенных Штатов, папе! Да, папе, чтобы он пригрозил Францу-Иосифу преисподней!.. А что делает твой Жорес? Он каждое утро, как презренный трус, отправляется к Вивиани и тянет его за рукав, заклиная своего «дорогого министра» кричать погромче, чтобы напугать Россию!.. Нет! Рабочий класс обманут собственными вождями! Вместо того чтобы с решительностью возглавить движение, направленное против угрозы войны, они предоставили полную свободу действия националистам, они отказались от возможности революционного восстания, они отдали пролетариат во власть торжествующего капитализма!..

Он отошел шага на два, но внезапно круто повернул назад.

— И к тому же никто не разубедит меня в том, что твой Жорес просто позирует перед зрителями. В глубине души он знает не хуже меня, что партия разыграна! Что все потеряно! Что завтра Россия и Германия кинутся в драку! И что Пуанкаре хладнокровно согласится на войну!.. Во-первых, потому, что он захочет выполнить преступные обязательства, которые взял на себя в Петербурге, а во-вторых...— Он замолчал, подошел к двери, осторожно приоткрыл ее и впустил серую кошку с тремя котятами.— Иди, иди, киска... А во-вторых, потому, что ему до смерти хочется быть тем человеком, кто попытается вернуть Франции Эльзас-Лотарингию!

Он подошел к книжным полкам, занимавшим простенок между окнами и заваленным книгами и брошюрами. Взяв какую-то книгу, он несколько раз похлопал по ней ладонью, словно трепал по шее лошадь.

— Видишь ли, мальчуган,— сказал он мягче, ставя книгу на место,— я не хочу изображать из себя провидца, но я отнюдь не ошибся, когда после их Базельского конгресса написал эту книжку, чтобы доказать им, что их Интернационал основан на фальши. Тогда Жорес обругал меня. Меня обругали все. Сейчас факты сами говорят за себя!.. Это было безумием — хотеть «примирить» интернационализм социалистический, наш, настоящий, с националистическими силами, которые везде еще стоят у власти... Желать бороться и надеяться победить, не выходя из рамок законности, довольствуясь «нажимом» на правительства и сводя борьбу к красивым парламентским речам,— это было бессмыслицей из бессмыслиц!.. Если хочешь знать, девять десятых из наших знаменитых революционных вождей, в сущности говоря, никогда не смогут решиться действовать вне рамок государства! А в таком случае понятна тебе их логика? Они не сумели, они не захотели вовремя низвергнуть это государство, чтобы поставить на его место социа-

листическую республику, и теперь им остается только одно: защищать его острием своих штыков, как только первый прусский улан покажется на границе! К чему они и готовятся втихомолку! И подумать только, что придется увидеть это! — продолжал он с яростью, снова круто повернувшись и быстро зашагав к противоположному концу комнаты.— Это будет всеобщее отступничество — уверяю тебя. Отступничество в стиле Гюстава Эрве! Отступничество всех вождей, от первого до последнего!.. Ты читал газеты? Отечество в опасности! Готовьтесь! Сабли наголо! Трам-тарарам! Весь этот бум готовит великую резню!.. Не пройдет недели, как во Франции, а может быть, и во всей Европе не найдется и дюжины социалистов чистой воды: повсюду будут одни только *социал-патриоты!*

Он быстро подошел к Жаку и положил ему на плечо свою жилистую руку:

— Вот почему, мальчик, я говорю тебе, и ты можешь поверить Мурлану: утекай!.. Не жди! Возвращайся в Швейцарию! Там, может быть, еще есть работа для таких ребят, как ты. Здесь же дело пропащее, да, пропащее!

Жак вышел от Мурлана с тягостным чувством, которое не в силах был побороть. Где искать поддержки?

Он побежал в «Юманите».

Но Стефани и Галло были на совещании у патрона. Кадье, с которым Жак столкнулся в дверях, успел крикнуть ему на бегу, что Жорес только что был на приеме у двух членов правительства — у Мальви и Абеля Ферри — и утверждает, что отчаиваться еще не следует.

Едва успев расстаться с ним, Жак встретил Пажеса, молодого сотрудника Галло; этот был настроен весьма пессимистически. Военные приготовления в России, по-видимому, усилились: со всех сторон приходят данные, подтверждающие предположение о том, что накануне царь тайно подписал решающий указ — указ о всеобщей мобилизации.

В кафе «Круассан», куда Жак зашел только на минуту, он не заметил никого из знакомых, кроме тетушки Юри, которая сидела в углу зала и, казалось, председательствовала на маленьком женском конгрессе. Взгромоздясь на обитую клеенкой скамью, чересчур высокую для ее коротких ножек, без шляпы,— пряди седых волос словно венцом обрамляли лицо старой фанатички,— она жестикулировала и ораторствовала в центре группы женщин, которых собрала здесь, как видно, затем, чтобы преподать им истину. Жак притворился, что не заметил ее, и скрылся.

На улице Сантье, в кафе «Прогресс» уже собралось несколько человек. Сидя за столиками в насквозь прокуренной комнате нижнего этажа, они обсуждали новости дня. Это были: Рабб, Жюмлен, Берте и один приезжий житель Нанси, секретарь Федерации Мерты-и-Мозеля; он прибыл в Париж утром и привез новости из восточных департаментов.

Один германский социалист, с которым он ехал вместе, утверждал, что накануне вечером в Берлине состоялся военный совет. На нем был решен созыв бундесрата. В Германии ожидали «серьезных решений», которые должны были последовать не позже сегодняшнего дня. Мосты через Мозель были заняты германскими войсками. Все висело теперь на волоске. Накануне в окрестностях Люневиля германская легкая кавалерия перешла уже с целью провокации границу и проскакала несколько сот метров по французской территории.

— В Люневиле? — произнес Жак, внезапно вспомнив о Даниэле, о Женни.

Дальнейшее он слушал рассеянно. Житель Нанси рассказывал, что вот уже несколько дней, как по всем железнодорожным линиям восточных департаментов идут бесконечные вереницы порожняка, который стягивают к крупным станциям, а затем оставляют про запас под Парижем.

Жак сидел молча, со стесненным сердцем. Перед его глазами стоял реальный образ: Европа, скользящая по роковому склону. Какое чудо могло еще вызвать спасительную перемену, резкий поворот общественного мнения, внезапный и твердый отпор народов?

И вдруг ему захотелось побыть с братом. Он не видел его всю неделю. Сейчас время завтрака, и он, конечно, застанет Антуана дома. «К тому же,— подумал он,— этот визит поможет мне дождаться минуты, когда можно будет идти к Женни».

LX

— Известно ли господину Жаку, что у нас будет война? — спросил Леон. Что это было — насмешка? Тон был глупо-вопросительный, так же как и взгляд круглых выпученных глаз, но в выражении отвисшей нижней губы притаилось что-то хитрое. Не ожидая ответа, он добавил: — Мне идти на четвертый день. Но я-то всегда был денщиком...— На лестнице раздалось щелканье решетчатой двери лифта.— Вот и господин Антуан,— сказал Леон. И пошел открывать.

Антуан подталкивал плечом маленького старичка в очках, седого, в альпаковом сюртучке. Жак узнал бывшего секретаря своего отца.

Увидев его, г-н Шаль отшатнулся. Встречая знакомое лицо, он всегда быстро зажимал рукой рот, словно заглушая удивленный крик:

— Ах, это вы?

Антуан с отсутствующим видом пожал руку брата, по-видимому, не удивившись, что застал его здесь.

— Господин Шаль прогуливался по тротуару, ожидая меня... Я уговорил его подняться и позавтракать с нами.

— Один разок в счет не идет,— скромно пробормотал Шаль.

Антуан повернулся к слуге.

— Можете подавать.

Они вошли втроем в кабинет, где уже собрались Штудлер, Жуслен и Руа. Груда развернутых газет лежала на письменном столе.

— Я опоздал потому, что после больницы заезжал на Кэ-д'Орсе,— объяснил Антуан.

Наступило молчание. Все хмуро смотрели на него.

— Ну? — спросил наконец Штудлер.

— Плохо... Очень, очень плохо...— лаконически произнес Антуан. Он с удрученным видом покачал головой. Затем сказал громче: — Пойдемте к столу.

Яйца всмятку были съедены с мрачным усердием, причем никто не произнес ни слова.

— Судя по тому, что говорит Рюмель,— внезапно заявил Антуан, не поднимая глаз от тарелки,— у нас есть сейчас серьезные основания надеяться, что Англия пойдет с нами. Во всяком случае — не против нас.

— Если так,— спросил Штудлер,— почему же она не поторопится сказать об этом? Это могло бы еще спасти все!

Жак не удержался:

— Почему? Да потому, что совсем не так уже очевидно, что у Англии есть желание спасти все... Англия — это, несомненно, единственная страна, у которой в лотерее мировой войны есть твердые шансы на выигрыш.

— Ты ошибаешься,— нервно сказал Антуан.— По-видимому, в высших сферах Лондона никто не хочет войны.

Справа от Антуана Шаль слушал, примостившись на краешке стула. Где бы он ни сидел, у него всегда был такой вид, будто он приткнулся на откидной скамеечке. Он поворачивал голову то вправо, то влево и с тревожным вниманием следил за тем, кто говорил в данную минуту; он даже забывал есть. Переполох, происходивший в мире, выходил за пределы его понимания и сопротивляемости его нервной системы. Вот уже третий день, как болезненный страх, все время раздуваемый чтением газет и разговора-

ми, обрушился на беднягу, и единственное, что привело его сюда сегодня утром,— это надежда услышать что-нибудь успокоительное.

Антуан заговорил поучительным тоном, который звучал фальшиво:

— Британский кабинет состоит сейчас из людей, искренне преданных делу мира. К тому же это, пожалуй, наилучшее по составу правительство во всей Европе. Грей — человек дальновидный; он уже восемь лет управляет министерством иностранных дел. Асквит и Черчилль — люди рассудительные и честные. Холден исключительно деятелен и хорошо знает Европу. Что касается Ллойд-Джорджа, то его пацифизм — общепризнанный факт; он всегда враждебно относился к вооружению.

— Отборные люди,— подтвердил Шаль таким тоном, словно его мнение на этот счет установилось уже давно.

Жак, готовый к спору, молча поглядывал на брата и продолжал есть.

— Руководимая такими людьми, Англия не испытывает никакого желания ввязываться в эту авантюру,— закончил Антуан.

Штудлер снова вмешался.

— Тогда почему же Грей уже целые десять дней выбивается из сил, замазывая истинное положение вещей разными дипломатическими трюками, в то время как единственным верным средством заставить центральные державы отступить было бы предупредить их, что в случае войны Англия выступит против них?

— Так вот, кажется, именно это самое и сделал Грей вчера в беседе с германским послом.

— И что это дало?

— Ничего... Пока что ничего... Впрочем, на Кэ-д'Орсе боятся, что это заявление слишком запоздало, чтобы оказать какое-либо действие.

— Само собой разумеется,— проворчал Штудлер.— К чему было столько ждать?

— Будьте уверены, что это не случайно,— вставил Жак.— Из всех изворотливых политиканов, которые делят между собой власть в Европе, Грей, кажется, самый...

— Рюмель говорит совсем другое,— сердито прервал его Антуан.— Рюмель три года был атташе в Лондоне; он часто сталкивался с Греем и, следовательно, говорит теперь о нем, располагая определенными данными. И право же, говорит очень умно.

— В этом вся прелесть,— прошептал Шаль, как бы про себя.

Антуан замолчал. У него не было никакого желания обсуждать то, что он узнал в министерстве, или даже просто рассказывать об этом. Он очень устал. Накануне он провел весь вечер со Штудлером, разбирая папки с историями болезней; ему хотелось

на всякий случай оставить свои архивы в порядке. Затем, после ухода Халифа, он поднялся к себе в кабинет, чтобы сжечь письма и разобрать, привести в порядок личные бумаги. Он спал два часа, на рассвете. Как только он проснулся, чтение газет привело его в состояние лихорадочного беспокойства, которое в течение утра только усилилось под влиянием разговоров, всеобщего пессимизма и растерянности. На приеме у него было сегодня утром особенно много больных; из больницы он вышел совершенно измученный; и в довершение всего этот разговор с Рюмелем, отнявший у него последнюю бодрость... На сей раз его душевное равновесие было поколеблено. Буря пошатнула основы, на которых он с такой точностью построил свою жизнь: науку, разум. Внезапно ему открылось бессилие ума и бесполезность, перед лицом этого множества разнузданных инстинктов, того положительного, на что всегда опиралось его существование труженика,— бесполезность чувства меры, рассудительности, мудрости и опыта, стремления к справедливости... Ему хотелось бы побыть одному, иметь возможность подумать, начать борьбу с упадком духа, овладеть собой, подготовиться к тому, чтобы стоически встретить неизбежное. Но все смотрели на него и, видимо, ждали его слов. Он нахмурил брови и, собрав всю свою энергию, продолжал:

— Очевидно, этот Грей — тип добросовестного англичанина, чуточку недоверчивого, чуточку боязливого, человека не слишком широкого кругозора, но вполне лояльного и в мыслях и в действиях. Полная противоположность тому, что думаешь о нем ты,— сказал он, обращаясь к брату.

— Я сужу о нем по его политике,— ответил Жак.

— Рюмель превосходно объясняет его политику! Но это сложно, и, разумеется, я не припомню всего, что он мне говорил!..— Антуан вздохнул и провел рукой по лбу.— Прежде всего у Грея связаны руки, и он не может громко заявить о прочном союзе с Францией. В кабинете есть люди, склонные ориентироваться на Германию, например, Холден. Что же касается английского народа, то он до самых последних дней был больше озабочен ирландскими осложнениями, чем последствиями сараевского убийства; и он категорически отверг бы мысль идти драться на континент для защиты Сербии... Так что, если бы даже у Грея и было поползновение раньше и с большей прямотой втянуть Англию в конфликт, он рисковал бы не встретить поддержки ни у своих коллег, ни у своего парламента, ни у своей страны.

Он налил себе стакан вина, что редко делал за завтраком, и выпил его залпом.

— Это еще не все,— продолжал он.— Вопрос этот, как всегда, относится также и к области психологии. По-видимому, Грей с пер-

вого дня отлично сознавал, что мир и война целиком зависят от Англии. Но он отдавал себе отчет также и в том, что оружие, находящееся у него в руках, обоюдоостро. Представьте себе, что английское правительство неделю назад громогласно заявило бы Франции и России о том, что окажет им военную поддержку.

— ...Берлин немедленно переменил бы тон,— перебил его Штудлер.— Германия забила бы отбой, заставила бы Австрию втянуть свои когти, и все кончилось бы полюбовным соглашением — после торга между министерствами иностранных дел.

— Это возможно, но это еще не факт. И, по-видимому, у Грея были все основания опасаться противоположного: если бы Россия получила достоверные сведения о том, что она может рассчитывать не только на французские деньги и армию, но и на флот и деньги англичан, то искушение начать партию с такими козырями, без сомнения, стало бы у нее непреодолимым... Под этим углом зрения,— продолжал Антуан, посматривая на Жака,— поведение Грея выглядит совсем по-иному. Начинаешь понимать, что именно безусловное желание спасти мир и заставило его пойти на такую двойную игру. Он сказал Франции: «Будьте осторожны, воздействуйте на Россию; она может вовлечь вас в конфликт, в котором вы не должны рассчитывать на нас,— помните это». И в то же время он говорил Германии: «Берегитесь. Мы не одобряем вашей непримиримости. Не забывайте, что наш флот в Северном море мобилизован и что мы никому не обещали оставаться нейтральными».

Штудлер пожал плечами.

— При всей своей добросовестности твой Грей, выходит, очень наивный человек. Потому что Россия через свою разведывательную службу не могла не знать об угрозах Лондона Берлину, что естественным образом побуждало ее надеяться на поддержку Англии. А в это самое время германская разведка информировала Берлин о малоутешительных речах, обращенных Англией к Франции и России... Таким образом, Германия не имела оснований принимать английскую угрозу всерьез... И в конечном итоге эта двойная игра, без сомнения, оказалась на руку войне!

Кстати сказать, почти к тому же выводу пришел и Рюмель, но Антуан не упомянул об этом ни одним словом. Он тщательно отделял известия общего характера, которые считал возможным, не совершая нескромности, передавать своим сотрудникам, от всего того, что в непринужденной беседе дипломата казалось ему личными взглядами и конфиденциальными сообщениями последнего. Присутствие Жака побуждало его к еще большей осмотрительности, чем обычно. Поэтому он не собирался рассказывать о том, что в высших сферах уже зондируют почву с целью разузнать, не на-

ступил ли подходящий момент спешно обратиться с прямым призывом о помощи к Великобритании в форме хотя бы личного письма президента республики к королю Георгу. По этой же причине он поостерегся даже намекнуть о некоем определенном событии, которое, по словам Рюмеля, заставило Грея бросить наконец на весы британский меч во время его вчерашней беседы с германским послом. Видимо, позавчера, 29 июля, немцы совершили грубую тактическую ошибку: «Обещайте нам английский нейтралитет,— вот что, в кратких словах, будто бы сказали они в Лондоне,— и мы обязуемся после нашей победы соблюдать территориальную неприкосновенность Франции; мы отберем у нее только колонии». Эти заносчивые слова, еще усугубленные отказом взять на себя обязательство не нарушать в случае конфликта бельгийский нейтралитет, вызвали, по словам Рюмеля, негодование *Foreign office,* повлекли за собой франкофильский поворот в умах всех членов кабинета и побудили английское правительство более открыто перейти на франко-русскую сторону.

Жак выслушал отчет Антуана, не противореча ему. Но он не сдавался.

— За всем этим,— сказал он,— Рюмель, как видно, забывает о сущности вопроса.

— А именно?

— А именно о том, что десять лет назад Великобритания была еще безраздельной владычицей морей и что если она не найдет средства остановить любой ценой все ускоряющееся развитие германского флота, то Англия скоро станет всего лишь второстепенной морской державой. Вот истины, которые общеизвестны, но которые, на мой взгляд, лучше объясняют положение вещей, нежели сомнения и психологические колебания Грея.

— Да,— поддержал его Штудлер.— А какую роль играет в английской политике история с багдадской железной дорогой? С захватом Германией линии, которая соединяет Константинополь с Персидским заливом, то есть ведет прямо в Индию и угрожает Суэцкому каналу серьезнейшей конкуренцией?

— Что вы хотите доказать всем этим? — небрежно спросил юный Руа.

— Что? — как эхо, повторил Шаль.

— Что у Англии есть важные причины желать войны, которая ограничила бы могущество Германии,— ответил Жак.— И это, по-моему, целиком освещает вопрос.

— У Англии уже были неприятности с Наполеоном Первым,— лукаво заметил Шаль. И добавил с игривой усмешкой: — Правда, что в военном деле Наполеон Первый был таким стратегом, каких никогда не будет в Германии!

Наступило короткое молчание; во всех взглядах промелькнул насмешливый, быстро погашенный огонек.

— А вы не думаете, что, несмотря на все это, можно верить в пацифизм британских правителей? — спросил Жака Жуслен.

— Нет. Когда кайзер заявил: «Наше будущее на морях»,— он бросил перчатку Англии. И мне кажется, что в данный момент Англия поднимает эту перчатку. Она питает надежду, которую еще может сейчас питать,— надежду раздавить единственный народ Европы, который ей мешает. Я думаю, что Грей, отлично осведомленный о намерениях России, отнюдь не сомневался, повторяя свои предложения о посредничестве, в том, что они нереальны; я думаю, что он не переставал умышленно вводить ее в заблуждение; я думаю, что в действительности английское правительство считает в конце концов удачей все то, что может сделать неизбежной эту войну, которая ему нужна,— которая ему нужна, но инициативу которой оно не решалось и, может быть, никогда не решилось бы взять на себя.

Он взглянул на брата. Антуан чистил яблоко и, казалось, перестал интересоваться спором.

— Еще в тысяча девятьсот одиннадцатом году,— заметил Штудлер, поворачиваясь к Манюэлю Руа,— Англия сделала все возможное, чтобы вероломно обострить франко-германские отношения из-за Марокко. Если бы не Кайо...

Глаза Жака остановились на Руа. Тот сидел в конце длинного стола. При имени Кайо он внезапно поднял голову, и его белые зубы блеснули.

В эту минуту Жуслен, который некоторое время сидел, задумавшись, и рассеянно чистил кончиком ножа и вилкой свежий миндаль, лежавший перед ним на тарелке, оставил это занятие и обвел весь стол своим ласковым взглядом.

— Знаете, как я себе представляю ту повесть, которую создадут будущие историки, рассказывая о переживаемых нами событиях? — спросил он.— Они скажут: «В один летний день, в июне тысяча девятьсот четырнадцатого года, в центре Европы внезапно вспыхнул пожар. Очагом его являлась Австрия. Костер был заботливо подготовлен в Вене...»

— Но искра залетела из Сербии! — прервал его Штудлер.— Ее принес резкий, коварный северо-восточный ветер, который дул прямо из Петербурга!

— И русские,— продолжал Жуслен,— начали немедленно раздувать огонь!

— ...с непостижимого согласия Франции...— заметил Жак.— И они стали дружно бросать в костер множество мелких вязанок хвороста, которые давно уже держали наготове!

— А Германия? — спросил Жуслен. И так как никто не ответил, он продолжал: — Германия в это время холодно смотрела, как вздымается пламя и как разлетаются искры... Что это было — двуличие?

— Разумеется! — вскричал Штудлер.

— Нет! Быть может, это была глупость,— вмешался Жак.— Глупость и спесь! Потому что она безрассудно чванилась тем, что может в любое время сузить круг огня, расчистить место вокруг пожарища!

—...и вытащить оттуда каштаны,— сказал Руа.

— Таких вещей не должно бы быть на свете,— грустно прошептал г-н Шаль.

Жуслен продолжал:

— Остается Англия...

— Англия! — вскричал Жак.— На мой взгляд, это очень просто: она с самого начала располагала значительным запасом воды, вполне достаточным для того, чтобы потушить пожар, и — обстоятельство, отягчающее вину,— она ясно видела, как огонь вспыхнул и как он начал распространяться. Однако она ограничилась тем, что крикнула: «На помощь!» — и не стала открывать свои шлюзы... Вот почему, несмотря на роль миротворца, которую она постарается приписать себе в будущем, она все же подвергается большому риску предстать перед судом потомства как тайная сообщница поджигателей!..

Антуан, уткнувшись в тарелку, казалось, не слушал. Халиф взглянул на Жака своими большими влажными глазами.

— Есть пункт, по поводу которого я не могу согласиться с вами,— это позиция Германии! — Голос его вдруг зазвенел, выдавая снедавшее его тайное волнение.— Я считаю, что Германия *хочет* войны!

— Еще бы! — бросил Руа.— Германия унаследовала мечту Карла Пятого, мечту Наполеона! Война из-за герцогств, Садова, тысяча восемьсот семидесятый год — все это этапы к завоеванию Европы! И от этапа до этапа интенсивное усиление своего военного могущества, чтобы быстрее достигнуть цели — гегемонии Германии!

Штудлер, который с опущенной головой ждал конца этой тирады, снова наклонился к Жаку.

— Да, я верю в циничную преднамеренность политики Германии! Это она из-за кулис с самого начала дергает за веревочку и заставляет действовать Австрию!

Жак хотел заговорить, но Штудлер не дал ему, Халиф, по-видимому, был охвачен необычным возбуждением. Он почти выкрикнул:

— Послушайте! Да ведь это бросается в глаза! Разве Австрия, вырождающаяся Австрия, когда-нибудь позволила бы себе, будь она в одиночестве, заговорить этим ультимативным тоном? И отказать всем объединенным державам в их просьбе предоставить Сербии хоть какую-нибудь отсрочку для ответа? И отклонить этот ответ, который был таким умиротворяющим, даже не дав себе времени обсудить его? Конечно, нет! И если предположить, что у Германии не было никаких задних мыслей насчет войны, то как объяснить ее неизменно неприязненное отношение ко всем предложениям Англии, быть может, неискренним, но во всяком случае, дипломатически приемлемым? Или ее отказ перенести спор на рассмотрение Гаагского третейского суда, как это предложил царь?

— Все это в значительной мере может быть оправдано,— отважился вставить Жак.— Германии были небезызвестны воинственные замыслы русского панславизма. Она всегда держалась того мнения, что вмешательство держав в австро-сербскую ссору могло повлечь за собой большую опасность, нежели их отказ от вмешательства.

Антуан с живостью возразил брату:

— На Кэ-д'Орсе никогда не доверяли миролюбивым заверениям Германии. Там давно уже сложилось внутреннее убеждение...

— «Внутреннее убеждение»! — иронически повторил Жак.

— ...что Центральные державы заранее решили избегать всего, что могло бы предотвратить конфликт или хотя бы отсрочить его.

И, чтобы прекратить эту раздражавшую его обывательскую болтовню о политике, Антуан положил салфетку на стол и встал.

Все последовали его примеру.

— Не надо забывать, что Германия сделала несколько попыток к примирению, но ни русское, ни французское правительства не пожелали принять их во внимание,— сказал Жак Штудлеру, когда они медленно выходили из столовой.

— Притворство! Надо же ей было, несмотря ни на что, немного посчитаться с общественным мнением Европы!

— Однако,— беспристрастно заметил Жуслен,— германский тезис — необходимость карательной экспедиции против Сербии и строгая локализация конфликта — отнюдь не указывал на стремление к войне *против нас*.

— Не говоря уже о том,— добавил Жак,— что если бы Германия действительно хотела воевать, если у нее было желание раздавить Францию, то она не стала бы ждать так долго. Зачем ей было упускать столько случаев, которые представлялись ей в течение пятнадцати лет,— случаев, гораздо более благоприятных, чем нынешний? Почему она не использовала франко-английское столкновение из-за Фашоды в тысяча восемьсот девяносто восьмом году?

Русско-японскую войну в тысяча девятьсот пятом? Боснийский кризис в тысяча девятьсот восьмом? Марокканский — в тысяча девятьсот одиннадцатом?

— Я плюю на все это,— упрямо проворчал Халиф.— Плюю! — повторил он и сунул в карманы сжатые кулаки.

Господин Шаль, застрявший у дверей, грыз кусок хлеба и все время отходил в сторону, пропуская вперед остальных. Антуан замыкал шествие. Шаль показал ему свой хлеб и подмигнул.

— Мой покойный отец тоже имел эту привычку: во время десерта ему необходима была такая корочка... Так и со мной, господин Антуан. Это мое любимое лакомство.— В его улыбке, как будто извинявшейся за такую снисходительность к собственным слабостям, сквозило тем не менее некоторое тщеславие: он гордился тем, что был обладателем столь необычных вкусов. Г-н Шаль был слишком непосредствен, чтобы быть скромным.

Когда Жак и Жуслен переступили порог кабинета, куда был подан кофе, Штудлер проскользнул между ними, взял их под руки и, наклонившись, продолжал встревоженным, конфиденциальным тоном:

— Я плюю на это, потому что можно аргументировать без конца и всему находить причины! Плюю, потому что у всех нас, есть *потребность* считать Германию виновной, считать, что мы одурачены. И каждый день, разворачивая газету, я прежде всего ищу в ней — я этого не скрываю — доказательств германского двуличия!

— Но почему же? — спросил Жуслен, остановившись у двери.

Халиф опустил глаза:

— Потому что я хочу иметь силу перенести то, что нам предстоит!.. Потому что, если мы подвергнем сомнению виновность Германии, будет слишком трудно выполнять то, что все мы называем «нашим долгом»!

Жак не мог удержаться от горького смеха.

— «Патриотическим» долгом!

— Да,— сказал Штудлер.

— Неужели вы еще можете считаться с этим мнимым долгом, видя, что нам готовят, прикрываясь этим словом?

Халиф передернул плечами, словно стараясь выпутаться из сетей.

— Ах,— продолжал он гневным и в то же время умоляющим тоном,— перестаньте сбивать меня с толку! Ведь все мы знаем, что если, на наше несчастье, во Франции будет завтра объявлена мобилизация, то мы, что бы мы об этом ни думали, не станем от нее уклоняться.

Жак уже открыл рот, чтобы крикнуть: «А я стану!» — как вдруг заметил, что Антуан, стоя посреди комнаты и обернувшись в его сторону, пристально на него смотрит. Невольно парализованный, Жак уступил неожиданной мольбе, которую прочитал в этом взгляде: он промолчал. Еще раньше, как только Антуан вошел в комнату, Жак был поражен смятением, которое угадал в душе брата, и оно взволновало его до глубины души,— совсем как в ту ночь, когда у изголовья умирающего отца этот старший брат, бывший в глазах младшего несокрушимым, неожиданно разразился рыданиями в его присутствии.

Антуан отвернулся.

— Манюэль,— сказал он,— будьте добры, налейте нам кофе, голубчик.

— И потом,— продолжал Халиф, все более и более воспламеняясь,— я рассуждаю так: «Как знать? Быть может, великая европейская война больше сделает для ускорения победы социализма, чем это могли бы сделать двадцать лет пропаганды в мирное время!»

— Право, не представляю себе, каким это образом,— сказал Жуслен.— Я знаю, некоторые из ваших доктринеров проповедуют догму, согласно которой, чтобы начать революцию, нужна война. Но я всегда считал, что это «чисто умозрительные выкладки», как умилительно выражается папаша Филип. Чтобы рассуждать так, надо не иметь ни малейшего понятия о том, что будет представлять собой современная вооруженная нация, мобилизованный народ! Странная иллюзия — надеяться, что восстание, которое не могли осуществить даже при расхлябанности нашего демократического режима станет вдруг возможным тогда, когда все революционеры будут загнаны в армию, как в тюрьму, когда они окажутся в полной зависимости от военной диктатуры, имеющей право располагать жизнью и смертью людей!

Штудлер не слушал. Он пристально смотрел на Жака.

— Война...— произнес он мрачно..— Что ж? Это три, может быть, четыре месяца... Но если европейский пролетариат окажется в результате этого испытания более сильным, более закаленным, более спаянным? Если после нее действительно будет покончено с империализмом, с соперничеством вооружений? Если народы создадут наконец прочный мир, мир под эгидой Интернационала?

Жак упрямо покачал головой.

— Нет! Все это сомнительное прекрасное будущее не нужно мне, если оно будет оплачено ценой войны... Все, что угодно, только не отречение от разума, от справедливости перед лицом грубой силы и крови! Все, что угодно, только не этот ужас и не эта нелепость! Все, все, только не война!

Руа, слушавший его, уронил:

— Все?.. Даже оккупация врагом нашей территории? В таком случае для нашего спокойствия давайте сейчас предложим немцам такие департаменты, как Мёза, Арденны, Нор, Па-де-Кале! Почему бы нет! И с удобным выходом к морю!

Жак слегка пожал плечами.

— Это, разумеется, не понравилось бы некоторым промышленникам севера. Но неужели вы действительно думаете, что это внесло бы существенную перемену в нищенское существование большинства рабочих и шахтеров? И неужели вам не ясно, что большинство из них, если бы их спросить, предпочло бы это славной смерти на поле битвы?..— Его лицо оставалось мужественным и серьезным.— Я знаю, что вы смотрите на войну и на мир как на естественно чередующиеся этапы в жизни народов... Чудовищно!.. Это жестокое чередование надо прекратить раз и навсегда! Надо, чтобы человечество, освободившись от этого кровавого ритма, могло свободно направлять свою энергию на создание лучшего общества! Война не разрешает ни одной из насущных проблем в жизни человека! Она только ухудшает бедственное положение рабочего! Пушечное мясо во время войны, раб, угнетаемый еще более жестоко после нее,— таков его жребий! — Глухим голосом он добавил: — Для меня это просто: я не вижу ничего — решительно *ничего!* — что могло бы быть хуже для народа, чем бедствия войны!

— Очень просто! — холодно произнес Руа.— И даже немного... упрощенно, если хотите! Как будто народ ничего не выигрывает на войне, которая заканчивается победой!

— Ничего! Никогда!

Раздался голос Антуана, отчетливый, резкий:

— Это не выдерживает критики!

Жак вздрогнул и повернул голову. До этого Антуан сидел за письменным столом и, опустив глаза, был, казалось, занят тем, что распечатывал письма. В действительности же он не пропустил ни одного слова из того, что говорилось в нескольких метрах от него. Не поднимаясь с места, не глядя на брата, он продолжал:

— Не выдерживает никакой критики с точки зрения истории! Вся история... начиная с Жанны д'Арк...

— Гм! — насмешливо вставил Жуслен.— Кто знает? Может быть, не будь Орлеанской девы, Англия и Франция слились бы в единую нацию... К немалому бесчестию Карла Седьмого, согласен. Но, пожалуй, и к немалой выгоде обеих наций: благодаря этому они избежали бы многих страданий...

Антуан пожал плечами.

— Будьте серьезны, Жуслен. Не станете же вы утверждать, что Германия, например, ничего не выиграла ни от Садовы, ни от Седана?

— Германия! — немедленно отпарировал Жак.— Немецкая нация! Совокупность!.. Но *народ?* Но немец, человек из немецкого народа — что выиграл он?

Руа выпрямился.

— А если к пасхе тысяча девятьсот пятнадцатого года, или даже раньше, победоносная Франция отвоюет Эльзас-Лотарингию, расширит свою территорию до естественной границы — Рейна, присоединит к своим владениям угольные богатства Саара, увеличит свое колониальное могущество за счет германских владений в Африке, если силой своего оружия она превратится в самую могущественную державу континента,— можно ли будет утверждать тогда, что французский народ ничего не выиграл, пожертвовав своими солдатами?

Он добродушно рассмеялся, затем, считая, как видно, что вопрос исчерпан, вынул портсигар, взял стул, перевернул его и уселся верхом.

— Все это не так просто... Не так просто...— задумчиво прошептал возле Жака Жуслен.

— Нет,— сказал Жак вполголоса, обращаясь к нему,— я не могу понять насилие, даже если оно направлено против насилия! Я не хочу, чтобы в моем рассудке осталась хоть одна щель, в которую могло бы проскользнуть поползновение к насилию!.. Я отказываюсь от всякой войны, независимо от того, как она будет окрещена — «справедливой» или «несправедливой»! От всякой войны, откуда бы она ни исходила и чем бы она ни была вызвана!

Его душило волнение. Он замолчал. «Даже от гражданской войны!» — подумал он, вспомнив свои страстные споры с революционерами, готовыми на все, например с Митгергом. («Не разнузданной ненависти и не убийству,— говорил им Жак,— хочу я быть обязанным за торжество идеи братства — идеи, которой я посвятил свою жизнь...»)

LXI

— Не так просто...— повторил Жуслен, окидывая всех тяжелым взглядом.

Он сделал паузу и заговорил уже другим тоном, словно собирая убегавшие мысли.

— У нас, врачей, есть хотя бы одно преимущество — нас призывают не для того, чтобы заставить играть кровавую роль... Нас мобилизуют не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы лечить...

— Да, да...— живо откликнулся Штудлер, и его влажные глаза с благодарностью устремились на Жуслена.

— А если бы вы не были врачами? — с каким-то задорным любопытством спросил Руа, переводя внимательный взгляд с одного на другого. (Все знали, что, имея дело с военными властями, он никогда не пускал в ход своего диплома, что во время пребывания в армии он после короткого стажа в лазарете добился перевода обратно в воинскую часть и теперь числится младшим лейтенантом запаса в пехотном полку.)

— Итак, милый Манюэль,— вскричал Антуан,— вы решительно не хотите дать нам кофе!

Казалось, он искал любого предлога, чтобы прекратить спор и рассеять группу спорщиков.

— Сейчас, сейчас, патрон,— ответил молодой человек. И он вскочил, по-спортивному перекинув ногу через спинку стула.

— Исаак! — позвал Антуан.

Штудлер подошел. Антуан протянул ему конверт.

— Посмотри, филадельфийский институт наконец решился ответить...— И по привычке добавил: — Приложить к делу.

Штудлер с удивлением посмотрел на него и не взял письма. Антуан криво усмехнулся и бросил конверт в корзину.

Теперь только Жуслен и Жак продолжали стоять в углу просторной комнаты.

— Врач или не врач,— сказал Жак, не глядя в сторону брата, но голосом более громким, чем если бы он обращался только к своему собеседнику,— врач или не врач, но каждый мобилизованный, который является на призывной пункт, поддерживает таким образом националистическую политику и соглашается на войну. По-моему, вопрос остается одинаковым для всех: достаточно ли распоряжения правительства, чтобы ты согласился принять участие в этой бойне?.. Если бы даже я и не был... тем, что я есть,— продолжал он, наклоняясь к Жуслену,— если бы даже я был покорным гражданином, довольным установлениями своей страны, я не допустил бы, чтобы, какое бы то ни было соображение государственной пользы могло заставить меня нарушить мой моральный долг. Государство, которое присвоило себе право насиловать совесть тех, кем оно управляет, не может рассчитывать на их содействие. И общество, которое не отдает себе отчета в основном — в моральной ценности отдельной личности,— не заслуживает ничего, кроме презрения и протеста!

Жуслен покачал головой.

— Я был яростным дрейфусаром,— сказал он вместо ответа.

Антуан, который, казалось, был чем-то занят за письменным столом, круто повернулся.

— Вопрос поставлен неверно,— произнес он резко. Не переставая говорить, он встал и, глядя на брата, вышел один на середину комнаты.— Демократическое правительство, каким является наше правительство,— пусть даже его политика и оспаривается оппозиционным меньшинством,— стоит у власти только потому, что оно законно представляет волю большинства. Вот этой-то коллективной воле нации и подчиняется мобилизованный, когда он идет на призывной пункт,— независимо от его личного мнения о политике правительства, стоящего у власти!

— Ты ссылаешься на большинство! — сказал Штудлер.— Но ведь большинство граждан,— чтобы не сказать — все без исключения,— хочет сейчас, чтобы войны не было.

Жак заговорил снова.

— Во имя чего,— спросил он, неловко избегая прямо обращаться к брату и стараясь все время смотреть на Жуслена,— во имя чего станет это большинство жертвовать продуманными, законными принципами и ставить покорность гражданина выше самых священных своих убеждений?

— Во имя чего? — вскричал Руа, внезапно выпрямившись, словно он получил пощечину.

— Чего? — как эхо, отозвался голос г-на Шаля.

— Во имя общественного договора,— твердо произнес Антуан.

Руа посмотрел на Жака, потом на Штудлера, точно ожидая, чтобы они возразили. Затем он пожал плечами, круто повернулся, быстро подошел к креслу, стоявшему далеко, в амбразуре одного из окон, и уселся спиной к говорившим.

Антуан, опустив глаза, нервно помешивал ложечкой в чашке и, казалось, ушел в себя.

Наступило молчание, которое нарушил Жуслен.

— Я очень хорошо вас понимаю, патрон,— сказал он мягко,— и, пожалуй, в итоге думаю то же, что и вы... Для нас, для нашего поколения, поколения зрелых людей, современное общество, несмотря на его недостатки, это все же реальность. Это готовый и относительно прочный фундамент, построенный предыдущими поколениями и оставленный ими нам, фундамент, на котором и мы, в свою очередь, нашли свое равновесие... Я тоже отдаю себе в этом отчет, и очень ясный.

— Вот именно,— произнес Антуан. Не поднимая головы, он продолжал вертеть ложку.— Каждый из нас в отдельности — существо слабое, одинокое, беспомощное. Нашей силой,— во всяком случае, большей частью этой силы, возможностью плодотворно

применять эту силу,— мы обязаны социальной группировке, которая нас объединяет, которая приводит в систему наши индивидуальные энергии. И при современном состоянии мира это для нас не миф. Это нечто определенное, ограниченное в пространстве. И это называется — Франция...

Он говорил медленно, грустным, но твердым тоном, словно все это было давно продумано им и он рад был случаю высказаться.

— Все мы — члены одного национального общества, и на практике все мы ему подчиняемся. Между нами и этим сообществом, которое позволяет нам быть тем, что мы есть, жить почти в полной безопасности и устраивать в его рамках нашу жизнь — жизнь цивилизованных людей,— между нами и им уже тысячелетия существует общепризнанная связь, договор — договор, который обязывает нас всех! Тут не может быть вопроса о выборе, это непреложный факт... До тех пор, пока люди будут жить в обществе, отдельные личности не смогут, мне кажется, по собственной прихоти считать себя свободными от своих обязанностей по отношению к обществу, которое их охраняет и благами которого они пользуются.

— Не все! — отрезал Штудлер.

Антуан окинул его быстрым взглядом.

— Все! Быть может, в неравной степени, но все! И ты и я, пролетарий и буржуа, и официант и метрдотель! Поскольку мы родились членами этого сообщества, все мы заняли в нем место, из которого каждый из нас ежедневно извлекает выгоду. Выгоду, требующую взамен соблюдения общественного договора. И одно из первых условий этого договора требует от нас соблюдения законов сообщества и подчинения им даже в том случае, если, в результате наших свободных индивидуальных рассуждений, эти законы порой и кажутся нам несправедливыми. Отбросить эти обязательства — значило бы подорвать фундамент учреждений, которые делают такое национальное сообщество, как Франция, устойчивым, живым организмом. Это значило бы расшатать общественное здание.

— Да! — вполголоса произнес Жак.

— И больше того,— продолжал Антуан гневным тоном,— это значило бы поступать безрассудно: это значило бы действовать против истинных интересов индивидуума, потому что беспорядок, который явился бы следствием этого анархического бунта, имел бы для индивидуума бесконечно более злосчастные последствия, нежели его подчинение законам,— даже если эти законы имеют недостатки.

— Как знать! — с живостью возразил Штудлер.

Антуан снова бросил взгляд на Халифа и на этот раз сделал полшага в его сторону.

— Разве нам как гражданам не приходится неоднократно подчиняться законам, которые мы не одобряем как отдельные личности? Впрочем, общество разрешает нам вступить с ним в борьбу: свобода мысли и печати еще существует во Франции! У нас есть даже легальное оружие для борьбы — избирательный бюллетень.

— Есть о чем говорить! — возразил Штудлер.— Чистейшее надувательство — вот что такое во Франции твое всеобщее избирательное право! На сорок миллионов французов нет и двенадцати миллионов избирателей! Достаточно шести миллионов плюс один голос — половины всех голосующих,— чтобы образовать то, что имеют наглость называть большинством! Итак, мы имеем тридцать четыре миллиона дураков, покорных воле шести миллионов лиц, которые чаще всего голосуют — ты и сам знаешь как: вслепую, под влиянием россказней в кабачках! Нет, нет, француз не имеет фактически никакой политической власти. Имеет ли он возможность изменять установленный государственный строй? Отвергать или хотя бы просто обсуждать новые, навязанные ему законы? Его совета не спрашивают даже тогда, когда заключают от его имени союзы, которые могут вовлечь его в столкновения, где он сложит свою голову! Вот что называется во Франции национальным суверенитетом!

— Прошу прощения,— спокойно поправил его Антуан.— Я не чувствую себя таким уж беспомощным, как ты говоришь. Разумеется, у меня не спрашивают совета по поводу каждого события общественной жизни. Однако если сообщество придерживается политики, которая мне не нравится, никто не запрещает мне подать голос за тех, кто будет бороться против этой политики в парламенте!.. До тех же пор, пока моему голосу не удастся удалить от власти тех, кто представляет там мнение большинства, и посадить на их место людей, которые изменят государственную политику в соответствии с моими взглядами, мой долг прост. И неоспорим. Я обязан общественным договором. Я должен покоряться. Должен повиноваться.

— *Dura lex* — все же *lex*! [1] — изрек г-н Шаль посреди всеобщего молчания.

Халиф ходил по комнате взад и вперед.

— Остается узнать одно,— проворчал он,— не явится ли в данном случае революционный беспорядок, который могло бы

---

[1] Жестокий закон — все же закон *(лат.)*.

вызвать неподчинение мобилизованных, значительно меньшим злом, чем...

— ...чем самая короткая война! — закончил Жак.

Руа, находившийся в противоположном углу кабинета, сделал какое-то движение, и пружины его кресла заскрипели. Но он промолчал.

— Что касается меня, патрон,— тихо сказал Жуслен,— я рассуждаю так же, как вы: я подчиняюсь... И тем не менее я понимаю, что в столь исключительную минуту, накануне такого потрясения, какое нам угрожает, это подчинение, этот долг может явиться для некоторых... неприемлемым, бесчеловечным...

— Напротив,— возразил Антуан.— Чем острее сознает индивидуум всю серьезность события, тем более неумолимым должен ему казаться его долг!

Он сделал паузу и поставил чашку обратно на поднос, так и не выпив кофе. Лицо его исказилось, голос дрожал.

— Вот уже несколько дней, как я спрашиваю себя об этом,— признался он вдруг подавленным тоном, невольно заставившим Жака внимательно взглянуть на него. Несколько секунд он прижимал к векам указательный и большой пальцы, затем поднял голову и бросил в сторону брата странный, быстрый взгляд. Потом заговорил, взвешивая каждое слово: — Если бы сегодня вечером правительство, избранное большинством,— пусть даже сам я голосовал против него,— если бы оно объявило мобилизацию, то, что бы я ни думал о войне, принадлежал бы я к оппозиционному меньшинству или не принадлежал, это все равно не дало бы мне права самовольно нарушить договор и уклониться от обязательств, которые одинаковы для всех, решительно для всех!

Жак, не перебивая, выслушал эти слова, предназначенные для него одного. Его не так уж сильно возмутили положения, выставленные Антуаном; он был невольно взволнован задушевной, доверчивой интонацией его голоса, который дрожал, произнося все эти догматические утверждения. К тому же, как ни противоположны были взгляды Антуана его собственным, он не мог не подумать, что и в данном случае Антуан был, как всегда, логичен и абсолютно верен себе.

Внезапно, словно услышав чье-то резкое возражение, Антуан скрестил руки и крикнул:

— Право же, черт побери, это было бы слишком удобно — иметь возможность оставаться гражданином только *до* объявления войны!..

Наступившее молчание было особенно тягостным.

Жуслен, чутко улавливавший все оттенки, счел уместным перевести разговор на другую тему. Дружелюбным тоном, словно

спор был разрешен и все сошлись во взглядах, он провозгласил вместо заключения:

— В сущности, патрон прав. Общественная жизнь — это своего рода игра. Надо выбрать что-нибудь одно: либо подчиниться правилам, либо отказаться от партии...

— Я выбрал,— вполголоса сказал стоявший возле него Жак.

Жуслен повернул голову и с секунду смотрел на юношу с невольным вниманием и волнением. Ему показалось, что где-то позади живого, реального Жака он вдруг увидел всю его необыкновенную и трагическую судьбу.

Безбородое лицо Леона просунулось в полуоткрытую дверь.

— Господина Антуана *просят* к телефону.

Антуан обернулся и, моргая, посмотрел на слугу, словно его неожиданно разбудили. «Опять она!» — подумал он наконец.

— Хорошо. Иду.

Опустив глаза, нахмурившись, он несколько секунд не двигался с места; потом неторопливо вышел из комнаты.

«Что она скажет мне? — думал он, направляясь в свою рабочую комнату.— *«Ты* больше *не любишь меня!.. Ты не любишь меня, как прежде!..»* Неизбежно приходит час, когда они говорят вам это,— все, все, как одна!.. Они бы очень удивились, узнав, что́ именно мы «больше не любим»... Не их — себя! Не любим человека, которым мы становимся в их присутствии... Вместо того чтобы говорить: «Ты больше не любишь меня»,— им бы следовало говорить так: «Ты больше не любишь того человека, в которого превращаешься, когда мы вместе...»

Он остановился перед аппаратом и, не раздумывая, взял трубку.

— Это ты, Тони?

Он вздрогнул; его охватило чувство, похожее на возмущение. Он стоял здесь, перед этим знакомым, слишком хорошо знакомым голосом, певучим и низким, нарочито нежным, и не мог решиться ответить. Холодная ярость... Вот уже два дня, как он чувствовал, что освободился от Анны, от ее чар. Не только освободился — очистился... Да, ему казалось, что он смыл с себя какую-то грязь... Он вспомнил о Симоне. Нет, это кончено, кончено! Причальные канаты обрублены. К чему связывать их снова?

Он осторожно положил трубку на стол и отступил на шаг. Он слышал в аппарате какое-то шуршание, какой-то задыхающийся, прерывистый звук, похожий на хрип... Это было жестоко... Тем хуже! Все, что угодно, только не восстанавливать связь...

Но вместо того, чтобы вернуться в кабинет, он запер дверь, выходившую в коридор, подошел к дивану, закурил папиросу и, бросив последний взгляд на стол, где неподвижно лежала замолчавшая трубка — изогнутая, блестящая, похожая на какое-то мертвое пресмыкающееся,— тяжело растянулся среди подушек.

В кабинете, у камина, оставшись вдвоем со Штудлером, г-н Шаль, обрадованный возможностью, в свою очередь, поговорить и быть выслушанным, пытался в нескладных и туманных выражениях дать собеседнику кое-какие сведения о своей деятельности.

— Новые трюки, выдумки, мелкие изобретения... Всегда что-нибудь новое — таков наш девиз... Что? Я пришлю вам бюллетень А. И.— Ассоциации изобретателей... Вы увидите. Мы беремся уже и за побочные мероприятия... Ничего не поделаешь — война... Придется изменить направление... Защита нации... Каждый в своей сфере... Что? (Он все время произносил это «что?» с обеспокоенным видом, словно не расслышав вопроса, требовавшего немедленного ответа.) Изобретатели уже приносят нам весьма сенсационные вещички,— сразу же продолжал он.— Мне не хотелось бы разглашать... но вот это, пожалуй, я могу сказать, портативный фильтр для болотной и дождевой воды... Незаменим во время похода... Все вредные миазмы, разрушающие организм солдата...— У него вырвался удовлетворенный смешок.— И нечто еще более сенсационное: автоматический прицел со спусковым механизмом. Для пехотинцев с плохим зрением... или даже артиллеристов...

Руа, который с минуту прислушивался со своего места к этим бессвязным словам, встал.

— Автоматический? Как это?

— Вот именно,— ответил Шаль, польщенный.— В этом вся прелесть.

— Но как же? Как он действует?

Шаль сделал решительный жест:

— Совершенно самостоятельно!

Жак и Жуслен, все еще стоявшие на том же месте, в углу у книжных шкафов, вполголоса беседовали.

— И мучительнее всего,— говорил Жак, яростно хмуря брови, мучительнее всего думать, что придет день, придет неизбежно и, может быть, очень скоро, когда люди даже не будут понимать, как могли все эти разговоры о военной службе, о нациях, марши-

рующих под знаменами, как могли они иметь характер догмы, характер не подлежащего обсуждению, священного долга! День, когда покажется непостижимым, что общественная власть могла присвоить себе право расстрелять человека за то, что он отказался взять в руки оружие!.. Точно так же, как нам кажется невероятным, что некогда тысячи людей в Европе могли подвергаться суду и пыткам за свои религиозные убеждения...

— Вот, послушайте! — вскричал Руа, рассеянно просматривавший в это время сегодняшнюю газету, которую взял со стола. Громко и отчетливо он прочел насмешливым тоном:

— *«Молодая чета с ребенком желает снять на три месяца спокойный домик с садом возле реки, изобилующей рыбой: предпочтительно в Нормандии или в Бургундии. Адрес: 3418, редакция газеты»!*

Он звонко рассмеялся. Сегодня он был, пожалуй, единственным, кто мог еще смеяться.

— Весел, как школьник перед каникулами,— прошептал Жак.

— Весел, как истинный герой,— поправил его Жуслен.— Где нет веселья, там нет и героизма,— там только храбрость...

Шаль вынул часы и, прежде чем посмотреть на стрелки, как всегда, с минуту прислушивался к ходу «маленького зверька», сосредоточенно глядя в одну точку, словно врач, который выслушивает больного. Затем, подняв брови над очками, объявил:

— Час тридцать семь минут.

Жак вздрогнул.

— Я опаздываю,— сказал он, пожимая руку Жуслена.— Бегу, не дожидаясь брата.

Антуан, лежавший на диване в своей рабочей комнатке, уловил в передней голос Жака, которого Леон провожал к лестнице.

Он поспешно отворил дверь.

— Жак!.. Послушай...

Жак, удивленный, подошел к двери.

— Ты уходишь?

— Да.

— Зайди на минутку,— глухим голосом сказал Антуан, прикоснувшись к его руке.

Жак пришел на Университетскую улицу именно для того, чтобы поговорить с братом с глазу на глаз. Ему хотелось рассказать Антуану, на что он употребил свои деньги; ему неприятно было скрывать это от него. Он подумал даже: «Может быть, я скажу ему о Женни...» Несмотря на то, что времени у него было

мало, он охотно согласился на этот разговор наедине и вошел в маленький кабинет.

Антуан снова затворил дверь.

— Послушай,— повторил он, не садясь.— Поговорим серьезно, малыш. Что ты... что ты думаешь делать?

Жак притворился удивленным и не ответил.

— Ты был освобожден от военной службы. Однако в случае мобилизации все освобожденные будут подвергнуты вторичному осмотру, всех пошлют на фронт... Что ты думаешь делать тогда?..

Жак не мог уклониться от ответа.

— Еще не знаю,— сказал он.— Пока что я вырвался из их лап, и притом на законном основании: они ничего не могут со мной сделать.— И, отвечая на настойчивый взгляд Антуана, сухо добавил: — Я могу сказать тебе только одно: что скорее отрублю себе обе руки, чем стану солдатом.

Антуан на секунду отвел глаза.

— Такое поведение можно назвать самым...

— ...самым трусливым?

— Нет, этого я не думал,— мягко сказал Антуан.— Но, пожалуй, самым эгоистичным...— Видя, что Жак не реагирует, он продолжал: — Ты со мной не согласен? Отказаться идти на войну в такой момент — это значит свои личные интересы поставить выше интересов общественных.

— *Национальных* интересов,— отпарировал Жак.— Общественные интересы, интересы масс,— это, безусловно, не война, а мир!

Антуан сделал уклончивый жест, которым хотел, казалось, устранить из их разговора всякие теоретические рассуждения. Но Жак упорствовал.

— Общественным интересам служу именно я — своим отказом! И я чувствую,— у меня нет на этот счет никаких сомнений,— что та часть моего «я», которая отказывается воевать,— это лучшее, что во мне есть.

Антуан сдержал порыв нетерпения.

— Послушай, рассуди хорошенько... Какой практический результат может иметь этот отказ? Никакого. Когда вся страна мобилизуется, когда огромное большинство,— а так оно и будет в данном случае,— считает защиту нации своим долгом,— что может быть бесполезнее, что может быть скорее обречено на неудачу, чем единичный акт неподчинения?

Антуан так старался сдерживать себя, тон его оставался таким сердечным, что Жак был тронут. Он спокойно взглянул на брата и даже дружески улыбнулся ему.

— Зачем возвращаться к этому, старина? Ты хорошо знаешь, что я думаю... Я никогда не соглашусь с тем, что правительство может заставить меня принять участие в деле, которое я считаю преступлением, изменой истине, справедливости, общечеловеческой солидарности... В моих глазах героизм не у таких, как Руа: героизм заключается не в том, чтобы схватить винтовку и бежать к границе. Героизм в том, чтобы отказаться воевать и скорее дать себя повесить, нежели стать соучастником!.. Напрасная жертва? Кто знает? Именно нелепая покорность толпы делала и до сих пор делает возможным существование войн... Единичная жертва? Тем хуже... Что я могу сделать, если людей, у которых хватает смелости сказать «нет», так мало? Может быть, это объясняется просто тем, что...— он запнулся,— что известная... сила духа встречается не так уж часто...

Антуан слушал стоя, странно неподвижный. Его брови чуть заметно вздрагивали. Он пристально смотрел на брата и ровно дышал, словно во сне.

— Я не отрицаю, что нужна из ряда вон выходящая нравственная сила, чтобы восстать одному или почти одному против приказа о мобилизации,— сказал он наконец мягким тоном.— Но это сила, потерянная даром... Сила, которая бессмысленно разобьется о стену!.. Убежденный человек, который отказывается воевать и идет ради своих убеждений под расстрел, привлекает все мои симпатии, все мое сочувствие... Но я считаю его бесполезным мечтателем... И заявляю, что он *не прав*.

Жак ограничился тем, что слегка развел руками, как минуту назад, когда сказал: «Что я могу сделать?»

Антуан с минуту смотрел на него молча. Он еще не отчаивался.

— Факты налицо, и они торопят нас,— продолжал он.— Завтра важность событий,— событий, которые ни от кого больше не зависят,— может вынудить государство распорядиться нами. Неужели ты действительно думаешь, что сейчас подходящий момент, чтобы обсуждать, соответствуют ли требования, которые предъявляет нам наша страна, нашим личным взглядам? Нет! Носители власти решают, носители власти распоряжаются... У себя в клинике, когда я срочно приказываю применить лечение, которое считаю нужным, я не допускаю никаких рассуждений...— Он неловко поднял руку ко лбу и на секунду прижал пальцы к векам; затем продолжал с усилием: — Подумай, малыш... Ведь речь идет не о том, чтобы одобрить войну,— надеюсь, ты не думаешь, что я ее одобряю,— речь идет о том, чтобы подчиниться ей. С возмущением, если таков наш темперамент, но с возмущением внутренним, которое должно уметь молчать, когда говорит долг. Колебаться, когда

в минуту опасности нужна твоя помощь, это значило бы предать общество... Да, это было бы настоящим предательством, преступлением по отношению к другим, отсутствием солидарности... Я не утверждаю, что надо отнять у нас право обсуждать решения, которые примет правительство. Но позже. После того как мы подчинимся им.

Жак снова улыбнулся.

— А я, видишь ли, утверждаю, что человек имеет право совершенно не считаться с националистическими притязаниями, во имя которых воюют государства. Я не признаю за государством права насиловать совесть людей по каким бы то ни было соображениям... Мне противно повторять все эти громкие слова. Однако это именно так: моя совесть говорит во мне громче, чем все оппортунистические рассуждения вроде твоих. Она говорит также громче, чем ваши законы... Единственное средство помешать насилию управлять судьбой мира — это прежде всего отказаться самому от всякого насилия! Я считаю, что отказ убивать — это признак нравственного благородства, который заслуживает уважения. Если ваши кодексы и ваши судьи не уважают его, тем хуже для них: рано или поздно они ответят за это...

— Хорошо, хорошо...— произнес Антуан, раздосадованный тем, что беседа опять отклонилась в сторону общих рассуждений. И спросил, скрестив руки: — Ну, а *практически?..*— Он подошел к брату и, охваченный внезапным приливом нежности, такой редкой у них обоих, обнял его за плечи: — Ответь мне, мой малыш... Если завтра объявят мобилизацию — что ты будешь делать?

Жак высвободился спокойно, но твердо:

— Я буду продолжать бороться против войны! До конца! Всеми средствами! Всеми!.. Включая, если понадобится, революционный саботаж! — Он невольно понизил голос. У него не хватало дыхания, он замолчал.— Я сказал это... Я и сам не знаю...— продолжал он после короткой паузы.— Но что несомненно, Антуан, совершено несомненно,— я не буду солдатом. Никогда!

Он сделал усилие, чтобы улыбнуться в последний раз, кивнул головой в знак прощания и пошел к двери. Брат не пытался удержать его.

LXII

Жак застал Женни одну, в костюме, уже́ готовую выйти из дому; лицо ее осунулось, она была в состоянии лихорадочного возбуждения. Никаких вестей от матери, ни одного письма от Даниэля. Она терялась в догадках. Газетные новости привели ее в ужас. И главное — Жак опаздывал; преследуемая воспоминанием

о полицейских Монружа, она убедила себя, что с ним что-то случилось. Не в силах выговорить ни слова, она бросилась в его объятия.

— Я пытался,— сказал он,— навести справки о положении иностранцев, находящихся в Австрии... Незачем себя обманывать: там осадное положение. Разумеется, германские подданные могут еще возвращаться к себе. Итальянцы, может быть, тоже, хотя отношения между Италией и Австрией очень натянуты... Но французы, англичане и русские... Если ваша матушка не выехала из Вены несколько дней назад,— а в этом случае она была бы уже здесь,— сейчас уже слишком поздно... По-видимому, ей помешают выехать...

— Помешают? Каким образом? Ее посадят в тюрьму?

— Да нет, что вы! Просто ей будет отказано в разрешении сесть в поезд... В течение недели или, может быть, двух, пока положение не выяснится, пока не будут урегулированы международные отношения...

Женни ничего не ответила. Одним своим присутствием Жак сразу избавил ее от тревог, созданных ее воображением. Она прижалась к нему, бездумно отдаваясь долгому поцелую, повторения которого она ждала со вчерашнего дня. И наконец высвободилась из его объятий, но лишь для того, чтобы прошептать:

— Я не хочу больше оставаться одна, Жак... Возьмите меня с собой... Я не хочу больше расставаться с вами!

Они пошли пешком по направлению к Люксембургскому саду.

— Давайте сядем в трамвай на площади Медичи,— сказал Жак.

Большой сад был сегодня необычно безлюден. Налетавший ветерок шелестел в вершинах деревьев. Пряный запах индийской гвоздики поднимался от цветочных клумб. Уединившись на скамейке, стоявшей у цветников, мужчина и женщина,— их лиц не было видно, так низко нагнулись они друг к другу,— казалось, заполняли пространство вокруг любовным трепетом.

За решетчатой оградой Жака и Женни вновь встретил город — город, лихорадочно возбужденный под нависшей угрозой; шум его казался отголоском страшных известий, которыми в этот прекрасный летний день обменивались страны, находившиеся на разных концах Европы. За два дня Париж, уже успевший опустеть, как всегда летом, внезапно снова наполнился людьми. Газетчики перебегали площадь, выкрикивая экстренные выпуски. Пока Жак и Женни ждали трамвая, мимо них проехал запряженный парой лошадей вокзальный омнибус: внутри теснились родители, дети,

няньки; на крыше, в груде багажа, виднелась детская коляска, сетка для ловли креветок, большой зонт от солнца.

— Упрямцы! Они бросают вызов судьбе! — прошептал Жак.

На улице Суфло, на бульваре Сен-Мишель, на улице Медичи ни на секунду не прекращалось движение. Однако это был не обычный трудовой Париж будней и не тот Париж, который слоняется без дела в солнечный воскресный день. Это был потревоженный муравейник. Прохожие шли быстро, но их рассеянный вид, их колебания, куда повернуть — налево или направо,— все это ясно говорило, что большинство из них идет, не имея определенной цели: не в силах оставаться наедине с собой и с миром, они бросили свои жилища, свою работу с одной лишь мыслью — бежать, получить возможность хоть на минуту вверить тяжесть своей души общему потоку человеческой тревоги, наводнившему улицу.

Безмолвная и близкая, как тень, Женни весь день сопровождала Жака: от Латинского квартала до Батиньоля, от Гласьер до площади Бастилии, от набережной Берси до Шато-д'О. Повсюду те же новости, те же рассуждения то же негодование; и уже повсюду те же согнутые плечи, та же покорность судьбе.

Минутами, когда они снова оказывались одни, Женни самым естественным тоном заговаривала о себе или о погоде: «Я напрасно надела вуаль... Давайте перейдем на ту сторону и посмотрим цветы в витрине... Жара спала. Чувствуете? Сейчас уже можно дышать...» И эти наивные фразы внезапно ставившие в один ряд витрину цветочного магазина, европейские проблемы и температуру, немного раздражали Жака. Тогда он устремлял на девушку равнодушный, тяжелый взгляд, и мрачный отчужденный огонь этих глаз внезапно пугал Женни. Иногда же, смягченный, он отворачивался и спрашивал себя: «Имею ли я право впутывать ее во все это?»

В коридоре Всеобщей конфедерации труда он поймал любопытный, суровый взгляд, который устремил на Женни один из случайно встреченных товарищей. И вдруг он увидел ее такой, какой она была здесь, на этой пыльной площадке, среди рабочих, увидел ее изящный английский костюм, креповую вуаль, а в манере держать себя, во всем ее облике — нечто не поддающееся определению: след, отпечаток иной социальной среды. Ему стало неловко, и он вышел с ней на улицу.

Пробило семь часов. Бульварами они дошли до Биржи.

Женни устала. Могучая жизненная энергия, исходившая от Жака, порабощала ее и в то же время истощала ее силы. Она вспомнила, что когда-то, в Мезон-Лаффите, ей приходилось уже

испытывать в его присутствии это самое ощущение усталости, изнеможения,— усталости, являвшейся следствием того неослабевающего напряжения, которого он как бы требовал от окружающих, которое он почти предписывал своим голосом, властным взглядом, резкими скачками мысли.

Когда они подходили к редакции «Юманите», мимо них пробежал Кадье.

— На этот раз кончено! — крикнул он.— Германия объявила мобилизацию! Россия добилась своего!

Жак ринулся к нему. Но Кадье был уже далеко.

— Надо разузнать. Подождите меня здесь. (Он не решался привести девушку в редакцию.)

Она перешла дорогу и стала прохаживаться по противоположному тротуару. Люди, как пчелы в улье, роились у подъезда дома, куда скрылся Жак, то входили, то выходили обратно.

Через полчаса он вышел. Лицо его было искажено волнением.

— Это официально. Известие получено из Германии. Я видел Грусье, Самба, Вайяна, Реноделя. Все они там, наверху, и ждут подробностей. Кадье и Марк Левуар все время бегают из редакции на Кэ-д'Орсе и обратно... В ответ на усиление военных приготовлений России Германия мобилизуется... Настоящая ли это мобилизация? Жорес утверждает, что нет. Это то, что по-немецки называется *Kriegsgefahrzustand!* Случай, по-видимому, предусмотренный их конституцией. Жорес, со словарем в руках, дает почти буквальный перевод: «Состояние военной опасности... Состояние военной угрозы...» Патрон изумителен: он не желает терять надежды! Он еще под впечатлением своей поездки в Брюссель, бесед с Гаазе и с немецкими социалистами. Он всецело им доверяет: «Пока эти с нами, ничто еще не потеряно! — повторяет он.

Взяв Женни под руку, Жак быстро увлек ее вперед. Они несколько раз обошли квартал.

— Что будет делать Франция? — спросила Женни.

— По-видимому, в четыре часа состоялось экстренное заседание совета министров. В официальном коммюнике прямо говорится, что совет рассмотрел «меры, необходимые для защиты наших границ». Агентство Гавас сообщает в вечерних газетах, что наши войска прикрытия вышли на передовые позиции. Но в то же время говорят, что генеральный штаб решил оставить вдоль всей границы незанятую зону в несколько километров, чтобы у неприятеля не оказалось предлога для конфликта... Как раз сейчас германский посол совещается с Вивиани... Галло, которому хорошо известно положение вещей в Германии, настроен крайне пессимистически. Он говорит, что не следует обольщаться относительно смысла этой

формулировки, что *Kriegsgefahrzustand* — это замаскированный способ провести мобилизацию до официального приказа о ней... Так или иначе, но в настоящую минуту в Германии осадное положение, а это означает, что на прессу надет намордник, что никакие выступления против войны там уже невозможны... Вот это, на мой взгляд, пожалуй, важнее всего: спасение могло бы прийти только через народное восстание... Однако Стефани, как и Жорес, упорно сохраняет оптимизм. Они говорят, что кайзер, выбрав эту предварительную меру, вместо того чтобы прямо опубликовать приказ о мобилизации, доказал этим свое желание сохранить мир. В конце концов, это вполне правдоподобно. Германия предоставляет, таким образом правительству Петербурга последнюю возможность сделать шаг к примирению, быть может, отменить русскую мобилизацию. Со вчерашнего дня между кайзером и царем происходит, кажется, непрерывный обмен личными телеграммами... Когда я прощался со Стефани, Жореса вызвали к телефону из Брюсселя; все они, видимо, надеялись получить какое-то важное известие... Я не остался, мне хотелось посмотреть, как вы...

— Не беспокойтесь обо мне,— с живостью сказала Женни,— Сейчас же идите туда. Я подожду вас.

— Здесь? Стоя на улице? Нет!.. Давайте я усажу вас хотя бы в кафе «Прогресс».

Они быстро направились к улице Сантье.

— Добрый день! — раздался замогильный голос.

Женни обернулась и увидела позади них старого Христа с растрепанными волосами, в черной блузе типографского рабочего. Это был Мурлан.

Жак тотчас же сказал ему:

— Германия мобилизуется!

— Да, черт возьми! Знаю... Этого надо было ожидать.— Он плюнул.— Ничего не поделаешь... Ничего не поделаешь — как всегда!.. И теперь уже долго нельзя будет что-либо сделать! Все должно быть разрушено. Чтобы можно было построить что-нибудь порядочное, вся наша цивилизация должна исчезнуть!

Наступило молчание.

— Вы идете в «Прогресс»? — спросил Мурлан.— Я тоже.

Они прошли несколько шагов, не обменявшись ни словом.

— Ты обдумал то, что я сказал тебе сегодня утром? Ты не удираешь? — продолжал старый типограф.

— Пока нет.

— Дело твое...— Он запнулся.— Я только что из Федерации...— Он окинул молодую девушку испытующим взглядом и пристально посмотрел на Жака.— Мне надо сказать тебе два слова.

— Говорите,— сказал Жак. И, положив руку на плечо Женни, пояснил: — Говорите свободно, здесь все свои.

— Хорошо,— произнес Мурлан. Он ткнул двумя мозолистыми пальцами в плечо Жака и понизил голос: — Получены секретные сведения. Военный министр подписал сегодня приказ об аресте всех подозрительных лиц, занесенных в «список Б».

— Гм! — отозвался Жак.

Старик кивнул головой и процедил сквозь зубы:

— К сведению тех, кого это интересует!

Он заметил, что Женни сильно побледнела и смотрит на него с ужасом. Он улыбнулся ей.

— Успокойтесь, красавица... Это не значит, что всех нас сегодня же вечером поставят к стенке. Приказ выпущен на всякий случай. Они хотят, чтобы в тот день, когда им заблагорассудится убрать всех нас подальше и совершенно безнаказанно организовать резню,— чтобы в этот день им осталось только отдать распоряжение своим бригадам особого назначения... В предместьях уже работают шпики. Говорят, был обыск в «Драпо руж» и в «Лютт». Изакович чуть было не попался нынче утром во время уличной облавы в Пюто. Фюзе засадили в тюрьму; его обвиняют в том, что он автор «Окровавленных рук»,— знаешь, воззвания против генерального штаба... Будет жарко, надо быть к этому готовыми, ребятки.

Они вошли в кафе. Жак усадил Женни в нижнем зале, где почти не было публики.

— Закусите с нами,— предложил Жак типографу.

— Нет.— Мурлан поднял руку, указывая на потолок.— Я на минутку загляну туда, узнаю, что слышно... Сколько глупостей, наверно, наговорили там сегодня, начиная с утра... До свиданья.— Он пожал руку Жака и еще раз пробормотал: — Поверь мне, мальчуган, утекай отсюда!

Перед тем как уйти, он посмотрел на молодую пару с неожиданно доброй и дружеской улыбкой. Они услышали, как затряслась винтовая лесенка под его гулкими шагами.

— Где вы ночуете сегодня? — с тревогой спросила Женни.— Не в тех меблированных комнатах, адрес которых они вчера записали?

— Ну,— сказал он небрежно,— я не уверен даже, что они оказали мне честь занести мое имя в черные списки... Впрочем, не беспокойтесь, я и сам не намерен появляться у Льебара,— добавил он, видя ее тревожный взгляд.— Мой саквояж я оставил сегодня утром у Мурлана. Что же касается документов, которые могли бы меня скомпрометировать, то они в пачке, оставленной у вас.

— Да,— сказала она, глядя на него.— У нас дома вы ничем не рискуете.

Он не садился. Он заказал чай, но у него не хватило терпения дождаться, пока его подадут Женни.

— Вам удобно здесь?.. Я иду в «Юма»... Не уходите отсюда.

— Вы вернетесь? — спросила она прерывающимся голосом. Ее вдруг охватил страх. Она опустила глаза, чтобы он не заметил ее смятения. И почувствовала, что рука Жака опустилась на ее руку. Этот немой упрек заставил ее покраснеть.— Я пошутила... Идите! Не беспокойтесь обо мне...

Оставшись одна, она выпила несколько глотков принесенного ей чая — горькой жидкости, пахнувшей ромашкой. Затем, отодвинув чашку, облокотилась на прохладный мрамор.

Через широко распахнутое окно вливался вместе с уличным шумом ослепительный свет, от которого сверкали зеркала, стеклянные этажерки, медные перекладины, красное дерево конторки. Среди всех этих отблесков содержатель кафе прополаскивал графины; вода лилась, напоминая журчанье ручейка. На столах валялись газеты. Женни смотрела по сторонам, не думая ни о чем определенном. Время шло. Навязчивые ребяческие представления, мрачные мысли, внезапные страхи бродили, словно призраки, в ее утомленном мозгу. Она пыталась сосредоточить свое внимание на серой кошке, свернувшейся в клубок на скамеечке рядом с ней. Спала ли эта кошка? Глаза ее были закрыты, но уши двигались. У нее был такой вид, словно она насильно заставляет себя спать. Может быть, и она тоже была подвержена действию этой смутной, носившейся в воздухе тревоги? Кончики ее изогнутых лапок замерли в сладостной неподвижности, которая, однако, казалась притворной. Спала ли она? Или только делала вид, что спит? Кого она хотела обмануть? Может быть, самое себя?.. Смеркалось. Время от времени мужчины в рабочей одежде входили, обменивались с содержателем кафе взглядами соучастников, проходили через зал и взбирались наверх, на антресоли. Когда они открывали дверь, волна шума, отголосков спора на минуту смешивалась с уличным гулом.

— Вот и я!

Женни вздрогнула: она не заметила, как вошел Жак.

Он сел рядом с ней. Лоб его был покрыт крупными каплями пота. Резко тряхнув головой, он откинул прядь волос и вытер лицо.

— Хорошая, очень хорошая новость во всем этом хаосе! — сказал он вполголоса.— Нам передали по телефону сообщение, полученное через Брюссель от германских социал-демократов. Они не отказываются от борьбы, наоборот! Жорес прав: эти люди —

наши братья, они не струсят! Они переживают там те же тревоги, что и мы. И они более чем когда-либо хотят сохранить связь, чтобы иметь возможность действовать сообща. Но так как в Германии осадное положение, сношения между ними и нами будут очень затруднены. И вот они посылают к нам через Бельгию делегата, Германа Мюллера, который должен приехать завтра и, как видно, облечен широкими полномочиями. Все думают, что он едет договариваться с французскими социалистами относительно немедленного и широкого выступления против сил войны. Понимаете? В «Юма» все надежды сосредоточились сейчас на этом неожиданном посланце, на этой решающей завтрашней встрече Мюллера и Жореса — встрече двух пролетариатов... И, конечно, они выработают вместе окончательные решения! По мнению Стефани, речь идет сейчас о том, чтобы организовать наконец в обеих странах широкое выступление рабочего класса — не меньше. Давно пора! Но никогда не поздно. Всеобщая забастовка может еще спасти все!

Он говорил быстро, отрывисто, невольно заражая лихорадочностью своего тона.

— Патрон решил опубликовать завтра грозную статью... Нечто вроде «Я обвиняю» Золя...

По неопределенно-вопросительному взгляду Женни он увидел, что это сравнение,— которое, впрочем, принадлежало не ему, а Пажесу, секретарю Галло,— не вызвало в ее уме никакого отчетливого представления, и в течение нескольких секунд он с жестокой ясностью ощущал все, что еще разделяло их.

— Вы только что говорили с Жоресом? — спросила она наивно.

— Нет, сегодня не говорил. Но я стоял на лестнице с Пажесом в тот самый момент, когда Жорес выходил из редакции. Он, как всегда, был окружен группой друзей. Я слышал, как он сказал им: «Все это я вставлю в мою завтрашнюю статью, вот увидите! Я разоблачу всех виновных! На этот раз я хочу сказать все, что знаю!» И, честное слово, мне кажется, он смеялся, этот изумительный человек! Да, он смеялся! У него особенный смех, смех добродушного великана, бодрящий... Затем он сказал: «Но прежде всего идемте обедать. В ближайший ресторан, согласны? К Альберу».

Она молчала, устремив на Жака внимательный взгляд.

— Вам интересно было бы взглянуть на него вблизи? — спросил он.— Пойдемте в «Круассан», закусим. Я покажу вам Жореса... Я голоден. Имеем же право пообедать и мы с вами!

LXIII

Было около десяти часов. Большинство завсегдатаев уже ушло из ресторана. Жак и Женни заняли столик справа, где было мало народу.

Жорес и его друзья сидели слева от входа, параллельно улице Монмартр, за длинным столом, составленным из нескольких маленьких.

— Вы видите его? — спросил Жак.— На скамейке, вон там, посередине, спиной к окну. Посмотрите, он повернулся и говорит с Альбером, содержателем ресторана.

— У него не такой уж встревоженный вид,— прошептала Женни с удивлением, восхитившим Жака; он взял ее за локоть и ласково сжал его.— А остальных вы тоже знаете?

— Да. Направо от Жореса сидит Филипп Ландриё. Толстяк налево — это Ренодель. Напротив Реноделя — Дюбрейль. Рядом с Дюбрейлем — Жан Лонге.

— А женщина?

— Это, кажется, госпожа Пуассон, жена того субъекта, что сидит напротив Ландриё. Рядом с ней — Амедей Дюнуа. Напротив братья Рену. А вон тот, который только что вошел и стоит около стола,— друг Мигеля Альмерейды, сотрудник «Боннэ руж»... Я забыл, как его...

Короткий треск — словно где-то лопнула шина — прервал его слова; за ним почти немедленно вторично раздался тот же звук и звон разбитого стекла. Вдребезги разлетелось зеркало на внутренней стене зала.

Секунда оцепенения, затем оглушительный рев. Весь зал, вскочив с мест, обернулся в сторону разбитого зеркала. «Стреляли в зеркало!» — «Кто?» — «Где?» — «С улицы!» Два официанта бросились к дверям и выбежали на улицу, откуда неслись крики.

Жак инстинктивно встал и, вытянув руку, чтобы защитить Женни, искал глазами Жореса. На секунду он увидел его. Вокруг патрона стояли его друзья; он один, очень спокойный, остался сидеть на месте. Жак увидел, как он медленно нагнулся, словно искал что-то на полу. Потом Жак перестал его видеть.

В эту минуту мимо столика, где сидел Жак, пробежала г-жа Альбер, жена содержателя кафе, с криком:

— Кто-то стрелял в господина Жореса!

— Побудьте здесь,— шепнул Жак, положив руку на плечо Женни и вынуждая ее снова сесть.

Он устремился к столу Жореса, откуда слышались взволнованные голоса: «Доктора, скорее!», «Полицию!». Толпа жестикулировавших людей кольцом оцепила друзей Жореса и не давала по-

дойти ближе. Жак локтями проложил себе путь, обошел вокруг стола и пробрался наконец в угол зала. Наполовину скрытое спиной наклонившегося Реноделя, на обитой клеенкой скамье лежало тело. Ренодель выпрямился и бросил на стол красную от крови салфетку. Жак увидел лицо Жореса: лоб, бороду, полуоткрытый рот. Как видно, он потерял сознание. Он был бледен, глаза его были закрыты.

Какой-то человек, один из посетителей ресторана, очевидно, врач, прорвал кольцо. Он уверенно сорвал с Жореса галстук, отстегнул воротничек, схватил свесившуюся руку и нащупал пульс.

Несколько голосов покрыли гул: «Тише, тише! Тс-с!..» Все взоры были прикованы к незнакомцу, державшему руку Жореса. Он молчал. Он стоял, низко нагнувшись, но его лицо — лицо ясновидящего — было поднято к карнизу; веки дрожали. Не изменив позы, ни на кого не глядя, он медленно покачал головой.

Любопытные потоками вливались с улицы в кафе.

Раздался голос Альбера:

— Заприте дверь! Заприте окна! Опустите ставни!

Толпа, отхлынув, оттеснила Жака на середину зала. Друзья Жореса подняли тело и осторожно понесли, чтобы положить на два наспех составленных стола. Жак пытался увидеть его. Но толпа вокруг раненого становилась все теснее. Он различал только угол белого мраморного стола и две торчавшие подошвы, запыленные, огромные.

— Пропустите доктора!

Андре Рену привел врача. Двое мужчин вошли в круг, который тут же снова сомкнулся за ними. Раздался шепот: «Доктор... Доктор...» Потянулась бесконечно долгая минута. Воцарилось тревожное молчание. Затем по всем этим склоненным затылкам пробежала дрожь, и Жак увидел, что все те, кто был еще в шляпах, обнажили головы. Два глухо повторяемых слова передавались из уст в уста.

— Он умер... он умер...

С полными слез глазами Жак обернулся, ища взглядом Женни. Она стояла, готовая броситься на его зов, ожидая лишь знака. Она пробралась к нему и безмолвно ухватилась за его руку.

Отряд полицейских ворвался в ресторан и стал очищать зал. Жак и Женни, прижатые друг к другу, оказались захваченными водоворотом, толкавшим и уносившим их к дверям.

В ту минуту, когда они были уже у выхода, какому-то человеку, который вел переговоры с полицейскими, удалось проникнуть в кафе. Жак узнал в нем социалиста, друга Жореса, Анри Фабра. Он был бледен как полотно. Он спросил, запинаясь:

— Где он? Перевезли его в больницу?

Никто не решился ответить.

Чья-то рука робко указала в глубь зала. Фабр взглянул туда; в центре пустого пространства под резким светом виднелся ворох черной одежды, распростертой на мраморе, как труп в морге.

На улице спешно организованная охрана пыталась рассеять толпу, скопившуюся перед домом и затруднявшую движение на перекрестке.

Жак увидел Жюмлена и Рабба; они спорили с полицейскими. Вместе с уцепившейся за него Женни Жак добрался до них. Они шли из редакции и не присутствовали при случившемся, однако именно от них Жак узнал о том, что убийца выстрелил с улицы в упор, через открытое окно, и что после недолгого преследования прохожие задержали его.

— Кто это? Где он?

— В полицейском комиссариате на улице Майль.

— Идемте,— сказал Жак, увлекая Женни.

Перед участком образовалась толпа. Жак тщетно предъявлял свое корреспондентское удостоверение: больше никого не пропускали.

Они уже хотели отойти, как вдруг из комиссариата выбежал Кадье. Он был без шляпы. Жак перехватил его на бегу. Кадье обернулся и, не узнавая Жака (с которым, однако, он только что разговаривал около редакции «Юманите»), с минуту смотрел на него блуждающим взором.

Наконец он пробормотал:

— Это вы, Тибо?.. Вот первая пролитая кровь... первая жертва... Чья очередь теперь?

— Кто убийца? — спросил Жак.

— Какой-то неизвестный. Его фамилия — Виллен. Я видел его. Молодой человек лет двадцати пяти или около того.

— Но почему Жореса? Почему?

— Очевидно, какой-нибудь «патриот»! Сумасшедший!..

Он высвободил локоть, за который держал его Жак, и убежал.

— Вернемся туда,— сказал Жак.

Повиснув на руке Жака, молчаливая и напряженная, Женни изо всех сил старалась идти с ним в ногу.

Он наклонился к ней.

— Вы устали... Что, если бы я усадил вас где-нибудь в спокойном месте? А потом пришел бы за вами...

Она изнемогала от волнения, от усталости, но мысль, что в такую минуту они могут расстаться... Не отвечая, она еще крепче прижалась к нему. Он не стал настаивать. Это живое тепло рядом с ним помогало ему бороться с отчаянием; он и сам теперь не хотел оставаться один.

Вечер был удушливый. Асфальт распространял зловоние. Все переулки вокруг улицы Монмартр были черны от пешеходов. Движение остановилось. Люди гроздьями висели на окнах. Незнакомые передавали друг другу: «Убили Жореса!»

Кордон полицейских почти очистил пространство перед кафе «Круассан» и теперь старался удерживать на расстоянии бушующие волны, вливавшиеся с Бульваров, где новость распространилась с быстротой электрического тока.

Когда Жак и Женни подошли к перекрестку, отряд конной жандармерии выехал из улицы Сен-Марк. Взвод прежде всего очистил подступы к улице Виктуар и всю улицу вплоть до Биржи. Затем он развернулся в центре площади и несколько минут гарцевал там, чтобы оттеснить любопытных к домам. Воспользовавшись беспорядком,— более робкие убегали в боковые улицы,— Жак и Женни проскользнули в первый ряд. Их взгляды были прикованы к темному фасаду кафе с закрытыми железными ставнями. Когда отворялась охраняемая полицией дверь, в которую то и дело входили агенты, на минуту становился виден ярко освещенный зал.

Два такси и несколько лимузинов с правительственными флажками один за другим прошли сквозь оцепление. Распоряжавшийся охраной лейтенант отдавал честь лицам, выходившим из машин, и они немедленно исчезали в кафе, дверь которого тотчас же снова захлопывалась за ними. Люди осведомленные сообщали: «Префект полиции... Доктор Поль... Префект департамента Сены... Прокурор республики...»

Наконец из улицы Виктуар выехала санитарная карета, запряженная маленькой лошадкой, бежавшей мелкой рысцой; колокольчик ее звенел не переставая. Стало немного тише. Полицейские остановили карету у входа в «Круассан». Четыре санитара выпрыгнули оттуда на мостовую и вошли в ресторан, оставив заднюю дверцу широко раскрытой.

Прошло десять минут.

Возбужденная толпа топталась на месте. «Какого черта они возятся там так долго?» — «Надо же проделать все, что полагается, иначе нельзя!»

Внезапно Жак почувствовал, что пальцы Женни судорожно впились в его рукав. Обе половинки двери ресторана распахнулись. Все затихли. На тротуар вышел Альбер. Все увидели внутренность кафе, освещенную ярко, как часовня, и кишевшую черными фигурами полицейских. Они расступились и выстроились в ряд, пропуская носилки. Носилки были покрыты скатертью. Их несли четверо мужчин с обнаженными головами. Жак узнал знакомые фигуры: Ренодель, Лонге, Компер-Морель, Тео Бретен,

Все стоявшие на площади немедленно обнажили головы. Робкий возглас: «Смерть убийце!» — раздался из окон одного дома и замер во мраке.

Медленно, среди тишины, в которой отчетливо раздавался стук шагов, белые носилки проплыли через порог, пересекли тротуар, покачались несколько секунд и внезапно исчезли в глубине кареты. Двое мужчин тотчас же последовали за ними. Полицейский сел рядом с кучером. Затем раздался отчетливый стук захлопнувшейся дверцы. И когда лошадь тронулась с места, а карета, окруженная группой полицейских-самокатчиков, позвякивая, направилась в сторону Биржи, внезапный глухой взволнованный гул покрыл тонкий звон колокольчика и, поднявшись отовсюду разом, вырвался наконец из сотни стесненных сердец: «Да здравствует Жорес!.. Да здравствует Жорес!.. Да здравствует Жорес!..»

— Попытаемся теперь добраться до «Юма»,— проговорил Жак.

Но толпа вокруг них словно приросла к месту. Все глаза оставались прикованными к тайне этого темного фасада, охраняемого полицией.

— Жорес умер...— прошептал Жак. И, помолчав, он повторил: — Жорес умер... Я не могу этому поверить... Главное — не могу представить себе, не могу взвесить все последствия...

Постепенно плотные ряды раздвинулись; теперь можно было двинуться в путь.

— Идемте.

Как дойти до улицы Круассан? О том, чтобы пробиться сквозь кордон, охранявший перекресток, или пройти до Больших бульваров через улицу Монмартр, не могло быть и речи.

— Обойдем кругом,— сказал Жак.— Пройдем улицей Фейдо и переулком Вивьен!

Они вышли из переулка и хотели было выбраться из давки бульвара Монмартр, как вдруг непреодолимый напор толпы закружил их, увлек за собой.

Они попали в самую гущу манифестации: колонна молодых патриотов, потрясавших флагами и оравших «Марсельезу», хлынула с бульвара Пуассоньер потоком, который заливал улицу во всю ширину и отбрасывал назад все, что находилось на его пути.

— Долой Германию!.. Смерть кайзеру!.. На Берлин!..

Женни, унесенная толпой, почувствовала, что теряет равновесие. Ей показалось, что сейчас ее оторвут от Жака, растопчут. Она вскрикнула от ужаса. Но он обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Ему удалось внести, втолкнуть ее в нишу каких-то

ворот, которые были закрыты. Ослепленная пылью, поднявшейся от топота этого стада, оглушенная пронзительными криками и пением, в ужасе от этих ревущих глоток, безумных глаз, страшных лиц, она вдруг заметила почти рядом с собой медную ручку. Собрав остаток сил, она рванулась, протянула руку и уцепилась за эту ручку, показавшуюся ей спасением. Наконец-то! Еще немного — и она бы лишилась сознания. Она закрыла глаза, но ее пальцы не переставали судорожно сжимать медную ручку. Она слышала у самого уха прерывающийся голос Жака, повторявший:

— Держитесь крепче... Не бойтесь... Я здесь...

Прошло несколько минут. Наконец ей показалось, что шум удаляется. Она открыла глаза и увидела Жака, он улыбался. Человеческий поток все еще плыл мимо них, но не так быстро, отдельными волнами, без криков: скорее любопытные, чем манифестанты. Женни все еще дрожала всем телом и не могла отдышаться.

— Успокойтесь,— прошептал Жак.— Видите, это кончилось...

Она провела рукой по лбу, поправила шляпу и заметила, что ее вуаль разорвана. «Что я скажу маме?» — подумала она, словно в каком-то полусне.

— Попробуем выбраться отсюда,— сказал Жак.— Но можете ли вы идти?

Лучше всего для них было бы отдаться течению и затем ускользнуть каким-нибудь переулком. Жак отказался от мысли попасть в «Юманите». Правда, не без легкого и невольного раздражения. Но в этот вечер на нем лежала ответственность за судьбу другого человека: хрупкое, бесконечно дорогое существо находилось на его попечении. Он догадывался, что нервное напряжение Женни дошло до предела, и сейчас думал только о том, как бы довести ее до улицы Обсерватории. Она позволяла поддерживать и вести себя. Она уже не храбрилась, не повторяла больше: «Не беспокойтесь обо мне...» Наоборот, она всей своей тяжестью опиралась на руку Жака с беспомощностью, которая помимо ее воли говорила о том, как сильно она устала.

Потихоньку они добрались до площади Биржи, не встретив ни одного такси. Тротуары и мостовые были запружены пешеходами. Казалось, весь Париж вышел на улицу. В залах кинематографов весть о преступлении появилась на экранах во время хода картин, и сеансы были прерваны повсюду. Люди, обгонявшие Жака и Женни, говорили громко и только об одном. Жак улавливал на ходу обрывки разговоров: «Северный и Восточный вокзалы заняты войсками...» — «Чего еще ждут? Почему не объявляют мобилизацию?» — «Теперь понадобилось бы чудо, чтобы...» —

«Я телеграфировал Шарлотте, чтобы она завтра же возвращалась с детьми».— «Я сказал ей: «Знаете что! Если бы у вас был сын двадцати двух лет, вы бы, может быть, говорили иначе!»

Газетчики сновали между прохожими.

— *Убийство Жореса!*

На стоянке площади Биржи не было ни одной машины.

Жак усадил Женни на выступ решетчатой ограды. Стоя подле нее с опущенной головой, он опять прошептал:

— Жорес умер...

Он думал: «Кто примет завтра германского делегата? И кто теперь защитит нас? Жорес — единственный, кто никогда не потерял бы надежды... Единственный, кому правительство никогда не смогло бы заткнуть рот... Единственный, пожалуй, кто мог бы еще помешать мобилизации...»

Люди торопливо входили в почтовое отделение, освещенные окна которого бросали отблеск на тротуар. Это здесь он отправил телеграмму Даниэлю в вечер самоубийства Фонтанена, в тот вечер, когда снова увидел Женни... Не прошло еще и двух недель...

На видном месте в газетном киоске лежали экстренные выпуски газет с угрожающими заголовками: *«Вся Европа вооружается...», «Положение осложняется с каждым часом...», «Министры заседают в Елисейском дворце, обсуждая решения, которых требуют вызывающие действия Германии...».*

Какой-то пьяный, который проходил, шатаясь, мимо них, крикнул хриплым голосом: «Долой войну!» И Жак заметил, что он в первый раз слышит сегодня этот возглас. Было бы ребячеством делать из этого тот или иной вывод. Тем не менее факт бросался в глаза: ни перед останками Жореса, ни на бульварах, когда патриоты вопили: «На Берлин!», не раздалось ни единого крика возмущения, того крика, который позавчера еще беспрерывно оглашал улицы во время каждой манифестации.

На другом конце площади показалось свободное такси. Люди окликали его. Жак побежал, вскочил на подножку, остановил машину перед Женни.

Они бросились в авто и безмолвно прижались друг к другу. Оба были во власти одинаковой тоски и тревоги; оба испытывали такое потрясение, словно им только что удалось спастись от смертельной опасности. И эта машина наконец укрыла их от враждебного мира. Жак обнял Женни; он с силой прижимал ее к себе. Несмотря на усталость, он испытывал какое-то странное возбуждение, какую-то жажду жизни, более острую, чем когда бы то ни было.

— Жак,— шепнула ему на ухо Женни,— где вы ночуете? — И добавила быстро, словно повторяя давно приготовленную фра-

зу: — Идемте к нам. У нас вы ничем не рискуете. Вы ляжете на диване Даниэля.

Он ответил не сразу. Он сжимал в своих пальцах руку девушки, руку, которая была не только покорной и нежной, как обычно, но которая горела, нервно двигалась, жила и, казалось, возвращала ласку.

— Хорошо,— сказал он просто.

Только спустя несколько мгновений, на нижней площадке лестницы, идя позади Женни мимо застекленной двери швейцарской, он вдруг заметил, что инстинктивно заглушает шаги, и осознал положение вещей, оценил, какое доказательство любви и доверия дает ему Женни: одна в Париже, без ведома г-жи де Фонтанен, без ведома Даниэля, она предложила ему провести ночь у нее в доме... Если он сам почувствовал при этой мысли такую неловкость, то какую мучительную тревогу должна переживать сейчас Женни, думал он. Он ошибался: она действовала обдуманно, сообразуясь с тем, что считала правильным, и не заботилась ни о чем больше. С момента встречи с полицейскими она дрожала за Жака. Надежда, что он согласится укрыться на улице Обсерватории, не покидала ее. И этот план — который показался бы ей совершенно неприемлемым всего неделю назад — так крепко пустил корни в ее уме, что она уже не видела всей его смелости; она испытывала только благодарность к Жаку за то, что он так быстро принял ее предложение.

Едва успев войти в квартиру, она решительно сняла шляпу, жакет и занялась хозяйственными делами. Казалось, она больше не чувствовала усталости. Ей хотелось приготовить чай, привести в порядок комнату брата, постелить простыни, чтобы преобразить диван в кровать.

Жак протестовал. В конце концов ему пришлось прибегнуть к силе и схватить Женни за руки, чтобы она перестала суетиться.

— Пожалуйста, бросьте все это,— сказал он, улыбаясь.— Скоро два часа ночи. В шесть я уйду. Я лягу здесь не раздеваясь. К тому же маловероятно, чтобы я мог уснуть.

— По крайней мере, позвольте мне дать вам одеяло...— взмолилась она.

Он помог ей разложить подушки, включить электрическую лампочку у изголовья.

— А теперь вы должны подумать о себе, забыть о том, что я здесь. Спать, спать... Обещаете?

Она с нежностью кивнула головой.

— Завтра утром,— продолжал он,— я выберусь потихоньку, чтобы не разбудить вас. Я хочу, чтобы вы встали как можно позд-

нее, хорошенько отдохнули... Кто знает, что готовит нам завтрашний день... После завтрака я приду и принесу вам новости.

Она снова покорно кивнула головой.

— Спокойной ночи,— сказал он.

В этой комнате, с которой у него было связано столько светлых воспоминаний, он, стоя, целомудренно обнял ее. Его грудь касалась ее груди. Он сильнее прижал к себе девушку, и она слегка покачнулась; их колени встретились. Одинаковое смущение охватило обоих, но он один понял его значение.

— Обнимите меня,— прошептала она,— обнимите меня крепче...

Она обвила руками шею Жака и обнимала его с неожиданной страстью, в каком-то опьянении. В своей невинной смелости она была более неосторожной, чем он. Это она заставила его отступить на шаг, к дивану. Не разжимая объятий, они упали на постель.

— Обнимите меня крепче,— повторяла она,— еще крепче... Еще...— И, не желая, чтобы он видел ее волнение, она протянула руку к столу и погасила свет.

Он пытался овладеть собой, но знал теперь, что Женни не уйдет в свою комнату, что они уже не расстанутся в эту ночь... «И мы тоже...— на секунду вспыхнуло в его сознании,— и мы, как все остальные...» Тень досады, какое-то отчаянье и страх примешивались к его желанию. Задыхаясь, охваченный исступлением, обуздать которое было уже не в его власти, он молча обнимал ее в укрывавшей их темноте.

Внезапная судорога пронзила его, он задохнулся, замер... Потом напряжение прошло, он перевел дыхание. С чувством освобождения, смешанным также с каким-то стыдом, с острым ощущением грусти, одиночества, он снова стал самим собой.

Почти не сознавая происходящего, словно растворившись в нежности, Женни покоилась в его объятиях. Она хотела лишь одного — чтобы это чудесное мгновение длилось вечно. Она прижималась щекой к сукну куртки, она прислушивалась, и ей казались чудом удары сердца, бившегося так близко от ее собственного. Проникая через открытое окно, молочный свет — что это было, луна — или уже рассвет? — заливал комнату какой-то призрачной дымкой, в которой стены, мебель, все твердые и плотные предметы неожиданно стали прозрачными. Уснуть... После пережитых вместе трагических часов уснуть в объятиях друг друга — в этом была сладостная награда.

Он первый незаметно скользнул в сонное забытье. Она услышала, как в последнем поцелуе он прошептал какие-то неясные слова. Затем с невыразимым волнением почувствовала, что он заснул

подле нее. Еще с минуту она боролась с усталостью, желая как можно дольше продлить сознание своего счастья, и когда, тесно прижавшись к нему, она тоже погрузилась в сон, у нее было восхитительное ощущение, что еще больше, чем сну, она отдается Жаку.

LXIV

Он проснулся первым. Медленно возвращаясь к действительности, он несколько минут с восхищением созерцал в утреннем свете это нежное лицо, все такое же юное, несмотря на следы усталости и волнения. Смягчившийся рот, казалось, хотел улыбнуться. На матовой, гладкой, чуть порозовевшей щеке, протянулась, словно мазок акварели, прозрачная тень от ресниц. Жак удержался и не коснулся ее губами. Он осторожно скользнул к краю дивана, и ему удалось встать, не потревожив Женни.

Встав, он увидел в зеркале свою измятую одежду, землистое лицо, спутанные волосы. Мысль, что девушка может увидеть его таким, заставила его устремиться к двери. Однако, прежде чем исчезнуть, он выбрал в вазе на камине несколько цветочков душистого горошка и положил их, вместо прощания, на только что покинутое им место. Затем на цыпочках вышел из комнаты.

Был уже восьмой час: суббота, 1 августа. Новый месяц, летний месяц, месяц каникул. Что принесет он с собою? Войну? Революцию?.. Или мир?

День обещал быть прекрасным.

Жак вспомнил, что на бульваре Монпарнас, рядом с кафе «Клозри де Лила», есть бани.

Перед тем как зайти туда, он купил газеты.

Некоторые из них — «Матэн», «Журналь» — вышли в уменьшенном объеме, на одном листке. Экономия военного времени? Уже? В них было множество точных указаний, предназначенных для мобилизованных «на тот случай, если...».

Номер «Юманите» появился как обычно. Окаймленный широкой черной полосой, он был полон подробностей об убийстве. Жак удивился, прочитав в нем трогательное послание г-на Пуанкаре к вдове Жореса: *«В час, когда национальное единение необходимо более чем когда бы то ни было, я считаю своим долгом выразить вам...»* Жак знал, что жена Жореса в отъезде и что друзья решили не делать никаких приготовлений к похоронам до ее возвращения. Письмо, следовательно, было срочно опубликовано в печати самим Пуанкаре. С какой же целью?

Громкое воззвание от имени совета министров, подписанное Вивиани, заботливо разъясняло, что Жорес *«в эти трудные дни... поддерживал своим авторитетом патриотическую деятельность правительства»*. Заключительный параграф звучал скрытой угрозой: *«В момент серьезных затруднений, переживаемых родиной, правительство, рассчитывая на патриотизм рабочего класса и всего населения, надеется, что оно сохранит спокойствие и не станет увеличивать общественное возбуждение агитацией, которая могла бы вызвать беспорядок в столице»*. Как видно, правительство опасалось волнений... Какой-то хроникер рассказывал, что министр внутренних дел Мальви, узнав в совете министров об убийстве, спешно покинул Елисейский дворец и поехал в свое министерство, чтобы поддерживать связь с полицейской префектурой.

Впрочем, все газеты с единодушием, изобличавшим наличие определенной директивы, настаивали на необходимости объединения и, пользуясь убийством, наперебой прославляли «пример», который «великий республиканец» дал перед смертью «своей партии», одобряли правительство за то, что, «предвидя возможность самых страшных событий, оно приняло необходимые меры предосторожности». Читая все эти рассуждения, можно было подумать, что этот только что замолчавший голос никогда не произносил ни единого слова, которое бы не было направлено на поддержку националистической политики Франции.

Маневр был тонкий и коварный. Противника раздавили, и теперь верхом ловкости было искусно завладеть трупом, превратить его в символ преданности правительству, использовать как оружие, и именно как оружие против обезглавленного социализма. «Неужели они дойдут до того, чтобы устроить ему торжественные официальные похороны?» — с отвращением спрашивал себя Жак.

Все эти намокшие от пара газеты он скатал в ком и, с яростью отшвырнув его подальше от себя, погрузился в теплую воду ванны.

«Смотреть событиям в лицо!» — решил он.

Армия «социал-патриотов» росла с такой быстротой, что борьба представлялась теперь невозможной. Журналисты, преподаватели, писатели, ученые, интеллигенция — все наперебой отрекались от независимой критики, чтобы проповедовать новый крестовый поход, подогревать наследственную ненависть к врагу, восхвалять пассивное повиновение, подготовлять бессмысленное жертвоприношение. Даже в левых газетах самая верхушка народных вожаков, те самые, кто вчера еще с высоты своего авторитета заявлял, что чудовищный конфликт европейских государств только перенесет классовую борьбу на международную

арену и явится крайним выражением инстинктов собственничества, наживы и конкуренции,— сегодня все они были, видимо, готовы использовать свое влияние в интересах правительства. Правда, некоторые из них стыдливо лепетали еще какие-то извинения: «Увы, наша мечта была слишком прекрасна...» Но все капитулировали, все оправдывали национальную оборону и уже побуждали веривших им рабочих отбросить всякие колебания и присоединиться к делу смерти. Их коллективная измена внезапно освободила поле действия для всяких лживых патриотических россказней и грозила окончательно парализовать в неуверенных сердцах народных масс тот слабый порыв к бунту, который до сих пор был в глазах Жака единственной надеждой на то, чтобы спасти мир.

«Да,— размышлял Жак с мучительным чувством бессилия,— удар был мастерски подготовлен... Война возможна лишь тогда, когда народ сделался фанатиком. Прежде всего надо мобилизовать сознание; после этого нетрудно будет мобилизовать людей!» Ему вспомнился один митинг. Кто там говорил? Жорес? Или Вандервельде? Или какой-нибудь другой лидер, которого так жадно, так страстно желая поверить ему, слушал народ? Однажды вечером, стоя на трибуне, оратор сравнил действия отдельных революционеров с работой жителей побережья, которые из поколения в поколение возят тачками щебень и вываливают его на морском берегу. «Волны бушуют! — вскричал он.— Валы вздымают тучу пыли. Но каждая из этих тачек оставляет несколько тяжелых камней, которых не унести волне! И постепенно вырастает плотина! И неизбежно придет время, когда слои камней составят прочную дамбу, с которой уже не сможет справиться побежденный вал,— новую почву, по которой торжествующей поступью пройдут грядущие поколения!..» Благородные метафоры, возбудившие в тот день исступленный восторг слушателей! «Но что значат все эти жалкие усилия перед сегодняшним приливом?» — подумал Жак.

Он тотчас устыдился собственного малодушия: «Не поступать, как все... Не позволять отчаянию обезоружить себя! Все делается непоправимым лишь тогда, когда лучшие, в свою очередь, отказываются от борьбы и склоняются перед мифом — перед неизбежностью событий! События — дело наших рук! Надеяться во что бы то ни стало! И действовать! Бороться до конца с тревожными мыслями, с предательской заразой паники! Еще ничего не потеряно!»

Он чувствовал себя до ужаса одиноким. Одиноким — потому, что был верен и чист. Одиноким, но как бы защищенным этим трагическим одиночеством. Как ни велико было его смятение, он знал, что он прав, что защищает истину. Нет, никогда он не согласится на отступничество!

Не заходя к Женни, он побежал в «Юманите». Здание редакции в это утро напоминало морг.

Несмотря на ранний час, лестницы, коридоры были уже переполнены социалистами. На их взволнованных лицах лежал отпечаток двух чувств: скорби и уныния. Имя убийцы переходило из уст в уста: Рауль Виллен... Никто не знал его. Был ли это безумный маньяк? Или агент националистов? Кто вложил оружие в его руки? В полицейском комиссариате он не сумел дать никакого объяснения своему поступку. На листе бумаги, найденном у него в кармане, были написаны следующие загадочные строчки: *«Отечество в опасности, надо строго карать убийц».*

Стефани, как и все сотрудники газеты, провел ночь на ногах. Его лицо посерело. Маленькие черные глазки моргали, воспаленные от слез и бессонницы.

Человек десять социалистов теснились в его кабинете. Происходил горячий спор.

Утверждали, что фон Шен, германский посол, добиваясь от Франции обещания сохранить нейтралитет и отказать России в военной поддержке, отважился в министерстве иностранных дел на неслыханное предложение: Германия брала на себя обязательство не вступать в войну с Францией в том случае, если французское правительство в качестве гарантии своего нейтралитета разрешило бы Германии занять крепости Туль и Верден на все время германской кампании против русских.

Некоторые, как, например, Бюро или Рабб,— таких, впрочем, было немного,— нерешительно намекали на то, что эта торговля в последний час все же является средством предохранить Францию от участия в конфликте. Но большинство присутствовавших довольно неожиданно оказалось защитниками франко-русского союза. Юный Жюмлен,— его тон напомнил Жаку негодующие возгласы Манюэля Руа,— возмущенно вскричал:

— В истории еще не было случая, когда Франция отказалась бы выполнить взятые на себя обязательства!

Бюро вскочил с места.

— Простите,— сказал он,— давайте не будем уклоняться от истины... Присмотритесь внимательнее к последовательности фактов, сравните даты мобилизаций! Я даже готов оставить в стороне то, что нам известно о военных приготовлениях России, которые начаты уже давно и деятельно продолжаются, несмотря на все усилия Франции. Будем сейчас говорить только об официальных приказах о мобилизации. Так вот, указ царя был подписан третьего дня, *в четверг* после двенадцати часов дня,— и это несмотря на грозное предостережение Германии, которая заранее и совершенно определенно заявляла, что русская мобилизация

означает войну. Третьего дня, *в четверг!* Дальше... Франц-Иосиф подписал свой приказ о мобилизации только вчера, *в пятницу*, незадолго до полудня. Затем вчера же, но несколькими часами позже, Германия объявила *Kriegsgefahrzustand*, что все же не равносильно всеобщей мобилизации. Вот точная хронология событий... И это ни для кого не секрет,— добавил он, вынимая из кармана газету.— Даже такой правительственный орган, каким является «Матэн», признает, что всеобщая русская мобилизация *предшествовала* всеобщей австрийской мобилизации. Факт налицо! И это важный факт! В глазах будущих историков он будет иметь существеннейшее значение. Россия, бесспорно, должна считаться государством-агрессором!.. Так вот,— продолжал он после паузы и подчеркивая каждое слово,— я не меньше, чем кто бы то ни было, забочусь о чести французов. Но считаю, что эти установленные факты позволили бы сегодня Франции отказать России в своей помощи, нисколько не нарушая взятых на себя обязательств! Больше того: я считаю, что отказ солидаризироваться с государством-агрессором явился бы для нашего правительства удобным случаем доказать,— доказать блестяще, неопровержимо,— что оно никогда не хотело войны!

Наступило молчание, в котором чувствовался внезапный проблеск надежды.

Даже Жюмлен не находил никаких возражений. Однако он не любил признавать себя неправым и переменил тему разговора:

— Обязательства, взятые на себя Францией... Да известны ли нам эти обязательства? Кто знает в точности, какие новые обязательства от имени Франции подписал Пуанкаре за последние два года под давлением Извольского?

— А что ответил министр? — спросил Жак.— Предложение Шена было, разумеется, принято министерством иностранных дел за «ловушку»? Это постоянный припев французской дипломатии!

— Если не за ловушку,— поправил его Кадье, который кичился своей осведомленностью,— то, во всяком случае, за скрытую провокацию: за своего рода ультиматум.

— С какой же целью?

— Да чтобы вынудить Францию высказаться немедленно! Всем известно, что план кампании германского генерального штаба состоит в том, чтобы с самого начала одержать на французском фронте решительную победу, которая позволит ему перенести затем усилия на восточный фронт. Поэтому Германии важно напасть на Францию как можно скорее. Отсюда и исходит желание немцев втянуть Францию в войну *до того,* как начнутся сражения на германо-русском фронте!

Стефан уже несколько минут проявлял нетерпение. Его звучный голос положил конец спору:

— Черт возьми, все вы рассуждаете так, словно война уже объявлена или будет объявлена сию минуту! И это в такой момент, когда союз французских и немецких социалистов готовится стать крепче, чем когда-либо! Когда приезд Мюллера,— а сегодня вечером он будет среди нас,— позволяет наконец рассчитывать на общее, немедленное, решительное выступление!

Все замолчали. Тень Жореса с минуту реяла в комнате. Стефани сказал то, что сказал бы патрон. В самом деле, официальная посылка в Париж делегата социал-демократов, чтобы наперекор правительствам скрепить договор о мире между народами,— не было ли это при настоящем положении вещей фактом беспрецедентным, фактом, который действительно давал основания надеяться на все?

— Что за молодцы эти немцы! — вскричал Жюмлен. И его юношеская вера, без всякого перехода сменившая крайний пессимизм, являлась яркой иллюстрацией всеобщей растерянности.

Появление Реноделя изменило направление разговора.

Он был бледен, лицо его опухло, взор блуждал. Он провел ночь, бодрствуя у тела своего друга.

Он пришел на заседание бюро Социалистической федерации Сены, которое было назначено на сегодняшнее утро в «Юманите», чтобы срочно обсудить положение, создавшееся в партии после потери ее вождя, и хотел предварительно побеседовать со Стефани по поводу воззвания, только что выпущенного Объединением профсоюзов. Он утверждал, что в Лионе, Марселе, Тулузе, Бордо, Нанте, Руане, Лилле — повсюду организуются новые манифестации.

— Нет, нет,— повторял он, сжимая кулаки,— еще рано отчаиваться!

Их оставили вдвоем. И Жак после тщетной попытки увидеть Галло — в кабинете его не оказалось — вышел из редакции: ему хотелось, прежде чем пойти к Женни, посмотреть, какова атмосфера в анархистских кругах, и зайти в «Либертэр».

Но на площади Данкур он столкнулся с братьями Кошуа, двумя рабочими-каменщиками, завсегдатаями «Либертэр», и они убедили его не ходить дальше.

— Мы только что оттуда. Там никого нет. Товарищи настороже. Полиция шныряет вокруг. Зачем самому лезть к ней в лапы?

Жак немного проводил их. Они шли, сами не зная куда, без цели. Сегодня они бросили свою стройку «из-за всего этого».

— Ну, а ты что скажешь об их войне? — спросил старший, высокий рыжий малый в веснушках. Черты лица были у него гру-

боватые, но во взгляде бледно-голубых глаз светилась в это утро какая-то необычная мягкость.

— Ему на это наплевать, он швейцарец,— отрезал младший. (Несмотря на то, что они не были близнецами, он был точной копией брата,— но походил на него так, как законченная статуя походит на первоначальный слепок.)

Жак счел излишним пускаться в объяснения.

— Нет, мне не наплевать,— сказал он мрачно.

Младший охотно согласился:

— Ну, понятно. Но все-таки это другое дело. Вот попади ты в ту же кашу, что и мы...

Старший,— как видно, чтобы отпраздновать этот неожиданный отдых, он немного выпил,— оказался более словоохотливым:

— С нами дело обстоит просто. Тот, у кого нет ничего, кроме собственной шкуры, держится за нее!.. Спору нет — при случае и мы могли бы сложить головы за свои убеждения. Но за убеждения социал-патриотов — дудки! Пусть идут те, кому это нравится! Наше отечество там, где можно спокойно работать. Верно, Жюль?

Младший недоверчиво посвистывал.

— Но как же? — спросил Жак.— Если все-таки будет мобилизация, вы... что вы будете делать? (Он думал о себе. Его ответ на вопрос Антуана был совершенно искренен. Он не знал. Он будет отчаянно бороться. Но где? И с кем? И как?.. Впрочем, он не разрешал себе думать об этом: это уже значило бы сомневаться в возможности сохранения мира.)

Младший украдкой взглянул на старшего и, словно опасаясь, как бы тот не начал болтать, поспешно ответил:

— Нам идти только на девятый день. Времени много, увидим.

Но старший не заметил предостережения брата. Он нагнулся к Жаку и понизил голос:

— Знаешь ты Сайявара? Нет? Рябого? Сайявар родом из Пор-Бу.— Понимаешь? Он знает испанскую границу наизусть, как мы улицу Менильмюша...— Он таинственно подмигнул.— Говорят, Испания, если даже и будет война, все равно останется нейтральной. Там свободно: ничто не помешает тебе по-человечески заработать кусок хлеба. И работы мы не боимся. Верно, Жюль?

Младший исподлобья взглянул на Жака. Его голубые глаза сверкнули металлическим блеском. Он проворчал:

— Не вздумай проболтаться об этом!

— Будь покоен,— сказал Жак, пожимая им руки.

Он задумчиво посмотрел им вслед и отрицательно покачал головой.

«Нет, только не это... Это не для меня... Бежать в нейтральную страну — да, иногда это может иметь свое оправдание. Но бежать для того, чтобы «спокойно работать» и «зарабатывать кусок хлеба», в то время как другие... Нет! — Он сделал несколько шагов и снова остановился: — Но в таком случае — что же, что?»

LXV

Анна решительным шагом подошла к телефону. Она хотела уже снять трубку, но вдруг ей пришло в голову: «Это глупо. Двадцать минут двенадцатого; он еще в больнице... Что, если я поймаю его у выхода? Там он не ускользнет от меня».

Она вспомнила, что отпустила шофера на все утро. Чтобы не терять ни минуты, а главное, чтобы не томиться ожиданием, она сразу, как только оделась, вышла из дому и села в такси.

— На улицу Севр! Я скажу, где остановиться.

Привратник больницы не заметил, чтобы доктор Тибо выходил.

Анна бросила взгляд на автомобили, стоявшие вдоль тротуара. Машины Антуана среди них не было. Но он мог поставить ее во дворе, и, кроме того, он не всегда выезжал по утрам на собственной машине.

Она снова села в такси. Прильнув грудью к стеклу, она следила за всеми, кто входил в главный подъезд и выходил из него. Без пяти двенадцать... Двенадцать... На башенных часах пробило двенадцать ударов, и в ответ на это почти сейчас же зазвонил колокол ближайшей церкви. Поток служащих, санитарок хлынул на тротуар.

Вдруг ее лоб стал влажным от пота. Она вспомнила, что существует другой выход — в переулок. Она торопливо выбралась из такси и пошла пешком, предупредив привратника, чтобы он задержал доктора, если тот выйдет.

Тротуар был узкий, запруженный спешившими людьми. По мостовой ехали автомобили, грузовики... Адский шум многолюдных улиц... У нее закружилась голова, и она остановилась. В висках у нее стучало. Она закрыла глаза и хладнокровно спросила себя, не лучше ли было бы умереть. Но сейчас же взяла себя в руки, как лунатик, двинулась вперед, дошла до подъезда, до привратницкой.

— Доктор Тибо? Да, да, он уже ушел из больницы, только что...

Она ничего не ответила, не поблагодарила и, как фурия, выскочила из подъезда. Что делать? Еще раз позвонить на Университетскую улицу? (Она несколько раз звонила вчера. Звонила сегодня, сразу после ухода Антуана. По крайней мере, так сказал ей Леон. «Уже ушел?» — спросила она. Но говорил ли Леон правду? В четверть восьмого?..)

Она снова вошла в привратницкую.

— Нельзя ли позвонить по телефону? У меня срочное дело.

Линия была перегружена. Пришлось ждать. Наконец она добилась, чтобы ее соединили.

— Господина Антуана нет дома. Он предупредил, что не вернется к завтраку...

У Леона был самый безразличный тон. Теперь Анна ненавидела его. Она не могла больше выносить этот вежливый, тягучий голос, постоянно вставший между Антуаном и ею, мешавший непосредственному, живому, почти физическому соприкосновению, которое она вымаливала на другом конце провода.

Не сказав ни слова, она повесила трубку и снова очутилась на тротуаре. «Ладно, все равно! Я поеду туда!.. Я увижу, лгут они мне или нет!»

Прежде всего надо было вернуться в свое такси. Она побежала, пробираясь сквозь толпу, в бешенстве, что уступает этой подхлестывавшей ее страсти, но не в силах противостоять ей.

— Университетская улица, четыре-бис.

Еще издали заметив свежевыкрашенный фасад, шторы, ворота, она вдруг почувствовала себя скованной страхом. Она представила себе, как Антуан, потревоженный во время завтрака, выходит из глубины прихожей с салфеткой в руке, высокомерно глядя на нее. Что она скажет ему? «Тони, я люблю тебя»? Ее внезапно охватил ужас перед ним, перед его нахмуренными бровями, решительным подбородком, перед раздраженным и жестким взглядом, который рисовался ей так живо.

Может быть, написать ему?

Она попросила бланк пневматички и наскоро написала: «Я должна тебя видеть, Тони, хотя бы на одну минуту. Когда угодно, где угодно. Позвони мне. Я жду. Я должна тебя видеть, мой Тони».

Эту фразу она повторяла себе не переставая. «Я должна его видеть». Она была уверена, что если увидится с ним хоть на одну минуту, то найдет слова, чтобы удержать его, чтобы снова завладеть им.

Она опустила письмо в ящик и убежала, стыдясь самой себя.

Когда пневматичка прибыла на Университетскую улицу, Антуан еще сидел за столом.

— Да нет, я верю вам, дорогой мой,— сказал он Руа, когда юноша с разгоревшимся лицом рассказал ему о шовинистических манифестациях, в которых он принимал участие накануне вечером.— У меня слишком много оснований вам вѐрить! Мы наблюдаем сейчас бурную вспышку патриотизма... Только знаете, что мне напоминают эти славные юнцы, которые разгуливают по бульварам, желая доказать, что они одобряют войну?..

Леон вручил ему письмо. Антуан узнал почерк. Взгляд его омрачился.

— Они напоминают мне рекламу, которую я видел на стенах парижских домов, когда был еще мальчишкой...— Продолжая говорить, он, не глядя, надорвал письмо. Наконец он взглянул на бумагу, тотчас разорвал ее на мелкие клочки и закончил фразу: — На картинке было изображено стадо гусей... Они криками приветствовали повара, вооруженного длинным острым ножом... И надпись: «Да здравствует страсбургский пирог!» — Он бросил в тарелку обрывки письма и замолчал.

Между ним и Анной не произошло никакого объяснения. Просто со времени своей встречи с Симоном Антуан упорно избегал всякого посещения, всякого свидания, всякого телефонного разговора. Эта уклончивость, совсем ему не свойственная, не была преднамеренной, он сам страдал от нее, так как во всем любил ясность. Он намеревался решительно поговорить с Анной. Он даже думал об этом разговоре по несколько раз в день — каждый раз, когда Леон, опустив глаза, встречал его неизменной формулой: «Господина Антуана *просят* к телефону». Но часы следовали один за другим, изнуряющие часы, и в те редкие минуты, когда Антуан убегал от своих профессиональных занятий, он с тревогой углублялся в чтение газет или же с болезненной готовностью позволял завладеть собой всем тем, кого он встречал и кто, как и он, не мог больше ни говорить, ни думать ни о чем, кроме войны. По временам он удивлялся, что испытывает теперь только враждебное равнодушие к женщине, которую ему не в чем было упрекнуть и которая, как бы там ни было, неделю назад еще занимала такое большое место в его жизни.

Он считал свой случай из ряда вон выходящим. Он не подозревал, что подчиняется общему закону. Толчки, сотрясавшие Европу, пошатнули все личное; искусственные узы, соединявшие людей, ослабевали, рвались сами собой; ветер, предвестник грозы, проносившийся над миром, срывал с веток тронутые червоточиной плоды.

LXVI

Еще не было двенадцати, когда Жак вернулся на улицу Обсерватории.

Женни не ждала его так рано. Она смущенно призналась, что проспала до девяти часов. Все утро она жадно читала газеты, отыскивая хоть какие-нибудь известия об Австрии. Как только она заговаривала о судьбе матери, оставшейся в Вене, голос у нее начинал дрожать. Она встала и прошлась по комнате, закрыв лицо руками.

Он не знал, что сказать, чтобы, не солгав, успокоить ее. Тяжесть событий увеличивалась для него этим беспомощным отчаянием, которое он видел так близко, совсем рядом, и ко всем прочим основаниям бороться за сохранение мира, находившегося под угрозой, у него прибавилось сейчас ребяческое желание избавить Женни от ее тревоги.

— Сядьте,— сказал он.— Не стойте так, с таким несчастным видом... Я не могу этого видеть, дорогая... Еще ничто не потеряно!..

Верить ему — большего она не желала. Чтобы успокоить ее, он улыбнулся. Он с жаром заговорил о полномочиях Мюллера, об упорных надеждах Стефани. Он начал и сам увлекаться своей игрой. Он даже сказал ей с почти искренним воодушевлением:

— Может быть, это даже хорошо, что опасность стала теперь такой очевидной, такой всеобщей. Ведь все зависит сейчас от решительного поворота общественного мнения, который необходимо вызвать!

— Да,— произнесла она, неподвижно глядя перед собой.

Она нервно поднялась с места и пошла поправить штору; движения ее были так порывисты, что шнур остался у нее в руке.

Он подошел к ней, обнял за плечи, прижал к себе.

— Послушайте, успокойтесь, взгляните на меня... Мне здесь так хорошо. Я прихожу сюда немного передохнуть, набраться сил. Вы нужны мне... Мне нужно, чтобы вы верили!

Выражение ее лица сейчас же изменилось, и она храбро улыбнулась.

— Ну вот и отлично! Теперь наденьте шляпу, я поведу вас завтракать.

— Давайте позавтракаем здесь! — предложила она с удивившим его непритворным оживлением.— Это было бы так приятно!.. У меня есть яйца, немного персиков, чай...

Он согласился.

Обрадованная, она побежала зажигать газовую плиту. Жак пошел на кухню за ней. На минуту отвлекшись от своей навяз-

чивой идеи, он смотрел, как она расстилает на столе скатерку, симметрично расставляет приборы, делает в масленке ложкой розочки на масле, суетится с той серьезностью, какую хорошие хозяйки вносят в самые мелкие домашние дела. Как гибки и естественны были все ее движения! Любовь победила ее напряженность, выпустила на волю ту женственную прелесть, которая до сих пор была скована в ней каким-то тайным принуждением.

— Наш первый завтрак,— проговорила она почти торжественно, ставя на стол яичницу.

Они уселись друг против друга, как старые товарищи. Она была весела; он старался быть таким же, но лоб его все-таки хмурился. Она украдкой наблюдала за ним. Он заметил это и улыбнулся.

— Здесь хорошо!

— Да,— сказала она убежденно.— Нам так необходимо теперь быть вместе!

Он опустил глаза. Внезапно он подумал о будущем, и его охватил ужас.

Завтрак продолжался в молчании, и обоим никак не удавалось его нарушить. По временам Жак окидывал девушку долгим нежным взглядом и, не находя слов, чтобы выразить то, что он чувствовал, протягивал руку и клал ее на несколько секунд на руку Женни.

Она страдала, видя его таким молчаливым. За последние дни в ней произошла резкая перемена: впервые в жизни, вопреки своей натуре, вопреки длительной привычке прятаться в свою раковину, ей захотелось иметь возможность говорить о себе. Часы, когда она оставалась одна, были нескончаемым монологом, обращенным к Жаку, монологом, в котором она тщательно анализировала себя перед ним, без снисхождения открывала ему все недостатки своего характера, все свои возможности и их пределы. Ибо ее преследовал страх, что он идеализирует ее и может горько разочароваться, когда узнает ближе.

После того, как в вазе не осталось больше персиков, она заставила Жака сложить свою салфетку и дала ему кольцо Даниэля. Затем взяла его за руку, как, бывало, брала брата, и повела в свою комнату.

Проходя мимо гостиной, дверь в которую была приоткрыта, он заметил рояль, освещенный в этот момент солнечными лучами... Он остановился и сказал, уступая внезапному побуждению...

— Женни, сыграйте мне... знаете... ту вещь... Ту вещь, которую вы играли... когда-то.

— Какую?

Она отлично понимала какую. Но ее охватила дрожь при этом мучительном напоминании об их лете в Мезон-Лаффите.

— О, Жак!.. Только не сегодня...

— Сегодня!

Она отворила дверь, подошла к роялю и покорно начала *«Третий этюд»* Шопена, напоминавший ему один из самых смятенных, самых безнадежных вечеров его жизни.

Скрестив руки, он стоял в тени позади нее, чтобы она не могла его видеть. Время от времени он смыкал веки, стараясь сдержать слезы, и с изнемогающим от нежности сердцем слушал, как дрожит в тишине эта песнь тоскующего блаженства. После заключительных нот она поднялась с места, выпрямилась, отступила на шаг и, остановившись возле Жака, прижалась к нему.

— Простите меня,— шепнул он незнакомым ей тихим и страдальческим голосом.

— За что? — спросила она с испугом.

— Мы могли быть так счастливы, и так давно уже...

Она вздрогнула и быстро зажала ему рот рукой.

Стеклянная дверь была открыта. Женни мягко увлекла его на балкон. Вершины деревьев бульвара образовывали под ними плотный зеленый ковер, из-под которого время от времени доносились, словно чириканье стаи воробьев, крики невидимых детей. Вдали виднелась зелень Люксембургского сада, покрытая уже тем бронзовым налетом, который предвещает близость осенней ржавчины.

Жак безучастно смотрел на сияющую панораму, раскинувшуюся перед ними. «Мюллер, должно быть, уже выехал из Брюсселя»,— подумал он. Он не мог думать ни о чем другом.

Женни, стоявшая подле него, мечтательно прошептала:

— Я знаю каждое дерево... А под этими деревьями знаю каждую скамью, цоколь каждой статуи... В этом саду все мое детство...— Помолчав, она добавила: — Я люблю вспоминать... А вы?

— Нет,— ответил он резко.

Она быстро повернула голову, бросила на него опечаленный взгляд и заметила осуждающим тоном:

— Даниэль тоже.

Он почувствовал, что должен объяснить ей, и сделал над собой усилие.

— Для меня прошлое есть прошлое. Каждый прожитый день падает в черную яму. Мои глаза всегда были устремлены в будущее.

Его слова задели ее больнее, чем она решилась бы признаться: настоящее для нее значило мало, а будущее не значило

ничего.— Вся ее внутренняя жизнь почти исключительно питалась воспоминаниями.

— Этого не может быть. Вы говорите так, чтобы показаться оригинальным!

— Показаться оригинальным?

— Нет,— сказала она, краснея.— Я не то хотела сказать.— Она на минуту задумалась.— Не испытываете лы вы по временам потребности... обманывать ожидания людей? Разумеется, не для собственного удовольствия. Но, может быть, для того... чтобы легче ускользнуть от них... Нет?

— Как это ускользнуть? — Он подумал и признался: — Да, пожалуй... Для меня и в самом деле невыносимо чувствовать, что у людей есть обо мне сложившееся мнение. Они словно пытаются ограничить мои возможности, наложить запрет на мою мысль. И тогда, да, может быть, мне и случается умышленно сбивать их с толку: просто для того, чтобы избавиться от этого насилия.

Он заметил, что Женни заставила его оглянуться на себя, чего он, конечно, не сделал бы сам, и был ей благодарен за это. Он упрекнул себя за то, что оскорбил ее чувства, рисуясь своим глупым пренебрежением к сентиментальным воспоминаниям. Он крепко прижал ее к себе.

— Я огорчил вас. Как это глупо!.. Но нервы сейчас так напряжены...— Вдруг он улыбнулся.— А кроме того, чтобы уменьшить мою вину, давайте скажем, что Женни... чрезмерно чувствительная девочка!

— Да, это правда,— сейчас же согласилась она,— чрезмерно чувствительная! — С минуту она сосредоточенно думала.— Я чувствительная, но тем не менее я вовсе не добрая.

Он улыбнулся.

— Нет. Нет... Я хорошо знаю себя! Я часто поступаю так, что может показаться, будто я добрая, но в действительности это неправда. Просто я подчиняюсь рассудку, силе воли, чувству долга... Я совершенно лишена настоящей доброты — природной, стихийной, бессознательной... Доброта, какая есть, например, у мамы...— Она чуть не добавила: «У вас». Но не сказала этого.

Он бросил на нее удивленный взгляд. Что-то в ней как будто внезапно отгородилось от него каменной стеной. Никогда Женни не бывала в его глазах более таинственной, чем в те минуты, когда пыталась вслух разобраться в себе. Тогда лицо ее застывало, взгляд делался жестким, и Жаку казалось, что он теряет связь с ней, что перед ним какое-то окаменевшее, сопротивляющееся, замкнутое существо — загадка, секрет которой задевал его мужское самолюбие.

Он проговорил серьезно:

— Женни, вы словно остров... Радостный остров, залитый солнцем... но недосягаемый!

Она вздрогнула.

— Зачем вы говорите это? Вы несправедливы!

Какое-то мрачное дуновение прошло между ними, и она почувствовала леденящий холод. Несколько мгновений оба молчали, стоя рядом, наклонившись над перилами балкона, отдаваясь каждый своим непроницаемым мыслям, своим тревогам.

Два удара, медленные, отдаленные, раздались на башенных часах Сената. Он посмотрел на свои и выпрямился.

— Два часа! — И, повинуясь своей навязчивой мысли, добавил: — Мюллер уже в пути.

Они вернулись в комнату. Он не предложил ей идти с ним, и она не заговорила об этом. Тем не менее это настолько подразумевалось само собой, что он не удивился, когда, убегая в свою комнату, Женни сказала:

— Одну минутку... Я сейчас буду готова.

В «Юманите», куда Жак решился зайти вместе с Женни, он прежде всего осведомился у Рабба, которого они встретили на лестнице, что сделано в связи с предстоящим приездом германского делегата. Мюллера ждали с бельгийским поездом, который прибывал в Париж в начале шестого. Чтобы принять его, в одном из залов Бурбонского дворца было назначено на шесть часов вечера совещание социалистической фракции. Предполагали, что это совещание, ввиду его особой важности, затянется до поздней ночи.

— Мы все пойдем встречать его на Северный вокзал,— добавил старый революционер.

— И мы тоже...— сказал Жак, наклоняясь к Женни.

Северный вокзал! В одну секунду в ее воображении ожили все подробности первой встречи с Жаком, преследование в переходах метро, скамейка в сквере при церкви св. Венсан де Поля... Она взглянула на него в наивной уверенности, что он тоже думает об этом. Но он стоял, повернувшись к Раббу. Он спрашивал у него, какие решения были приняты утром, на заседании Социалистической федерации.

— Никаких,— буркнул старик.— Члены бюро разошлись, ничего не решив. У партии больше нет вождя!

В различных отделах редакции было полно народу. Пажес, Кадье и еще несколько человек спорили в кабинете у Галло.

Распространился слух, что со времени объявления *Kriegs-*

gefahrzustand французский генеральный штаб осаждает правительство, добиваясь немедленного приказа о мобилизации. Говорили, что он должен появиться не позднее чем через час. Пажес уверял даже, что приказ был подписан Пуанкаре еще в полдень,— так сказал один военный писарь, служивший в канцелярии генерала Жоффра. Но Кадье, который только что пришел с Кэ-д'Орсе, утверждал, что это известие ложно.

— Я знал бы об этом,— уверенно заявил он.

Основным предметом беспокойства в министерстве иностранных дел была сейчас, по его словам, позиция английского правительства. Некоторые политиканы вроде Кайо, видимо, хотели добиться от лидеров Французской социалистической партии обращения к Кейр-Харди, которое побудило бы Английскую социалистическую партию отказаться от проповеди нейтралитета Англии. С другой стороны, Пуанкаре, будто бы по собственной инициативе, написал личное письмо Георгу V, убеждая Англию объявить себя сторонницей Франции, ибо английское вмешательство было последним шансом сохранить мир.

— Когда написано это письмо? — спросил Жак.

— Вчера.

— Понятно! Когда Пуанкаре уже знал, что Россия официально объявила мобилизацию и что война неизбежна!

Никто не подхватил этой темы.

Утренняя телеграмма, видимо официальная, заявляла, что французский и английский штабы поддерживают между собой непрерывный контакт и что у них есть «согласованный план действий». Имелись ли в виду военные действия? Из официозных источников было известно, что Англия отдала приказ своему флоту следить за проливами; что торговым судам был запрещен вход в военные порты; что английская артиллерия уже занимала крепости, находившиеся в этих портах, и что все маяки побережья получили распоряжение не зажигать сегодня вечером огней.

Вошел Марк Левуар.

Он передал содержание новой беседы Вивиани с фон Шеном. Председатель совета министров будто бы сказал так: «Германия мобилизуется. Мы это знаем». И так как посол молчал, Вивиани будто бы добавил: «Поведение Германии диктует нам наше поведение... Во всяком случае, чтобы доказать до конца и перед лицом всех наше неуклонное желание сохранить мир, генерал Жоффр отдал всем нашим войскам приказ отойти от границы не менее чем на десять километров. Если при этих условиях все же произойдет какой-нибудь инцидент, это будет значить, что вы сами хотели его вызвать!»

Пажес, имевший связи с военным министерством, тотчас же все разъяснил. По его словам, это мероприятие Франции не имело существенного значения. Оно ничем не могло повредить плану кампании, разработанному французским генеральным штабом, и являлось лишь чисто внешним актом — жертвой, якобы принесенной для сохранения мира. В кругах, близких к министру Мессими, говорил он, не скрывают, что это кратковременное отступление — всего лишь ловкий дипломатический ход, способ поразить общественное мнение Европы, и в особенности Англии.

— Я готов поверить,— сказал Жак,— что их целью является *также* добиться присоединения Англии. Но основная цель состоит, по-моему, в том, чтобы поймать в свои сети нас — нас, пацифистов! Это способ обмануть нас, завоевать наши симпатии, добиться от нас оправдания! Это благовидный предлог, который они подсовывают нам, чтобы мы могли с чистой совестью признать военную власть, чей первый шаг так мало агрессивен. Я уже предвижу, что именно мы прочтем завтра в оппозиционных газетах!

Галло, продолжавший, несмотря на шум разговора, разбирать бумаги, внезапно высунул заросшее колючей щетиной лицо из-за кучи папок.

— И доказательство — та торопливость, настойчивость, с какими правительство официальным путем сообщило об этом мероприятии лидерам партии еще до того, как его приняло!

Злобный тон этого человека, так хорошо гармонировавший с его некрасивым лицом, худощавой фигуркой, со всем обликом зябкого чинуши, часто заставлял думать, что он ошибается, даже и в тех случаях, когда он бывал прав. Но на этот раз Жак заметил, что гневу не удалось изгнать из глаз Галло выражение глубокой грусти, которое делало его трогательным, несмотря на невзрачную внешность...

Группа молодых социалистов ворвалась в кабинет. До них дошел слух, будто процессия Лиги патриотов направилась к площади Согласия, чтобы пройти перед статуей Страсбурга.

— Пойдем? — предложил Пажес.

Все вскочили. (В действительности они, по-видимому, не столько горели желанием вызвать столкновение и отомстить за смерть Жореса, сколько рады были возможности ухватиться за этот случай и наконец сделать «что-то».)

Женни угадала, что, несмотря на желание примкнуть к ним, Жак колеблется из-за нее.

— Пойдемте,— сказала она решительно.

LXVII

Слегка закрытое туманом, но жгучее солнце давило на череп и делало воздух в центре Парижа невыносимо душным. Горожане, с каждым днем все более взбудораженные, раздраженные, как мухи, этой предгрозовой температурой, не покидали улиц. У дверей банков, сберегательных касс, полицейских комиссариатов, муниципальных учреждений стояли взволнованные группы, и полицейские тщетно пытались рассеять их мирным путем. Выкрики газетчиков, покрывая глухое гудение толпы, окончательно расшатывали нервы.

Подножие памятника Жанне д'Арк на площади Пирамид было разукрашено цветами, точно катафалк. Под аркадами улицы Риволи вереницы пешеходов спешили в обоих направлениях. Почти во всех магазинах витрины были закрыты. На мостовой было не меньше экипажей и машин, чем в самые оживленные дни зимнего сезона. Зато Тюильрийский сад был пуст, если не считать взводов конной жандармерии, которые стояли там в резерве,— в тени деревьев, где блестели движущиеся крупы лошадей, вспыхивали блики на касках.

Сообщение о манифестации было, как видно, ошибочно: площадь Согласия выглядела как обычно. Там даже не было прервано движение. Правда, небольшой отряд полицейских на всякий случай преграждал доступ к статуе Страсбурга, цоколь которой тоже был покрыт венками, украшенными лентами национальных цветов.

Обманутая в своих ожиданиях, маленькая когорта, пришедшая из «Юманите», рассыпалась. Жак и Женни влились в толпу улицы Ройяль.

— Половина пятого,— сказал Жак.— Идемте встречать Мюллера. Вы не устали? Мы могли бы дойти до Северного вокзала пешком, бульварами.

Вдруг, как раз в тот момент, когда они выходили на площадь Церкви св. Магдалины, оглушительный шум заполнил пространство: большой церковный колокол отбивал, все время на одной ноте, громкие удары, отчетливые, гулкие, торжественные.

Люди, застыв на месте, некоторое время с изумлением смотрели друг на друга. Затем все побежали в разные стороны.

Жак схватил Женни за руку.

— Что это? Что это такое? — пробормотала она.

— Началось,— проговорил кто-то возле них.

Вдали дрогнули другие колокола. И в одну минуту грозовое небо стало похоже на бронзовый купол, в который со всех сторон

били однообразными упорными ударами, зловещими, как похоронный звон.

Женни не понимала, в чем дело. Она повторяла:

— Что это? Куда все бегут?

Ничего не отвечая, Жак увлек ее на мостовую, которую сотни людей переходили во всех направлениях, не обращая внимания на экипажи и машины.

Перед почтовым отделением образовалась толпа, которая росла на глазах. К стеклу только что приклеили изнутри лист белой бумаги. Но Жак и Женни, стоявшие слишком далеко, не могли разобрать, что там было написано. Люди бормотали: «Началось... Началось...» Стоявшие в первых рядах застывали на месте, ошеломленные, подняв голову к объявлению, и читали его, как бы с трудом разбирая слова, напрягая все свое внимание. Затем они оборачивались с потухшим взглядом, со вспотевшими, расстроенными лицами; одни молча, ни на кого не глядя, пробивали себе дорогу и убегали, опустив голову; другие, напротив, уходили с каким-то сожалением, ловя влажными глазами дружеский взгляд и приглушенным голосом бормоча какие-то слова, ни у кого не находившие отклика.

Наконец Жак и Женни тоже смогли приблизиться к окну. На маленьком квадратном листке, приклеенном к стеклу четырьмя розоватыми облатками, чей-то безличный почерк, старательный, женский почерк, вывел три строчки, тщательно подчеркнутые по линейке:

ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Первый день мобилизации — воскресенье 2 августа.

Женни прижала к груди руку Жака, просунутую под ее локоть. А он стоял неподвижно. Как и все кругом, он думал: «Началось!» Мысли стремительно пробегали у него в голове. Он был удивлен, что, вопреки всему, не страдает так уж сильно. Не будь набата, который каждую секунду, словно ударами молота, отдавался в его мозгу, он, может быть, даже почувствовал бы какую-то нервную разрядку, нечто вроде физического облегчения,— сейчас, в конце этого грозового дня, оно наверняка пришло бы к нему с первой же каплей дождя... Ложное успокоение, длящееся всего лишь миг. Словно у раненого, который сначала не почувствовал удара, но чья рана вдруг открылась и начала кровоточить... Острая боль внезапно пронзила его, и Женни услышала, как хриплый вздох вырвался из его стиснутых зубов.

— Жак...

Ему не хотелось говорить. Он дал ей вывести себя из толпы. На краю тротуара стояла свободная скамейка. Они молча сели.

Поверх голов теснившихся людей, этой волны, все приливавшей и приливавшей, они видели на стекле белое объявление и не могли оторвать от него глаз.

Итак, в течение всех этих недель он жил, ни минуты не сомневаясь в торжестве справедливости, человеческой правды, любви,— не как мечтатель, жаждущий чуда, а как физик, ожидающий результатов безошибочного опыта,— и все рухнуло... Позор! Холодная и презрительная ярость душила его. Никогда еще он не чувствовал себя таким униженным. Не столько возмущенным или удрученным, сколько пристыженным и оскорбленным: оскорбленным неизлечимой посредственностью человека, оскудением воли народа, бессилием разума!.. «А я? — подумал он.— Что делать теперь?» Внезапная вспышка озарила его сознание, и он углубился в тайники своего одинокого «я», ища ответа, лозунга, путеводной нити. Тщетно. И он не мог не поддаться чувству панического страха перед собственной неуверенностью.

Женни не прерывала его молчания. Она смотрела на все окружающее со страхом и любопытством. Она довольно смутно представляла себе, что такое мобилизация, что такое война. И сейчас же подумала о матери, о Даниэле, а главное — о Жаке. Но, за недостатком воображения, опасности, которым подвергались все эти дорогие для нее существа, казались ей неопределенными и неясными.

Словно вторя тревожным мыслям Жака, она вполголоса спросила его:

— Что вы собираетесь делать?

Ее голос звучал спокойно и твердо. Жак успел подумать: «Как хорошо она держится...»

Но у него не хватило мужества ответить. Он отвел глаза и вытер лоб.

— Пойдемте все-таки на вокзал,— сказал он, поднимаясь с места.

Весь день, сидя в глубоком кресле у телефона, Анна тщетно ждала весточки от Антуана. Она двадцать раз готова была снять трубку. Нервы ее были напряжены до предела, но она решила ждать и не звонить первой. Развернутая газета валялась у ее ног. Она пробежала ее с раздражением. Что значил для нее весь этот вздор — Австрия, Россия, Германия?.. Сосредоточив все мысли на себе, она, словно одержимая, беспрерывно воображала сцену, которая произойдет у нее с Антуаном у них, в их комнате на Вагрaмской улице, без конца добавляя новые подробности, новые возражения, новые все более и более оскорбительные упреки по

его адресу, которые могли бы на минуту смягчить ее горькую обиду. Потом внезапно забывала свой гнев, просила у него прощения, обнимала его, увлекала к постели...

Вдруг она услышала в нижнем этаже хлопанье дверей, беготню. Она машинально посмотрела на часы: без двадцати пять. Дверь стремительно распахнулась, и появилась горничная.

— Сударыня! Жозеф видел приказ о мобилизации! Его только что вывесили на почте! Война!

— И что же? — спросила Анна ледяным тоном.

Она мысленно повторяла про себя: «Война...» — не отдавая себе ясного отчета в значении этого слова. Прежде всего она подумала с досадой: «Симон вернется». Затем ей пришла мысль: «Пусть идет воевать, дурак». И вдруг мучительная тревога пронзила все ее существо: «Боже, если будет война, Тони уедет... Они убьют, они отнимут его у меня!..» Она вскочила.

— Шляпу, перчатки... Скорее!.. Велите подать машину.

Она увидела в каминном зеркале свое постаревшее лицо, заострившийся нос. «Нет... Я слишком некрасива сегодня»,— подумала она с отчаянием.

Когда горничная вернулась, Анна снова сидела в кресле, наклонившись вперед, сложив руки и сжав их между коленями... Не изменяя позы, она мягко сказала:

— Нет, Жюстина... Благодарю. Скажите Джо, что я не поеду... Пожалуйста, приготовьте ванну. Очень горячую... И постелите мне. Я хочу попытаться заснуть...

Через несколько минут она лежала в полумраке своей спальни. Шторы были опущены. Телефон стоял у кровати: если он позовет, ей стоит только протянуть руку...

Здесь, в этих прохладных простынях, она будет, пожалуй, меньше страдать. Разумеется, улучшение придет не сразу. Надо потерпеть с полчаса, и тогда удары сердца станут реже, волнение крови уляжется, возбуждение утихнет. Но это требует поистине неимоверного усилия — лежать здесь, вытянувшись, смежив веки, без движения, без единого взмаха ресниц... Тони... Война... Тони... Ах, только бы увидеть его... Завладеть им снова...

Внезапно она вскочила и, шатаясь, сжимая лицо руками, побежала босиком в маленькую гостиную. Даже не придвигая стула, она опустилась на колени перед письменным столом, на ковер, схватила лист бумаги, карандаш и набросала:

«Я слишком страдаю, Тони. Это не может больше продолжаться. Я больше не могу, не могу. Ты, может быть, уедешь? Когда? Я теперь ничего о тебе не знаю. Что я тебе сделала? За что? Я должна тебя видеть, Тони. Сегодня вечером. У нас. Я буду

ждать тебя. Сейчас пять часов. Я иду туда. И буду ждать тебя там весь вечер, всю ночь. Приходи, когда сможешь. Но только приходи. Я должна тебя видеть. Обещай мне, что ты придешь. Мой Тони! Приходи».

Она позвонила.

— Скажите Джо, чтобы он отнес это сейчас же... Пусть поднимется в квартиру.

Вдруг ей пришло в голову, что Симон, если он выехал утренним поездом, может явиться с минуты на минуту... Тогда она торопливо оделась и убежала из дому.

Чтобы обуздать нервы, она заставила себя идти пешком и, несмотря на нетерпение, дошла до самой Ваграмской улицы.

На этот раз, сама не зная почему, она была уверена, совершенно уверена, что Антуан придет.

Она проникла в их «гнездышко» особым ходом, из тупика. И, поворачивая ключ в замке, *почувствовала,* что он здесь. Ее уверенность была так велика, что она суеверно улыбнулась. Бесшумно закрыв дверь, она на цыпочках побежала по комнатам, двери которых были раскрыты, вполголоса окликая: «Тони... Тони...» Спальня была пуста. Он услышал, как она вошла... он спрятался... Она побежала в ванную. В кухню. Обессиленная, вернулась в спальню и села на кровать.

Антуана не было, но он сейчас придет...

Она начала медленно раздеваться. Сначала сняла ботинки, потом размашистым и резким движением стянула чулки и обнажила ноги, словно сняла кожицу с плода. Ей послышались шаги, и она обернулась. Нет, это еще не он... Ее глаза, блуждавшие по комнате, остановились на кровати. Она любила просыпаться первая, заставать своего любовника спящим, спокойно изучать его разгладившийся лоб и уснувший, безвольный рот — совсем другой с этими смягчившимися, полуоткрытыми детскими губами. Только в такие минуты она и чувствовала, что он действительно принадлежит ей. «Мой Тони...» Он придет. Она была уверена в этом. Сегодня вечером он придет.

Она не ошиблась.

LXVIII

Северный вокзал был занят войсками. Во дворе, в главном зале — всюду красные штаны, винтовки, составленные в козлы, отрывистая команда, стук прикладов. Однако штатских пропускали свободно, и Жак без труда проник вместе с Женни на платформу.

Человек шестьдесят социалистов пришли встречать поезд. «Началось!» — повторяли они, подходя друг к другу. Они гневно трясли головой, сжимая кулаки, и на минуту в их взглядах загоралось возмущение. Но сквозь это слишком легко сдерживаемое неистовство уже просвечивала пассивность, покорность судьбе. Все, казалось, думали: «Это было неизбежно».

— Что сказал бы, что сделал бы патрон? — произнес старик Рабб, пожимая руку Жака.

— Теперь одна надежда — на это совещание с Мюллером,— сказал Жак. В его голосе прозвучало упрямство; он упорствовал в своей вере, словно стремясь сдержать клятву.

Впереди, в конце платформы, делегация социалистических депутатов стояла маленькой отдельной группой.

Жак в сопровождении Женни и Рабба проходил между группами, не присоединяясь ни к одной из них. Глаза его были устремлены вдаль, он говорил, словно во сне:

— Этот человек прибывает к нам из Германии в самую трагическую минуту; быть может, на него возложены ответственнейшие поручения... Этот человек проехал через Бельгию; третьего дня он покинул Берлин, еще ничего не зная... Постепенно он получал удар за ударом, узнавая о русской мобилизации и о мобилизации австрийской, затем о *Kriegsgefahrzustand,* а сегодня утром — об убийстве Жореса... И сейчас, едва он сойдет с поезда, ему сообщат, что Франция объявила мобилизацию... А в довершение всего сегодня вечером он, несомненно, узнает, что всеобщая мобилизация объявлена также и в его стране... Это трагедия!

Когда паровоз вынырнул наконец из тумана, выбрасывая облака пара, по платформе пробежала дрожь, и все в одном порыве устремились вперед. Но вокзальные служащие были начеку. Толпа наткнулась на неожиданную преграду. Подойти к составу было разрешено только членам делегации.

Жак увидел, как они обступили вагон, на подножке которого стояли два пассажира. Он тотчас узнал Германа Мюллера. Второй, которого он не знал, был еще молодой человек крепкого сложения, с энергичным лицом, выражавшим прямоту и силу.

— Кто это с Мюллером? — спросил Жак у Рабба.

— Анри де Ман, бельгиец. Настоящий человек, чистый... Человек, который размышляет, ищет... Ты, наверное, видел его в Брюсселе, в среду?.. Он так же хорошо говорит по-немецки, как и по-французски; должно быть, он приехал в качестве переводчика.

Женни коснулась руки Жака.

— Посмотрите... Сейчас уже пропускают.

Они бросились вперед, чтобы присоединиться к группе деле-

гатов, но вереница вышедших из поезда пассажиров загораживала путь.

Когда им удалось наконец пробиться к вагону, официальные представители, которым было поручено доставить германского делегата прямо на закрытое совещание в Бурбонский дворец, уже исчезли.

В зале перед только что вывешенным объявлением толпилось множество людей. Жак и Женни подошли ближе. Заголовок, напечатанный крупным шрифтом, гласил:

РАСПОРЯЖЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Чей-то голос насмешливо произнес сзади:

— Эти молодцы не теряют времени даром! Надо думать, что все это было напечатано заранее!

Женни обернулась. Говорил молодой рабочий в синей блузе, с окурком в зубах; пара новеньких солдатских ботинок из толстой кожи висела у него через плечо.

— И ты тоже,— заметил его сосед, указывая на подбитые гвоздями ботинки,— ты тоже не терял времени даром.

— Это чтобы дать пинка в зад Вильгельму! — бросил рабочий, удаляясь. Кругом засмеялись.

Жак не шевельнулся. Его глаза не отрывались от объявления. Пальцы судорожно сжимали локоть Женни. Свободной рукой он указал ей на параграф, напечатанный жирным шрифтом:

Иностранцы без различия национальности могут выехать из Парижского укрепленного района до конца первого дня мобилизации. Перед отъездом они должны удостоверить свою личность в вокзальном полицейском комиссариате.

Мысли вихрем проносились в мозгу Жака. «ИНОСТРАНЦЫ!..» В пачке, оставленной им у Женни, еще лежали фальшивые документы, которыми его снабдили для берлинского задания... Француз Жак Тибо, даже и предъявив удостоверение о негодности к военной службе, несомненно, встретит некоторые затруднения, если захочет выехать в Швейцарию, но кто может помешать женевскому студенту Эберле вернуться домой в разрешенный законом срок?.. *«До конца первого дня мобилизации...»* В воскресенье. Завтра...

«Уехать завтра до вечера,— сказал он себе внезапно.— Но как же она?»

Он обнял девушку за плечи и, подталкивая, вывел ее из толпы.

— Послушайте,— сказал он прерывающимся голосом.— Я непременно должен зайти к брату.

Женни добросовестно прочла напечатанный жирным шрифтом параграф: *«Иностранцы...»* и т. д. Почему у Жака сделался вдруг такой взволнованный вид? Почему он уводит ее так быстро? Зачем ему вздумалось идти к Антуану?

Он и сам не мог бы сказать зачем. Именно об Антуане была его первая мысль, когда, проходя по улице Комартен, он услышал набат. И теперь, в том смятении, какое вызвал в нем этот приказ, ему инстинктивно захотелось увидеть брата.

Женни не решалась спросить его о чем-либо. Этот вокзальный двор, этот квартал, куда она попадала так редко, был связан для нее с воспоминанием о ее бегстве от Жака в вечер отъезда Даниэля, и ожившее воспоминание угнетало ее.

За один час внешний облик города успел измениться. На улицах столько же пешеходов, если не больше, но ни одного гуляющего. Все спешили, думая теперь только о своих делах. Каждому из этих прохожих вдруг понадобилось, должно быть, устранить какие-то затруднения, о чем-то распорядиться, кому-то передать свои обязанности; каждому надо было повидаться с родными, друзьями, надо было спешно с кем-то помириться или довести до конца какой-то разрыв. Устремив глаза в землю, стиснув зубы, все с озабоченными лицами бежали, захватывая и мостовую, где машины были сейчас редки и можно было идти быстрее. Очень мало такси: чтобы быть свободными, почти все шоферы поставили свои машины в гараж. Ни одного автобуса: с сегодняшнего вечера был реквизирован весь городской транспорт.

Женни с трудом поспевала за Жаком и изо всех сил старалась скрыть это от него. Похожий на всех других, он шел с напряженным лицом, выставив вперед подбородок, словно убегая от преследования. Она не могла угадать, о чем он думает, но чувствовала, что он во власти какой-то внутренней борьбы.

В самом деле, слова приказа внезапно придали отчетливую форму бродившим в нем неясным порывам, до этой минуты бессознательным и смутным. Фигура Мейнестреля встала перед его глазами. Он снова увидел комнату в Брюсселе, Пилота в синей пижаме, с блуждающим взглядом... каминный очаг, полный золы... Жак не имел известий с четверга. Он много раз спрашивал себя: «Что делает там Пилот?» Разумеется, он в самом центре революционной борьбы... *«Иностранцы могут выехать из Парижа!»* В Женеве, возле Пилота, он вновь обретет деятельную среду, оставшуюся незапятнанной, независимой! Он вспомнил о Ричардли, о Митгерге, об этой нетронутой фаланге, уединившейся там, в центре вооруженной Европы. Бежать в Швейцарию?.. Искушение

было велико. И все же он колебался. Из-за Женни? Да... Но не Женни была истинной причиной его нерешительности. Может быть, он испытывал угрызения совести, считая побег дезертирством? Ничуть! Напротив: первейшим его долгом было отказаться идти защищать в качестве солдата все то, что он никогда не переставал осуждать, против чего боролся... Мысль уехать и оказаться в безопасности — вот что было ему нестерпимо. Оказаться в безопасности, в то время как другие... Нет! Он будет жить в мире с самим собой только в том случае, если его отказ будет сопряжен с риском, с личной опасностью, равной тем опасностям, какие ждут его мобилизованных братьев... Так что же делать? Отказаться от убежища в нейтральной стране, остаться во Франции? Бороться против войны, против армии в стране, находящейся на осадном положении? Где всякая антивоенная пропаганда натолкнется на беспощадные репрессии. Где его будут подозревать, где за ним будут следить, а может быть, сразу засадят в тюрьму? Это было бы нелепо... Что же все-таки делать? Бежать в Швейцарию!.. Но с какой целью?

— Существовать — это ничто,— отчеканил он с какой-то яростью. И прибавил, отвечая на изумленный взгляд Женни: — Существовать, думать, верить — все это ничто! Все это ничто, если нельзя претворить свою жизнь, свою мысль, свои убеждения в *действие!*

— В действие?

Ей показалось, что она плохо расслышала его. Да и как могла бы она понять, что он хотел сказать этим?

— Видите ли,— продолжал он все с той же резкостью, с тем же сознанием одиночества,— я уверен, что эта война надолго затормозит осуществление идеала интернационализма! Очень надолго... Может быть, на целые поколения... Так вот, если бы потребовалось совершить некое *действие* ради спасения этого идеала от временного банкротства, я совершил бы его! Даже в том случае, если бы это было действие без надежды на успех!.. Но что это за действие? — добавил он вполголоса.

Женни внезапно остановилась.

— Жак! Вы думаете уехать!

Он смотрел на нее. Она уточнила:

— В Женеву?

Он сделал полуутвердительный жест.

Два противоречивых чувства — радость и отчаяние — раздирали ее. «Если он доберется до Швейцарии, он спасен!.. Но что будет со мной без него?»

— Если бы я решился уехать,— пояснил он,— да, я уехал бы именно в Женеву. Прежде всего потому, что только там можно еще попытаться что-то сделать... И еще потому, что у меня есть

подложные документы, которые позволили бы мне с легкостью вернуться в Швейцарию. Вы видели объявление...

Она прервала его во внезапном порыве:

— Уезжайте! Уезжайте завтра!

Твердость ее голоса поразила его.

— Завтра?

У нее невольно мелькнул проблеск надежды, потому что его тон, казалось, говорил: «Нет. Может быть, скоро... Но не завтра».

Он зашагал дальше. Она уцепилась за него; от волнения у нее подкашивались ноги.

— Я уехал бы завтра,— проговорил он наконец,— если бы... если бы вы поехали со мной.

Она затрепетала от счастья. Все ее страхи улетучились, словно по волшебству. Он уедет, он спасен! И уедет с ней, они не расстанутся!

Жак подумал, что она колеблется.

— Разве вы не свободны? — сказал он.— Ведь ваша матушка задержалась в Вене.

Вместо ответа она крепче прижалась к нему. Удары сердца отдавались у нее в висках, оглушали ее. Она принадлежит ему телом и душой. Они никогда больше не разлучатся. Она его защитит. Она не даст опасности настигнуть его...

Теперь они говорили об этом отъезде как о давно задуманном деле. Жак забыл точное время отхода швейцарского ночного поезда, но он найдет расписание у Антуана. Кроме того, надо было узнать, может ли Женни ехать без паспорта; для женщин все эти формальности были, вероятно, не такими строгими. Деньги на билеты? Суммы, которую они получат, соединив свои средства, хватит с избытком. В Женеве Жак как-нибудь устроится... Однако все зависит еще от исхода переговоров с германским делегатом. Кто знает? Вдруг будет принято решение попытаться поднять восстание в обеих странах?..

Не замечая дороги, они дошли до садов, окружавших Тюильри. Женни была вся в поту, силы ее внезапно иссякли. Она робко указала Жаку на скамейку, стоявшую в отдалении среди цветов. Они сели. Они были одни. Гроза, с самого полудня висевшая над городом, казалось, прижимала аромат, исходивший от цветочных клумб, к самой земле.

«Из Швейцарии,— думала Женни,— я смогу переписываться с мамой... Она сможет приехать к нам, в нейтральную страну!..» Она уже воображала свою жизнь в Женеве вместе с матерью, обретенной вновь, и с Жаком, укрытым от опасности.

Одержимый все той же мыслью, Жак повторял про себя: «Уехать, да... Но для чего? Тщетно старался он возложить все свои надежды на Мейнестреля и убедить себя, что Женева — последний оставшийся нетронутым революционный очаг; он вспоминал «Говорильню» и не мог побороть сомнений относительно эффективности революционной работы, которая ждала его там.

Он встал. Он не мог больше сидеть на месте.

— Идемте. Вы отдохнете на Университетской улице.

Она вздрогнула.

Он улыбался:

— Да, да! Идемте.

— Я? К вашему брату? С вами?

— Какое значение может это иметь для нас сейчас? Пусть лучше Антуан знает.

Он казался таким уверенным в себе, исполненным такой решимости, что она отреклась от собственной воли и послушно пошла за ним.

LXIX

В прихожей стоял офицерский сундучок, совсем новенький, на котором ещэ висел ярлык магазина.

— Господин Антуан здесь,— сказал Леон, отворяя перед Жаком и Женни дверь в кабинет врача.

Женни решительно вошла.

В комнате было тихо. Жак увидел брата, стоявшего перед письменным столом. Он подумал было, что Антуан один, и был разочарован, заметив Штудлера, а затем Руа, вынырнувших из глубоких кресел, где они сидели на большом расстоянии друг от друга: Руа — у окна, Штудлер — в углу, у книжных шкафов. Антуан разбирал бумаги; корзинка под письменным столом была полна, и разорванные листки устилали ковер.

Антуан пошел навстречу Женни и отечески пожал ей руку. Казалось, он не был особенно удивлен; сегодня был такой день, когда никто ничему не удивлялся. К тому же он вспомнил, что в записочке, которую прислала г-жа де Фонтанен после похорон, благодаря за визиты в клинику, она сообщала о своем предстоящем отъезде. У него мелькнула смутная мысль, что Женни, оставшись в Париже одна, пришла посоветоваться с ним и, как видно, столкнулась на лестнице с Жаком.

Взгляды братьев встретились. Братское чувство одновременно вызвало на их губах дружескую улыбку, за которой пряталось много невысказанных мыслей. Несмотря на все, что их разделяло, никогда еще они не чувствовали себя такими близкими; никогда,

даже у смертного ложа отца, они не чувствовали себя до такой степени связанными таинственными узами крови. Они молча пожали друг другу руку.

Антуан усадил Женни и начал было расспрашивать ее о поездке г-жи де Фонтанен, как вдруг дверь отворилась, и появился доктор Теривье в сопровождении Жуслена.

Он подошел прямо к Антуану:

— Началось... И ничего нельзя сделать...

Антуан ответил не сразу. Его взгляд был серьезен, почти спокоен.

— Да, ничего нельзя сделать,— сказал он наконец. Затем улыбнулся, потому что именно так думал он сам, и эта мысль придавала ему силы.

(Когда юный Манюэль Руа пришел сообщить Антуану о мобилизации, тот находился в лаборатории Жуслена. Антуан не двинулся с места. Медленно, привычным жестом он взял папиросу и закурил. Вот уже три дня, как он чувствовал себя порабощенным, осужденным на бездеятельность, захваченным мировыми событиями, спаянным со своей родиной, со своим классом,— беспомощным, как булыжник, увлекаемый в общей скользящей массе сваливаемых с телеги камней. Его будущее, его планы, устройство его жизни, над которыми он думал так долго,— все рухнуло. Перед ним была неизвестность. Неизвестность, но также и действие. Эта мысль, таившая в себе столько возможностей, сейчас же подняла его дух. Он обладал даром не бунтовать долго против совершившегося, против неизбежного. Препятствие — это новая величина. Всякое препятствие ставит новую проблему. Нет такого препятствия, которое не могло бы при желании стать трамплином, удобным случаем для нового прыжка...)

— Когда ты едешь? — спросил Теривье.

— Завтра утром. В Компьень... А ты?

— Послезавтра, в понедельник. В Шалон...— Он обратился к подошедшему к ним Штудлеру.— А вы?

Теривье так привык быть в хорошем настроении, что даже сегодня его голос оставался веселым, а бородатое пухлое лицо с розовыми щеками сохраняло жизнерадостное выражение. Но эта веселость настолько не вязалась с тревожным взглядом, что на него тягостно было смотреть.

— Я? — произнес Халиф, моргая. Казалось, вопрос врача разбудил его. Он повернулся к Жаку, как будто должен был дать объяснение именно ему.— Я тоже еду! — бросил он резко.— Но только через неделю. В Эвре.

Жак не ответил на его взгляд. Он не осуждал Халифа. Он знал, что его жизнь была непрерывной цепью самоотверженных

поступков и что, соглашаясь вопреки своим убеждениям служить «оборонительной» войне, этот честный человек лишний раз подчинялся тому, что считал своим долгом.

Он взглянул на Женни. Она стояла у камина, немного в стороне от остальных. Вид у нее был не смущенный, а скорее отсутствующий. Он увидел, как она выпрямилась, поискала взглядом кресло, сделала несколько шагов и села. «Какая она гибкая»,— подумал он. Ему показалось, что он еще держит ее в своих объятиях. Он вспомнил, как бурно и в то же время сдержанно она затрепетала от его первого поцелуя. Его охватило восхитительное волнение, и он не стал ему сопротивляться. Их взгляды встретились; он улыбнулся и почувствовал, что краснеет.

Антуан подошел к Женни и спросил ее о Даниэле, но Теривье перебил их:

— А как у вас в больнице? Что собираются предпринять?

— Обратились к старикам с просьбой вернуться на работу. Адриен, Дома́, даже папаша Делери согласились... Вот что,— сказал он вдруг, указывая пальцем на Теривье,— ты до сих пор не вернул нам папку, которую как-то дал тебе Жуслен! «Патологическое разрастание тканей и глоссоптосизм».

Теривье, улыбаясь, обратился к Женни:

— Он неисправим!.. Хорошо, хорошо, я пришлю Штудлеру твою папку... Можете ехать спокойно, господин военный врач!

Через широко открытое окно уже с минуту доносился какой-то шум: пение, конский топот. Все устремились к окну посмотреть, в чем дело. Жак хотел было воспользоваться этим и направился к брату, который оставался один посреди комнаты, но как раз в этот момент Антуан присоединился к остальным, и Жак вслед за ним подошел к окну.

Артиллерийский обоз, ехавший с площади Инвалидов, встретился с колонной итальянских манифестантов, которая шла по улице Святых Отцов с четырьмя барабанщиками и знаменосцем впереди. Итальянцы, остановившись, запели «Марсельезу», приветствуя войсковую часть. Барабаны грохотали. Шум сделался оглушительным.

Антуан закрыл окно и с минуту стоял, задумавшись, прижавшись лбом к стеклу. Жак остался рядом с ним. Остальные отошли в глубь комнаты.

— Я получил сегодня письмо из Англии,— сказал Антуан, не меняя позы.

— Из Англии?

— От Жиз.

— А-а...— произнес Жак. И мельком взглянул на Женни.

— Письмо написано в среду. Она спрашивает меня, что ей делать в случае войны. Я отвечу, чтобы она оставалась там, в своем монастыре. Это лучшее, что она может сделать, правда?

Жак согласился, уклончиво кивнув головой. Он оглянулся, желая удостовериться, что они одни, в стороне от остальных. Ему хотелось поговорить о Женни. Но как начать этот разговор?

В эту минуту Антуан резко повернулся к нему. Его лицо выражало тревогу. Он спросил очень тихо:

— Ты по-прежнему ду... ду... думаешь?..

— Да.

Тон был твердый, без высокомерия.

Антуан стоял, опустив голову, избегая взгляда брата. Его пальцы машинально выбивали на стекле дробь, вторя отдаленному рокоту барабанов. Он заметил, что начал заикаться: это случалось с ним редко и всегда служило признаком глубокого потрясения.

Леон возвестил из передней;

— Доктор Филип.

Антуан выпрямился. Волнение иного рода осветило его лицо.

Развинченная фигура Филипа показалась в рамке двери. Его моргающие глаза обвели кабинет и остановились на Антуане. Он грустно покачал головой. Из развевающихся фалд визитки он вынул платок и отер им лоб.

Антуан подошел к нему.

— Ну вот, Патрон, началось...

Филип молча коснулся его руки, затем, не сделав ни шагу дальше, словно картонный паяц, которого перестали держать за ниточку, рухнул на краешек закрытого белым чехлом кресла, стоявшего перед ним.

— Когда вы едете? — спросил он своим отрывистым, свистящим голосом.

— Завтра утром, Патрон.

Филип хлюпал губами, словно сосал леденец.

— Я только что из больницы,— продолжал Антуан, чтобы что-нибудь сказать.— Все уже устроено. Я передал дела Брюэлю.

Они помолчали.

Филип, устремив глаза в пол, как-то странно покачивал головой.

— Знаете, голубчик,— сказал он наконец,— это может протянуться долго... очень долго.

— Многие специалисты утверждают противное,— отважился возразить Антуан без особой уверенности.

— Ба! — отрезал Филип, словно ему давно уже было известно, что собой представляют специалисты и их прогнозы.— Все рас-

суждают, исходя из нормальных условий снабжения, кредита. Но если правительства оказались достаточно безумными, чтобы поставить на карту все и рискнуть полным разорением, только бы не пойти на уступки!.. После того, что мы видели за эту неделю, возможно все... Нет, я думаю, что война будет очень длительной и все народы в ней исчерпают свои силы одновременно, причем ни один из них не захочет или не сможет остановиться на наклонной плоскости.— После короткой паузы он добавил: — Я беспрерывно думаю обо всем этом... Война... Кто поверил бы, что она возможна?.. Достаточно было прессе проявить настойчивость и смешать карты — и вот за несколько дней представление об агрессоре для всех стало неясным, и каждый народ вообразил, что его «честь» находится под угрозой... Одна неделя бессмысленных страхов; преувеличений, фанфаронства — и вот все народы Европы с криками ненависти бросаются, словно бесноватые, друг на друга... Я беспрерывно думаю обо всем этом... Это настоящая трагедия Эдипа... Эдип тоже был предупрежден, но в роковой день он не распознал в событиях тех ужасов, которые ему возвещали... То же произошло и с нами... Наши пророки всё предсказали, мы ждали опасности, и ждали именно оттуда, откуда она пришла,— с Балкан, из Австрии, от царизма, от пангерманизма... Мы были предупреждены... Мы бодрствовали... Многие мудрые люди сделали все, чтобы воспрепятствовать катастрофе... И тем не менее она разразилась: нам не удалось ее избежать. Почему? Я рассматриваю вопрос со всех сторон... Почему? Может быть, просто потому, что во все эти заведомо страшные, давно ожидаемые события проскользнуло что-то непредвиденное, какой-нибудь пустячок, достаточный для того, чтобы слегка изменить их облик и внезапно сделать неузнаваемыми... достаточный, чтобы, несмотря на бдительность людей, капкан судьбы смог захлопнуться!.. И мы попались в него...

В другом конце комнаты, где Жуслен, Теривье, Жак и Женни окружили Манюэля Руа, раздался взрыв молодого смеха.

— Ну и что? — говорил Руа, обращаясь к Теривье.— Не плакать же мне, в самом деле! Это немного проветрит нас, вытащит из наших лабораторий. Увлекательное приключение, которое нам предстоит пережить!

— *Пережить?* — пробормотал Жуслен.

Женни, смотревшая на Руа, внезапно отвела глаза: ей стало больно видеть восторженное лицо молодого человека.

Филип издали слушал их. Он повернулся к Антуану:

— Молодежь не может представить себе, что это такое... И это многое объясняет... А я видел семидесятый год... Молодежь не знает!

Он снова вынул платок, вытер лицо, губы, бородку и долго вытирал ладони.

— Все вы едете,— продолжал он вполголоса, с грустью.— И, должно быть, думаете, что старикам везет: они остаются. Это неверно. Наша участь еще хуже вашей — потому что наша жизнь кончена.

— Кончена?

— Да, голубчик. Кончена, и притом навсегда... Июль тысяча девятьсот четырнадцатого: подходит к концу нечто, частью чего мы были, и начинается что-то новое, что уже не касается нас, стариков.

Антуан дружески смотрел на него, не находя ответа.

Филип умолк. И вдруг гнусаво хихикнул, видимо, под влиянием какой-то щекотавшей его мозг забавной мысли.

— В моей жизни будет три мрачные даты,— начал он таким тоном, словно читал лекцию (тоном, о котором студенты говорили: «Фи-фи слушает сам себя»).— Первая перевернула мою юность; вторая потрясла мои зрелые годы; третья, без сомнения, отравит мою старость...

Антуан не отрываясь смотрел на него, как бы побуждая его продолжать.

— Первая — когда провинциальный и религиозный подросток, каким я был в то время, открыл однажды ночью, читая подряд все четыре Евангелия, что это — клубок противоречий... Вторая — когда я убедился в том, что некий гнусный субъект по имени Эстергази сделал гадость, носившую название «хищение документов», и что, вместо того чтобы осудить его, все стали усиленно мучить не его, а другого господина, который ничего не сделал, но был евреем...

— А третья,— перебил его Антуан с грустной улыбкой,— это сегодня...

— Нет... Третья — неделю тому назад, когда газеты привели текст ультиматума, когда я увидел перед собой бильярдную партию... Когда я понял, что расплачиваться за этот карамболь придется народам...

— Карамболь?

Глаза Филипа под густыми бровями блеснули лукаво, почти жестоко.

— Да, Тибо, и зловещий карамболь! Красный шар — это Сербия; его толкает белый шар — Австрия; белый шар толкает другой белый — Германия... Но кто держит в руках кий? Кто? Россия? Или же Англия?..— Он рассмеялся злобным смехом, похожим на конское ржание.— Мне не хотелось бы умереть, прежде чем я это узнаю.

К Антуану и Филипу, сидевшим в углу, подошел Жак.

— Патрон,— сказал Антуан,— я, кажется, уже представлял вам своего брата?

Старый врач направил на Жака свой колючий взгляд.

Молодой человек поклонился. Затем спросил у Антуана:

— Нет ли у тебя расписания поездов?

— Есть...— Их взгляды встретились. Антуан чуть не спросил: «Зачем тебе?»,— но ограничился тем, что сказал: — Там... под телефонным справочником.

— А вы, сударь, когда едете? — спросил Филип.

Жак застыл на месте и перешительно взглянул на Антуана, который поспешил пробормотать:

— Мой брат... он... это дру... другое дело.

Наступило короткое молчание.

Понял ли Филип? Вспомнил ли разговор, который имел с Жаком когда-то? Он смотрел на молодого человека с величайшим вниманием и, когда Жак отошел, проводил его долгим взглядом.

Как только они снова остались одни, Антуан нагнулся к Филипу:

— Он по убеждению отказывается стать солдатом...

Филип с полминуты помолчал.

— Всякая мистика законна,— проговорил он затем усталым голосом.

— Нет,— возразил Антуан.— В переживаемое нами время долг очень прост, очень ясен. Мы не имеем права от него уклоняться.

Филип как будто не слышал его.

— ...законна и, быть может, необходима,— продолжал он, произнося слова в нос.— Разве без мистики прогресс человечества был бы возможен? Перечитайте историю, Тибо... В основе всех великих социальных перемен всегда бывало заложено какое-нибудь религиозное устремление к абсурду. Размышление ведет к бездействию. Только вера придает человеку вдохновение, побуждающее его действовать, и упорство, необходимое для того, чтобы отстаивать свои убеждения.

Антуан молчал. В присутствии своего учителя он непроизвольно превращался в несовершеннолетнего юнца.

Заметив возле камина Женни, нагнувшуюся над расписанием рядом с Жаком, он на секунду удивился. Как видно, девушка хотела узнать время прибытия поездов, которые могли еще привезти из Австрии ее мать.

Филип продолжал думать вслух:

— Кто знает, Тибо? Быть может, те, которые думают так, как ваш брат, это предтечи? Быть может, это роковая война, рас-

шатывая до основания наш старый материк, готовит расцвет новых лжеистин, о которых мы и не подозреваем?.. Было бы почти приятно иметь возможность верить в это... Почему бы нет? Всем странам Европы придется бросить в этот пылающий костер всю совокупность своих сил, как духовных, так и материальных. Явление, не имеющее прецедента. Предвидеть последствия невозможно... Кто знает? Быть может, все элементы культуры окажутся переплавленными в этом костре!.. Людям предстоит еще проделать столько болезненных опытов, прежде чем настанет день мудрости... День, когда для устройства своей жизни на нашей планете они удовольствуются тем, что смиренно используют данные, которые им открыла наука...

В полуоткрытую дверь просунулась придурковатая физиономия Леона.

— *Спрашивают* господина Антуана.

Антуан нахмурил брови, но встал.

— Вы позволите, Патрон?

Леон ждал в передней. Он бесстрастно протянул поднос для писем, на котором выделялся голубой конверт.

Антуан схватил его и, не распечатывая, сунул в карман.

— *Спрашивают,* будет ли ответ,— проговорил слуга, опустив глаза.

— Кто это «спрашивают»?

— Шофер.

— Нет,— сказал Антуан. И круто повернулся, так как услышал, что дверь сзади него отворилась.

Женни в сопровождении Жака появилась в передней.

— Вы уходите?

— Да! — ответил Жак тем же сухим, не допускающим возражений тоном, каким Антуан только что ответил «нет» своему слуге. Он пристально смотрел на брата, и его загадочный, полный упрека взгляд в действительности означал: «Мы пришли в такой день, как сегодня, чтобы видеть тебя одного, а ты не нашел для нас ни минуты!»

Антуан пробормотал:

— Уже?.. И вы тоже, мадемуазель?

«Если ей нужен был какой-нибудь совет или услуга,— подумал он внезапно,— то почему же она уходит, ничего не сказав? И вместе с ним?»

Он рискнул спросить:

— Не могу ли я быть чем-нибудь полезен вам до моего отъезда?

Она поблагодарила его неопределенной улыбкой и легким кивком головы. Он не знал, что думать.

— А ты? — сказал он, обращаясь к Жаку, который решительно направился к лестнице.— Я больше не увижу тебя?

Его голос вдруг прозвучал так сердечно, что Женни подняла глаза, а Жак обернулся. Лицо Антуана выражало неподдельное волнение, и горечь Жака испарилась.

— Ты едешь завтра? — спросил он.

— Да.

— В котором часу?

— Очень рано. Я выйду из дому около семи.

Жак посмотрел на Женни и наконец сказал чуть хриплым голосом:

— Хочешь, я зайду за тобой?

Лицо Антуана просияло.

— Да, да! Приходи... Ты проводишь меня на вокзал?

— Конечно.

— Спасибо, старина.— Антуан с нежностью смотрел на младшего брата. Он повторил: — Спасибо.

Все трое были уже у входной двери.

Жак открыл ее, пропустил Женни вперед и, в свою очередь, переступил порог, избегая взгляда брата. На площадке он проговорил:

— Так, значит, до завтра.— И закрыл за собой дверь. Но в тот же миг передумал.— Спуститесь без меня,— сказал он Женни.— Я догоню вас.— И он поспешно постучал кулаком в дверь.

Антуан был еще в передней. Он отворил. Жак вошел один и закрыл за собой дверь.

— Мне хотелось бы сказать тебе кое-что,— сказал он. Глаза его были опущены.

Антуан почувствовал, что речь шла о чем-то серьезном.

— Иди сюда.

Жак молча последовал за ним в маленький кабинет. Там он остановился, прислонившись к закрытой двери, и взглянул на брата.

— Ты должен знать, Антуан... Мы оба пришли поговорить с тобой. Женни и я...

— Женни и ты? — удивленно повторил Антуан.

— Да,— ответил Жак отчетливо. На его губах блуждала странная улыбка.

— Женни и ты? — еще раз спросил Антуан, остолбенев от изумления.— Что ты хочешь этим сказать?

— Это старая история,— пояснил Жак отрывисто, невольно краснея.— И теперь — вот. Все решилось. В одну неделю.

— Решилось? Что решилось? — Он отступил к дивану и сел.— Послушай,— пробормотал он,— ты шутишь... Женни? Ты и Женни?

— Ну да!

— Но вы почти не знаете друг друга... И потом, в такой момент! Помолвка накануне... Стало быть, что же? Ты отказался от мысли уехать из Франции?

— Нет. Я еду завтра вечером. В Швейцарию.— Он помолчал и добавил: — С ней.

— С ней? Послушай, Жак, ты что, сошел с ума? Окончательно сошел с ума?

Жак продолжал улыбаться.

— Да нет же, старина... Все очень просто: мы любим друг друга.

— Ах, не говори глупостей! — резко оборвал его Антуан.

Жак злобно рассмеялся. Поведение брата оскорбляло его.

— Возможно, что это такое чувство, которое тебя удивляет... которое ты не одобряешь... Тем хуже... Тем хуже для тебя... Я хотел, чтобы ты был в курсе. Это сделано. Теперь до свиданья.

— Подожди! — вскричал Антуан.— Это глупо! Я не могу позволить тебе уехать с подобной чепухой в голове!

— До свиданья.

— Нет! Мне надо с тобой поговорить!

— К чему? Я начинаю думать, что мы не можем понять друг друга...

Он повернулся было, чтобы уйти, но остался. Наступило молчание.

Антуан постарался овладеть собой.

— Послушай, Жак... Давай рассуждать...— Жак иронически улыбнулся.— Надо принять во внимание две вещи... С одной стороны — твой характер, а с другой — момент, который ты выбрал для... Так вот, прежде всего поговорим о твоем характере, о том, что ты за человек... Позволь сказать тебе правду: ты совершенно не способен составить счастье другого существа... Совершенно! Следовательно, даже при других обстоятельствах ты никогда не смог бы сделать Женни счастливой. И тебе ни в коем случае не следовало...

Жак пожал плечами.

— Дай мне договорить. Ни в коем случае! А сейчас меньше, чем когда бы то ни было!.. Война... И с твоими взглядами!.. Что ты будешь делать, что с тобой будет? Неизвестно. И это страшная неизвестность!.. Себя ты можешь подвергать риску. Но связывать

со своей участью другого человека — и в такой момент? Это просто чудовищно! Ты совсем потерял голову! Поддался ребяческому увлечению, которое не выдерживает никакой критики!

Жак разразился смехом — уверенным, дерзким, почти злым смехом, немного безумным смехом, который внезапно оборвался. Он резко откинул со лба прядь волос и гневно скрестил руки.

— Так вот как! Я прихожу к тебе, прихожу поделиться с тобой нашим счастьем,— и это все, что ты находишь нужным мне сказать? — Он еще раз пожал плечами, схватился за ручку двери и, обернувшись, бросил через плечо: — Я думал, что знаю тебя. Я узнал тебя только теперь, за эти пять минут! Ты никогда не любил! Ты никогда не полюбишь! Черствое, неизлечимо черствое сердце! — Он смотрел на брата свысока — с высоты своей недосягаемой любви. Кривая усмешка показалась на его губах, и он презрительно бросил: — Знаешь, кто ты такой? Со всеми твоими дипломами, со всем твоим самомнением? Ты жалкий человек, Антуан! Всего только жалкий, жалкий человек!

У него вырвался короткий сдавленный смешок, и он исчез, хлопнув дверью.

Антуан с минуту сидел неподвижно, опустив голову, устремив взгляд на ковер.

— *«Черствое сердце»!* — произнес он вполголоса.

Он прерывисто дышал. Волнение крови причинило ему физическую боль, недомогание, подобное тому, какое бывает у людей на очень большой высоте. Он вытянул руку, стараясь держать ее в горизонтальном положении; ее сотрясала дрожь, побороть которую он был не в силах. «Должно быть, пульс у меня сейчас около ста двадцати...» — подумал он.

Он медленно выпрямился, встал, подошел к окну и толкнул ставни.

На дворе было тихо. В отдалении, между двумя гранями стен, желтым пятном выделялась чахлая листва каштана. Но он не видел ничего, кроме дерзкого лица Жака, его самонадеянной улыбки, его хмельного, упрямого взгляда.

— *«Ты никогда не любил!»* — прошептал он, сжимая кулаки на железном подоконнике.— Глупец! Если это и есть любовь, то, согласен, я никогда не любил! И горжусь этим!

В окне соседнего дома показалась девочка и взглянула на него. Может быть, он говорил вслух? Он отошел от окна и вернулся на середину комнаты.

— Любовь! В деревне они, по крайней мере, не боятся называть это своим именем; они говорят, что *«самцу нужна самка»*...

Но для нас это было бы слишком просто, это было бы унизительно! И надо это облагородить! Надо кричать, закатывая глаза: «Мы любим друг друга!.. Я люблю ее!.. Любо-о-овь!» Сердце — это, как известно, ваша монополия, монополия влюбленных! У меня «черствое сердце»! Пусть так!.. И, разумеется: «Ты не можешь понять!» Постоянный припев! Тщеславная потребность быть непонятым! Это возвышает их в собственных глазах! Точно помешанные! Совершенно как помешанные: нет ни одного сумасшедшего, который бы не кичился тем, что его не понимают!

Антуан увидел себя в зеркале жестикулирующим, с разъяренным взглядом. Он сунул руки в карманы и начал искать более благородный предлог для своего гнева.

— *Абсурдность* этого — вот что приводит меня в исступление. Да, это здравый смысл, возмущаясь, причиняет мне такую острую боль... Впрочем, я уже не в первый раз констатирую подобный факт: от раны, нанесенной здравому смыслу, можно страдать, как от ногтоеды, как от зубной боли!

Мысль о Филипе, ожидающем его в кабинете, помогла ему прийти в себя. Он пожал плечами.

— Что ж...

Его пальцы машинально нащупали в кармане какую-то бумагу. Письмо Анны. Он вынул конверт, разорвал его пополам и бросил обрывки в корзину. Его взгляд упал на военный билет, приготовленный на письменном столе. И вдруг он почувствовал, что слабеет. Завтра война, опасности, увечье, может быть, смерть? *«Ты никогда не любил!»* Завтра молодость неожиданно оборвется, и, быть может, пора любви минет навсегда...

Внезапно он нагнулся над корзиной, нашел половину конверта, вынул из него обрывок записки, развернул его. Это был крик, страстный и нежный, как ласка:

«...сегодня вечером... У нас. Я буду ждать тебя... Я должна тебя видеть. Обещай мне, что ты придешь. Мой Тони! Приходи».

Он упал в кресло. Провести последнюю ночь с ней... Еще раз отдаться ее ласкам. Еще раз уснуть и забыть обо всем в ее объятиях... Внезапная тоска, волна отчаяния, могучая, как девятый вал, нахлынула на него. Он облокотился на стол и, стиснув голову руками, в течение нескольких минут рыдал, как ребенок.

LXX

Париж был спокоен, но трагичен. Тучи, скапливавшиеся с самого полудня, образовали темный свод, погружавший город в сумеречный полумрак. Кафе, магазины, освещенные раньше, чем

обычно, отбрасывали бледные полосы на черные улицы, где толпа, лишенная обычных средств передвижения, торопливо бежала куда-то, охваченная тревогой. Пасти метро выталкивали обратно на тротуар потоки пассажиров, вынужденных, несмотря на нетерпение, по полчаса топтаться на ступеньках, прежде чем им удавалось проникнуть внутрь.

Жак и Женни не захотели ждать и дошли до правого берега пешком.

Газетчики стояли на каждом углу. Люди вырывали друг у друга экстренные выпуски и на минуту останавливались, чтобы пробежать их жадными взглядами. Каждый, не отдавая себе отчета, упорно искал там великую новость: что все улажено; что правители Европы внезапно опомнились; что они пришли к полюбовному соглашению; что нелепый кошмар наконец рассеялся; что все отделались от него только страхом...

В «Юманите» после объявления мобилизации сделалось так же пусто, как и всюду; каждый, видимо, был захвачен своими личными делами. Вестибюль, лестница были безлюдны. Единственный служитель, расхаживавший по коридору, предупредил Жака, что Стефани в кабинете нет. Регулярность выхода газеты обеспечивал Галло; он работал сейчас над завтрашним номером, и вход к нему был воспрещен. Жак, за которым, как тень, следовала изнемогавшая от усталости Женни, не стал пытаться нарушить запрет.

— Идемте в «Прогресс»,— сказал он.

В кафе, в нижнем зале,— никого. Даже сам хозяин отсутствовал. За кассой сидела только его жена; лицо у нее было заплаканное, и она не двинулась с места.

Жак и Женни поднялись на антресоли.

Занят был только один столик: несколько социалистов, совсем молодых, незнакомых Жаку. Появление вновь прибывших заставило их на минуту умолкнуть, но они тотчас возобновили спор.

Жаку хотелось пить. Он усадил Женни у входа и спустился вниз за бутылкой пива.

— А что же еще можешь ты сделать, болван? Дождаться жандармов? И как дурак пойти под расстрел?

Говорил краснощекий малый лет двадцати пяти в сдвинутой на затылок фуражке. Голос его звучал резко. Он поочередно устремлял на товарищей суровый взгляд своих черных глаз.

— И потом вот что,— продолжал он с горячностью.— Для нас, для людей вроде нас, внимательно следивших за всем этим, ясно

только одно, и это важнее всего: мы — граждане страны, которая не хотела войны и которой не в чем себя упрекнуть!

— Точно то же самое говорят и все остальные,— вмешался самый старший из всей компании, человек лет сорока, в форме служащего метро.

— Немцы не могут этого сказать! Мир зависел от них! За последние две недели у них были десятки случаев предупредить войну.

— У нас тоже! Мы могли прямо сказать России: «К черту!»

— Это ничем бы не помогло! Теперь мы ясно видим, что немцы гнуснейшим образом подстроили всю эту историю! Что ж! Тем хуже для них! Мы за мир, но в конце концов нельзя же быть размазней! На Францию нападают — Франция должна защищаться! А Франция — это ты, я, все мы!

За исключением служащего метро, все, видимо, были с ним согласны. Жак с отчаянием взглянул на Женни. Он вспомнил Штудлера, взывавшего: «Мне необходимо, необходимо верить в виновность Германии!»

Не прикоснувшись к налитому пиву, Жак знаком предложил Женни встать и встал сам. Но прежде чем уйти, он подошел к группе говоривших.

— «*Оборонительная* война»!.. «*Законная* война»!.. «*Справедливая* война»!.. Неужели вы не видите, что это вечный обман? Вы, значит, тоже попались на эту удочку? Не прошло трех часов после приказа о мобилизации, и вот до чего вы уже дошли! Вы безоружны против злобных страстей, которые пресса старается разжечь вот уж целую неделю... Тех страстей, которым военные власти сумеют найти слишком хорошее применение!.. Кто же устоит против этого безумия, если не можете устоять вы, социалисты?

Он не обращался ни к кому в отдельности, но поочередно смотрел на каждого, и губы его дрожали.

Самый молодой из всех, штукатур,— лицо его было еще обсыпано белой пылью и напоминало маску Пьеро,— повернулся к Жаку.

— Я думаю то же, что Шатенье,— сказал он твердым и звучным голосом.— Мне призываться в первый день — завтра!.. Я ненавижу войну. Но я француз. На мою страну нападают. Я нужен, и я пойду! Мне на белый свет тошно глядеть, но я пойду!

— Я согласен с ними,— заявил его сосед.— Только я еду во вторник, на третий день... Я из Бар-ле-Дюка; там живут мои старики... И мне ничуть не улыбается, чтобы мои родные края стали германской территорией!

«Девять десятых французов думают точно так же! — сказал себе Жак.— Жадно стремятся обелить родину и поверить в гнусную преднамеренность поведения противника, чтобы иметь возможность оправдать разгул своих оборонительных инстинктов... И, может быть, даже,— подумал он,— все эти молодые существа испытывают какое-то смутное удовлетворение, внезапно сделавшись частицей оскорбленного целого, дыша этой опьяняющей атмосферой коллективной злобы... Ничто не изменилось с тех времен, когда кардинал де Рец осмелился написать: «Самое важное — это убедить народы, что они защищаются, даже тогда, когда в действительности они нападают».

— Подумайте хорошенько! — снова начал Жак глухим голосом.— Если вы откажетесь от сопротивления, то завтра будет уже поздно!.. Поразмыслите вот о чем: ведь по ту сторону границы происходит точно то же самое — та же вспышка гнева, ложных обвинений, упрямой вражды! Все народы уподобились передравшимся мальчишкам, которые с горящими глазами бросаются друг на друга, точно маленькие хищные зверьки: «Он начал первый!..» Разве это не бессмыслица?

— Так что же? — вскричал штукатур.— Что же, по-твоему, делать нам, мобилизованным, черт побери?

— Если вы считаете, что насилие не может быть справедливым, если вы считаете, что человеческая жизнь священна, если вы считаете, что не может быть двух моралей: одной, которая осуждает убийство в мирное время, и другой, которая предписывает его во время войны,— откажитесь подчиниться мобилизации! Откажитесь от войны! Останьтесь верны самим себе! Останьтесь верны Интернационалу!

Женни, ожидавшая Жака у выхода, внезапно подошла к нему и стала рядом.

Штукатур вскочил. Он яростно скрестил руки.

— Чтобы нас поставили в стенке? Как бы не так! Ври больше!.. *Там,* по крайней мере, каждому свое; можно еще вывернуться, если хоть на грош повезет!

— Да разве вы не чувствуете,— вскричал Жак,— что это трусость — отрекаться от своей воли, от своей личной ответственности под напором тех, кто сильнее! Вы говорите себе: «Я осуждаю войну, но ничего не могу сделать...» Это дается вам нелегко, но вы быстро успокаиваете свою совесть, убеждая себя, что, хотя такое подчинение тягостно,— оно достойно уважения... Неужели вы не видите, что вы жертва обмана, что вас втянули в преступную игру? Неужели забыли, что власть дана правительством не для того, чтобы порабощать народы и посылать их на убой, а для того, чтобы служить им, защищать их, делать счастливыми?

Смуглый парень лет тридцати, до сих пор молчавший, стукнул кулаком по столу:

— Нет и нет! Ты не прав. Сегодня ты не прав!.. Богу известно, что я никогда не шагал в ногу с правительством. Я такой же социалист, как и ты! У меня пять лет партийного стажа! И вот я, социалист, готов стрелять, защищая правительство так же, как и все остальные! — Жак хотел прервать его, но он повысил голос: — И убеждения тут ни при чем! Националисты, капиталисты, все толстопузые,— мы разыщем их после! И когда придет их черед, мы сведем с ними счеты,— можешь на меня положиться! Но сейчас не время разводить теории! Прежде всего надо рассчитаться с пруссаками! Этим подлецам захотелось войны! Они получат ее! И уверяю тебя: им будет жарко! за нами дело не станет.

Жак медленно пожал плечами. Ничего нельзя было сделать. Схватив Женни за руку, он увлек ее к лестнице.

— И все-таки да здравствует социальная революция! — крикнул сзади чей-то голос.

На улице они несколько минут шли молча. Глухие раскаты грома предвещали грозу. Небо было чернильного цвета.

— Знаете,— сказал Жак,— прежде я думал, я двадцать раз повторял, что войны не являются делом чувства, что это неизбежное следствие экономической конкуренции. Но сегодня, видя националистическое исступление, так естественно вспыхивающее во всех без различия классах общества, я почти готов спросить себя, не являются ли... не являются ли войны скорее результатом столкновения темных, необузданных страстей, для которых борьба материальных интересов — лишь удобный случай, лишь предлог!..— Он снова замолчал. Затем продолжал, следуя течению своих мыслей: — И нелепее всего старания людей не только оправдать себя, но и доказать всем, что их согласие обуманно, что оно *добровольно!..* Да, добровольно!.. Все эти несчастные, которые еще вчера дружно осуждали эту войну, а сегодня оказались втянутыми в нее насильно, с пеной у рта стараются показать, будто они действуют по собственному побуждению!.. И вообще,— снова заговорил он после короткой паузы,— это трагично; трагично, что столько опытных, осторожных людей стали вдруг такими легковерными, стоило только задеть патриотическую струнку... Трагично и почти непостижимо... Быть может, причина попросту в том, что средний человек наивно отождествляет себя со своей родиной, своей нацией, своим государством... Привычка повторять: «Мы, французы... Мы, немцы...» И так как каждый отдельный человек искренне хочет мира, он не может себе представить, что это государство — его

государство — может желать войны. И, пожалуй, можно сказать еще вот что: чем более горячим приверженцем мира является человек, тем сильнее он стремится оправдать свою страну, людей своего клана и тем легче убедить его в том, что угроза войны исходит от чужой страны, что его правительство не виновато, что сам он является частью общества-жертвы и что, защищая его, он должен защищать себя.

Крупные капли дождя прервали слова Жака. В эту минуту они переходили площадь Биржи.

— Побежим,— сказал Жак,— вы промокнете...

Они едва успели укрыться под аркадами улицы Колонн. Гроза, весь день висевшая над городом, наконец разразилась с внезапной и какой-то театральной яростью. Вспышки молнии непрерывно сменяли одна другую, ударяя по нервам, а беспрестанные раскаты грома отдавались между домами с грохотом, напоминавшим горные грозы. Полк муниципальной гвардии рысью проехал по улице Четвертого Сентября. Всадники, согнувшись под порывами ветра, наклонились к шеям дымящихся лошадей, чьи копыта вздымали снопы брызг; и, как на хорошей картине художника-баталиста, каски сверкали под свинцовым небом.

— Зайдем сюда,— предложил Жак, указывая на плохо освещенный и уже переполненный ресторанчик под аркадами.— Переждем грозу и закусим.

Они с трудом нашли два места за мраморным столиком, где уже теснились и другие посетители.

Как только Женни села, она сразу же почувствовала полный упадок сил. У нее дрожали колени; плечи, затылок болели; голова была невыносимо тяжелой. Ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Если бы можно было хоть на несколько минут закрыть глаза, вытянуться, уснуть!.. Уснуть рядом с ним... Воспоминание о минувшей ночи сейчас же завладело ею и, словно удар хлыста, вернуло ей силы. Жак, сидевший рядом с ней, ничего не заметил. Она видела его профиль: влажный висок, темную, с рыжим отливом, прядь волос. Она чуть не схватила его за руку, чуть не сказала: «Идемте домой! Что нам за дело до всего остального?.. Прижмите меня к себе... Обнимите меня крепче!»

Разговор вокруг них был общий. Глаза блестели. Передавая друг другу соль, горчицу, люди обменивались дружескими взглядами. Самые нелепые, самые противоречивые новости объявлялись с непоколебимой уверенностью и моментально принимались на веру.

— Как бы такая гроза не задержала нашего наступления,— простонала дама неопределенного возраста с покрытым красными пятнами лицом, выражавшим платонический, но задорный героизм.

— В тысяча восемьсот семидесятом,— сообщил толстый господин с орденской ленточкой в петлице, сидевший напротив Женни,— военные действия начались только спустя много времени после объявления войны: не ранее, чем через две недели.

— Говорят, что не будет сахару,— сказал кто-то.

— И соли,— добавила героическая дама. Она доверительно наклонилась к Женни: — Я-то успела принять кое-какие меры.

Господин с орденом, обращаясь к соседям по столу, растроганным голосом, дрожавшим от восхищения и, казалось, обладавшим свойством заражать им других, рассказал следующую историю: полковник одного из восточных гарнизонов, получив приказ отвести солдат на десять километров от границы и решив, что Франция уже покорилась врагу, не смог пережить этот позор, вынул револьвер и пустил себе пулю в лоб на глазах у всего полка.

В конце стола молча ел какой-то рабочий. Его недоверчивый взгляд встретился со взглядом Жака. Он тотчас вмешался в разговор.

— Вам-то хорошо рассуждать,— сказал он со злобой.— А вот мы не смогли нынче добиться в мастерской платы за проработанную неделю!

— Почему? — благосклонно осведомился господин.

— Хозяин уверяет, будто у него деньги в банке, а банк закрыл лавочку... Мы там как следует пошумели, сами понимаете! Но так ничего и не добились: «Приходите в понедельник»,— сказал он нам...

— Ну, конечно, в понедельник всем вам заплатят,— заявила героическая дама.

— В понедельник? Да ведь многие едут завтра. Понимаете? Уехать и оставить жену с детишками без гроша!

— Не беспокойтесь,— уверенно заявил господин с орденом.— Правительство предусмотрело это, как и все остальное. В мэриях будут выдаваться пособия. Поезжайте спокойно! Ваши семьи находятся под покровительством государства: они ни в чем не будут нуждаться.

— Вы думаете? — пробормотал рабочий нерешительно.— Почему же тогда об этом не скажут?

Сосед Жака, которому посчастливилось купить экстренный выпуск вечерней газеты, заговорил о воззвании Пуанкаре «К французской нации».

Все руки протянулись к нему:

— Покажите! Покажите!

Но он не хотел расставаться со своей газетой.

— Читайте вслух! — распорядился господин с орденом.

Обладатель газеты, маленький старичок с хитрой физиономией, поправил очки.

— Это подписано всеми министрами! — с пафосом заявил он. Затем начал фальцетом: — «Правительство, сознавая свою ответственность и чувствуя, что оно нарушило бы священный долг, если бы предоставило события их ходу, вынесло постановление, необходимость которого продиктована нынешней ситуацией».— Старик сделал паузу.— «Мобилизация — это еще не война...»

— Вы слышите, Жак? — шепнула Женни, и в ее голосе прозвучала надежда.

Жак пожал плечами.

— Надо заманить крыс в крысоловку... А когда они попадутся, их уж сумеют там удержать!

— «При настоящем положении вещей,— продолжал старик в очках,— мобилизация, напротив, является наилучшим средством обеспечить почетный мир».

Даже за соседними столиками воцарилась тишина.

— Громче! — крикнул кто-то из глубины зала. Чтец продолжал стоя. Голос его иногда прерывался: вне всякого сомнения, бедному старику казалось в эту минуту, что это он говорит с народом. Он торжественно повторил:

— «...обеспечить почетный мир. Правительство рассчитывает на спокойствие нашей благородной нации и уверено, что она не позволит себе поддаться необоснованным страхам».

— Браво! — крикнула дама с лицом в красных пятнах.

— «Необоснованным»! — прошептал Жак.

— «Оно полагается на патриотизм всех французов и уверено, что среди них не найдется ни одного, который бы не был готов исполнить свой долг. В этот час больше нет партий. Есть бессмертная Франция Права и Справедливости, единодушная в спокойствии, бдительности и достоинстве».

За чтением последовало долгое молчание. Затем все снова заговорили на эту волнующую тему. Героизм дамы был не единичным явлением. Лицо господина с орденом стало краснее ленточки в его петлице. У рабочего, сидевшего в конце стола, того самого, который не получил заработной платы, глаза наполнились слезами. Каждый почти с восторгом поддавался коллективному опьянению; каждый чувствовал себя внезапно приподнятым, вознесенным за пределы своего «я», упоенным возвышенностью момента, готовым на самоотречение, на жертву.

Жак молчал. Он думал о таких же воззваниях, которые там, за рубежом, были, должно быть, подписаны в тот же самый час другими носителями власти — кайзером, царем; об этих магичес-

ких формулировках, повсюду исполненных того же могущества и, без сомнения, повсюду разнуздывающих такое же нелепое исступление.

Он увидел, что Женни отставила стоявшую перед ней тарелку с супом почти нетронутой. Тогда он кивнул ей и поднялся.

Дождь перестал. С балкона капало. Широкие мутные ручьи с шумом вливались в сточные канавы; блестящие мокрые тротуары снова заполнились бегущими куда-то людьми.

— Теперь — в палату депутатов,— сказал Жак, лихорадочно увлекая за собой Женни.— Интересно знать, что они придумали там с Мюллером.

Это могло показаться бессмысленным, но он все еще не мог бы с твердостью заявить, что отказался от всякой надежды.

LXXI

Бурбонский дворец тайно охранялся полицией. Тем не менее за решеткой ограды во дворе стояли группы людей, к которым и направился Жак по-прежнему в сопровождении Женни.

При свете круглых электрических фонарей он узнал в одной из групп высокий силуэт Рабба.

— Беседа еще не кончилась,— пояснил Жаку старый социалист.— Они только что вышли. Поехали обедать. Обсуждение должно сейчас возобновиться. Но не здесь,— в редакции «Юма».

— Ну, как? Каковы первые впечатления?

— Не блестящие... Впрочем, трудно сказать. Все они вышли багровые, полумертвые от жажды и немые, как рыбы... Единственный, от кого мне удалось кое-что вытянуть,— это Сибло... И он не скрыл от нас своего разочарования. Правда? — добавил он, обращаясь к подходившему Жюмлену.

Женни молча разглядывала обоих мужчин. Жюмлен не особенно нравился ей. Его длинное, узкое лицо, потное и бледное, бритый, чрезмерно выдающийся подбородок, сухая манера говорить, сухо цедя сквозь зубы, обрубая фразы, квадратные плечи, жесткий блеск слишком маленьких и слишком черных зрачков — все это вызывало в молодой девушке неприятное чувство. Напротив, старик Рабб, с его выпуклым лбом, с ясными и печальными глазами, взгляд которых часто с отеческой нежностью останавливался на Жаке, внушал ей доверие и симпатию.

— По-видимому, у этого Мюллера нет никаких определенных полномочий,— сказал Жюмлен.— Он не привез никакого конкретного предложения.

— Тогда зачем же он приехал?

— Исключительно с целью получить информацию.

— Информацию? — вскричал Жак.— В такой момент, когда, по всей вероятности, уже поздно даже и действовать!

Жюмлен пожал плечами.

— Действовать... Чудак!.. Неужели ты думаешь, что можно еще принимать какие-то решения, когда обстановка меняется с каждым часом? Известно тебе, что Германия тоже объявила всеобщую мобилизацию? Это произошло в пять часов, вскоре после нас. И говорят, что сегодня вечером она официально объявит войну России.

— Я хочу знать одно,— нетерпеливо сказал Жак.— Для чего приехал этот Мюллер,— для того, чтобы объединить французский пролетариат с германским? Чтобы организовать, наконец, забастовку в обеих странах? Да или нет?

— Забастовку? Разумеется, нет,— ответил Жюмлен.— По-моему, он приехал просто для того, чтобы узнать, будет или не будет французская партия голосовать за военные кредиты, которых правительство, вероятно, потребует от палат в понедельник. Вот и все.

— И это было бы уже кое-что,— сказал Рабб,— если бы хоть в данном определенном пункте социалистические депутаты Франции и Германии решили придерживаться одинаковой политики.

— Ну, это еще неизвестно,— загадочно уронил Жюмлен.

Жак нетерпеливо топтался на месте.

— Единственное, что можно сказать,— продолжал Жюмлен убежденным тоном,— и что, кажется, на все лады повторяли Мюллеру лидеры нашей партии, это — что Франция сделала все возможное, чтобы избежать войны... До последней минуты! Вплоть до согласия оттянуть свои войска прикрытия!.. По крайней мере, у нас, французских социалистов, совесть чиста! И мы имеем полное право считать Германию нападающей стороной!

Жак смотрел на него, ошеломленный.

— Другими словами,— отрезал он,— французские социалистические депутаты собираются голосовать за кредиты?

— Во всяком случае, они не могут голосовать против них.

— Что значит — *не могут?*

— Самое вероятное — что они воздержатся при голосовании,— сказал Рабб.

— Ах! — вскричал Жак.— Если бы Жорес был с нами!

— Ба!.. Я думаю, что при настоящем положении вещей сам Патрон не решился бы голосовать против.

— Но ведь Жорес сотни раз доказывал, насколько нелепо разделение стран на страну нападающую и страну, подвергшуюся нападению! — вскричал Жак в бешенстве.— Это только предлог

для бесконечных препирательств! Вы все, кажется, забыли об истинных причинах той переделки, в которую мы попали,— о капитализме, об империалистической политике правительств! В какие бы формы ни облекались первые проявления вражды, международный социализм должен восстать против войны, против всякой войны! Если же нет...

Рабб вяло согласился с ним:

— В принципе, конечно... И, кажется, Мюллер действительно сказал что-то в этом духе...

— И что же?

Рабб устало махнул рукой.

— Этим дело и кончилось. И, взявшись под ручку, они пошли обедать.

— Нет,— возразил Жюмлен.— Ты забыл сказать, что Мюллер выразил желание позвонить по телефону в Берлин, чтобы посоветоваться с лидерами своей партии.

— Ах, так? — произнес Жак, хотевший лишь одного — снова обрести надежду.

Он круто повернулся, сделал несколько шагов, но возвратился и опять остановился перед Жюмленом и Раббом.

— Знаете, что думаю об этом я? Этот Мюллер приехал попросту для того, чтобы прощупать подлинный уровень интернационализма и пацифизма французской партии. И если бы перед ним оказались настоящие борцы, готовые на все, готовые объявить всеобщую забастовку, чтобы провалить националистическую политику правительства, то — я это утверждаю — можно было бы еще спасти мир! Да! Даже сегодня, даже после объявления мобилизации, можно было бы еще спасти мир! Грозным союзом французского и германского пролетариата! Что же он нашел вместо этого? Говорунов, спорщиков, людей умеренных взглядов, всегда готовых осудить войну и национализм на словах, а на деле собирающихся уже голосовать за военные кредиты и предоставить полную свободу действий генеральному штабу! Мы до последней минуты будем свидетелями все того же нелепого и преступного противоречия: того же двусмысленного столкновения между идеалом интернационализма, который исповедуют теоретически, и всеми теми националистическими интересами, которыми на практике не хочет пожертвовать никто — даже сами лидеры социалистов!

Пока он говорил, изнемогавшая от усталости Женни не отрывала от него глаз. Голос Жака обволакивал ее, словно знакомая и ласкающая музыка. Казалось, что она внимательно следит за его словами, но в действительности она была слишком утомлена, чтобы слушать. Она жадно рассматривала лицо Жака, рот на этом лице, и ее взгляд, устремленный на эти изогнутые губы, линия

которых то выпрямлялась, то сокращалась, словно какое-то изумительное живое существо, доставлял ей физическое ощущение близости. Вспоминая ночь, проведенную в его объятиях, она замирала от ожидания. «Уйдем,— думала она.— Чего он ждет? Скорее... Пойдем домой... Какое нам дело до всего остального?»

Кадье перебегавший от группы к группе и сыпавший новостями, подошел к ним.

— Мы только что обратились в министерство внутренних дел с просьбой дать Мюллеру возможность переговорить по телефону с Берлином. Безуспешно: сообщение прервано. Слишком поздно! И тут и там осадное положение...

— Это было, пожалуй, последним шансом,— прошептал Жак, наклоняясь к Женни.

Кадье услышал его и насмешливо спросил:

— Шансом на что?

— На выступление пролетариата! Международное выступление!

Кадье странно улыбнулся.

— Международное? — повторил он.— Но, дорогой мой, будем реалистами: начиная с сегодняшнего дня международна не борьба за мир, международна — война!

Что это было — выпад отчаяния? Он пожал плечами и скрылся во мраке.

— Он прав,— проворчал Жюмлен.— До ужаса прав. Война налицо. Сегодня вечером — добровольно или нет — мы, социалисты, так же как все французы, находимся в *состоянии войны*... Наша международная деятельность... да, мы еще вернемся к ней, мы возобновим ее, но потом. На сегодняшний день пора пацифизма миновала.

— И это говоришь ты, Жюмлен? — вскричал Жак.

— Да! Появился новый фактор: война *налицо*. Для меня этот фактор изменил все. И наша роль — роль социалистов — представляется мне вполне ясной: мы не должны тормозить деятельность правительства!

Жак посмотрел на него в оцепенении.

— Значит, ты соглашаешься быть солдатом?

— Разумеется. Заявляю тебе, что во вторник гражданин Жюмлен станет самым обыкновенным рядовым второго разряда двести тридцать девятого запасного полка в Руане!

Жак опустил глаза и ничего не ответил.

Рабб положил руку ему на плечо.

— Не строй из себя большего упрямца, чем ты есть на деле... Если сегодня ты еще не думаешь так же, как он, то ты придешь к этому завтра... Это бесспорно. Дело Франции есть дело демок-

ратии. И мы, социалисты, обязаны первыми защищать демократию от вторжения соседей-империалистов!

— Значит, и ты тоже?

— Я? Не будь я так стар, я пошел бы добровольцем... Впрочем, я попытаюсь. Может быть, моя старая шкура еще на что-нибудь пригодится... Что ты так смотришь на меня? Я не переменил своих убеждений. Я твердо надеюсь дожить до такого дня, когда можно будет возобновить борьбу с милитаризмом. Я остаюсь его заклятым врагом! Но в настоящий момент — без глупостей: милитаризм уже не то, чем он был вчера. Милитаризм сегодня — это спасение Франции, и даже больше: спасение демократии, которой грозит опасность. Вот почему я втягиваю свои когти. И готов сделать то же, что товарищи: взять винтовку и защищать страну. А дальше будет видно!

Он смело выдерживал взгляд Жака. Неопределенная улыбка, смущенная и в то же время горделивая, блуждала на его губах и еще больше оттеняла притаившуюся в глазах грусть.

— Даже Рабб! — прошептал Жак, отворачиваясь.

Он задыхался.

Он схватил Женни за руку и ушел с ней, ни с кем не попрощавшись.

У ограды группа оживленно разговаривавших людей загораживала выход.

В центре, жестикулируя, говорил что-то Пажес, секретарь Галло. Среди окружавших его молодых социалистов Жак увидел знакомые лица: это были Бувье, Эрар, Фужероль, профсоюзный работник Латур, Одель и Шардан — сотрудники «Юма».

Пажес заметил Жака и кивнул ему.

— Знаешь новость? Телеграмма из Петербурга: сегодня вечером Германия объявила войну России.

Бувье, митинговый оратор, человек лет сорока, тщедушный, с землистым лицом, повернулся к Жаку:

— Нет худа без добра! Там, на фронте, для нас найдется работа! Как только они дадут нам винтовки и патроны...

Жак не ответил. Он не доверял Бувье, ему не нравились его бегающие глазки. (Мурлан сказал ему как-то, выходя с митинга, где Бувье произнес горячую речь: «Этот малый у меня на примете. Слишком он пылок, на мой взгляд... Когда происходят аресты, его каждый раз берут одним из первых, но он всегда ухитряется каким-то образом доказать свою непричастность к делу и освободиться...»)

— Забавнее всего,— продолжал Бувье с приглушенным смешком,— их уверенность в том, что они втянули нас в национа-

листическую войну! Они и не подозревают, что через месяц эта война станет гражданской войной!

— А через два месяца — революцией! — вскричал Латур.

Жак холодно спросил:

— Так, значит, все вы тоже подчинились мобилизации?

— Черт возьми! Случай слишком хорош, чтобы его упускать!

— А ты? — спросил Жак, обращаясь к Пажесу.

— Разумеется!

На лице Пажеса было необычное выражение. Его голос звенел. Можно было подумать, что он немного пьян.

— Не наша вина, если мы не смогли помешать этой войне,— продолжал он.— Но мы не смогли, и война — совершившийся факт. Так пусть же, по крайней мере, она будет концом этого умирающего общества, которое не замечает, что идет на самоубийство! Капитализм не переживет катастрофы, которую он сам вызвал, и его гибель будет зависеть от нас одних! Так пусть же, по крайней мере, эта война послужит на пользу социальному прогрессу! Пусть она послужит на пользу человечеству! Пусть она будет последней! Пусть она будет освободительной.

— Война войне! — прогремел чей-то голос.

— Мы будем драться,— вскричал Одель,— но будем драться, как солдаты революции, за окончательное разоружение и раскрепощение народов!

Эрар, почтовый служащий, всегда привлекавший внимание своим исключительным сходством с Брианом (вплоть до голоса, вибрирующего, с теплыми, глухими нотами), медленно произнес:

— Да... Тысячи и тысячи невинных будут принесены в жертву! Это чудовищно. Но единственное, что могло бы примирить с этим ужасом,— мысль, что мы платим за будущее! Те, которые выйдут из этого кровавого крещения, возродятся духовно... Перед ними не останется ничего, кроме развалин. И на этих развалинах они смогут наконец построить новое общество!

Женни, стоявшая позади Жака, увидела, как вздрогнули его плечи. Она подумала, что сейчас он вмешается в спор. Но он повернулся к ней, не сказав ни слова. Его изменившееся лицо поразило ее. Он снова взял ее под руку и, прижимая к себе, отошел от группы. Он был счастлив, что она с ним: ощущение одиночества казалось ему не таким горьким. «Нет,— говорил он себе — нет!.. Лучше умереть, чем принять то, что я осуждаю всем сердцем! Лучше смерть, чем это отступничество!

— Вы слышали? — сказал он после короткого молчания.— Я не узнаю их больше.

В эту минуту Фужероль, который во время разговора у ограды не проронил ни слова, нагнал их.

— Ты прав,— сказал он без всякого предисловия, вынуждая молодых людей остановиться и выслушать его.— Я даже хотел было дезертировать, чтобы остаться верным самому себе. Понимаешь?.. Но если бы я это сделал, то впоследствии никогда не был бы уверен в том, что сделал это по убеждению, а не из трусости. Потому что, сказать правду, я отчаянно боюсь... И вот, это нелепо, но я сделаю то же, что они: я пойду...

Он не стал дожидаться ответа Жака и удалился решительным шагом.

— Может быть, есть много таких, как он...— задумчиво прошептал Жак.

Они пошли по Бургундской улице вдоль Бурбонского дворца, направляясь к Сене.

— Знаете, что меня поражает? — продолжал Жак после новой паузы.— Их взгляды, их голос, какая-то непроизвольная веселость, которая сквозит в их движениях... До такой степени, что невольно спрашиваешь себя: «А что, если бы они сейчас узнали, что все уладилось, что мобилизация отменена,— не охватило бы их прежде всего чувство разочарования?..» И больнее всего,— добавил он,— видеть энергию, которую они отдают на службу войне, их мужество, их презрение к смерти! Видеть эту *впустую растраченную* душевную силу — силу, сотой доли которой хватило бы на то, чтобы помешать войне, если бы только они вовремя и единодушно употребили ее на служение миру!..

На мосту Согласия они встретили Стефани; он шел один, опустив голову; огромные очки красовались на его хрящеватом носу. Он тоже торопился узнать результат переговоров.

Жак сообщил ему, что беседа прервана и через некоторое время должна возобновиться, но уже в «Юманите».

— В таком случае я возвращаюсь в редакцию,— сказал Стефани, поворачивая обратно.

Жак был по-прежнему мрачен. Он прошел несколько шагов молча; затем, вспомнив о пророчестве Мурлана, дотронулся до локтя Стефани.

— Конечно,— социалистов больше нет: есть только *социал-патриоты.*

— Почему ты говоришь это?

— Я вижу, что все они согласны идти воевать. Им кажется, что, принося революционный идеал в жертву новому мифу — «Отечеству в опасности», они повинуются своей совести. Самые яростные противники войны сильнее всего рвутся в бой!.. Жюмлен... Пажес... Все!.. Даже старик Рабб готов пойти добровольцем, если только согласятся его взять!

— Рабб! — повторил Стефани вопросительным тоном. Но вдруг заявил: — Это меня не удивляет... Кадье тоже идет. И Берте и Журден! Со вчерашнего дня все они носят в кармане военные билеты. Даже Галло, несмотря на свою близорукость, попросил Геда, чтобы тот похлопотал за него в министерстве и помог ему освободиться от должности «интендантской крысы»!..

— Партия обезглавлена,— мрачно заключил Жак.

— Партия? Может быть, и нет. Но что действительно обезглавлено — это противодействие силам войны.

Жак подошел к нему ближе, охваченный братским порывом.

— Ты тоже думаешь, что если бы Жорес был жив...

— Разумеется, он был бы с нами! Или, вернее, вся партия осталась бы с ним!.. Дюнуа нашел правильную формулировку: *«Социалистическая совесть не могла бы расколоться»*.

Они молча перешли через площадь Согласия, свободную от экипажей и потому казавшуюся более широкой и светлой, чем обычно. Желчное лицо Стефани судорожно подергивалось: у него был тик.

Внезапно он остановился. Свет уличного фонаря отбрасывал на его продолговатое лицо причудливые блики, и минутами его очки вспыхивали над глазными впадинами, полными мрака.

— Жорес? — повторил он. (Произнося это имя, его певучий голос, голос южанина, зазвучал такими нежными, такими скорбными нотками, что у Жака подступил комок к горлу.) — Знаешь, что он сказал при мне в прошлый четверг, перед самым отъездом из Брюсселя? Гюисманс собирался вернуться в Амстердам и прощался с ним. Патрон неожиданно посмотрел ему в глаза и сказал: «Слушайте меня внимательно, Гюисманс. Если разразится война, *поддерживайте Интернационал!* Если друзья будут умолять вас принять участие в этой стычке, не делайте этого, *поддерживайте Интернационал!* И если я, Жорес, приду к вам и потребую, чтобы вы примкнули к какой-либо из воюющих сторон, не слушайте меня, Гюисманс! *Чего бы это ни стоило, поддерживайте Интернационал!»*

Потрясенный, Жак вскричал:

— Да! Даже если нас останется только десять! Даже если нас останется только двое! Чего бы это ни стоило, мы должны поддерживать Интернационал! — Его голос дрожал. Трепеща от волнения, Женни подошла ближе и прижалась к нему, но он, видимо, этого не заметил. Он повторил еще раз, словно клятву: — Поддерживать Интернационал!

«Но как?» — думал он. И ему показалось, что он, совсем один, погружается во мрак.

Было за полночь, когда Жак и Женни вышли из редакции «Юманите», куда многие социалисты приходили в этот вечер за новостями. Несмотря на полное крушение надежд, Жак все же не хотел уходить, не узнав исхода переговоров с германским делегатом. С беспокойством глядя на измученное лицо Женни, он неоднократно умолял ее вернуться домой и отдохнуть, обещая прийти к ней, как только сможет, но она каждый раз отвечала отказом. Наконец в кабинет Стефани, где, кроме них, нашли приют еще человек двадцать социалистов, пришел Галло и заявил, что заседание кончилось. Мюллер, де Ман очень торопились: они хотели поймать последний поезд для штатских, направлявшийся в Бельгию, и у них едва оставалось время, чтобы добраться до Северного вокзала. Жак и Женни увидели, как они прошли по коридору в сопровождении Моризе. Кашен, вооруженный депутатской перевязью, взялся облегчить им отъезд и усадить в поезд. И все-таки нельзя было поручиться, что Мюллеру удастся проехать через бельгийскую границу.

Галло, на которого все накинулись с расспросами, яростно тряс всклокоченной головой. Наконец удалось вырвать у него подробности. В конечном итоге эта последняя встреча социалистических партий Франции и Германии ни к чему не привела. После шести часов добросовестного обсуждения пришлось ограничиться робким пожеланием, чтобы социалисты палаты и рейхстага, не препятствуя предоставлению военных кредитов, хотя бы воздержались от голосования за них. Присутствующие разошлись, придя к следующему смехотворному заключению: «Неустойчивость ситуации не позволяет взять на себя более определенные обязательства».

Это было окончательное банкротство. Догмат международной солидарности оказался иллюзией.

Жак взглянул на Женни, словно надеясь найти у нее последнюю поддержку в своем отчаянии. Она сидела на табурете, немного в стороне от остальных, опустив руки на колени, прислонившись спиной к книжным полкам. Свет плафона косо падал на ее профиль, сгущая тени под глазами, под скулами. Зрачки ее расширились от усилия, которое она делала над собой, чтобы держать глаза открытыми. Заключить ее в объятия, укачать, убаюкать... Все сострадание, какое Жак питал сегодня к миру, внезапно удесятерило его жалость к этому хрупкому и усталому существу, единственному, которое должно было отныне иметь для него значение.

Он подошел к ней, помог подняться, молча вывел из комнаты.

Наконец! Она первая бросилась к лестнице. Она больше не чувствовала усталости... И когда они оказались на тротуаре, когда горячая рука Жака обвилась вокруг ее талии,— помимо радости,

помимо того непреодолимого чувства, которое приковывало ее к нему, она испытала вдруг какое-то неясное, пугающее, совершенно новое ощущение, настолько сильное, что волна крови бурно прилила к ее вискам, и, пошатнувшись, она поднесла руку ко лбу.

— Вы совсем без сил,— прошептал Жак, удрученный.— Что же делать? Сегодня нет никакой надежды на машину...

Прижавшись друг к другу, измученные, лихорадочно возбужденные, они двинулись вперед, в ночь.

На улицах было еще много народа. Небольшие группы полицейских и солдат муниципальной гвардии дежурили на всех перекрестках.

Жак и Женни очень удивились, увидев широко раскрытые двери церкви на площади Нотр-Дам-де-Виктуар. Они подошли. Неф зиял, словно волшебный грот, мрачный, хотя и освещенный бесчисленными трехсвечниками, преображавшими алтарь в неопалимую купину. Хоры, несмотря на ночное время, были полны безмолвных молящихся теней; вокруг исповедален, ожидая очереди, стояли коленопреклоненные молодые люди. Заинтересованный и невольно растроганный смятением, которое изобличал в столь поздний час этот порыв народного благочестия, Жак охотно зашел бы сюда на минутку. Но Женни с негодованием удержала его: три века протестантизма бессознательно восставали в ней против пышности католических обрядов, против этого идолопоклонства...

Не обменявшись впечатлениями, они продолжали путь.

Женни, теперь совсем уже изнемогавшая от усталости, шла, повиснув на руке Жака. Вдруг, неожиданно для самой себя, она схватила эту руку и прижалась к ней щекой. Он остановился, потрясенный. Оглядевшись по сторонам, он втолкнул девушку в какой-то подъезд и обнял ее. «Наконец!» — подумала она. Ее губы раскрылись. Она больше не старалась спрятать от него свой рот. Долгие часы ждала она этой ласки. Она закрыла глаза и, трепеща, отдалась поцелую.

Миновав Центральный рынок, они пошли по бульвару Сен-Мишель. Часы на дворце показывали четверть второго. Пешеходов стало меньше, но по мостовой главных улиц тянулись по направлению к городским заставам вереницы обозов: реквизированные подводы, лошади, которых вели под уздцы, автомобили, управляемые солдатами, безмолвные полки, двигавшиеся куда-то по секретным предписаниям. В эту ночь во всей Европе не было покоя.

Они шли медленно. Женни прихрамывала. Она вынуждена была признаться, что ботинок натер ей ногу. Жак потребовал, чтобы она сильнее оперлась на него; он поддерживал ее, почти нес.

Это задевало самолюбие Женни, но и умиляло ее. По мере того как они приближались к дому, какое-то неясное беспокойство начинало примешиваться к их нетерпению. Нравственные и физические силы обоих были на исходе, но, несмотря ни на что, упорное пламя радости пробивалось сквозь эту усталость и эту тревогу.

Едва Женни успела включить электричество в передней, она прежде всего,— таково было первое ее движение всякий раз, как она возвращалась домой,— взглянула, не подсунула ли консьержка под дверь телеграмму из Вены. Ничего. Сердце ее сжалось. Теперь нечего было и думать о том, чтобы получить известие от матери до их отъезда.

— Только бы сохранилось нормальное сообщение между Швейцарией и Австрией,— прошептала она. Это было теперь единственной ее надеждой.

— Сразу же по приезде в Женеву мы пойдем в консульство,— пообещал Жак.

Они все еще стояли в передней, преследуемые воспоминанием о минувшей ночи, чувствуя внезапную неловкость оттого, что вдруг оказались одни при этом ярком свете, с этими изможденными лицами; глаза их избегали друг друга: одно и то же воспоминание смущало обоих.

— Что ж...— сказал Жак.

Он не двигался. Машинально нагнувшись, он поднял лежавшую на полу газету, медленно сложил ее и бросил на круглый столик.

— Я умираю от жажды,— сказал он наконец с несколько деланной непринужденностью.— А вы?

— Я тоже.

В кухне еще стояли на столе остатки еды.

— Наш завтрак,— сказал Жак.

Он отвернул кран и не закрывал его до тех пор, пока вода не стала прохладной; потом протянул стакан Женни, опустившейся на ближайший стул. Она отпила несколько глотков и вернула ему стакан, отведя при этом глаза: она была уверена, что он коснется губами того места, к которому только что прикасались ее губы... Он жадно выпил один за другим два стакана, удовлетворенно вздохнул и подошел к ней. Взяв ее лицо обеими руками, он наклонился. Но ограничился тем, что долго смотрел на нее, совсем близко. Потом с нежностью сказал:

— Моя дорогая, моя бедная девочка... Уже поздно... Вы измучились... А завтра ночью этот долгий путь... Вы должны хорошенько выспаться... На своей кровати,— добавил он.

Она съежилась, не отвечая. Он заставил ее выпрямиться и довел до дверей ее комнаты; она еле держалась на ногах.

В комнате было темно; только слабый свет летней ночи проникал через открытое окно.

— А теперь вы должны спать, спать,— повторил он ей на ухо.

Она не двинулась с места. Прижавшись к нему, она продолжала стоять на пороге. Еле слышно она прошептала:

— Там...

«Там» — это значило: на диване, в комнате Даниэля... Он глубоко вздохнул и не ответил. Когда Дженни согласилась ехать с ним в Швейцарию, он подумал: «Она станет моей женой в Женеве». Но после потрясений этого трагического дня... Равновесие мира было нарушено; кругом царило непредвиденное; исключительное стало законом; все обязательства теряли силу...

Еще несколько секунд, вполне сознательно, он боролся с собой. Отстранившись, он посмотрел ей в лицо.

Она подняла к нему свои прозрачные глаза. Одинаковое волнение, одинаковая радость, торжественная и чистая, заливала обоих.

— Да,— сказал он наконец.

LXXII

Симплонский экспресс, который по расписанию должен был прибыть в Париж в семнадцать часов, только в двадцать три часа с минутами добрался до станции Ларош, где был немедленно поставлен на запасный путь, чтобы освободить главную магистраль для составов с продовольствием для армии. Экспресс состоял почти исключительно из старых вагонов третьего класса и был переполнен: в десятиместные отделения набилось по тринадцать — четырнадцать человек. В час ночи, после бесконечных маневров, поезд снова с трудом двинулся к столице. В три часа он со скоростью пехотинца прошел мимо станции Мелён и почти сейчас же остановился на мосту через Сену. Начавшее белеть небо освещало изгиб реки; город угадывался по нескольким рядам мигавших в тумане огней. Постепенно за холмами начало светать, и внизу, на дороге, идущей вдоль реки, стал виден марширующий полк, за которым тянулась длинная вереница обозных повозок.

Наконец в половине пятого, после бесчисленных остановок, мнимых отправлений, ожиданий в туннелях, поезд, свистя и тормозя у каждого семафора, медленно миновал парижское предместье и остановился на пути без платформы, в трехстах метрах от вокзала Париж — Лион — Средиземное море.

Госпожа де Фонтанен пошла вслед за пассажирами, которых служащие высаживали прямо на железнодорожную насыпь и на-

правляли по полотну к зданию вокзала. Тяжелый чемодан бил ее по ногам, и она шаталась при каждом шаге.

Вену она оставила в разгаре предвоенной суматохи, выехав одним из последних поездов, предназначенных для иностранцев, которые направлялись в Италию. Она ехала трое суток; у нее было семь пересадок, и она не спала три ночи. Зато она добилась того, что иск против ее мужа был прекращен и имя де Фонтанена не фигурировало больше в следственных материалах.

Вокзал, переполненный солдатами в красных штанах, напоминал лагерь. Ей пришлось пробираться между винтовками, составленными в козлы, натыкаться на барьеры, охраняемые дневальными, десятки раз поворачивать обратно, пока не удалось наконец выбраться из вокзала. Не покидавшая ее мысль о сыне с новой силой овладела ею среди этих солдат. Она ничего не знала о нем. Дома она найдет его письма. Даниэль! Какая судьба ждет его? Она увидела его в красивом мундире, в сверкающей каске, верхом на коне у пограничного столба... Готовый к отпору защитник родины, находящейся под угрозой... Бог сохранит его! Бояться за него — значило бы недостаточно верить.

На улице ни одного такси, ни одного автобуса. Дойти до дому пешком было не так уж трудно: радость, что она наконец у цели, мешала ей по-настоящему чувствовать усталость. Но что делать с вещами? У камеры хранения стояли в очереди более ста человек. Кое-как волоча свой чемодан, г-жа де Фонтанен перешла через площадь и заметила открытый ресторанчик. Беспорядок на столиках, заспанные лица официантов, несколько ламп, продолжавших гореть, хотя уже совсем рассвело,— все говорило о том, что кафе, вопреки правилам, не закрывалось всю ночь. Молодая женщина за кассой, покоренная располагающей улыбкой путешественницы, согласилась подержать у себя чемодан, и г-жа де Фонтанен, освободившись от ноши, направилась к улице Обсерватории. Конец ее мучений был близок: через полчаса она будет с Женни, у себя, перед своим чайным прибором. Ее усталость почти исчезла.

Этот утренний Париж, Париж 2 августа, был уже так оживлен, что, подойдя к своему дому, она удивилась, что подъезд закрыт. Ее часы остановились. Проходя мимо швейцарской, на застекленной двери которой еще не были подняты занавески, она решила, что, как видно, сейчас не больше половины шестого. «Женни спит и, наверное, наложила цепочку,— подумала она, поднимаясь по лестнице.— Услышит ли она звонок в передней?

На всякий случай, прежде чем позвонить, она попыталась открыть дверь своим ключом. Дверь отворилась: замок был заперт только на один поворот ключа.

Ее взгляд прежде всего натолкнулся в передней на мужскую шляпу, черную фетровую шляпу. Даниэль? Нет... Ее охватил страх. Все двери были открыты настежь. Она сделала два шага и вышла в коридор. Там, в глубине, горел огонь на кухне... Что это — бред? Она ничего не понимала. На секунду она прислонилась плечом к стене. Ни малейшего шума. Квартира казалась пустой. Однако эта шляпа, эта горящая лампочка... Мысль о налете грабителей промелькнула у нее в голове. Она машинально пошла по коридору, направляясь к кухне, но вдруг остановилась перед комнатой Даниэля, дверь в которую была открыта, и застыла на месте, устремив глаза в одну точку: на диване среди разбросанных в беспорядке подушек — два обнявшихся тела...

На мгновение мысль о краже сменилась мыслью об убийстве. Но только на одно мгновение, потому что она сейчас же узнала оба запрокинутых лица — Женни спала в объятиях спящего Жака!

Она поспешно отступила в темноту коридора. Она прижала руку к груди, словно биение сердца могло выдать ее присутствие. Единственной ее мыслью было бежать. Бежать, чтобы забыть о виденном! Бежать, чтобы оградить от жестокого унижения их... себя....

Быстро, крадучись, она вернулась в переднюю. Здесь ей пришлось остановиться: она была близка к обмороку. Пожалуй, она уже готова была спросить себя, не галлюцинация ли все это, как вдруг ей снова бросилась в глаза фетровая шляпа Жака, дерзко кинутая на середину стола. Тогда она собралась с силами, осторожно отворила дверь на площадку, бесшумно заперла ее за собой и, цепляясь за перила, тяжело переступая со ступеньки на ступеньку, спустилась вниз.

А теперь? Неужели ей придется стучать, чтобы открыли подъезд, разговаривать с консьержкой, рассказывать ей о своем возвращении и объяснять внезапный уход?.. К счастью, консьержка, которую она, как видно, разбудила своим приходом, уже встала и одевалась; за занавесками виднелся свет, и подъезд был открыт. Бедная женщина смогла выйти на улицу незамеченной.

Куда идти? Где искать убежища?

Она перешла на другую сторону и вошла в сквер. Он был почти безлюден. Она добралась до ближайшей скамьи и упала на нее.

Вокруг тишина, свежесть. Вдали — глухой, непрерывный шум: грохот подвод и грузовых автомобилей, без конца проезжавших по бульвару Сен-Мишель.

Госпожа де Фонтанен не пыталась понять. Она даже не спрашивала себя о том, что произошло в ее отсутствие, каким образом могло дойти до этого. Ей не удалось заставить себя рассуждать.

Но она продолжала *видеть*. Картина, стоявшая перед ее глазами, обладала неоспоримой рельефностью действительности: диван со сбившимися простынями, обнаженная вытянутая нога Женни, облитая светом из окна; руки Жака, обвивающие грудь девушки, их поза, говорящая о самозабвении, и на их сблизившихся во сне губах выражение сладостного, мучительного восторга... «Как они были прекрасны»,— подумала г-жа де Фонтанен, несмотря на стыд, несмотря на ужас. К ее негодованию, к ее инстинктивному возмущению уже примешивалось другое чувство, укоренившееся в ней так глубоко: уважение к другому человеку, уважение к судьбе, к ответственности другого человека.

Почувствовал ли Жак сквозь сон, что в квартире было какое-то движение? Его веки дрогнули: он открыл глаза. В одну секунду он осознал все. Его взгляд, прежде чем остановиться на уснувшем лице, скользнул по обнаженной ноге, по округлости груди, по изгибу плеча. Сколько грусти в складке этого рта! Какое застывшее выражение страдания на этом неподвижном лице! Страдания — и в то же время покоя... Маска мертвой девочки, чья агония была ужасна...

Он удерживал дыхание и не мог оторвать глаз от этих стиснутых губ. Жалость, раскаяние, страх были сильнее его нежности. Какой-то рок тяготел над ними. Рок? Нет. Все это произошло потому, что он того хотел. И только по его воле. Он всегда кидался на Женни, словно зверь на добычу. Это он сам навязал ей свое присутствие в Мезон-Лаффите, заставил полюбить себя, чтобы сейчас же исчезнуть, оставить ее во власти отчаяния. И вот этим летом он снова обрушился на нее — на нее, уже начинавшую приходить в себя, забывать... Непоправимое свершилось. Неделю назад она еще могла жить без него. Сегодня — нет. Она принадлежит ему. Он втянул ее в свою орбиту. Что будет дальше? Грозная неизвестность... Теперь без него вкус к жизни был бы утерян для нее навсегда. А будет ли она счастлива с ним? Нет. Он знал это. Антуан был прав! Он не из тех, кто приносит другим счастье.

Антуан... Инстинктивно он поискал глазами часы. Он обещал проводить брата на вокзал сегодня утром. Без двадцати шесть. Через пять минут надо вставать.

В открытое окно вливался глухой, прерывистый шум. Жак поднял голову. Полки, обозы, орудия проезжали по городу. Война была рядом, она подстерегала их пробуждение. «Первый день мобилизации — воскресенье, второе августа...» В это утро война начиналась для всех.

Он продолжал лежать, приподнявшись на локте, напряженно вслушиваясь; взгляд его был неподвижен, лоб влажен. Иногда шум затихал на минуту-другую. Волнующая тишина сменяла тогда лязг железа, тишина, нарушаемая щебетанием птиц или же слабым, как вздох, шелестом деревьев, колеблемых ветерком. Потом в отдалении снова зарождался зловещий гул. Новые отряды проходили по бульвару: их мерный шаг приближался, становился громче, заглушая тишину, покрывая чириканье воробьев, подавляя своим грохотом все вокруг.

Рискуя разбудить Женни, он осторожно приподнял ее и обнял. Соприкосновение их тел заставило ее внезапно сжаться во сне. Она прошептала: «Нет... нет...» Потом ее веки поднялись, и она улыбнулась ему — нежной и робкой улыбкой, меж тем как в глубине ее затуманенных глаз медленно угасал огонек испуга. С минуту они лежали не шевелясь, тесно прижавшись друг к другу. В жгучей неподвижности этого объятия тела их трепетали от воспоминаний ночи. Но эти воспоминания были неодинаковы у обоих... И когда Жак еще крепче прижал ее к себе, Женни, чья нежность была парализована страхом перед новой болью, инстинктивно попыталась уклониться. Побежденная наконец своей слабостью, своей любовью, жертвенным восторгом еще больше, чем собственным желанием, она уступила... Полное решимости самозабвение, в котором была как раз та доля страсти и даже радости, какая была нужна, чтобы Жак смог обмануться и не заподозрил, сколько страха, самоотверженности, воли скрывалось за этим согласием.

Откинувшись на спинку скамьи, сложив руки на коленях, г-жа де Фонтанен смотрела прямо перед собой, не в силах ни о чем думать.

Время шло. Сад, залитый утренним солнцем, пение птиц, зелень, цветы, белые статуи, отбрасывавшие на газоны длинные тени,— все это окутывало ее одиночеством. Мужчины, женщины, которые быстрыми шагами наискось пересекали улицу, проходили далеко от нее, не глядя на эту женщину в трауре, в изнеможении сидящую на скамейке. Деревья закрывали от нее окна ее квартиры, но сквозь кусты она видела подъезд своего дома.

Вдруг она нагнула голову и опустила вуаль: Жак, а потом Женни показались на пороге... Они не могли увидеть, узнать ее на таком расстоянии. Но вдруг они пойдут в ее сторону?.. Когда она решилась наконец поднять глаза, они быстро удалялись в направлении Люксембургского сада.

Она глубоко вздохнула. Кровь стучала у нее в висках. Она растерянно провожала глазами молодую пару, пока та не скрылась

из виду. Еще несколько минут она сидела, не имея мужества встать. Затем поднялась и почти твердым шагом,— несмотря ни на что, это бесконечное ожидание дало ей некоторый отдых,— направилась к дому.

LXXIII

— Полежи,— сказал Жак Женни.— Я провожу Антуана на вокзал. Потом зайду попрощаться с Мурланом; пройду в ВКТ, в «Юма». А потом уже, около полудня, вернусь сюда за тобой.

Но Женни думала иначе. Она твердо решила, что в это утро не останется одна в квартире.

— А когда же ты будешь укладывать вещи? Или устраивать дела, о которых говорила вчера? Тебе ни за что не успеть собраться к вечеру,— сказал он, поддразнивая ее.

Она улыбнулась совсем новой, застенчивой и страстной улыбкой, затуманившей ее взгляд.

— У меня другой план... Я пойду посмотрю еще раз наш скверик на улице Лафайет. Вы... ты зайдешь за мной туда, когда будешь возвращаться с Северного вокзала,— хорошо? Или позже.

Они решили, что она проводит его до Университетской улицы через Люксембургский сад, пешком; а потом будет терпеливо ждать его у церкви св. Венсан де Поля. И она побежала одеваться.

Антуан расстался с Анной в три часа утра.

Накануне он не устоял против неодолимой потребности снова увидеть ее: последняя и горькая радость, которую он позволил себе, не обольщаясь, как даруют последнюю милость приговоренному к смерти. Но жестокое отчаяние Анны в минуту прощания и раскаяние, которое он испытал, уступив искушению, оставили в нем чувство растерянности и уныния. Вернувшись домой, он провел остаток ночи на ногах. Разобрал содержимое ящиков, сжег бумаги, вложил в конверты небольшие суммы денег, предназначенные разным лицам: г-ну Шалю, служанкам, мадемуазель де Вез и даже двум мальчишкам-сиротам с улицы Вернейль — смышленому маленькому конторщику Роберу Боннару и его брату. (Он продолжал время от времени помогать им, и ему не хотелось оставить их без поддержки в эти первые недели всеобщей сумятицы.) Затем он написал довольно длинное письмо Жиз, советуя ей не уезжать из Англии, и другое письмо — Жаку, адресованное в Женеву: он был уверен, что брат не придет проститься с ним после вчерашней сцены. В нескольких дружеских словах он просил прощения за то, что обидел его, и умолял писать о себе.

После этого он прошел в туалетную комнату, надел военную форму. И сразу его охватило спокойствие, словно решительный шаг был уже сделан.

Застегивая краги, он произвел мысленный смотр всему, что намеревался сделать до отъезда. Ничто не было забыто. Эта уверенность окончательно его успокоила. Вдруг он подумал, что ему будет многого недоставать для настоящей, плодотворной работы военного врача. Без колебаний он быстро опорожнил сундучок, уложенный им с такой тщательностью, вынул добрую половину белья, туалетных принадлежностей, даже книг, которые имел слабость положить туда, а на их место положил все, что только смог найти в своих шкафах: бинты, компрессы, хирургические щипцы, шприцы, анестезирующие и дезинфицирующие средства.

Обе служанки давно встали и бродили по коридорам. (Леон уже уехал из Парижа: ему захотелось, прежде чем явиться в свой полк, съездить на родину и повидать «стариков».)

Адриенна пришла сказать, что завтрак подан в столовой. Глаза у нее были красные. Она упросила Антуана сунуть куда-нибудь жареного цыпленка, которого принесла уже завернутым в бумагу.

Антуан встал из-за стола, когда раздался звонок.

Он слегка побледнел; лицо его осветилось нежной улыбкой. Жак?..

Это в самом деле был он. Он остановился в дверях. Антуан неловко двинулся ему навстречу. От волнения у обоих перехватило дыхание. Они молча пожали друг другу руки, словно накануне ничего не произошло.

— Я боялся, что опоздал,— пробормотал наконец Жак.— Все готово? Ты уже отправляешься?

— Да... семь часов... Пожалуй, пора.

Антуан силился говорить твердым голосом. Нарочито развязным движением он схватил кепи и надел его. Неужели голова увеличилась со времени последнего лагерного сбора? Или он отпускал теперь более длинные волосы? Кепи смешно торчало у него на макушке. В передней он увидел себя в зеркале и нахмурился. Пока он неумело застегивал портупею, его взгляд блуждал по сторонам. Казалось, он прощается с домом, со штатской жизнью, с самим собой; однако глаза его беспрерывно возвращались к малоприятному изображению, которое смотрело на него из зеркала.

В эту минуту обе служанки, стоявшие друг подле друга с опущенными руками, вдруг зарыдали. Антуан рассердился, но все же улыбнулся и подошел пожать им руку.

— Ну, ну, хватит...

Его воинственный тон звучал немного фальшиво. Он сам заметил это и, желая ускорить отъезд, повернулся к Жаку:

— Помоги мне, пожалуйста, снести это вниз.

Они ухватились за ручки сундучка и вышли на площадку лестницы. Когда сундучок выносили через дверь, его угол задел за створку, и на свежем лаке появилась длинная царапина. Антуан посмотрел на повреждение, невольно поморщился, но тут же равнодушно махнул рукой; пожалуй, именно в эту секунду он острее всего ощутил разрыв между своим прошлым и будущим.

Спускаясь по лестнице, они не обменялись ни словом. Антуан тяжело ступал в своих подбитых гвоздями башмаках; наглухо застегнутый мундир, жесткий воротник душили его. Внизу он пробормотал, задыхаясь:

— Как это глупо! Я забыл, что есть лифт.

Он предвидел, что не найдет такси, и, несмотря на то, что его шофер Виктор был с сегодняшнего утра мобилизован на реквизицию тяжелых грузов в Пюто, решил взять свою машину, захватив с собой из соседнего гаража старика механика, который должен был потом отвести автомобиль обратно.

В воротах, под тенью арки, консьержка в белой кофте подстерегала отъезд Антуана. Со слезами в голосе она вскричала:

— Господин Антуан!

Он бодро крикнул ей:

— До скорого свиданья!

Затем пропустил механика на заднее сиденье, усадил Жака рядом с собой и взялся за руль.

Улицы уже начинали заполняться людьми. Уличное хозяйство разладилось, и ящики, полные мусора, стояли у каждой двери.

На набережной машину пришлось надолго остановить, чтобы пропустить вереницу пустых грузовиков и автобусов, которыми правили солдаты. На Королевском мосту — новая остановка: посреди мостовой толпа пешеходов, глядя вверх, весело размахивала шляпами. Жак взглянул: в прозрачном небе шесть аэропланов, летевших низко, треугольником, направлялись к северо-востоку. На нижних плоскостях ясно видны были трехцветные опознавательные знаки.

На улице Риволи между двумя рядами любопытных, без музыки, в волнующем молчании, мерным шагом проходил полк колониальной пехоты в походной форме. Когда проезжали верхом командиры батальонов, все обнажали голову.

На улице Оперы балконы были украшены флагами. Автомобиль обогнал колонну машин Красного Креста; затем — отряд солдат в рабочих блузах, с лопатами и кирками.

На площади Оперы снова пришлось остановиться. Артиллерийский обоз, за которым следовало с десяток бронеавтомобилей, ехал по направлению к площади Бастилии. Бригады рабочих устанавливали на крыше Оперного театра прожекторы для охраны Парижа от ночных визитов «таубе».

На Бульварах, невзирая на старания полиции поддержать порядок, любопытные стояли толпами перед германскими и австрийскими магазинами, которые были разгромлены этой ночью. Вокруг «Богемского хрусталя» земля была усыпана черепками и мелкими осколками стекла. «Венская пивная» выдержала, должно быть, целую осаду: через взломанную витрину виднелись разбитые зеркала, сломанные столы и скамейки.

Жак безмолвно отмечал эти первые проявления патриотического фанатизма. Он жадно смотрел на улицу, на лица прохожих. Он охотно нарушил бы молчание, но ему нечего было сказать брату. К тому же присутствие механика, сидевшего сзади, могло послужить оправданием... В голове его с лихорадочной стремительностью проносилось множество различных образов: Женни, минувшая ночь, их близкий отъезд в Женеву... А потом? Тут его мысль всякий раз наталкивалась на преграду... Мейнестрель, «Говорильня»... Нет, он ни в коем случае не согласится снова начать эту жизнь, полную бесконечного ожидания, ненужных словопрений, игры в конспирацию... Тогда что же? Бороться, действовать, рисковать,— будет ли он иметь там эту возможность?..

Вдруг он вздрогнул. Антуан, который вел машину медленно,— приходилось все время давать сигналы, так как на мостовой было не меньше пешеходов, чем на тротуарах,— пользуясь короткой остановкой, отнял руку от руля и, не говоря ни слова, даже не поворачивая головы, мягко положил эту руку на колено Жака. Но, прежде чем тот смог ответить на его дружеский жест, Антуан уже снова взялся за руль, и машина двинулась дальше.

Улица Мобеж была черна от мобилизованных, которых сопровождали жены, родные... Тесными рядами они направлялись к вокзалу.

— Как они торопятся! — прошептал Жак, пораженный.

— И очень возможно,— с натянутым смехом отозвался Антуан,— что всем этим беднягам придется прождать полдня или больше, скучившись где-нибудь на платформе, прежде чем они смогут сесть в поезд!

«Они хотят явиться вовремя,— думал Жак.— Им не терпится проявить дисциплинированность в первый же день войны! Почему

же они не сознают, что их много? Что они могли бы стать господами положения, стоило им только захотеть?..»

Деревянный забор, выросший за эту ночь, окружил вокзал высокой стеной, охраняемой солдатами. Здесь было такое скопление народа, что нечего было и думать подъехать на автомобиле. Антуан затормозил. Жак помог ему перенести сундучок через дорогу. Узкий проход охранялся взводом пехотинцев с примкнутыми штыками. Доступ за ограду имели только мобилизованные.

Фельдфебель проверял военные билеты. Он взглянул на погоны Антуана, отдал честь и сейчас же приказал солдату отнести багаж «господина врача».

Антуан повернулся к брату. Каждый прочел во взгляде другого тот же вопрос: «Увидимся ли мы снова?» На глаза у них одновременно навернулись слезы. Все их прошлое, вся история их семьи, незначительная и неповторимая, история, которой они обладали сообща и которой обладали они одни во всем мире, в ряде образов пронеслась перед ними. Одинаковым жестом они расставили руки и неловко обняли друг друга. Фетровая шляпа Жака толкнула козырек Антуана. Годы, долгие годы прошли с тех пор, как они в последний раз поцеловались: это было в раннем детстве, которое оба только что пережили вновь в одно короткое мгновение.

Но солдат завладел сундучком и уже уносил его на плече. Антуан поспешно высвободился. У него была теперь лишь одна мысль: идти вслед за солдатом, не потерять из виду свой багаж — единственное в этом новом мире, что еще принадлежало ему. Он больше не смотрел на брата. Наугад он протянул руку, схватил руку Жака, до боли сжал ее; затем, слегка пошатываясь, шагнул вперед и пропал в толпе.

Со слезами, застилавшими глаза, Жак, которого то и дело толкали прибывающие, отошел в сторону и прислонился к забору.

Один за другим, не останавливаясь, мобилизованные входили в огороженное пространство. Все они были похожи друг на друга. Все были молоды. На всех была надета старая одежда, с которой не жалко расстаться, грубая обувь, фуражки. У всех висели через плечо одинаковые туго набитые сумки, одинаковые новенькие мешки для провианта, откуда выглядывала краюха хлеба, горлышко бутылки. И почти у всех было на лице одинаково сосредоточенное и покорное выражение — не то отчаяние, не то страх. Жак смотрел, как они наискось переходили дорогу, держа в руке военный билет, уже одни. На полпути некоторые оборачивались и взглядывали на тротуар, с которого только что сошли. Прощальный

жест, порой быстрая молодецкая улыбка, предназначенная тому или той, чей растерянный взгляд они чувствовали на себе,— и, стиснув зубы, они, в свою очередь, бросались в мышеловку.

— Не стойте здесь! Проходите!

Часовой, коренастый детина в походной форме, с винтовкой на плече, ходил вдоль ограды, гордо выпячивая грудь; его короткая рука сжимала ружейный приклад: усики у него едва пробивались, детские глаза бегали по сторонам, на застывшем лице было написано сознание важности выполняемого приказа.

Жак подчинился и пошел по мостовой.

Мимо проехал нарядный лимузин; к переднему стеклу была прикреплена коленкоровая лента с надписью: «Бесплатный транспорт для мобилизованных». Шофер был в ливрее. Внутри набилось около полудюжины молодых людей с мешками для провианта: они орали во все горло, словно рекруты: *«Вернем Эльзас и Лотарингию! Вернем Эльзас!»*

На тротуаре, куда перешел Жак, расставалась супружеская пара. Муж и жена в последний раз смотрели друг на друга. Возле матери играл ребенок, четырехлетний малыш: уцепившись за ее юбку, он прыгал на одной ноге и напевал песенку. Мужчина нагнулся, схватил мальчугана, поднял его и поцеловал так порывисто, что ребенок стал яростно отбиваться. Мужчина поставил мальчика на землю. Женщина не двигалась с места, не произносила ни слова: в кухонном переднике, с растрепанными волосами, с мокрым от слез лицом, она безумными глазами смотрела на мужа. Тогда, словно испугавшись, что она бросится на него и ему не удастся вырваться из ее объятий, он, не сводя с нее глаз, отступил назад и, вместо того чтобы обнять ее, неожиданно отвернулся и кинулся к вокзалу. А она, вместо того чтобы окликнуть мужа, вместо того чтобы проводить его взглядом, круто повернулась и побежала. Мальчик, которого она тащила с собой, упирался, почти падал; в конце концов она схватила его и посадила на плечо, не останавливаясь, стараясь бежать еще быстрее,— стремясь, должно быть, как можно скорее попасть в свое опустевшее жилище, где можно будет в одиночестве, при закрытых дверях, выплакать все свое горе.

Жак отвернулся, сердце у него сжималось. Он побрел по улицам — сам не зная куда, то удаляясь от площади, то опять приближаясь к ней. Помимо воли он снова и снова возвращался к этому трагическому месту, к роковому месту свидания, куда в это утро стекалось столько обреченных, чтобы разорвать цепи, связывавшие их с жизнью. В этих скорбных и мужественных взорах он искал взгляда, который ответил бы на его взгляд,— хотя бы одного взгляда, где он смог бы прочитать под смятением отблеск той глу-

хой ярости, которая заставляла его самого сжимать кулаки в карманах и дрожать от бессильного гнева! Но нет! Везде, на всех этих по-разному искаженных лицах одно и то же уныние, одно и то же бесплодное страдание! На некоторых — проблеск слепого героизма; но на всех — та же покорная готовность к жертве, то же предательство, бессознательное или трусливое, то же отступничество! И ему показалось, что в эту минуту все, что осталось в мире от свободы, нашло убежище в нем одном.

Эта мысль вдруг наполнила его гордостью и силой. Его вера оставалась нетронутой; она поднимала его над стадом. Пусть никто не понимает его, пусть он покинут всеми,— в своем одиночестве, в своем бунте он чувствует себя сильнее всех этих людей, зараженных ложью, покорившихся судьбе! С ним правда и справедливость. За него разум, за него еще не известные силы будущего. Временное поражение идеалов пацифизма не может поколебать их величия, не может помешать их торжеству. Никакая сила в мире не может помешать заблуждению сегодняшнего дня быть заблуждением, чудовищным заблуждением — даже если оно благородно, если оно стоически поддержано миллионами жертв! «Никакая сила в мире не может помешать справедливой идее быть справедливой! — мысленно повторял он, опьянев от отчаяния и веры.— Придет день, когда наперекор препятствиям, наперекор отступлениям истина восторжествует!»

Но как служить этой истине, когда налетел шквал? Он хочет стать свободным, он убежит; но что он сделает со своей свободой?

Охлаждение его революционного пыла в течение последних дней показалось ему малодушием. И ему захотелось переложить ответственность за это на свою любовь. Он внезапно подумал о Женни и удивился, что так легко забыл о ней, что ни разу, ни одного разу не вспомнил о ней в продолжение целого часа. Он почти рассердился на нее за то, что она существует, ждет его, вырывает из этого пьянящего одиночества. «Что, если бы она вдруг умерла...» — подумал он. И, на секунду отдавшись дикой игре воображения, он наслаждался горькой смесью скорби и радостного ощущения вновь завоеванной независимости.

Однако он торопливо шагал к скверу у церкви св. Венсан де Поля. И уже улыбался от любовного нетерпения, придавая так мало значения своему нелепому минутному отступничеству, что оно даже не вызвало в нем угрызений совести.

Не успел автомобиль Антуана выехать с Университетской улицы, как старомодный крытый фиакр, облезлый и пыльный, словно музейный портшез, остановился у ворот его дома.

Девушка, вышедшая из фиакра, бросила неуверенный взгляд на ограду, на заново выкрашенный фасад, затем расплатилась со стариком кучером, взяла в руки два чемодана, стоявшие на козлах, и быстро вошла в подъезд.

Консьержка в кофте появилась на пороге швейцарской.

— О господи! Мадемуазель Жиз!

По ее растерянному лицу Жиз поняла, что ее ждет какое-то несчастье.

— Бедняжечка моя, да ведь в доме никого больше нет! Господин Антуан только-только уехал!

— Уехал?

— В свой полк!

Жиз ничего не ответила. Ее ласковый, как у преданной собаки, взгляд омрачился. Она выпустила из рук оба чемодана. Оцепенение сковало это мгновенно посеревшее личико — личико метиски, и сжилось с ним так естественно, точно нашло для себя уже готовую форму. (На морском побережье в Англии, где Жиз проводила каникулы вместе с остальными пансионерками своего монастыря, она весьма поверхностно следила за событиями, происходившими в Европе. И только накануне, когда газеты сообщили о неизбежности французской мобилизации, она вдруг испугалась и, не слушая ничьих советов, даже не заезжая в Лондон, добралась до Дувра и бросилась на первый отплывавший пароход.)

— Все мужчины мобилизованы, все как есть,— пояснила консьержка.— Леон уехал вчера вечером. Виктор тоже. Наверху у меня никого сейчас нет, кроме Адриенны и Клотильды.

Лицо Жиз прояснилось. Адриенна и Клотильда!.. Слава богу! Не все еще потеряно. Эти две служанки, воспитавшие ее, были, в сущности, ее семьей — всем, что еще оставалось у нее от семьи... Она храбро выпрямилась и, предшествуемая консьержкой, завладевшей ее чемоданами, направилась к лифту.

— Оказывается, все переменили! — прошептала она.

Эта белая лестница, эти перила... Образы, воспоминания мелькали в ее мозгу, затуманенном бессонной ночью; и в этой преобразившейся обстановке, где она тщетно искала следы прошлого, она чувствовала себя более чужой, чем в совершенно незнакомом доме.

Спустя полчаса, в цветном кретоновом халатике, в мягких туфлях, она сидела с обеими служанками в просторной столовой Антуана перед дымящимся шоколадом и поджаренными в масле гренками — любимым лакомством ее детства. Облокотясь на стол, она помешивала ложечкой в чашке и по-детски отдавалась радости и комфорту настоящей минуты. Ум ее никогда не отличался

особой живостью, а пребывание в Англии, в пансионе при монастыре, где всякое проявление характера ограничивали рамки установленных правил, не развило в ней любви к самостоятельности.

Когда она лениво сидела так, согнувшись, с тяжелой грудью, сонным лицом, все очарование ее юности вдруг пропадало. Это была уже не «Негритяночка», не дикарка, а какая-то цветная невольница с грузным телом, с толстыми губами, с широко открытыми бездумными глазами, покорно склонившаяся под гнетом фатализма, присущего людям порабощенных рас.

Приезд Жиз явился для растерянных сестер даром провидения. Усадив девушку посередине, они наперебой болтали, то смеясь, то плача. Они сообщили ей подробные сведения о мадемуазель де Вез, ее тетке, которой они продолжали для очистки совести носить в Убежище для престарелых бананы и леденцы каждое воскресенье. Клотильда не стала скрывать, что старая дева иной раз «несет околесицу», что она ничем больше не интересуется, разве только мелкими происшествиями в богадельне, что порой она принимает обеих посетительниц недружелюбно, словно незнакомых и навязчивых женщин, которые приходят с какой-то подозрительной целью, и что обычно она выпроваживает их задолго до закрытия приемной, чтобы не пропустить партии в безик.

Жиз слушала их с глазами, полными слез.

Она проговорила со вздохом:

— Я навещу ее перед отъездом.

— Перед отъездом?

Обе служанки запротестовали. Они твердо решили отговорить Жиз возвращаться в Англию. Г-н Антуан оставил им денег на несколько месяцев. Адриенна уже представляла себе и с удовольствием описывала, как они заживут здесь втроем. Она оглушила девушку своими проектами. Показала ей вырезанный из утренней газеты «Призыв к французским женщинам, желающим содействовать защите отечества». В возможности проявить свою преданность родине, принести пользу недостатка не было!

Детские сады для детей мобилизованных, пункты раздачи молока для грудных младенцев, изготовление перевязочных материалов, работа в военных пошивочных мастерских и т. д. Каждый обязан принять участие в защите родины! Надо только выбрать.

Жиз улыбалась, поддаваясь искушению. Ничто не заставляло ее торопиться обратно. Во Франции она и в самом деле могла оказаться полезной.

Ни консьержка, ни служанки не догадались произнести имя Жака. Жиз думала, что он в Швейцарии, и ей в голову не пришло

спросить о нем. Только на третий день она случайно узнала из болтовни Клотильды, что в день ее приезда он был в Париже. Но разыскала ли бы она его, даже и зная об этом раньше? Никому не был известен его адрес. Да и стала ли бы она пытаться его увидеть?

LXXIV

На лестнице редакции «Этандар», еще не поднявшись на площадку, Жак заметил на соломенном половичке перед дверью Мурлана бидон для молока и с досадой вскричал:

— Его нет дома!

В самом деле, никто не ответил на звонок. На всякий случай Жак размеренно постучал три раза.

— Кто там?

— Тибо.

Дверь отворилась. Мурлан стоял, голый по пояс, с намыленными волосами и бородой.

— Прошу прощения! — сказал он, увидев Женни.— Мальчугану следовало предупредить, что с ним дама.— Он толкнул ногой дверь.— Входите... Садитесь.

У двери стоял соломенный стул, на который Женни опустилась, едва успев войти.

Окна были закрыты. В комнате пахло картоном, клеем, селитрой, пылью. Перевязанные пачки газет лежали повсюду — на столе, на садовой скамейке, в сломанной лохани. На полу, рядом с плошкой опилок, валялся в углу старый газовый счетчик с разобранной на части и сплюснутой трубкой, которая выдавалась вперед, словно обрубленный сук.

Мурлан снова пошел на кухню.

— Я только что вернулся. Вид был, как у бандита...— крикнул он издали, фыркая под краном. Вскоре он появился в чистой рубашке, размашистыми движениями вытирая голову полотенцем.— Провел всю ночь на улице, как дурак... Как трус... Ты понимаешь, мобилизация означала для меня обыски, аресты... Обыск — ладно! Пусть приходят!.. Здесь ничего больше нет, я приготовился, но арест — черт побери!.. Я решил немного подождать... О, не потому, чтобы я так уж боялся попасть в укромное местечко,— пояснил он, бросив насмешливый взгляд на Женни.— Я никогда не жил так спокойно, как в те месяцы, которые провел за решеткой. Пожалуй, если бы не тюрьма, у меня никогда не нашлось бы времени, чтобы обдумать мои книги и написать их... Но мне вовсе не хотелось попасть в первую же партию!.. Вчера шпики везде рыскали понемногу: у Пюльте, у Гельпа... Даже в «Эглан-

тин». У них неплохая полиция. Только они ничего не нашли. Кроме воззвания Пьера Мартена — «Призыв к здравому смыслу», знаешь? Они сцапали его в тот самый момент, когда товарищи выносили всю пачку из типографии. Что касается Клесса, Робера Клесса из «Ви увриер» — этот юноша был освобожден от военной службы и никогда не был солдатом,— то, как видно, на него донесли: кажется, его обвиняют в том, что он написал антимилитаристскую листовку, и теперь он сидит под замком, ожидая ближайшего заседания призывной комиссии, которая пошлет его на передовую... Я узнал об этом вчера вечером. Предостережение любителям!.. Короче говоря, я сказал себе, что было бы глупо попасть к ним в лапы,— и улизнул...

— Ну а дальше?

— Понадеялся, что найду приют у товарищей. Как бы не так! У Сирона было бы не лучше, чем здесь. Поэтому я пошел к Гюйо — никого. К Котье — никого. К Лассеню, к Молини, к Валлону — никого. Все они, голубчики, дали тягу, как я! Вот и пробродил всю ночь где попало один. Утром, в Венсене, я купил газеты и понял, что был попросту старым дураком. И пришел домой. Вот и все! — Он взглянул на Жака из-под мохнатых бровей: — Читал ты газеты, мальчуган?

— Нет.

— Нет?

Взгляд Мурлана скользнул по Женни и снова устремился на молодого человека. Казалось, он устанавливал какую-то связь между присутствием Женни и тем фактом, что на следующий день после мобилизации, в десять часов утра, Жак еще не знал последних новостей. Из кармана черной блузы, висевшей на гвозде, он достал сверток газет; затем кончиками пальцев, словно прикасаясь к чему-то нечистому, вынул из кипы одну газету, а остальные бросил на выложенный плитками пол.

— На, голубчик, позабавься, если у тебя есть настроение смеяться. Я вынослив, но тут мне показалось, что меня ударили в живот! «Боннэ руж» — газета Мерля и Альмерейды! За одну ночь она превратилась в рупор правительства Пуанкаре! Кто бы мог подумать! Посмотри.

Пока Мурлан снимал с гвоздя свою блузу и яростно натягивал ее на себя, Жак вполголоса прочитал:

— «Мы уполномочены официально заявить, что правительство не воспользуется списком Б... Правительство доверяет французскому народу и, в частности, рабочему классу. Всем известно, что оно пыталось — и еще пытается — сделать все возможное, чтобы сохранить мир. Вполне определенные заявления наиболее решительных революционеров...»

— *«Наиболее решительных революционеров»!..* Сволочи! — проворчал Мурлан.

— «...таковы, что они полностью успокаивают правительство... Все французы сумеют исполнить свой долг... Это-то и хотелось подчеркнуть правительству, отказываясь использовать список Б».

— Ну? Что ты об этом думаешь, мальчик? Я прочел два раза, прежде чем хорошенько понял, что это означает. Ничего не поделаешь — факт очевиден... Это означает следующее: французский пролетариат так весело соглашается на их войну и сопротивление рабочего класса столь мало опасно, что правительство отказывается от профилактических арестов... Понимаешь? Оно как бы обращается ко всем революционерам и ласково треплет их за ушко: «Ах вы, забияки, мы прощаем вам вашу строптивость! Идите и выполняйте свой солдатский долг!» Добренькое правительство с веселым смехом рвет черные списки и оставляет неблагонадежных на воле... Потому, что сегодня неблагонадежные — *не в счет*. Понимаешь?

Он смеялся, и в этом необычном, громком, режущем смехе, искажавшем его лицо — лицо старого Христа,— было что-то пугающее.

— Неблагонадежных нет! *Их больше нет!* Понимаешь, что это значит? И представляешь себе, какие категорические заверения должны были дать министерству лидеры революционных партий, чтобы правительство обрело такую уверенность в себе! Чтобы оно могло без всякого риска позволить себе подобный жест великодушия в первый же день войны! Они попросту *выдали* нас правительству, эти негодяи!.. Да! Теперь конец. Безусловно, конец! Теперь командует генеральный штаб. Слово принадлежит теперь не тем, кто идет воевать, а тем, кто делает войну!

Заложив руки за спину под развевающейся блузой, он отошел на несколько шагов.

— И все же, черт побери,— вскричал он вдруг, круто повернувшись,— и все же я не могу этому поверить! Не могу поверить, что это действительно конец!

Жак вздрогнул.

— И я тоже,— глухо проговорил он.— Я не могу поверить, что больше ничего нельзя сделать! Даже сейчас!

— Даже сейчас! — как эхо, отозвался Мурлан.— И тем более через несколько дней, через несколько недель, когда все это жалкое стадо понюхает пороху!.. Ах, если бы Кропоткин был здесь!.. Или кто-нибудь другой, все равно кто, кто-нибудь, кто сказал бы то, что надо сказать, и сумел бы заставить себя слушать! Наши товарищи подчинились этой войне, потому что им налгали, потому что лишний раз злоупотребили их доверием. Но, быть может, до-

статочно было бы какого-нибудь пустяка, внезапного пробуждения сознания, чтобы все сразу переменилось!

Жак вскочил, точно его хлестнули кнутом.

— Что?.. Пустяка? Какого пустяка? — Он шагнул к Мурлану.— Что, по-вашему, можно сделать? Скажите!

Его голос прозвучал так странно, что Женни повернула к нему голову и на секунду замерла с полуоткрытым ртом, охваченная страхом.

Мурлан с озадаченным видом смотрел на Жака; тот пробормотал еще раз:

— Что вы думаете? Скажите!

Мурлан несколько смущенно пожал плечами.

— Что я думаю, мальчик? Разумеется, это глупости... Я говорю... Я высказываю то, что приходит мне в голову. Ведь все это так нелепо! Я не могу запретить себе надеяться, несмотря ни на что, надеяться даже сейчас, надеяться вопреки всему!.. Народы,— и наш не меньше, чем тот, соседний,— обмануты так явно! Кто знает? Достаточно было бы...

Жак в упор смотрел на старика.

— Достаточно чего?

— Достаточно было бы... Я не знаю и сам... Но если бы вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи, разделяющую две армии! Если бы вдруг все эти несчастные, внезапно прозрев, поняли, по ту и другую сторону линии огня, что их одинаково втравили в это грязное дело, то не кажется ли тебе, что все они поднялись бы в едином порыве негодования, возмущения и все вместе обратили свои штыки против тех, кто привел их туда!..

Веки Жака задрожали, словно он вдруг увидел перед собой ослепительный свет. Потом он опустил глаза, подошел к Женни, не видя ее, и сел.

Наступила минута неловкого молчания. У всех троих было смутное ощущение, что произошло что-то важное, что-то такое, в чем они не отдавали себе ясного отчета.

— А это единодушие во всей стране! — продолжал Мурлан после паузы.— В провинции все социалистические муниципальные советы голосовали за резолюции, поддерживающие лозунг «Отечество в опасности», призывающие к национальной обороне, требующие исключения Германии из числа цивилизованных наций! Да вот полюбуйся,— сказал он, подымая с пола брошенную им связку газет.— Вот манифест Всеобщей конфедерации труда: «Пролетариям Франции». Знаешь, что она сочла нужным заявить, эта Всеобщая конфедерация труда? «События оказались сильнее нас... Пролетариат недостаточно единодушно понял, какие упор-

ные усилия требовались, чтобы предохранить человечество от ужасов войны...» Другими словами: «Ничего не поделаешь, приятели; покоритесь и идите ломать себе шею...» А вот текст воззвания, которое профсоюз железнодорожников — железнодорожников, слышишь, мальчуган? наших железнодорожников! подумай! — расклеивает сегодня на всех стенах Парижа: «Товарищи! Перед лицом всеобщей опасности стираются старые разногласия. Социалисты, синдикалисты, революционеры, вы опрокинете низкие расчеты Вильгельма и первыми ответите на призыв, когда прозвучит голос Республики!..» Погоди, погоди... Это не все, ты еще не видел самого замечательного. Отведай-ка вот этого: «Открытое письмо господину военному министру...» Кем оно подписано? Угадай! Гюставом Эрве!.. Слушай: «Так как Франция сделала, на мой взгляд, все возможное, чтобы избежать катастрофы, я прошу, в виде особой милости, зачислить меня в первый же пехотный полк, который будет отправлен на границу!»

Вот! Да, голубчик! Вот как меняют кожу! Наш Гюстав Эрве, главный редактор «Гэр сосьяль»! Наш Гюстав Эрве, провозглашавший, что ни одно отечество никогда не стоило того, чтобы за него была пролита хотя бы капля рабочей крови... Теперь ты видишь, что правительство вполне может успокоиться и убрать в ящик свой список Б. Оно завербует их всех, одного за другим, наших «великих» пастырей революции!

Кто-то несколько раз стукнул в дверь.

— Кто там? — спросил Мурлан, прежде чем открыть.

— Сирон.

Новый посетитель был человек лет пятидесяти: плоское лицо, перерезанное седыми усами, лысый лоб, нос с приплюснутыми ноздрями, широко расставленные глаза, иронический взгляд. Выражение спокойной энергии с легким оттенком высокомерия.

Жак немного знал его. Он был единственный, кого можно было часто встретить в обществе Мурлана.

Старый профсоюзный работник, несколько раз сидевший в тюрьме за революционную деятельность, Сирон в последние годы оставался в стороне от движения. Он был квалифицированным рабочим, а в часы досуга писал брошюры и сотрудничал в «Этандар». Как и Мурлан, он принадлежал к числу тех революционеров-партизан, с всегда бодрствующим умом, с непоколебимой верой, самолюбивых, в достаточной мере свободных от иллюзий, беспощадных к глупости, преданных делу больше, чем товарищам,— к числу тех, кого все уважают, но и порицают за сдержанность и чьи личные достоинства внушают некоторую зависть.

— Садись,— сказал Мурлан, хотя на единственном свободном стуле сидела Женни.— Читал ты их газеты?

Сирон пожал плечами; этот жест, по-видимому, должен был выразить его презрение к прессе и в то же время дать понять, что он пришел не для того, чтобы обсуждать события.

— Сегодня вечером состоится собрание в «Жан Барт»,— сказал он, глядя на типографа.— Я сказал, что сообщу тебе. Ты должен быть.

— Не имею ни малейшего желания,— проворчал Мурлан.— Заранее известно все, что...

— Дело не в этом,— оборвал его Сирон.— Я буду там; я хочу сказать им кое-что. И мне нужно, чтобы нас было двое.

— Это другой разговор,— согласился Мурлан.— А что именно?

Сирон ответил не сразу. Он посмотрел на Жака, потом на Женни, подошел к окну, приоткрыл его и вновь подошел к Мурлану.

— Разное. То, что надо делать и о чем, по-видимому, никто не думает. Мы попали в дьявольскую передрягу, тут нет сомнения. Однако это не значит, что надо сложить руки и предоставить им полную свободу действий!

— Так что же?

— А то, что если социалистическим и профсоюзным лидерам угодно объединяться и сотрудничать с правительством, в обмен за это сотрудничество они должны бы, по крайней мере, потребовать гарантий для тех, чьими представителями они являются. Согласен? Фактически война создает революционную ситуацию. Надо ее использовать! Жорес не упустил бы такого случая! Он сумел бы вырвать у государства уступки пролетариату... Это все-таки лучше, чем ничего. Война всех заставит пойти на ограничения, на жертвы. Самое меньшее, что можно сделать,— это потребовать для рабочих участия в контроле над мероприятиями, которые будут иметь место! Еще не поздно ставить условия. Сейчас правительство нуждается в нас. Так вот — услуга за услугу... Согласен?

— Условия? Например?

— Например? Надо заставить их реквизировать все военные заводы, чтобы помешать хозяевам загребать огромные барыши за счет народа, который они посылают на убой. И управление этими заводами надо поручить профсоюзам...

— Неглупо,— пробурчал Мурлан.

— Следовало бы также воспрепятствовать повышению цен. Это уже начинается повсюду. Я лично вижу лишь одно средство: заставить правительство наложить руку на все предметы первой необходимости: создать государственные склады, устранив посредников, спекулянтов; организовать разверстку...

— Но ведь это чертовски грандиозное предприятие. Пришлось бы все перевернуть вверх дном...

— Кадры, персонал налицо: надо только использовать потребительские кооперативы, которые уже функционируют... Согласен? Все это надо еще обсудить. Но раз во всей Франции и даже в Алжире объявлено осадное положение, надо этим воспользоваться хотя бы для того, чтобы защитить бедняков от ненасытных хищников!

Шагая взад и вперед по комнате, он заполнял ее своим уверенным голосом. Обращался он к одному Мурлану, время от времени рассеянно взглядывая на молодую пару. Крупные капли пота блестели на его красивом гладком лбу.

Жак молчал. Лицо его выражало чрезмерное внимание, глаза сверкали, но он не слушал. Углубившись в дебри собственных мыслей, он был за сто миль от Сирона, от реквизиции заводов, от осадного положения, от государственных складов... «Если бы вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи, разделяющую две армии...» — сказал Мурлан...

Воспользовавшись моментом, когда старый типограф перебил Сирона, Жак кивнул Женни и встал.

— Вы уходите? — сказал Мурлан.— Ты тоже придешь вечером в «Жан Барт»?

Жак словно проснулся.

— Я? — переспросил он.— Нет. Сегодня вечером последний срок выезда для иностранцев, которые думают удирать. Мы оба бежим в Швейцарию... Я пришел попрощаться с вами.

Мурлан взглянул на Женни, потом на Жака.

— Ах, так? Ты решился?.. В Швейцарию? Да... Ты прав...— на лице его отразилось сильное волнение, хотя он и был убежден, что никто этого не замечает.— Чего ж,— продолжал он сердитым тоном,— поезжайте! И постарайтесь как следует поработать там для нас! Желаю удачи, ребятки!

Жак был так возбужден, в душе у него было такое смятение, что он испытывал непреодолимую потребность хоть немного побыть одному.

— Теперь, Женни, ты должна быть благоразумной и послушаться меня,— проговорил он, как только они оказались на улице. Он взял Женни под руку и, наклонившись к ней, сказал мягко, но настойчиво: — Тебе предстоит еще до вечера проделать тысячу утомительных вещей. Ты устала. Ты должна вернуться домой. Не отказывайся. Тебе надо отдохнуть... Четверть одиннадцатого. Я провожу тебя... В «Юма» я пойду один. И потом мне еще надо узнать, каких формальностей потребует твой отъезд. За два часа все будет сделано. Хорошо?

— Хорошо,— сказала она.

Она действительно была в плачевном состоянии: измученная, лихорадочно возбужденная, совершенно разбитая физически. Утром она долго прождала Жака, сидя в маленьком сквере на том самом месте, где он сказал ей: «Никогда еще никого не любили так, как я люблю вас!» От сидения на жесткой скамье у нее ломило поясницу. Погрузившись в какое-то болезненное оцепенение, она припоминала все подробности этого вечера, такого близкого и уже такого далекого, припоминала все дни, последовавшие за ним,— вплоть до жестокого чуда этой ночи... И когда после двух часов ожидания она наконец увидела Жака на ступеньках лестницы, увидела его взволнованное, дышащее жаждой борьбы лицо, его отсутствующий взгляд, она поняла, что их мысли и чувства не совпадают, и это открытие причинило ей острое страдание. Не решившись поделиться с ним своими долгими думами, она молча выслушала его рассказ об отъезде Антуана и покорно пошла с ним пешком к Мурлану. Но теперь силы ее иссякли. У нее не хватило бы мужества сопровождать его дальше... Она мечтала вернуться домой, растянуться среди подушек, дать отдых своему измученному телу.

Трамваи ходили с большими промежутками, но, к счастью, движение еще не прекратилось. Им удалось доехать от площади Бастилии до начала бульвара Сен-Мишель. Поддерживая Женни, Жак довел ее до улицы Обсерватории.

— Я пойду,— сказал он ей у подъезда ее дома.— И вернусь между часом и двумя.— Он улыбнулся.— Мы в последний раз пообедаем в Париже...

Но он не сделал и двадцати шагов, как услышал позади себя глухой, неузнаваемый голос:

— Жак!

Он тотчас бросился к Женни.

— Мама здесь!

Она смотрела на него растерянным взглядом.

— Меня остановила консьержка... Мама приехала сегодня утром...

Они смотрели друг на друга, внезапно лишившись всякой способности рассуждать. Первая мысль Женни была о беспорядке, в котором они оставили квартиру: неприбранная постель Даниэля, туалетные принадлежности Жака в ванной.

Затем в мгновение ока ее решение вылилось в определенную форму. Она схватила Жака за руку:

— Идем! — Ее лицо было замкнуто, непроницаемо. Она повторила, словно самую простую вещь: — Идем. Поднимись вместе со мной.

— Женни!

— Идем! — повторила она почти сурово.

Она казалась такой уверенной, а он чувствовал себя в эту минуту таким нерешительным, таким безвольным, что, не сопротивляясь больше, последовал за ней.

Она первая взбежала по лестнице; она забыла о своей усталости; казалось, она горит нетерпением покончить с этим.

Но на площадке, перед тем как вложить ключ в замочную скважину, она остановилась, шатаясь. Она не произнесла ни слова, вся напряглась, отворила дверь, схватила Жака за руку, сильно сжала ее и увлекла его за собой в квартиру.

LXXV

Госпожа де Фонтанен провела это утро дома в состоянии такой душевной тревоги, какой ей не довелось испытать даже в худшие часы ее супружеской жизни.

Дверь в комнату Даниэля, к счастью, оказалась закрытой, и бедной женщине удалось бы убедить себя в том, что она стала жертвой кошмара, если бы желание выпить чашку чая не привело ее в кухню: увидев два прибора, она инстинктивно закрыла глаза, повернула обратно и снова укрылась в своей спальне.

Минуты полного упадка духа сменялись мгновениями лихорадочного возбуждения. Сняв дорожный костюм, надев старое домашнее платье, убрав комнату, тщательно проделав целый ряд ненужных вещей, она решила принудить себя не двигаться и уселась в свое глубокое кресло у окна с залитыми солнцем жалюзи. Необходимо было во что бы то ни стало овладеть собой. Для этого ей недоставало маленькой Библии, оставшейся в чемодане. Она взяла с этажерки старинную Библию своего отца — тяжелую, толстую черную книгу, поля которой были испещрены пометками и замечаниями пастора де Фонтанена. Открыв ее наудачу, она попыталась читать. Но ум ее упорно убегал от текста, поглощенный бессвязной вереницей образов и представлений, в которых мысль о Даниэле сплеталась с воспоминанием о поверенных в Вене, об огорчениях, связанных с ее поездкой, о вокзалах, забитых войсками. Смутные видения, над которыми царила все та же картина — постель, где Жак и Женни спали, обнявшись. Грохот обозов, проезжавших по соседним бульварам, сотрясал стены и отдавался у нее в голове, сопровождая зловещим аккомпанементом ее думы. Впервые в жизни ощущение страха, паники тяготело над ней так сильно, что она не могла преодолеть его,— ощущение, что она захвачена, увлечена водоворотом, что ужасающие бедствия опусто-

шают Европу, ее собственный очаг, что дух зла торжествует над миром.

Вдруг она услышала какой-то шорох в передней, и сейчас же вслед за этим раздались шаги в коридоре. Ее лицо застыло. У нее не было сил встать; она лишь выпрямилась. Дверь отворилась, и вошла Женни, с искаженным от волнения лицом, с остановившимся взглядом, очень бледная под своей траурной вуалью.

Поза матери, так спокойно сидевшей на своем обычном месте, в платье с разводами, с Библией на коленях, поразила девушку и потрясла ее: все ее прошлое неожиданно предстало перед ней, словно после долгих лет отсутствия. Не рассуждая, забыв о Жаке, который стоял сзади, в коридоре, не решаясь войти вслед за ней, она подбежала к матери, обвила ее руками и, чтобы оказаться ближе, опустилась на ковер и прижалась лбом к ее платью.

— Мама...

Нежность, сострадание мгновенно избавили г-жу де Фонтанен от тревоги. Сердце ее преисполнилось снисходительности, и тайна, случайно обнаруженная ею, внезапно предстала перед ней в ином свете: не как позор, а как слабость. Она уже наклонилась к вновь обретенной дочери, хотела заключить ее в объятия, выслушать ее признания, обсудить вместе с ней ужас случившегося, понять ее, помочь, направить,— но вдруг ее дыхание остановилось: на стене коридора колыхнулась чья-то тень... Женни была не одна! Жак здесь! Сейчас он войдет!.. Ее рука, лежавшая на голове Женни, судорожно сжалась. Она не могла оторвать глаз от этой отворенной двери. Прошло несколько секунд. Креповая вуаль распространяла сильный терпкий запах... Наконец силуэт Жака вырос в дверях. И перед глазами г-жи де Фонтанен снова заколебалось видение: постель, два лица в блаженном забытьи...

Сдавленным голосом, полным упрека и ужаса, она пробормотала:

— Дети... Бедные мои дети...

Жак переступил порог. Он стоял перед ней; он смотрел на нее с застенчивым и в то же время хмурым видом. Тогда она отчетливо выговорила:

— Здравствуйте, Жак.

Женни быстро подняла голову. Конечно, она не смеялась, но усмешка, искажавшая ее лицо, отбрасывала на него отблеск какой-то дьявольской радости; и совершенно новый, бесстыдный огонь, вызывавший представление об обнаженном инстинкте, сверкал в ее голубых глазах. Она протянула руку, схватила Жака за кисть, резко привлекла его к себе и, повернувшись к матери, сказала тоном, который ей хотелось сделать ласковым, но в котором прозвучало торжество и оттенок вызова, почти угрозы.

— Я еще раз нашла его, мама! И навсегда!

Госпожа де Фонтанен с секунду смотрела на нее, потом на него. Она попыталась было улыбнуться, но не смогла. Слабый вздох вырвался из ее груди.

Женни наблюдала за ней. В этом вздохе, на этом материнском лице, дрожащем не только от тревоги, но и от нежности, лице, где она могла бы уже прочитать залог примирения,— ее болезненная подозрительность не захотела увидеть ничего, кроме осуждающей грусти. Это оскорбило ее, глубоко ранило самую сущность ее дочерней любви. Она отстранилась от матери и, порывисто встав, одним движением оказалась возле Жака. Ее воинственная поза, огонь ее взгляда выражали безграничную, слепую, дерзкую, вызывающую гордость.

Жак, напротив, смотрел на г-жу де Фонтанен с ласковой настойчивостью, и если бы он заговорил, то, вероятно, сказал бы: «Я понимаю вас... Но надо понять и нас тоже...»

Госпожа де Фонтанен смущенно взглянула на молодую пару и опустила глаза: видение постели снова встало перед нею...

Наступило молчание.

Затем, повинуясь привычке, она вежливо обратилась к Жаку:

— Что же вы стоите, дети?.. Садитесь...

Жак пододвинул стул Женни и по знаку г-жи де Фонтанен сел слева от ее кресла.

Эти немногие простые слова, казалось, несколько разрядили атмосферу. Как только все уселись в кружок, словно во время визита, температура как будто понизилась, стала ближе к нормальной. Жак почти естественным тоном прервал молчание, обратившись к г-же де Фонтанен с вопросом о подробностях ее обратной поездки.

— Ты, значит, не получила моего последнего письма? — спросила она у Женни.

— Ничего. Ни одного письма. Я ничего не получила от тебя. Кроме открытки. Первой. Той, что ты написала на вокзале в Вене, в понедельник.— Она говорила отрывисто, почти не разжимая губ.

— В понедельник? — переспросила г-жа де Фонтанен. Ее веки задрожали от усилия, которое ей понадобилось, чтобы восстановить в памяти последовательность дней.— Но ведь я каждый вечер писала по два письма: одно — тебе, другое — Даниэлю.

При мысли о сыне сердце ее снова сжалось.

— До меня не дошло ни одно,— резко заявила Женни.

— А Даниэль разве не писал тебе?

— Писал... Один раз.

— Где он?

— Он уехал из Люневиля. С тех пор — ничего.

Наступило молчание, которое снова нарушил Жак, испытывавший неловкое чувство:

— А... когда вы выехали из Вены?

Госпоже де Фонтанен оказалось нелегко вспомнить это.

— В четверг,— ответила она наконец.— Да, в четверг утром... Но в Удине мы прибыли только ночью. И только в полдень выехали в Милан.

— А что, в четверг утром в Австрии уже было сообщение об обстреле и оккупации Белграда?

— Не знаю,— призналась она. Находясь в Вене, она была занята исключительно тем, что защищала память своего мужа и совсем не следила за событиями.

«Женни даже не спросила, удалось ли мне уладить наши дела,— подумала она. И, глядя на дочь, вдруг задала себе мучительный вопрос: — Может быть, она немного разочарована тем, что мне удалось вернуться?»

Чтобы сказать что-нибудь, Жак снова начал расспрашивать о настроениях в Вене, о манифестациях, и г-жа де Фонтанен добросовестно старалась подробно отвечать ему, цепляясь, как и он, за эти общие темы, отдалявшие опасное объяснение, ибо в эту минуту все трое думали еще, что «объяснение» неминуемо, неизбежно.

Жак то и дело оборачивался к Женни, как бы приглашая ее принять участие в разговоре. Напрасно. Теперь она даже не делала вида, что слушает. Посадка головы, суровое выражение похудевшего лица, ускользающий и жесткий взгляд, как-то по-особому поднятый подбородок и сжатые губы — все выдавало в ней не только желание остаться в стороне, но даже тайную отчужденность, напряженную, враждебную. Она сидела на краешке стула, не прислоняясь к спинке, все ее тело ныло, нервы были словно обнажены, и она обводила комнату равнодушным взглядом, который время от времени останавливался на матери, словно на какой-то статистке, расположившейся среди почти нереальных декораций. Г-жа де Фонтанен с ее Библией, в этом старом зеленом бархатном кресле, которое всегда ставили боком, чтобы на него лучше падал свет из окна, казалась ей сидящей здесь с незапамятных времен: воспоминание о минувшем, символ (быть может, трогательный, но еще скорее раздражающий) далекого прошлого, которое с каждой минутой тихо отрывалось от нее, прошлого, которое как будто уходило от нее в туман, подобно тому как удаляется от отъезжающего путника группа родных, пришедших проститься с ним. Женни плыла уже к другим берегам; и с сильно бьющимся сердцем, похожая на снимающийся с якоря корабль, чувствовала в себе трепет, вибрацию новой жизни. Если бы Жак в эту минуту схватил ее за

руку и сказал: «Идемте, бросьте все это навсегда»,— она бы ушла, даже не оглянувшись назад.

Маленькие часы, стоявшие на ночном столике рядом с фотографиями Жерома и Даниэля, начали медленно бить в наступившей тишине.

Жак взглянул на них и, почувствовав внезапное искушение сбежать, наклонился к Женни.

— Одиннадцать часов... Мне надо идти.

Они обменялись быстрым взглядом. Женни утвердительно кивнула головой и сейчас же, не ожидая его, встала.

Госпожа де Фонтанен наблюдала за ними. Ей было особенно тяжело думать, что ее Женни, такая прямая, такая правдивая... Она не узнавала ее! У Женни был уклончивый взгляд, взгляд человека с «нечистой совестью»... Да, несмотря на их уверенный вид, в эту минуту г-жа де Фонтанен подметила у них — у них обоих — что-то неискреннее. С тщеславной, немного смешной торжественностью они смотрели друг на друга, словно два авгура, два посвященных. «Словно два сообщника»,— подумала г-жа де Фонтанен. И это было верно: их соединяло упоительное сообщничество их любви, любви, которую они считали безграничной, таинственной, беспримерной, единственной, главное — единственной, любви, в необыкновенную сущность которой не мог проникнуть никто, кроме них.

Ободренный согласием Женни, Жак подошел к г-же де Фонтанен проститься.

Она совсем растерялась от этого слишком поспешного прощания. Неужели они так и оставят ее одну, ничего больше не сказав? Неужели она не заслужила большего доверия?.. Она пыталась убедить себя, пыталась примириться еще и с этим оскорбительным недостатком уважения. Быть может, ей самой следовало вызвать их на откровенность? Теперь было слишком поздно. У нее не хватало мужества. И потом, она чувствовала себя возбужденной от усталости, от пережитого морального потрясения, способной на вспышку раздражения, на несправедливость. Пожалуй, будет даже лучше, если эта первая встреча закончится без объяснений... И тем не менее она не могла уговорить себя не сердиться на Женни, хотя в эту минуту ее меньше возмущала греховная страсть дочери, чем это вызывающее поведение, непонятное, неоправданное, недопустимое. Жака она ни в чем не винила. Напротив, во время этого визита он понравился ей: под его застенчивой почтительностью она почувствовала молчаливое понимание, угадала в нем чистую совесть, внутреннее благородство. К тому же это был друг Даниэля. Она уже готова была, если такова воля божия, полюбить его, как сына.

Она так мало сердилась на него, что, собираясь пожать ему руку, едва не привлекла его к себе, как делала это с Даниэлем, едва не сказала ему: «Нет, мой мальчик, дайте мне поцеловать вас». К несчастью, в эту минуту она подняла глаза на Женни. Молодая девушка стояла, повернувшись к ним, и ее пронизывающий, полный враждебности взгляд, устремленный на мать, казалось, говорил: «Да, я наблюдаю за тобой, я хочу знать, что ты сейчас сделаешь, хочу посмотреть, найдешь ли ты наконец в себе то материнское чувство, которого я жду от тебя с той самой минуты, как ввела сюда Жака!» Тут раздражение, назревавшее в сердце г-жи де Фонтанен, одержало верх: в ней проснулась гордость. Нет, немая угроза не заставит ее сделать то, что она готова была сделать по собственному побуждению!

Отказавшись от намерения обнять Жака, она ограничилась тем, что протянула молодому человеку руку, и он один заметил дрожь этой руки, волнение, скрытую готовность уступить, нежность — все, что бедная женщина вложила в это банальное пожатие.

Эта сцена длилась не больше секунды. Но когда Жак в сопровождении Женни выходил из комнаты, г-жа де Фонтанен испытала вдруг жестокое предчувствие, что в эту секунду подвергается опасности, что поставлено на карту все будущее счастье ее отношений с Женни и что какая-то нить навсегда оборвалась между дочерью и ею. Она испугалась.

— Женни... Ты тоже уходишь?

— Нет,— бросила девушка, не оборачиваясь.

В коридоре Женни схватила Жака за руку и стремительно, безмолвно увлекла его в переднюю.

Тут они отодвинулись друг от друга. И одинаковая растерянность отразилась в их скрестившихся взглядах.

— Ты все-таки едешь со мной? — проговорил Жак.

Она вздрогнула.

— Неужели ты?..— Она казалась оскорбленной, словно этим вопросом он показал, что усомнился в ней.

— Как ты ей скажешь?..— спросил он после короткой паузы.

Она стояла перед ним, подняв руку, держась за косяк дубового шкафа.

— Ах,— сказала она, нетерпеливо тряхнув головой,— сейчас все это мне безразлично.

Он посмотрел на нее с удивлением. Его взгляд скользнул по этой руке, судорожно сжимающей темное дерево, такой маленькой и белой; он прижался к ней губами.

Вдруг она сказала:

— Ты бы взял ее с собой?

— Кого? Твою мать? — Он колебался с четверть секунды.— Да, если ты считаешь... Конечно... А почему ты?.. Ты думаешь, она захочет поехать с нами?

— Не знаю...— ответила Женни поспешно.— Скорее, нет... Но, в конце концов, надо все предусмотреть...— Она замолчала и слабо улыбнулась.— Спасибо! — сказала она.— Где мы встретимся?

— Так ты не хочешь, чтобы я зашел за тобой сюда?

— Нет.

— А твой багаж?

— Он будет невелик.

— Ты сможешь донести его одна до трамвая?

— Да.

— А мои документы? Пакет, который я оставил тогда в твоей комнате...

— Я положу его в мои вещи.

— Хорошо, тогда приезжай прямо на Лионский вокзал... В котором часу?

Она подумала.

— В два часа; самое позднее — в половине третьего.

— Я буду ждать тебя в буфете, хорошо? Мы сможем до отхода поезда оставить там твой чемодан.

Она подошла к нему, сжала его лицо ладонями. «Любимый!» — подумала она. Она медленно погрузила свой страстный взгляд в глаза Жака и смотрела так, пока их губы не слились.

Она высвободилась первая.

— Иди,— сказала она. Ее голос, лицо выдавали крайнее нервное напряжение и усталость.— А я пойду к маме. Я поговорю с ней, скажу ей все.

LXXVI

Едва успев выбежать из квартиры, Жак, вновь охваченный тем самым волнением, которое после посещения редакции «Этандар» вызвало в нем столь сильное желание побыть одному, на секунду задумался: какую же это вещь — неотложную вещь — ему предстояло сделать? И вдруг слова Мурлана снова прозвучали в его ушах: «Быть может, достаточно было бы какого-нибудь пустяка... Если бы вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи, разделяющую две армии...»

Ослепительный свет вдруг засиял перед ним: *«Разделяющую две армии...»* Эта мысль встала перед ним с такой силой, с такой

отчетливостью, что у него закружилась голова, и он остановился посреди лестницы, опершись рукой о перила; сердце его учащенно забилось от прилива отваги и надежды... Замысел, уже несколько часов бродивший в его мозгу неосознанным, вдруг озарился ярким светом и завладел всем его существом. То была не смутная фантазия, не искушение пустого мечтателя, нет: то, что внезапно приняло в нем определенную форму, было точным планом определенного индивидуального действия, одною из тех навязчивых идей, какие втайне возникают иногда в уме анархистов. Теперь он знал, зачем едет в Швейцарию и что подготовит там! Он знал, каким реальным актом, решительным, ни с кем не разделенным актом, сможет наконец после стольких дней бездействия и бесплодной тоски начать борьбу за то, во что он верил, и воспрепятствовать войне! Актом, для свершения которого, без сомнения, придется пожертвовать собой. Это он понял в первую же минуту и принял без рисовки, даже не сознавая своего мужества, движимый только мистической верой в то, что это действие, ради которого он готов был отдать свою жизнь, является сейчас единственным и последним средством пробудить сознание масс, резко изменить ход событий и нанести поражение силам, объединившимся против народов, против Братства и Справедливости.

Он совершенно забыл о возвращении г-жи де Фонтанен, о своем странном визите к ней; забыл даже о Женни.

Она — наоборот... Прежде чем вернуться в комнату матери, она проскользнула на балкон, чтобы посмотреть на Жака, когда он выйдет из дома, и уже беспокоилась, что его так долго нет. Наконец она увидела его: он вышел из ворот и, не обращая внимания на прохожих, на обозы, загромождавшие мостовую, бросился, словно одержимый, в сторону бульвара Сен-Мишель. Она следила за ним взглядом до тех пор, пока он не исчез. Но он не обернулся.

Оставшись одна, г-жа де Фонтанен прислонилась головой к спинке кресла и несколько минут сидела в каком-то оцепенении. Мысли ее были неопределенны и смутны, но все, что она чувствовала, выразилось в одной туманной фразе, которую она удрученно повторяла про себя: «Из этого не может выйти ничего хорошего...» Она продолжала видеть перед собой Жака и Женни, стоящих рядом, похожих на два ствола, растущих из одного корня. Затем по невольной ассоциации она вдруг увидела перед собой строгую гостиную своего отца и в амбразуре окна стройного, молодого Жерома в отделанной черным шнуром светлой визитке — своего жениха Жерома, который улыбался с победоносным

видом. С какой уверенностью они устремлялись тогда к будущему,— они тоже! Как упорно противостояли семье они оба! Какой непобедимой ощущала она себя рядом с ним!.. Она вдруг вспомнила свою прежнюю экзальтацию, свои иллюзии, свою уверенность в том, что ее ждет счастье, в том, что они первые познали такие восторги. И вместо того, чтобы при этом насмешливом, всплывшем в ее душе воспоминании испытать чувство горечи или хотя бы грусти, она вся просветлела, словно жизнь сдержала свое обещание счастья.

Услышав шаги дочери, она вздрогнула. Решительная походка Женни, движение, которым она затворила за собой дверь, ее напряженное лицо и отсутствующий, горящий, фанатический взгляд — все это испугало г-жу де Фонтанен.

Решив, что только ласка может помочь изгнанию вселившегося в Женни беса, г-жа де Фонтанен боязливо прошептала:

— Поцелуй меня, дорогая...

Женни слегка покраснела: она еще ощущала на губах губы Жака. Делая вид, будто не слышит, она сняла шляпу, вуаль и отнесла их на кровать. Потом, не в силах бороться с усталостью, подошла к кушетке, стоявшей в глубине комнаты, и вытянулась на ней.

И тогда, с несколько неловкой торопливостью, она воскликнула:

— Я так счастлива, мама!

Госпожа де Фонтанен бросила на дочь быстрый взгляд. Ее материнскому сердцу показалось, что в этом утверждении, прозвучавшем легким вызовом, был оттенок отчаянья. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить ее, что перед ней долг, высший долг, который необходимо исполнить, каков бы ни был связанный с этим риск. Повинуясь внутреннему чувству, которое она принимала за веление духа, г-жа де Фонтанен вдруг выпрямилась с неожиданной властностью.

— Женни,— сказала она,— молилась ли ты? Молилась ли ты по-настоящему?.. И можешь ли ты сказать: *«Предвечный со мною»?*

С первых же слов Женни неприязненно насторожилась. Вопросы религии всегда отделяли ее от матери пропастью, которая была мучительной для обеих, но всю глубину которой сознавала она одна.

— Женни... Дитя мое...— продолжала г-жа де Фонтанен,— отрешись от своей гордости... Давай помолимся вместе, призовем на помощь Того, кто знает все... Загляни вместе с ним в тайники своего сердца... Женни! Разве ты не чувствуешь, что в глубине твоей души что-то... сопротивляется? — Ее голос задрожал.— Что-

то... Кто-то... предупреждает тебя, что, быть может... ты обманываешься, что, быть может, *ты лжешь сама себе*?

Женни молчала, и ее мать решила, что она ушла в себя, готовясь к молитве. Но после длительной паузы девушка произнесла со вздохом:

— Ты не можешь понять!

Тон был горький, безнадежный, враждебный.

— Могу, дорогая... Я могу понять тебя!

— Нет! — проговорила Женни, упрямо глядя в одну точку, и в ее взгляде выразились нетерпение и упорство. Мысль, что ее не понимают, что ее мучат, доставляла ей болезненное наслаждение. Она чуть было не сказала: «Ты не имеешь ни малейшего представления о такой любви, как наша!» Но не смогла произнести вслух это слово: «любовь». Она криво усмехнулась.— Я окончательно убедилась сейчас, что ты не понимаешь... Совершенно не понимаешь!

— Что ты хочешь этим сказать, Женни? Ты находишь, что я плохо приняла вас?

— Да.

— Да?

— Да! — отрезала Женни, глядя в потолок. И глухим, полным обиды голосом пояснила, приподнимаясь:— Если б ты поняла нас, ты нашла бы хоть одно слово, чтобы сказать об этом! Одно слово, которое показало бы нам, что ты разделяешь наше счастье!

Госпожа де Фонтанен отвела глаза. Наконец она ответила:

— Ты несправедлива, Женни... В чем ты можешь упрекнуть меня? Я приезжаю сюда утром, не имея ни о чем понятия... Ты не была со мной откровенна, ты все от меня скрыла...

Женни прервала ее, пожав плечами несвойственным ей жестом — жестом, которого ее мать, пожалуй, никогда не видела у нее прежде, жестом Жака. С упрямым, загадочным, удовлетворенным видом она сказала:

— Я ничего от тебя не скрыла!.. Вот видишь, ты уже осуждаешь, ничего не зная. Две недели назад я и сама была далека от мысли, что...

— Но ведь с тех пор, как мы расстались, еще не прошло двух недель: сегодня всего неделя... Стало быть, когда я уезжала, ты еще не...

— Нет!

(Она лгала, так как г-жа де Фонтанен была еще в Париже в тот вечер, когда они встретились с Жаком на Северном вокзале. Она отвернулась, но голос выдал ее с такой очевидностью, что они обе покраснели.)

— Если бы две недели назад,— продолжала Женни, и ее смущение прорвалось в натянутом смешке,— если бы ты тогда заговорила со мной о Жаке, я ответила бы тебе, что ненавижу его! Что никогда не соглашусь увидеться с ним снова!

Опершись на ручки кресла, г-жа де Фонтанен с живостью наклонилась к ней.

— Так, значит, это в несколько дней?.. Не успев хорошенько подумать...— Она чуть было не сказала: «Поговорить со мной...» Но добавила только: — ...посоветоваться с Даниэлем?..

— С Даниэлем? — повторила Женни, притворяясь удивленной.— Почему с Даниэлем? — Подталкиваемая раздражением, причины которого она не понимала и сама (в котором, быть может, без ее ведома, прорвался протест против долгих лет ласкового принуждения,— осадок старых затаенных обид), она снова разразилась вызывающим смехом. Затем, поддаваясь непостижимому соблазну ранить мать в самое уязвимое место, добавила: — Как будто Даниэль может знать, может понять! Что он мог бы сказать мне, твой Даниэль? Глупости, которые может сказать каждый! Разные «благоразумные» слова!

— Женни!..— простонала г-жа де Фонтанен.

Но Женни уже не могла остановиться.

— Слова, которые сейчас, конечно, и у тебя на языке. Выскажи же их наконец! Что ты хочешь сказать? Что сейчас война?.. Или что мы с Жаком недостаточно хорошо знаем друг друга? Что я не буду счастлива?

— Женни! — повторила г-жа де Фонтанен.

Она смотрела на дочь, оцепенев от изумления. Эта Женни, с нахмуренными бровями, с напряженным лицом, с пронзительным голосом, не походила ни на одну из тех Женни, каких ей приходилось видеть возле себя за двадцать лет; эта новая Женни была во власти только что проснувшихся, сорвавшихся с цепи инстинктов... «Невменяема»,— подумала г-жа де Фонтанен с чувством отчаяния, но и снисходительности, почти облегчения.

Осуждение и даже страдание матери не только не трогали Женни, а, напротив,— еще подстрекали ее.

— А если я согласна быть несчастной, но *с ним*? Это не касается Даниэля! Это касается меня одной! Я не прошу ничьих советов! Какое мне дело, что думают другие! Я не собираюсь больше советоваться ни с кем теперь, когда у меня есть он, *он*!

Приняв этот новый удар, г-жа де Фонтанен побледнела. Больше всего ее терзало сознание того, что оскорбление было продуманным, преднамеренным. Дух зла, дух тьмы водворился в сердце

ее ребенка! Она с отчаянием взывала к богу. Она теряла способность противостоять заразительному действию этой отравленной атмосферы, подавлять овладевавший ею гнев. Однако ей удалось еще на минуту сохранить твердый и сдержанный тон:

— Ты всегда пользовалась полной моральной независимостью, Женни. Ты отлично знаешь: с тех пор, как ты достигла такого возраста, когда могла уже руководствоваться голосом совести, я не навязывала тебе ни своих желаний, ни даже своих советов. И сегодня ты тоже вольна поступить как знаешь, не спрашивая моего мнения. Но мой долг...

— Прошу тебя, мама!

— ...мой долг поговорить с тобой, пусть даже это окажется напрасным... предостеречь тебя от тебя самой. Женни... Дитя мое... Я взываю к лучшему, что в тебе есть... Возможно ли, чтобы ты потеряла всякое представление о добре и зле? Открой глаза, опомнись! Ты — жертва непостижимого безумия... Ты дошла до того, что без сопротивления отдаешься своей страсти, не только не испытывая угрызений совести, но как будто даже видя в этом доказательство силы... мужества... благородства...— Она задыхалась. У нее было мучительное ощущение, что она не справляется со своей задачей, что она слишком устала... что вступила на ложный путь и говорит не то, что нужно, и не так, как нужно. Быть может, она бы остановилась, но в эту минуту вид Женни, растянувшейся на кушетке, снова вызвал перед ней видение юной пары, лежащей в объятиях друг друга на диване Даниэля.— Тебе бы следовало стыдиться! — пробормотала она.

— Прошу тебя, мама! — повторила Женни суровым тоном, прозвучавшим угрозой.

— Стыдиться! — продолжала бедная женщина, на этот раз потеряв всякую власть над собой.— Ты! Женни! Моя дочурка, мое дитя! Ты воспользовалась тем, что осталась одна, и поддалась своим порывам!..— Она вдруг пожалела о пути, на который ее увлекло негодование, и бросилась в другую сторону: — Разве такое важное, чреватое последствиями решение принимается в несколько дней? Решение, от которого зависит вся жизнь? И не только твоя жизнь, но и наша... Жизнь твоего брата, моя... Потому что сейчас поставлено на карту все наше будущее — будущее всех нас! Подумала ли ты об этом? Нет! Ты была... Ты...

— Довольно, мама! Довольно! Довольно!

— Ты потеряла голову! Ты действовала как ребенок! — бросила г-жа де Фонтанен под конец. И фраза, которую она все время повторяла про себя, наконец слетела с ее губ: — Из этого не может выйти ничего хорошего!

Женни почувствовала, как волна холодного бешенства внезапно поднялась в ней; она вскочила. О, как осуждала она сегодня свою мать! Непонимание, черствость, эгоизм!

— Сказать тебе правду? — отчеканила она, подходя к г-же де Фонтанен.— Если кто-нибудь из нас плохо разбирается в себе, так это ты! Да! Ты думаешь о своем будущем, а вовсе не о моем! Я сделала сейчас одно открытие: оказывается, ты всегда любила меня только для себя, для себя одной! Это ревность восстановила тебя против нас! Ты ревнуешь! Ревнуешь! Ты думаешь только об одном: о том, чтобы эгоистически удержать меня возле себя!.. Так вот, не рассчитывай на это! Поздно! Мне жаль, что приходится доставить тебе это огорчение. Но лучше будет, если ты узнаешь как можно скорее. Сегодня вечером Жак уезжает в Швейцарию. И я... я еду с ним!

— Сегодня вечером! В Швейцарию! — чуть слышно прошептала г-жа де Фонтанен.

— Это не необдуманный шаг: мы решились на него еще до твоего возвращения. Сегодня отходит последний поезд, с которым...

— Ты! Сегодня вечером!

— Да, сейчас!

— Нет! Ты этого не сделаешь, Женни! Этого не будет!

— Что бы ты ни говорила, что бы ты ни делала, мама, это не поможет,— возразила Женни оскорбительно резким голосом.— Теперь никто не заставит нас переменить решение!

— Я не соглашусь на это! Слышишь?

Вместо всякого ответа Женни пожала плечами.

— Ты слышишь меня, Женни? Я *запрещаю* тебе ехать!

— Бесполезно настаивать, мама. Повторяю тебе... Впрочем, вместо того чтобы осуждать меня, тебе бы следовало... если бы только у тебя было сердце...

— Если бы у меня было сердце?..— пробормотала г-жа де Фонтанен. Она забыла все остальное — ей запомнились только эти ужасные слова...

— Да, если бы ты по-настоящему заботилась о моем счастье,— крикнула Женни, совершенно потеряв самообладание,— если бы ты любила меня ради меня самой, то сегодня ты бы...

На этот раз г-жа де Фонтанен не выдержала. Она сжала руками лоб и заткнула уши, чтобы избавиться от этого голоса, который пронизывал ее насквозь. «Решает Предвечный, а не создание его,— подумала она, закрывая глаза.— Господи, да будет воля твоя!»

Она услышала глухой стук и боязливо подняла голову. Женни уже вышла из комнаты, хлопнув дверью. Ее шляпы и вуали больше не было на кровати.

«Надо молиться... молиться»,— повторяла про себя г-жа де Фонтанен.

Она не могла отогнать от себя образ Женни, той Женни, которую она видела сейчас здесь — исступленной, дерзко стоящей перед ней...

«Господи,— взывала она,— помоги мне, дай мне силу!.. Нет ничего непоправимого... Мы никогда не должны отчаиваться в твоих созданиях...» Медленно два раза подряд она повторила про себя слова Священного писания: *«Не взирай на видимое; на невидимое устремляй взор твой. Ибо видимое преходяще, а невидимое вечно».*

Наконец первая минута отупения миновала, и ум ее заработал с неожиданной энергией. Совершенно разбитая, согнувшись, сложив руки, г-жа де Фонтанен продолжала неподвижно сидеть в своем глубоком кресле. Но в голове у нее прояснилось. Она терпеливо старалась разобраться в себе. Как всегда в дни испытаний, она силилась проанализировать свою скорбь, с точностью очертить ее границы, превратить ее, если можно так выразиться, в нечто определенное, в нечто такое, что можно было бы извлечь из души и принести в дар богу. *«Все, что не принесено в дар богу, потеряно...»*

Не отъезд Женни в Швейцарию больше всего волновал г-жу де Фонтанен в данную минуту. К тому же она еще не могла по-настоящему поверить в этот отъезд. Нет, права она была или неправа, но больше всего она страдала оттого, что ее обманули. Оскорбление, истинное, глубокое оскорбление заключалось именно в этом. Она наивно думала, что ее полная понимания нежность, свобода, которую она предоставляла Женни даже тогда, когда та была еще ребенком, создали и у нее и у дочери прочную привычку к обоюдному доверию, что Женни не может принять какое-либо важное решение, не предупредив ее, не получив ее согласия. И вот в самую критическую минуту своей жизни Женни утаила от нее все, проявила такое притворство и даже, воспользовавшись ее отсутствием, поступила так, как можно было бы ожидать только от девушки, которая воспитывалась в обстановке самой суровой зависимости и теперь, во внезапном порыве возмущения, освобождалась от давящей, неоправданной, невыносимой опеки. Разумеется, несмотря на тяжелую сцену, только что имевшую место, г-жа де Фонтанен не сомневалась в привязанности дочери,— так же как и сама не чувствовала, что ее материнская любовь ослабела. Нет, сейчас было задето ее *доверие.* Доверие — такое, какое она питала к Женни,— останется искалеченным навсегда, после того как его обманули так грубо. Такая же любовь, как прежде,— да. Такое же доверие? Нет, оно уже не вернется.

Эта мысль привела ее в отчаяние. Она опять взяла свою Библию и открыла ее наудачу. Ей удалось без особого труда сосредоточить внимание на тексте. Мало-помалу к ней возвращалось спокойствие — странное, неожиданное, почти пугающее спокойствие. И вдруг, еще более внимательно вглядываясь в себя, она открыла страшный секрет этого спокойствия: какое-то чувство только что, без ее ведома, родилось в ее душе и легко, но вместе с тем уверенно разрасталось в ней... Чувство, которое уже было знакомо ей, которое она испытала однажды в самый горький период ее жизни, когда, не в силах переносить дольше бесплодные страдания, она решилась отделить свою жизнь от жизни Жерома. Чувство? Скорее инстинктивная реакция. Нечто вроде естественной самозащиты. «Лекарство,— подумала она,— которое мудрая природа находит в нас самих, чтобы дать нам силы перенести иные страдания...» Она положила книгу и стала пытаться уточнить, дать название тому, что чувствовала... Покорность судьбе? Отрешенность?.. Да существует ли термин для обозначения этой смеси двух столь противоречивых чувств: нежности и равнодушия? *Равнодушие*! Это грубое слово заставило ее содрогнуться. Мысль, что материнская любовь, подобная той, какая долгие годы наполняла ее сердце, способна вдруг остыть под напором событий, под влиянием равнодушия,— эта мысль, в настоящий момент не лишенная известной сладости, могла оказаться в будущем новым испытанием. Г-жа де Фонтанен закрыла глаза. Она решила не заглядывать вперед. «Да будет воля твоя»,— еще раз прошептала она.

Но горе сломило ее. Она снова уронила голову на руки и заплакала.

LXXVII

Женни с отчаянной твердостью решила бежать; инстинкт предупреждал ее, что если она хочет выдержать характер и привести в исполнение то, от чего зависит все ее будущее, то ни в коем случае не надо больше видеться с матерью... И надо поторопиться, чтобы не успеть обдумать свой поступок.

Она помчалась в свою комнату, с лихорадочной поспешностью побросала в чемодан белье, несколько черных платьев; затем, стиснув зубы, с горящими щеками, снова надела шляпу, вуаль и, даже не взглянув в зеркало, выбежала из дому, как будто за нею кто-то гнался.

«Теперь я одна и свободна,— с упоением и ужасом думала она, быстро спускаясь по лестнице.— Теперь у меня действительно никого нет, кроме *него*!»

На улице у нее на мгновение закружилась голова. Куда идти? Жак будет ждать ее в буфете не раньше двух часов, а сейчас не больше двенадцати. Все равно: проще всего, раз она уже с багажом, сразу сесть в трамвай, который идет по бульвару Сен-Мишель, затем пересесть в другой, тот, что идет по бульвару Сен-Жермен, и доехать до Лионского вокзала.

Ей посчастливилось сразу попасть в трамвай и найти место на площадке.

«Не думать,— говорила она себе.— Не думать».

Это удалось ей без особого труда, потому что вагон был переполнен и разговор в нем шел общий и шумный, словно после какого-нибудь несчастного случая: «А браки, сударыня, браки! Сегодня утром в мэриях у окошечек в отделе актов гражданского состояния служащие просто голову потеряли: столько мобилизованных женятся перед отъездом!» — «Как так? А формальности?..» — «Все это упростили. На войне, как на войне,— сейчас вполне уместно будет это сказать... Если у вас есть при себе два метрических свидетельства и военный билет, вы можете в пять минут узаконить какую угодно старую связь...» — «Знаете, я это одобряю: нравственность, и вообще...» — «О, что касается нравственности, этого нам не занимать. Во Франции все на высоте, когда нужно».— «Я живу у фортов. И знаете, призывные комиссии в нашем районе осаждаются с раннего утра! Масса добровольцев! — «Нет,— поправил военный врач в мундире,— прием добровольцев еще не открыт. Люди приходят навести справки, может быть, записаться...»

Трамвай, который шел с площади Бастилии, тоже был переполнен: пассажиры теснились в проходах между скамейками. Тем не менее Женни удалось сесть благодаря любезности какой-то дамы, которая, видя, что ее стесняет багаж, уступила ей место своей маленькой дочки.

Укачиваемая шумом трамвая и гулом голосов, Женни, чтобы убежать от собственных мыслей, охотно прислушивалась к фразам, которыми обменивались над ее головой.

Перед улицей Сен-Жак трамвай вынужден был остановиться, чтобы пропустить полк легкой артиллерии, направлявшийся к Сорбонне.

«Как видно, весь гарнизон уже потихоньку покинул Париж...» — «Чувствуется, что есть руководство. Все идет... по-военному».— «Да! Судя по началу, это протянется недолго!» — «Я был во время отпуска в Вогезах, в Рибовийе... И знаете, что я вам скажу: когда видишь наших храбрых восточных солдат, особенно наших славных пехотинцев,— на душе становится спокойно!» — «А все-таки мы струсили — отступили на десять километров...» —

«Полноте! Когда у *них* будет двадцать миллионов русских штыков сзади да мы спереди...» — «Хозяин гостиницы, где я живу, рассказывал, что один приезжий из Люксембурга видел, как французский летчик налетел прямо на цепеллин и проткнул его, словно мыльный пузырь!..» — «Надо остерегаться ложных известий,— сказал кондуктор,— а то один пассажир только что рассказал, будто сегодня ночью в Эльзасе была одержана решительная победа».— «Ну, это уж он, конечно, хватил!.. Но вот мне говорили, что около Нанси видели патрули бошей...» — «Около Нанси! Что за ерунда!» — «А кто-нибудь слышал о том, что взорвали мосты в Суассоне?» — «Кто, мы или *они*?» — «Разумеется, мы. В Суассоне!» — «Это мог сделать шпион...» — «Надо смотреть в оба. Шпионов теперь полно... Одной полиции тут не управиться. Надо, чтобы каждый зорко следил в своем квартале, в своем доме».— «Мой брат служит на Орлеанском вокзале. И вот его жена рассказывала, что видела, как их сосед прятал у себя под кроватью германское знамя».— «Что касается меня,— сентенциозно заявил какой-то господин в пенсне,— я считаю, что немец имеет право крикнуть: «Да здравствует Германия!» Разумеется, при условии, что это не будет носить подстрекательский характер... Что делать? Они же оттуда, это не их вина...»

На площади Мобер — новая остановка. Мостовую загораживала целая толпа. Женни заметила в начале улицы Монж банду разъяренных людей. Вооружившись толстым бревном, они с грохотом вышибали витрину магазина под вывеской *«Молочная Магги»*.

У пассажиров в вагоне разгорелись страсти.

«Молодцы ребята!» — «Магги — это пруссак...— сказал господин в пенсне,— и даже уланский полковник!.. «Аксьон франсез» давно уже разоблачила его! Он только и ждал мобилизации, чтобы сделать свое дело!» — «Говорят, сегодня утром в одном Бельвиле он отравил своим молоком больше сотни наших ребят!»

Женни видела движение тарана; она слышала, как он глухо ударился о железный ставень. Наконец железо подалось. Внутри вдребезги разлетелись стекла. Толпа, скопившаяся перед лавкой, ликовала: «Долой Германию! Смерть предателям!» На краю площади расположился взвод полицейских-самокатчиков, которые сошли со своих велосипедов. Они издали наблюдали сцену, не вмешиваясь: в конце концов, на Францию напали, народ сам творил правосудие — оставалось только предоставить ему свободу действий.

Наконец трамвай доехал до Лионского вокзала.

Во дворе было полно народа. Женни, таща свой чемодан, пробилась через толпу, добралась до буфета и заняла там место.

Через широко распахнутые двери резкий дневной свет волнами вливался в зал. Забившись в дальний угол, Женни сжимала влажные руки. Несмотря на то, что было еще слишком рано, чтобы надеяться увидать Жака, она не отрывала глаз от входа. Стояла удушливая жара. От неудобной, обитой кожей скамейки, от только что перенесенных толчков трамвая у нее болело все тело. Яркий свет слепил глаза. Люди беспрестанно входили и выходили, отчетливо выделяясь на светлом фоне; некоторые торопливо шагали по тротуару, подталкивая тележки с багажом. Женни вдруг схватила свой чемоданчик, стоявший с ней рядом, и засунула под стол; затем опять поставила его на скамью и снова устремила взгляд на дверь. Ее суетливые жесты выдавали лихорадочное возбуждение. В трамвае ей удалось рассеяться; сейчас она была беззащитна перед самой собой, и мысль о том, что, быть может, ей придется просидеть здесь одной, во власти этой жгучей тревоги, еще целый час, наполняла ее невыносимой тоской. Она всячески старалась заставить себя думать о пустяках, занимала свой ум множеством безобидных мелочей, но чувствовала, как над ее мозгом реет, словно хищная птица, круги которой все сужаются, ужасная мысль, которую до сих пор ей удавалось держать на расстоянии... Чтобы защитить себя от нее, она с минуту пыталась разглядывать окружавшие ее предметы, сосчитала подковки в хлебнице, кусочки сахара на блюдечке. Затем снова устремила взгляд на дверь и начала следить за входившими и выходившими людьми. Какая-то женщина с непокрытой головой, с седеющими волосами переступила порог; она села за ближайший свободный столик у входа и тяжело облокотилась на него, закрыв лицо руками. И воспоминание, которое Женни отгоняла от себя, которое только и ждало возможности обрушиться на нее, сейчас же завладело ею... Она увидела перед собой мать в той позе, в какой она оставила ее,— сидящей в глубоком кресле, сжимающей виски руками. Что она делает теперь? Подумает ли о завтраке? Женни представила ее себе в неприбранной кухне, перед грязной посудой, перед двумя приборами... И на этот раз уже она, закрыв глаза, склонила голову и стиснула лоб руками.

Несколько минут она просидела так, не шевелясь. *«Ты ревнуешь!.. Если бы только у тебя было сердце...»* Она повторяла про себя собственные слова и не понимала теперь, как могла их произнести, не понимала, как могла уйти после того, как произнесла их!

Когда наконец она подняла голову, лицо ее было спокойно, сурово и на щеках виднелись следы пальцев. «К чему думать? — сказала она себе.— Я должна сделать это, и только это». Еще с минуту она сидела неподвижно, с застывшим взглядом, раздавленная тяжестью своего решения. Теперь у нее оставалось только одно

сомнение: этот долг, этот долг,— ждать ли ей прихода Жака, чтобы исполнить его? Зачем? Чтобы посоветоваться с ним? Так, значит, в ней еще таится постыдная надежда, что он разубедит ее? Нет, ее решение непреклонно. В таком случае надо прекратить муки матери как можно скорее.

Она выпрямилась и подозвала официанта.

— Откуда можно послать пневматичку?

— Почта? В такой день, как сегодня! Она, должно быть, открыта. Да вот она, ее видно отсюда: голубой фонарь...

— Присмотрите за моим багажом. Я сейчас вернусь.

Она убежала.

Почта действительно оказалась открытой: штатские, военные осаждали окошечки. Она попросила голубой бланк и быстро написала:

«Дорогая мама, я была безумна, я никогда не прощу себе горя, которое тебе причинила. Но я умоляю тебя понять, забыть. Я остаюсь. Я не уеду сегодня с Жаком в Швейцарию. Я не хочу оставлять тебя одну. У него же последний срок, он должен ехать непременно. Я приеду к нему позже. Надеюсь, что вместе с тобой. Да? Ты не откажешься поехать со мной, чтобы я могла снова встретиться с ним?

Мне бы следовало вернуться домой сейчас же, примчаться, поцеловать тебя. Но было бы слишком тяжело не провести с ним все эти последние часы перед его отъездом. Вечером я вернусь к тебе и объясню все, дорогая мама, чтобы ты могла простить меня.

Ж.»

Она запечатала письмо, не перечитывая. Руки и все ее тело дрожали; от холодного пота белье прилипало к коже. Перед тем как бросить письмо в ящик, она удостоверилась, что оно будет доставлено через час. Потом медленно перешла через площадь и снова уселась в углу буфета.

Успокоило ли ее хоть немного то, что она сделала? Она задала себе этот вопрос, но не смогла на него ответить. Она была обессилена своей жертвой, обессилена, как после потери крови. Полна такого отчаянья, что даже страшилась теперь прихода Жака: вдали от него она чувствовала в себе больше силы, чтобы сдержать свое обещание. Она сделала попытку образумить себя: «Через несколько дней... Через неделю... Самое большее — через две...» Две недели без него! Ее ужас перед этой разлукой мог сравниться разве только со страхом смерти.

Когда наконец в рамке двери появился силуэт Жака, Женни поднялась и, прямая, бледная, ослабевшая, продолжала стоять на месте, глядя на него. Он увидел ее и с первого взгляда понял, что произошло что-то серьезное.

Трагическим жестом она отклонила все вопросы.

— Не здесь... Выйдем.

Он взял у нее из рук чемодан и вслед за ней вышел из зала.

Она сделала несколько шагов по тротуару, в толпе, потом внезапно остановилась и, подняв на него полный отчаянья взгляд, сказала очень тихо, очень быстро:

— Я не могу ехать с тобой сегодня...

Губы Жака приоткрылись, но он ничего не ответил. Он нагнулся, чтобы поставить чемодан на землю, и, перед тем как выпрямиться, успел, почти не сознавая того сам, придать своему лицу нужное выражение. Это выражение, изумленное, недоверчивое, совершенно не отражало первой молниеносной мысли, которая мелькнула у него помимо воли: «Моя миссия... Теперь я свободен!..»

Пассажиры, солдаты толкали их. Он увлек Женни к углублению в стене между двумя столбами.

Прерывающимся голосом она продолжала:

— Я не могу ехать... Не могу оставить маму. Сегодня — не могу... Если бы ты знал... Я была с ней ужасна...

Она смотрела в землю, не решаясь встретиться с ним взглядом. Он же внимательно всматривался в нее; губы его дрожали, глаза были мрачны, и он наклонялся к ней, словно желая помочь ей говорить.

— Понимаешь? — прошептала она.— Я не могу уехать после того, что было...

— Понимаю, понимаю...— отрывисто произнес он.

— Я должна остаться с ней... Хотя бы на несколько дней... Я приеду к тебе... скоро... Как только смогу.

— Да,— сказал он твердо.— Как только сможешь! — Но про себя подумал: «Нет. Никогда... Это конец».

Несколько секунд они стояли, не глядя друг на друга, оцепеневшие, безмолвные. Сначала она собиралась поделиться с ним тем, что произошло между нею и матерью. Но она даже не помнила сейчас всех подробностей, не помнила связи между ними. Да и к чему? Она чувствовала себя бесконечно одинокой перед лицом этой драмы, касающейся ее, ее одной, драмы, в которой Жаку совершенно не было места и в которую он никогда не мог бы проникнуть до конца.

И он тоже в эту минуту чувствовал себя бесконечно далеким от Женни. Далеким от всех. Героизм, которым он упивался в

течение последних двух часов, изолировал его от окружающего, делал непроницаемым для всякого обыкновенного человеческого переживания. Словно часы, остановившиеся от толчка, ум его застыл на первых несших с собой освобождение словах Женни: «Я не могу ехать с тобой». Страдание, разочарование, о котором говорила его поза, не были притворны, но они были поверхностны. Последние путы рвались. Сейчас он уедет, и уедет один! Все упрощалось...

Она вглядывалась в его лицо, думая, что завтра уже не увидит его, пораженная силой, которую оно излучало, но слишком потрясенная, чтобы различить, какого рода перемена только что произошла в Жаке, какое новое, дышащее свободой выражение появилось на нем в его глазах благодаря ее решению. Полным нежности взглядом она ласкала этот крупный выразительный рот, подбородок, плечи... эту твердую грудь, на которой она спала прошлой ночью, слыша гулкие удары его сердца... И боль, охватившая ее при мысли, что сегодня она уже не сможет провести ночь рядом с ним, ощущая его теплоту, сделалась такой мучительной, такой острой, что она забыла все остальное.

— Любимый...

Огонь, вспыхнувший в глазах Жака, показал ей, как неосторожно она поступила, проявив свою нежность... Воспоминание, которое пробудил в ней этот огонь, заставило ее вздрогнуть от испуга. Она хотела бы заснуть в его объятиях, но ничего больше...

Он погрузил свой затуманенный взгляд в глаза Женни. Почти не шевеля губами, он прошептал:

— Перед тем как я уеду... Наш последний день... Хорошо?

Она не решилась отказать ему в этой последней радости. И, покраснев, отвернулась от него с мягкой и жалкой улыбкой.

Глаза Жака, оторвавшись от ее лица, блуждали несколько секунд по залитой солнцем площади, по фасадам домов напротив, где сверкали золотые буквы вывесок: *«Гостиница для путешественников»... «Центральная гостиница»... «Гостиница для отъезжающих»...*

— Идем,— сказал он, схватив ее за руку.

LXXVIII

Сафрио нахмурился.

— Кто тебе сказал?

— Привратник на улице Каруж,— ответил Жак.— Я только что с поезда: никого еще не видал.

— *Si, si...*[1] С тех пор, как мы вернулись из Брюсселя, он живет у меня,— подтвердил итальянец.— Он прячется... Я понял: ему тяжело возвращаться домой без Альфреды. Я сказал ему: «Переселяйся ко мне, Пилот». Он пришел. Он наверху. Живет как в тюрьме. Целый день лежит с газетами на кровати. Жалуется на ревматизм... Но это только *oune pretesto*[2],— добавил Сафрио, подмигнув.— Чтобы не выходить, не разговаривать... Он никого не захотел видеть, даже Ричардли! До чего он изменился! Эта девчонка искалечила его! Никогда бы не поверил...— Он с отчаянием махнул рукой.— Это конченый человек.

Жак не ответил. Слова Сафрио доходили до него точно сквозь туман: он все еще не мог выйти из оцепенения, в котором находился во время этого бесконечного восемнадцатичасового путешествия от Парижа до Женевы. Вдобавок его мучило воспаление десен, которое уже не раз лишало его сна за последние несколько недель, а в эту ночь еще усилилось от сквозняка в вагоне.

— Ты ел? Пил? — продолжал Сафрио.— Тебе ничего не нужно? Сверни папиросу: это хороший табак, он привезен из Аосты!

— Я хотел бы увидеться с *ним*.

— Подожди немного... Я поднимусь наверх, скажу, что ты вернулся. Может быть, он захочет, может быть, нет... А ты тоже изменился,— заметил он, устремив на Жака свой ласковый взгляд.— *Si, si!* Ты не слушаешь, ты думаешь о войне... Все изменились... Расскажи, что ты видел сам. Они позволили тебе уехать?.. Знаешь, самое страшное — это безумие, которое охватило всех, ставших солдатами!.. Их песни, их *furia...*[3] Поезда с мобилизованными. У всех горят глаза, все кричат: «На Берлин!» А другие: *«Nach Paris!»*[4]

— Те, кого видел я, не пели,— мрачно сказал Жак. И продолжал возбужденно, словно внезапно проснувшись: — Страшно не это, Сафрио... Страшно то, что Интернационал... Он ничего не сделал. Он предал... После смерти Жореса отступили все! Все, даже лучшие! Ренодель, друг Жореса! Гед! Самба! Вайян! Да, Вайян, а ведь это — человек! Единственный, кто в свое время осмелился заявить в палате: *«Лучше восстание, чем война!»* Все! Даже руководители Всеобщей конфедерации труда!.. И это непонятнее всего! Ведь они-то уж не были заражены парламентаризмом! И ведь решения конгрессов конфедерации были вполне определенны: «В случае объявления войны — немедленная

---

[1] Да, да... *(итал.)*
[2] Предлог *(итал.)*.
[3] Неистовство *(итал.)*.
[4] На Париж! *(нем.)*

всеобщая забастовка!..» Накануне мобилизации пролетариат еще колебался. Еще была возможность! Но они не сделали даже попытки! *«Священная земля! Отечество! Национальное единение!.. Защита социализма от прусского милитаризма!»* Вот и все слова, которые они нашли! А тем, кто спрашивал: «Что делать?» — они смогли ответить только одно: «Подчиняйтесь приказу о мобилизации!»

Сафрио слушал с полными слез глазами.

— Даже и здесь все перевернулось,— сказал он после паузы.— Теперь товарищи говорят шепотом... Ты увидишь! Все переменились... Боятся... Сегодня федеральное правительство еще нейтрально; нас не трогают. Но завтра? И тогда, если придется уезжать, куда держать путь?.. Все боятся. Полиция следит за всем... В «Локале» теперь никого... Ричардли устраивает по ночам собрания у себя или у Буассони... Приносят газеты... Кто умеет, переводит их остальным. Потом все спорят, раздражаются... Из-за пустяков. Что можно сделать?.. Один только Ричардли еще работает. Он верит. Он говорит, что Интернационал не может умереть, что он воскреснет еще более сильным! Он говорит, что сейчас должна поднять свой голос Италия. Он хочет добиться объединения швейцарских социалистов с итальянскими, чтобы начать восстанавливать честь... Потому что в Италии,— продолжал Сафрио, гордо подняв голову,— в Италии, знаешь ли, весь пролетариат остался верен! Италия — это истинная родина революции! Все лидеры групп — и Малатеста, и Борги, и Муссолини,— все они борются энергичнее, чем когда бы то ни было! Не только для того, чтобы воспрепятствовать правительству, в свою очередь, вступить в эту войну,— нет, чтобы как можно скорее добиться мира путем объединения со всеми социалистами Европы: с социалистами Германии, с социалистами России!

«Да,— подумал про себя Жак.— Они не догадались, что существуют более быстрые способы добиться мира!..»

— Во Франции вы тоже могли бы найти кое-какие островки, которые еще держатся,— проговорил он равнодушным тоном, словно эти вопросы уже не затрагивали его.— Вам бы следовало, например, сохранить связь с Федерацией металлистов. Там есть люди. Ты слышал о Мергейме?.. Есть еще Монатте и группа из «Ви увриер». Эти не струсили... Есть еще и другие: Мартов... Мурлан с сотрудниками редакции «Этандар».

— В Германии — Либкнехт... Ричардли уже наладил с ним связь.

— В Вене тоже... Хозмер... Через Митгерга вы могли бы...

— Через Митгерга? — перебил его итальянец. Он встал. Губы его дрожали.— Через Митгерга? Так ты не знаешь?.. Он уехал!

— Уехал?

— В Австрию!

— Митгерг?

Сафрио опустил глаза. На его прекрасном римском лице было написано обнаженное физическое страдание.

— В тот день, когда Митгерг вернулся из Брюсселя, он сказал: «Я еду туда». Мы все сказали ему: «Послушай, ты сошел с ума! Ты и без того уже осужден как дезертир!» Но он сказал: «Вот именно. Но дезертир еще не значит — трус. Когда объявлена война, дезертир возвращается к себе. Я должен ехать!» Тогда я спросил: «Для чего, Митгерг? Не для того же, чтобы стать солдатом?» Я не понял его. И он сказал: «Нет, не для того, чтобы стать солдатом. Чтобы показать пример. Чтобы они расстреляли меня на глазах у всех!..» И вот в тот же вечер он уехал...

Конец фразы заглушили рыданья.

— Митгерг! — пробормотал Жак с остановившимся взглядом. После долгой паузы он повернулся к итальянцу: — А теперь, прошу тебя, пойди и скажи ему, что я здесь.

Оставшись один, он вполголоса повторил: «Митгерг!» Митгерг кое-что сделал; Митгерг сделал все, что мог... Все, что мог, чтобы доказать самому себе, что он остался верен своим убеждениям!.. И выбрал поступок, могущий служить *примером*, решившись пожертвовать ради этого жизнью...

Спустившись вниз, Сафрио был поражен, подметив на лице Жака как бы отблеск не успевшей исчезнуть улыбки.

— Тебе повезло, Тибо! Он согласился... Поднимись наверх!

Жак пошел вслед за итальянцем по винтовой лесенке, которая вела из аптекарского магазина. Взобравшись на последний этаж, Сафрио посторонился и указал Жаку на маленькую каморку в глубине, отделенную от чердака дощатой перегородкой.

— Он здесь... Иди один, так лучше.

Мейнестрель повернул голову к отворявшейся двери. Он лежал на кровати, лицо его лоснилось; черные волосы слиплись от пота, и череп казался от этого меньше, лоб выпуклее. В свесившейся руке он держал газету. Над ним сквозь открытое слуховое окно виднелся квадрат раскаленного неба. Было невыносимо жарко. Развернутые газеты валялись на плиточном полу, усеянном недокуренными папиросами.

Мейнестрель не ответил на улыбку порывисто бросившегося к нему Жака, и тот внезапно остановился, не дойдя до кровати. Однако быстрым движением, не свойственным ревматику («это только *oune pretesto*»,— подумал Жак), Пилот встал. На нем был

выцветший синий полотняный комбинезон летчика, надетый на голое тело; расстегнутый ворот обнажал волосатую похудевшую грудь. У него был неряшливый, почти грязный вид: отросшие волосы закручивались кверху, образуя на затылке перистый завиток, похожий на утиную гузку.

— Зачем ты приехал?

— А что я мог делать там?

Мейнестрель прислонился к комоду; скрестив руки, он смотрел на Жака, время от времени подергивая бороду. Его левый глаз то и дело подмигивал от недавно появившегося тика.

Совершенно сбитый с толку этим приемом, Жак неуверенно продолжал:

— Вы не можете себе представить, Пилот, что там делается... Все собрания запрещены — митингов больше нет... Цензура! Ни одной газеты, которая захотела бы, которая смогла бы напечатать оппозиционную статью... Я сам видел, как на террасе одного кафе изувечили человека за то, что он недостаточно быстро снял шляпу при виде знамени... Что делать? Распространять листовки в казармах? Чтобы очутиться за решеткой в первый же день? Что же, что? Террористические акты? Вы знаете, это не в моем духе... Да и стоит ли взрывать склад снарядов или поезд с боевыми припасами, когда существуют сотни складов и тысячи поездов?.. Нет, сейчас там нечего делать! Нечего!

Мейнестрель пожал плечами. Безжизненная улыбка показалась на его губах.

— Здесь тоже!

— Это еще вопрос,— возразил Жак, отводя глаза.

Мейнестрель как будто не расслышал. Он повернулся к комоду, опустил руку в таз и смочил себе лоб. Потом, увидев, что Жак, не находя свободного стула, продолжает стоять, снял со скамеечки кучу бумаг. Его затуманенный, блуждающий по сторонам взгляд был взглядом маньяка. Он снова подошел к кровати, сел, опустив руки, на край матраса и вздохнул.

И вдруг сказал:

— Мне недостает ее, знаешь...

Отчетливая, почти равнодушная интонация не выражала ничего, она только констатировала факт.

— Они не должны были так поступать,— прошептал Жак после минутного колебания.

И на этот раз Мейнестрель как будто не расслышал. Но он встал, отшвырнул ногой газету, дошел до двери и в течение нескольких минут, волоча ногу, словно раненое насекомое, шагал по комнате; смесь возбуждения и безразличия чувствовалась в его походке.

«Неужели он так изменился? — думал Жак. Он еще не верил. Ему тем удобнее было наблюдать за Мейнестрелем, что тот, казалось, забыл о его присутствии. Похудевшее лицо утратило свойственное ему выражение сосредоточенной силы, постоянно бодрствующей и ясной мысли. Глаза были по-прежнему живые, но без блеска, и взгляд их странно смягчился — до такой степени, что по временам в них отражались спокойствие, безмятежность. «Нет,— сейчас же сказал себе Жак,— не спокойствие — усталость... То отрицательное спокойствие, которое приносит с собой усталость».

— *Не должны были?* — повторил наконец Мейнестрель неопределенно-вопросительным тоном. Не переставая ходить по комнате, он слегка пожал плечами и вдруг остановился перед Жаком.— Если сейчас, *после всего этого,* я утратил некоторые представления, то в числе их прежде всего — представление об ответственности!

«Всего этого...» Жаку показалось, что Мейнестрель имел в виду не только то, что случилось с ним, не только Альфреду, Патерсона, но и Европу с ее правителями, с ее дипломатами, руководителей партии, а может быть, и самого себя, свой покинутый пост.

Пилот еще раз прошелся от стены к стене, снова подошел к кровати, лег на нее и пробормотал:

— В сущности говоря, кто отвечает? За свои поступки, за самого себя? Знаешь ли ты кого-нибудь, кто отвечал бы? Я никогда еще не встречал такого человека.

Последовало долгое молчание — тяжелое, гнетущее молчание, словно составлявшее одно целое с духотой, с беспощадным светом.

Мейнестрель лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Лежа он казался очень длинным. Его рука с пожелтевшими от табака ногтями, с согнутыми пальцами, которые, казалось, держали невидимый мяч, покоилась на краю матраса ладонью кверху. Из-под короткого рукава виднелось запястье. Жак пристально рассматривал эту руку, похожую на птичью лапу, это запястье, которое никогда не казалось ему таким хрупким, таким женственным. «Девчонка искалечила его...» Нет, Сафрио не преувеличил!.. Но констатировать факт — это еще не значит объяснить его. Жак лишний раз сталкивался с тем загадочным, что скрывалось в Пилоте. Отказаться от борьбы в такой момент, когда все позволяло надеяться, что час уже близок? Человеку такого закала...

«Такого закала?» — спросил себя Жак.

Вдруг, не пошевельнувшись, Мейнестрель отчетливо выговорил:

— Вот Митгерг — тот пошел навстречу смерти.

Жак вздрогнул.

«Каждый делает это по-своему»,— подумал он.

Прошло несколько секунд. Он прошептал:

— Это, должно быть, не так уж трудно, когда можно обратить свою смерть в действие... Действие сознательное. Последнее. *Полезное* действие.

Рука Мейнестреля чуть дрогнула: его костлявое лицо с опущенными глазами казалось окаменевшим.

Жак выпрямился. Нетерпеливым жестом он откинул прядь волос, падавшую ему на лоб.

— Вот чего хочу я,— сказал он.

В его голосе зазвучали вдруг такие ноты, что Мейнестрель открыл глаза и повернул голову. Взгляд Жака был устремлен на окно; его мужественное, ярко освещенное лицо выражало твердую решимость.

— В тылу борьба невозможна! По крайней мере, в настоящий момент. Против правительств, против осадного положения и цензуры, против прессы, против шовинистического бреда мы безоружны, совершенно безоружны!.. На фронте — другое дело! На человека, которого гонят под пули, на такого человека можно воздействовать! Вот до него-то и надо добраться! — Мейнестрель сделал движение, которое, как показалось Жаку, выражало сомнение, но в действительности было просто нервным тиком.— Дайте мне сказать!.. О, я знаю. Сегодня цветы на винтовках, «Марсельеза», *«Wacht am Rhein»*...[1] Да. Но завтра?.. Завтра этот самый солдат, который с песнями отправился на фронт, станет всего только жалким человеком с натертыми до крови ступнями, выбившимся из сил, напуганным первой атакой, первым обстрелом, первыми ранеными, первыми убитыми... Вот с ним-то и можно говорить! Ему надо крикнуть: «Глупец! Тебя опять эксплуатируют! Эксплуатируют твой патриотизм, твое великодушие, твое мужество! Тебя обманули все! Даже те, кому ты верил, даже те, кого ты избрал своими защитниками. Но теперь ты должен наконец понять, чего от тебя хотят! Восстань! Откажись отдавать им свою шкуру. Откажись убивать! Протяни руку твоим братьям, стоящим напротив, тем, кого обманывают, кого эксплуатируют так же, как и тебя! Бросьте ваши винтовки! Восстаньте! — Волнение душило Жака. Он немного передохнул и продолжал: — Все дело в том, чтобы суметь добраться до этого человека. Вы спросите у меня: «Как?»

Мейнестрель приподнялся на локте. Он внимательно смотрел на Жака, и легкой иронии, сквозившей в его взгляде, не удавалось

---

[1] «Стража на Рейне» *(нем.)*.

замаскировать это внимание. Казалось, он действительно спрашивал: «Да, как?»

— На аэроплане! — крикнул Жак, не ожидая вопроса. И продолжал медленнее, тише: — До него можно добраться на аэроплане! Надо подняться над передовыми позициями. Надо пролететь над французскими и германскими войсками... Надо сбросить им тысячи и тысячи воззваний, написанных на двух языках!.. И французское и германское командование могут воспрепятствовать ввозу листовок в расположение войск. Но они бессильны,— совершенно бессильны против тучи тончайших бумажек, которые падают с неба на протяжении многих километров фронта и разлетаются по деревням, по бивуакам — повсюду, где сконцентрированы солдаты!.. Эта туча проникнет всюду! Эти бумажки будут прочитаны во Франции, в Германии!.. Они будут поняты!.. Они будут переходить из рук в руки и дойдут до резервных частей, до гражданского населения!.. Они напомнят каждому рабочему, каждому крестьянину, французскому и немецкому, что́ он собой представляет, каков его долг перед самим собой! И что́ представляет собой мобилизованный по ту сторону границы! Они напомнят им, какое это бессмысленное и чудовищное преступление — желать, чтобы они убивали друг друга!

Мейнестрель открыл рот, собираясь заговорить. Но промолчал и снова улегся, устремив глаза в потолок.

— Ах, Пилот, вообразите действие этих листовок! Какой призыв к восстанию... Результат? Да, он может оказаться сокрушительным! Пусть только хоть в одной точке фронта произойдет братание двух враждебных армий, и зараза моментально распространится дальше, словно огонь по запальному шнуру! Отказ повиноваться... Деморализация военного начальства... В день моего полета и французское и германское командование будут моментально парализованы... На том участке фронта, над которым я пролечу, всякие военные действия станут невозможны... А какой пример! Какая сила пропаганды! Этот волшебный аэроплан... Этот вестник мира... Победа, которой не сумел добиться Интернационал до мобилизации, еще возможна сейчас, сегодня! Нам не удалось объединение пролетариата, не удалась всеобщая забастовка, но нам может удасться братание бойцов!

На губах Пилота промелькнула кривая усмешка. Жак сделал шаг по направлению к кровати. Он улыбался, он тоже улыбался со спокойствием непоколебимой уверенности. Не теряя этого спокойствия, не возвышая голоса, он продолжал:

— Во всем этом нет решительно ничего неосуществимого. Но мне нужна помощь. Мне нужны вы, Пилот. Только вы, благодаря вашим старым связям, можете достать аэроплан. И вы мо-

жете за несколько дней научить меня управлять машиной настолько, чтобы я смог пролететь несколько часов в определенном направлении. Поля сражений находятся в пределах досягаемости аэроплана. С севера Швейцарии ничего не стоит добраться до французских и германских войск, сосредоточенных в Эльзасе... Нет, нет, я взвесил все. И трудности и опасности... Трудности, если вы захотите, если вы поможете мне, могут быть преодолены. Что касается опасности,— потому что тут может быть только *одна* опасность,— то это мое дело! — Он вдруг покраснел и умолк.

Мейнестрель взглянул на Жака и убедился, что тот высказал все, что хотел. Затем он медленно поднялся и сел на край кровати. Он больше не смотрел на Жака. Несколько секунд он сидел, наклонившись, свесив ноги, тихо потирая ладонями колени. Потом, не меняя позы, сказал:

— Итак, ты, французский дезертир, считаешь возможным учиться летать здесь, в Швейцарии, не вызывая подозрений? И ты думаешь, что за несколько дней научишься самостоятельно отрываться от земли, и читать карту, и определять местонахождение аэроплана, и часами держаться в воздухе? — Он говорил ровным, немного насмешливым голосом, лицо его было непроницаемо. Он поднял руку и, держа ее на уровне подбородка, с минуту рассеянно рассматривал один за другим свои грязные ногти.— А теперь,— сказал он почти сухо,— будь так добр и оставь меня одного.

Жак в замешательстве продолжал стоять посреди мансарды. Прежде чем повиноваться, он сделал попытку встретить взгляд Пилота, спрашивая себя, правильно ли он понял, действительно ли ему надо уйти — уйти без единого слова одобрения, без совета, без ободряющей улыбки.

— До свиданья,— раздельно выговорил Мейнестрель, не поднимая глаз.

— До свиданья,— пробормотал Жак, направляясь к двери.

Но, собираясь переступить порог, он вдруг взбунтовался и резко обернулся. Глаза Пилота были устремлены на него; они горели сейчас былым огнем; взгляд был пристальный, словно удивленный, но по-прежнему загадочный.

— Приходи ко мне завтра,— сказал тогда Мейнестрель очень быстро. (Голос тоже обрел свой прежний тембр, свою твердость, свою звучность.) — Завтра около полудня. В одиннадцать. И скройся. Понимаешь? Не показывайся. Никому! Пусть никто здесь не знает, что ты приехал.— Его лицо вдруг осветилось самой неожиданной, самой нежной улыбкой.— До завтра, малыш.

«Да,— сказал он себе, как только закрылась дверь за Жаком.— В конце концов, почему бы и нет?..»

Не то чтобы он верил в возможность успеха этого сумасбродного проекта. Братание неприятельских армий! Может быть, позже, после долгих месяцев страданий, резни!.. Но хорошо все, что может деморализовать, бросить семена возмущения...

«И я прекрасно понимаю этого мальчика, он тоже хочет получить свою долю, умереть героем...»

Он встал, запер дверь на задвижку и сделал несколько шагов по комнате.

«Подходящий случай...— подумал он, снова ложась на кровать.— Быть может, представляется возможность... Выход!..»

LXXIX

Жак прислоняется головой к деревянной перегородке. Грохот поезда проникает в его тело, разливается в нем, возбуждает. В этом купе третьего класса он один. Несмотря на открытые окна — температура раскаленной печи. Весь мокрый от пота, он выбрал скамейку на теневой стороне... Теперь уже не шум поезда отдается в его ушах, а гудение мотора... Высоко в небе — аэроплан... Сотни, тысячи белых листочков разлетаются в пространстве...

Струя воздуха, овевающая его лоб, горяча, но колыхание шторы создает иллюзию прохлады. Напротив него подскакивает при каждом толчке его саквояж: желтый парусиновый саквояж, выцветший, туго набитый, словно котомка пилигрима,— старый товарищ, который не изменил и в последнем путешествии... Жак наспех засунул в него кое-какие бумаги, немного белья, что попало, без разбора, с полнейшим равнодушием. Он и так едва успел на экспресс. Подчиняясь инструкциям Мейнестреля, он выехал из Женевы, собравшись в один час, никому не оставив адреса, ни с кем не повидавшись. Он ничего не ел с самого утра, не успел даже купить папирос на вокзале. Ничего. Зато он уехал. И на этот раз это действительно *отъезд:* одинокий, безымянный,— без возврата. Не будь этой жары, этих раздражающих мух, этого грохота, бьющего по черепу, словно молот по наковальне, он чувствовал бы себя спокойным. Спокойным и сильным. Тревога, отчаяние, пережитые за последние дни, остались позади.

Он на секунду закрывает глаза. Но тут же открывает их снова. Чтобы вновь пережить свою мечту, ему незачем углубляться в себя...

Он проносится над самыми гребнями холмов, спускается к синим долинам, пролетает над лугами, лесами, над городами... Он

сидит в кабине позади Мейнестреля. У его ног — груда воззваний. Мейнестрель подает знак. Аэроплан приблизился к земле. Внизу — синие шинели, красные штаны, мундиры *feldgrau*...[1] Жак нагибается, хватает охапку листовок, бросает вниз. Мотор гудит. Аэроплан летит в лучах солнца. Жак нагибается, выпрямляется, безостановочно сбрасывает тучу белых бабочек. Мейнестрель смотрит на него через плечо. Он смеется!

Мейнестрель... Мейнестрель — это стержень, вокруг которого вращается мысль Жака о его миссии.

Жак только что от него. Как не похож был сегодняшний Мейнестрель на вчерашнего! Прежний вождь! Разогнувшаяся спина, точные, быстрые движения. Аккуратно одет, обут: он только что выходил куда-то. И в первую же минуту эта торжествующая улыбка! «Дело идет на лад! Нам повезло. Все обойдется легче, чем я предполагал. Мы сможем вылететь через три дня». *Мы*? Жак, еще не решаясь понять, пробормотал несколько невнятных слов: «...есть люди, чья жизнь слишком драгоценна... Они являются душой организации... рисковать ими было бы преступно...» Но Пилот взглядом оборвал его; движение плеч, сопровождавшее этот жесткий взгляд и смягчавшее его, казалось, говорило: «Я никуда больше не гожусь и никому не нужен...» Затем он выпрямился и быстро заговорил: «Без фраз, малыш... Ты должен немедленно уехать в Базель. По многим причинам. Поднявшись над границей, наш аэроплан сейчас же окажется в Эльзасе. Каждому своя задача: я готовлю птицу, ты — листовки. Прежде всего надо составить текст. Трудно — но, очевидно, ты уже думал над этим. Затем отпечатать его. Для этого — Платнер. Ты незнаком с ним? Вот записка. Он владелец книжного магазина на Грейфенгассе. У него есть типография, надежные люди. Там все говорят по-немецки не хуже, чем по-французски. Они переведут твое воззвание. За несколько ночей они отпечатают тебе миллион экземпляров на двух языках. На всякий случай пусть все будет готово к субботе. Полных три дня. Успеть можно... Не пиши писем. Ни мне и никому другому: за корреспонденцией следят. Если что-нибудь случится, я дам тебе знать через кого-либо из знакомых. Адрес здесь, в этом конверте. Вместе с другими точными инструкциями. И несколько карт... Нет, оставь! Ты рассмотришь это в дороге... Итак, встретимся на границе. Пункт, день и час будут назначены мной... Согласен? — Только теперь его лицо смягчилось и голос слегка дрогнул: — Так вот, есть подходящий поезд на Базель в половине первого.— Он подошел ближе и положил обе руки на плечи Жака: — Благодарю... Ты оказываешь мне

[1] Защитного цвета *(нем.)*.

большую услугу...» Его взгляд затуманился. Секунду Жаку казалось, что сейчас Мейнестрель обнимет его. Но Пилот, напротив, резким движением отдернул руки. «Я неизбежно кончил бы идиотским поступком. А этот может, по крайней мере, оказаться полезным.— И, прихрамывая, он подтолкнул Жака к двери: — Опоздаешь на поезд. До скорого свидания!»

Жак встает и подходит к окну, чтобы немного подышать воздухом. Он выглядывает наружу: знакомый пейзаж — озеро и Альпы, освещенные августовским солнцем,— в последний раз сияет перед его глазами, но он не видит его.

Женни... Еще вчера, сидя на скамье другого поезда, увозившего его из Парижа, он невыносимо страдал, у него перехватывало дыхание, как только им овладевало воспоминание о Женни. Еще раз взять в руки эту головку, заглянуть в эти голубые глаза, погрузить пальцы в эти волосы, увидеть совсем близко от себя этот затуманенный взгляд и полураскрытые губы! Еще раз, один только раз почувствовать рядом с собой это юное тело, гибкое, горячее!.. В такие минуты он вскакивал с места, выбегал в коридор, стискивал руками оконную раму и, закрыв глаза, стоял там, трепеща, содрогаясь от боли, подставляя лицо укусам ветра, дыма, осколков угля... Сейчас он может думать о ней, не испытывая таких страданий. Она покоится в его воспоминании, как страстно любимая усопшая. Непоправимое несет в себе умиротворение. С тех пор как цель так близка, все — его вчерашнее существование, Париж, потрясения последней недели — все ушло вдруг так далеко! Он думает о своей любви, как о детстве, как о далеком прошлом, которое уже ничто не может воскресить. А от будущего ему остается только грозовое завтра...

Он опускает поднятую машинально штору. Сует руки в карманы и сейчас же вынимает их,— они влажны. Эта жара доводит его до исступления — эта пыль, этот шум, эти мухи! Он снова садится, срывает с себя воротничок и, забившись в угол, высунув руку из окна, силится думать.

Осталось сделать главное: написать это воззвание, от которого зависит все. Оно должно быть как вспышка молнии среди ночи, молнии, которая ударит в сердца людей, готовых убивать друг друга, пронзит их очевидностью истины, заставит всех подняться в едином порыве!

Какие-то бессвязные слова уже сталкиваются в его голове. Намечаются даже фразы, звучные фразы митинговых выступлений.

«Неприятельские армии... Почему неприятельские? Французы, немцы... Случайность рождения. Люди одни и те же! В большинстве рабочие, крестьяне. Труженики! Да, труженики! Поче-

му же враги? Разные национальности? Но ведь интересы одинаковы! Все соединяет их! Все делает из них естественных союзников!..»

Он вынимает из кармана записную книжку, огрызок карандаша. «Не записать ли на всякий случай то, что приходит в голову?»

«Французы, немцы! Братья! Вы равны! И равно принесены в жертву! Вы жертвы навязанной вам лжи! Среди вас нет ни одного, кто добровольно оставил бы жену, детей, дом, завод, магазин, поле, чтобы служить мишенью для других тружеников, подобных вам! Тот же страх смерти. То же отвращение к убийству. Та же уверенность в том, что всякая жизнь священна. То же сознание, что война нелепа. То же стремление избавиться от этого кошмара и как можно поскорее обрести вновь жену, детей, труд, свободу, мир! И тем не менее вы стоите сегодня лицом к лицу, с заряженными винтовками, готовые по первому сигналу бессмысленно убивать друг друга, хотя вы не знаете друг друга, хотя у вас нет ни малейшего повода к ненависти, хотя вы даже не знаете, для чего вас делают убийцами!»

Поезд замедляет ход и останавливается:

«Лозанна!»

Тысяча воспоминаний... Его комната с полом из светлой ели в пансионе Каммерцинна... Софья...

Боясь, что его узнают, он не поддается искушению выйти из вагона. Он слегка отодвигает занавеску. Вокзал, платформы, газетный киоск... На третьей платформе, вон там, он прогуливался с Антуаном в один зимний вечер, перед тем как уехать в Париж к умирающему отцу!.. Ему кажется, что эта поездка с братом была десять лет назад!

Люди ходят взад и вперед по коридору с чемоданами, с детьми. Проходят два жандарма, осматривая поезд. Пожилая супружеская пара входит в его купе и располагается в нем. Муж, старый рабочий с огрубевшими от работы руками, нарядившийся ради поездки по-праздничному, снимает куртку, галстук, вытирает лоб и закуривает сигару. Жена берет куртку, аккуратно складывает ее и кладет к себе на колени.

Жак, забившись в свой угол, снова хватает записную книжку. Он лихорадочно набрасывает:

«Меньше чем в две недели — массовое, неистовое безумие. Вся Европа! Пресса, ложные известия. Все народы опьянены одинаковой ложью! То, что вчера еще казалось невозможным, нена-

вистным, стало неизбежным, необходимым, законным!.. Повсюду те же толпы, искусственно взвинченные, разъяренные, готовые ринуться друг на друга, не зная за что! Умирать и убивать стало синонимом героизма, высшего благородства!.. Для чего все это? Для кого? Где люди, несущие ответственность?»

Ответственность... Он вынимает из бумажника сложенный листок. На нем фраза, которую Ванхеде выписал для него из книги о Вильгельме II, фраза из речи, произнесенной кайзером: «Я убежден, что большая часть столкновений между нациями является результатом ухищрений и честолюбивых устремлений некоторых министров, пользующихся этими преступными средствами с единственной целью сохранить власть и увеличить свою популярность».

«Надо бы найти немецкий текст,— думает Жак,— чтобы иметь возможность сказать им: «Видите! Даже ваш кайзер...» Найти текст. Где? Как?.. Через Ванхеде? Писать нельзя. Мейнестрель запретил... Найти текст!.. В Базельской библиотеке? Но название книги? И где взять время для поисков?.. Нет... А все-таки! Найти текст!..» Кровь приливает к его лицу, вызывает головокружение. «Ответственность... Те, кто несет ответственность...» Он ерзает на диване, меняет позу. Старуха с удивлением следит за ним взглядом. Она сидит напротив на слишком высокой для нее скамье; на ней черные башмаки и белые чулки; ее короткие ноги болтаются от толчков. «Ответственность... Найти текст...» Если старуха не перестанет смотреть на него, он... Она вынимает из ручной корзинки ломоть хлеба и горсть вишен: она медленно жует, а косточки выплевывает в руку, на которой блестит обручальное кольцо. По лбу у нее разгуливает муха, но она, видимо, не чувствует этого, словно покойник... Невыносимо!

Он встает.

Как найти этот текст?.. В Базеле? Нет, нет, напрасный труд... Слишком поздно... Он знает, что не найдет его!

Жажда прохлады гонит его в коридор; он обеими руками хватается за оконную раму. Темные тучи шапкой покрывают сейчас горную цепь Альп. «Будет гроза. Вот почему так душно...»

Озеро кажется сверху густым, как ртуть; у него такой же мертвенный блеск. Опрысканные купоросом виноградники, спускающиеся к берегу,— какого-то ядовитого синего цвета.

«Ответственность... Когда ищут поджигателя, прежде всего спрашивают себя, кому выгоден пожар». Он отирает лоб, снова берет карандаш и, стоя, прислонясь к оконному наличнику, ста-

раясь быть равнодушным ко всему — к старухе, к этой предгрозовой духоте, к мухам, к шуму, к толчкам, к пейзажу, ко всей враждебной вселенной,— лихорадочно записывает:

«Таинственная сила — государство — распорядилась вами, как фермер распоряжается своим скотом!.. Государство! Что такое государство? Разве французское государство, разве немецкое государство являются подлинными, полномочными представителями народа? Защитниками интересов большинства? Нет! Государство, как во Франции, так и в Германии,— это представитель меньшинства, это поверенный по делам объединившихся спекулянтов, все могущество которых в деньгах и которые являются ныне хозяевами банков, крупных трестов, транспорта, газет, военных заводов, хозяевами всего! Бесконтрольными хозяевами покоящейся на рабстве социальной системы, которая служит выгоде немногих в ущерб интересам большинства! Мы видели эту систему в действии в последние несколько недель. Мы видели, как ее сложный механизм раздавил одну за другой все попытки сопротивления сторонников мира. И это она бросает вас сегодня с примкнутыми штыками на границу для защиты интересов, которые чужды, которые даже враждебны почти всем вам! Люди, идущие на смерть, имеют право спросить себя, кому выгодна их жертва! Право знать, отдавая свою жизнь, кому, за что они ее отдают!..

Так вот, в первую очередь ответственность за это несет кучка эксплуататоров — крупные финансисты, крупные промышленники, ожесточенно конкурирующие между собой во всех странах и сейчас готовые без колебания заклать стадо, чтобы упрочить свои привилегии, чтобы еще увеличить свое благосостояние! Благосостояние, которое, вместо того чтобы обогатить массы и облегчить их участь, послужит лишь тому, чтобы еще больше поработить тех из вас, кому удастся уцелеть в этой бойне!..

Но ответственность падает не только на этих эксплуататоров. В правительственном аппарате каждой страны они обеспечили себе поддержку и помощь... Существует еще одна категория государственных деятелей, которая должна нести ответственность, существует горсточка людей, одержимых манией величия, людей, изобличенных даже самим кайзером...»

«Найти текст,— думает он.— Найти текст...»

«...горсточка шарлатанов, министров, посланников, честолюбивых генералов, которые в тиши дипломатических канцелярий и генеральных штабов своими интригами, своими политическими

маневрами хладнокровно поставили на карту вашу жизнь, даже не посоветовавшись с вами, даже не предупредив вас, французский и немецкий народы, вас — ставку в их темной игре... Ибо дело обстоит именно так: в нашей демократизированной Европе XX века нет ни одного народа, который сумел бы сохранить за собой руководство внешней политикой своей страны; и ни один из тех парламентов, которые вы избрали, которые должны были бы являться вашими представителями, ни один из них никогда ничего не знает о тех секретных обязательствах, которые могут в любой день погнать вас — всех вас — на бойню.

И, наконец, за этими главными виновниками стоят, как во Франции, так и в Германии, все те, кто более или менее сознательно сделал войну возможной, либо покровительствуя спекуляциям банков, либо оказывая свою корыстную поддержку честолюбивым устремлениям государственных деятелей. Это — консервативные партии, организации предпринимателей, националистическая пресса! Это также церковь, духовенство, которое фактически почти везде образует своего рода духовную жандармерию, состоящую на службе у имущих классов,— церковь, которая, изменив своему высшему долгу, повсюду сделалась союзницей и заложницей богачей».

Жак прекращает писать и тщетно пытается прочесть написанное. Огрызок карандаша, судорожно зажатый в пальцах, лихорадочное возбуждение, неудобная поза, толчки поезда — все это делает его почерк почти неразборчивым.

«Выкинуть лишнее,— думает он.— Плохо... Много повторений... Слишком длинно. Чтобы убедить, надо написать насыщенно и сжато. Но для того, чтобы они могли обдумать, опомниться, надо дать им все основные данные!.. Трудно!»

Он больше не может стоять. Сесть, побыть одному... Он проходит по коридору в поисках пустого купе. Все занято, везде шумно. Волей-неволей он возвращается на свое место.

Солнце, близкое к закату, наполняет вагон ослепительным красным золотом. Отупев от жары, мужчина храпит, опершись на локоть, с погасшей сигарой в зубах. Старуха, все еще держа куртку на сдвинутых коленях, обмахивается газетой; дуновение воздуха шевелит завитки ее седых волос. Она как будто бы не смотрит на Жака, но он то и дело ловит на себе ее беглый, тупой и суровый взгляд.

Тогда он скрещивает на груди руки, закрывает глаза, считает до ста, чтобы заставить себя успокоиться. И вдруг, побежденный усталостью, засыпает.

Внезапно он просыпается, пораженный тем, что мог уснуть. Который час? Поезд замедлил ход. Что за станция? Его соседи по купе уже встали. Мужчина снова надел куртку, разжег свой окурок; женщина запирает корзину висячим замком. Жак в каком-то оцепенении; он пытается узнать вокзал. Берн? Уже?

— *Grüetzi* [1],— говорит ему мужчина, проходя мимо.

На платформе полно народу. Поезд берут приступом. Купе заполнило словоохотливое семейство, говорящее по-немецки: мать, бабушка, две девочки, няня. Багажные сетки гнутся под множеством корзин с провизией, детских игрушек. У женщин усталые, испуганные лица. Девочки, измученные духотой, ссорятся из-за места в углу. Ясно, что война застигла этих людей во время каникул, и они возвращаются на родину; отец, должно быть, в один из первых же дней мобилизации уехал в свой полк.

Поезд трогается.

Жак выбегает в коридор, битком набитый стоящими пассажирами; по большей части это мужчины.

Слева трое молодых швейцарцев громко разговаривают по-французски.

— Вивиани остается премьер-министром, но без портфеля...

— А кто такой этот Думерг, будущий министр иностранных дел?

Справа два пассажира — юный студент с портфелем под мышкой и пожилой человек в пенсне, как видно, профессор,— просматривают газеты.

— Видели? — насмешливо говорит студент, передавая своему спутнику «Журналь де Женев».— Папа выкинул ловкую штуку. Он опубликовал «Призыв к католикам всего мира!».

— Понятно! — отвечает его собеседник.— Что ни говори, а на земле существуют еще миллионы католиков. Папская анафема? Да, может быть, если бы она была категорической, громкой... И если бы ее пустили в ход *до того,* как это началось...

— Да вы прочтите,— продолжает студент.— Вы, должно быть, думаете, что он торжественно осуждает войну? Обвиняет правительства? С треском отлучает от церкви все без различия воюющие государства? Как бы не так! А традиционная осторожность Ватикана? Знаете, что он нашел нужным сказать этим миллионам католиков, которых завтра вооружат и пошлют убивать и которые, конечно, в тревоге ждут его повелений, чтобы успокоить свою совесть? Так вот — он отнюдь не сказал им: «Откажись! Не убий!» — что, может быть, действительно сделало бы войну

---

[1] Диалектальная форма от «Grüss Sie Gott» — «Да хранит вас бог» (*нем.*).

невозможной... Нет! Он ласково говорит: «Идите на фронт, дети мои!.. Идите, но не забудьте *вознести ваши души ко Христу!*»

Жак рассеянно слушает. Ему вдруг приходит на память один мобилизованный священник, которого он где-то видел. Где же? На Северном вокзале, когда он провожал Антуана... Молодой, похожий на спортсмена священник с блестящими глазами (тип аббата — сотрудника «светских католических обществ», «вожака молодежи»), с двумя походными сумками поверх рясы, подобранной над новенькими башмаками альпиниста, и в маленькой шапочке сержанта, кокетливо сдвинутой набекрень... Северный вокзал, Антуан... Антуан, Даниэль, Женни... Все те, кого он невольно вспоминает, и все эти мужчины и женщины вокруг него составляют часть мира, к которому он больше не принадлежит: мира живых, у которых есть будущее и которые без него продолжат свой путь...

Слева трое молодых швейцарцев с негодованием обсуждают ультиматум, предъявленный Германией Бельгии.

Жак делает шаг в их сторону и прислушивается.

— Было объявлено: сегодня ночью корпус германской армии перешел бельгийскую границу и двигается на Льеж.

Из соседнего купе выходит средних лет мужчина и присоединяется к группе разговаривающих. Он бельгиец. Он спешно возвращается в Намюр, чтобы записаться добровольцем.

— Я социалист,— заявляет он сейчас же,— но именно поэтому я не могу допустить, чтобы Сила раздавила Право!

Он произносит целую речь. Повышает тон. Клеймит презрением тевтонское варварство; превозносит западную культуру.

Подходят другие пассажиры. Все в равной степени возмущаются цинизмом германского правительства.

— Сегодня утром собралась бельгийская палата депутатов,— говорит человек лет пятидесяти; в его французском языке чувствуется сильный немецкий акцент.— Как вы думаете, будут социалисты голосовать за кредиты на национальную оборону?

— Все, как один! — восклицает бельгиец, сокрушая своего собеседника пламенным, вызывающим взглядом.

Жак молчит. Он знает, что бельгиец говорит правду. Но он с яростью вспоминает выступления бельгийских социалистов в Брюсселе, их проповедь безоговорочного пацифизма... Вандервельде... В прошлый четверг... Не прошло и шести дней!..

— В Париже тоже сегодня собирается палата,— говорит один из швейцарцев,— стоит вопрос о военных кредитах.

— То же самое будет и в Париже! — пылко заявляет бельгиец.— Во всех союзных странах социалисты будут голосовать за кредиты — это не подлежит сомнению! За нас Справедливость!.. Эта война навязана нам. Каждый истинный социалист должен

быть в первых рядах борьбы против прусского империализма! — Говоря это, он не перестает демонстративно смотреть на человека с немецким выговором; тот молчит.

На помощь «Отечеству в опасности»! Долой германский империализм! Таков общий припев. Во всех левых французских газетах, которые Жак прочел вчера, был единый лозунг: социалисты повсюду отказывались от сопротивления. Вчера кое-где в предместьях были еще объявлены собрания секций, но они созывались только для «обсуждения способов помощи семьям мобилизованных»! Война стала совершившимся фактом; фактом, принятым без сопротивления. Особенно показателен был номер «Гэр сосьяль». Гюстав Эрве имел наглость написать в передовой: «Жорес, вы счастливы, что не присутствуете при крушении нашей прекрасной мечты... Но мне жаль вас, ибо вы ушли, не увидев, как наша пылкая, восторженная, полная идеализма нация приняла необходимость идти исполнять свой горестный долг! Вы были бы горды нашими рабочими-социалистами!..» И еще более показательным было «Воззвание к железнодорожникам», опубликованное тем самым профсоюзом железнодорожников, который еще так недавно и с таким жаром утверждал свой антинационализм: «Перед лицом всеобщей опасности стираются старые разногласия! Социалисты, синдикалисты и революционеры, вы опрокинете низкие расчеты Вильгельма и первыми ответите на призыв, когда прозвучит голос Республики!» «Какая насмешка!..— думал Жак.— Вот и осуществилось в каждой стране то самое единодушие народных партий, которое казалось невозможным! И осуществилось именно *благодаря* войне! Тогда как, будь оно направлено *против* нее... Какая насмешка! Приверженцы Интернационала, единодушно принимающие сегодня войну *во имя нации!* Тогда как две недели назад они могли бы воспрепятствовать ей, стоило им проявить единодушие в вопросе о превентивной забастовке!» Единственный и последний отголосок независимости Жак нашел в одной английской газете, в «Дэйли ньюс»; статья звучала так, как звучали воззвания, написанные до того, как был предъявлен ультиматум Бельгии. В ней разоблачалось зарождение в английском общественном мнении первых агрессивных течений и провозглашалась необходимость для Англии защитить себя от заразы, сохранить свою свободу, свой нейтралитет арбитра и не вмешиваться в войну ни в коем случае, даже если бы одна из враждующих армий рискнула нарушить бельгийскую границу. Да... Но сегодня правительство Англии заявило, что оно тоже великодушно соглашается принять участие в пляске смерти!

Звучный голос бельгийского социалиста раздается в коридоре:

— Сам Жорес первый подал бы пример! Да, да, Жорес. Он сам побежал бы записываться добровольцем!

«Жорес...— думает Жак.— Помешал ли бы он отступничеству? Выдержал ли бы до конца?» Он вдруг снова видит себя вместе с Женни перед кафе на улице Монмартр... безмолвную толпу, собравшуюся в темноте... санитарную карету... «По-настоящему они хоронят его только сегодня,— думает он.— Цветы, речи, трехцветные знамена, военные оркестры! Они завладели трупом великого человека и спекулируют его именем во славу отечества... Да, если уж гроб Жореса движется по мобилизованному Парижу, не вызывая бунта, значит, все кончено, значит, *рабочий Интернационал* действительно умер и его хоронят вместе с Жоресом...»

Да, сейчас все кончено там, в загипнотизированных городах; да, в тылу лопнули сейчас все пружины. Но несчастные, уже соприкоснувшиеся с войной на линии огня, ждут лишь призыва, чтобы стряхнуть дьявольское наваждение,— он в этом уверен. Одна искра — и освободительный мятеж наконец разразится!..

Бессвязные фразы снова начинают возникать в голове Жака: «Вы молоды, полны сил... Вас посылают на смерть... У вас насильно отнимают вашу жизнь! Для чего? Чтобы превратить ее в новый капитал в сундуках банкиров!..» Он ощупывает в кармане записную книжку. Но как писать в этой суете, в этом шуме? Впрочем, меньше чем через двадцать минут он будет в Базеле. Надо будет разыскать Платнера, постараться найти комнату, пристанище, где бы можно было работать...

Вдруг он принимает другое решение. Это хорошо, что он поспал. Он чувствует себя бодрым, энергичным. Платнер может подождать. Было бы глупо дать остыть охватившему его возбуждению. Вместо того чтобы бегать по городу, он укроется где-нибудь в уголке, в зале ожидания, и фразы, которые кипят и теснятся в его мозгу, лягут на бумагу, еще совсем горячие... В зале ожидания или же в буфете — потому что он умирает от голода.

LXXX

Нежданное убежище! Буфет *Dritterklasse* [1] так просторен, что посетители, хотя и многочисленные, занимают лишь центр зала; в глубине совершенно пусто.

---

[1] Третьего класса *(нем.)*.

Жак выбрал у стены большой стол посреди других свободных больших столов.

Он снял пиджак, расстегнул ворот рубашки. Жадно проглотил вкусную порцию телятины, щедро политой жиром и поджаренной ломтиками на сковородке, с гарниром из моркови. Выпил целый графин воды со льдом.

Под потолком жужжат вентиляторы. Служанка поставила перед Жаком, рядом с чашкой ароматного кофе, принадлежности для письма.

У стойки прохаживается официант с подносом: *«Cigaren! Cigaretten!»* [1] Да, да, *Cigaretten!*.. После двенадцатичасового воздержания первая затяжка восхитительна! Пьянящее блаженство, новый поток жизненной энергии пробегает по его жилам, вызывает дрожь в руках. Нагнувшись над столом, нахмурив брови, глядя прищуренными глазами сквозь табачный дым, он не ждет, не старается привести в порядок мысли, теснящиеся в мозгу. Выборку можно будет сделать потом, на свежую голову...

Его перо уже бегает по бумаге в жадном нетерпении:

«Французы и немцы, вы жертвы обмана!

В обоих лагерях вам изобразили эту войну не только как войну оборонительную, но как борьбу за Право народов, за Справедливость, за Свободу. Почему? Потому что прекрасно знали, что ни один рабочий и крестьянин Германии, ни один рабочий и крестьянин Франции не отдал бы свою кровь за войну наступательную, за завоевание территорий и рынков!

Всех вас уверили, что вы идете драться, чтобы раздавить военный империализм соседа. Как будто милитаризм всех стран не стоит один другого! Как будто воинственный национализм не имел за эти последние годы столько же сторонников во Франции, сколько и в Германии! Как будто уже долгие годы империализм обоих наших правительств не подготовлял втайне возможности войны!.. Вы жертвы обмана! Всех вас уверили, что вы идете защищать свою родину от преступного вторжения зачинщиков войны, в то время как каждый из ваших генеральных штабов,— французский так же, как и немецкий,— уже долгие годы с одинаковым бесстыдством изучал способы, как бы первому начать сокрушительное наступление, в то время как в обеих ваших армиях ваши начальники пытались обеспечить себе преимущества той самой «агрессии», которую сейчас они пытаются приписать противнику, чтобы оправдать в ваших глазах войну, *подготовленную* ими...

---

[1] Сигары! Папиросы! *(нем.)*

Вы — жертвы обмана! Лучшие из вас искренне верят, что жертвуют собой ради Права Народов. Но ведь с Народами и с Правом считались лишь в официальных речах! Но ведь ни одна из ввергнутых в войну наций не была опрошена путем плебисцита! Но ведь всех вас послали на смерть в силу секретных данных, произвольных соглашений, содержание которых вам неизвестно и которые никогда не подписал бы ни один из вас! Все вы — жертвы обмана! Вы, обманутые французы, поверили, что надо преградить путь германскому вторжению, защитить цивилизацию от угрожающих ей варваров. Вы, обманутые немцы, поверили, что ваша Германия окружена, что судьбе страны грозит опасность, что надо спасать ваше национальное благосостояние от иностранных вожделений. И все вы, немцы и французы, равно обманутые, вы искренне поверили, что эта война является священной войной только для вашего народа и что надо без колебаний из патриотизма пожертвовать ради «чести нации», ради «торжества Справедливости» вашим счастьем, свободой, жизнью!.. Вы обмануты! Охваченные тем искусственным возбуждением, которым бесстыдная пропаганда в конце концов заразила вас за несколько дней,— всех вас, ее будущих жертв,— вы героически выступили друг против друга по первому призыву родины, той родины, которой никогда не угрожала никакая реальная опасность! Не понимая, что по обе стороны фронта вы стали игрушкой ваших правящих классов! Не понимая, что вы являетесь ставкой в их игре, разменной монетой, которой они сорят, чтобы удовлетворить свою потребность в господстве и наживе!

Ибо совершенно одинаковой ложью исподтишка одурачили вас законные власти Франции и Германии! Никогда еще правительства Европы не проявляли подобного цинизма, не располагали таким арсеналом ухищрений, помогавших им множить клевету, подсказывать неверное толкование событий, распространять ложные известия, всеми средствами сеять ту панику и ту злобу, которые были им необходимы, чтобы сделать вас своими сообщниками!.. В несколько дней, даже не успев оценить огромность требуемой от вас жертвы, вы оказались запертыми в казармы, вооруженными, посланными на убийство и смерть. Все свободы уничтожены сразу, одним ударом. В обоих лагерях, в один и тот же день, осадное положение! В обоих лагерях беспощадная военная диктатура! Горе тому, кто хочет рассуждать, требовать отчета, кто хочет опомниться! Да и кто из вас смог бы это сделать? Вы не знаете правды! Ваш единственный источник информации — официальная пресса, националистическая ложь! Всемогущая в уже закрытых границах своей страны, эта пресса говорит сейчас не своим голосом,— она говорит голосом тех, кто распоряжается

вами и кому ваше легковерное неведение, ваша покорность необходимы для осуществления их преступных целей!

Ваша вина в том, что вы не предупредили пожара, когда еще было время. Вы могли помешать войне! Вы — мирные люди — представляете собой подавляющее большинство, но вы не сумели ни сгруппировать это большинство, ни организовать его, ни заставить вовремя вмешаться в события решительно и дружно, чтобы направить против поджигателей возмущение всех классов, всех стран и принудить правительства Европы подчиниться вашей воле к миру.

Сейчас беспощадная дисциплина повсюду надела намордник на сознание отдельного человека. Вы повсюду приведены к слепому повиновению — повиновению животного, которому завязали глаза... Никогда еще человечество не знало подобного принижения, подобного ущемления разума! Никогда правительства, пользуясь своим могуществом, не предписывали умам такого полного отречения, никогда не подавляли устремлений масс так жестоко!»

Жак гасит о блюдечко окурок папиросы, обжегший ему губы. Сердитым жестом он отбрасывает прядь волос со лба и вытирает пот, который течет у него по щекам. «Никогда не подавляли устремлений масс так жестоко!» Эти звучные слова так громко отдаются в его ушах, словно он сам выкрикнул их на фронте, стоя перед этими двумя армиями, которые он видит с отчетливостью галлюцинации. Он испытывает такой же подъем, такую же бурю в крови, такой же необычайный прилив сил, какие наэлектризовывали его в былые дни, когда внезапный порыв веры, гнева и любви, властная потребность убедить и увлечь толкали его на трибуну какого-нибудь митинга и сразу поднимали над толпой и над самим собой в опьянении импровизации.

Не зажигая вынутой из кармана папиросы, он снова дает волю своему перу:

«Теперь вы отведали их войны!.. Вы услышали свист пуль, стоны раненых, умирающих! Теперь вы можете представить себе ужас бойни, которую они вам готовят!.. Большинство из вас уже отрезвело, и вы чувствуете, как в глубине вашего сознания дрожит стыд — стыд за то, что вы поддались обману так покорно! Воспоминание о дорогих вам людях, покинутых так поспешно, неотступно преследует вас. Под давлением действительности ум ваш просыпается, у вас открываются глаза,— наконец-то! Что же будет с вами, когда вы поймете, ради каких низких побуждений, ради каких надежд на завоевание и гегемонию, ради каких материальных выгод — выгод, которые вам чужды и которыми ни

один из вас никогда не воспользуется,— денежные феодалы, хозяева этой войны, заставили вас пойти на столь чудовищную жертву?

Что сделали с вашей свободой? С вашей совестью? С вашим человеческим достоинством? Что сделали со счастьем вашего семейного очага? Что сделали с единственным сокровищем, которое обязан защищать человек из народа,— с жизнью? Разве французское государство, разве немецкое государство имеют право отрывать вас от вашей семьи, от вашей работы и распоряжаться вашей жизнью, не считаясь с самыми очевидными вашими интересами, не считаясь с вашей волей, не считаясь с самыми гуманными, с самыми чистыми, с самыми законными вашими инстинктами? Что же дало им эту чудовищную власть над вашей жизнью и смертью? Ваше неведение! Ваша пассивность!

Молния мысли, вспышка возмущения — и вы еще сможете освободиться!

Неужели вы не способны на это? Неужели вы будете под снарядами, испытывая жесточайшие физические и нравственные муки, ждать этого далекого мира — мира, которого никогда не увидите вы, первые жертвы этой войны; мира, которого, должно быть, не увидят даже и ваши младшие братья, те, кто будет призван, чтобы заменить вас на линии огня, и кто обречен на «славную» смерть, подобно вам?

Не говорите, что уже поздно, что вам остается только одно — безропотно принять рабство и смерть. Это было бы малодушием!

И это было бы ошибкой!

Наоборот, настала минута сбросить с себя ярмо! Свобода, безопасность, радость жизни,— все это похищенное у вас счастье можно завоевать вновь, и это зависит только от вас!

Опомнитесь, пока еще не поздно!

У вас есть средство, верное средство поставить генеральные штабы перед невозможностью продлить эту братоубийственную войну хотя бы на один день. Это средство — отказ драться! Это средство — коллективное возмущение, которое сразу уничтожит их власть.

Вы можете это сделать!

Вы можете это сделать ЗАВТРА ЖЕ!

Вы можете это сделать, *не рискуя* подвергнуться никаким репрессиям!

Но для этого необходимы три условия, *три непременных условия:* ваше восстание должно быть внезапным, всеобщим и одновременным.

Внезапным — потому, что надо не дать времени вашему начальству принять против вас предупредительные меры. Всеобщим и одновременным — потому, что успех зависит от массового

выступления, начавшегося в одно и то же время по обе стороны границы! Если откажутся принести себя в жертву только пять — десять человек, то они будут расстреляны без всякой пощады. Но если вас будет пятьсот, тысяча, десять тысяч, если вы восстанете все, как один, в обоих лагерях сразу, если ваш крик возмущения будет передаваться от полка к полку в обеих ваших армиях, если вы проявите, наконец, свою силу — неуязвимую силу миллионов,— никакие репрессии не смогут иметь места! И начальники, которые командуют вами, и правительства, давшие вам этих начальников,— все они окажутся в несколько часов парализованными навсегда в самом центре своего преступного могущества!

Поймите всю торжественность этой решительной минуты! Чтобы одним ударом вернуть свою независимость, нужны только три условия, и все три зависят только от вас самих: ваше восстание должно быть *внезапным,* оно должно быть *единодушным* и одновременным!»

У него напряженное лицо, прерывистое, свистящее дыхание. На секунду он перестает писать и поднимает невидящий взгляд к стеклянной крыше. Реальный мир исчез: он ничего не видит, ничего не слышит; перед ним нет ничего, кроме этих тысяч обреченных, кроме этих обращенных к нему лиц, искаженных мучительным страхом.

«Французы и немцы! Вы — люди, вы — братья! Во имя ваших матерей, ваших жен, ваших детей, во имя самого благородного, что есть в ваших сердцах, во имя духа созидания, который идет из глубины веков и один только делает человека справедливым и разумным существом, воспользуйтесь этой последней возможностью! Спасение близко! Восстаньте! Восстаньте все, пока еще не поздно!

Это воззвание, во многих тысячах экземпляров, сброшено сегодня одновременно как во Франции, так и в Германии, по всей линии фронта. В эту самую минуту в обоих ваших лагерях тысячи французских и немецких сердец трепещут той же надеждой, что и ваши, тысячи кулаков сжимаются, тысячи умов голосуют за восстание, за торжество жизни над ложью и смертью.

Смелее! Без колебаний! Малейшее промедление смерти подобно! Восстание должно вспыхнуть *з а в т р а!*

ЗАВТРА, В ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧАС, С ВОСХОДОМ СОЛНЦА, вы, французы и немцы, все вместе, в едином порыве героизма и братской любви бросьте оружие, откажитесь воевать, издайте один и тот же крик освобождения!

Восстаньте все, откажитесь от войны! Заставьте государства немедленно восстановить мир!

Завтра, с первыми лучами солнца, восстаньте все!»

Он осторожно кладет перо на чернильницу.

Его грудь медленно распрямляется и слегка отдаляется от стола. Глаза опущены. Движения мягки, заглушенны, бесшумны, словно он боится спугнуть птицу. Лицо потеряло напряженность. Кажется, он чего-то ждет: завершения внутреннего процесса, немного болезненного. Ждет, чтобы сердце успокоилось, чтобы кровь в висках перестала стучать так сильно, чтобы медленное возвращение к действительности произошло без чрезмерных страданий...

Машинально он собирает листки, исписанные лихорадочным почерком, без помарок. Он складывает их, ощупывает и вдруг с силой прижимает к груди. Голова его на секунду склоняется, и, почти не шевеля губами, он шепчет, как молитву: «Возвратить людям мир...»

LXXXI

Платнер поместил Жака у старухи, матери одного социалиста, по фамилии Штумф, которого партия недавно послала куда-то с поручением. Считается, что Жак поселился в Базеле для того, чтобы работать в книжной лавке: Платнер вручил ему оформленный по всем правилам договор. В случае, если полиция, ставшая после объявления войны особенно ретивой, заинтересуется его присутствием, он сможет доказать, что у него есть служба и определенное место жительства.

Дом старой г-жи Штумф, находящийся в Малом Базеле, в нищем квартале Эрленштрассе (недалеко от Грейфенгассе, где держит свой магазинчик Платнер),— это расшатанная лачуга, обреченная на слом. Комната, снятая Жаком, похожа на узкий коридор, прорезанный двумя низкими окошками — по одному на каждом конце. Одно, без стекол, выходит во двор; со двора поднимается вонь от крольчатника и прокисших отбросов. Другое выходит на улицу, за которой виднеются угольные склады пограничной баденской станции, иными словами — почти на германскую территорию. Над головой — так низко, что можно достать их рукой,— тянутся ряды кровельных черепиц, нагретых солнцем и создающих днем и ночью температуру раскаленной печи.

Здесь, в этой парильне, запирается Жак, чтобы отшлифовывать свое воззвание, поддерживая силы кружкой кофе и бутер-

бродом с гусиным жиром, которые по утрам ставит у его двери мамаша Штумф. Иногда около полудня духота становится до того невыносимой, что он делает попытку сбежать. Но, выйдя на улицу, сейчас же с сожалением вспоминает о своей конуре и спешит вернуться в нее. Он снова ложится на кровать и здесь, обливаясь потом, с закрытыми глазами, снова нетерпеливо разматывает клубок своей мечты... Аэроплан высоко в небе... Сидя позади Мейнестреля, он нагибается, хватает охапки листовок, бросает их в пространство... Гуденне мотора сливается с пульсацией его крови. Птица с огромными крыльями — это он сам; из собственного сердца вырывает он эти послания, чтобы рассеять их над миром... *«Завтра, с восходом солнца, восстаньте все!»* Отдельные части воззвания располагаются в стройном порядке. Фразы понемногу отливаются в определенную форму. Он знает их наизусть. Лежа, устремив взгляд в потолок, он без конца повторяет их. Иногда вдруг вскакивает, бежит к столу, чтобы изменить какой-нибудь абзац, переставить слово. Потом снова бросается на кровать. Он почти не замечает окружающей его жалкой обстановки. Живет среди своих грез... Он видит, как мятеж распространяется... На командных пунктах совещаются офицеры, мечутся испуганные писаря; сообщение со ставкой главнокомандующего прервано... Какие бы то ни было репрессии невозможны. Если правительства хотят еще хоть для вида сохранить престиж, им остается одно: спешно заключить перемирие...

Эта навязчивая идея гложет его, но и поддерживает — как кофе. Он не может больше обходиться ни без того, ни без другого. Как только какая-нибудь настоятельная необходимость — короткое посещение книжной лавки или просто встреча на лестнице с г-жой Штумф — на мгновение отрывают Жака от его мечты, он испытывает такое болезненное чувство, что спешит вернуться в свое уединение, как наркоман к своему наркотику. И тотчас же находит облегчение. Не только спокойствие, но вместе с ним какое-то радостное, полное энергии возбуждение... По временам, когда дрожь в руке вынуждает его перестать писать или когда он видит в осколке зеркала на стене свое лоснящееся от пота лицо, впалые щеки, взгляд — взгляд маньяка, ему впервые в жизни приходит мысль, что он болен. И эта мысль вызывает у него улыбку. Какое значение имеет это теперь?.. Удушливой ночью, когда ему не удается сомкнуть глаз, когда он каждые десять минут встает, чтобы смочить в кувшине полотенце и обтереть им пылающее тело, он на минуту останавливается перед окошком. Оно выходит в ад: в грохоте пакгаузов копошится при свете дуговых ламп целая армия железнодорожников; дальше, в темноте депо, с шумом катятся тележки, сталкиваются вагонетки, во всех

направлениях разбегаются огоньки; а еще дальше, на блестящих рельсах, свистят и маневрируют бесконечные составы, которые сейчас, один за другим, провалятся во мрак воюющей Германии. Тогда он улыбается. Он один знает. Он один знает, что вся эта суета напрасна... Избавление близится. Листовка написана. Каппель сделает немецкий перевод. Платнер напечатает миллион двести тысяч экземпляров... В Цюрихе Мейнестрель готовит аэроплан... Еще несколько дней! *«Завтра, с первым лучом солнца, восстаньте все!»*...

После двух суток лихорадочной работы он решается наконец отдать свою рукопись. «Быть готовым к субботе»,— сказал Мейнестрель...

Платнер стоит в задней комнате своей книжной лавки среди кип бумаги за двойной, обитой клеенкой дверью; несмотря на утренний час, все ставни закрыты. (Это человек лет сорока, маленького роста, некрасивый, тщедушный; у него больной желудок и дурно пахнет изо рта. Грудная клетка выступает вперед, как грудная кость птицы; лысый череп, худая шея, выдающийся вперед горбатый нос делают его похожим на ястреба. Этот торчащий нос как будто увлекает все тело вперед и перемещает центр тяжести, отчего Платнеру постоянно кажется, что его равновесие нарушено: неприятное ощущение, передающееся и собеседнику. Надо привыкнуть к его неблагодарной внешности, чтобы заметить простодушный взгляд, добрую улыбку, ласковый, немного тягучий голос, который часто дрожит от волнения и в котором каждую минуту словно сквозит готовность отдать свою дружбу. Но Жаку не нужен новый друг. Ему никто больше не нужен.)

Платнер ошеломлен. Слух о том, что парламентская фракция социал-демократов голосовала в рейхстаге за военные кредиты, подтвердился.

— Голосование французских социалистов в палате — это уже страшный удар,— признается он дрожащим от негодования голосом.— Хотя после убийства Жореса этого до некоторой степени можно было ожидать... Но немцы! Наша социал-демократия, великая пролетарская сила Европы!.. Это самый жестокий удар за всю мою жизнь социалиста. Я отказывался верить официальной прессе. Готов был дать руку на отсечение, что социал-демократы все, как один, сочтут необходимым публично заклеймить имперское правительство. Прочитав сообщение агентства, я рассмеялся! От него пахло ложью, ловкой плутней! Я говорил себе: «Завтра мы прочтем опровержение!» И вот... Сегодня надо признать факт очевидным. Все верно, до ужаса верно!.. Еще неизвестно, как все это проис-

ходило за кулисами. Может быть, мы никогда не узнаем правды... Райер уверяет, что двадцать девятого Бетман-Гольвег пригласил Зюдекума, чтобы добиться от него прекращения оппозиции социал-демократов...

— Двадцать девятого? — переспрашивает Жак.— Но ведь двадцать девятого в Брюсселе — речь Гаазе!.. Я был там! Я его слушал!

— Возможно. Однако Райер утверждает, что, когда немецкая делегация вернулась в Берлин, состоялось заседание центрального комитета и было вынесено решение подчиниться: кайзер знал, что может издать приказ о мобилизации, что восстания, что всеобщей забастовки не будет!.. Должно быть, до голосования в рейхстаге центральный комитет устроил закрытое заседание, которое, вероятно, прошло не так уж гладко. Я еще отказываюсь сомневаться в таких людях, как Либкнехт, Ледебур, Меринг, Клара Цеткин, Роза Люксембург, но, по-видимому, они оказались в меньшинстве и им пришлось уступить предателям... Факт налицо: голосовали *за!* Тридцать лет усилий, тридцать лет борьбы, медленных и трудных завоеваний сведены на нет одним голосованием! За один день социал-демократическая партия навсегда потеряла уважение пролетариата... Русские социалисты не склонились перед царизмом в думе! Они все голосовали против войны! И в Сербии тоже! Я видел копию письма Душана Поповича. Сербская социалистическая оппозиция остается несокрушимой! А между тем это единственная страна, где патриотизм национальной обороны мог бы еще иметь некоторое оправдание!.. Даже в Англии сопротивление упорно продолжается: Кейр-Харди не складывает оружия. Я читал последний номер «Индепендент лейбор парти». Это все-таки утешительно, правда? Не надо отчаиваться. Понемногу мы заставим прислушаться к нам. Не всем же нам заткнут рот... Держаться крепко вопреки и наперекор всему! Интернационал возродится! И в день своего возрождения он потребует отчета у тех, кто пользовался его доверием и кого так легко приручила диктатура империализма!

Жак не прерывает его. Он делает вид, что соглашается. После того, что он видел в Париже, никакое отступничество уже не может больше его удивить.

Он берет со стола несколько газет и рассеянно пробегает заголовки: «Сто тысяч немцев идут на Льеж... Англия мобилизует флот и армию... Великий князь Николай назначен главнокомандующим всеми русскими военными силами... Нейтралитет Италии объявлен официально... Победоносное наступление французов в Эльзасе».

В Эльзасе... Жак бросает газеты. Наступление в Эльзасе... «Теперь вы отведали их войны! Вы услышали свист пуль...» Все, что

отвлекает его от одинокой экзальтации, стало для него невыносимым. Ему не терпится уйти из магазина, оказаться на улице.

Как только Платнер берется за рукопись, чтобы начать подготовку к набору, Жак убегает, несмотря на просьбы остаться.

Базель раскрывается перед ним. Базель и его величественный Рейн, его сады, скверы; Базель с его контрастами тени и света, зноя и прохлады; Базель и его фонтаны, в которых Жак освежает потные руки... Августовское солнце пылает в раскаленном небе. От асфальта поднимается терпкий запах. Каким-то переулком Жак поднимается к собору. Соборная площадь безлюдна: ни экипажей, ни прохожих... Базельский конгресс 1912 года!.. Церковь, видимо, закрыта. Ее красный песчаник напоминает по цвету старинную глиняную посуду; древняя рака из обожженной глины, одиноко стоящая на солнце, монументальная и никому не нужная.

На площадке, возвышающейся над Рейном, под каштанами, где тень церковного свода и течение реки создают прохладу, нет никого, кроме Жака. Снизу, из школы плавания, скрытой в зелени, доносятся время от времени веселые крики. Жак один с дикими голубями. С минуту он следит взглядом за их полетом. Нет, никогда еще до приезда в Базель он, отшельник, не чувствовал себя до такой степени одиноким. И он с восторгом упивается величием, мощью этого полного, этого безусловного одиночества. Он не хочет нарушать его до тех пор, пока все не будет совершено... Внезапно, сам не зная почему, он думает: «Я поступаю так только от отчаяния. Я поступаю так только для того, чтобы убежать от себя... Я не остановлю войну... Я никого не спасу, никого, кроме самого себя... Но себя я спасу, отдав свою жизнь!» Он встает, чтобы отогнать ужасную мысль. Сжимает кулаки: «Быть правым наперекор всем! И найти спасение в смерти...»

Над красноватым парапетом поверх излучины реки, между мостами, поверх колоколен, поверх труб заводов Малого Базеля виднеется на горизонте плодоносный и лесистый край, подернутый теплой дымкой испарений: это Германия — сегодняшняя Германия, мобилизованная Германия, которую грохот оружия уже потряс до самых недр. Жака охватывает желание пойти на запад, дойти до той точки, где линия границы идет по Рейну: там с крутого швейцарского берега он увидит перед собой — так близко, что можно добросить камень,— германский берег, поля и села, принадлежащие Германии.

Кварталом Санкт-Альбан Жак доходит до предместья. Солнце медленно поднимается в неумолимом небе. Нарядные виллы среди

подстриженных живых изгородей, их зеленые беседки, качели, клумбы, орошаемые струйками воды, белые столики, накрытые цветными скатертями,— все свидетельствует о том, что ничто еще не нарушало спокойствия этого уголка, укрывшегося в сердце охваченной пожаром Европы, что зараза еще не проникла сюда. Однако в Бирсфельдене Жак встретил батальон швейцарских солдат в походной форме, который с песнями спускался с Гарда.

Лес растянулся справа, по склону холма. Длинная аллея, идущая параллельно реке, прорезает рощицу молодых деревьев. На дощечке надпись: *«Waldhaus»* [1]. Слева, между стволами, виднеется зеленая, залитая солнцем равнина, посреди которой течет извилистый Рейн; справа, наоборот,— густая чаща, лесистый и крутой склон горы. Жак медленно шагает вперед, не думая ни о чем. После этих дней затворничества, после ходьбы по жаре среди домов тень деревьев приносит ему успокоение. На вершине холмика, прислонясь к нему, стоит среди зелени белое строение. «Это, должно быть, и есть их *«Waldhaus»*,— думает Жак. Тропинка наискось спускается к берегу. От близости воды мелкая поросль в лесу делается еще более свежей. И вдруг Жак оказывается на берегу Рейна.

Германия — там. Она отделена от него только этой сверкающей струей.

Германия безлюдна. На противоположном берегу нет больше ни одного рыбака. Ни одного земледельца на обсаженных яблонями лугах, расстилающихся между рекой и рядом маленьких домиков с красными крышами, которые скучились вокруг колокольни у подножия холмов, загораживающих горизонт. Но у самой воды Жак различает верх полосатой трехцветной будки, полускрытой густыми зарослями откоса. Что это? Вышка часового? Пост пограничников? Таможенных досмотрщиков?..

Он не может оторвать взгляд от этого пейзажа, где так много таинственных примет. Засунув руки в карманы, неподвижно стоя на сырой земле, он не спеша разглядывает Германию и Европу. Никогда еще он не был так спокоен, не мыслил так проникновенно, не отдавал себе такого ясного отчета в своих поступках, как в эту минуту, когда, один на берегу исторической реки, он широко раскрытыми глазами смотрит на мир и на свою судьбу. Наступит день, наступит день!.. Сердца забьются в унисон, равенство людей осуществится, неся с собой достоинство и справедливость... Может быть, так надо, чтобы человечество прошло еще и через этот этап ненависти и насилия, прежде чем достигнуть эры братства... Что

[1] Лесная сторожка *(нем.)*.

касается его, Жака, то он не станет ждать. В его жизни наступил тот час, когда он обязан принести людям этот безраздельный дар. Отдавался ли он когда-нибудь по-настоящему, целиком?.. Мысли, другу, женщине? Нет... Пожалуй, нет — даже идее революции. Нет — даже и Женни! Отдавая себя, он всякий раз утаивал значительную часть своего «я». Он прошел через жизнь как беспокойный дилетант, скупо отбирающий те частицы самого себя, которые уступает. Только теперь он познал всепоглощающую щедрость сердца... Сознание приносимой жертвы сжигает его, как пламя. Прошло время, когда отчаяние задевало его своим крылом так часто, когда он ежедневно боролся со своими бессильными порывами к самоотречению! Добровольная смерть не есть самоотречение: это расцвет человеческой судьбы.

Шорох шагов раздается в лесной чаще; он оборачивается. Это чета дровосеков, одетых в черное; у мужчины торчит за поясом кривой нож; женщина несет по корзине в каждой руке. У них суровые лица швейцарских крестьян — озабоченный взгляд, плотно сжатые губы, как бы говорящие о том, что жизнь не прогулка. Оба подозрительно рассматривают полускрытого кустами незнакомца, который пожирает глазами то, что происходит *там*.

Не следовало ему подходить так близко к границе. На берегу реки, конечно, можно встретить дозоры таможенных досмотрщиков, патрули солдат... Он поспешно поворачивает назад и идет напрямик через лесную поросль, чтобы выбраться на большую дорогу.

В этот же день, под вечер, Жак является на свидание, которое ему назначил Каппель.

— Подожди меня на улице,— говорит ему студент.— Сейчас время обхода больных, а профессора нет. Я выйду к тебе через десять минут.

Детская больница находится в Малом Базеле, на набережной. Маленький садик, обнесенный живой изгородью из плюща, окружает трехэтажное здание с множеством террас, как в санатории, где стоят на солнце кроватки больных детей. В тени густых деревьев поставлены белые кресла. Жак садится. Покой, тишина... Тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц и более отдаленным щебетанием маленьких больных, которых Жак видит сквозь ветви: время от времени, когда подходит сиделка, худенькое тельце приподнимается над подушкой.

Быстрые шаги на песчаной дорожке. Это Каппель. Без халата и без очков, тонкий, гибкий, в широкой рубашке и полотняных

брюках, он похож на подростка. Очень светлые волосы, немного впалые щеки, нежная, гладкая кожа. Но лоб вызывает чувство удивления: изборожденный морщинами, он кажется лбом старика. И взгляд голубых с металлическим блеском глаз, опушенных светлыми ресницами, поражает неожиданной зрелостью.

Каппель — германский подданный. Он продолжает изучать в Базеле медицину. Он и не подумал вернуться в Германию. Днем он работает с профессором Веббом в *Kinderspital*[1], вечером, ночью сражается за революцию. Он завсегдатай книжного магазина, и это ему Платнер поручил сделать в течение одного дня немецкий перевод. Впрочем, Каппель ничего не знает о планах Жака; он не задал ему ни одного вопроса.

Он вынимает из кармана четыре страницы, исписанные готическими буквами, тонкими и заостренными. Жак берет листки, рассматривает их, ощупывает. Его пальцы дрожат. Заговорит ли он, поделится ли с немцем надеждой, от которой у него захватывает дыхание?.. Нет. Теперь не время для излияний, для обмена мыслей. Остающиеся ему несколько дней он проведет в одиночестве — одиночестве сильных. Он складывает листки и говорит только:

— Благодарю.

Из деликатности Каппель спешит заговорить о другом. Он вынимает из кармана газету.

— Послушай! «Анри Бергсон, президент Академии моральных наук, взял слово, чтобы приветствовать присутствовавших на заседании бельгийских членов-корреспондентов. Борьба, начатая против Германии,— заявил он,— есть не что иное, как борьба Цивилизации против Варварства...» Бергсон!..

Вдруг Каппель умолкает, словно прислушиваясь к отдаленному шуму.

— Это глупо... Скажи, с тобой этого не бывает? Двадцать раз на день,— особенно вечером, ночью,— мне кажется, что я слышу глухие удары... гул канонады в Эльзасе...

Жак отводит глаза. В Эльзасе... Да, там бойня уже началась... Ему приходит в голову новая мысль. В час, когда столько невинных обречены на жертву, самую бесславную, самую пассивную, он испытывает гордость оттого, что остался властелином своей судьбы, что сам избрал свою смерть: смерть, которая явится одновременно и актом веры, и последним криком возмущения, последним бунтом против нелепости, царящей в мире,— обдуманным поступком, отмеченным печатью его личности, поступком, который будет насыщен тем самым смыслом, какой он захочет ему придать...

---

[1] Детской больнице *(нем.)*.

Каппель, помолчав, возобновляет разговор:

— Когда я был ребенком, мы жили в Лейпциге, возле тюрьмы. Как-то раз, зимним вечером,— шел снег,— в нашем квартале распространился слух, что в город приехал палач и на рассвете должны кого-то казнить. Помню, я никому ничего не сказал и ушел... в темноту. Было поздно. Падал густой снег. На улице — никого. На площади — жуткая тишина. Я несколько раз обошел вокруг тюрьмы совершенно один. Я не мог вернуться домой. Не мог отделаться от мысли: там, по ту сторону этой стены, находится человек, которого люди приговорили к смерти, и он знает это, он ждет...

Несколькими часами позже, сидя в углу *Kaffeehalle* [1], в дыму скверных сигар, прислонившись к прохладным изразцам печки, Жак макает хлеб в кружку кофе и грезит. Лампочка без абажура, которая свисает с потолка, словно паук на кончике паутины, ослепляет его, гипнотизирует, отделяет от остального мира.

Платнер уговаривал его остаться поужинать, но Жак, торопливо исправив гранки воззвания, сбежал, сославшись на усталость. Он симпатизирует владельцу книжного магазина и упрекает себя за то, что недостаточно проявляет свою симпатию. Но эта болтовня о революции, полная общих мест и повторений, эти назойливые взгляды, когтистая рука, которую Платнер то и дело кладет на плечо собеседника, манера внезапно опускать длинный нос к изуродованной груди и заканчивать фразу шепотом, подобно конспиратору, открывающему тайну,— все это безумно раздражает Жака, его нервы не выдерживают.

Здесь ему хорошо. *Kaffeehalle* — плохо освещенное, бедное кафе с большими столами без скатертей; своей окраской и шероховатостью их старое облезлое дерево напоминает мякиш ржаного хлеба. Здесь можно получить по дешевке порцию сосисок с капустой, тарелку супа, толстые ломти белого хлеба во всю ковригу. Жак нашел здесь если не одиночество, то хотя бы уединение; безымянное уединение в непосредственной близости со стадом.

Ибо в *Kaffeehalle* все время полно народу. Странная публика: здесь сталкиваются все категории отшельников, холостяков, бродяг. Тут студенты, развязные и шумные, которые называют служанок по имени, обсуждают вечерние телеграммы, спорят поочередно о Канте, о войне, о бактериологии, о машинизации, о проституции. Тут приказчики, конторщики, прилично одетые, молча-

[1] Кофейная *(нем.)*.

ливые, отделенные друг от друга полубуржуазной осмотрительностью, которая тягостна им самим, но которую они не умеют преодолеть. Тут хилые существа, чье общественное положение трудно определить: безработные, выздоравливающие, только что вышедшие из больницы,— вокруг них еще плавает тяжелый запах йодоформа; калеки, вроде того слепого, что устроился у дверей и держит на сдвинутых коленях набор инструментов для настройки роялей. Тут перед стойкой — круглый стол, за которым обедают три женщины из Армии спасения; они едят только овощи и, укрытые своими огромными чепцами, шепотом сообщают друг другу назидательные секреты. Тут есть также целая плавучая армия обломков крушения, бедняков, выброшенных сюда волнами нищеты, преступления или неудачи; счастливые тем, что попали сюда, они сидят, не решаясь поднять глаза, согнувшись под тяжестью прошлого, как видно нелегкого, и долго крошат в суп свой хлеб, прежде чем опустить в него ложку. Один из них только что занял место напротив Жака. На секунду глаза их встретились. И во взгляде этого человека Жак поймал мимолетный беглый огонек, шифрованный язык тех, кто поставлен вне закона: задушевный, таинственный обмен мыслей, пробегающих в зрачках, быстрый, как молния, вопрос, всегда один и тот же: «А ты? Тоже неприспособившийся, непокорный, гонимый?»

Молодая женщина появляется в дверях и делает несколько шагов по залу. Изящный силуэт, легкая походка. На ней черный английский костюм. Ее глаза ищут кого-то, но не находят.

Жак опустил голову. Он чувствует внезапную боль в сердце. И вдруг встает с места, чтобы бежать отсюда.

Женни... Где она сейчас? Что сталось с ней без него, без всяких вестей, кроме лаконичной открытки, посланной им с французской границы? Он часто вспоминает о ней так — во внезапном и коротком порыве, страстном, тоскливом; и каждую ночь, во время бессонницы, судорожно сжимает ее в своих объятиях... Мысль о том, как он нужен ей, мысль о неверном будущем, на которое он ее обрекает, невыносима, когда он думает об этом. Но он думает об этом редко. Искушение сохранить свою жизнь ради Женни ни разу не коснулось его души. Отказ от любви не кажется ему изменой. Напротив: верность самому себе — тому, кого полюбила Женни,— кажется ему лучшим доказательством верности его любви к ней.

За стенами кафе — ночь, улица, одиночество. Он почти бежит, сам не зная куда. Глухая мужественная песнь сопутствует его шагам. Он ускользнул от Женни. Он вне пределов досягаемости. В нем нет больше ничего, кроме жгучего, очищающего восторга — восторга героев.

LXXXII

Ежедневно он первым делом выполняет одну из инструкций Мейнестреля: «Каждое утро, между восемью и девятью, проходить мимо дома номер три по Юнгштрассе. В тот день, когда увидишь в окне красную материю, спроси госпожу Хюльтц и скажи ей: «Я пришел снять комнату».

В воскресенье 9 августа, около половины девятого, проходя перекресток Эльссезерштрассе и Юнгштрассе, Жак вдруг чувствует, что сердце его на секунду перестает биться: на балконе дома номер три сушится белье, и среди скатертей, салфеток на видном месте висит кусок красной бумажной ткани!

Улица в этом месте состоит из невысоких домов, отделенных от мостовой палисадниками. Когда Жак поднимается на крыльцо дома номер три, дверь отворяется. В полумраке прихожей он различает силуэт белокурой женщины с обнаженными руками, в светлом корсаже.

— Госпожа Хюльтц?

Вместо ответа она закрывает за ним входную дверь. Коридор образует маленькую прихожую, довольно темную; все двери закрыты.

— Я пришел снять комнату...

Двумя пальцами она быстро достает что-то из-за корсажа и протягивает ему: это скатанный в крохотную трубочку листок тончайшей бумаги, какую пересылают с почтовыми голубями. Засовывая записку в карман, Жак успевает почувствовать теплоту тела, которую еще хранит бумага.

— Очень жаль, но тут какое-то недоразумение,— громко говорит молодая женщина.

И сразу же открывает дверь на крыльцо. Жак старается встретиться с ней взглядом, но она уже опустила глаза. Он кланяется и уходит. Дверь сейчас же закрывается снова.

Спустя несколько минут, наклонившись вместе с Платнером над фотографической ванночкой, он расшифровывает текст письма:

«Сведения о военных действиях в Эльзасе побуждают действовать немедленно. Назначил наш полет на понедельник, 10-го. Вылет в четыре часа утра. В ночь с воскресенья на понедельник переправьте листовки на холмы к северо-востоку от Диттингена. Смотреть карту границы, изданную французским генеральным штабом. Провести прямую линию между «Г» в слове Бург и «Д» в слове Диттинген. Место встречи находится на равном расстоянии от «Г»

и от «Д» на открытом плато, господствующем над проселочной дорогой. Поджидать аэроплан начиная с рассвета. Если возможно, расстелить на участке белые простыни для облегчения посадки. Привезите пятьдесят литров бензина».

— Сегодня ночью...— шепчет Жак, оборачиваясь к Платнеру; лицо его выражает только удивление.

Платнер — прирожденный конспиратор. Этот калека, преждевременно состарившийся в книжном магазине, обладает богатым воображением, способностью быстро принимать решения, как какой-нибудь предводитель шайки. Природная склонность к опасностям и приключениям всегда занимала в его преданности революционной партии не меньшее место, чем убеждения.

— Мы достаточно думали над этим в течение двух дней,— говорит он сейчас же.— Надо придерживаться того, что решено. Остается выполнение. Предоставь действовать мне. Лучше, если ты будешь показываться как можно меньше.

— А грузовичок? Достанешь ты его до вечера? И шофер?.. Кто даст знать Каппелю? Ведь чтобы быстро привезти листовки к месту посадки аэроплана, понадобится несколько человек...

— Предоставь действовать мне,— повторяет Платнер.— Все будет готово в срок.

Разумеется, надейся Жак только на собственные силы, он не хуже Платнера сумел бы принять все необходимые меры. Но после этих нескольких дней одиночества, бездействия, при той физической слабости, какую он чувствует сейчас, для него просто облегчение покориться деспотизму книготорговца.

Последний уже предусмотрел все до мелочей. Среди социалистов его секции есть содержатель гаража, поляк по происхождению, на которого можно положиться. Платнер садится на велосипед и едет к нему, оставив Жака одного в задней комнате магазина, перед ванночкой, где еще плавает письмо Мейнестреля.

В течение часа Жак сидит и ждет там, не делая ни одного движения. Он развернул на коленях взятую у Платнера карту генерального штаба, нашел Бург и Диттинген; потом все поплыло у него перед глазами. Бремя мыслей давит его с такой силой, что он почти не в состоянии думать. Всю неделю он жил своей мечтой, был всецело захвачен стоящей перед ним целью. О себе, о своей участи он думал лишь мимоходом. И вот внезапно он оказался ли-

цом к лицу с действием, с поступком, который совершит через несколько часов и который будет для него последним. Он повторяет про себя, как автомат: «Сегодня ночью... Завтра... завтра на рассвете... аэроплан». Но он думает другое: «Завтра все будет кончено». Он знает, что не вернется. Знает, что Мейнестрель полетит как можно дальше, будет лететь до тех пор, пока не иссякнет запас бензина. Потом... Что будет потом? Аэроплан падает на позиции? Аэроплан захвачен? Военно-полевой суд? Все равно какой — французский или немецкий... Так или иначе, он будет задержан на месте преступления. Смертная казнь без суда... Охваченный ужасом, рассуждая с жестокой ясностью, Жак с минуту сжимает голову руками: «Жизнь — единственное благо. Жертвовать ею — преступление, преступление против природы! Всякий акт героизма бессмыслен и преступен!..»

И вдруг его охватывает странное спокойствие. Волна страха прошла... Она как бы перенесла его через мыс: он близок к другому берегу, созерцает другие горизонты: ...Война, быть может, будет задушена... Революция, братание, перемирие!.. «И даже если это не удастся,— какой пример! Что бы ни случилось, моя смерть — действие... Восстановить честь... Быть верным... Верным и полезным... *Полезным*, наконец-то! Искупить мою жизнь, никчемность моей жизни... И обрести великий покой...»

Это разрядка. Теперь все его тело отдыхает; он испытывает чувство успокоения, почти отрады — какое-то грустное удовлетворение... Наконец-то он сможет сбросить свой груз... Покончить с этим требовательным, обманчивым миром; с требовательным, обманчивым существом, каким был он сам... Он думает о жизни без сожалений,— о жизни, о смерти... Без сожалений, но в тупом, животном оцепенении, таком глубоком, что он не может сосредоточить мысль ни на чем другом... Жизнь, смерть...

Платнер находит его на том же месте: он сидит, опершись локтями на колени, охватив голову руками. Машинально он встает и говорит вполголоса:

— Ах, если бы социалисты не предали...

Платнер привел с собой содержателя гаража. У него голова с проседью, спокойное и решительное лицо.

— Вот Андреев. Грузовик готов. Он сам и отвезет нас. Листовки, бензин мы положим в кузов... Каппель извещен. Он скоро придет... Выедем, как только стемнеет...

Но Жак, которого приход мужчин вывел из оцепенения, требует, чтобы для верности дорога была обследована, пока светло. Андреев соглашается.

— Хочешь, я отвезу тебя туда? — предлагает он Жаку.— Возьму маленькую открытую машину: у нас будет такой вид, словно мы просто катаемся.

— А как с упаковкой листовок? — спрашивает Жак книготорговца.

— Почти закончена... Еще час работы... К твоему возвращению все будет готово.

Жак берет карту и уходит с Андреевым.

Ожидая их возвращения, Платнер и Каппель заканчивают в подвале упаковку груза.

Воззвание отпечатано на четырех страницах — две на французском языке, две на немецком — и издано на особой бумаге, легкой и прочной. Жак попросил разделить эти миллион двести тысяч листовок на стопы по две тысячи экземпляров и каждую стопу перехватить тонкой полоской бумаги, которую можно было бы разорвать ногтем. Все вместе весит немногим больше двухсот килограммов. Сообразуясь с указаниями Жака, Платнер с помощью Каппеля складывает эти стопы в пачки по десять штук в каждой: шестьдесят пакетов, каждый перевязан бечевкой, причем узелок легко развязать одной рукой. А чтобы сделать переноску этих шестидесяти пакетов более удобной, Жак раздобыл большие холщовые мешки, вроде тех, какими пользуются почтальоны. Весь груз состоит из шести мешков по сорока килограммов в каждом.

В пять часов автомобиль поляка возвращается. Жак встревожен, возбужден.

— Дело плохо... На Метцерленском шоссе охрана... Проехать невозможно: таможенные досмотрщики, сторожевые посты... Другое — через Лауфен — свободно до Решенца. Но там придется свернуть на проселочную дорогу, совершенно непригодную для езды... Машина не проедет... Придется от нее отказаться... Надо найти телегу... Крестьянскую телегу, запряженную одной лошадью... Такая проедет где угодно и не привлечет внимания.

— Телегу? — говорит Платнер.— Можно...— Он вынимает из кармана записную книжку и перелистывает странички.— Пойдем со мной,— говорит он Андрееву.— А вы оба оставайтесь здесь и кончайте упаковку в мешки.

У него такой уверенный тон, что Жак соглашается остаться.

— С последними кипами я управлюсь сам,— говорит немец

Жаку, как только они остаются одни.— Отдохни, постарайся немного поспать... Нет? — Он подходит к Жаку и берет его за руку.— У тебя жар,— заявляет он через минуту.— Дать тебе хины? — Жак пожимает плечами.— Ну, тогда не сиди в этой душной конуре, здесь воняет клеем... Пойди прогуляйся немного!

На Грейфенгассе гуляет множество семей, разряженных по-праздничному. Жак вливается в людской поток, доходит до моста. Тут он с минуту колеблется, затем поворачивает налево и спускается на набережную. «Мне повезло... Хороший вечер...— Он расправляет плечи и даже улыбается.— Не думать, быть твердым... Только бы они нашли телегу. Только бы все сошло удачно...»

Тротуар, идущий вдоль реки, почти безлюден; он возвышается над движущейся водной пеленой, которую закат превращает в алую расплавленную массу. Под откосом, у самой реки, купальщики пользуются последними лучами солнца. Жак на минуту останавливается. Воздух так нежен, что причиняет боль; обнаженные тела в траве отливают таким мягким блеском... На глаза у него навертываются слезы. Он идет дальше. Мезон-Лаффит, берега Сены, купанье, лето с Даниэлем...

Какими путями, какими извилистыми тропинками судьба привела к этому последнему вечеру тогдашнего мальчугана? Цепь случайностей? Нет. Конечно, нет!.. Все его поступки вытекают один из другого. Он чувствует, он всегда смутно чувствовал это. Все его существование было длительным, хотя и неявным подчинением каким-то таинственным законам, роковой связи событий. И вот теперь финал, апофеоз. Его смерть сверкает перед ним, похожая на этот великолепный закат. Он преодолел страх. Он повинуется призыву без ложного удальства, с полной решимости, опьяняющей, бодрящей грустью. Эта продуманная смерть — достойное завершение его жизни. Она — непременное условие этого последнего акта верности самому себе... верности инстинкту возмущения... С самого детства он говорит: нет! Он никогда не умел иначе утверждать свою личность. Он говорит «нет» — не жизни... не миру!.. Его последнее отрицание, последнее — «нет» — тому, во что люди превратили жизнь...

Не замечая дороги, он забрел под мост Ветштейн. Наверху проходят экипажи, трамваи,— живые люди. Дальше, внизу, виднеется сквер — приют тишины, зелени, прохлады. Он садится на скамью. Узенькие аллеи огибают лужайки и рощицы букса. Голуби воркуют на низких ветвях кедра. Женщина в розовато-лиловом переднике, еще молодая, сидит на другой стороне аллеи; у нее фигура девочки, но уже увядшее лицо. Перед ней в детской коляске

спит новорожденный: недоносок с редкими волосами, с восковым личиком. Женщина жадно ест ломоть хлеба; она смотрит вдаль, в сторону реки; свободной, хрупкой, как у ребенка, рукой она рассеянно качает скрипучую, расшатанную коляску. Розовато-лиловый передник полинял, но опрятен; хлеб намазан маслом; у женщины спокойное, почти довольное лицо; ничто не изобличает крайней нужды, но вся нестерпимая нищета века написана здесь так ясно, что Жак встает с места и убегает.

Платнер только что вернулся в свою лавку.

Глаза у него блестят, он выпячивает грудь.

— Я нашел то, что нужно. Повозка, крытая брезентом. Груз будет в ней совершенно не виден. Здоровенная ломовая лошадь. Править будет Андреев: в Польше он был батраком на ферме... Это займет больше времени, зато уж наверняка всюду проедем.

LXXXIII

На колокольне церкви св. Духа бьет полночь. Телега зелепщика шагом едет по пустынным улицам южного предместья и выезжает на Эшское шоссе.

Под толстым брезентом, пристегнутым со всех сторон, полная темнота. Платнер и Каппель, сидя сзади, тихо разговаривают, прикрывая рот рукой. Каппель курит; иногда видно, как перемещается огонек его папиросы.

Жак забился в самую глубь повозки. Примостившись между двумя кипами листовок, согнувшись, стиснув руками колени и сцепив пальцы, сосредоточенно думая о своем в этом мраке, он старается, чтобы побороть свое возбуждение, сидеть неподвижно, с закрытыми глазами.

До него доносится заглушенный голос Платнера:

— Теперь, дружище Каппель, подумаем о себе. Аэроплан — ночью... Сможем ли мы втроем спокойно уехать обратно в нашей повозке? Не потревожат ли нас, не спросят ли, что мы тут делаем... Как по-твоему? — добавляет он, наклоняясь в глубь повозки.

Жак не отвечает. Он думает о посадке... А о том, что случится после на земле с теми, кто останется в живых, он...

— Тем более,— продолжает словоохотливый Платнер,— что даже в том случае, если мы спрячем телегу в кустах... Надо будет отослать Андреева с повозкой еще до появления аэроплана, сразу после того как мы выгрузим листовки, чтобы он успел выехать на шоссе до рассвета.

Жак уже видит себя на аэроплане... Он высовывается из кабины... Белые листки кружатся в пространстве. Луга, леса, стянутые войска... Листовки тысячами разлетаются над полями сражений. Трещат выстрелы. Мейнестрель оборачивается к нему. Жак видит его окровавленное лицо. Улыбка Пилота как бы говорит: «Ты видишь, мы несем им мир, а они стреляют в нас!..» Аэроплан с пробитым крылом спускается, планируя... Заговорят ли об этом газеты? Нет, на прессу надет намордник. Антуан не узнает. Антуан никогда не узнает.

— А мы? — спрашивает Каппель.

— Мы? Как только аэроплан будет нагружен, мы уберемся восвояси, каждый в свою сторону, кто куда.

— *All right* [1],— произносит Каппель.

Повозка, как видно, едет сейчас по ровной дороге, потому что лошадь побежала мелкой рысью. Высокий, легко нагруженный кузов покачивается на рессорах, и от этого мерного покачивания в темноте хочется молчать, хочется спать. Каппель гасит папиросу и вытягивает ноги на тюках.

— Спокойной ночи.

Через минуту Платнер ворчит:

— Андреев — идиот. При такой езде мы явимся слишком рано, верно?

Каппель не отвечает. Платнер оборачивается к Жаку:

— Чем раньше мы приедем, тем больше риска, что нас заметят. Как по-твоему? Ты спишь?

Жак не слышит. Он стоит посреди зала. На нем та холщовая блуза, которую он носил в исправительной колонии. Перед ним полукругом сидят офицеры — члены военно-полевого суда. Высоко подняв голову, он говорит, отчеканивая каждый слог: «Я знаю, что меня ждет. Но я пользуюсь последним остающимся у меня правом: вы не казните меня, прежде чем не выслушаете!» Это большой средневековый зал какого-то здания суда с нарядным потолком, состоящим из отдельных маленьких клеток, украшенных резьбой и позолотой. Председательствует генерал: он сидит на возвышении посреди судилища. Это — г-н Фем, директор исправительной колонии в Круи. Доброволец, конечно, и уже генерал... Такой же, как прежде, молодой, светловолосый, с круглыми щеками, чисто выбритыми и напудренными, в блестящих очках, скрывающих взгляд. На нем нарядный черный мундир с галунами, отделанный каракулем. Ниже, за маленьким столиком, сидят рядом два старика инвалида; грудь у них увешана медалями. Они безостановочно пишут. Их деревяшки вытянуты под столом. «Я не

[1] Ладно *(англ.)*.

хочу оправдываться! Тот, кто поступает согласно своим убеждениям, не нуждается в этом. Но пусть все присутствующие здесь услышат истину из уст человека, который идет на смерть...» Его рука сжимает стоящую перед ним полукруглую балюстраду. Все присутствующие... Он чувствует позади себя бесконечное множество поднимающихся амфитеатром скамей, переполненных зрителями, как на велодроме. Женни здесь. Она сидит одна, на краю скамьи, бледная, рассеянная, в розовато-лиловом переднике и с детской колясочкой. Но он старается не оборачиваться. Он говорит не для нее. Он говорит и не для той странно молчаливой массы, внимание которой давит его, словно тяжелый груз. Он говорит даже не для офицеров, которые не сводят с него глаз. Он говорит исключительно для г-на Фема, так часто унижавшего его в былые времена. Огненным взглядом он впивается в бесстрастное лицо, но не может ни на секунду уловить ответный взгляд. Да и открыты ли у него глаза? Блеск очков, тень от кепи мешает удостовериться в этом. Жак так хорошо помнит злой блеск в глубине этих маленьких серых глазок! Нет — судя по застывшим чертам лица, веки упрямо опущены. Каким одиноким чувствует себя Жак в присутствии директора! Он один во всем мире, со своей собакой, с хромым пуделем, которого он подобрал в гамбургских доках... Вот если бы Антуан пришел, уж он-то заставил бы г-на Фема открыть глаза! Каким одиноким чувствует себя Жак! Один против всех. Генерал, офицеры, инвалиды, эта безыменная толпа, даже Женни,— все видят в нем обвиняемого, который должен дать отчет в своих действиях. Какая насмешка! Он выше, чище каждого из тех, кто присвоил себе право судить его! Он противостоит всему обществу в целом... «Есть закон, который стоит выше вашего закона: закон совести. Моя совесть говорит громче, чем все ваши кодексы... У меня был выбор между бессмысленной жертвой на ваших полях битвы и жертвой во имя протеста, во имя освобождения тех, кого вы обманули. Я выбрал! Я согласился умереть, но не для того, чтобы служить вам! Я умираю потому, что вы не оставили мне иного средства борьбы — борьбы до конца — и за то единственное, что, вопреки разжигаемой вами ненависти, все еще имеет для меня значение: за братство людей!» В конце каждой фразы маленькая, вделанная в пол загородка сотрясается под ударом его сжатого кулака. «Я выбрал! Я знаю, что меня ждет!» Взвод целящихся в него солдат внезапно возникает в его воображении и вызывает дрожь. В первом ряду он узнал Пажеса и Жюмлена. Он поднимает голову и снова оказывается в зале. Видение взвода было до того отчетливо, что лицо его еще искажено волнением, но ему удается превратить эту гримасу в презрительную усмешку. Он по очереди оглядывает офицеров. Он смотрит на

г-на Фема; смотрит на него пристально, как смотрел, бывало, когда с тоской и вызовом старался разгадать, что скрывается за постоянным молчанием директора. Громко, язвительно он бросает: «Я-то знаю, что меня ждет! Ну, а вы — вы знаете, что ожидает вас? Вы считаете, что у вас сила? Да, сегодня это так! С помощью нескольких пуль, выпущенных по вашей команде, вы можете заставить меня замолчать,— гордитесь этим. Но, уничтожив меня, вы ничего не остановите! Действие переживет меня! Завтра оно принесет такие плоды, о каких вы и не подозреваете! И даже если мой призыв не найдет отклика, все равно народы, которые вы утопили в крови, скоро поймут и опомнятся! После меня против вас восстанут тысячи людей, подобных мне, сильных сознанием своей сплоченности! Рядом с вами и вашими преступными установлениями поднимаются человеческая солидарность и духовные силы, перед которыми бессильны самые жестокие ваши репрессии! Прогресс, будущее мира неуклонно работают против вас! Международный социализм движется вперед. Быть может, на этот раз он споткнулся. И вы варварски воспользовались его ошибкой. Да, вам удалось провести вашу мобилизацию! Но не обольщайтесь этой жалкой победой! Вы не повернете ход истории в свою пользу. Интернационализм неизбежно восторжествует над вами! Восторжествует на всей земле! И не моим трупом удастся вам загородить ему дорогу!» Глаза Жака испытующе смотрят на лицо г-на Фема. Слепая маска, восковая маска. Неопределенная улыбка Будды, равнодушная, непроницаемая. Жак дрожит от гнева. Во что бы то ни стало прийти в соприкосновение с этим человеком, с врагом! Хоть раз заставить его взглянуть! Он резко кричит: «Господин директор, посмотрите на меня!»

— Что такое? Что ты говоришь? Ты меня звал? — спрашивает Платнер.

Веки генерала поднимаются. Бездушный взгляд! Умирающий в больнице встречает такой взгляд в глазах санитара-профессионала, для которого человек в агонии уже только труп, нуждающийся в погребении. И вдруг ужасная мысль пронизывает мозг Жака: «Он велит убить и мою собаку. Велит Артюру, надзирателю, раз он взял его в ординарцы!..»

— Что ты говоришь? — повторяет Платнер.

Жак не отвечает, и, вытянув в темноте руку, тот касается его ноги. Жак открывает глаза. Но в первую минуту он видит перед собой не купол брезента, а потолок здания суда с его позолоченными клетками. Наконец он приходит в себя: Платнер, кипы листовок, повозка...

— Ты меня звал? — повторяет Платнер.

— Нет.

— Как видно, мы уже недалеко от Лауфена,— замечает книготорговец после паузы. Потом, не пытаясь больше побороть упорную немоту Жака, умолкает.

Каппель, лежа на дне телеги, спит сном младенца.

Время от времени Платнер встает и делает попытку посмотреть наружу через щель в брезенте. Вскоре он вполголоса объявляет:

— Лауфен!

Повозка шагом проезжает по пустынному городу. Два часа ночи.

Проходит еще минут двадцать. Затем кобыла останавливается.

Каппель вскакивает.

— Что такое? Что случилось?

— Тише!

Повозка только что проехала Решенц. Теперь надо расстаться с долиной: по выезде из деревни шоссе переходит в крутую проселочную дорогу со множеством пересохших рытвин. Андреев слез с телеги. Он гасит фонари и берет кобылу под уздцы. Повозка трогается.

Телега трясется на ухабах; рессоры скрипят. Жак, Платнер и Каппель придерживают груз, чтобы он не перекатывался в узком кузове со стороны на сторону. Эти толчки, эти звуки пробуждают в памяти Жака какой-то ритм, какую-то музыкальную фразу, нежную и печальную; он узнал ее не сразу... Этюд Шопена! Женни... Сад в Мезон-Лаффите... Гостиная на улице Обсерватории... Вечер, такой близкий, такой далекий, когда Женни по его просьбе села за рояль.

Проходят добрые полчаса, и наконец новая остановка. Андреев отстегивает ремни брезента:

— Приехали.

Трое мужчин молча соскакивают с телеги.

Только три часа. Ночь звездная, но еще совсем темно. Однако небо на востоке уже начинает бледнеть.

Андреев привязывает кобылу к стволу низенького дерева. Теперь Платнер молчит. У него уже не такой уверенный вид, как в лавке. Он силится пробуравить вглядом окружающий мрак. И бормочет:

— Где же оно, ваше плато?

— Пошли,— говорит Андреев.

Все четверо взбираются на поросший кустарником откос. Андреев идет впереди. На вершине склона, у края плато, он останавливается. С минуту он тяжело дышит, потом, положив руку на плечо Платнера, протягивает другую в темноту и поясняет:

— Начиная оттуда,— сейчас увидишь,— больше нет деревьев. Это и есть плато. Тот, кто выбрал его, знает свое дело.

— Теперь,— советует Каппель,— надо быстро разгрузить телегу, чтобы Андреев мог уехать!

— Идем! — громко говорит Жак и сам удивляется твердости своего голоса.

Они спускаются вчетвером с откоса. Несмотря на крутой склон, отделяющий плато от дороги, переноска мешков и бидонов совершается в несколько минут.

— Как только станет немного светлее,— говорит Жак, опуская на землю сверток белой материи,— мы расстелим простыни в трех-четырех местах, подальше от центра,— для посадки.

— Ну, а теперь удирай со своей колымагой! — ворчит Платнер, обращаясь к поляку.

Андреев, обернувшись ко всем троим, несколько секунд не трогается с места. Затем он делает шаг к Жаку. Выражения его лица не видно. Жак протягивает ему руки во внезапном порыве. Он слишком взволнован, чтобы говорить; он вдруг испытывает к этому человеку, с которым не увидится больше, прилив такой нежности... но тот никогда о ней не узнает. Поляк хватает протянутые руки и, наклонившись, целует Жака в плечо, не произнося при этом ни слова.

Его шаги гулко отдаются на склоне. Мяуканье осей: телега поворачивает. Затем — тишина... Очевидно, Андреев, прежде чем снова взобраться на свое место, пристегивает покрышку, проверяет упряжь. Наконец повозка трогается, и скрипенье колес, стон рессор, глухой стук копыт по песчаной почве — все эти звуки, сначала отчетливые, постепенно замирают во мраке. Платнер, Каппель и Жак молча стоят рядом на краю откоса и ждут, устремив взгляд в темноту, в ту сторону, откуда доносится удаляющийся шум. Когда не к чему уже больше прислушиваться, кроме тишины, Каппель первый поворачивает к плато и беспечно растягивается на земле. Платнер садится рядом с ним.

Жак продолжает стоять. Пока что больше нечего делать, надо ждать рассвета, аэроплана... Вынужденное бездействие отдает его во власть тоски... О, как бы ему хотелось прожить в одиночестве эти последние мгновения... Чтобы уйти от своих спутников, он делает наугад несколько шагов. «Пока все идет хорошо... Теперь Мейнестрель... Мы издали услышим его... Как только станет немного светлее, простыни...» Мрак полон шелестов и шорохов — это насекомые. Снедаемый лихорадкой, шатаясь от усталости, подставляя ночной прохладе потное лицо, Жак, спотыкаясь о неровности почвы, кружит по плато, стараясь не слишком удаляться от Платнера и Каппеля, чей шепот изредка доносится до него во мра-

ке. Наконец от этого слепого блуждания у него подкашиваются ноги; он опускается на землю и закрывает глаза.

Он различил сквозь толщу стен звук этих шагов, скользящих по каменным плитам. Он знал, что Женни найдет способ проникнуть в тюрьму, еще раз пробить себе путь к нему. Он ждал ее, надеялся, и все же он не хочет... Он противится... Пусть запрут двери! Пусть оставят его одного!.. Поздно. Сейчас она придет. Он видит ее сквозь прутья решетки. Она идет к нему из глубины этого длинного белого больничного коридора; она скользит к нему, полускрытая креповой вуалью, которую не имеет права поднять в его присутствии. *Они* запретили ей это... Жак смотрит на нее, не двигаясь с места... Он не пытается подойти к ней, он больше не ищет соприкосновения с кем бы то ни было: он по ту сторону решетки... И вдруг — он сам не знает, как это случилось,— он держит в руках окутанную крепом круглую дрожащую головку. Он различает под вуалью искаженные черты. Она спрашивает очень тихо: «Ты боишься?» — «Да...— Его зубы стучат так сильно, что он с трудом выговаривает слова.— Да, но этого не узнает никто, кроме тебя». Удивленным, спокойным, певучим голосом, который так не похож на ее голос, она шепчет: «Но ведь это конец... забвение всего, успокоение...» — «Да, но ты не знаешь, что это такое... Ты не можешь понять...» Кто-то вошел в камеру за его спиной. Он не решается повернуть голову, съеживается... Все исчезает. Ему надели на глаза повязку. Чьи-то кулаки подталкивают его. Он идет. Свежий ветерок охлаждает его потную шею. Его ноги топчут траву. Повязка закрывает ему глаза, но он ясно *видит,* что переходит площадь Пленпале, оцепленную войсками. Что ему до солдат! Он не думает больше ни о чем и ни о ком. Единственное, что он замечает,— это овевающий его легкий ветерок, это ласку кончающейся ночи и зарождающегося дня. Слезы струятся по его щекам. Он высоко держит голову с завязанными глазами и идет. Он идет твердым, но неровным шагом, словно развинченный паяц, потому что не владеет больше ногами, и почва кажется ему изрытой ямами, куда он то и дело проваливается. Ничего. Все-таки он идет вперед. Неясные шумы вокруг создают непрерывный и приятный гул, песнь ветра. Каждый шаг приближает его к цели. И он обеими руками поднимает и несет перед собой, словно дар, что-то хрупкое, что надо донести до конца, не оступившись... Кто-то посмеивается за его спиной... Мейнестрель?

Он медленно открывает глаза. Над ним свод небес, и созвездия на нем уже гаснут. Ночь кончается; небо светлеет и окрашивается там, на востоке, за гребнями гор, линия которых вырисовывается на молодом, осыпанном золотыми блестками небе.

У Жака нет ощущения, что он только что проснулся: он совершенно забыл свой кошмар. Кровь с силой пульсирует в его артериях. Ум ясен, чист, как природа после дождя. Время действовать близко: сейчас Мейнестрель будет здесь. Все готово... В мозгу, где развертывается цепь отчетливых мыслей, снова всплывает мелодия Шопена, словно приглушенный аккомпанемент, сладостный до боли. Жак вынимает из кармана записную книжку, вырывает страничку, которую отдаст Платнеру. Не видя, что у него получается, он набрасывает:

«Женни, единственная любовь моей жизни. Моя последняя мысль о тебе. Я мог бы дать тебе годы нежности. Я причинил тебе только боль. Мне так хочется, чтобы ты помнила меня таким...»

Слабый толчок, за ним второй сотрясают землю, на которой лежит Жак. В нерешимости он перестает писать. Это ряд отдаленных взрывов: он слышит их, он ощущает их всем своим телом, прижатым к земле. Вдруг его осеняет: артиллерия... Сунув записную книжку в карман, он вскакивает. На краю плато, у откоса, уже стоят Платнер и Каппель. Жак подбегает к ним.

— Артиллерия! Артиллерия в Эльзасе...

Придвинувшись друг к другу, они замирают на месте, вытянув шею, широко раскрыв глаза, глядя в одну точку. Да, там — война, ждавшая только рассвета, чтобы возобновиться... В Базеле они еще не слыхали ее...

И вдруг, в то время как они стоят там, затаив дыхание, с другой стороны раздается иной шум. Все трое оборачиваются одновременно. Вопросительно смотрят друг на друга. Ни один не решается еще назвать своим именем это едва уловимое гудение, которое, однако, усиливается с каждой секундой. Там, вдали, с правильными интервалами продолжается канонада, но они уже не слышат ее. Повернувшись к югу, они пожирают глазами бледное небо, заполненное теперь жужжаньем невидимого насекомого...

Вдруг их руки поднимаются все разом: черная точка появилась над гребнями Хогервальда. Мейнестрель!

Жак кричит:

— Ориентиры!

Каждый хватает по простыне и бросается к одному из краев плато.

Самое большое расстояние приходится преодолеть Жаку. Спотыкаясь о комья земли, прижимая к себе сложенную простыню, он мчится вперед. Сейчас у него одна мысль, одно желание — во-

время добежать до крайней точки плато. Он не смеет потерять хоть секунду на то, чтобы поднять голову и взглянуть на полет аэроплана, который, оглушая его своим гудением, описывает, словно хищная птица, большие круги и, кажется, сейчас обрушится на него, схватит и унесет с собой.

LXXXIV

Несмотря на ледяной ветер, который хлещет его по лицу, забивается в ноздри, в рот, наполняет таким ощущением, словно он тонет, Жак не чувствует, что движется вперед. Его качает, его толкает, словно он стоит на тряской площадке тамбура между двумя вагонами. Оглушенный грохотом, который, несмотря на наушники шлема, терзает его барабанные перепонки, он даже не заметил, как аэроплан после ряда толчков по плато внезапно оторвался от земли. Пространство вокруг него — это густая хлопьевидная масса, от которой несет бензином. Глаза у него открыты, но взгляд, мысль завязли в этой вате. Способность дышать нормально он обрел довольно быстро. Больше времени ему нужно на то, чтобы приучить свои нервы к этому грому, который долбит, парализует мозг и то и дело пронзает электрическим током кончики пальцев. Мало-помалу ум начинает все же связывать воедино образы, представления. Нет, теперь это уже не сон!.. Он привязан к спинке сиденья; колени упираются в пачки листовок, нагроможденные вокруг. Он приподнимается. Впереди, в окружающем его белесом тумане, под широкими черными лопастями крыльев, виднеется силуэт — плечи, шлем,— очерченные резко, словно китайские тени: Пилот! Ликующее исступление охватывает Жака. Аэроплан поднялся! Аэроплан летит! Жак испускает громкий крик — крик животного, долгий торжествующий вой, который теряется в реве бури; спина Мейнестреля остается неподвижной.

Жак высовывает голову наружу. Ветер стегает его, свистит в ушах пронзительно, как нож на точильном камне. Насколько видит глаз, под ним огромная и бесформенная сероватая фреска, положенная плашмя и находящаяся очень низко, очень далеко; выцветшая, потрескавшаяся гипсовая фреска с бледными, тусклыми островками. Нет, не фреска, а страница из космографического атласа, немая карта незнакомой земли с обширными неисследованными пространствами. И тут Жак вспоминает об удивительной вещи: о том, что Платнер, что Каппель продолжают внизу, под ним, свое жалкое существование бескрылых насекомых... Внезапное головокружение... Его взгляд затуманивается. Он растерянно

опускается на свое сиденье и закрывает глаза... Вдруг он видит себя ребенком... Отец... Антуан и Жиз... Даниэль... Потом туманное видение: Женни в теннисном костюме, парк Мезон-Лаффита... Потом все исчезает. Он снова открывает глаза. Перед ним по-прежнему сидит Мейнестрель: вот его плотная спина, круглый шлем. Нет, это не галлюцинация. Мечта наконец осуществилась! Как это произошло? Он не помнит. Начиная с того мгновения, когда он пытался разложить простыню на плато, когда, ощущая над собой чудовище, он инстинктивно распластался на земле, и вплоть до чудесной минуты, которую он переживает сейчас, он потерял всякий контроль над своими действиями. Его память механически отметила несколько смутных образов — призрачные фигуры, движущиеся в неясном, утреннем свете,— и только... Он старается вспомнить. Он вдруг снова видит демоническое появление Мейнестреля, видит, как, внезапно наделив голосом и душой этот упавший с неба болид, Пилот высунул из кабины плечи и лицо в кожаном шлеме. «Быстрее, листовки!» Он снова видит людей, во мраке бегущих по плато, мешки, перебрасываемые из рук в руки. Он припоминает также, что в тот момент, когда он взобрался к Мейнестрелю с бидоном бензина, Пилот, стоя на коленях в освещенной машине, где он закреплял длинным ключом какой-то болт, повернул голову: «Плохой контакт! Где механик?» — «Он уже уехал. Повез обратно телегу». Тогда, ничего не ответив, Мейнестрель снова нырнул в глубину своей кабины. Но каким образом он, Жак, оказался здесь? Откуда этот шлем? Кто застегнул на нем эти ремни?

Подвигается ли аэроплан вперед? Затерявшись в пространстве, заполняя его своим упорным гудением, он кажется неподвижным, повисшим в солнечных лучах.

Жак оборачивается. Солнце — сзади. Восходящее солнце. Значит, они летят на северо-запад? Очевидно, на Альткирх-Танн... Он снова приподнимается, чтобы выглянуть наружу. Да это просто чудо! Туман сделался прозрачным. Сейчас карта генерального штаба, над которой он слепил глаза целых четыре дня, расстилается под аэропланом, необозримая, залитая солнцем, красочная, живая!

Со страстным любопытством, опустив подбородок на металлический борт, Жак завладевает этим неведомым миром. Широкий белесоватый поток расплавленной массы, который как бы вычерчивает свой путь спиралью, делит пейзаж на две части. Долина? Долина Илля? В центре этого Млечного Пути извивается пресмыкающееся, местами скрытое серебристыми облаками: река. А что это за бледная черта, идущая вдоль реки, справа? Дорога? Альт-

кирхское шоссе? А запутанная сеть жил и прожилок, которые скрещиваются и светлым пятном выделяются на подернутой туманной дымкой зелени равнины, что это — другие дороги? А вот эта чернильная, почти прямая черта, которую он сначала не заметил? Железнодорожное полотно?.. Вся внутренняя жизнь Жака сосредоточилась сейчас в его устремленном вниз взгляде. Он различает теперь очертания холмов, окружающих долину. То тут, то там порывы ветра растягивают, разрывают пелену дремлющего тумана и обнажают новые обширные пространства. Вот темно-зеленое пятно — лесистое плоскогорье. А что появилось вдруг там, справа, в разрыве ваты? Город? Да, город, расположенный амфитеатром на склоне холма, целый миниатюрный городок, розовый в лучах солнца, городок, кишащий множеством невидимых жизней.

Аэроплан слегка накренился назад. Жак чувствует, что машина поднимается, поднимается в непрерывном, бодром и уверенном полете. Теперь он так привык к рычанию мотора, что оно необходимо ему, что он не мог бы без него обойтись,— он отдается ему и упивается им. Оно стало как бы музыкальным выражением его восторга, симфоническим оркестром, могучие волны которого переводят на язык звуков чудо этой минуты, волшебство этого полета, уносящего его к цели. Ему незачем больше бороться, выбирать; он избавлен от необходимости хотеть. Освобождение! Встречный ветер, воздух высот, упрямая уверенность в удаче — все это подхлестывает его кровь, и она струится быстрее, сильнее. Он ощущает в глубине своей груди частое ритмическое биение сердца: это как бы человеческий аккомпанемент, глубокое, интимное участие его существа в том сказочном, торжествующем гимне, которым звучит все пространство вокруг...

Мейнестрель суетится.

Он уже нагибался минуту назад. Зачем? Чтобы взглянуть на карту? Или просто чтобы сильнее нажать на рычаги управления?.. Жак весело следит взглядом за манипуляциями своего спутника. Он кричит: «Алло!» Но расстояние и адский грохот исключают всякую возможность общения между ними.

Мейнестрель выпрямился. Потом он снова ныряет и несколько минут сидит наклонившись. Жак с любопытством наблюдает за ним. Он не видит, что именно делает Пилот, но по резким движениям плеч угадывает напряжение, физическую работу, может быть, возню с тем длинным ключом, который он, помнится, уже видел в руках Мейнестреля еще на плато.

Беспокоиться нечего: Пилот знает свое дело...

Вдруг в воздухе происходит какое-то сотрясение, какой-то толчок. Что такое? Жак с удивлением озирается вокруг. Проходит

несколько секунд, прежде чем ему дается понять, в чем дело: этот толчок, эта внезапная пустота — попросту неожиданное вторжение тишины, полной, благоговейной, межпланетной тишины, которая вдруг сменила жужжание мотора... Зачем было выключать газ?

Мейнестрель приподнялся. Пожалуй, он даже стоит: его фигура закрывает переднюю часть машины.

Жак, насторожившись, не спускает глаз с этой неподвижной спины. Досадно, что нельзя разговаривать друг с другом!..

Аэроплан, словно сам удивленный своим молчанием, делает несколько очень мягких волнообразных движений; затем несется вниз, разрезая воздух с шелковистым свистом стрелы. Планирующий спуск? Штопор? Для чего эти маневры? Не боится ли Мейнестрель, что аэроплан будет обнаружен по звуку? Может быть, он хочет спуститься? Разве передовые позиции уже близко? И, значит, скоро надо будет сбросить первую партию воззваний? Да, как видно, это так: потому что Мейнестрель, не оборачиваясь, сделал едва уловимый, быстрый жест левой рукой... Жак, трепеща, протягивает руку, чтобы схватить пачку листовок. Но, невольно соскочив со своего сиденья, теряет равновесие. Ремни врезаются ему в бока. Что же происходит? Аэроплан потерял горизонтальное положение и пикирует. Почему? Преднамеренно ли это?.. Сомнение закрадывается в душу Жака. Догадка о возможной опасности борется с чувством полного доверия, которое внушает ему Мейнестрель... Жак цепляется за борт кабины, пытается привстать, чтобы выглянуть наружу. Ужас! Пейзаж опрокидывается. Поля, луга, леса, минуту назад расстилавшиеся, как ковер, теперь шатаются, кривятся, коробятся, словно охваченная пламенем акварель, и, вызывая головокружение, поднимаются, поднимаются к нему в грохоте урагана с быстротой надвигающейся катастрофы!

Усилием бедер Жаку удается разорвать ремень, откинуться назад.

Падение! Гибель...

Нет. Каким-то чудом машина выпрямляется, почти что восстанавливает положение, нужное для полета... Мейнестрель еще управляет... Надежда!

С минуту аэроплан растерянно парит в воздухе. Затем бурные волны подхватывают его, подкидывают, встряхивают, рвут на части. Фюзеляж трещит. Аэроплан кренится влево. Вираж на крыло? Посадка? Съежившись, Жак цепляется обеими руками за железо, но его ногти скользят — им не за что ухватиться. Отчетливое видение запечатлевается на сетчатой оболочке его глаз: не-

сколько елочек, залитых солнцем, лужайка... Он инстинктивно опускает веки. Бесконечно долгая секунда. Мозг опустошен, сердце в тисках... Страшный вой раздирает его барабанные перепонки. Звезды фейерверка осыпают его, переворачивают, уносят в своем кружащемся танце. Колокола, колокола звонят не переставая... Он хочет крикнуть: «Мейнест...» Сотрясение неслыханной силы раздробляет ему челюсть... Его тело летит в пространство, и ему кажется, что он расплющивается о стену, словно известковый раствор, сброшенный с лопаты.

Немыслимая жара... Языки пламени, треск, смрад пожара... Острые иглы, лезвия терзают его ноги. Он задыхается, борется. Он делает нечеловеческие усилия, чтобы отодвинуться, чтобы выползти из пылающего костра. Невозможно. Его ноги припаяны к огню.

Два стальных когтя схватили его сзади за плечи, волочат его куда-то. Растерзанный, четвертованный, он вопит... Его тащат по гвоздям, его тело превратилось в лохмотья...

И вдруг весь этот кошмар тонет в сладостном покое. Мрак. Небытие...

LXXXV

Голоса... Слова... Далекие, отгороженные густой войлочной завесой. Однако они упорно проникают в него... Кто-то говорит с ним. Мейнестрель?.. Мейнестрель зовет его... Он борется с собой, он делает мучительные усилия, чтобы вырваться из этого столбняка.

— Кто вы? Француз? Швейцарец?

Невыносимая боль разрывает ему поясницу, ляжки, колени. Он прибит к земле железными гвоздями. Его рот — сплошная рана; распухший язык душит его. Не открывая глаз, он запрокидывает голову, чуть поворачивает ее вправо и влево, напрягает плечи, чтобы приподняться: невозможно. С подавленным стоном он падает на эти гвозди, буравящие ему спину. Отвратительный запах бензина, горелого сукна заполняет ноздри, горло. Изо рта течет слюна; и краешком губ, которые ему почти не удается открыть, он выбрасывает сгусток крови, плотный, как мякоть плода.

— Какой национальности? Вам было дано задание?

Голос жужжит в его ушах и насильно выводит из оцепенения. Его блуждающий взгляд выступает из темных глубин, скользит между веками, на мгновение вырывается на свет. Он видит вершину дерева, небо. Краги, белые от пыли... Красные штаны...

Армия... Несколько французских пехотинцев наклоняются над ним. Они убили его, сейчас он умрет...

А как же листовки? Аэроплан?

Он слегка приподнимает голову. Через отверстие, образуемое расставленными ногами солдат, метрах в тридцати он видит аэроплан... Бесформенная груда обломков дымится на солнце, словно погасший костер: куча железного лома, откуда свешивается несколько обуглившихся тряпок. В стороне, глубоко вонзившись в землю, стоит в траве искромсанное крыло, одинокое, как огородное пугало... Листовки! Он умирает, не сбросив ни одной из них! Все пачки здесь, уничтоженные огнем, навеки погребенные под пеплом! И никто никогда, никогда больше... Он запрокидывает голову; его взгляд теряется в ясном небе. Мучительно жаль этих бумажек... Но он слишком страдает, все остальное не важно... Эти ожоги прогрызают ему ноги до мозга костей... Да, умереть! Скорей, скорей...

— Ну? Отвечайте! Вы француз? Что вы, черт побери, делали на этом аэроплане?

Голос совсем близкий, задыхающийся, громкий, но не грубый.

Жак снова открывает глаза. Еще молодое лицо, распухшее от усталости; голубые глаза за стеклами пенсне, козырек кепи с голубым верхом. Другие голоса раздаются вокруг, перебивают друг друга, снова затихают. «Говорю вам, он уже не в себе!» — «Дал ты знать капитану?» — «Господин лейтенант, может, при нем есть документы. Надо обыскать его...» — «Ему еще повезло: дешево отделался!» — «Сейчас придет врач: за ним побежал Паскен...»

Человек в пенсне опустился на одно колено. Его плохо выбритый подбородок и шея выступают из расстегнутого мундира; на груди перекрещиваются ремни, портупея.

— Ты не говоришь по-французски? *Bist du Deutsch? Verstehst du?* [1]

Жесткие пальцы опускаются на разбитое плечо Жака. Он издает глухой стон. Лейтенант сейчас же отнимает руку.

— Вам больно? Хотите пить?

Жак опускает ресницы в знак подтверждения.

— Во всяком случае, он понимает по-французски,— бормочет офицер, поднимаясь с земли.

— Господин лейтенант, я уверен, что это шпион...

Жак силится повернуть голову к этому крикливому голосу. В эту минуту несколько солдат отходят, и на земле, метрах в трех,

[1] Ты немец? Понимаешь? *(искаж. нем.)*

становится видна какая-то темная масса, нечто без названия, обуглившееся, не имеющее ничего человеческого, кроме руки, скорчившейся в траве: вся рука, от плеча до кисти, а вместо кисти — черная птичья лапа, от которой Жак не может оторвать глаз: тонкие, нервные пальцы, растопыренные, наполовину скрюченные. Шум голосов вокруг Жака как будто затихает...

— Посмотрите, господин лейтенант, вот идет Паскен с врачом. Паскен видел все; он нес кофе охранению... он говорит, что аэроплан...

Голос отдаляется, отдаляется, поглощенный войлочной завесой. Вершина дерева на фоне неба задернулась туманом. И боль тоже отдаляется, медленно отдаляется, растворяясь в слабости, в тошноте... Листовки... Мейнестрель... Тоже умереть...

По велению чьей таинственной деспотической власти лежит он на дне этой лодки, раздавленный, раскачиваемый, бессильный? Мейнестрель — тот давно уже бросился в воду, потому что эта буря на озере слишком уж сильно качала их суденышко... Солнце жжет, как растопленный свинец. Жак тщетно старается спрятаться от его укусов. Он делает усилие, чтобы пошевелить плечами, и это заставляет его приоткрыть веки, но он тут же снова закрывает их, пронзенный до глубины зрачков золотой стрелой. Ему больно. Острые булыжники на дне лодки терзают его тело. Ему хотелось бы окликнуть Мейнестреля, но во рту у него раскаленный уголь, который прожигает ему язык... Толчок. Он болезненно ощущает его каждым кончиком нервов. Как видно, лодка, подброшенная внезапно нахлынувшей волной, стукнулась о пристань. Он снова открывает глаза... «Эй, *Стеклянный,* хочешь пить?» Кепи... Это спросил жандарм... Незнакомое лицо, плохо выбритое лицо деревенского кюре. Кругом грубые громкие голоса, перебивающие друг друга. Ему больно. Он ранен. Очевидно, он жертва какого-то несчастного случая. Пить... Он чувствует у своих пылающих губ край жестяной кружки. «Нет, дружище, их винтовки — это пустяки. Зато пулеметы!.. И они наставили их повсюду, эти скоты!» — «А у нас разве нет пулеметов? Вот погоди, увидишь, что будет, когда мы выставим наши!..»

Пить... Несмотря на то, что он на солнце и весь в поту, у него озноб. Его зубы стучат о жесть. Рот — сплошная рана... Он жадно отпивает глоток и давится. Струйка воды стекает по подбородку. Он хочет поднять руку — руки в кандалах и привязаны ремнями к носилкам. Ему хотелось бы попить еще. Но рука, державшая кружку, отстранилась... И вдруг он вспоминает. Все! Листовки... Обуглившуюся кисть Мейнестреля, аэроплан, пылающий костер...

Он закрывает глаза; их жжет солнце, пыль, пот, жгут слезы... Пить... Ему больно. Он равнодушен ко всему, кроме своей боли... Но гул голосов, раздающихся вокруг, заставляет его снова открыть глаза.

Вокруг пехотинцы; у всех расстегнутый ворот, голая шея, волосы слиплись от пота. Они ходят взад и вперед, разговаривают, окликают друг друга, кричат. Жак лежит на самой земле, на носилках, поставленных в траву у края дороги, где полно солдат. Скрипучие фуры, запряженные мулами, медленно проезжают мимо, не останавливаясь, поднимая густую пыль. В двух метрах, на обочине, жандармы стоя пьют по очереди, не прикладываясь губами, высоко поднимая блестящую солдатскую манерку. Винтовки, составленные в козлы, сложенные штабелями ранцы бесконечной линией вытянуты вдоль дороги. Солдаты, группами расположившись на откосе, беседуют, жестикулируют, курят. Самые измученные спят на солнцепеке, растянувшись на спине, заслонив рукой лицо. В канаве, совсем близко от Жака, сложив накрест руки, лежит молоденький солдатик; широко раскрытыми глазами он смотрит в небо и жует травинку. Пить, пить... Ему больно. У него болит все: рот, ноги, спина... Лихорадочная дрожь пробегает по его телу и каждый раз исторгает у Жака глухой стон. Однако это не та острая боль, которая раздирала его сразу после падения, после пожара. Очевидно, о нем позаботились, перевязали его раны. И вдруг одна мысль пронизывает его дремлющий мозг! Ему ампутировали ноги... Какое значение имеет это теперь?.. И все-таки мысль об ампутации не покидает его. Его ноги... Он больше не чувствует их... Ему хотелось бы знать... Затянутые ремни приковывают его к носилкам. Однако ему удается приподнять затылок; он успевает увидеть свои окровавленные руки и обе ноги, выступающие из обрезанных до половины штанин. Его ноги! Они целы... Но что с ними? Они забинтованы и от колен до лодыжек вложены в лубки: это дощечки, как видно оторванные от какого-нибудь старого ящика, потому что на одной из фанерок еще видны черные буквы: *«Осторожно! Стекло!»* Обессилев, он снова откидывает голову.

Вокруг голоса, голоса... Люди, солдаты... Война... Солдаты разговаривают между собой: «Один драгун сказал, что полк стягивается туда...» — «Надо идти за колонной, и все тут. Разберешься на привале».— «А вы откуда идете?» — «Почем мы знаем названия мест? Оттуда... А вы?» — «Мы тоже. Мы, знаешь ли, всего навидались с пятницы!» — «Ого! А мы-то!» — «У нас, приятель, дело обстоит просто: после начала наступления — с пятницы, седьмого, это ведь три дня, так? — мы не спали и шести часов. Верно я говорю, Майяр? И нечего жрать. В субботу вечером нас немного покор-

мили, ну, а с тех пор, как отступаем в этой неразберихе, ничего, никаких припасов! Не случись нам поживиться у земляков...» Дальше другие, сердитые голоса: «Говорю тебе, что это еще не конец!» — «А я тебе говорю, что наше дело пропащее! Верно, Шабо? Пропащее! И если мы вздумаем снова наступать, то нам крышка...»

Пожалуй, самое болезненное — рана во рту; она не дает глотать слюну, говорить, пить, почти не дает дышать. Жак пробует осторожно пошевелить языком. В глубине горла у него упорно держится вкус бензина, горелого лака...

«И потом, знаешь ли, все ночи в поле, начеку... А когда батальон подошел к Каршпаху...»

Да, у него ранен язык; он распух, разорван, с него содрана кожа... По-видимому, ему попал в лицо какой-нибудь обломок или он разбил подбородок при падении. Впрочем, нет. Ведь болит у него внутренность рта. Его ум работает. «Я поранил язык зубами»,— говорит он себе наконец. Но это напряжение внимания отняло у него последние силы. Он снова опускает веки. Перед закрытыми глазами пляшут огни... В ногах не прекращается острая, колющая боль. Он слабо стонет и вдруг снова отдается ощущению покоя... забытью...

— Повсюду ожоги... ноги вдребезги... шпион.

Он открывает глаза. По-прежнему сапоги, краги.

Жандармы подошли ближе к носилкам. Вокруг них образовалась толпа. «Должно быть, этот аэроплан...» — «А, *таубе?* Брикар видел его...» — «Брика?» — «Нет! Брикар, долговязый унтер из пятого».— «Ничего от него не осталось, от ихнего *таубе».*— «Одним меньше!» — «Этому *Стеклянному* еще повезло... Может, выкарабкается, несмотря на свои ноги...» Голос знаком Жаку. Он поворачивает голову. Это говорит и смотрит на него пожилой жандарм, похожий на деревенского кюре, с тусклыми глазами, с облысевшим лбом, тот самый, который давал ему пить. «Еще чего!» — бросает другой жандарм, маленький, плотный, черноволосый; он похож на корсиканца; глаза у него словно раскаленные угли. «Слышите, начальник? Маржулá сказал, что *Стеклянный* выкарабкается! Ненадолго!» Жандармский бригадир хохочет. «Ненадолго! Это верно... Паоли прав. Ненадолго!» Это высокий детина с новенькими нашивками на рукавах. У него черная, очень густая борода, из-за которой видны только две скулы цвета сырого мяса. «Если так, почему же с ним не разделались на месте?» — спрашивает кто-то из солдат. Бригадир не отвечает. «И далеко вы его потащите?» — «Надо доставить его в штаб корпуса»,— поясняет корсиканец. Бригадир отворачивается, недовольный. Он брюзжит поучительным тоном: «Мы ожидаем приказа». Какой-то сержант пехоты

разражается мальчишеским смехом: «В точности как мы! Вот уже два дня, как мы его ждем, этого самого приказа!» — «А вместе с ним и похлебки!» — «Ну и неразбериха!» — «Кажется, больше нет даже связистов... Полковник...» Их прерывает свисток. «Разбирай винтовки! Колонна выступает!» — «Надеть ранцы! Вставайте, вы там! Надеть ранцы!»

Шум и суматоха царят сейчас вокруг Жака. Колонна трогается в путь. Он проваливается в темную яму. Вода булькает вокруг его лодки: одна более сильная волна приподнимает ее, укачивает, относит в сторону...

«Держи правее!» — «Что случилось?» — «Правее!» Толчки. Жак открывает глаза. Перед ним спина жандарма, который несет передок носилок.

Колонна извивается, людской поток огибает мертвого мула: забытый на дороге, он лежит, раздувшийся, ногами кверху, распространяя зловоние. Солдаты отплевываются и с минуту отмахиваются от мух, облепляющих лица. Затем, ковыляя, выравнивают ряды, а подбитые гвоздями подошвы снова возобновляют свой скрежет по каменистой почве.

Который час? Лучи солнца падают отвесно и жгут лицо. Ему больно. Десять, одиннадцать часов? Куда его несут?.. Пыль такая, что ничего не видно на расстоянии нескольких метров. Слева полковые повозки продолжают ехать шагом в едком, удушливом облаке. Дорога курится, дорога воняет лошадиным навозом, мокрой шерстью, кожей, человеческим потом. Ему больно. Главное — у него нет сил. Нет сил думать, нет сил выйти из своего оцепенения. Горло его раздражено от пыли, язык окровавлен, десны пересохли от лихорадки, от жажды; он затерян в топоте этих бесчисленных ног, в этом шуме марширующей армии, затерян, и одинок, и отрезан от всего — от жизни, от смерти... В редкие минуты просветления, чередующегося с долгими промежутками бессознательного состояния или кошмара, он непрерывно повторяет себе: «Мужайся... Мужайся...» Иногда солдаты шагают так близко от носилок, что он не видит уже ничего, кроме этих покачивающихся тел, кроме стволов винтовок и воздуха, дрожащего между ним и небом; он как бы в центре волнующегося леса, который движется вперед, и его тупой взгляд упорно устремляется то на туго набитую, раскачивающуюся сумку, то на блестящую кружку, привязанную к покрытой синим чехлом манерке. Многие солдаты отпустили ремни и сдвинули ранцы на поясницу; плечи у них согнуты, лица грязны от пыли и пота. Во взглядах, которые Жак подчас ловит на себе, такое странное выражение,— внимательное и рассеянное одновременно,— смущающее и до того непонятное выражение, что у него начинает кружиться голова... Они идут, идут прямо вперед, плечо

к плечу, ничего не видя, не разговаривая, шатаясь, но упорно продолжая это спасительное отступление, и силы их изнашиваются на дороге, словно стираясь на точильном бруске. Справа высокий, тощий солдат, с правильным, словно вычеканенным профилем, с повязкой санитара на рукаве, торжественно выступает, подняв голову, серьезный, сосредоточенный, точно на молитве. Слева от носилок осторожно шагает маленький хромой солдатик. Отупевший взгляд Жака устремляется на эту прихрамывающую ногу, которая запаздывает на каждом шаге и при каждом усилии немного сгибается в колене. По временам, когда какой-нибудь беспорядок расстраивает ряды, Жак видит также деревья, изгороди, луга, деревенский пейзаж, залитый солнцем... Неужели это возможно? Только что у края дороги перед ним промелькнул двор фермы: гумно с саманной крышей, серый дом с закрытыми ставнями, куча навоза, где клюют куры. До него донесся терпкий запах навозной жижи... В оцепенении он покачивается на носилках; глаза его почти все время закрыты. Его ноги... Рот... Если бы тому жандарму пришло в голову еще раз дать ему напиться... Движение то и дело прерывается; то и дело внезапные остановки, после которых солдаты, задыхаясь, вынуждены бежать, чтобы, заполнив интервал, не дать повозкам воспользоваться свободным промежутком и вклиниться в колонну. «Просто смотреть тошно! Почему это мы все идем по одной дороге!» — «Везде то же самое, приятель! Все дороги запружены обозами! Ведь отступает целая дивизия!» — «Дивизия? Говорят, весь Седьмой корпус!»

«Эй, ты! Куда бежишь?» — «Ты что, с ума спятил?» — «Эй, старина!»

Какой-то пехотинец наискось перебежал дорогу, наперерез колонне, направляясь назад, на восток,— к противнику... Не обращая внимания на оклики, он пробирается между повозками, между солдатами. Он уже немолод. У него седая борода, и она поседела не только от пыли. Он без оружия, без ранца; выцветшая солдатская шинель надета поверх крестьянских штанов из коричневого плиса. Болтающиеся от бега предметы бьют его по бедрам: патронташ, манерка, сумка. «Эй, папаша, куда бежишь?» Он увертывается от протянутых рук. У него растерянное лицо, упрямый, дикий взгляд. Губы его шевелятся: кажется, что он тихо беседует с каким-то призраком. «Ты что, домой идешь, старина?» — «Счастливо!» — «Пшш чаще!» Не поворачивая головы, не говоря ни слова, солдат устремляется вперед, перелезает через кучу камней, перепрыгивает канаву, раздвигает кусты, окаймляющие пастбище, и исчезает.

«Смотри-ка! Лодки!» — «На дороге?» — «Как так?» — «Это удирает рота понтонеров!» — «Они перерезали колонну».—

«Где?» — «И верно! Погляди! Лодки на колесах! Чего только тут не увидишь!» — «Ну что, Жозеф, пожалуй, на этот раз мы раздумали переходить Рейн?» — «Быстрее!» — «Марш!» Колонна вздрагивает и трогается в путь.

Через сто метров новая остановка. «Что там еще?» На этот раз стоянка затягивается. Дорогу пересекает железнодорожное полотно, по которому тянутся бесчисленные составы пустых вагонов; их волочит пыхтящий, добела раскаленный паровоз. Жандармы опускают носилки в пыль. «Кажется, дело плохо, начальник: они отводят подвижной состав в тыл!» — посмеиваясь, говорит Маржула. Бригадир смотрит на поезд и, не отвечая, отирает пот с лица. «Гм,— зубоскалит маленький корсиканец,— Маржула сильно повеселел с тех пор, как мы даем стрекача! Верно, начальник?» — «Да...— говорит третий жандарм, атлет с бычьей шеей, который, сидя на куче камней, жует кусок хлеба,— третьего дня, когда мы заметили улан, ему стало сильно не по себе...» Маржула краснеет. У него большой нос, большие серые глаза, грустный, уклончивый, но не безвольный взгляд, упрямый лоб, лицо расчетливого крестьянина. Он обращается к бригадиру, который молча смотрит на него: «Что греха таить, начальник: война — это не по мне. Я не корсиканец, я никогда не любил драться».

Бригадир не слушает. Он отвернулся и смотрит вправо. Глухой, как барабанный бой, топот примешивается к шуму поезда. Вдоль железнодорожного пути рысью несется группа всадников. «Разъезд?» — «Нет, это из штаба».— «Может, приказ?» — «Посторонитесь, черт побери!» Кавалерийский отряд состоит из капитана кирасир, сопровождаемого двумя унтер-офицерами и несколькими солдатами. Лошади пробираются между повозками и пехотинцами, огибают носилки, пересекают дорогу, собираются вместе по ту сторону ее и мчатся напрямик, через поля, на запад. «Этим везет!» — «Как бы не так! Говорят, что кавалерийская дивизия получила приказ зайти нам в тыл, чтобы помешать *им* неожиданно напасть на нас сзади!»

Вокруг носилок спорят солдаты. Между отворотами расстегнутых шинелей на потной груди у каждого висит на черном шнурке бляха, личный знак, который в случае смертельного ранения должен будет помочь опознать каждый труп. Сколько им лет? У всех помятые, грязные лица, одинаково старые. «Осталось у тебя немного воды?» — «Нет, ни капли!» — «Говорю тебе, что в ночь на седьмое мы видели цеппелин. Он летел над лесом...» — «Так мы не отступаем? Нет? Тогда чего тебе еще надо?» — «Связист из бригады слышал, как штабной офицер объяснял это Старику. Мы не отступаем!» — «Слышите, вы? Он говорит, что мы не отступаем!» — «Нет! Это называется стратегический отход. Чтобы лучше

подготовить контрнаступление... Ловкая штука... Мы возьмем *их* в «клещи».— «Во что?» — «В «клещи». Спроси у фельдфебеля. Знаешь, что это за «клещи»? Мы заманим их в западню, понимаешь? А потом — трах! «Клещи» сжимаются и их песенка спета!» — *«Таубе!»* — «Где?» — «Там!» — «Где?» — «Прямо над скирдой».— *«Таубе!»* — «Марш!» — *«Таубе,* господин фельдфебель!» — «Вперед! Вот и багажный вагон. Это хвост состава».— «Почему ты думаешь, что это *таубе?»* — «Ясно. Его обстреливают. Смотри!» Вокруг крошечной блестящей точки в небе появляются маленькие облачка дыма, которые в первую минуту принимают шарообразную форму, а потом рассеиваются от ветра. «Стройся! Марш!» Последние вагоны медленно скользят по рельсам. Переезд свободен.

Давка... О, эти толчки!.. Мужайся... Мужайся... В минутном проблеске сознания Жак слышит над собой тяжелое дыхание жандарма, несущего изголовье носилок. Потом все опрокидывается: головокружение, тошнота, смертельная слабость. Мужайся... Пестрые ряды солдат проходят, кружась, словно деревянные лошадки на каруселях, синие и красные. Жак стонет. Тонкая рука, нервная рука Мейнестреля чернеет, скрючивается на глазах, превращается в обуглившуюся куриную лапу... Листовки! Все сгорели, погибли... Умереть... Умереть...

Гудок автомобиля. Жак поднимает веки. Колонна остановилась у въезда в городок. Автомобиль гудит; он идет из тыла. Чтобы пропустить его, солдаты скучиваются на краю дороги. При крике «смирно!» жандармский бригадир отдает честь. Это открытая машина с флажком; она переполнена офицерами. В глубине поблескивает золотом кепи генерала. Жак закрывает глаза. Картина военного суда проносится перед его глазами. Он стоит в центре судилища, перед этим генералом в кепи с золотым позументом... Г-н Фем... Гудок безостановочно гудит. Все смешалось... Когда Жак снова открывает глаза, он видит ровно подстриженную живую изгородь, лужайки, герань, виллу с полосатыми шторами... Мезон-Лаффит... Над оградой развевается белый флаг с красным крестом. У подъезда пустой, изрешеченный пулями санитарный автомобиль; все стекла разбиты. Колонна проходит мимо. Она шагает несколько минут, затем останавливается. Носилки резко ударяются о землю. Теперь на каждой, даже самой короткой, стоянке большинство солдат, вместо того чтобы ждать стоя, валятся на дорогу в том самом месте, где остановились, не снимая ни мешка, ни винтовки, словно хотят исчезнуть с лица земли.

Колонна находится в двухстах метрах от деревни. «Похоже на то, что мы сделаем привал у земляков»,— говорит бригадир.

Суматоха. «Марш!» Колонна двигается дальше, проходит пятьдесят метров и снова останавливается.

Толчок. Что такое? Солнце еще высоко и жжет. Сколько часов, сколько дней длится этот переход? Ему больно. Кровь, скопившаяся во рту, придает слюне отвратительный вкус. Слепни, мухи, которыми покрыты мулы, впиваются ему в подбородок, жалят руки.

Деревенский мальчишка с горящими глазами рассказывает, смеясь, окружившим его солдатам: «В подвале мэрии... Прямо против отдушины... Трое! Трое пленных улан... Им недолго осталось! Ну точь-в-точь как крысы... Говорят, они хватают всех детей и отрубают им руки... Одного из них двое часовых водили мочиться. Так бы и распорол ему живот!» Бригадир подзывает мальчугана: «Что, есть еще у вас тут вино?» — «Как не быть!» — «Вот тебе двадцать су, пойди купи литр».— «Нипочем не вернется, начальник»,— неодобрительным тоном предсказывает Маржула. «Вперед! Марш!» Новая перебежка на пятьдесят метров до перекрестка, где устроил привал взвод кавалеристов. Справа, на большом участке, обнесенном белой оградой,— как видно, это базарная площадь,— унтер-офицеры выстроили остатки пехотной роты. В центре капитан говорит что-то солдатам. Потом ряды расстраиваются. Возле скирды походная кухня,— здесь раздают похлебку. Звяканье котелков, крики, споры, гуденье пчелиного роя. Мальчишка появляется снова, запыхавшись, размахивая бутылкой. Он смеется: «Вот ваше вино, получайте. Взяли четырнадцать су,— ну и мародеры!»

Жак открывает глаза. Запотевшая бутылка кажется ледяной. Жак смотрит на нее, и его веки вздрагивают: один только вид этой бутылки... Пить... Пить... Жандармы обступили бригадира, который держит бутылку в ладонях, словно желая насладиться сперва ее прохладой. Он не торопится. Расставив ноги, он принимает удобное положение, поднимает литр против солнца и, прежде чем приложиться к горлышку, откашливается и харкает, чтобы как следует прочистить горло. Напившись, он улыбается и протягивает бутылку Маржула, как самому старшему. Вспомнит ли Маржула о нем, Жаке? Нет. Он пьет и передает бутылку своему соседу Паоли, у которого ноздри раздуваются, как у лошади. Жак тихонько опускает веки — чтобы не видеть...

Вокруг него — голоса. Он то открывает глаза, то закрывает. Драгунские унтер-офицеры — те, чей взвод дожидается на проселочной дороге,— пользуются остановкой колонны, чтобы подойти

поболтать с пехотинцами: «Мы из бригады легкой кавалерии. Седьмого нас ввели в бой, вместе с Седьмым корпусом... Нам велено было дойти до Танна, повернуть фронт, изменить направление и пройти вдоль Рейна, чтобы отрезать мосты. Но мы поторопились. Плохо начали, понимаешь? Хотели идти слишком быстро. Кони упирались, пехота выбилась из сил... Пришлось отступать».— «Ну и неразбериха!» — «Здесь-то еще ничего! Мы идем оттуда, с севера. Там такие дела!.. На дорогах там не только войска, но и все гражданское население тех краев: у всех у них душа ушла в пятки — удирают!» — «А мы были в авангарде,— говорит сержант пехоты низким, звучным голосом.— К вечеру дошли до самого Альткирха».— «Восьмого?» — «Да, восьмого, в субботу. Третьего дня, что ли?..» — «Мы тоже были там. Пехота не подкачала, ничего не скажешь. В Альткирхе было полно пруссаков. Пехотинцы в два счета выгнали их оттуда и — в штыки! А потом, ночью, мы гнали их до Вальгейма».— «Это что! Мы дошли до самого Теольсгейма».— «И вдруг, на следующий день, перед нами никого... Ни души! До самого Мюлуза... Мы уж решили, что дойдем так до Берлина! Но нет, *они*, сволочи, хорошо знали, что делали, когда дали нам продвинуться вперед. Со вчерашнего дня они перешли в контрнаступление. Кажется, там сейчас жарко».— «Наше счастье, что получен приказ удирать, а то от всех нас ничего бы уже не осталось». Пехотный фельдфебель и несколько сержантов из колонны подходят послушать. У фельдфебеля воспаленные глаза, красные пятна на щеках, прерывистый голос: «Мы дрались тринадцать часов, тринадцать часов подряд! Верно, Роже? Тринадцать часов!.. Уланы засели впереди, в ельнике. Умирать буду — не забуду. Выбить их оттуда было просто невозможно. И вот нашу роту послали влево, в обход рощи. Я — кто? Счетовод у Циммера, в Пюто,— так что, сами понимаете... Больше километра проползли на брюхе. Прошло два часа, три,— мы уж думали, что никогда не доберемся до фермы. Однако добрались. Хозяева сидели в подвале; женщины, детишки плакали — жалко было на них смотреть... Посадили их под замок. Эльзасцы, конечно, но все-таки... В стенах пробили бойницы... Поднялись на второй этаж, окна заделали матрасами. Пулемет у нас был только один, но патронов — без счета. И вот мы продержались там целый день! Говорят, полковник сказал, что нам оттуда не выйти. И все-таки мы вернулись! Просто поверить трудно, что иной раз случается пережить!.. Но уж когда был получен приказ уходить, мы не заставили повторять его дважды,— можете не сомневаться. Когда мы выходили из лесу, нас еще было двести. А когда уходили с фермы, осталось только шестьдесят, да еще из этих шестидесяти не меньше двух десятков раненых... И знаешь что — ты, может быть, мне не поверишь, но, в общем, это

не так уж страшно... Не так страшно, потому что в это время и сам не знаешь, что делаешь. Ни солдаты, ни офицеры — никто. Ничего не видишь. Ничего не понимаешь. Прячешься за прикрытие и даже не видишь, как падают товарищи. Со мной было такое... Рядом стоял один, который меня обрызгал своей кровью. Он сказал мне: «Ну, я готов». Как сейчас, слышу его слова, слышу голос, а вот кто это был — не знаю. Мне, наверно, некогда было обернуться, чтобы взглянуть. Бой идет, ты кричишь, стреляешь,— и сам не знаешь, что с тобой творится. Верно, Роже?» — «Прежде всего,— говорит Роже, сердито оглядывая своих собеседников,— прежде всего надо хорошенько запомнить: пруссаки по сравнению с нами — ничто».— «Начальник! — кричит один из жандармов.— Колонна выступает!» — «Ну? Тогда — марш!» Унтер-офицеры бегут на свои места. «Равняйсь! Эй, там, равняйсь!» — «До свидания, счастливый путь!» — кричит бригадир, проходя мимо драгун.

Колонна двинулась дальше. Уже без остановок она доходит до городка, заполнив всю улицу своими тесными рядами, своим топотом, похожим на топот стада. Темп ходьбы замедлился. Качание носилок не так болезненно. Жак смотрит. Дома... Может быть, это конец его пытки?..

Жители кучками стоят на порогах своих домов: пожилые мужчины, женщины с маленькими детьми на руках, ребятишки, цепляющиеся за юбки матерей. Вот уже долгие часы, быть может, с самого рассвета, они стоят так, прислонясь к стене, вытянув шею, с тревогой в глазах, ослепленные пылью и солнцем,— стоят и смотрят, как течет, занимая всю ширину мостовой, этот бесконечный поток полковых фур, военных обозов, санитарных отрядов, артиллерийских парков, измученных полков — вся эта великолепная «армия прикрытия», на которую они взирали с надеждой несколько дней назад, когда она направлялась к границе, и которая теперь отступает в беспорядке, бросая их на произвол судьбы, на милость победителя... Город, задыхаясь от пыли, курится на солнце, словно разрушаемая постройка. Жужжание потревоженного улья наполняет улицы, переулки, дворы. Лавки наводнены солдатами, которые хватают остатки хлеба, колбасных изделий, вина. На церковной площади полно солдат, остановившихся повозок. Драгуны, держа лошадей под уздцы, столпились справа, где есть немного тени. Батальонный командир, красный, разъяренный, пригнувшись к лошадиной шее, бранит за что-то старого полевого сторожа в опереточном мундире. Обе створки главного входа в церковь широко раскрыты. Внутри, на соломенной подстилке, в полумраке лежат раненые; возле них суетятся

женщины, санитары, врачи в белых фартуках. Снаружи, стоя на фуре, на самом солнцепеке, сержант-каптенармус истошным голосом орет, стараясь перекричать шум: «Пятая рота! Подходи за пайком!..» Колонна движется все медленнее. За церковью улица суживается и превращается в настоящую кишку. Ряды смешиваются, солдаты с руганью топчутся на месте. Старик в кресле с подушками сидит на крыльце своего дома, положив руки на колени, словно в театре. Он спрашивает у бригадира, когда тот проходит мимо: «И далеко еще вы будете отступать?» — «Не знаю. Ждем приказа». Старик обводит носилки, жандармов прозрачными, как вода, глазами и неодобрительно покачивает головой: «Я уже видел все это в тысяча восемьсот семидесятом... Но мы держались дольше...»

Жак встречает сострадательный взгляд старика. Отрада...

Колонна продолжает двигаться вперед. Теперь она уже миновала середину городка. «Похоже на то, что мы сделаем привал вон там, за последними домами»,— говорит бригадир, который только что наводил справки у жандармского лейтенанта. «Тем лучше,— отзывается Маржула,— мы будем первыми, когда пойдем дальше». Мостовая кончилась. Улица переходит в широкую, без тротуаров, дорогу, окаймленную низкими домами и садиками. «Стой! Пропустить повозки!» Полковые обозы продолжают двигаться вперед. «Вот что,— говорит бригадир,— пойдите поглядите, не идет ли, случаем, за нами кухня... Хочется есть... Я с Паоли останусь здесь — из-за *Стеклянного*...»

Носилки поставлены у обочины дороги, рядом с колодцем, к которому солдаты всех родов оружия подходят, чтобы наполнить свои манерки. Взбаламученная вода переливается за каменную закраину и струйками стекает по желобам... Жак не в силах оторвать взгляд от этих струек. Во рту у него ужасный вкус железа. Слюна — словно влажная вата... «Не хочешь ли попить, сынок?» Чудо! Белая чашка блестит в руках старухи крестьянки. Вокруг скопился народ. Солдаты, местные жители, старики с обветренной кожей, мальчишки, женщины. Чашка приближается к губам Жака. Он дрожит... Он благодарит взглядом — взглядом собаки. Молоко!.. Он пьет с болью, глоток за глотком. Уголком передника старуха то и дело вытирает ему подбородок.

Мимо проходит врач с тремя галунами. Он подходит ближе. «Раненый?» — «Так точно, господин доктор. Не стоящий внимания... Шпион... Бош...» Старуха выпрямляется, словно подброшенная пружиной. Резким движением она выплескивает в пыль остатки молока. «Шпион... бош...» Эти слова переходят из уст в уста. Кольцо вокруг Жака суживается, враждебное, угрожающее. Он один, связанный, беззащитный. Он отводит глаза. И вдруг вздра-

гивает от ожога... Щека! Кругом смеются. Над ним нагибается подмастерье в синей блузе. Мальчишка злобно смеется. Он еще держит в пальцах горящий окурок. «Оставь его в покое»,— ворчит бригадир. «Так ведь это же шпион!» — возражает подросток. «Шпион! Поглядите-ка, шпион!..» Люди выходят из соседних домов, образуя полную ненависти группу, которую жандармы с трудом удерживают на расстоянии. «Что он сделал?» — «Где его забрали?» — «Почему не прикончили на месте?» Какой-то парнишка поднимает горсть камешков и швыряет в Жака. Другие делают то же. «Хватит! Оставьте нас в покое, черт побери!» — кричит бригадир сердито. И обращается к Паоли: «Давай перенесем его во двор. И закрой ворота».

Жак чувствует, что его подняли, несут. Он закрывает глаза. Ругательства, насмешки удаляются.

Тишина... Где он? Он решается взглянуть. Его положили в укромном месте, во дворе какой-то фермы под навесом сарая, где пахнет теплым сеном. Возле него старая коляска вздымает к небу два обрубка оглобель, на которых спят куры. Тень и тишина... Никого... Умереть тут...

Внезапно жандармы врываются во двор, и Жак сразу просыпается. Хлопая крыльями, куры с испуганным кудахтаньем рассыпаются в разные стороны.

Что происходит? Со всех сторон — громкие возгласы, конский топот, суматоха. Бригадир поспешно напяливает мундир, надевает амуницию. «Ну, берите *Стеклянного*... И побыстрее!..» Другой стороной двор выходит в переулок, по которому рысью проезжает вереница санитарных повозок. «Начальник, они увозят даже полевой госпиталь».— «Вижу сам. Где Маржула? Живее, Паоли!.. А это что? Теперь и саперы?» Во двор въезжают два полугрузовика, за которыми шагает отряд солдат. Солдаты поспешно выгружают колья, мотки колючей проволоки. «Рогатки — в тот угол... Остальное — сюда... Живо!» Встревоженный бригадир спрашивает у сержанта, наблюдающего за работой: «Стало быть, дело уж совсем плохо?» — «Еще бы! А мы только что укрепили позицию... Кажется, *они* уже занимают Вогезы... спускаются к Бельфору... Поговаривают о том, чтобы капитулировать — во избежание оккупации...» — «Кроме шуток? Значит, нам конец?» — «Пока что советую вам поскорее сниматься с якоря... Жителям приказано удирать. Через час деревня должна быть очищена...» Бригадир поворачивается к жандармам: «Ну, как со *Стеклянным?* Чей черед? Маржула, сейчас не время копаться! Живо!» Гудение моторов заполняет двор. Порожние грузовики разворачиваются. Голос капи-

тана покрывает шум: «Соберите все плуги, все бороны, какие найдете... даже сенокосилки... Скажите лейтенанту, чтобы он запретил населению увозить тележки. Они понадобятся нам, чтобы баррикадировать дороги».— «Ну что же ты, Маржула?» — кричит бригадир. «Я готов, начальник».

Четыре руки берутся за носилки. Жак стонет. Жандармы быстро выходят на дорогу, где колонна уже построилась и тронулась в путь. Ряды теперь сдвинуты так тесно, что нелегко проникнуть с носилками в эту толчею. «Жми! Нам надо во что бы то ни стало занять там место».— «Баста! — ворчит Паоли.— Не можем же мы, в самом деле, вечно таскать с собой эту падаль!»

Толчки... толчки... все мучения возобновились.

В деревне — полная растерянность. Во дворах, в домах — возгласы, крики, причитания. Крестьяне наспех запрягают лошадей в свои двуколки. Женщины беспорядочно суют туда узлы, чемоданы, люльки, корзины с провизией. Многие семьи убегают пешком, смешавшись с солдатами, толкая перед собой тачки, детские коляски, набитые самыми разнокалиберными предметами. По левой стороне дороги с адским грохотом катятся обозы с боеприпасами, тяжелые подводы, которые тянут могучие першероны. Из всех переулков стекаются телеги, запряженные ослами, лошадьми. Старухи и малые ребята сидят на них, примостившись на груде мебели, ящиков, матрасов. Крестьянские упряжки вклинились в вереницу полковых обозов, которые едут шагом и заполняют середину шоссе. Пехотинцы, отодвинутые вправо, шагают где придется — по обочине, по канаве. Солнце печет. Сгорбившись, сдвинув кепи на затылок, прикрыв шею платком, нагруженные, как вьючные животные (некоторые даже тащат на плечах вязанки хвороста), они идут тяжелым, но торопливым шагом, в полном молчании. Они отбились от своих полков. Они не знают, откуда и куда они идут. Им все равно: одну неделю длится война, а они уже перестали что-либо понимать! Они знают только, что «надо удирать», и идут вслед за другими... Усталость, страх, стыд и радость, вызванные бегством, придают всем лицам одно и то же ожесточенное выражение. Они не знают друг друга, не разговаривают друг с другом. Сталкиваясь, они обмениваются ругательствами или злобными насмешками.

Жак то открывает, то закрывает глаза, в зависимости от толчков. Боль в ногах, пожалуй, немного затихла во время этой короткой передышки в тени навеса, но воспаленный рот непрерывно, мучительно болит... Вокруг маячат какие-то фигуры, винтовки. Пыль, испарения этого человеческого стада душат его; зыбь этих беспорядочно колышущихся тел вызывает в его пустом желудке

тошноту, как при морской болезни. Он не пытается размышлять. Он — вещь, покинутая всеми, даже им самим...

Движение вперед продолжается. Дорога суживается меж двух откосов. Каждую минуту — затор, остановка; и каждый раз носилки, поставленные на землю, резко ударяются о нее; и каждый раз Жак открывает глаза и стонет. «Баста! — ворчит маленький корсиканец.— Если так пойдем, начальник, пруссакам нетрудно будет нас...» — «Марш! — с раздражением кричит бригадир.— Разве не видите, что все уже двинулись?» Колонна опять трогается, проходит кое-как метров пятьдесят и опять застревает. Жандармы вынуждены остановиться на перекрестке проселочной дороги, где стоит в ожидании пехотная рота, сгрудившись, с винтовками на ремне. Офицеры, собравшись на откосе вокруг капитана, совещаются и рассматривают карты. Бригадир обращается к фельдфебелю, который из любопытства подошел к носилкам: «А вы куда идете?» — «Не знаю... Ротный ждет приказа».— «Видно, дело плохо?» — «Да, видно, что так... Говорят, на севере видели улан...» Один из офицеров выходит на край откоса. Он кричит: «На плечо! В колонну по четыре, за мной!» И, оставив загроможденную дорогу слева, уводит своих людей напрямик через луга, параллельно дороге. «Вот этот не дурак — верно, начальник? Уж он наверняка дойдет до привала раньше нас!» Бригадир жует ус и не отвечает.

Остановка затягивается. Очевидно, пробка основательная. Даже артиллерийские обозы на левой стороне шоссе стоят неподвижно. Отряд самокатчиков, ведя свои машины, делает попытку пробраться между повозок, но и он увязает в этой гуще.

Проходит двадцать минут. Колонна не продвинулась и на десять метров. Направо пехотные части отступают к западу, прямо по полям. Бригадир нервничает. Он знаком подзывает жандармов. Их головы сближаются над носилками для конфиденциального разговора. «Черт побери, не можем же мы, на самом деле, торчать здесь весь день и разыгрывать храбрецов... Если начальству угодно, чтобы мы шли за колонной, пусть заставит ее двигаться вперед... У меня особое задание — так ведь? К вечеру я должен доставить эту падаль в жандармерию корпуса... Ответственность я беру на себя. Живо! За мной!» Не теряя ни секунды, жандармы выполняют приказ: расталкивая окружающих, они хватают носилки, перепрыгивают через ров, взбираются на откос и устремляются напрямик через поля, покинув шоссе и парализованные обозы.

Прыжок через ров, подъем на откос исторгают у Жака долгий хриплый стон. Он пытается повернуть шею, приоткрыть распухшие губы... Новый толчок... Еще один... Небо, деревья — все ка-

чается... Аэроплан горит: ступни Жака — два факела; смерть, жестокая смерть хватает его за ноги, за бедра, доходит до сердца... Он теряет сознание.

Резкий толчок приводит его в чувство. Где он? Носилки стоят в траве. Давно? Ему кажется, что это бегство длится уже много дней... Освещение изменилось, солнце стоит ниже, день кончается... Умереть... Чрезмерность боли притупляет его ощущения, словно наркотик. Ему кажется, что он погребен под землей на такой глубине, куда толчки, звуки, голоса доходят лишь приглушенные, далекие. Видимо, он спал, видел сон... У него осталась в памяти роща акаций, где щипала траву белая коза, болотистый луг, где увязали сапоги жандармов, забрызгивая его грязью... Он широко открывает глаза, пытаясь хоть что-нибудь увидеть. Маржула, Паоли, бригадир стоят, опустившись на одно колено. Впереди, в нескольких метрах, какая-то большая шевелящаяся куча: это залегла пехотная рота. Ранцы, приставленные один к другому, образуют панцирь гигантской черепахи, которая вздрагивает в траве.

Капитан, стоя позади солдат, рассматривает местность в бинокль. Слева косогор; на его отлогом склоне луг; сине-красный батальон расположился здесь веером и лежит, похожий на карты, разбросанные по зеленому сукну...

«Чего же мы ждем, начальник?» — «Приказа».— «А если придется бежать бегом,— говорит Маржула,— как мы со *Стеклянным* поспеем за другими?»

Капитан подходит к бригадиру и дает ему посмотреть в бинокль. Вдруг справа несутся галопом кони, кавалерийский взвод с драгунским унтер-офицером во главе. Всадники привстали на стременах, конские гривы развеваются на ветру. Унтер-офицер останавливается возле капитана. У него детское лицо с оживленным, радостным выражением. Левой, затянутой в перчатку рукой он показывает вправо: *«Они* там... За этим холмом... В трех километрах... Прикрытие, должно быть, уже вступило в бой!»

Он сказал это громко. Жак заметил его. Образ Даниэля в каске пробивается сквозь его оцепенение.

Металлический лязг оглашает воздух: не дожидаясь команды, солдаты последнего ряда, услышавшие эти слова, примкнули штыки. Их движение постепенно повторяется всеми — от одного к другому, и вдруг из земли вырастает целое поле блестящих стеблей. Все головы поднимаются, все взгляды обращены к зловещему «холму», над которым позолоченное солнце, мирное, чистое небо... Унтер-офицер делает знаки кавалеристам, чьи лошади топчут сочную траву, и взвод рысью мчится дальше. Капитан кричит ему вслед: «Передайте, чтобы нам прислали распоряжения! — Он

обращается к бригадиру: — Ну, видали вы что-нибудь подобное? Слева — связи нет! Справа — тоже! Какого дьявола можно сделать в этой неразберихе?» Он отходит к своим солдатам. «Послушайте, начальник, уйдем отсюда...» — бормочет Маржула. «Глядите-ка, там зашевелились!» — говорит Паоли. В самом деле, ряд за рядом батальон, лежавший в траве, перебежками взбирается на гребень косогора и, опять-таки ряд за рядом, исчезает на противоположной стороне. «Вперед!» — кричит капитан. «И мы тоже — вперед!» — говорит бригадир.

Носилки поднимают, трясут. Жак стонет. Никто не слушает его, никто не слышит. О, пусть его оставят... пусть дадут ему умереть здесь... Он закрывает глаза. О, эти толчки... Через каждые пять — десять метров носилки резко падают в траву; жандармы, опустившись на колени, с минуту переводят дух и снова трогаются в путь. Справа, слева солдаты перебежками взбираются по очереди на косогор. Наконец и жандармы добираются почти до самого гребня,— им осталось несколько метров. Капитан здесь. Он объясняет: «По ту сторону, на дне оврага, должны быть лес и дорога... Думаю, что лесом мы пройдем к юго-западу. Но надо будет поторопиться... После гребня мы окажемся на виду...» Наступила очередь последнего пехотного взвода. «Вперед!» — «За ними!» — кричит бригадир. Носилки еще раз отрываются от земли и достигают гребня. Перерезанный кустарником луг спускается к лесистому ущелью, за которым начинается лес, загораживающий горизонт. «Надо кубарем скатиться вниз, напрямик, самым коротким путем, и все тут! Вперед!» И вдруг долгий свист раздирает воздух; скрежещущий, сверлящий звук, все громче, громче... Носилки еще раз тяжело падают в траву. Жандармы распластались на земле, среди солдат. У каждого одна мысль: сделаться как можно более плоским, вдавиться, уйти в землю, подобно тому как уходят в песок подошвы ног после отлива. Глухой мощный взрыв раздается впереди, по ту сторону оврага, в лесу. На всех лицах выражение панического страха. «Нас нащупали!» — «Живо вперед!» — «В лесу-то нас и перебьют!» — «В овраг! В овраг!» Солдаты вскакивают и большими прыжками сбегают по склону, пользуясь малейшим кустиком, малейшей неровностью почвы, чтобы сплющиться на земле перед новой перебежкой. Жандармы бегут за ними, раскачивая, тряся носилки. Они достигают наконец опушки леса. Жак теперь — лишь неподвижная груда окровавленного мяса. Во время спуска вся тяжесть тела давила на его сломанные ноги. Ремни впились ему в руки, в ляжки. Он уже ничего не сознает. В ту секунду, когда носилки, словно снаряд, пробиваются сквозь ели опушки, он на миг приоткрывает глаза; его хлещут ветки, колют иглы, сдирая кожу с лица, с рук. И вдруг — успокоение. Ему кажется, что

жизнь уходит от него так, как у человека вытекает кровь,— теплой, вызывающей тошноту струей... Головокружение... Падение в пустоту... Аэроплан, листовки...

Свист гранаты раздается в воздухе, приближается, проносится мимо... Жак открывает и закрывает глаза... Гул голосов... Тень, неподвижность...

Носилки лежат под деревьями на земле, усыпанной хвоей. Вокруг какое-то неопределенное движение... Тесно прижатые друг к другу, словно слитые в одну сплошную массу, пехотинцы, сутулясь в своей неудобной одежде, связанные винтовками и ранцами, цепляющимися за ветки, топчутся на месте, не в силах ни двинуться вперед, ни повернуть назад. «Не напирайте!» — «Чего мы ждем?» — «Выслали дозор».— «Надо проверить, безопасно ли в лесу». Офицеры и унтер-офицеры выходят из себя, но никак не могут перегруппировать своих солдат. «Тише!» — «Шестая, ко мне!» — «Вторая!..» Недалеко от носилок какой-то солдат прислонился к елке, и сон вдруг сморил его, мертвый сон. Он молод; у него ввалившиеся щеки, серое лицо, одеревеневшая рука бессознательно прижимает винтовку к бедру: он как будто взял на караул. «Говорят, третий батальон отправлен во фланговое охранение, чтобы прикрыть...» — «Сюда, ребятки, сюда!» Это кричит капрал, коренастый крестьянин, который входит в лес, ведя за собой свое звено, словно курица цыплят.

Через носилки перешагивает лейтенант. У него тот заносчивый и испуганный вид, какой бывает у начальника, когда он растерян и готов на все, лишь бы сохранить свой престиж. «Унтер-офицеры, велите всем замолчать! Будете вы повиноваться, черт вас возьми! Первый взвод, стройся!» Солдаты с хмурым видом пытаются сдвинуться с места; они и сами хотят найти свое начальство, своих товарищей и снова почувствовать себя рядовыми нормальной воинской части. Некоторые смеются, наивно успокоенные тем, что деревья замыкают горизонт: словно война осталась там, по другую сторону опушки, в открытом поле. Время от времени какой-нибудь связной, весь потный, запыхавшийся, злой, вечно не находя того, кого он ищет, с руганью пробивает себе дорогу и скрывается за кустами и людьми, сердито бросив на ходу номер полка или имя полковника. Новый свист, более глухой, более короткий, раздается над деревьями. Все затихают, плечи съеживаются, затылки приникают к ранцам. На этот раз взрыв происходит справа... «Это семидесятипятимиллиметровый!» — «Нет! Это семидесяти семи!» Жандармы, обступившие носилки, словно они-то и придают смысл их существованию, образуют неподвижный островок, о который разбивается людская волна.

Внезапно на опушке раздается голос: «Прицел тысяча восемьсот метров!.. Линия гребня... Черная рощица... Стрелять по команде! Огонь!» Дружный залп сотрясает воздух. Под деревьями воцаряется тишина. Раздается новый залп. Затем слышатся разрозненные выстрелы, все более и более многочисленные. Все, кто находился близ опушки, обернулись в сторону луга, и, не ожидая команды, счастливые, что могут что-то сделать, вскидывают винтовки и стреляют наудачу сквозь листву. Молодой солдатик, только что спавший у дерева, теперь стоит на коленях в ногах носилок и непрерывно, усердно стреляет, пристроив винтовку в развилке двух веток. Каждый выстрел хлещет Жака, словно удар кнута, но он уже не в силах открыть глаза.

Справа вдруг раздается конский топот... Группа офицеров верхом, два майора, полковник, врываются в лес, с треском ломая кустарник. Визгливый голос покрывает трескотню выстрелов: «Кто отдал команду? Вы что — с ума сошли? Что это за стрельба? Хотите, чтобы нащупали всю бригаду?» Унтер-офицеры кричат со всех сторон: «Прекратить огонь! Стройся!» Шум сразу прекращается. Повинуясь общему порыву, все эти сбившиеся в кучу люди, казалось застрявшие здесь навсегда, находят в себе силу преодолеть инерцию и повернуться в одну сторону. Они толкаются, налетают друг на друга, молча награждают друг друга пинками и вскоре, словно стая перелетных птиц, медленно трогаются к югу, вслед за группой старших офицеров. Позвякивание кружек, котелков, манерок, сопровождаемое глухим топотом солдатских башмаков по мягкой, точно устланной войлоком почве, наполняет лес неясным шумом, будто идет стадо. Смолистая пыль рыжим облаком поднимается меж елей.

«А мы, начальник?» Бригадир уже принял решение: «Мы пойдем за ними!» — «Со *Стеклянным?*» — «А как же иначе? Ну!.. За мной, марш!» И, не дожидаясь, словно идя в атаку, он вливается в поток, а за ним и два свободных жандарма. Двое других поспешно поднимают Жака. «Готово, Маржула?» — шепчет Паоли. Он пытается проскользнуть в ряды, но людской поток все еще так плотен, что при каждой попытке носилки безжалостно отталкивают назад. «Надо подождать, пока немного поредеет»,— советует Маржула.. «Баста! — говорит корсиканец, резко бросая свой конец носилок.— Пойду догоню начальника и скажу, чтобы он подождал...» — «Эй, Паоли, не бросай меня здесь!» — кричит старый жандарм, тоже отпуская носилки. Но Паоли уже не слышит; быстрый, как угорь, он пробрался в толпу, и его синее кепи, короткая загорелая шея моментально исчезли. «Вот так штука!» — восклицает Маржула. Он наклоняется к Жаку, как тогда, когда давал

ему пить. Огонек ярости загорается в его глазах. «Все из-за тебя, сволочь!» Но Жак не слышит его. Он потерял сознание.

Жандарм раздвигает ветки и делает попытку схватить за плечо какого-то пехотинца: «Помоги мне нести это!» — «Я не санитар»,— отвечает солдат, резко отталкивая его руку. Жандарм видит светловолосого толстяка, добродушного на вид. «Подсоби немного, старина!» — «Еще чего!..» — «Что же мне делать с этой падалью?» — бормочет Маржула. Он вынимает платок и машинально вытирает лицо.

Вскоре поток редеет. Если бы Паоли вернулся, они бы смогли двинуться вперед, это бесспорно! «Господин капитан!» — робко окликает Маржула. Ведя лошадь под уздцы, мимо проходит офицер; он смотрит прямо перед собой и даже не поворачивает головы... Те, которые проходят теперь, это отставшие. Они идут вразброд, опустив голову, измученные, волоча ноги, обеспокоенные тем, что находятся в хвосте, стараясь из последних сил двигаться быстрее. Нечего и пытаться: никто из них не согласится обременять себя носилками...

Вдруг на лугу, по другую сторону опушки, раздаются голоса, быстрые шаги... Маржула оборачивается, весь позеленев; его пальцы инстинктивно расстегивают кобуру, хватаются за револьвер. Нет! Это французская речь: «Сюда! Сюда!..» Между елками появляется раненый. Он бежит, как лунатик, у него повязка на лбу, иссиня-бледное лицо. За ним врывается в лесок человек десять пехотинцев без ранцев, без винтовок: это тоже легкораненые — у кого рука на перевязи, у кого забинтовано колено. «Скажи, старина, нам сюда? Здесь можно пройти?.. Они ведь недалеко, знаешь?» — «Не... недалеко?» — заикаясь, бормочет Маржула.

Ветки снова раздвигаются. Появляется военный врач: он пятится задом, прокладывая дорогу двум санитарам, которые на переплетенных руках, как в кресле, несут толстого человека с обнаженной головой, с мертвенно-бледным лицом, с закрытыми глазами. Его офицерский мундир расстегнут; четыре галуна; живот выпирает из-под испачканной кровью рубашки. «Осторожней... осторожней...» Врач замечает жандарма и Жака у его ног. Он быстро оборачивается: «Носилки! Кто это? Штатский? Раненый?» Маржула, стоя навытяжку, бормочет: «Шпион, господин военный врач...» — «Шпион? Этого только недоставало! Носилки нужны для майора. Живо! Шевелись!»

Жандарм начинает послушно расстегивать ремни, развязывать веревки. Жак вздрагивает, шевелит рукой, открывает глаза... Кепи полкового врача? Антуан?.. Он делает нечеловеческое усилие, чтобы понять, чтобы вспомнить. Сейчас его освободят, дадут ему

пить... Но что с ним делают? Носилки поднимаются. Ой!.. Тише! Ноги!.. Нестерпимая боль: несмотря на лубки, раздробленные берцовые кости впиваются ему в тело, раскаленные иглы пронизывают мозг... Никто не видит его губ, искривленных от боли, его глаз, расширившихся от ужаса... Сваленный с носилок, точно мусор из опорожняемой тачки, он с хриплым стоном падает набок. Внезапный холод, холод, идущий от ног, со смертельной медлительностью поднимается к сердцу...

Жандарм не протестует. Он со страхом озирается по сторонам. Врач рассматривает карту, а санитары торопливо укладывают на носилки майора,— глаза у него закрыты, а рубашка сделалась красной. Маржула бормочет: «Так они недалеко, господин врач?» Вдруг резкий, протяжный вой раздирает воздух, а вслед за ним, совсем близко раздается взрыв, от которого, кажется, сотрясается мозг в черепной коробке. И почти сейчас же со стороны луга доноситься трескотня ружейных залпов.

— Вперед! — кричит врач.— Мы попадем между двух огней... Если мы останемся здесь — нам крышка!

В момент взрыва Маржула распластался на земле, как и остальные. Он с трудом поднимается на ноги. Он видит, как уносят носилки, как группа раненых углубляется в лес. И голосом, осипшим от страха, он вопит: «Как же так? А я? А *Стеклянный?..*» Старый унтер с перевязанной рукой, замыкающий шествие, не останавливаясь, оборачивается к нему. «А я? — умоляюще повторяет Маржула.— Не уходи... Что я буду делать с этой падалью?» Унтер — сверхсрочник, бывалый солдат колониальных войск, с обветренным лицом, складывает рупором здоровую руку: «Да кому он нужен, твой шпион? Прикончи его, дурак! И удирай, если не хочешь, чтобы тебя поймали, как крысу!»

— Дьявол, дьявол, дьявол! — вопит жандарм.

Теперь он один — один с этим полутрупом, лежащим на боку, с закрытыми глазами. Кругом торжественная, неестественная тишина... «Они недалеко... Прикончи его...» Трусливо озираясь, он сует руку в кобуру. Он моргает. Страх попасть к немцам борется в нем со страхом перед убийством. Он никогда еще никого не убивал, даже животных... Возможно, что если бы в эту минуту глаза раненого еще раз приоткрылись, если бы Маржула пришлось выдержать живой взгляд... Но это мертвенно-бледное лицо, из которого как будто уже ушла жизнь, этот профиль, этот висок, как будто поставленный под... Маржула не смотрит. Он зажмуривается, сжимает челюсти и вытягивает руку. Дуло прикасается к чему-то... К волосам? К уху?.. Чтобы подбодрить себя, чтобы оправдаться перед самим собой, он, стиснув зубы, кричит:

— Дерьмо!

Крик и выстрел раздаются одновременно.

Свободен! Жандарм выпрямляется и, не оглядываясь, бросается в глубь леса. Ветки хлещут его по лицу, хворост трещит под ногами. Отступление оставило за собой в чаще длинный след, проложило путь. Товарищи близко... Спасен!.. Он бежит. Бежит от опасности, от одиночества, от совершенного убийства... Он задерживает дыхание, стараясь мчаться еще быстрее, и, чтобы дать выход своей злобе и своему страху, при каждом новом прыжке он кричит, не разжимая зубов:

— Дерьмо!.. Дерьмо!.. Дерьмо!..

I

— Пьере! Телефон! Не слышишь?

Пьере, вестовой при канцелярии клиники, пользуясь свободными часами, когда врачи и больные, занятые процедурами, не заходят в нижний этаж, стоял, опершись о перила террасы, и вдыхал утренний запах жасмина. Он бросил сигарету и подбежал к телефону.

— Алло!

— Алло! Говорит грасский телеграф. Примите телеграмму в клинику Мускье.

Телефонистка уже начала диктовать:

— «Париж — третьего мая тысяча девятьсот восемнадцатого года — семь часов пятнадцать минут.— Доктору Тибо — Клиника для отравленных газами — Мускье под Грассом — Приморские Альпы». Записали?

— При-мор-ские,— повторил вестовой.

— Продолжаю: «Тетя Вез... Виктор-е-з... тетя Вез скончалась — Похороны приюте воскресенье десять часов — Целую. Подпись Жиз». Все. Повторяю...

Пройдя вестибюль, вестовой направился в выходу. В дверях канцелярии показался старик санитар в белом фартуке, с подносом в руках.

— Идешь наверх, Людовик? Занеси-ка телеграмму в пятьдесят третью палату.

В пятьдесят третьей пусто, постель застлана, комната убрана. Людовик подошел к открытому окну и выглянул в сад: военного врача Тибо нигде не было видно. Несколько ходячих больных в голубых пижамах и ночных туфлях, в солдатских или офицерских кепи, оживленно разговаривая, прогуливались на солнышке; другие, растянувшись в шезлонгах под кипарисами, читали газеты.

Санитар взял поднос, на котором остывал стакан с отваром, и вошел в палату к пятьдесят седьмому. Уже больше двух недель

пятьдесят седьмой не вставал с постели. Полусидя в подушках, с потным, худым лицом, небритый, он дышал трудно, и хрип его был слышен в коридоре. Людовик налил в стакан две ложки лекарства, поддержал больному голову, чтобы удобнее было пить; вылил содержимое плевательницы в умывальник; потом, сказав несколько ободряющих слов, отправился на розыски доктора Тибо. Для очистки совести, прежде чем спуститься вниз, он заглянул в палату номер сорок девять. Полковник, откинувшись на спинку плетеного шезлонга, поставив плевательницу рядом с собой, играл с тремя офицерами в бридж. Доктора Тибо и здесь не оказалось.

— Он, должно быть, на ингаляции,— сказал доктор Бардо, встретившийся Людовику внизу у лестницы.— Дай мне, я туда иду.

Больные, закрыв головы полотенцами, сидели перед ингаляторами. Густо пахнувший мятой и эвкалиптом пар наполнял маленькую, сильно нагретую комнату, где царили молчание и полумрак.

— Антуан, тебе телеграмма.

Антуан высунул из-под полотенца побагровевшее лицо, по которому капельками бежал пот. Он отер глаза, удивленно взял из рук Бардо телеграмму, прочел ее.

— Что-нибудь важное?

Антуан отрицательно покачал головой. Глухим, сдавленным, беззвучным голосом он с трудом произнес:

— Родственница... старуха... умерла!

И, засунув телеграмму в карман пижамы, снова скрылся под полотенцем.

Бардо тронул его за плечо.

— У меня готов твой анализ. Приходи, когда кончишь.

Доктор Бардо принадлежал к тому же поколению, что и Антуан. Они были знакомы давно, еще по Парижу, с тех пор как поступили на медицинский факультет. Но потом Бардо пришлось прервать учение и уехать на два года лечиться в горы. Он поправился, но, вынужденный беречься и не доверяя парижской зиме, защищал диплом в Монпелье и специализировался на легочных заболеваниях. В самый момент объявления войны он был директором санатория в Ландах. В 1916 году Сегр, профессор медицинского факультета в Монпелье, учитель доктора Бардо, пригласил его в клинику для отравленных газами, которую Сегру поручено было организовать на юге, и они вместе создали в Мускье под Грассом это заведение, где сейчас находилось на излечении шестьдесят — семьдесят солдат и около двадцати человек командного состава.

Сюда-то и попал в начале зимы Антуан, отравленный ипритом в ноябре 1917 года во время инспекционной поездки по фронту в Шампани; он выбрал Мускье, перепробовав без всякого результата чуть ли не десяток тыловых госпиталей.

В отделении для офицерского состава Антуан был единственным военным врачом, пострадавшим от газов. Общие юношеские воспоминания, естественно, сблизили Бардо и Антуана, вопреки различию их темпераментов: Бардо был скорее мечтатель; дотошный, безынициативный, слабовольный; но так же, как и Антуан, он был страстно предан медицине и потому чрезвычайно строг к себе как к врачу. Они поняли, что их многое сближает, и вскоре стали друзьями. Бардо, на которого профессор Сегр взвалил всю работу по госпиталю, не очень-то благоволил к своему ассистенту, доктору Мазе, бывшему врачу колониальных войск, прикомандированному к клинике в Мускье после тяжелого ранения. Поэтому он особенно охотно поверял Антуану свои мысли, свои сомнения, советовался с ним, посвящал в свои труды в совершенно новой области терапии, где было еще так много белых пятен. Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы Антуан помогал Бардо в его повседневной работе; слишком серьезно он был болен, слишком занят самим собою, слишком его беспокоили рецидивы болезни, а главное — он был угнетен бесконечными лечебными процедурами, неизбежными при его состоянии; но это не мешало Антуану интересоваться «случаями» других, и как только к нему возвращались силы, как только он мог хоть немного сосредоточиться, когда выпадали сносные дни, он присутствовал на приемах у Бардо, делал вместе с ним опыты, иной раз даже участвовал в совещаниях, ежедневно происходивших в кабинете профессора Сегра при участии Бардо и Мазе. Благодаря тому, что он находился здесь не только на положении больного, но отчасти и на положении врача, специфическая атмосфера клиники тяготила его меньше, чем прочих пациентов, он не был полностью лишен того, что в продолжение пятнадцати лет, в мирное время и во время войны, составляло подлинный и единственный смысл его существования.

Закончив ингаляцию, Антуан укутал шею шарфом, чтобы предохранить себя от слишком резкой перемены температуры, и отправился разыскивать доктора Бардо, который каждое утро в специальной пристройке лично руководил упражнениями дыхательной гимнастики, назначаемой некоторым больным.

Бардо с благожелательным вниманием дирижировал целой какофонией одышливых хрипов. Он был на полголовы выше самых высоких своих пациентов. Преждевременная лысина увеличивала

лоб. Ширина плеч была под стать росту: этот человек, когда-то перенесший туберкулез, выглядел колоссом. Могучий, почти квадратный торс, туго обтянутый халатом, приобретал со спины еще более внушительные размеры.

— Я очень доволен,— сказал он, уводя Антуана в раздевалку, где никого не было.— Я боялся, что... Да нет, реакция на белок отрицательная, это хороший признак.

Из-за обшлага он вытащил бумажку. Антуан взял ее, пробежал глазами.

— Я отдам ее тебе вечером, только спишу для себя. (С первого дня заболевания Антуан вел в специальной тетради очень подробную клиническую историю своей болезни.)

— Ты слишком долго сидишь на ингаляции,— проворчал Бардо.— Смотри не уставай!

— Нет, нет,— ответил Антуан.— Я придаю ингаляции большое значение.— Говорил он слабым прерывающимся голосом, но отчетливо.— Утром, когда я просыпаюсь,— полная афония: глотка густо покрыта мокротой. А сейчас она хорошо прочищена паром, и голос, как видишь, заметно лучше.

Но Бардо настаивал на своем:

— А все-таки не надо злоупотреблять... Афония, как бы ни была она неприятна сама по себе, это все-таки меньшее зло. Продолжительные ингаляции в иных случаях могут слишком резко прервать кашель.— Как многие южане, он слегка растягивал слова, и от этого выражение его глаз казалось еще мягче, серьезнее.

Бардо сел и усадил Антуана. Он старался создать у больных впечатление, что нисколько не торопится, что готов слушать их без конца, что ничто не интересует его так, как чужие недуги.

— Я бы посоветовал тебе снова начать принимать отхаркивающее,— сказал он, расспросив Антуана о том, как он провел вчерашний день и ночь. — Попробуй терпин или настойку росянки. Да, да, средство народное... Обильно пропотеть перед сном,—только, конечно, смотри не простудись,— ничего не может быть лучше! — Манера оттенять некоторые гласные, некоторые дифтонги, певуче растягивать окончания слов напоминала тягучее движение смычка на басовых струнах виолончели.

Он обожал давать советы, свято верил в действие своего лечения и никогда не унывал от неудач. Особенно же ему нравилось наставлять Антуана, превосходство которого Бардо признавал охотно, без мелочной зависти.

— И потом,— продолжал он, не отводя глаз от своего пациента,— почему бы не попробовать несколько дней сернисто-мышьяковое лечение, чтобы уменьшить ночные выделения? Как вы думаете? — обратился он к доктору Мазе, входившему в комнату.

Мазе ничего не ответил. Он открыл шкаф, стоявший у задней стены, снял с себя китель цвета хаки, разлезавшийся по швам и побелевший от стирок, но весь разукрашенный орденскими ленточками, и надел белый халат. В комнате сильно запахло потом.

— Если афония вдруг усилится, мы всегда можем снова прибегнуть к стрихнину,— продолжал Бардо.— Зимой я добился неплохих результатов, когда лечил Шапюи.

Мазе обернулся и насмешливо взглянул на говорившего:

— Ну, знаешь, если это у тебя самый удачный случай...

У Мазе был квадратный череп, узкий лоб, пересеченный глубоким рубцом; седеющие, очень густые волосы росли низко и были подстрижены ежиком. Глаза при малейшем возбуждении наливались кровью. Черная полоска усов резко выделялась на загорелом лице старого колониального служаки.

Антуан вопросительно взглянул на Бардо.

— К счастью, случай Тибо ничем не похож на случай Шапюи,— живо возразил Бардо. Он был недоволен и не скрывал этого.— Бедняга Шапюи в неважном состоянии,— добавил он, обращаясь к Антуану.— Ночь прошла плохо. Меня дважды в нему вызывали. Интоксикация сердца быстро прогрессирует. Общая экстрасистолическая аритмия. Сейчас жду профессора, хочу показать ему пятьдесят седьмого.

Мазе приблизился к ним, застегивая на ходу халат. Разговор перешел на сердечно-сосудистые расстройства у отравленных ипритом, «столь различные,— вставил Бардо,— в зависимости от возраста больного» (Шапюи, артиллерийский полковник, находился на излечении уже восемь месяцев. Ему было больше пятидесяти лет) — «...и в зависимости от предшествующих заболеваний»,— добавил Антуан.

Шапюи был его соседом по площадке. Несколько раз Антуан сам осматривал Шапюи и пришел к выводу, что полковник еще до отравления страдал скрытым сужением митральных клапанов, чего ни Сегр, ни Бардо, ни Мазе, по-видимому, не заметили. Сейчас он чуть было не сказал об этом. (Он испытывал недоброе чувство удовлетворения, почти торжества, которое возникало всякий раз, когда ему удавалось поймать коллегу на ошибке и заставить признать ее — будь то даже самый лучший друг; а теперь это было как бы реваншем за то состояние неполноценности, на какое обрекала его болезнь.) Но каждое слово стоило ему труда. И он решил промолчать.

— Вы не просматривали сегодняшние газеты? — спросил Мазе.

Антуан отрицательно покачал головой.

— Наступление бошей во Фландрии, кажется, действительно приостановлено,— сказал Бардо.

— Да, похоже на то,— подтвердил Мазе.— На Ипре держались стойко. Англичане официально подтвердили, что удерживают фронт на Изере.

— Это, должно быть, недешево обходится,— заметил Антуан.

Мазе пожал плечами, что в равной мере могло означать и «очень дорого» и «невелика беда». Он подошел к шкафу, пошарил в карманах своего кителя и обратился к Антуану:

— Вот как раз швейцарская газета, мне ее дал Гусаран... Увидите сами, по официальным сводкам Центральных держав, за один только апрель англичане потеряли больше двухсот тысяч человек, и только на одной Изере.

— Если бы эти цифры дошли до общественного мнения союзных стран...— начал было Бардо.

Антуан покачал головой, а Мазе громко фыркнул. Он был уже у дверей. Обернувшись, он бросил через плечо:

— Ни одно достоверное сведение никогда у нас не доходит до общественного мнения. На то и война!

Как и обычно, доктор Мазе говорил с таким видом, будто считает дураками всех, кроме себя.

— Знаешь, о чем я думал сегодня утром? — начал Бардо, когда Мазе вышел.— О том, что сейчас ни одно правительство уже не представляет национальных чаяний своей страны. Никто ни на той, ни на другой стороне не знает, что думают в действительности массы: голос правителей заглушил голос управляемых. Взгляни на Францию! Неужели ты думаешь, что из двадцати французских солдат найдется хоть один, который согласился бы на то, чтобы ради возвращения нам Эльзас-Лотарингии война затянулась еще на месяц?

— Даже одного из пятидесяти не найдется.

— И все-таки весь мир убежден, что Клемансо и Пуанкаре — подлинные выразители общественного мнения Франции. Война породила атмосферу небывало наглой официальной лжи. Во всем мире! Хотелось бы мне знать, услышим ли мы когда-нибудь истинный голос народов и удастся ли когда-нибудь европейской прессе...

Их прервало появление профессора.

Сегр по-военному ответил на приветствие обоих врачей. Но руку подал одному только Бардо. Подбородок сапожком, горбатый нос, золотые очки, хохолок белых, легких, как пух, волос, вся щупленькая фигурка напоминала карикатуры на г-на Тьера. Он тщательно следил за своей внешностью, всегда был чисто выбрит. Говорил он кратко, вежливо, но без тени фамильярности даже по отношению к сослуживцам. Профессор вел уединенную жизнь, почти не выходил из кабинета и нередко даже обедал там. Целые

дни он проводил за письменным столом, писал для медицинских журналов статьи о методах лечения отравленных газами на основании клинических наблюдений Бардо и Мазе. Сам он редко осматривал больных: только по их прибытии в клинику и в случае внезапного ухудшения.

Бардо начал было рассказывать ему о состоянии пятьдесят седьмого. Но с первых же слов профессор прервал его речь и направился к дверям:

— Пойдемте.

Антуан проводил их взглядом. «Славный малый этот Бардо,— подумал он.— Мне повезло, что он здесь...»

В это время он обычно уходил к себе в комнату, где заканчивал процедуры и отдыхал до завтрака. Он так уставал от утренних часов лечения, что порой засыпал, сидя в кресле, и вскакивал, только когда его будил гонг, созывающий к столу.

Он шел по лестнице на некотором расстоянии за Сегром и Бардо. «И все-таки,— вдруг подумалось ему,— если мне суждено умереть здесь, никакая дружба с Бардо не поможет...»

Шел он медленно, чтобы не вызвать одышки. Стоило ему подняться на второй этаж, не соблюдая необходимой осторожности, и тотчас же начиналась колющая боль в боку, не очень, правда, мучительная, но утихавшая только через несколько часов.

Жозеф опять забыл опустить штору. Мухи толклись над полочкой, где были выстроены в ряд пузырьки с лекарствами. Хлопушка для мух висела на гвоздике; но Антуан слишком устал, чтобы начать охоту — свое обычное утреннее занятие. Даже не взглянув на чудесный вид, открывавшийся из окна, он опустил штору, сел в кресло и на минуту закрыл глаза. Потом достал из кармана телеграмму, машинально перечел ее...

Она прожила свое, бедная старушка. Что оставалось ей, как не исчезнуть? Однако она вовсе не такая уж старая... «Пойми, Антуан,— говорила Мадемуазель, тряся головой,— я никому не хочу быть в тягость на старости лет». Эту фразу она повторяла особенно часто, с тех пор как решила окончить свои дни в Убежище для престарелых. Было это вскоре после смерти г-на Тибо. В декабре 1913 года, может быть, в январе 1914-го... А сейчас май 1918-го, значит, прошло уже больше четырех лет! Сколько ей,— семьдесят, меньше? Он вспомнил: узенький желтый лоб под седыми буклями, освещенный висячей лампой, трясущиеся ручки цвета слоновой кости, расправляющие скатерть, глаза испуганной ламы... Всего она боялась: скребущейся в углу мыши, и раскатов грома, и чумы, обнаруженной в Марселе, и подземных толчков, отмеченных в Сицилии. Она вздрагивала от каждого стука двери,

от резкого звонка: «Господи помилуй»,— и боязливо сжимала свои крошечные ручки под черной шелковой пелеринкой. А как она смеялась... Смеялась часто, из-за любого пустяка, девичьим смехом, жемчужным, наивным... Наверно, в дни юности она была просто очаровательна. Так и видишь ее: вот она во дворе пансиона играет в серсо, на шее у нее черная бархотка, косы уложены под сетку! Какой она была в молодости? Никогда она об этом не говорила. Никто ее об этом не спрашивал. Да и знал ли кто-нибудь ее имя? Никто не называл ее по имени. Не называли даже по фамилии. Говорили просто «Мадемуазель», по занимаемому ею положению, как говорят «консьержка», как говорят «лифтер»... Двадцать лет подряд она прожила в благоговейном трепете под тираническим игом г-на Тибо. Двадцать лет подряд, незаметная, молчаливая, неутомимая, она была главной пружиной в доме, и никто даже не был ей благодарен за ее аккуратность, за ее предупредительность. Десятилетия безличного существования, преданности, самопожертвования, забвение себя, скромность, сдержанная пугливая нежность,— но ей не отвечали тем же. И так всю жизнь.

«Должно быть, Жиз огорчена»,— подумал Антуан. Он не знал, так ли это, но ему хотелось, чтобы это было так, ему требовалось горе Жиз, во искупление долгих лет несправедливости.

«Надо будет написать»,— подумал он и недовольно поморщился. (С тех пор как его мобилизовали, он писал только в случае крайней необходимости, а с тех пор как заболел мало-помалу и совсем бросил писать: только изредка несколько слов Жиз, Филипу, Штудлеру, Жуслену.) «Пошлю ей длинную соболезнующую телеграмму,— решил он.— Таким образом выиграю несколько дней, письмо можно будет написать позднее... Зачем она сообщает мне час похорон? Неужели она думает, что я предприму такое путешествие?»

С начала войны Антуан ни разу не был в Париже. Что ему там делать? Те, кого приятно было бы встретить, мобилизованы, так же как и он. Зайти в дом, увидеть безлюдную квартиру, пустынную лабораторию? Чего ради? Свою очередь на отпуск с фронта он всегда уступал товарищам. На позициях, по крайней мере, можно было уйти во фронтовую деятельную жизнь, в размеренный ее уклад, и это помогало не думать. Единственный раз Антуан поехал в отпуск из Абвиля, перед наступлением на Сомме; решил провести конец зимы в полном одиночестве в Дьеппе. Но уже через двое суток после приезда сел в поезд и вернулся в свою часть, так ему наскучило безделье в этом пропахшем рыбой городе, который день и ночь хлестали влажные ветры. К тому же Дьепп наводнили раненые англичане. Он ни разу не видел Жиз со времени мобилизации (ни Филипа, ни Женни, ни одной

близкой души). Даже запретил Жиз навестить его в Сен-Дизье, где он лечился после своего первого ранения. Ласковых и кратких писем, которыми они обменивались с Жиз раз в два или три месяца, было достаточно, чтобы поддерживать тончайшую связь с миром тыла и миром прошлого.

Из писем он узнал о беременности Женни; из писем же — когда пришло окончательное подтверждение — о смерти Жака. Зимой 1915 года Женни, с которой он уже успел обменяться двумя-тремя вполне дружескими письмами, сообщила, что намеревается уехать в Женеву. Она предпринимала поездку с двоякой целью: хотела родить в Женеве, одна, вдали от своих, и рассчитывала воспользоваться своим пребыванием в Швейцарии, чтобы разузнать подробности о смерти Жака — об обстоятельствах его смерти, оставшихся достаточно загадочными: в революционных кругах, с которыми Женни поддерживала связь, ходили слухи, что Жак исчез в первых числах августа, выполняя «опасное задание»... Антуану тогда пришла мысль направить Женни к Рюмелю; дипломат был мобилизован и оставлен на своем посту на Кэ-д'Орсе. В Париже он без труда достал Женни нужные для поездки визы. В Женеве Женни нашла Ванхеде. Альбинос помог ей в розысках, съездил вместе с ней в Базель, познакомил с книготорговцем Платнером. У Платнера она получила, наконец, точные сведения о последних днях Жака, включая составление воззвания, ожидание аэроплана Мейнестреля, полет на фронт в Эльзас утром 10 августа. Больше ничего Платнер и сам не знал. Но Антуан, извещенный Женни, пустил по следу Рюмеля. И после бесплодных поисков фамилии Жака в длинных списках военнопленных Рюмель наконец обнаружил в архивах военного министерства в Париже рапорт штаба пехотной дивизии, помеченный именно 10 августа. В документе, касавшемся отступления в Эльзасе, сообщалось, что объятый пламенем аэроплан упал в расположении французских войск. По обуглившимся останкам не представлялось возможным опознать личность пилота; но судя по остову разбившейся машины можно было заключить, что это гражданский аэроплан швейцарского происхождения; далее в рапорте говорилось, что среди груды сгоревших бумаг удалось найти и разобрать клочки листовки резко антимилитаристского характера. Сомнений не оставалось, эти останки были останками Жака и летевшего с ним пилота... Нелепый конец! Антуан так и не мог решить, как сам он относится к обстоятельствам бессмысленной смерти Жака. Даже сейчас, через четыре года, гибель брата вызывала в нем скорее раздражение, чем горечь.

Он поднялся, снял со стены хлопушку и в ярости перебил дюжину мух; собрался было прогнать остальных полотенцем, но

сильный приступ кашля приковал его к месту, согнул пополам, вынудил ухватиться обеими руками за спинку кресла. Наконец он смог выпрямиться, намочил скипидаром марлю и положил на грудь компресс. Потом, почувствовав минутное облегчение, снял с постели обе подушки, подложил их под спину, уселся в кресло и, сидя прямо, во избежание застоя крови в легких, осторожно начал дыхательные упражнения — сжимал большим и указательным пальцем гортань и, с каждым разом дыша все глубже, старался произносить как можно отчетливее звуки: «А... Э... И... О... У...»

Взгляд его бесцельно блуждал по комнате. Тесной и удручающе неуютной. Морской ветерок раздувал штору, и тени пробегали по стенам, розово-кирпичным, блестящим, сплошь голым, если не считать гирлянды коричневых вьюнков, которая волнисто шла где-то под самым потолком. Над зеркалом шеренга американских *girls* [1] в матросках — иллюстрация из какого-то журнала — подымала ноги с вытянутыми по-балетному носками,— последний след украшений, оставленных прежним обитателем, вскоре умершим, видимо, пытавшимся хоть как-то оживить свое жилье, украшений, которые удалось постепенно вытравить, за исключением вот этих шести лихих *girls,* висевших так высоко, что Антуан счел неблагоразумным тратить силы на то, чтобы добраться до них. Ему не раз хотелось поручить эту операцию Жозефу, их коридорному; но Жозеф был маленького роста, а табуретка стояла внизу, в передней, и Антуан решил, что лучше об этом просто не думать. На узеньком белом сосновом столике стояла большая фарфоровая плевательница, грудами лежали, среди пузырьков и коробочек с лекарствами, старые газеты, журналы, военные карты, пластинки — так что на краешке едва умещалась тетрадь, куда Антуан каждый вечер заносил врачебные наблюдения за день. Стеклянная полочка над умывальником тоже была заставлена пузырьками с лекарствами. Между столом и белым шкафом (в котором лежали белье и прочие пожитки) стоял поставленный ребром пустой офицерский сундучок, на котором можно было еще разобрать полустертую надпись: «Доктор Тибо, военный врач 2-го батальона». Сундучок служил подставкой для граммофона, давно уже бездействовавшего.

Вот уже почти пять месяцев Антуан, замурованный в этой розовой келье, следил за изменчивым ходом своей болезни и напрасно ждал признаков улучшения. Почти пять месяцев... Здесь он страдал, считал минуты, ел, пил, кашлял, начинал и не кончал читать книги, мечтал о прошлом, о будущем, принимал гостей, шутил, до одышки спорил о войне и о мире... Ему опостылела эта постель, это кресло, эта плевательница, безмолвные свидетели бес-

[1] Девушек *(англ.).*

сонницы, удуший, лихорадки. К счастью, его состояние позволяло ему довольно часто выходить, вырываться на волю. В такие дни Антуан, взяв книгу,— не для чтения, а для того, чтобы хоть немного оградить свое одиночество,— скрывался в кипарисовых аллеях или под тенью оливковых деревьев, иной раз уходил в самый дальний угол огорода и устраивался у нории; ему казалось, что журчание воды распространяло вокруг свежесть. Или же, когда силы позволяли подолгу оставаться на ногах, Антуан спускался вместе с Бардо и Мазе в лабораторию. Тут он дышал родным воздухом. Бардо давал ему халат, втягивал в свои изыскания. Выходил Антуан оттуда еле живой, но счастливый, и это были самые лучшие его дни.

Если бы только он мог извлечь пользу для будущего из этого вынужденного заточения, если бы не пропадали зря эти недели, эти месяцы выздоровления! Он пытался начать какую-нибудь работу для себя. Но каждый раз наступало ухудшение и приходилось бросать задуманное в самом начале, так ничего толком и не сделав. Особенно его привлекал один замысел: подытожить в пространном труде наблюдения — накопленные еще перед войной — над заболеваниями дыхательных органов у детей, в связи с общим развитием интеллекта и внимания ребенка. Его записи уже сейчас давали достаточно богатый материал, из которого могла составиться обширная журнальная статья или даже небольшая книжка. И он торопился, желая ограничить себя определенным сроком, ибо тема, как говорится, носилась в воздухе и можно было ждать, что его опередит какой-нибудь другой специалист по детским болезням. Но если бы даже здоровье и позволило, Антуан все равно не справился бы с работой, за неимением под рукой выписок и результатов «тестов», которые остались в Париже. И не было никакой возможности их получить: его секретарь, юный Мануэль Руа, пропал без вести вместе со всем взводом во время наступления под Аррасом на втором месяце войны; Жуслен вот уже два года был в лагере военнопленных в Силезии; а Халиф, раненный под Верденом в 1916 году и в результате потерявший слух, специализировался в рентгенологии и был прикомандирован к санитарной службе Восточной армии.

Первый удар гонга, возвещавший приближение завтрака, поднял Антуана с кресла. Он зажег лампочку над умывальником и посмотрел себе горло. Прежде чем садиться за стол, он из предосторожности делал смазывание, чтобы умерить боль при глотании — боль, которая в иные дни бывала столь мучительна, что приходилось прибегать к помощи Бардо и его гальванокаутеров.

В ожидании второго сигнала он придвинул кресло к окну и поднял штору. Перед ним расстилался покатый склон, дальше

уступами шли возделанные поля, а выше виднелись гребни скал, направо волнистой линией до самого горизонта, сливающегося с лазурью моря, тянулись в солнечной пыли знакомые очертания холмов. Прямо внизу — сад, откуда доносились запахи цветов и голоса. Он выглянул в окно и несколько минут следил глазами за обычной прогулкой больных, расхаживавших по широкой кипарисовой аллее. Он знал их всех: вот Гуаран и его дружок Вуазене (только у них двоих не были затронуты голосовые связки, и они болтали с утра до вечера); Дарро — с вечной книгой под мышкой; Экман, по прозвищу «Кенгуру», и майор Ремон, который каждое утро, собрав кучку юных офицеров, раскладывал карту и комментировал сводку. Хотя Антуан видел только их жесты, движения, ему казалось, будто он слышит их разговоры; и он почувствовал себя таким же усталым, как если бы сам участвовал в этой прогулке.

Гонг прозвучал вторично, и весь сад ожил, как потревоженный муравейник.

Вздохнув, Антуан отошел от окна. «Трудно придумать что-нибудь более унылое, чем этот зловещий звон,— подумал Антуан.— Почему бы не завести обыкновенный колокол, как повсюду?»

Есть ему совсем не хотелось. Да и не хватало мужества еще раз спускаться, пройти два этажа, снова вдыхать запах еды, выносить фамильярность, неизбежную за общим столом, суету прислуги, с любезной улыбкой выслушивать ежедневные споры о замыслах Германии, пророчества о сроках войны, толкования скрытого смысла сводок... и ко всему еще полагались застольные поддразнивания, рассказы о фронте, скабрезные анекдоты и, наконец,— что было совсем уж плохо,— интимные признания насчет характера слизи или обилия ночных мокрот.

Сменив пижаму на старый полотняный белый китель с тремя галунами, Антуан вытащил из кармана телеграмму Жиз и вдруг остановился:

«А что, если поехать?»

Он невольно улыбнулся. Он знал, что ни за что не поедет, был внутренне уверен в этом, именно эта уверенность расковывала воображение. Сам по себе проект был вовсе не так уже нереален. Приняв известные меры предосторожности, не прерывая лечения, захватив с собой ингалятор и все лекарства, можно было не бояться ухудшения. «Похороны воскресенье 10 часов...» Нужно только завтра, в субботу, сесть на скорый, отходящий после полудня, и в воскресенье утром он будет в Париже... Конечно, Сегр не откажет в отпуске: отпустил же он Досса, невзирая на состояние его здоровья!.. В некотором смысле случай был соблазнительный... Даже заманчивый, в силу своей неожиданности.

Вдруг он увидел себя, как в довоенные времена — во времена легкой жизни и здоровья — в вагоне-ресторане, одного, без собеседников, перед красиво сервированным столиком.

В Париже он мог бы посоветоваться со своим старым учителем, профессором Филипом... А главное — взял бы выписки, карточки, привез бы сюда с собой целый чемодан заметок, книг; тогда будет над чем работать, будет на что употребить эти бесконечные месяцы выздоровления...

Париж! Три дня вольной жизни! Три дня без общего стола! Почему бы не поехать, в конце концов?

II

В тишине щелкнул замок, и окошко сестры-привратницы приоткрылось. Антуан успел разглядеть синий суконный обшлаг и желтую, как пергамент, руку, на которой сверкнуло обручальное кольцо.

— Прямо по коридору, во дворе,— пробормотал невидимый голос.

Вестибюль переходил в выложенный плитками коридор — пустынный, блестевший чистотой, уводивший в безмолвные недра Убежища. Налево Антуан увидел живописную группу: две старушки в черных вязаных косынках примостились на нижней ступеньке лестницы и, наклонившись друг к другу, тараторили вполголоса.

Во дворе, на три четверти залитом солнцем, было пусто. Часовня стояла в самой глубине. Одна из дверных створок была открыта, отчего на освещенной стене вырисовывался черный прямоугольник; изнутри доносились звуки фисгармонии. Служба уже началась, Антуан вошел. Его взгляд различил в полутьме часовни зубчатый строй огоньков. Пол часовни был ниже уровня двора; пришлось спуститься вниз на две ступеньки. Антуан проскользнул мимо факельщиков похоронного бюро, толпившихся в проходе. Небольшой придел был набит людьми. Здесь чувствовалась прохлада склепа. Опираясь рукой о кропильницу, Антуан с трудом поднялся на цыпочки. Перед алтарем покоился гроб, наполовину прикрытый черным покровом, с четырьмя свечами по углам. У скромного гроба, скрестив руки на груди, стоял седовласый карлик с очками на носу, а рядом коленопреклоненная девушка в форме сестры милосердия; лицо ее закрывала синяя вуаль; она повернулась, и он узнал профиль Жиз. «Ни родных, ни друзей... Никого, кроме этого идиота Шаля,— подумал он.— Хорошо, что я приехал... Женни нет... Ни госпожи де Фонтанен, ни Даниэля... Тем лучше. Скажу Жиз, чтобы она никому не говорила, что я в

Париже; тогда я могу не ездить к ним в Мезон-Лаффит». Оглядев еще раз ряды скамей, где кучкой сидели старушки в косынках и монахини в рогатых чепцах, он убедился, что из знакомых никого нет. «Мне ни за что не выстоять всю службу... Не говоря уже о том, что здесь холодно...» Он собрался было выйти вон, но вдруг скамьи заскрипели, присутствующие встали с мест и опустились на колени. Священник, отправлявший богослужение, воздев руки, повернулся к молящимся. Антуан узнал высокую фигуру и лысеющий лоб аббата Векара.

Он поднялся по ступеням, вышел во двор, уселся на скамейку, залитую солнечным светом. Между лопатками мучительно ныло. И все же это длинное путешествие по железной дороге не так уж утомило его; ночью удалось полежать несколько часов. Но переезд с Лионского вокзала в стареньком такси по неровной булыжной мостовой буквально доконал его.

«Прямо детский гробик,— думал он.— Такая маленькая!» Он вспомнил, как Мадемуазель семенила по их квартире на Университетской улице, увидел ее фигурку, скромно примостившуюся на самом кончике стула перед инкрустированным секретером. «Моя фамильная мебель»,— вот и все, что она привезла в дом г-на Тибо, который ей предстояло вести. Здесь, в потайном ящике, она держала деньги, которые ежемесячно выдавал ей г-н Тибо на хозяйство, там хранила все свои реликвии, держала сбережения. Сюда же она складывала сушеные ягоды и счета, бумагу для писем и палочки ванили, огрызки карандашей, выброшенные г-ном Тибо, проспекты и рецепты, иголки, пуговицы, крысиный яд, пластыри, саше, пропахшие ирисом, бутылочки арники, ключи от всего дома, и молитвенники, и фотографии, и огуречный крем для смягчения кожи рук; когда она отпирала секретер, приторный запах крема, смешанный с ароматами ириса и ванили, слышался даже в передней. Очень долго в глазах мальчиков, Антуана и Жака, этот письменный стол обладал всеми чарами сказочных сокровищ. Позже Жак и Жиз окрестили стол мадемуазель де Вез «галантерейно-бакалейным», потому что он был, как те деревенские лавчонки, где можно найти все, что душе угодно...

Шум шагов заставил его поднять голову. Люди в черном распахнули вторую створку двери и стали раскладывать венки прямо на земле, во дворе. Антуан поднялся.

Служба кончилась. Две монахини в тиковых передниках, волоча за собой большую груженную овощами корзину на колесиках, прошли мимо, потупив глаза, и скрылись в одном из строений в глубине двора. Во втором этаже раздвинулись шторы, и немощные старушки в ночных кофтах появились у окон. Другие, пободрее, выходили из часовни и, ковыляя, выстраивались по обе

стороны паперти. Фисгармония умолкла. Серебряный крест, белый стихарь выплыли из полутьмы. Показался гроб, его несли двое мужчин. Сзади шли певчие, за ними старенький священник, за ним аббат Векар.

Жиз тоже поднялась по ступенькам и показалась в дверях, освещенная солнцем. За ней шагал г-н Шаль. Процессия остановилась, и факельщики, выступив вперед, стали убирать крышку гроба венками. Жиз смотрела на гроб глазами, полными слез. В выражении ее серьезного, повзрослевшего лица было что-то новое, поразившее Антуана: в мыслях Жиз всегда представлялась ему пятнадцатилетним подростком. «Она меня не видит. Она и не подозревает, что я здесь»,— думал он и испытывал какую-то неловкость оттого, что может на свободе разглядывать ее, а она даже не догадывается о его присутствии. Он забыл, что у нее такой смуглый цвет лица. «Это, должно быть, от белой каемки на лбу...»

На г-не Шале были черные перчатки, в руках он держал какую-то допотопную шляпу; он вытягивал шею и вертел во все стороны своей маленькой птичьей головкой. Вдруг он увидел Антуана и быстро поднес руку ко рту, как бы желая заглушить крик. Жиз отвела глаза от гроба, и взгляд ее упал на Антуана. Она смотрела на него секунды две, будто не узнавая, потом бросилась к нему и зарыдала. Он неловко обнял ее. Но похоронная процессия снова двинулась в путь, и Антуан осторожно высвободился из объятий Жиз.

— Пойдем вместе,— шепнула она.— Не оставляй меня одну.

Она вернулась на прежнее место. Антуан последовал за ней. Г-н Шаль глядел на них с остолбенелым видом.

— Ах, это вы? — пробормотал он как бы сквозь сон, когда Антуан протянул ему руку.

— Кладбище далеко? — спросил Антуан у Жиз.

— Наш склеп в Левалуа... Есть кареты,— ответила она тихо.

Кортеж медленно пересек двор.

Катафалк, запряженный парой лошадей, ждал на улице. Местные жители, взрослые, дети, выстроились у края тротуара. К старым извозчичьим дрогам было прилажено что-то вроде закрытого кузова на три сиденья, высоко, как паланкин на спине слона. Лезть туда пришлось по ступенькам. Места предназначались для Жиз, для г-на Шаля и распорядителя похорон; но распорядитель уступил свое место Антуану, а сам вскарабкался на сиденье рядом с кучером в треуголке. Экипаж тряхнуло, и он покатился, подпрыгивая на неровной мостовой. Оба священника ехали следом в траурной карете.

Антуан с трудом взобрался на сиденье и тут же почувствовал

боль в бронхах. Сразу же начался жестокий приступ кашля, и с минуту он сидел, зажав рот платком, низко наклонив голову.

Жиз поместилась между Антуаном и г-ном Шалем. Она переждала приступ и тронула Антуана за руку.

— Как хорошо, что ты приехал... Я тебя совсем не ждала!

— По нынешним временам нужно ждать всего,— рассудительно вздохнул Шаль. Он придвинулся ближе и с любопытством присматривался поверх очков к кашлявшему Антуану. Затем покачал головой.— Простите. Я не сразу вас узнал. Вы так изменились... Не правда ли, мадемуазель Жиз?

Антуан не мог подавить неприязненное чувство. Тем не менее он постарался ответить как можно любезнее:

— Да... Я изрядно похудел. Иприт!

Жиз повернулась к нему, вдруг испугавшись его замогильного голоса. В первые мгновения, там, во дворе, ее тоже поразил вид Антуана, но тогда она не успела его как следует разглядеть. Впрочем, ничего не было удивительного в том, что он изменился за эти пять лет разлуки; да еще эта военная форма. Мысль, что его болезнь может быть гораздо серьезнее, чем она считала, внезапно пришла ей в голову. Она знала, что Антуан отравлен газами, и только. Знала, что лечится он на юге. «Я на пути к выздоровлению»,— гласили его письма.

— Иприт? — самодовольно, с видом знатока повторил Шаль.— Чудесно. Газ, который был впервые применен под Ипром. Его называют также «горчичным»... Последнее слово техники.— Он по-прежнему с любопытством разглядывал Антуана.— Вас, должно быть, здорово *пробрал* этот газ... Но зато вы получили военный крест. И с пальмовыми ветвями, поскольку мне известно. А это большая честь.

Жиз взглянула на китель Антуана. В своих письмах он ни словом не обмолвился о награждении.

— А врачи? — решилась она спросить...— Что они говорят? Долго тебе еще оставаться в клинике?

— Выздоровление идет медленно,— признался Антуан. Он попытался улыбнуться. Хотел что-то добавить, глубоко вздохнул и замолчал: лошади трусили по мостовой, и от толчков у него захватывало дух.

— В нашей конторе изобретений мы продаем все необходимое для военных, и противогазовые маски тоже,— выпалил одним духом Шаль, любезно осклабясь.

Жиз, желая доставить ему удовольствие, спросила:

— А как идет ваша торговля, господин Шаль? Хорошо?

— Да идет помаленьку, идет... Как и все в нынешние времена, мадемуазель Жиз! Приходится приспосабливаться. У нас

забрали на фронт всех изобретателей; а на фронте, черт побери, они ничего путного не делают... Иногда, конечно, кому-нибудь приходит в голову интересная мысль. Например, наше «Лото Антанты». На днях выйдет... Портативное... Картинки на мотив военных операций: Марна, Эпарж, Дуомон... Большой успех у фронтовиков... Приходится приспосабливаться, мадемуазель Жиз...

«Зато ты нисколько не переменился»,— подумал Антуан.

Из Пуан-дю-Жур в Левалуа катафалк ехал Внешними бульварами. Радостный и сияющий вставал воскресный день. Уже пригревало солнце. У фортов разгуливали солдаты. Парижанки в светлых платьях направлялись через ворота Дофина в Булонский лес с детьми, с собачками; вдоль тротуаров стояли тележки, полные цветов. Как когда-то...

— А от... чего она... умерла? — спросил Антуан. Голос его прерывался от толчков.

Жиз круто повернулась к нему:

— Отчего? Бедная тетя... Она, как говорится, вся изболелась. Желудок, почки, сердце. Целыми неделями у нее не работал желудок. В последнюю ночь сердце внезапно сдало.— Она помолчала.— Ты представить себе не можешь, как изменился ее характер за последнее время, с тех пор как она переехала в Убежище... Ничем, кроме себя, не интересовалась. Ее режим, ее здоровье, ее сберегательная книжка. Тиранила сиделок, монахинь. Да, да! Жаловалась на всех: ей казалось, что ее преследуют. Даже обвинила свою соседку, что та ее обокрала: вышла целая история... Тетя по суткам не пила: думала, что сестры хотят ее отравить.

Жиз снова замолчала: никто не произнес ни слова. Молчание она истолковала превратно — приняла его за упрек. Потому что в последние дни ее мучила совесть: она спрашивала себя, все ли *сделала*, что должна была сделать для тетки. «Ведь она воспитала меня,— твердила про себя Жиз,— а я ушла от нее при первой же возможности; и в Убежище я ее почти не навещала».

— В Мезоне,— снова заговорила она, повысив немного голос, как будто желая оправдаться,— мы так поглощены нашим госпиталем... Пойми, мне нелегко было выбраться. Последние месяцы особенно; я ее почти не видела. А потом настоятельница мне написала, и я тут же приехала. Никогда не забуду... Бедная тетя... Сидела в самом углу комнаты, где висели ее платья,— на чемодане, в рубашке и в белой холщовой юбке, чепец сбился набок. Одна нога в чулке, другая голая. Она высохла вся, как скелет. Лоб торчит, щеки ввалились, шея тощая... Но удивительно — нога у нее была совсем молодая, даже юная: нога как у девушки... Она ничего не спросила — ни про меня, ни про кого. Сразу начала жа-

ловаться на своих соседок, на монахинь. А потом открыла свой секретер, помнишь его? Ей захотелось показать мне ящичек, где она хранила свои сбережения, «чтобы оплатить все расходы». И тут она начала говорить о своем погребении: «Ты меня больше не увидишь. Я скоро умру!» А потом сказала: «Но ты не бойся, я скажу настоятельнице, чтобы она все-таки высылала тебе деньги на рождество». Я попробовала было пошутить: «Тетя, ты уже лет десять твердишь, что скоро умрешь». Она рассердилась на меня: «Я хочу умереть! *Я устала жить!*» И потом взглянула на свою ногу: «Посмотри, какая у меня крошечная ножка. А у тебя всегда были лапищи, как у мальчишки». Прощаясь, я хотела ее поцеловать, но она меня оттолкнула: «Не целуй меня. От меня плохо пахнет, *старостью пахнет...*» И тут заговорила о тебе. Я была уже у дверей; она меня окликнула: «Знаешь, у меня выпало шесть зубов. Прямо рву их, как редиску!» И так весело рассмеялась своим смешком, помнишь? «Шесть зубов. Скажи об этом Антуану... Если он хочет меня увидеть, пусть поторопится».

Антуан слушал. Слушал с волнением: с недавних пор его стали интересовать рассказы о болезнях, о смертях. Кроме того, болтовня Жиз позволяла ему молчать.

— Это было твое последнее посещение?

— Нет. Я приезжала еще недели через две. Она написала мне, что соборовалась. В комнате было темно. Тетя не могла выносить дневного света... Сестра Марта подвела меня к постели. Тетя лежала, скорчившись под пуховиком, совсем крошечная... Сестра попыталась вывести ее из оцепенения: «Это ваша любимица Жиз!» Пуховик зашевелился. Не знаю, поняла ли она, узнала ли меня. Вдруг она сказала очень четко: «Как это долго!» — а через минуту: «Что слышно о войне?» Я стала ей рассказывать, но она не ответила, очевидно, не понимала. Несколько раз перебивала меня: «Ну? Что же нового?» А когда я хотела поцеловать ее в лоб, она меня оттолкнула: «Ты меня растреплешь!» Бедная тетя... *«Ты меня растреплешь!»* — последние ее слова.

Шаль утер глаза платком. Потом аккуратно сложил платок и неодобрительно пробормотал сквозь зубы:

— И не нужно было... Не нужно было трепать ее волосы!

Жиз быстро опустила голову, и невольная улыбка, юная и лукавая, прошла, как отблеск, по ее лицу. Антуан уловил эту улыбку, и Жиз вдруг стала очень близкой: захотелось назвать ее, как прежде, Негритяночкой и поддразнить, как в былые времена.

Карета въехала в ворота заставы Шамперре и остановилась для совершения необходимых формальностей. На площади стояли зенитные пушки, пулеметы и прожекторы, закамуфлированные чехлами, возле них расхаживали часовые.

Когда кортеж снова двинулся и выехал на шумные улицы Левалуа, Шаль вздохнул:

— Ах! А все-таки она была счастлива в Убежище, наша славная Мадемуазель! Того же и себе желаю, господин Антуан: мужскую богадельню, но, конечно, благоустроенную... Там будет спокойно... Не придется ни о чем больше думать...— Он снял очки, вытер их. Без очков он щурился, и взгляд у него оказался кроткий и восторженный.— Я оставлю им ренту, которую получил от вашего отца,— продолжал он,— у меня будет кров над головой до конца моих дней... Смогу понежиться в постели, смогу подумать о своих делах... Я побывал тут в одной богадельне, в Ланьи. Но по нынешним временам этот район небезопасен, слишком на Востоке. А с этими бошами ничего нельзя знать. Да и бомбоубежища настоящего там нет... Значит, это вообще не настоящее убежище. А по нынешним временам нужны настоящие убежища.

Он произносил «по нынешним временам» жалобным голосом, заслоняя лицо руками в черных перчатках, как будто оборонялся от слишком зловещих предзнаменований. Шведские перчатки были не по руке, и ссохшиеся кончики потертых пальцев противно закручивались, как завитки раковины.

Антуан и Жиз молчали. Им уже не хотелось улыбаться.

— Ни в чем нельзя быть уверенным, нигде нет покоя,— продолжал Шаль жалобным голоском.— Только во время ночной тревоги... когда есть надежное убежище. Тогда спокойно... В доме номер девятнадцать, напротив нас, есть хорошее убежище.— Он помолчал с минуту потому, что Антуан раскашлялся. Потом добавил: — Видите ли, господин Антуан, ночи в убежище — по нынешним временам это лучшее, что может быть.

Карета ехала вдоль длинной стены.

— Должно быть, здесь,— сказала Жиз.

— А отсюда ты куда? — спросил Антуан.

Он крепко налегал плечами на спинку тяжелой колымаги, чтобы смягчить толчки, от которых у него ломило все ребра.

— К тебе, на Университетскую улицу, конечно... Я там уже с позавчерашнего дня. Карета довезет нас до дому. Деньги уже заплачены.

— Лучше попытаемся найти хорошее такси,— сказал Антуан, улыбаясь. Взгромоздившись в паланкин, он боялся вылезти из него, боялся и оставаться в нем. Поэтому он твердо решил добраться до дому каким-нибудь иным способом.

Жиз удивленно взглянула на Антуана. Но ничего не спросила.

Впрочем, карета уже въехала в ограду кладбища.

III

— Ну, теперь держатся все. Можешь посидеть так десять минут?

— Хоть двадцать, если тебе угодно.

Антуан сидел верхом на стуле перед маленьким письменным столом в своей комнате на Университетской; на голой спине у него было восемь банок.

— Смотри,— сказала Жиз,— не простудись.

Она взяла свою накидку сестры милосердия, которую при входе бросила на стул, прикрыла ему плечи.

«Какая она добрая, милая,— подумалось ему, и он не без волнения ощутил, что где-то в глубине таится прежняя нежность к ней, согревавшая сердце.— Почему я чуждался ее последние годы? Почему не писал ей?» Он вспомнил вдруг свою розовую комнату в Мускье, где шесть *girls* задирали над зеркалом ноги, вспомнил общий стол, заботливые, но грубые руки Жозефа. «Как хорошо бы остаться здесь, а Жиз ухаживала бы за мной».

— Я не закрою двери,— сказала Жиз.— Если я тебе понадоблюсь, кликни меня. Пойду приготовлю кормежку.

— Нет, нет, только не *кормежку,*— резко ответил он,— нет, хватит *кормежек* за эти четыре года.

Жиз улыбнулась и вышла из комнаты, он остался один.

Один,— ощущая прелесть вновь обретенного уюта и воплотившейся мечты о женской нежности, озаряющей изголовье.

И один на один с запахами,— они охватили его сразу, как только он вошел в переднюю и машинально повесил кепи на тот самый крюк, на который раньше вешал шляпу; и потом, жадно раздув ноздри, он с ненасытным любопытством принюхивался к запахам своего дома, которые, казалось, совсем забыл и, однако, узнавал сразу: еле уловимые, неясные, почти не поддающиеся определению и как будто исходившие разом от обоев, ковров, занавесей, от кресел и книг, чуть ощутимо наполняющие весь этаж пронзительным духом — затхлости, сукна, мастики, табака, кожи, лекарств...

Возвращение с кладбища, откуда они по дороге заехали на Лионский вокзал за чемоданом, показалось ему нескончаемо долгим. Боль в боку стала нестерпимой, одышка усилилась; и, вылезая у подъезда из автомобиля, совсем разболевшийся, он горько упрекал себя за то, что предпринял эту поездку. К счастью, он захватил с собой все необходимое, и после укола одышка поутихла. Потом под его наблюдением Жиз поставила восемь банок; они

уже начали действовать, бронхи прочистились, дышать стало легче.

Сложив худые руки на спинке стула, он сидел неподвижно, нагнув голову, выпрямив торс и почти нежным взором оглядывая знакомые вещи. Он не мог и предполагать, что так взволнуется при виде своей квартиры, своего небольшого письменного стола. Ничто не переменилось здесь. В одну минуту Жиз сняла чехлы с мебели, расставила кресла по местам, открыла ставни, до половины опустила шторы. Ничто не изменилось, и, однако, все поражало своей неожиданностью: эта комната, где некогда он проводил все свое время, была ему одновременно и близкой и чужой, как воспоминания детства, возникающие неожиданно и с предельной ясностью галлюцинации, вдруг, после долгих лет полного забвения. Взгляд его с любовью скользил по прекрасному бежевому ковру, по кожаным креслам, дивану, подушкам, по камину, где стояли часы, по книжным полкам. «Неужели было время, когда меблировка квартиры казалась мне жизненно важным делом?» — думал он. Он знал наперед название каждой книги, будто только накануне перебирал их,— хотя за четыре года ни разу не вспомнил о своей библиотеке. Каждая вещица, каждый предмет — круглый столик, черепаховый разрезательный нож, бронзовая пепельница с драконом, ящичек для сигарет напоминали ему какой-нибудь момент его жизни; он помнил, где и когда их купил, мог назвать имя благодарного пациента, оправившегося после болезни, развитие которой Антуан и сейчас описал бы; предметы напоминали разное: жест Анны, какое-нибудь замечание Халифа, слова отца. Ибо этот кабинет служил когда-то туалетной комнатой г-ну Тибо. Стоило Антуану закрыть глаза, и снова он видел перед собой громоздкий умывальник красного дерева, зеркальный шкаф, медный таз для ножных ванн, деревянную машинку для снимания сапог в углу... И если бы эта комната оказалась такой, какой Антуан знал ее в годы детства, он, возможно, удивился бы меньше ее внешнему виду, чем теперь, когда она была обставлена по его собственному вкусу.

«Странно,— подумалось ему.— Когда я входил в подъезд, мне уже показалось, будто я иду не к себе домой, а к *Отцу*».

Он снова открыл глаза и увидел на низеньком столике возле дивана телефон. И внезапно молодой человек, который столько раз брал в руки эту трубку, представился ему — цветущий, гордый своей силой, властный, вечно в движении, неугомонно счастливый тем, что он живет и действует. Между ним и этим молодым человеком лежали четыре года войны, бунта и раздумий; он пережил долгие месяцы страданий, внезапную потерю здоровья, преждевременную старость, которая каждую минуту напоминала о

себе. Вдруг почувствовав, что теряет силы, он прислонился лбом к спинке стула. Настоящее отступало перед прошлым. Отец, Жак, Мадемуазель — их нет больше. Прежняя жизнь семьи предстала перед ним такой, какой он ее видел, когда был молод и здоров. Что бы он ни дал, чтобы вернуть это прежнее! Сожаление о том, что ушло, слилось с его теперешней печалью. Он чуть было не позвал Жиз, лишь бы не оставаться одному. Но пока у него еще хватало сил справляться с собой. Посмотреть правде в глаза. Все дело в здоровье. Прежде всего — выздороветь. Он решил, не откладывая, серьезно поговорить со своим учителем, доктором Филипом: они вместе придумают лечение «более эффективное и радикальное». Те методы, которые применяются в Мускье, окончательно его обессилят. Даже странно, что он стал таким немощным, Филип... Жиз... Мысли его смешались. Увезти Жиз в Мускье. Выздороветь. Внезапно он задремал.

Когда через несколько минут он проснулся, Жиз сидела на ручке кресла и глядела на него. Она хмурила брови — сосредоточенно, отчасти даже с тревогой. Он увидел ее простое, ничего никогда не умевшее скрывать лицо и все понял.

— Я стал совсем уродом, правда?

— Нет, просто похудел.

— С осени я потерял девять кило.

— А сейчас тебе лучше?

— Значительно.

— У тебя голос немного... глухой. (Из всех происшедших с ним перемен Жиз больше всего поражал этот слабый, сиплый голос.)

— Сейчас еще ничего. А иногда, особенно по утрам, я совсем не могу говорить.

Помолчали, потом она вскочила с кресла.

— Снимать?

— Ну, снимай!

Жиз пододвинула стул, села рядом с Антуаном, просунула руку под накидку, чтобы его не простудить, и осторожно стала снимать банки. Она клала их одну за другой себе на колени, потом, взявшись за кончики передника, встала и унесла, чтобы ополоснуть.

Он поднялся; убедившись, что дышать стало гораздо легче, он осмотрел в зеркало свою костлявую спину, покрытую лиловыми кругами, и стал одеваться.

Когда Антуан вышел в столовую, Жиз уже накрывала на стол.

Он оглядел просторную комнату, два десятка стульев, стоявших в ряд у стены, буфет с мраморной доской, за которым в былые времена царил Леон, и сказал:

— А знаешь, как только война кончится, я продам дом.

Жиз недоуменно обернулась и, продолжая расставлять тарелки, пристально поглядела на Антуана.

— Продашь дом?

— Я ничего не хочу оставлять из этих вещей. Ничего. Сниму маленькую квартирку, простую, недорогую. Я...

Он улыбнулся. Он и сам еще не знал хорошенько, что он сделает, но в одном был уверен: вопреки всему, что казалось таким реальным еще нынче утром, он никогда не вернется к прежнему образу жизни.

— Эскалоп, лапша с маслом, клубника. Угодила? — сказала Жиз. Она отказывалась понимать неприязнь Антуана к этой жизни, которую он сам устроил полностью по своему вкусу. Лишенная воображения, она не слишком интересовалась планами на будущее.

— Ты совсем захлопоталась, милая хозяюшка,— заметил Антуан, оглядывая стол.

— Через десять минут все будет готово. Вот только салфетки найду.

— Я сам поищу.

Чуть ли не всю бельевую занимала складная кровать,— ее так и не сложили, не прибрали. В ямке матраса Антуан увидел четки. На стульях в беспорядке лежала одежда.

«Почему она не ночует в угловой комнате?» — подумал он.

Антуан открыл дверцы одного шкафа, затем второго, третьего. Все три шкафа были набиты новым бельем. Тут были простыни, наволочки, купальные халаты, тряпки, фартуки. Стопки белья — не распакованные еще и перевязанные красной тесемкой. Он пожал плечами. «Какая нелепость. Оставить только самое необходимое. Все прочее на продажу!» Однако он притянул к себе стопку салфеток и вытащил две.

«Знаю почему! Она просто не хотела ночевать в той комнате, потому что там жил раньше Жак...»

Он шел по коридору медленным шагом, рассеянно ощупывая стены, выкрашенные масляной краской, приоткрывая двери и с любопытством заглядывая в комнаты, будто осматривал чью-то незнакомую квартиру.

В передней он остановился перед двустворчатой дверью, которая вела в его приемную. Он колебался. Наконец повернул ручку двери. Ставни были закрыты. Мебель, покрытую чехлами, сдвинули к книжным шкафам. Комната казалась поэтому еще больше.

Солнце пробивалось между щелями ставен, и в рассеянном свете кабинет был похож на огромную провинциальную гостиную, куда хозяева заходят только по случаю приезда гостей.

Ему вспомнились последние дни июля 1914 года, газеты, которые приносил Штудлер, споры, тревоги... И посещения Жака. Кажется, Жак приходил к нему вместе с Женни? Не в самый ли день мобилизации?

Прислонившись к косяку, он потихоньку внюхивался в здешний запах — это был все тот же запах, но более стойкий, более крепкий, чем в других комнатах, а также какой-то другой, душистее... Посредине стоял большой, министерский письменный стол, накрытый простыней и оттого похожий на детский катафалк.

«Что они здесь нагромоздили?»

Наконец он решился войти и приподнял простыню. Весь письменный стол был завален пачками газет и брошюрами. Сюда с первых же дней войны консьержка сносила кипы справочников, множество каталогов, газет, журналов, а также проспектов, которые присылали ему лаборатории.

«Чем же здесь все-таки пахнет?» — повторял он про себя. К привычному запаху примешивался какой-то другой, тяжелый, немного напоминавший аромат бальзама.

Антуан машинально разорвал бандероль с каким-то медицинским журналом, перелистал его. И вдруг он подумал о Рашели. Почему не об Анне? Ведь он не вспоминал о Рашели уже многие месяцы. «Что с ней сталось? Где она теперь? Должно быть, в тропиках со своим Гиршем, далеко от Европы, далеко от войны». Он отложил на камин несколько брошюр, чтобы взять их с собой в Мускье. Сейчас в этих журналах засели сплошь старые врачи, не подлежащие мобилизации. Им-то лафа! Вот они и пользуются и печатают всякую заваль!.. Он пробегал глазами оглавления. Изредка попадалась статья, присланная из фронтового госпиталя: какой-нибудь молодой врач, урвав свободный час, описывал интересный случай из своей практики. Главным образом хирург... Хоть в чем-то война пошла на пользу: хирургия двинулась вперед. Он копался в этой куче, вытаскивал наудачу какую-нибудь брошюрку и бросал на камин. «Если бы только я мог дописать статью насчет заболеваний дыхательных органов у детей, Себийон, конечно бы, ее напечатал в своем журнале».

Пакет, оклеенный разноцветными марками, не похожий на другие, привлек его внимание. Антуан взял его в руки и понюхал; снова он почувствовал этот странный аромат, который уже привлек его внимание, а теперь разбудил любопытство; поводя ноздрями, он прочел на конверте фамилию отправителя: «Мадемуазель Бонне. Госпиталь в Конакри. Французская Гвинея». Марки были

проштампованы мартом 1915 года. Три года назад. В недоумении вертел он пакет в руках, взвешивал на ладони. Лекарство? Духи? Он разорвал бечевку и высвободил из бумаги ящичек прямоугольной формы из какого-то коричнево-красного дерева, плотно забитый гвоздями. «Хм. А как же он открывается?» Антуан поискал глазами какой-нибудь инструмент. Чуть было не отложил ящичек, но вспомнил, что в кармане у него нож, привезенный еще с фронта. Лезвие со скрипом скользнуло по краю ящичка; легкий нажим — и крышка подалась. Одуряющий запах коснулся его ноздрей, запах восточного курения, ладана, мирры, запах знакомый, но которого он, однако, не мог узнать. Осторожно, кончиками пальцев он раздвинул слой опилок: показались маленькие желтоватые шарики, блестящие, но запыленные. И вдруг прошлое ударило ему прямо в лицо: эти желтые зерна — ожерелье из янтаря и мускуса! Ожерелье Рашели!

Он держал ожерелье между пальцами и бережно перетирал зерна. Взгляд его затуманился. Рашель... Ее белоснежная шея, завитки на затылке... Гавр, ее отъезд на «Романии» ранним утром... Но откуда это ожерелье? Кто такая мадемуазель Бонне из Конакри? Март 1915 года... Что все это означает?

Услыхав шаги в коридоре, он быстро спрятал ожерелье в карман. Жиз искала его, пора было завтракать. Она остановилась на пороге, втянула воздух.

— Как странно пахнет!

Антуан накинул простыню на груду брошюр и лекарств.

— Они ведь сюда свалили все лекарства.

— Ты идешь? Все готово.

Он пошел за ней. Ладонь чувствовала, как теплеют в кармане холодные зерна. Он думал о золотисто-белой коже Рашели.

IV

Когда они уселись рядом в конце длинного стола, Жиз набралась храбрости:

— А теперь поговорим серьезно о твоем здоровье.

Антуан поморщился. Он вообще сам охотно говорил о себе, о своей болезни, о своем лечении, но ему было приятно, чтобы его просили рассказывать, и поэтому он не спешил отвечать на ее вопросы. Он сразу заметил, что вопросы были неглупые. Оказывается, их маленькая Жиз, к которой он всегда относился как к ребенку, за три года работы в госпитале набралась кое-каких знаний. С ней можно было поговорить о медицине. И это еще больше сблизило их. Видя, как внимательно она слушает, Антуан подробно описал свой «случай», все фазы, которые прошла его

болезнь за последние месяцы. Если бы Жиз отнеслась к его рассказу легкомысленно или наговорила ему кучу ободряющих слов, он, возможно, преувеличил бы свои опасения. Но она слушала с таким напряженным вниманием, смотрела таким озабоченным, испытующим взглядом, что он перешел на самый успокоительный тон и заключил:

— В конечном счете я выкарабкаюсь. (Он и в самом деле в глубине души думал так.) Как скоро, правда, неизвестно,— с надеждой добавил он, улыбаясь.— Выкарабкаться-то я выкарабкаюсь... Только вот — поправлюсь ли совсем? Вообрази, что я останусь калекой, с больной гортанью или с поврежденными голосовыми связками, смогу ли я работать тогда, как прежде? Пойми, мне мало одного сознания, что я останусь жить. Меня нисколько не прельщает перспектива вести существование получеловека. Я должен быть уверен в том, что буду так же здоров, как прежде! Но это как раз менее вероятно!

Жиз перестала жевать, чтобы лучше слушать, лучше вникнуть в его слова. Она не мигая смотрела на него круглыми, удивленными глазами, детскими и преданными, как у существ примитивных. Нежность, внимательность, которых он был лишен в течение последних лет, казались ему сейчас особенно сладостными. Он засмеялся тихо, с надеждой:

— Менее вероятно, но не невозможно. При упорстве нет ничего невозможного!.. До сих пор я добивался всего, чего сильно желал. Почему же мне не удастся на сей раз?.. Я хочу выздороветь. И выздоровею.

При последних словах он повысил голос, закашлялся и вынужден был замолчать. Приступ был очень сильный и длился несколько минут, а Жиз тем временем, склонившись над тарелкой, украдкой наблюдала за ним. Она пыталась успокоить себя: «Он добьется того, чего захочет. Он будет лечиться. Он выздоровеет».

Когда Антуан перестал кашлять, она повернулась к нему. Он знаком показал, что хочет помолчать.

— Выпей воды,— сказала Жиз, наливая воду в свой стакан. И, не в силах удержать вопрос, который уже давно готов был сорваться с ее губ, она спросила:

— А сколько дней ты пробудешь с нами?

Он ничего не ответил. Именно этого вопроса хотелось ему избежать. На самом деле его отпустили на четыре дня. Но он решил сократить отпуск. Ему вовсе не улыбалась перспектива провести в Париже четыре долгих дня, довольствоваться случайным уходом, без конца уставать.

— Сколько же? — повторила она, обратив к нему вопросительный взгляд.— Неделю? Шесть дней? Пять?

Он отрицательно покачал головой. Глубоко вздохнул, улыбнулся и только тогда ответил:

— Я уезжаю завтра.

— Завтра! — Голос ее задрожал от огорчения.— Значит, ты не поедешь со мной в Мезон-Лаффит?

— Это невозможно, Жиз, милая... На этот раз невозможно. Как-нибудь потом... Летом, быть может.

— Но я тебя совсем не видела! После стольких лет!.. Завтра? И я не могу даже остаться с тобой в Париже: я должна возвратиться в Мезон сегодня вечером! Завтра утром начинается мое дежурство, меня там ждут. Подумай только! Я уже три дня здесь; а накануне моего отъезда привезли шесть новых раненых.

— Зато мы нынче проведем вместе целый день,— сказал он примирительным тоном.

— Нет, это тоже невозможно! — вскричала она с отчаянием.— Я должна сейчас же ехать в Убежище. Нужно все устроить с тетиной мебелью, все ее дела, освободить комнату...

На глаза Жиз навернулись слезы. Он вспомнил ее детские горести. И снова ему пришла мысль: «Как было бы хорошо ощущать ее заботу, жить в этой атмосфере нежности».

Он не знал, что сказать. Он и сам был расстроен оттого, что их встреча вышла такой куцей.

— Может быть, я смогу добиться продления отпуска,— начал он лицемерно.— Не знаю, право, но попытаюсь.

Глаза Жиз вспыхнули радостью, засмеялись. Омытые слезами, они стали еще прекраснее. (И это тоже напомнило Антуану былые годы.)

— Вот это правильно,— сказала она, хлопая в ладоши.— И ты пробудешь у нас в Мезоне несколько дней.

«Какое она еще дитя! — подумал он.— И как очарователен этот контраст чего-то совсем детского с цветущей женственностью».

Желая переменить разговор, он с серьезным видом спросил:

— А теперь объясни-ка мне вот что. Как могло получиться, что никто не приехал с тобой в Париж? Это ведь не так далеко от Мезона! Оставить тебя одну во время похорон...

Жиз запротестовала:

— Но мы там ужасно заняты, ты и представить себе не можешь! Никак нельзя было... Ведь раз я уехала, остальным стало втрое больше дела!

Он невольно улыбнулся ее негодованию. Тогда, чтобы окончательно убедить его, Жиз пустилась в пространные объяснения, рассказывала о работе в госпитале, об условиях жизни в Мезоне и тому подобное...

(С половины сентября 1914 года, после Марны, г-жа де Фонтанен, которую снедала жажда деятельности, задумала основать госпиталь в Мезон-Лаффите. У нее было там владение, доставшееся от отца, на опушке Сен-Жерменского леса; нанимателиангличане покинули Францию сразу же после объявления войны; старинный дом, таким образом, оказался свободным. Но помимо того, что дом был невелик, он находился далеко от вокзала и магазинов. Тогда-то г-жа де Фонтанен и обратилась к Антуану с просьбой предоставить ей виллу г-на Тибо, которая была значительно просторнее ее дачи и расположена поблизости от «всего». Антуан, разумеется, согласился и тут же написал Жиз в Париж, чтобы она вместе с прислугой и г-жой де Фонтанен переоборудовала виллу. Г-жа де Фонтанен заручилась также сотрудничеством своей племянницы Николь Эке, жены хирурга, окончившей еще до замужества курсы сестер милосердия. Тут же был создан специальный комитет под контролем Общества помощи раненым воинам. И полтора месяца спустя наскоро оборудованная вилла Тибо уже значилась в списках Санитарной службы под названием «Госпиталь № 7» и была готова к приему первой партии выздоравливающих. С тех пор госпиталь № 7, которым управляли г-жа де Фонтанен и Николь, не пустовал ни одного дня.)

Антуан знал обо всем этом из писем. Он был счастлив, что поместье отца на что-то пригодилось, и особенно радовался за Жиз: ее праздная жизнь в Париже тревожила Антуана, и теперь он был доволен, что Жиз нашла теплый прием в семье Фонтаненов. Но, по правде говоря, он не проявлял большого интереса ни к деятельности госпиталя № 7, ни к даче Фонтаненов, которая под управлением неутомимой Клотильды, бывшей кухарки г-на Тибо, превратилась в своеобразный фаланстер,— там жили Николь и Жиз, там осел после ампутации ноги Даниэль, там поселилась, по возвращении из Швейцарии, Женни с ребенком. Поэтому он сейчас с интересом слушал болтовню Жиз; существование маленькой группки людей, о которой он думал не так уж часто, вдруг обрело в его глазах реальность.

— Из нас всех больше всего достается Женни,— поясняла Жиз, увлеченная разговором.— Она не только возится с Жан-Полем, но и заведует бельевой; а ты представить себе не можешь, что это такое: стирать, гладить, штопать, изо дня в день вести отчетность, распределять белье в госпитале на тридцать пять коек, а иной раз на сорок или даже на сорок пять. К вечеру она просто валится с ног. Всю вторую половину дня она проводит в госпитале, но по утрам остается на даче из-за малыша... Госпожа де Фонтанен, так та, можно сказать, днюет и ночует в госпитале: она взяла себе комнату над конюшней, помнишь?

Антуану казалось странным, что Жиз (племянница целомудренной Мадемуазель) говорит о Женни и ее материнстве как о самой обыкновенной вещи. «Правда,— думал он,— это было три года назад... И потом, что́ прежде могло показаться скандальным, сейчас, когда происходит всеобщая переоценка ценностей, принимается много проще».

— И ты думал побывать в Париже и не посмотреть нашего малыша? — с упреком вздохнула Жиз.— Женни будет в отчаянии.

— А ты никому ничего не говори, глупышка.

— Нет,— ответила Жиз странно серьезным тоном и вдруг потупилась.— От Женни я ничего не желаю скрывать и не буду.

Антуан удивленно взглянул на нее и промолчал.

— Ты думаешь, тебе продлят отпуск? — снова приступила она.

— Попытаюсь.

— А как?

Он продолжал сочинять:

— Попрошу Рюмеля позвонить в военное учреждение, от которого это зависит.

— Рюмель...— повторила задумчиво Жиз.

— Все равно я хотел заехать к нему сегодня. Я ни разу не видел его с тех пор, как... Хочу поблагодарить его за хлопоты по нашему делу.

Первый раз в течение этого дня разговор коснулся смерти Жака. Лицо Жиз вдруг передернулось, на смуглой коже выступили пятна.

(Осенью 1914 года она долго не хотела верить, что Жак умер. Упорное молчание Жака, сообщение его женевских друзей о его исчезновении, печальная уверенность Женни, Антуана — ничто не могло ее переубедить. «Он просто воспользовался тем, что сейчас война, и снова убежал,— упрямо думала она.— Он опять вернется к нам». И, молясь за упокой его души, продолжала ждать живого Жака. В это-то время она и привязалась к Женни. Привязалась сначала не без расчета, даже несколько неприглядного: «Когда Жак вернется, он увидит, что мы дружим; я останусь при них третьей. И, может быть, он будет мне благодарен за то, что я заботилась о Женни во время его отсутствия...» Когда от Рюмеля стало известно о сгоревшем аэроплане, когда она своими глазами прочла копию официального донесения, ей пришлось признать очевидность случившегося. Но в глубине сердца неясное предчувствие говорило, что это еще не вся правда. Даже теперь бывали мгновения, когда она думала: «А вдруг?»

Жиз снова наклонила голову, чтобы не встречаться взглядом с Антуаном; несколько мгновений она сидела молча, с трудом удер-

живая слезы, будто что-то внезапно оборвалось в ней. Наконец, чтобы не разрыдаться, она стремительно поднялась с места и пошла в буфетную.

«Как она раздалась,— подумал Антуан, следя за ней глазами и досадуя, что невольно ее огорчил.— Бедра! Грудь! По фигуре ей можно дать на десять больше, лет тридцать, по крайней мере!»

Он вытащил из кармана ожерелье. Маленькие, пахнувшие мускусом зернышки сизо-свинцового оттенка, величиной с вишневую косточку, чередовались с бусинами старого янтаря, и формой и цветом напоминавшими мирабель. Такая же темноватая желтизна, чуть прозрачная, чуть тусклая — желтизна перезревшей мирабели. Машинальным движением он вертел ожерелье между пальцами, янтарь теплел, и Антуану казалось, будто он только что снял ожерелье с шеи Рашели.

Когда вошла Жиз с блюдом клубники, вся горечь печали еще так ясно читалась на ее лице, что Антуан почувствовал волнение. Пока она ставила блюдо на стол, он молча погладил ее смуглую руку, перехваченную у запястья серебряным браслетом. Жиз вздрогнула; ресницы ее затрепетали... Избегая его взгляда, она села на место, и две крупные слезы выступили на ее глазах. Потом, не скрывая больше своего горя, она повернулась к Антуану со смущенной улыбкой и несколько мгновений молчала.

— Какая я глупая,— вздохнула она наконец. И стала чинно посыпать клубнику сахаром. Но тут же поставила сахарницу на стол и резко выпрямилась.— Знаешь, отчего я больше всего страдаю, Антуан? Никто вокруг меня не произносит его имени... Женни не перестает думать о нем, я это знаю, чувствую; она и маленького так горячо любит потому, что он сын Жака... И Жак всегда с нами, любовь, которую я питаю к Женни, рождена памятью о Жаке. А разве она стала бы относиться ко мне так нежно, разве стала бы обращаться со мной, как с сестрой, не будь этого? Но никогда, никогда Женни не говорит со мной о нем, будто нами обеими владеет какая-то тайна, связывает нас навсегда, и мы никогда не напоминаем о ней ни словом. Но меня это гнетет, Антуан... Я сейчас тебе скажу,— продолжала она, почти задыхаясь.— Она гордая, Женни, с ней нелегко. Она... Я ее хорошо теперь знаю!.. Я ее люблю, я жизнь бы отдала за нее и за малыша! Но я страдаю. Страдаю оттого, что она такая замкнутая, такая... не знаю, как и сказать... Видишь ли, я думаю, что она мучается мыслью, что Жака все, кроме нее, недооценивали. Воображает, будто лишь она одна его понимала! И во что бы то ни стало, всеми силами души цепляется за то, что была единственной. Вот почему она не желает ни с кем о нем говорить. Особенно со мной! И все же... Все же...

Крупные слезы катились по щекам Жиз, хотя лицо ее, внезапно постаревшее, уже не выражало печали, а только страсть, гнев, еще что-то дикарское, чего Антуан не мог постичь. Он задумался. Он был удивлен: никак он не предполагал, что Женни и Жиз могут сойтись так близко.

— Не знаю, известно ли ей... о моих чувствах к Жаку,— продолжала Жиз тише, но голос ее по-прежнему прерывался.— А мне так хотелось бы поговорить с ней об этом в открытую! Мне нечего от нее скрывать... Мне так хотелось бы, чтобы она знала все! Даже о том знала, что если я ее тогда ненавидела — да, да, страстно ненавидела, то сейчас — все перевернулось; с тех пор как Жак умер, все мои чувства к нему (ее загоревшиеся глаза чуть ли не гипнотизировали) я перенесла на нее, на их ребенка!

Антуан уже почти перестал слушать, он видел только вздрагивающие темные веки Жиз, длинные ресницы, которые медленно подымались и опускались, то открывая, то приглушая сверканье зрачков, подобно мигающему свету маяка. Он подпер щеку рукой и с наслаждением вдыхал аромат, который шел от его пальцев, все еще пропитанных благовонием мускуса.

— Теперь они двое — вся моя семья,— снова заговорила Жиз, делая над собой усилие, чтобы казаться спокойной.— Женни обещала мне, что не оставит меня никогда...

«Если бы я предложил, согласилась бы она поселиться со мной?» — подумал Антуан.

— Да, обещала. И, что бы ни случилось в дальнейшем, это облегчает мне жизнь, помогает мириться с будущим, понимаешь? Для меня на свете не существует теперь никого, кроме нее и нашего маленького!

«Нет, не согласится»,— решил он. Однако он с удивлением улавливал в звуках ее дрожащего голоса какие-то диссонирующие ноты, говорившие о многом... «Как много странного,— думалось ему,— в этой близости двух женских сердец, двух *вдовьих* сердец! Нежность, конечно. Но и наверняка ревность. И не без ядовитой примеси ненависти. И все это образует ту буйную мешанину, которая дьявольски похожа на любовь».

Жиз продолжала говорить; но теперь уже этот неудержимый монолог-жалоба облегчал ей сердце.

— Какое удивительное существо Женни... Благородная, деятельная... Чудесная! Но как она сурова со всеми. Сурова, даже несправедлива к Даниэлю... И ко мне тоже, я это чувствую... О, она имеет на это право, я ведь ничто по сравнению с ней! Но не всегда же она права. Она в ослеплении, она верит только себе, не допускает и мысли, что кто-нибудь может думать по-иному, чем она... А ведь я ничего не требую особенного! Если она не хочет, чтобы

Жан-Поль рос в вере своего отца, пусть так, я не в силах ее переубедить... Но пусть она хотя бы окрестит его у пастора! — Взгляд Жиз стал жестоким; и так же, как некогда Мадемуазель, она упрямо покачала головой, наморщив выпуклый лоб и непримиримо стиснув губы.— А ты как считаешь? — воскликнула она, вдруг повернувшись к Антуану.— Пусть делает из него протестанта, если хочет! Но пусть не воспитывает сына Жака, как какую-нибудь собачонку!

Антуан сделал уклончивый жест.

— Ты не знаешь нашего малыша,— продолжала Жиз.— Это натура страстная, ему будет нужна вера!..— Она вздохнула и вдруг добавила уже другим, страдальческим тоном: — Совсем как Жак! Ничего не случилось бы, если бы Жак не утратил веры! — И снова лицо ее, удивительно подвижное, преобразилось, смягчилось, и восхищенная улыбка все ярче светилась в ее глазах.— Он так похож на Жака, наш мальчик! Такой же темно-рыжий, как и Жак! Его глаза, его руки! И в три года — такой своевольный! Такой норовистый, а иногда хитрый.— В голосе ее не осталось и следа прежней злобы. Она рассмеялась от всего сердца.— Он зовет меня «тетя Жи».

— Ты говоришь, своевольный?

— Совсем как Жак. Те же вспышки гнева, помнишь? Глухого гнева... И тогда он убегает в самый дальний конец сада и что-то там обдумывает свое.

— Умный?

— Очень. Все понимает, угадывает. И какая чуткость! От него всего можно добиться лаской. Но если ему противоречить, если что-нибудь запретить, он хмурит брови, сжимает кулачки, себя не помнит. Настоящий Жак.— Она помолчала, задумалась о чем-то.— Даниэль очень удачно его снял. Кажется, Женни послала тебе карточку?

— Нет. Женни никогда не посылала мне ни одной фотографии своего сына.

Жиз удивленно подняла на Антуана глаза, как бы спрашивая о чем-то, хотела что-то сказать, но удержалась.

— У меня в сумочке есть его карточка... Хочешь посмотреть?

— Конечно.

Жиз притащила сумочку и вынула оттуда две маленькие любительские фотографии.

На одной, очевидно прошлогодней, Жан-Поль был снят со своей матерью: это была прежняя, но немного пополневшая Женни, лицо стало круглей, черты спокойные, даже строгие. «Она будет похожа на госпожу де Фонтанен»,— подумал Антуан. Женни была

в черном платье; она сидела на ступеньке террасы, прижав к себе сына.

На другой, очевидно, более поздней карточке Жан-Поль был снят один: на нем было полосатое джерси, плотно облегавшее его маленькое, на редкость крепкое тельце; он стоял, весь напрягшись, сердито нагнув головенку.

Антуан долго смотрел на обе карточки. Вторая особенно напомнила ему Жака; та же форма головы, тот же проницательный взгляд исподлобья, тот же рот, челюсть, крупная челюсть, как у всех Тибо.

— Видишь,— поясняла Жиз; она стояла, наклонившись, за плечом Антуана,— он тут играл песком. Видишь, вот тут его лопатка; он бросил ее, рассердился, потому что прервали его игру, и отошел к стене...

Антуан поднял голову и улыбнулся.

— Значит, ты очень любишь малыша, да?

Жиз ничего не ответила, но улыбнулась, и ничто не могло быть красноречивее этой открытой улыбки, полной восхищения и нежности.

И вдруг — Антуан ничего и не заметил — она смутилась, как смущалась каждый раз, вспоминая тот свой бессмысленный поступок... (Случилось это два года назад, нет, даже больше: Жан-Поль был совсем крошка, его еще не отняли от груди... Жиз очень любила держать его на руках, баюкать, смотреть, как он засыпает у нее на коленях; и когда она видела, как Женни кормит ребенка, яростное чувство отчаяния, зависти овладевало ею. Однажды вечером Женни оставила ребенка под ее присмотром, в воздухе висела предгрозовая гнетущая духота, и Жиз, повинуясь безотчетному искушению, унесла малыша к себе в комнату, заперлась там и дала ему грудь. Ох, как жадно он припал к соску крошечным ротиком; он сосал ее грудь, кусал, тискал... Жиз страдала несколько дней: больше от синяков, чем от угрызений совести. Совершила ли она грех? Она немножко успокоилась лишь после того, как полунамеками призналась в своем проступке на исповеди и сама наложила на себя длительное покаяние. И уже никогда не повторяла этого больше...)

— А часто у него так бывает? Вот, что он не хочет слушаться? — спросил Антуан.

— О да, очень часто! Но Даниэль с ним справляется. Он больше всех слушается Даниэля. Должно быть, потому, что Даниэль — мужчина. Да, да. Он обожает мать; и меня тоже очень любит. Но мы женщины. Как бы тебе объяснить? Он уже и сейчас ясно сознает свое мужское превосходство. Не смейся, пожалуйста. Поверь мне. Это чувствуется в десятках мелочей.

— Я склонен думать, что ваш авторитет слабее в его глазах потому, что вы всегда с ним; а с дядей он бывает реже...

— Как реже? Но ведь он чаще бывает с дядей, чем с нами, потому что мы в госпитале. Даниэль, наоборот, сидит с ним почти целый день.

— Даниэль?

Жиз сняла руку с плеча Антуана, слегка отодвинулась и села.

— Ну да. Почему это тебя удивляет?

— Я что-то плохо представляю себе Даниэля в роли няньки...

Жиз не поняла его слов; она узнала Даниэля уже после ампутации.

— Наоборот. Малыш составляет ему компанию. Дни у нас в Мезоне длинные.

— Но теперь, когда Даниэля освободили от военной службы, он ведь может начать работать?

— В госпитале?

— Нет, рисовать, как прежде?

— Рисовать? Я никогда не видала, чтобы он рисовал...

— А часто он ездит в Париж?

— Никогда не ездит. Он все время или на даче, или в саду.

— Ему действительно так трудно ходить?

— О нет, вовсе не потому. Надо приглядеться, чтобы заметить его хромоту, особенно теперь, с новым протезом... Ему просто никуда не хочется выезжать. Он читает газеты. Присматривает за Жан-Полем, играет с ним, гуляет с ним около дома. Иногда помогает Клотильде почистить горошек или ягоды для варенья. Иногда разравнивает граблями песок перед террасой. Но редко... Мне кажется, что он просто такой человек — спокойный, безразличный, немного сонный...

— Это Даниэль-то?

— Ну да.

— Никогда он не был таким, как ты говоришь... Он, должно быть, очень несчастлив.

— Да что ты. Он, по-моему, даже никогда не скучает. Во всяком случае, никогда не жалуется. Если он и бывает иной раз угрюмым,— только не со мной, а с другими,— так это потому, что к нему не умеют подойти. Николь его дразнит, подзадоривает, и зря; Женни тоже не умеет к нему подступиться, она оскорбляет его своим молчанием, жестокостью. Женни добрая, очень добрая, но она не умеет это показать; никогда у нее не находится слова, жеста, от которого становится легко на душе.

Антуан уже смирился и молчал. Но вид у него был такой ошеломленный, что Жиз рассмеялась.

— Ты, должно быть, просто не знаешь Даниэля. Он всегда был немного избалован... И ужасно ленивый!

Они давно кончили завтрак. Жиз взглянула на часы и быстро поднялась.

— Сейчас уберу со стола, а потом поеду.

Она стояла перед ним и не спускала с него нежного взора. Ей было тяжело оставлять Антуана в пустой квартире одного, больного. Она хотела сказать ему что-то, но не решилась. Дружеская, робкая улыбка мелькнула в ее глазах, потом улыбнулись и губы.

— А если я к концу дня заеду за тобой? И если ты проведешь вечер с нами в Мезоне, все лучше, чем оставаться здесь одному!

Он отрицательно покачал головой.

— Во всяком случае, не сегодня. Вечером я должен повидаться с Рюмелем. А завтра я у Филипа. И потом, здесь у меня разные дела, надо найти выписки...

Он размышлял. Вполне можно возвратиться в Мускье в пятницу вечером. Следовательно, ничто не помешает провести два дня в Мезон-Лаффите.

— А куда вы меня поместите?

Прежде чем ответить, Жиз быстро наклонилась к нему и поцеловала с сияющим радостью лицом:

— Где? Ну конечно, на даче! Там есть две свободные комнаты.

Он все еще держал в руке фотографию Жан-Поля и время от времени бросал на нее взгляд.

— Ладно, постараюсь продлить отпуск... И завтра к концу дня...— Он протянул руку, в которой была карточка Жан-Поля.— Можно взять себе?

V

Хотя было воскресенье, Рюмель сидел в своем кабинете на Кэ-д'Орсе, куда и позвонил ему Антуан, оставшись один после ухода Жиз. Дипломат выразил сожаление, что не располагает свободным временем, и попросил Антуана заехать за ним, чтобы вместе поужинать.

В восемь часов Антуан подъехал к зданию министерства. Рюмель поджидал его внизу у лестницы, где горела синяя лампочка. В полумраке, предусмотренном правилами военного времени, бесшумно сновали запоздалые посетители и чиновники, расходившиеся по домам; вестибюль казался полным странных, таинственных теней.

— Поедем к «Максиму», вам нужно немного встряхнуться после лазаретной жизни,— предложил Рюмель, с любезной и покровительственной улыбкой подводя Антуана к автомобилю с флажком на радиаторе.

— Ну какой из меня сотрапезник,— признался Антуан,— вечером я пью только молоко.

— У них замечательное молоко — ледяное! — сказал Рюмель, решивший во что бы то ни стало пообедать у «Максима».

Антуан согласился. Он был разбит после целого дня, проведенного за разборкой книг, и не без трепета ждал бесконечных разговоров за столиком ресторана. Поэтому он поспешил предупредить Рюмеля, что говорить ему трудно и приходится щадить свои голосовые связки.

— Вот удача для такого болтуна, как я! — воскликнул дипломат. Он с умыслом взял этот шутливый тон, желая скрыть тяжелое впечатление, которое произвели на него заострившиеся черты Антуана, его глухой и сдавленный голос.

При ярком ресторанном освещении худоба Антуана поразила его еще больше. Но он поостерегся расспрашивать Тибо о здоровье и после нескольких вопросов, заданных небрежным тоном, быстро переменил тему разговора.

— Никаких супов. Устриц, пожалуй. Хотя сезон кончается, они недурны... Я здесь часто обедаю.

— Я тоже часто бывал здесь,— пробормотал Антуан. Он медленно обвел глазами зал и задержал взгляд на старом метрдотеле, который стоял рядом в ожидании заказа.— Вы не узнаете меня, Жан?

— О, конечно, узнаю, сударь,— ответил тот, склонившись с привычной улыбкой.

«Лжет,— подумал Антуан,— раньше он меня всегда называл «господин доктор».

— Отсюда рукой подать до моей службы,— продолжал Рюмель.— Очень удобно, особенно в те вечера, когда объявляют тревогу: стоит только перейти улицу — и попадаешь в прекрасное убежище морского министерства.

Пока Рюмель рассматривал меню, Антуан молча наблюдал за ним. И Рюмель тоже сильно изменился. Его львиная физиономия обрюзгла, грива волос заметно поседела; бесчисленные морщины вокруг глаз бороздили кожу того особого оттенка, который встречается только у стареющих блондинов. Глаза были по-прежнему ярко-синие, живые, но под глазами набрякли лиловатые мешки, а скулы покрылись сеткой фиолетовых прожилок.

— А что на десерт, решим потом,— закончил Рюмель с усталым видом, возвращая карточку метрдотелю. Откинув назад голо-

бу, он закрыл лицо обеими руками и, прижимая пальцами горевшие от усталости веки, глубоко вздохнул.— Вот так-то, мой милый, у меня с момента мобилизации ни одного свободного дня не было. Я выдохся.

Это было заметно. Как у многих нервных людей, многомесячная усталость сказывалась у него в каком-то лихорадочном возбуждении. Антуан помнил другого Рюмеля. Рюмеля четырнадцатого года — самоуверенного, безукоризненно владевшего собой человека, немножко фата, который мог болтать о чем угодно, но всегда с привычной профессиональной сдержанностью. А теперь, после четырех лет изнурительной работы, он стал другим, смеялся резким, отрывистым смехом, часто моргал, излишне жестикулировал, беспорядочно менял предмет разговора, а на его багровом лице болезненное оживление сменялось выражением самого мрачного уныния. Все же он старался держаться молодцом, как в прежние времена. Минутная слабость, невольные проявления усталости каждый раз уступали место кратковременному подъему. Он чуть откидывал голову, широким жестом приглаживал свою шевелюру и вновь расцветал улыбкой, в которой сияла былая жизнерадостность.

Антуан начал было благодарить его за розыски Жака и за ту помощь, которую он оказал Женни, когда та решила уехать в Швейцарию, но Рюмель решительно остановил его:

— Да бросьте, дорогой!.. Не стоит говорить об этом...— И он легкомысленно воскликнул: — Очаровательная женщина, ну просто очаровательная!..

«Очевидно, светский человек не может не быть глуповатым»,— подумал Антуан.

Перебив Антуана, Рюмель уже не упускал из рук инициативы разговора. Он пустился подробно рассказывать Антуану, как будто перед ним был посторонний слушатель, о всех демаршах, предпринятых для розысков Жака. Все сохранилось в его памяти с поразительной точностью: не задумываясь ни на минуту, он перечислял имена должностных лиц, даты.

— Печальный конец,— вздохнул он в заключение.— Почему же вы не пьете молоко? Пейте, пока холодное.— Рюмель бросил на Антуана нерешительный взгляд, прихлебнул из стакана, отер свои торчащие, как у кота, усы и снова вздохнул: — Да, печальный конец... Поверьте, я много думал о вас... Но, принимая в расчет все обстоятельства, ваши убеждения... Уважаемое имя... позволительно спросить — не явилась ли эта смерть, хотя бы для семьи... ну, в общем... счастливой развязкой?

Антуан нахмурился, но ничего не ответил. Слова Рюмеля задели его за живое. Однако нельзя было не признать, что, когда

стала известна правда о последних днях Жака, ему и самому не раз приходило в голову подобное соображение. Да, приходило; но только прежде — не сейчас; и при мысли, что он мог так думать, Антуан почувствовал мучительный стыд. Годы войны, долгие бессонные ночи раздумий в госпитале внесли немалую сумятицу в прежние его суждения.

Ему совсем не хотелось говорить с Рюмелем о своих личных делах. И особенно здесь, в ресторане. С тех пор как они вошли в этот зал, где он так часто обедал с Анной, чувство неловкости все росло. Антуан наивно удивился, увидев, что этот роскошный ресторан так переполнен сейчас, на сорок четвертом месяце войны. Все столики заняты, как в былые времена в дни особенного наплыва посетителей. Разве что было меньше женщин и одеты они не так элегантно. Многие сохраняли и здесь свои повадки сестер милосердия. Большинство мужчин — военные; в хорошо пригнанных, блестящих лаком портупеях, они явно рисовались, выставляя напоказ свои разукрашенные разноцветными ленточками мундиры. Десяток фронтовых офицеров, проводивших отпуск в столице; но большинство — из парижского гарнизона и из генерального штаба. Много авиаторов (привлекавших всеобщее восторженное внимание), шумных, с грустными и немного сумасшедшими глазами; казалось, они опьянели, еще не начав пить. Пестрая коллекция итальянских, бельгийских, румынских, японских мундиров. Несколько морских офицеров. Но особенно много англичан во френчах защитного цвета, с отложными воротничками и в белоснежном белье,— эти пришли сюда поужинать с шампанским.

— Обязательно напишите мне, когда совсем поправитесь,— любезно заметил Рюмель.— Вам незачем возвращаться на фронт. Вы свое отстрадали.

Антуан хотел было объяснить: еще зимой 1917 года, когда он был признан оправившимся после первого ранения, его прикомандировали к тыловому госпиталю... Но Рюмель продолжал разглагольствовать:

— Про себя я почти наверняка могу сказать, что теперь уже до конца войны просижу в министерстве. Когда премьером стал господин Клемансо, меня чуть было не послали в Лондон; если бы не президент Пуанкаре,— а он всегда прекрасно ко мне относился,— и, особенно, если бы не вмешательство господина Бертело, которого я знаю, как самого себя, знаю все его причуды и которому я нужен,— меня бы наверняка загнали в Лондон. Конечно, жить там сейчас довольно интересно. Но я не был бы, как теперь, в центре событий. А это все-таки ни с чем не сравнимое чувство!

— Охотно верю... Хотя бы потому что вы принадлежите к числу тех немногих избранников, которые хоть что-то понимают в

происходящем. И, как знать, даже могут отчасти предвидеть будущее.

— О,— прервал его Рюмель,— понимают лишь самую малость, а предвидят еще того меньше... Можно, милый мой, знать оборотную сторону медали и все-таки не понимать ничего из того, что происходит, дай-то бог хоть задним числом понять что-нибудь. Не воображайте, что сейчас есть хоть один государственный деятель,— будь то даже такая цельная и деспотическая фигура, как Клемансо,— который непосредственно воздействовал бы на ход событий. И его тоже события влекут за собой на буксире. Управлять государством во время войны — это все равно, что вести судно, которое дало течь в нескольких местах разом; остается только изобретать ежечасно новые трюки ради своего спасения и заделывать наиболее опасные пробоины; мы живем, как на корабле, терпящем бедствие; едва успеваешь сделать запись в судовом журнале, взглянуть на карту, взять наудачу курс... Господин Клемансо поступает, как и все прочие: он покоряется ходу событий и, когда может, использует их. По своему служебному положению я имею возможность наблюдать его довольно близко. Любопытный субъект...— Рюмель напустил на себя задумчивый вид и, притворяясь, что с трудом подбирает нужные слова, продолжал: — Господин Клемансо, видите ли, представляет собой парадоксальную смесь природного скепсиса... головного пессимизма и непоколебимого оптимизма; но скажем прямо — дозировано все это превосходно! — Тонкая улыбка приподняла даже уголки его век, казалось, он сам наслаждается своей импровизацией, смакует прелесть только что найденных формулировок. На самом же деле это был штамп, которым Рюмель угощал уже в течение многих месяцев каждого нового собеседника.— И потом,— продолжал он,— сей великий скептик движим слепой верой: он тверд, как гранит, в своем убеждении, что родина господина Клемансо не может быть разбита. А это, друг мой, величайшая сила! Даже сейчас, когда (скажу вам на ушко) поколеблена вера самых крайних оптимистов, для нашего старого патриота победа — дело решенное. Решенное потому, что дело Франции не может не восторжествовать, по высшему велению, во всем своем блеске!

Антуан, тихонько покашливая (за соседним столиком английский офицер закурил сигару), напрасно пытался вставить слово. Он прикрыл рот салфеткой; голос его, и без того слабый, был еле слышен, так что можно было разобрать только:

— ...американская помощь... Вильсон.

Рюмель счел нужным сделать вид, что все прекрасно расслышал. Он даже притворился крайне заинтересованным.

— Ну знаете ли...— сказал он, задумчиво поглаживая себя по

щеке,— для нас, людей осведомленных, президент Вильсон... Нам здесь, во Франции, да и в Англии тоже, приходится делать вид, что мы почтительно прислушиваемся ко всем фантазиям этого американского профессора; но мы не заблуждаемся на его счет. Ограниченный ум, лишенный всякого ощущения относительности. И это государственный деятель!.. Он пребывает в нереальном мире, который целиком создан воображением мистика... Не дай бог дожить до того дня, когда этот пуританин, этот вульгарный моралист вздумает ковыряться в хрупкой машине наших старых европейских дел.

Антуану хотелось бы возразить. Но голос по-прежнему ему не повиновался. Вильсон, как казалось Антуану, был единственным среди великих мира сего, кто мог видеть дальше войны, единственным, кто мог представить себе будущее человеческого рода. Он в знак протеста энергично махнул рукой.

Рюмель самодовольно усмехнулся:

— Нет, вы это серьезно, мой милый? Но не верите же вы на самом деле всем этим бредням президента Вильсона? Их могут принимать всерьез только по ту сторону Атлантического океана, в их ребяческой, полудикарской стране. Но здесь, в нашей старой и мудрой Европе... Подите вы! Пересадить на нашу почву эти утопии — значит, подготовить хорошенький кавардак. Ничто не может принести больше зла, чем иные громкие слова, которые принято писать с большой буквы: «Право», «Справедливость», «Свобода» и так далее... А ведь во Франции, знавшей Наполеона Третьего, пора бы уже понять, к каким бедствиям приводит «великодушная» политика.

Он положил на скатерть мясистую, покрытую веснушками руку и доверительно нагнулся к Антуану:

— Впрочем, люди осведомленные утверждают, будто президент Вильсон вовсе уж не так прост, каким хочет казаться, и что он сам не слишком верит в свои «Послания»... Этот бард «мира без победы», по всей видимости, питает вполне земной замысел — воспользоваться создавшимся положением, чтобы взять Старый Свет под опеку Америки и тем помешать союзникам занять, по праву победителей, господствующее положение в международных делах. Это, заметим в скобках, свидетельствует о большой его наивности! Ибо нужно действительно быть крайне простодушным, чтобы предполагать, будто Франция и Англия станут тратить свои силы в многолетней изнурительной борьбе, не имея в виду извлечь из нее серьезные *материальные* выгоды!

«Но,— возражал про себя Антуан,— разве установление настоящего мира, прочного мира, не было бы для европейских народов самой *материальной* из всех выгод войны?» Но он промолчал.

Ему становилось все хуже — от жары, от шума, запаха пищи, к которому примешивался запах табака. Его подавленное состояние обострилось до крайности. «Зачем я здесь? — думал он, злясь на самого себя.— Хорошенькая предстоит мне ночь!»

Рюмель ничего не замечал. Казалось, ему доставляло какое-то особенное удовольствие поносить Вильсона. В кулуарах на Кэ-д'Орсе в течение последних месяцев Вильсон был оселком, на котором господа дипломаты оттачивали свое свирепое остроумие. Рюмель кончал каждую фразу гортанным, мстительным смешком и так вертелся на стуле, будто сидел на раскаленных углях.

— К счастью, президент Пуанкаре и господин Клемансо, как настоящие, реальные политики и настоящие латиняне, каковыми они являются, раскусили не только тщету этих химер, но также и скрытую манию величия, владеющую президентом Вильсоном... Манию, которой можно воспользоваться... и не без выгоды! В настоящий момент важно выкачать из Америки как можно больше горючего, оружия, аэропланов и солдат. А ради этого можно и не противоречить всесильному поставщику. Наоборот, в случае надобности даже потакать его слабостям. Ну, как потакают буйно помешанным! И, поверьте, плоды этой тактики уже вполне ощутимы! — Он нагнулся к Антуану и шепнул ему прямо в ухо: — Знаете ли вы, что именно благодаря двум миллионам тонн горючего, которые он отпустил нам в течение нескольких недель, и благодаря тремстам тысячам солдат, которых он посылает нам ежемесячно, мы сумели продержаться в нынешнем году после разгрома англичан в Пикардии. Значит, надо продолжать в том же духе. Потакать маниям и химерам Лоэнгрина в пенсне... Вот когда на нашей французской земле соберется на смену французам достаточно солидная американская армия, тогда мы сможем передохнуть и полюбуемся со стороны, как американцы будут таскать для нас каштаны из огня!

Антуан задумчиво глядел, как расправляется Рюмель с бифштексом,— он заказал себе недожаренный, с кровью. Антуан поднял руку, будто хотел попросить слова.

— Значит, вы полагаете... война — еще на многие годы?

Рюмель отбросил салфетку, слегка откинулся на спинку стула.

— На многие годы? Нет, по правде сказать, я так не думаю. Больше того: я даже думаю, что возможны всякие счастливые неожиданности.— Он помолчал, разглядывая свои ногти.— Послушайте, Тибо,— начал он, снова понижая голос, чтобы его не услышали за соседними столиками.— Вот что я вспомнил. Было это в феврале пятнадцатого года. Как-то вечером господин Дешапель заявил мне: «Сроки и ход этой войны неисповедимы. Я лично счи-

таю, что у нас началась полоса войн, как при Революции и Империи. Возможны *передышки;* но *окончательный мир* еще далеко!..» Но тогда я счел, что сказал он так просто ради красного словца. А сейчас... Сейчас я склонен считать это своего рода пророчеством.— Он замолчал, поиграл солонкой и добавил: — Настолько даже, что, если завтра, после какой-нибудь блестящей победы союзников, Центральные державы согласятся сложить оружие, я повторю вместе с Дешанелем: «Наступила *передышка,* но *окончательный мир* еще далеко».

Он вздохнул и все тем же назидательным тоном, который злил Антуана, разразился пышной тирадой о различных фазах войны, начиная с момента вторжения в Бельгию. Отцеженные, сведенные к четким схемам события следовали одно за другим с впечатляющей логичностью. Казалось, речь идет о разборе шахматной партии. Война, которую Антуан прошел сам, день за днем, отступила в прошлое и предстала перед ним в своем историческом аспекте. В красноречивых устах дипломата Марна, Сомма, Верден — все эти слова, которые раньше вызывали в Антуане свои, живые, личные трагические воспоминания,— вдруг лишались реальности, становились параграфами какого-то специального отчета, названиями глав какого-то учебного пособия, предназначенного для будущих поколений.

— Вот как мы и подошли к нынешнему, тысяча девятьсот восемнадцатому году,— заключил Рюмель.— Вступление в войну Соединенных Штатов сжимает кольцо блокады, деморализует германцев. Логически — это их неизбежное поражение. Перед лицом этого нового факта им оставалось только два выхода: выторговать какой ни на есть мир, пока еще не ушло время, или очертя голову снова ринуться в наступление, чтобы добиться победы до прибытия основной массы американских войск. Они выбрали наступление. Отсюда сокрушительный мартовский удар в Пикардии. И опять они чуть было не разгромили нас. Естественно, что они готовы повторить эту попытку. Вот каково положение. Удастся ли им этот ход? Вполне возможно, никто не может поручиться, что мы не будем вынуждены просить мира еще до лета. Но если они провалятся,— будет бита их последняя карта. Тогда они проиграют войну, все равно, станем ли мы, не предпринимая ничего, ожидать подмоги американцев или — таков, говорят, проект генерала Фоша — бросим в бой по всей линии фронта наши последние людские резервы и добьемся серьезных успехов еще до того, как в игру вступят американцы. Поэтому-то я и говорю: настоящий мир, *мир окончательный,* еще далеко; но *передышка,* по всей видимости, довольно близка.

Ему пришлось прервать свою речь: у Антуана начался такой сильный приступ кашля, что Рюмелю на сей раз не удалось сделать вид, будто он ничего не замечает.

— Простите меня, мой милый. Я вас совсем замучил своей болтовней... Едем.

Он подозвал метрдотеля, вытащил из кармана брюк — на манер американских солдат — пригоршню смятых кредиток и небрежно расплатился.

На улице Ройяль было темно. Автомобиль с потушенными фарами ждал их у входа в ресторан.

Рюмель задрал голову.

— Небо чистое, *они*, пожалуй, могут нагрянуть ночью... Я поеду обратно в министерство, узнаю, что там нового. Но сначала отвезу вас.

Прежде чем усесться в машину, где уже сидел Антуан, Рюмель купил у газетчицы несколько вечерних выпусков.

— Обрабатываем общественное мнение...— пробормотал Антуан.

Рюмель ответил не сразу. Предосторожности ради он поднял стекло, отделявшее их от шофера.

— Конечно, обрабатываем,— ответил он почти вызывающе, поворачиваясь к Антуану.— Как вы не хотите понять, что регулярное снабжение граждан успокоительными известиями так же необходимо стране, как подвоз продовольствия или снарядов?

— Да, я и забыл, ведь вы отвечаете за души,— иронически заметил Антуан.

Рюмель фамильярным жестом потрепал его по коленке.

— Ладно, ладно, Тибо, не будем шутить. Подумайте сами, что может сделать правительство, когда идет война? Направлять события? Вы отлично знаете, что не может. Направлять общественное мнение? Да, это, пожалуй, единственное, что оно может!.. Ну вот, мы и стараемся. Наша главная работа — это (как бы лучше выразиться?) *соответствующее* преподнесение фактов... Надо беспрестанно поддерживать веру в окончательную победу... Надо каждодневно поддерживать то доверие, которое нация питает — справедливо, нет ли — к своим руководителям, военным и гражданским.

— И для этого все средства хороши?

— Конечно.

— Организованная ложь?

— Ну, скажите-ка по совести: неужели вы считаете возможным объявить во всеуслышание хотя бы такой факт, что в резуль-

тате нашей воздушной бомбардировки Штутгарта и Карлсруэ число «невинных жертв» среди гражданского населения несоизмеримо выше числа погибших от снарядов, которые «Берта» может обрушить на Париж? Или что подводная война бошей, которую мы изобразили как неслыханное преступление против человечества, была на самом деле для Центральных держав необходимой операцией, единственным шансом сломить наше сопротивление после неудачи в тысяча девятьсот шестнадцатом году?.. Или пресловутое потопление «Лузитании»,— по правде говоря, акт вполне обоснованной репрессии, еще довольно безобидный, по сути дела, ответ на беспощадную блокаду, которая успела убить в Германии и Австрии в десять или в двадцать тысяч раз больше женщин и детей, чем их находилось на борту «Лузитании»... Нет, нет, правда хороша только в очень редких случаях! Враг должен быть всегда и во всем неправ, а дело союзников должно быть единственно правым делом! Необходимо...

— Лгать!..

— Да. Хотя бы для того, чтобы скрыть от тех, кто сражается на передовых, то, что творится в тылу! Скрыть от тех, кто в тылу, все те ужасы, которые происходят на фронте!.. Необходимо еще скрывать и от тех и от других то, что происходит за кулисами канцелярий, у противника, в нейтральных странах! Да, да, друг мой! Таким образом, самая основная наша обязанность — я говорю об обязанности гражданских властей — это... не только лгать, как вы говорите, но и *хорошо* лгать! А это не всегда легко, поверьте мне. Тут требуется большой опыт, и остроумие, и неиссякаемая изобретательность. Нужна своего рода гениальность... И я смею утверждать — будущее воздаст нам по заслугам. По части *спасительной* лжи мы, во Франции, за эти четыре года творили подлинные чудеса!

Автомобиль, медленно проехав по слабо освещенному Сен-Жерменскому бульвару и по Университетской улице, остановился перед домом Антуана. Они вышли.

— Да, вот еще,— продолжал Рюмель,— я вспомнил наступление Нивеля в апреле семнадцатого года...— Голос его снова нервно задрожал. Он схватил Антуана за руку и отвел на несколько шагов в сторону, подальше от шофера.— Вы и представить себе не можете, что это означало для нас, знавших все, что происходило час за часом... для нас, которые были свидетелями этого чудовищного нагромождения ошибок... и которые могли каждый вечер вести счет потерям. Тридцать четыре тысячи убитых, больше восьмидесяти тысяч раненых за четыре-пять дней!.. А восстания в разгромленных частях!.. Однако же и речи не могло быть ни о правде, ни о справедливости. Надо было любой ценой беспощадно

подавлять солдатские мятежи, прежде чем они не охватили всю армию! Вопрос жизни или смерти для всей страны... Надо было любой ценой поддерживать командование, скрывать его ошибки, спасать его престиж... Хуже того: сознательно продолжать ошибочные действия, возобновить наступление и бросать в самое пекло все новые и новые дивизии, пожертвовав еще двадцатью — двадцатью пятью тысячами солдат на Шмен-де-Дам, у Лафо.

— Но зачем?

— Чтобы добиться хоть самого ничтожного успеха, на котором мы могли бы строить нашу ложь *во спасение*... и восстановить доверие, которое трещало по всем швам!.. Наконец нам повезло в Краоне. Мы сумели превратить это в блестящую победу. И были спасены!.. А через неделю правительство сняло прежнее командование и назначило генерала Петена.

Антуан от усталости еле держался на ногах и прислонился к стене. Рюмель под руку довел его до самой двери.

— Да,— продолжал он,— мы были спасены; но, клянусь, я охотнее отдал бы год жизни, чем согласился бы пережить вторично эти четыре-пять недель!..— Голос его звучал искренне.— Ну, я бегу. Очень рад был увидеться с вами.— И он крикнул вслед Антуану, уже входившему в дом: — Займитесь собою, мой друг! Все врачи на один лад: когда дело идет об их собственном здоровье, самые добросовестные становятся непростительно небрежными.

Комнату ему приготовила Жиз. Ставни были закрыты, шторы спущены. С мебели сняты чехлы, постель постлана; стакан и графин, наполненный свежей водой, стояли на столике у самого изголовья. Эта забота Жиз, проглядывавшая во всех мелочах, тронула Антуана, и он подумал: «Однако я не ожидал, что так устану».

Прежде всего он сделал себе укол. После чего упал в кресло и сидел минут десять неподвижно, выпрямившись, упираясь затылком в спинку.

Вдруг Антуан вспомнил о Рюмеле с неожиданной и, должно быть, несправедливой враждебностью, удивившей его самого: «Те, кто *там,* и те, кто *здесь*... Между ними и нами примирение невозможно».

Дышать стало легче. Он встал, поставил термометр... 38,1... Не удивительно — после такого дня.

Прежде чем лечь в постель, он успел еще сделать ингаляцию.

«Нет,— думал он с каким-то ожесточением, глубже зарываясь в подушки,— мы не сумеем с ними договориться! Когда наступит день демобилизации, тем, которые *здесь,* придется прятаться, ис-

чезнуть. Франция, вся Европа завтрашнего дня будут по праву принадлежать участникам войны. Никто из тех, кто был *там*, ни за что на свете не согласится сотрудничать с теми, кто был *здесь!*»

Темнота угнетала его, но он не хотел зажигать свет. Раньше это была спальня г-на Тибо, та самая спальня, где старик так долго боролся за свою жизнь, так долго страдал перед смертью. Антуан помнил эти дни в мельчайших подробностях... Последняя ванна, Жак, избавительный укол, помнил все этапы этой агонии. И, глядя в темноту широко открытыми глазами, он, казалось, воочию видит прежнюю спальню отца, широкую кровать красного дерева, молитвенную скамеечку, обитую ковровой тканью, и комод, заставленный лекарствами.

VI

Благодаря уколу ночь прошла неплохо, но сна почти не было. Наконец, уже на заре, Антуан ненадолго забылся и за это время успел промучиться в нелепейшем кошмаре, после которого проснулся весь в испарине, так что пришлось даже сменить белье. Он снова лег и, зная, что не заснет, стал припоминать во всех подробностях свой диковинный сон.

«Ну... ну... как же это начиналось? Там было три раздельных эпизода... Три сцены, в одной и той же декорации, в передней моей квартиры.

Сначала я был один с Леоном. В мучительной тревоге, потому что с минуты на минуту должен был прийти Отец. Случилось нечто страшное. Я воспользовался отсутствием Отца и завладел всем его имуществом, чтобы перевернуть дом вверх дном. Но Отец должен был вернуться и застал бы меня на месте преступления. Это было ужасно. Я шагал по передней, не зная, что делать, как предотвратить катастрофу. А убежать я не мог. Почему? Потому что скоро должна была прийти Жиз. Леон, тоже весь перепуганный, стоял на страже, прижавшись ухом к входной двери. Как сейчас, вижу его глуповатые глаза, вытаращенные от страха. Вдруг он повернул голову и говорит: «А не предупредить ли мадам?»

Это первая сцена. Потом Отец вдруг оказался здесь, передо мной: он стоит посреди передней, в сюртуке, на шляпе у него креп (как у Шаля), потому что были *похороны*. Чьи похороны? Рядом с ним на полу новый чемодан (вроде того, который я привез с собой позавчера). Леон исчез. Отец роется в карманах с важным и озабоченным видом. Он заметил меня и говорит: «А-а, это ты?.. Мадемуазель нет дома?» А потом говорит еще: «Мой милый,

я посетил страны весьма *живописные!»* (Назидательным и торжественным тоном, каким говорил в подобных случаях.) У меня пересохло во рту, я не мог произнести ни слова. Я чувствовал себя маленьким мальчиком, я дрожал, ожидая заслуженного наказания. И в то же время я раздумывал в каком-то остолбенении: «Как же он не заметил, поднимаясь по лестнице, что тут теперь все по-новому? Что нет витражей? Что новый ковер?» И потом с ужасом подумал: «Как бы сделать так, чтобы он не вошел в *нашу* спальню, не увидел бы кровать?» И потом не помню: должно быть, тут был какой-то провал.

Во всяком случае, тут начинается третья сцена: я снова вижу Отца, он стоит на том же месте, но в ночных туфлях и в старой домашней куртке. Вид у него недовольный, он задирает кверху бородку и дергает шеей, защемленной уголками воротничка. И говорит мне со своим обычным холодным смешком: «Скажи-ка, мой милый, куда ты, к черту, задевал мое пенсне?» А это пенсне — то самое черепаховое, которое, помнится, я нашел на письменном столе и отдал вместе со всеми его платьями и вещами в приют для бедных. И вдруг он вспыхивает. Наступает на меня с криком: «А мои акции? Что ты сделал с моими акциями?» А я бормочу: «Какие акции, Отец?» Я покрываюсь крупными каплями пота, я вытираю лоб ладонью и, помнится, все время прислушиваюсь: я жду с минуты на минуту, что щелкнет дверца лифта и войдет Жиз (в форме сестры милосердия, потому что она в это время возвращается из клиники). И в этот момент я проснулся и на самом деле был весь в поту...»

Он улыбнулся своему страху. Но и сейчас еще чувствовал себя разбитым. «У меня, должно быть, температура»,— подумал он. Так оно и оказалось: 37,8. Немного меньше, чем вчера вечером, но немного больше, чем следовало бы быть утром.

Часа через два, покончив с туалетом и с процедурами, он снова вспомнил о своем сне. «Странно,— подумалось ему.— Сон, в сущности, был очень короткий. Всего три быстрых картины: испуг и тревожное ожидание вместе с Леоном; потом появление отца с чемоданом; потом эта история с пенсне и акциями... Да, но сколько всего было *вокруг* этого! Все мое прошлое в очень характерном, очень полном виде, и из него-то вырос этот сон».

Так как он долго простоял перед умывальником, то почувствовал слабость и присел на край ванны.

«Прошлое, в которое как бы погружены сны,— это, очевидно, уже известное и, надо полагать, изученное явление... Я над этим как-то никогда не задумывался... Но в моем сегодняшнем сне яв-

ление это выражено особенно отчетливо... До того, что, если бы хватило сил, стоило бы записать сон. Иначе через два дня я все, конечно, позабуду».

Он взглянул на часы. Торопиться было некуда. Он взял записную книжку, куда каждый вечер заносил наблюдения над ходом болезни, и вырвал несколько чистых листков. Укутавшись в купальный халат, который Жиз не забыла повесить на вешалку в ванной («Милая Жиз, обо всем-то она позаботилась»,— подумал он, улыбаясь), Антуан снова прилег на постель.

Он с увлечением писал около часа, до тех пор, пока его не прервал звонок у двери.

Пришла пневматичка от Патрона. В очень сердечных выражениях Филип извинялся, что не может принять Антуана раньше послезавтрашнего вечера; он уезжает на два дня из Парижа во главе комиссии, которой поручено проинспектировать несколько госпиталей на севере.

Антуан ужасно огорчился. Потом решил, что не следует терять надежды, так как Филип еще успеет вернуться до его отъезда. В среду вечером он пообедает с Филипом, а в четверг уедет в Грасс.

Листки были разбросаны по постели. Их было пять, покрытых его странным, иероглифическим почерком, где каждая буква стояла отдельно от другой,— привычка, приобретенная еще в детстве на уроках греческого. Антуан собрал листки и перечел их. Две первые странички были посвящены детальному разбору сна, с теми характерными подробностями, которые ему запомнились. Три другие содержали довольно сбивчивый комментарий.

— Ничего удивительного,— вздохнул он. А ведь в свое время Антуан в совершенстве владел искусством составлять лаконичные конспекты: он мыслил всегда очень ясно и умел в нескольких строчках выразить основной смысл целого рассуждения. «Нужно снова поупражняться,— подумал он,— особенно если я в самом деле намерен работать для журналов».

Вот что он написал.

« . . . . . .

В каждом сне есть два момента, которые следует четко различать:

1. Сон как таковой, эпизод (видящий сон всегда принимает в нем то или иное участие). *Действие* краткое, отрывочное, бурное, подобно сцене, разыгрываемой актерами на театре.

2. Вокруг этого краткого драматического момента — определенная *ситуация,* которая управляет этим моментом и придает ему

правдоподобие. Ситуация остается вне, за пределами действия. Но спящий прекрасно ее осознает. Ситуация, в которой, в зависимости от содержания самого сна, спящий пребывает уже давно. Нечто вроде того, как представляется каждому из нас в состоянии бодрствования наше прошлое.

В случае с моим сегодняшним сном, вокруг трех эпизодов, составляющих действие, имеется сцепление *обстоятельств,* которые, не будучи составными частями сна, присутствуют в нем в скрытом виде. Ежели хорошенько приглядеться, эти обстоятельства двух видов и образуют как бы две различные зоны. Есть обстоятельства непосредственные, в которые как бы облекается сон. Затем — вторая зона, более отдаленная во времени: совокупность более давних обстоятельств, образующих воображаемое прошлое; без него сон не был бы возможен. Это прошлое, которое я, спящий, все время непрерывно осознаю, не играет в самом сне никакой роли: оно только *предшествует,* как прошлое персонажей пьесы предшествует самому действию, случайно объединившему их на сцене.

Уточним. То, что я подразумеваю под обстоятельствами первой зоны,— это, к примеру, то, что я *знал* час, когда происходило действие, хотя в самом сне о времени не было речи. *Знал,* что было несколько минут первого и что я, как и всегда, ждал Жиз к завтраку. *Знал,* что в это самое утро, в ее отсутствие, не имея возможности предупредить ее, я получил телеграмму от Отца, извещающую о его приезде в связи с похоронами. (Здесь неясный момент: чьих похорон? Это не похороны Мадемуазель. Но это похороны какого-то близкого нам человека, ибо потеря касалась нас всех.) *Знал,* что Отец роется в карманах потому, что ищет мелочь, желая уплатить за проезд, так как знал, что автомобиль, где лежал багаж отца, только что подвез его к дому (думаю даже, что *видел,* как автомобиль остановился у подъезда нашего дома в тот самый момент, когда я заметил Отца в передней), и т. д. ...

Обстоятельства второй зоны. Под ними я подразумеваю ряд событий, довольно давних по времени, которые известны спящему Антуану. Вряд ли я думал об этих событиях во сне; но воспоминание о них *существовало во мне,* подобно воспоминаниям о нашей реальной жизни. Так, например, я *знал* (точнее: мне *было дано знание того),* что Отец уже давно уехал из Франции, его послали куда-то очень далеко знакомиться с какими-то благотворительными учреждениями (инспектировать заграничные исправительные заведения или что-то в этом роде). Путешествие, столь долгое, что будто он никогда к нам не вернется. *Знал* также, как мы отнеслись к его отъезду: сочли его нежданной удачей. *Знал,* что, освободившись от опеки Отца, я сразу же женился на Жиз. Что мы взяли себе квартиру, все устроили по-другому, продали мебель, отдали

в приют все личные вещи Отца, снесли перегородки, чтобы окончательно преобразить дом. (И вот что странно: изменения эти во сне были совсем не те, которые я сделал в действительности. Так, например, передняя во сне была, как прежде, окрашена светлой охрой, но лежал там красный ковер, а не бежевый; и на месте консоли стояли старинные дубовые часы из отцовской передней в дубовом футляре.) Это еще не все. Можно перечислять без конца то, что я *знал*. Например, *знал* очень точно, что наша с Жиз спальня (которая, однако, во сне не фигурировала) — это бывшая отцовская спальня и что она была похожа на спальню Анны на Ваграмской улице. Больше того: *знал*, что этим утром Леон не успел прибрать ее, и наша большая постель была не застлана, и я боялся, что Отец вот-вот отворит дверь в спальню. И *знал* еще тысячи других подробностей нашей жизни и нашего окружения. Например,— это мне кажется весьма любопытным, потому что брат мой совершенно не участвовал в сне,— *знал*, что Жак в порыве отчаянной ревности после моей женитьбы на Жиз эмигрировал в Швейцарию, что он...»

Тут записи обрывались. Антуан не испытал ни малейшего желания продолжать. Он взял карандаш и написал на полях:

«Прочесть все написанное по этому вопросу учеными, занимавшимися вопросом сновидений».

Затем он сложил листки и поставил греться воду для ингаляции. Через несколько минут, накинув на голову полотенце, с блестящим от пота лицом, с закрытыми глазами, он глубоко вдыхал благотворный пар и не переставал думать о своем сне. Ему вдруг пришло в голову, что сам сюжет сна свидетельствует в известной мере о нечистой совести, об известном чувстве ответственности, даже виновности, которое он в состоянии бодрствования из гордости держал где-то под спудом. «И в самом деле,— подумалось ему,— мне не так уж пристало гордиться тем, что произошло после смерти Отца». (Он подразумевал под этим не только свою роскошную квартиру, но и связь с Анной, выезды в свет — все, что неотвратимо толкало его к легкой жизни.) «Не говоря уже,— продолжал он про себя,— о потере большей части состояния, доставшегося от Отца...» (Расходы по перестройке дома поглотили больше половины средств; остальные деньги — презрев верные доходы от вложений г-на Тибо — он поместил в русские бумаги, сейчас обесцененные.) «Ладно,— подумал он,— поменьше бесплодных сожалений...» Так он обычно усыплял голос совести. Однако — и сон был верным тому доказательством — в глубине его души жило

чисто буржуазное представление о «семейном добре», о деньгах, сберегаемых для потомства, и, хотя Антуан не был обязан ни перед кем отчитываться, ему стало стыдно, что меньше чем за год он растратил состояние, собранное мудрым попечением многих Тибо.

Он высунул на минутку голову, вдохнул свежего воздуха, протер налившиеся кровью глаза и снова нырнул под влажные горячие полотенца.

Все то, что передумал он сегодня о зиме 1914 года, усугубило раздражение, которое он испытал вчера после отъезда Жиз, заглянув в прекрасные заброшенные лаборатории, в комнату, торжественно именуемую «архивом», где хранились карточки с «тестами», где в строгом порядке лежали новенькие папки, перенумерованные, но пустые. Заглянул он и в прекрасно оборудованную перевязочную, где никого ни разу не перевязывали. И здесь, вспомнив свое прежнее скромное помещение в первом этаже, ту деятельную, полезную жизнь, которую он вел, будучи молодым врачом, Антуан понял, что после смерти отца вступил на ложный путь.

Из остывшего ингалятора шел теперь лишь слабый парок. Отбросив влажные полотенца, Антуан вытер лицо и вернулся в спальню...

— А... Э... А... О...— тянул он, стоя перед зеркалом, чтобы попробовать голос. Голос был по-прежнему хриплый, но все-таки звучал, почти как прежде, и стало легче дышать.

«Двадцать минут дыхательной гимнастики... Потом отдохну минут десять. Потом оденусь, заберу чемодан и, раз уж я не могу увидеться сегодня с Филипом, поеду первым поездом в Мезон».

По дороге на вокзал он глядел из окна автомобиля на цветники Тюильри, освещенные лучами майского солнца, на белые статуи посреди лужаек, на контуры арки Карусель, размытые лиловатой дымкой, и вспомнил вдруг весеннее утро — когда они с Анной условились встретиться во дворе Лувра; и вдруг в голову ему пришла шальная мысль.

— Свезите меня в Булонский лес,— сказал он шоферу.— И проезжайте по улице Спонтини.

Когда автомобиль поравнялся с особняком Батенкуров, он велел ехать тише и выглянул в окно. Все ставни были закрыты, калитка на запоре. На дверях швейцарской белело объявление:

ПРОДАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫЙ ОСОБНЯК.
БОЛЬШОЙ ДВОР. ГАРАЖ. САД.
(ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 625 кв. м)

Над словом «продается» кто-то приписал карандашом от руки: «или сдается».

Автомобиль медленно двинулся вдоль садовой решетки. Антуан не почувствовал ничего. Именно ничего: ни волнения, ни печали. И он подумал: чего ради он затеял это паломничество на улицу Спонтани?

— Поезжайте!.. На вокзал Сен-Лазар,— крикнул он шоферу.

«Да,— снова подумал он, как будто ничто не прерывало его утренних мыслей,— я обманывал самого себя, внушал себе, что необходимо как можно роскошнее обставить мои врачебные занятия. А все эти материальные блага не только не помогали в работе, но парализовали ее! Весь прекрасный механизм действовал вхолостую. Все было готово для осуществления каких-то больших замыслов. А на самом деле я ни черта не делал». Вдруг он вспомнил, как отнесся брат к отцовскому наследству, вспомнил отвращение Жака к этим деньгам, что тогда казалось Антуану таким нелепым. «А, оказывается, именно Жак был прав. Насколько лучше мы поняли бы друг друга сейчас!.. Деньги — это яд. И особенно деньги, доставшиеся по наследству. Деньги, которые заработал не сам... Не будь войны, я пропал бы. Никогда бы не очистился от этой скверны. Я уже начинал верить, будто все на свете можно купить. Даже присвоил себе, как естественную привилегию богатого человека,— право мало работать самому и заставлять работать на себя других. И без зазрения совести присвоил бы себе славу первого же открытия, сделанного Жусленом или Штудлером в *моих* лабораториях... Предпринимателем — вот кем готовился я стать! Познал радость властвовать с помощью денег... Познал радость почета, оказываемого ради денег... И уже готов был считать этот почет законным, готов был считать, что деньги дают мне какое-то превосходство над другими... Скверно! И эти ложные, двусмысленные отношения, которые деньги устанавливают между богатым человеком и прочими людьми! Вот где скрытая вредоносность денег! Я начинал чувствовать недоверие ко всему и ко всем. И уже думал о лучших моих друзьях: «Чего ради он мне это рассказывает? Ради моей чековой книжки?..» Скверно, скверно...»

Копаясь в этой тине, он почувствовал такую горечь, что обрадовался, как избавлению, вокзальной суматохе. И вмешался в толпу, забыв о своей одышке, счастливый уже тем, что может отвлечься и уйти от самого себя.

— Один билет вто... нет, *третьего* класса, воинский, до Мезон-Лаффита... Когда поезд?

Он не часто ездил в третьем классе. Сегодня это доставляло ему горькое удовлетворение.

VII

Клотильда постучала в дверь. Держа поднос на весу, она немного подождала, потом постучала снова. Молчание. Огорчившись, что Антуан ушел, не позавтракав, она отворила двери.

В комнате царила полутьма. Антуан еще не вставал. Он слышал, как стучала Клотильда; но по утрам до ингаляции афония так усиливалась, что он даже не пытался заговорить. Это-то он и старался объяснить Клотильде жестами.

Хотя объяснение сопровождалось успокаивающей улыбкой, Клотильда продолжала в оцепенении стоять на пороге, высоко подняв брови от неожиданности и испуга; видя, что Антуан не может выговорить ни слова,— а накануне вечером он заходил поболтать к ней на кухню,— она в первую минуту решила, что у него удар и он лишился языка. Антуан разгадал ее мысли, улыбнулся еще раз, сделал знак, чтобы она поднесла поднос к постели, и, взяв блокнот с ночного столика у изголовья, нацарапал карандашом:

«Прекрасно провел ночь. Но по утрам не могу говорить».

Клотильда медленно прочла записку, с минуту в оцепенении глядела на Антуана, потом заявила без обиняков:

— Боже ты мой! Вот уж никак не думала, что господин Антуан в таком состоянии... Здорово же *они* вас отделали!

Она подняла шторы. Утреннее солнце залило комнату. Небо было синее; через окно, обрамленное диким виноградом, который свешивался с деревянного балкона, виднелись сосны, росшие поблизости, а там, дальше, на фоне Сен-Жерменского леса, уже зазеленевшие верхушки деревьев вздрагивали от дыхания ветерка.

— Хоть кушать-то господин Антуан может? — спросила Клотильда, подходя к постели. Она налила в чашку теплого молока, отошла к дверям и, сложив под передником руки, внимательно смотрела, как Антуан макает в молоко маленькие кусочки хлеба. Он глотал с таким трудом, что она не удержалась:

— Никто этого не ждал, нет уж, никто! Мы знали, что господин Антуан отравлен газами. Но у нас говорили: «Газы — все лучше, чем рана». А выходит, что нет!.. Правда, я в болезнях не разбираюсь. Когда господин Антуан нам написал,— мне и сестре моей Адриенне,— чтобы мы ехали вместе с мадемуазель Жиз к госпоже Фонтанен, сестра сразу же говорит: «Я буду ухаживать за ранеными». А я так сказала: «Все, что угодно: кухня, хозяйство,— никогда я от работы не бегала. Только не за ранеными ходить, это дело не по мне». Потому наши хозяйки и взяли Адриенну в госпиталь, а я осталась на даче. Я не жалуюсь, хотя работы хоть отбавляй. Господин Антуан сам понимает: чтобы все здесь

держать в порядке, одному человеку нужно двадцать пять часов в сутки иметь. Но, по мне, все же лучше, чем раны промывать.

Антуан, улыбаясь, слушал ее речи. (Раз уж не выходит с Жиз, было бы неплохо, если бы за ним ухаживала преданная их семье Клотильда. Жаль только, что работа сиделки ей не по вкусу.)

Желая показать Клотильде, что он понимает, сколь тяжело бремя ее обязанностей, Антуан с серьезным видом поджал губы и покачал головой.

— Я не жалуюсь,— заключила она в порыве раскаяния.— Если хорошенько разобраться, то не так уж это страшно. Хозяйки почти все время в госпитале. Я их вижу только к обеду. А к завтраку у меня только господин Даниэль да госпожа Женни с малышом.

Клотильда говорила непривычно фамильярным тоном, как будто годы войны уничтожили прежнее расстояние между нею и хозяевами, оглушала его своей болтовней, без стеснения судила обо всех членах семьи. «Мадемуазель Жиз всегда такая любезная с нами...» «Госпожа Фонтанен на самом деле не гордая, но с ней стесняешься, не знаешь никогда, как к ней подступиться...» «Госпожа Николь хоть и рассеянная, а с ней держи ухо востро!..» «Госпожа Женни даром слов не тратит, работает за двоих, а уж умница-то какая...» И все время она поминала «малыша» с восхищением и нежностью:

— Малыш себя еще покажет! И он будет командовать не хуже покойного господина Тибо. («А ведь правда, он внук нашего Отца»,— подумал Антуан.) Он и сейчас бы всех оседлал, дай ему волю... Господин Антуан и представить себе не может: ну, просто ртуть! Никого на свете не слушает... Счастье еще, что господин Даниэль смотрит за ним: я ведь работаю — где же мне успеть? С него ни на минуту глаз нельзя спустить... А господина Даниэля это занимает: целый день он один, только и делает, что жует да жует свою резинку, вот и забавляется с ребенком...— Она покачала головой и с многозначительным видом добавила: — Что там ни толкуй, но по нынешним временам многие ничего не имеют против, чтобы остаться без ноги...

Антуан взял блокнот и написал: «А Леон?»

— Ох, бедняга Леон!..— Ничего нового она о нем сообщить не могла. (Леона взяли в плен под Шарлеруа на следующий же день, как он прибыл на фронт; узнав номер его лагеря, Антуан поручил посылать ему каждый месяц продуктовую посылку. Каждые три месяца Леон регулярно присылал благодарственную открытку, но ничего о своем житье не сообщал.) — Известно ли господину Антуану, что он просил прислать ему флейту? Мадемуазель Жиз купила ему флейту в Париже.

Антуан уже давно допил молоко.

— Пойти помочь госпоже Женни,— сказала Клотильда, приняв поднос.— Сегодня вторник, она стирает, а со стиркой трудно управиться — на малыша не напасешься!..

Она пошла было к дверям, но обернулась и в последний раз взглянула на Антуана. Лицо ее вдруг приняло задумчивое выражение.

— Господин Антуан, а ведь до чего мы дожили! Чего только в эти годы не нагляделись! Чего только не нагляделись! Сколько раз я говорила Адриенне: «Если бы покойный господин Тибо вернулся! Если бы он мог видеть все, что произошло с тех пор, как его здесь нет!»

Оставшись один, Антуан начал не спеша одеваться: ему некуда было торопиться. И хотелось как можно тщательнее проделать все лечебные процедуры.

«Если бы покойный господин Тибо вернулся...» Слова Клотильды напомнили ему вчерашний сон. «Какую власть Отец еще имеет над всеми нами»,— подумалось ему.

Было уже около двенадцати, когда Антуан отворил окно, которое закрыл, проделывая голосовые упражнения.

Из сада донесся мужской голос: «Жан-Поль! Слезай оттуда! Иди ко мне!» И, как отдаленное эхо, женский спокойный, свежий голос: «Жан-Поль! Будешь ты слушаться дядю Дана или нет?»

Антуан вышел на балкон. Не раздвигая завесы дикого винограда, он осмотрелся вокруг. Внизу расстилалась небольшая площадка, отделенная от леса рвом. В тени двух платанов (где когда-то любила сидеть г-жа де Фонтанен) в плетеном шезлонге полулежал Даниэль с раскрытой книгой на коленях. В нескольких шагах от него малыш в светло-голубом джемпере, приставив к стене перевернутое ведерко, силился взобраться на парапет. По другую сторону лужайки, в бывшем домике садовника, дверь стояла открытой, и в солнечном свете Женни с засученными рукавами, слегка нагнувшись над баком, намыливала белье.

— Иди сюда, Жан-Поль,— повторил Даниэль.

В ярком луче на мгновение вспыхнули рыжие кудри ребенка. Мальчик решил вернуться к дяде. Но чтобы не вышло так, будто он послушался, он важно уселся на землю, взял лопатку и стал насыпать в ведерко песок.

Когда через несколько минут Антуан сошел с лестницы, Жан-Поль все еще не вставал с земли.

— Пойди поздоровайся с дядей Антуаном,— сказал Даниэль.

Малыш, сидя на корточках у парапета, работал лопаточкой и, казалось, не слышал обращенных к нему слов. Заметив, что незнакомец направился к нему, он бросил лопаточку и еще ниже нагнул голову. Когда Антуан схватил его на руки и поднял, он задрыгал было ногами, но потом, решив, что с ним играют, звонко захохотал. Антуан поцеловал его в волосы и спросил на ушко:

— А как, по-твоему, дядя Антуан злой?

— Да! — закричал мальчик.

У Антуана от возни началась одышка. Он опустил мальчика на землю и подошел к Даниэлю. Но едва только он уселся, как Жан-Поль подбежал, вскарабкался к нему на колени и, прижавшись к его мундиру, сделал вид, что спит.

Даниэль не встал с шезлонга. Он был без галстука, в поношенных темных брюках и старой фланелевой, в полоску, теннисной куртке. Искусственная нога была обута в черный ботинок; другая — в ночной туфле, без носка. За эти годы он обрюзг: черты были по-прежнему правильные, тонкие, но все лицо — тяжелое, гипсовое. Давно не стриженные волосы, синеватый небритый подбородок делали его похожим на провинциального трагика,— дома он уже не следит за собой, но при огнях рампы — еще весьма импозантен в ролях римских императоров.

Антуан, который с самого утра не переставая возился с бронхами и гортанью, сразу заметил, хотя, впрочем, не придал этому особого значения, что Даниэль, поздоровавшись с ним, даже не спросил о том, как он себя чувствует. (Правда, накануне вечером они поговорили о своих болезнях и поведали друг другу свои горести.) Из вежливости Антуан с заинтересованным видом наклонился и заглянул в книгу, которую Даниэль положил рядом с собой прямо на песок.

— Это «Вокруг света»,— пояснил Даниэль.— Старый журнал путешествий... за тысяча восемьсот семьдесят седьмой год.— Он взял книгу и небрежно полистал.— Много иллюстраций... У нас есть полный комплект.

Антуан рассеянно гладил волосы мальчика, который, казалось, погрузился в глубокую задумчивость и сидел, широко открыв глаза, прижавшись головенкой к груди нового дяди.

— Что пишут? Вы уже читали газеты?

— Нет,— ответил Даниэль.

— Говорят, что междусоюзнический совет решил на днях распространить полномочия Фоша также и на итальянский фронт.

— А-а!

— Это, должно быть, уже официально объявлено.

Как будто внезапно заскучав, Жан-Поль соскочил на землю.

— Ты куда? — в один голос спросили дядя Дан и дядя Антуан.

— К маме.

Подпрыгнув сначала на одной ножке, потом на другой, мальчик весело побежал к домику. Антуан и Даниэль переглянулись.

Даниэль вытащил из кармана пачку жевательной резины и предложил Антуану.

— Нет, спасибо.

— Все-таки развлечение,— объяснил Даниэль.— Я бросил курить.

Он взял резинку, положил в рот и начал медленно жевать.

Антуан, улыбаясь, глядел на него.

— Вы напомнили мне один фронтовой случай... В Виллер-Бретонне... Мы разместили наш госпиталь на ферме, которую перед тем занимал американский санитарный отряд. Наши санитары буквально весь день отбивали молотками целые наслоения этой самой жвачки, которую грязнули американцы поприклеивали всюду — к плинтусам, к дверям, к столам, к скамейкам... И она твердеет, как цемент, эта пакость... Если англосаксонская оккупация продлится еще несколько лет, все здания в Артуа и Пикардии потеряют свои первоначальные очертания и превратятся в бесформенные нагромождения жевательной резины...— Легкий приступ кашля прервал его слова.— Подобно тому, как некоторые скалы на Тихом океане превратились в горы гуано!

Даниэль улыбнулся, и Антуан, который так же, как и Жак, всегда поддавался прелести этой улыбки, с радостью заметил, что она не утратила своего обаяния, несмотря на расплывшиеся черты лица, верхняя губа при улыбке все так же медленно и лукаво ползла влево, а в полузакрытых глазах вспыхивал насмешливый огонек.

Антуан все еще кашлял. Потеряв надежду отдышаться, он терпеливо махнул рукой.

— Вы сами видите, каким старым кашлюном я стал,— с трудом вымолвил он. Потом, передохнув немножко: — *Они* здорово нас отделали, как говорит Клотильда. Но мы, разумеется, еще находимся в числе привилегированных!

С минуту оба помолчали. На сей раз молчание прервал Даниэль.

— Вот вы меня спросили, читаю ли я газеты. Очень редко. Я слишком много думаю о войне. Ни о чем другом думать я не могу... Читать сводки, когда знаешь так, как это знаем мы, что́ должно означать: «Некоторое оживление на таком-то фронте...» или: «Удачная атака на участке...» Нет! — Он откинул голову на спинку шезлонга и, закрыв глаза, продолжал вполголоса: — Надо самому пережить атаку, и пережить ее в пехоте, чтобы понимать... Пока я был в кавалерии, я не знал, что такое война. А ведь я хо-

дил тогда в атаку раза три... И об этом тоже не расскажешь... Но все это ничто по сравнению с атакой пехоты с «вылазкой» в заранее назначенный час, с штыковой атакой.— Он вздрогнул, открыл глаза и пристально посмотрел перед собой, яростно жуя свою резинку, потом проговорил: — В сущности, сколько нас таких в тылу, которые знают, что такое война? Те, что вернулись,— сколько их? Да и к чему они станут рассказывать? Они не могут, не хотят ничего говорить. Они знают, что их не поймут.

Даниэль замолчал, и некоторое время оба сидели, не говоря ни слова, даже не глядя друг на друга. Потом заговорил Антуан, слабым голосом, прерываемым приступами кашля.

— Бывают минуты, когда я стараюсь убедить себя, что это действительно последняя, что после такой войны новые войны невозможны, да, невозможны. Временами я в этом уверен... Но в иные моменты начинаю сомневаться... Перестаю понимать...

Даниэль молча двигал челюстями, рассеянно глядя по сторонам. О чем он думал?

Антуан замолчал. Даже короткий разговор утомил его. Но он возвращался мыслью все к тому же, в сотый, в тысячный раз.

«Охватывает ужас, когда хладнокровно взвешиваешь все, что препятствует установлению мира между людьми,— думал он.— Сколько веков пройдет еще, прежде чем нравственная эволюция — если только нравственная эволюция вообще существует — излечит человечество от врожденного преклонения перед грубой силой, от того фанатического наслаждения, которое испытывает человек,— человек как разновидность животного мира,— торжествуя с помощью насилия, с помощью насилия навязывая свое мироощущение, свое представление о жизни другим, более слабым, тем, что чувствуют иначе, живут иначе, чем он!.. И потом существует политика, правительства... Для правителей, которые развязывают войну, для людей власти, которые решают, быть войне или нет, и делают ее руками других, война останется всегда легким, даже соблазнительным выходом в минуты любого краха. И можно ли надеяться, что правительства никогда не прибегнут к этому? Ну что ж! Значит, надо добиваться, чтобы это стало для них невозможным; надо, чтобы идеи пацифизма так глубоко укоренились в общественном мнении, так широко распространились бы, чтобы стали непреодолимым препятствием для воинственной политики правителей. Но надеяться на это — химера. Да и будет ли торжество пацифизма прочной гарантией мира? Предположим даже, что в наших странах пацифистская партия придет к власти; кто поручится, что в один прекрасный день она не поддастся соблазну начать войну ради того, чтобы распространить путем насилия пацифистскую идеологию во всем мире?»

— Жан-Поль! — весело крикнула еще издали Клотильда.

Она несла на подносе миску с овсяной кашей, компот, чашку молока и поставила завтрак на столик в саду.

— Жан-Поль! — позвал Даниэль.

Мальчик со всех ног несся через площадку, залитую солнцем. Голубой джемпер, побелевший от стирки, был такого же цвета, как его глаза. Его сходство с Жаком-ребенком снова поразило Антуана, когда Клотильда сильными руками подняла мальчика и он позволил себя усадить на стул.

«Такой же лоб,— думал он.— Такой же рыжеватый оттенок волос... Такой же смуглый цвет лица, такие же веснушки вокруг наморщенного носика...» Он улыбнулся мальчику, но тот, решив, что дядя смеется над ним, отвернулся, потом, нахмурив брови, сердито взглянул на него исподлобья. Трудно было определить выражение его глаз, похожих на глаза Жака, так было оно изменчиво: то они смеялись и смотрели лукаво, то темнели гневом, то, как сейчас, становились дикими, холодными, словно сталь. Но, как ни менялось выражение глаз, взор поражал редкостной остротой, наблюдательностью.

Через освещенную солнцем площадку прошла Женни. Рукава были засучены, пальцы слегка вспухли от воды, передник намок. Она улыбнулась Антуану еле заметной, но нежной улыбкой.

— Как вы провели ночь? Нет, у меня руки мокрые... Хорошо спали?

— Гораздо лучше, чем обычно, благодарю вас.

Глядя на расцветшую в материнстве, пополневшую Женни, так просто занимавшуюся домашним хозяйством, Антуан вдруг вспомнил скрытную, сдержанную девушку в строгом английском костюме темного сукна и в перчатках, такую, какую Жак привел к нему на Университетскую улицу в день мобилизации.

Она повернулась к Даниэлю.

— Будь добр, покорми его сам. Я еще не развесила белье.— Она подошла к сыну, подвязала ему салфетку и поцеловала в тоненькую птичью шейку.— Жан-Поль будет умником, дядя Дан покормит его. Я сейчас приду,— добавила она, уходя.

— Хорошо, мама (он произносил «ма-ма», отчетливо разделяя слоги, совсем как в свое время Женни и Даниэль).

Даниэль поднялся с шезлонга и сел рядом с мальчиком. Он, по-видимому, мысленно продолжал беседу, потому что, как только Женни отошла, сказал, будто их и не прерывали:

— И еще есть одно, о чем невозможно говорить, чего никогда не постигнут здесь, в тылу: то чудо, которое совершается всякий раз, как человек попадает в зону огня. Прежде всего — чувство высшего освобождения, которое дается безраздельным подчине-

нием случаю, тем, что выбор заказан и любое проявление индивидуальной воли упразднено; и потом,— продолжал он дрогнувшим голосом, который выдавал волнение,— чувство товарищества, *братства*, которое поголовно устанавливалось там, когда всем грозила опасность... Вот вам доказательство моей правоты; стоило нам отойти в тыл на какие-нибудь четыре километра, чтобы снова стать обыкновенными людьми.

Антуан молча кивнул. О войне он вынес воспоминание прежде всего как о грязи и крови. Но он понимал, что хотел сказать Даниэль. Он тоже наблюдал это «чудо», это таинственное рождение братства воинов в зоне огня, это очищение личности, стремительное формирование коллективной и братской души под бременем общего рока.

Жан-Поль, притихший в присутствии Антуана, молча глотал кашу, которой его кормил дядя; видно было, что Даниэлю не внове обязанности няньки. Не прерывая разговора, он ловко подносил к широко открытому рту ребенка полную ложку.

«Вот то, что я вижу сейчас тут,— подумал вдруг Антуан,— вот чего никак нельзя было предугадать. Даниэль — калека. Даниэль опустившийся, небритый, превращенный в няньку!.. А этот малыш и есть сын Женни и Жака!.. И, однако ж, это так! И даже нисколько меня не удивляет. Так убедительна реальность... Так велика власть реальности над нами... Когда что-нибудь совершилось, мы и не представляем, что оно могло бы не произойти совсем!.. Или произойти иначе». Мгновение он барахтался в этих неясных мыслях. «Если бы тут был Гуаран, не избежать бы мне рассуждений о свободе воли»,— подумал он.

— Не зевай по сторонам,— проворчал дядя Дан.

Когда кашу сменил сливовый компот, кормежка пошла медленнее. Жан-Поль рассеянно следил глазами за Женни, которая, переходя от одного конца площадки к другому, развешивала белье на решетке курятника; и Даниэлю приходилось ожидать, держа ложку наготове, пока Жан-Поль соблаговолит открыть ротик. Но Даниэль не терял терпения.

Женни торопилась окончить работу, чтобы сменить брата. Антуан снова взглянул на нее, когда она вновь проходила через залитую солнцем площадку; передник она уже сняла и на ходу опускала рукава. Женни хотела было освободить Даниэля, но тот запротестовал.

— Не надо. Мы кончили.

— А молочко? — спросила она весело.— Ну живо, живо! Что скажет дядя Антуан, если Жан-Поль не будет пить молоко?

Жан-Поль, подняв локоть, хотел было оттолкнуть чашку, но передумал и взглянул на Антуана своевольно, с вызовом. Он ждал

какого-то подвоха. Видя, что Антуан сообщнически улыбнулся ему и незаметно для всех подмигнул, мальчик на минуту задумался; затем мордочка его засияла лукавством и, не спуская глаз с Антуана, как бы призывая его в свидетели своего послушания, он одним духом осушил чашку.

— А теперь Жан-Поль пойдет поспит, а мама с дядей Антуаном и дядей Даном будет завтракать,— сказала Женни, развязывая салфетку и помогая малышу слезть с высокого стульчика.

Даниэль и Антуан остались вдвоем.

Сделав несколько шагов по террасе, Даниэль отодрал от ствола платана узенькую полоску коры, рассеянно оглядел ее со всех сторон и растер между пальцами, вытащил из кармана жевательную резинку и положил в рот. Затем снова удобно растянулся в шезлонге.

Антуан молчал. Он думал о Даниэле, о войне, об атаках; думал о таинственном братстве фронтовиков. В Мускье молодой Любен, который чем-то напоминал Антуану его бывшего сотрудника, юного Манюэля Руа, взволнованно прерывающимся голосом заявил как-то за обедом, глядя на всех печальными глазами: «Говорите что хотите, но в войне есть своя *красота*». Еще бы — двадцатилетний юнец попал в казармы прямо с университетской скамьи; с футбольного поля — в окопы; пришел на фронт, не начав еще жить, не оставив ничего позади себя. Он был по-мальчишески упоен этим опасным спортом. *«Красота войны»*,— думал Антуан.— Где она? Стоит ли говорить о ней, если существуют все те ужасы, которые я видел?»

И вдруг он вспомнил. Сентябрьской ночью — было это в 1914 году, во время длительных боев, которые Антуан для себя все еще именовал «Провенские вылазки» и которые были известны под именем битвы на Марне,— ему пришлось быстро сворачивать свой пункт под ураганным огнем. Когда раненых удалось эвакуировать в тыл, он вместе со своими санитарами ползком пробрался через окопы, вышел из-под обстрела и вдруг увидел какой-то домишко без крыши, но зато крепкие стены и погреб могли послужить надежным временным убежищем. Но тут неприятельская артиллерия изменила прицел. Снаряды стали ложиться ближе. Антуан приказал своим людям спуститься в погреб, сам закрыл за ними крышку и остался один. Так он стоял минут двадцать в нижнем этаже домика, прислонясь к косяку и поджидая конца обстрела. И тут-то и случилось «это». Страшный взрыв внезапно раздался в тридцати — сорока метрах, клубы известковой пыли заставили Антуана спешно отступить вглубь, и тут он неожиданно

наткнулся на своих людей, молча стоявших в полумраке. Зачем они пришли сюда? Видя, что их врач не пожелал спрятаться вместе с ними, они открыли люк, один за другим поднялись по лестнице и молча выстроились позади своего начальника.

«Все же момент был довольно скверный,— подумал Антуан.— Но это проявление солидарности, преданности доставило мне радость, я ее не забуду никогда... И если бы в эту ночь какой-нибудь Любен заявил, что «в войне есть своя красота», я, быть может, сказал бы: «Да».

И тут же спохватился: «Нет, не сказал бы»!

Даниэль удивленно повернул голову: Антуан, сам того не замечая, произнес последние слова вполголоса.

Он улыбнулся.

— Я хотел сказать...— начал он.

Улыбка у него вышла виноватая. От дальнейших объяснений он отказался и замолчал.

Было слышно, как в доме плачет Жан-Поль: он раскапризничался и не желал ложиться спать.

VIII

Женни уложила сына в кроватку и, как всегда, пока он засыпал, начала бесшумно переодеваться, чтобы сразу же после завтрака идти в госпиталь, где она работала в бельевой. Проходя мимо окна, она сквозь тюлевую занавеску заметила Антуана и Даниэля, беседовавших под платаном. Слабый голос Антуана не долетал до нее; и хотя она слышала монотонную речь Даниэля, временами произносившего громко какую-нибудь отдельную фразу, она не могла различить ни слова.

Она вспомнила их обоих молодыми, здоровыми, беспечными, переполненными честолюбивых замыслов, и сердце ее болезненно сжалось. А теперь, что сделала с ними война! Но все-таки они уцелели, они здесь! Оба они живы! Они поправятся: к Антуану вернется голос, Даниэль свыкнется со своей хромотой; скоро они начнут жить прежней жизнью! А Жак! Ведь и он мог бы видеть — пусть не здесь — это смеющееся майское утро... Она бросила бы все, лишь бы быть вместе с ним... Они вдвоем воспитывали бы сына... Но все кончено, кончено навсегда!

Голос Даниэля замолк. Женни подошла к окну и увидела, что Антуан идет к дому. Со вчерашнего дня она ждала случая поговорить с ним наедине. Бросив беглый взгляд на Жан-Поля и убедившись, что мальчик спит, она застегнула платье, быстро навела в комнате порядок и, открыв дверь, вышла на площадку.

Цепляясь за перила, Антуан медленно поднимался по лестнице. Он вскинул голову и заметил Женни,— она улыбнулась, приложила палец к губам и сделала шаг ему навстречу.

— Хотите посмотреть, как он спит?

Совсем задохнувшись во время подъема, Антуан ничего не ответил и на цыпочках пошел за ней.

Большая оклеенная светлыми обоями в голубых разводах комната была вытянута в длину. В глубине стояли две одинаковые кровати, между ними — детская кроватка. «Должно быть, бывшая спальня супругов Фонтанен»,— подумал Антуан, стараясь понять, зачем здесь две кровати; он подивился, заметив, что обе постланы и рядом с каждой стоит ночной столик, на котором разложены туалетные принадлежности. Между кроватями висел портрет Жака в натуральную величину, писанный маслом в современной манере, Антуан видел его впервые.

Жан-Поль спал, свернувшись клубочком, зарывшись в подушки; волосы его рассыпались, губы были полуоткрыты и влажны; одна рука лежала поверх одеяла, но кулачок был сжат, как будто мальчик собирался вступить в драку.

Антуан вопросительно показал на портрет.

— Я привезла его из Швейцарии,— шепнула Женни. Она посмотрела на портрет, потом перевела взор на ребенка: — Как они похожи!

— Если бы вы знали Жака в таком возрасте!

«Но это еще не значит,— подумал он,— что Жан-Поль будет походить на него характером. Кто знает, сколько чужого, непохожего на Жака носит в себе этот малыш!» Вслух он продолжал:

— Странно, не правда ли? Представить себе длинный ряд предков, близких и отдаленных, прямых и непрямых, которым он обязан своим существованием. Какое из этих влияний возобладает? Это тайна. Рождение человека всякий раз чудо, в каждом существе есть свойства его предков, но всегда в новом сочетании.

Мальчик во сне, не разжимая кулачков, вдруг прикрыл лицо рукой, как будто хотел защититься от их взглядов. Антуан и Женни улыбнулись.

«Да, странно,— думал Антуан, молча отходя от кроватки,— странно, что из всех возможных существований, которые носил в себе Жак, только вот это, только сочетание Жан-Поль и никакое иное, нашло себе воплощение, увидело жизнь...»

— О чем это Даниэль говорил с вами с таким жаром? — спросила Женни, понижая голос.

— О войне. Мы, как одержимые, всегда возвращаемся к этой теме.

Лицо Женни вдруг стало суровым.

— С ним я не говорю на эту тему.

— Почему?

— Он слишком часто высказывает такие мысли, что становится просто стыдно за него. Вычитывает их из националистических газет. При Жаке он не посмел бы!

«Любопытно, какие газеты читает она сама? — подумал Антуан.— «Юманите» в память Жака?..»

Женни быстро подошла к нему.

— Знаете, в тот вечер, когда была объявлена мобилизация (помню, как сейчас,— мы стояли перед зданием парламента, у будки часового), Жак сказал, взяв меня за руку: «Поймите, Женни, отныне будут судить о людях в зависимости от того, принимают они или отвергают идею войны!»

С минуту она помолчала: слова Жака звучали еще в ее ушах. Потом, подавив вздох, она подошла к открытому секретеру красного дерева и жестом пригласила Антуана присесть.

Но он не заметил, он стоял и не отрываясь глядел на портрет брата. Жак сидел вполоборота, с гордо закинутой головой, упершись одной рукой в бедро, но поза, хотя в ней чувствовался вызов, казалась естественной: Жак действительно любил сидеть так. Прядь темно-рыжих волос пересекала лоб. («С годами у малыша волосы тоже потемнеют»,— подумал Антуан.) Сосредоточенный взгляд, горькая складка крупного рта, крепко сжатые челюсти придавали лицу Жака неспокойное, даже свирепое выражение. Фон был недописан.

— Июнь четырнадцатого года,— пояснила Женни.— Это работа одного англичанина, Патерсона; сейчас, говорят, он сражается в рядах большевиков... Ванхеде сохранил портрет и передал его мне в Женеве. Вы знали Ванхеде? Альбинос, друг Жака. Я, кажется, писала вам о нем.

Продолжая вспоминать, Женни начала рассказывать о своем пребывании в Швейцарии (видно было, как она счастлива поговорить с Антуаном обо всем, рассказать ему то, что таила от других.) Ванхеде сводил ее в отель «Глобус», показал комнату Жака («мансарда, выходит прямо на лестницу, без окон...»), посетил с ней кафе «Ландольт», кафе «Локаль», познакомил с семьями оставшихся в живых участников сборищ в «Говорильне»... Таким образом она встретилась со Стефани, бывшим сотрудником Жореса по «Юманите» (с которым Жак познакомил ее еще в Париже). Стефани удалось перебраться в Швейцарию, где он издавал газету «Их великая война». Он был одним из наиболее активных членов группы непримиримых социалистов-интернационалистов...

— Ванхеде возил меня также в Базель,— добавила она задумчиво.

Женни отперла ключом ящик секретера и осторожно, как бесценную реликвию, вынула оттуда пачку исписанных карандашом листков. Прежде чем передать их Антуану, она подержала их минуту на ладони.

Антуан, заинтригованный, взял рукопись, перелистал ее. Почерк Жака...

«И тем не менее мы стоим сегодня лицом к лицу с заряженными винтовками, готовые по первому сигналу бессмысленно убивать друг друга!»

И вдруг он понял. Это те самые последние страницы, которые Жак написал накануне смерти. Листки были смяты, испещрены поправками, залиты типографской краской. Почерк Жака, но неузнаваемый, измененный спешкой и лихорадочным волнением, то размашистый и твердый, то дрожащий, точно буквы были выведены неуверенной рукой ребенка...

«Разве французское государство, разве германское государство имеют право отрывать вас от ваших семей, от вашей работы и распоряжаться вашей жизнью, не считаясь с самыми очевидными вашими интересами, не считаясь с вашей волей, не считаясь с самыми гуманными, с самыми чистыми, с самыми законными вашими инстинктами? Что дало им эту чудовищную власть распоряжаться вашей жизнью и смертью? Ваше неведение. Ваша пассивность!..»

Антуан вопросительно взглянул на Женни.

— Черновик *воззвания,*— взволнованно шепнула она.— Платнер передал мне его в Базеле. Платнер — книготорговец, которому было поручено отпечатать листовку... Они сохранили рукопись, они мне...

— Кто они?

— Платнер и один молодой немец, по имени Каппель, он тоже знал Жака... Врач... Он очень помог мне при родах... Они показали лачугу, где жил тогда Жак, где он писал это... Возили меня на плато, откуда он улетел на аэроплане...

Рассказывая, Женни вновь переживала те дни, проведенные в пограничном городе, запруженном солдатами, иностранцами, шпионами... Вновь ей представились берега Рейна, и она пыталась описать их Антуану, описать мосты, охраняемые часовыми, старый дом г-жи Штумф, где Жак снимал комнату на чердаке, узенькое окошко, откуда виднелись заваленные углем доки... Поездку на плато вместе с Ванхеде, Платнером и Каппелем в дребезжащем автомобиле Андреева, в том самом, который вез Жака на встречу с Мейнестрелем... В ушах ее до сих пор еще звучал гор-

танный голос Платнера, дающего объяснения: «Здесь мы взобрались на откос... было темно... Здесь мы легли, ожидая, когда рассветет... Тибо открыл дверцу...»

— Что он делал, о чем он думал во время этого ожидания на плато? — вздохнула Женни.— Они говорили, что Жак отошел в сторону... Лег на землю поодаль от других, один... Должно быть, предчувствовал свою смерть. О чем он думал в эти последние мгновения? Я никогда этого не узнаю.

Не отрывая глаз от портрета, Антуан прислушивался к словам Женни и тоже думал об этом ожидании на плато, о прибытии рокового аэроплана — об этой нелепой жертве! Думал о трагической ненужности этого героического поступка и скольких еще... О ненужности почти всякого героизма. Десятки фронтовых эпизодов, столь же высоких, сколь и напрасных, подсказывала ему память. «Почти всегда,— думал он,— в основе такой вот безрассудной храбрости лежит неправильное суждение; иллюзорная вера в некие ценности, которые, быть может, при ближайшем рассмотрении не заслуживают полного самоотречения». Он сам почти возвел в культ, в фетиш человеческую волю и энергию; но, по его природе, ему претил героизм; и четыре года войны только укрепили это чувство. Он не желал принизить значение поступка брата. Жак умер, защищая свои убеждения; он был последователен по отношению к самому себе, не остановился даже перед самопожертвованием. Такой конец мог внушать уважение. Но когда Антуан думал об «идеях» Жака, он всякий раз наталкивался на непреодолимое противоречие: как мог его брат, всеми силами души и рассудка ненавидевший насилие (и разве не доказал он эту глубокую ненависть, когда, не колеблясь, поставил на карту свою жизнь ради и во имя борьбы с насилием, во имя братства, во имя того, чтобы в зародыше убить войну?),— как мог он в течение многих лет бороться за социальную революцию, то есть поддерживать худшее из насилий, насилие принципиальное, сознательное, неумолимое насилие доктринеров? «Вряд ли Жак был столь наивен,— думал он,— вряд ли мог он строить себе иллюзии относительно человеческой натуры и верить, что всеобщая революция, на которую он так надеялся, совершится без кровавой несправедливости, без неисчислимых искупительных жертв».

Он отвел вопрошающий взгляд от загадочного лица на портрете и посмотрел на Женни. Она продолжала рассказывать, и чудесное внутреннее волнение преобразило ее.

«Впрочем,— думал он,— я сам не совершил ничего, что давало бы мне право судить тех, кто ради своей веры идет на самые крайние действия... Тех, кто мужественно пытался совершить невозможное».

— Вот что больше всего мучит меня,— продолжала Женни, помолчав немного,— ведь он не знал, что у нас будет ребенок.— Не переставая говорить, она собрала листки, спрятала их в ящик. Потом снова помолчала. И, как бы продолжая думать вслух (Антуан был бесконечно ей благодарен за эту простоту и доверие): — Знаете, я счастлива, что маленький родился в Базеле, там, где провел последние дни его отец, там, где он, без сомнения, пережил самые полные часы своей жизни...

Всякий раз, когда она вспоминала Жака, синева ее глаз делалась глубже, бледные щеки слегка розовели и на лице появлялось какое-то непередаваемое выражение, пламенное и как бы ненасытное, впрочем, тут же потухавшее.

«Любовь отметила ее навеки,— подумал Антуан. Его это раздражало, и он сам удивлялся своему раздражению.— Нелепая любовь,— не мог не думать он.— Между двумя натурами, столь явно неподходящими друг другу, любовь могла быть только следствием недоразумения... Недоразумение, которое, вероятно, длилось бы недолго, но которое живет и сейчас в ее воспоминаниях о Жаке, в каждом ее слове о нем!» (Антуан вообще придерживался именно той теории, что в основе всякой страстной любви неизбежно лежит недоразумение, некая великодушная иллюзия, ошибка, ложное представление, которое составляют себе любящие друг о друге и без которого любить слепо невозможно.)

— На мне лежит трудная обязанность,— продолжала Женни,— воспитать Жан-Поля таким, как Жак хотел бы видеть своего сына. Временами это меня просто пугает...— Она подняла голову, глаза ее загорелись гордым блеском. Казалось, она хотела сказать: «Я верю в себя». Но сказала: — Я верю в малыша!

Антуан был восхищен стойкостью, мужеством, с каким она глядела в будущее. По тону некоторых ее писем он представлял Женни совсем другой, менее решительной, менее неуязвимой, не так хорошо подготовленной к своей роли. И с радостью убедился, что ей удалось уйти из-под одержимости отчаянием, хотя обычно большинство женщин, перенесших тяжкое испытание, охотно отдают себя целиком на съедение своему горю, дабы возвеличить в собственных глазах и в глазах людей свою разбитую любовь. Да, Женни нашла спасительный исход, сумела справиться с собой и сама направляла свою жизнь. Антуану хотелось дать ей понять, как глубоко он уважает ее за это:

— Всем своим поведением вы доказали силу вашей закалки.

Она молча выслушала его. Потом совсем просто произнесла:

— Здесь нет никакой заслуги с моей стороны... Больше всего мне помогло, как мне кажется, то, что мы с Жаком жили врозь. Его смерть не изменила ни хода моей повседневной жизни, ни моих привычек... По крайней мере, сначала мне это помогало... А потом появился маленький. Еще задолго до его рождения то, что он существует, стало мне огромной поддержкой. В моей жизни появилась цель: воспитать ребенка, которого Жак мне оставил.— Она снова помолчала. Затем заговорила: — Трудная это задача... Этим маленьким существом так непросто руководить! Иногда мне прямо страшно.— Женни взглянула на Антуана испытующе, почти подозрительно.— Даниэль, конечно, говорил вам о нем?

— О Жак-Поле? Да ничего особенного.

Он сразу же почувствовал, что брат и сестра расходятся в оценке характера ребенка, и это вызывает между ними рознь.

— Даниэль уверен, что Жан-Полю доставляет удовольствие не слушаться. Это несправедливо. И к тому же неверно. Во всяком случае, все куда более сложно... Я долго над этим думала. Правда, мальчик как-то инстинктивно склонен всему говорить «нет». Но тут не злая воля — тут потребность противопоставить себя другим. Нечто вроде потребности доказать самому себе, что он существует... И эта потребность — проявление внутренней несокрушимой силы столь очевидное, что нельзя даже сердиться... Это говорит его инстинкт, подобный инстинкту самосохранения! Я по большей части даже не решаюсь его наказывать.

Антуан слушал ее с живым интересом и жестом попросил продолжать.

— Вы меня понимаете? — сказала Женни, спокойно и доверчиво улыбаясь.— Вы привыкли к детям, и вас это, возможно, не удивляет... Я же часто становлюсь в тупик перед его строптивым нравом. Да, порой, когда он меня не слушается, я смотрю на него даже в каком-то оцепенении, с каким-то робким изумлением, более того, почти с восхищением — так же, как я наблюдаю за ним, как он растет, развлекается, начинает понимать. Если он в саду один и упадет — он заплачет; если ушибется при нас — заплачет только в крайности... Без всякой видимой причины он отказывается от конфеты, которую я ему предлагаю; но проберется потихоньку в комнату и утащит всю коробку; нет, не из желания полакомиться — он даже не пытается ее открыть,— или засунет под валик кресла, или зароет в куче песку. Зачем? Просто, я думаю, из желания проявить свою *независимость*... Если я его браню, он молчит; все его маленькое тельце напрягается от возмущения;

цвет глаз меняется, и он смотрит на меня так сурово, что я не смею продолжать. Непсколебимым взглядом... Но одновременно взглядом чистым, отрешенным. Взглядом, который мне импонирует!.. Так смотрел, без сомнения, Жак, когда был ребенком.

Антуан улыбнулся:

— А быть может, и вы, Женни?

Она жестом отмела эту мысль и продолжала:

— Должна сказать, что, если он и противится всякому принуждению, зато повинуется малейшей ласке... Когда он надуется, стоит мне взять его на руки, и все проходит! Он прячет лицо у меня на плече, целует, смеется: как будто что-то жесткое, что есть у него на душе, размягчилось и растаяло. Как будто он вдруг избавился от своего демона!

— А Жиз он, должно быть, совсем не слушается?

— Ну, там совсем другое дело,— произнесла Женни с внезапной холодностью.— Тетя Жиз — это его страсть: когда она с ним, ничего больше не существует.

— И она умеет обуздывать его?

— Еще меньше, чем я или Даниэль. Он часу без Жиз не может обойтись, но только потому, что хочет подчинять ее всем своим капризам! И услуг он требует от нее таких, каких ни за что, из одной только гордости, не примет ни у кого другого: например, расстегнуть штанишки или достать какую-нибудь вещь, до которой он сам не может дотянуться. И если меня при этом нет, ни за что не скажет ей спасибо. Надо только посмотреть, с каким видом он ею командует! Будто...— Она замолкла, потом продолжала: — Может, то, что я скажу, нехорошо по отношению к Жиз, но мне кажется, я права: Жан-Поль чувствует в ней прирожденную рабыню.

Заинтересованный этими словами, Антуан вопросительно взглянул на Женни. Но она избегала его взгляда; и так как в эту минуту зазвучал колокольчик, созывающий к завтраку, оба поднялись.

Они подошли к дверям. Казалось, Женни хочет еще что-то сказать Антуану. Она взялась было за ручку двери, потом отпустила ее.

— Я так благодарна вам,— прошептала она.— С самого возвращения из Швейцарии я ни разу ни с кем не могла поговорить о Жаке...

— Почему же вам не поговорить с Жиз? — решился спросить Антуан, вспоминая признания и жалобы девушки.

Женни стояла, опустив глаза, опершись плечом о косяк двери, и, казалось, не слыхала его вопроса.

— С Жиз? — повторила она наконец, будто звуки его голоса дошли до нее не сразу.

— Жиз единственная, кто мог бы вас понять. Она любила Жака. И она тоже очень страдает.

Не поднимая век, Женни отрицательно покачала головой. Видимо, ей хотелось избежать объяснений. Потом она взглянула прямо в лицо Антуана и произнесла с неожиданной резкостью:

— Жиз? Девушка с четками! Четки помогают не думать! — Она снова нагнула голову. Потом, помолчав, прибавила: — Иногда я ей завидую.— Но тон ее голоса и короткий горловой смешок, который она постаралась подавить, явно противоречили ее словам. Казалось, она тут же пожалела о том, что сказала.— Вы знаете, Антуан, Жиз мой настоящий друг,— пробормотала она. Голос ее стал мягче, искреннее.— Когда я думаю о нашей будущей семье, я отвожу в ней Жиз огромное место. Так хорошо знать, что она навсегда останется с нами...

Антуан ждал «но», которое и в самом деле последовало после короткого колебания:

— Но Жиз такова, какова она есть, правда? У каждого свой характер. У Жиз бездна достоинств, но у Жиз есть также свои недостатки.— После нового колебания Женни добавила: — Она, например, не очень искренна.

— Жиз? Это с ее-то честными глазами?

Первым побуждением Антуана было протестовать. Но, подумав, он понял, что подразумевала под этим Женни. Никто бы не назвал Жиз фальшивой, но она охотно хранила про себя иные тайные мысли, избегала высказывать вслух свои предпочтения и свои антипатии; боялась всяких объяснений; умела скрывать свою неприязнь; умела быть услужливой, приветливой с теми, кого не любила. Робость? Стыдливость? Скрытность? Или, быть может, врожденная двуличность, унаследованная от далеких негритянских предков, чья капля крови течет в ее жилах, естественная защита расы, издавна жившей в рабстве? «Прирожденная рабыня».

Он почти тотчас же согласился:

— Верно, верно, я вас понимаю.

— И вы видите теперь, почему, несмотря на мою большую к ней любовь, несмотря на нашу постоянную близость, одним словом — несмотря на все, есть вещи, о которых я не могу с ней говорить...— Она выпрямилась.— Совсем не могу.— И быстрым движением, как будто желая кончить разговор, распахнула двери: — Пойдемте завтракать.

IX

Стол был накрыт во дворе, под навесом возле кухни. Завтрак кончился быстро. Женни ела мало. Антуан не успел сделать ингаляцию перед завтраком и с трудом глотал пищу. Один лишь Даниэль оказал честь Клотильдиной стряпне: телячьей грудинке с зеленым горошком. Ел он молча, с безразлично-рассеянным видом. Когда завтрак подходил к концу, он, в ответ на какое-то замечание Антуана о Рюмеле и «героях тыла», нарушил свое молчание и разразился ядовитой апологией «дельцов». (Лишь они одни сумели использовать события, так сказать, «на потребу человеку»...) И в качестве примера с насмешливым восхищением рассказал о чудесном возвышении своего бывшего патрона, «этого гениального жулика Людвигсона». С начала военных действий Людвигсон переселился в Лондон и, по словам людей сведущих, во много раз умножил свое состояние, основав при весьма подозрительной поддержке банкиров Сити и кое-кого из английских политических деятелей Акционерное общество по снабжению горючим, пресловутое АОГ.

«Через несколько лет она будет странно похожа на свою мать»,— думал Антуан, не переставая дивиться тому, как изменилась за эти четыре года Женни. После родов, кормления ребенка она раздалась в бедрах, в груди, шея ее утратила прежнюю хрупкость. Но эта округлость не портила ее: даже смягчала протестантскую чопорность осанки, заносчивую посадку головы, немного суховатую тонкость лица. Правда, глаза остались прежними: они смотрели с тем же выражением одиночества, спокойного мужества, печали — выражением, которое так поразило Антуана, когда он увидел ее в первый раз еще девочкой, в момент бегства Даниэля и Жака... «Но как бы то ни было,— подумал Антуан,— сейчас она держится гораздо свободнее. Трудно понять, чем она так очаровала Жака... В ней было тогда что-то очень неприятное! Неприятная смесь застенчивости и гордости, леденящая замкнутость! Теперь, по крайней мере, не кажется, что малейшее движение, которым она открывает себя другим, стоит ей сверхчеловеческих усилий! Сегодня утром она действительно говорила со мной с полным доверием... Она действительно была чудесна сегодня утром... Но никогда, увы, у нее не будет той прелести, той мягкости, как у ее матери... Никогда... У нее тот тип благородства, в котором есть что-то, как будто говорящее вам: «Я не стараюсь ничем казаться. Мне все равно, нравлюсь я вам или нет. Мне достаточно, что я такая, какая есть...» О вкусах не спорят. Но это не мой тип... И все-таки она переменилась к лучшему».

Было решено, что Антуан сразу же после завтрака проводит Женни в госпиталь и увидится с г-жой де Фонтанен.

Пока Даниэль, снова растянувшись на шезлонге, пил кофе, а Женни пошла будить Жан-Поля, Антуан, воспользовавшись передышкой, поднялся в свою комнату и наспех сделал ингаляцию: он боялся устать за день.

Обычно Женни ездила в госпиталь на велосипеде. Она и сейчас взяла его с собой для обратного пути и вместе с Антуаном направились пешком через парк к дому, где помещался госпиталь.

— Даниэль, по-моему, очень переменился,— начал Антуан, когда они вышли на дорогу.— Что он, действительно не работает?

— Ничего не делает!

В словах Женни прозвучал упрек. И утром и потом, за завтраком, Антуан уже успел заметить, что между братом и сестрой не все ладно. Это его удивило: он помнил, как предупредительно и нежно Даниэль относился раньше к Женни. И он подумал, что, быть может, и в этом отношении Даниэль тоже опустился.

Несколько минут они шли молча. Нежная молодая листва лип бросала на землю неровную тень, испещренную золотистыми пятнами. Под старыми деревьями стоял тяжелый, влажный воздух, как перед дождем, хотя небо было совершенно чистое.

— Слышите? — сказал Антуан, подымая голову. За забором сада благоухала цветущая сирень.

— Он мог бы, если бы хотел, работать в госпитале,— сказала Женни, не обращая внимания на сирень.— Мама много раз его просила. И каждый раз он отвечает: «С моей деревяшкой я не способен ни на что!» Но это только отговорка.— Она взялась за руль велосипеда левой рукой, чтобы идти рядом с Антуаном.— Просто он никогда не был способен что-либо делать для других. А сейчас и того меньше.

«Она несправедлива к Даниэлю,— подумал Антуан.— Она должна быть ему благодарна за то, что он возится с ее ребенком».

Женни помолчала. Потом сухо отчеканила:

— Даниэль полностью лишен общественной жилки.

Эти слова прозвучали неожиданно... «Она все мерит по Жаку,— с раздражением подумал Антуан.— И о Даниэле судит с точки зрения Жака».

— Знаете, неполноценный человек достоин всяческого сожаления,— с грустью произнес Антуан.

Но Женни думала только о Даниэле и довольно резко возразила:

— Его могли бы убить! Чего же он жалуется? Он ведь остался жив! — И продолжала, не отдавая себе отчета в жестокости своих слов: — Нога? Он и хромает-то чуть-чуть. Разве так уж трудно

помочь маме вести отчетность по госпиталю? И если он не испытывает желания быть полезным коллективу...

«Опять словечко Жака»,— подумал Антуан.

— Что же мешает ему вернуться к живописи?.. Нет, это совсем не то. Это не от болезни, а от характера! — Взвинченная собственными словами, Женни незаметно для себя ускорила шаги. Антуан задыхался. Заметив это, она пошла медленнее.— Даниэль всегда жил слишком легкой жизнью... Все ему должно доставаться даром! А теперь просто-напросто страдает его тщеславие. Он никогда не выходит за калитку, не ездит в Париж. Почему? Да потому, что ему стыдно показываться на людях. Он никак не может примириться с мыслью, что приходится отказаться от своих былых «успехов». От прежней жизни! От жизни юного красавца! От беспутной жизни! От той безнравственной жизни, которую он вел перед войной!

— Вы жестоки, Женни!

Она посмотрела на улыбавшегося Антуана и, подождав, пока улыбка не исчезнет с его лица, решительно заявила:

— Я боюсь за мальчика!

— За Жан-Поля?

— Да! Жак открыл мне глаза на многое. Я задыхаюсь теперь в этой среде... которая стала мне чуждой! И не могу примириться с мыслью, что именно в этой атмосфере должен расти Жан-Поль.

Антуан даже выпрямился, будто не совсем понял слова Женни.

— Я говорю вам все это потому, что доверяю вам...— добавила Женни.— Потому, что мне со временем понадобятся ваши советы... Я глубоко привязана к маме. Восхищаюсь ее мужеством, благородством, всей ее жизнью. И никогда не забуду, как она была добра по отношению ко мне. Но что поделаешь? Мы не сходимся ни в чем! Буквально ни в чем! Конечно, я уже не та, что была в четырнадцатом году. Но и мама тоже очень переменилась. Вот уже четыре года, как она руководит госпиталем; четыре года она что-то устраивает, что-то решает, четыре года без конца распоряжается, требует к себе уважения, повиновения. Она полюбила власть... Она... Короче, она стала совсем другая, уверяю вас!

Антуан сделал уклончивый жест человека, не слишком убежденного словами собеседника.

— Прежде мама была само всепрощение,— продолжала Женни.— И хотя она всегда была по-настоящему верующая, она никогда не пыталась навязывать другим своих убеждений! А теперь!.. Если бы вы слышали, как она наставляет своих больных!.. И, конечно, самые послушные и смиренные остаются на излечении дольше прочих...

— Вы жестоки,— повторил Антуан.— Во всяком случае, несправедливы.

— Может быть... Да... Может быть, напрасно я рассказываю вам все это. Не знаю, как бы объяснить так, чтобы вы меня поняли... Ну, например, мама говорит: «наши солдатики»... Говорит: «боши»...

— Но мы тоже говорим.

— Нет. Совсем по-другому... Мама оправдывает все преступления этих четырех лет, лишь бы прикрывались именем патриотизма! Мама их одобряет! Мама убеждена, что дело союзников — единственное правое, единственное справедливое дело! И что война должна длиться до тех пор, пока Германия не будет стерта с лица земли! Кто не согласен с ней — тот, значит, плохой француз... А те, кто доискивается истинных причин бедствия и кто возлагает всю ответственность за него на капитализм, те в ее глазах...

Антуан слушал с удивлением. То, что открылось ему в этих признаниях,— настроение Женни, ее взгляды, эта переоценка ценностей — словом, перемены, совершившиеся под посмертным влиянием Жака,— заинтересовало Антуана куда больше, чем изменения в характере г-жи де Фонтанен. Он чуть было не сказал ей в тон: «Я тоже боюсь за мальчика». Ибо он с тревогой спрашивал себя, не создаст ли происшедший в Женни переворот (который, впрочем, по его мнению, не мог не быть несколько искусственным, несколько поверхностным) опасной атмосферы вокруг Жан-Поля; во всяком случае, более опасной для развития маленького существа, чем праздность дяди Дана или близорукий шовинизм бабушки.

Они вышли на залитую солнцем полянку, откуда была видна калитка виллы Тибо. Рассеянным взглядом озирал Антуан знакомые места, и ему казалось, будто он видел их в отдаленном прошлом, в какой-то прежней своей жизни.

Однако все оставалось неизменным, таким же, как было: широкая аллея с высокими обочинами и, в перспективе, величественная громада виллы; небольшая площадка перед домом, с круглым фонтаном, который пускали только по воскресеньям; цветочные клумбы, живые изгороди, белые перила, и дальше, под низко нависшими ветвями старых деревьев отцовского сада, калиточка, где Жиз, тогда еще девочка, поджидала его возвращения. Казалось, война здесь ничего не коснулась...

Женни остановилась.

— Мама целых три года ежедневно соприкасается со страданиями, порождаемыми войной... И, знаете, ее как будто уже ничто не способно тронуть, до того она очерствела, занимаясь этим возмутительным ремеслом.

— Возмутительным?

— Да,— сурово подтвердила Женни.— Ее ремесло заключается в том, чтобы лечить и ставить на ноги молодых людей с единственной целью — снова послать их на убой! Совсем так, как зашивают распоротое брюхо лошади пикадора, чтобы снова вывести ее на арену! — Она нагнула голову, но вдруг, как будто спохватившись, смущенно повернулась к Антуану: — Я вас шокирую?

— Нет!

Это «нет» сорвалось с губ так непроизвольно, что Антуан сам удивился; удивился тому, что сейчас ему бесконечно более чужд патриотизм таких, как г-жа де Фонтанен, чем негодование и суровые обличения таких, как Женни. И, вспомнив о Жаке, он повторил в тысячный раз: «Насколько ближе он был бы мне сейчас, чем прежде!»

Они вошли в парк.

Женни вздохнула; ей было жаль расставаться с Антуаном. Она нежно улыбнулась ему.

— Как я вам благодарна... Как хорошо поговорить от всей души.

X

Чугунная с резьбой калитка виллы (с вычурной монограммой *О. Т.*, еще сохранившей почти всю свою позолоту) была открыта. Колеса санитарных карет проложили глубокие колеи в аллеях, где не осталось и следа тонкого гравия, который каждое утро по распоряжению г-на Тибо разравнивали граблями. Сквозь ветви был виден освещенный солнцем фасад дома, в открытых окнах весело бились новые занавески в красную полоску.

— Вот оно, мое царство,— бельевая,— сказала Женни, показывая на старый каретный сарай.— Я ухожу... Пройдите через веранду и поверните направо, в контору. Мама там.

Оставшись один, Антуан решил передохнуть. Каждый куст, каждый изгиб аллеи, на который падал его взгляд, снова становился родным. Звуки пианино, которые временами доносились до него, напомнили ему вдруг далекое прошлое: Жиз на высоком табурете, с косой за плечами, неверными пальчиками разыгрывает гаммы, повинуясь бдительному взору старушки Мадемуазель и властному ритму метронома.

Через густую листву он увидел оживленную, как на гулянии, толпу: молодые люди в бескозырках и в серых фланелевых пижамах, рассевшись на ступеньках террасы, болтали, греясь на солнце. Другие играли в карты на садовых столах или читали газеты. Двое солдат в синих форменных штанах и обмотках, в одних рубашках,

подрезали на лужайках газон, и Антуан узнал раздражающее щелканье катка. Немного подальше, под старым буком, несколько выздоравливающих солдат плескались у фонтана, и слышно было, как подставленные под струю котелки стукаются о брюхо бронзовой лягушки.

При виде незнакомого военного врача солдаты, сидевшие на ступеньках, встали, отдавая честь. Антуан поднялся по лестнице. Веранду застеклили и превратили в зимний сад. Здесь было жарко и душно, как в оранжерее. Тут лежали больные, которые по состоянию здоровья не могли еще выходить. Налево стояло пианино — то самое старенькое пианино из светлого ореха, на котором в детстве упражнялась Жиз. Солдат, сидя на табуретке, тыкал непослушным пальцем в клавиши, стараясь подобрать припев «Мадлон». Пианино замолкло, игравший поднес руку к бескозырке — отдать честь военному врачу. Антуан прошел в гостиную, пока еще безлюдную и тихую. Она стала похожа на вестибюль отеля. Кресла и стулья стояли вокруг четырех ломберных столов.

Дверь в кабинет г-на Тибо была закрыта. На пришпиленной кнопками картонке Антуан прочитал «Канцелярия». Он вошел. И сначала никого не увидел. В комнате все осталось по-прежнему: большой дубовый стол, кресло, книжные шкафы торжественно красовались на своих привычных местах. Но кабинет был перегорожен ширмами. Когда хлопнула дверь, стрекот пишущей машинки затих, и голова юноши выглянула из-за ширмы. Разглядев вошедшего, юноша радостно воскликнул:

— Господин доктор!

Антуан недоуменно улыбнулся. Говоря по правде, он не сразу узнал юношу, который бросился ему навстречу; но сообразил, что это, должно быть, Лулу, младший из двух сирот с улицы Вернейль, мальчик, которому он когда-то, очень давно, вскрыл нарыв на руке. (Уезжая в начале войны из Парижа, Антуан поручил обоих ребят Клотильде и Адриенне. Он смутно припоминал, что г-жа де Фонтанен, как ему сообщили, устроила мальчика в госпитале.)

— Как ты вырос! — сказал Антуан.— Сколько же тебе лет?

— Призыва двадцатого года, господин доктор.

— А что ты здесь делаешь?

— Сначала работал письмоносцем, а теперь веду переписку.

— А брат?

— В Шампани... Был ранен,— вам писали, да? В руку. В апреле семнадцатого года под Фимом. Его призвали в шестнадцатом году... Ему оторвало два пальца... К счастью, на левой руке.

— И он вернулся на фронт?

— Ну, этот умеет выкручиваться! Пристроился к метеорологической службе. И теперь может быть спокоен.— Лулу посмотрел на Антуана с любопытством и жалостью и пробормотал: — А вы... Это газ, да?

— Да,— ответил Антуан.

Он устало опустился в низенькое кресло с золочеными гвоздиками, обитое гранатовым плюшем, которое напомнило ему детство.

— Такая пакость эти газы,— заявил Лулу серьезно, как взрослый.— По-моему, это просто нечестно... не по правилам...

— Госпожа де Фонтанен у себя? — перебил его Антуан.

— Она наверху... Я ей сейчас скажу... Мы ждем новую партию раненых; приходится ставить койки всюду.

Антуан остался один. Один на один со своим отцом. Властный дух г-на Тибо обитал еще в этой комнате. Он исходил от каждой вещи, даже от самого их расположения, раз и навсегда установленного: от чернильницы с серебряной крышечкой, от лампы на письменном столе, от вытиралки для перьев, от барометра на стене. Дух столь неистребимый, что перестановка мебели или новые ширмы, поставленные поперек комнаты, не могли вытравить его: он упрямо витал здесь, в этом доме, который в течение полувека наполнял своим всеподавляющим господством старый Тибо. Стоило Антуану взглянуть на дверь, выкрашенную под дуб, и сразу же он слышал, как под рукой отца она хлопала с каким-то особенным незабываемым звуком: яростно и вместе с тем сдержанно и осторожно. Стоило ему взглянуть на протоптанный посредине ковер, и сразу же вспоминался отец в визитке с развевающимися фалдами: вот он грузно шагает от книжных шкафов к камину и обратно, заложив за спину большие узловатые руки и полузакрыв глаза. И достаточно было взглянуть на копию с картины Бонна «Христос» и на кресло под ней, теперь никем не занятое, с вытесненными на коже инициалами, как он сразу ощущал присутствие г-на Тибо: вот он тяжело усаживается в любимое кресло, сутулится и, задрав вверх бородку, обращается к назойливому посетителю; вот он, прежде чем заговорить, снимает пенсне и кладет его в жилетный карман четким и сосредоточенным жестом, напоминающим крестное знамение.

Антуан услышал скрип открывающейся двери и поднялся с места. В комнату вошла г-жа де Фонтанен.

На ней был больничный халат, как на всех санитарках, но волосы, совсем седые, она не повязала косынкой. Лицо поражало бледностью и худобой. «Как у сердечников...— машинально подумал Антуан.— Ей недолго жить».

Госпожа де Фонтанен протянула гостю обе руки, усадила его и уселась сама по другую сторону стола, на кресле с вензелями. Очевидно, это было излюбленное место «гугенотки». («Если бы покойный г-н Тибо вернулся...»)

Она сразу же заговорила о здоровье Антуана. За несколько минут ожидания он немного отдышался и улыбнулся ей в ответ.

— Как видите, чудом все-таки уцелел. К счастью, организм у меня крепкий.

В свою очередь, он спросил ее о госпитале, о ее теперешней жизни. Она сразу воодушевилась:

— Здесь нет никакой моей заслуги. У меня превосходный персонал. И всем распоряжается Николь. Она ведь получила диплом, вы знаете?.. Это огромная для меня помощь... Да, чудеснейший персонал! И весь исключительно состоит из молодых женщин и девушек, которые живут в Мезоне, так что все мои комнаты отданы в распоряжение моих больных. И все мои сестры милосердия работают у меня бесплатно, благодаря этому я могу сводить концы с концами, хотя субсидия весьма скромна. Мне, впрочем, очень много помогают! С первого же дня! Мезон-Лаффит выказал себя таким великодушным! Подумать только, все, что здесь есть,— кровати, тазы, посуда, белье,— словом, всем этим меня снабдили соседи. Сейчас мы ждем новую партию раненых... Николь и Жизель поехали собирать белье. Не сомневаюсь, что они привезут все, что мне нужно.— Подняв глаза к небу, торжествующе улыбаясь, вся исходя благодарностью, она, казалось, возносила хвалу всевышнему за то, что он населил мир, и в первую очередь Мезон-Лаффит, услужливыми созданиями и сердобольными душами.

Госпожа де Фонтанен подробно описала все усовершенствования, внесенные ею в устройство виллы Тибо, и поделилась своими планами на будущее. Мысль о том, что война и жизнь при госпитале могут когда-нибудь кончиться, и в голову ей не приходила.

— Пойдемте, я покажу вам госпиталь,— бодро сказала она.

И действительно, вилла стала неузнаваемой. Бильярдную отдали под процедурную; буфетную превратили в приемную врача, в ванной устроили перевязочную. В огромной, хорошо отапливаемой оранжерее стояли в ряд двенадцать коек.

— А теперь поднимемся на второй этаж.

Спальни были превращены в палаты, пустынные в этот час. В первом этаже помещалось пятнадцать больных, десять во втором, и на самом верхнем стояло шесть дополнительных коек для экстренных случаев.

Антуану очень хотелось взглянуть на свою бывшую спальню, но она была заперта на ключ. Ее должны были продезинфициро-

вать после паратифозного больного, которого сегодня утром перевезли в Сен-Жерменский госпиталь.

Переходя из комнаты в комнату, г-жа де Фонтанен властно, как глава предприятия, открывала двери, бросала кругом проницательные взгляды, проверяла на ходу чистоту умывальников, температуру радиаторов, все, вплоть до названий книг и газет, разбросанных на столах. Время от времени она жестом, видимо, вошедшим в привычку, подымала руку и смотрела на часики.

Антуан слегка запыхавшийся, шел за ней следом. Слова Клотильды: «Если бы покойный господин Тибо...» — не выходили у него из головы.

На втором этаже г-жа де Фонтанен ввела его в комнату, оклеенную пестренькими обоями, в окна заглядывали верхушки каштанов. Антуан остановился на пороге, охваченный воспоминаниями:

— Спальня Жака...

Она удивленно взглянула на него. И вдруг глаза ее наполнились слезами. Надеясь скрыть их, она подошла к окну и стала закрывать ставни. Потом, как будто это имя, произнесенное Антуаном, пробудило в ней желание поговорить более откровенно, она сказала:

— А сейчас я вас сведу на задний двор. Здесь теперь моя штаб-квартира. Нам будет удобнее там поговорить.

Они молча спустились по лестнице. Чтобы миновать веранду, они прошли в сад черным ходом. В тени деревьев четверо солдат красили белилами железные кровати. Г-жа де Фонтанен приблизилась к ним:

— Торопитесь, дети мои... к завтрашнему дню кровати должны высохнуть... А вы, Робле, спускайтесь-ка вниз! (Робле, взобравшись на навес перед кухонной дверью, подвязывал стебли ломоноса.) Позавчера еще лежал в постели, а сегодня по лестницам лазает!

Бородатый мужчина, очевидно из территориальных войск, улыбаясь, полез вниз. Когда он подошел к г-же де Фонтанен, она расстегнула ему куртку и пощупала повязку.

— Так и есть! Бинт сполз. Идите сейчас же в перевязочную.— И, как бы призывая Антуана в свидетели, добавила: — Нет, вы подумайте только! Его оперировали всего двадцать дней назад!

Чтобы добраться до бывшей конюшни, нужно было обогнуть лужайку. Выздоравливающие, которые попадались им на пути, приветливо здоровались с г-жой де Фонтанен, приподнимая над головой бескозырку на штатский манер.

— Мое жилье выше,— сказала она, открывая дверь конюшни.

В нижнем этаже, в стойлах, стояли верстаки; пол был усыпан стружками.

— Тут помещается наша, как мы ее называем, «универсальная мастерская»,— объясняла она, поднимаясь по узенькой деревянной лестнице, которая вела в бывшую мансарду кучера.— Я ни одной работы не отдаю на сторону. Наши ребята сами все делают: паяют, столярничают, проводят электричество.

Госпожа де Фонтанен ввела гостя в ближнюю мансарду, где она устроила для себя кабинет. Вся обстановка комнаты состояла из двух плетеных кресел и большого стола, заваленного папками и бухгалтерскими книгами; на каменном полу лежал потертый половичок. Еще с порога Антуан увидел на столе свою лампу — большую керосиновую лампу под зеленым картонным абажуром; столько раз при свете ее он жаркими июньскими ночами, наполненными жужжанием насекомых, готовился к экзаменам, а весь дом безмолвствовал, погруженный в глубокий сон. Стены, очевидно, недавно побелили. Над столом приколото несколько фотографий: Жером в молодости, изящно опирающийся на спинку обитого шелком кресла; Даниэль в шотландском костюмчике, с голыми коленками; Женни, ребенком, с распущенными волосами и с ручным голубем на вытянутой ладони; и еще другая фотография Женни — в трауре, с сыном на коленях.

Приступ кашля вынудил Антуана сесть, не дожидаясь приглашения. Подняв голову, он заметил, что г-жа де Фонтанен внимательно на него смотрит; однако она ни словом не обмолвилась о его здоровье.

— Я воспользуюсь вашим посещением и займусь починкой,— сказала она, кокетливо засмеявшись. Отодвинув Библию в черном переплете, она поставила перед собой рабочую корзиночку и еще раз взглянула на ручные часики.

— Даниэль говорил вам? Дал он вам осмотреть свою ногу? — спросила она, подавляя вздох. (Даниэль ни разу не показывал ей свою ногу после ампутации.)

— Нет. Но он поведал мне все свои горести... Я порекомендовал ему делать кое-какие восстановительные упражнения. При известном терпении можно добиться удивительных результатов... Впрочем, он сказал, что ему совсем не трудно ходить, особенно с новым протезом.

Она, казалось, не слушала. Сложив руки на коленях, слегка приподняв голову, она задумчиво смотрела на зеленевшую листву деревьев.

Вдруг она обернулась к Антуану.

— А вам рассказывали, что произошло здесь в тот день, когда его ранили?

— Здесь? Нет...

— Всемилостивый бог подал мне знак,— значительно начала г-жа де Фонтанен.— В тот момент, когда Даниэль был ранен, мне было предзнаменование духа святого.— Она замолчала. Незаметно для себя она в волнении вскинула руку. Потом продолжала не без торжественности, но подчеркнуто просто (будто читала вслух главу из Священного писания или, исполняя некий высший долг, свидетельствовала перед людьми о случившемся чуде).— Было это в четверг. Я встала чуть свет. Я ощутила присутствие всевышнего и начала молиться. Но вдруг я почувствовала страшную слабость... Первый раз со дня основания госпиталя мне стало так худо, да и после этого случая я тоже ни разу не болела... Я хотела открыть окно и позвать сиделку... Но я буквально не могла держаться на ногах. К счастью, одна сиделка, заметив, что я не вышла в госпиталь в обычный час, прибежала посмотреть, что со мною. Я без сил лежала на постели. Когда же я попыталась подняться, то снова упала, такое у меня началось головокружение. Я так обессилела, будто вся моя кровь ушла через невидимую рану. Я не переставая думала о Даниэле. Я молилась. Но мне делалось все хуже и хуже. Женни несколько раз приводила ко мне врача. Он дал мне эфирно-валерьяновые капли. Я почти не могла говорить. И вот в половине двенадцатого, только что прозвонил колокол к первому завтраку, я вдруг, неизвестно почему, закричала и лишилась чувств. Когда я пришла в себя, мне стало легче. Настолько легче, что к концу дня я смогла уже подняться с постели, пошла в канцелярию, подписала счета и письма. И все кончилось.— Она говорила намеренно сдержанным голосом. Прежде чем продолжить рассказ, она выдержала паузу.— И вот, мой друг, как раз в этот четверг на рассвете полк Даниэля получил приказ выступать. Все утро он сражался как герой, родной мой мальчик; пули щадили его, но после половины двенадцатого ему раздробило осколком снаряда бедро. Немного позже, около двенадцати часов... его отнесли в госпиталь и там через несколько часов ампутировали ногу... И он был спасен.— Она покачала головой, пристально глядя на Антуана.— Обо всем этом я, конечно, узнала только позже, через десять дней.

Антуан молчал. Что он мог сказать? Слушая г-жу де Фонтанен, он вспомнил, как Женни болела в детстве менингитом и как пастор Грегори «чудом спас ее». И еще он вспомнил шутку доктора Филипа: «С людьми обычно случаются именно такие чудеса, которых они заслуживают».

Госпожа де Фонтанен некоторое время сидела молча. Затем взялась за шитье. Но прежде чем сделать первый стежок, взглянула через очки — она вынула их из письменного стола — на фотографию Женни с Жан-Полем.

— Вы еще ничего не сказали о нашем мальчике. Какой он, по-вашему?

— Чудесный.

— Правда? — подхватила она торжествующим тоном.— Даниэль приводит его ко мне по воскресеньям. И каждый раз я удивляюсь, как он вырос, возмужал. Даниэль жалуется, что это трудный ребенок, непослушный. Но что удивительного, если у маленького есть характер? И потом, мальчик должен быть энергичным, волевым... Я вижу, вы со мной согласны! — лукаво добавила она.— Мы с ним встречаемся редко, и поверьте, мне это нелегко. Но ведь малыш меньше нуждается во мне, чем мои больные...— И как поток, на минуту отклонившийся от своего пути, возвращается в прежнее русло, так и она снова заговорила о своем госпитале.

Антуан молча кивал головой, ему не хотелось отвечать, он боялся приступа кашля. В очках она выглядела совсем старухой. «Цвет лица, как у сердечницы»,— снова подумалось ему.

Держалась она очень прямо, не опираясь о спинку кресла, и неторопливо клала стежок за стежком. С величественным и непринужденным видом она рассказывала Антуану, как поставлено дело в ее госпитале, как велика ее ответственность и сколько у нее забот.

«Нет худа без добра,— думал Антуан.— Таким вот женщинам, в таком возрасте, война дала своего рода нечаянное счастье — возможность деятельности на благо общества, возможность отдаться чему-то целиком, радость властвовать в атмосфере всеобщей признательности...»

И, как будто угадав его мысль, г-жа де Фонтанен произнесла:

— О, я не жалуюсь! Как ни тяжко подчас мое бремя, оно стало мне необходимо. Я не представляю себе, как я смогу жить той жизнью, которую вела когда-то. Теперь я чувствую потребность быть полезной.— Она улыбнулась.— Знаете что? Давайте откроем — потом, конечно,— клинику для ваших больных, и я буду ею руководить! — И тут же поспешно добавила: — Вместе с Николь, вместе с Жизель... И с Женни, быть может... Я думаю, это вполне возможно... Правда?

Антуан любезно откликнулся:

— Конечно, вполне возможно!

Помолчав немного, она продолжала:

— Женни тоже должна иметь в жизни какое-то занятие.— Она вздохнула и, даже не пытаясь объяснить тайный ход своих

мыслей, добавила: — Бедный Жак. Никогда не забуду нашу последнюю встречу...

Она снова замолчала. Ей вспомнилось возвращение из Вены после мобилизации. Но она умела как никто отгонять прочь тяжелые воспоминания. Она поднесла руку ко лбу, откинула мешавшую прядь седых волос. Каковы бы ни были ее чувства, в эту минуту она решила поговорить с Антуаном о том, что лежало у нее на сердце.

— Мы должны верить в высший разум,— заговорила она снова (поучительным и любезным тоном, который, казалось, означал: «Только не перебивайте меня, пожалуйста»).— Мы должны принимать то, чего возжелал господь. И смерть вашего брата также свершилась по воле господней.— Она задумалась и лишь потом высказала затаенную мысль: — Эта любовь была обречена на самые горшие страдания. И для него, и для нее. Простите, что я так говорю.

— Я с вами совершенно согласен,— живо отозвался Антуан.— Если бы Жак остался жив, их совместная жизнь превратилась бы в ад.

Госпожа Фонтанен посмотрела на него довольным взглядом, одобрительно кивнула и взялась за шитье.

Потом заговорила снова:

— Я не хочу кривить душой и признаюсь, все это... причиняло мне огромные страдания... В тот день, когда я узнала, что у Женни будет ребенок...

Антуан часто думал как раз об этом. И когда г-жа де Фонтанен взглянула на него, он в знак внимания молча опустил веки.

— О, вовсе не из-за того,— произнесла она быстро, боясь, что ее слова могут быть ложно истолкованы,— что он рожден вне брака... Нет... Не столько из-за этого. Особенно меня угнетала мысль, что эта трагедия оставит след в нашей жизни, оставит вечное о себе напоминание... Я ведь могу говорить с вами откровенно. Я часто думала: «Жизнь Женни испорчена безвозвратно... Это возмездие! *Fiat*[1]...» Но, друг мой, я ошибалась. От недостатка веры. Промысл господень никому не ведом. Пути его неисповедимы, доброта его бесконечна. То, что я считала карой, испытанием, посланным нам, напротив, стало божественной благодатью... знаком прощения. Источником радости... И в самом деле, за что было господу их карать? Разве не знал он лучше, чем мы, что не было зла в их увлечении? И что сердца этих двух детей пребывали чистыми и целомудренными даже в грехе?

---

[1] Пусть свершится *(лат.)*.

«Как странно,— думал Антуан.— Казалось бы, она должна раздражать меня сверх всякой меры. Так нет же, в ней есть что-то, вызывающее уважение. Даже больше, чем уважение,— симпатию. Может быть: доброта? Потому что, в сущности, доброта — такая редкая вещь: настоящая *врожденная доброта...*»

— Судьба Женни прекрасна,— продолжала г-жа де Фонтанен своим певучим и твердым голосом, не переставая шить.— Она владеет в сердце своем сокровищем, которое облагородило всю ее жизнь,— воспоминанием о том, как она всю себя принесла в дар, о чудесных минутах, за которыми — редкий случай — не последовали унизительные будни...

«Есть люди,— думал Антуан,— которые создают себе на потребу и раз навсегда свое собственное восприятие мира. И тогда все легко... Их существование подобно прогулке на воде при тихой погоде. Они вверяются течению, и оно само несет их к пристани».

— И на ее долю выпала благороднейшая задача — растить ребенка, который...

— Женни стала совсем другая, совсем не такая, как прежде,— решительно прервал ее Антуан.— Очень повзрослевшая... Нет, не повзрослевшая... А очень...

Госпожа де Фонтанен положила работу на колени и сняла очки.

— Я хочу поведать вам, друг мой, одну вещь: я считаю, что Женни *счастлива!*.. Да... Счастлива так, как никогда не была счастлива, как только может быть счастлив такой человек, как она. Ибо Женни рождена не для счастья. Еще ребенком она была глубоко несчастна, и никто не мог ей в этом помочь: страдание было заложено в ее натуре. И не только страдание — ненависть к самой себе: она не умела любить себя, любить в себе создание божие. Душа ее, увы, никогда не знала веры: душа ее всегда была храмом пустующим... И что же получается? Господь каждодневно творит чудеса в нас самих и вокруг нас! Всякое страдание вознаграждается... всякое неустройство идет на благо высшей гармонии... Сейчас на Женни снизошла благодать. Сейчас,— и мое чувство, верьте, не обманывает меня,— сейчас бедное мое дитя обрело в роли вдовы и матери высшее человеческое счастье, тот душевный покой, равновесие и удовлетворение, которых ей не дано было знать... И я чувствую, что она теперь...

— Тетя! — раздался голос из сада.

Госпожа де Фонтанен поднялась с кресла.

— Николь вернулась.

— Пришел господин мэр, тетя,— повторил голос.— Он хочет с вами поговорить.

Госпожа де Фонтанен подошла к дверям. Антуан услышал ее веселое восклицание:

— Подымись ко мне, дорогая. У меня здесь кто-то... кого ты хорошо знаешь!

Николь распахнула дверь и как вкопанная остановилась на пороге, пристально вглядываясь в Антуана, как бы не узнавая его.

Сердце его болезненно сжалось, и он пробормотал:

— Я очень страшный стал, да?

Николь покраснела и, желая скрыть свое смущение, громко расхохоталась:

— Вовсе нет... Просто я не ожидала встретить вас здесь.

Они еще не виделись: накануне она не пришла на дачу обедать, так как осталась ухаживать за больным, которого не хотела доверить сиделке.

За эти годы Николь как-то помолодела. Бессонная ночь не оставила никакого следа на ее молочно-белой коже, глаза по-прежнему поражали удивительной прозрачностью.

Антуан спросил, есть ли у нее вести от мужа, с которым он дважды встречался на фронте.

— Сейчас его санитарный отряд в Шампани,— сказала она, оглядываясь вокруг блестящим взглядом, в котором уживались наивность подростка и кокетливая чувственность.— Много работает, но находит время писать статьи для журналов... На той неделе прислал мне работу для перепечатки на машинке, что-то насчет накладки жгутов...

Луч солнца касался ее округлого плеча, плотно обтянутого тканью блузки, при каждом движении играл в складках косынки, золотил руки, покрытые легким пушком, и когда она улыбалась, зубы ее блестели. «Какое, должно быть, искушение для всех этих переживших бойню людей!» — подумал Антуан.

— Я так жалела, что не могла вчера попасть на дачу,— сказала она.— Как вы провели вечер? Даниэль был с вами любезен? Удалось вам хоть немножко его приручить?

— Конечно! А разве это так трудно?

— Он такой угрюмый, мрачный...

Антуан сделал соболезнующий жест:

— Он достоин всяческого сожаления!

— Надо бы его расшевелить,— продолжала Николь— заставить вернуться к живописи.— Она говорила серьезным тоном, как будто перед ними стояла насущнейшая проблема и она только ждала Антуана, чтобы ее решить.— Нельзя дольше так жить, как он живет. Он опустился. Он в конце концов станет...

Антуан улыбнулся.

— Я ничего такого не заметил.

— Да, да... Спросите хотя бы у Женни... Он просто стал невыносим... Когда мы бываем на даче, он или уходит в свою комнату,— что он, дичится, дуется? неизвестно,— или, если уж он сидит с нами, рта не откроет, и, кажется, все вокруг леденеет. Его присутствие всех стесняет... Уверяю вас, вы окажете ему огромнейшую услугу, если убедите его работать, вернуться в Париж, бывать на людях, снова начать жить!

Антуан покачал головой и невнятно повторил:

— Он достоин сожаления...

Из какого-то инстинктивного недоверия он держался настороже. Неизвестно почему, у него создалось впечатление, будто Николь говорит так, повинуясь своим скрытым соображениям, которые предпочитает не выражать вслух.

(И это было, пожалуй, верно. Николь составила себе окончательное мнение о Даниэле еще с того памятного вечера прошлой зимой. Однажды,— было уже поздно,— Женни и Жиз ушли спать, а Николь задержали дела внизу, и она осталась с Даниэлем вдвоем в гостиной перед догорающим камином. Вдруг Даниэль сказал: «Подожди-ка, Нико, не шевелись!» И на обложке журнала, который он перелистывал, начал быстро набрасывать карандашом ее профиль. Она охотно подчинилась этому неожиданному капризу. Но через некоторое время, движимая каким-то неясным чувством, вдруг повернула голову,— Даниэль не рисовал: не отрываясь, он смотрел на нее нечистым взглядом, полным скрытого желания, мрачной ярости, стыда, а возможно, и ненависти... Нагнув голову, он злобно скомкал в руке журнал и бросил его в камин. Потом, не сказав ни слова, вышел из комнаты. «Так вот оно в чем дело! — оценен, подумала Николь.— Он все еще меня любит». Она хорошо помнила те далекие времена, когда жила у тетки в Париже, и Даниэль, тогда еще юноша, подстерегал ее, как одержимый, во всех закоулках. Эта любовь, безумная и безнадежная,— которая, как думала Николь, давно уже прошла,— вновь воскресла сейчас, когда они очутились под одной крышей... И с этого дня у Николь открылись глаза; любовь Даниэля объясняла все: его замкнутость, беспокойство, капризы, его упорное желание оставаться в Мезоне и вести здесь уединенную, праздную и целомудренную жизнь, столь противоречащую его привычкам и темпераменту.)

— Хотите знать мое мнение? — продолжала Николь, не подозревая, что ее настойчивость кажется Антуану крайне подозрительной.— Даниэль достоин сожаления, вы правы... Но он страдает не только оттого, что он калека. Нет... Женщины, видите ли, многое улавливают инстинктивно... Он страдает не только поэтому...

Его мучит что-то очень личное... Может быть, несчастная любовь... безнадежная страсть...

Вдруг она испугалась, что выдала себя, и покраснела. Но Антуан и не глядел на нее. Ему вдруг представился Даниэль в тени платанов, его блуждающий взгляд, закинутые за голову руки, вечная жвачка во рту.

— Возможно,— сказал он простодушно.

Успокоенная тем, что Антуан ничего не понял, Николь с облегчением рассмеялась:

— Ведь мы с вами помним, какую жизнь вел Даниэль в Париже перед войной.

Она замолчала; на лестнице послышались шаги тетки.

Госпожа де Фонтанен держала в руках пачку писем.

— Простите, но я вернулась только на минутку, сейчас опять ухожу.— Она показала на пачку писем и казенных бандеролей, только что полученных с почты.— От нас ежедневно требуют кучу отчетов, и мы обязаны представлять их начальству в нескольких экземплярах. Каждый день я часа два трачу на ответы.

— Мне пора,— сказал Антуан, поднимаясь.

— Мы должны еще повидаться с вами. Вы еще побудете здесь?

— О нет... Я уезжаю завтра.

— Завтра? — повторила Николь.

— Я должен быть в Мускье в пятницу.

Они спустились по шаткой лестнице.

Госпожа де Фонтанен взглянула на свои часики:

— Я провожу вас до калитки.

— А я ухожу,— воскликнула Николь.— До вечера!

Когда Николь скрылась, г-жа де Фонтанен, не убавляя шага, взволнованно спросила Антуана:

— Николь говорила с вами о Даниэле? Бедный мальчик... Я все время о нем думаю. Я молюсь за него. Тяжелый крест достался ему на долю!

— Что бы ни было, он все-таки жив и будет жить. Вы можете быть за него спокойны. В теперешнее время это спокойствие тоже чего-нибудь да стоит!

Но она, казалось, не пожелала вдуматься в его слова. Она воспринимала вещи совсем по-иному.

Несколько шагов они прошли молча.

— Целыми днями все один да один...— продолжала она.— Один со своим увечьем, один со своей тоской, которую он не поверяет никому... Даже мне.

Антуан остановился и взглянул на г-жу де Фонтанен с нескрываемым любопытством.

— Я так хорошо понимаю, что мучит моего дорогого мальчика,— продолжала г-жа де Фонтанен тем же скорбным, но твердым тоном.— С его пылкой, благородной душой... чувствовать, что ты еще полон сил, мужества! Видеть свою родину в руках врага, знать, что ей грозит опасность... и не иметь возможности помочь!

— Вы думаете, это оттого? — рискнул спросить Антуан. Такое объяснение было столь неожиданным, что он не мог скрыть своего сомнения.

Она выпрямилась, и понимающая, чуть горделивая улыбка тронула ее губы:

— Даниэль? Да это же очевидно! Но, увы, тут ничего не поделаешь... Даниэль безутешен оттого, что не может выполнить свой долг.— И, заметив, что Антуана эти слова не убедили, она прибавила с упрямым и суровым выражением лица: — Даниэль не работает в госпитале именно из-за этого, а вовсе не потому, что он устал, как он говорит. Нет, просто ему невыносимо быть среди людей одного с ним возраста, которые тоже были ранены, но которые не сегодня-завтра смогут снова сражаться за родину.

Антуан ничего не ответил. Они молча дошли до калитки, г-жа де Фонтанен остановилась.

— Бог знает, когда мы снова увидимся,— сказала она, взволнованно глядя на него. Антуан протянул ей руку, она задержала ее в своих ладонях.— Желаю вам всего хорошего, друг мой.

XI

«Они все говорят о Даниэле, как о загадке,— думал Антуан, идя через площадку.— И каждый толкует ее по-своему... А на самом деле никакой загадки, должно быть, и нет».

Он немного устал, впрочем, меньше, чем можно было ожидать, и это его радовало, даже удивляло. Не торопясь, он шел к даче Фонтаненов. Приятно было побыть одному. Широкая липовая аллея уходила вдаль, сливаясь с лесом. Лучи солнца, уже клонившегося к горизонту, пробивались сквозь стволы и клали на землю длинные пламенеющие полосы. Антуану приходили на память пыльные южные дороги, и он с наслаждением вдыхал этот легкий, чуть даже кисловатый воздух, напоенный весенними запахами Иль-де-Франса.

Но мысли его были печальны: пребывание в Мезоне пробудило в нем слишком много воспоминаний. Да и на вилле Тибо вос-

кресло слишком много призраков былого. Они шли вместе с ним, и он был бессилен против них. Его молодость, его прежнее здоровье... Отец, Жак... За эти сутки Жак снова стал ему бесконечно близок. Никогда еще не ощущал он так явственно, что смерть Жака лишила его существа, действительно незаменимого; единственного, его *брата*... Да, впервые с момента гибели Жака он так точно измерил непоправимость этой утраты. Он упрекал себя в том, что только сейчас почувствовал подлинное отчаяние, неприкрытое отчаяние. Как могло это случиться? Обстоятельства, война... Он вспомнил совершенно отчетливо тот момент, когда получил письмо от Рюмеля — письмо, после которого сохранять хоть малейшую надежду было бессмысленно. Письмо передали ему вечером во дворе госпиталя под Верденом за несколько часов до выступления его дивизии на Эпарж. Он ждал этого известия; но в ночной суматохе ему некогда было предаваться горю. А также и в последующие две недели: постоянные переезды с места на место по грязи, под дождем, хлопоты по устройству госпиталя в разрушенных деревушках Вевры, изнурительная работа не оставляли времени для личных переживаний. Позже в минуту затишья, когда он перечел письмо Рюмеля и написал ответ, он обнаружил, что уже привык к мысли о смерти Жака, хотя думал о ней не часто. Но сейчас, когда он вновь оказался в атмосфере семьи, запоздалая печаль овладела им: невозвратимость утраты сжимала сердце небывалой болью. Даже здесь, в этом саду, каждый уголок аллеи напоминал их детские игры, совместную жизнь. Мальчики,— правда, Антуан был много старше,— любили прыгать через этот белый забор, вместе валялись такими же ясными майскими днями в высокой некошеной траве; вместе переворачивали прутиком жучков, которые ютились среди мшистых корней лип и которых они называли в детстве «солдатиками», потому что у них были плоские ярко-красные спинки со смешными черными точечками. Вместе под вечер, в такие же дни, как сегодня, они бегали вдоль этих заборов и живых изгородей, срывая на бегу гроздья калины или сирени, ездили по этим дорожкам на велосипеде, привязав к рулю купальный костюм или теннисную ракетку. А глядя на ворота под сенью акаций, он вспоминал тот год, когда еще мальчишкой ходил на каникулах к репетитору, преподавателю лицея, тоже отдыхавшему в Мезоне. Часто осенью в сентябрьские сумерки Мадемуазель и Жак выходили к этим воротам, чтобы ему не идти одному через парк. И он живо представил себе Жака, трехлетнего малыша, который, завидев брата, вырывался от Мадемуазель, бежал к нему, забирался на руки и рассказывал, картавя и захлебываясь, все, что он делал сегодня...

Погруженный в воспоминания, Антуан добрел до дома. Когда он отворил калитку, когда увидел, входя в сад, как Жан-Поль, бросив руку дяди Дана, бежит к нему навстречу, он не мог отделаться от мысли, что это бежит к нему Жак, рыжеволосый, быстрый и точный в движениях. Скрывая свое волнение, он схватил мальчика на руки, как некогда брал Жака, и хотел поцеловать. Но Жан-Поль, не переносивший никакого принуждения, даже в ласках, начал так яростно отбиваться и болтать ногами, что Антуан, запыхавшийся и смеющийся, вынужден был опустить его на землю.

Даниэль, заложив руки в карманы, молча наблюдал эту сцену.

— Крепкий мальчик,— сказал Антуан с чувством почти отцовской гордости.— Как он здорово вырывается! Будто рыба с крючка!

Даниэль улыбнулся, и в этой улыбке чувствовалась та же гордость, что и у Антуана.

Он показал на сияющее майское небо.

— Прекрасный денек, правда?.. Вот и еще одно лето...

Антуан, слегка уставший после возни с Жан-Полем, присел на траву у края аллеи.

— Вы не побудете здесь немного? — спросил Даниэль.— А то я уже давно стою, мне хочется пойти полежать, пусть нога отдохнет... Хотите, я оставлю вам малыша?

— Конечно.

Даниэль повернулся к ребенку:

— Ты придешь попозже вместе с дядей Антуаном. Ты будешь умником?

Жан-Поль, не отвечая, нагнул голову. Он взглянул исподлобья на Антуана, проводил задумчивым взглядом Даниэля и, казалось, хотел было побежать за ним, но внимание его привлек майский жук, и он, забыв о дяде Дане, присел возле упавшего на спинку жука и стал следить, как тот старается перевернуться.

«Лучший способ приручить его — это сделать вид, что не обращаешь на него никакого внимания»,— подумал Антуан.

Вспомнив одну из любимых игр Жака, он поднял с земли толстый кусок сосновой коры, вытащил из кармана нож и, не говоря ни слова, начал вырезать лодочку.

Жан-Поль, исподтишка следивший за его движениями, пододвинулся поближе:

— Чей это нож?

— Мой... Дядя Антуан солдат, ему нужен нож: резать хлеб, резать мясо...

Но это не интересовало Жан-Поля:

— А что ты делаешь?

— Посмотри сам... Разве не видишь? Делаю лодочку. Делаю тебе лодочку. Когда мама будет тебя купать, ты пустишь эту лодочку в ванну, и она будет плавать и не потонет.

Жан-Поль молча слушал, наморщив лоб. Он раздумывал над чем-то. Что-то было не по нем: ему, должно быть, был неприятен слабый, охрипший голос Антуана.

Он как будто ничего не понял из объяснений дяди. Может быть, он никогда не видел лодки?.. Он громко вздохнул и, откликаясь только на одну из фраз Антуана, потому что эта фраза возмутила его своей вопиющей неточностью, поправил:

— А меня не мама купает, а дядя Дан!

Потом, нисколько не пленившись искусной работой Антуана, вернулся к своему жуку.

Не желая настаивать, Антуан бросил лодочку и положил возле себя нож.

Через минуту Жан-Поль опять подошел к нему, Антуан попытался снова установить дружеские отношения:

— А что ты делал сегодня? Гулял в саду с дядей Даном?

Жан-Поль подумал немного, как бы припоминая, так ли это было на самом деле, и утвердительно кивнул головой.

— А ты себя хорошо вел?

Жан-Поль снова утвердительно кивнул головой. Но тут же подошел к Антуану и серьезно объявил:

— Я не совсем уве-лен!

Антуан невольно улыбнулся:

— Как! Значит, ты не знаешь, хорошо ли ты себя вел?

— Нет, холошо! — закричал гневно Жан-Поль. Потом, как бы вновь подчиняясь голосу совести, смешно наморщил носик и повторил, выделяя каждый слог: — Но я не совсем увелен.

Он зашел за спину Антуана, делая вид, что уходит прочь, и вдруг, быстро нагнувшись, хотел потихоньку схватить лежавший на земле нож.

— Нет, нельзя! — проворчал Антуан, прикрывая нож рукой.

Жан-Поль не отступил и бросил на Антуана гневный взгляд.

— С этим не играют! Ты обрежешься,— добавил Антуан. Он сложил нож и сунул его в карман. Мальчик с вызывающей и обиженной рожицей продолжал стоять возле Антуана в позе боевого петуха. Желая положить конец ссоре, Антуан миролюбиво протянул ему руку. Синие глаза мальчика загорелись внезапным блеском и, схватив протянутую руку, как будто желая ее поцеловать, он вцепился в нее зубенками.

— Ай! — вскрикнул Антуан. Он был так удивлен, так растерян, что даже не подумал рассердиться.

— Жан-Поль нехороший,— сказал он, рассматривая укушенный палец.— Жан-Поль сделал дяде Антуану больно.

Мальчик взглянул на него с любопытством.

— Очень больно.

— Очень больно! — повторил Жан-Поль с явным удовольствием. И, круто повернувшись на пятках, вприпрыжку бросился прочь.

Этот случай поставил Антуана в тупик. «Простая потребность отомстить? Нет... Что ж тогда? В таком поступке может быть все, что угодно... Возможно, видя мой отпор, видя, что ему со мной не справиться, он почувствовал так остро свою беспомощность, что не мог сдержаться... Быть может, он укусил меня не для того, чтобы причинить мне боль и меня наказать. Быть может, он повиновался просто непреодолимой физической потребности разрядить свое нервное напряжение... Впрочем, чтобы судить о подобных реакциях, пришлось бы прежде всего измерить степень желания. Желание схватить нож могло быть настолько повелительным, что взрослому этого даже не понять!

Он украдкой взглянул на Жан-Поля, ему хотелось убедиться, что он здесь. Отойдя метров на десять, мальчик пытался вскарабкаться на холмик, не обращая никакого внимания на Антуана.

«Конечно, и Жак тоже был способен на такие порывы злобы,— подумал Антуан.— Но стал ли бы он кусаться?»

Ему хотелось разобраться в этом вопросе. Он обратился к воспоминаниям. Он не мог не отожествлять настоящее с прошлым, сына с отцом. Не мог не видеть в глазах Жан-Поля зарождения тех чувств, которые десятки раз подмечал в глазах Жака: бунт, обиду, вызов, одинокую и сосредоточенную гордыню. Аналогия показалась ему столь разительной, что он сразу же попробовал углубить ее, даже решил, что в ребячьем бунте сказались подавляемые хорошие свойства: цельность, чистота, неразделенная нежность — все то, что у Жака до конца жизни скрывалось за необузданностью, горячностью.

Боясь простудиться, он хотел встать, но вдруг внимание его привлекли странные акробатические упражнения мальчика: Жан-Поль пробовал взять штурмом холмик примерно двух метров высоты; слева и справа холмик спускался к земле пологими скатами, взобраться по которым не представляло особого труда; посредине он подымался круто, но именно по этому склону и пытался влезть Жан-Поль. Несколько раз он с разбегу добирался до половины холма, но соскальзывал и скатывался вниз. Сильно ушибиться он не мог,— склон был покрыт мягким слоем сосновых игл. Малыш был поглощен своим занятием: на всем свете существовали только он и этот холм, на который он решил взобраться.

С каждым разом он взбирался все выше и с каждым разом скатывался с все большей высоты. Он тер ушибленные коленки и лез снова.

«Энергия у него наша: настоящий Тибо,— подумал удовлетворенно Антуан.— У нашего отца властность, желание господствовать... У Жака буйство, мятежный дух... У меня упорство. А здесь? Во что выльется та сила, которую носит в своей крови этот ребенок?»

Жан-Поль снова бросился на штурм с такой яростной отвагой, что почти добрался до вершины. Однако песок осыпался у него под ногами, и казалось, он опять скатится вниз... Но, нет! Ухватившись за кустик травы, он каким-то чудом удержался, подтянулся на руках и взобрался на верхушку холма.

«Держу пари, что он сейчас оглянется, посмотрит, слежу ли я».

Антуан ошибся. Мальчик повернулся к нему спиной и, очевидно, совсем забыл о нем. С минуту он постоял на верхушке холма, крепко упираясь в землю маленькими ножками. Потом счел, по-видимому, себя удовлетворенным и спокойно спустился вниз по отлогой стороне, даже не оглянувшись на завоеванный холм, прислонился к дереву, снял сандалию, вытряхнул из нее камешки, а потом снова аккуратно обулся. Но он знал, что не сможет сам застегнуть пряжку, поэтому подошел к Антуану и молча протянул ногу. Антуан улыбнулся и покорно застегнул сандалию.

— А сейчас мы с тобой пойдем домой. Ладно?

— Нет.

«Он как-то особенно, по-своему, говорит «нет»,— подумал Антуан.— Женни права. Это, пожалуй, действительно не простое нежелание выполнить то или другое требование взрослых, а отказ вообще, преднамеренный... Нежелание поступиться хотя бы крупицей своей независимости во имя чего бы то ни было!»

Антуан поднялся.

— Пойдем, Жан-Поль, будь умницей. Дядя Дан нас ждет. Идем!

— Нет!

— Ты же должен показать мне дорогу,— продолжал Антуан, желая смягчить положение (он чувствовал себя довольно нелепо в роли гувернера).— А по какой аллее нам идти? По этой? Или по этой? — Он хотел было взять мальчика за руку. Но Жан-Поль уперся ногами в землю, а руки заложил за спину.

— Я сказай — не пойду!

— Хорошо,— ответил Антуан.— Ты хочешь остаться здесь один? Оставайся! — И с безразличным видом направился к дому, розовая штукатурка которого пламенела в предзакатных лучах между стволами деревьев.

Не успел он сделать и тридцати шагов, как услышал за собой топот, Жан-Поль догонял его. Антуан решил заговорить с ним как можно веселее, как будто между ними ничего не произошло. Но мальчик обогнал его и, не останавливаясь, дерзко крикнул на ходу:

— А я домой! Потому сьто я сам хоцу!

XII

Ужины на даче проходили оживленно благодаря присутствию весело болтавших Жиз и Николь. Довольные, что трудовой день окончился, а может быть, и тем, что здесь они были далеко от заботливого, но слишком бдительного ока г-жи де Фонтанен, они вспоминали дневные происшествия, делились впечатлениями о вновь прибывших раненых, с пылом юных пансионерок в мельчайших подробностях рассказывали о своих занятиях.

Хотя Антуан немного устал к вечеру, он с удовольствием слушал, как они с серьезным видом обсуждали различные методы лечения, одобряли или порицали врачей, старательно употребляя специальные медицинские термины. Несколько раз они обращались к его авторитету, и он, улыбаясь, высказывал свое мнение.

Женни почти не вмешивалась в разговор: она возилась с Жан-Полем, который обедал за общим столом. Даниэль, по обыкновению, был молчалив (особенно в присутствии Женни и Николь) и только раза два заговаривал с Антуаном.

Николь принесла с собой вечернюю газету. Там сообщалось о многочасовых обстрелах Парижа. Пострадало много зданий в Шестом и Седьмом округах. Насчитывалось пять убитых, в том числе три женщины и грудной ребенок. Гибель этого младенца вызвала в союзной прессе единодушный взрыв негодования против тевтонского варварства.

Николь с возмущением спрашивала, как мыслима подобная жестокость.

— Эти боши! — вскричала она.— Они воюют, как дикари! Мало им огнеметов и удушливых газов! Подводных лодок! Но убивать ни в чем не повинное гражданское население! Это уже выше человеческого понимания! Это чудовищно! Для этого нужно окончательно потерять всякое нравственное чувство, всякую человечность!

— Убийство ни в чем не повинного гражданского населения кажется вам, очевидно, значительно более бесчеловечным, более аморальным, более чудовищным, чем уничтожение тысяч и тысяч молодых людей, которых посылают на передовую? — язвительно спросил Антуан.

Николь и Жиз растерянно переглянулись.

Даниэль отложил в сторону вилку. Он молчал, опустив глаза.

— Будем последовательны,— продолжал Антуан.— Упорядочивать войну, пытаться ее ограничить, организовать (*гуманизировать,* как теперь говорится), безапелляционно заявлять: «То-то и то-то варварство! То-то и то-то аморально!» — значит, предполагать, что существует какой-то иной способ ведения войны... Какой-то вполне цивилизованный способ. Вполне моральный!

Он замолк и взглянул на Женни, желая проверить, какое впечатление произвели на нее эти слова. Но она стояла, склонившись над Жан-Полем, и поила его молоком.

— Тот или иной способ убивать может быть более или менее жестоким,— продолжал он,— может применяться чаще одной стороной, чем другой, но разве в этом чудовищность войны?

Женни поставила на стол чашку таким резким движением, что чуть не опрокинула ее.

— Чудовищно другое,— сказала она, стискивая зубы.— Чудовищна пассивность народов! Ведь их миллионы! Они — сила! Всякая война зависит только от их согласия или от их отказа! Чего же они ждут? Им достаточно было сказать «нет!» — и мир, которого они требуют, тотчас же стал бы реальностью.

Даниэль медленно поднял веки и кинул на Женни короткий, загадочный взгляд.

Воцарилось молчание.

Антуан не спеша закончил свою мысль:

— Чудовищно не то или другое, чудовищна сама война!

Несколько минут никто не решался заговорить.

«Люди требуют мира,— повторял про себя Антуан слова Женни.— Так ли это?.. Они требуют его, когда он уже нарушен. Но когда войны нет, их нетерпимость, их воинственные инстинкты делают мир непрочным... Возлагать ответственность за войну на правительства и на политиков — это, конечно, разумно. Но не надо забывать, говоря об ответственности, и человеческую природу... В основе всякого пацифизма лежит следующий постулат: вера в нравственный прогресс человека. Я лично верю в это, или, иными словами, чувством мне необходимо верить в это; я не могу принять мысль, будто человеческое сознание не способно совершенствоваться, и совершенствоваться бесконечно. Я должен верить, что человечество сумеет когда-нибудь утвердить порядок и братство во всей планете... Но для того, чтобы произвести эту революцию, недостаточно доброй воли или мученичества отдельных мудрецов. Нужны века, быть может, тысячелетия эволюции... (Чего подлинно великого можно ожидать от человека двадцатого столетия?) И вот, как бы я ни старался, это прекрасное будущее

не может утешить меня в том, что мне приходится жить среди хищников современного мира».

Антуан заметил вдруг, что все за столом молчат. Атмосфера стала напряженной, предгрозовой. Он пожалел, что вызвал эту внезапную бурю, и решил переменить разговор.

Он повернулся к Даниэлю:

— А как ваш друг, помните, такой странный тип... Кажется, пастор, да вы знаете... Что с ним?

— Пастор Грегори?

При этом имени глаза всех присутствующих загорелись лукавым огоньком.

Николь сказала нарочито грустным голосом, который никак не вязался с веселым выражением ее лица:

— Тетя Тереза так беспокоится о нем: с самой пасхи он в санатории в Аркашоне...

— Судя по последним письмам, он плох, даже, кажется, не встает с постели,— добавил Даниэль.

Женни заметила, что пастор находился на фронте с первого дня войны.

Потом разговор снова оборвался.

Чтобы прервать молчание, Антуан спросил:

— Он пошел добровольцем?

— Во всяком случае,— уточнил Даниэль,— он рвался туда всеми силами. Но не подходил ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. Тогда он вступил в американский санитарный отряд. Он пробыл на английском фронте самое ужасное время, зиму семнадцатого года... Переносил раненых... Не вылезал из бронхитов. Начал харкать кровью. Пришлось его эвакуировать чуть ли не силой. Но было слишком поздно.

— Последний раз мы видели его в шестнадцатом году, он приезжал к нам во время отпуска,— сказала Женни.

— Уже тогда он был неузнаваем...— вставила Николь.— Прямо привидение. Длинная борода, как у Толстого... Или как у волшебника из сказки!

— И он по-прежнему отказывался применять лекарства? И пользовал больных только заклинаниями? — насмешливо спросил Антуан.

Николь расхохоталась:

— Да, да... Держал по этому поводу безумные речи. Он целых два года перевозил умирающих на маленькой санитарной машине, что не мешало ему преспокойно твердить: смерти не существует.

— Николь! — окликнула ее Жиз. Она страдала оттого, что Николь высмеивала пастора в присутствии Антуана.

— Впрочем, он и слово «смерть» никогда не произносит,— продолжала Николь.— Он говорит *«иллюзия смерти»*...

— А в последнем письме к маме,— подхватил, улыбаясь, Даниэль,— он написал удивительную фразу: «Скоро мое существование будет продолжаться *в полях невидимых»*.

Жиз с упреком взглянула на Антуана:

— Не смейся, Антуан... Пусть он смешной, все-таки это святой человек...

— Ну что ж, может быть, он и святой,— согласился Антуан.— Но каково было несчастным *томми,* которые попадали в его святые лапы. Никому не пожелаю такого санитара!

Обед пришел к концу.

Женни сняла Жан-Поля со стульчика и встала сама. Остальные последовали ее примеру и перешли в гостиную. Но Женни не осталась с ними: было уже поздно, и она торопилась уложить сына.

Жиз устроилась в глубине комнаты на низеньком стульчике и начала молча вязать; отбывавшим из госпиталя на фронт солдатам она вручала, как подорожную, пару носков собственной вязки. Даниэль взял с рояля комплект «Вокруг света» и уселся на диване за круглый стол, на котором горела керосиновая лампа, единственная в комнате.

«Что это он, нарочно? — думал Антуан, глядя, как Даниэль, склонившись над книгой, прилежно, словно пай-мальчик, переворачивает страницы.— Или в самом деле увлекается этими старыми картинками?»

Стоя на коленях перед камином, Николь разжигала огонь. Антуан подошел к ней.

— Давно я не видел, как горят дрова...

— Вечерами еще свежо, а потом так веселее! — Она поднялась.— Помните, здесь, в Мезоне, мы с вами встретились в первый раз. Я помню так ясно. А вы?

— И я тоже.

И он вправду помнил далекий летний вечер, когда, уступив настояниям Жака и тайком от г-на Тибо, согласился пойти с братом к «гугенотам». Вспомнил, как удивился, встретив там Феликса Эке, хирурга, который был старше его на несколько лет; вспомнил Женни и Николь в аллее роз; Жака, только что поступившего в Эколь Нормаль; сам он был тогда молодым врачом, и одна только г-жа де Фонтанен церемонно называла его «доктор»... Какие все они были молодые! Как верили в свою молодость и в жизнь, не ведая, что готовит им будущее, ни на минуту не подозревая о близкой катастрофе, которую им подготовляли государственные деятели Европы и которая одним махом смела их маленькие личные планы, оборвала жизнь одних, перевернула жизнь других, внесла в суще-

ствование каждого горе, траур, развалины, взбаламутила мир на долгие, долгие годы.

— Тогда Феликс начал ухаживать за мной,— мечтательно продолжала Николь. В этих словах прозвучала неподдельная грусть.— Он отвез меня на своем автомобиле... На обратном пути мотор сломался, и мы всю ночь просидели в Сартрувиле...

Даниэль медленно поднял глаза и, не поворачивая головы, бросил исподтишка на Николь беглый взгляд, который, однако, не укрылся от Антуана. Слышал ли он их разговор? Может быть, образ прошлого взволновал его, огорчил? Или, возможно, эта болтовня просто ему надоела? Даниэль снова взялся за чтение. Но через минуту зевнул, закрыл книгу и не спеша попрощался со всеми.

Жиз отложила в сторону вязанье:

— Вы идете к себе, Даниэль?

В полумраке ее волосы казались еще пушистее, лицо смуглее, белки глаз блестели ярче. Скорчившаяся на низеньком стульчике, освещенная пламенем очага, Жиз вызывала в памяти образ далекой страны ее предков — Африки. Силуэт туземной женщины, сидящей на корточках перед костром в пустыне.

Она встала:

— Ваша лампа в коридоре. Пойдемте, я зажгу!..

Они вместе вышли из гостиной. Антуан машинально проводил их взглядом, потом обернулся к Николь, которая, стоя у камина, пристально глядела на него. Они были одни. Николь улыбнулась странной улыбкой.

— Даниэлю следовало бы жениться на ней,— произнесла она вполголоса.

— Что?

— Ну да! Это будет чудесно, разве нет?

Мысль была столь неожиданна для Антуана, что некоторое время он молчал, нахмурив брови, уставившись в угол. Николь расхохоталась звонким воркующим смешком:

— Вот уж не думала, что это вас так поразит! — Она пододвинула кресло к огню и уселась, положив ногу на ногу в небрежной, даже слегка вызывающей позе. И стала молча разглядывать Антуана.

Антуан сел рядом.

— Вам кажется, что между ними что-то есть?

— Я этого не говорю,— живо произнесла она.— Во всяком случае, сам Даниэль об этом никогда не думал.

— А Жиз и того меньше,— вырвалось у него.

— Жиз и того меньше, вы правы. Но она явно интересуется им. Она выполняет все его поручения в городе, покупает ему

газеты, *chewing-gum* [1]. Окружает его тысячью забот, которые он принимает, впрочем, с видимым удовольствием. Вы, очевидно, не заметили, что только на нее одну его дурное настроение не распространяется?

Антуан молчал. Мысль о возможности замужества Жиз сначала неприятно поразила его: он еще не совсем забыл прошлое,— то место, которое она, правда недолго, занимала в его жизни.

Но, поразмыслив немного, решил, что никаких препятствий к этому браку нет.

Николь потихоньку смеялась, и на щеках у нее образовались две ямочки. Однако в веселости ее чувствовалось что-то нарочитое, неестественное. «Уж не влюблена ли она сама в своего кузена?» — подумал Антуан.

— Ну согласитесь же, доктор, что моя мысль вовсе не так нелепа,— продолжала настаивать Николь.— Жиз посвятит ему всю свою жизнь; преданность именно такой девушки, как она, может скрасить его существование... А Даниэль...— Николь медленно откинула голову назад, золотистые косы коснулись спинки кресла, и между влажными губами мелькнула полоска белых зубов. Она посмотрела на Антуана, плутовато прищурившись.— А Даниэль принадлежит к тем мужчинам, которые охотно позволяют себя любить...— У нее вырвался еле уловимый жест досады. За перегородкой заскрипели ступеньки старой, рассохшейся лестницы.— Вроде моего тифозного, около которого я дежурила прошлую ночь! — воскликнула она, меняя тему разговора с явно неестественной быстротой и лукавством, которые заставляли призадуматься.— Уже пожилой человек, призыва девяносто второго года.— В комнату вошли Женни и Жиз, и Николь затараторила еще быстрее: — Когда он бредит, слов понять нельзя. Должно быть, потому что он из Савойи. Каждую минуту он зовет: «Мама!» — каким-то детским голосом. Прямо ужасно!

— Да,— сказал Антуан и почувствовал глупую гордость оттого, что сумел так ловко попасть ей в тон.— У меня тоже бывали подобные случаи. Но не заблуждайтесь: это, к счастью, бессознательная жалоба, инстинктивно возникающая из прошлого... Многие умирающие кричат «мама!», но мало кто из них действительно думает в это время о своей матери.

Женни принесла с собой коричневую шерсть, намереваясь смотать ее в клубок.

— Кто мне будет помогать сегодня? Ты, Николь?

— Я просто засыпаю,— призналась Николь, лениво улыбаясь. Она взглянула на часы.— Уже около десяти.

---

[1] Жевательную резину *(англ.)*.

— Давай я,— предложила Жиз.

Женни отрицательно покачала головой:

— Нет, дорогая, ты тоже устала. Иди ложись.

Поцеловав Женни, Николь подошла к Антуану.

— Извините меня, мы уходим в госпиталь в семь часов, я всю ночь не спала.

Жиз тоже подошла проститься. У нее щемило сердце при мысли, что Антуан уезжает завтра, и что они до отъезда так и не успеют побыть наедине, и не будет больше той близости, которая установилась между ними в Париже. Но, боясь расплакаться, она ничего не сказала о своих чувствах и молча подставила для поцелуя лоб.

— Прощай, Негритяночка,— прошептал он нежно.

Жиз поняла, что он угадал ее мысли, что он тоже мучительно переживает их разлуку; и от этого разлука показалась ей вдруг не такой ужасной.

Стараясь не глядеть на Антуана, она вышла из комнаты вместе с Николь.

«Странно, что она не попрощалась с Женни»,— подумал Антуан. Но не успел он решить, что же произошло между ними, как Женни быстро подбежала к дверям, остановила на пороге Жиз, положив ей руку на плечо.

— Боюсь, что я не так укрыла маленького. Закутай ему чем-нибудь ножки, хорошо?

— Розовым одеялом?

— Нет, белым, оно теплее.

И они расстались, опять не попрощавшись.

Антуан стоял посреди комнаты.

— А вы, Женни, разве не идете спать? Не оставайтесь ради меня, пожалуйста!

— Мне не хочется спать,— заявила она, опускаясь в кресло.

— Тогда будем работать. Я постараюсь заменить Жиз. Давайте моток.

— Ни за что на свете!

— Почему же? Разве это так трудно?

Он взял шерсть и сел возле нее на низеньком стульчике. Женни с улыбкой повиновалась...

— Вот видите,— сказал он, сделав несколько неверных движений,— теперь у нас дело пошло на лад.

Женни была удивлена и восхищена тем, что Антуан оказался таким простым, таким сердечным. И ей стало стыдно, что она знавшая его так давно, раньше не замечала этих черт. Разве сейчас он не единственная верная ее опора? Антуан так сильно закашлялся, что отложил в сторону моток. «Только бы он выздоро-

вел,— подумала она,— только бы он был здоров, как прежде!» Ради ее сына нужно было, чтобы Антуан выздоровел.

Когда приступ кашля прошел, он, снова берясь за работу, сказал без предисловий:

— Знаете что, Женни? Мне страшно приятно видеть вас такой. Я хочу сказать... такой стойкой... такой спокойной...

Не подымая глаз от клубка, она задумчиво повторила:

— Спокойной...

И все же это была правда. Женни сама иной раз удивлялась, какой умиротворенностью было проникнуто ее горе. Обдумывая слова Антуана, она сравнивала теперешнее свое состояние с той полосой смятения, жестокой пустоты, через которую она прошла три с половиной года тому назад. Вспомнила, как в начале войны, не получая никаких известий от Жака и предчувствуя самое страшное, она то бурно предавалась отчаянию, то смирялась, страдая от бесконечного одиночества, но еще больше от присутствия людей, убегала от матери, из дома, будто в поисках чего-то жизненно ей необходимого, что ускользало, ускользало от нее, хотя, казалось, стоило протянуть руку — и оно уже здесь; иногда целыми вечерами она бродила по улицам преображенного мобилизацией Парижа и с упорством пилигрима вновь и вновь возвращалась в те места, по которым водил ее Жак: к Восточному вокзалу, к скверу у церкви св. Венсан де Поля, на улицу Круассан, в кафе возле Биржи, где она так часто поджидала его, сворачивала на узкие улочки Монружа, заглядывала там в зал для собраний, где однажды Жак поднял против войны негодующую толпу. Наконец усталость, ночь приводили ее, обессиленную, домой. Не сдерживая стона, она бросалась на ту самую кровать, где Жак держал ее в объятиях, засыпала на несколько часов и, просыпаясь, встречала новый день, еще один день печали... Конечно, по сравнению с тем временем теперешняя ее жизнь была бесконечно «спокойна». За эти три года все изменилось вокруг нее, в ней самой. Все — и даже образ Жака, который она хранила в сердце своем... Удивительно, до чего самая пылкая любовь бессильна против работы времени! Когда Женни думала о Жаке, она никогда не представляла его таким, каким бы мог он стать теперь; ни даже таким, каким он был в июле четырнадцатого года. В ее сознании возникал не прежний Жак, юный, горячий, вечно меняющийся... Она видела образ другого Жака, застывшего, недвижимого. Жака, который сидит, чуть повернувшись к ней; упершись рукой в бедро, а яркий отблеск света, падающего через широкие окна студии, лежит у него на лбу. Того, что изображен на портрете, денно и нощно бывшем у нее перед глазами.

И вдруг она поняла и ужаснулась. Она представила себе, что Жак неожиданно возвращается; и странное дело — почувствовала не только радость, но и смятение. Не стоило лгать себе. Если бы Жак четырнадцатого года был внезапно возвращен ей, явился каким-то чудом перед сегодняшней Женни, то, пожалуй, место, которое она свято хранила для него в душе,— верила, что хранит,— она не смогла бы вернуть ему неприкосновенным.

Женни подняла на Антуана взгляд, полный отчаяния. Но он ничего не заметил. Широко расставив руки, сжав кулаки, он старался натянуть моток как можно туже. Следя за сматываемой ниткой, он мерно подавался то вправо, то влево, буквально не смея отвести глаз от мотка. Он чувствовал себя немного смешным. До боли сводило плечи. Он упрекал себя за то, что необдуманно предложил свои услуги; а теперь от долгого сидения с поднятыми руками на низеньком стульчике с минуту на минуту усиливалась одышка; он знал, что ему вредно быть так близко от огня и что, раздеваясь у себя в холодной комнате, он обязательно простудится...

Женни хотелось снова поговорить с ним о себе, о Жаке, о мальчике,— как нынче утром в спальне. Эти минуты необычной для нее откровенности были так сладостны, что она не переставала ощущать их целый день. Но вот опять она почувствовала себя скованной. В этом-то и заключалась ее внутренняя драма — в этой неспособности к общению, в том, что она была обречена на вечную отчужденность. Самому Жаку не смогла бы она открыться вся, без недомолвок. Сколько раз упрекал он ее за то, что она «непроницаема». Эти воспоминания жгли ее, владели ею с прежней силой. Сумеет ли она подойти к своему сыну, когда он вырастет? Не оттолкнет ли его от себя, сама того не желая, своей сдержанностью, своей кажущейся холодностью?

Бой часов заставил их обоих одновременно поднять голову, и вдруг они поняли, что молчат уже несколько минут.

Женни улыбнулась.

— Знаете, остальные мотки придется оставить на завтра. Кончим только этот. Надо идти.— И, быстрым движением сматывая начатый клубок, она объяснила: — Не то Жиз заснет, и я ее разбужу... А она очень нуждается в отдыхе...

Антуан вспомнил две одинаковые постели и понял, почему Жиз не попрощалась с Женни на ночь. Они жили в одной комнате. Обе они спали под портретом Жака, рядом с детской кроваткой. И, представив мрачное детство, которое провела Жиз в доме г-на Тибо, он почувствовал радость: «Бедняжка Жиз нашла себе наконец семью». Слова Николь пришли ему на память. Выйдет ли она за Даниэля? Он, сам не зная почему, не верил в это. Впрочем,

она может быть счастлива и без замужества. Может найти смысл жизни и радость жизни в близости Женни и Жан-Поля. Этим двум существам, в которых для нее оживал Жак, она отдаст всю свою нерастраченную нежность, свою преданность верного пса. А с годами еще больше станет походить на мулатку, темнокожая, с седыми волосами, станет старенькой и доброй «тетей Жи»...

Закончив мотать клубок, Женни поднялась, уложила шерсть в ящик, засыпала тлеющие поленья золой и взяла со стола большую керосиновую лампу.

— Дайте я снесу,— сказал Антуан не особенно уверенным тоном.

Он так хрипло и прерывисто дышал, что Женни решила избавить его от хлопот.

— Нет, благодарю. Я ведь привыкла. Я всегда ложусь последней.

У дверей она остановилась и, высоко подняв лампу, оглядела комнату, желая удостовериться, все ли в порядке. Медленно скользнув взглядом по старой гостиной, она повернулась к Антуану.

— Нет, я не хочу воспитывать его среди этой обстановки,— сказала она решительно.— Как только кончится война, я переменю жизнь. Уеду отсюда.

— Уедете?

— Я хочу покинуть все это,— повторила она твердо и убежденно.— Хочу уехать отсюда.

— Но куда? — Вдруг ему показалось, что он догадался.— В Швейцарию?

Женни ответила не сразу.

— Нет,— произнесла она наконец.— Об этом я, разумеется, думала. Но после Октябрьской революции все, кто были настоящими друзьями Жака, уехали оттуда в Россию... Одно время я сама подумывала о России... Но я решила, что Жан-Поль должен воспитываться во Франции. Я останусь во Франции, но уеду от мамы, уеду от Даниэля. Устрою жизнь по-своему. Быть может, где-нибудь в провинции. Все равно где, мы поселимся вместе с Жиз. Будем работать. И воспитаем маленького таким, каким он должен быть, каким хотел бы видеть его Жак.

— Женни,— взволнованно сказал Антуан,— надеюсь, что к тому времени я снова смогу работать, и моим долгом будет...

Она отрицательно покачала головой.

— Спасибо. От вас, в случае необходимости, я, не колеблясь, приняла бы помощь. Но я хочу сама зарабатывать. Я хочу, чтобы мать Жан-Поля была независимой женщиной, женщиной, которая

своим собственным трудом завоюет себе право самостоятельно мыслить и действовать так, как она считает нужным... Вы порицаете меня?

— Нет, нисколько.

Женни поблагодарила его взглядом. Она, очевидно, высказала все, что у нее было на душе, отворила дверь и стала первая подыматься по лестнице.

Она вошла вместе с Антуаном в отведенную ему комнату. Поставила на стол лампу, посмотрела, все ли приготовлено на ночь. Потом протянула ему руку.

— Я хочу признаться вам в одной вещи, Антуан.

— Слушаю,— сказал он как можно ласковее.

— Ну вот... Я не всегда относилась к вам так, как отношусь сейчас.

— И я тоже,— ответил он, улыбаясь.

Увидев эту улыбку, она нерешительно замолчала. Ее рука лежала в руке Антуана. Взгляд стал серьезным. Наконец она решилась:

— Но сейчас, когда я думаю о будущем мальчика... Вы понимаете... я чувствую себя увереннее, когда думаю, что вы будете с нами, что ребенок Жака вам не чужой. Я нуждаюсь в советах, Антуан... Я хочу, чтобы Жан-Поль унаследовал все качества своего отца, не имея...— Она не посмела кончить фразу. Но тотчас же гордо выпрямилась (Антуан почувствовал, как дрогнули в его руке тонкие пальцы Женни). И, подобно всаднику, властно посылающему на препятствие непокорного коня, она, передохнув, заставила себя продолжать: — Не думайте, Антуан, я не закрываю глаза на недостатки Жака.— Она снова замолчала, потом, как будто против своей воли, добавила, отводя глаза в сторону: — Но я забывала о них, когда он был со мной.— Ее ресницы затрепетали. Она не сумела найти нужных слов. И только спросила: — Вы утром позавтракаете с нами? Значит...— Она попыталась улыбнуться.— Значит, мы еще увидимся утром...— Высвободив свои пальцы из руки Антуана, она прошептала: — Спокойной ночи,— и ушла, не оборачиваясь.

XIII

— Доктор Тибо! — радостно доложил старый слуга.

Филип в ожидании Антуана что-то писал. Он легко поднялся с места и своей подпрыгивающей, развинченной походкой пошел навстречу Тибо, остановившемуся у порога. Прежде чем взять руку Антуана в свою, он бросил на него быстрый внимательный

взгляд, по привычке часто моргая живыми блестящими глазками. Голова его еле приметно тряслась. Он приветствовал гостя насмешливой улыбкой, которая помогала ему скрывать свои истинные чувства:

— Вы просто великолепны, друг мой, в небесно-голубом. Ну, что слышно?

«Как он постарел!» — подумал Антуан.

Филип сгорбился, и ноги, казалось, с трудом несли его длинное тощее тело. Лохматые брови, козлиная бородка окончательно побелели. Но в движениях, взгляде, улыбке чувствовалась юношеская живость, какая-то даже озадачивающая шаловливость, пожалуй, не совсем уместная для человека его лет. Филип носил старые, военного образца брюки, красные, с черными лампасами, и сильно выцветшую на отворотах куртку; и этот гибридный наряд достаточно точно символизировал его полугражданские, полувоенные функции. В конце 1914 года его назначили председателем комиссии по упорядочению санитарной службы армии, и с тех пор он неустанно боролся против недостатков системы, возмутительно скандальной в его глазах. Известность в медицинском мире обеспечивала ему полную независимость. Он восстал против официально установленных порядков, разоблачал злоупотребления, тормошил администрацию; и большинство удачных, хотя, к сожалению, запоздалых реформ, проведенных за эти три года в санитарной службе, во многом были результатом его мужественной и упорной борьбы.

Не выпуская из рук руки Антуана, Филип ласково тряс ее и, слегка причмокивая, бормотал:

— Ну, как?.. Ну, что?.. Сколько лет!.. Как дела? — Потом подтолкнул Антуана к письменному столу.— О стольком нужно поговорить, что прямо не знаешь, с чего начать...

Он усадил Антуана в кресло, которое предназначалось для пациентов, но сам не занял, как обычно, своего места за письменным столом, а взял стул, сел на него верхом и, придвинувшись к Антуану, начал пристально его разглядывать.

— Ну, друг мой! Поговорим о вас. В каком вы состоянии после этой истории с газами?

Антуан встревожился. Десятки раз ему приходилось видеть на лице доктора Филипа это напряженное внимание, эту профессиональную серьезность, но никогда еще они не были направлены на самого Антуана.

— Здорово меня потрепало, как на ваш взгляд?

— Немножко похудели! Но ничего страшного!

Филип снял пенсне, протер его, снова надел аккуратным движением, придвинулся к Антуану и сказал, улыбаясь:

— Ну, рассказывайте!

— Итак, Патрон, я принадлежу к тем, кого у нас почтительно именуют *тяжелоотравленными*, а это не очень-то весело.

Филип нетерпеливо шевельнулся на стуле.

— Ну, ну, ну... Начинать полагается с начала. Ваше первое ранение? Каковы его последствия?

— Последствия были бы ничтожны, если бы война для меня окончилась прошлым летом, до того, как я имел удовольствие познакомиться с ипритом... В конце концов, я и наглотался-то его не так уж много. И, по сути дела, вовсе не обязательно быть в таком состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Но слишком очевидно, что действие газа обострилось вследствие состояния правого легкого, которое после ранения потеряло свою нормальную эластичность.

Филип поморщился.

— Да,— задумчиво продолжал Антуан,— я задет серьезно, не следует строить иллюзий. Разумеется, я выкручусь, но для этого потребуется время. И...— Приступ кашля прервал его на несколько секунд.— И очень возможно, что я на весь оставшийся отрезок пути выбыл из строя.

— Вы обедаете у меня? — вдруг спросил Филип.

— Охотно, Патрон, но вы знаете, я на диете.

— Я уже распорядился, Дени подаст вам молоко... Итак, раз мы обедаем вместе, спешить некуда. Начинать полагается с начала. Как все это произошло? Я думал, что вы на тихом участке.

Антуан досадливо пожал плечами.

— Это-то и нелепо. В конце октября я мирно работал в Эперне, где мне поручили организовать — перст судьбы! — госпиталь для отравленных газами. Меня поразило, что в ходе последних операций на участке Шмен-де-Дам — мы тогда только что заняли Мальмезон, Парньи — среди отравленных газами, которых направляли ко мне, оказывалось большое количество санитаров и братьев милосердия. Это казалось странным. Я решил проверить, принимаются ли достаточные меры предосторожности против газов в санитарных пунктах и выполняет ли обслуживающий персонал наши указания. Я не поленился и проявил усердие. Корпусный врач был мне немного знаком. Я добился разрешения провести обследование на месте. И вот, возвращаясь из инспекционной поездки, я и попался... как дурак. Боши устроили сильную газовую атаку как раз в тот момент, когда я ехал обратно с передовой,— первая неудача. Вторая неудача — погода была сырая и теплая, несмотря на то, что дело происходило в октябре. А вы знаете, что сырая погода усиливает действие иприта вследствие образования кислоты.

— Дальше,— сказал Филип. Он уперся локтями в колени, положил подбородок на руки и продолжал внимательно присматриваться к Антуану.

— Я торопился возвратиться на командный пункт дивизии, где оставил свой автомобиль. Мне не хотелось идти ходами сообщения, которые были забиты подразделениями, только что прибывшими на смену, и я решил сократить путь. Было абсолютно темно. Минут двадцать я бродил по окопам, куда уже проник газ. Подробности опускаю...

— Что, у вас маски не было?

— Конечно, была. Но маска чужая... Должно быть, я ее неправильно надел. Или слишком поздно надел... У меня была только одна мысль — найти свой автомобиль... Когда же наконец я добрался до КП, я немедленно выехал... Гораздо разумнее было бы зайти в дивизионный госпиталь и прополоскать горло содой.

— Конечно, без всякого сомнения.

— Но я не подозревал, что отравлен. Только через час я почувствовал покалывание в горле и под мышками. Мы вернулись в Эперне среди ночи. Я тотчас же сделал смазывание колларголом и лег спать. Я все думал, что это пустяки. Но оказалось, что бронхиальный ствол задет сильнее, чем я предполагал... Смотрите, как все это нелепо получилось! Я предпринял поездку, чтобы проверить, принимаются ли необходимые меры предосторожности, а сам даже не потрудился соблюсти элементарные правила...

— Н-да,— заметил Филип. И так как ему очень хотелось показать, что он тоже в курсе дела, сказал: — А наутро — явления со стороны глаз, пищеварительного аппарата и так далее?..

— Ни то, ни другое. Наутро почти ничего. Только легкая эритема под мышками. Накожные явления в довольно доброкачественной форме. Никаких пузырей. Но в бронхах оказались глубокие поражения, что открылось только через несколько дней. Остальное вам понятно. Ларинготрахеит усиливается с каждым днем... Острый бронхит с образованием налетов — классические последствия заболевания. И так в течение полугода.

— А голосовые связки?

— В самом плачевном состоянии. Вы же слышите мой голос. А ведь сегодня я еще могу говорить, потому что целый день возился с горлом. Обычно же — полная афония.

— Воспалительное поражение голосовых связок?

— Нет.

— Нервное поражение?

— Тоже нет. Афония вызывается утолщением голосовых связок.

— Очевидно, оно и мешает вибрации. А вы принимали стрихнин?

— До шести и семи миллиграммов в день. Без всякой, впрочем, пользы. Но зато заработал отчаянную бессонницу.

— А вы с какого времени на юге?

— С начала года. Из Эперне меня послали сначала в госпиталь в Монморийон, потом в эту самую клинику Мускье около Грасса. Это было в конце декабря. Легкие, казалось, начали зарубцовываться. Но в Мускье у меня обнаружили склероз легких. Одышка очень быстро приняла мучительный характер. Без всякой видимой причины температура вдруг поднималась до тридцати девяти и пяти, до сорока, потом вдруг падала до тридцати семи и пяти. В феврале у меня был сухой плеврит с кровянистой мокротой.

— И температура перестала колебаться?

— Нет, не перестала.

— Чему вы это приписываете?

— Инфекции.

— Скрытой?

— Или хронической, кто знает.

Их взгляды встретились, глаза Антуана вопросительно блеснули. Филип положил руку ему на плечо.

— Нет, нет, Тибо. Если вы думаете, что у вас *то* самое, вы ошибаетесь. Легочный туберкулез, насколько я знаю, никогда в таких случаях не развивается. Вы должны знать это не хуже, чем я. Отравленный ипритом заболевает туберкулезом только в том случае, если у него *раньше*, до отравления газом, наблюдались симптомы этой болезни... А у вас, к счастью,— добавил он, подымаясь с места,— не было никаких патологических изменений со стороны дыхательного аппарата!

Он успокоительно улыбнулся. Антуан молча наблюдал за ним. Вдруг он поднял на своего учителя взволнованный, полный горячей признательности взгляд и тоже улыбнулся.

— Да, я знаю,— сказал он,— и это мое счастье!

— С другой стороны,— продолжал Филип; он как бы думал вслух,— отек легких, который часто бывает у отравленных удушливыми газами, чрезвычайно редко встречается у отравленных ипритом. Это тоже счастье... И, кроме того, легочные последствия, вызванные ипритом, встречаются реже и, по-видимому, менее серьезны, чем у отравленных другими газами. Не так ли? Я читал недавно интересную статью по этому вопросу.

— Ашара? — спросил Антуан и с сомнением покачал головой.— Обычно считается, что иприт, в отличие от удушливых газов, поражает мелкие бронхи чаще, чем альвеолы, и менее резко

нарушает газообмен. Но личный мой опыт и мои наблюдения над другими говорят, что это не совсем так. Дело, увы, в том, что легкие, отравленные ипритом, дают всевозможные вторичные заболевания, преимущественно весьма бурные и имеющие тенденцию превращаться в хронические. И я даже довольно часто наблюдал случаи, когда у отравленных ипритом внутриальвеолярный и в то же время пристеночный склероз приводил к блокаде легких.

Оба помолчали.

— А сердце? — спросил Филип.

— Пока еще сносно. Но надолго ли? Было бы нелепо думать, что сердце может не сдать, если ему в течение долгих месяцев приходится быть центром сопротивления отравленного газами и истощенного организма. Я не уверен даже, что отравление не распространилось на сердечную мышцу и нервные узлы. Последние недели я заметил кое-какие признаки сердечно-сосудистого расстройства...

— Заметили? Какие же?

— Я не успел еще сделать просвечивание; а аускультация не показывает ничего, по крайней мере, так говорят врачи. Но верно ли это?.. Есть и другой способ исследования: пульс и кровяное давление. Хотя при температуре не выше тридцати восьми и пяти или тридцати девяти я наблюдал еще на прошлой неделе необычное ускорение пульса, так, примерно, от ста двадцати до ста тридцати пяти. И я не удивился бы, если бы оказалось, что эта тахикардия есть начало отека легких... А вы?

Филип избежал прямого ответа.

— А почему вы не облегчаете работу сердца повторными кровесосными банками? Или, в случае надобности, не прибегнете к небольшим кровопусканиям?

Казалось, Антуан не слышит этого вопроса. Он внимательно глядел на своего старого учителя. Филип улыбнулся и вытащил из жилетного кармана массивные золотые часы с двойной крышкой, так хорошо знакомые Антуану; подавшись вперед (как будто он просто уступал почти маниакальной привычке, а не настоящему интересу к больному), он нащупал пальцами пульс Антуана.

Прошла томительная минута. Филип сидел молча, не отрывая глаз от стрелки. И вдруг Антуан почувствовал удар в сердце: сосредоточенное загадочное лицо Филипа вызвало в нем внезапное воспоминание, очень яркое, но уже давно забытое. Как-то в клинике — было это в самом начале его работы с Филипом — после консилиума, на котором Филипу пришлось поставить диагноз по поводу одного запутанного случая, он схватил Антуана за руки и в припадке мальчишеской откровенности заявил: «Видите ли, друг мой, врач прежде всего обязан во всех критических случаях

уединиться, поразмыслить. И для этого существует незаменимое средство — хронометр. Врач должен носить в жилетном кармане красивый и внушительный хронометр величиной по меньшей мере с чайное блюдечко. И тогда он спасен. Пусть его осаждают взволнованные родственники, пусть ему придется оказывать первую помощь пострадавшему на улице, посреди толпы, забрасывающей его вопросами,— если он хочет сосредоточиться, если он хочет, чтобы к нему не лезли, достаточно сделать этот магический жест: демонстративно вытащить из кармана свою луковицу и начать щупать пульс. И сразу же полнейшая тишина, врач один, без посторонних, хотя и окружен людьми. И пока он стоит так, уткнувши нос в циферблат, можно спокойно взвесить «за» и «против», поставить диагноз так же хладнокровно, как у себя в кабинете, когда он, охватив голову руками, уходит в свои мысли. Верьте опыту, друг мой; не теряйте времени, бегите и покупайте себе хронометр внушительных размеров!»

Филип не заметил смятения Антуана. Он отнял руку, неторопливо выпрямился.

— Пульс ускоренный, несколько неровный. Несомненно. Несколько... Но хорошего наполнения.

— Да, а в иные дни, особенно к вечеру, наоборот,— слабый трудно ощутимый. Вот подите-ка! А потом, когда усиливаются легочные явления, опять ускорение. Обычно с перебоями.

— А вы проверяли внутриглазное давление?

— Это не приводит к заметному замедлению пульса.

Они снова помолчали.

— Сейчас я уже легочный больной,— сказал Антуан с принужденной улыбкой.— А в один прекрасный день стану еще и сердечником...

Филип жестом прервал его.

— Ну, повышенное кровяное давление и тахикардия часто являются самозащитой организма, Тибо. Мне вас нечего учить. В случае миниальной эмболии мозга — вы это знаете так же хорошо, как и я,— только с помощью повышенного давления и тахикардии сердце успешно борется против закупорки легочных альвеол. Роже это доказал. И после него многие другие.

Антуан ничего не ответил. Жестокий кашель согнул его пополам.

— А какое применялось лечение? — спросил Филип, казалось, сам не придавая значения своему вопросу.

Откашлявшись, Антуан устало пожал плечами.

— Все! Мы перепробовали все, кроме препаратов опия, конечно. Серу... И потом мышьяк... И опять серу, и опять мышьяк...

Голос его звучал слабо, хрипло, прерывисто. Он замолчал. Он

обессилел от долгого разговора. Откинувшись всем телом назад и прижавшись затылком к спинке стула, он несколько секунд просидел так, не двигаясь, прикрыв глаза. Когда он поднял веки, то увидел, что Филип смотрит на него пристальным, полным нежности взглядом. Это выражение доброты потрясло Антуана больше, чем если бы он заметил в глазах Филипа тревогу. Антуан пробормотал:

— Вы не ожидали увидеть меня таким вот...

— Совсем напротив,— прервал его Филип и засмеялся.— Я никак не думал, судя по вашему последнему письму, что вы такой молодец.— И вдруг без всякого перехода он добавил: — А сейчас послушаем, что у вас там внутри.

Антуан с трудом поднялся. Он снял с себя мундир.

— Сделаем все по форме,— весело сказал Филип.— Ложитесь-ка сюда.

Он показал на кушетку, покрытую белой простыней, где обычно выслушивал больных. Антуан покорно лег. Филип опустился на колени возле кушетки и, не говоря ни слова, стал тщательно исследовать Антуана. Потом резким движением поднялся.

— Гм,— сказал он, стараясь незаметно для Антуана избежать его тревожного взгляда.— Ясно... рассеянные свистящие хрипы... Возможен инфильтрат... некоторое полнокровие всей верхушки правого легкого.— Наконец он решился взглянуть на Антуана.— Я не сказал вам ничего нового, не так ли?

— Да,— ответил Антуан. Он медленно встал с кушетки.

— Черт возьми! — проговорил Филип, подходя своей развинченной походкой к письменному столу. Он уселся, машинальным жестом вытащил из кармана вечное перо, как будто собирался выписать рецепт.— Эмфизема легких, это бесспорно. Чтобы быть совершенно откровенным, скажу вам, что повышенная чувствительность слизистых оболочек может сохраниться долго.— Он поиграл вечным пером и, приподняв брови, рассеянно огляделся вокруг.— Ну, вот и все,— добавил он, резким движением захлопывая лежавший перед ним телефонный справочник.

Антуан подошел к нему и уперся ладонью о край стола. Филип завинтил вечную ручку, спрятал ее в карман, поднял голову и сказал раздельно, выделяя каждое слово:

— Это неприятно, голубчик! Но *не более того!*

Антуан молча выпрямился и, подойдя к камину, стал надевать перед зеркалом воротничок.

В дверь тихонько постучали два раза.

— Вот и обед готов,— заявил повеселевшим голосом Филип.

Но он продолжал неподвижно сидеть за письменным столом. Антуан опять подошел к нему и опять оперся руками о стол.

— Я делал все, что только можно было делать, Патрон,— пробормотал он устало.— Все! Я упорно пробовал все известные мне средства. Я регулярно веду клинические наблюдения над самим собой, как над любым своим пациентом. Я с первого дня систематически все записываю. У меня кучи анализов, рентгеновских снимков. Я целиком поглощен самим собою, избегаю малейшей неосторожности, стараюсь не упустить ни одного шанса.— Он вздохнул.— И все-таки в иные дни трудно сохранить мужество.

— Неправильно! Ведь вы замечаете улучшение?

— В том-то и дело, что я не уверен, что замечаю улучшение! — произнес Антуан.

Эти слова вырвались у него непроизвольно, бессознательно. Он почти выкрикнул их, выкрикнул неожиданно для себя. И тут он вдруг почувствовал тревогу, как будто эти слова выдали тайную мысль, которой он никогда не позволял выходить наружу. Капельки пота проступили у него над верхней губой.

Заметил ли Филип это смятение? Понял ли он, как оно трагично? Не потому ли, что он мастерски умел владеть собой, лицо его осталось и в эту минуту таким спокойным, открытым? Нет, трудно было заподозрить Патрона в столь утонченном притворстве,— так весело он передергивал плечами, с такой живостью и иронией звучал его фальцет:

— Хотите, я вам открою все без утайки, друг мой? Ну, вот вам: я счастлив, что ваше выздоровление идет столь медленно! — С минуту он упивался удивлением Антуана.— Послушайте-ка. Из *шести* прежних моих ассистентов, которых я почитал за своих родных детей, трое убиты, двое остались калеками на всю жизнь. Признаюсь,— пусть это эгоистично,— я ничего не имею против того, что мой шестой пока в безопасности, что долгие месяцы ему суждено еще жить под ласковым солнцем юга, в полутора тысячах километрах от фронта! Думайте обо мне все, что угодно,— мне вовсе не улыбается мысль, что вы можете выздороветь, пока еще длится этот кошмар. Если бы вы в октябре прошлого года не были отравлены газом, кто знает, смогли ли бы мы сегодня обедать вместе.— Он легко поднялся со стула.— Ну, довольно, пойдемте в столовую.

«Он прав,— подумал Антуан, невольно поддаваясь убедительной и веселой интонации Филипа.— Что бы ни было, основа все-таки крепкая...»

На обеденном столе дымилась полная тарелка супа. (Много лет Филип питался только супом и компотом.)

Возле прибора Антуана стоял графин с молоком и чашка, специально для него приготовленные.

— Дени не подогрел молока, но если хотите...

— Нет, благодарю, я пью только холодное, так приятней.

— Без сахара?

Приступ кашля помешал Антуану ответить. Он отрицательно махнул рукой. Филип старался не глядеть в его сторону, решив раз навсегда не замечать этого кашля, говорить о чем угодно, только не о болезни, и как можно быстрее дать другое направление разговору. Задумчиво водя ложкой по тарелке, он ожидал конца приступа. Потом, желая прервать молчание, становившееся тягостным, начал самым естественным тоном:

— А я опять целый день сражался с нашей санитарной комиссией... Трудно представить себе что-нибудь более дикое, чем наши официальные инструкции касательно противотифозных прививок!

Антуан улыбнулся и отхлебнул молока, чтобы прочистить горло.

— Но все-таки вы многого добились, Патрон, за эти три года!

— Не без труда, мой друг, уверяю вас.— Он хотел было заговорить на другую тему, но не нашелся и повторил: — Не без труда! Когда в пятнадцатом году я начал заниматься организацией санитарной службы, вы представить себе не можете, что там творилось!

«Уж кто-кто, а я-то представляю»,— подумал Антуан. Но ему не хотелось говорить, и он понимающе улыбнулся.

— Было это как раз в то самое время,— продолжал Филип,— когда раненых эвакуировали еще в обычных поездах, в каких возят войска или снаряжение... а то и просто в вагонах для скота! Я собственными глазами видел несчастных, которые по целым суткам ждали отправления в нетопленных вагонах, потому что их еще не набралось требуемое инструкцией количество. Чаще всего их кормили местные жители... и перевязывали их, худо ли, хорошо ли, сердобольные дамы или старые местные аптекари! А когда наконец их отправляли, приходилось трястись еще двое-трое суток. Не удивительно, что в каждом составе мы имели огромный процент больных столбняком. Их распихивали по госпиталям, которые и так были битком набиты, где не хватало буквально всего. Ни антисептических средств, ни бинтов; о резиновых перчатках я уж не говорю!

— Я видел в четырех-пяти километрах от передовых позиций,— произнес Антуан с усилием,— хирургические передвижные госпитали, где кипятили инструменты... в старых кастрюлях... в обыкновенных печках...

— Это еще, на худой конец, можно объяснить... Трудно было справиться с наплывом...— Филип насмешливо хихикнул.— Спрос

превышал предложение... Война не останавливается перед расходами! Она не считается с официальными наметками! Но вот что непростительно, друг мой,— продолжал он уже серьезным тоном, это система мобилизации медицинского персонала — она была организована и проведена преступно! В распоряжении командования с первого дня имелись превосходнейшие кадры резервистов. И что же? Когда меня послали в первый раз в инспекционную поездку, я установил, что такие крупнейшие специалисты, как Дейтч, Алуэн, работали простыми санитарами в госпиталях, которыми руководили врачи двадцати восьми, тридцати лет от роду! Во главе крупнейших хирургических госпиталей стояли невежды, которые в лучшем случае могли вскрыть простой нарыв и которые решали вопросы о серьезнейших хирургических вмешательствах, ампутировали направо и налево; и все это только потому, что у них были четыре галуна на рукаве, и они не желали считаться с мнением мобилизованных врачей, работавших под их началом,— будь то крупнейшие хирурги!.. Нам пришлось потратить месяцы и месяцы — моим коллегам и мне,— чтобы добиться самых неотложных мероприятий. Пришлось буквально все поставить вверх дном, чтобы пересмотреть инструкции и поручить эвакуацию раненых врачам-профессионалам... Чтобы отказались, например, от нелепого порядка загружать сначала наиболее отдаленные госпитали, не считаясь ни с серьезностью ранения, ни с тем, как срочно нужна врачебная помощь. Очень часто отправляли в Бордо или Перпиньян раненых в голову, которые, естественно, не доезжали до места назначения, потому что умирали по дороге от гангрены или столбняка! А ведь в девяноста девяти случаях из ста этих несчастных можно было бы спасти, если бы необходимая операция была произведена в течение полусуток! — Вдруг негодование его улеглось, и он улыбнулся: — А знаете, кто мне много помог в начале моей работы? Вы будете удивлены! Одна из ваших пациенток, друг мой! Да вы ее знаете: мать той девочки, которую мы с вами уложили в гипс и отправили в Берк.

— Госпожа де Батенкур? — смутившись, пробормотал Антуан.

— Ну да! Вы писали мне о ней, помните, в четырнадцатом году?

В самом деле, в первые месяцы войны, когда Антуан получил открытку от Симона, в которой тот извещал, что мисс Мэри уехала в Англию, оставив больную девочку одну в Берке, он попросил Филипа заняться Гюгетой. Филип съездил в Берк и решил, что девочке можно без особого риска разрешить вставать с постели.

— Я часто встречался в то время с госпожой де Батенкур.

Эта дама знала буквально весь Париж! В двадцать четыре часа она устроила мне аудиенцию, которой я безуспешно добивался в течение полутора месяцев; благодаря ей я смог лично увидеться с министром, поговорить с ним на свободе, изложить ему все мои претензии, все, что наболело у меня на сердце... Визит длился почти два часа, мой милый. И это решило все.

Антуан молчал. Он внимательно рассматривал пустую чашку, хотя рассматривать было нечего. Спохватившись, он для виду налил себе немного молока.

— А ваша маленькая протеже стала славной девушкой,— сказал Филип, удивляясь, что Антуан не расспрашивает его о Гюгете.— Я не теряю ее из виду... Она приходит показаться раз в три-четыре месяца...

«Знал ли он о моей связи с Анной?» — подумал Антуан. И заставил себя спросить:

— Она живет в Турени?

— Нет, в Версале, вместе со своим отчимом. Батенкур поселился в Версале, хотел остаться вблизи Парижа. Его лечит Шатено. Ну и невезучий этот Батенкур!

«Нет,— подумал Антуан.— Если бы он знал, он не сказал бы «невезучий».

— А вы знаете, как он был ранен?

— Да, смутно... Кажется, во время отпуска?

— Он два года провел на фронте, и хоть бы царапина! И потом ночью в Сен-Жюст-ан-Шоссе — он ехал в отпуск — их поезд задержался на запасных путях. И как раз в это время немецкие аэропланы бомбардировали вокзал! Когда его нашли, лицо у него было разбито вдребезги, один глаз потерян, другой под угрозой... Шатено систематически следит за его состоянием. Вы знаете, он почти ослеп...

Антуан вспомнил ясные, честные глаза Симона в тот вечер, когда тот пришел к нему на Университетскую улицу незадолго до мобилизации, после чего Антуан решил порвать с Анной.

— А что...— начал он. Голос его был так слаб, что Филип нагнулся к нему.— А госпожа де Батенкур с ним?

— Да ведь она в Америке!

— Ах, так! — Сам не зная почему, Антуан вдруг почувствовал облегчение.

Филип, молча, улыбаясь, пережидал, пока Дени поставит миску с вишневым компотом.

— Да... Эта дамочка...— начал Филип, медленно наливая себе компоту в тарелку и провожая взглядом Дени, выходившего из комнаты,— странное она, по-видимому, существо! — Он помолчал, держа ложку у рта.— А ваше мнение?

«Знает или нет?» — снова подумал Антуан.

Он неопределенно улыбнулся. (В присутствии Патрона Тибо терял весь свой апломб и как бы автоматически становился молодым врачом, который поначалу терялся в присутствии доктора Филиппа.)

— Да, в Америке!.. Последний раз, когда я видел девочку, она мне сказала: «Мама, конечно, поселится в Нью-Йорке; там у нее много друзей». Говорят, что ее послал туда с каким-то поручением один из бесчисленных комитетов французской пропаганды... И что ее поездка совпала с возвращением в Соединенные Штаты некоего американского капитана, который состоял одно время в Париже при посольстве.

«Нет,— решил Антуан.— Явно не знает».

Филип выплюнул на тарелку косточки, обтер бородку и продолжал:

— По крайней мере, так утверждает Лебель; он все еще руководит госпиталем, основанным госпожой де Батенкур в ее имении возле Тура. Говорят, она до сих пор субсидирует госпиталь по-царски... Но Лебелю верить не приходится: утверждают, что и сам он, несмотря на свои седины, был... слишком интимным ее сотрудником... Тогда понятно, почему он бросил все и провел безвыездно в Турени всю первую зиму войны... А почему вы больше не пьете?

— Я с трудом выпиваю две чашки,— пробормотал, улыбаясь, Антуан.— Не выношу молока!

Филип не настаивал, сложил салфетку, поднялся с места.

— Пойдемте в кабинет! — Он дружески взял Антуана под руку и, продолжая разговаривать, направился к дверям.— А вы читали, какие условия мира предложили Центральные державы Румынии? Симптоматично, не правда ли? Вот теперь они и с горючим. Да, им повезло! Что может принудить их теперь заключить мир?

— Прибытие американских войск!

— Ну, знаете... Если немцы этим летом не одержат решительной победы,— а это маловероятно, хотя и говорят, что они вновь намереваются наступать на Париж,— то они в следующем году сумеют противопоставить американским материальным ресурсам и американским солдатам русские материальные ресурсы и русских солдат... Еще один резервуар, фактически неисчерпаемый... К чему, по-вашему, может привести борьба двух противников, примерно равных по силе, если ни тот, ни другой не хотят идти ни на какие компромиссы и если ни одна сторона не располагает превосходством сил, обеспечивающим победу? Они неизбежно будут противостоять друг другу до полного истощения.

— Значит, вы не надеетесь, что здравый смысл Вильсона может сыграть свою роль?

— Вильсон витает в облаках... И потом, в данный момент я убежден, что ни во Франции, ни в Англии не хотят мира. Я говорю о правителях. В Париже так же, как и в Лондоне, во что бы то ни стало жаждут *победы*; всякое поползновение к миру рассматривается чуть ли не как измена. Люди, подобные Бриану, вызывают подозрение. Вильсона ждет та же участь, если только он уже ее не дождался.

— Но ведь к миру можно принудить,— сказал Антуан, вспоминая свой разговор с Рюмелем.

— Я не верю, что Германия была бы когда-нибудь в состоянии принудить нас к этому. Нет, повторяю вам: я верю в относительное равенство наличных сил. И не вижу никакого иного исхода, кроме полного истощения этих стран.

Филип сел на свое обычное место — за письменный стол, и Антуан, чувствуя страшную усталость, не заставил себя просить и по первому гостеприимному жесту Филипа растянулся на кушетке.

— Мы, может быть, доживем и увидим конец войны... Но чего мы не увидим никогда — это мира. Я подразумеваю: равновесия Европы, мирной Европы.— Он слегка смутился и быстро добавил: — Я говорю «мы», хотя вы много моложе меня, ибо, на мой взгляд, чтобы восстановить это равновесие, нужны поколения и поколения! — Он снова замолчал, украдкой взглянул на Антуана, поворошил бородку и, безнадежно пожав плечами, начал: — Но возможно ли равновесие, мирное равновесие в современных условиях? Демократический идеал потускнел. Самба́ прав: демократии не созданы для войны; они тают от нее, как воск от огня. Чем дольше будет длиться война, тем меньше у Европы шансов стать демократической. Кто поручится, что она не подпадет под тираническую власть какого-нибудь Клемансо или Ллойд-Джорджа. И народы позволят это: они уже привыкли к режиму осадного положения. Они отрекутся мало-помалу от всего, вплоть до республиканского стремления к народоправству. Посмотрите сами, что происходит сейчас во Франции: контроль над распределением продовольствия, ограничение потребления, вмешательство государства во все области жизни, в индустрию и торговлю, в частные сделки,— вспомните мораторий, в духовную жизнь,— вспомните цензуру! Мы приемлем все это в качестве чрезвычайных мер. Стараемся убедить себя, что такие меры необходимы при существующем положении вещей. На самом же деле это предвестники всеобщего порабощения. Попробуйте сбросить ярмо, когда оно сидит на вас, как влитое!

— Вы помните Штудлера? *Халифа?*.. Моего сотрудника?

— Еврей с ассирийской бородой и глазами гипнотизера?

— Да... Он был ранен и теперь на Салоникском фронте... Иногда он делится со мной в письмах своими пророческими мыслями. Это в его духе... И вот Штудлер утверждает, будто война неизбежно приведет к революции. Сначала у побежденных, потом у победителей. Революционные взрывы или медленные революции, но революция повсюду...

— Н-да,— уклончиво протянул Филип.

— Он предрекает крах современного мира, крушение капитализма! Он также считает, что война будет длиться до полного истощения Европы. Но когда все исчезнет, когда все будет сровнено с землей, зародится, по его словам, новый мир. На развалинах нашей цивилизации, говорит он, возникнет некая всемирная ассоциация народов, разовьется в масштабе всей планеты великий коллективный строй на совершенно новых основах.

Антуан с трудом закончил фразу, напрягая голосовые связки. И замолк, согнувшись в приступе кашля.

Филип следил за ним краешком глаза. Казалось, он не замечает ничего.

— Все может быть,— ответил он, и глаза его повеселели. Он любил дать волю воображению.— Почему бы и нет?.. Вполне возможно, что вера людей восемьдесят девятого года, в силу коей мы, вопреки данным биологии, утверждали, что все люди равны между собой от природы и должны быть равны перед законом,— вполне возможно, что эта вера, под властью которой мы прожили целое столетие, утратит свою силу и уступит место какой-нибудь другой прекрасной нелепице несколько в ином роде. Будет время, и новая идеология, матерь новых мыслей, чувств и поступков, вскормит человечество, даст ему на некоторое время опьянение... До новой очередной перемены...

Филип помолчал, пережидая, когда кончится приступ кашля.

— Да, может быть,— продолжал он насмешливо,— но пусть этими видениями тешится ваш мессия Штудлер... Будущее, которое представляется мне, не за горами, и оно совсем иное. Думаю, что государства не собираются отказываться от той абсолютной власти, которая была им дана войной. И боюсь поэтому, что эра демократических свобод отцвела надолго. Согласен, для людей моего поколения это огорчительно. Мы свято верили, что эти свободы завоеваны прочно; что никогда больше они не подвергнутся пересмотру. Но, оказалось, все всегда можно пересмотреть... И кто знает,— возможно, это были просто мечты. Мечты, которые в конце девятнадцатого века считались нерушимой реальностью по той простой причине, что людям тогдашнего поколения посчастливи-

лось жить в исключительно спокойные, исключительно счастливые времена...

Голос у Филипа был резкий, гнусавый, говорил он так, будто был один в комнате; он сидел, положив локти на ручки кресла, чуть не тычась длинным красноватым носом в скрещенные кисти рук, приглядываясь к пальцам, которые он судорожно сплетал и расплетал.

— Мы тогда верили, что человечество созрело, что оно идет к новой эпохе, где мудрость, чувство меры, терпимость будут наконец править миром... Где разум и дух наконец-то станут маяками человеческого общества. Кто знает, не покажемся ли мы будущим историкам просто наивными людьми, невеждами, которые строили трогательные иллюзии насчет человека и его пригодности к цивилизации? Быть может, мы проглядели какие-то основные свойства человека? Быть может, к примеру, инстинкт разрушения, потребность время от времени стирать к черту с лица земли все то, что мы сами с таким мучительным трудом возвели,— быть может, это и есть один из важнейших законов, который ограничивает созидательные возможности человеческой природы? Один из тех таинственных и обманчивых законов, которые мудрец должен понять и принять?.. Видите, как мы уже далеко от предсказаний вашего *Халифа!..*— закончил он с насмешливой ухмылкой. И так как Антуан снова закашлялся, спросил: — Может быть, выпьете что-нибудь? Глоток воды? Кодеину? Нет?

Антуан отрицательно махнул рукой. Минуты через две-три (Филип в это время молча шагал по комнате) он почувствовал себя лучше. Он выпрямился, отер слезы, катившиеся по щекам, и попытался улыбнуться. Щеки у него ввалились, лицо побагровело, на лбу проступил пот.

— Мне пора... Патрон...— пробормотал он; горло жгло, как огнем.— Простите,— он снова улыбнулся, с усилием выпрямился и встал.— Все-таки я в скверном состоянии, сознайтесь!

Филип, казалось, не расслышал его слов.

— Много говорят,— произнес он,— много пророчествуют... Я вот смеюсь над вашим *Халифом*, а сам поступаю точно так же! Все это нелепо. Все, что мы видели за эти четыре года,— все нелепо. И все, о чем мы пророчествуем, исходя из этих нелепостей,— тоже нелепо. Можно критиковать, да. Можно даже осуждать то, что происходит,— вот это не нелепо. Но предсказывать то, что произойдет!.. Видите ли, голубчик, всегда возвращаешься к исходной позиции, единственно правильной, я сказал бы, научной позиции... Впрочем, будем скромнее,— единственная разумная позиция, единственная, которая не подведет, это *поиски ошибок,* а не поиски истины... Распознать то, что ложно, хоть и трудно, но мыс-

лимо иной раз. Вот и все, буквально все, что мы можем делать!.. А все прочее — пустые разглагольствования!

Филип заметил, что Антуан поднялся и слушает его рассеянно. Он тоже встал.

— Когда мы увидимся с вами? Когда вы уезжаете?

— Завтра, в восемь утра.

Филип неприметно вздрогнул. Он подождал немного, боясь, что голос выдаст его.

— А-а!

И пошел за Антуаном в переднюю.

Он смотрел на согнутую спину Антуана, на его худую, с выступающими жилами шею, которую слишком свободно облегал воротник мундира. Он боялся, что выдаст себя, боялся своего молчания, боялся своих мыслей. И быстро заговорил:

— По крайней мере, вы хоть довольны этой клиникой? Хорошие ли там врачи? Может быть, вам лучше переменить клинику?

— Зимой там великолепно,— ответил Антуан, направляясь к дверям.— Но вот тамошнего лета я боюсь. Даже хочу поехать куда-нибудь еще... Хорошо бы — в деревню... Подышать чистым воздухом; только не в сырое место. Может быть, сосновый лес... Аркашон? Нет, слишком жарко. Тогда куда же? На курорт в Пиренеи? В Котре? Люшон?

Он вошел в переднюю и поднял уже руку, чтобы взять с вешалки свое кепи, но прежде чем спросить: «А как ваше мнение, Патрон?» — он обернулся. И вот на этом лице, на котором за десять лет совместной работы он научился подмечать каждое выражение, в маленьких серых глазах, мигающих за стеклом пенсне, он прочел невольное признание: острую жалость. Это было как приговор. «К чему?» — говорило это лицо, этот взгляд.— При чем здесь лето? Тут ли, там ли... Тебе ничто не поможет, *ты погиб!*»

«Господи,— подумал Антуан, сраженный грубостью удара.— Ведь я, я тоже это *знал*... Погиб».

— Да... Котре...— быстро пролепетал Филип. Он овладел собой.— А почему бы не Турень, друг мой? Турень... или Анжу...

Антуан упорно глядел на паркет. Он не смел встретиться глазами с Патроном... Как фальшиво звучал его голос! И как это было больно!..

Дрожащей рукой Антуан надел кепи и пошел к выходной двери, не подымая головы. Ему хотелось одного — поскорее уйти отсюда, остаться одному, наедине со своим ужасом.

— Турень... или Анжу...— повторял бессмысленно Филип.— Я наведу справки... Я вам напишу...

Не поднимая глаз, низко надвинув на лоб козырек кепи, который скрывал исказившиеся черты лица, Антуан машинальным жестом протянул Филипу руку. Филип схватил ее обеими руками, губы его произвели какой-то чмокающий звук... Антуан вырвал руку, открыл дверь и выбежал на лестницу.

— Да... А почему бы не Анжу?..— бормотал Филип, перегибаясь через перила.

XIV

Над городом нависал мрак. Только кое-где затемненные фонари отбрасывали на тротуар голубоватые круги света. Мало прохожих. Редкие автомобили осторожно скользили по улицам, предупреждая о своем приближении настойчивыми гудками.

Спотыкаясь, сам не зная, куда идет, Антуан пересек бульвар Мальзерб и вышел на улицу Буасси-д'Англа. Он шагал, равнодушный ко всему на свете, затылок давила страшная тяжесть, дыхание прерывалось, в голове была странная гулкая пустота; он шел так близко к домам, что иногда задевал локтем стену. Он не думал ни о чем. Не страдал больше.

Он очутился под деревьями Елисейских полей. Сквозь листву раскрывалась еле освещенная, но отчетливо видная в ночных отблесках прекрасного весеннего неба площадь Согласия; ее бесшумно бороздили автомобили, похожие на зверей с фосфоресцирующими глазами, и снова их поглощал мрак. Он заметил скамейку, приблизился. Но сел не сразу, а по привычке подумал: «Не простудиться бы!»

И вдруг мелькнула другая мысль: «Теперь уж все равно!» Уничтожающий приговор, который он прочел в глазах Филипа, жил в его сознании, и не только в сознании, но и во всем теле, подобный огромному паразитическому новообразованию, страшной опухоли, которая чудовищно разрослась и угрожает пожрать человека.

Скорчившись на жесткой скамейке, крепко сжав на груди руки, чтобы задушить то чужое, что уже вторглось в него и подступало к горлу,— он мысленно вновь переживал весь сегодняшний вечер. Он видел Филипа, сидевшего верхом на стуле: «Начинать полагается с начала... Ваше первое ранение? Последствия его?» И он повторял слово за словом свои ответы. Но сейчас, когда эти слова вновь зазвучали в его ушах, они постепенно утрачивали сходство с тем, что он говорил Филипу. Впервые с такой непогрешимой точностью и ясностью анализировал он свой случай в его истинном свете. Он углубился в описание своего недуга во

всей его неумолимой реальности: припадки, следующие один за другим; все более и более краткие ремиссии, все более сильные с каждым разом возвраты болезни. Впервые он трезво оценивал постепенное ухудшение, беспрерывное, непоправимое. И теперь, когда он вспоминал расстроенное лицо Филипа, ему казалось, будто на этом таком знакомом и близком лице читалась тревога, которая нарастала с каждой секундой и от которой ничего не могло укрыться, по мере того как уточнялся роковой диагноз. Тяжело дыша, чувствуя боль в легких, Антуан вытащил из кармана носовой платок и вытер проступивший на лбу пот.

Какой-то протяжный звук, раздавшийся вдалеке, какое-то глухое мычание, которое он сначала не осознал, нарушило безмолвие ночи.

Он уже видел, будто поднялся после осмотра с кушетки, с трудом выпрямился и, пожав плечами, произнес с деланной покорностью: «Вы сами видите, Патрон, нет ни малейшей надежды!» И Филип, не отвечая, опустил голову.

Он порывисто вскочил со скамейки, чтобы разом освободиться от душившей его тоски. И пока он стоял неподвижно, в оцепенении, успокоительная мысль — будто из бездны повеяло свежее дыхание — вдруг пришла ему в голову: «Мы, врачи, всегда можем прибегнуть; можем не дожидаться... не страдать...»

Ему было трудно держаться на ногах. Он снова сел.

Две тени, две женские фигуры, выбежали из-под деревьев. И почти тотчас же завыли все до единой сирены. Редкие светящиеся точки, слабо трепетавшие в углах широкой площади, вдруг разом потухли.

«Только этого недоставало»,— подумал Антуан, прислушиваясь. Отдаленное громыхание потрясло землю.

Позади него в аллеях слышался торопливый топот ног, из ночной тьмы смутно доносились встревоженные голоса, люди мчались кучками и пропадали в тени. По улице Габриель, тревожно гудя, проносились автомобили с притушенными фарами. Мимо промаршировал отряд полицейских. Антуан остался сидеть, ссутулясь, глядя перед собой ничего не видящим взором, далекий от всех человеческих дел.

Много времени прошло, прежде чем он опомнился. Взрывы, приглушенные расстоянием, пушечные выстрелы вывели его из оцепенения.

«Откуда стреляют? С Мон-Валерьен?» — подумалось ему.

Он вспомнил вдруг слова Рюмеля: бомбоубежище в морском министерстве.

Вдали продолжали глухо лаять пушки. Он поднялся и, подойдя к краю тротуара, решил перейти площадь. Над Парижем

вдруг ожило великолепное небо. Вспыхнувшие во всех точках горизонта пучки света ползли по ночному своду, молочно-белые полосы то расцеплялись, то скрещивались, ощупывая, как глазами, густую россыпь звезд; мощные, быстрые, они вдруг останавливались как бы в нерешительности, выслеживая подозрительную точку, потом скользили снова, возобновляя свои розыски.

Он не решался ступить на мостовую. Он неподвижно стоял на краю тротуара и глядел, задрав голову, в небо, пока не заломило шею. «Лечь,— думал он,— закрыть глаза... Принять снотворное... Уснуть...» Но он не двигался, парализованный беспредельной усталостью. «Лучше вернуться,— подумал он.— Попробовать найти такси!» Но площадь была теперь пустынна, темна, огромна. Она вырисовывалась только мгновениями. Только по временам, под ломающимся светом прожекторов, она выступала из полумрака, и тогда были видны балюстрады, бледные статуи, обелиск, фонтаны и мрачные фонарные столбы — вся площадь целиком, как во сне: окаменевший, заколдованный город, обломок исчезнувшей цивилизации, мертвый град, долгие годы погребенный под песками.

Антуан усилием воли поборол оцепенение и пошел, как лунатик, через этот город мертвых. Он шел прямо на обелиск, чтобы сократить путь и выйти к Тюильри и набережным. Переход по этому лунному полю под опрокинутым небом показался ему нескончаемым. Мимо него беспорядочно пронеслась группа бельгийских солдат. Потом его обогнала чета стариков. Они бежали, неловко поддерживая друг друга, их несло, как щепки в водовороте. Старик крикнул: «Прячьтесь в метро!» И только когда они уже исчезли в темноте, Антуан ответил что-то.

Воздух гудел сотнями невидимых моторов, шум которых сливался в единую долгую металлическую дрожь. На востоке, на севере артиллерия неистовствовала; кольцо противовоздушной обороны, не переставая, выплевывало снаряды; и каждую минуту новая батарея вступала в действие, все ближе и ближе. Скользящие пучки прожекторов мешали разглядеть, где происходят взрывы. В промежутках между залпами слышалась трескотня пулеметов.

«Возле Королевского моста»,— подумал он машинально.

Антуан пошел по набережной, вдоль парапета. Ни автомобилей. Ни фонарей. Ни человеческого существа. Под этим обезумевшим небом — необитаемая земля. Он был наедине с этой рекой, которая текла, поблескивая, широкая и спокойная, как самая обыкновенная деревенская речка в лунную ночь.

Он остановился на минуту и подумал: «Я ждал этого, я отлично *знал,* что погиб...» И машинально пошел дальше.

Гул нарастал столь стремительно, что было немыслимо определить характер звуков. Но вдруг глухой разрыв вырвался из общего грохота. А за ним еще и еще. «Бомбы,— подумал Антуан.— *Они* прорвались». Где-то далеко в направлении Лувра фабричные трубы вдруг четко обозначились на розовом небе, словно освещенном бенгальским огнем. Он обернулся. Новые венчики пожаров багровели то тут, то там — в Левалуа, очевидно, в Пюто. «Повсюду горит». Он забыл о своей беде. Перед лицом этой невидимой, неясной угрозы, которая нависала надо всем, как слепой приговор разгневанного божества, неестественное возбуждение подстегивало его, злобное опьянение придавало ему силы. Он ускорил шаги, дошел до моста, пересек Сену и погрузился во тьму улицы Бак. Не заметив мусорного ящика, он споткнулся и, чтобы не упасть, сделал резкое движение, которое отозвалось в бронхах мучительной болью. Затем пошел по мостовой, определяя направление по светящейся просеке, проложенной в небе прожекторами. Позади послышался какой-то гул. Антуан едва успел взойти на тротуар. Две машины странного вида с притушенными фарами, сплошь металлические, блестящим вихрем промчались мимо, непрестанно гудя; сзади следовал автомобиль с флажком на радиаторе.

— Пожарные,— произнес кто-то возле Антуана.

Какой-то прохожий стоял, прижавшись под выступом подъезда. Через каждые пять секунд он вытягивал шею и высовывал голову, словно человек, который пережидает ливень.

Не ответив ни слова, Антуан пошел дальше. Он снова почувствовал усталость. Шел он, тяжело таща за собой страшную неотвязную мысль, как тащит бечевщик тяжело груженную баржу. «Я это знал... Я это знал уже давно». В его отчаянии не было ничего неожиданного: он не был сражен внезапным ударом, он просто согнулся под бременем узнанного. Жестокая уверенность нашла в нем уже заранее приготовленное место. То, что он прочел во взгляде Филипа, лишь сняло тайный запрет, лишь высвобождало совершенно ясную мысль, давно и глубоко похороненную в сумерках подсознательного.

На углу Университетской улицы, в нескольких шагах от дома, его охватил страх — панический страх перед одиночеством, которое ждет его там, наверху. Он остановился, готовый броситься обратно. Машинально подняв глаза к небу, по которому ползли полосы света, он старался вспомнить хоть одного человека, возле которого можно было бы притулиться, прочесть сочувствие в его взгляде.

— Никого,— пробормотал он.

И, прижавшись к стене, оглушенный грохотом заградительного огня, гудением аэропланов, разрывами бомб, глухо отдававши-

мися в голове, Антуан думал об этой непонятной вещи: нет друга! Он был всегда очень общителен, любезен; к нему были привязаны все его больные, к нему прислушивались все его товарищи, его уважали учителя, он был пылко любим два-три раза в жизни,— но у него не было ни одного друга! У него никогда не было друга!.. Даже Жак... «Жак умер прежде, чем я успел стать его другом...»

И вдруг он подумал о Рашели. Как было бы хорошо этим вечером укрыться в ее объятиях, услышать вновь ее ласкающий голос, теплый шепот: *«Котик мой...»* Рашель! Где она? Что с ней сталось? Ее ожерелье там, наверху... Ему захотелось взять в руки этот обломок своего прошлого, медленно пропускать между пальцами зерна янтаря, которые теплели быстро, как живая плоть, вновь услышать гипнотический запах, возвращавший ему близость Рашели.

Он с трудом отошел от стены и, слегка шатаясь, сделал несколько шагов, которые отделяли его от дверей дома.

XV

ПИСЬМА

Мезон, 16 мая 1918 г.

Снаряд, который раздробил мне бедро, сделал меня бесполым. Я никогда не решился бы Вам сказать это в личной беседе. Хотя Вы, может быть, догадались, ведь Вы врач. Когда мы говорили о Жаке и когда я Вам сказал, что завидую его судьбе, Вы как-то странно посмотрели на меня.

Уничтожьте это письмо, я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь знал, не хочу, чтобы меня жалели. Я уцелел, государство дает мне возможность не зависеть ни от кого материально, многие мне завидуют, и, вероятно, они правы. Ну что ж, пока жива моя мать — не стану; но если в один прекрасный день я предпочту исчезнуть с лица земли, Вы один будете знать причину этого.

Жму Вашу руку

Д. Ф.

Мезон-Лаффит, 23 мая.

Дорогой Антуан!

Это не упрек, но мы все-таки беспокоимся,— ведь вы обещали нам писать, а прошла целая неделя, и от Вас ни слова; может быть, долгая поездка Вас утомила сильнее, чем мы предполагали?

Мне хочется Вам сказать, какой радостью было для меня Ваше посещение, но я не умею говорить о таких вещах; никто не догадывается, что я чувствую, но мне кажется, что после Вашего отъезда я стала еще более одинокой.

Ваша Женни.

Мезон-Лаффит, 8 июня 1918 г.

Дорогой Антуан!

Время идет, вот уже три недели, как Вы уехали из Мезона, и по-прежнему от Вас ничего, ни строчки. Я начинаю серьезно беспокоиться, не могу объяснить Ваше молчание иначе, как состоянием Вашего здоровья. Очень, очень прошу Вас, скажите мне всю правду.

У малыша была несколько дней высокая температура из-за желёзок, теперь ему лучше, но я еще не выпускаю его из комнаты, что несколько осложняет нашу жизнь. Представьте себе, нам всем кажется, что он вырос за ту неделю, когда был в постели, хотя, конечно, это невозможно, правда? Мне также кажется, что он сильно развился за время недолгой болезни. Он без конца сочиняет всякие истории к картинкам в книгах и к рисункам, которые делает для него Даниэль. Не смейтесь надо мной: говорю это только Вам, по-моему, он необыкновенно наблюдателен для своих лет, и думаю — он будет очень умным.

Больше у нас нет никаких новостей. В госпитале получен приказ эвакуировать всех, кого только можно, из выздоравливающих, чтобы освободить место, и сейчас приходится выписывать несчастных, которые рассчитывали побыть здесь еще десять — пятнадцать дней. Каждый день к нам прибывают новые больные, и мама сняла у соседей — англичан — небольшую виллу, всю обвитую глициниями. Сейчас она пустует, но там можно поставить еще коек двадцать, если не больше. Николь получила длинное письмо от своего мужа, его автоотряд переведен из Шампани и направляется теперь в Бельфор. Он пишет, что в Шампани потери ужасные. Доколе же? Доколе же будет длиться этот кошмар? Наши мезонцы, которые каждый день ездят в Париж, говорят, что бомбардировки уже привели к заметной деморализации населения.

Дорогой Антуан, если даже Ваше состояние ухудшилось, скажите мне всю правду, не оставляйте нас надолго в неизвестности.

Ваша Женни.

Грасс, 11 июня 1918 г.

Состояние среднее, особого ухудшения нет. Напишу через несколько дней. Привет.

Тибо.

Мускье, 18 июня 1918 г.

Наконец я решился Вам написать, дорогая Женни. Вы были совершенно правы — это долгая поездка утомила меня. После моего приезда было довольно серьезное обострение, с резкими колебаниями температуры, и пришлось слечь в постель. Новый способ лечения, энергичный уход, кажется, еще раз приостановили развитие болезни. Вот уже неделя, как я встаю и понемножку начинаю вести прежний образ жизни.

Однако не это было причиной моего молчания. Вы просите, чтобы я сказал Вам правду. Вот она. Со мной случилась ужасная вещь: я узнал, я понял, что *обречен*. Бесповоротно. Это продлится, быть может, еще несколько месяцев. Но что бы то ни было — я *не могу выздороветь*.

Только тот, кто сам прошел через это, может понять. Перед лицом такого открытия рушатся все точки опоры.

Простите, что я говорю Вам это без обиняков. Тому, кто знает, что он скоро умрет, все становится таким безразличным, таким далеким. Напишу Вам еще раз. А сегодня больше не могу.

Привет.

Антуан.

Прошу Вас никому не говорить о том, что я Вам сообщил.

Мускье, 22 июня 1918 г.

Нет, дорогая Женни, не против ложных страхов, как Вы думаете (или делаете вид, что думаете), я борюсь. У меня, должно быть, не хватило мужества, и я не написал Вам всего. Сегодня попробую написать по возможности подробно.

Передо мной определенная реальность. *Уверенность*. Она обрушилась на меня в тот день, в который, покинув Мезон, я провел в Париже, во время разговора с моим старым учителем доктором Филипом. В первый раз в жизни, очевидно, благодаря присутствию Филипа, я сумел оторваться от себя самого и смог вынести объективное, ясное суждение о своей болезни, поставить диагноз, как подобает врачу. Правда предстала передо мной во всей своей очевидности.

Во время поездки у меня было достаточно времени подумать об этом. У меня под рукой мои каждодневные записи, которые я

веду с первой недели болезни. Поэтому я могу проследить день за днем, от приступа к приступу, непрерывное и неуклонное ухудшение. Со мной также все материалы, я всю зиму собирал французскую и английскую медицинскую литературу, клинические отчеты, рефераты, напечатанные в специальных журналах, о лечении отравленных газами. Все это, известное мне уже давно, предстало передо мной в новом свете. И все подтверждает мою уверенность. Возвратившись сюда, я обсудил мой случай с лечащими меня врачами. Уже не как прежде, не как больной, который надеется на выздоровление и без разбора принимает на веру все, что подкрепляет его надежды, но как опытный врач, которого больше не обманет никакая ложь во спасение. Я припер своих коллег к стене, и их уклончивые жесты, многозначительные умолчания, полупризнания сказали мне все.

Нынешняя уверенность покоится на неоспоримой основе. В течение десяти месяцев непрерывно шел процесс интоксикации, разрушения, и у меня нет никакой надежды, в буквальном смысле слова — *никакой*, выздороветь, ни даже жить в хроническом, стабильном состоянии, в состоянии калеки. Да, я, как камень, пущенный с горы, осужден непрерывно катиться вниз, и с каждой минутой все быстрее и быстрее. Как мог я обманываться так долго? Врач — и так смехотворно заблуждаться? Просто смешно! Не знаю сроков, это зависит от будущих неизбежных приступов, от их силы и от продолжительности периодов улучшения. Случайные рецидивы, временные успехи лечения решат, протяну ли я два месяца или — крайний срок — год. Но гибель неизбежна, и она близка. Правда, в иных случаях бывает то, что Вы называете «чудесами». Но в моем — нет. Современное состояние науки не оставляет мне никаких надежд. Верьте, я пишу Вам это не как больной, который твердит о неизбежности худшего исхода, а сам с надеждой ловит любой жест возражения, но как врач, во всеоружии клинических данных, перед лицом *смертельного* недуга, окончательно установленного. И если я так спокойно повторяю Вам это, то...

23 июня. Вновь берусь за письмо. Вчера начал его и не окончил. Пока я еще недостаточно владею собой, чтобы выдержать такое долгое напряжение. И сейчас вот не могу вспомнить, что хотел сказать Вам. Я написал: «спокойно»... К этому относительному спокойствию перед неизбежным — спокойствию, увы, очень непрочному — я пришел через страшную внутреннюю революцию.

Долгими днями, нескончаемыми бессонными ночами я пребывал на дне бездны. Адские пытки. До сих пор не могу еще ду-

мать о них без леденящего холода в сердце, без внутренней дрожи. Трудно вообразить себе это. Как только удается устоять человеческому разуму? И какими таинственными путями переходишь от этого пароксизма отчаяния и бунта к своего рода приятию? Не берусь объяснять. Должно быть, очевидность факта имеет над рационалистически настроенным умом неограниченную власть. Должно быть также, человеческая природа наделена необычайной способностью к приспособлению, раз мы можем приучить себя даже к такому: к мысли, что жизнь будет отнята раньше, чем успел ее прожить, что приходится исчезнуть, не успев претворить в реальность те огромные возможности, которые, казалось, были заложены в тебе. Впрочем, мне трудно сейчас восстановить этапы этой эволюции. Она длилась долгое время. Приступы острого отчаяния, естественно, сменялись моментами прострации, иначе их просто нельзя было бы вынести; в течение многих недель физическая боль и мучительное лечение были единственной сменой тому, другому, настоящему мучению. Мало-помалу тиски разжались. Ни стоицизма, ни героизма, ничего похожего на покорность судьбе. Скорее какое-то притупление чувствительности, приводящее к состоянию наименьшего сопротивления, и начинающееся равнодушие, вернее — оцепенение. Разум здесь ни при чем. Воля — тоже. Волю я стал упражнять только несколько дней назад, пытаясь продлить состояние апатии. Стараюсь постепенно возвратиться к жизни. Восстанавливаю связь с окружающим меня миром. Я теперь почти не лежу, бегу от своей постели, своей палаты. Заставляю себя выходить к столу вместе со всеми. Сегодня довольно долго смотрел, как играют в бридж, и сегодня Вам пишу без особого напряжения. Даже с каким-то новым для меня странным удовольствием. Дописываю это письмо в саду, в тени кипарисовой аллеи; санитары по случаю воскресенья играют в кегли. Я думал сначала, что их общество, их споры, смех будут меня раздражать. Но я захотел остаться и остался. Вы видите, уже намечается тенденция к установлению нового равновесия.

Все-таки немного устал от этих усилий. Напишу Вам снова. В той мере, в какой мой разум способен еще интересоваться другими, я не думаю ни о ком, кроме Вас и Вашего ребенка.

Антуан.

Мускье, 28 июня.

Несколько раз перечел сегодня утром Ваше письмо, дорогая Женни. Оно не только просто и прекрасно. Оно именно такое, которого я мог желать. Такое, которого я хотел от Вас, такое, которое, я знал, Вы напишете мне. Дождался ночи, полной тишины,

и пишу Вам; дождался часа, когда лечебные процедуры закончены, когда дежурный санитар, обходящий палаты, ушел, когда в перспективе только бессонница и призраки... Благодаря Вам я чувствую в себе... чуть было не написал: «больше мужества». Но дело не в мужестве, и не мужество мне нужно; возможно, мне просто нужно чье-нибудь присутствие, чтобы чувствовать себя менее одиноким, менее с глазу на глаз с тем, что может продлиться еще месяцы и месяцы. И, верите ли, я не хочу, чтобы эти месяцы прошли скорее, чем им положено. Отсрочка, от которой я не желаю отказываться. Я сам себе удивляюсь. Вы же понимаете, что я располагаю средством положить конец. Но это средство я берегу напоследок. Сейчас еще — нет. Я принимаю отсрочку, я цепляюсь за нее. Странно, не правда ли? Когда человек был так страстно влюблен в жизнь, должно быть, не так-то уж легко от нее оторваться; и особенно когда чувствуешь, что она уходит от тебя. В дереве, сраженном молнией, еще многие весны продолжают подниматься соки, и корни никак не хотят умирать.

Однако, Женни, в Вашем прекрасном письме не хватает одного: Вы ничего не пишете о мальчике. Только раз Вы написали о нем — в предыдущем Вашем письме. Когда я его получил, я был еще в таком состоянии отрешенности, отказа от всего, что целый день, а может быть, и больше, не распечатывал конверта. В конце концов я взял его в руки, прочел строки, в которых Вы пишете о Жан-Поле, и впервые на какое-то мгновение высвободился из-под власти навязчивой мысли, вышел из заколдованного круга, перенес свои интересы на кого-то другого, снова стал воспринимать внешний мир. И с тех пор я часто возвращаюсь мыслью к мальчику. В Мезоне я видел его, прикасался к нему, слышал его смех, и вот я и сейчас еще чувствую под пальцами, как напрягалось его маленькое тельце; и когда я начинаю думать о нем, он сразу же встает передо мной. А вокруг него сразу же кристаллизуются мысли, мысли о будущем. Даже осужденный, даже тот, кого у порога ждет смерть, и тот жадно строит планы на будущее, надеется! Я начинаю думать: вот этот мальчик живет, входит в жизнь, целая жизнь перед ним; и передо мной открываются просветы, которые вообще-то мне отныне заказаны. Мечты больного, быть может. Что же! Теперь меньше, чем прежде, я боюсь растрогаться. (Эта душевная слабость, конечно, тоже следствие болезни!) Я так мало сплю. И не хочу пока еще притрагиваться к снотворному. Очень скоро мне придется слишком часто прибегать к нему.

Методически продолжаю свои попытки приспособиться к жизни. Упражнения воли, которые благотворны уже сами по себе. Снова начал читать газеты. Война, речь фон Кюльмана в рейхста-

ге. Он очень справедливо сказал, что никогда мир не установится, покуда всякое предложение будет заранее считаться маневром, попыткой разложить противника. Союзная пресса снова пытается ввести в обман общественное мнение. Но эта речь вовсе не «агрессивна», нисколько, скорее даже умиротворяющая и многозначительная.

(Написал это не без некоторого кокетства. Я по-прежнему одержим войной, это чувство не угасло во мне, и думаю, что оно будет жить во мне до конца дней моих. Но сейчас тем не менее я несколько насилую себя.)

Кончаю. Эта болтовня для меня целебна, скоро я снова напишу Вам. Мы раньше плохо знали друг друга, Жени, но Ваше письмо излучает огромное тепло, и я почувствовал, что во всем мире у меня нет ни одного друга, кроме Вас.

Антуан.

Мускье, 30 июня.

Вы удивитесь сейчас, дорогая Женни. Знаете, чем я занимался вчера весь вечер? Подводил счета, разбирал бумаги, писал деловые письма. Уже несколько дней я собирался это сделать. Мне не терпелось уладить свои денежные дела. Сознавать, что после меня все останется в порядке. Скоро я уже не смогу сделать нужного усилия. Итак, воспользоваться моментом, когда эти вопросы еще представляют для меня интерес...

Простите за тон письма. Я должен ввести опекуншу Жан-Поля в курс моих дел, поскольку к нему перейдет все, что я имею.

Это, конечно, не бог весть что. От ценных бумаг, доставшихся мне после отца, останется очень немного! Я здорово поистряс капитал, когда оборудовал себе в Париже дом. И я неосмотрительно поместил остальное в русские бумаги, которые, очевидно, пропали безвозвратно. Дом на Университетской улице и вилла в Мезон-Лаффите, к счастью, уцелели.

Дом можно сдать или продать. Та сумма, которая будет получена, позволит Вам кое-как перебиться и дать нашему маленькому приличное воспитание. Он не будет знать роскоши, и тем лучше. Но ему не придется испытать нужду и лишения, которые выхолащивают душу.

Что касается виллы в Мезоне, советую Вам, когда кончится война, продать ее. Может быть, ею соблазнится какой-нибудь нувориш. Лучшего она и не заслуживает. Судя по тому, что мне говорил Даниэль, дача Вашей матушки заложена и перезаложена. У меня сложилось впечатление, что г-жа де Фонтанен, да и Вы сами, очень привязаны к ней. Не будет ли целесообразнее упо-

требить сумму, вырученную от продажи виллы Тибо, на окончательный выкуп дачи? Имение ваших родителей, таким образом, перейдет к Жан-Полю. Я посоветуюсь с нотариусом, как это лучше сделать.

Когда у меня будет примерный подсчет оставшихся средств, я выделю небольшой капитал Жиз: мне хочется ее обеспечить. Вам, дорогой друг, придется вести все дела до совершеннолетия Вашего сына. Мой нотариус, г-н Бейно, вполне добросовестный малый, правда, немного формалист, зато надежный и, главное, хороший советчик.

Вот все, что я хотел Вам сказать. Теперь я могу спокойно вздохнуть. Больше с Вами на эту тему говорить не буду до тех пор, пока не придет время дать Вам последние указания. Эти несколько дней меня не оставляет еще один замысел, который связан лично с Вами. Вопрос очень деликатный, но все же я вынужден буду его коснуться. Сегодня у меня не хватает смелости.

Провел два часа в тени оливковых деревьев. Читал газеты. Что кроется за этим полным затишьем с немецкой стороны? Наше сопротивление между Мондидье и Уазой, кажется, остановило их. Кроме того, поражение австрийцев, должно быть, очень чувствительно. Если усилия Центральных держав в течение летних месяцев, до прибытия американцев, не приведут к решительным успехам, ситуация может в корне измениться. Буду ли я свидетелем этого? Ужасающая медлительность, с какой в глазах отдельной личности происходят события, движущие историю,— вот что не раз мучило меня за эти четыре года. Что же тогда говорить тому, кому недолго осталось жить?

Должен сказать Вам, однако, что сейчас у меня начинается довольно хороший период. Может быть, это действие новой сыворотки? Приступы удушья менее мучительны. Приступы лихорадки реже.

Таково мое физическое состояние. Что же касается моего «морального состояния» — общепринятый термин, которым наше командование определяет степень пассивности солдат, посылаемых на убой,— оно тоже лучше. Может быть, Вы почувствуете это из моего письма? Размеры его, во всяком случае, доказывают, какое удовольствие доставляет мне болтать с Вами. *Единственное* удовольствие. Но кончаю, пора идти на процедуры.

Ваш друг А.

Этот новый способ лечения я применяю так же добросовестно, как и прежние. Смешно, не правда ли? Обращение врача со мной странно изменилось. Так, хотя он замечает, что мне лучше, он не смеет сказать мне об этом, избавляет меня от обычных «вы

сами видите...» и т. д. Но зато чаще навещает меня, приносит газеты, пластинки, всячески выказывает мне свое расположение. Вот ответ на Ваш вопрос. Нигде мне не было бы удобнее ждать конца, чем здесь.

Госпиталь № 23 в Руайяне,
Нижняя Шаранта... 29 июня 1918 г.

Господин доктор!

Уехав из Гвинеи осенью 1916 года, я получила Ваше письмо от мая месяца сего года только сейчас, в Руайяне, где я работаю сестрой в хирургическом отделении. Я действительно вспоминаю о посылке, о которой Вы упоминаете в Вашем письме, но не так все ясно помню, чтобы ответить на все Ваши вопросы. Я совсем не знала ту особу, которая дала мне это поручение для Вас, и в нашу больницу ее приняли в очень тяжелом состоянии — в приступе желтой лихорадки, от которой она умерла через несколько дней, несмотря на все старания доктора Лансело. Было это, думаю, весной 1915 года. Помню также, что ее срочно высадили из-за болезни с пакетбота, который остановился у нас в Конакри. Когда я была на ночном дежурстве, больная пришла в себя на короткое время — а то она не переставая бредила — и дала мне эту вещь и Ваш адрес. Могу заверить, что она мне не поручала Вам писать. Должно быть, она прибыла на пакетботе совсем одна, потому что ее никто не навещал за эти два-три дня, пока длилась агония. Думаю, что она погребена в общей могиле, на европейском кладбище. Директор госпиталя, г-н Фабри, если он только еще там, мог бы разыскать записи в книгах и сообщить Вам имя этой дамы и дату ее кончины. Очень жаль, что у меня лично не сохранилось никаких воспоминаний, которыми я могла бы с Вами поделиться.

Примите, господин доктор, и т. д.

Люси Бонне.

P. S. Распечатала письмо, чтобы сообщить Вам еще следующее. Я вспомнила, у этой дамы был большой черный бульдог, которого она называла не то Гирт, не то Гирш и которого она звала все время, когда приходила в себя, но его нельзя было держать в отделении, потому что это запрещено правилами. Собака была очень злая. Одна моя приятельница-сиделка взяла ее себе, но пес доставил ей много хлопот, с ним никак нельзя было справиться, и в конце концов пришлось его отравить.

XVI

ДНЕВНИК АНТУАНА

ИЮЛЬ

Мускье, 2 июля 1918 г.

Только что в коротком полузабытьи сна видел Жака. Уже на исходе ночи, не могу восстановить все звенья. Действие происходило на Университетской улице, в прежние времена, на первом этаже. Вспомнил то время, когда мы жили вместе, были так близки. Среди прочих воспоминаний: день, когда Жак вышел из исправительного заведения и я поселил его у себя. Я сам взял его к себе, чтобы освободить от опеки отца. И все же я не мог подавить какое-то очень гадкое, враждебное чувство, вроде эгоистического раскаяния. Помню очень хорошо, что я подумал: «Пожалуй, пусть живет у меня, но лишь бы это не нарушило моих привычек, не помешало работе, моему успеху». *Успех!* На протяжении всей моей жизни этот рефрен *«успех!»* — мой девиз *преуспеть* — моя единственная цель, пятнадцать лет трудов, а сейчас это слово *преуспеть*, на этой постели,— какая ирония!

Тетрадка. Вчера по моей просьбе наш эконом купил мне тетрадку в писчебумажном магазине в Грассе. Ребячество больного? Все может быть. Увидим. Мои письма к Женни показывают, какое облегчение я испытываю, записывая свои мысли. Никогда, даже в шестнадцать лет, я не вел дневника, как Фред, Жерброн и многие другие. Немного поздновато. Не настоящий дневник, а просто так: отмечать, если придет охота, мысли, которые меня мучают. Из гигиенических соображений, конечно. В больном мозгу, измученном бессонницей, любая мысль становится навязчивой. Писание облегчает. И потом все-таки развлечение, убиваешь время. Убивать время — мне, который некогда считал, что его так мало. Даже на фронте, даже этой зимой в клинике я жил со страшным напряжением сил, я всю жизнь не упускал ни часу, теряя представление о беге времени, не сознавая настоящего. А с того момента, как мои дни сочтены, часы стали нескончаемо долгими.

Ночь провел сносно. Утром 37,7.

Вечером.

Усилилась одышка. Температура 38,8. Межреберные боли. Нет ли поражения со стороны плевры?

Изгнать призраки, пригвоздить их к бумаге.

Целый день думал над вопросом о наследстве. *Организовать* свою смерть. (Какая упорная забота об *организации!* Но сейчас ведь дело не во мне, а в них, в мальчике.) Десятки раз считал

и пересчитывал — продажа виллы в Мезоне, сдача внаем дома на Университетской улице, продажа лабораторного оборудования. Или же сдать помещение какому-нибудь предприятию химических изделий? Штудлер мог бы этим заняться. Или, на худой конец, мог бы организовать разборку аппаратуры и найти покупателя.

Не забыть о Штудлере, который после войны очутится без работы и средств.

Оставить записку ему и Жуслену относительно документов, записей. (Библиотека при факультете?)

3 июля.

Люка́ сообщил мне результаты анализа крови. Явно плохие. Бардо своим тягучим голосом вынужден был подтвердить: «Не блестяще». Где моя чудесная прежняя кровь! Когда я выздоравливал в Сен-Дизье, после первого ранения, как я верил в то, что сколочен крепко! Как гордился составом своей крови, быстрым зарубцеванием! И у Жака такая же кровь — кровь Тибо.

Спросил Бардо о возможности осложнения на плевру: «Недостает только, чтобы у меня началось нагноение...» Наш добродушный великан пожал плечами, внимательно осмотрел меня. Говорит, что бояться нечего.

Кровь Тибо. Кровь Жан-Поля! Моя прекрасная кровь прежних времен, наша кровь, теперь ее поток бьется в артериях этого малыша!

Во время войны я ни разу не принимал мысли о смерти. Ни разу, даже на секунду, не хотел пожертвовать своей шкурой. И даже сейчас отказываюсь принести себя в жертву. Я больше не могу строить иллюзий, я обязан отдать себе отчет, ждать неминуемого. Но я не могу *принять* и не могу примириться, то есть стать *соучастником.*

Вечером.

Я отлично знаю, в чем могли бы проявиться разум, мудрость, человеческое *достоинство*: в том, чтобы снова осознать мир и его непрерывное становление как таковое. Не через мою личность и мою близкую смерть. Запомнить твердо, что я — лишь незначительная частица вселенной. Негодная частица. Ну что ж. Ничего не поделаешь! Что́ это по сравнению со всем тем, что будет продолжать свое существование после меня?

Незначительная — да, но я-то придавал ей такое огромное значение!

Однако, попытаемся.

Не позволять индивидуальному ослеплять себя.

4 июля.

Сегодня славное письмо от Женни. Много очаровательных подробностей о Жан-Поле. Не мог удержаться и прочел эти строчки Гуарану, который помешан на своих двух малышах. Надо, чтобы Женни сфотографировала его.

Надо также решиться написать *то письмо*. Трудно. Должен сделать это в первую же ночь, как отдышусь.

Какое чудо, именно чудо,— появление этого ребенка как раз в тот момент, когда обе линии — отцовская и материнская, Тибо и Фонтанены — уже почти угасли, не произведя ничего стóящего! Какие черты унаследовал он от матери? Лучшие, надеюсь. Но одно я знаю наверное, в одном не сомневаюсь — в ребенке течет наша кровь. Решительный, волевой, умный. Сын Жака, настоящий Тибо.

Весь день думал о нем. Этот неожиданный прилив живительных соков, который выгоняет в назначенный час новую ветвь из нашего ствола... Действительно ли безумие воображать, что это какое-то предназначение судеб? Какой-то высший промысел? Фамильная гордыня, безусловно. Но почему бы в этом ребенке не видеть предназначения? Завершения смутных стремлений целого рода, направленных на создание высшей разновидности семейства Тибо? Гений, которого природа обязана неминуемо создать после того, как она создавала лишь несовершенные прообразы его: моего отца, моего брата и меня? Эти неукротимые порывы ярости, эта властность, которые жили уже в нас, прежде чем перейти в него, почему на сей раз не расцвести им, не стать подлинно творческой силой?

Полночь.

Бессонница. «Изгонять» призраки.

Вот уже полтора месяца, семь недель, как я узнал, что безнадежен. Эти слова: *узнать*, что *безнадежен*, эти слова, которые я только что написал, так похожи на все остальные, и все думают, что понимают их, и, однако, никто, кроме осужденных на смерть, не может до конца проникнуть в их смысл... Молниеносный переворот, который сразу опустошает всего человека.

И все же, казалось бы, что врач, который живет в постоянном общении со смертью, должен бы... Со смертью? С чужой смертью. Пытался не раз найти причины этой физической невозможности приятия смерти (что, быть может, обусловлено моей жизнеспособностью, ее особыми свойствами. Мысль, которая пришла мне сегодня вечером).

Эту мою былую жизнеспособность, эту активность, которую я старался непрерывно применять на деле, это умение вновь и вновь

вставать на ноги, сопротивляемость — все это я объясняю в значительной степени свойственной мне потребностью продолжить себя через созидание: «пережить себя». Инстинктивный страх исчезнуть бесследно (присущий всем, конечно, но в весьма различных степенях) у меня — наследственный. Много думал об Отце. Его навязчивое желание всему присвоить свое имя: своим исправительным колониям, премиям за примерное поведение, площади в Круи, желание,— впрочем, осуществившееся,— видеть свое имя — *«Основано Оскаром Тибо»* — на фронтоне исправительных заведений, желание, чтобы имя Оскар (единственное, что в его документах принадлежало только ему, а не всей семье) носило все его потомство и т. д. Мания нацеплять свои вензеля буквально повсюду: на ворота сада, на сервизы, на корешки книг, даже на спинки кресел!.. Это не просто инстинкт собственника (или, как я тогда думал, признак тщеславия). Великолепная потребность бороться против исчезновения, оставить след по себе. (Загробная жизнь, потусторонняя жизнь, по-видимому, не устраивала.) Потребность, которую унаследовал и я. Я тоже таил надежду связать свое имя с каким-нибудь своим творением, которое пережило бы меня, с открытием и т. д.

Да, от отцовского наследия не уйти!

Семь недель, пятьдесят дней и ночей лицом к лицу с *уверенностью*! Без минуты колебаний, сомнений, иллюзий. Однако,— это-то мне и хочется отметить,— в подобном состоянии одержимости есть свои просветы, короткие интервалы, минуты не то чтобы полного забвения, нет, но ослабления навязчивой мысли... У меня бывают, и все чаще и чаще, мгновения, две-три минуты, максимум — пятнадцать — двадцать, в течение которых уверенность, что я умру, отступает на задний план, чуть-чуть мерцает. Когда я снова могу жить, внимательно читать, писать, слушать, спорить, одним словом — интересоваться чем-то вне моего состояния, как будто я освобождаюсь от некоего гнета, владеющего мной; однако одержимость остается, я не перестаю все время ощущать ее на заднем плане, в каком-то уголке. (Ощущение, что *она* здесь, не покидает меня даже во сне.)

6 июля, утро.

Начиная с четверга — улучшение. Когда я перестаю страдать, все мне кажется хорошим, почти прекрасным. В утренних газетах статья об успехах итальянцев в дельте Пьявы, пожалуй, доставила мне давно не испытанное удовольствие. Хороший признак.

Ничего не писал вчера. Когда я вышел в сад, спохватился, что оставил тетрадь в комнате. Лень было подыматься, но весь вечер

мне чего-то недоставало. Начинаю входить во вкус этого времяпрепровождения.

Некогда писать сегодня. Многое надо занести в черную тетрадку. Заметил, что стал понемногу забрасывать тетрадь, с тех пор как веду дневник. Довольствуюсь только коротенькими записями. Между тем важна именно черная тетрадка, она должна быть на первом месте. Поделить все на две части: *дневник* — для «призраков» и *черная тетрадка* — для наблюдений над собой, записей температуры, процедур, результатов лечения, вторичных реакций, процесса интоксикации, разговоров с Бардо и с Мазе и т. д.

Я не преувеличиваю значения этих заметок, но все же считаю, что ежедневные записи с первого дня болезни, которые ведет больной, отравленный газами, больной и врач одновременно, могут, при современном состоянии науки, составить сводку клинических наблюдений, польза которых бесспорна. Особенно если довести их *до самого конца*. Бардо обещал опубликовать их в «Бюллетене».

Вчера уехал наш толстяк Делаэ. Выписан как выздоравливающий. Верит, что поправился совсем. Быть может, и так, кто знает? Зашел ко мне попрощаться. Держался неловко, делал вид, что опаздывает и торопится. Не сказал мне на прощание: «Еще увидимся»,— или что-нибудь в этом роде. Жозеф, который убирал мою комнату, должно быть, заметил это, потому что, как только за Делаэ закрылась дверь, сразу же сказал: «Вот видите, господин майор, выкарабкаться не так уж трудно!»

Я чуть было не написал сейчас: «Если я еще живу, то только благодаря моим врачебным записям». Уяснить себе вопрос о *самоубийстве*. Пора наконец сознаться, что черная тетрадка — только предлог. Каких только комедий не разыгрываешь перед самим собой! Странно. Мне неприятно сознаваться, что я никогда не испытывал по-настоящему желания покончить с собой. Никогда, даже в самые худшие минуты! Если нужно было решиться на такой шаг, так это в Париже, в то самое утро, когда я купил ампулы, которые... Я действительно об этом думал, садясь в поезд... И с того утра я начал комедию с записями. Как будто существует некий последний долг, который необходимо выполнить, прежде чем исчезнуть. Как будто я обязан был закончить труд целой жизни, как будто я в самом деле верю, что эти врачебные записи могут преодолеть, уравновесить соблазн. Недостаток мужества? Нет и еще раз нет! Если бы искушение было подлинным, страх меня не удержал бы. Нет. Не мужества мне не хватало, а желания. Истина в

том, что искушение всякий раз было слишком мимолетным. И я без труда отгонял его от себя (симулируя силу духа и ухватившись за предлог: надо, мол, вести записи...).

И, однако, если только смерть не наступит внезапно,— что, увы, маловероятно — я знаю, что не буду ждать естественного конца, я это *знаю*. Здесь я искренен и полностью отдаю себе отчет в этом. Мой час наступит, в этом я уверен. Нужно только дождаться его. Ампулы здесь, у меня под рукой. Одно движение руки. (Вопреки всему, эта мысль умиротворяет).

Вечером.

Перед завтраком Гуаран принес нам на веранду швейцарскую газету, где полностью помещена последняя речь Вильсона. Он прочел ее вслух. Волновался, и мы тоже. Каждое послание Вильсона — как поток свежего воздуха, проносящийся над Европой. Невольно приходит на мысль обрушившаяся шахта, куда накачивают кислород, чтобы заживо погребенные не задохнулись, могли бы дождаться, пока подоспеет помощь.

7 июля, 5 часов утра.

Навязчивая мысль. Стена, я наталкиваюсь на стену. Подымаюсь, бросаюсь снова, снова стена, я снова падаю и снова начинаю все сначала. Стена. В какие-то мгновения — сам тому не веря ни на секунду — я стараюсь внушить себе, что, может быть, это неправда, что, может быть, я не обречен. Только предлог, чтобы вновь и вновь строить всю цепь рассуждений, которые каждый раз неизбежно бросают меня на эту стену.

После обеда, в саду.

Перечел послание Вильсона. Гораздо более ясное, чем предыдущее. Уточняет свою концепцию мира, перечисляет условия, необходимые для того, чтобы урегулирование было «окончательным». Проект, волнующий своим размахом: 1) упразднение во всем мире политических систем, способных привести к новым войнам; 2) никаких изменений границ или пределов территорий без предварительного совещания заинтересованных держав; 3) принятие всеми государствами кодекса *международного права*, законы которого они все обяжутся соблюдать; 4) создание международной организации с функциями *арбитражного суда*, где будут представлены, без всяких различий, *все* нации цивилизованного мира.

(Я с каким-то детским удовольствием переписываю эти слова, заношу их в свой дневник. Ощущение большей причастности, сотрудничества.)

Эта тема у всех на устах. Пламя надежды озаряет все лица. И как волнует мысль, что точно так же чувствуют себя повсюду, во всех городах Европы, Америки! Отзвуки этой речи в каждой части, отведенной на отдых, в каждом уголке окопа! Все ведь так устали убивать друг друга в течение четырех лет! (Убивать друг друга в течение веков по приказу правителей...) Этого призыва к разуму ждали. Будет ли он услышан власть имущими? Только бы хоть на сей раз взошли семена, и взошли повсюду! Цель так ясна, так разумна, так отвечает самому предназначению человека, нашим сокровеннейшим инстинктам! Осуществление этого замысла породит тысячи проблем, потребует длительных усилий; но можно ли сомневаться в том, что именно на этот, и только на этот, путь должно любой ценой стать человечество завтрашнего дня? Четыре года войны, и единственный результат ее — истребление людей, груды развалин. Самые безрассудные паладины завоеваний вынуждены признать, что война стала для человека, для государства катастрофой, которую ничто не может окупить!

Итак? Раз вся нелепость войны доказана на опыте, раз к этой мысли приводят соображения политиков, вычисления экономистов, инстинктивное возмущение масс,— что сможет помешать установлению прочного мира?

После завтрака — приступ удушья. Укол. Потом отдых в шезлонге, в тени олив. Слишком устал, чтобы взяться за письмо к Женни, хотя очень хочется ей написать.

Присутствую при споре между Гуараном, Бардо и Мазе. Основная идея Вильсона: система международного арбитража. На этом никто ничего не теряет, а выгоды для каждого государства неисчислимы. И еще одно, о чем редко думают: деятельность этого высшего трибунала оградит больное самолюбие, чувствительность наций, что столько раз приводило к войне. Гордость и престиж народов, правительств или отдельных правителей — как бы мнительны они ни были — будут меньше страдать, подчиняясь решениям международного суда, вершащего дела во имя общих интересов всех государств, чем сейчас, когда приходится капитулировать перед угрозой соседа или под давлением враждебной коалиции. Этот трибунал (говорил Гуаран) должен быть учрежден, как только кончатся военные действия, и, во всяком случае, до сведения счетов. И тогда условия мира будут устанавливаться не сварливой распрей противников, а спокойным и мирным обсуждением, международным Сообществом наций; оно будет судить с недосягаемой высоты, определит ответственность каждого и обеспечит беспристрастность приговоров.

Сообщество наций. Единственное средство, и средство безошибочное, чтобы сделать в будущем невозможными войны; ибо, когда государству будет угрожать другое государство или нападет на него, все государства автоматически объединятся против агрессора и силой парализуют его действия, принудив его подчиниться арбитражу.

Надо смотреть еще дальше. Это Сообщество наций должно быть застрельщиком подлинно *интернациональной* политики и экономики, должно привести к всеобщему организованному сотрудничеству, которое будет наконец осуществлено в масштабе всей планеты. Новый этап, этап решающий для судеб нашей цивилизации.

Гуаран высказал по этому поводу много весьма разумных мыслей. Вспоминаю, что нередко бывал несправедлив по отношению к Гуарану. Меня раздражали его манеры типичного питомца Эколь Нормаль, который корчит из себя всезнайку. Да и тон его также: как будто он все еще вещает с кафедры учителя истории в лицее Генриха IV... Но он и правда много знает. Следит за ходом событий, ежедневно читает девять-десять наших газет, получает каждую неделю кучу швейцарских газет, журналов. Короче говоря, ум вполне уравновешенный. (Я всегда питал слабость к *уравновешенным.)* Старается разобраться в современных событиях, отступив от них на какое-то расстояние, как истый историк, и это меня пленяет.

Вуазене также принял участие в споре («Гуаран и Вуазене,— говорит Бардо,— единственные в клинике, у которых почти не затронуты голосовые связки... Вот они и пользуются»).

Сегодня чувствовал себя неплохо. Больше, чем уколам, я обязан этим, пожалуй, Вильсону!

Прибавлю от себя: Сообщество наций поможет создать на развалинах этой войны нечто абсолютно новое — мировую совесть. И человечество сделает решительный скачок к справедливости и свободе.

11 часов вечера.

Просматривал газеты. Словоблудие, мерзкое скудоумие. Кажется, Вильсон сейчас действительно единственный государственный деятель, которому дано широко смотреть на вещи. Демократический идеал в самом благородном понимании этого слова.

По сравнению с ним наши французские (или английские) демагоги кажутся мелкими *аферистами.* Все они в той или иной степени орудие тех самых империалистических традиций, которые они притворно осуждают, когда речь идет об их противниках.

Говорил об Америке и демократии с Вуазене и Гуараном. Вуазене прожил несколько лет в Нью-Йорке. Устойчивость Соединенных Штатов, безопасность. Гуаран, увлекшись, предсказывает в припадке ясновидения, что в XXI веке страны Европы будут покорены желтой расой, а будущее белой расы ограничится Американским континентом.

2 часа утра.

Бессонница. Забылся на минуту, видел во сне Штудлера. Париж, лаборатория. Халиф в халате, кепи на голове, бородка коротко подстрижена. Я с жаром рассказываю ему что-то, что — уже не помню. Может быть, о Вильсоне или о Сообществе наций... Он оглядывается и косится на меня через плечо большим влажным глазом: «Черта ли тебе в этом, раз ты все равно подохнешь?»

По-прежнему думаю о Вильсоне. (Да не осудит меня Халиф.) Вильсон, кажется мне, предназначен к той роли, которую он взял на себя. Чтобы конец этой войны стал концом всех войн вообще, мир должен быть делом человека нового, человека со стороны, не отягощенного ни старыми счетами, ни злобой; человека, который ничем не был бы похож на наших европейских заправил, вот уже четыре года бьющихся в судорогах войны, в остервенении стремящихся раздавить противника. Вильсон человек другого полушария. Представитель страны, которая является воплощением союза в условиях мира и свободы. И за ним стоит четверть обитателей земного шара! Каждый здравомыслящий американец не может не думать: «Если мы сумели построить наше государство и сохранить в течение столетия прочный и конструктивный мир, почему же невозможно создание Соединенных Штатов Европы?» Вильсон продолжает линию Георга Вашингтона и прочих. (Он сам сознает это. Намекает на это в своей речи.) Того Вашингтона, который ненавидел войну и который тем не менее воевал, дабы избавить от войны свою страну. Про себя он думает (по словам Гуарана), что таким путем освободит весь мир; что, если ему удастся создать из этих маленьких враждующих государств обширную мирную конфедерацию, пример будет неотразимым для старого континента (которому понадобилось бы сто лет, чтобы это понять)!

Я пишу, а стрелки бегут по циферблату... Вильсон помогает мне держать *призраки* на почтительном расстоянии!

Волнующие проблемы, даже для «мертвеца в отпуску». В первый раз по возвращении из Парижа я почувствовал интерес к будущему. К тому будущему, которое начнется с окончанием войны. Всякая вера будет утрачена на долгие годы, если восстановленный мир не переплавит, не перестроит, другими словами — не сплотит истекающую кровью Европу. Да, если вооруженные силы останутся по-прежнему основным орудием политики государств, если каждая нация, скрывшись за своими пограничными столбами, будет по-прежнему единственным судьей своих поступков и не захочет обуздывать свои аппетиты; если федерация европейских государств не приведет к установлению *экономического мира*, как того хочет Вильсон, со свободным торговым обменом, с упразднением таможенных барьеров и т. д.; если эра международной анархии не отойдет окончательно в прошлое; если народы не принудят свои правительства установить наконец режим всеобщего порядка, основанного на праве,— тогда все придется начинать заново, тогда, значит, вся пролитая сейчас кровь была пролита понапрасну.

Но иной раз исполняются и самые смелые надежды. (Пишу это, словно и я тут буду «при чем-то»...)

8 июля.

Тридцать семь лет. Последняя годовщина!..

Жду колокола к обеду. Прачка со своей дочерью прошла через террасу, несут тюки белья. Вспоминаю, какое волнение охватило меня недавно, когда я понял — по необычайному выгибу поясницы, по стесненным движениям бедер,— что она беременна. Почти незаметно, месяца три, самое большое — четыре. Острое чувство страха, жалости, зависти, отчаяния! Человек, у которого нет будущего, и вот почти осязаемая тайна этого будущего! Этот зародыш, который еще так далек от жизни и которому предстоит прожить целую неведомую жизнь! Рождение новой жизни, которому не может помешать моя смерть...

В саду.

Вильсон по-прежнему занимает все умы. Бридж забыт. Даже в адъютантском «клубе» вот уже два часа разглагольствуют, не притрагиваясь к картам.

И газеты тоже полны комментариев. Бардо сказал сегодня: знаменательно, что цензура не препятствует умам волноваться миражами будущего мира. Хорошая статья в «Журналь де Лозанн». Цитируют речи Вильсона от января 1917 года: «мир без победы» и «последовательное ограничение национальных вооружений,

вплоть до всеобщего разоружения». (Январь 1917 года. Вспоминаю знакомые места, развалины позади высоты 304. Сводчатый потолок погреба, где помещалась столовая. Споры о разоружении с Пайеном и беднягой Зейертом.)

Не мог дописать. Вошел Мазе с анализом. Уменьшение хлористых соединений, и особенно фосфатов.

Погода грозовая, томящая. Едва дотащился до нории, чтобы послушать, как журчит вода. Все труднее и труднее становится читать, следить, не отвлекаясь, за развитием чужой мысли; за своей — еще куда ни шло. Этот дневник для меня — отдушина. Но ненадолго. Покуда возможно, пользуюсь отсрочкой.

Речь Вильсона от января 17-го года. *Разоружение.* Главная цель. Разговоры за столом по утрам. Все единодушны, за исключением Реймона. Говорились вещи, которые говорятся сегодня повсюду, но которых не посмели бы сказать, даже подумать не посмели бы, всего два года назад; армия — пиявка, сосущая кровь нации. (Образ разительный, образ *ad usum popoli:*[1] каждый рабочий, занятый вытачиванием снарядов, выбывает из рядов полезных тружеников и тем самым становится паразитом, существующим за счет коллектива.) Государство, где треть бюджета пожирается расходами на вооружение, не может существовать; всеобщее разорение или война — иного исхода нет. Нынешняя катастрофа возникла как роковое следствие роста вооружений, не прекращавшегося в течение сорока лет. Прочный мир немыслим без всеобщего разоружения. Истина, которую твердили сотни раз. Твердили понапрасну, и вот почему: в эпоху вооруженного мира наивно думать, что правительства, исповедующие примат силы над правом, готовые в любую минуту броситься друг на друга, бесповоротно втянутые в гонку вооружений,— наивно думать, что такие правительства решатся по взаимному согласию дать задний ход и откажутся от своей безумной тактики. Но все это может перемениться завтра, в час установления мира. Поскольку все страны Европы должны будут начать жизнь сначала. На пустом месте. Война доведет их до полного истощения, запасы оружия иссякнут, придется все делать сызнова, на новых основаниях. Приближается час из ряда вон выходящих событий, событий беспрецедентных,— час, когда всеобщее разоружение станет реально возможным. Вильсон понял это. Идея разоружения, провозглашенная им, не может не быть восторженно принята общественным мнением любой страны. Эти четыре года укрепили во всем мире инстинкт сопротивления войне, желание видеть, как на смену поединкам ар-

[1] Для народа *(лат.)*.

мий придет международная мораль в качестве единственного средства решения конфликтов между народами.

Надо, чтобы все это огромное большинство людей, которые хотят мира, навязало ничтожному меньшинству, заинтересованному в разжигании войны, свою мощную организацию, способную отстаивать мир в будущем. Некую *Лигу наций,* располагающую в случае необходимости международной полицией и облеченной властью арбитра, способного запретить навсегда применение силы. Пусть правительства устроят плебисцит по этому вопросу; в исходе не приходится сомневаться!

Сегодня утром за столом, конечно, один лишь майор Реймон негодовал против Вильсона и называл его «фанатичным пуританином, совершенно не разбирающимся в европейской действительности». Точь-в-точь Рюмель, тогда, у «Максима». Гуаран дал ему отпор: «Если мир не будет действительным миром, если мы не проникнемся заботой о справедливости, о создании единой Европы,— то мир этот, за который миллионы несчастных парней заплатили так дорого, окажется просто очередным договором, пародией на мир и будет неизбежно сметен стремлением к реваншу со стороны побежденных!» — «Знаем мы, чего стоят и как долго существуют Священные союзы»,— сказал Реймон. Тут я тоже вмешался в спор, и Реймон ответил мне довольно остроумно (даже очень неглупо, если хорошенько вдуматься, и менее парадоксально, чем кажется на первый взгляд): «Вы, Тибо, всегда были чересчур реалистом и потому так легко поддаетесь обаянию утопий!» (Разобраться в этом.)

Первые капли дождя. Хоть бы гроза принесла нам прохладную ночь!

9 июля, на рассвете.

Плохая ночь. Удушье. Не спал и двух часов и просыпался десятки раз.

Думал о Рашели. Этими жаркими ночами запах ее ожерелья непереносим. И она тоже нелепо погибла на больничной койке. Одна. Все мы, когда наступает конец, одиноки.

Внезапно пришла мысль, что сегодня утром, как и каждое утро, в этот самый час где-то в окопах тысячи несчастных ждут сигнала к атаке. Я цинично силился найти в этом утешение. И не мог. Скорее уж завидовал им (ведь они здоровы и могут на что-то надеяться), чем жалел за то, что им придется выйти из окопа на открытое пространство.

У Киплинга, которого я пытаюсь читать, мне попалось слово «юношеский». Я думаю о Жаке... *Юношеский.* Этот эпитет так подходил к нему! Он навсегда остался подростком. (Посмотреть

в энциклопедии, что составляет характерные черты подростка. У Жака были они все: и пыл, и крайности, и чистота; отвага, и застенчивость, и вкус к абстракциям, и отвращение к полумерам, и обаяние, которое дается тем, кому неведом скептицизм...)

А останься он жив, он был бы и в зрелые годы только состарившимся юношей?

Перечел сегодня ночью мои записи.

Слова Реймона: утопия... Нет. Я всегда остерегался — может быть, даже слишком,— пустых увлечений, иллюзий. Всю жизнь придерживался правила, не помню чьего: «Худшее помрачение рассудка, когда веришь в существование чего-то, лишь потому, что желаешь этого». Нет и нет. Когда Вильсон заявляет: «Мы хотим только одного — чтобы общество очистилось и чтобы в нем стало возможно жить»,— против этого мой скептицизм восстает. У меня нет достаточных иллюзий насчет нашей способности совершенствоваться, чтобы верить, будто мир, устроенный руками человека, может быть беспорочным. Но когда тот же Вильсон добавляет: «И чтобы это общество было *надежным* для миролюбивых наций»,— тут я с ним согласен. Это не химера. Ведь добилось же общество от индивидуумов отказа самовольно вершить свои дела и согласия подчинять свои споры воле суда. Почему же нельзя помешать правительствам натравливать народы друг на друга, когда возникают какие-нибудь раздоры? Война, по-вашему, закон природы? Но ведь и чума тоже. Вся история человечества есть победоносная борьба против злых сил. Сумели же главные нации Европы шаг за шагом выковать свое национальное единство; почему же этому движению, разрастаясь, не привести к всеевропейскому единству? Новый этап, новый уровень социального инстинкта. «А патриотические чувства?» — спросит меня майор Реймон. Но ведь к войне толкает не чувство патриотизма, чувство вполне естественное, а чувство националистическое, чувство благоприобретенное и искусственное. Привязанность к своей родной почве, любовь к местному диалекту, традициям еще не предполагает свирепой враждебности к своему соседу. Пример: Пикардия и Прованс, Бретань и Савойя. В объединенной Европе патриотические чувства будут лишь приметами привязанности к родному углу.

«Химеры». Криком о химерах они, должно быть, надеются подорвать предложения Вильсона. Неприятно, читая газеты, убеждаться в том, что самые благосклонные к американским проектам журналисты называют Вильсона «великим визионером», «пророком будущих времен» и т. д. Вот уж нисколько! Меня как раз поражает в нем *здравый смысл*. Идеи его простые, новые и в то

же время старые,— они вытекают из многих уже делавшихся в истории попыток и опытов. Не сегодня-завтра Европа очутится на великом распутье; либо реорганизация по федеративному принципу, либо возврат к режиму непрерывных войн, до всеобщего полного истощения. Если, вопреки всему, Европа отвергнет разумный мир, предложенный Вильсоном,— в то же время являющийся единственно подлинным, единственно прочным миром, миром окончательного разоружения,— она убедится вскоре (и кто знает, какой ценой!), что снова зашла в тупик и снова обречена на резню. К счастью, это маловероятно.

Вечер.

Ужасный день. Опять отчаяние. Кажется, будто проваливаешься в открытый люк... Я заслуживал лучшей участи. Я заслуживал (самонадеянность?) того, «прекрасного будущего», которое сулили мне мои учителя, мои товарищи. И вдруг, на повороте окопа, струя газа... Западня, капкан, поставленный судьбой!..

Три часа. Сильное удушье, не могу спать. Дышу только в сидячем положении; подложил под спину три подушки. Зажег свет, решил принять капли. И пишу.

У меня никогда не было ни времени, ни вкуса (романтического) вести дневник. Жалею об этом. Если бы мог сейчас, сегодня иметь вот здесь, под руками, записанное черным по белому все мое прошлое, начиная с пятнадцатилетнего возраста, я острее ощутил бы, что оно действительно существовало; моя жизнь обрела бы объемность, весомость, реальность очертаний, плоть истории; она не была бы чем-то текучим, бесформенным, как полузабытый сон, при пробуждении неуловимый для сознания. (Точно так же увековечивается ход болезни, отмечаемый кривой температуры.)

Я начал эти записи, чтобы изгнать «призраки». Так я, по крайней мере, думал. В сущности, сотни неясных побуждений: желание отвлечься, повозиться с самим собой, а также спасти хоть какую-то частицу этой жизни, этой индивидуальности, которой скоро не будет и которой я некогда так гордился. Спасти? Для кого? Для чего? Нелепость, ибо у меня не останется времени, досуга, чтобы перечитать эти страницы. Для кого же? *Для Малыша!* Да, мне стало это ясно только сейчас, в часы бессонницы.

Он прекрасен, этот малыш, он крепок, он тянется, как молодой дубок; все будущее, мое будущее, будущее всего мира в нем! С тех пор как я его увидел, я не переставая думаю о нем, и мысль, что он не сможет думать обо мне, мучает меня. Я останусь для него незнакомцем, он ничего обо мне не узнает, я не оставляю ему

ничего,— только несколько фотографий, немного денег и имя «дядя Антуан». Ничего,— мысль, временами просто нестерпимая. Если бы у меня хватило терпения в течение этих месяцев отсрочки вести день за днем эти записи... Быть может, когда-нибудь, маленький Жан-Поль, тебе любопытно будет сыскать мой след, отпечаток меня, последний отпечаток, след шагов человека, который ушел? Тогда «дядя Антуан» станет для тебя не просто именем, карточкой в альбоме. Конечно, этот образ не может быть схож: нет сходства между тем человеком, которым я был некогда, и этим больным, которого сглодал недуг. Однако это будет нечто; все-таки лучше, чем ничего! Цепляюсь за эту надежду.

Слишком устал. Лихорадит. Дежурный санитар заметил, что у меня горит свет. Я попросил у него еще одну подушку. Капли совсем не действуют. Попрошу у Бардо чего-нибудь другого.

В темноте голубоватое пятно окна. Луна? Или уже рассвет? (Десятки раз после тревожного короткого забытья,— трудно сказать, сколько оно длилось,— я включал свет, чтобы взглянуть на часы, и с отчаянием видел на циферблате насмешливое: 1 час 10 минут... 1 час 20 минут!)

Четыре часа тридцать пять минут. Это уже не луна. Это бледность предрассветного неба! Наконец-то!

11 июля.

Горькая, раздражающая мягкость этих дней, смутного страдания все в той же постели...

Завтрак окончен. (Эти бесконечные трапезы за маленьким больничным столиком, придвинутым вплотную к постели, томительные паузы, которые выводят из себя, отбивают последний аппетит. Ждешь не дождешься, покуда появится Жозеф с подносом — крошечные детские порции на блюдечке.) А потом от двенадцати до трех пустые и спокойные часы, похожие своим безмолвием на ночь, прерываемые кашлем в других палатах; и я сразу узнаю, кто кашляет, даже не вслушиваясь,— как знакомые голоса.

В три часа — термометр, Жозеф, шаги в коридоре, голоса в саду, жизнь...

12 июля.

Два грустных дня. Вчера просвечивание. Бронхиальные ганглии еще увеличились. Я это чувствовал давно.

Кюльману, произнесшему в рейхстаге столь умеренную речь, пришлось выйти в отставку. Как показатель настроения в Германии — это плохо. Зато подтвердились слухи о наступлении итальянцев в дельте Пьявы.

Вечер.

Не вставал с постели. Хотя день прошел менее мучительно, чем я опасался. Даже сумел принять гостей — Дарро, Гуарана. Утром была длительная консультация с Сегром; за ним посылал Бардо. Не нашли ничего особо тревожного, серьезного ухудшения нет. А вокруг меня все предаются самым радужным надеждам. И хотя я не перестаю себе твердить, что не следует принимать желания за действительность, чувствую, что меня самого захватывает волна веры. Теперь уже ясно видно, что мы продвигаемся: Виллер-Котре, Лонгпон... IV армия... (Если славный Теривье все еще там, ему, должно быть, здорово пришлось поработать!) Не забудем также разгром австрийцев, и разгром окончательный. И новый фронт на востоке — с Японией. Но Гуаран, вообще хорошо осведомленный, утверждает, что с того момента, как стали бомбардировать Париж, моральное состояние заметно пошатнулось, даже на передовой, где солдаты с трудом представляют себе, что их жены, дети подвергаются такой же опасности, как и они сами. Гуаран получает много писем. Больше нет сил выносить войну. И нет желания. Только бы она кончилась, любой ценой!.. Быть может, скоро кончится благодаря подмоге американцев. Я вижу в этом хотя бы то преимущество, что если наши правители предоставят Америке возможность закончить войну, они вынуждены будут предоставить ей и заключение мира — американского мира, мира Вильсона, а не наших генералов.

Если завтра состояние не ухудшится, напишу наконец Женни.

16 июля.

Сильно страдал все эти дни. Нет сил, нет вкуса ни к чему. Дневник лежит рядом, но нет охоты открыть его. Едва хватает духу вести каждый вечер записи о состоянии здоровья в черной тетрадке.

С сегодняшнего утра как будто чувствую себя лучше. Приступы удушья реже и короче, кашель не такой глубокий, терпимый. Может быть, это результат лечения мышьяком, возобновленного с воскресенья? Значит, и на сей раз вспышка пресечена?

Бедняга Шемри совсем плох! Явления септицемии. Рассеянные очаги гангренозной бронхопневмонии. Безнадежен.

У Дюпле — гнойный флебит вены на правой ноге!.. То же самое и с Бертом и Ковеном!

Все, что дремлет в *тайниках!* (Например, все те неведомые мне самому семена, которые проросли во мне под влиянием вой-

ны... Даже семена ненависти и ярости, даже жестокости. И презрение к слабым... И страх, и т. д. ... Да, война помогла мне открыть в себе самые гадкие инстинкты, то, что на дне человеческой натуры. Отныне я буду способен понять все слабости, все преступления, ибо подметил их в самом себе — как зародыш, как склонность.)

17 июля, вечер.

Явное улучшение. Надолго ли?

Воспользоваться этим, чтобы написать наконец *то письмо.* Писал после обеда. Изорвал несколько черновиков. Трудно взять верный тон. Сначала думал подготовить почву, подойти издалека. Но потом решился написать всего одно письмо, длинное и исчерпывающее. Будем надеяться. Если Женни такова, какой она мне кажется, то лучше говорить с ней напрямик. Постарался представить это дело как простую формальность, необходимую в интересах мальчика.

Вечерний обход закончен. Впереди целая ночь. Успею перечитать письмо и решу, стоит ли его отсылать.

Наступление немцев в Шампани. Роша́, должно быть, в самом пекле. Что это? Начало их пресловутого плана: достичь Марны, дойти до Сен-Миеля, взять в кольцо Верден и повернуть на запад в направлении Марны и Сены? Они уже продвинулись на север и юг от Марны. Дорман под угрозой. (Как сейчас, вижу этот городок: мост, соборную площадь, госпиталь напротив собора.) Как далеко еще до развязки! Никакой надежды увидеть хотя бы первые признаки ее приближения. Возьмем даже лучший вариант, 1919 год, год вступления в дело американских войск, год, так сказать, ученичества; 1920 год, год упорной, решительной борьбы; 1921 год, год капитуляции Центральных держав, Вильсонова мира, демобилизации...

В последний раз перечел письмо. Тон довольно верный, без недомолвок, и аргументы весьма убедительны. Не может Женни их не понять и не согласиться с ними.

18-е, утро.

Сейчас видел Сегра в одном нижнем белье. В таком виде он ничуть не похож на г-на Тьера!

После обеда, в саду.

Записать то, что произошло сегодня утром.

Встал пораньше, чтобы успеть отправить письмо с машиной экономa.

Подойдя к окну, чтобы опустить штору, я вдруг увидел в одном полуоткрытом окне флигеля № 2 г-на Сегра, профессора Сегра, совершающего свой утренний туалет. Полуголый, в трикотажных кальсонах (худой зад, как у старого верблюда!), волосы мокрые, гладкие, прилипли к черепу... Он усердно чистил зубы. Я так привык видеть Сегра этаким Тьером, того Сегра, каким он показывает себя нам; торжественный, церемонный, затянутый в мундир, с торчащим хохолком на голове, подбородок задран, чтобы казаться выше хотя бы на полсантиметра,— поэтому-то я не сразу его узнал. Я смотрел, как он выплевывал мутную воду, потом нагнулся к зеркалу, засунул пальцы в рот, вытащил вставную челюсть, озабоченно осмотрел и обнюхал ее с любопытством животного. Тут я отпрянул от окна, отошел на середину комнаты, смущенный, *взволнованный* непонятно чем; я испытал вдруг к этому чванливому сухарю, странно сказать, даже какое-то братское чувство...

Такие вещи случаются со мной уже не в первый раз. Если не по отношению к Сегру, то по отношению к другим. Уже несколько месяцев я живу здесь в непрерывном общении, в непосредственной близости с врачами, санитарами, больными. Я прекрасно изучил их внешность, их жесты, склонности — настолько, что безошибочно узнаю любого по затылку, даже не подойдя близко к креслу, или по руке, вытряхивающей пепел за окно, или по звукам голосов, доносящихся из-за ограды фруктового сада. Но мое товарищеское к ним отношение всегда было ограничено рамками самой банальной сдержанности. Даже в те времена, когда я был, как и все, беззаботным, общительным, я постоянно чувствовал себя отделенным от них какой-то непроницаемой перегородкой, чужим среди чужих. Как могло быть, что это чувство обособленности вдруг бесследно растаяло, уступив место братскому порыву, даже нежности, стоило мне только застигнуть кого-нибудь в глубинах его одиночества? Сотни раз, когда нечаянно (случайное отражение в зеркале, случайно открылась дверь) я подмечал какой-нибудь жест соседа по коридору, самый обыкновенный жест, но такой, который человек делает только тогда, когда уверен, что его никто не видит (смотрит на фотографическую карточку, которую потихоньку вытащил из кармана, или крестится на ночь, или, того обычнее, улыбается своим тайным мыслям с каким-то растерянным видом), он сразу становился человеком *близким,* во всем

подобным мне; таким же, как я, и в эту минуту я мечтаю стать его другом!

И, однако, полная неспособность дружить. У меня нет друга. И никогда не было. (Предмет моей зависти к Жаку — его друзья.)

Снова пишу с удовольствием. Значительно лучше эти дни.

Вечер.

Сегодня утром делились воспоминаниями о фронтовой жизни. (Когда будет заключен мир, фронтовые рассказы заменят охотничьи.) Дарро рассказал, как он был в разведке в Эльзасе в самом начале войны. Как-то вечером он вошел с несколькими своими людьми в брошенную деревню, молчаливую в свете луны. Три немецких пехотинца крепко спали прямо на земле, слегка похрапывая; винтовки они положили рядом с собой. «Так вот,— рассказывал Дарро,— вблизи это уже были не боши, это были свои парни, просто бесконечно усталые люди. Я остановился, не зная, что делать. Потом решил идти дальше, будто *ничего не заметил.* И восемь солдат, которые были со мной, поступили так же. Мы прошли на расстоянии десяти метров от спящих, не повернув головы в их сторону. И никогда ни один из нас ни намеком не напомнил о том, как мы поступили в тот раз по общему молчаливому согласию».

20 июля.

Вчера какая-то «комиссия» обследовала клинику. В комиссии — все местное начальство. Сегр, Бардо и Мазе начали суетиться еще с вечера... В тылу война не изменила ничего. Тот же зловещий казарменный дух.

Многое можно сказать о нашей «дисциплине», этой «силе армии»... Дело темное! Вспоминаю Брена и многих других военных врачей. Их уровень знаний куда ниже по сравнению с врачами запаса. Продолжительное подчинение казенной иерархии не проходит даром. Привычка повиноваться: соизмерять смелость своих диагнозов и чувство своей ответственности с количеством галунов.

Военная дисциплина. Вспоминаю грубияна Паоли, фельдшера в учебном полку в Компьене. Морда — как у сутенера, глаза — вечно налитые кровью. Впрочем, может, и неплохой парень; каждый вечер он ходил к реке, в поле, собирать конопляное семя для своего скворца. Паоли принадлежал к гнусной и отверженной породе *сверхсрочников* довоенного времени. (Почему он был сверхсрочником? Без сомнения, потому, что видел в этом ремесле единственную возможность господствовать над своими ближними при

помощи устрашения.) Военный врач поручил ему записывать новобранцев, которые являлись на прием. Из моей канцелярии было слышно, как больные стучались в двери. И каждый раз ревущий голос задавал один и тот же вопрос: «Эй ты, дьявол! Ты больной или симулянт собачий?» Воображаю испуганную физиономию новичка... «Если симулянт, катись!» Желторотый новичок поворачивался кругом, не дожидаясь продолжения. А врач считал, что Паоли — превосходный служака. «Ему ни один черт очков не вотрет!»

«Армия — великая школа наций»,— любил повторять Отец. И сдавал в рекруты своих питомцев из колонии в Круи.

21-е, воскресенье.

Анализы в течение недели показывают прогрессивную дефосфатизацию и деминерализацию, вопреки всем усилиям врачей.

Сводка. Хорошие новости. Наступление к югу от Урка. Наступление на Шато-Тьерри. Оживление по всей линии от Эн до Марны. Говорят, что Фош давно поджидал удобного момента для перехода от обороны к наступлению. Может быть, это и есть удобный момент?

Майор целые дни переставляет флажки на карте — это главное его развлечение. Злобные споры об «измене» Мальви и о военном суде. Как только сводки стали получше, политика снова берет свои права.

22-е, вечер.

Керазеля вчера навестил его зять, депутат от Ньевра. Завтракал с нами. Кажется, радикал-социалист. А впрочем, не все ли равно: сейчас все партии усвоили оппортунизм военного времени и пробавляются одними и теми же общими местами... Удручающе плоские разговоры. Кое-что все же интересно. Предложение Австрией мира, переданное французскому правительству Сикстом Бурбонским весной прошлого года. Гуаран возмущен отказом Франции. Говорят, что самым непримиримым оказался старик Рибо, он-то и сумел повлиять на Пуанкаре и Ллойд-Джорджа. И одним из аргументов, популярных во французских политических кругах, был якобы следующий: «Республика не может обсуждать условия мира, передаваемые через одного из членов дома Бурбонов. Это было бы на руку монархической пропаганде. Поставило бы под угрозу будущее Республики. Особенно сейчас, когда власть находится в руках генералов!..»

Просто невероятно!

23 июля.

Вчерашний депутат. Блестящий образчик современной нервозности! Приехал из Парижа ночным экспрессом, лишь бы выгадать несколько часов. Все время тревожно поглядывает на часы. Все время находится будто в состоянии легкого опьянения; когда наливает воду из графина, руки трясутся. Когда рассуждает, путаются мысли...

Считает свои метания активностью, а свою беспорядочную активность работой. Считает свое краснобайство разумной аргументацией. А решительный тон — признаком авторитетности, знания дела. В разговоре принимает какую-нибудь анекдотическую деталь за самое главное. В политике считает отсутствие великодушия разумным реализмом. Выдает свое прекрасное здоровье за отвагу, удовлетворение своих аппетитов за жизненную философию и т. д.

Быть может, он и мое молчание принял за восторженное согласие?...

23 июля, вечер.

Почта. Ответ от Женни.

Жалею, что я не обратился сначала к ее матери, как и намеревался. Женни отказала. Письмо вежливое, но тон непреклонный. Она с большим достоинством подчеркивает свою полную ответственность за все свои поступки. Она ведь отдалась свободно, следуя голосу чувства. Сын Жака не должен иметь никакого другого отца — даже перед лицом закона. Жена Жака не должна выходить вторично замуж. Ей нечего бояться, как взглянет на это ее сын, и т. д.

Совершенно очевидно, что мои практические соображения ее не только не поколебали, но показались никчемными, даже мелочными. Прямо об этом не пишет, но употребляет несколько раз такие выражения, как «общественные условности», «старые предрассудки» и т. д., и все это в явно пренебрежительном тоне.

Разумеется, я не сложу оружия. Нужно будет взяться за дело по-другому. Раз эти «общественные условности» не имеют никакой цены, так зачем же восставать против них? Не значит ли это придавать им тот вес, которого они не имеют? Не забыть подчеркнуть, что это делается не ради нее, а ради Жан-Поля. Предубеждение, которое существует против незаконнорожденных, нелепо, согласен. Но оно существует. Если сумею убедить ее, она должна согласиться принять мое имя и позволить мне усыновить ребенка. Ведь обстоятельства исключительные; все так упрощается моим скорым исчезновением!

Постараюсь ответить ей сегодня же.

Напрасно я не уточнил, как все это должно произойти. Она, вероятно, вообразила, что неизбежны разные неловкие положения.

Поставить точки над «i». Просто сказать: «Вам нужно только как-нибудь вечером сесть на скорый поезд. Я буду ждать вас в Грассе. В мэрии все будет уже готово. И через два часа после вашего приезда вы снова сядете в парижский поезд. Но с нужными документами».

24-е.

Доволен своим вчерашним письмом. Хорошо сделал, что не отложил его на сегодня. Плохой день. Очень устал от новой процедуры.

Как это глупо: ведь достаточно простой формальности, чтобы избавить раз навсегда этого ребенка от трудностей, которые, возможно, ждут его в дальнейшем. Невероятно, чтоб я не сумел убедить Женни.

25 июля.

Газеты. Мы заняли Шато-Тьерри. Поражение немцев или стратегический маневр? Швейцарская печать утверждает, что наступление Фоша еще не началось. Сейчас речь будто бы идет о том, чтобы помешать отступлению немцев. Затишье на английском фронте делает эту гипотезу вероятной.

Все время приступы удушья, страха. Температура колеблется.

Подавленность.

Суббота, 27-го.

Плохая ночь. Плохие вести. Женни упрямится.

После обеда.

Укол. Два часа передышки.

Письмо Женни. Она не хочет понять. Упорствует. Простая запись в нотариальной книге ее женскому уму кажется чуть ли не отречением. («Если бы я могла спросить Жака, он, конечно, отсоветовал бы мне сдавать позиции в угоду самым низким предрассудкам... Я считала бы, что изменила ему, если бы...» и т. д.)

Досадно, что столько времени потеряно в спорах. Чем позже она согласится, тем меньше я буду в состоянии принять все необходимые меры (получить бумаги, добиться, чтобы заключение брака происходило здесь, сделать оглашение и т. д.).

Не хватает мужества написать ей сегодня. Решил, что мне тоже лучше перевести вопрос в область чувств. Прежде всего подчеркнуть, какое нравственное удовлетворение даст мне сознание, что я облегчил мальчику жизнь. Даже преувеличить беспокойство. Умолять Женни не отказывать мне в этой последней радости и т. д.

28-е.

Письмо написано и отправлено. Оно стоило мне мучительных усилий.

29 июля.

Газеты. Тесним немцев на всем фронте от Эн, от Веля. Марна очищена от неприятеля. Френ, Ферский лес, Вильнев, и Роншер, и Романьи, и Виль-ан-Тарденуа...

Как хорошо я помню все эти места!

В саду.

Вот какой вид открывается передо мною: кругом сады, такие же, как наш; шары апельсиновых и лимонных деревьев, серая зелень олив; дальше — ободранные стволы эвкалиптов, растрепанные тамариски и еще какие-то растения с длинными листьями, вроде ревеня, и глиняные вазы, из которых каскадами спадают розы и герань. Буйство красок: все оттенки радуги. Дома блестят на солнце за рядами кипарисов, и каждый дом другого цвета: белые, розовые, оранжевые, лиловые. Киноварь черепиц спорит с синевой неба. А эти деревянные веранды, коричневые, красные, темно-зеленые! Справа ближайший к нам дом выкрашен охрой, а ставни — светло-голубые. А другой — ослепительно-белый дом с ядовито-зелеными жалюзи, а перед ним лежит пласт фиолетовой тени.

Как хорошо было бы построить здесь дом, найти здесь счастье, прожить здесь всю жизнь...

В темной кипарисовой аллее солнечный луч вдруг зажигает непереносимым для глаз блеском фарфоровые чашки изоляторов на телеграфных столбах.

30-е, вечер.

Сегодня спускался вниз. Первый раз за два дня.

Обессилел, отупел. Гляжу кругом, на жизнь, на людей, на мир, и с тех пор, как мне отказано в будущем, все мне кажется удивительным, непонятным.

Наступление, по слухам, уже приостановилось.

Говорят, будто русские (Ленин) объявили войну союзникам.

Вечер.

Вспоминаю: после смерти Отца я взял себе его бумагу для писем; месяца через три я писал записку Патрону, перевернул листок, и вдруг — строчка, начатая Отцом: *«Понедельник. Мило-*

стивый государь! Только сегодня я получил...» Страшная встреча, как будто смерть была рядом, осязаемо близко... Отцовский мелкий, аккуратный почерк, несколько живых еще слов, след движения, оборвавшегося навсегда!

АВГУСТ

1 августа, 18.

Наступление в Тарденуа продолжается. Добьются ли они удачи? Значит, дело идет на лад. Но какой ценой? Важное продвижение на участке между Суассоном и Реймсом. Бардо получил с Соммы письмо: ему пишут, что еще одно наступление, англо-французское, готовится на восток от Амьена. (Амьен в августе 1914 года... Неописуемая сумятица! Но мне она пошла на пользу. Страшно сказать, сколько я нахватал морфия и кокаина, при содействии Рюо, в госпитальной аптеке, зато обеспечил свой пункт! И как мне пригодились наркотики через две недели, во время Марны!)

Палата проголосовала за призыв 20-го года. Значит, попадает наш Лулу. Бедный малый, не раз еще он вспомнит госпиталь г-жи Фонтанен.

2 августа.

Нет никакой надежды сломить упорство Женни. Окончательный *отказ*. Письмо короткое, нежное, но непоколебимое. Ничего не поделаешь... (Прошли те времена, когда я не переносил пи малейшей неудачи. Сдаюсь.) Свой отказ она уже возводит в принцип, и — вот не ожидал! — в принцип революционный... Она не побоялась написать: «Жан-Поль незаконнорожденный, и пусть он остается незаконнорожденным. Если это ненормальное положение когда-либо — пусть даже в раннем детстве — поставит Жан-Поля перед необходимостью борьбы против общества, тем лучше: Жак не мог бы пожелать лучшего вступления в жизнь для своего сына!» (Может быть, и так... пусть будет так! И пусть торжествует, даже после смерти Жака, дух возмущения, который он носил в себе!)

3-го, ночь.

Больше всего я люблю писать в эти часы. Мысли яснее, чем днем, совсем уж один на один с собой.

Женни. Не касаясь содержания ее писем, должен признать, что они необыкновенно последовательны и цельны. Чувствуется сила, благородство. Внушают уважение.

Жан-Полю.

Когда ты вырастешь, ты будешь восхищаться материнскими письмами, мой мальчик, если тебе придет когда-нибудь охота заглянуть в бумаги дяди Антуана. Я знаю, что в нашем споре ты, не колеблясь, станешь на сторону матери. Пусть! Мужество, величие сердца на ее, а не на моей стороне. Я прошу только одного: чтобы ты понял меня, чтобы ты видел в моей настойчивости не просто оппортунистическую и ретроградную уступку буржуазным предрассудкам. Боюсь, что тому поколению, которое идет нам на смену и к которому принадлежишь ты, придется во всех областях столкнуться с чрезвычайными, почти непреодолимыми трудностями. Что́ по сравнению с ними те трудности, с которыми сталкивались мы — твой отец и я! Эта мысль, мой мальчик, терзает меня. Меня не будет здесь, и я не смогу помочь тебе в этой борьбе. И потому-то мне было бы радостно думать, что я хоть что-то для тебя сделал. Думать, что, обеспечив твое положение в обществе, дав тебе мое имя, имя твоего отца, я устранил с твоего пути одно из ожидающих тебя препятствий, единственное, которое было мне под силу устранить; впрочем, может быть, твоя мама права, и я действительно все немного преувеличил.

4 августа.

Газеты. Суассон снова в наших руках. Он был у немцев с конца марта. Наши войска сейчас на Эн и на Ве́ле перед Фимом (Фим — еще одно воспоминание! Здесь я встретил брата Сандерса, который направлялся на передовые позиции и больше не вернулся).

Мудрая речь старика Ленсдауна. Послушают ли ее? Если не произойдет ничего непредвиденного,— таково также и мнение Гуарана,— попытка переговоров будет сделана еще до зимы. Но Клемансо останется глухим к этим призывам, пока не козырнет своей последней картой — американцами.

Россия... Там тоже происходят большие события. Десант союзников в Архангельске, десант японцев во Владивостоке. Но при нынешних условиях, когда оттуда почти не пропускают информацию, так трудно разобраться в русском хаосе!

Вечер.

Сегр вернулся из Марселя. В генеральном штабе говорят, что первый этап контрнаступления союзников, начатого 18 июля, приходит к концу. Поставленные командованием цели якобы достигнуты: фронт выпрямлен от Уазы до Мааса; устранен клин, который создавал угрозу неожиданного удара. Означает ли это, что мы останемся на новых позициях в течение всей зимы?

5 августа.

Не знаю, радоваться или нет действию нового успокаивающего средства, прописанного Мазе.

От бессонницы не помогло ничуть. Зато пульс ровный, нервы спокойнее, чувствительность не так обострена. Голова ясная, мысль работает непрерывно, с удесятеренной силой. (Так, по крайней мере, мне кажется.) В общем, сна нет, ночи почти приятные, особенно по сравнению с прежними.

Мой дневник от этого только выиграет!

Жозеф уехал в отпуск. Заменяет его старый Людовик. От его болтовни мне не по себе. Когда он приходит убирать комнату, я скрываюсь. Сегодня утром не успел вовремя встать из-за прижиганий и попал в его лапы. Был особенно утомителен, речь все время прерывалась икотой, каким-то лаем и т. д. и т. п., потому что ему взбрело в голову натирать у меня паркет. Плясал передо мной на двух щетках что-то вроде жиги и болтал, болтал без умолку...

Рассказывал мне о своем детстве в Савойе. И вечный припев: «Хорошее было время, господин доктор». (Верно, старина Людовик, я тоже теперь каждый раз, когда в памяти воскресает какой-нибудь обрывок прошлого, даже самый тягостный, твержу: «Хорошее было время!»)

Как и Клотильда, он то и дело употребляет сочные выражения, но не такие жаргонные. Например, сказал мне, что его отец был *подгонщиком*. Это тот, кто в портновской мастерской *подгоняет*, сшивает куски, на которые разрезал ткань закройщик. Меткое словцо! Сколько людей (Жак...) нуждаются в таком *подгонщике*, чтобы привести в систему то, что ими познано!

В одном из последних писем Женни говорит о Жаке, об его «доктрине». На редкость неподходящее слово. Воздержусь начинать с ней полемику по этому поводу. Но мне кажется опасным, что воспитательница Жан-Поля решается, не колеблясь, называть «доктриной» Жака несколько случайных мыслей, которыми он поделился с ней и которые она более или менее точно затвердила.

Если ты прочтешь когда-нибудь, Жан-Поль, эти слова, не выводи поспешного заключения, не думай, что мысли твоего отца казались несообразными дяде Антуану. Я хочу только сказать, что взгляды Жака, который был человеком импульсивным, могли иной раз показаться непостоянными, даже противоречивыми; сам он не умел свести концы с концами. Не умел, во всяком случае, составить себе четкое, устойчивое, ясное представление о вещах, взять определенное направление. И в нем самом сочетались самые разнородные, непримиримые, хотя в равной мере властные тен-

денции; в этом-то и заключалось его духовное богатство, но вместе с тем ему было трудно сделать выбор, привести все к гармоническому целому. Отсюда его вечное беспокойство и та болезненная страстность, которая никогда его не покидала.

Впрочем, все мы, быть может, в той или иной степени схожи с ним в этом отношении. Мы — разумею те, которым никогда не удавалось примкнуть к какой-нибудь заранее данной, готовой системе; те, которые не сумели в определенный момент своего развития принять определенное мировоззрение, убеждение, веру. Словом, не сумели выбрать для себя какую-нибудь устойчивую платформу, неприкосновенную и не подлежащую дискуссии. Так вот, эти люди обречены вечно пересматривать уже найденные точки опоры и заново искать еще и еще раз равновесия, и так без конца.

6 августа, семь часов вечера.

Старик Людовик. Теми же самыми толстыми пальцами, которыми он ставил и вынимал термометр в палате сорок девятой, мыл плевательницы в пятьдесят пятой и пятьдесят седьмой, лезет сейчас в сахарницу, чтобы подсластить мой липовый чай. И я говорю: «Спасибо, Людовик...»

День провел средне. Но я уже не вправе быть требовательным.

Вечером укол. Легче.

Ночь.

Не очень страдаю, но по-прежнему бессонница.

То, что я написал вчера для Жан-Поля, довольно-таки неточно в той части, где речь идет обо мне. Не подумай, Жан-Поль, что я всю жизнь только и делал, что искал равновесия. Нет. Вероятно, благодаря своему ремеслу я всегда чувствовал прочную почву под ногами. Не поддавался тревоге.

О самом себе.

Уже давно (еще в первый год моих занятий медициной) я, не придерживаясь никаких, ни философских, ни религиозных, догм, довольно удачно примирил все мои склонности, создал себе прочную основу жизни, мысли, своего рода мораль. Рамки ограниченные, но я не страдал от этой ограниченности. Даже находил в ней ощущение покоя. Удовлетворяться жизнью в тех рамках, которые я сам себе поставил, стало для меня условием благополучия, необходимым для моей работы. Таким образом, я уже тогда удобно обосновался в кругу десятка принципов (пишу «принципов», за неимением лучшего слова; принцип — выражение претенциозное и вымученное) — тех принципов, которые отвечали потребностям моей натуры и моего существования в качестве врача.

(Грубо говоря, элементарная философия человека действия, основанная на культе энергии, упражнении воли и т. д.)

Это, во всяком случае, верно для довоенного периода. Верно даже для периода войны, по крайней мере, до моего первого ранения. Тогда (находясь на излечении в госпитале в Сен-Дизье) я начал пересматривать свой образ мыслей и принципы поведения, которые до сего времени обеспечивали мне известное равновесие, весьма удобную внутреннюю гармонию и позволяли с успехом использовать свои способности.

Устал. Вряд ли следует продолжать подобный анализ. Нет нужного подъема. Начинаю путаться. И чем дальше я углубляюсь, тем больше все, что я пишу о себе, представляется мне спорным.

Пример. Я думаю о некоторых наиболее важных своих поступках. И убеждаюсь, что те, которые я совершал без принуждения, как раз и находились в кричащем противоречии с моими пресловутыми принципами. В решительную минуту я всегда приходил к выводам, которые моя «этика» не оправдывала. К выводам, которые подсказывала мне какая-то внутренняя сила, более властная, чем все мои привычки, все рассуждения. Вследствие чего я вообще стал сомневаться в этой «этике» и в самом себе. Я не без тревоги думал: «Да и впрямь ли я тот человек, каким себя считаю?» (Тревога, впрочем, быстро проходила, и я вновь обретал обычное равновесие на своих обычных позициях.)

Здесь же, сегодня вечером (уединение, давность событий), я замечаю довольно ясно, что благодаря этим жизненным правилам, благодаря привычкам, которые вырабатывались в силу подчинения правилам, я искусственно, сам того не желая, исказил свой первоначальный облик и создал себе некую личину. И личина мало-помалу изменила мой врожденный характер. Постепенно (да и не было досуга мудрить над собой)) я без труда приспособился к этому искусственно выработанному характеру. Но не сомневаюсь, что в иные серьезные минуты те решения, которые я принимал свободно, действительно были проявлением моего подлинного характера, внезапно обнажали реальную сущность моей натуры.

(Рад, что разобрался в этих вопросах.)

Подозреваю, впрочем, что тут я не одинок. По-видимому, для того, чтобы обнаружить интимную сущность человека, надо искать ее не в обычном его поведении, а в тех непредвиденных поступках, которые он совершает неожиданно для самого себя; как бы ни были они необъяснимы, а иной раз даже неблаговидны,— именно в них открывается *подлинное*.

Склонен думать, что Жак в этом отношении был не таков. Именно его сокровенная природа *(подлинное)* почти всегда опре-

деляла его жизненное поведение. Отсюда для тех, кто знал его при жизни, впечатление быстрой смены настроений, неожиданные реакции и часто внешняя непоследовательность.

Первый проблеск дня за окном. Еще одна ночь — и еще одной ночью меньше... Попробую забыться (на этот раз не слишком жалею о том, что не спал).

8 августа, в саду.

Двадцать восемь градусов в тени. Жара сильная, но легкая, живительная. Чудесный климат. (Непонятно, почему огромная часть человечества соглашается жить на неласковом севере!)

Сегодня за столом я слушал, как они разговаривали о будущем. Все они верят,— или притворяются,— что отравленный газами все-таки не выбывает навсегда из игры. Верят также, что смогут начать прежнюю жизнь, и чуть ли не с того самого момента, на котором оборвала ее мобилизация. Как будто мир только того и ждет, чтобы после окончания войны снова вернуться к прежней рутине. Боюсь, что действительность грубо разрушит их иллюзии.

Но больше всего меня удивляет тон, каким они говорят о своей гражданской деятельности. Не как о любимом, сознательно выбранном, самом близком деле,— где там! А так, как мальчишки говорят о школьных уроках или — еще хуже — как каторжник о своей тачке. Жалости достойно! Нет ничего более страшного, чем войти в жизнь, не чувствуя ни к чему сильного призвания. (Разве только одно хуже: войти в жизнь с ложно понятым призванием.)

Жан-Полю.

Мой мальчик, бойся ложного призвания. Чаще всего именно оно — причина неудавшейся жизни, ожесточившейся старости.

Я вижу тебя юношей шестнадцати — семнадцати лет. Это обычно возраст великого смятения. Возраст, когда разум начинает впервые осознавать себя, преувеличивать свою силу. Возраст, когда, быть может, громко заговорит сердце и когда трудно станет умерять его порывы. Возраст, когда разум, оглушенный, опьяненный только что открывшимися перед ним горизонтами, остановится в нерешительности на распутье многих дорог. Возраст, когда человек еще слаб, но, считая себя сильным, уже испытывает потребность найти прочную основу, точку опоры, ориентир и готов в своей ненасытности принять первую попавшуюся позицию, любые моральные устои. Тогда берегись! Ибо, кроме того, именно в этом возрасте — как ты и сам убедишься — твое воображение будет охотно корежить реальность и даже прямо принимать ложное за

истинное. Ты будешь говорить: «Я знаю...», «Я чувствую...», «Я уверен...». Так помни же! Мальчик в семнадцать лет обычно подобен мореходу, который доверился взбесившейся компасной стрелке. Ибо он свято верит, что его юношеские вкусы врождены ему, что он должен руководствоваться ими, что они укажут точное направление, какому надо следовать. И он даже не подозревает, что вообще-то его тащат за собой, как на буксире, ложные недолговечные вкусы, прихоть. Он и не подозревает, что склонности эти, которые он считает подлинно *своими,* напротив, глубоко *чужды* ему: он подобрал их случайно, взял, как платье с чужого плеча, усвоил под влиянием какой-нибудь встречи с героями книг или с самой жизнью.

Как убережешься ты от этих опасностей? Я боюсь за тебя. Услышишь ли ты мои советы?

Прежде всего мне хотелось бы, чтобы ты не отверг слишком нетерпеливо советы твоих учителей, твоих близких, окружающих тебя, тебя любящих, боюсь, ты решишь, что они не способны понять тебя, но они, быть может, знают тебя гораздо лучше, чем ты сам себя знаешь. Тебя раздражают их предостережения? Но не потому ли, что ты сам смутно чувствуешь: они правы.

Особенно мне хотелось бы защитить тебя от тебя же самого. Превыше всего опасайся обмануться на свой счет. Глупо поверить внешнему. Будь искренним даже в ущерб себе, и тогда искренность сделает тебя прозорливым, пойдет тебе на благо. Пойми, попытайся понять следующее: для мальчика твоей среды,— я хочу сказать развитого, много читающего, живущего с непрерывным общением с людьми, умными и свободными в своих суждениях,— *представления* о некоторых вещах, о некоторых чувствах обгоняют *опыт.* Вы постигаете умом, воображением тысячи чувств, не испытав их на практике, непосредственно. Вы сами не подозреваете об этом. Вы не отличаете «знать» от «испытать». Вы полагаете, что *испытываете* такое-то чувство или потребность; на самом же деле вы только *знаете,* что такие-то чувства и потребности испытываются людьми...

Поговорим об этом. Призвание! Возьмем пример. В десять — двенадцать лет ты, конечно, был уверен, что станешь моряком, открывателем новых земель, потому что ты страстно любил рассказы о приключениях. Теперь ты научился шевелить мозгами и улыбаешься, вспоминая свои ребячества. Знай же, что в шестнадцать, в семнадцать лет тебя подстерегают совершенно такие же заблуждения. Будь бдительным, не доверяй своим склонностям. Не воображай слишком скоропалительно, что ты художник или человек действия или что ты жертва большой любви только потому, что ты не раз восхищался в книгах и в жизни поэтами, вели-

кими созидателями и влюбленными. Терпеливо отыскивай в себе то, что составляет сущность твоего «я». Попытайся постепенно раскрыть свою подлинную личность. Нелегко это. И многим если удается, то слишком поздно. А многим и вообще не удается. Но время у тебя есть, не торопись. Ты долго будешь идти ощупью, прежде чем узнаешь, *кто* ты. Но когда ты найдешь самого себя, тогда быстрее сбрось чужие одеяния. Заметь, где предел твоих возможностей и таким, каков ты есть, прими себя. И тогда приложи все усилия, чтобы развитие шло в соответствии с твоим назначением, шло здорово, без плутней с самим собой. Ибо познать себя и принять — это вовсе не значит обречь себя на пассивность, отказаться от самосовершенствования. Совсем напротив! Это значит не упускать ни одного шанса достичь своего «максимума», ибо отныне ты устремишься по верному пути, по тому пути, где плодотворны все усилия. Расширяй границы своего «я» как только можешь. Но только лишь границы *естественные* и только тогда, когда ты обнаружишь, каковы они. Неудача постигает чаще всего тех, кто с первого шага не понял себя, обманулся и кинулся по чужому следу; или тех, кто, избрав правильный путь, не сумел или не отважился держаться в рамках *возможного* для них.

9 августа.

Газеты. Оптимистическая речь Ллойд-Джорджа. Оптимизм, безусловно, преувеличенный, но продиктованный интересами дела. Вопреки всему, события последних трех недель на французском фронте превзошли все ожидания. (Разговор с Рюмелем в Париже.) Вчера, по-видимому, началось наступление в Пикардии. И американцы уже где-то на горизонте. План Першинга, говорят, заключается в том, чтобы предоставить Фошу выпрямить линию фронта и расчистить на большом пространстве подступы к Парижу; потом, пока французы и англичане будут удерживать свои прежние позиции,— массовый бросок американцев в направлении Эльзаса с целью перейти границу и вторгнуться в Германию. И тогда, как говорят, война будет выиграна благодаря изобретению какого-то нового газа, который можно применять только на вражеской территории, так как он разрушает все, убивает на несколько лет всякую растительность и т. д. (За столом всеобщее ликование. Эти несчастные, отравленные газом люди, из которых большинство никогда уже не оправится, радуются при мысли, что изобретен новый газ...)

Дарро прочел нам письмо от своего брата, переводчика при американских частях. Пишет, что его бесит ребяческая вера американцев. Офицеры и солдаты убеждены, что достаточно им пойти

в атаку, чтобы незамедлительно и окончательно победить. Рассказывает также, что американцы решили не возиться с пленными и цинично заявляют, что каждая партия пленных, до пятисот человек, будет расстреливаться из пулеметов. (Что не мешает, однако, этим проповедникам со свирепой улыбкой и ясным взглядом твердить при всяком удобном и неудобном случае, что они сражаются за Справедливость и Право.)

10 августа.

Вернулся вкус к чтению. Удается сосредоточиться без большого напряжения. Особенно ночью. Дочитываю превосходную работу некоего Доусона («Мед. бюлл.», Лондон) о последствиях отравления ипритом, сравнительно с другими отравляющими веществами. Его наблюдения во многом совпадают с моими. Вторичная инфекция, имеющая тенденцию переходить в хроническую, и т. д. Хочется написать ему, послать копию некоторых записей из черной тетрадки. Но я боюсь начинать переписку. Не очень уверен, что смогу довести ее до конца. Хотя вот с первого числа заметно лучше. Конечно, не коренное улучшение, но боли слабее. Период временного улучшения. По сравнению с предыдущими неделями эта — почти сносная. Не будь каждое утро утомительных процедур, а также приступов удушья (особенно по вечерам, при заходе солнца) и этой бессонницы... Но бессонница менее мучительна, когда я могу читать, как, например, сегодня ночью. А также — благодаря черной тетрадке.

Перед завтраком, у окна.

Величие пейзажа, уходящих к самому горизонту пригорков. Сотни узких возделанных полосок уступами стремительно взбираются к верхушке холмов. Зеленеющий склон, ровно изрезанный яркими меловыми параллельными линиями низеньких каменных заборчиков. И выше — ожерелье голых, серых, как пемза, скал, местами такого нежного сиренево-желтого оттенка. А ниже, вдалеке, как раз там, где подступают к скалам возделанные поля, маленькая деревушка, лепящаяся по склону: похожа на сверкающие под солнцем кучки гравия, затерявшиеся в складках горы. Пока я смотрю, тень пробегающих по небу облаков кладет на эти ярко-зеленые равнины темные широкие, неторопливо скользящие полосы.

Сколько мне еще осталось видеть все это?

11-е.

Мазе принадлежит к тому же типу врачей, что и Дезавель, главный врач в Сен-Дизье, который наотрез отказывается возить-

ся с больным, когда «учует», что тот обречен. Обычно Мазе говорил: «Хороший тубиб должен иметь нюх, уловить момент, когда больной перестает быть *интересным*».

Представляю ли я еще *интерес* в глазах Мазе? И надолго ли?

С тех пор как у Ланглуа абсцесс, Мазе бросил заходить к нему.

Наступление на Сомме, кажется, развертывается успешно. Англичане не захотели остаться в долгу. Плато Сантер снова в наших руках. Магистраль Париж — Амьен очищена. Битва при Мондидье. (Все эти названия — Мондидье, Лассиньи, Рессон-сюр-Мац,— сколько тут воспоминаний 16-го года!..)

Гуаран до крайности оптимистичен. Утверждает, что сейчас все надежды законны. Согласен с ним. (Думаю, что многие сейчас удивлены. И в первую очередь — все наши великие вожди, военные и гражданские, у которых весной из-под ног уходила почва! Теперь, должно быть, подымут голову. Только бы не подняли слишком высоко.)

12 августа, вечер.

Весь вечер переписывал выдержки из черной тетрадки для письма к Доусону.

Газеты. Англичане под Перонном. Бедный Перонн. Что-то от него останется? (Я так живо помню эвакуацию 14-го года. Город во тьме, факелы мечутся в ночи, отступающие кавалерийские части, измученные люди, хромые одры... И весь нижний этаж в мэрии и даже тротуары возле мэрии — все сплошь заставлено носилками.)

13-е, вечер.

Дыхание сегодня затруднено. Однако удалось кончить выписки, которые я пошлю Доусону.

Перечел записи, они кажутся мне ценными. Даже очень ценными. Развитие болезни видно наглядно, как на графике. Все это составляет крайне важную документацию. Быть может, единственную в своем роде. Быть может, она получит признание, надолго станет основой научных исследований в этом направлении. Должен побороть искушение и не бросать этой работы. Должен вести ее до последней возможности, должен проанализировать случай до конца. Оставить после себя полное описание случая, почти еще не изученного.

В иные минуты эта мысль меня поддерживает. Иногда же я самым жалким образом взвинчиваю себя, лишь бы только найти в этих записях каплю утешения...

1 час ночи.

Воспоминание. (Любопытно бывает прервать ход своих рассуждений, чтобы затем восстановить всю цепь ассоциаций, идя в обратном направлении по пути, проделанному мыслью, до отправной точки.)

Сегодня вечером, когда Людовик входил ко мне с подносом, крышечка солонки, очевидно, слабо завинченная, упала, со звоном ударившись о тарелку.

Я тогда это едва заметил. Но весь вечер, и во время процедур, и умываясь на ночь, и переписывая выдержки, я думал об Отце. Длинная цепь старых воспоминаний,— наши семейные молчаливые обеды на Университетской улице, мадемуазель де Вез, ее крохотные ручки на краю стола, наши воскресные завтраки в Мезон-Лаффите, широко открытое окно, залитый солнцем сад и т. д. Вспомнил все.

Почему? Сейчас понял — почему. Потому что звон фарфоровой крышечки напомнил мне (механически), как Отец, садясь за стол, тяжело опускался в кресло, а его пенсне, висящее на шнурке, стукалось о край тарелки с таким же характерным звяканьем.

Должен написать несколько слов об Отце для Жан-Поля. Никто никогда не расскажет ему о его деде с отцовской стороны.

Его никто не любил... Даже сыновья. Его трудно было любить. Я сам осуждал его очень сурово. Но всегда ли я был прав? Теперь мне кажется, что те черты, которые мешали его любить, были лишь оборотной стороной или, вернее, преувеличением каких-то нравственных свойств, каких-то суровых добродетелей. Не могу сказать, что его жизнь вызывала уважение; и, однако, если посмотреть под известным углом, вся она была посвящена добру, добру в его понимании этого слова. Его странности отвращали людей, а его добродетели не привлекали к нему ничьих симпатий. Его достоинства проявлялись в столь отталкивающих формах, что их чурались сильнее, чем самых ужасных пороков... Думаю, что он сознавал это и жестоко страдал от своего одиночества.

Как-нибудь, Жан-Поль, я наберусь сил и объясню тебе, что за человек был твой дед Тибо.

14 августа, утром.

Снова старый болтун Людовик. Сообщил, прикрывая огромной ладонью усы: «Уж верьте мне, господин доктор, лейтенант Дарро настоящий *симулянт*».

Я, конечно, не согласился. Людовик убежденно: «Что есть, то есть». И пояснил: когда Дарро жил во флигеле, он, Людовик, замечал, что Дарро, измеряя температуру, всегда «жулил»,— прежде чем поставить градусник, он минут пятнадцать делал резкие движения, а когда записывал температуру, прибавлял себе на листке несколько десятых и т. д.

Я не согласен. Но... Я сам заметил кое-какие неблаговидные вещи. Например, в помещении для ингаляции. Небрежность Дарро во время процедур. Никогда не досиживает до конца, особенно если Бардо или Мазе чем-нибудь заняты. И вообще увиливает от всех процедур, которые проделывает без врачебного контроля, и т. д. Небрежность, тем более странная, что Дарро очень беспокоится о себе, часто советуется со мной, говорит о своем «безнадежно погибшем здоровье» и пр. (У Дарро нет серьезных нарушений, но у него скверно с бронхами, и улучшения пока не заметно.)

Перед вечером, в огороде.

Я люблю посидеть здесь на скамейке. Тенистая кипарисовая аллея. Плетеные изгороди. Длинные узкие грядки. Журчание нории. И суетня Пьера и Венсана с лейками в руках.

Упорно думаю о словах Людовика. Если верно, что Дарро симулянт,— *дурно* это или нет?

Не так-то просто ответить. Как для кого! Для Людовика, у которого оба сына убиты на войне, это *дурно*, это даже преступление, вроде дезертирства. Он, конечно, считает, что Дарро надо предать суду. Для отца Дарро — это наверняка тоже преступление. (Я его немного знаю. Он несколько раз приезжал к сыну. Пастор из Авиньона. Старый пуританин, патриот. Уговорил младшего сына идти добровольцем.) Да, без сомнения, для отца Дарро это *дурно*. Ну, а для других? Ну, скажем, для Бардо? Он лечит Дарро в течение четырех месяцев, привязался к нему. Допустим, он заметит, как тот изощряется,— захочет ли он наказать за обман? Или посмотрит сквозь пальцы? Ну, а сам Дарро, если он действительно повинен в «жульничестве»,— чувствует ли он, что это дурно?

Ну, а для меня? Это вопрос. *Дурно* ли это? Конечно, я не могу сказать, что это *хорошо*. Инстинктивное отвращение к окопавшимся в госпиталях, к таким, которые «умеют» не выздоравливать. Но я не решусь категорически утверждать: да, это *дурно*.

Странная вещь. Интересно было бы разобраться — хорошо или дурно?

Прежде всего установим: считаю ли я или не считаю Дарро способным играть комедию? Он по-прежнему мне симпатичен.

Добрый, вдумчивый, неглупый мальчик и, несомненно, честный. Отношусь к нему с уважением, будь он даже *«симулянт»*. Он не раз откровенно беседовал со мной. Об отце, о юношеских годах, о прямо-таки страшном сексуальном воспитании в протестантских семьях. О своей супружеской жизни. Однажды он рассказал мне, как в вечер мобилизации он проезжал через Лион вместе с женой. (Они ехали из Авиньона, где отдыхали. На следующий день на заре Дарро должен был явиться в свой резервный полк. С трудом они нашли комнату в каком-то подозрительном отеле. Город глухо шумел, наполнялся военной сутолокой. Помню, каким тоном он рассказывал: «Тереза дрожала от страха, она крепко сжала зубы, чтобы не разреветься. Всю ночь я пролежал в ее объятиях; и рыдал, как мальчишка. Никогда не забуду этого... Она не могла говорить и только тихонько гладила мне волосы. А по мостовой всю ночь тянулась без конца артиллерия, все кругом грохотало, как в аду».)

Может быть, и симулянт — сейчас. Но не трус. Три с половиной года в пехотных частях, два ранения, три упоминания в приказе по армии и, наконец, отравление газом на О-де-Мез. Женился за полгода до войны. Ребенок. У жены хрупкое здоровье. Состояния никакого. Скверная службишка по министерству просвещения в Марселе. В феврале был отравлен газами, легко. Сначала лечился в Труа, и его жена (деталь, по-моему, немаловажная) поселилась там же; они снова были вместе, целый долгий месяц. Потом его послали сюда, за тысячу километров от войны. Ему вернули голубое небо, солнце, беспечную жизнь... Я так ясно представляю себе, что должно было происходить в нем!.. Если он даже решил прибегнуть к любым мерам, лишь бы затянуть выздоровление, продлить свою болезнь как можно дольше,— а ведь мир, быть может, уже не за горами,— ему, выросшему в старой протестантской семье, это, должно быть, далось нелегко, не без внутренней борьбы. И если он все же решил спастись любой ценой, рискуя даже ухудшить свое здоровье, пренебрегая лечением,— хорошо ли это? Или дурно?

Что ответить?

Нет, если он и решился на это, я не хочу лишать его своего уважения.

Полночь.

Бессонница, бессонница. В такие черные часы бесконечные размышления. Какой-то инстинкт самосохранения помогает мне всякий раз при малейшей возможности отвлекать мысли от себя самого, от «призраков».

Эта история с Дарро все же довольно важна. Я подразумеваю — важна *для меня,* важна потому, что она поднимает множество *моих* проблем.

Замечу попутно: я не верю больше в ответственность.

Верил ли я в нее когда-нибудь? Да, конечно, в той мере, в какой может верить врач. (Для нас, врачей, границы ответственности никогда не совпадают с теми, которые устанавливает господствующее мнение. Вспоминается мой спор в Вернейле с судебным врачом, помощником старшего врача в стрелковом батальоне. Мы, врачи, слишком хорошо знаем, что наши поступки определяются тем, каковы мы сами и каково наше окружение. Ответственны за что? За то, что унаследовали от родителей? За то, что дано воспитанием? За примеры, бывшие перед глазами? За случайно сложившиеся обстоятельства? Конечно — нет. Это яснее ясного.)

Но я всегда жил так, будто верил в мою абсолютную ответственность. И во мне было всегда сильно чувство — христианское воспитание? — добрых и злых поступков. (Впрочем, не без послаблений: стремление снять с себя, в известной степени, ответственность за совершенные мною ошибки и, с другой стороны, непременно поставить себе в заслугу хорошие поступки...)

Все это довольно противоречиво.

Жан-Полю.

Не опасайся противоречий. Они хоть и неудобны, но полезны. Именно в те минуты, когда мой разум находился в тисках неустранимых противоречий, именно тогда я чувствовал себя ближе, чем когда-либо, к той Истине с большой буквы, которая вечно ускользает от нас.

И если бы мне было суждено «вернуться к жизни», я хотел бы, чтобы это совершилось под знаком *сомнения.*

Биологическая точка зрения. Первые годы войны я не мог не поддаться искушению,— бесился, но поддавался,— искушению рассматривать нравственные и социальные проблемы с единственной вульгарной биологической точки зрения. Например, рассуждал так: «Человеку — животному кровожадному свойственно... и т. д. Нейтрализовать возможный от него вред с помощью неумолимой социальной организации. И не ждать ничего лучшего». Даже таскал с собой в походной сумке томик старика Фабра, который раскопал где-то в Компьене. Не без удовольствия считал всех людей и самого себя какими-то большими насекомыми, созданными для войн, нападения и защиты, завоеваний, взаимопожирания и т. д. Я злобно твердил: «Пусть хоть эта война откроет тебе глаза, дуралей. Видеть мир таким, каков он есть. Вселенная: взаи-

модействие слепых сил, регулируемое уничтожением менее стойких. Природа — арена резни, где взаимно пожирают друг друга отдельные особи, целые расы, инстинктивно враждующие. Ни зла, ни добра. И в отношении к человеку это не менее верно, чем в отношении к кунице или ястребу и т. д.». И кто решился бы, сидя в подземном перевязочном пункте, забитом ранеными, отрицать то, что сила торжествует над правом? (Десятки примеров. Вечер в Като. Или атака в Перонне. Невысокая ограда. Или пункт первой помощи в Нантейль-ле-Годуэн. Или агония двух молоденьких солдат стрелкового полка в амбаре, по дороге между Верденом и Калонн.) Помню, что в иные минуты я бывал как пьяный, приходил в отчаяние от звериного облика мира.

Близорукость... Как раз этот мертвящий пессимизм, который и должен был открыть мне глаза на то, что так недолго попасть в яму, где неизбежно задохнешься.

Гашу свет — может быть, удастся заснуть.

Час ночи.

Нечего и думать о сне.

Наш славный Дарро (а он-то ничего и не подозревает, бедняга!) виной тому, что я вот уже почти сутки, как погряз в «моральных проблемах». Погряз так, как никогда за всю свою жизнь.

Как таковые эти вопросы никогда не существовали для меня. Добро, зло. Общепринятые формулы, очень удобные, которыми я пользовался, как и все прочие, не видя в них реальной ценности. Понятия, лишенные для меня какого-либо императива. Правила традиционной морали я принимал, но для других. Принимал в том смысле, что если бы, предположим, какая-нибудь революционная власть, одержав победу, объявила бы эти правила отжившими и если бы оказала мне честь и спросила моего совета, то, вероятно, я отсоветовал бы без оглядки взрывать основы социального бытия. Я полагал эти правила абсолютно произвольными, но имеющими неоспоримую практическую ценность для взаимоотношений... «других», общения людей между собой. А в отношениях с самим собой — не брал их в расчет никогда. (Впрочем, трудно сказать, во что бы могли вылиться мои жизненные правила, если бы, скажем, понадобилось дать им четкое выражение,— на что у меня не хватало ни времени, ни фантазии. Думаю, что я ограничился бы какой-нибудь растяжимой формулой, вроде следующей: «Все, что способствует моему жизненному росту, и все, что благоприятствует моему развитию, есть добро; все, что стесняет выявление моего «я», есть зло». Остается, значит, определить, что я подразумевал под словами «жизнь» и «выявить свое «я»... Не берусь это выяснять и сейчас.)

По правде говоря, те, кто наблюдал мою жизнь,— были же такие! — Жак, например, или Филип,— никак не могли заметить, что в принципе я разрешал себе почти полную свободу. Ибо, поступая так или иначе, я, как правило, всегда следовал, даже не отдавая себе отчета, тому, что принято называть «моралью», «моралью порядочных людей». Однако несколько раз,— впрочем, не будем преувеличивать, всего, быть может, раза три-четыре за пятнадцать лет, в иные решающие часы своего существования, личного или профессионального,— я вдруг осознавал, что моя свобода существует не только в теории. Три-четыре раза в моей жизни я оказывался внезапно перенесенным в ту сферу, где правила, которые я обычно принимал, не имели хождения, куда даже разуму не было доступа, где царила интуиция, импульс. Безмятежно привольная область, область *высшего беспорядка*, где я чувствовал себя чудесно одиноким, сильным, уверенным. Да, уверенным. Ибо я всеми силами своего существа ощущал, что становлюсь вдруг бесконечно близок к... (нелегко закончить эту мысль...), ну хотя бы к тому, что в глазах, скажем, бога могло быть Истиной в чистом виде (той, что с большой буквы). Да, по крайней мере, раза три на моей памяти я сознательно и не колеблясь нарушал законы, которые единодушно приняты блюстителями морали. И никогда не чувствовал угрызений совести. И теперь также думаю об этом с полным равнодушием, без малейшего огорчения. (Впрочем, должен сказать, что я крайне малоопытен в проблеме угрызений совести. Врожденная склонность: принимать свои мысли и поступки, каковы бы они не были, как нечто вполне естественное и законное.)

Этой ночью пишу особенно охотно. И чувствую, что мысли ясны. Если придется расплачиваться за это дурным днем, что ж, пускай.

Перечитал написанное. Долго думал об этом и о многом смежном. Я ставлю перед собой и такой вопрос: если взять большинство людей (чья жизнь в основном протекает без явного нарушения правил общепринятой морали), что́, в сущности, их сдерживает? Ибо нет среди нас никого, кто хоть раз не почувствовал бы искушения совершить поступок, называемый в общежитии «аморальным». Я исключаю, конечно, людей верующих, то есть тех, кому твердые религиозные или философские убеждения помогают восторжествовать над кознями лукавого. Но вот прочие, что́ останавливает прочих? Робость? Уважение к человеку? Боязнь, что́ скажет сосед? Боязнь судебных преследований? Боязнь невзгод, которые они могут навлечь на себя в частной или общественной

жизни своим поступком? Не отрицаю, все это, конечно, действует. Преграды эти сильны и, возможно даже, непреодолимы в глазах огромного большинства тех, кто «подвергается соблазну». Но это препятствия чисто материального порядка. И если бы не существовало других — порядка духовного,— можно было бы утверждать: коль скоро человек свободен от цепей религии, он держится положенных рамок только из страха перед жандармом или по меньшей мере из страха скандала. И можно, таким образом, утверждать, что любой неверующий, при условии, если он поставлен лицом к лицу с искушением и если обстоятельства дают ему полную гарантию тайны и абсолютной безнаказанности, непременно уступит голосу порока и совершит «зло», даже с превеликим удовлетворением. Иными словами, это значит, что моральных соображений, способных сдержать неверующего, не существует и что для тех, кто не признает никакого закона божеского, никакого религиозного или философского идеала, для тех не существует и действенного морального запрета.

Добавлю в скобках: казалось бы, в таком случае правы те, кто видит в моральном самосознании современного человека (и в нашей способности спонтанно отличать то, что следует делать, от того, что не следует делать, то, что есть *добро*, от того, что есть *зло*) пережиток некоей религиозной по своей природе покорности, каковую в течение веков воспитывали в себе предшествующие поколения, пока она не стала врожденной. Допустим. Но мне кажется, что рассуждать так — значит забывать, что бог только гипотеза, принятая человеком. Ибо человеческий разум отличает понятие добра и зла не через бога, который есть *изобретение* самого человека. Ибо не кто иной, как человек, приписал этот принцип богу, и человек же провозгласил его божественным предначертанием. Итак, считать, что это различие религиозного происхождения,— значит тем самым признавать, что сам человек в один прекрасный день приписал его богу. А значит — это было заложено в самом человеке, более того, столь глубоко укоренилось в нем, что он почувствовал потребность возвести это различие в высший, навеки нерушимый закон.

В чем же решение?

4 часа.

Писал свои добавления в скобках, пока не сморила усталость. Проспал подряд около двух часов. Таково действие дневника и моих философских потуг.

Не помню уже, к чему я вел... «В чем же решение?» Да, в чем? Мне казалось, однако, что я стал в этом лучше разбираться. Но сумею ли я сейчас восстановить всю цепь своих рассуждений?

Проблема морального самосознания, его природа. Не вернее ли сказать: пережиток какой-то общественной традиции. (Быть может, это мое открытие — архиизвестно? Пусть. Для меня оно ново.)

Насколько мне кажется неверной мысль, что моральное самосознание имеет своим источником божественный закон, настолько же мне кажется правильным искать этот источник в прошлом человечества, в традициях, которые пережили породившие их условия и поддерживаются ныне и семейным и общественным укладом одновременно. В сущности, это следы старинных исканий, попыток прежних человеческих общин организовать свою коллективную жизнь и наладить социальные взаимоотношения. Остаток неких полицейских правил, в хорошем смысле этого слова. Пожалуй, довольно соблазнительна и даже лестна для самолюбия мысль, что это моральное самосознание, эта способность отличать *добро* и *зло* (эта способность пресуществует в каждом из нас и подчас диктует нам нелепые законы, но тем не менее принуждает нас неуклонно ей повиноваться, а иной раз управляет нашими поступками тогда, когда разум колеблется и уклоняется от решения; более того, она внушает даже самым мудрым поступки, которые вряд ли оправдал разум, если бы мы попросили его приговора) — что это моральное самосознание есть пережиток какого-то исконного инстинкта человека, человека как общественного животного. Инстинкта, который укоренен в нас тысячелетиями и благодаря которому человеческое общество движется к совершенствованию.

15 августа, в саду.

Лучезарный день. Звонят к вечерне. В воздухе разлит праздник. Дерзновенная синева неба, дерзновенный аромат цветов, дерзость горизонта, который словно дрожит в сияющей дымке летнего дня. Так бы и восстал против красоты мироздания, разрушал, взывал к катастрофе! А впрочем, нет, хочется бежать, скрыться, хочется еще больше уйти от себя, чтобы страдать...

В городе Спа Высший военный совет: кайзер, руководители армии. Три строчки в швейцарской газете. Во французских газетах полное молчание. А ведь это, может быть, историческая дата, школьники будут ее заучивать; дата, которая может изменить весь ход войны...

Гуаран утверждает, что среди господ дипломатов многие предсказывают, что война кончится еще этой зимой.

В сводке ничего существенного. Ожидание, которое томит всех, как предгрозовая духота.

Вечер. Десять часов.

Только что перечел свои вчерашние бредни. Удивлен и недоволен тем, что столько без толку перемарал бумаги. В чем-то здесь сказалась ограниченность моего горизонта. (И наш жалкий человеческий словарь, который, как ни вертись, всегда идет от чувств, а не от логики!)

Жан-Полю.

Не суди, мой мальчик, по этому несвязному бреду о дяде Антуане. Дяде Антуану всегда было не по себе, когда он забирался в лабиринты идеологии, — с первых же шагов он терял нить. Когда я готовился в лицее Людовика Великого к экзамену по философии (единственный предмет, по которому у меня была переэкзаменовка), я пережил немало мучительных часов... увалень какой-то, вздумавший жонглировать мыльными пузырями!.. Вижу, что остался таким же и перед лицом смерти. И уйду из этого мира, так и не преодолев свою полную неспособность к спекулятивному мышлению!..

Около полуночи.

«Дневник» Виньи читаю без скуки, и все-таки каждую минуту внимание рассеивается, книга выпадает из рук. Нанервничался от бессонницы. Мысли все те же, все в том же круге: смерть, то малое, что есть человек, то малое, что есть жизнь; загадка, на которую наталкивается человеческий разум, в которой он безнадежно вязнет, не в силах ее постичь. И вечно это неразрешимое: «Во имя чего?»

Во имя чего человек, подобный мне, свободный от всякой моральной дисциплины, вел существование, которое я вправе называть *примерным?* Особенно если вспомнить, чем был каждый день моей жизни, вспомнить, чем жертвовал я ради своих больных, какую страстность вносил в исполнение своего *долга.*

(Я твердо обещал себе, что не стану касаться проблем, которые мне не по плечу. Впрочем, не был ли это наипростейший способ отделаться от них?)

Во имя чего совершаются бескорыстные поступки, во имя чего — преданность, профессиональная честность и т. д.?

А во имя чего раненая львица скорее позволит добить себя, нежели бросит своих детенышей? Во имя чего свертывает свои лепестки мимоза? Во имя чего амебовидные движения лейкоцитов?.. Во имя чего окисляются металлы? и т. п. и т. п. ...Во имя какой цели?

Без всякой цели, вот и все. Ставить такой вопрос — значит склоняться к версии, что существует «нечто», значит попасться в ловушку метафизики... Нет! Следует признать, что сфера познаваемого небезгранична (Ле-Дантек и т. д.). Мудрость отказывается от «почему», ей достаточно «как». (Уже и с этим «как» — хлопот хватает!) И прежде всего отказаться от наивного желания все сделать объяснимым, логичным. Итак, отказаться от попыток растолковать себя себе самому. Как некое гармоническое целое!.. (Долгое время Антуану его «я» таким и представлялось. Гордыня, свойственная всем Тибо? Вернее, самонадеянность, свойственная Антуану...) Все же вполне приемлем и такой подход: принять моральные условности, не обманываясь насчет их истинной ценности. Можно любить порядок, желать его, но не стремиться видеть в нем некую моральную сущность и не забывать, что порядок есть не что иное, как практически необходимое условие коллективной жизни, предпосылка реального общественного благополучия (говорю: порядок,— чтобы не сказать: добро).

Чувствовать, что этот *порядок распоряжается тобой*; и вместе с тем не уметь разобраться в законах, которым ты чувствуешь себя подчиненным, вот вечный повод для раздражения! Я долго верил, что настанет день, когда я разгадаю загадку. А обречен умереть, поняв лишь весьма немного в себе самом и в окружающем меня мире.

Верующий сказал бы: «Но это так просто!..» Не для меня!

Устал до предела, а сна нет. Пытка бессонницы именно в этом: истерзанное тело требует отдыха любой ценой, сознание же беспорядочно работает и отгоняет сон.

Вот уже целый час, как я ворочаюсь с боку на бок. С одной-единственной мыслью: «Я жил оптимистом. Я не смею умереть в сомнении и отрицании».

Мой оптимизм. Я жил оптимистом. Быть может, так получалось инстинктивно, но теперь я сознаю это с полной очевидностью. Состояние интуитивно-радостного восприятия жизни, активного к ней доверия — вот что поддерживало меня, окрыляло, и я думаю, что всем этим я обязан общению с наукой — источником и питательной средой моего оптимизма.

Наука. Она больше, чем просто познание. Она стремится к гармонии с окружающим миром, с тем миром, законы коего предчувствует. (И те, кто идет по этому пути, приходят в итоге к *чудесному*, куда более всеобъемлющему и вдохновляющему, чем все чудеса, все экстазы религиозной веры.) Наука дает ощущение гармонической связи, согласия с природой и тайнами природы.

То же религиозное чувство? Словечко отпугивает, но в конце концов...

Милосердие, надежда, вера. Аббат Векар как-то сказал мне, что я, в сущности, принимаю теологические добродетели. Я возражал. Насчет *милосердия* и *надежды* я еще соглашался, но вот насчет *веры*... И все же... Если бы я хотел сейчас найти смысл того порыва, который нес меня непрерывно в течение пятнадцати лет, если бы я искал разгадку неистребимого доверия к жизни, быть может, это не было бы уж таким далеким от понятия веры. Веры во что? Ну хотя бы в возможность неограниченного и бесконечного роста живых форм. Веры в *непрерывное движение всего сущего к некоему высшему состоянию*...

Значит ли это быть «финалистом» поневоле? Хотя бы и так. Во всяком случае, я принимаю только такой «финализм».

16 августа.

Высокая температура. Дыхание затрудненное, со свистом. Несколько раз пришлось прибегнуть к кислороду. Встал с постели, но из комнаты не выходил.

Зашел Гуаран с газетами. По-прежнему верит, что мир будет заключен еще этой зимой. Защищает свою точку зрения убежденно и умно. Странный тип! Странно слышать успокоительные речи из уст человека, который обычно кажется безнадежно озабоченным,— может быть, потому, что у него такие маленькие, вечно мигающие глазки, длинный нос и все лицо вытянуто, как морда у борзой. Кашляет и отхаркивается каждую минуту. Говорил со мной о своей работе, как о ремесле. Удивительно все же! Преподаватель истории в лицее Генриха IV,— казалось бы, довольно благодарное занятие, могущее дать радость. Рассказывал также о своих студенческих годах в Эколь Нормаль. Насмешливый ум. Слишком наслаждается критикой и потому вряд ли может быть справедливым. Иногда кажется мне неискренним. Умен, даже слишком умен, но ум чересчур довольный самим собой, равнодушный к людям, черствый... При всем том он нередко бывает остроумен.

Остроумен? Есть два вида остроумных людей: одни вкладывают остроумие в смысл своих слов (Филип), у других остроумна сама манера. Гуаран принадлежит к тем, кто кажется остроумным, даже когда не говорит ничего остроумного. Тут дело в способе выражения, в манере упирать на концы слов, в забавной мимике, в недоговоренности, в туманных намеках и, наконец, в лукавом выражении глаз, в игре голоса, в загадочных паузах, которые делают двусмысленным каждое произнесенное им слово. Можно повторить остроту Филипа, она останется ядовитой, тонкой, разящей и в чужих устах. Не то с Гуараном. Попробуйте повторить его слова — от остроты почти ничего не остается.

17 августа.

Дышать все труднее. Просвечивание. Снимок показал, что экскурсии диафрагмы ничтожны при глубоком дыхании. Бардо на три дня ушел в отпуск. Чувствую себя больным, не могу думать ни о чем другом, кроме болезни.

19 августа.

Тяжелые дни и еще более тяжелые ночи. Мазе проделал новую процедуру в отсутствие Бардо.

20 августа.

Совсем разбит после процедуры.

21 августа.

Нынче утром непонятное облегчение. После укола ночью спал почти пять часов подряд! Бронхи заметно очистились. Просматривал газеты.

Вечер.

С самого обеда полудремота. Приступ как будто прошел. Мазе доволен.

Преследует воспоминание о Рашели. Этот прилив воспоминаний, быть может, симптом ослабления организма?.. Раньше, когда я жил, я не вспоминал. Прошлое было для меня ничто.

Жан-Полю.

Нравственность. Нравственная жизнь. Каждому следует понять, в чем его долг, понять сущность своего долга, его границы. Избрать себе путь, следуя личному суждению, в свете непрерывно углубляемого опыта, непрерывных исканий. Терпение, помноженное на дисциплину. Идти, держа направление между относительным и абсолютным, возможным и желательным, не теряя из виду реальности, прислушиваясь к голосу глубокой мудрости, которая живет в нас.

Сохранять свое «я», не бояться впасть в ошибку. Неустанно, без боязни отрицать себя самого еще и еще. Видеть свои ошибки так, чтобы все ярче становился свет самопознания, все глубже — сознание своего долга.

(В сущности, нет другого долга, кроме как в отношении самого себя.)

21 августа, утро.

Газеты. Англичане топчутся на месте. Мы тоже, хотя кое-где наблюдается незначительное продвижение. (Слова «незначительное продвижение» я переписал из сводки. Но я-то *вижу,* что это означает для тех, кто «продвигается»: похожие на кратер воронки, забитые ползущими людьми ходы сообщения, переполненные перевязочные пункты...) Пришлось встать из-за процедуры. Попробую выйти к завтраку.

Ночью, при свете ночника.

Надеялся хоть немного поспать. (Вчера вечером температура почти нормальна: 37,8.) Зато бессонница, ни на минуту не забылся. И вот — уже рассветает.

А ночь все-таки была чудесная.

Утро, 22-го.

Вчера вечером испортилось электричество, писать поэтому не мог. Хочу, чтобы в моих записях осталась эта чудесная ночь, ночь падающих звезд.

Было так тепло, что около часу я поднялся, чтобы отдернуть занавески. Прямо с постели погружался в прекрасное летнее небо. Ночное, бездонное. Как будто по небу вспыхивали разрывы шрапнели, потом огненный дождь, струение звезд во все концы. Вспоминается наступление на Сомме, траншеи в Мареокур, мои ночные бдения в августе шестнадцатого года: английские ракеты взлетали в небо наперерез падающим звездам, смешивались с ними в фантастическом фейерверке.

Вдруг мне подумалось (и я считаю эту догадку правильной), что астроному, привыкшему жить мыслями в межпланетных пространствах, должно быть, много легче умирать.

Долго-долго раздумывал обо всем этом. Не отрывал глаз от неба. Оно необъятно, оно уходит от нас все дальше и дальше, с каждым новым телескопом. Поистине умиротворяющие мысли! Бесконечные пространства, где медленно движутся по своим орбитам множества светил, подобных нашему солнцу, и где солнце,— которое кажется нам громадным и которое, если не ошибаюсь, в миллион раз больше земли,— есть *ничто,* всего-навсего одно из мириадов небесных тел...

Млечный Путь, звездная пыль, легионы светил, к которым тяготеют миллиарды планет, отделенных друг от друга сотнями миллионов километров! И туманности, откуда возникнут в будущем новые и новые вереницы светил. И все эти кишащие рои миров ничто, ибо и они, как показывают расчеты астрономов, занимают лишь бесконечно малое место в бесконечном пространстве,

в том эфире, который, по нашим догадкам, весь изборожден, весь трепещет от излученья под пронизывающим действием сил взаимопритяжения, полностью нам неизвестных.

Напишешь такое, и с воображением уже не совладать. Благотворный вихрь кружит голову. Этой ночью,— в первый раз, в последний, быть может, раз,— я мог думать о смерти с каким-то спокойствием, с каким-то трансцендентным равнодушием. Освободился от страхов, был почти чужд своей тленной плоти. Я — бесконечно малая и ничем не примечательная частица материи.

Дал себе слово каждую ночь смотреть на небо ради этой безмятежности.

А теперь наступил день. Новый день.

Днем, в саду.

С благодарностью открываю свою тетрадь.

Она прекрасно выполняет свое назначение: изгоняет призраки.

Все еще заворожен созерцанием той ночи.

Взаимонепроницаемость человеческой породы. Мы также движемся, каждый по своей орбите, не сталкиваясь, не сливаясь. Каждый — сам по себе. Каждый — в герметически замкнутом одиночестве, отдельный мешок мяса и костей. Чтобы пройти свою жизнь и исчезнуть. Рождения сменяются смертями, следуя непрерывному ритму. По одному рождению в секунду — шестьдесят рождений в минуту. Свыше *трех тысяч* новорожденных в *час* и столько же смертей. Каждый год три миллиона живых существ уступает место трем миллионам новых жизней. Если по-настоящему вникнуть в это, осознать, «освоить», можно ли эгоистически беспокоиться о своей судьбе?

6 часов.

Сегодня как на крыльях. Чудесное освобождение от собственного бремени.

Частица живой материи, «парцелла», но только такая, которой дано сознавать свою «парцеллярность».

Вспомнил наши бесконечные споры в Париже, когда Целлингер являлся к нам по вечерам со своим другом Жаном Ростаном. Нахождение Человека в этой огромной вселенной — вещь поистине удивительная. Сейчас я вижу его суть столь же ясно, как в те дни, когда Ростан объяснял нам это своим резким и трезвым голосом, осторожно и точно, как ученый, но и как поэт, со всей силой лирического волнения и свежестью образов. Близкая смерть придает этим мыслям особую прелесть. С благоговением перебираю эти мысли. Не здесь ли исцеление от отчаяния?

Инстинктивно отвергаю метафизический обман. Никогда еще небытие не казалось мне столь наглядным. Я приближаюсь к нему в ужасе, все во мне противится, но ни малейшего поползновения отрицать небытие, искать спасения в нелепых надеждах.

Ясно, как никогда прежде, осознаю свою малость. А ведь эта малость целое чудо! Я наблюдаю как бы со стороны это удивительное соединение молекул, которое и есть «я», пока еще — есть. Я как будто вижу там, в глубине, непостижимый процесс обмена, который вот уже тридцать с лишним лет совершается в миллиардах клеточек, из которых я состою. Эти непостижимые химические реакции, эти превращения энергии совершаются неведомо для меня самого в клетках мозга, и им я сейчас обязан тем, что я есть животное, способное мыслить, писать. Обязан мыслью, волей и т. д. Все формы духовной деятельности, которыми я так гордился, не что иное, как система рефлексов, не зависящая от меня, не что иное, как естественный феномен, феномен преходящий,— и чтобы прекратить навсегда его существование, достаточно нескольких минут клеточной асфиксии.

Вечер.

Снова в постели. Спокоен. Ясность сознания, слегка опьяненного.

Продолжаю размышлять о Человеке, о Жизни... Испытываю восторг и удивление при мысли о том длинном органическом ряде, высшим звеном которого являюсь я. Вижу сквозь миллиарды веков все ступени этой живой лестницы. Начиная с первой, с того необъяснимого и, быть может, случайного химического соединения, которое совершилось в какое-то мгновение где-нибудь на дне теплых морей или под обугленной корой земли. Начиная от первых проявлений жизни в первичной протоплазме и до нынешнего странного и сложного животного организма, одаренного сознанием, способного строить представления о порядке, осознавать законы разума, справедливости... вплоть до Декарта, до Вильсона.

И, наконец, эта потрясающая и между тем вполне обоснованная мысль — мысль о том, что другие биологические формы, призванные дать жизнь существам, бесконечно более совершенным, чем человек, могли погибнуть в зародыше, вследствие космических катаклизмов. Но разве не чудо, что эта цепь организмов, высшим звеном которой является современный человек, могла развертываться на протяжении веков и до наших дней? Что она могла уцелеть, перенести тысячи геологических потрясений? Ухитрилась не стать жертвой слепого расточительства природы?

И как долго продлится это чудо? К какому концу (неизбежному концу) движется наш род? Исчезнет ли он в свою очередь,

как исчезли трилобиты, гигантские скорпионы и сонмы пресмыкающихся и земноводных, о существовании которых нам известно? Или же человечеству посчастливится, и оно выживет наперекор хаосу, удержится на земной коре и долго еще будет развиваться? До каких пор? До тех пор, пока солнце, остыв и остановясь, лишит его тепла, возможности дышать и жить? И каких новых успехов достигнет человечество, прежде чем исчезнуть? Головокружительная мечта...

Каких успехов?

Я не могу верить в существование некоего космического плана, в котором животному, носящему название «человек», отводилось бы привилегированная роль. Слишком часто я наталкивался на нелепости, на противоречия природы, чтобы поверить в предвечную гармонию. Никакой бог не откликался никогда на зов человечества, на его вопрошающие голоса. То, что могло казаться ответом, было лишь эхом наших призывов. Человеческая вселенная замкнута в себе, ограничена Человеком. Единственное, на что может притязать человек,— это как можно лучше приспособить к своим потребностям ту ограниченную сферу, которая ему, конечно, кажется громадной сравнительно с его собственной малостью, но которая ничтожна перед лицом вселенной. Поймет ли он наконец с помощью науки, что нужно довольствоваться этим? Сумеет ли найти равновесие, счастье в самом сознании своей малости? Возможно, Наука способна еще на многое. Она может научить человека принять положенные ему пределы, принять случайности, которые дала жизнь ему, такой малости, как он. Наука может прочно завоевать человечеству тот покой, каким наслаждаюсь я сегодня. Дать ему почти безмятежное созерцание небытия, всепоглощающего небытия, для меня уже близкого.

23-е.

Пробуждение. Сон, немного более продолжительный, более глубокий, чем обычно. Отдохнул. Хорошее самочувствие, почти хорошее, если бы не выделения мокроты, которая меня буквально душит, и не свистящее дыхание...

Заснул в каком-то опьянении. Мрачном опьянении и все же сладостном. Все, что утром снова гнетет меня, ночью казалось мне невесомым, не важным; небытие, близкая смерть представали передо мной как некая бесспорная данность особого типа, что исключало всякий протест. Не фатализм, нет: я чувствовал, что даже болезнь и смерть лишь приобщают меня к судьбе вселенной.

Как хорошо было бы вернуть вчерашнее состояние духа!

В саду перед террасой, ждем завтрака. Разговоры. Граммофон. Газеты.

Боевые действия у Нуайона и на всем фронте между Уазой и Эн. За сутки продвинулись на четыре километра. Заняли Лассиньи. Англичане отбили Альбер, Бре-сюр-Сомм. (Как раз в Бре за домом священника погиб Делакур; нелепая смерть: шальная пуля настигла его в отхожем месте.)

Вечером.

Обрести вчерашнее спокойствие. Нынче, в обеденное время, приступ удушья, очень сильный, очень продолжительный. После него — полный упадок сил.

26-е.

Со вчерашнего дня ретростернальные боли почти не утихают. Ночью — просто нестерпимые. При этом тошнота.

27-е.

Семь часов вечера. Выпил немного молока. Сейчас придет Жозеф и потом исчезнет до утра. Жду его. Прислушиваюсь к шагам. Он столько должен сделать: перестелить постель, взбить подушки, приладить завесу от мух, приготовить лекарство, подать судно, опустить шторы, вымыть плевательницу, поставить рядом стакан с водой, капли, грушу электрического звонка и грушу включения света. «Добрый вечер, господин доктор».— «Добрый вечер, Жозеф».

Теперь надо дожидаться до половины девятого, прежде чем появится дядюшка Гектор, ночной дежурный. Он не разговаривает. Приоткрывает дверь и просовывает голову, что должно означать: «Я здесь. Я на страже. Будьте спокойны».

И потом — одиночество, начинается ночь, которой не видно конца.

Полночь.

Теряю мужество. Все во мне рушится.

Все свожу к мыслям о себе, то есть о своем конце. Если и вспоминаю о ком-либо из прежних времен, то сейчас же мысль: «А он ведь тоже не знает, что мне крышка». Или иначе: «Что-то он скажет, когда услышит о моей смерти?»

28-е.

Боли как будто утихают. Может быть, они исчезнут так же незаметно, как и начались?

Рентген неутешительный. Разрастание фиброзной ткани значительно ускорилось со времени последнего просвечивания. Особенно в правом легком.

29 августа.

Страдания немного утихли. Очень изнурили эти четыре тяжелых дня.

Сводка: атаки (между Скарпом и Велем) развиваются. Англичане наступают на Нуайон. Бапом наш.

Жан-Полю.

Да, гордецом ты будешь. Мы все гордецы. Таким себя и прими. Будь гордецом — сознательно. Смирение: паразитическая, умаляющая человека добродетель. (Впрочем, нередко она есть внутреннее сознание какой-нибудь слабости.) Не надо ни тщеславия, ни скромности. Сознавать себя сильным, чтобы быть сильным.

Столь же паразитарны: склонность к самоотречению, желание подчиняться, жажда приказов, радость послушания и т. п. Факторы слабости и бездействия. Страх свободы. Нужно выбирать такие добродетели, которые возвышают. Высшая добродетель: энергия. Именно энергия создает величие.

Расплата: одиночество.

30-е.

Наши части уже за Нуайоном. Но какой ценой?

Удивляюсь, зачем позволяют прессе твердить, что конец войны близок. Америка не для того вступила в войну, чтобы удовлетвориться чисто военной победой и таким же миром. Вильсон хочет политически обезглавить Германию и Австрию. Вырвать у них из-под опеки Россию. События — так, как они шли до сих пор,— все же не дают надежды на то, что все решится в какие-нибудь полгода: рухнут обе империи и установятся в Берлине, Вене, Петербурге устойчивые республиканские порядки, что позволит успешно вести переговоры.

Мое окно. С полдюжины проводов, туго натянутых, пересекают четырехугольник неба, как полосы на фотопластинке. В грозу сверкающие жемчужины дождя скользят вдоль проводов, через каждые три-четыре сантиметра, стекают часами все в одном направлении, но не настигают друг друга. И тогда я не могу ничего делать, не могу смотреть ни на что, кроме этого движения капель.

1 сентября, 18.

Новый месяц. Увижу ли я его конец?

Снова стал спускаться вниз. Завтракал со всеми.

С тех пор как я перестал бриться (июль), мне уже незачем смотреться в зеркало, которое висит над умывальником. Сегодня в канцелярии я вдруг увидел себя в зеркале. Секунду я колебался, прежде чем признать себя в этом бородатом мертвеце. «Да, астения есть»,— согласился Бардо. Сказал бы лучше «кахексия».

Нет, это не может продлиться еще недели.

Англичане взяли обратно высоту Кеммель. Мы наступаем на Северном канале. Неприятель отходит по направлению к Лис.

Ночь, 1 сентября.

Рашель. Почему Рашель?

Ее рыжие ресницы. От этого золоченого ободка лучится взгляд. Какой всезнающий взгляд! Ее рука. Она прижимала руку к моим глазам, чтобы я не оказался свидетелем ее наслаждения. Сведенная судорогой тяжелая рука вдруг расслаблялась в тот же самый миг, что и рот, в тот же самый миг, что и все мускулы тела...

2 сентября.

Немного ветрено. Устроился в затишье у дома. Наверху перед верандой Гуаран, Вуазене и унтер-офицер вспоминают свою студенческую жизнь (Латинский квартал, студенческие кабачки, «Суферло», «Вашет», танцульки, женщины и т. д.). Прислушивался несколько минут и ушел в дом, раздраженный, злобный. Но и взволнованный тоже.

Жан-Поль, не слишком бойся терять время.

Нет, не это должен бы я сказать тебе. Вернее другое. Тверди себе, что человеческая жизнь невообразимо коротка и что тебе отпущено слишком мало времени на то, чтобы проявить себя до конца.

Но все же не очень бойся расточать свои молодые силы, мой мальчик. Дядя Антуан, чей конец уже близок, до сих пор жалеет, что ему никогда не удавалось растратить бесцельно хоть самую малость юности...

3 сентября.

Первые проблески дня.

Видел тебя во сне, Жан-Поль. Мы оба были в здешнем саду. Я прижимал к сердцу маленького, крепенького Жан-Поля, гибкого, как молодой дубок, который так и тянется вверх, которого ничто не остановит в этом порыве.

Ты был и тем трехлетним мальчиком, которого я так недавно сажал к себе на колени, и Антуаном — мною, каким я был в юности, мною, каким я стал, сделавшись доктором Тибо. Проснувшись, я подумал, впервые с тех пор, как узнал тебя: «Быть может, из него выйдет врач?»

И мечтами долго бродил в этом будущем. А теперь я думаю о том, как оставлю тебе в наследство свои архивы, записи, многолетние наблюдения, изыскания, незавершенные замыслы. Когда тебе исполнится двадцать лет, возьми их себе или отдай за ненадобностью какому-нибудь начинающему врачу.

Но мне трудно сразу расстаться со своей мечтой. Этот начинающий врач, мой наследник и продолжатель,— нынче утром это ты, я хочу, чтобы это был ты...

Полдень.

Кажется, я напрасно отказался от тренировки гортани и сократил дыхательную гимнастику. За последние две недели — ухудшение, так что нынче пришлось даже прибегнуть к прижиганию электричеством.

Все утро пролежал в постели.

Газеты. Читал и перечитывал несколько раз послание, напечатанное в «Лейбор дэй». Тон простой, благородный, здравые мысли. Вильсон повторяет, что настоящий мир — это нечто совсем иное и более значительное, чем просто еще один вариант европейского равновесия. У него сказано ясно: «Это *освободительная* война» (подобная американской). Избежать старых ошибок, раз и навсегда избавиться от парадоксов довоенной Европы, чтобы мирные трудолюбивые народы не жили, как прежде, разоряясь на вооружение, выстраиваясь у своих границ с примкнутыми штыками. Мир наций, заключивших между собой союз. Мир прочный, могущий наконец дать Европе то ощущение безопасности, которым сильны Соединенные Штаты. Мир без победителей и без униженных, мир без очагов будущего реванша, без всего того, что может в один прекрасный день воскресить дух войны.

Вильсон правильно указывает первое условие такого мира: свержение деспотических правительств. Важнейшая цель. Европа не будет чувствовать себя в безопасности, покуда не вырван с корнем германский империализм. Покуда австро-германский блок

не проделает эволюции в сторону демократии. Покуда не будет уничтожен этот рассадник ложных идей (ложных — потому что они противоречат общим интересам всего человечества), рассадник мечты о мировой империи, цинического воспевания силы, веры в превосходство германца над всеми прочими народами и его право подчинить их себе. (Проповедь особой миссии Германии в окружении кайзера, согласно которой всякий германец обязан быть крестоносцем, носителем идеи германского владычества над миром.)

Вечер.

Рад был посещению Гуарана и Вуазене, они зашли после обеда. Говорили о Германии. Гуаран утверждает, что зловещая религия силы является не столько плодом имперского режима, сколько выражением особых этнических свойств расы: скорее инстинкт, чем доктрина. Споры. Пруссия — еще не вся Германия, и т. д. Гуаран сам признает, что у Германии есть все необходимые данные для того, чтобы стать мирной и пользующейся свободами нацией. А если даже в германском мессианизме проявляет себя инстинкт расы? Разве не ясно, что деспотический режим растравляет его, усиливает, использует в своих целях! От нас, если мы победим, от характера мирных договоров, от нашего отношения к побежденным будет зависеть — останется или исчезнет это зло. Демократическое перевоспитание Германии, которое Вильсон хочет предписать, выведет этот мессианизм из употребления и тем самым лишит его жала или же направит его по иному пути, но лишь при одном условии: если мирный договор не даст немецкому народу никаких поводов желать реванша. На все это потребовалось бы лет пятнадцать. Я не теряю надежды. Я склонен верить, что Германия 30-х годов — республиканская, патриархальная, трудолюбивая и мирная — станет одной из самых верных гарантий европейского союза.

Вуазене напомнил ноябрь 1911 года. Очень верно. Почему франко-германское соглашение Кайо только отдалило войну? Потому что оно не меняло — не могло изменить — политического режима Германии. Потому что политика Германии, Австрии, России по-прежнему оставалась политикой самодержавной власти, политикой имперских министров, имперских генералов. Вильсон это понял. Ничто не изменится, если будет побежден только кайзер, но останется неприкосновенным прусский, тевтонский дух, императорская власть, ее стремление к гегемонии, ее пангерманизм. Устранить первопричины, чтобы не дать возродиться духу автократии. И тогда прочный мир будет обеспечен.

Не надо забывать, что именно кайзеровское правительство, одно, против желания всей остальной Европы, сорвало Гаагскую

конференцию. (Записываю подробности со слов Гуарана; было достигнуто полное согласие по вопросу об ограничении вооружений, было заключено соглашение, которое могло пойти очень далеко; и вот накануне подписания представитель Германии получил от своего правительства приказ не брать на себя никаких обязательств.) Иными словами, в этот день Империя сбросила маску. Если бы принцип арбитража был принят, если бы Германия, подобно другим государствам, согласилась бы на ограничение вооружений, положение Европы в 1914 году было бы совсем иным, чем оказалось в действительности, и мы, возможно, избегли бы войны. Помнить об этом. До тех пор, пока в самом сердце Европы сохраняется режим пангерманской экспансии, самодержавно распоряжающейся судьбами семидесяти миллионов подданных, разжигающих каждодневно националистическую гордыню,— мир в Европе невозможен.

4 сентября.

Сегодня с утра боли в боку мобильные, перемежающиеся, очень острые. (Помимо всего прочего.)

В сводке сообщается о взятии обратно Перонна. До сих пор, если не ошибаюсь, командование ни разу не проговаривалось, что Перонн в августе перешел в руки противника.

Коротенькое письмо от Филипа. В Париже говорят, что Фош проектирует наступление в трех направлениях одновременно. Одно на Сен-Кантен. Другое на реке Эн. Третье, совместно с американцами, на Маасе. Или, как выражается Филип, «в перспективе еще одно *кровопускание*...». Неужели нужны еще и еще трупы, прежде чем будут приняты вильсоновские предложения?

Вечер.

Недавно заходил Гуаран. Возмущен. Оказывается, за обедом шел спор о новом послании Вильсона. Почти все сошлись на том, что роль Лиги наций прежде всего — после войны сохранять с помощью постоянного института коалицию цивилизованного мира против Германии и Австрии. Гуаран утверждает, что эта идея прочно засела в мозги официальной Франции (начиная с Пуанкаре и Клемансо). Ее можно сформулировать так: *«sine qua non»* [1] мирного устройства Европы состоит в исключении бошей из европейского концерта. Как проклятой богом расы. Как фермента будущих войн. Мир невозможен, покуда существует в Европе слишком живучая Германия. Следовательно, нужно учредить над ней опеку, чтобы обезвредить».

[1] Обязательное условие *(лат.)*.

Чудовищно. Если Гуаран передает точно, то это полное извращение мысли Вильсона. Оставить для начала за пределами *всеобщего* Союза одну треть Европы под предлогом ответственности этой трети за войну, провозгласить Германию на все времена страной, не заслуживающей доверия,— это означает убить в зародыше правовую организацию Европы, удовлетвориться карикатурой на Сообщество наций, открыто признать, что у нас мечтают подчинить Европу англо-французской гегемонии, с умыслом выращивать семена новых кровавых конфликтов. Вильсон слишком разумен, слишком опытен, дабы попасться в эту империалистическую ловушку.

5-е, четверг.

Сегодня еле держусь на ногах. Похож на случайно ожившего удавленника. Чтобы спуститься с лестницы, потребовалось целых пять минут.

Медленно, неотвратимо приближаюсь к своему концу. Этой ночью снова вспомнил, как умирал Отец. Во время агонии он напевал песенку, которую любил еще в юные годы:

Гоп! Гоп! Милая ждет!

Не следует откладывать, поскорее записать свои мысли об Отце для Жан-Поля.

Как часто там в дни, когда нас отводили в тыл на отдых, где была тишина, где всякий мог снова испытать величайшее счастье — растянуться на настоящей кровати,— я проводил целые часы в наивных мечтаниях о послевоенном будущем, о том, что я непременно начну вести другую, лучшую жизнь, жизнь, по-настоящему полную труда и более полезную людям... Все впереди, казалось мне, должно было быть таким прекрасным!

Мертвый, мертвый. Неотвязная мысль. Непрошеная во мне. Чужая. Язва. Паразит.

Все было бы по-иному, если бы я мог принять. Но для этого пришлось бы искать опоры в метафизике. А я... Странно, что наше возвращение в небытие способно вызвать такое сопротивление. Что чувствовал бы я, если бы верил в существование ада, знал, что мне суждены вечные муки? Думаю, что страшнее все равно не было бы.

5 сентября, вечер.

Майор прислал мне через Жозефа журнал, в котором лежала закладка. Я открыл отмеченную страницу и прочел:

«Войны ведутся под всевозможными предлогами, но истинная причина у них всегда одна — армия. Не будет армий, не будет войн. Но как упразднить армию? Путь к этому один: свержение деспотизма». Это цитата из речи Виктора Гюго, а Реймон написал на полях: *«Конгресс мира, 1869!»* — и поставил восклицательный знак.

Пусть издевается, если ему угодно. Если пятьдесят лет назад уже проповедовалось уничтожение деспотизма и ограничение вооружений, это вовсе не значит, что ныне нужно терять веру в то, что человечество выйдет наконец из тупика.

Мокрота в эти дни обильнее, чем когда бы то ни было. Увеличилось количество расплавленной ткани (пленки слизистой и ложной пленки).

6 сентября.

Получил сегодня утром письмо от г-жи Руа. Пишет мне каждый год в день смерти своего сына.

(Любен иногда чем-то напоминает Манюэля Руа.)

Как думал бы он теперь, останься он в живых? Представляю его себе довольно ясно, *дохляка* (как Любен), но по-прежнему отчаянного,— он дождаться бы не мог выздоровления, чтобы поскорее вернуться на фронт.

Жан-Поль, что будешь думать ты о войне в 1940 году, когда тебе исполнится двадцать пять лет? Ты, конечно, будешь жить в перестроенной заново, умиротворенной Европе. Ты, должно быть, и представить себе не сможешь, что это такое было — «национализм». Что такое была героическая вера тех, которым в августе 1914 года тоже исполнилось двадцать пять и перед кем открывалось все будущее: героизм юношей, уходивших на фронт горделиво, как мой милый мальчик Манюэль Руа! Не суди их слишком строго, попытайся понять. Не истолкуй ложно благородство этих мальчиков, которым не хотелось умирать и которые, как подобает мужам, поставили на карту свою жизнь, когда их родине угрожала опасность. Далеко не все были сорвиголовами. Многие, подобно Манюэлю Руа, шли на эту жертву, веря, что она послужит счастью будущего поколения, к которому принадлежишь и ты. Да, таких было много. Я сам их знал. Дядя Антуан свидетельствует за них.

Газеты. Мы перешли Сомму, достигли Гискара. Продвинулись также на севере от Суассона, отбили Куси. Удастся ли помешать немцам укрепиться за линией Шельды и канала Сен-Кантен?

7-е вечером.

Жан-Полю.

Думаю о будущем. О твоем будущем. О том «прекрасном будущем», о котором мечтали Манюэль Руа и подобные ему. Прекрасное? Надеюсь, что именно такое будущее ждет тебя. Но мы оставляем вам в наследство мир, погруженный в хаос. Боюсь, что тебе придется войти в жизнь в смутные, тревожные времена. Противоречия, неуверенность, столкновение старых и новых сил. Потребуются крепкие легкие, чтобы не задохнуться в этом зараженном воздухе. Помни же — не всякому дано будет узнать радость жизни.

Воздерживаюсь от всяких пророчеств. Но не так уж трудно представить себе Европу завтрашнего дня. Экономически — всеобщее обнищание, расстройство социального бытия. Морально — резкий разрыв с прошлым, ниспровержение прежних ценностей и т. д. И, как следствие всего этого, грандиозное смятение. Период линьки. Болезни роста, сопровождаемые приступами лихорадки, судорогами, то взлетами, то упадком сил. В итоге — равновесие, в итоге, но не сразу. Роды, которые будут протекать мучительно.

А как поведешь себя тогда ты, Жан-Поль? Ведь трудно разобраться во всем этом. Каждый будет считать себя обладателем истины, и у каждого, как всегда, найдется своя панацея. Быть может, это будет эпоха анархии? Так думает Гуаран. Я — нет. Если анархия, то анархия только видимая, временная. Ибо не анархия будущее человечества, не может она быть его будущим, нельзя даже допускать такую мысль. Свидетельством тому — история. Единственное возможное будущее человечества — организация, каковы бы ни были неизбежные колебания. (Очень возможно, что эта война — решительный шаг если не к братству, то, во всяком случае, к взаимному пониманию. Приняв вильсоновский мир, Европа расширит свои горизонты; идеи человеческой солидарности, коллективной цивилизации заменят идею национализма и т. д.)

Во всяком случае, ты будешь свидетелем грандиозных изменений, коренной переплавки. И вот что я хочу тебе сказать. Мне кажется, что в ту пору общественное мнение, магистральные идеи, которые направляют его, будут иметь все возрастающее влияние. Будущее, очевидно, станет невиданно гибким. Значение личности возрастет. Настоящий человек сможет, как никогда раньше, громко сказать свое слово о нашем мире, и оно будет услышано; сможет участвовать в перестройке мира.

Стать настоящим человеком. Развивать в себе дееспособную личность. Остерегаться ходячих теорий. Так соблазнительно осво-

бодиться от слишком тяжкого бремени собственной личности! Так соблазнительно дать себя втянуть широкому движению коллективного энтузиазма! Соблазнительно верить, ибо удобно, в высшей степени комфортабельно! Сможешь ли ты противостоять искушению?.. Это будет не так-то легко. Чем запутаннее нам кажутся тропы, тем более склонны мы любой ценой выбираться из лабиринта, цепляясь за любую уже готовую теорию, лишь бы она успокаивала, указывала выход. Всякий мало-мальски убедительный ответ на те вопросы, которые мы ставим перед собой и которые не можем решить сами, предстает перед нами как некое убежище, в особенности если мы полагаем, что ответ этот одобрен большинством. Опасность первейшая! Крепись, отвергай штампованные формулы! *Не позволяй завербовать себя!* Пусть лучше терзания неуверенности, чем ленивое моральное благополучие, которое предлагают доктринеры каждому, кто согласен пойти за ними! Нащупывать путь самому, в потемках, не очень весело; но это меньшее *зло*. Худшее — покорно идти за тусклым светильником, который твой сосед выдает за светоч. Остерегайся! Пусть память об отце будет тебе примером! Пусть его *одинокая* жизнь, его беспокойная мысль, вечно ищущая мысль, будет для тебя образцом щепетильной честности по отношению к самому себе, примером правдивости, внутренней *силы* и достоинства.

Рассвет. Бессонница, бессонница...

(Я, кажется, впадаю в проповеднический тон, как только обращаюсь к Жан-Полю. Не употреблять всяких «остерегайся» и прочего.)

Стать «настоящим человеком»... Одно забыл объяснить ему — как это достигается!

Как это достигается?

В самом деле, я не знал настоящих людей, кроме своих собратьев по профессии. Впрочем, склонен думать, что поведение настоящего человека перед лицом событий, перед лицом реальности и случайностей социальной жизни не должно отличаться от поведения врача у постели больного. Важно одно: свежесть взгляда. В медицине годы учения, знания, почерпнутые из книг, очень редко могут пригодиться для решения новых проблем, перед которыми оказывается врач в каждом данном случае. Всякая болезнь, а равно также и всякий социальный кризис, всегда предстает как первый случай, не имеющий прецедентов; как случай *исключительный,* для которого всякий раз нужно изобретать какие-то новые способы врачевания. Чтобы быть настоящим человеком, нужно обладать богатым воображением...

Воскресенье, 8 сентября, 18.

Сегодня утром, проснувшись, отхаркнул сгусток около девяти сантиметров. Велел передать его Бардо для анализа.

Перечел то, что писал сегодня ночью. Был удивлен, что могу еще временами испытывать интерес к будущему, к людям, которые будут жить после меня. Неужели это только ради Жан-Поля?

Подумав, пришел к убеждению, что интерес этот возникает сам собой и довольно стоек. И, напротив, мое удивление по этому поводу — результат умственного напряжения, постоянного изучения самого себя за последнее время. В самом деле, я не могу не думать о будущем. Это для меня, как и прежде, постоянная деятельность ума, и притом совершенно естественная... Странно!

Перед завтраком.

Вспоминаю газетную заметку, которая когда-то поразила Филипа. (Один из наших первых внепрофессиональных разговоров. Я только что начинал работать с ним.) В этой заметке речь шла о преступнике, приговоренном к гильотине, который, когда его привезли на место казни, стал вырываться из рук палача и крикнул прокурору: «Не забудьте о моем письме!» (Сидя в тюрьме он узнал, что его любовница была ему неверна, и в утро своей казни написал судьям письмо, где признавался еще в одном своем преступлении, не раскрытом властями, в котором была замешана также и эта женщина.)

Мы никак не могли понять. До последней секунды так страстно интересоваться земными делами! Филип объяснял это почти полной невозможностью для большинства людей «представить себе реально» небытие.

Сейчас эта история не так уж меня удивляет.

9 сентября.

Скверный вкус во рту; к чему еще и эта мука? Никогда я не верил в креозот, он напоминает кабинет зубного врача, от него только лишаешься последнего аппетита.

После обеда, в саду.

Написал сегодня утром число, 9 сентября, и вдруг вспомнил: сегодня *вторая* годовщина Ревиля.

Вечер.

Прожил весь день в мыслях о Ревиле.

Наш приезд на закате. Устройство санитарного пункта в часовне. Развалины деревни. Накануне немцы выпустили двести снарядов. Непроглядная тьма, и в ней взлетают к небу осветитель-

ные ракеты. Командный пункт, полковник, исполняющий обязанности командира бригады, устроил свой КП в доме, от которого остались три полуразрушенных стены. Грохот семидесятипятимиллиметровок, установленных в лесу. Обломки крыши, лужа. Красная разорванная перина на земле, как раз в том месте, где меня ранило на следующий день. Обломки, высохшая грязь, земля, изрытая колесами обозов. И пригорок за деревней, пригорок, который был виден сквозь разбитые цветные стекла часовни, с пригорка пачками спускались к нам раненые, белые от пыли, прихрамывая и, как всегда, тихие, с отсутствующим взглядом. Мне хорошо запомнился этот пригорок, черный на горящем, как будто в отблеске пожара, небе, истыканный кольями с колючей проволокой, которые склонялись к земле, словно сбитые напором циклона. И слева старая мельница, рухнувшая на крылья, похожая на сломанную игрушку. (Почему-то приятно описывать все это. Спасти от забвения? Для чего? Для того, чтобы Жан-Поль знал, что однажды утром в Ревиле дядя Антуан?..) В часовню к ночи набилась уйма народу.. Стоны, ругань. Груда соломы в глубине, там, где складывали мертвых вперемежку с полумертвыми, которых нельзя было эвакуировать. Фонарь на алтаре. Свеча в бутылке. Свод с причудливым хороводом теней. Вижу стол, доски, положенные на два бочонка, простыни, вижу так ясно, как будто я успевал тогда наблюдать и запоминать. Моя тогдашняя энергия! Чудесное полуопьянение, наслаждение своим искусством, рабочий порыв. Действовать быстро. Владеть собой совершенно. Зрение, осязание, все чувства в удивительной готовности к действию; всем телом, до кончиков пальцев, управляет напрягшаяся воля. Притом какая-то грусть и вместе нечувствительность, как у автомата. А поддерживала цель, дело, которое надо было делать. Ничего не слушать, ничего не видеть, целиком уйти в свое дело. И делать точно, споро, не торопясь и не теряя ни секунды, рассчитывая все движения, необходимые для того, чтобы вот эта рана была обработана, вот эта артерия зажата вовремя, вот этот перелом иммобилизирован. Следующего!

Уже менее отчетливо помню навесы, сараи по другую сторону улочки, где носилки с ранеными ставили просто на землю. Но самую улочку помню очень хорошо, помню, как мы прижимались к стене, спасаясь от пуль. И до сих пор в ушах стоит тоненький свист и сухое щелканье пуль о глиняные стены. И безумные глаза маленького небритого майора с рукой на перевязи; здоровой рукой он все время водил у виска, будто отгонял рой насекомых: «Здесь много мух. Так много мух!» (И вдруг я вспомнил старого бородача-добровольца, полуседого, который работал с нами в госпитале в Лонпре-ле-Кор-Сен, его унылую физиономию; достаточно было

послушать, как он говорил раненому, снимая его с носилок: «А нука, парень, слазь, за тобой пришли!» — чтобы угадать в нем парижского рабочего.)

Работали всю ночь, даже не подозревая об обходном движении неприятеля. А на заре: прибытие связиста; неприятель, охвативший деревню с фланга, выводные окопы, ставшие вдруг опасными; площадь, которую надо было пересекать под пулеметным огнем, чтобы добраться до единственного неугрожаемого хода сообщения. Ни на секунду не было мысли, что я рискую собой. И потом я падаю, мелькает красная перина, и такая четкая мысль: «Пробито легкое... В сердце не попало... Выкручусь...»

(Вот от чего зависишь... Если бы тем утром я был ранен в ногу или в руку, я не был бы таким, каким стал сейчас. Та капля иприта, которую я глотнул два года спустя, не причинила бы столь сильных разрушений, будь у меня целы оба легких.)

10 сентября.

Со вчерашнего дня весь поглощен воспоминаниями о войне.

Хочу записать для Жан-Поля историю с тифозными, из-за них-то, в сущности, я вынужден был оставаться на фронте гораздо дольше, чем большинство моих коллег по санитарной службе. Зима 1915 года. Я все еще служил в моем компьенском полку, который стоял в то время на передовых позициях на севере. Но мы, батальонные врачи, установили очередь, и примерно раз в две недели каждый из нас отправлялся в тыл, километров за шесть, где в маленьком сарае был устроен госпиталь на двадцать коек. Прибываю я туда как-то вечером. Восемнадцать больных в полуподвальном этаже под сводчатым потолком. Все с температурой; у некоторых 40°!.. Я осмотрел их при тусклом свете ламп. Сомнений быть не могло: все восемнадцать в тифу. Но на фронте было запрещено иметь тифозных. Фактически приказано было никогда не ставить подобного диагноза. В тот же вечер звоню начальству. Заявляю, что у меня находятся восемнадцать парней, которые, по моему мнению, «страдают тяжелыми желудочно-кишечными расстройствами, очень сходными по своим явлениям с паратифом» (я благоразумно избегаю слова «тиф»), и что я как честный человек принужден отказаться от управления госпиталем, ибо считаю, что несчастные перемрут в этом погребе, если их не эвакуировать немедленно. На другой день на рассвете за мной прислали автомобиль. Мне велено было явиться в дивизию. Я твердо выдержал натиск начальства, не сдался. Больше того: добился немедленной эвакуации больных. Но с этого дня в моем послужном списке появилась некая «отметка», которой я обязан тем, что со дня моего ранения мне были закрыты всякие пути продвижения по службе!

Вечер.

Думаю о своих отношениях со здешними обитателями. Близость между людьми здесь должна бы быть кровной, как на фронте. Но нет! Ничего общего. Здесь просто товарищеские отношения, и только. А на фронте последний кашевар тебе брат.

Думаю о тех, кого я там знал. Печальный смотр: кто признан негодным, кто искалечен, кто пропал без вести... Карлье, Бро, Ламбер, и славный Дален, и Гюар, и Лене, и Мюлатон,— где-то они все? А Соне? А маленький Нопс? И сколько еще их? Кто из них уцелеет в этой войне?

Сегодня я думаю о войне иначе, чем всегда. Вспоминаю слова Даниэля в Мезоне: «Война дает тысячи и тысячи поводов к редчайшей человеческой дружбе...» (Жестокие поводы и скоропреходящая дружба.) И все-таки он прав: там была какая-то жалость и великодушие, какая-то взаимная нежность. Когда проклятие обрушивается на всех, остаются лишь самые простые реакции, и они для всех одинаковы. Есть ли у нас нашивки, нет ли — все мы равны; нас объединяют те же страдания, то же рабство, та же тоска, те же страхи, те же надежды, та же окопная грязь и часто та же похлебка, те же газеты. Меньше маленькой лжи, меньше маленьких подлостей, меньше злобы, чем в мирной жизни. Там так нуждаются друг в друге. Там любишь и помогаешь, чтобы тебя любили и тебе помогали. Меньше личных антипатий, нет зависти (на фронте). Нет ненависти. (Нет даже ненависти к бошу, жертве той же нелепости.)

И потом еще одно: силою вещей война — время *раздумий.* И для некультурных и для образованных. Раздумий простых, глубоких. И, за немногими исключениями, у всех об одном и том же. Может быть, непрерывное общение со смертью заставляет размышлять даже самых, казалось бы, не склонных к этому людей. (Пример — мой дневник...) Буквально у каждого своего товарища по батальону я подмечал минуты такого *раздумья.* Раздумья одинокого, которое становится потребностью, без которого не можешь обойтись, которое скрываешь, уходя в себя. В тот единственный уголок души, который оставляешь для себя. В этой вынужденной обезличенности размышление — последнее убежище личности.

Что останется от плодов этого раздумья у тех, кто уцелеет? Немного, быть может. Яростная жажда жизни, во всяком случае, ужас перед бесполезными жертвами, перед громкими словами, героизмом. Или, наоборот, тоска по фронтовым «добродетелям»?

11-е.

Наличие расплавленной ткани в мокроте было установлено гистологически. Никаких ложных пленок, а кусочки слизистой.

По правде говоря, я почти так же часто думаю о своей жизни, как и о своей смерти. Беспрерывно возвращаюсь к прошлому. Роюсь в нем, как мусорщик в отбросах. Концом крюка подцепляю какой-нибудь обломок, рассматриваю его, изучаю, думаю о нем без устали.

Жизнь! Это такая малость... (И я считаю так вовсе не потому, что мои дни сочтены. Это относится ко всякой жизни.) Архиизбито: короткая вспышка во тьме нескончаемой ночи и т. д. Те, кто повторяет это в качестве общего места, как мало они понимают смысл этих слов. Как мало чувствуют весь их пафос!

Праздный вопрос, но отделаться от него до конца невозможно: «В чем смысл жизни?» И, пережевывая, как жвачку, мое прошлое, я ловлю себя нередко на мысли: «А какой во всем этом толк?»

Никакого; абсолютно никакого. При этой мысли испытываешь какую-то неловкость, ибо в тебя въелись восемнадцать веков христианства. Но чем больше думаешь, чем больше глядишь вокруг себя, в самого себя, тем больше постигаешь эту бесспорную истину. «Никакого толку в этом нет». Миллионы существ возникают на земной поверхности, возятся на ней какое-то мгновение, потом распадаются и исчезают, а на их месте появляются новые миллионы, которые завтра также рассыплются в прах. В их кратком появлении никакого толку нет. Жизнь не имеет смысла. И ничто не имеет значения, разве только стараться быть как можно менее несчастным во время этой мимолетной побывки...

Впрочем, этот вывод не так уж безнадежен, не так уж парализует, как может показаться на первый взгляд. Чувствовать себя омытым, начисто освобожденным от всех иллюзий, которыми убаюкивают себя люди, желающие во что бы то ни стало видеть в жизни какой-то смысл; чувствовать так — значит достичь чудеснейшего состояния просветленности, могущества, свободы. Больше того: эта идея обладает, если уметь только воспользоваться ею, даже каким-то тонизирующим действием.

Вспомнил вдруг корпус Б, зал в нижнем этаже, через который проходил каждое утро, закончив работу в больнице. Как сейчас вижу: зал полон ребятишек, они сидят на полу, играют в кубики. Там были хроники, калеки, больные, выздоравливающие. Были там умственно отсталые дети, полуидиоты, и другие, очень развитые. В общем, полное подобие микрокосма... Человечество, если на него посмотреть через перевернутый бинокль... Многие ребята просто переставляли кубики как попало, переносили их с места на место, переворачивали их то одной, то другой стороной. Другие — более развитые — подбирали кубики по цветам, выстраивали их

по прямой линии, складывали из них геометрические фигуры. Некоторые строители дерзали возводить маленькие, шаткие домики. Иной раз какой-нибудь упорный, изобретательный и самолюбивый зодчий задавался трудной целью и после десятка попыток воздвигал мост, обелиск, высоченную пирамиду... Когда кончалась перемена, все это рушилось. На линолеуме оставалась груда разбросанных кубиков в ожидании завтрашнего дня.

В конечном счете довольно схоже с тем, что представляет собою жизнь. Каждый человек, повинуясь *единственной потребности — играть* (какие бы высокие предлоги он ни измышлял), строит жизнь сообразно со своими прихотями и способностями из тех самых элементов, которые доставляет ему действительность, из тех разноцветных кубиков, которые попадаются ему под руку,— и так со дня рождения. Те, кто одарен, стараются сделать из своей жизни сложную конструкцию, подлинное произведение искусства. Нужно следовать их примеру, чтобы как можно лучше, веселей провести «перемену»...

Каждый, сообразно со своими возможностями. Каждый — из тех элементов, которые дает ему случай. И так ли уж важно в самом деле — хуже или лучше получится какой-нибудь обелиск или пирамида.

Той же ночью.

Мой мальчик, я раскаиваюсь в том, что написал вчера вечером. Если тебе попадутся эти страницы, ты, должно быть, вознегодуешь. «Так мог думать только старик,— скажешь ты,— или умирающий». Ты прав, конечно. Я и сам уже не знаю, в чем правда. Существуют другие ответы, не просто негативные, на тот вопрос, который ты, несомненно, ставишь перед собой: «Во имя чего жить, работать, какова цель, которой стоит отдать себя всего?»

Во имя чего? Во имя прошлого и будущего. Во имя твоего отца и твоих детей, во имя того, что сам ты — звено этой цепи. Развитие не должно прерываться... Передать другим то, что тебе досталось, но обогатив, возвысив.

Не ради ли этого мы живем?

12 сентября, утро.

Был *средним человеком,* не выше того. Средние способности, как раз в соответствии с тем, чего требовала от меня жизнь. Средний ум, и память, и дар ассимиляции. Средняя личность. Все прочее — маскировка.

После обеда.

Здоровье, счастье — только шоры. В болезни черпаешь наконец явное видение мира. (Идеальным условием для того, чтобы

понять себя и понять людей, было бы *переболеть* и затем восстановить здоровье. Меня подмывает даже сказать, что «человек, неизменно пользующийся хорошим здоровьем, неизбежно дурак».)

Был средним человеком — не выше того. Без настоящей культуры. Культура у меня была профессиональная, ограниченная моим ремеслом. Великие люди, *настоящие великие люди,* не ограничены своей областью. Великие врачи, философы, великие математики, великие политики никогда не бывают только врачами, философами и т. д. Их мысль свободно движется в других сферах, бежит за пределы специальных знаний.

Вечер.

О себе самом.

Я просто-напросто всегда был удачлив. Карьеру выбрал такую, в которой легче всего было преуспеть. (Что уже само по себе показатель практического ума.) Но ума *среднего,* хорошо уравновешенного, но лишь настолько, чтобы использовать благоприятные обстоятельства.

Прожил в ослеплении гордыней.

Воображал, что всем обязан своему уму и своей энергии. Воображал, что сам выковал свою судьбу и что мои успехи заслужены мною. Считал себя незаурядным субъектом только потому, что сумел убедить в этом людей менее способных. Маскировка. Ухитрялся вводить в заблуждение даже Филипа.

Обман, иллюзии, которые жизнь не замедлила бы разрушить. Меня, конечно, ожидали жестокие разочарования. Я просто был бы хорошим врачом, таким, как сотни других.

13 сентября.

Нынче утром розоватая мокрота. 11 часов. Лежу, дожидаясь Йозефа, банок.

Моя палата. Ненавистный маленький мирок, знакомый мне до последнего гвоздика, до тошноты. Нет такой щелочки, царапинки на этой розовой стене, следа от рамки, на которых тысячи раз не останавливался бы мой взор. И неизменные *girls* над зеркалом! (Которых мне, может быть, недоставало бы, если бы меня послушались и убрали их.)

Часы, долгие часы, дни, ночи на этой постели, и это я, когда-то такой деятельный!

Деятельность, активность. Я был не просто активным. У меня был культ активности, фанатический и ребяческий.

(Не хочу быть слишком суровым к своей прежней активности. Всему, что я знаю, научило меня именно действие. Столкновение лицом к лицу с реальностями. Действие воспитало меня. Даже

этот кромешный ад войны я выносил так твердо лишь потому, что он вынуждал меня непрестанно к действию.)

Днем.

В сущности, мне следовало бы избрать хирургию. Я вкладывал в свою работу темперамент хирурга. Чтобы стать действительно хорошим врачом, нужно быть и созерцателем.

Вечером.

Все время вспоминаю о прежней чудесной, деятельной жизни. Не без суровости. Я замечаю в ней сейчас долю — некую долю — притворства. (Перед самим собой не меньше, во всяком случае — столько же, сколько и перед другими.)

Моя слабость: *вечная потребность в одобрении.* (Нелегко признаться в этом, Жан-Поль!)

Сотни раз убеждался, что мог проявить себя во всем блеске только в присутствии других. Когда я чувствовал, что на меня смотрят, говорят обо мне, восторгаются, я расцветал, росла моя смелость, решимость, сознание силы; воля устремлялась в бой. (Примеры: бомбардировка Перонна, скорая помощь в Монмирайле, удачная операция в лесу Брюле и т. д. Другой пример — в довоенное время: я всегда был в сто раз проницательнее в диагнозах, предприимчивее в лечении, когда действовал на глазах у моих сотрудников, в больнице; другое дело — дома, у себя в кабинете, наедине с пациентом.)

Я понял теперь, что истинная энергия — нечто иное; она обходится без зрителей. Моя энергия всегда нуждалась в присутствии других, чтобы дать максимум того, что я мог дать. Будь я один на острове Робинзона, возможно, я покончил бы с собой. Но появление Пятницы побудило бы меня к свершению подвигов.

Вечер.

Упражняй волю, Жан-Поль. Если ты способен желать, ты сможешь достигнуть всего.

14-е.

Рецидив. Ретростернальные боли, помимо всего прочего. И спазмы непонятного происхождения. Беспрерывная рвота. Не смог встать с постели.

Гуаран принес газеты. В Швейцарии говорят о мирных предложениях Австро-Венгрии (?), а также о глухом революционном брожении в Германии (?)... Значит ли это, что в Германию, благодаря посланиям Вильсона, проникли демократические идеи? Более достоверно известие о продвижении американцев в направ-

лении Сен-Миеля. А ведь Сен-Миель — это дорога на Бриен, на Мец. Зато мы подвигаемся на линии Гинденбурга, которую считают неприступной.

16 сентября.

Немного легче. Приступы рвоты прекратились. Эти дни очень ослаб от диеты.

Ответ Клемансо на попытки Австрии начать мирные переговоры. В высшей степени неприятный ответ. Стиль кавалерийского офицера. Хуже того: пангерманский стиль. Плоды недавних военных успехов уже дают себя знать: как только один из противников решит, что превосходство на его стороне, он раскрывает свои тайные замыслы, *которые всегда оказываются империалистическими замыслами.* Вильсону придется выдержать не один бой с государственными деятелями Антанты, если только победа союзников не будет исключительно делом рук американских солдат. У Антанты был прекрасный случай сказать открыто и честно, каковы ее цели. Но Антанта предпочла блефовать, Антанта делает вид, что ее требования будут максимальными, и это из страха, что иначе в момент подведения счетов ей не удастся вытянуть из побежденных все, что только можно вытянуть. Гуаран говорит: Антанта пьянеет от любого успеха.

17-е.

Они могут говорить все, что угодно, но это распространение очагов бронхопневмонии следует рассматривать как форму обострения инфекции легких.

18-е.

Бардо долго меня осматривал и выслушивал, потом совещался с Сегром. *Явное ослабление правого желудочка, явление синюшности, и пониженное кровяное давление.*

Я ждал этого уже давно. Старая песня: «Поражены легкие — лечи сердце».

Повадки санитаров: они ухитряются быть вне пределов досягаемости, когда спешно нужны больному, и вечно торчат в палате как раз тогда, когда их присутствие кажется предельно неуместным.

Ночь с 19-го на 20-е.

Жизнь, смерть, непрерывное произрастание и т. д.

После обеда мы с Вуазене рассматривали карту фронта Шампани. Внезапно вспомнил белесую равнину (кажется, где-то к северо-востоку от Шалона), где мы остановились на привал, чтобы

перекусить; меня тогда, в июне семнадцатого года, прикомандировали к другому полку. Земля была так глубоко взрыта бомбежками еще с первых дней войны, что на ней не произрастало больше ничего, даже пырея. А ведь дело было весной, вдали от фронта, и все пространство вокруг было вновь перепахано. И неподалеку от того места, где мы расположились, среди мертвой меловой пустыни, вырисовывался зеленый островок. Я направился к нему. Это оказалось немецкое кладбище. Могилы, сровненные с землей, укрытые в высокой траве, а над этим еще свежим скопищем трупов,— изобилие злаков, полевых цветов, бабочек.

Архибанально. Но сегодня это воспоминание волнует меня сильнее, чем прежде. Весь вечер раздумывал над слепыми силами природы и т. д. Но так и не сумел додумать эту мысль.

20 сентября.

Успешные бои на фронте у Сен-Миель. Успех на линии Гинденбурга. Успехи в Италии, успехи в Македонии, успехи повсюду. Но... ценой каких жертв?

И это еще цветочки. Нельзя без тревоги наблюдать, как изменился тон союзной прессы, с тех пор как мы почувствовали себя сильнее, чем противник. С какой непримиримостью Бальфур, Клемансо и Лансинг оттолкнули предложения Австрии! И это они, конечно, заставили Бельгию отвергнуть предложение Германии!

Заходил Гуаран. Нет, думаю, что конец войны не так уж близок. Создать германскую республику и вновь поставить прочно на ноги русского глиняного колосса — на это потребуются долгие месяцы, а может быть, и годы. И чем больше у нас будет побед, тем меньше мы будем склонны к искреннему примирению, без которого невозможен прочный мир.

Гуаран. Бесполезный и досадный спор о *прогрессе*. Он сказал: «Итак, значит, вы не верите в прогресс?»

Верю, верю, как же! Но что в том? *Тысячелетия* пройдут, пока оправдаются наши надежды на человека...

21-е.

Завтракал со всеми внизу.

Любен, Фабель, Реймон — при всем различии взглядов, все в равной мере узкие сектанты. (Вуазене сказал про майора: «Ни за что не поверю, что у него есть мозг. Разве только спинной».)

Жан-Полю.

Нет истины, кроме преходящей.

(Помню еще те времена, когда все верили, что антисептика важнее всего. «Убить микроба». А потом поняли, что вместе с микробом часто убивают живые клетки.)

Идти осторожно, ощупью. Ничего не утверждать окончательно. В конце всякого пути, если стать на него без оглядки,— тупик. (Примеров сколько угодно, хотя бы из области медицины. Я сам видел, как выдающиеся ученые, равные по силе, одинаковой прозорливости, страстные искатели истины,— приходили в результате изучения одних и тех же явлений, производя совершенно те же клинические наблюдения, к совершенно различным, даже диаметрально противоположным выводам.)

С молодых лет освободиться от склонности к безоговорочным суждениям.

22-е.

Такие мучительные боли в боку, что, когда я примощусь хоть как-нибудь, боюсь шелохнуться. Бардо уверял, что мазь из этилового парааминобензола делает чудеса. Никак не действует.

Они сами уже не знают, где мне делать теперь прижигания. Живого места не осталось.

25-е.

Со вчерашнего дня снова резко скачет температура.

Все-таки пытался сойти вниз. Но не смог, пришлось вернуться к себе и лечь,— так задохнулся на лестнице.

Эта палата, эти розовые стены... Закрываю глаза, чтобы больше ничего не видеть.

Думаю о предвоенном времени, о моей тогдашней жизни, о моей юности. Истинным источником моей силы было потаенное ненасытное *доверие к будущему*. Больше, чем доверие,— уверенность. А сейчас там, откуда шел ко мне свет, беспросветный мрак. Это пытка, не прекращающаяся ни на минуту.

Тошнота. Бардо задержался внизу, принимал троих больных. Ко мне сегодня после обеда дважды заходил Мазе. Не могу выносить его угрюмого вида, его физиономии старого колониального вояки. Провонял, по обыкновению, всю комнату потом. Чуть меня не вырвало.

Четверг, 26 сентября.

Плохая ночь. Аускультация показала новые очаги субкрепитирующих хрипов.

Вечер.

После укола несколько легче. Надолго ли?

Заходил на минутку Гуаран, утомил меня. Франко-американское наступление. Наступление англо-бельгийское. Немцы отступают повсюду. Успехи союзников также и на балканском фронте. Болгария просит перемирия. Гуаран говорит: «Мир с Болгарией — это начало конца: это как у беременной женщины перед родами отходят воды!..»

В Германии начинает пахнуть порохом. Социалисты выставили ряд конкретных условий, на которых они согласны войти в правительство... В стране всеобщее недовольство, оно сквозит даже в намеках канцлера,— смотри его последнюю речь.

Боюсь верить. Слишком хорошо. Но события разворачиваются так стремительно, что становится просто страшно. Турция раздавлена. Болгария и Австрия накануне капитуляции. Повсюду победа. Какие бездны сулит нам заключение мира? Головокружительно! Созрела ли наша Европа для *настоящего* мира?

В «Гранд-отеле» в Грассе один американец побился об заклад на тысячу долларов против одного луидора, что война будет закончена к рождеству.

Счастливы те, кто будет праздновать это рождество.

27-е.

Слабость увеличивается. Удушье. С понедельника полная афония. Бардо приводил ко мне Сегра. Осматривали меня целый час. Сегр держится проще, чем обычно. Встревожен.

Вечер.

Анализ мокроты: пневмококки, но преимущественно стрептококки, с каждым разом их все больше и больше, несмотря на специфическую сыворотку. Характерная токсикоинфекция.

Завтра утром рентген.

28-е.

Явные симптомы общего заражения. Бардо и Мазе заходят по нескольку раз в день. После просвечивания Бардо решил сделать пробную пункцию.

Чего он опасается? Абсцесса в паренхиме?

ОКТЯБРЬ

6 октября.

Целых восемь дней.

Еще слишком слаб, чтобы писать. Клонит ко сну. Снова —

дневник — все-таки какая-то радость. И даже палата радость. И мои *girls* тоже.

Значит, выкрутился и на этот раз?

7 октября.

Всю неделю не прикасался к дневнику. Силы мало-помалу восстанавливаются. Температура окончательно упала. По утрам нормальная, вечерами 37,9—38.

Все уже думали, что мне крышка. А оказалось — нет.

В понедельник, 30-го, меня перевезли в клинику в Грасс. Вечером меня оперировал Микаль. Сегр и Бардо ассистировали. Большой абсцесс в правом легком. К счастью, хорошо ограниченный. На пятый день уже смог вернуться в Мускье.

Почему я не покончил с собой 29-го, после пункции? Просто *в голову не пришло.* (Именно так!)

Вторник, 8 октября.

Слабость меньше. Удивительно, я нисколько не сожалею о том, что меня спасли, нисколько: я малодушно обрадовался новой отсрочке.

Так как я несколько дней не читал газет, мне трудно сейчас разобраться в происходящем. Ничего не знал об отставке немецкого кабинета. Там, очевидно, произошли довольно важные события. Швейцарская пресса утверждает, что назначение принца Макса Баденского канцлером объясняется желанием немцев начать мирные переговоры.

9 октября.

Хвастаться, в сущности, нечем. Ни на минуту не соблазнила мысль о самоубийстве. Только возвратившись в свою палату, вспомнил. В промежуток времени между диагнозом и операцией думал только об одном. «Скорей бы операция. Больше шансов на успех».

Еще унизительнее другое: все время, пока я был в Грассе, я не переставал жалеть, что забыл в Мускье янтарное ожерелье. Я решил было даже, как только вернусь в Мускье, передать его Бардо, взяв с него обещание... положить ожерелье со мной в гроб!

Но не уверен, что сделаю так. Капризы умирающего. Если я поддамся искушению, не суди меня слишком строго, мой мальчик, не презирай дядю Антуана. Это ожерелье дорого мне как память об одной ничем не примечательной истории, но эта история, вопреки всему,— самая счастливая в моей ничем не примечательной жизни.

Был Микаль. *10-е.*

11 октября, пятница.

Вчера бесконечно утомил осмотр хирурга. Сообщил мне все подробности. Большой абсцесс, хорошо локализованный, осумкованный очень устойчивой фиброзной тканью. Гной густой, вязкий. Признался, что легкое находится в состоянии сильнейшего отечного полнокровия. Бактериологический анализ: культура стрептококков.

Микаль заинтересовался моим случаем. Относительно редкий: в течение года из семидесяти девяти отравленных ипритом, бывших здесь на излечении, только у семи *простые* абсцессы, как у меня. Четырех оперировали успешно. Трое других...

Множественные абсцессы, к счастью, встречаются реже. Не операбельны. Из семидесяти девяти отравленных газами только три случая, и все три — смертельные.

Мне повезло. (Написалось это само собой. Конечно, я бы этого не написал, если бы хоть немного подумал. Но раз уже написалось, не хочу вычеркивать. Должно быть, я еще слишком привязан к жизни, раз называю «везением» продление пытки...)

12 октября.

Попробовал немножко походить после обеда. Еще похудел. С 30 сентября потерял два кило четыреста.

Сердце сдает. Дигиталин дважды в день. Страшная потливость. Боли, слабость, сухой кашель, удушье — все удовольствия разом. А когда меня спрашивают, как я себя чувствую, отвечаю с полным убеждением: «Неплохо...»

13-е.

Швейцарские газеты сообщают, якобы из достоверного источника, что новый немецкий кабинет обратился окольным путем к Вильсону с предложением начать переговоры. Прямое предложение немедленного перемирия. Правдоподобно, ибо последняя речь канцлера в рейхстаге была откровенным предложением мира. И эта Германия, вчера еще столь дерзкая!

Только бы союзники, чего доброго, не зарвались! Только бы удержались от искушения, не слишком бы вознеслись... В каждом их слове — наглость выигравшего скачку жокея! Уверен, что сам Рюмель позабыл свои мрачные весенние предсказания: должно быть, из всех сегодняшних триумфаторов Рюмель — самый непримиримый.

Слово «радость», которым пестрят страницы французских газет, звучит просто оскорбительно. «Облегчение» — да, но только не

«радость»! Нет, можно ли забыть так быстро ту лавину горя, которая нависает над Европой! Ничто, даже окончание войны не отменит того, что боль господствует и длится.

14 октября, ночь.

Снова бессонница. Ловлю себя на том, что жалею теперь об отупляющей сонливости, которая была у меня в период инфекции. Голова пустая, полное безразличие. Во власти «призраков». Сознания хватает только на то, чтобы как следует прочувствовать страдание.

Мне хотелось запечатлеть в этом дневнике свое «я». Для Жан-Поля. Но когда я начал писать, я был уже неспособен сосредоточиться, мыслить последовательно, работать. Еще одна неосуществленная мечта.

Пускай так. Полнейшее безразличие, расползается, как масляное пятно.

15-е.

Генеральное наступление. Повсюду успех. Все фронты зашевелились разом. С тех пор как заговорили о мире, союзное командование пустилось во все тяжкие, словно хочет отыграться напоследок. Травля зверя в полном разгаре.

Сегодня немного получше. Пишу с удовольствием.

Заходил Вуазене. Напоминает Будду. Лицо плоское, широко расставленные глаза, веки тяжелые, выпуклые, округлые, похожие на мясистые лепестки цветов (магнолии, камелии), большой рот, толстые губы, еле шевелит ими при разговоре. Лицо мудреца. Когда глядишь на него, становится спокойно. Какая-то фаталистическая безмятежность, что-то азиатское.

Ему якобы известны настроения, царящие в последнее время в генеральном штабе. Не предвещают ничего хорошего. Потери считаются ни во что с тех пор, как решили все надежды возложить на американскую помощь, которую полагают неисчерпаемой. И глухое сопротивление миру. Отвергнуть любые условия перемирия, захватить Германию, подписать мир в Берлине и т. д. Вуазене говорит: «Они мыслят категориями *победы,* вместо того чтобы думать об *окончании войны».* И все более открыто враждебны Вильсону. Уже твердят, что «четырнадцать пунктов» выражают только личные взгляды Вильсона; что Антанта никогда не одобряла их *официально* и т. д. Вуазене напомнил мне, что с июля, со времени первых военных успехов, пресса (подцензурная) еще изредка говорит о Лиге наций, но уже никогда о Соединенных Штатах Европы.

Вечер.

Вуазене оставил мне несколько номеров «Юманите». Просто поразительно, какое жалкое зрелище являют собой наши социалисты в глазах каждого, кто вдумался в американские послания. Тон узколобых сектантов. Ничего великого не может породить эта среда, эти люди. Социалистических политиков Европы следует отмести ко всем прочим обломкам старого мира. И выбросить на свалку вместе со всей остальной дрянью.

Социализм. Демократия. Думаю, что Филип, пожалуй, был прав: правительства победивших стран вряд ли откажутся от диктаторских замашек, приобретенных ими за эти четыре года. Империализм (империализм республиканский), представленный Клемансо, пожалуй, не так-то легко сдаст позиции! Быть может, очаг подлинного социализма в будущем возникнет для начала в побежденной Германии. Именно вследствие того, что она побеждена.

16-е.

Немного полегче последнюю неделю.

Гуаран разыскал для меня текст послания от 27 сентября. Ничего нового по сравнению с прежними, но более четко определены цели мира. «За этой войной должен последовать новый порядок и т. д.». Всеобщий союз народов — единственная гарантия коллективной безопасности. Если эти слова производят такое действие на меня, «мертвеца в отпуске», что же должны испытывать миллионы солдат, жены, матери! Нельзя впустую будить такие надежды. Искренне или неискренне,— теперь это уже не важно,— правительства союзных стран присоединятся к принципам Вильсона: обстоятельства таковы, единодушное давление народов на правительства будет столь мощным, что в назначенный час ни один политический деятель Европы не сможет уклониться от заключения мира, которого ждут десятки миллионов людей.

Думаю о Жан-Поле. О тебе, мой мальчик. И это такое облегчение. Родится новый мир. Ты будешь свидетелем его упрочения. Одним из его созидателей. Будь сильным, чтобы стать достойным его созидателем.

Четверг, 17-е.

Драконовский ответ Вильсона на первый зондаж со стороны Германии. Требует без всяких оговорок, чтобы началу переговоров предшествовало свержение императорской власти, изгнание военной касты, демократизация режима. Требует, даже идя на явный риск отсрочить мир. Эта непримиримость, конечно, диктуется об-

стоятельствами. Не забывать об основных целях. Нужен не мертворожденный мир и даже не капитуляция кайзера. Нужно *всеобщее разоружение* и создание *Европейской федерации*. Это неосуществимо без уничтожения *императорской* Германии и *императорской* Австрии.

Гуаран крайне разочарован. Я защищал Вильсона против него и всех остальных. Вильсон — искушенный практик, который знает, где очаг болезни, он до конца вскрывает нарыв и только затем перевязывает рану.

Кстати, о нарыве. Наш добряк великан Бардо объяснил мне весьма подробно, что иприт является лишь побочной причиной возникновения нарыва. Что нарыв на самом деле следствие побочной инфекции, вызываемой микробами, размножающимися в паренхиме, что усиливает ущерб, причиненный газами...

18 октября.

С ужасным трудом преодолеваю сегодня усталость. Не могу прочесть строчки, разве что газеты.

Каким тоном говорит союзная пресса о наших «победах». Прямо наполеоновская эпопея в изображении Гюго... Нынешняя война (любая война) ничего общего не имеет с героической эпопеей. Она варварство и отчаяние. Она кончается, как кончаются кошмары,— в холодном поту и тоске. Те героические акты, которые она породила, тонут в ужасе. Они свершились во мраке окопов, в крови и грязи. С мужеством отчаяния. С отвращением к тому мерзкому делу, которое придется довести до конца. Война оставит после себя невыразимо гнусные воспоминания. Ни звуки труб, ни развевающиеся знамена не в силах этого изменить.

Два скверных дня. Вчера вечером внутритрахеальная инъекция гоменолового масла. Но инфильтрат и повышенная чувствительность гортани затруднили процедуру. Они возились со мной втроем. Бедняжка Бардо совсем упарился. Я проспал целых три часа. Сегодня немножко полегче.

Среда, 23 октября.

Новая доза дигиталина, кажется, немного эффективнее. Заметил, что, когда я не полностью теряю голос, я чаще заикаюсь. Прежде это бывало редко и всегда означало у меня глубочайшее внутреннее смятение. А сейчас это, должно быть, просто признак упадка физических сил.

Газеты. Бельгийцы в Остенде, в Брюгге. Англичане в Лилле, в Дуэ, в Рубе, в Туркуэне. Неудержимое наступление. И зловещая

медлительность обмена нотами между Германией и Америкой. Однако говорят, что Вильсон добился, как предварительного условия, реформы имперской конституции и введения всеобщего голосования. Это было бы неплохо. Добиться затем отречения кайзера. Завтра или через полгода? Пресса не перестает твердить, что внутри страны волнения. Не надо обманываться: немецкая революция может ускорить события, но и усложнит их. Ибо Вильсон, кажется, твердо решил вести переговоры только с прочной властью.

24 октября.

Нет, я не завидую обычному неведению больных, их наивным иллюзиям. Сколько глупостей наговорено об отсутствии иллюзий у врача перед лицом смерти. Думаю, напротив, что это отсутствие иллюзий поможет мне держаться. И, быть может, до самого конца. Знание — не проклятие, а сила. Я знаю. Я знаю, что происходит во мне. *Я вижу* разрушительное действие болезни. И *оно мне интересно.* Я слежу за стараниями Бардо. Любопытство это в какой-то мере и поддерживает меня.

Хотелось бы глубже проанализировать все это. И написать Филипу.

Ночь с 24-го на 25-е.

День провел сносно. (Я уже не вправе быть слишком требовательным.)

Дневник — оружие против «призраков».

Три часа ночи. Бесконечная бессонница, и над всем властвует мысль о том, что́ исчезает вместе с человеком в небытии. Сначала я уходил в эти мысли с каким-то отчаянием, считал их верными. Напрасно. Смерть уносит в небытие лишь очень немногое, самую малость.

Я старательно, терпеливо выуживаю из прошлого свои воспоминания. Совершенные ошибки, тайные интриги, мелкие постыдные поступочки и т. д. И каждый раз я спрашиваю себя: «А это, это тоже полностью исчезнет вместе со мной? Разве это и в самом деле не оставило никакого следа нигде, кроме как во мне самом?» Целый час я бился, стараясь отыскать в моем прошлом нечто содеянное мною, какой-нибудь выделяющий меня среди других поступок, о котором я мог бы с уверенностью сказать, что он остался только в моем сознании, только,— ни малейшего продолжения, никаких материальных или моральных последствий. Но не оказалось даже малейшего зародыша мысли, который после моей смерти не мог бы дать всходов в памяти других существ. И для каждого из моих воспоминаний я в конце концов находил вероятного свиде-

теля, кого-нибудь, кто знал или мог догадаться, кто жив еще, должно быть, и сейчас и кто после моей смерти может случайно вспомнить о том, что... Я ворочался в постели, мучимый необъяснимым чувством досады, даже испытывал унижение при мысли, что если я ничего не найду, не вспомню, моя смерть будет просто насмешкой, и я не могу утешиться даже тем, что *унес* в небытие нечто принадлежавшее исключительно мне, и никому больше.

И вдруг я вспомнил! Больница Лаэнека, моя алжирочка!

Так вот оно, это воспоминание, единственным обладателем которого являюсь я сам! И которое исчезнет, исчезнет без следа в ту минуту, когда я перестану существовать!

Рассвет. Обессилел от бессонницы и не могу уснуть. Засыпаю на несколько минут и просыпаюсь тут же от приступа кашля.

Всю ночь боролся с воспоминанием-призраком... Разрывался между желанием написать свою исповедь, чтобы вырвать у небытия эту туманную повесть, и моим ревнивым желанием сохранить ее для себя одного; иметь хоть эту тайну, которая уйдет со мной в могилу.

Нет, не напишу ничего.

25 октября, полдень.

Слабость? Наваждение? Бред? С той ночи я представляю себе смерть только в связи с *моей тайной,* и я думаю уже не о своем исчезновении, а о том, что исчезнет воспоминание о случае в больнице Лаэнека. (Жозеф пришел ко мне поговорить о мире: «Скоро нас всех демобилизуют, господин доктор». Я ответил: «Скоро, Жозеф, я умру». Но про себя подумал: «Скоро не останется *ничего* от истории с маленькой алжиркой».)

И с этой минуты я как будто стал хозяином своей судьбы. Ибо разве я не властвую над смертью, если только от меня, от одной моей записи, от одного моего признания зависит, станет или нет моя *тайна* достоянием небытия.

Перед вечером.

Не мог удержаться и заговорил об этом с Гуараном. Конечно, ничего определенного не сказал. Даже не намекнул на маленькую алжирку, даже не назвал больницу Лаэнека. Как ребенок, которому невтерпеж скрывать какой-нибудь секрет и который кричит всем и каждому: «А я знаю, знаю и не скажу». Я заметил, что ему стало неловко, даже страшно. Решил, очевидно, что я сошел с ума. И я насладился, должно быть, в последний раз, досыта удовлетворив свое тщеславие.

Вечер.

Пытался дать отдых голове — просматривая газеты. И в Германии тоже военная каста старается сорвать мирные переговоры. Говорят, что Людендорф возглавляет оппозиционную партию против канцлера, которого он публично обвинил в измене, в намерении вести переговоры с Америкой. Но общее стремление к миру оказалось сильнее. И самому Людендорфу пришлось уйти в отставку. Хороший знак.

Заходил Гуаран. Зловещая речь Бальфура. У англичан разыгрался аппетит: они говорят теперь о захвате немецких колоний! Гуаран напомнил мне, что еще год назад в палате общин лорд Роберт Сесиль заявил: «Мы вступили в эту войну, не преследуя никаких империалистических завоевательных целей». (Вступить-то они вступили так, а выходят по-другому...)

К счастью, есть Вильсон. Право народов располагать своей судьбой. Не позволит же он, надеюсь, победителям поделить между собой чернокожих, как бессловесный скот!

Гуаран о колониальной проблеме. Очень умно разъяснил, какую непростительную ошибку совершат союзники, если поддадутся соблазну поделить между собой немецкие колониальные владения. Неповторимый случай пересмотреть во всей широте колониальную проблему. Создать под эгидой Лиги наций широкую систему *совместного использования* мировых богатств. Верная гарантия против войны!

26-е.

Внезапное ухудшение. Весь день удушье.

27-е.

Теперь одышка приняла другой характер — спазмами. Крайне мучительно. Гортань сжимается, как будто ее сдавливает железная рука. Сжимание сопровождается удушьем.

Около часа провозился с черной тетрадкой — записывал ход болезни. (Не уверен, что смогу еще долго вести записи.)

28-е.

Сегодня газеты принес мне молоденький Мариус. Я смотрел на него с ужасом. (Свежее лицо, чистые глаза, молодость... И это чудесное *безразличие* к своему здоровью!) Мне хотелось бы видеть только стариков, только больных. Понимаю теперь, почему приговоренный к смерти бросается на своего тюремщика и душит его: ему непереносим вид свободного, здорового человека...

Механизм приходит в расстройство все быстрее, быстрее. Неужели и мысль также?.. Если я этого не замечаю, то это уже само по себе признак распада.

29-е.

Предположим, в этом диалоге с самим собой сохранилось бы воспоминание о том, что в романах зовется «большой» любовью, быть может, я не так бы сокрушался сейчас?

Опять думаю о Рашели. И даже часто. Но как-то эгоистически, как больной. Думаю: вот хорошо было бы, если б она находилась здесь, если бы можно было умереть у нее на руках.

В Париже, когда я увидел ее ожерелье, какое меня охватило тогда волнение! Как меня потянуло к ней! С этим покончено.

«Любил» ли я ее? Во всяком случае, только ее. Никого больше ее, никого, кроме нее. Но было ли это то, что они все называют «Любовь»?

Вечер.

Вот уже два дня дигиталин совершенно не действует. Сейчас придет Бардо, он хочет попробовать впрыскивание эфирно-камфарного масла.

30-е.

День посещений.

Смотрю, как они суетятся! А ведь неизвестно, что готовит им жизнь. Может быть, самый счастливый из них я.

Устал. Устал от самого себя! Устал до того, что хочется, чтобы поскорее все кончилось!

Замечаю, что они стали бояться меня.

В эти последние дни я, конечно, сильно изменился. Дело быстро идет к концу. У меня, должно быть, лицо человека, которого душат: застывшая маска отчаяния... Я знаю, какое это страшное зрелище.

31 октября.

Здешний священник выразил желание меня повидать. Он заходил уже раз в субботу, но мне было слишком худо. Согласился принять его сегодня. Утомил меня. Пытался сначала разглагольствовать насчет моего «христианского воспитания» и т. д. Я ему сказал: «Не моя вина, что я от рождения наделен потребностью понимать и не способен верить». Он предложил принести мне религиозные книги. Я ответил ему: «Почему молчит церковь, почему она не разоблачает войну? Ваши французские и их германские епископы благословляют знамена и поют *«Te Deum»*, возносят хва-

лу господу за резню и т. д.» Услышал ошеломляющий (ортодоксальный) ответ: «*Справедливая* война снимает с христиан запрет человекоубийства».

Вел разговор сердечным тоном. Не знал, как ко мне подступиться. Уходя, сказал: «Поразмыслите же хорошенько. Столь достойный человек не должен умереть, как собака». На что я ответил: «А если я неверующий, как собака?» Уже в дверях он оглянулся на меня с любопытством (тут было многое: удивление, грусть, суровость и, как мне показалось, нежность...): «Зачем вы клевещете на себя, *сын мой?*»

Думаю, больше он ко мне не придет.

Вечер.

Я в крайнем случае и согласился бы, если бы это было очень нужно кому-нибудь. Но ради кого мне разыгрывать комедию христианской кончины?

Австрия просит перемирия у Италии. Только что заходил Гуаран. Венгрия провозгласила себя независимой и республиканской.

Может быть, это наконец мир?

НОЯБРЬ

1 ноября 18. Утро.

Месяц моей смерти.

Быть лишенным *надежды*. Это страшнее мук жажды.

И, вопреки всему, во мне еще бьется жизнь. Неодолимо. Бывают минуты, когда я *забываю*. На несколько минут я становлюсь прежним, таким, как другие, даже строю какие-то планы... И вдруг — леденящее дыхание: я снова *знаю*.

Плохой признак. Мазе стал заходить реже. А когда приходит, говорит обо всем, только не обо мне.

Будет ли мне жалко расставаться с Мазе, не видеть больше его квадратного черепа, его физиономии тюремного надзирателя?

Вечер.

И подумать только, что за порогом этой комнаты продолжается жизнь вселенной... В какую бездну одиночества я уже погружен! Живые не могут понять этого.

2 ноября.

Уже не поднимаюсь с постели. Уже три дня не могу пройти те 2 м 50 см, которые отделяют мою постель от кресла.

Никогда. Никогда больше я не буду сидеть у окна? Ни у какого окна? Грустные кипарисы на фоне вечернего неба... Никогда не увижу сада? Никакого сада?

Написал: *никогда больше*. Но весь ад, заключенный в этих словах, улавливаю только короткими вспышками.

Ночь.

Как подкрадется смерть? Этот вопрос я задаю себе десятки раз в ночь, десятки ночей подряд. Так по-разному она приходит...

Резкий спазм гортани, как у Нейдара? Или постепенно развивающийся спазм, как у Зильбера? Или, быть может, сердечная слабость и шок, как у Монвьеля, как у Пуаре?

3-е, утро.

Так как же? Какая смерть? Хуже всего — от асфиксии, как у несчастного Труайя.

Этой — боюсь.

Эту ждать не стану.

Вечер.

Так худо сегодня вечером, что два раза вызывал Бардо. Придет еще раз около двенадцати. Оставил у меня на столе свой ящик для трахеотомии.

Говорят обычно: «Смерть не страшна, страшны мученья». А почему же я, хоть и могу избавиться от них, продолжаю страдать? Ждать? И я жду.

4 ноября.

Италия подписала перемирие с Австрией и Венгрией.

Священник хотел было снова прийти. (Отказал ему, сославшись на усталость.) Это предостережение. Близок день, когда мне надо будет решиться.

5-е.

Все, во что мы верим, все, чего мы желаем, все, что нам не удалось сделать, ты должен воплотить в жизнь, мой мальчик!

6 ноября.

Заходил Гуаран. Ждут перемирия. На всех фронтах идут бои. К чему?

Полная афония. Не могу вымолвить ни слова.

7-е.

Горло уже почти совсем не расширяется. Что это — паралич задних крико-аритеноидных нервов? Бардо непроницаем.

Морфий.

8 ноября 1918 г.

Немецкие уполномоченные перешли наши линии. Это конец. Все-таки удалось дожить.

9 ноября.

Ухудшение. Снова страшно скачет температура (37,2—39,9). Снова отечное полнокровие. Никаких новых симптомов, но обострение во всем.

Попросил (к чему?), чтобы сделали просвечивание. Можно будет проверить, нет ли нового очага. Боюсь нового абсцесса. Колебание температуры определенно указывает на глубокое нагноение.

10-е.

Правое легкое делается все более болезненным. Весь день принимаю внутрь морфий. Новый абсцесс? Бардо не верит. Никаких симптомов.

Мокрота, пожалуй, менее обильная.

Революция в Берлине. Кайзер бежал. Повсюду в окопах надежда, ликование! А я...

11 ноября.

Страшный день. Непереносимое жжение, все в том же месте — с правой стороны.

Почему я не решился раньше, когда энергия была еще при мне? Чего я еще жду? Каждый раз, когда я говорю себе: «Час пришел»,— я...

(Нет. Я еще ни разу не говорил: «Час пришел!» А говорю: «Час *близок*». И жду.)

12-е.

Бардо замечает при дыхании очаг субкрепитирующих и локализованных хрипов (?).

Полдень.

Просвечивание. Полоса затемнения в верхушке правого легкого, без резких границ. Диафрагма неподвижная. Общее уменьшение прозрачности, но без явных уплотнений. Будь у меня дру-

гой абсцесс, было бы полное затемнение подозрительного места, с ясными границами. Что ж тогда? Указания пока слишком еще неясны, чтобы решиться на пункцию. Раз не новый абсцесс, тогда что же? Что же?

13-е.

Очень ограниченные флюктуирующие очаги, локализованные все в тех же точках. Инфекция определенно стала всеобщей. Зловонный, страшно обильный пот.

Вечер.

Мелкие абсцессы, *множественные* мелкие абсцессы?

Бардо, конечно, тоже близок к этой мысли.

Значит, ничего больше сделать нельзя, множественные абсцессы в паренхиме легких, никакое вмешательство невозможно, неминуемая асфиксия.

14-е.

Жжение с обеих сторон. Левое легкое тоже отекло. Абсцессы, очевидно, рассеяны в обоих легких.

Последний шанс — вызвать наружный абсцесс.

Вечер.

Бесконечная апатия, равнодушие. В столике письмо от Женни, другое от Жиз. Только что опять от Женни. Даже не распечатывал. Оставьте меня одного! Ничего больше не могу никому дать. *De profundis clamavi!* [1] Сегодня всю ночь твердил эти слова, смысл которых понял только впервые.

15-е.

Быть может, я зря так боялся. Быть может, это не так страшно, как я думаю. Быть может, худшее уже позади. Так часто я воображал себе конец,— не могу больше. Но все готово, все здесь, под рукой.

16-е.

Наружный абсцесс... Безрезультатно. Да и пробовали ли они? Или просто притворились?

Два дня ничего не писал в черную тетрадку. Так мучился.

Надо подумать о конце. Нелегко сказать себе: «Завтра»,— сказать: «Сегодня вечером...»

---

[1] Из бездны взываю! *(лат.)*

17-е.

Морфий. Одиночество. Тишина. С каждым часом все больше и больше отдаляюсь от всех, уединяюсь, я еще слышу их, но я их не слушаю.

Выделение мокроты стало почти невозможным.

Как подкрадывается смерть? Так хотелось бы сохранить ясность сознания, писать еще, вплоть до самого укола.

Принятие? Нет, безразличие. Бессилие убивает всякий протест. Примирение с неизбежным. Власть физического страдания.

Мир.

Кончить.

18-е.

Отек ног. Пора, а то уже не смогу. Все — здесь, сто́ит только протянуть руку, решиться.

Боролся всю ночь.

Пора.

Понедельник, 18 ноября 1918 г.

37 лет, 4 месяца, 9 дней.

Гораздо проще, чем думают.

Жан-Поль.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В РОМАНЕ РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАРА

В романе Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо» четыре последние книги из десяти охватывают период первой мировой войны 1914—1918 годов. Повествование в седьмой книге начинается 28 июня 1914 года, в день Сараевского убийства, и заканчивается 18 ноября 1918 года, через неделю после подписания перемирия, положившего конец военным действиям. Сюжет «Лета 1914 года» развертывается во время драматических событий июльского кризиса 1914 года. Возникновение войны, противоборство сил, толкающих к войне и препятствующих ей, находится в центре внимания писателя. Он выступает здесь как историк-публицист.

В середине 30-х годов, в условиях нарастающей угрозы новой войны, Роже Мартен дю Гар стремился раскрыть в своем романе тайну возникновения первой мировой войны, внести свой вклад в борьбу с грозившей человечеству новой трагедией.

В «Семье Тибо» Роже Мартен дю Гар рисует запоминающуюся картину начала первой мировой войны. Эта картина является обобщением собственного опыта писателя-современника и участника войны. С другой стороны, работая над последними частями романа, Роже Мартен дю Гар, который был по образованию архивист и палеограф, изучил большое количество документов и материалов, исторических трудов, публицистики и комплектов прессы, которые имели отношение к первой мировой войне. Характер материалов отразился на трактовке исторических событий в романе, во многом определил их авторскую оценку, а также оценку выведенных или упомянутых в ходе повествования исторических личностей. Ленинская трактовка войны 1914—1918 годов и ее причин, а также развития и перспектив рабочего движения тех лет оказалась, по существу, вне поля зрения писателя. Поэтому картина, нарисованная Роже Мартен дю Гаром, является в известном смысле односторонней, она не передает всей сложности и взаимосвязи исторических явлений, а иногда отражает неправильные положения и утверждения буржуазных публицистов и историков.

Первая мировая война была порождением мирового империализма, она явилась следствием обострения империалистических противоречий, которые невозможно было разрешить мирным путем. К войне готовились все империалистические державы, которые и несут ответственность за эту войну; но решающую роль в ее развязывании сыграла кайзеровская Германия, правящие круги которой нашли наиболее благоприятным моментом для начала войны лето 1914 года. Подчеркивая роль кайзеровской Германии в развязывании войны, В. И. Ленин писал, что характер войны не определяется выяснением того, «кто напал первым». Война 1914—1918 годов была империалистической и несправедливой. В октябре 1914 года В. И. Ленин указывал: «Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата — таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны» [1].

В романе Роже Мартен дю Гара, разумеется, нельзя искать столь же глубокого проникновения в сущность империалистической войны, но ход событий передается в значительной степени достоверно. Убийство 28 июня 1914 года в Сараеве наследника австрийского престола Франца-Фердинанда сербским националистом Принципом было использовано в Берлине и Вене для нагнетания напряженности. Кайзер Вильгельм изрек: «Теперь или никогда». А рейхсканцлер Бетман-Гольвег, во время переговоров в Берлине (5 и 6 июля), заверил дипломатических представителей Австро-Венгрии в том, что Германия полностью поддержит непримиримую позицию Вены: «Мы считаем, что если война должна разразиться, то было бы лучше, чтобы это случилось сейчас, а не через два года, когда Антанта сделается более сильной». В Германии развернулась подготовка к войне, но одновременно в Берлине и Вене предпринимались всевозможные меры для дезинформации своих империалистических соперников и собственных народов, с тем чтобы возложить ответственность на своих противников. Правительство Германии требовало «самым тщательным образом скрыть все, что может возбудить подозрение, будто мы подстрекаем австрийцев к войне».

Правящие круги Германии надеялись в это время на английский нейтралитет. Английская же дипломатия не спешила заявить о своей позиции, с одной стороны как бы поддерживая надежды Германии, а с другой — всячески пытаясь воздействовать на царское правительство с целью проведения антигерманского курса.

Проблема возможности войны обсуждалась также во Франции и России. Именно для согласования позиций по этому вопросу был использован визит в Петербург президента Пуанкаре 20—23 июля 1914 года. Английская

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 15.

дипломатия знала о содержании франко-русских переговоров и сообщала, что «Франция и Россия пришли к решению поднять брошенную им перчатку». Попытки некоторых французских политических деятелей и историков умалить роль правящих кругов Франции, и, в частности, лично Пуанкаре, в нагнетании напряженности накануне войны и переложить большую долю ответственности на Россию (отзвуки чего можно найти в романе Роже Мартен дю Гара) не соответствуют действительности. В начале августа во французском генеральном штабе можно было наблюдать «нескрываемую радость воспользоваться выгодной, по мнению Франции, стратегической обстановкой»,— писал русский военный агент во Франции А. А. Игнатьев 30 июля 1914 года. 4 августа германские войска перешли бельгийскую границу. Англия вступила в войну с Германией. Первая мировая война началась.

В романе Мартен дю Гара исторические события лета 1914 года составляют не только хронологические рамки или фон действия, но вплетаются в живую ткань повествования, входят важной составной частью в самое содержание произведения. Герои романа живут и действуют во время июльского кризиса, их судьбы определяются развитием событий. Позиция правительств империалистических держав, готовящих войну, роль военщины и милитаристских группировок, лихорадочная деятельность дипломатов предстает перед читателем таким образом, как ее воспринимали герои Мартен дю Гара. С другой стороны, эти герои делаются непосредственными участниками организованного антивоенного социалистического движения масс, непосредственными свидетелями акций вождей II Интернационала, поведения лидеров социалистических партий Европы и рядовых социалистов. В первую очередь это относится к Жаку Тибо.

В Женеве Жак входит в группу социалистов-швейцарцев и эмигрантов из различных европейских стран, душой которой является «Пилот» Мейнестрель. Эта группа имеет хорошо налаженные связи с социалистическим движением по всей Европе, развертывает широкую деятельность, пытаясь воспрепятствовать надвигающейся войне; к Мейнестрелю стекается обширная политическая информация. (Один лишь Жак по его заданию побывал с такой целью в Берлине, Париже и Брюсселе!)

Деятельность женевской группы, изображенной в романе, является плодом художественного вымысла, как и эффектный эпизод с похищением секретных бумаг у австрийского полковника Штольбаха в Берлине. Трудно сказать, кто именно послужил прототипом образа Мейнестреля. Но в женевских эпизодах романа, несомненно, отразились некоторые реальные черты социалистического движения тех лет, сильные и слабые стороны II Интернационала. Типичны бесконечные дискуссии и споры, в которых выявляется порою отсутствие твердой теоретической платформы и растерянность перед надвигающимися событиями. Среди женевских друзей Жака много искренних революционеров, убежденных социалистов, готовых дей-

ствовать и драматически переживающих неудачу своих усилий. И в этой связи не случайно, что ряд товарищей Жака по женевской группе, как только они получают ясную перспективу революционной деятельности, после победы Октябрьской революции 1917 года, направляются в Россию.

Хотя деятельность женевской группы Мейнестреля не находит себе прямых исторических аналогий, все же переданные писателем беседы, споры, поездки членов группы позволяют читателю увидеть как бы «изнутри» положение в социалистическом движении тех лет, в его национальных отрядах, в низовых ячейках и руководящих органах.

На страницах романа находят свое место рассуждения о различных течениях в рабочем движении накануне первой мировой войны, причем их оценка нередко вкладывается в уста действующих лиц. Среди прочих политических деятелей, в кружке товарищей Жака неоднократно упоминается и Бенито Муссолини. Возникновение в романе имени будущего «дуче» — фашистского диктатора Италии не случайно. Работа над «Семьей Тибо» велась в годы, когда пришел к власти гитлеризм, когда была попытка произвести фашистский путч во Франции, когда фашизм явно готовился к новой войне. И многие соотечественники Мартен дю Гара, задумываясь над сущностью происходивших событий, в поисках их истоков обращали взоры к недавнему прошлому, к предыстории и истории войны 1914 года, которая давала немало примеров политического перерождения и опасной демагогии тогдашних лидеров рабочего движения. Политический путь Бенито Муссолини предоставлял в этом смысле писателю богатый материал. В 1914 году Муссолини был влиятельным лидером Итальянской социалистической партии и редактором ее центрального печатного органа, газеты «Аванти». Уже тогда он выступил с демагогическими требованиями «революционной ревизии марксизма», призывал к немедленному и прямому «революционному действию», пренебрегая социалистической теорией и повседневной политической работой в массах, которым, по его словам, достаточно «не знать, а верить»; истинным же творцом истории является будто бы «избранное меньшинство». Муссолини, проницательно названный в романе «авантюристом», который «любит пускать пыль в глаза», умело подделывался под настроения масс. Его демагогия принесла ему в те годы популярность в крайне-левых социалистических кругах Италии, особенно среди молодежи. Так что выведенный в романе образ молодого итальянского социалиста Сафрио — горячего поклонника Муссолини вполне правдив. В июльские дни 1914 года Муссолини выступал против войны, но очень скоро круто переменил фронт и превратился в активного шовиниста, за что в конце 1914 года был исключен из Итальянской социалистической партии. После войны он создал фашистскую партию, стал во главе фашистского режима в Италии и в 1945 году, после разгрома гитлеризма во второй мировой войне, позорно окончил свою жизнь, казненный патриотами.

В описании обстановки накануне войны 1914 года в романе Мартен дю Гара имеются некоторые неточности. Так, размах революционного дви-

жения в эти дни несколько преувеличен. В этом сказалось недостаточно критическое использование Роже Мартен дю Гаром социалистической прессы тех лет. В России, 3—6 июля 1914 года, действительно, произошла мощная стачка на Путиловском заводе в знак солидарности с нефтяниками Баку, и подавление ее полицией сопровождалось человеческими жертвами; забастовки и демонстрации прокатились по всем промышленным центрам России, в Петербурге и Лодзи выросли баррикады. Но «сотен убитых» в Петербурге не было, и это далеко еще не была «революция», как об этом рассказывает в романе Княбровский. Не было оснований говорить и о «уже начавшейся» гражданской войне в Ирландии: в действительности верхушка землевладельцев и буржуазии в Ольстере, на севере Ирландии, выступила против уступок ирландскому освободительному движению и лишь стала формировать вооруженные отряды, что предвещало гражданскую войну в будущем.

Жак Тибо и другие персонажи романа в разгар июльского кризиса 1914 года становятся очевидцами многих важных шагов социалистических лидеров во Франции, лидеров социал-демократов в Германии, а также деятельности руководящего органа II Интернационала — Международного социалистического бюро. Жак Тибо и его политические друзья придавали очень большое значение — в связи с угрозой мировой войны — заседанию Международного социалистического бюро, которое действительно проходило в Брюсселе 29 и 30 июня 1914 года. В нем принимали участие многие лидеры большинства социалистических партий Европы; (следует, однако, отметить, что представителей большевиков на заседании не было). «Эта настойчивая попытка дать отпор империалистической политике правительств собрала в бельгийской столице не только всех вождей социалистических партий Европы, но и значительное количество активистов, съехавшихся отовсюду»,— говорит Роже Мартен дю Гар, описывая прибытие в Брюссель по случаю этого заседания членов группы Мейнестреля.

Несмотря на тревожную политическую обстановку в Европе, героями романа овладевает мажорное настроение: «Приезд группы в Брюссель, первые встречи с другими европейскими делегатами, присутствие официальных вождей — вся эта торжественная коалиция против войны являлась для большинства из них доказательством международной солидарности, активной и уверенной в победе». Жак и его друзья жадно прислушивались к рассказам о том, что происходит на заседании Международного социалистического бюро. Передавая содержание прений на этом заседании, Роже Мартен дю Гар следовал за тенденциозными заявлениями некоторых его участников, сделанными в разгар войны или даже много позднее. Официальный протокол заседания — неизвестный писателю, ибо опубликован он был лишь в 1965 году,— позволяет в наши дни восстановить истину о брюссельском заседании июня 1914 года. Протокол не подтверждает рассказа о том, будто бы на заседании происходили ожесточенные споры в связи с предложениями Кейр-Харди и Вайяна, энергично поддержанными Жоре-

сом,— начать превентивную всеобщую стачку, которую они считали могучим средством борьбы против войны.

В действительности на заседании Бюро обсуждались две темы: международное положение и предстоявший конгресс Интернационала. Обсуждение международного положения происходило в довольно спокойных тонах, а не так, как об этом слышали герои Мартен дю Гара, и, в сущности, не отражало всего драматизма стремительно развертывавшихся событий накануне военной катастрофы. Большинство участников заседания было настроено оптимистически, считало, что можно «локализовать» конфликт на Балканах, и верило в действенность антивоенной деятельности II Интернационала и его секций по странам. Но, обсуждая положение, руководители социалистических партий отказывались от немедленных и конкретных практических действий и даже от принятия определенных решений и только заявляли, как это сделал председатель Социал-демократической партии Германии: «Мы выполним свой долг»,— не уточняя, что именно под этим подразумевается. Значительную часть времени Бюро обсуждало вопрос о месте созыва и сроках конгресса, о его повестке дня (было решено, что первым вопросом будет: «Пролетариат и война»). Что же касается вопроса о превентивной стачке против войны, упоминаемого у Роже Мартен дю Гара, то он, по словам одного из участников заседания, «никого не интересовал». Документы показывают, что весь дух обсуждения был иным, чем это описано в романе.

В «Лете 1914 года» дается яркая картина международного антивоенного митинга 29 июля в Брюсселе и последующей демонстрации. Речи лидеров на этом митинге действительно отличались той же недооценкой военной угрозы и оптимистической переоценкой могущества сил, противостоящих войне, что и на заседании Бюро. Например, Жан Жорес, речь которого с таким волнением слушал Жак Тибо, закончил свое выступление такими словами: «Пролетариат уже чувствует свою силу, и с еще большей гордостью миллионы пролетариев в лице своих делегатов придут в Париж, чтобы утвердить свою волю к справедливости и миру». Не удивительно, что Жак Тибо и его друзья после таких речей прониклись уверенностью, что «мир спасен, никакая сила на земле не способна прорвать такую плотину!». Ведь даже сам Жан Жорес на другой день после демонстрации 30 июля и накануне своего отъезда из Брюсселя говорил бельгийскому лидеру Вандервельде: «Мы переживем еще взлеты и падения, но и этот кризис окончится, как и другие». Однако на самом деле многие лидеры партий II Интернационала уже в эти дни отошли от интернационализма. Если раньше они подчеркивали ответственность правящих классов и правительств своих стран за создание политического напряжения и подготовку войн, то на заседании Международного социалистического бюро 29—30 июля 1914 года ораторы разоблачали правительства других стран, а о своих правительствах говорили, будто они стремятся к миру; теперь

для этих лидеров главной силой, стремящейся к войне, оказался не классовый враг — буржуазия — и его правительство, а внешний противник. В июльские дни 1914 года значительная часть лидеров партий II Интернационала свыкалась с мыслью о войне.

Таким образом, главное изображено писателем в соответствии с исторической истиной: картина того, как социалистическому пролетариату стран Европы не удалось предотвратить первую мировую войну из-за оппортунизма руководства социалистических партий. Трагедия рабочего движения накануне войны нашла в книге Роже Мартен дю Гара впечатляющее отражение. Социалистические партии не смогли помешать воздействию на широкие народные массы милитаристской пропаганды. На протяжении длительного времени идеология шовинизма и войны самыми различными путями вносилась в сознание народов.

Шовинистический угар охватил многие страны во время июльского кризиса 1914 года. Очень сильным было воздействие милитаристской пропаганды в Германии. Современник этих событий социал-демократ Рихард Мюллер, вспоминая те дни, писал: «В момент начала войны волны патриотического воодушевления вздымались очень высоко. Улицы и рестораны были заполнены кричащими, поющими, ликующими людьми... Националистическая, шовинистическая травля на страницах буржуазных газет, темные, непроверенные слухи, сенсационные телеграммы, напыщенные речи, патриотические песни, алкоголь, оглушительная музыка... Темным силам тогда удалось достичь своих целей, народ был одержим кровавым безумием». Буржуазная пресса так нагнетала милитаристские настроения, что даже полицейские власти в Штутгарте заявляли: «Население начинает сходить с ума. Улицы переполнены... Каждый считает своего соседа русским или французским шпионом, которого он обязан избить до крови... Облака принимаются за самолеты, звезды за дирижабли, велосипедные рули за бомбы. Распространяются слухи, что телефонные и телеграфные провода в Штутгарте будто бы перерезаны, что мосты будто бы взорваны... колодцы отравлены. Совершенно невозможно предвидеть, до чего все это дойдет, если наступят на самом деле трудные времена». Все это видит Жак Тибо во время поездки в Германию в июле 1914 года.

Большое значение в таких условиях могло иметь выступление германских социал-демократов («соцдемов», как они называются в романе), которого так ждут герои дю Гара; отдельные выступления социал-демократов против надвигавшейся войны имели место, проходили собрания и демонстрации. Но не это определяло позицию руководства Социал-демократической партии Германии: оно вело переговоры с правительством о поддержке войны. Чтобы оправдать ее в глазах масс, была выдвинута, как мы узнаем из разговоров персонажей Мартен дю Гара, идея «народной войны» против русского царизма. Этот лозунг, демагогически перенесенный из времен революции 1848 года, но совершенно не соответствовавший политической обстановке 1914 года, был подхвачен социал-демократиче-

скими ораторами на митингах (например, в Мюнхене 27 июля 1914 г.) и газетами. Социал-демократическая газета «Гамбургер эхо» писала 4 августа 1914 года: «...немецкому народу придется выставить всех людей до последнего на борьбу, в которой решается вопрос о его существовании... Наши войска идут на восток и запад против полчищ, посылаемых на нас царем, против тех французов, которые сделали жажду реванша оружием русского деспота...»

Подобный язык мало чем отличался от выступлений буржуазно-националистической печати. А на заседании рейхстага 4 августа 1914 года социал-демократы одобрили военные кредиты, заявив: «В час опасности мы не оставим на произвол судьбы собственное отечество». Позиция руководства Социал-демократической партии Германии не составляла исключения. Точно так же поступили руководители социалистических партий в большинстве воюющих стран.

Во Франции, о чем подробно говорит Роже Мартен дю Гар, во время июльского кризиса 1914 года развертывалась борьба социалистов и синдикалистов против войны. На конгрессе Объединенной социалистической партии 14—16 июля была принята резолюция Э. Вайяна, поддержанная Ж. Жоресом, П. Самба и другими, о проведении для предотвращения войны всеобщей стачки, одновременно организованной во всех странах, которым угрожает война. Часть социалистов во главе с Жюлем Гедом выступила против этой резолюции. Ж. Гед заявил, что в случае германо-русской войны всеобщая стачка «поставила бы германскую социалистическую цивилизацию под удары полчищ русского самодержавия» и что «неравенство рабочей и социалистической организации вызвало бы разгром той страны, где пролетариат лучше организован. А это — высшая измена социализму!». Эта точка зрения также обсуждается персонажами романа Мартен дю Гара.

В соответствии с исторической действительностью в романе показана массовая борьба французских рабочих за сохранение мира, демонстрации, руководимые социалистами и синдикалистами, надежды на поддержку пролетариата других стран. Однако Манифест Постоянной административной комиссии Объединенной социалистической партии Франции (о котором упоминается в романе), изданный 28 июля 1914 года, дезориентировал трудящихся, утверждая, что французское правительство будто бы «искренне озабочено стремлением избежать конфликта». А 31 июля был создан тайный блок правительства Франции с лидерами социалистической партии и Всеобщей конфедерации труда. Последние обязались оказать помощь правительству «в защите отечества», а власти, в свою очередь, обязались не применять список Б, на основании которого подлежали аресту активисты партии и профсоюзов. Таким образом, интересы трудящихся были преданы. При объявлении мобилизации рабочие лидеры оказали помощь правительству, призвав к «национальному единению», и 4 августа единодушно проголосовали в парламенте за военные кредиты. В 1922 году В. И. Ленин,

возвращаясь к вопросу о начале первой мировой войны, обращал внимание на «реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается, и как беспомощна обычная организация рабочих, хотя и называющая себя революционной, перед лицом действительно надвигающейся войны. Надо объяснить людям со всей конкретностью еще и еще раз, как обстояло дело во время последней войны и почему оно не могло обстоять иначе» [1]. В. И. Ленин в связи с этим отмечал, «в особенности, значение того обстоятельства, что «защита отечества» становится неизбежным вопросом, который громадное большинство трудящихся будет неизбежно решать в пользу своей буржуазии» [2].

Разразившаяся война была страшным ударом для тех честных людей, которые строили себе иллюзии относительно возможностей II Интернационала в предотвращении войны. В романе такой удар переживает Жак Тибо. И психологически вполне оправдано, что, потеряв надежду на социалистических лидеров своего времени, Жак становится на путь индивидуального героического действия против войны и погибает, так и не найдя поддержки.

Столь же правдиво изображение трагической судьбы Антуана Тибо. Лишь на собственном опыте, отравленный газом на фронте, он приходит к мучительному переосмыслению своего отношения к империалистической войне. Однако понять ее сущность до конца не удается ни одному из героев Роже Мартен дю Гара. В «Эпилоге», где действие развертывается в 1918 году, умирающий Антуан, как и многие его современники, полон надежд в отношении будущего мира, который, как он думает, возникнет после этой «последней войны», полон доверия к Лиге наций.

Под ударами безжалостной действительности поколение Антуана и самого писателя скоро убедилось в иллюзорности таких надежд. Остро ощущая угрозу новой войны, Роже Мартен дю Гар и создал «Лето 1914 года» и «Эпилог». И хотя сам автор не мог подняться до истинно научного анализа первой мировой войны, ее истоков и ее результатов, это не снимает большой познавательной и художественной ценности «Лета 1914 года» — яркой, честной и мужественной книги, занимающей почетное место среди антивоенных реалистических романов в литературе XX века.

М. Машкин

Лето 1914 года. По первоначальному плану всего цикла после книги «Смерть отца» должна была следовать книга, носившая название «Отплытие», которая и была написана в 1931 году. В ней появлялись новые персонажи, боковые линии сюжета. Однако вскоре Мартен дю Гар отка-

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 318.
[2] Там же, стр. 319.

зался от ранее принятой последовательности развития действия, которое должно было быть доведено до 1936 года. В письмах и воспоминаниях он объясняет изменение плана «Семьи Тибо» желанием избежать излишней растянутости, или, по его выражению, «затухания» романа. Этой угрозе, по его мнению, могла противостоять лишь более концентрированная композиция и более обозримое время действия, что обеспечило бы произведению «единство и равновесие». Писатель уничтожает рукопись «Отплытия» и приступает к сбору исторических материалов для «Лета 1914 года». Первая часть этой книги была закончена в мае 1935 года, вторая и третья — в марте 1936 года. Все три части вместе были опубликованы в ноябре 1936 года.

По количеству страниц книга «Лето 1914 года» равна всем шести книгам первого тома романа, вместе взятым, то есть сорок четыре дня накануне и в начале первой мировой войны, на протяжении которых длится действие второго тома, наполнены такими событиями, которые по значительности как бы уравниваются десятью годами мирной жизни, изображенной в первых частях романа.

Появившись в обстановке преддверия второй мировой войны, «Лето 1914 года» прозвучало особенно остро. Мартен дю Гар и сам осознавал историческую актуальность своей книги. В речи при получении Нобелевской премии (1937 г.) в Стокгольме писатель сказал, что «эти книги (то есть три части «Лета 1914 года».— *И. П.*) показались способными... защищать некоторые ценности, которым вновь угрожает опасность, способными бороться против пагубного распространения военного угара... От всего сердца моего, снедаемого тревогой, я хочу, чтобы книги о «Лете 1914 года» читались, обсуждались и чтобы они напоминали всем людям трагический урок прошлого».

Эпилог. Над этой заключительной частью романа Роже Мартен дю Гар работал в основном весной 1939 года. «Эпилог» был закончен весной 1939 года, во время пребывания писателя на острове Мартиника. Окончательно рукопись была подготовлена к печати к 5 июня 1939 года. Опубликован был «Эпилог» в издательстве «NRF» («Нувель ревю франсез») в январе 1940 года.

И. Подгаецкая

Стр. 27. *...на улице Кальвина... соответствовала своему имени.*— Кальвин Жан (1509—1564) — видный деятель церковной Реформации в Женеве. Его суровая религиозная доктрина («кальвинизм») проникнута верой в предопределение.

Стр. 32. *«Форвертс»* («Vorwärts») — центральный орган Социал-демократической партии Германии (в 1891—1933 гг.).

Стр. 40. *Городня* — по современному административному делению — город в Черниговской области УССР.

Стр. 43. *...стачки Красной недели!* — В ответ на разгон и расстрел антивоенной демонстрации 7 июня 1914 г. в итальянском городе Анконе началась забастовка, а затем волнение, охватившее всю страну. Во многих городах строились баррикады, происходили столкновения между населением и войсками. Это было самым крупным выступлением народных масс в Италии в начале XX в., но оно продемонстрировало и слабость Итальянской социалистической партии и профсоюзов, которые не смогли руководить движением.

Стр. 44. *«Авангги»* («Avanti») — с 1906 г. центральный орган Итальянской социалистической партии, выходил в Милане. Перед первой мировой войной (1912—1914 гг.) ее редактором был тогдашний лидер левого крыла этой партии Бенито Муссолини.

Серрати Джачино Менотти (1872—1926), *Велла* Артуро, *Баччи* Джованни (1857—1928), *Москаллегро* — деятели Итальянской социалистической партии.

Малатеста Эррико (1854—1932) — видный итальянский анархист.

Турати Филиппо (1857—1932) — один из лидеров Итальянской социалистической партии.

Стр. 45. *Триполитанский поход.*— Имеется в виду высадка итальянских войск в 1911 г. в Ливии, которая в результате итало-турецкой войны стала в 1912 г. итальянской колонией.

Конфедерация труда — профсоюзный центр в Италии.

Стр. 46. *...вылазку вроде Агадира...*— Приход германской канонерки «Пантера» в марокканский порт Агадир («прыжок «Пантеры») 1 июля 1911 г. в ответ на захват французскими войсками города Феса в Марокко привел к острому международному конфликту, грозившему войной. Конфликт кончился отступлением кайзеровской Германии, согласившейся (в ноябре 1911 г.) на установление протектората Франции в Марокко.

Стр. 55. *Международное социалистическое бюро* — исполнительный орган II Интернационала, созданный в 1900 г.

В конгрессах!..— В ноябре 1912 г. в Базеле состоялся международный социалистический конгресс; следующий конгресс должен был собраться в Вене в конце августа 1914 г.

Балканская война.— Первая балканская война велась Сербией, Болгарией, Грецией и Черногорией против Турции в октябре 1912 г.— мае 1913 г.; вторая балканская война Сербии, Греции, Румынии и Турции велась против Болгарии в июне — августе 1913 г.

Стр. 56. *Мо́тала* — центр металлургии в Швеции.

Стр. 72. *Сегодня утром в Сараеве...*— Сараевское убийство произошло 28 июня 1914 г. Босния, как и Герцоговина, провинции, входившие в состав Оттоманской империи (Турции), были оккупированы Австро-Венгрией по решению Берлинского конгресса держав 1878 г., собравшегося для

пересмотра итогов русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В 1908 г. обе провинции были формально аннексированы Австро-Венгрией.

...Бисмарка с его пресловутой «культуркампф».— Бисмарк Отто Фердинанд Леопольд (1815—1898) — рейхсканцлер Германии в 1871—1890 гг. Под термином «культуркампф» (Kulturkampf — борьба за культуру — нем.) подразумевалась политика Бисмарка, направленная на ограничение влияния католической церкви.

Стр. 75. *Диссидент.*— Термин «диссидент» (от лат. discēdo — отказываюсь) в средние века применялся католической церковью ко всем инакомыслящим, не согласным с церковной догмой, которых преследовали как «еретиков».

Стр. 77. *«Будущее на морях».*— «Будущее Германии — на морях» — подлинные слова кайзера Вильгельма II на церемонии открытия порта в Штеттине в 1898 г.

Стр. 79. *Бертольд* Леопольд, граф (1863—1945) — австро-венгерский дипломат. В 1912—1915 гг.— министр иностранных дел.

Стр. 80. *Конрад фон Гетцендорф* Франц, граф (1852—1925) — начальник генерального штаба австро-венгерской армии в 1914—1917 гг.

Стр. 91. *...неделей народного празднества...*— то есть с 14 июля, дня взятия Бастилии (1789 г.), которое отмечается во Франции как национальный праздник.

Стр. 107. *Дело Кайо.*— В марте 1914 г. жена французского министра финансов, бывшего премьер-министра Жозефа Кайо (1863—1944), сторонника соглашения с Германией, застрелила редактора буржуазной газеты «Фигаро», Кальмета, который вел кампанию против ее мужа; это вызвало отставку Кайо и громкий судебный процесс.

Стр. 113. *Извольский* А. П. (1856—1919) — в 1906—1910 гг.— русский министр иностранных дел, в 1910—1917 гг.— посол во Франции.

Сазонов С. Д. (1861—1927) — русский министр иностранных дел в 1910—1916 гг.

Пуанкаре Раймон (1860—1934) — в 1912—1913 гг.— премьер-министр, в 1913—1920 гг.— президент Французской республики. Своей милитаристской политикой снискал прозвище «Пуанкаре-война», шовинист и реваншист.

...полоумных, вроде Деруледа...— Дерулед Поль (1846—1914) — французский литератор и политический деятель; ярый шовинист и монархист. Организовал реакционную «Лигу патриотов» (1882) и упорно боролся за низвержение республики во Франции.

Стр. 114. *Конференция в Алхесирасе* — состоялась в 1906 г. и укрепила позиции французского колониализма в Марокко; это было политическое поражение Германии.

Делькассе Теофиль (1852—1923) — В 1898—1905 гг.— министр иностранных дел Франции; в 1913—1914 гг.— французский посол в России. Франко-русский союз был заключен в 1892—1894 гг.

Стр. 115. *...ввести в Елисейский дворец патриотически настроенного лотарингца...*— Раймон Пуанкаре был уроженцем Лотарингии.

Баламуты-националисты.— В романе Анатоля Франса «Современная история» (1897—1901) — ученый г-н Бержере сочиняет сатирическую, в духе Рабле, повесть о Баламутах, в которой обличаются политические мракобесы Третьей республики.

Стр. 117. *Жозеф де Местр* (1753—1821) — французский публицист и философ, крайний реакционер-монархист.

Стр. 119. *А недавняя его поездка...*— В июле 1914 г. состоялся визит Пуанкаре в Россию.

Стр. 120. *Трехлетний срок военной службы...*— В 1913 г. в целях подготовки к войне и усиления армии правительство Пуанкаре добилось введения трехлетнего срока действительной военной службы.

Стр. 121. *...манифестации... перед статуей Страсбурга!* — Имеются в виду демонстрации перед аллегорической статуей города Страсбурга, на площади Согласия в Париже, в знак протеста против отторжения от Франции Эльзаса (Страсбург — административный центр этой провинции) и Лотарингии после франко-прусской войны 1870 г.

Стр. 127. *Со* — южный пригород Парижа.

Стр. 149. *Бельвиль* — пролетарский район Парижа.

Стр. 158. *Сенская федерация* — то есть руководящий орган социалистической партии в департаменте Сены, объединяющий секции.

Стр. 159. *Вивиани* Рене (1863—1925).— С июня 1914 г. по октябрь 1915 г.— премьер-министр; в июле — августе 1914 г. занимал также пост министра иностранных дел Франции.

Стр. 178. *«Восстание»* («La Révolte») — парижская газета анархистского толка.

...хотели разжечь европейскую войну против России?..— В 1883 г. в Европе не было непосредственной угрозы возникновения войны.

...у нас нет больше Кропоткина...— Кропоткин П. А. (1842—1921) — в 1883 г. был арестован во Франции за принадлежность к анархизму, в 1886 г. бежал из тюрьмы, после чего жил в Англии.

Стр. 179. *Мариус Муте* — французский социалист.

Стр. 209. *...при извержении Мон-Пеле.*— В результате извержения вулкана Мон-Пеле на острове Мартиника 8 мая 1902 г. был уничтожен город Сен-Пьер с двадцативосьмитысячным населением.

Холден Ричард Барден, лорд (1856—1928) — военный министр Великобритании в 1905—1912 гг.; в 1912—1915 гг. был лордканцлером.

Спитхед — внешний рейд в Портсмуте, базе английского военно-морского флота.

Стр. 211. *Соцдемы.*— Подразумеваются немецкие социал-демократы.

Кэ-д'Орсе.— В Париже на набережной Кэ-д'Орсе находится министерство иностранных дел Франции, которое нередко и называется по своему местоположению.

Стр. 213. *Вайян* Эдуард (1840—1915) — в прошлом член Парижской коммуны 1871 г., видный лидер Французской социалистической партии.

Либкнехт.— Имеется в виду Вильгельм Либкнехт (1826—1900) — один из вождей Социал-демократической партии Германии, соратник К. Маркса и Ф. Энгельса, отец Карла Либкнехта.

Стр. 215. *«Правда».*— Эта большевистская газета издавалась с 1912 г.

Стр. 218. *«Аксьон франсез»* («l'Action française») — парижская газета, орган монархической и шовинистической группировки того же названия. Выходила с 1908 г. Ее вдохновителем и редактором был французский писатель Шарль Моррас (1862—1952).

Корде Шарлотта-Марианна (1768—1793) — убийца Марата.

Стр. 219. *Пашич* Никола (1846—1926) — накануне первой мировой войны — председатель совета министров Сербии.

Стр. 220. *Левалуа* — рабочий район Парижа.

Стр. 221. *Кейр-Харди* Джеймс (1856—1915) — шотландский социалист, основатель Независимой рабочей партии и один из основателей лейбористской партии в Великобритании. Видный деятель II Интернационала.

Стр. 240. *Уистлер* Джеймс (1834—1903) — американский художник.

Стр. 245. *Гражданская война в Ирландии.*— Имеется в виду борьба ирландских патриотов против английских реакционных кругов в Ирландии, которые, под предлогом защиты протестантского населения пытались силой оружия помешать осуществлению «гомрула» — ограниченной политической автономии, предоставленной Ирландии в 1914 г. по решению либерального кабинета.

Стр. 246. *Шен* Вильгельм Эдуард, барон фон (1851—1933) — накануне первой мировой войны — германский посол во Франции.

Бетман-Гольвег Теобальд фон (1856—1921) — рейхсканцлер Германии в 1909—1917 гг.

Ягов Готлиб (1863—1935) — статс-секретарь по иностранным делам кайзеровской Германии.

Вильгельмштрассе — улица в Берлине, на которой находилось ведомство иностранных дел Германии.

Стр. 255. *Клемансо* Жорж-Бенжамен (1841—1929) — французский политический деятель, председатель совета министров и министр внутренних дел в 1906—1916 гг.; в 1917—1920 гг.— председатель совета министров Франции.

Стр. 256. *«Либертэр»* («Libertaire») и *«Боннэ руж»* («Bonnet rouge») — парижские левые газеты, ориентировавшиеся на рабочего читателя.

Стр. 263. *Минковский* Оскар (1858—1931) — выдающийся немецкий психиатр.

Стр. 265. *Бертело* Филипп (1866—1934) — директор политического департамента министерства иностранных дел Франции в 1914 г.

Стр. 287. *«Батай сэндикалист»* («Bataille sindicaliste») — анархо-синдикалистская газета в Париже.

«Арбейтерцейтунг» («Arbeiterzeitung») — центральный орган социал-демократической партии; выходил в Вене с 1889 г.

Стр. 288. *«Лейпцигер фольксцейтунг»* («Leipziger Volkszeitung») — социал-демократическая газета в Лейпциге (1894—1933).

Стр. 291. *Равашоль* Леон-Леже — французский анархист, взорвавший в 1892 г. в Париже кафе «Вери». Был казнен в том же году.

Стр. 303. *...хладнокровие сэра Эдуарда Грея...*— Грей оф Фалладон Эдуард, виконт (1862—1933) — министр иностранных дел Великобритании в 1905—1916 гг.

Стр. 307. *Юмбер* Шарль (1866—1927) — французский буржуазный политический деятель. Накануне первой мировой войны заседал в сенате; в годы войны издавал газету «Журналь», где вел яростную кампанию за укрепление французской армии.

Пиупиу — фамильярное прозвище французского пехотинца в период первой мировой войны.

...идти на войну босоногим, как солдат Второго года Республики...— По календарю Великой французской революции Второй год Республики — это 1793—1794 гг., время героической борьбы революционной Франции против войск монархической коалиции.

Фиески Джузеппе (1790—1836) — произвел покушение на французского короля Луи-Филиппа в 1835 г.

Стр. 309. *«Стража на Рейне»* — написанная в 1840 г. немецкая патриотическая песня, которая со времен образования Германской империи стала гимном немецкого шовинизма.

Стр. 311. *Казимир-Перье* Жан-Поль-Пьер (1847—1907) — президент Франции в 1894—1895 гг.

Стр. 313. *Броквиль* Шарль де (1860—1940) — премьер-министр Бельгии в 1912—1917 гг.

Стр. 314. *...бросит на стол свой меч.*— Намек на легенду о галльском полководце Бренне, который в 390 г. вторгся в Италию и взял Рим. Когда жители города, надеясь откупиться, стали отвешивать на весах золото, Бренн будто бы бросил на чашу с гирями свой меч, воскликнув: «Горе побежденным!»

Стр. 330. *«Фам либр»* («Femme libre») — парижская женская газета либерального направления.

Стр. 331. *...вид «керосинщицы».*— «Керосинщицы» — клеветническое наименование женщин — участниц борьбы Парижской коммуны 1871 г., которых версальская пропаганда обвиняла в поджогах зданий.

Стр. 342. *Мольтке* Гельмут, граф фон (1848—1916) — германский генерал, начальник Большого генерального штаба в Берлине в 1906—1914 гг.; был снят с этого поста после сражения на Марне в октябре 1914 г.

«Берлинер локальанцейгер» («Berliner Lokalanzeiger») — берлинская городская газета.

Стр. 343. *Компер-Морель* Адеода-Констан-Адольф — один из лидеров Французской социалистической партии, накануне войны 1914 г.— член парламента.

Самба Марсель (1862—1922) — один из парламентских лидеров социалистической партии, активный сотрудник «Юманите». С 26 августа 1914 г.— министр общественных работ.

Стр. 345. *Вандервельде* Эмиль (1866—1938) — лидер Бельгийской рабочей партии, председатель Международного социалистического бюро. В августе 1914 г. вошел в правительство.

Гаазе Гуго (1863—1919) — председатель правления Социал-демократической партии Германии (с 1911 г.) и председатель социал-демократической фракции в германском рейхстаге.

Молькенбур Герман (1851—1927) — один из лидеров Социал-демократической партии Германии, член секретариата партии и депутат рейхстага; член Международного социалистического бюро.

Рубанович И. А. (1860—1920) — народоволец, потом один из руководителей партии социалистов-революционеров (эсэров). В Международном социалистическом бюро представлял эсэров.

Стр. 360. *Феррер* Гуардия Франсиско (1859—1919) — испанский педагог, республиканец; был расстрелян в Барселоне по приговору военного трибунала во время анархистского восстания, в котором он не принимал участия.

Стр. 366. *...вместе с Ледебуром... мы поднимали рабочие массы...*— Ледебур Георг (1850—1947) — германский социал-демократ, депутат рейхстага. В 1912 г. в связи с тем, что Балканская война грозила перерасти в войну мировую, произошли мощные демонстрации германского пролетариата.

Стр. 378. *Эпиктет* (50—120) — древнегреческий философ-стоик.

Элизе́ Реклю (1830—1905) — крупный французский ученый-географ, участник борьбы Парижской коммуны 1871 г., пропагандист анархизма.

Стр. 384. *Зюдекум* Альберт Оскар Вильгельм (1871—1944) — один из лидеров правого крыла Социал-демократической партии Германии, депутат рейхстага; крайний оппортунист.

Стр. 391. *Моргари* Оддино — накануне первой мировой войны — представитель Итальянской социалистической партии в Международном социалистическом бюро.

Стр. 403. *Северяне* — то есть жители департамента Нор, где была влиятельная организация Французской социалистической партии.

Стр. 404. *Гюстав Эрве* (1871—1944) — французский публицист, издатель газеты «Гэр сосьяль» («la Guerre sociale»), один из лидеров Французской социалистической партии, до войны держался как крайний антимилитарист; с конца июля 1914 г. перешел на позиции шовинизма и поддержки войны.

Стр. 420. *Фон-Роме* — курорт в Пиренеях.

Стр. 429. *Крезо.*— В Крезо находились металлургические, машиностроительные и военные заводы семьи миллионеров Шнейдеров.

Стр. 449. *Бундесрат* — название палаты представителей отдельных германских государств в кайзеровской Германии.

Стр. 451. *Асквит и Черчилль — люди рассудительные...*— Асквит Герберт Генри (1852—1928) — премьер-министр Англии в 1908—1916 гг. Уинстон Черчилль (1874—1968) в 1911—1917 гг. занимал пост морского министра Англии.

Ллойд-Джордж Дэвид (1863—1944) — в 1909—1916 гг. был министром финансов, а в 1916—1922 гг.— английским премьер-министром.

Стр. 454. *...история с багдадской железной дорогой?* — Строительство железной дороги от Стамбула (Константинополя) до Персидского залива через Багдад, которое осуществлялось германским капиталом, имело целью соединить прямым железнодорожным путем Берлин с Индийским океаном. Багдадская железная дорога играла важную роль в планах германской экспансии на Восток. Это строительство привело к обострению англо-германских и русско-германских противоречий. Но реальное значение этого предприятия, которое так и не было закончено к 1914 г., не оправдало возлагавшихся на него надежд.

Стр. 456. *...мечту Карла Пятого...*— Карл V, из династии Габсбургов, император (1519—1556) «Священной Римской империи германской нации», стремился к мировому владычеству.

Война из-за герцогств.— В 1864 г. между прусско-австрийской каолицией и Данией велась война из-за герцогств Шлезвига и Гольштейна. В результате Дания потеряла эти герцогства.

Садова.— Битва при Садове (Кёниггреце) в Чехии в 1866 г., во время австро-прусской войны, закончилась поражением Австрии; это открыло путь к объединению Германии на реакционной юнкерски-прусской основе.

Стр. 457. *...франко-английское столкновение из-за Фашоды...*— В 1898 г. у селения Фашода на реке Нил, в Судане, произошло столкновение французского отряда с английскими войсками, что привело к резкому обострению англо-французских противоречий, грозившему войной. Кризис завершился отступлением французского отряда.

Стр. 461. *...ничего не выиграла... от Седана.*— В битве при Седане 1 сентября 1870 г. французские войска понесли решительное поражение от германских войск. Император Наполеон III был взят в плен, во Франции рухнул режим Второй империи.

Стр. 475. *Ренодель* Пьер (1871—1935) — один из лидеров Французской социалистической партии.

Стр. 480. *Дюбрейль* Луи (1862—1924) — один из лидеров Французской социалистической партии, перед войной 1914 г.— ее генеральный секретарь.

Жан Лонге (1871—1935) — один из лидеров Французской социалистической партии, внук Карла Маркса.

Амедей Дюнуа — в период первой мировой войны — видный член Французской социалистической партии.

Мигель Альмерейда — псевдоним Эжена Виго (1883—1917), социалиста, редактора газеты «Боннэ руж».

Стр. 495. *Пор-Бу* — город на побережье Средиземного моря на испанской границе.

Менильмюш — фамильярное наименование Менильмонтана, рабочего района Парижа.

Стр. 504. *Жоффр* Жозеф (1852—1931) — французский генерал, был главнокомандующим армией Франции во время войны, в 1914—1916 гг.

Стр. 505. *Мессими* Адольф (1869—1935) — военный министр Франции в начале первой мировой войны.

Стр. 506. *Мюллер* Герман (1876—1931) — один из лидеров Социал-демократической партии Германии, член центрального правления и депутат рейхстага.

Стр. 511. *Анри де Ман* (Хендрик де Ман, 1885—1953) — один из лидеров Бельгийской рабочей партии.

Стр. 521. *Эстергази* — авантюрист, эмигрант, служивший во французской армии и продавший германской разведке документы, за пропажу которых был несправедливо осужден Дрейфус.

Стр. 530. *Кардинал де Рец* (1614—1679) — французский политический деятель, автор «Мемуаров», где дается яркая картина его эпохи.

Стр. 540. *Бриан* Аристид (1862—1932) — французский политический деятель; с 26 августа 1915 г.— министр финансов; в 1915—1917 гг.— председатель совета министров.

Стр. 542. *Гюисманс* Камиль (1871—1968) — один из лидеров Бельгийской рабочей партии; в 1905—1921 гг.— секретарь Международного социалистического бюро.

Стр. 543. *Кашен, вооруженный депутатской перевязью...*— Марсель Кашен (1869—1958), выдающийся деятель международного рабочего движения и один из основателей Коммунистической партии Франции, до ее создания принадлежал к левому крылу социалистической партии. С 1914 г. был бессменным депутатом парламента.

Стр. 546. *Симплонский экспресс.*— Симплон — тоннель на железнодорожном пути через Альпы, между Швейцарией и Францией.

Стр. 554. *«Таубе»* — один из типов германских военных самолетов в войне 1914—1918 гг.

Стр. 561. *«Ви увриер»* («La Vie ouvrière») — французская профсоюзная газета, издававшаяся в Париже.

Стр. 584. *«Молочная Магги»* — магазин фирмы Магги, основанной швейцарцем Юлиусом Магги (1848—1912), которая занималась производством и продажей молочных продуктов.

Стр. 590. *Мергейм* Альфонс (1881—1925) — французский анархо-синдикалист, один из лидеров ВКТ.

Мартов.— Имеется в виду русский социал-демократ Л. Мартов, один из лидеров меньшевиков.

Либкнехт — то есть Карл Либкнехт (1871—1919).

Стр. 604. *Думерг* Гастон (1863—1937) — политический деятель Франции; премьер-министр до 2 июня 1914 г. и министр колоний с 26 августа 1914 г.

Стр. 616. *Мерингг* Франц (1846—1919) — один из лидеров левого крыла Социал-демократической партии Германии.

Клара Цеткин (1857—1933) — выдающаяся деятельница рабочего движения, один из лидеров левого крыла Социал-демократической партии Германии.

Душан Попович (1884—1918) — сербский журналист, видный лидер социал-демократического движения в Сербии.

Стр. 620. *Анри Бергсон* (1859—1941) — французский философ, создавший идеалистическую систему иррациональной «философии жизни», основанную на интуитивизме. Пользовался большой популярностью среди буржуазной интеллигенции и представителей модернистского искусства.

Стр. 622. *Армия спасения* — международная религиозно-филантропическая организация, основанная в Лондоне в 1865 г. методистским священником Бутсом.

Стр. 670. *...перед наступлением на Сомме...*— В июне 1916 г. войска Антанты предприняли наступление на реке Сомме к северо-западу от Парижа. В кровопролитных сражениях, длившихся до ноября 1916 г. в которых впервые союзники применили танки, силы Антанты добились успеха.

Стр. 673. *...раненный под Верденом...*— 21 февраля — 2 сентября 1916 г. развернулись наиболее кровопролитные бои на Западном фронте за укрепленный район вокруг французской крепости Верден. Они закончились поражением германских войск, не добившихся намеченной цели.

...к санитарной службе в Восточной армии.— Восточной армией назывались французские войска, сражавшиеся на Македонском фронте.

Стр. 679. *Марна,Эпарж, Дуомон...*—В результате битвы на Марне (30 августа — 9 сентября 1914 г.) было остановлено наступление германских войск на Париж. Эпарж, Дуомон — места ожесточенных боев.

Стр. 701. *...американская помощь... Вильсон.*— После того как 6 апреля 1917 г. США объявили войну Германии, увеличилось снабжение стран Антанты американскими военными материалами; летом 1918 г. во Франции было уже четыре американских дивизии; скоро число американских военнослужащих во Франции достигло одного миллиона. Президент США Вудро Вильсон (1856—1921) 22 апреля 1918 г. опубликовал послание к американскому сенату, в котором сформулировал будущую программу мира. Эта программа была, по сути, империалистической и антисоветской, но истинные цели американской плутократии были замаскированы демократи-

ческой терминологией. Демагогические фразы о «войне за демократию», «самоопределении наций» после этой «последней войны» (как он называл войну 1914 г.) и Лиге наций имели широкий резонанс в воюющих странах, где многие не смогли разобраться в истинной сути политики Вудро Вильсона.

Стр. 703. *...Лоэнгрина в пенсне...*— По германским средневековым эпическим песням, Лоэнгрин — рыцарь, бескорыстно преданный высокому идеалу. Этот персонаж стал героем одноименной оперы Вагнера.

Дешанель Поль (1855—1922) — французский политический деятель в 1912—1920 гг. был председателем палаты депутатов.

Стр. 704. *...проект генерала Фоша...*— Генерал Фердинанд Фош (1851—1929) — с января 1918 г. председатель Военного исполнительного комитета в Версале, а с мая — главнокомандующий союзными армиями во Франции; руководил операциями на Западном фронте; 11 ноября 1918 г. в Компьене продиктовал германским делегатам условия перемирия.

Стр. 706. *«Берта»* («Большая Берта») — сверхдальнобойная пушка, сделанная на заводах немецкой фирмы Крупп (и названная в честь владелицы заводов), которая с расстояния в восемьдесят километров, начиная с 23 марта 1918 г. и в течение ста девяти дней, каждые двадцать минут посылала снаряд на Париж. От этого обстрела погибло более тысячи жителей города.

...подводная война бошей...— В 1917—1918 гг. германские подводные лодки топили каждое четвертое судно, следовавшее в Англию, что привело к резкому сокращению продовольствия, получаемого населением.

Потопление «Лузитании».— 7 мая 1915 г. у берегов Ирландии немецкая подводная лодка торпедировала английский лайнер «Лузитания», на котором погибло более тысячи ста человек, в том числе сто тридцать восемь американцев.

...вспомнил наступление Нивеля...— Французский генерал Робер-Жорж Нивель (1856—1924), будучи в это время главнокомандующим, предпринял в апреле 1917 г. неудачное наступление французской армии, что привело к массовым антивоенным выступлениям среди солдат.

Стр. 707. *...назначило генерала Петена.*— Анри-Филипп Петен (1856—1951), впоследствии снискавший печальную известность как глава коллаборационистского режима Виши (1940—1944) периода немецко-фашистской оккупации, был участником первой мировой войны. Он руководил обороной Вердена и в 1917 г. сменил Нивеля на посту главнокомандующего французской армии.

Стр. 778. *...какие условия мира предложили... Румынии?* — 7 мая 1918 г. Румыния, значительная часть территории которой была уже оккупирована, заключила сепаратный мир с Центральными державами. По этому договору нефтяные промыслы Румынии на девяносто лет передавались в аренду победителям; вся сельскохозяйственная продукция в течение нескольких лет должна была направляться в Германию и Австро-Венгрию. Кроме того,

Румыния теряла Добруджу, но зато Центральные державы санкционировали захват ею Бессарабии.

Стр. 784. *Мон-Валерьен* — один из прикрывающих Париж фортов, расположенный к северо-западу от города.

Стр. 792—793. *...речь фон Кюльмана в рейхстаге.*— Рихард фон Кюльман (1873—1948), статс-секретарь ведомства иностранных дел Германии, произнес 24 июня 1918 г. речь в рейхстаге, вызвавшую недовольство верховного командования. Это привело к отставке Кюльмана.

Стр. 794. *Наше сопротивление между Мондидье и Уазой, кажется, остановило их.*— 9 июня 1918 г. началось наступление немецких войск между Мондидье и Нойоном; оно натолкнулось на решительное сопротивление французов, которые перешли в контрнаступление и 14 июня остановили немецкие войска.

Стр. 804. *...создание Соединенных Штатов Европы.*— В конце первой мировой войны широко распространялись проекты создания Соединенных Штатов Европы; некоторые из них носили утопически-пацифистский характер, другие же были продиктованы антисоветизмом и страхом перед революцией.

Стр. 806. *«Высота 304»* — место ожесточенных боев под Верденом в 1916—1917 гг.

Стр. 811. *Разгром австрийцев.*— Имеется в виду провал наступления австро-венгерской армии в Северной Италии (15—25 июня 1918 г.), сопровождавшееся огромными потерями и деморализовавшее солдат.

Стр. 812. *Наступление немцев в Шампани.*— Имеется в виду наступление немецких войск, начатое 15 июля 1918 г. и приостановленное уже 17 июля; это означало крах стратегических планов германского командования.

Стр. 815. *...споры об «измене» Мальви...*— В августе 1918 г. бывший министр внутренних дел Мальви был обвинен в выдаче государственных тайн врагу и подстрекательстве солдат к мятежу. Военный суд 8 августа признал Мальви виновным и приговорил его к пяти годам изгнания. Впоследствии Мальви был реабилитирован.

Предложение Австрией мира...— 31 марта 1918 г. австрийский император Карл I через посредство своего шурина, принца Сикста Бурбонского, передал Пуанкаре секретное предложение заключить мир (при этом он соглашался на возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии). Но попытка Карла I вывести Австро-Венгрию из войны не удалась. Пуанкаре передал его предложение Ллойд-Джорджу, а Клемансо сделал переговоры достоянием гласности через прессу.

Рибо Александр-Феликс-Жорж (1842—1923) — с 20 марта по 7 сентября 1917 г. уже в третий раз занимал пост французского премьер-министра.

Стр. 820. *Мудрая речь старика Ленсдауна.*— Ленсдаун Генри Чарлз, маркиз (1845—1927), английский политический деятель, в 1915—1916 гг.

был членом кабинета. В 1918 г. он выступал за мирные переговоры с Центральными державами.

Стр. 826. *План Першинга.*— Першинг Джон Джозеф (1860—1948) в период первой мировой войны был главнокомандующим американскими войсками в Европе.

Стр. 832. *...томик старика Фабра...*— Имеется в виду французский энтомолог Жан-Анри Фабр (1823—1915), широко известный своими популярными книгами из жизни насекомых, за одну из которых он в 1910 г. получил Нобелевскую премию.

Стр. 836. *В городе Спа Высший военный совет...*— В бельгийском курортном городе Спа с марта 1918 г. находилась главная квартира командования германских войск.

Стр. 837. *«Дневник» Виньи.*— Имеется в виду «Дневник поэта» французского поэта и романиста Альфреда де Виньи (1797—1863), изданный посмертно его другом Луи Ратисбеном на основании оставленных поэтом заметок. Альфред де Виньи при Наполеоне I и в годы Реставрации был офицером французской армии.

Стр. 838. *Ле-Дантек* Феликс (1869—1917) — французский биолог.

Стр. 849. *...кайзеровское правительство... сорвало Гаагскую конференцию.*— Имеется в виду международная конференция по разоружению в Гааге 1899 г. Все державы — участницы конференции (в том числе и Франция) главным образом старались замаскировать свое нежелание разоружаться. Но особенно резко выступали представители кайзеровской Германии, что и послужило поводом для возложения на Германию ответственности за срыв переговоров перед лицом общественного мнения.

Стр. 852. *Конгресс мира, 1869!* — Речь идет о состоявшемся в Лозанне в 1869 г. третьем конгрессе либерально-пацифистской организации «Лига мира и свободы», в которой видную роль играл Виктор Гюго. Он был председателем на Лозаннском конгрессе.

Стр. 862. *...говорят о мирных предложениях Австро-Венгрии...*— 14 сентября 1918 г. министр иностранных дел Австро-Венгрии Буриан обратился к воюющим державам с предложением о созыве мирной конференции.

Стр. 863. *...мы подвигаемся на линии Гинденбурга...*— Речь идет об основной оборонительной укрепленной линии немецких войск на оккупированной французской территории. Фельдмаршал Пауль фон Гинденбург (1847—1934) был начальником генерального штаба и фактическим руководителем верховного командования германской армии во время первой мировой войны (1916—1918).

Стр. 864. *Бальфур* Артур Джеймс (1848—1930) — в 1916—1919 гг. был английским министром иностранных дел.

Лансинг Роберт (1864—1928) — в период 1915—1920 гг.— государственный секретарь США.

Стр. 867. *...назначение принца Макса Баденского канцлером...*— Принц Макс Баденский был назначен рейхсканцлером Германии 3 октября 1918 г.;

9 ноября он принудил кайзера Вильгельма подписать отречение от престола.

Стр. 868. *...немецкий кабинет обратился... к Вильсону...*— По настоятельному требованию верховного командования, стремившегося уберечь войска от полного разгрома, правительство Германии в ночь с 3 на 4 октября 1918 г. направило (через посредство Швейцарии) ноту президенту США Вильсону с предложением немедленно заключить перемирие.

Стр. 869. *«Четырнадцать пунктов»*.— Так называли выдвинутую Вильсоном в апреле 1918 г. программу мира. (См. прим. к стр. 701).

Стр. 870. *...несколько номеров «Юманите» ...какое жалкое зрелище...*— После убийства Жореса «Юманите», редактором которой стал Ренодель, поддерживала военный курс правительства и стояла на позициях шовинизма. Только после чрезвычайного конгресса Французской социалистической партии (7—8 октября 1918 г.), когда Ренодель на посту редактора сменил Марсель Кашен, направление газеты начало меняться.

Стр. 872. *...Вильсон добился... реформы имперской конституции и введения всеобщего голосования.*— Политические реформы в Германии были вызваны внутренними причинами (желание предотвратить революционный взрыв и сохранить империю), давление США имело лишь второстепенное значение. В прусском ландтаге был принят закон о всеобщем голосовании (на выборах в Пруссии); 26 октября рейхстаг принял закон, по которому Германская империя превращалась в парламентарную монархию.

Стр. 873. *Больница Лаэнека.*— Лаэнек Рене (1781—1826) — выдающийся французский врач, именем которого названа одна из парижских больниц.

Стр. 874. *...Людендорф... против канцлера...*— Германский генерал Эрих Людендорф (1865—1937), фактически в 1918 г. стоявший во главе военной диктатуры, выступил 24 октября с демагогическим требованием отменить тяжелые условия перемирия и продолжить войну. Это имело целью переложить ответственность за исход войны с командования на правительство. Через два дня, 26 октября Людендорф вышел в отставку.

Лорд Роберт Сесиль (1864—1958) — член правительства Великобритании, ведавший в 1916—1918 гг. вопросами блокады.

Стр. 876. *Австрия просит перемирия у Италии.*— 27 октября 1918 г. Австро-Венгрия, после длительных секретных переговоров, обратилась к союзникам с просьбой о перемирии на предложенных ими условиях. Отдельного обращения к Италии со стороны Австрии не было.

Венгрия провозгласила себя независимой и республиканской.— В ночь с 30 на 31 октября 1918 г. рабочие и солдаты Будапешта захватили важнейшие объекты города, назавтра было образовано венгерское самостоятельное правительство М. Карольи и выдвинут лозунг независимой республики. Однако провозглашение Венгрии независимой республикой в ходе буржуазно-демократической революции произошло позднее, чем это сказано в романе Мартен дю Гара, а именно 16 ноября 1918 г.

Стр. 877. *Италия подписала перемирие с Австрией и Венгрией.*— Перемирие между союзниками и переставшей уже существовать Австро-Венгрией на итальянском фронте было подписано 3 ноября 1918 г.

Стр. 878. *Революция в Берлине. Кайзер бежал.*— Начавшаяся восстанием матросов в Киле 3 ноября 1918 г., германская революция в течение недели охватила всю страну. 9 ноября победило вооруженное восстание рабочих и солдат в Берлине. Руководство армии заявило о ненадежности войск. Кайзер отрекся от престола, правительство Макса Баденского ушло в отставку, и была провозглашена республика. В ночь на 10 ноября 1918 г. кайзер бежал из Спа в Голландию, а 11 ноября было заключено в Компьене перемирие между Германией и союзниками.

М. Машкин

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕТО 1914 ГОДА

Перевод Инн. Оксенова (гл. I — XXIV), *Н. Рыковой* (гл. XXV — LIV), *Д. Лившиц* (гл. LV — LXXXV)

I. *Воскресенье 28 июня 1914 г.*— Женева. Жак позирует в мастерской Патерсона 7
II. *Воскресенье 28 июня.*— Жак и Ванхеде в отеле «Глобус» 12
III. *Воскресенье 28 июня.*— Жак у Мейнестреля 17
IV. *Воскресенье 28 июня.*— Космополитический кружок революционеров, к которому примыкает Жак . . 27
V. *Воскресенье 28 июня.*— Собрание в «Локале» 30
VI. Продолжение 40
VII. Продолжение 48
VIII. *Воскресенье 28 июня.*— Прогулка Жака, Мейнестреля и Митгерга. Спор о революционном насилии 57
IX. Продолжение.— Сообщение о террористическом акте в Сараеве 67
X. *Воскресенье 12 июля.*— Собрание на квартире у Мейнестреля. Австриец Бем и приехавший из Вены Жак дают характеристику политического положения в Европе 72
XI. Продолжение 83
XII. *Воскресенье 12 июля.*— Реакция Мейнестреля и Альфреды на весть об угрозе войны 89
XIII. *Воскресенье 19 июля.*— День Анны де Батенкур . . . 91
XIV. *Воскресенье 19 июля.*— Жак приходит к брату; Антуан показывает ему свой перестроенный дом 99
XV. *Воскресенье 19 июля.*— Разговор братьев о внешней политике 110

XVI. *Воскресенье 19 июля.*— Жак обедает у брата; семейная беседа за столом 127
XVII. *Воскресенье 19 июля.*— Различные позиции Жака и Антуана в социальном вопросе. Неожиданное появление Женни де Фонтанен 131
XVIII. *Воскресенье 19 июля.*— Антуан и Жак едут с Женни в гостиницу, где Жером де Фонтанен пытался застрелиться 146
XIX. *Воскресенье 19 июля.*— Жак поздно вечером. Политические новости 156
XX. *Воскресенье 19 июля.*— Антуан и г-жа де Фонтанен ночью в клинике 160
XXI. *Воскресенье 19 июля.*— Г-жа де Фонтанен у постели Жерома 164
XXII. *Воскресенье 19 июля.*— Размышления Антуана о разговоре с братом 168
XXIII. *Воскресенье 19 июля.*— Антуан по просьбе г-жи де Фонтанен едет за пастором Грегори 171
XXIV. *Понедельник 20 июля.*— Жак проводит день в Париже. Перед отъездом в Женеву он видится в клинике с Даниэлем 175
XXV. *Понедельник 20 июля.*— Антуан и Анна обедают в окрестностях Парижа 187
XXVI. *Вторник 21 июля.*— Возвращение Жака в Женеву . . 200
XXVII. *Среда 22 июля.*— Жак выполняет задание в Антверпене 214
XXVIII. *Четверг 23 и пятница 24 июля.*— Возвращение Жака в Париж 217
XXIX. *Пятница 24 июля.*— Размышления г-жи де Фонтанен у гроба Жерома 223
XXX. *Пятница 24 июля.*— Женни днем в пустой квартире на улице Обсерватории 231
XXXI. *Пятница 24 июля.*— Жак навещает Даниэля, который ведет его в свою мастерскую 234
XXXII. *Пятница 24 июля.*— Жак проводит вечер в «Юманите»; мрачные слухи 244
XXXIII. *Суббота 25 июля.*— Г-жа де Фонтанен и Даниэль проводят последнее утро в клинике 249
XXXIV. *Суббота 25 июля.*— Жак присутствует на похоронах Жерома де Фонтанена 254
XXXV. *Суббота 25 июля.*— Жак завтракает у своего брата; Антуан и его сотрудники 258
XXXVI. *Суббота 25 июля.*— Жак на Восточном вокзале провожает Даниэля 268

XXXVII. *Суббота 25 июля.*— Жак преследует Женни 272
XXXVIII. *Суббота 25 июля.*— Жак и Женни вечером в сквере у церкви св. Венсан де Поля 276
XXXIX. *Воскресенье 26 июля.*— Утро Жака. Политические новости: разрыв дипломатических отношений между Австрией и Сербией 285
XL. *Воскресенье 26 июля.*— Воскресный прием у Антуана; доктор Филип; дипломат Рюмель 295
XLI. *Воскресенье 26 июля.*— Рюмель, оставшись наедине с Антуаном, делится с ним своими опасениями 310
XLII. *Воскресенье 26 июля.*— Жак в первый раз приходит к Женни 317
XLIII. *Понедельник 27 июля.*— Жаку поручено отправиться с секретным заданием в Берлин 328
XLIV. *Понедельник 27 июля.*— Жак вторично приходит к Женни 337
XLV. *Понедельник 27 июля.*— Политические новости второй половины дня 340
XLVI. *Понедельник 27 июля.*— Жак и Женни обедают вдвоем неподалеку от Биржи 346
XLVII. *Понедельник 27 июля.*— Жак участвует в манифестации на Больших бульварах 356
XLVIII. *Вторник 28 июля.*— Поездка Жака в Берлин; Жак заходит к Фонлауту 362
XLIX. *Вторник 28 июля.*— Портфель полковника Штольбаха 368
L. *Среда 29 июля.*— Брюссель; Жак встречается с группой товарищей из «Локаля» 374
LI. *Среда 29 июля.*— Мейнестрель рассматривает документы Штольбаха 381
LII. *Среда 29 июля.*— Митинг в Королевском цирке 389
LIII. *Среда 29 июля.*— Вечерняя антивоенная демонстрация в Брюсселе 393
LIV. *Среда 29 июля.*— Патерсон объявляет Жаку, что уезжает с Альфредой. Неудавшееся самоубийство Мейнестреля 399
LV. *Четверг 30 июля.*— Жак возвращается в Париж. Он в третий раз приходит к Женни 403
LVI. *Четверг 30 июля.*— Визит Антуана к Рюмелю. Паника на Кэ-д'Орсе 410
LVII. *Четверг 30 июля.*— Антуан принимает у себя Симона де Батенкур и решает порвать с Анной 417
LVIII. *Четверг 30 июля.*— Жак приводит Женни на митинг в Монруж, где выступает с речью . . . 426

LIX. *Пятница 31 июля.*— Утро Жака. Париж под угрозой войны 439
LX. *Пятница 31 июля.*— Жак завтракает у Антуана . . 449
LXI. *Пятница 31 июля.*— Противоположные взгляды Жака и Антуана на вопрос о защите отечества 461
LXII. *Пятница 31 июля.*— Жак и Женни проводят день в социалистических кругах 472
LXIII. *Пятница 31 июля.*— Убийство Жореса 480
LXIV. *Суббота 1 августа.*— Жак проводит утро в редакции «Юманите» 489
LXV. *Суббота 1 августа.*— Анна тщетно ищет встречи с Антуаном 496
LXVI. *Суббота 1 августа.*— Жак завтракает у Женни . . . 499
LXVII. *Суббота 1 августа.*— Приказ о мобилизации 506
LXVIII. *Суббота 1 августа.*— Жак и Женни присутствуют при встрече Германа Мюллера 510
LXIX. *Суббота 1 августа.*— Жак приводит Женни к Антуану 516
LXX. *Суббота 1 августа.*— Париж вечером после объявления мобилизации 527
LXXI. *Суббота 1 августа.*— Вечер Жака и Женни.— Перелом во взглядах социалистов после мобилизации . . . 535
LXXII. *Воскресенье 2 августа.*— Возвращение г-жи де Фонтанен 546
LXXIII. *Воскресенье 2 августа.*— Отъезд Антуана на фронт . . 551
LXXIV. *Воскресенье 2 августа.*— Жак решает до конца бороться против войны 560
LXXV. *Воскресенье 2 августа.*— Встреча Жака и Женни с г-жой де Фонтанен 568
LXXVI. *Воскресенье 2 августа.*— Женни устраивает матери бурную сцену 574
LXXVII. *Воскресенье 2 августа.*— Последнее свидание Жака и Женни 582
LXXVIII. *Понедельник 3 августа.*— Приезд Жака в Женеву.— Встреча с Мейнестрелем 588
LXXIX. *Вторник 4 августа.*— Жак в поезде Базель—Женева 597
LXXX. *Вторник 4 августа.*— Жак находит убежище в буфете базельского вокзала и пишет там свое воззвание . 607
LXXXI. *5—8 августа.*— Пребывание Жака в Базеле 613
LXXXII. *Воскресенье 9 августа.*— Последние приготовления . . 623
LXXXIII. *Воскресенье 9 августа.*— Встреча на плато 628
LXXXIV. *Понедельник 10 августа.*—Последнее действие 636
LXXXV. *Понедельник 10 августа.*— Отступление французских войск в Эльзасе 640

ЭПИЛОГ

Перевод Н. Жарковой

I. Антуан в Клинике Мускье 663
II. Похороны мадемуазель де Вез в Париже . . 675
III. Антуан возвращается к себе 682
IV. Антуан и Жиз завтракают вдвоем на Университетской улице 687
V. Рюмель приглашает Антуана к «Максиму» 697
VI. Сон Антуана 708
VII. Антуан в Мезон-Лаффите.— Утро с Даниэлем и Жан-Полем 715
VIII. Первый разговор с Женни . 724
IX. Второй разговор с Женни 733
X. Свидание в госпитале с г-жой де Фонтанен 737
XI. Жан-Поль и дядя Антуан 750
XII. Вечер в Мезоне.— Последний разговор с Женни . . . 756
XIII. На приеме у доктора Филиппа 766
XIV. Ночная тревога 783
XV. Письма 787
XVI. Дневник Антуана . . . 796

Примечания *М. Машкина* и *И. Подгаецкой* . 883

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 167

Мартен дю Гар
СЕМЬЯ ТИБО
Том 2

*

Редактор С. Брахман
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Н. Шкарбанова и Д. Эткина

*

Сдано 3/III 1972 г. Подписано к печати 24/VII 1972 г. Формат 60×84¹/₁₆, — 57 печ. л. 53,18 усл. печ. л. 59,15 + 5 накидок = 59,70 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 экз.
Цена 2 р. 70 к.
Зак. 2763

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28.